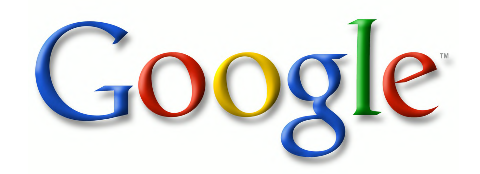
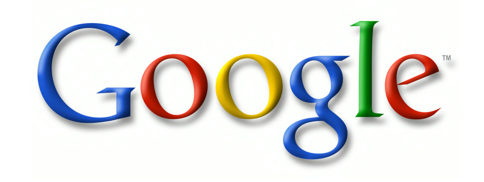
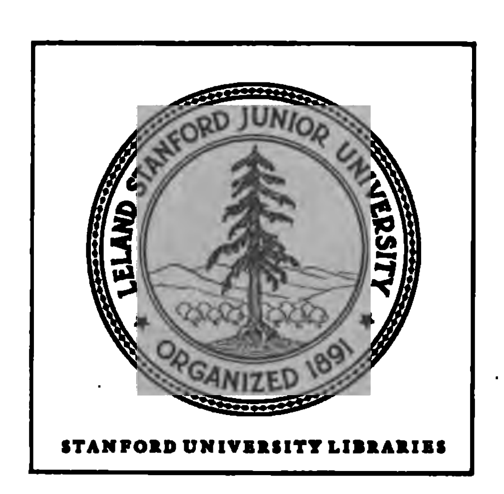







LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

А. Н. ПЫПИНЪ.

БѢЛИНСКІЙ

ЕГО

ЖИЗНЬ И ПЕРЕПИСКА

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ,

съ дополненіями и примѣчаніями.

Книгоиздательство „Колосъ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 лин., 28.

1908.





3694

Отъ издателей.

Настоящая книга представляетъ собою повтореніе изд. 1876 г., съ дополненіями, которыя намѣчались самимъ А. Н. Пыпинымъ, когда, въ концѣ девяностыхъ годовъ, онъ собирался приступить къ переизданію своего труда, уже къ тому времени ставшаго библіографической рѣдкостью. Другія, преимущественно академическія, работы отвлекли автора отъ этого намѣренія, между тѣмъ въ книгѣ ощущалась настоятельная потребность, что и послужило поводомъ предпринять настоящее изданіе, въ томъ видѣ, какъ оно предполагалось въ свое время авторомъ.

Дополненія въ текстѣ введены исключительно по разметкамъ А. Н. Пыпина, сохранившимся на одномъ изъ экземпляровъ изданія 1876 г.; дополненія, помѣщенныя особо, въ концѣ, являются извлеченными изъ собраннаго авторомъ обширнаго матеріала. Краткія примѣчанія, съ указаніями на позднѣйшую литературу предмета, казались издателямъ необходимыми въ интересахъ читателя и соотвѣтствующими обычнымъ, въ этомъ отношеніи, пріемамъ автора.

Трудъ по пересмотру и дополненіямъ, а также по составленію примѣчаній къ настоящему изданію принадлежитъ Е. А. Ляцкому.

Предисловіе къ первому изданію.

(1876).

Настоящій трудъ, въ отдѣльномъ изданіи, вновь пересмотрѣнъ и значительно дополненъ мною по новымъ матеріаламъ, которые были или вновь собраны въ рукописи, или явились въ печати послѣ окончанія моихъ прежнихъ статей о томъ же предметѣ, въ «Вѣстникѣ Европы» 1874 и 1875 гг.

При первомъ своемъ появленіи, отдѣльными статьями, моя работа вызывала различные отзывы критики, о которыхъ считаю неизлишнимъ упомянуть. Въ этихъ отзывахъ не нашлось ничего, что помогло бы дополненію или исправленію фактической стороны біографіи; отзывы относились или къ сдѣланному мной освѣщенію дѣятельности Бѣлинскаго, къ оцѣнкѣ его развитія, или къ моему изложенію. Критика одного изъ московскихъ журналовъ въ особенности старалась, пользуясь собраннымъ у меня біографическимъ матеріаломъ, по-своему представить роль Бѣлинскаго — въ такомъ духѣ, какъ то отвѣчало собственнымъ видамъ журнала; впрочемъ, не докончила своего изложенія, остановившись тамъ, гдѣ и перетолкованіе становилось трудно. На эту критику моего труда мнѣ нечего отвѣчать — кромѣ того, что я остаюсь при своей точкѣ

зрѣнія. Другіе, не спорившіе противъ сущности моего взгляда, дѣлали моей работѣ упрекъ въ неясности нѣкоторыхъ частей біографіи, и болѣе общій упрекъ—въ недостаткѣ законченности, живыхъ образовъ, и т. под.; говорено было даже о томъ, чего требуетъ «художественная» біографія. Первое относится главнымъ образомъ къ моему разсказу о серединѣ тридцатыхъ годовъ; отвѣтъ на это находится въ самой біографіи: именно за это время сохранилось мало главнаго матеріала, переписки, и исторію Бѣлинскаго приходилось возстановлять только по случайнымъ, позднѣйшимъ воспоминаніямъ его о томъ времени. Что касается упрека въ недостаткѣ законченности,—требованіе ея кажется мнѣ довольно страннымъ. Первое условіе законченности было для меня не доступно—не по моей винѣ, а по положенію цѣлаго вопроса: я не имѣлъ полной свободы въ распоряженіи біографическимъ матеріаломъ. Было бы простодушнымъ заблужденіемъ считать возможной внутреннюю полноту изображенія, когда извѣстныя части картины должны неизбѣжно остаться бѣлымъ пятномъ, когда литература до сихъ поръ еще не могла вполнѣ изображать тѣхъ временъ, ни даже называть историческихъ лицъ. Далѣе, сдѣланное мной опредѣленіе историческаго значенія Бѣлинскаго въ развитіи нашей литературы и его отношенія къ позднѣйшему движенію вызвало особыя возраженія, на которыя я въ свое время отвѣчалъ [1].

Біографія Бѣлинскаго еще не допускаетъ ни полноты внѣшнихъ фактовъ, ни даже полноты теоретической характеристики. Въ своемъ трудѣ я ставилъ себѣ иную задачу—начать фактическую разработку матеріала, стараясь, сколько было возможно, излагать внѣшніе факты и событія внутренней жизни Бѣлинскаго въ той формѣ, какъ они высказывались имъ самимъ, въ его непосредственныхъ впечатлѣніяхъ и воспоминаніяхъ. Этотъ способъ изложе-

[1] «Вѣстн. Евр.», янв., 1876.

нія, имѣющій ту особую цѣнность, что даетъ читателю рядъ собственныхъ признаній историческаго лица, я долженъ былъ предпочесть и потому, что матеріалъ писемъ, которымъ я пользовался, собранъ былъ мною впервые, почти безъ исключенія былъ неизданный и вполнѣ едва ли можетъ быть скоро изданъ: разсказывая біографію, необходимо было приводить тутъ же и самые ея источники.

Повторяю еще разъ искреннюю признательность лицамъ, которыя содѣйствовали моему труду сообщеніемъ переписки Бѣлинскаго или своихъ воспоминаній — что и было основнымъ матеріаломъ біографіи. Мнѣ пріятно сказать, что всего больше я обязанъ друзьямъ Бѣлинскаго, дорожащимъ его памятью, и интересъ которыхъ къ моей работѣ послужилъ мнѣ существенной опорой при ея выполненіи. Другія лица, владѣющія нѣкоторыми бумагами Бѣлинскаго или его друзей, также сообщили мнѣ много важнаго и любопытнаго. Было только два-три исключенія... Главнѣйшее содѣйствіе оказали моему труду: Н. Х. Кетчеръ, которому принадлежитъ часть бумагъ Бѣлинскаго и другая чрезвычайно любопытная переписка сороковыхъ годовъ; Е. Ѳ. Коршъ, который, кромѣ личныхъ воспоминаній, оказалъ мнѣ самую существенную помощь при собраніи матеріала; К. Т. Солдатенковъ, которому принадлежитъ наибольшая и, быть можетъ, важнѣйшая доля бумагъ Бѣлинскаго—письма его къ Боткину, письма Кольцова, и др.; А. В. Станкевичъ; И. С. Тургеневъ; П. В. Анненковъ; «деревенскіе друзья» сообщили значительное собраніе писемъ къ нимъ Бѣлинскаго. Далѣе, личныя воспоминанія сообщили мнѣ К. Д. Кавелинъ, А. Д. Галаховъ, Н. Н. Тютчевъ. Родственникъ и школьный товарищъ Бѣлинскаго, Д. П. Ивановъ, кромѣ сообщенія нѣсколькихъ писемъ, составилъ для дополненія моей работы особую записку о пребываніи Бѣлинскаго въ гимназіи и ранней жизни его дома. Нѣсколько писемъ Бѣлинскаго и Боткина я получилъ отъ А. А. Краевскаго; нѣсколько писемъ Бѣ-

линскаго къ Боткину—отъ В. А. Крылова; письма Бѣлинскаго и Станкевича къ Ефремову—отъ кн. Л. В. Шаховскаго; одно письмо—отъ А. Н. Струговщикова.

А. П.

Петербургъ.—2 мая 1876.

БІОГРАФИЧЕСКІЯ и КРИТИЧЕСКІЯ

КНИГИ, СТАТЬИ и ЗАМѢТКИ.

1848 — «Современникъ», іюнь, смѣсь, стр. 173 (некрологъ).
» — «Отеч. Записки», іюнь, смѣсь, стр. 157 (некрологъ).
1849 — Зеленецкаго, Исторія рус. литературы, Одесса, 1849, стр. 226.
1853 — Du Developpement, etc. стр. 110 и слѣд.
1855 — «Современникъ», мартъ, стр. 86: «Памяти пріятеля», стих. Н. Некрасова.
» — «Современникъ», декабрь: «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы», статья 1-я: Общее значеніе Гоголя. Сужденія о немъ критики. Полевой и его взглядъ.
» — П. Зв., кн. 1, изд. 2, стр. 63—79, переписка Бѣлинскаго съ Гоголемъ.
1856 — «Современникъ». Продолженіе «Очерковъ». Статья 2-я (январь). Сенковскій и его отношеніе къ Гоголю.
Ст. 3-я (февраль): Славянофилы. Критика Шевырева. Отношеніе къ Гоголю Пушкина и его друзей.
Ст. 4-я (апрѣль): Значеніе «критики 1840—1847 годовъ» (т.-е. Бѣлинскаго, еще не называемаго). Ея предшественники: Надеждинъ.
Ст. 5-я (іюль): Начало дѣятельности Бѣлинскаго (онъ въ первый разъ названъ).
Ст. 6-я (сентябрь): Изданіе «Моск. Наблюдателя» Бѣлинскимъ и его друзьями.
Ст. 7-я (октябрь): Развитіе мнѣній Бѣлинскаго отъ отвлеченной дѣйствительности къ реальной.
Ст. 8-я (ноябрь): Характеристика его критики, и изложеніе его литературныхъ мнѣній.
Ст. 9-я (декабрь): Продолженіе предыдущаго и заключеніе.
» — [«Русскій Вѣстникъ», кн. 5: Н. И. Надеждинъ. Автобіографія].
» — «Библіотека для Чтенія», кн. 11—12: «Критика Гоголевскаго періода и наши къ ней отношенія», А. Дружинина, двѣ статьи.
1857 — «Николай Владиміровичъ Станкевичъ», Анненкова. М. 1857.
1858 — «Иллюстрація», т. II, № 36 (критическій очеркъ).
1859 — «Московскій Вѣстникъ», № 17, стр. 203—212. Замѣтки для біографіи Б., Лажечникова.
» — «Моск. Вѣдомости», № 134 (перепечатка предыдущей статьи).

» — «Моск. Вѣстникъ», № 26 и № 30, поправка къ ст. Лажечникова.
» — «Спб. Вѣдомости», № 162: «По поводу статьи И. И. Лажечникова о Б». А. Надеждина. См. также № 186, 237.
» — «Моск. Вѣстникъ», № 32, стр. 397 — 402, отвѣтъ Лажечникова Надеждину.
» — «Моск. Вѣдомости», № 202, (перепечатка предыдущей статьи).
« — «Русское Слово», кн. 2—3: «Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина», Ап. Григорьева; въ его «Сочиненіяхъ», Спб. 1876, I, 230—304
» — «Моск. Вѣстникъ», № 44, ст. М. Лонгинова.
» — «Сѣверная Пчела», Греча, № 229, 284: статьи Ксенофонта Полевого (бранныя); см. также № 247.
» — «Моск. Вѣстникъ», № 49, стр. 621—623: «Дань памяти учителя», С. Колошина (противъ Ксен. Полевого).
» — «Отеч. Записки», кн. 5, отд. 3, стр. 29—34.
» — «Отеч. Записки», кн. 11, отд. 3, стр. 33—36: «Шипящіе старики» (противъ Ксен. Полевого).
» — «Библ. для Чтенія», кн. 11, стр. 56—60: «Литераторы съ замыслами» П. Вейнберга (противъ Ксен. Полевого).
» — «Библ. для Чтенія», кн. 12, стр. 1—14: «Бѣлинскій и московскій университетъ въ его время. Изъ студенческихъ воспоминаній». П. Прозорова.
» — «Моск. Вѣдомости», № 293: «Нѣсколько словъ о Б.», И. Островскаго (статья по свѣдѣніямъ родственниковъ Б. и его письмамъ къ брату Константину—о пребываніи въ университетѣ и домашнихъ отношеніяхъ).
» — П. Зв. V, стр. 199 - 213: «Старыя письма».
» — «Иллюстрація», № 98.
» — «Русская Газета», № 53.
» — «Русскій Инвалидъ», № 161 и 269 (ст. Я. Турунова).
» — «Р. Слово», кн. 11, смѣсь, стр. 136, примѣчаніе,—выписка изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину, напечатаннаго послѣ въ Спб. Вѣд. 1869 № 187—188 (ср. Р. Худож. Листокъ, 1862, № 34);—Р. Слово, кн. 12 стр. 63- 74, ст. Водовозова.
1860 — «Современникъ», январь, стр. 333—376: «Воспоминаніе о Б.», И. Панаева.
» — «Библ. для Чтенія», кн. 1, стр. 1—42: критич. статья о первыхъ томахъ «Сочиненій» Б., А. Дружинина.
» — «Моск. Вѣстникъ», № 3, стр. 40—42: «Встрѣча моя съ Б.», Ив. Тургенева (отрывокъ, не вошедшій въ собраніе сочиненій Тургенева).
» — «Моск. Вѣстникъ», № 26, стр. 417—418: библіографическая замѣтка о VII-мъ томѣ «Сочиненій» Бѣлинскаго.
» — «В. Г. Бѣлинскій. Біографическій очеркъ». Д. Свіяжскаго, 94 стр. (Изъ «Дамскаго Вѣстника», кн. 1—2).
» — «Р. Инвалидъ», № 207.
» — «Свѣточъ», кн. 1, стр. 93—96.
1861 — Б. и Думы, т. II.
» — «Современникъ», кн. 1—2, 9, 11: «Литературныя воспоминанія», И. Панаева (см. также кн. 12).
» — «Время», кн. 3: «Западничество въ русской литературѣ», и кн. 4: «Бѣ

линскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ», Ап. Григорьева; въ его «Сочин.» I, стр. 511—579.

» — «Отеч. Записки», кн. 5, стр. 45—58: «Еще о народности и Пушкинѣ»

» — «Р. Вѣстникъ», кн. 6, стр. 125—131: «Б. и его лжеученики», М. Лонгинова.

» — «Спб. Вѣдомости», № 109: «Б. и его мнимые послѣдователи», Я. Грота

» — «Моск. Вѣдомости», № 135: «Воспоминаніе о Б.», Н. Иванисова.

» — «Учитель», № 9—11: «Б. какъ педагогъ», Ор. Миллера.

» — «Свѣточъ», № 1, стр. 23—38: «Б. передъ лицомъ западниковъ и славянофиловъ».

1862 — «Разсвѣтъ», № 1, стр. 81—97; № 3, стр. 221—249, ст. Д. Саранчова

» — «Р. Худож. Листокъ», № 29, 34: «Бѣлинскій, біограф. очеркъ» (Ремезова).

» — «Бѣлинскій какъ моралистъ», ч. 1-я. Спб. 1862, 426 стр.; оттискъ изъ воскресныхъ нумеровъ «Сына Отечества», № 35—43. (Второй части кажется, не было).

» — «Кронштадтскій Вѣстникъ», № 47: «Изъ знакомства съ Бѣлинскимъ Съ разсказа г. Б.», Е. Брылкиной (о послѣднихъ годахъ жизни Бѣлинскаго и его кончинѣ).

» — «Библ. для Чтенія», кн. 10, стр. 60—83: «Б., какъ публицистъ», А. Головкова.

» — Б. и Думы, т. III, стр. 208—214: «Умъ хорошо, а два лучше». (Въ другой разъ напечатано въ «Р. Старинѣ», 1871, IV, стр. 528—532).

» — «День», № 39—40: Студенческія воспоминанія, Конст. Аксакова.

1863 — «День», № 42: «Университетскія воспоминанія», Г. Г.

1864 — «Р. Слово», кн. 1, стр. 1—68: «Бѣл. и Добролюбовъ», В. Зайцева.

» — «Р. Вѣстникъ», февраль: «Марево», романъ Б. Клюшникова, стр. 694. (??

1865 — «Р. Слово», кн. 4, стр. 1—60; кн. 6. стр. 1—68: «Пушкинъ и Бѣлинскій», Д. Писарева; въ его «Сочин.» III, стр. 123—242.

» — «Воскресный Досугъ», № 124: «Могила Бѣлинскаго».

1866 — «Реалистическія противорѣчія. По поводу нѣкоторыхъ статей Д. И Писарева». Сочиненіе Осв. Лихтенштадта. М. 1866. 53 стр.

1866 — «Петерб. Листокъ», № 121: «Памятникъ Бѣлинскому», А. Ш-на.

1867 — Б. и Думы, т. IV, стр. 335—341, 344—345.

1868 — «Русскій», № 15: «Дорожныя записки» Погодина (гдѣ внесенъ разсказъ о Бѣлинскомъ его родственницы, г-жи Щ.).

« — «Русскій», № 114—116: «Полевой и Бѣлинскій (Изъ рукописи: Литературныя воспоминанія)» И. Кулжинскаго (общія мѣста, въ обличительномъ духѣ).

1869 — «Вѣстникъ Европы», кн. 4, стр. 695—729: «Воспоминанія о Бѣлинскомъ» Ив. Тургенева (въ Собр. Сочин. т. I).

» — «Дѣло», кн. 4 стр. 97—100 (по поводу предыдущей статьи).

» — «Кіевлянинъ», № 45 (извлеченіе изъ той же статьи).

» — «Заря», кн. 9, стр. 207—232: «Критическія замѣтки о текущей литературѣ» (по поводу «Воспоминаній» Тургенева).

» — «Одесскій Вѣстникъ», № 103: «По поводу воспоминаній г. Тургенева» Павла Чичикова.

» — «Т. Н. Грановскій», А. Станкевича. Стр. 111, 114—116, 148, 237.

» — Портретная Галлерея, Мюнстера, т. II (портретъ Б. и біографія, написанная Хмыровымъ).

» — «Ваза», № 7, стр. 101—105: «Нѣсколько словъ о Бѣлинскомъ».
» — «Спб. Вѣдомости», № 187—188: «Письмо Бѣлинскаго къ его московскимъ друзьямъ» (отъ 4—8 ноября 1847); № 210 (объ этомъ письмѣ въ фельетонѣ Незнакомца); № 214, о томъ же, письмо В. П. Боткина въ редакцію «Спб. Вѣд.»
» — «Голосъ», № 204, 242 (по поводу того же письма Бѣлинскаго)
» — «Всемірная Иллюстрація», т. II, № 31 (о томъ же).
» — «Судебный Вѣстникъ», № 179: «Наблюденія доктора Опальнаго» (о томъ же).
» — «Вѣсть», № 230: Замѣтка по поводу предыдущей статьи.
» — «Дѣло», № 7, стр. 82—93 (по поводу письма Бѣлинскаго).
» — «Петерб. Листокъ», № 123 (по поводу «Суд. Вѣстника»); «Петерб. Газета», № 104 (о томъ же письмѣ Б.).
» — «Космосъ», прил. № 1, стр. 84—102: «Новые матеріалы для біографіи и характеристики Бѣлинскаго (по поводу «Воспоминаній» г. Тургенева)». Второе полугодіе, № 1, стр. 113—120 (по поводу письма Бѣлинскаго).
» — [«Спб. Вѣд.», № 282; «Моск. Вѣд.», № 227, некрологъ В. П Боткина].
» — [«Иллюстрація», № 43, некрологъ его же; № 46, портретъ].
1870 — «Нива», № 3: «Гоголь и Бѣлинскій» (съ портретомъ).
1871 — «Русская народная поэзія и Бѣлинскій», С. Бураковскій. Спб. 79 стр.
» — «Отеч Записки», статьи г. Скабичевскаго: «Очерки умственнаго развитія нашего общества, 1825—1860». (Первыя пять главъ, въ «От. Зап.» 1870). Сюда относятся: январь, гл. VI, о Станкевичѣ и Бѣлинскомъ въ началѣ 30-хъ годовъ; февраль, гл. VII, время «Моск. Наблюдателя»; мартъ, гл. VIII, о Грановскомъ. Главы IX—X редакція «надѣялась напечатать впослѣдствіи». Октябрь, гл. XI—XII, и ноябрь, гл. XIII, Бѣлинскій въ Петербургѣ, и его взгляды за послѣдніе годы.

Эти статьи, въ томъ числѣ и гл. IX—X, собраны были въ отдѣльномъ изданіи: «Очерки развитія прогрессивныхъ идей въ нашемъ обществѣ, 1825—1860 г.». Спб., 1872; но это изданіе не вышло въ свѣтъ.

1872 — [«Русскій Архивъ», Воспоминанія гр. Соллогуба].
» — «Вѣстникъ Европы», іюль, стр. 432 и слѣд.: въ статьѣ г. Чижова о Гоголѣ, выдержки изъ письма къ нему Бѣлинскаго.
» — «Сіяніе», № 34 (могила Бѣлинскаго).
1873 — «Гражданинъ», № 1, стр. 15-16: «Дневникъ писателя», Ѳ. Достоевскаго (о знакомствѣ автора съ Бѣлинскимъ и о соціалистическихъ увлеченіяхъ послѣдняго); № 9, стр. 272—275: «Къ характеристикѣ Бѣлинскаго», М. Погодина.
1874 — «Р. Архивъ», стр. 339—342: «Изъ бумагъ кн. Одоевскаго».
» — «Р Вѣстникъ», авг., стр. 873—896: «По поводу одной литературной репутаціи» (по поводу первыхъ статей «В. Евр.» о Бѣл.). А.
» — «Недѣля», № 43, стр. 1569-72: въ замѣткахъ провинц. философа.
» — «Русская Старина», т. I, стр. 142—144: письмо Бѣл., отъ декабря 1833.
» — «Спб. Вѣдом.», «Голосъ», «Р. Міръ»—о статьяхъ «Вѣстн. Европы».
1875 — «Р. Вѣстникъ», январь, стр. 393—418: «Переписка Бѣлинскаго съ друзьями» (по поводу статей «Вѣстн Евр.»). А.
» — «Отеч. Записки», № 11, стр. 157—198: «Прудонъ и Бѣлинскій», Н. М.
» «Недѣля», № 40: «Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики», К. Кавелина, по поводу характеристики Бѣлинскаго въ «В. Евр »; № 49,

стр. 1636—46: «Еще объ идеалахъ» (по поводу предыдущей статьи; много очень вѣрныхъ замѣчаній о послѣдующемъ движеніи нашей критики, но какъ и въ статьѣ того же автора въ «Недѣлѣ» 1874, относительно самого Бѣлинскаго мало взяты въ разсчетъ историческія условія его времени).

» — «Дневникъ», 1842—45.

» — «Р. Архивъ», № 11, стр. 394—397: «Изъ рукописей Кольцова. Письмо къ Бѣлинскому», сообщено А. З. Зиновьевымъ.

1876 — «Вѣстн. Европы», янв, стр 410—429: отвѣтъ на статью г. Кавелина.

» — «Р. Старина», кн. 1—2: «Бѣлинскій. Новые матеріалы къ его біографіи», сообщ. кн. Енгалычевымъ; кн. 3, стр. 677-678: «Увольненіе Б. изъ университета», сообщ. С. П. Щепкинымъ.

» — «Древняя и Новая Россія», № 2, стр. 197—198; «Бѣлинскій въ Симферополѣ», И. Шмакова.

1877 — Шашковъ, С. «Эпоха Бѣлинскаго».—«Дѣло», №№ 2, 3, 4, 5 и 7.

1879 — Барсовъ, Н. «Бѣлинскій какъ религіозный мыслитель» въ книгѣ «Историческіе, критическіе и полемическіе опыты». Спб.

» — Герценъ, А. И. «Былое и Думы», т. VII, гл. XXV. — Genève — Bâle — Lyon.

1880 — Аргилландеръ, Н. А. «В. Г. Бѣлинскій (Изъ моей студенческой жизни съ нимъ)», «Рус. Старина», № 5, стр. 140—143.

1881 — Даниловъ, А. «Изъ воспоминаній старика. Бѣлинскій и Щепкинъ».— «Современныя Извѣстія», № 329.

» — Корсаковъ, А. Н. «Біографическая замѣтка о Бѣлинскомъ», по поводу ст. Н. Рыбкина.—«Русскій Архивъ», кн. 6, стр 456.

» — Рыбкинъ, Н. «Матеріалы для біографіи Лермонтова и Бѣлинскаго».— «Историч. Вѣстникъ», 1881, № 10. Тутъ—впечатлѣнія отъ поѣздки въ Чембаръ, посѣщенія родныхъ Бѣлинскаго и т. д. Тамъ же снимокъ съ портрета Бѣлинскаго, рисованнаго акварелью въ 1837—38 г. и принадлежащаго П. Г. Моравеку. Изъ редакц. замѣтки видно, что портретъ рисованъ «однимъ изъ воспитанниковъ Межевого Института». Тотъ же портретъ въ краскахъ—при II т. Венгеровскаго изданія сочиненій Бѣлинскаго.

1882 — «Два приглашенія В. Бѣлинскому явиться къ Л. В. Дубельту въ III-е отдѣленіе 20 февр. и 27 марта 1848 г.»,—«Русск. Старина», кн. 11, стр. 434—436.—См. прим.

» — С—въ, «Бѣлинскій въ наше время».—Устои, № 11, стр. 79—91 (по поводу кн. Н. Туркина).

» — Туркинъ, Н. «Просвѣтительныя идеи Бѣлинскаго».—М.

1883 — Анненковъ, П. В. «Замѣчательное десятилѣтіе (1838—1848)» въ его кн. «Воспоминанія и критическіе очерки»,—т. III, стр. 1—224.—Спб.

1886 — Корсаковъ, Д А. «Матеріалы для біографіи К. Д. Кавелина и Бѣлинскаго».—«Вѣстн. Европы», кн. 6.

1887 — Костенецкій, Я. И. «Воспоминанія изъ моей студенческой жизни».— «Русск. Архивъ», I, II.

» — Пироговъ, Н. «Записки».—«Русск. Стар.», 1885, № 1.—См. Сочиненія, т. I, Спб.

1888 — Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ въ его письмахъ. М., 2 т.

» — Невѣденскій, С. «Катковъ и его время».—Спб.

» — Селивановъ, А. Ѳ. «Бѣлинскій въ Пензенской гимназіи.»—«Біографъ», №№ 4—5.

» — Трубачевъ. С. «Предшественникъ и учитель Бѣлинскаго».—«Историч. Вѣстникъ», кн. 8.

1890 — Панаева—Головачева, А. Я. «Воспоминанія».—Спб.

1891 — Протопоповъ, М. А. «Бѣлинскій, его жизнь и литературная дѣятельность». Біограф. очеркъ.—Спб., 1891. Изд. Павленкова. Изд. 2-ое Спб.

1892 — Сборникъ «Лепта Бѣлинскаго», въ пользу голодающихъ.—М.—Сюда, между прочимъ, вошли слѣд. статьи: Д:каншіевъ, Г. «Въ семьѣ Бѣлинскаго»; Орлова, А. «Изъ воспоминаній о семейной жизни Бѣлинскаго».

» — Галаховъ, А. Д. «Сороковые годы».—«Историч. Вѣстникъ», 1892, кн. 1.

» — «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы» (Современникъ 1855—56 гг.). Изд. М. Н. Чернышевскаго. Спб. 1892. Вошли въ изданіе—«Полнаго собранія соч. Н. Г. Чернышевскаго», т. I—X. Спб. 1906, т. II.

» — «Помощь голодающимъ», Научно-Литературный Сборникъ.—М. Тамъ—«Нѣсколько отрывковъ изъ неизданной переписки Бѣлинскаго», Н. А. Котляревскаго (по матеріаламъ, сообщ. А. Н. Пыпинымъ); «Воспоминанія о М. В. Бѣлинской», А. В. Орловой—см. прим.

1893 — Барсуковъ, Н. П. «Жизнь и труды М. П. Погодина».—Спб., кн. VII и др.

» — Григоровичъ, Д. В. «Воспоминанія».—«Русская Мысль», кн. 1. Собр. соч.

» — Панаевъ, В. А. «Воспоминанія о Бѣлинскомъ въ сороковыхъ годахъ».—«Рус. Старина», кн. 9.

» — Сухотинъ, С. М. «Изъ памятныхъ тетрадей».—«Русскій Архивъ», кн. 9.

» — Скабичевскій, А. «Начало и развитіе русской критики».—Спб.

» — Филипповъ, М. «Судьбы русской философіи». Часть I и II. «Московскія университетскія вліянія.—Н. И. Надеждинъ и его отношенія къ В. Г. Бѣлинскому. Философскія убѣжденія В. Г. Бѣлинскаго».

1895 — Гольцевъ, В. «О письмахъ Бѣлинскаго къ Бакунинымъ», см. его кн. «Литературные очерки».—М.

» — Протопоповъ, М. А. «В. Г. Бѣлинскій. Литературно-критическая характеристика».—Спб.

1896 — Волынскій, А. «Русскіе критики».—Спб.; 2-ое изд.—1907.

» — В. Ш. «М. А. Бакунинъ». Біографич. очеркъ.—«Русск. Старина», кн. 12. (Объ отношеніяхъ къ Бѣлинскому, въ числѣ прочаго).

» — Григоровичъ, Д. Воспоминанія. Спб.

1897 — Каменскій. «Бѣлинскій и разумная дѣйствительность».—«Новое Слово», іюль, августъ, октябрь и ноябрь.

» — Станкевичъ, А. «Т. Н. Грановскій, его жизнь и переписка».—Изд. 2-ое. Спб.

» — Стороженко, Н. И. «Бѣлинскій и Шекспиръ,»—«Міръ Божій», № 3.

1898 — Альбомъ выставки въ память В. Г. Бѣлинскаго, 8—12 апрѣля 1898 г. 2-ое изд. М.

» — Захарьинъ-Якунинъ. «Бѣлинскій и Лермонтовъ въ Чембарѣ».—«Историч. Вѣстникъ», № 3.

» — «Семь статей В. Г. Бѣлинскаго». Подъ ред. П. Ефремова и В. Якушкина. Спб.

» — «Пятидесятилѣтняя память Бѣлинскаго».—«Вѣстникъ Европы», № 7, стр. 394—410. («Литерат. Обозр.»).
» — Адріановъ, С. «Наканунѣ Бѣлинскаго».—Спб.
» — Антоновичъ, М. «Воспоминанія по поводу чествованія памяти Бѣлинскаго».—«Русская Мысль». № 12.
» — А. Е. «Итоги дней Бѣлинскаго» —«Образованіе», № 9.
» — В. К. «Памяти Бѣлинскаго».—«Русск. Богатство», № 5.
» — Демидовъ, Н. П. «Бѣлинскій и московскій театръ 30-хъ годовъ».—«Русск. Богатство», № 6.
» — Кулябко, С. «Шевченко и Бѣлинскій».—«Научное обозрѣніе», № 8.
» — Мазаевъ, Н. «Національный трибунъ».—«Недѣля», № 5.
» — Соловьевъ, Евг. «Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ. (1810—1848).»—Спб.
» — Черновъ, В. «Былъ ли Бѣлинскій чуждъ русскому народу».—«Образованіе», №№ 7—8.
1899 — Богучарскій, В. «Загадочныя строки о В. Г. Бѣлинскомъ» въ журн. «Жизнь».
» — Будде, В. «Личность В. Г. Бѣлинскаго, какъ литературнаго дѣятеля».—«Вѣстн. Евр.», № 10.
» — Венгеровъ, С. А. Основныя черты исторіи новой русской литературы. Спб.
» — Вѣтринскій, Ч., ст. «Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Очеркъ его жизни и дѣятельности», см. въ его кн. «Въ сороковыхъ годахъ».—Спб.
» — Вѣтринскій, Ч. «Въ сороковыхъ годахъ. Историко-литературные очерки и характеристики».—М.
» — «Памяти В. Г. Бѣлинскаго». Литературный сборникъ, составленный изъ трудовъ русскихъ литераторовъ. Изд. Пензенской общественной библіотеки имени М. Ю. Лермонтова. М.—Здѣсь—рядъ статей, посвященныхъ характеристикѣ Бѣлинскаго и очеркамъ различныхъ сторонъ его дѣятельности (Стороженка, И. И. Иванова, В. Е. Якушкина, А. Н. Веселовскаго, Джаншіева, Острогорскаго, Михайловскаго, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, М. Филиппова), а также упоминаемые въ другомъ мѣстѣ и цитируемые «матеріалы для біографіи Бѣлинскаго».
» — Покровскій, В., В. Г. Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы». М.
» — Розановъ, В. «Литературные очерки».—Спб. Ст. «50 лѣтъ вліянія (юбилей Бѣлинскаго).»
1900 — Ашевскій, С. «Бѣлинскій и Григоровичъ».—«Образованіе». № 4.
» — Ивановъ, И. «Исторія русской критики», часть III. Спб.
» — Каллашъ, Вл. «Опытъ пересмотра нѣкоторыхъ спорныхъ вопросовъ о Бѣлинскомъ». М.
» — «На славномъ посту» (1860—1900). Литературный Сборникъ, посвященный Н. К. Михайловскому. Спб. 2-ое изд. (Литер. фонда), Спб., 1907. Здѣсь статья П. Н. Милюкова—«Надеждинъ и первыя критическія статьи Бѣлинскаго» (по поводу новаго изданія сочиненій Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова).
1902 — Милюковъ, П. Н. «Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ», см. въ его кн. «Изъ исторіи русской интеллигенціи».—Спб.
1904 — Михайловскій, Н. К. Ст. «Бѣлинскій—драматургъ», см. «Отклики», т. II, Спб., стр. 325—332.

1905 — Батуринскій, В., Герценъ, его друзья и знакомые. Спб.
» — Бельтовъ. За двадцать лѣтъ. Спб.
» — Бороздинъ, А. К. «Литературныя характеристики», т. II, Спб. (ст. «Бѣлинскій и послѣдующее развитіе русской критики»).
» — Веселовскій, А. «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ».—М., 1883.—Изд. 2-ое, М., 1896.—Изд. 3-е, М.
» — Соловьевъ, Евг. Опытъ философіи русской литературы. Спб. (Глава «Всходы реализма»).
1906 — Нелидовъ, Ѳ. Ѳ. «Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы», 1-я часть. М.
1907 — Венгеровъ, С. А. «Великое сердце. Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій». — «Русск. Богатство», 1898, №№ 3—5, 7. Вошла въ книгу автора «Очерки по исторіи русской литературы». Изд. «Свѣточа», Спб.
» — Ивановъ-Разумникъ, «Исторія русской общественной мысли», т. I, Спб.
« — Котляревскій, Н. А. Старинные портреты. Спб.

Болѣе общія указанія на литературу о Бѣлинскомъ въ связи съ его эпохой см. въ трудахъ А. Н. Пыпина—«Исторія русской литературы», т. IV, Спб. 1907 (3-е изд.); «Характеристики литературныхъ мнѣній», Спб., 1906; см. также книгу А. В. Мезіеръ—«Русская словесность съ XI по XIX ст.», ч. I—1899, ч. II—1902, Спб.

Не указываемъ изданій неудовлетворительныхъ (напр., кіевскихъ) и школьныхъ (подъ ред. гг. Сальникова, Ермилова, Чудинова, В. П. Острогорскаго, также изд. Суворина, Поповой и др.).

Укажемъ важнѣйшія изданія сочиненій Бѣлинскаго:

Собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго въ 12-ти том.—Изд. Солдатенкова, М. 1859—1861; 2-ое изд.—1861—75; 3-ье изд.—1867—84; 4-ое—1872—1892; 5-ое—1883—1893; 6-ое—1888—1895.

— Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго въ 4-хъ т. Дешевое изд. Ф. Павленкова, со статьей Н. К. Михайловскаго. Спб., 1896;—Изд. 2-ое, Спб. 1900.

— Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго въ 4-хъ т.—Изд. С. Мошкина. М. 1898.

— Н. Зинченко. «Систематическое собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Основанія его критики и отзывы о выдающихся произведеніяхъ литературы». 5 вып. Спб., 1899; изд. 2-ое. Спб., 1901. 5 вып.

— Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго въ 12-ти т., подъ ред. и съ прим. С. А. Венгерова.—Спб., 1900—1905. (Вышло 7 томовъ).

Въ нашей литературѣ нерѣдко заявлялись жалобы, особенно со стороны приверженцевъ добраго стараго времени, что мы мало знаемъ прошедшее и преданія нашей литературы и мало ими дорожимъ. Это замѣчаніе, очень справедливое относительно массы общества, требуетъ однако оговорокъ. «Неуваженіе къ преданіямъ» было, напримѣръ, въ сороковыхъ годахъ ходячей обвинительной фразой людей изъ прежнихъ литературныхъ поколѣній противъ новыхъ поколѣній; они (и ихъ новѣйшіе послѣдователи въ извѣстномъ лагерѣ) и послѣ продолжали повторять ее, хотя не разъ было указано, что эти самые люди всего меньше имѣли право поднимать такія обвиненія. Гдѣ они сами сберегли память событій, жизнеописанія лицъ, которыхъ были современниками и друзьями? Что сдѣлали они для біографіи Жуковскаго, Пушкина, Гоголя, не говоря о другихъ, также стоившихъ памяти писателяхъ? Они преспокойно молчали, когда люди другого поколѣнія предпринимали трудную работу мозаичнаго собиранія біографическихъ фактовъ, соединяли разбросанные клочки рукописей и комментировали ихъ — чуть не такимъ же способомъ, какъ ученые комментируютъ древнихъ авторовъ. Такимъ образомъ, сами хранители «преданій» прежде всѣхъ бывали виноваты, что преданія ихъ времени были мало извѣстны.

Въ другихъ случаяхъ бывали, однако, особыя причины, мѣшавшія сохраненію преданій. Всего любопытнѣе и важнѣе исторически, конечно, тѣ преданія, которыя относятся къ наиболѣе яркимъ личностямъ литературы, гдѣ сохраняются черты ихъ самобытнаго характера, ихъ преобразующихъ взглядовъ, ихъ дѣятельнаго вліянія на общество;—но къ сожалѣнію, многое именно изъ этого рода фактовъ, и крупныхъ, и мелкихъ, бывало недоступно для литературы. Если литература была связана въ этомъ отношеніи, если исторія общества была возможна только съ умолчаніями и исключеніями, то нѣтъ ничего удивительнаго, что преданія были рѣдки и біографія скудна.

Историческое или литературное преданіе есть, конечно, память не о мелкихъ анекдотахъ, но о цѣлой дѣятельности писателя, сознаніе историческаго смысла дѣятельности лица. Мы не усилимъ «преданія», разсказывая анекдоты о старинѣ (которыми нынче переполняется литература), осыпая ее панегириками. Истинное преданіе образуется только глубокою связью нравственно-общественнаго развитія, и такого преданія общество наше не было лишено, и не было къ нему равнодушно. Общество, и за нимъ литература, очень помнили, напримѣръ, главнѣйшихъ руководящихъ писателей новаго періода,—но имъ не трудно было забыть или даже не знать анекдотовъ, которые и не имѣли особенной исторической цѣнности, забыть писателей второстепеннаго или сомнительнаго качества. Приверженцы старины могутъ сокрушаться объ этомъ, но въ обществѣ, начинающемъ себя понимать, есть свой историческій инстинктъ, который указываетъ ему въ прошедшихъ дѣятеляхъ истинную заслугу и реставрируетъ ее, при первомъ удобномъ случаѣ, во всемъ ея значеніи, еслибы какія-нибудь особыя неблагопріятныя условія препятствовали ея непосредственному признанію и заявленію.

Такъ было съ Бѣлинскимъ. Когда онъ умеръ, внѣшнія условія были столь неблагопріятны для литературы вообще и относительно его въ частности, что едва возможно было сказать о немъ нѣсколько словъ сухого некролога. Годы прошли въ этомъ невольномъ молчаніи; но едва повѣяло въ жизни болѣе свѣжимъ воздухомъ, и литература нѣсколько освободилась отъ лежавшихъ на ней путъ, воспоминаніе о Бѣлинскомъ было однимъ изъ первыхъ и самыхъ задушевныхъ ея словъ. Несмотря на то, что наступала иная пора общественной жизни, сильно занявшая умы, и для литературы начинался новый періодъ, съ новыми увлекающими задачами, какихъ еще никогда не выпадало на ея долю; несмотря на то, что интересы чисто литературные, эстетическіе, которые занимали такъ много мѣста въ трудахъ Бѣлинскаго, теперь отступили на второй планъ,—несмотря на все это, воспоминаніе о Бѣлинскомъ было и въ самомъ обществѣ принято съ теплымъ сочувствіемъ: сочиненія Бѣлинскаго, вновь изданныя, опять перечитывались, — и разошлись въ обширномъ числѣ экземпляровъ.

Въ это время появились первыя біографическія воспоминанія о Бѣлинскомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ воспоминаній принадлежали его друзьямъ и людямъ, близко его знавшимъ, и личность Бѣлинскаго была изображена здѣсь болѣе или менѣе рельефно съ различныхъ сторонъ;—но до сихъ поръ не было полной его біографіи. Всего ближе можно было ожидать ея отъ его друзей. Но въ первое

время по его смерти, эта задача была немыслима: имя Бѣлинскаго было имя неудобное; уваженіе къ нему казалось признакомъ злонамѣренности; отношенія съ нимъ становились вопросомъ самосохраненія, и около этого времени, къ сожалѣнію, погибло не мало его переписки—брошенной въ огонь... Впослѣдствіи, отчасти вѣроятно новые интересы заслонили для друзей Бѣлинскаго прошедшее, — иные забыли это прошедшее и перестали цѣнить его; — отчасти могли устранить ихъ отъ этой задачи и другія соображенія, трудность собрать матеріалы, разрѣшать вопросы личныхъ отношеній, связанные съ біографіей, и т. п. Кромѣ того, біографическая задача остается до сихъ поръ трудной по соображеніямъ болѣе общаго характера. Время и дѣятельность Бѣлинскаго во многихъ случаяхъ очень тѣсно касаются извѣстнаго порядка идей, для котораго—въ условіяхъ нашей литературы—еще не наступила пора исторіи, или пора свободной критики и изложенія... Такъ или иначе, біографіи Бѣлинскаго не было до сихъ поръ написано. Указанныя выше воспоминанія его друзей и лицъ, его знавшихъ, доставляютъ цѣнныя подробности, но далеки отъ біографической полноты: біографу предстоитъ дополнить пробѣлы другими свѣдѣніями, собрать и разработать разсѣянную по рукамъ переписку Бѣлинскаго и т. п., —чтобы воспроизвести личность писателя въ послѣдовательномъ развитіи его характера и взглядовъ подъ многоразличными вліяніями общественной среды и подъ властью тѣхъ идеаловъ, проповѣдь которыхъ наполняла его литературную дѣятельность и дала, наконецъ, этой дѣятельности широкое общественное значеніе.

Предпринимая настоящій трудъ, мы не думаемъ сдѣлать что-либо полное и законченное, и хорошо видимъ всѣ трудности предлежащей задачи: и неполноту хотя довольно обширнаго, но еще недостаточнаго матеріала, которымъ имѣемъ возможность пользоваться; и упомянутую выше трудность, происходящую отъ близости времени, во многомъ еще слишкомъ родственнаго настоящему; и трудность излагать многія личныя отношенія, которыя отчасти не могли быть пока и опредѣлены съ достаточною точностью. Тѣмъ не менѣе, этотъ трудъ былъ для насъ привлекателенъ и казался необходимымъ: подводя итогъ тому, что было сдѣлано до сихъ поръ для біографіи Бѣлинскаго, и представляя новыя данныя по матеріаламъ, вновь нами собраннымъ, мы считаемъ свой трудъ предварительной разработкой, которая еще можетъ вызвать новыя воспоминанія тѣхъ, кому памятно описываемое время, и вообще послужить исходной точкой для настоящей, болѣе полной и всесторонней біографіи.

Особенной помощью въ этомъ трудѣ,—безъ которой въ сущ-

ности онъ не могъ бы и состояться,—послужило для насъ то сочувствіе, съ которымъ встрѣтили его современники той эпохи, живущіе съ нами друзья Бѣлинскаго, люди, его знавшіе или владѣющіе его рукописями: отъ однихъ изъ этихъ лицъ мы получили довольно значительное количество сохранившейся переписки Бѣлинскаго, остающейся неизданною и простирающейся отъ тридцатыхъ годовъ до послѣдняго года его жизни; другіе передали намъ свои личныя воспоминанія.

Мы излагали въ другомъ мѣстѣ нашъ взглядъ на историческое значеніе дѣятельности Бѣлинскаго и не будемъ здѣсь повторять его. Не будемъ также впередъ опредѣлять его личный характеръ, который выяснится изъ самыхъ фактовъ біографіи и собственныхъ выраженій Бѣлинскаго. Замѣтимъ одно: Бѣлинскій служитъ вообще въ высшей степени характеристическимъ представителемъ извѣстной стороны своего времени, извѣстныхъ требованій общественнаго развитія. Отъ природы это былъ человѣкъ, богато одаренный мыслью и чувствомъ, и нравственной энергіей; повидимому, трудно представить себѣ обстановку жизни, болѣе подавляющую, воспитаніе, болѣе предоставленное случаю и неблагопріятное для развитія этихъ дарованій;—и тѣмъ не менѣе, Бѣлинскій, почти юноша, не богатый свѣдѣніями и всегда чуждый ученой дисциплины, съ перваго твердаго шага открываетъ новый періодъ литературнаго сознанія и занимаетъ господствующее положеніе въ русской критикѣ. Это было одно изъ тѣхъ любопытныхъ явленій, гдѣ историческій процессъ выдвигаетъ своихъ дѣятелей какою-то будто стихійною силою, и гдѣ вслѣдствіе того самая дѣятельность лица получаетъ значеніе историческаго факта и прочнаго безповоротнаго пріобрѣтенія для общества. Такимъ образомъ, изученіе Бѣлинскаго становится изученіемъ цѣлаго литературнаго періода. Его дѣятельность критическая совпадаетъ, до удивительной параллельности, съ господствующими явленіями самой художественной литературы: Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ были писатели, которыхъ онъ привѣтствовалъ съ восторгомъ и съ которыми кончалось его скептическое отношеніе къ русской литературѣ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ поэтическая литература его времени переходила отъ общаго гуманистическаго содержанія и выработки формальной къ содержанію чисто національно-общественному, самая критика оставляла теоретическія отвлеченности чистаго искусства для разработки общественнаго содержанія. Эта послѣдняя точка зрѣнія, поставленная Бѣлинскимъ, подвергавшаяся столькимъ нареканіямъ со стороны приверженцевъ искусства для искусства, была совершенно послѣдовательнымъ выводомъ и въ его личномъ развитіи, и въ развитіи

самой литературы: мы не увидимъ въ этой точкѣ зрѣнія ничего исключительнаго, если сблизимъ ее съ тѣми идеями, которыя въ концѣ того періода становились общей мыслью лучшихъ людей, стоявшихъ тогда во главѣ нашей образованности.

ГЛАВА I.

Дѣтство и юношескіе годы.

До 1829.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій былъ родомъ изъ Пензенской губерніи. Фамилія его писалась собственно «Бѣлынскій»; такъ подписывались его родные въ письмахъ къ нему; самъ Бѣлинскій сталъ писать свою фамилію въ смягченной формѣ по выходѣ изъ гимназіи. Вѣроятно по складу этой фамиліи составилось предположеніе, что отецъ Бѣлинскаго былъ уроженецъ Польши или западныхъ губерній [1]). Предположеніе это было, однако, совсѣмъ невѣрно: фамилія происходила отъ села *Бѣлыни*, въ Нижнеломовскомъ уѣздѣ Пензенской губерніи [2]), и Бѣлинскій былъ вполнѣ русскій человѣкъ: «въ жилахъ его (по словамъ г. Тургенева) текла безпримѣсная

---

[1]) Такъ говорилъ о немъ, по словамъ Лажечникова, смотритель училища, гдѣ учился Бѣлинскій; но, — прибавлялъ будто этотъ смотритель, — «сынъ его Виссаріонъ родился въ нашихъ степяхъ, въ нашей вѣрѣ и былъ вполнѣ русскимъ». (См. воспоминанія Лажечникова, въ «Моск. Вѣстн.» 1859). Но эти свѣдѣнія не точны, и по свидѣтельству близкихъ Бѣлинскому людей, едва-ли и могъ сообщать это смотритель (Грековъ), который былъ пріятелемъ Бѣлинскаго-отца и вѣроятно зналъ довольно его происхожденіе. Лажечниковъ ошибался здѣсь (какъ и въ другихъ подробностяхъ), писавши воспоминанія долго спустя.

[2]) Такъ объясняется въ біографической запискѣ о дѣтствѣ Б., составленной нѣсколько лѣтъ назадъ его близкимъ родственникомъ, Д. П. Ивановымъ. Относительно фамиліи, одинъ изъ земляковъ Бѣлинскаго замѣчаетъ, что въ Пензѣ онъ еще не измѣнялъ фамиліи отца и всѣ его звали Бѣлынскимъ. «Но, неизвѣстно почему, по пріѣздѣ въ Москву, Бѣлинскій съ большою горячностью и настойчивостью сталъ требовать, чтобъ его называли Бѣлинскій, а не Бѣлынскій, — и настоялъ на своемъ!» (Воспоминаніе о Б., Н. Иванисова 2-го, «Моск. Вѣдомости» 1861, № 135; ср. Восп. Тургенева, В. Е., 1869, апр., стр 696).

кровь—принадлежность нашего великорусскаго духовенства, столько вѣковъ недоступнаго вліянію иностранной породы». Тамъ же, въ Пензенской губерніи, жила старая родня этого семейства. Дѣдъ Виссаріона, о. Никифоръ, былъ священникомъ въ селѣ Бѣлыни. Выростивъ дѣтей (у отца Бѣлинскаго было нѣсколько братьевъ и сестеръ), о. Никифоръ провелъ остатокъ жизни въ молитвѣ; въ преданіяхъ семьи осталась почтительная память о его благочестивой жизни [1])—его считали за праведника: удалившись отъ своихъ, онъ жилъ въ кельѣ аскетической жизнью. За дѣдомъ Бѣлинскаго, предки ихъ фамиліи теряются. Одинъ изъ сыновей о. Никифора, Григорій «Бѣлынскій» (отецъ Виссаріона) первоначальное воспитаніе получилъ, кажется, въ пензенской семинаріи, гдѣ вѣроятно и была дана ему эта фамилія, по извѣстному старинному обычаю—именовать вступающихъ семинаристовъ, не имѣющихъ особаго прозвища, по мѣстностямъ или селамъ, гдѣ они родились, если не по какимъ-нибудь другимъ примѣтамъ. Изъ семинаріи Г. Н. Бѣлынскій поступилъ въ петербургскую медицинскую академію, въ казенные студенты и, кончивши курсъ съ званіемъ лекаря, былъ опредѣленъ въ 1809 году на службу въ Балтійскій флотъ. Во время пребыванія въ Кронштадтѣ, Бѣлынскій женился на дочери какого-то флотскаго офицера, «безкорыстно отдавшись женскому кокетству» [2]). Флотскій экипажъ, въ которомъ находился на службѣ Бѣлынскій, стоялъ въ Свеаборгѣ, и здѣсь, въ 1810 году, въ февралѣ [3]), родился у него первый сынъ Виссаріонъ, и заочнымъ воспріемникомъ его былъ вел. кн. Константинъ Павловичъ. Впослѣдствіи, именно въ 1816 году, отецъ Бѣлинскаго перешелъ на службу въ родной край; онъ назначенъ былъ въ городъ Чембаръ уѣзднымъ врачемъ. Къ тому времени, когда Виссаріонъ учился въ школѣ, семья увеличилась: къ ней прибавилось еще два сына (Константинъ и Никаноръ) и дочь (Александра).

О домашней жизни, въ которой выросталъ Бѣлинскій, мы имѣемъ отзывы не вполнѣ сходные въ частностяхъ, но сходные въ общемъ неблагопріятномъ впечатлѣніи. Мы соберемъ эти свѣдѣнія, которыя даютъ въ итогѣ довольно ясное понятіе о домашней обстановкѣ Бѣлинскаго.

---

[1]) См. воспоминанія г-жи Щ., родственницы Бѣлинскихъ, въ газетѣ Погодина, «Русскій», 1868, № 15.

[2]) Воспоминанія г-жи Щ.

[3]) Такъ въ запискѣ Д. П. Иванова. Но Бѣлинскій, кажется, считалъ иначе время своего рожденія. Въ мартѣ 1846 г., онъ пишетъ къ В. П. Боткину (за границу): «Мая 30, а по вашему, по басурманскому, іюня 11-го стукнетъ мнѣ 36 лѣтъ».

Обращаемся сначала къ разсказамъ Д. П. Иванова, который былъ близкимъ родственникомъ, товарищемъ и однимъ изъ первыхъ друзей Виссаріона [1]). По словамъ его, матеріальныя средства семейства были въ среднемъ уровнѣ уѣздной жизни. У Бѣлинскихъ былъ свой, довольно просторный, домикъ съ обычными хозяйственными принадлежностями; прислуга состояла изъ семьи крѣпостныхъ дворовыхъ людей. Но жалованье уѣзднаго лекаря было очень небольшое; а практика въ уѣздѣ, кажется, довольно значительная, мало вознаграждалась деньгами, а всего чаще присылкой къ большимъ праздникамъ разной провизіи, причемъ особенной щедростью отличалась г-жа Владыкина, родная племянница Бѣлинскаго-отца, бывшая замужемъ за богатымъ помѣщикомъ. Подъ конецъ средства семьи стали еще уменьшаться, какъ вообще стали разстраиваться отношенія Бѣлинскаго-отца съ чембарскимъ обществомъ и самая домашняя жизнь. Это объясняютъ съ одной стороны его характеромъ, съ другой—несчастной слабостью, которой онъ сталъ больше и больше поддаваться. Это былъ, по своему, все-таки образованный человѣкъ и могъ стоять выше малограмотнаго уѣзднаго люда. Отъ многихъ предразсудковъ онъ былъ свободенъ и, склонный къ насмѣшливости, онъ не стѣснялся высказывать свои мнѣнія, которыя иногда казались слишкомъ рѣзкими. Въ религіозныхъ предметахъ, Григ. Ник., какъ говорятъ, пользовался репутаціей гоголевскаго Аммоса Өедоровича, и все грамотное населеніе города и уѣзда обвиняло его въ безбожіи, нехожденіи въ церковь, въ чтеніи Вольтера,—съ которымъ онъ, впрочемъ, соединялъ Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга. Недовѣрчивый и подозрительный, а вмѣстѣ лѣнивый и безпечный, онъ разошелся съ уѣзднымъ обществомъ; не находя и дома разумнаго сочувствія, онъ окончательно предался пьянству, и мало заботился о семьѣ; съ этимъ стала уменьшаться практика и средства; онъ неохотно брался за лѣченіе, обнаруживалъ притворство, гдѣ оно было, и кончилось тѣмъ, что помѣщичья публика стала избѣгать его; больные ѣздили лѣчиться въ сосѣдній Сердобскъ или въ извѣстное въ томъ краѣ богатое село Зубриловку;—практика почти совсѣмъ прекратилась съ появленіемъ бродившихъ тогда съ походными аптеками венгерцевъ (такъ называемыхъ цыцарцевъ или цесарцевъ) и съ водвореніемъ въ городѣ егерскаго полка. Бывали случаи, что онъ отказывался давать помощь и тамъ, гдѣ она была дѣйствительно необходима. Изъ писемъ, кото-

---

[1]) Мы имѣемъ въ рукахъ двѣ біографическія записки Иванова: одна, о дѣтствѣ Бѣлинскаго, писанная нѣсколько лѣтъ тому назадъ, упомянута выше; другая, главнымъ образомъ о пребываніи Бѣлинскаго въ гимназіи составлена имъ теперь по поводу и для дополненія нашего труда.

рыя Виссаріонъ получалъ впослѣдствіи изъ дома, видно, что отецъ дошелъ до такой болѣзненной раздражительности, что не ѣздилъ по приглашеніямъ изъ опасенія, что его собираются убить или совершить надъ нимъ насиліе. Въ послѣдніе годы онъ задумалъ совсѣмъ бросить службу въ Чембарѣ и переселиться куда-нибудь въ другое мѣсто.

По разсказамъ, какіе слышалъ на мѣстѣ и передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Лажечниковъ,—домашняя обстановка Бѣлинскаго была самая безотрадная. «Общество, которое дитя встрѣчало у отца, были городскіе чиновники, бо́льшею частію, члены полиціи, съ которыми уѣздный лекарь имѣлъ дѣло по своей должности (отъ которой ничего не наживалъ). Общество это видѣлъ онъ на-распашку, часто за ерофеичемъ и пуншемъ, слышалъ рѣчи, обращавшіяся болѣе всего около частныхъ интересовъ, приправленныя цинизмомъ взяточничества и мелкихъ продѣлокъ, видѣлъ во-очію неправду и черноту, не замаскированныя боязнью гласности, не закрашенныя лоскомъ образованности, видѣлъ и купленное за ведёрку крестное цѣлованіе понятыхъ и свидѣтельствованіе разнаго рода побоевъ и пр. и пр... Душа его, въ которую пала съ малолѣтства искра Божія, не могла не возмущаться при слушаніи этихъ рѣчей, при видѣ разнаго рода отвратительныхъ сценъ. Съ раннихъ лѣтъ накипѣла въ ней ненависть къ обскурантизму, ко всякой неправдѣ, ко всему ложному... Оттого-то его убѣжденія перешли въ его плоть и кровь, слились съ его жизнію... Прибавьте къ безотрадному зрѣлищу гнилого общества, которое окружало его въ малолѣтствѣ, домашнее горе, бѣдность, нужды, вѣчно его преслѣдовавшія, вѣчную борьбу съ ними, и вы поймете, отчего произведенія его иногда переполнялись желчью, отчего въ откровенной бесѣдѣ съ нимъ, изъ наболѣвшей груди его вырывались грозно обличительныя рѣчи, которыя, казалось, душили его»...

Но изъ того, что́ было сообщено передъ тѣмъ, видно уже отчасти, что отношенія Бѣлинскаго-отца къ уѣздному обществу были не совсѣмъ таковы, какъ по слухамъ говорилъ Лажечниковъ. Дѣйствительно, Ивановъ рѣшительно опровергаетъ этотъ разсказъ, насколько онъ касается Бѣлинскаго-отца. «Здѣсь вся рѣчь почтеннаго романиста, — говоритъ Ивановъ [1], — есть не что иное какъ общія мѣста: никогда никакихъ попоекъ ни съ какими чинами полиціи въ домѣ Григ. Никиф. не бывало. Онъ всегда держался вдали отъ этого общества, надъ которымъ возвышался умомъ, образованіемъ, нравственными убѣжденіями. Эти чины полиціи со-

[1]) Вторая біографическая записка.

стояли изъ исправника и засѣдателей, выбиравшихся изъ дворянъ Чембарскаго уѣзда. Не всѣ изъ нихъ были воры, мошенники и пьяницы; штабъ-лекарь входилъ въ соприкосновеніе съ ними по дѣламъ, требовавшимъ медицинскаго изслѣдованія, но не участвовалъ въ ихъ продѣлкахъ, еслибы онѣ были. По разсказу Лажечникова читатель можетъ заподозрить отца Бѣлинскаго въ солидарности съ ними, чего быть не могло. Крестное цѣлованіе понятыхъ, покупаемое за ведро вина, есть не болѣе какъ ходульное преувеличеніе. Вѣрнѣе сказать, на Виссаріона сильно дѣйствовали разсказы отца и городскіе слухи о разныхъ продѣлкахъ чиновъ полиціи. Его сильно возмущала тиранія помѣщиковъ съ крѣпостными людьми». Эти послѣднія вещи Бѣлинскій самъ близко видѣлъ у знакомыхъ сосѣдей-помѣщиковъ, и, напр., остерегалъ одну изъ своихъ молодыхъ родственницъ, съ которой былъ очень друженъ, отъ общенія съ однимъ изъ такихъ помѣщичьихъ семействъ. «Крайней бѣдности Бѣлинскій въ малолѣтствѣ тоже не испыталъ». Бѣдность началась для него позднѣе...

Отношенія между родителями съ самой ихъ женитьбы были далеко не мирныя. Различіе характеровъ и понятій, хозяйственныя нужды, на которыя у отца недоставало денегъ, подавали поводъ къ раздорамъ, которые вовсе не были назидательны для дѣтей; мать не умѣла сдерживать своей раздражительности, отецъ или молчалъ на ея брань или отвѣчалъ шутками, которыхъ она не могла ни понять, ни вынести, или раздражался самъ и тогда начинались настоящія бури, отъ которыхъ домашніе буквально бѣжали изъ дому. «У жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссаріонъ Григ. принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачихою»,—разсказываетъ очевидецъ, изображая домашній бытъ этого семейства. «Не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ, и дѣтство его, эта веселая, беззаботная пора, было исполнено тревогъ и огорченій столько же, сколько и позднѣйшіе возрасты, и надобно было имѣть ему много воли, много любви, чтобы выдти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями».

Мы возвратимся дальше къ этимъ домашнимъ отношеніямъ, которыя не переставали тяготѣть надъ Бѣлинскимъ и тогда, когда онъ уже покинулъ родной кровъ, столько для него непріютный.

При всемъ томъ, Виссаріонъ, которому не одинъ разъ случалось переносить дикія вспышки отца, былъ — по словамъ Иванова—любимымъ сыномъ отца, который «съ самой ранней поры даровитаго ребенка, не могъ не отличить и остроумія рѣчей, и страсти къ чтенію и пытливой любознательности, съ которою маль-

чикъ прислушивался къ разсказамъ отца о прошедшемъ, къ его сужденіямъ о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе». По словамъ Иванова, между ними была симпатія, благодѣтельно дѣйствовавшая на обоихъ въ рѣзкихъ случаяхъ жизни,—и дѣйствительно, мы увидимъ, что Виссаріонъ, еще юноша, въ виду домашнихъ несогласій, сталъ заявлять свой голосъ, высказывать отцу свои укоры, и отецъ выслушивалъ ихъ, не негодовалъ, но оправдывался: очевидно, голосъ сына онъ принималъ съ уваженіемъ. «Виссаріонъ Григ. и лицомъ болѣе всѣхъ дѣтей походилъ на отца, и одинъ только ростъ наслѣдовалъ отъ матери». Мать была женщина, какъ говорятъ, добрая, но мало развитая, раздражительная и сварливая; ея образованіе ограничивалось посредственнымъ знаніемъ грамоты. Вся забота ея заключалась въ томъ, чтобы прилично одѣть и, особливо, сытно накормить дѣтей: когда Виссаріонъ жилъ въ Москвѣ, она еще снабжала его теплыми фуфайками и копчеными гусями, посылаемыми съ «оказіей». Пріобрѣтенная дома страсть къ жирной, неудобоваримой пищѣ, какъ говорятъ, усиливала у Виссаріона золотушное расположеніе и была причиной постоянныхъ болѣзней желудка, и вообще вредила его здоровью.

Въ другомъ мѣстѣ Ивановъ разсказываетъ [1]), что «по природѣ своей Виссаріонъ ближе подходилъ къ отцу, чѣмъ къ матери. Высокія нравственныя черты характера, прямодушіе, стойкость убѣжденій, наклонность къ шуткамъ, насмѣшкѣ наслѣдовалъ онъ отъ отца; доброе чадолюбивое сердце (Бѣлинскій очень любилъ маленькихъ дѣтей), вспыльчивость, раздражительность, неумѣренный темпераментъ перешли къ нему отъ матери. Я увѣренъ, что тайная симпатія Виссаріона принадлежала отцу»...

Къ этимъ свѣдѣніямъ, идущимъ отъ близкихъ родныхъ, можемъ прибавить еще воспоминанія г-жи Щ., судившей болѣе строго, но знавшей довольно хорошо домашнюю обстановку Бѣлинскаго. Объ отцѣ его она разсказываетъ:

«Это былъ человѣкъ съ насмѣшливымъ умомъ, беззаботнымъ, честнымъ и прямымъ характеромъ, часто жертвовавшій общественными и семейными выгодами своему юмористическому направленію, отчасти либеральному, отчасти семинарскому. Онъ вынесъ изъ школы идеи, заброшенныя первою французской революціей (?), и здравый взглядъ на литературу. Отдавая должную дань почтенія европейскимъ талантамъ первой величины, начиная съ Шиллера и проч., онъ довольно мѣтко и цинически-добродушно смѣялся надъ гордившимся своими зачерствѣлыми предразсудками провин-

---

[1]) Вторая біографическая записка.

ціальнымъ обществомъ Чембара... Идеи отца имѣли большое вліяніе на религіозное и нравственное развитіе Виссаріона. Жена Григорія Бѣлинскаго съ самаго начала супружеской жизни внушила ему къ себѣ равнодушіе своимъ неистово-бѣшенымъ нравомъ, своенравною независимостію и неразвитостію: не имѣя злого сердца, она соединяла въ своемъ характерѣ задорливость съ безкорыстнымъ прямодушіемъ, при самыхъ обыкновенныхъ способностяхъ, и представляла собою типъ Екатерининскаго вѣка, когда идолопоклонство чинамъ и общественнымъ званіямъ замѣняли вѣру въ человѣческое достоинство. Мужъ-*поповичъ*, какія бы ни были его личныя достоинства, долженъ былъ, по ея понятіямъ, работать для своей семьи, не забывая должнаго поклоненія своей женѣ, дочери флотскаго офицера, которая была въ состояніи посѣщать гостиныя провинціальныхъ барынь, окруженныхъ вассалками-чиновницами... Мужъ, для спасенія независимости, оттолкнулся отъ семьи, заключившись въ кругу чиновнически уѣзднаго разгула. Семейная жизнь ихъ сдѣлалась рядомъ непріязненныхъ столкновеній; неистовые упреки жены за безпечность мужъ встрѣчалъ насмѣшливымъ равнодушіемъ...; дѣти, постоянные свидѣтели бурныхъ домашнихъ сценъ, по взгляду матери, стали представлять отца въ видѣ тирана, лишающаго ихъ насущныхъ потребностей жизни. Часто Виссаріонъ (бывши уже гимназистомъ) декламировалъ свою ненависть къ отцу отчаянно восторженными возгласами героевъ Шиллера».

Свое ученье Бѣлинскій началъ не дома. Въ Чембарѣ до пятидесятыхъ годовъ существовала привилегированная учительница русской грамоты, дочь мѣстнаго чиновника, нѣкая Ципровская. Такія учительницы бывали не рѣдки у насъ еще съ восемнадцатаго столѣтія и до очень недавняго времени; учительство, конечно, только первоначальное, составляло обыкновенно ихъ исключительную профессію и средство существованія, и приносило не малую пользу, когда въ провинціальныхъ захолустьяхъ не было ни достаточныхъ школьныхъ средствъ обученія, ни достаточно охоты и умѣнья къ этому въ семьяхъ. Ципровская обучила первой грамотѣ цѣлыя поколѣнія. Выучившись у нея чтенію и письму, Бѣлинскій, кажется, продолжалъ нѣсколько учиться и дома, гдѣ отецъ началъ учить его по-латыни. Болѣе правильныя занятія начались для Бѣлинскаго съ открытіемъ въ Чембарѣ уѣзднаго училища. На первое время весь педагогическій штатъ заведенія состоялъ изъ одного смотрителя (Абрама Григ. Грекова), который былъ преподавателемъ по всѣмъ предметамъ: этотъ смотритель былъ,—какъ говоритъ Ивановъ, поступившій въ училище въ одно время съ Бѣлинскимъ,—человѣкъ добрый и кроткій. Вскорѣ прибавились новые

учители—одинъ, для закона божія, соборный священникъ; другой для русскаго языка—сынъ другого соборнаго священника, исключенный изъ семинаріи (Василій Рубашевскій). Этотъ послѣдній «былъ страстный любитель наказаній, розогъ, которыя онъ употреблялъ иногда въ видѣ ласки, наказывая ими сквозь платье, ради личной потѣхи, совершенно невиннаго и прилежнаго мальчика; отодравши его немилосердно, старался потомъ успокоить поцѣлуями и щекоткою. Когда родители выговаривали учителю за эти выходки, онъ извинялся будущею пользою, плѣнившись, вѣроятно, системою спартанскаго воспитанія или обычаями своей бурсы. Благородное негодованіе на этотъ вандализмъ Виссаріона возбудило энергическія жалобы къ смотрителю со стороны Григорія Никиф... Надобно замѣтить, что Виссаріонъ никогда не былъ предметомъ этихъ дикихъ любезностей бурсака-учителя и вмѣшался въ дѣло не столько по участію къ товарищамъ, которые были моложе его классомъ, но потому, что находилъ подобные поступки возмутительными». Преподаваніе въ училищѣ совершалось въ духѣ патріархальной простоты. Учители не затруднялись оставлять учениковъ на произволъ судьбы, отправляясь домой для жертвоприношеній Бахусу, а ученики, въ лѣтнее время, иногда цѣлымъ училищемъ уходили купаться.

Здѣсь, въ этомъ уѣздномъ училищѣ, видѣлъ Бѣлинскаго извѣстный Лажечниковъ, бывшій тогда директоромъ училищъ пензенской губерніи (съ конца 1820 года): мальчикъ Бѣлинскій уже тогда бросился ему въ глаза особенной независимостью своей манеры и живостью ума.

«Въ 1823 году,—разсказываетъ Лажечниковъ,—ревизовалъ я чембарское училище. Новый домъ былъ только-что для него отстроенъ. (Въ этомъ ли домѣ, или во вновь построенномъ послѣ бывшаго пожара, не знаю хорошо, жилъ нѣсколько времени блаженныя памяти императоръ Николай Павловичъ, по случаю болѣзни своей отъ паденія изъ экипажа на пути близъ Чембара). Во время дѣлаемаго мною экзамена, выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтлѣлся разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленькій, онъ, между тѣмъ, на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьёзно... На всѣ дѣлаемые ему вопросы, онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностію, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ, бо́льшею частію, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя

въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говоритъ не слово въ слово по учебной книжкѣ (какъ я привыкъ видѣть и съ чѣмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. «Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ здѣшняго уѣзднаго штабъ-лекаря», сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевною теплотой привѣтствовалъ его, тутъ же потребовалъ изъ продажной библіотеки какую-то книжонку, на заглавномъ листѣ которой подписалъ «Виссаріону Бѣлинскому за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то». Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себѣ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства».

Въ августѣ 1825, Бѣлинскій перешелъ изъ чембарскаго училища въ пензенскую гимназію. Въ январѣ 1829, въ гимназическихъ вѣдомостяхъ о Бѣлинскомъ было отмѣчено, что за нехожденіе въ классъ не рекомендуется, а въ февралѣ того же года онъ былъ вычеркнутъ изъ списковъ, съ отмѣткой: «за нехожденіе въ классъ» [1]).

Причиной «нехожденія» и навлеченнаго имъ исключенія изъ гимназіи не была простая лѣность ученика, который еще въ уѣздномъ училищѣ удивлялъ серьёзностью своихъ понятій и свѣтлымъ умомъ. Виновата была прежде всего сама гимназія.

О гимназическомъ ученьи Бѣлинскаго мы сопоставимъ разсказы Лажечникова и Иванова, который былъ въ гимназіи однимъ классомъ моложе Бѣлинскаго, и жилъ вмѣстѣ съ нимъ.

Картина гимназіи, нарисованная Лажечниковымъ (нѣсколько времени управлявшимъ гимназіей), представляетъ учебную ея дѣятельность въ очень неблестящемъ видѣ. Преподаваніе велось по домашнему, спустя рукава. Первая сцена, которую вновь пріѣхавшій директоръ встрѣтилъ въ гимназіи (незадолго передъ вступленіемъ туда Бѣлинскаго), было—«погребеніе кота мышами», какъ объяснили ученики: они всей ватагой выносили на рукахъ изъ класса учителя

---

[1]) Его гимназическія отмѣтки, въ 3-мъ классѣ, были: изъ алгебры и геометріи 2, изъ исторіи, статистики и географіи 4, изъ латинскаго языка 2, изъ естественной исторіи 4, изъ русской словесности и славянскаго языка 4, во французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ отмѣченъ, что не учился.—Высшій балъ былъ въ то время 4.

словесности,—можно догадаться, въ какомъ положеніи. Эта сцена давала понятіе объ остальныхъ порядкахъ. Правда, къ тому времени, когда вступилъ въ гимназію Бѣлинскій, составъ учителей нѣсколько поправился, но и въ его время преподаваніе хромало. Напримѣръ, въ томъ предметѣ, который уже съ этихъ поръ привлекалъ къ себѣ всѣ интересы Бѣлинскаго, въ русской словесности:—

«На мѣсто кота, котораго погребли мыши, поступилъ школяръ и педантъ въ высшей степени. Онъ твердо зазубрилъ всѣ возможныя реторики, русскія и латинскія, и даже вздумалъ-было преподавать одну изъ нихъ по іезуитскому руководству Лежая [1]). Бóльшею частію забивалъ онъ учениковъ хитрыми упражненіями на фигурахъ и тропахъ, какъ будто училъ выдѣлывать изъ словъ разные фокусы. Разумѣется, по тогдашнему, онъ училъ и «изобрѣтать» по извѣстнымъ вопросамъ: кто, что и т. д. Бѣлинскій былъ долго подъ ферулой его, какъ учителя русской словесности и исправлявшаго, нѣкоторое время, по старшинству, должность директора училищъ, но, съ врожденной ему энергіей, не поддался ей. Вѣроятно, съ того времени реторика ему и опротивѣла».

Но въ гимназіи нашелся, однако, человѣкъ, непохожій на этихъ педагоговъ. Это былъ учитель естественной исторіи, М. М. Поповъ, одно время преподававшій и словесность въ высшемъ классѣ, «кладъ для гимназіи», по словамъ Лажечникова, человѣкъ — съ любовью къ наукѣ, особенно къ литературѣ, съ свѣтлымъ умомъ и основательнымъ образованіемъ соединявшій теплое сердце и поэтическую душу. Его вліяніе и сочувствіе, какъ говорятъ, въ особенности помогли Бѣлинскому, въ этой скудной образованіемъ средѣ, воспитать свою любовь къ литературѣ, съ которой было связано все его нравственное существованіе.

Впослѣдствіи Поповъ оставилъ учебную службу и Пензу, переѣхалъ въ Петербургъ, и до конца сохранилъ къ Бѣлинскому дружеское отношеніе—какъ ни далеко развела ихъ судьба на жизненномъ поприщѣ: во время петербургской жизни Бѣлинскаго, Поповъ былъ уже чиновный человѣкъ; онъ служилъ въ III отдѣленіи Собственной Е. И. В. Канцеляріи [2]).

Разсказъ М. М. Попова, приведенный Лажечниковымъ въ его воспоминаніяхъ, даетъ такія свѣдѣнія о гимназическомъ ученіи Бѣлинскаго и его тогдашней нравственной физіономіи.

[1]) Этотъ «Лежай» (т.-е. Лежэ) вмѣстѣ съ не менѣе знаменитымъ Бургіемъ, образчики старой схоластической реторики, до очень недавняго времени господствовали безраздѣльно въ семинарскомъ преподаваніи.

[2]) Поповъ умеръ въ Петербургѣ около 1868, въ чинѣ тайнаго совѣтника, состоя многіе годы на службѣ старшимъ чиновникомъ названнаго учрежденія.

«...Впрочемъ, зачѣмъ перечислять учителей? Нѣкоторые изъ нихъ были ученые люди, съ познаніями, да умъ Бѣлинскаго-то мало выносилъ познаній изъ школьнаго ученія. Къ математикѣ онъ не чувствовалъ никакой склонности; иностранные языки, географія, грамматика и все, чтó передавалось по системѣ заучиванья, не шли ему въ голову: онъ не былъ отличнымъ ученикомъ, и въ одномъ, которомъ-то, классѣ просидѣлъ два года.

«Надобно, однакожъ, сказать, что Бѣлинскій, несмотря на малые успѣхи въ наукахъ и языкахъ, не считался плохимъ мальчикомъ. Многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память; многое онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще больше въ немъ набиралось свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи. Бывало, поэкзаменуйте его, какъ *обыкновенно* экзаменуютъ дѣтей,— онъ изъ послѣднихъ; а поговорите съ нимъ дома, по дружески, даже о точныхъ наукахъ—онъ первый ученикъ. Учителя словесности были не совсѣмъ довольны его успѣхами (но мы видѣли сейчасъ, каковы и бывали эти учителя), но сказывали, что онъ лучше всѣхъ товарищей своихъ писалъ сочиненія на заданныя темы».

Въ то время, когда Бѣлинскій былъ въ гимназіи, всѣхъ классовъ было четыре (нынѣшніе высшіе классы). Поповъ преподавалъ естественную исторію, которая началась въ 3-мъ, такъ что Бѣлинскій учился у него только въ двухъ высшихъ классахъ; но Поповъ зналъ его и раньше, потому что Бѣлинскій былъ друженъ со своимъ товарищемъ, племянникомъ Попова, и иногда бывалъ въ его домѣ. «Онъ бралъ у меня книги и журналы, — разсказываетъ Поповъ,—пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неровный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ».

Дѣло въ томъ, что и учитель, и ученикъ, оба были страстные любители литературы. Одинъ забывалъ о предметѣ своего преподаванія, другой забывалъ обо всѣхъ, и они толковали только о литературѣ. «Домашнія бесѣды наши,—разсказываетъ Поповъ,—продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гимназіи. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университетѣ я шелъ по филологическому факультету и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себѣ, чтó иногда происходило въ классѣ естественной исторіи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сидѣлъ такой же страстный къ сло-

весности ученикъ. Разумѣется, начиналъ я съ зоологіи, ботаники или ориктогнозіи и старался держаться этого берега, но съ средины, а случалось и съ начала лекціи, отъ меня ли, отъ Бѣлинскаго ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона натуралиста я переходилъ къ Бюффону писателю, отъ Гумбольдтовой географіи растеній къ его «Картинамъ природы», отъ нихъ къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру въ сочиненіяхъ Тацита и Шекспира, къ поэзіи въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго... А гербаризація? Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засѣки, чтó позади городского гулянья, или до рощей, чтó за рѣкой Пензой, Бѣлинскій пристаетъ ко мнѣ съ вопросами о Гёте, Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя сердца».

Воспоминанія Иванова нѣсколько сглаживаютъ неблагопріятные отзывы, приведенные выше. Онъ справедливо замѣчаетъ, что пензенская гимназія не представляла чего-нибудь исключительнаго, какъ Лажечниковъ судилъ по новымъ сравненіямъ. Такова была обычная средняя мѣрка тогдашняго гимназическаго ученья въ провинціи,—но мѣрка все-таки неблагопріятная.

«Недостатки, вредившіе пензенской гимназіи,—говоритъ Ивановъ,—принадлежали не исключительно ей одной: они были повсемѣстны и отъ нихъ въ равной степени страдали всѣ однородныя съ нею учебныя заведенія. Главнѣйшею причиною неустойчивости тогдашнихъ гимназій былъ недостатокъ въ способныхъ и особенно опытныхъ преподавателяхъ. Да откуда и взять было ихъ, когда въ самыхъ университетахъ порядочные профессора были рѣдкость? И чѣмъ могла привлекать къ себѣ гимназія?» Матеріальная обстановка учителей была незавидна, другихъ средствъ къ увеличенію содержанія не было; гимназія манила тогда скорѣйшей возможностью получить ассессорскій чинъ, въ то время «толико вожделѣнный», по выраженію Нахимова, дававшій право на полученіе дворянства; казенные студенты университетовъ прослуживали обыкновенно только обязательный срокъ и затѣмъ выходили. Опытные педагоги были поэтому рѣдки, и дѣло велось по заведенной рутинѣ и спустя рукава. Тѣмъ не менѣе между учителями времени Бѣлинскаго были люди, достойные уваженія. Таковы были двое изъ учителей математики (Ляпуновъ, Протопоповъ), учитель латинскаго языка (Димитревскій), люди, и знавшіе свое дѣло, и умѣвшіе передавать предметъ, отчасти умѣвшіе и привязывать къ себѣ учениковъ своей вѣжливостью и добродушіемъ; учитель грамматики, реторики и ло-

...ски (Яблонскій), человѣкъ уже пожилой, былъ дѣйствительно ...ой любитель старой реторики, какъ его описываетъ Лажечни ...ученики мало узнали отъ него русскій языкъ: но Ивановъ ...ъ, однако, и этого педагога подъ свою защиту. «Виноват ... этотъ усердный почитатель Лежэ въ томъ, что училъ, ...ли его самого и какъ почти повсемѣстно учили тогда въ ...іяхъ? Надобно припомнить при этомъ, что въ славнѣйше ...ѣйшемъ университетѣ—московскомъ — въ началѣ тридца ...въ занималъ каѳедру словесности для студентовъ перваго ...о курса П. В. Побѣдоносцевъ, толковавшій не лучше Я ...го и. объ источникахъ изобрѣтенія, о хріяхъ ординарныхъ и ...щенныхъ; припомнить надобно, что пресловутая реторика ...скаго, по которой училъ Яблонскій, красовалась въ про ...ахъ, изданныхъ для поступающихъ въ московскій универси ...едва ли не до пятидесятыхъ годовъ». Новые языки преподав ...были очень плохо (какъ обыкновенно въ тогдашнихъ гимназі ...нѣмецкому Бѣлинскій вовсе не учился; французскій препода ...по системѣ заучиванія наизусть грамматики и вокабулъ. «Са ...мирнымъ характеромъ отличалось преподаваніе географіи, с ...стики и. исторіи. Знаменскій, учитель этихъ предметовъ... не ...дилъ изъ предѣловъ избранныхъ руководствъ, и удовлетво ...буквальными отвѣтами по книгѣ; но съ особенною похвалою и ...бреніемъ относился онъ къ тому ученику, который дополнялъ разсказъ какими нибудь новыми подробностями, сохранивш... въ его памяти отъ прочитаннаго имъ нѣкогда другого руково... или книги». Наконецъ, съ наибольшимъ сочувствіемъ говорят... споминанія Иванова объ упомянутомъ выше М. М. Поповѣ: ... умѣлъ придать своимъ урокамъ величайшій интересъ для учени... и оказывалъ большое нравственное вліяніе не только на них... и на самихъ учителей.

Итакъ, не было недостатка въ хорошихъ людяхъ и пор...ныхъ педагогахъ между учителями, но преподаваніе было все... не удовлетворительно—по отсутствію правильныхъ методовъ, ...статочнаго контроля и особенно по совершенному прекращені... долго преподаванія нѣкоторыхъ предметовъ вслѣдствіе выхода ...телей изъ заведенія. Понятно, что все это должно было дѣй...вать вредно на ходъ занятій даже у самыхъ прилежныхъ учени...

Бѣлинскій поступилъ въ гимназію съ хорошей предвари...ной подготовкой въ чембарскомъ училищѣ. Онъ пробылъ въ г...зіи три съ половиной года. Онъ правильно перешелъ изъ пе... класса во второй; за ученье во второмъ получилъ награду...

[1]) У Иванова сберегалась (въ 1876) эта награда—книга, выданн...

учился дѣйствительно хорошо по тѣмъ предметамъ, за которые дали ему награду. У него была большая память; онъ помнилъ много стиховъ, которые были для него всегда готовыми примѣрами на реторическія «фигуры»; онъ хорошо понималъ формулы логики и т. п., у товарищей онъ слылъ «философомъ». По исторіи и географіи онъ былъ лучшимъ ученикомъ; учитель географіи, упомянутый выше Знаменскій, съ любопытствомъ выслушивалъ тѣ собственныя дополненія, какія дѣлалъ Бѣлинскій въ своихъ отвѣтахъ, къ учебнику. «Бѣлинскій по своей начитанности и мастерскому изложенію лучше всѣхъ удовлетворялъ этой наивной любознательности учителя, который по окончаніи разсказа всегда бывало говаривалъ: хорошо, очень хорошо, очень вамъ благодаренъ. Скажите, откуда вы это вычитали? И когда Бѣлинскій называлъ источникъ, учитель снова разсыпался въ похвалахъ... Географіей Бѣлинскій издѣтства охотно занимался: едва ли не съ училища онъ зналъ на перечетъ города Россійской Имперіи и принадлежность ихъ къ той или другой губерніи; и впослѣдствіи всѣ московскія квартиры его постоянно украшались картами всѣхъ частей свѣта и, сверхъ того, Россіи особенно». Онъ хорошо учился и по латыни. Французскій языкъ шелъ слабо въ цѣлой гимназіи.

Почему же Бѣлинскій не кончилъ курса? «Назвать его плохимъ ученикомъ было невозможно, — говоритъ Ивановъ; — подозрѣвать его въ лѣни и нерадѣніи было бы грѣхомъ:' ни одна минута не пропадала у него даромъ: онъ или читалъ или списывалъ что-нибудь въ тетрадь (съ этого времени онъ дѣлалъ цѣлые сборники стиховъ) или бесѣдовалъ съ дѣльными людьми или предавался въ одиночку размышленіямъ. Чѣмъ же объяснить охлажденіе его къ ученію и преждевременный, до окончанія курса, выходъ изъ гимназіи? Все это объясняется очень простою причиною; еще въ 1828, Бѣлинскій задумалъ поступить въ университетъ. Въ это время ему было 17, и даже 18 лѣтъ, слѣд. возрастъ не мѣшалъ его вступленію. Одни ограниченныя свѣдѣнія, пріобрѣтенныя имъ въ гимназіи, могли пугать его, но съ этой стороны онъ могъ успокоиться, во-первыхъ, возможностью подготовиться дома; во-вторыхъ, всего болѣе—нетрудностію вступительнаго экзамена, въ которой увѣ-

«торжественномъ собраніи» 26 іюня 1827 года—ученику 2-го класса, Виссаріону Бѣлинскому, за благонравіе и успѣхи изъ логики и реторики, исторіи и географіи. Должность директора правилъ тогда Димитревскій. Выборъ книги довольно забавенъ; это было «Руководство къ механикѣ, изданное для народныхъ училищъ» (2 изд. 1790). Это все еще были залежавшіеся остатки книгъ, разосланныхъ по училищамъ при Екатеринѣ II. Другихъ книгъ для наградъ гимназія не имѣла.

рили его земляки-студенты московскаго университета, пріѣзжавшіе въ Пензу и въ Чембаръ на вакаціи». Занятый этой мыслью, Бѣлинскій пересталъ думать о гимназіи; притомъ, за недостаткомъ учителей терялось много времени, а затѣмъ, со вступленіемъ новаго директора (Протопопова) начались непривычныя для гимназистовъ строгости. Въ третій учебный годъ (1827—28) Бѣлинскій сталъ рѣже посѣщать классы, кажется, не держалъ переходнаго экзамена, надѣясь ѣхать въ Москву; но надежда не исполнилась; послѣ вакаціи, онъ долженъ былъ продолжать ученье въ томъ же 3-мъ классѣ. Къ Рождеству (1828) онъ уѣхалъ въ Чембаръ и уже не возвращался въ гимназію; въ началѣ слѣдующаго года его вычеркнули изъ списковъ.

Въ воспоминаніяхъ Попова мы находимъ замѣчанія о Бѣлинскомъ за это время:

«Въ гимназіи, по возрасту и возмужалости, Бѣлинскій во всѣхъ классахъ былъ старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измѣнилась впослѣдствіи; онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его между хорошенькими личиками другихъ дѣтей казались суровыми и старыми. На вакаціи онъ ѣздилъ въ Чембаръ; но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу».

Впечатлѣніе Попова объ отсутствіи женскаго призора было очень справедливо. Одинъ изъ товарищей Бѣлинскаго, Иванисовъ, разсказывая о тогдашней жизни Бѣлинскаго, изображаетъ его обстановку какъ настоящую нищету:

«Въ Пензѣ,—говоритъ Иванисовъ,—Бѣлинскій жилъ въ большой бѣдности; зимой ходилъ въ нагольномъ тулупѣ; на квартирѣ жилъ въ самой дурной части города, вмѣстѣ съ семинаристами; мебель имъ замѣняли квасные боченки». Тотъ же свидѣтель разсказываетъ, что литературныя познанія Бѣлинскаго были тогда (т.-е., конечно, въ первые гимназическіе годы) очень ограниченны: «онъ спорилъ съ семинаристами о достоинствѣ произведеній Сумарокова и Хераскова и восхищался романами Радклифъ. Изъ дома моего отца Бѣлинскій впервые получилъ, для чтенія, романы Вальтеръ-Скотта, на русскомъ языкѣ, и произведенія лучшихъ нашихъ

писателей». Романами Радклифъ Бѣлинскій тогда въ особенности восхищался.

Съ тѣхъ же поръ и при такихъ же скудныхъ средствахъ проявлялась впервые и другая страсть Бѣлинскаго, которая впослѣдствіи развилась до такого поглощающаго увлеченія—театръ. «Онъ страстно любилъ театральныя зрѣлища,—разсказываетъ Иванисовъ,—и часто посѣщалъ пензенскій театръ, который содержалъ тогда помѣщикъ Гладковъ. Актеры и актрисы были — его крѣпостные люди, бóльшею частью пьяницы. Помню, что лучшія изъ этихъ дѣйствующихъ лицъ были извѣстны подъ именами *Гришки, Данилки* и *Мишки*. Гришка *Сулейманов* былъ трагическій актеръ и часто отличался въ роли *Димитрія Самозванца* (Сумарокова), возглашая:

Ступай, душа, во адъ, и буди вѣчно плѣнна!
О, еслибы со мной погибла вся вселенна!»

Приведенныя показанія о «нищетѣ» Бѣлинскаго объясняются въ свѣдѣніяхъ Иванова такимъ образомъ. За исключеніемъ перваго года, Ивановъ все время пребыванія Бѣлинскаго въ Пензѣ жилъ вмѣстѣ съ нимъ. У ихъ родителей не было въ Пензѣ такихъ знакомыхъ, гдѣ бы они могли помѣстить ихъ удобно; но были земляки-чембарцы, два семинариста старшихъ курсовъ (отправившіеся потомъ въ казанскій университетъ); заботливости ихъ и поручены были гимназисты. Семинаристы, вмѣстѣ съ другими товарищами, занимали домикъ въ одну большую комнату; на томъ же дворѣ, въ другомъ домикѣ, занимали одну комнату Бѣлинскій съ своимъ товарищемъ, Ивановымъ. Земляки жили очень дружно; обстановка была дѣйствительно очень проста, особенно у семинаристовъ (гдѣ вѣроятно Иванисовъ и видѣлъ Бѣлинскаго), но назвать это нищетой было бы много. Въ главныхъ своихъ потребностяхъ Бѣлинскій былъ обезпеченъ; столъ, очень достаточный, былъ доставляемъ отъ хозяина; при тогдашней дешевизнѣ это стоило очень немного, и не превышало тогдашнихъ средствъ семейства. Правда, Бѣлинскій бывалъ тогда беззаботенъ и неряшливъ, и могъ произвести указанное впечатлѣніе на Попова; женскаго призора здѣсь не было, и недостатокъ его восполнялся только дома, въ поѣздки на праздники: дома поправлялись всякіе недочеты костюма и хозяйства. Если Бѣлинскій могъ «часто посѣщать театръ», значитъ, у него все-таки была возможность дѣлать на это траты [1]).

[1]) Иванисовы были тогда богатые купцы въ Пензѣ, и писавшій о Бѣлинскомъ судилъ объ его «нищетѣ» по своей обстановкѣ. Такъ говоритъ

«Совмѣстное житье съ семинаристами, говоритъ Ивановъ,— было благодѣтельно для насъ во многихъ отношеніяхъ. Видя передъ своими глазами суровую, полную патріархальной простоты жизнь этихъ закаленныхъ въ нуждѣ тружениковъ школьнаго ученія, умѣвшихъ довольствоваться самыми малыми средствами,—...мы сами невольно учились безропотному перенесенію житейскихъ невзгодъ, мужали и крѣпли духомъ, запасались тою силою, безъ которой невозможна никакая борьба ни съ самимъ собою, ни съ жизнію. Не малую пользу приносили Бѣлинскому оживленные споры и бесѣды семинаристовъ о предметахъ, касавшихся философіи, богословія, общественной и частной жизни; при этихъ спорахъ онъ не всегда былъ только простымъ внимательнымъ слушателемъ, но принималъ въ нихъ и самъ дѣятельное участіе; уже здѣсь изощрялась его діалектическая сила»... Ивановъ поправляетъ также (и, должно быть, вѣрно) замѣчаніе Иванисова о спорахъ Бѣлинскаго съ семинаристами о достоинствахъ Сумарокова и Хераскова; рѣчь вѣроятно шла только о «Димитріи Самозванцѣ», котораго давали тогда на пензенскомъ театрѣ (какъ увидимъ далѣе, самъ Бѣлинскій вспоминалъ потомъ, что «Димитрій Самозванецъ» Сумарокова, вѣроятно на сценѣ, былъ нѣкогда предметомъ его восторговъ); но Бѣлинскій и тогда уже зналъ трагедіи Озерова, зналъ Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина, и его эстетическій вкусъ вѣроятно уже тогда указывалъ ему разницу. «Сколько припомню, — прибавляетъ Ивановъ,—семинаристы, жившіе съ нами, считали себя въ литературныхъ познаніяхъ ниже Бѣлинскаго, и настолько довѣряли его вкусу, что нерѣдко просили его выслушать школьныя произведенія пера своего. Бѣлинскій, бывало, читалъ имъ вслухъ статьи изъ добытыхъ имъ журналовъ, сообщалъ свои мнѣнія, дѣлился впечатлѣніями,—особенными участниками этихъ бесѣдъ были двое изъ семинаристовъ, очень даровитые люди». Съ своей стороны семинаристы помогали ему въ занятіяхъ древними языками,—съ ихъ помощью Бѣлинскій подготовился и изъ греческаго языка (которому въ гимназіи не учили), насколько было нужно для предположеннаго имъ поступленія на словесный факультетъ, — нужно было по тогдашнему немного. Наконецъ, семинаристы помогали и своей практической опытностью въ хозяйственныхъ дѣлахъ.

Были у нихъ и общія удовольствія. «Самое лучшее, соединявшее всѣ вкусы, удовольствіе доставлялъ театръ; страсть къ нему не была исключительной принадлежностью одного Бѣлинскаго; она въ равной степени овладѣвала всей учащейся молодежью». Юношество употребляло всѣ средства, чтобы попадать въ театръ; Бѣлинскій приберегалъ на это деньги, дѣлалъ займы, когда ихъ не было.

Наставникъ Бѣлинскаго такъ опредѣляетъ тогдашнюю ступе[нь] литературныхъ вкусовъ и увлеченій Бѣлинскаго (за послѣдніе год[ы] гимназическаго ученья). «Тогда Бѣлинскій, по лѣтамъ своимъ, ещ[е] не могъ отрѣшиться отъ обаянія первыхъ Пушкинскихъ поэмъ [и] мелкихъ стиховъ. Непривѣтно встрѣтилъ онъ сцену: «Келья въ Ч[у]довомъ монастырѣ» [1]). Онъ и въ то время не скоро подавался [на] чужое мнѣніе. Когда я объяснилъ ему высокую прелесть въ пр[о]стотѣ, поворотъ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкин[а], онъ качалъ головой, отмалчивался или говорилъ: «дайте, подумаю, дайте, еще прочту». Если же съ чѣмъ онъ соглашался, то бывал[о] отвѣчалъ съ страшной увѣренностью: «совершенно справедливо!»

«Журналистика наша въ двадцатыхъ годахъ выходила изъ дѣтства. Полевой передавалъ по телеграфу идеи запада, все, что являлось тамъ новаго въ области философіи, исторіи, литературы и критики. Надоумко смотрѣлъ изъ подлобья, но глубже Полевого, и знакомилъ русскихъ съ германской философіей. Оба они снимали маски съ старыхъ и новыхъ нашихъ писателей и пріучали судить о нихъ, не покоряясь авторитетамъ. Бѣлинскій читалъ съ жадностью тогдашніе журналы и всасывалъ въ себя духъ Полевого и Надеждина».

На Рождество, Пасху и на лѣто Бѣлинскій и земляки его отправлялись обыкновенно домой, въ Чембаръ (120 верстъ отъ Пензы), — говоритъ Ивановъ: — дома начинались всякія увеселенія, святочныя переодѣванія, катанье, лѣтомъ гулянье и поѣздки въ лѣсъ, даже театръ. Вообще, когда Бѣлинскій былъ въ духѣ и былъ въ кружкѣ людей, къ которымъ относился съ довѣріемъ и любовью, его неугомонной веселости не было конца. Спектакли устраивались въ домѣ Ивановыхъ. Такъ однажды молодежь разыграла здѣсь «Мельника» Аблесимова, причемъ Бѣлинскій имѣлъ свою роль; въ другой разъ, давали даже «Отелло», но переведеннаго по Дюсису, гдѣ не только передѣланы нѣкоторыя подробности дѣйствія, но и самыя имена (напр. вмѣсто Дездемоны—Эдельмона, Яго—Пизарро и т. д.): Бѣлинскій исполнялъ роль Яго.

«Какъ до поступленія въ гимназію, такъ и во время отпусковъ, Бѣлинскій большую часть времени, можно сказать даже ежедневно проводилъ въ нашемъ домѣ, частію и для того, чтобы избѣгать тягостнаго зрѣлища бѣдственной размолвки между родителями, а болѣе всего для того, чтобы пріятно провести время въ

[1]) Въ первый разъ, эта сцена появилась въ «Моск. Вѣстникѣ» 1827 г. О впечатлѣній этого перваго образчика «Бориса Годунова» на публику, см. Анненкова, Матеріалы, 1-е изд. 144.

бесѣдѣ съ матушкою и сестрою, Катериною Петровною (она приходилась Бѣлинскому племянницей), которыя пользовались его задушевною привязанностью и искреннимъ уваженіемъ». Упомянемъ тутъ же, что въ перепискѣ Бѣлинскаго мы нашли много свидѣтельствъ этой привязанности и уваженія. Катерина Петровна была нѣсколько старше его; ей повѣрялъ онъ свои первые литературные планы; не разъ получалъ отъ нея благоразумные совѣты.

Закончимъ этотъ рядъ воспоминаній разсказами г-жи Щ. Она не весьма расположена къ Бѣлинскому, ея сужденія объ его дѣятельности мы можемъ оставить совсѣмъ въ сторонѣ, но нѣкоторыя частности дополнятъ наши свѣдѣнія о дѣтствѣ и юности Бѣлинскаго.

«Отъ невзгодъ семьи,—говоритъ г-жа Щ.,—Бѣлинскій находилъ убѣжище въ домѣ родной племянницы своего отца, жены чембарскаго секретаря уѣзднаго суда, Иванова. Ивановы, мужъ и жена, были люди тихіе, патріархально-гостепріимные и честные. Сыновья ихъ были школьными товарищами Виссаріона Бѣлинскаго въ чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, а одинъ изъ нихъ и въ гимназіи, и въ университетѣ. Въ домѣ Ивановыхъ, пріѣзжая изъ гимназіи, Бѣлинскій отдыхалъ душой, повѣрялъ свои думы и впечатлѣнія молоденькой, симпатичной и нѣжно-кроткой Катинькѣ Ивановой, получившей достаточное образованіе въ домѣ уѣзднаго аристократа-помѣщика. Въ домѣ Ивановыхъ разыгрывались, по предложеніямъ Бѣлинскаго, комедіи и даже трагедіи на домашнихъ спектакляхъ. И тутъ же высказывалось либеральное направленіе его ума и гордый характеръ: Виссаріонъ свободно шутилъ надъ дѣтски-религіозною вѣрою стариковъ Ивановыхъ, и... осмѣивалъ свѣтскія приличія, которыя старалась ему внушить кроткая кузина... Чуждавшійся своей кровной семьи, онъ питалъ почти сыновнее чувство къ старикамъ Ивановымъ: въ женѣ онъ уважалъ широкую любящую натуру, въ мужѣ безкорыстіе и гостепріимную общительность. Къ родному отцу онъ былъ холоденъ, почти враждебенъ; съ матерью, помимо привычныхъ дѣтству инстинктовъ, у него не было никакой разумной связи. Впрочемъ, на послѣдующія ея жалобы на свою судьбу, онъ отвѣчалъ изъ Москвы письмами съ жестокими упреками отцу. Въ гимназіи онъ уважалъ одного только преподавателя, М. М. Попова (служившаго потомъ гдѣ-то въ Петербургѣ) и благоговѣлъ предъ талантомъ Пушкина...

«Мои личныя воспоминанія о Бѣлинскомъ дѣлаются опредѣленными съ того времени, когда проѣздомъ въ пензенскую гимназію онъ заѣзжалъ къ намъ на перепутьяхъ. Но я слышала отъ него о дѣтскихъ его посѣщеніяхъ, вмѣстѣ съ матерью, сестрою и

братьями его, нашего имѣнія, гдѣ они встрѣчали жизнь и гостепріимство «обломовскихъ размѣровъ», въ самомъ обширномъ значеніи слова, и гдѣ, послѣ дѣтскихъ игръ и объяденій, они на антресоляхъ высокихъ барскихъ хоромъ, въ сумерки, жадно слушали сказки и воспоминанія о походахъ 100-лѣтняго солдата суворовскихъ временъ. О привольномъ деревенскомъ воздухѣ, съѣдобныхъ произведеніяхъ разнаго свойства и дешевизнѣ саратовской и пензенской губерній, и широкой площади нашего села Владыкина, какъ о предметахъ, напоминающихъ его дѣтство, онъ вспоминалъ въ 1848 году въ Петербургѣ, за нѣсколько дней до своей смерти, мечтая поѣхать въ нашу губернію для поправленія здоровья. Въ нѣкоторыхъ эпизодахъ изъ разсказовъ въ его критикахъ я узнавала описаніе родного мнѣ помѣщичьяго быта, родныхъ мнѣ лицъ. (Мать моя была двоюродною сестрою его по отцу, и воспитанницею тѣхъ же Ивановыхъ)»...

По выходѣ изъ гимназіи, Бѣлинскій воротился въ Чембаръ, раздумывая о поѣздкѣ въ Москву и поступленіи въ университетъ. Въ бумагахъ, уцѣлѣвшихъ послѣ Бѣлинскаго, сохранилось нѣсколько писемъ къ нему отъ гимназическихъ товарищей, за время до отъѣзда его въ университетъ и первое время московской жизни. Здѣсь рѣчь идетъ отчасти о гимназіи, о которой поминается не съ особеннымъ сочувствіемъ,—но гораздо больше говорится о литературѣ. Одинъ изъ корреспондентовъ, пріятель Бѣлинскаго, называетъ его «маленькимъ философомъ, оригиналомъ, большимъ дружищею», и съ большимъ раздраженіемъ говоритъ о гимназіи, повидимому, въ свое время несносной и для Бѣлинскаго не меньше, чѣмъ для автора письма. Другой корреспондентъ въ особенности интересуется литературой. Друзья пересылались книгами (изъ Пензы въ Чембаръ, и обратно), сообщали другъ другу литературныя новости, какія имъ случалось узнавать, переписывали въ письмахъ цѣлыя длинныя стихотворенія, когда нельзя было послать книгъ; иной разъ, литературная новость (напр. новый отрывокъ изъ «Полтавы»), получалась, также переписанной, изъ Москвы, и затѣмъ черезъ Пензу шла въ другомъ письмѣ въ Чембаръ... Такая же литературная корреспонденція велась у Бѣлинскаго съ Д. П. Ивановымъ. Рядомъ съ этимъ, начинались уже и собственныя литературныя попытки,—и, конечно, въ стихахъ. Въ началѣ 1830 г., когда Бѣлинскій былъ уже въ Москвѣ, Ивановъ, остававшійся еще въ Пензѣ, передаетъ ему усиленную просьбу М. М. Попова о присылкѣ стиховъ крупныхъ или мелкихъ, «только отличныхъ», своего сочиненія: стихи были нужны Попову для альманаха, который онъ собирался тогда издать вмѣстѣ съ Лажечниковымъ.

Эти стихотворенія Бѣлинскаго, не увидѣвшія свѣта (мы упомянемъ дальше объ единственномъ напечатанномъ около того времени стихотвореніи Бѣлинскаго), какъ и слѣдуетъ ожидать, очень скоро потеряли цѣну для самого автора.

Узнавши отъ своего родственника о порученіи М. М. Попова—просить его стиховъ, Бѣлинскій пишетъ къ Попову письмо, гдѣ самъ подшучиваетъ надъ своей поэзіей, хотя ему очень тяжело было убѣдиться, что онъ не рожденъ быть поэтомъ.

«Въ чрезвычайное затрудненіе привело меня письмо моего родственника—говоритъ Бѣлинскій въ этомъ письмѣ къ Попову (отъ 30 апрѣля 1830)...:—мысль, что вы еще меня не забыли, что вы еще также ко мнѣ благосклонны, какъ и прежде; ваше желаніе, котораго я, несмотря на пламенное усердіе, не могу исполнить,—все это привело меня въ необыкновенное состояніе радости, горести и замѣшательства. Бывши во второмъ классѣ гимназіи, я писалъ стихи и *почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковскаго;* но времена перемѣнились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій часъ важенъ: чему онъ вѣрилъ вчера, надъ тѣмъ смѣется завтра. Я увидѣлъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти наперекоръ природѣ, давно уже оставилъ писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ *движенія необыкновенныя*, душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя—хочу ихъ выразить стихами—и не могу! Тщетно трудясь, съ досадою бросаю перо. Имѣю пламенную, страстную любовь къ всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имѣю таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риѳма мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не уламываются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу...» [1]).

Въ одной рецензіи («Молва», 1835) онъ вспоминалъ эту пору своихъ литературныхъ занятій, мечтаній и замысловъ. По поводу одного плохого собранія стихотвореній онъ говоритъ, что оно напомнило ему «невинное, золотое время дѣтства», и разсказываетъ: «еще будучи мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, я, въ огромныя кипы тетрадей, неутомимо, денно и нощно, и безъ всякаго разбору, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ...; я плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину Рощу», и вмѣнялъ себѣ въ священнѣй-

[1]) Бѣлинскій и послѣ очень помнилъ о Поповѣ. Въ письмѣ къ Панаеву, изъ Москвы, 25 февр. 1839, онъ проситъ передать его почтеніе Попову—«моему бывшему учителю, который во время оно много сдѣлалъ для меня, и живая память о которомъ никогда не изгладится изъ моего сердца». «Современникъ», 1860, кн. 1, стр. 341.

шую обязанность бродить по полямъ при томномъ свѣтѣ луны, съ понурымъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Воспоминанія дѣтства такъ обольстительны, къ тому же природа мнѣ дала самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже «Раисы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума». Стихи онъ тогда писалъ «въ чистоклассическомъ и совершенно чувствительномъ родѣ»: «съ романтическимъ я познакомился уже тогда, какъ во мнѣ совсѣмъ прошло стихотворное неистовство». Въ другомъ мѣстѣ онъ вспоминаетъ, что зналъ когда-то наизусть знаменитую трагедію Сумарокова «Димитрій Самозванецъ», и т. д. [1]).

Такимъ образомъ, чуть не съ дѣтскихъ лѣтъ въ Бѣлинскомъ сказывалось влеченіе, которое, развиваясь, превратилось въ страсть, наполнившую все его жизнь. Въ его натурѣ глубоко коренилось это стремленіе къ прекрасному и доброму, и самая любовь къ литературѣ была именно выраженіемъ этого стремленія, для котораго онъ почти исключительно здѣсь находилъ пищу. Бѣлинскій не былъ, что называется, «воспитанъ» на какомъ-нибудь изъ великихъ писателей, напротивъ, онъ читалъ безъ разбора все, что попадалось подъ руку; изъ приведенной цитаты видно, что уже съ той поры ему знакома была не только новая, но и старая литература русская; онъ даже восхищался Сумароковымъ. Справедливо замѣчено было однимъ изъ критиковъ Бѣлинскаго, что если въ этомъ чтеніи не было чего-либо безусловно вреднаго (а его трудно предположить въ старой литературѣ), то отсутствіе выбора для юноши съ такими инстинктами прекраснаго, какъ Бѣлинскій, не могло представить никакой опасности: Бѣлинскій вносилъ въ свое чтеніе всю свою страсть; въ нескладныхъ произведеніяхъ XVIII-го вѣка или сантиментальной школы онъ могъ находить себѣ удовлетвореніе, потому что и въ нихъ умѣлъ отыскать и почувствовать проблески истиннаго чувства и намеки на поэзію. Для иного и чтеніе Шекспира или Гёте останется безплодно: для Бѣлинскаго довольно было произведеній, гораздо болѣе скромныхъ, чтобы поддержать въ немъ уже готовыя идеальныя стремленія. Кромѣ того: какова бы ни была литература, которую перечитывалъ тогда Бѣлинскій, это была литература того общества, которому онъ самъ принадлежалъ, которому онъ долженъ былъ нѣкогда служить; и для его «воспитанія» не осталось безъ значенія то обстоятельство, что именно и только *эта* литература была ему тогда доступна: въ своемъ чтеніи онъ

[1]) Сочин. I, 436—437, 478.

такъ сказать пережилъ ее, и тѣмъ опредѣленнѣе и ярче было потомъ его представленіе объ ея историческомъ развитіи. Отсутствіе выбора въ чтеніи не повредило и его эстетическому пониманію. Неразвитый дѣтскій вкусъ удовлетворялся и грубоватыми произведеніями XVIII-го вѣка; мало-по-малу этотъ вкусъ развивался, становился требовательнѣе, и гимназистъ Бѣлинскій былъ не только поклонникомъ Пушкина, но имѣлъ уже свои опредѣленныя предпочтенія, и не вдругъ поддавался возраженіямъ, хотя бы они и были довольно авторитетны. Словомъ, Бѣлинскій съумѣлъ оріентироваться въ своемъ чтеніи и тѣмъ сильнѣе привязывался къ литературѣ, чѣмъ больше ему пришлось обойти окольныхъ путей, чтобы придти къ пониманію истинно-поэтическаго.

Съ этихъ поръ въ характерѣ Бѣлинскаго выдается и та черта, которая навсегда осталась его яркой особенностью; это—страстное увлеченіе, съ какимъ онъ отдавался тому, что считалъ истиной, крайнее упорство, съ какимъ онъ защищалъ эту истину или отыскивалъ ее; то «стремительное домогательство истины», которое въ другую пору поразило Тургенева, при первомъ знакомствѣ съ Бѣлинскимъ. Онъ былъ уже теперь упоренъ въ мнѣніяхъ, которыя въ ту минуту считалъ справедливыми; но въ то же время онъ и не успокоивался на нихъ, а разыскивалъ новыхъ фактовъ, новыхъ точекъ зрѣнія, выпытывалъ ихъ у людей, имѣвшихъ тѣ свѣдѣнія, которыхъ ему недоставало. Такъ выспрашивалъ онъ теперь своего учителя о Гёте, Вальтеръ-Скоттѣ и Байронѣ; такъ впослѣдствіи онъ выспрашивалъ другихъ о нѣмецкой философіи и т. д. И послѣ, какъ теперь, онъ не обходился безъ посредниковъ, чтобы познакомиться съ интересовавшими его предметами; но какъ часто понималъ онъ узнанное имъ несравненно глубже самихъ посредниковъ, и добытыя идеи обращалъ въ живое и знаменательное содержаніе.

Раннее знакомство съ литературой, въ самыхъ различныхъ ея образчикахъ, послужило Бѣлинскому прочнымъ основаніемъ для дальнѣйшихъ изученій предмета. Онъ уже владѣлъ большимъ запасомъ фактическихъ свѣдѣній, когда началъ впослѣдствіи знакомиться съ теоретическими вопросами, и можно безъ преувеличенія сказать, что къ началу своего критическаго поприща онъ былъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ русской послѣ-петровской литературы.

Интересъ къ литературѣ, т.-е. интересъ къ поэтическому, изящному, былъ у Бѣлинскаго такимъ господствующимъ, что поглощалъ всю его умственную энергію; уже съ этихъ поръ у него не было охоты къ сухимъ и точнымъ изученіямъ, какъ осталось и до конца.

онъ отдавался только тому, что затрагивало его идеальные интересы, возбуждало его энтузіазмъ. Оттого «нехожденіе въ классъ» въ гимназіи, «нерадѣніе» въ университетѣ. Это вовсе не была лѣнь: напротивъ, онъ былъ чрезвычайно дѣятеленъ въ томъ, что его занимало — въ гимназіи онъ исписывалъ кипы тетрадей произведеніями нравившихся ему писателей; впослѣдствіи, онъ могъ работать до изнеможенія. Нѣтъ спора, что эта односторонность очень вредила ему, ограничивая кругъ его свѣдѣній, въ чемъ его такъ часто упрекали; но такова была его натура: онъ искалъ живого содержанія, которое рѣшало бы волновавшіе его нравственные вопросы, питало бы его потребности изящнаго. Самыя стремленія его носили поэтическій складъ—оттого онѣ и искали поэтическихъ образовъ и картинъ; отрасли знанія, не касавшіяся идеальныхъ вопросовъ жизни и нравственности, не привлекали его.

Но что давало стремленіямъ Бѣлинскаго особенную силу, это былъ его личный нравственный характеръ, которому жизнь съ самаго начала дала суровую школу. Бѣлинскій тѣмъ сильнѣе увлекался поэтическими идеалами и гуманными нравственными понятіями, какихъ онъ искалъ въ литературѣ, что ближайшая дѣйствительность его жизни слишкомъ мало отвѣчала инстинктамъ его природы. Мы указали отчасти эту дѣйствительность, обстановку его юношеской жизни.

Приведенныя нами свѣдѣнія объ этомъ дополняются еще бывшей у насъ въ рукахъ перепиской съ Бѣлинскимъ его домашнихъ и родственной имъ семьи Ивановыхъ.

Бѣлинскій самъ впослѣдствіи говорилъ, что не вынесъ изъ своей семьи никакого привѣтнаго воспоминанія. Одинъ изъ его ближайшихъ друзей послѣдняго времени разсказываетъ (вѣроятно, по воспоминаніямъ, слышаннымъ отъ самого Бѣлинскаго), что однажды, когда Бѣлинскому было лѣтъ десять или одиннадцать, отецъ его, возвратившись съ попойки, сталъ безъ всякаго основанія бранить сына. Ребенокъ оправдывался; взбѣшенный отецъ ударилъ его и повалилъ на землю. Мальчикъ всталъ пересозданнымъ: оскорбленіе и глубокая несправедливость запали ему въ душу,—онъ навсегда сохранилъ какой-то ужасъ и ненависть къ необузданному семейному произволу. Съ этихъ тяжелыхъ опытовъ, въ его любящей и страстной натурѣ естественно развилась потомъ и ненависть ко всякому насилію и оскорбленію человѣческаго достоинства... Впослѣдствіи, отношенія съ отцомъ остались холодны. Мы видѣли, что Ивановъ старается нѣсколько оправдать Бѣлинскаго-отца и вообще изображаетъ его въ довольно благопріятномъ свѣтѣ. Въ названной перепискѣ, мы находимъ одно письмо Иванова отъ сентября 1834,

гдѣ онъ разсказываетъ Бѣлинскому о домашнемъ бытѣ его семьи, и, между прочимъ, старается разъяснить Бѣлинскому истинный характеръ его отца, который онъ только теперь сталъ понимать. Самъ писавшій имѣлъ предубѣжденіе противъ Бѣлинскаго-отца, но теперь, когда видѣлъ его ближе и могъ судить вѣрнѣе, его предубѣжденія разсѣивались. «Его бесѣды со мною,—писалъ Ивановъ,—отчасти можно назвать исповѣдью души его и между шутками я много для меня тайнаго развѣдалъ въ его характерѣ. На первый разъ скажу тебѣ, что дѣдушка [1]) человѣкъ благороднѣйшій въ высшей степени, съ чувствами высокими, рожденный съ отличными способностями, но убитый мелочною жизнію въ Чембарѣ, заброшенный въ дикій бурьянъ, въ кругъ людей, между которыми тщетно ты будешь искать слѣдовъ истиннаго человѣчества. Я часто былъ свидѣтелемъ благороднѣйшихъ поступковъ его [2]), которые восхищали меня и въ минуту разсѣевали всѣ мои противъ него предубѣжденія». Дальше увидимъ, что въ этомъ характерѣ, дѣйствительно, были черты, которыя смягчаютъ общее непріятное впечатлѣніе.

По отъѣздѣ въ Москву, Бѣлинскій только разъ, на каникулы 1830 года, былъ на родинѣ; но онъ постоянно, хотя не совсѣмъ правильно, переписывался съ домашними. Мать и старшій изъ оставшихся дома братьевъ, и семья Ивановыхъ, съ любовью слѣдили за московской жизнью Виссаріона, подробно извѣщали его о чембарскихъ новостяхъ, о старыхъ знакомыхъ, которые его продолжали интересовать; письма отца—коротки и сухи, хотя иногда не безъ грубо выраженнаго чувства. Виссаріона извѣщали —тайкомъ отъ отца—и о домашнихъ событіяхъ. Старшій изъ братьевъ началъ тогда,—въ началѣ тридцатыхъ годовъ,—службу мелкимъ уѣзднымъ чиновникомъ; другой (впослѣдствіи поселившійся у Бѣлинскаго въ Москвѣ, а потомъ въ Петербургѣ) былъ потерянный, испорченный мальчикъ. Письма матери и старшаго изъ братьевъ изображаютъ жизнь въ семействѣ по истинѣ невыносимою. Уже вскорѣ появляются въ письмахъ извѣстія о жертвоприношеніяхъ Бахусу, которымъ отецъ больше и больше предавался; въ этомъ состояніи онъ преслѣдовалъ домашнихъ грубыми шутками, на которыя мать отвѣчала едва ли не сторицею, и попреками второму сыну въ тунеядствѣ; младшій былъ до послѣдней степени избалованъ отцомъ, и ему предоставлено было грубое, до возмутительности, обращеніе съ матерью, не имѣвшей надъ нимъ никакой власти.

---

[1]) Такъ приходился отецъ Бѣлинскаго писавшему.

[2]) Въ другомъ мѣстѣ Ивановъ упоминаетъ, напр., объ его сострадательности и готовности на помощь бѣднякамъ.

Письма изъ дому и отъ родныхъ, со свѣдѣніями о бытѣ сем иногда писанныя, очевидно, безъ вѣдома отца, должны были вно растравлять тягостное чувство, которое и безъ того осталось о прежней жизни дома. Нѣкоторыя изъ этихъ писемъ до такой ст пени отличаются наивной до цинизма откровенностью или раздр женіемъ, что чтеніе ихъ могло быть для Бѣлинскаго только пы кой. При всѣхъ холодныхъ отношеніяхъ къ отцу, при всемъ н довольствѣ отца разными неудачами, постигавшими Бѣлинскаго московской жизни, Виссаріонъ становится авторитетомъ семьи, вмѣшивается, наконецъ, въ домашнюю распрю съ своимъ укоро и осужденіемъ: нѣкоторыхъ изъ его писемъ домашніе не рѣшали показывать отцу,—но опасенія отцовскаго гнѣва, повидимому, н остановили Бѣлинскаго. Въ письмѣ къ Бѣлинскому 1834 г. (откуд выше приведена выписка) Ивановъ разсказывалъ, какъ очевидецъ, о томъ, какъ происходило чтеніе одного изъ подобныхъ писемъ Виссаріона: семья и родные были въ полномъ сборѣ; отецъ спокойно выслушалъ упреки и призналъ ихъ справедливыми; только одно выраженіе письма («мстить рабѣ») считалъ онъ для себя обиднымъ и много разъ повторялъ его, какъ особенно его поразившее. Для объясненія этихъ словъ замѣтимъ, что у Бѣлинскихъ была семья дворовыхъ,—вѣроятно, по дворянству матери; отецъ получилъ дворянство по чину коллежскаго ассессора въ 1831 году [1]). Изъ этой дворни, отецъ преслѣдовалъ какую-то женщину, и Бѣлинскій, вѣроятно, очень сильно защищалъ ее отъ этого преслѣдованія. Можно думать, что если Бѣлинскій-отецъ въ состояніи былъ выслушать упреки сына и не подумалъ отказать ему въ правѣ такого обвиненія, — характеръ его могъ дѣйствительно имѣть тѣ черты, какія приписываетъ ему Ивановъ; но положеніе Бѣлинскаго относительно семьи не было отъ того лучше...

Мать его умерла въ августѣ 1834; отецъ — кажется, въ іюлѣ слѣдующаго года. Передъ тѣмъ отецъ передалъ на руки Бѣлинскому его меньшого брата Никанора,—такъ испорченнаго жизнью дома, что его потомъ ничто уже не могло исправить... Нѣсколько лѣтъ спустя, Бѣлинскій, въ письмѣ къ Боткину, вспоминаетъ безотрадное прошлое своей домашней жизни: «Имѣть отца и мать для того, чтобы смерть ихъ считать моимъ освобожденіемъ, слѣдовательно, не утратою, а скорѣе пріобрѣтеніемъ, хотя и горестнымъ; имѣть

---

[1]) Ивановъ между прочимъ писалъ къ Бѣлинскому въ августѣ 1831, изъ Чембара: ...«Домашніе твои всѣ живы и здоровы; въ вашемъ домѣ обуяла всѣхъ одна только болѣзнь, похожая на холеру, и болѣе всѣхъ страждетъ твой папенька: она извѣстна мнѣ подъ именемъ *тщеславіе дворянства:* съ чиномъ коллежскаго ассесора водворилась у васъ въ домѣ».

брата и сестру, чтобы не понимать, почему они братъ и сестра, и еще брата, чтобъ быть привязаннымъ къ нему какимъ-то чувствомъ состраданія—все это не слишкомъ утѣшительно...» [1]).

Нѣтъ сомнѣнія, что обстоятельства домашней жизни наложили свою печать на характеръ Бѣлинскаго. По натурѣ, это былъ живой, страстный юноша, привлекавшій къ себѣ и ранней серьезностью; и вмѣстѣ веселымъ нравомъ; онъ былъ душой ближайшаго кружка своихъ знакомыхъ. Но ему рано пришлось испытать оборотную сторону жизни, которая въ натурахъ менѣе глубокихъ такъ легко подавляетъ идеальные порывы юности. Бѣлинскій не поддался этому испытанію; онъ вступилъ въ борьбу и сберегъ свою поэзію и нравственный идеализмъ, — но борьба оставила на немъ слѣды на всю его жизнь. Здѣсь былъ источникъ той сосредоточенности и того чувства человѣческаго достоинства, которыя отличали его еще мальчикомъ, и здѣсь же было начало его нервной раздражительности, того страстнаго негодованія противъ всякой несправедливости, которыя вспыхивали въ немъ даже по такимъ поводамъ, гдѣ другіе не находили бы никакой причины волноваться. Отсюда развилась его странная боязнь людей, которая заставляла его робѣть и мѣшаться съ незнакомыми людьми, въ новомъ для него обществѣ. Мы увидимъ дальше примѣры этой боязни—въ его собственномъ описаніи, гдѣ онъ проклинаетъ ее, какъ настоящую болѣзнь, овладѣвающую имъ противъ его воли. Не зная съ дѣтства покоя для своего внутренняго чувства, почти не имѣя съ кѣмъ раздѣлить его, онъ сосредоточивался, уходилъ въ себя; сдержанное чувство кипѣло внутри его и вырывалось при первомъ поводѣ. Впослѣдствіи, это состояніе волненія стало для него почти потребностью: для него былъ скученъ обыкновенный, спокойный, прозаическій разговоръ,—онъ оживлялся только въ спорѣ, въ опроверженіи, въ обличеніи: «Бѣлинскій былъ задорный спорщикъ,—замѣчаетъ Иванисовъ, знавшій Бѣлинскаго въ его первую пору: — въ Москвѣ, къ кому бы я ни пришелъ изъ общихъ нашихъ знакомыхъ, непремѣнно заставалъ Бѣлинскаго за жаркимъ споромъ»; что приходилось ему по душѣ,—приводило его въ восторгъ: первое проявленіе его чувства была обыкновенно крайность. Тревоги позднѣйшей жизни тѣмъ сильнѣе волновали Бѣлинскаго, что отъ природы страстное чувство его уже пріобрѣло особенную, почти болѣзненную воспріимчивость.

---

[1]) Письмо 16 дек., 1839; см. также письмо 16 апр. 1840 (далѣе, въ гл. VI).

ГЛАВА II.

Пребываніе въ университетѣ. — Недовольство «казеннымъ коштомъ».—Университетское преподаваніе.—Литературныя влеченія Бѣлинскаго.—Трагедія и ея неудача. — Исключеніе изъ университета. — Отношенія къ домашнимъ. — Бѣдственное внѣшнее положеніе Бѣлинскаго. — Дружескій студенческій кружокъ.

1829—1834.

Собраться въ университетъ Бѣлинскому было не легко: отецъ, по ограниченности своихъ средствъ, не могъ содержать его въ университетѣ. Бѣлинскій поѣхалъ въ Москву съ однимъ родственникомъ, Ив. Ник. В—мъ, съ рекомендательными письмами къ какому-то генералу Дурасову (отъ одной пензенской помѣщицы) и къ Лажечникову (отъ Попова). По пріѣздѣ въ Москву (22 авг.), Бѣлинскій былъ и у генерала и у Лажечникова; они «приняли его очень ласково» и первый «обѣщался ему покровительствовать».

Августа 31, Бѣлинскій явился къ ректору Двигубскому, но ректоръ не принялъ прошенія, такъ какъ при немъ не было метрическаго свидѣтельства. Дѣло въ томъ, что родители Бѣлинскаго при его отъѣздѣ по незнанію или безпечности не дали ему этого документа и обѣщали выслать, но еще не выслали. Бѣлинскій былъ въ отчаяніи, тѣмъ больше, что черезъ три дня кончался срокъ пріема прошеній.

«Теперь я не знаю, что мнѣ и дѣлать, — писалъ онъ домой отъ 1 сентября. Завтра опять хочу просить его пр-во Андрея Зиновьича Дурасова; если онъ откажется помочь, то я лишусь всякой надежды поступить нынѣшнимъ годомъ въ московскій университетъ, и всему этому причиною вы. Безъ свидѣтельства, которое мнѣ такъ нужно, какъ мужику паспортъ, и самое мое пребываніе въ Москвѣ опасно. Еслибъ на заставѣ я не сказался лакеемъ И. Н-ча, меня бы

остановили... Бога самого ради прошу васъ: пришлите какъ наивозможно скорѣе свидѣтельство, я безъ него погибъ» [1]).

Черезъ нѣсколько дней, когда документовъ еще не было, Бѣлинскій опять пишетъ:

«Мои обстоятельства въ самомъ худомъ положеніи... Пріемъ просьбъ и экзамены кончились, и уже выдали [принятымъ въ студенты] табели. Надежда потеряна совершенно. Но я въ Чембаръ не поѣду по слѣдующимъ причинамъ: меня, яко не имѣющаго никакого вида и свидѣтельства, задержатъ на заставѣ. Во-вторыхъ, я не хочу быть предметомъ посмѣянія и насмѣшекъ всего города (т.-е. Чембара), и посему лучше соглашусь умереть съ холода и голода среди московскихъ улицъ или просить милостыню подъ окнами, нежели ѣхать къ вамъ въ Чембаръ. Опять если я пріѣду въ Чембаръ, то не буду имѣть случая вторично ѣхать въ Москву: ибо и сей разъ съ большимъ грѣхомъ удалось мнѣ съѣхать».

Онъ считалъ годъ потеряннымъ, и придумывалъ планы, какъ прожить въ Москвѣ до слѣдующаго пріема: надѣялся найти «кондиціи», т.-е. уроки, прожить дешево на квартирѣ и заниматься; затѣмъ онъ просилъ о высылкѣ документовъ: «Теперь я все равно какъ бѣглый и нахожусь въ великой опасности, ибо Москва не Чембаръ». Бѣлинскій узналъ потомъ, что можно было бы даже пробыть первый годъ въ университетѣ вольнымъ слушателемъ... Но наконецъ первыя бѣдствія его кончились: онъ получилъ свое метрическое свидѣтельство, и ему удалось поступить въ университетъ.

«Съ живѣйшею радостью и нетерпѣніемъ спѣшу увѣдомить васъ,—пишетъ онъ къ родителямъ въ концѣ сентября,—что я принятъ въ число студентовъ императорскаго московскаго университета. Меня не столько радуетъ то, что я студентъ, сколько то, что симъ могу доставить вамъ удовольствіе. Я съ своей стороны сдѣлалъ все, что только могъ сдѣлать: я передъ вами оправдался. Тѣмъ болѣе меня радуетъ и восхищаетъ принятіе въ университетъ, что я онымъ обязанъ не покровительству и стараніямъ кого-нибудь, но собственно самому себѣ. Хотя Лажечниковъ и просилъ обо мнѣ двухъ профессоровъ (Побѣдоносцева и Снегирева), но его просьба потому осталась недѣйствительна, что въ то время, когда я держалъ экзаменъ, вмѣсто нихъ другіе были назначены экзаменаторами [2]).

[1]) Это письмо и большая часть писемъ, далѣе слѣдующихъ, за время пребыванія Бѣлинскаго въ университетѣ и послѣ (1829—34) изданы только недавно въ «Р. Старинѣ» 1876. До этого изданія намъ было извѣстно только короткое извлеченіе изъ этихъ писемъ въ «Моск. Вѣдомостяхъ» 1859, № 293. Мы возьмемъ изъ нихъ только болѣе существенное; другія подробности читатель найдетъ въ самой «Старинѣ».

[2]) Бѣлинскій, какъ видимъ, былъ особенно доволенъ тѣмъ, что обязанъ своимъ поступленіемъ только себѣ. Онъ упомянулъ объ этомъ, черезъ нѣ-

Генералъ Дурасовъ тоже въ семъ случаѣ мнѣ нимало не помогъ. Впрочемъ, онъ тѣмъ сдѣлалъ мнѣ большую пользу, что собственноручною роспискою поручился въ томъ, что я буду всегда ходить въ форменной одеждѣ и поведеніемъ своимъ не нанесу никакого начальству безпокойства. По уставу, каждый студентъ долженъ найти себѣ поручителя; поручаться же можетъ отецъ, родственникъ и всякій чиновный человѣкъ. Я получилъ отъ васъ свидѣтельство о рожденіи 11-го числа, въ среду; просьбу подалъ 12-го числа, экзаменъ держалъ 19-го, табель получилъ 21-го. Итакъ, я теперь студентъ, и состою въ XIV классѣ, имѣю право носить шпагу и треугольную шляпу».

Бѣлинскій хотѣлъ погордиться студенчествомъ и передъ чембарскими жителями: «ежели меня не умѣли оцѣнить въ Чембарѣ, то оцѣнили въ Москвѣ»,—замѣчаетъ онъ; — я думаю, всѣмъ *вѣстимо*, что между Чембаромъ и Москвою есть небольшая разница». По всей вѣроятности, чембарскіе жители чѣмъ-нибудь очень оскорбили его юношеское самолюбіе.

Бѣлинскій началъ посѣщать лекціи по словесному факультету, и 25 сентября подалъ просьбу о принятіи его на казенное содержаніе. Рѣшеніе должно было послѣдовать не раньше Рождества, и до тѣхъ поръ ему приходилось жить на свой счетъ. Въ этотъ промежутокъ времени онъ очень бѣдствовалъ; деньги, данныя отцомъ, едва удовлетворяли необходимѣйшимъ потребностямъ, — притомъ онъ и не умѣлъ съ ними обращаться и попадалъ въ обманъ; онъ занималъ бѣдную квартирку сначала одинъ, потомъ съ двумя товарищами студентами; вскорѣ понадобился новый и большой расходъ на форменное платье, безъ котораго нельзя было ходить въ университетъ. «Однажды,—пишетъ Бѣлинскій домой,—пришелъ въ нашу аудиторію профессоръ математическаго отдѣленія, инспекторъ своекоштныхъ студентовъ, Чумаковъ. Самымъ грубымъ образомъ погналъ всѣхъ фрачниковъ и сюртучниковъ на заднія лавки и сказалъ:—ежели кто-нибудь черезъ недѣлю не будетъ имѣть форменной одежды, то я выключу изъ университета». Бѣлинскій, хотя и зналъ, что Чумаковъ не можетъ исполнить своей угрозы, но все-таки опасался «навлечь негодованіе начальства». Бѣлинскій проситъ отца прислать денегъ.

сколько времени, и въ письмѣ къ Попову, который его рекомендовалъ Лажечникову. «Онъ принялъ меня очень ласково,—пишетъ Бѣлинскій къ Попову, отъ апрѣля 1830,—и, исполняя ваше желаніе, просилъ обо мнѣ нѣкоторыхъ изъ гг. профессоровъ, но просьбы его и намѣреніе оказать мнѣ одолженіе не имѣли успѣха, ибо я, по стеченію нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ для меня обстоятельствъ, не могъ ими пользоваться... Хотя моимъ поступленіемъ въ университетъ я никому не обязанъ, однако навсегда останусь *благодарнымъ вамъ и И. И.*».

Деньги были наконецъ высланы; но отецъ и на этотъ разъ, какъ прежде, не упустилъ и бранить сына. Бѣлинскій, который писалъ обыкновенно отцу съ большой почтительностью, наконецъ высказалъ свое огорченіе отъ этой несправедливости и, вспоминая прежнее, говоритъ въ письмѣ:

«Часто случалось, въ бытность мою въ Пензѣ, переносить мнѣ подобные съ вашей стороны со мною поступки; они раздирали мою душу, приводили меня въ отчаяніе. Я молчалъ, былъ спокоенъ; но это молчаніе, это спокойствіе были ужасны. Надѣюсь, что впередъ вы будете ко мнѣ справедливы и подобными поступками не будете убивать вашего сына, чувствующаго къ вамъ истинную любовь и почтеніе,—сына, который почти одинъ умѣетъ понимать и цѣнить васъ».

Онъ пишетъ тутъ же, что если удастся одно предпріятіе, въ которомъ онъ имѣетъ участіе съ Н. Л. Григорьевымъ (его землякомъ) и еще однимъ студентомъ (вѣроятно какое-нибудь литературное предпріятіе), то онъ надѣется получить около 500 р. или даже гораздо больше. Но предпріятіе потомъ не осуществилось.

Въ письмахъ домой онъ описывалъ свои московскія впечатлѣнія. Онъ осматривалъ университетскій музей, библіотеку и т. д.; въ послѣдней онъ нашелъ бюсты «великихъ геніевъ» Ломоносова, Державина, Карамзина и пр., и пожалѣлъ, что тутъ же стоятъ «бюсты—площаднаго Сумарокова, холоднаго, напыщеннаго и сухого Хераскова». Онъ успѣлъ уже нѣсколько разъ быть въ театрѣ и съ восторгомъ описываетъ игру Мочалова и Щепкина: первый — «необыкновенный геній; великій артистъ», второй лучшій комическій актеръ: «это не человѣмъ, а дьяволъ, вотъ лучшая и справедливѣйшая похвала его». Дома такія извѣстія очевидно не нравились; мать совѣтовала «ходить по московскимъ церквамъ», а не въ театръ. Бѣлинскій отвѣчаетъ:

«Вы уже въ другомъ письмѣ увѣщеваете меня ходить по церквамъ: право, подобныя увѣщанія для меня не всегда пріятны и могутъ мнѣ наскучить. Еслибъ вы совѣтовали мнѣ быть добрымъ человѣкомъ, не измѣнять правиламъ добраго поведенія, то я, хотя и самъ все сіе очень хорошо знаю, принялъ бы съ благодарностію подобные совѣты. Я почелъ бы ихъ за опасеніе матери, которая любитъ своего сына и страшится потерять его... Но вы хотите изъ меня сдѣлать благочестиваго, странствующаго пилигрима и заставить меня предпринять благопохвальное путешествіе по московскимъ церквамъ, которымъ и счета нѣтъ. Шататься мнѣ по онымъ некогда, ибо чрезвычайно много другихъ, гораздо важнѣйшихъ дѣлъ, которыми должно заниматься»...

Посѣщеніе театра онъ упорно защищаетъ: оно необходимо ему, чтобы имѣть «толкъ въ этомъ божественномъ искусствѣ», не-

обходимо по самымъ его занятіямъ. «И потому,—прибавляетъ онъ,— я прошу васъ уволить меня отъ нравоученій такого рода: увѣряю васъ, что они будутъ безполезны»...

Принятіе на казенный счетъ очень обрадовало Бѣлинскаго: онъ успѣлъ натерпѣться порядочной нужды и могъ уже не обременять собою домашнихъ. Въ письмахъ домой [1]) онъ подробно описываетъ бытъ казенныхъ студентовъ, которымъ былъ тогда очень доволенъ.

«Всѣхъ казенныхъ студентовъ 150 человѣкъ,—разсказываетъ онъ.—Въ каждомъ нумерѣ (комнатѣ) находится отъ 8-ми до 12-ти студентовъ... Нумера наши, можно сказать, *отлично хороши*... полы крашеные, окна большія, чистота и опрятность *необыкновенныя*... Столы (въ столовой) всегда покрываются скатертями, и для всякаго студента особенный приборъ... *Порядокъ* въ столовой *чрезвычайно хорошъ*.

«Нашъ инспекторъ, Д. М. Перевощиковъ, человѣкъ весьма извѣстный въ ученомъ свѣтѣ; онъ строгъ, любитъ порядокъ, и мы спокойствіемъ, порядкомъ и устройствомъ нашего казеннаго быта большею частію *одолжены ему*. [Потомъ Бѣлинскій относится къ нему иначе]. Помощники его въ должности называются субъ-инспекторами... надъ студентами они не имѣютъ ни малѣйшей власти, дѣйствуя во всемъ чрезъ инспектора. *Въ отношеніи свободы у насъ очень хорошо*... Покуда все хорошо... Впрочемъ, эти постановленія, а особливо въ разсужденіи свободы нашей, зависятъ отъ воли инспектора, и потому, если инспекторъ хорошъ, то и казенное житье хорошо».

Дальше увидимъ, что уже скоро понятіе Бѣлинскаго о всѣхъ этихъ хорошихъ порядкахъ совершенно измѣнилось.

Онъ велъ переписку и съ чембарскими друзьями. Въ нашемъ матеріалѣ есть длинное письмо его, отъ 20 декабря 1829, къ его сверстнику, А. П. Иванову и его сестрѣ, Катеринѣ Петровнѣ, къ которой, какъ выше упоминалось, онъ былъ очень привязанъ. Среди выраженій дружбы, совѣтовъ искать просвѣщенія, возвышенныхъ впечатлѣній, образовывать сердце, есть подробности, не лишенныя интереса. Такъ въ письмѣ къ К. П. Ивановой онъ радуется извѣстію, что она прекратила сношенія съ однимъ семействомъ, которое не нравилось Бѣлинскому слишкомъ помѣщичьими свойствами:

«Признаюсь, я этого не ожидалъ и, читая о семъ, почти не вѣрилъ глазамъ своимъ. Вы сдѣлали самое лучшее дѣло въ своей жизни, прервавъ всѣ связи съ этими людьми. Надобно имѣть большую разборчивость въ выборѣ даже знакомыхъ, не только друзей: ибо мы всегда непримѣтно, нечувствительно и притомъ невольно

---

[1]) «Моск. Вѣд.» 1859, № 293, и подробнѣе въ «Р. Стар.» 1876.

перенимаемъ у людей, съ которыми имѣемъ частое обращеніе, ухватки, привычки и даже самый образъ мыслей...

«Кстати скажу вамъ, что я подружился съ П. Я. Петровымъ [1]), пріятелемъ Н. Л. Григорьева. Мы часто бываемъ вмѣстѣ, судимъ о литературѣ, наукахъ и другихъ благородныхъ предметахъ и всегда разстаемся съ новыми идеями... Вотъ дружба, которою я могу по справедливости хвалиться... Съ П. Я. Петровымъ я въ первое свиданіе не говорилъ ни слова, во второе поспорилъ, а въ третье подружился. Что это за человѣкъ! Какія познанія! Какія способности! Онъ превосходно знаетъ по-французски, можетъ читать германскихъ и итальянскихъ писателей и отчасти говорить на ихъ языкахъ. Знаетъ нѣсколько по-англійски, хорошо по-арабски и персидски. Пишетъ прекрасные стихи. Въ занятіяхъ языками и науками неутомимъ какъ Третьяковскій. Онъ еще хорошо знаетъ по латынѣ и порядочно по-гречески. Жажда къ познанію языковъ въ немъ удивительна: хочетъ учиться еще по-санскритски и турецки. Особенно любитъ восточные языки».

Дружба съ Петровымъ удержалась на много лѣтъ, хотя были между ними размолвки; впослѣдствіи Петровъ не совсѣмъ одобрялъ то, что Бѣлинскій увлекся журнальной дѣятельностью, но, какъ увидимъ, сообщалъ Бѣлинскому свои переводы, которые онъ помѣщалъ въ «Телескопѣ», «Наблюдателѣ» и даже послѣ въ «Отеч. Запискахъ».

Къ лѣту 1830, Бѣлинскій начинаетъ хлопотать о поѣздкѣ домой; ему очень хотѣлось повидать родныхъ и друзей. Онъ думалъ устроить поѣздку съ пензенскими земляками, цѣлой компаніей; изъ дому отвѣчали ему очень сухо, что если онъ дѣйствительно такъ желаетъ побывать дома, то найдетъ и средства для этого. Бѣлинскаго это замѣчаніе крайне раздражило. «Это превосходно,— отвѣчаетъ онъ въ письмѣ къ матери:—я вижу, что оставленъ, брошенъ, презрѣнъ, что обо мнѣ не хотятъ и знать». Поѣздка однако состоялась; лѣто 1830 онъ провелъ въ Чембарѣ и, кажется, въ Пензѣ.

Бѣлинскій возвратился въ Москву около половины сентября, когда въ университетѣ уже начались лекціи. Въ первое время онъ долженъ былъ хлопотать объ опредѣленіи брата Константина и одного изъ Ивановыхъ въ гимназію на казенный счетъ. Это не удалось, и братъ долженъ былъ вернуться домой. Скоро въ Москвѣ появилась холера; начались строгія мѣры предосторожности; лекціи прекращены; казенныхъ студентовъ не выпускали изъ университета.

[1]) Впослѣдствіи извѣстный санскритологъ и профессоръ московскаго университета (ум. 1875). Вѣроятно, это—одинъ изъ тѣхъ пріятелей, съ которыми Бѣлинскій задумывалъ упомянутое выше «предпріятіе».

Въ іюнѣ 1830, мѣсто Перевощикова занялъ другой инспекторъ, проф. П. С. Щепкинъ; начались новые порядки, очень стѣснительные; Бѣлинскій все больше становился недоволенъ «казеннымъ коштомъ» и наконецъ просто возненавидѣлъ его. Уже 24 сентября онъ пишетъ:

«Я теперь нахожусь въ такихъ обстоятельствахъ, что лучше бы согласился быть подьячимъ въ чембарскомъ земскомъ судѣ, нежели жить на этомъ каторожномъ, проклятомъ казенномъ囗 коштѣ. Если бы я прежде зналъ, каковъ онъ, то лучше бы согласился наняться къ кому-нибудь въ лакеи, и чищеніемъ сапогъ и платья содержать себя, нежели жить въ немъ».

Въ письмѣ 17 февраля 1831, Бѣлинскій подробно объясняетъ причины своего недовольства. При новомъ инспекторѣ измѣнился распорядокъ жизни студентовъ; стѣснено ихъ помѣщеніе; кормили ихъ плохо,—Бѣлинскій говоритъ: падалью; обращались какъ нельзя хуже; за самые ничтожные поступки брали на замѣчаніе. Бѣлинскій съ завистью говоритъ о томъ, какъ живутъ своекоштные. Наконецъ, его собственная исторія.

«Какъ только я пріѣхалъ,—пишетъ Бѣлинскій,—то ректоръ призвалъ меня въ правленіе и началъ бранить за то, что я поздно пріѣхалъ. Этимъ я обязанъ Перевощикову, который тогда очень помнилъ меня и отрекомендовалъ ректору и Щепкину. Когда ректоръ говорилъ съ мною, то онъ (Перевощиковъ) безпрестанно кричалъ, что меня надобно выгнать изъ университета. Наконецъ ректоръ въ заключеніе спектакля сказалъ: *замѣтьте этого молодца; при первомъ случаѣ его надобно выгнать*. Многіе казенные же пріѣзжали гораздо послѣ меня, и имъ за это ни слова не сказали. Передъ окончаніемъ холеры я не ночевалъ ночи двѣ или три дома. Прихожу къ Щепкину за однимъ дѣломъ, и онъ начинаетъ меня ругать: говоритъ, что меня за это *онъ* отдастъ, какъ какого-нибудь *канальи*, въ солдаты), и наконецъ съ презрѣніемъ началъ выгонять изъ своихъ комнатъ... Надѣясь сорваться съ казеннаго кошта, я далъ себѣ клятву все терпѣть и сносить, и потому ничего ему не сказалъ»...

Въ нашемъ матеріалѣ было письмо Бѣлинскаго къ старикамъ Ивановымъ отъ 13 января 1831, гдѣ между прочимъ Бѣлинскій разсказываетъ о своихъ литературныхъ занятіяхъ съ товарищами и въ первый разъ упоминаетъ, что написалъ трагедію. Эта трагедія получила немаловажную роль въ его университетской жизни и

[1]) Черта тогдашнихъ нравовъ и тогдашней педагогіи. Намъ случилось недавно читать, что даже Мерзляковъ, авторъ нѣжныхъ элегій и пѣсенокъ и профессоръ московскаго университета, грозилъ отдать въ солдаты одного изъ своихъ слушателей за невинную шалость. См. «Р. Архивъ» 1875, № 11, Студенческія воспоминанія Ляликова, стр. 384.

стоила ему потомъ большихъ тревогъ и огорченій. Въ началѣ письма онъ говоритъ о холерѣ:

«Правду сказать: я не только не трусилъ ея, но даже и не думалъ о ней. Заговорятъ, бывало, при мнѣ про ея милость—я закурю трубку, затянусь покрѣпче да и въ усъ себѣ не дую, думая съ глупою гордостію, что холера не осмѣлится истребить такого великаго мужа, между тѣмъ какъ она, можетъ быть, изъ одного презрѣнія не подходила ко мнѣ...

«Холера прекратилась. Въ продолженіе оной я былъ два раза въ больницѣ... Изо всѣхъ казенныхъ студентовъ только три человѣка сдѣлались жертвою холеры. Но о ней будетъ—и такъ проклятая надоѣла всѣмъ какъ горькая рѣдька!

«Я кончилъ свою трагедію—и вы скоро будете имѣть удовольствіе читать ее въ печати. Въ продолженіе холеры (опять-таки проклятая ввернулась!) насъ заперли, и я только посредствомъ партикулярнаго платья могъ уходить изъ университета, подъ опасеніемъ строжайшаго наказанія, если бы былъ уличенъ. Для разсѣянія отъ скуки я и еще человѣкъ съ пять затворниковъ составили маленькое литературное общество. Еженедѣльно было у насъ собраніе, въ которомъ каждый изъ членовъ читалъ свое сочиненіе. Это общество, кончившееся седьмымъ засѣданіемъ, принесло мнѣ ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедію, которая безъ этого едва ли бы когда-нибудь была написана. Если я разживусь черезъ нее *казною*, то употреблю оную на то, чтобъ *сорваться* съ казеннаго кошта, который такъ сладокъ, что при одномъ воспоминаніи объ ономъ текутъ изъ глазъ не водяныя, а кровавыя слезы! По случаю холеры (и опять-таки подвернулась каналья!) насъ заставили говѣть. То-то говѣнье-то было!!! Но я разскажу вамъ о немъ лично, если буду имѣть счастіе видѣться съ вами. У насъ въ номерахъ заведенъ былъ театръ; каждое представленіе было посѣщаемо графомъ Панинымъ [1]) и множествомъ профессоровъ. Всѣ чрезвычайно были довольны нашимъ театромъ...

«Петровъ занимается переводомъ «Потеряннаго Рая» на русскій, стихами—и переводитъ лихо! Ежели моя трагедія будетъ имѣть успѣхъ, то вырученныя за оную деньги употреблю на освобожденіе себя отъ проклятаго, адскаго казеннаго кошта, и на свиданіе съ Чембаромъ. Ежели первая моя надежда не сбудется,—то я погибъ безъ возврата!... Лучше соглашусь живой провалиться въ адъ и достаться на завтракъ чертямъ, нежели страдать на казенномъ коштѣ»...

О трагедіи намекаетъ Бѣлинскій и въ письмѣ къ отцу, отъ 22 января.

«Скажу вамъ о себѣ, что я пускаюсь въ море треволненное, въ море великое и пространное, въ немъ же гады нѣсть числа. Можетъ быть, вы скоро увидите имя мое въ печати и будете читать обо мнѣ разные толки и сужденія, какъ въ худую, такъ и въ хорошую сторону. Не могу рѣшительно опредѣлить достоинство

---

[1]) Помощникомъ попечителя.

моего сочиненія, но скажу, что оно много надѣлаетъ шуму. Вы въ немъ увидите многія лица, довольно вамъ извѣстныя. Но впередъ говорить нечего: когда напечатается, тогда имѣющіе уши слышатъ да слышатъ».

Объ этомъ «литературномъ обществѣ», на судъ котораго Бѣлинскій представилъ свою трагедію, и вообще о тогдашней жизни Бѣлинскаго въ «11 нумерѣ», гдѣ жилъ Бѣлинскій, мы имѣемъ разсказъ одного изъ товарищей его, Прозорова [1]).

Въ первое время студенты и въ томъ числѣ обитатели 11 нумера, повидимому чувствовали себя довольно свободно и обнаруживали даже нѣкоторую независимость. «Одному студенту,—разсказываетъ Прозоровъ,—необходимо было отлучиться во время холеры изъ университета по весьма важному дѣлу; но такъ какъ ему отказано было въ просьбѣ, то мы и положили въ общемъ совѣтѣ, чтобы онъ шелъ безъ позволенія, принимая на себя отвѣтственность за послѣдствія самовольной отлучки. Возвратившійся, разумѣется, былъ посаженъ въ карцеръ. На насъ лежала обязанность освободить отъ наказанія товарища, рѣшившагося нарушить порядокъ въ надеждѣ, что его выручатъ изъ бѣды. Всѣ студенты одиннадцатаго нумера и нѣкоторые изъ другихъ нумеровъ, находившіеся съ нашимъ обществомъ въ сношеніяхъ, приступили къ дежурному субъ-инспектору, чтобъ онъ передалъ нашу общую просьбу инспектору—освободить виновнаго или посадить всѣхъ насъ въ карцеръ. Наша просьба не была уважена. Оскорбленное самолюбіе возмутилось. Ч—въ и Бѣлинскій собрали большую часть студентовъ въ круглую залу и потребовали инспектора. Инспекторъ, извѣщенный о волненіи студентовъ, призналъ за лучшее придти къ намъ. Благоразумная умѣренность и даже уступчивость не совсѣмъ разумному требованію молодыхъ людей смягчили наше раздраженіе. Опальный студентъ былъ освобожденъ изъ карцера. Студенты успокоились».

Въ холерный годъ случилось и одно крупное происшествіе, которое нарушило покой университетскихъ властей и даже привело въ движеніе власти столицы. Это было одно изъ происшествій очень обыкновенныхъ въ закрытыхъ заведеніяхъ—студенты были недовольны черезчуръ плохой пищей, не разъ на это жаловались, наконецъ рѣшили не ходить въ столовую. Вышла цѣлая исторія: студентовъ трактовали какъ нарушителей спокойствія; буря не миновала и 11 нумера.

Бѣлинскій вѣроятно не оставался чуждъ этимъ столкнове-

---

[1]) «Библ. для Чтенія» 1859, № 12.

ніямъ, какъ вообще не оставался чуждъ студенческимъ нравамъ, развлеченіямъ и самымъ излишествамъ. Власти не особенно церемонились съ казенными студентами; мы видѣли, что онѣ были порядочно диковаты и могло быть, что какой нибудь, въ сущности ничтожный, случай возстановилъ противъ Бѣлинскаго инспекторскую власть до угрозъ—отдать его въ солдаты (!). Вскорѣ для университетскаго начальства нашлась еще болѣе важная причина вооружиться противъ Бѣлинскаго—причина литературная.

Въ 11 нумерѣ уже на первыхъ порахъ обнаружились литературные интересы: между товарищами Бѣлинскаго были люди съ такой же любовью къ литературѣ. «Умственная дѣятельность (въ студенческомъ кругу), особенно въ 11-мъ нумерѣ шла бойко,—разсказываетъ Прозоровъ:—споръ о классицизмѣ и романтизмѣ еще не прекращался тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее рѣшеніе этого вопроса Надеждинымъ, въ его докторскомъ разсужденіи о происхожденіи и судьбахъ поэзіи романтической... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ студентовъ, слушавшіе теорію краснорѣчія и поэзіи Мерзлякова и напитанные его переводами изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторгѣ отъ его перевода Тассова «Іерусалима» и очень неблагосклонно отзывались о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, только что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливые о немъ отзывы въ «Вѣстникѣ Европы». Первогодичные студенты, воспитанные въ школѣ Жуковскаго и Пушкина и не заставшіе уже въ живыхъ Мерзлякова, мало сочувствовали его переводамъ и взамѣнъ этого знали наизусть прекрасныя пѣсни его и безпрестанно декламировали цѣлыя сцены изъ комедіи Грибоѣдова, которая тогда еще не была напечатана. Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ Бѣлинскій, который отличался необыкновенной горячностью въ спорахъ и, казалось, готовъ былъ вызвать на битву всѣхъ, кто противорѣчилъ его убѣжденіямъ. Увлекаясь пылкостью, онъ ѣдко и безпощадно преслѣдовалъ все пошлое и фальшивое, былъ жестокимъ гонителемъ всего, что отзывалось реторикою и литературнымъ старовѣрствомъ. Доставалось отъ него иногда не только Ломоносову, но и Державину за реторическіе стихи и пустозвонныя фразы».

Между тѣмъ, въ 11-мъ нумерѣ случайныя сходки и толки студентовъ приняли болѣе постоянный характеръ—образовалось нѣчто вродѣ общества. Участники «литературныхъ вечеровъ»,

какъ называлось это общество, разсуждали о прочитанномъ въ журналахъ, о лекціяхъ профессоровъ и читали собственныя сочиненія и переводы. Главными учредителями «вечеровъ» были М. Б. Чистяковъ, извѣстный нынѣ педагогъ, и Бѣлинскій. Первый переводилъ тогда съ нѣмецкаго «Теорію изящныхъ искусствъ» Бахмана, которую посвятилъ студентамъ университета, и былъ секретаремъ «вечеровъ»; президента въ обществѣ не было; секретарь долженъ былъ читать въ собраніяхъ приготовленныя сочиненія; имена авторовъ не назывались—для свободы критики.

На этихъ вечерахъ Бѣлинскій представилъ на судъ товарищей свою трагедію.

Около того времени, на масляницѣ 1831 г., видѣлъ Бѣлинскаго въ Москвѣ его старый учитель: Поповъ отправлялся тогда изъ Пензы въ Петербургъ и пробылъ три дня въ Москвѣ. Бѣлинскій и одинъ его товарищъ, племянникъ Попова, каждый день бывали у Попова, который (черезъ полтора года послѣ пензенской гимназіи) нашелъ въ Бѣлинскомъ большую перемѣну. «Умъ его возмужалъ; въ замѣчаніяхъ его проявлялось много истины. Тамъ (въ Москвѣ) прочли мы только-что вышедшаго тогда «Бориса Годунова». Сцена «Келья въ Чудовомъ монастырѣ», на своемъ мѣстѣ, при чтеніи всей драмы, показалась мнѣ еще лучше. Бѣлинскій съ удивленіемъ замѣчалъ въ этой драмѣ вѣрность изображеній времени, жизни и людей: чувствовалъ поэзію въ пятистопныхъ безриѳменныхъ стихахъ, которые прежде называлъ прозаичными; чувствовалъ поэзію и въ самой прозѣ Пушкина. Особенно поразила его сцена «Корчма на литовской границѣ». Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стула, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «да это живые: я видалъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!»... Въ немъ уже проявился критическій взглядъ»..

Въ университетской обстановкѣ, вблизи литературнаго движенія, въ которомъ играли тогда важную роль и члены университета [1]) и интересъ къ которому поддерживался въ немъ и кружкомъ товарищей, Бѣлинскій, послѣ гимназическаго стихотворства, хотѣлъ еще разъ попробовать свои силы. Онъ чувствовалъ, что долженъ дѣйствовать въ литературѣ, но еще не зналъ своей дороги, и, подъ романтическими впечатлѣніями, хотѣлъ испытать

[1]) Каченовскій, какъ издатель «Вѣстника Европы»; Погодинъ, какъ издатель «Моск. Вѣстника»; Надеждинъ, какъ сотрудникъ «Вѣстника Европы» и затѣмъ издатель «Телескопа».

себя въ драмѣ. Трагедія заняла всѣ мысли Бѣлинскаго. Онъ возлагалъ на свое произведеніе большія надежды не только въ литературномъ смыслѣ, но думалъ поправить имъ и свое матеріальное положеніе: онъ надѣялся, что трагедія, явившись въ печати и на сценѣ, дастъ ему возможность освободиться отъ казеннаго содержанія и жить на свой счетъ. Онъ писалъ о трагедіи домой; ему отвѣчали различными ожиданіями, пожеланіями успѣха, но также и предостереженіями.

По разсказу Прозорова, чтеніе пьесы заняло нѣсколько вечеровъ, и она читалась не секретаремъ, а самимъ авторомъ. «Наружность его, сколько могу припомнить, была очень истощена. Вмѣсто свѣжаго, живого румянца юности, на лицѣ его былъ разлитъ какой-то красноватый колоритъ; прическа волосъ на головѣ торчала хохломъ; движенія рѣзкія, походка скорая, но зато горячо и полно одушевленія было чтеніе автора, увлекавшее слушателей страстнымъ изложеніемъ предмета и либеральными, по тогдашнему, идеями. Но при изяществѣ изложенія, смѣлости мыслей и глубинѣ чувствъ, читанная драма была слишкомъ растянута и содержала въ себѣ больше лиризма, чѣмъ дѣйствія... Очевидно, что драматическое поприще не было истиннымъ призваніемъ Бѣлинскаго»... По объясненію Прозорова, эта попытка Бѣлинскаго была плодомъ его увлеченія театромъ и еще свѣжаго вліянія Шиллеровыхъ «Разбойниковъ», «Коварства и любви», Шекспирова «Оттело», которые тогда часто давались на сценѣ. Бѣлинскій очень огорчился, когда по окончаніи пьесы ему сдѣлали замѣчанія объ ея недостаткахъ: «по измѣнившимся чертамъ лица его и засверкавшимъ глазамъ, можно было ожидать, что вотъ онъ вцѣпится коршуномъ въ дерзкаго, осмѣлившагося унизить его авторитетъ передъ товарищами, однако онъ сдержалъ свой порывъ, и только по чертамъ лица можно было прочесть чувство презрѣнія, какъ будто говорившее: odi profanum vulgus et arceo». Очень возможно, что такъ именно Бѣлинскій встрѣчалъ иныя противорѣчія себѣ, но мы слышали отъ почтеннаго секретаря «литературныхъ вечеровъ», что хотя вопросъ о трагедіи очень волновалъ Бѣлинскаго и онъ съ тревогой начиналъ ея чтеніе, но въ этомъ случаѣ онъ не былъ такъ нетерпѣливъ и мирно выслушалъ возраженія.

Отъ трагедіи Бѣлинскаго сохранился только отрывокъ, напечатанный въ «Русской Старинѣ» [1]. По этому отрывку, съ IV-го по XIII-е явленіе, содержаніе пьесы можно предположить въ такомъ видѣ. У богатаго помѣщика Лѣсинскаго было два сына (одинъ на-

[1]) «Рус. Стар.» 1876, янв.; ср. «Моск. Вѣдом.» 1859, № 293; см. примѣчанія.

зывался Андреемъ) и дочь Софья; кромѣ того, былъ у него пріемышъ, по имени Владиміръ, котораго онъ воспитывалъ наравнѣ съ своими дѣтьми и даже ставилъ выше родныхъ сыновей. Этотъ пріемышъ былъ его незаконнорожденный сынъ; онъ отличался умомъ, характеромъ, талантомъ и пылкими страстями. Владиміръ, съ своей стороны, былъ очень привязанъ къ Лѣсинскому; но жена послѣдняго не взлюбила Владиміра и души не чаяла въ своихъ сыновьяхъ, особенно въ Андреѣ, который отличался глупостью, барской спѣсью и т. п. Софья воспитывалась подъ руководствомъ ученой и образованной русской «мамзели», на которой нѣкогда хотѣлъ жениться ничтожный и низкій князь Кизяевъ; теперь онъ ухаживалъ за Софьею, но Владиміръ, ничего не подозрѣвающій о своемъ происхожденіи, влюбленъ въ Софью, которая отвѣчала ему пламенной страстью. Между тѣмъ, на одномъ балѣ у Лѣсинскихъ произошла ссора у Владиміра съ Андреемъ, поводомъ къ которой послужили прежнія отношенія князя къ «мамзели». Владиміръ убилъ Андрея, его арестовали, заковали въ цѣпи и заключили въ тюрьму.

Съ этого пункта идетъ сохранившійся отрывокъ трагедіи Исчезновеніе Владиміра поразило Софью до того, что она почти потеряла разсудокъ. «Мамзель» успокаиваетъ ее, хочетъ увѣрить ее, что Владиміръ свободенъ, что онъ скрытъ друзьями и возвратится къ ней. Является князь свататься на Софьѣ; Софья встрѣчаетъ его съ презрѣніемъ; ея мать, напротивъ, въ восторгѣ отъ сватовства и обѣщаетъ ему, что Софья будетъ его женой, и что «мамзель», которой приписывается упрямство Софьи, будетъ завтра же выгнана изъ дому. Между тѣмъ, является Владиміръ («на лѣвой рукѣ его виситъ разорванная цѣпь»): онъ бѣжалъ изъ тюрьмы, обманувши стражу — онъ хотѣлъ еще разъ видѣть Софью. Между ними происходитъ длинная раздирательная сцена объясненій и отчаянія; Софья непремѣнно желаетъ умереть отъ руки Владиміра, у него недостаетъ духу умертвить ее, — она грозитъ, что дастъ тогда согласіе князю. Владиміръ рѣшился и поразилъ ее кинжаломъ. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ сдѣлать то же и съ собой, входитъ старый вѣрный слуга покойнаго Лѣсинскаго, бывшій при немъ въ его послѣднія минуты. Онъ разсказываетъ Влалиміру о страшномъ угнетеніи, которое крестьяне терпѣли по смерти Лѣсинскаго отъ его жены и особенно отъ сына (именно, убитаго Владиміромъ), и наконецъ передаетъ письмо, которое Лѣсинскій на смертномъ одрѣ со слезами умолялъ его отдать Владиміру. Оставшись одинъ, Владиміръ, послѣ приличнаго монолога, развертываетъ письмо и къ послѣднему своему ужасу узнаетъ, что Лѣсинскій былъ его отецъ, а Софья—сестра... Наконецъ, входитъ мамзель, видитъ Владиміра

и трупъ Софьи; на ея крикъ сбѣгаются люди и, между прочимъ двое друзей Владиміра: новая раздирательная сцена, гдѣ Владиміръ разсказываетъ имъ о своемъ открытіи...

Что слѣдуетъ дальше—неизвѣстно, потому что на этой сценѣ отрывокъ кончается. По всей вѣроятности, Владиміръ тутъ же и закалывается.

По словамъ секретаря «литературныхъ вечеровъ» [1], отрывокъ дѣйствительно могъ принадлежать трагедіи, читанной Бѣлинскимъ на вечерахъ, или, вѣрнѣе, составлять ея варіантъ. По его памяти, пьеса являлась тогда нѣсколько въ иномъ видѣ: Владиміръ—дѣйствительно незаконный сынъ помѣщика, богатаго барина, и родился въ семьѣ его крѣпостного крестьянина; этотъ крестьянинъ потомъ умеръ, засѣченный бариномъ, который, чтобы нѣсколько загладить ужасное дѣло, взялъ Владиміра къ себѣ. Владиміръ (или какъ иначе звали этого героя) отличался пылкимъ нравомъ и талантами; отецъ ставилъ его въ примѣръ своимъ барченкамъ-сыновьямъ, и предпочтеніе, оказываемое передъ ними холопу, возбудило въ нихъ скрытую злобу. Героиня—не сестра Владиміра, но въ любви къ ней его соперникомъ являлся именно одинъ изъ братьевъ. Отецъ умираетъ, не успѣвши дать вольной своему незаконному сыну, и, по смерти отца, онъ достается по наслѣдству своему сопернику по любви къ героинѣ; новый баринъ, чтобъ отомстить и унизить его, заставляетъ его служить себѣ за столомъ. Здѣсь же, за столомъ, Владиміръ убиваетъ его.

Другой современникъ, Ивановъ, подтверждаетъ, что этотъ послѣдній разсказъ передаетъ вѣрно ту форму, въ которой трагедія читалась на студенческихъ вечерахъ; но что послѣ Бѣлинскій многое въ ней измѣнилъ, и сохранившійся отрывокъ, который мы выше изложили, принадлежалъ къ этой исправленной редакціи.

Но въ той и другой формѣ трагедія изобилуетъ убійствами и раздирательными сценами: Бѣлинскій былъ тогда крайнимъ романтикомъ и, между прочимъ, какъ говорятъ, хотѣлъ непремѣнно нарушить извѣстныя три единства; вліяніе романтическихъ трагедій на его пьесу очевидно. Говорить серьезно объ этой трагедіи, конечно, нѣтъ возможности; она ребячески ходульна и неестественна,—тѣмъ не менѣе она любопытна, какъ свидѣтельство настроенія 20-лѣтняго Бѣлинскаго, и какъ фактъ, имѣвшій большое вліяніе на его внѣшнюю судьбу.

---

[1] Когда онъ сообщалъ намъ свои воспоминанія, онъ имѣлъ въ виду не напечатанный теперь текстъ, а только пересказъ, въ «Моск. Вѣдом.» 1859, № 293.

Это настроеніе, первымъ основаніемъ котораго были его личныя свойства, исходило, съ одной стороны, изъ его чтенія, изъ книжныхъ стремленій «ко всему высокому и идеальному»; съ другой—изъ опытовъ и впечатлѣній, встрѣченныхъ въ жизни провинціальнаго захолустья. Мы видѣли выше изъ его письма къ отцу, что содержаніе трагедіи имѣло какое-то близкое отношеніе къ чембарскимъ нравамъ и лицамъ. Бѣлинскій нашелъ подкладку для своей драмы въ помѣщичьемъ и крѣпостномъ бытѣ. Онъ видѣлъ этотъ бытъ: въ провинціальной глуши помѣщичьи нравы раскрывались во всей полнотѣ, ничѣмъ не стѣсняемые, освящаемые круговой порукой мѣстнаго барства, которое было и мѣстной властью. Въ провинціи есть своя особая гласность, и Бѣлинскій съ дѣтства наслышался о подвигахъ людей, у которыхъ своя рука была владыка; онъ самъ видѣлъ, какъ отсутствіе всякихъ нравственныхъ принциповъ могло соединяться съ лоскомъ образованія и барской спѣсью; тиранство надъ «людьми» было въ то время дѣломъ вовсе не рѣдкимъ. Мы слышали отъ современниковъ, — и находимъ подтвержденіе тому въ перепискѣ и въ самой трагедіи, — что именно эти впечатлѣнія, это негодованіе къ возмутительнымъ явленіямъ крѣпостного права дали мысль этой трагедіи.

Старый слуга разсказываетъ о положеніи крестьянъ по смерти барина:

«Какъ только онъ скончался, то барыня такъ начала тиранствовать надъ нами, что не дай Господи такого житья лихому татарину ни здѣсь, ни на томъ свѣтѣ. И била какъ собакъ, и отдавала въ солдаты, и пускала по міру, отнимала хлѣбъ; скотъ, осматривала клѣти, ломала коробы, обирала деньги, холстъ; кто малость въ чемъ-нибудь провинится, такъ ушлетъ въ дальнія вотчины. Да всего и пересказать нельзя. На каторгѣ колодникамъ лучше житье-то, чѣмъ намъ грѣшнымъ у барыни».

Владиміръ, оставшись одинъ, начинаетъ свой монологъ слѣдующимъ разсужденіемъ:

«Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ-же людей, какъ и они сами?... Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище — свободу? Кто позволилъ имъ ругаться (надъ) правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!... Милосердый Боже! Отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: твоя ли премудрая рука произвела *на свѣтъ этихъ* зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ,

питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?»

Эти отрывки даютъ понятіе и о мотивѣ, и о стилѣ трагедіи. Бѣлинскій. очевидно думалъ, что его трагедія будетъ нѣчто новое въ литературѣ, что она произведетъ сильное впечатлѣніе: онъ разсчитывалъ, что она дастъ ему независимость, и чрезвычайно дорожилъ ею и послѣ того, какъ потерпѣлъ съ ней неудачу. На просьбу брата своего о присылкѣ ея, онъ отвѣчалъ однажды, что скорѣе готовъ «отрубить себѣ руку и послать ее въ подарокъ» брату, чѣмъ на какое-нибудь время разстаться съ своей трагедіей. Дома, отецъ его, узнавши о литературныхъ затѣяхъ Виссаріона, высказалъ ему съ самаго начала свои опасенія [1]); Бѣлинскій получалъ и дружескія предостереженія отъ Катерины Петровны. Въ нашемъ матеріалѣ было нѣсколько писемъ ея къ Бѣлинскому, проникнутыхъ самымъ теплымъ расположеніемъ и обличающихъ замѣчательно здравый умъ молодой особы. Катерина Петровна была довѣренной его плановъ. Одно изъ ея писемъ есть отвѣтъ на извѣстіе объ окончаніи трагедіи—она бережно готовила Бѣлинскаго къ возможной неудачѣ, какая и въ самомъ дѣлѣ послѣдовала [2]).

Бѣлинскій рѣшился пустить въ ходъ свою трагедію: ему оче-

[1]) Отецъ вообще былъ часто недоволенъ извѣстіями сына; теперь онъ выговаривалъ сыну за неумѣнье помириться съ казеннымъ коштомъ и не обѣщаетъ ему добра отъ его необузданности: «главнѣйшее дѣло состоитъ въ томъ,—писалъ онъ,—чтобы ты повиновался начальству», и остерегалъ, что «когда онъ не будетъ познавать надъ собою власти»», то «будетъ причиною многихъ золъ на имѣющихъ въ немъ учителя», и самъ будетъ несчастенъ (письмо отца, отъ марта 1831). Раньше, въ февралѣ этого года, отецъ любопытствуетъ узнать больше о литературныхъ планахъ сына и остерегаетъ «пространнаго моря», въ которое хотѣлъ пуститься Виссаріонъ; отецъ не ждетъ добра отъ его литературныхъ занятій.

[2]) Вотъ отрывокъ изъ этого любопытнаго письма (вѣроятно—отъ начала 1831):

«Какъ не вскричать: слава Богу! получа письмо ваше, г. Бѣлинскій... Съ удовольствіемъ поздравляю васъ съ окончаніемъ вашей трагедіи; отъ всей души желаю ей блистательнаго успѣха... Дай Богъ, чтобъ таланты ваши получили всевозможное совершенство и чтобъ отечество почтило назвать васъ своимъ Шиллеромъ! А больше всего желаю вамъ не приходить въ отчаяніе отъ *неудачи* вашей трагедіи, которая произойти можетъ не отъ недостатковъ оной, а отъ необдуманности какой-нибудь или торопливости вашей. Совѣтую вамъ, Висс. Григ., *не спѣшить* издавать оную и отдать на разсмотрѣніе людямъ опытнымъ, какимъ-нибудь ученымъ старичкамъ, а не молодымъ вашимъ товарищамъ, а пуще всего *не полагайтесь* на свое собственное объ ней мнѣніе: вѣдь говорятъ, что самъ сочинитель есть самый плохой судья своего произведенія. Не подосадуйте на меня за глупые мои совѣты, но примите ихъ *въ знакъ моего* искренняго къ вамъ расположенія»

видно не приходила въ голову неудача, которую считала возможной даже его провинціальная пріятельница. Онъ носилъ трагедію къ кому-то изъ московскихъ журналистовъ, кажется, къ Погодину, но не встрѣтилъ вниманія къ своей пьесѣ; снесъ ее къ Лажечникову, который по содержанію трагедіи увидѣлъ, что она невозможна и предостерегалъ о томъ Бѣлинскаго [1]); несмотря на его неодобрительный отвѣтъ, Бѣлинскій представилъ пьесу въ цензурный комитетъ, который состоялъ тогда изъ университетскихъ профессоровъ. По разсказу Прозорова, на такое рѣшеніе Бѣлинскаго подѣйствовало, между прочимъ, новое возбужденіе его страсти къ театру — устройство домашняго театра въ самомъ университетѣ. Устройствомъ этого театра усердно занимался тогдашній инспекторъ студентовъ, профессоръ математики Щепкинъ; костюмы доставлялись изъ Петровскаго театра, и актеръ Щепкинъ объяснялъ студентамъ сценическіе пріемы. Искусная игра студентовъ и замѣчательная игра извѣстнаго тогда въ Москвѣ Радивилова на особой придуманной имъ балалайкѣ привлекали въ студенческій театръ много московской публики...

Въ одномъ изъ писемъ Бѣлинскаго домой, мы находимъ подробный разсказъ о томъ бѣдственномъ результатѣ, какимъ окончилось представленіе трагедіи въ университетскую цензуру [2]). Приводимъ отрывки изъ этого любопытнаго письма. Неудача Бѣлинскаго была полная.

«Сообразивши всѣ обстоятельства моей жизни,—писалъ онъ,—я вправѣ назвать себя несчастнѣйшимъ человѣкомъ. Въ моей груди сильно пылаетъ пламя тѣхъ чувствъ, высокихъ и благородныхъ, которыя бываютъ удѣломъ немногихъ избранныхъ — и при всемъ томъ меня очень рѣдкіе могутъ цѣнить и понимать... Всѣ мои желанія, намѣренія и предпріятія самыя благородныя, какъ въ разсужденіи самого себя, такъ и другихъ, оканчивались или неудачами, или ко вреду мнѣ же и, что̀ всего хуже, навлекали на меня нареканіе и подозрѣніе въ дурныхъ умыслахъ. Доказательства передъ глазами. Вы сами знаете, какъ сладки были лѣта моего младенчества... Учась въ гимназіи, я жилъ въ бѣдности... Поѣхалъ въ Москву съ пламеннымъ желаніемъ опредѣлиться въ университетъ; мое желаніе сбылось. По вѣтренности, а болѣе по неопытности, истратилъ

---

[1]) «Бывши уже на второмъ университетскомъ курсѣ, — говоритъ Лажечниковъ, — Бѣлинскій написалъ драму, въ которой живо затронулъ крѣпостной вопросъ. Я предсказалъ ему судьбу его; дѣйствительность оправдала мое предсказаніе»... (Бѣлинскій былъ второй годъ въ университетѣ, но не на второмъ курсѣ).

[2]) Отрывокъ этого письма былъ въ «Моск. Вѣд.» 1859, № 293. Вполнѣ въ «Р. Стар.» 1876, январь. Здѣсь время письма означено 17 февраля 1831.

данную мнѣ сумму денегъ, которая въ моихъ глазахъ казалась огромною, неистощимою. Потомъ поступилъ на *казенный коштъ*... о, да будетъ проклятъ этотъ несчастный день!.. Осужденный страдать на казенномъ коштѣ, я вознамѣрился избавиться отъ него и для этого написалъ книгу (т.-е. трагедію), которая могла скоро разойтись и доставить мнѣ не малыя выгоды. Въ этомъ сочиненіи, со всѣмъ жаромъ сердца, пламенѣющаго любовію къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинѣ, довольно живой и вѣрной, представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ. Герой моей драмы есть человѣкъ пылкій, съ страстями дикими и необузданными: его мысли вольны, поступки бѣшены,—и слѣдствіемъ ихъ была его гибель. Вообще скажу, что мое сочиненіе не можетъ оскорбить чувства чистѣйшей нравственности и что цѣль его есть самая нравственная. Подаю его въ цензуру — и что же вышло?... Прихожу черезъ недѣлю въ цензурный комитетъ и узнаю, что мое сочиненіе ценсоровалъ Л. А. Цвѣтаевъ (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ ректору [1]), сидѣвшему на другомъ концѣ стола, и вскричалъ: «Иванъ Алексѣевичъ! Вотъ онъ, вотъ г. Бѣлинскій!» Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой ценсоръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочиненіе и мои таланты какъ нельзя лучше, оно признано было безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ, и о немъ составили журналъ!... Но послѣ—это дѣло уничтожено, и ректоръ сказалъ мнѣ, что обо мнѣ ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія.

«Каково это?... Я надѣялся на вырученную сумму откупиться отъ казны, жить на квартирѣ и хорошенько экипироваться—и всѣ мои блестящія мечты обратились въ противную дѣйствительность, горькую и бѣдственную. Я могъ бы найти кондицію, завести хорошія и полезныя для меня знакомства, но въ форменной одеждѣ, кромѣ аудиторіи, нигдѣ нельзя показаться, ибо она въ крайнемъ пренебреженіи...

«Лестная, сладостная мечта о пріобрѣтеніи извѣстности, объ освобожденіи отъ казеннаго кошта для того только ласкала и тѣшила меня, довѣрчиваго къ ея дѣтскому, легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести... Теперь, лишившись всѣхъ надеждъ моихъ, я совершенно *опустился: все равно*, вотъ девизъ мой»...

Это печальное извѣстіе произвело дома большое впечатлѣніе, которое передано было Бѣлинскому въ письмѣ его умной пріятельницы. Любопытно, что Бѣлинскій-отецъ принялъ извѣстіе Виссаріона не такъ, какъ можно было бы ожидать: письмо Виссаріона ему понравилось и онъ даже сердился на жену, которая собиралась дѣ-

---

[1]) Ив. А. Двигубскій.

лать сыну выговоры (они не бывали у нея особенно деликатны),— кажется, еще одна черта въ пользу характера Бѣлинскаго-отца [1]).

По разсказу Лажечникова, неудача трагедіи очень огорчила Бѣлинскаго. «Съ того времени сталъ онъ нерадиво посѣщать лекціи и вскорѣ пересталъ ходить на нихъ. *Жизнь его помутилась*... Но дремота его духовныхъ силъ была недолговременна: ни люди, ни обстоятельства не могли ихъ подавить въ этой юной, но уже непреклонной натурѣ»...

Въ письмѣ отъ 3 марта 1831, Бѣлинскій опять говоритъ о «горестномъ событіи»: онъ «смѣло могъ сказать», что его сочиненіе, будучи напечатано, было бы «расхвачено» въ мѣсяцъ и доставило бы ему тысячъ шесть (?), изъ которыхъ ему легко было бы откупиться отъ «проклятой бурсы». Онъ надѣялся, что дѣло съ съ трагедіей не будетъ имѣть для него вредныхъ послѣдствій, и въ письмѣ 24 мая говорилъ:

«Невзгода на меня, кажется, проходитъ и я начинаю дышать свободнѣе. Начальство обо мнѣ забыло и думать; правда при первомъ случаѣ оно не умедлитъ *напомнить* мнѣ, что *знаетъ* меня. Но и этого я скоро не буду опасаться; ректоръ и Щепкинъ подали въ отставку. Да, правду, я ихъ очень мало боялся и боюсь, только одна

---

[1]) «Сколько огорчило насъ письмо ваше, В. Г., — писала Катерина Петровна,—изъяснить вамъ не могу! Вы въ такомъ отчаяніи, что не оставили никакой надежды вашимъ роднымъ видѣть васъ когда-нибудь благополучными. (Одно слово неразборчиво)... какъ намъ кажется, зависѣло собственно отъ васъ, ежели бы вы захотѣли сколько-нибудь равнодушнѣе снести теперешнія ваши непріятности. Вы пишете, что терпѣли казенный коштъ; или подкрѣпляла васъ надежда на вашу трагедію сносить всѣ непріятности казенной зависимости, и теперь потерпите для своихъ родителей. Вы сами знаете, что вы должны быть опорой вашего семейства, и знаете ихъ надежду на васъ... Маменька ваша глазъ не осушала цѣлый день по полученіи письма; мы не знали, какъ ее утѣшить. Теперь, кажется, нечего больше вамъ дѣлать, какъ стараться заслужить выгодное мнѣніе начальства, отъ котораго, какъ мы думаемъ, и неудача вашей трагедіи зависѣла, ибо вы возставили оное противъ себя. Вы конечно въ презрѣніи оставите эти слова! Да что дѣлать, муха слона не одолѣетъ,—вы знаете справедливость этой пословицы... Простите меня, В. Г., за все, что я вамъ сказала: меня право такъ огорчаетъ ваше положеніе, что я не знаю, что и придумать, что бы могло васъ сколько-нибудь утѣшить.

«Да, забыла вамъ сказать, что, несмотря на всѣ непріятности, заключающіяся въ вашемъ письмѣ, оно очень понравилось вашему батюшкѣ; онъ даже сердился на вашу маменьку, что Л. С-нѣ препоручала вамъ выговоръ сдѣлать, да и мнѣ немножко досталось»...

Это самое «препорученіе», или другое подобное, упоминается въ письмѣ Бѣлинскаго («Р. Стар.» 1876, февр., 330—331. Не знаемъ, вѣрно ли указана помѣта письма; ср. сейчасъ указанную страницу и янв., стр. 78).

мысль, что я *не одинъ*, удерживала меня *поговорить* съ ними *по обстоятельнѣе*»...

Надобно думать, что Бѣлинскій довольно скоро утѣшился въ погибели своей трагедіи. Прошло немного времени, и она совсѣмъ не упоминается въ его письмахъ, а потомъ онъ, конечно, радуется, что это произведеніе не увидѣло свѣта [1]).

Профессорское преподаваніе столь же мало удовлетворяло Бѣлинскаго и его товарищей, какъ мало нравились имъ административные порядки. Московскій университетъ былъ тогда еще наканунѣ того возрожденія, которое (съ конца тридцатыхъ годовъ) внесло въ него свѣжія силы и оживленную дѣятельность; онъ доживалъ свой, такъ сказать, архаическій періодъ; XVIII-е столѣтіе имѣло еще не одного представителя въ наличномъ составѣ профессоровъ, и ихъ патріархальные нравы нерѣдко сопровождались патріархальнымъ взглядомъ и на самую науку. Въ воспоминаніяхъ студентовъ этого переходнаго времени (когда и былъ въ университетѣ Бѣлинскій) сохранилось не мало подробностей, рисующихъ ученые нравы стараго университета [2]). Ректоромъ университета былъ тогда извѣстный Двигубскій; въ числѣ профессоровъ было не мало людей стараго стиля, иногда весьма почтенныхъ по личному характеру, но мало способныхъ возбудить умственную дѣятельность. Иные, съ оригинальною откровенностью, высказывали относительно этого предмета свой добродушный скептицизмъ, быть можетъ внушенный нѣкогда горькимъ для нихъ опытомъ. Разсказываютъ объ одномъ изъ тогдашнихъ декановъ, что когда требовалось отъ преподавателей, по какому руководству они будутъ читать—по своему ли собственному, или какого-нибудь извѣстнаго автора, онъ отвѣчалъ, что «будетъ читать по Пленку [3]), что умнѣе Пленка-то не сдѣлаешься, хоть и напишешь свое собственное». Когда, однажды, стали при

---

[1]) Бѣлинскій безъ сомнѣнія имѣлъ въ виду свою трагедію, когда писалъ въ 1836, по поводу одной плохой книжонки: «О, еслибы каждый молодой человѣкъ, не лишенный чувства и сгарающій желаніемъ печататься, издавалъ всѣ плоды своей фантазіи, сколько бы дурныхъ книгъ бросилъ онъ въ свѣтъ и сколько бы раскаянія приготовилъ себѣ въ будущемъ!... Мы говоримъ это отъ чистаго сердца, говоримъ даже по собственному опыту, потому что *имѣемъ причины* благодарить обстоятельства, которыя помѣшали намъ пріобрѣсть жалкую эфемерную извѣстность мнимыми произведеніями искусства и занять мѣсто въ забавномъ ряду литературныхъ рыцарей печальнаго образа». Сочин., II, изд. 2-е, стр. 251.

[2]) Кромѣ упомянутыхъ выше воспоминаній Прозорова, см. также студенческія воспоминанія изъ первыхъ тридцатыхъ годовъ, К. Аксакова («День» 1862, № 39—40) и Г. Г. (тамъ же, 1863, № 42). «Былое и Думы» и др.

[3]) Ср. Ист. Моск. Универс., стр. 549.

немъ хвалить молодого преподавателя, только-что возвратившагося изъ Италіи, онъ отвѣчалъ: «ну, не хвалите прежде времени, поживетъ съ нами, такъ поглупѣетъ».

Въ словесномъ факультетѣ въ то время еще не было ни Надеждина, который сталъ читать только подъ конецъ пребыванія Бѣлинскаго въ университетѣ, ни Шевырева, который на первый разъ пріобрѣлъ въ университетѣ большую, впрочемъ не долгую, популярность. Бѣлинскій, на первомъ курсѣ, долженъ былъ слушать: богословіе—у Терновскаго, русскую исторію и статистику—у Каченовскаго, словесность—у Побѣдоносцева, общую исторію—Ульрихса, греческую словесность—Оболенскаго, латинскую—Кубарева, французскій языкъ—у Эннекена, нѣмецкій—у Кистера. Эта программа представляла немного привлекательнаго, вѣроятно, не для одного Бѣлинскаго. Словесники того времени вообще не особенно много занимались своими лекціями; юношество поступало въ университетъ иногда очень рано, не особенно углублялось въ науку, отчасти и мало къ ней подготовленное, отчасти и мало посвящаемое въ нее своими наставниками: «солнце истины, — говоритъ о своихъ профессорахъ К. Аксаковъ, вступившій въ университетъ въ концѣ студенчества Бѣлинскаго, — солнце истины освѣщало наши умы очень тускло и холодно». Потребность жизни и движенія вызывала въ студентахъ то легкое буйство и проказливость, которыя, какъ ни были сами по себѣ безобидны, показывали, что граждане «ученой республики» мало были поощряемы къ ихъ настоящему дѣлу. «Когда я поступилъ на первый курсъ—говоритъ Аксаковъ—еще слышались и повторялись разсказы между студентами о недавнихъ проказахъ, довольно добродушныхъ, случившихся только-что предо мною и при мнѣ уже не повторявшихся»—онѣ стали выходить изъ употребленія именно потому, что являлись болѣе серьёзные интересы.

Такъ разсказывали, что однажды, когда одинъ профессоръ, читавшій лекціи по вечерамъ, долженъ былъ придти въ аудиторію, студенты, закутавшись въ шинели, забились по угламъ аудиторіи, слабо освѣщенной лампою, и какъ только онъ появился, запѣли: «се женихъ грядетъ во полунощи» [1]. Въ другой разъ, на лекцію къ тому же профессору принесли воробья и во время лекціи выпустили: воробей принялся летать, а студенты, какъ будто въ негодованіи на нарушеніе порядка, принялись усердно ловить его.

Другой разсказчикъ объ этомъ времени, бывшій въ университетѣ

---

[1]) Въ приводимыхъ нами воспоминаніяхъ этотъ анекдотъ разсказывается о Побѣдоносцевѣ; но другіе современники замѣчали намъ, что онъ относится къ Гаврилову.

нѣсколько раньше Аксакова, и самъ свидѣтель анекдота съ воробьемъ, приводитъ и другіе случаи. «Въ мое время, — говоритъ онъ, — едва ли не на каждой лекціи Побѣдоносцева на первомъ курсѣ повторялось слѣдующее. Обычный шумъ (господствовавшій въ его аудиторіи) на минуту прекращался и водворялась глубочайшая тишина; преподаватель нашъ, обрадованный необыкновеннымъ безмолвіемъ, громко начиналъ читать намъ что-нибудь о Ломоносовѣ (при чемъ онъ говорилъ всегда, что и въ солнцѣ есть пятна, и у Ломоносова есть недостатки), или о хріи простой и извращенной; но тишина эта была самая коварная, раздавался тихій, мелодическій свистъ, обыкновенно мазурка или какой-нибудь другой танецъ; Побѣдоносцевъ останавливался въ недоумѣніи; музыка умолкала, и за ней слѣдовалъ взрывъ рукоплесканій и неистовый топотъ... Трудно повѣрить, что подобная продѣлка повторялась безнаказанно безчисленное множество разъ».

Бывали подобныя проказы и съ нѣкоторыми другими профессорами. Между стариками были почтенные люди, какъ профессоръ греческой словесности, Семенъ Мартыновичъ Ивашковскій, составитель извѣстнаго нѣкогда, тяжеловѣснаго словаря. «Какъ истолкователь ученія Сократа и Платона, онъ не любилъ лжи, софизмовъ и шутокъ, которыми отличался его собратъ, преподаватель латинской стилистики. Однажды собрались наши ученые у Мерзлякова въ Сокольникахъ. Истолкователь Горація и Саллюстія, зная рьяную натуру своего собрата, завелъ съ нимъ какой-то споръ, и всѣми мѣрами старался поддержать ложное мнѣніе. Ревнитель истины разсердился и незамѣтно скрылся. Проходитъ часа два, какъ вдругъ увидѣли Семена Мартыновича въ окно, крупно шагающаго съ фоліантомъ подъ мышкою. Вошедши въ комнаты, весь въ пыли и потѣ, онъ съ торжествующимъ видомъ восклицаетъ, указывая на замѣченное мѣсто раскрывшагося фоліанта: «вотъ—*будетъ* [1])—смотрите! Вѣдь я говорилъ, что моя правда». Таковъ былъ Семенъ Мартынычъ! Ни почемъ было прошагать ему десять верстъ взадъ и впередъ, чтобы принесеннымъ изъ дома фоліантомъ опровергнуть ложную мысль, незаконно защищаемую». Но студенты, кромѣ двухъ-трехъ человѣкъ въ курсѣ, учились плохо у этого ревнителя истины, знавшаго свой предметъ, но совершенно неспособнаго заинтересовать имъ своихъ слушателей, и студенты на лекціяхъ обыкновенно старались заговаривать его, чтобы сократить время занятій, имъ мудреныхъ. Лекціи не обходились безъ комическихъ подробностей,

[1]) Любимое его слово, которое онъ говорилъ чуть не за каждымъ словомъ,—студенты называли это: въ прикуску.

при чудачествѣ профессора, который раздражался невѣжествомъ своихъ слушателей. «Всего интереснѣе были вопросы его изъ греческой словесности; онъ начиналъ, обращаясь къ которому-нибудь изъ студентовъ: «что такое, будетъ, греческая словесность?» — «Поле, Семенъ Мартыновичъ», громко отвѣчалъ вопрошаемый. — «Да, будетъ, поле, но какое?» И если студентъ не вдругъ отвѣчалъ, то Ивашковскій подхватывалъ съ жаромъ и скороговоркою: «греческая словесность, будетъ, поле, и поле обширное, будетъ»... и оставался очень доволенъ такимъ опредѣленіемъ!»

Каченовскій читалъ монотонно и сухо; его лекціи по русской исторіи интересовали его слушателей—это былъ одинъ изъ наиболѣе серьёзныхъ профессоровъ тогдашняго словеснаго отдѣленія, но онъ слишкомъ увлекался археологической аргументаціей своего скептицизма; онъ читалъ также и всеобщую исторію — по книгѣ Пѣлица, сухо и скучно. По всей вѣроятности, и его чтенія мало привлекали Бѣлинскаго,—у котораго, впрочемъ, сохранилось и послѣ уваженіе къ ученымъ трудамъ Каченовскаго.

Главный предметъ, на которомъ должны были сосредоточиваться интересы Бѣлинскаго, была, конечно, русская словесность. Ее излагалъ упомянутый Побѣдоносцевъ, представлявшій собою живое преданіе литературныхъ вкусовъ и понятій прошлаго столѣтія [1]). Тотъ же товарищъ Бѣлинскаго по 11-му номеру разсказываетъ, что онъ не могъ выносить этихъ лекцій. «Вслѣдствіе особенной настроенности своего духа (т.-е. вслѣдствіе давнишней ненависти къ реторикѣ), Бѣлинскій никакъ не могъ равнодушно слушать Бургіевскія лекціи перваго курса». На лекціяхъ реторики произошелъ съ нимъ слѣдующій случай. «Преподаватель реторики, Побѣдоносцевъ, въ самомъ азартѣ объясненія хрій, вдругъ остановился, и, обратившись къ Бѣлинскому, сказалъ: «что *ты*, Бѣлинскій, сидишь безпокойно, какъ будто на шилѣ, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мнѣ послѣднія

[1]) Побѣдоносцевъ (род. 1771), по оффиціальной исторіи университета, «читалъ реторику (по руководствамъ Ломоносова, Рижскаго и Мерзлякова) и главное вниманіе обращалъ на практическія занятія, на чистоту рѣчи и на строгое соблюденіе правилъ грамматики; въ переводахъ съ латинскаго и французскаго языковъ, которыми также занималъ студентовъ, тщательно избѣгалъ всякаго иностраннаго оборота рѣчи». Его первые литературные труды появились еще въ 1796 г., подъ названіемъ: «Плоды меланхоліи, питательные для чувствительнаго сердца», въ 2-хъ частяхъ; затѣмъ слѣдовали различные переводы нравоучительныхъ книгъ, собственныя сочиненія того же рода; статья о заслугахъ Хераскова въ отечественной словесности; разсужденіе о любви къ отечеству; на торжественномъ собраніи университета 3-го іюля 1831 г. онъ произнесъ слово: «О существенныхъ обязанностяхъ витіи и о способахъ къ пріобрѣтенію успѣховъ въ краснорѣчіи».

слова, на чемъ я остановился?»—«Вы остановились на словахъ, что я сижу на шилѣ», — отвѣчалъ спокойно и не задумавшись Бѣлинскій. При такомъ наивномъ отвѣтѣ студенты разразились смѣхомъ. Преподаватель съ гордымъ презрѣніемъ отвернулся отъ неразумнаго, по его разумѣнію, студента, и продолжалъ свою лекцію о хріяхъ, инверсахъ и автоніянахъ; но горько потомъ пришлось Бѣлинскому за его убійственно-ѣдкій отвѣтъ». Разсказчикъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать, что этотъ случай былъ зачтенъ Бѣлинскому въ лишнюю вину при его исключеніи изъ университета [1]).

Неудивительно, что Бѣлинскій мало вынесъ изъ этихъ университетскихъ лекцій. И другіе современники, напр., К. Аксаковъ, прямо сознавались, что мало могли извлечь пользы изъ тогдашнихъ лекцій. Но, взамѣнъ того, къ Бѣлинскому несомнѣнно прилагаются слова К. Аксакова о другой умственной и нравственной пользѣ, которую, мимо этихъ недостатковъ, приносила университетская жизнь, студенчество, сами по себѣ. «Въ эпоху студенчества, — говоритъ Аксаковъ, — первое, что обхватывало молодыхъ людей, это — общее веселіе молодой жизни, это — чувство общей связи товарищества. Конечно, это-то и было первымъ мотивомъ студенческой жизни. Но въ то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодыя эти силы собраны все же во имя науки, во имя высшаго интереса истины... Спасительны эти товарищескія отношенія, въ которыхъ только слышна молодость человѣка, и этотъ человѣкъ здѣсь не аристократъ и плебей, не богатый и не бѣдный, а просто человѣкъ. Такое чувство равенства, въ силу человѣческаго имени давалось университетомъ и званіемъ студента... Главная польза такого общественнаго воспитанія, кажется мнѣ, заключается въ общественной жизни юношей, въ товариществѣ, въ студенчествѣ самомъ. Общественно-студенческая жизнь и общая бесѣда, возобновлявшаяся каждый день, много двигала впередъ здоровую молодость». Правда, «солнце истины», представляемое университетской наукой, свѣтило тогда тускло и холодно, но, по замѣчанію Аксакова,—живыя, неподавленныя силы находили къ ней дорогу... Эту самую черту университетской жизни того времени еще болѣе ярко указываетъ авторъ «Былого и Думъ».

Въ самомъ дѣлѣ, въ умахъ молодежи московскаго университета

[1]) Мы слышали, впрочемъ, отъ другихъ современниковъ, что такой отвѣтъ данъ былъ не Бѣлинскимъ, а другимъ студентомъ. Но анекдотъ характеристиченъ, какъ черта нравовъ. Намъ замѣчали также, что Побѣдоносцевъ едва-ли могъ повредить Бѣлинскому въ его университетскихъ дѣлахъ,—потому что былъ въ сущности человѣкъ добродушный.

появлялось новое неопредѣленное движеніе. Еще нѣсколько раньше, лекціи извѣстнаго М. Г. Павлова пробуждали интересъ къ общимъ философскимъ вопросамъ; потомъ, болѣе сильное впечатлѣніе производили лекціи Надеждина, гдѣ широкая философская точка зрѣнія была примѣнена къ вопросамъ искусства и литературы; но и кромѣ того, стремленія новаго поколѣнія, назависимо отъ университета, питала сама тогдашняя литература — поэтическая дѣятельность Пушкина, критика Полевого и Надеждина. Послѣдняя имѣла вліяніе еще раньше, чѣмъ Надеждинъ вступилъ на университетскую каѳедру.

Бѣлинскій засталъ въ живыхъ Мерзлякова (онъ умеръ въ 1830), но, кажется, не бывалъ на его лекціяхъ. Въ 1831, каѳедру русской словесности занялъ извѣстный И. И. Давыдовъ, а въ концѣ этого года вступилъ въ университетъ Надеждинъ, назначенный профессоромъ теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи, и съ перваго раза получившій большую популярность и вліяніе на слушателей. Съ 1834 началъ свои лекціи Шевыревъ, вернувшійся передъ тѣмъ изъ Италіи; онъ также произвелъ значительное впечатлѣніе своими лекціями, въ которыхъ во всякомъ случаѣ было много новаго послѣ Мерзлякова, Побѣдоносцева, да и Давыдова; но пріятное впечатлѣніе продолжалось недолго. Бѣлинскій уже не былъ тогда въ университетѣ, но первыя лекціи Шевырева были событіемъ, которымъ и Бѣлинскій былъ тогда до извѣстной степени заинтересованъ, тѣмъ больше, что слушателями Шевырева были многіе изъ университетскихъ друзей Бѣлинскаго. Но всего болѣе были привлекательны для студентовъ словеснаго факультета чтенія Надеждина, котораго успѣлъ слышать и Бѣлинскій передъ окончательнымъ оставленіемъ университета. Мы будемъ имѣть далѣе случай говорить о взглядахъ Надеждина, имѣвшихъ несомнѣнное вліяніе на образованіе критическихъ мнѣній Бѣлинскаго, и здѣсь приведемъ только нѣсколько указаній современниковъ о положеніи, занятомъ Надеждинымъ въ университетской аудиторіи.

«Надеждинъ производилъ, съ начала своего профессорства, большое впечатлѣніе своими лекціями,—разсказываетъ К. Аксаковъ. — Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ-сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину; но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ занятій. Тѣмъ не менѣе, справедливо и строго оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ

Надеждина, прибавлялъ, что Надеждинъ много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ (Станкевичъ) будетъ въ раю, то Надеждину за то обязанъ. Тѣмъ не менѣе, благодарный ему за это пробужденіе, Станкевичъ чувствовалъ бѣдность его преподаванія. Надеждина любили за то еще, что онъ былъ очень деликатенъ съ студентами, не требовалъ, чтобъ они ходили на лекціи, не выходили во время чтенія, и вообще не любилъ никакихъ полицейскихъ пріемовъ. Это студенты очень цѣнили, — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекціяхъ, какъ у Надеждина. Обладая текучею рѣчью, закрывая глаза и покачиваясь на каѳедрѣ, онъ говорилъ безъ умолку,—и случалось, что проходилъ назначенный часъ, онъ продолжалъ читать (онъ былъ крайнимъ). Однажды, до поступленія моего на второй курсъ, прочелъ онъ два часа слишкомъ, и студенты не напомнили ему, что срокъ его лекціи давно прошелъ».

Послѣ столкновенія съ профессоромъ, хранившимъ преданія Бургіевой реторики, Бѣлинскій совсѣмъ бросилъ его лекціи и, вмѣсто того, началъ ходить на лекціи Надеждина. Такъ дѣлали и многіе изъ его товарищей, и обитатель 11-го нумера съ большимъ увлеченіемъ говоритъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, о чтеніяхъ Надеждина, которыя на мѣсто сухой и ограниченной схоластики открывали слушателямъ новый для нихъ міръ искусства, освѣщая его философскимъ пониманіемъ. «Рѣдкимъ профессорскимъ даромъ и привѣтливымъ гуманнымъ обращеніемъ, Надеждинъ возбуждалъ въ студентахъ необыкновенный энтузіазмъ; его обширная аудиторія, кромѣ студентовъ словеснаго отдѣленія, наполнялась студентами другихъ факультетовъ и сторонними слушателями». На первое время, у слушателей Надеждина, вѣроятно, еще не являлось того недовѣрчиваго отношенія къ нему, о которомъ говоритъ К. Аксаковъ.

Вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго, вообще весьма значительное, началось, повидимому, еще раньше вступленія Надеждина въ университетъ, —статьями «Надоумки» въ «Вѣстникѣ Европы» и «Телескопомъ»,—продолжалось университетскими лекціями, и завершилось въ ихъ личномъ знакомствѣ, по выходѣ Бѣлинскаго изъ университета. Здѣсь Бѣлинскій нашелъ первую систему теоретическихъ понятій, первое основаніе, съ котораго началось прочное и послѣдовательное развитіе его мнѣній.

Возвращаемся къ послѣднему времени пребыванія Бѣлинскаго въ университетѣ. Какъ объяснимъ дальше, исторія Бѣлинскаго за это время очень темна и хронологически спутана; не знаемъ, какъ проводилъ онъ 1831—32 годы, когда именно и какъ разстался съ

университетомъ; вѣрно одно, что это время было для него очень тяжкое. Матеріальныя обстоятельства были крайне плохи; необходимость обращаться домой съ просьбами о деньгахъ мучила его; впереди ничего не предвидѣлось. Наконецъ онъ былъ исключенъ изъ университета и долго не писалъ объ этомъ домой,—не желая огорчать своихъ родныхъ. Соберемъ нѣсколько подробностей изъ новой напечатанной его переписки [1]).

Лѣтомъ 1831 (или 1832) Бѣлинскій заболѣлъ и долго не могъ поправиться. Онъ писалъ домой съ просьбой о деньгахъ на свои крайнія нужды и, между прочимъ, говорилъ:

«...Однимъ словомъ: еслибы я не имѣлъ крайней нужды, то никогда бы не сталъ тревожить васъ моими просьбами. Вы не можете представить себѣ, какихъ ужасныхъ усилій стоило мнѣ преодолѣть мою нерѣшимость и написать эти строки! Для меня нѣтъ ничего ужаснѣе, убійственнѣе, какъ быть кому нибудь въ тягость. Итакъ прошу васъ: или исполните мою просьбу безъ укоризнъ, ежели она покажется вамъ слишкомъ непріятною, или... мнѣ ничего не нужно»!...

Родители послали ему денегъ и, между прочимъ, извѣщали, что послали ему еще 4 руб. асс. (цѣлковый) съ ихъ знакомой, г-жей Горнъ. Бѣлинскій отвѣчалъ, что радъ бы былъ посѣтить г-жу Горнъ, но этому мѣшаетъ «одно небольшое обстоятельство, а именно *неимѣніе* платья, не только *приличнаго*, но и *никакого*. Я не знаю, что мнѣ и дѣлать,—говорилъ онъ. Деньги нужны, а идти за ними страхъ какъ не хочется»... Наконецъ нужда заставила его отправиться за «цѣлковымъ». Эти поиски кончились трагикомической исторіей, разсказанной въ письмѣ Бѣлинскаго къ брату Константину, отъ 27 января 1832. Прежде всего ему надо было «со всего міра собирать одежду»: онъ собралъ ее у пріятелей и отправился на второй день Рождества, день холодный до крайности.

«Я хотѣлъ занять денегъ на извощика, ибо идти мнѣ нужно было, по крайней мѣрѣ, версты три. Къ счастію, что ни у кого не было ихъ и мнѣ никто не далъ. Являюсь къ Горнъ, а хотя чужое платье было и не совсѣмъ по мнѣ, однакоже я не уронилъ себя. Сынъ ея расцѣловался со мною, какъ со стариннымъ знакомцемъ, и повелъ меня въ гостиную къ своей матери, которая сначала меня не узнала. Я говорилъ съ нею и о томъ, и о семъ, а объ деньгахъ не рѣшался упомянуть, ибо ждалъ, чтобы она сама мнѣ ихъ вручила. Наконецъ, я увидѣлъ, что уже пора убираться во-свояси, вручилъ ей письмо, простился и ушелъ. Она оставляла меня обѣдать, но я не остался, ибо мнѣ нужны были деньги, а не

[1]) «Р. Старина», 1876, янв. и февраль.

обѣдъ ея. Вышедши, позабылъ калоши. На другой день я пишу записку къ ея сыну, въ которой прошу его напомнить своей маменькѣ о моихъ деньгахъ и чтобы онъ велѣлъ отдать калоши, и записку сію послалъ съ сапожникомъ, который стоитъ на квартирѣ у Алексѣя Петровича. Какой же я отвѣтъ получилъ? Сына ея не было дома, и потому записку прочла она сама и сказала, что цѣлковый она возвратила моей маменькѣ и что еслибы деньги были у ней, то она бы и безъ записки сама отдала бы мнѣ. Потомъ стали искать калоши, но онѣ сплыли и слѣдъ пропалъ. Не прикажете-ли теперь еще сходить къ г-жѣ Горнъ за цѣлковымъ?».

Письма Бѣлинскаго домой объ его стѣсненномъ положеніи раздражали его домашнихъ. Бѣлинскій оправдывался крайней нуждой, не дававшей ему никакого другого выхода, кромѣ ихъ помощи. Между тѣмъ на него обрушилась послѣдняя бѣда: онъ былъ исключенъ изъ университета за «неспособность». Впослѣдствіи, въ письмахъ домой онъ объяснялъ свое исключеніе отчасти собственными ошибками и нерадѣніемъ, отчасти долговременною болѣзнью и наконецъ явнымъ недоброжелательствомъ одного начальствовавшаго лица. Нерадѣніе дѣйствительно было, и, какъ мы видѣли, имѣло причину отчасти въ свойствахъ тогдашняго преподаванія, отчасти въ исключительномъ увлеченіи Бѣлинскаго его литературными пристрастіями. Бѣлинскій мало ходилъ на лекціи, хотя въ тѣ времена нехожденіе на лекціи могло и не быть для студента особенной бѣдой [1]). Объ его болѣзняхъ нерѣдко упоминается въ перепискѣ; онъ страдалъ кашлемъ, одышкой, болью въ груди; въ 1831, онъ нѣсколько разъ поступалъ въ больницу. Раньше онъ чѣмъ-то навлекъ на себя неудовольствіе начальства. Но окончательной причиной исключенія изъ университета послужила, какъ говорятъ, его трагедія. Цензурныя власти совпадали тогда съ университетскимъ начальствомъ, и неблагопріятное мнѣніе, составленное объ авторѣ пьесы, отразилось на студентѣ. Цензурная власть и ректоръ, Двигубскій, пригрозилъ студенту за дерзкія мысли. Хотя Бѣлинскій написалъ послѣ домой, что положеніе его улаживается, впечатлѣніе его «дерзости» вѣроятно сохранилось, и по всѣмъ отзывамъ, какіе намъ приходилось читать и слышать, трагедія имѣла положительную роль въ исключеніи его изъ университета.

«Исторія Бѣлинскаго сильно взволновала студентовъ,—разсказываетъ одинъ современникъ,—и долго толковали о ней товарищи... Мы (студенты) съ изумленіемъ услыхали, что Бѣлинскій

---

[1]) Современники приводили намъ примѣръ одного студента, который спокойно прожилъ на казенномъ содержаніи девять лѣтъ, не стѣсняясь занятіями и экзаменомъ.

исключенъ изъ университета за неспособностью; конечно, никто изъ насъ не подозрѣвалъ въ немъ знаменитаго критика, какимъ онъ являлся впослѣдствіи, но все же мы почитали его однимъ изъ самыхъ умныхъ и даровитыхъ студентовъ, и въ исключеніи его видѣли вопіющую несправедливость» [1]).

Начальство, какъ говорятъ, было такъ враждебно къ Бѣлинскому, что ему не оставили даже казеннаго платья, которое обыкновенно предоставляли выходящимъ студентамъ.

Исключеніе состоялось, кажется, въ сентябрѣ 1832 г. Въ матеріалахъ для біографіи Бѣлинскаго, изданныхъ въ «Русской Старинѣ» 1876 г., это исключеніе отнесено къ сентябрю 1831 г., на основаніи нѣсколькихъ писемъ Бѣлинскаго, гдѣ дѣйствительно выставляется этотъ годъ [2]); но по обстоятельствамъ, какія упоминаются въ этихъ письмахъ Бѣлинскаго, и по сличенію отвѣтныхъ писемъ изъ дому, оказывается, что у Бѣлинскаго страннымъ образомъ повторяется одна ошибка въ обозначеніи годовъ: именно, они выставлены въ этихъ письмахъ годомъ раньше. Въ нашемъ матеріалѣ есть также письмо (приводимое ниже), гдѣ эта хронологическая ошибка очевидна [3]).

---

[1]) «Вотъ какъ разсказывали тогда эту исторію,—прибавляетъ тотъ же современникъ:—Бѣлинскій написалъ драму и представилъ ее на разсмотрѣніе университетскаго совѣта (т.-е. цензурнаго комитета, что было очень близко одно къ другому), который нашелъ ее безнравственною, потому что въ ней слуга убиваетъ своего господина. Это и было началомъ гоненій, воздвигнутыхъ на Бѣлинскаго, бывшаго на бѣду казеннымъ студентомъ. Послѣ разныхъ притѣсненій и долгаго пребыванія въ больницѣ, онъ былъ исключенъ изъ университета за неспособностью къ ученью, по распоряженію Д. П. Г. (Голохвастова), исправлявшаго тогда должность попечителя». «День», 1863, № 42.

[2]) Напр., въ письмѣ, помѣченномъ 21 мая 1832 г., отрывки котораго мы приведемъ дальше, Бѣлинскій говоритъ, что былъ исключенъ за девять мѣсяцевъ передъ тѣмъ, т. е. въ сентябрѣ 1831 г. Подобное указаніе годовъ и въ нѣсколькихъ другихъ письмахъ.

[3]) Обстоятельства исключенія Бѣлинскаго изъ университета остаются еще не вполнѣ извѣстны... Благодаря обязательному содѣйствію С. М. Соловьева, мы получили копіи разныхъ бумагъ, касающихся Бѣлинскаго, изъ архива московскаго университета; но онѣ не разъясняютъ дѣла до конца. Въ этихъ бумагахъ мы находимъ извѣщеніе въ правленіе университета отъ отдѣленія словесныхъ наукъ, подписанное деканомъ Каченовскимъ и секретаремъ Побѣдоносцевымъ, отъ 24 сентября 1831 года, о томъ, что членами отдѣленія произведенъ былъ экзаменъ студентамъ, которые въ минувшемъ академическомъ году за неуспѣшность въ наукахъ оставлены были на прежнихъ лекціяхъ 1 курса, и по этому экзамену Бѣлинскій не оказался въ числѣ тѣхъ, которые были сочтены достойными перевода «на ординарныя лекціи». Затѣмъ слѣдуетъ, вѣроятно вызванное предыдущимъ, прошеніе Бѣлинскаго

До какой степени Бѣлинскій былъ смущенъ исключеніемъ изъ университета, видно изъ того, что онъ очень долго скрывалъ это обстоятельство отъ своихъ домашнихъ, которыхъ это, конечно, должно было чрезвычайно огорчить. Повидимому, онъ долго еще говорилъ въ письмахъ о продолжавшемся будто бы пребываніи въ университетѣ, потому что не доставало духу открыть имъ свою бѣду. Онъ рѣшился на это только черезъ девять мѣсяцевъ въ письмѣ 21 мая 1833 (въ «Р. Старинѣ»—1832),—кажется, только тогда, когда стали поправляться его дѣла. Онъ писалъ къ матери:

«Давно уже не писалъ я къ вамъ; не знаю, въ хорошую-ли или въ дурную сторону толкуете вы мое молчаніе. Какъ бы то ни было, но на этотъ разъ я желалъ бы не умѣть ни читать, ни писать, ни даже чувствовать, понимать и жить! Каковымъ вамъ кажется это вступленіе? Но погодите, не торопитесь: это еще цвѣтики, а вотъ скоро поподчую васъ и плодами... Не радостны были всѣ мои письма съ самаго проклятаго холернаго года; но теперь я не могу безъ ужаса и подумать о томъ ударѣ, которымъ готовлюсь поразить васъ, мою мать...

«Девять мѣсяцевъ таилъ я отъ васъ свое несчастіе, обманывалъ всѣхъ чембарскихъ, бывшихъ въ Москвѣ, лгалъ и лицемѣрилъ, скрѣпя сердце... но теперь не могу болѣе. Вѣдь когда-нибудь надобно же узнать вамъ. Можетъ даже быть, что вы уже знаете,

въ правленіе университета, помѣченное 15 и поданное, кажется, 19 октября 1831 г., гдѣ онъ объясняетъ, что «по особеннымъ обстоятельствамъ не можетъ продолжать курса наукъ и желаетъ поступить въ службу въ училищный комитетъ московскаго университета въ число канцелярскихъ служителей». Вслѣдствіе того, правленіе, слушавъ прошеніе Бѣлинскаго и упомянутое выше отношеніе отдѣленія словесныхъ наукъ,—причемъ по справкѣ оказалось, что Бѣлинскій и въ прошломъ 1830 году за малоуспѣшность въ наукахъ не былъ «удостоенъ на ординарныя лекціи»,—опредѣлило: Бѣлинскаго, «оказавшагося неспособнымъ къ слушанію ординарныхъ лекцій», принять въ число канцелярскихъ служителей правленія, съ жалованьемъ по 200 р. въ годъ, а изъ числа казенныхъ студентовъ исключить,—и представило объ этомъ 26 октября 1831 г. на утвержденіе попечителя. Въ ноябрѣ попечитель требовалъ еще дополнительныхъ свѣдѣній по этому дѣлу, а въ декабрѣ онъ извѣстилъ правленіе, что такъ какъ въ непродолжительномъ времени должно быть преобразованіе правленія и училищнаго комитета, то и слѣдуетъ остановиться на нѣкоторое время опредѣленіемъ лицъ, представленныхъ правленіемъ для опредѣленія въ канцелярскіе служители (въ томъ числѣ Бѣлинскаго).

Этимъ заканчиваются полученныя нами бумаги архива моск. университета; по нимъ, исключеніе Бѣлинскаго въ концѣ 1831 г. не было приведено въ исполненіе. По другимъ свѣдѣніямъ, Бѣлинскій еще былъ въ университетѣ въ 1832 году, и вышелъ въ концѣ этого года. Это подтверждается и замѣткой изъ бумагъ инспектора П. С. Щепкина въ «Р. Старинѣ» 1876, кн. 3, стр. 677—678.

можетъ быть, вамъ сообщено это съ преувеличеніями, а вы—женщина и мать... Чего не надумаетесь вы? При одной мысли объ этомъ сердце мое обливается кровію. Я потому такъ долго молчалъ, что еще надѣялся хоть сколько-нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать объ этомъ хладнокровнѣе... Я не щадилъ себя, употреблялъ всѣ усилія къ достиженію своей цѣли, ничего не упускалъ, хватался за каждую соломенку и, претерпѣвая неудачи, не унывалъ и не приходилъ въ отчаяніе—для васъ, только для васъ. Я всегда живо помнилъ и хорошо понималъ мои къ вамъ отношенія и обязанности, терпѣлъ все, боролся съ обстоятельствами, сколько доставало силъ, трудился и, кажется, не безъ успѣха. Вотъ въ чемъ дѣло. Вы знаете, что проходитъ уже четвертый годъ, какъ я поступилъ въ университетъ [1]); вы, можетъ быть, считаете по пальцамъ мѣсяцы, недѣли, дни, часы и минуты, насъ раздѣляющіе; думаете съ восхищеніемъ о томъ времени, о той блаженной минутѣ, когда, нежданный и незванный, я, какъ снѣгъ на голову, упаду въ объятія семейства кандидатомъ или, по крайней мѣрѣ, дѣйствительнымъ студентомъ!... Мечта очаровательная! И меня обольщала она нѣкогда! Но, увы! въ сентябрѣ исполнится годъ, какъ я *выключенъ изъ университета!!!*... Предчувствую, что это будетъ вамъ стоить большихъ слезъ, тоски и даже отчаянія,—и это-то самое меня и сокрушаетъ... Но, маменька, все-таки умоляю васъ не отчаяваться и не убивать себя безплодною горестію. Есть счастіе и въ несчастіи, есть утѣшеніе и въ горести, есть благо и въ самомъ злѣ. Я видѣлъ людей въ тысячу тысячъ разъ несчастнѣе себя и потому смѣюсь надъ своимъ несчастіемъ...

«Теперь въ короткихъ словахъ разскажу вамъ мою печальную исторію. Вышедши изъ больницы, я просилъ Голохвастова, чтобы онъ, изъ уваженія къ моей долговременной болѣзни, позволилъ мнѣ въ концѣ августа или въ началѣ сентября... держать особенный экзаменъ. Онъ, хотя и не обѣщалъ исполнить моей просьбы, но и не отказалъ, а сказалъ: «хорошо, посмотримъ». Я остался въ надеждѣ, и съ половины мая до самаго сентября, несмотря на чрезвычайно худое состояніе моего здоровья, работалъ и трудился, какъ чортъ, готовясь къ экзамену. Но экзамена не дали, а вмѣсто его увѣдомили меня о всемилостивѣйшемъ увольненіи отъ университета...

«Я не буду говорить вамъ о причинахъ моего исключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерадѣніе, а болѣе всего долговременная болѣзнь и подлость одного толстаго превосходительства. Нынѣ времена мудреныя и тяжелыя: подобныя происшествія очень не рѣдки»...

Въ письмѣ къ отцу, отъ того же 21 мая, Бѣлинскій говорилъ:

«Если это васъ огорчитъ, то одна моя мольба къ вамъ: *ни*

---

[1]) Изъ этого упоминанія видно, между прочимъ, что письмо писано именно въ 1833, а не въ 1832: Бѣлинскій поступилъ въ университетъ въ концѣ 1829.

слова въ упрекъ. Если я болѣе или менѣе былъ самъ причиною сего моего несчастія, то, повѣрьте, я съ лихвою наказанъ за это самимъ собою. Надѣюсь, что вы поймете меня. Я уже не мальчикъ и свой собственный судъ для меня всего страшнѣе. Но счастливъ тотъ, кто еще можетъ остановиться во время и употребить себѣ въ пользу собственныя ошибки и суровые уроки судьбы! Я еще только выѣхалъ на своемъ челнѣ въ это открытое море свѣта, а до сего времени держался у береговъ; слѣдовательно, еще не все потеряно. Конецъ вѣнчаетъ дѣло, говорятъ умные люди. Только тогда при плескахъ вызываютъ или освистываютъ актера, когда совсѣмъ разыграетъ свою роль; только тогда можно произнести судъ человѣку, когда онъ совсѣмъ окончилъ свое поприще. Впрочемъ, какія бы ни были обстоятельства, навлекшія на меня мое несчастіе, вы можете быть всегда твердо увѣренными, что ничѣмъ предосудительнымъ не обезчестилъ имени своего отца. Я живу не *для себя,* помню, что я крѣпкими узами связанъ съ кровными—и вотъ только поэтому-то и огорчаюсь. Итакъ, простите!...» [1]).

Въ то время, когда Бѣлинскій писалъ это письмо, его внѣшнія обстоятельства принимали уже болѣе благопріятный оборотъ; это, конечно, и дало ему рѣшимость признаться передъ домашними въ своей неудачѣ. Но въ первое время по исключеніи изъ университета, предоставленный самому себѣ, Бѣлинскій очутился въ крайней нуждѣ, которая и вызывала упомянутыя усильныя просьбы его къ домашнимъ о деньгахъ. Онъ поселился на первый разъ со своими земляками и родственниками Ивановыми, изъ которыхъ одинъ служилъ небольшимъ чиновникомъ въ сенатѣ, другой былъ студентъ. Онъ искалъ себѣ уроковъ и литературной работы. Онъ купилъ французскій романъ въ 4 частяхъ («Монфермельскую молочницу» Поль-де-Кока) и принялся его переводить. «Къ Рождеству [2]),—писалъ Бѣлинскій домой,—съ великими трудами, просиживая иногда напролетъ цѣлыя ночи, а во время дня не слѣзая съ мѣста, перевелъ его, въ надеждѣ пріобрѣсти рублей 300. Но фортуна и тутъ прежестоко подшутила надо мной, въ газетахъ было объявлено о другомъ переводѣ сего самаго сочиненія, и потому я едва-едва могу получить 100 р. асс.». Потомъ былъ у него планъ отправиться «на кондицію» въ Вологду или въ Орловскую губернію. Наконецъ, въ половинѣ великаго поста 1833 г. [3]) Бѣлинскій познакомился съ

---

[1]) Домашніе, конечно, огорчились исключеніемъ Бѣлинскаго изъ университета. Мать его сокрушалась этимъ обстоятельствомъ и объясняла его тѣмъ, что сынъ не имѣетъ истинной вѣры и надежды на Бога,—совѣтовала ему больше ходить въ церковь и оставить «модныя фортуны».—Письма изъ дому объ исключеніи—отъ половины 1833 г.

[2]) 1832. Въ «Р. Старинѣ» поставленъ 1831.

[3]) Въ «Р. Старинѣ» 1832, опять ошибочно.

Надеждинымъ и сталъ переводить для его журнала. Съ этого знакомства его литературное поприще стало опредѣляться.

Первыя литературныя попытки Бѣлинскаго относятся къ 1831, когда онъ былъ еще студентомъ. Онъ заранѣе писалъ тогда домой съ большими ожиданіями о новомъ журналѣ, который долженъ былъ выходить съ 1831 года («Телескопъ» и «Молва»), и извѣщалъ также объ изданіи «Листка», въ которомъ самъ намѣревался участвовать.

Этотъ «Листокъ», издателемъ котораго (вѣроятно, редакторомъ) Бѣлинскій въ своихъ письмахъ называлъ нѣкоего Артемова, дѣйствительно издавался нѣсколько времени въ Москвѣ. Изданіе было довольно курьезно и теперь вѣроятно составляетъ большую библіографическую рѣдкость—въ каталогѣ Смирдина это изданіе не упомянуто. «Листокъ» сначала былъ дѣйствительно только одинъ листъ, формата въ родѣ листа писчей бумаги, на которомъ печаталось—сколько случится — разныхъ мелкихъ статеекъ, московскихъ извѣстій, стихотвореній и т. п. Издателемъ подписывался князь Д. В. Львовъ. Газетка выходила, не совсѣмъ правильно, по средамъ и субботамъ; съ 22-го №, вмѣсто прежняго формата, которымъ были недовольны читатели, она печаталась въ четвертку и уже имѣла по нѣскольку страничекъ; всего вышло 49 нумеровъ. Здѣсь, въ № 40—41, вышедшемъ 27-го мая, помѣщено стихотвореніе Бѣлинскаго, подъ названіемъ «Русская быль», въ извѣстномъ пѣсенномъ стилѣ, весьма, впрочемъ, слабое, и затѣмъ въ № 45 (10 іюня)—небольшая библіографическая статейка по поводу одной брошюры о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина [1]).

Любопытно, что въ этомъ самомъ «Листкѣ», въ числѣ другихъ стиховъ, помѣщено и два-три стихотворенія Кольцова — первыя, какія были напечатаны, написанныя въ той книжной манерѣ, въ которой Кольцовъ писалъ прежде, чѣмъ нашелъ свою настоящую поэтическую форму. Бѣлинскій упоминаетъ объ этихъ стихотвореніяхъ въ своей біографіи Кольцова и указываетъ также, что къ этому времени относится и его первое знакомство съ Кольцовымъ [2]). По всей вѣроятности, тогда же Бѣлинскій познакомился и

---

[1]) «Русская быль», съ подписью «В. Б—й»; она помѣщена въ Сочин., XII, стр. 525—528. Другая статейка безъ подписи. Обѣ онѣ упоминаются въ письмахъ его брата Константина, который ими очень восхищался; отцу, и даже матери, онѣ также доставили удовольствіе.

[2]) Въ 1831, когда Кольцовъ въ первый разъ былъ въ Москвѣ, двѣ или три пьески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ, впрочемъ, до-

съ Станкевичемъ, который, самъ въ то время очень юный студентъ, старался поддержать поэтическую дѣятельность Кольцова. Изъ позднѣйшей переписки видно, что Станкевичу была очень извѣстна трагедія Бѣлинскаго, надъ которой друзья вѣроятно скоро стали подшучивать вмѣстѣ съ самимъ ея авторомъ [1]).

«Листокъ» былъ такъ ничтоженъ, что, очевидно, никакъ не могъ помочь дѣламъ Бѣлинскаго. По выходѣ изъ университета, какъ мы сказали, Бѣлинскій думалъ пріобрѣсть какія-нибудь средства переводомъ французскаго романа. Послѣ неудачи съ однимъ, онъ сталъ переводить другой романъ того же Поль-де-Кока, «Магдалина», который и вышелъ въ 1833 г. [2]).

Знакомство съ Надеждинымъ открыло Бѣлинскому нѣчто въ родѣ постоянной работы: онъ переводилъ съ французскаго для «Телескопа» и «Молвы». Кромѣ того, при помощи Надеждина онъ полагалъ устроить другія свои дѣла. Это и были тѣ надежды, которыми онъ успокаивалъ своихъ домашнихъ. Свои переводы онъ указываетъ въ письмѣ къ брату Константину, 21 мая 1833, т.-е. отъ того же дня, когда онъ писалъ отцу и матери о своемъ исключеніи [3]).

«Я знакомъ съ Надеждинымъ: перевожу въ Молву и Телескопъ. Вотъ тебѣ перечень моихъ переводовъ: *Лейпцигская битва, Изобрѣтеніе Азбуки, Нѣкоторыя черты изъ жизни Доктора Свифта, Послѣднія минуты библіомана, День въ Калькуттѣ* (59 и 60 №); въ Телескопѣ будутъ помѣщены *Письмо о музыкѣ* и *о Богемской эпопеѣ*. Сверхъ того еще не напечатаны: *Воспитаніе женщинъ* (Карла Нодье), *Графъ и Альдерманъ*, и *Воздушные замки молодой дѣвушки* (Юлія Жаненъ). Перевожу я болѣе изъ *Revue Etrangère*, нѣсколько изъ *Courier du beau monde*, *Revue de Paris*, и разную мелочь для Молвы изъ *Miroire*. Вотъ и это для тебя радость» [4]).

вольно плохомъ московскомъ журнальцѣ». Далѣе, упоминая о другомъ пріѣздѣ Кольцова въ Москву въ 1836 году, Бѣлинскій замѣчаетъ: «въ Москвѣ Кольцовъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ литераторомъ, съ которымъ познакомился еще въ первый пріѣздъ свой въ Москву» (Сочин. XII, стр. 97—98). Этотъ молодой литераторъ и былъ Бѣлинскій.

[1]) См. дальше въ главѣ III письмо Станкевича къ Бѣлинскому, отъ 12 авг. 1837.

[2]) «Магдалина», перев. В. Б., въ четырехъ частяхъ. М. 1833. Въ письмахъ брата его Константина упоминается объ этомъ переводѣ въ мартѣ 1833; домашніе узнали объ этой работѣ Бѣлинскаго отъ кого-то «по секрету». Позднѣе, въ іюлѣ, домашніе слышали, что Виссаріонъ переводитъ еще «Телемака» (?).

[3]) Письмо помѣчено и здѣсь 1832 годомъ; но рѣчь идетъ объ его работахъ 1833 года, и на письмѣ помѣта Константина: «получено 1833 года іюня 6 числа... съ Петромъ Ивановымъ».

[4]) См. въ «Телескопѣ», 1833: статья «о Богемской эпопеѣ» изъ Эдгара

Затѣмъ однако мы не имѣемъ свѣдѣній ни о какихъ литературныхъ работахъ Бѣлинскаго до конца 1834 года, когда съ появленіемъ «Литературныхъ Мечтаній» его первая самостоятельная дѣятельность сразу приняла характеръ событія. Довольно вѣроятно, что хотя сближеніе съ Надеждинымъ видимо радовало Бѣлинскаго, переводы въ «Молвѣ» мало его обезпечивали; поэтому, онъ усиленно ищетъ себѣ уроковъ и какого-нибудь служебнаго мѣста. Первой попыткой къ этому было намѣреніе искать мѣста уѣзднаго учителя, въ бѣлорусскій учебный округъ. Въ то время пріѣхалъ въ Москву попечитель этого округа Карташевскій, къ которому Бѣлинскій и получилъ рекомендацію отъ Надеждина. Въ концѣ апрѣля 1833, Бѣлинскій подалъ Карташевскому оффиціальную просьбу. Тогда именно принимались особенныя заботы объ устройствѣ бѣлорусскаго округа, о снабженіи его русскими учителями, для привлеченія которыхъ давались имъ нѣкоторыя служебныя преимущества; пребываніе Карташевскаго въ Москвѣ вѣроятно имѣло цѣлью именно пріисканіе учителей [1]). Но планъ Бѣлинскаго все-таки не состоялся. Карташевскій обѣщалъ—впредь до открытія новыхъ уѣздныхъ училищъ дать ему мѣсто приходскаго учителя, съ жалованьемъ въ 400 р. асс. Дѣло затянулось: Карташевскій взялъ бумаги Бѣлинскаго и уѣхалъ, но мѣста не давалъ. Бѣлинскій возобновлялъ еще разъ свою просьбу, но, не получая отвѣта, вытребовалъ наконецъ назадъ свои бумаги, и несмотря на новыя обѣщанія Карташевскаго дать ему лучшее мѣсто, совсѣмъ отказался отъ намѣренія ѣхать въ Бѣлоруссію.

Онъ полагался однако на Надеждина, «какъ на каменную гору» [2]), и пробовалъ искать себѣ другихъ мѣстъ—учительскаго мѣста въ московскомъ округѣ, корректорскаго при университетской типографіи. Но всѣ эти предположенія не осуществились, и единственное, чѣмъ поправились дѣла Бѣлинскаго, было то, что онъ сталъ находить себѣ уроки, между прочимъ въ аристократическихъ домахъ, напр., у кн. Волконскаго. Впослѣдствіи онъ былъ даже доволенъ, что остался въ Москвѣ, которую очень полюбилъ;

Кине, № 7, стр. 273—287; «О нынѣшнемъ состояніи музыки въ Италіи», № 13—14, стр. 80—92 и 212—230. Остальные переводы, упомянутые въ письмѣ, находятся въ «Молвѣ» 1833, № 33—34, 47—51, 59—65, 71—73, съ 18-го марта до половины іюня. Переводы обыкновенно подписаны: «съ франц. В. Б.» или безъ подписи.

[1]) См. административныя мѣры по Бѣлорусскому учебному округу, въ «Журн. Минист. Нар. Просв.» 1834.

[2]) На это мать отвѣчала ему совѣтомъ—не надѣяться ни на «барина», ни на сына человѣческаго, а на Спасителя и на угодниковъ.

думая отправиться на учительство, Бѣлинскій все-таки рѣшалъ, что это будетъ временная отлучка и что при первомъ случаѣ онъ опять вернется въ любезную Москву.

Въ 1834 г. онъ уже избавился отъ прежней нищеты. Въ маѣ этого года онъ пишетъ домой, что за переводъ «Магдалины» получилъ 200 руб., за уроки получаетъ 64 р. въ мѣсяцъ; онъ нанималъ отдѣльную комнату, за которую со столомъ и чаемъ платилъ 40 руб. въ мѣсяцъ.

«Я внѣ себя отъ восхищенія,—пишетъ онъ по этому случаю, натерпѣвшись отъ своей прежней бѣдности,—что нанялъ квартиру, гдѣ тишина и уединеніе даютъ мнѣ совершенную возможность заниматься науками... Теперь я начинаю дышать посвободнѣе, начинаю отдыхать отъ тяжелой ноши горестей и безпрерывныхъ бѣдъ, подъ тяжестію которыхъ чуть было не утратилъ совершенно и душевнаго, и тѣлеснаго здоровья». «Вообще,—говоритъ онъ въ другомъ письмѣ,—мои дѣла идутъ съ каждымъ днемъ лучше: будущность представляется мнѣ въ самой пріятной перспективѣ»...

Къ брату онъ пишетъ отъ 17 августа 1834:

«Я перебрался къ Надеждину и живу у него уже двѣ недѣли. Жить мнѣ очень недурно; у меня особенная комната... и такъ я совершенно обезпеченъ со стороны содержанія. 9-го числа нынѣшняго мѣсяца (въ четвертокъ) подалъ я просьбу о поступленіи въ службу на корректорское мѣсто. Ректоръ ее принялъ, и по всему видно, что дѣло недѣли черезъ три-четыре кончится въ мою пользу, и я буду пользоваться казенною квартирою, 1,000 руб. жалованья (о чинахъ не хлопочу: это въ моихъ глазахъ сущій вздоръ; деньги лучше). Вотъ видишь-ли, и на моей улицѣ настаетъ праздникъ; терпѣлъ, терпѣлъ, да и вытерпѣлъ. Теперь Надеждинъ уѣхалъ (14-го числа) ревизовать Тульскую и Рязанскую губернію, и поручилъ мнѣ журналъ и домъ, гдѣ я теперь полный хозяинъ... пользуюсь его библіотекою, и живу припѣваючи»...

Къ Москвѣ онъ очень привязался; у него завязались здѣсь пріятныя знакомства, дружескія связи. Въ одномъ изъ писемъ къ брату Константину, еще до 1834, онъ говорилъ:

«...: О себѣ скажу тебѣ, что я живу довольно хорошо для своихъ обстоятельствъ. Связь съ моимъ любезнымъ Петровымъ и многими другими, можно сказать, отборными по уму, образованности, талантамъ и благородству чувствъ молодыми людьми, заставляетъ меня иногда забывать о моихъ несчастіяхъ. Въ семействѣ Петрова я принятъ, какъ родной. Его мать, добрая, умная и любезная старушка, для меня истинно вторая мать...

«О Москва, Москва! жить и умереть въ тебѣ, бѣлокаменная, есть верхъ моихъ желаній. Признаться, братъ, разстаться съ Москвою для меня все равно, что разстаться съ раемъ»...

Еще раньше, въ упомянутомъ выше письмѣ 21 мая 1833, когда онъ думалъ ѣхать въ Бѣлоруссію, онъ съ такимъ же чувствомъ

говоритъ о Москвѣ: «Москва для меня городъ незабвенный, родной моему сердцу, и любимѣйшая мечта моя — лѣтъ черезъ пять навсегда основать въ ней мое жительство».

Мы уже говорили о томъ, какъ тяжелы были отношенія Бѣлинскаго къ домашнимъ. Вновь изданная переписка Бѣлинскаго даетъ много примѣровъ того невыносимаго положенія, въ какое Бѣлинскій былъ поставленъ къ своему семейству. Пьянство и нравственный упадокъ его отца, въ которомъ оставались однако благородные инстинкты натуры; бѣшеная раздражительность матери, не понимавшей ни своего положенія въ домѣ, ни отношенія къ дѣтямъ, и грубую брань которой Бѣлинскому приходилось иногда находить въ письмахъ изъ дома; постоянный раздоръ между его родителями, доходившій до послѣдней крайности; заброшенное воспитаніе его младшаго брата, даровитаго мальчика, котораго Бѣлинскій любилъ, но который непоправимо былъ испорченъ въ этой домашней обстановкѣ, — все это многіе годы было для Бѣлинскаго предметомъ тяжкой заботы и иногда приводило его въ крайнее уныніе. Онъ употреблялъ всѣ средства, какія могъ, чтобы водворить миръ въ своемъ семействѣ: обращался къ матери съ словами нѣжной любви, къ отцу съ просьбами, убѣжденіями, наконецъ строгими укорами; собирался нѣсколько разъ взять къ себѣ младшаго брата, но долго былъ не въ состояніи этого сдѣлать по нищетѣ, въ которой находился самъ; старался устроить службу другого брата Константина, котораго также хотѣлъ освободить отъ тягостной жизни дома. Его письма нерѣдко производили дома впечатлѣніе; за нимъ невольно признали право говорить тѣмъ, иногда суровымъ, языкомъ, какимъ были написаны нѣкоторыя изъ его писемъ, но затѣмъ дѣло шло опять по прежнему. Только смерть покончила раздоры его родителей. Приводимъ для образчика письмо Бѣлинскаго къ брату Константину, отъ іюня 1832 (или 1833):

«Съ каждымъ письмомъ твоимъ ты вливаешь въ мою душу по капелькѣ яду. Маменька безпрестанно плачетъ, сама не зная о чемъ, и не думая, что она этими слезами можетъ безвременно убить себя и лишить несчастное семейство матери. Хотя о папенькѣ ты ничего не пишешь (что весьма странно), но я слышалъ объ немъ ужасную исторію, которая чрезвычайно непріятное сдѣлала на меня впечатлѣніе, хотя и не удивила. Я давно предвидѣлъ, что рано или поздно, а ужъ должно было случиться съ папенькой что-нибудь подобное. При всей откровенности и благородствѣ характера, при добромъ сердцѣ, онъ страждетъ ужаснымъ недугомъ—подозрительностію... разумѣется, пустою и неосновательною. Ему кажется, что

его жена, его дѣти, его родные всѣ стоятъ около него съ поднятыми ножами, готовые пронзить его вдругъ и только ждущіе благопріятнаго мгновенія... Ему мнится, что весь міръ противъ него въ заговорѣ, тогда какъ міръ и не думаетъ дѣлать ему зло, ибо всѣ люди заняты самими собою и дѣлаютъ зло другимъ людямъ изъ выгодъ, а что за выгоды и за пользы дѣлать это папенькѣ?... Отчего происходитъ такая ужасная недовѣрчивость къ людямъ? Оттого, что онъ имѣетъ самое дурное мнѣніе о людяхъ: они ему кажутся или подлецами, или дураками. Онъ не вѣритъ ни честности женщинъ, ни добросовѣстности мужчинъ, а между тѣмъ, о себѣ, вѣрно, самаго лучшаго понятія, какъ-будто бы на цѣломъ земномъ шарѣ онъ одинъ истинно благородный человѣкъ. Подозрительными людей дѣлаютъ обыкновенно великія несчастія, а какія несчастія претерпѣлъ отъ людей папенька? Если онъ страдалъ и теперь страдаетъ,—это отъ самого себя; онъ есть лютѣйшій врагъ, мучитель и тиранъ самого себя: не люди, а самъ виноватъ въ своихъ несчастіяхъ... конечно, онъ имѣлъ и имѣетъ враговъ, но какихъ враговъ! Да и кто ихъ не имѣетъ?... Я предвижу ужасныя слѣдствія, ужасныя несчастія, угрожающія и безъ того несчастному нашему семейству, если папенька, внявъ голосу разсудка, не перемѣнитъ своего несчастнаго характера! Сохрани Господи, ежели... что будетъ съ вами!... О себѣ я не безпокоюсь; я живу, живу, сношу терпѣливо мою судьбу, берегу себя, удаляюсь отъ всего, что можетъ сдѣлать меня несчастнымъ не для себя, а для своего семейства; для него только желаю себѣ и долголѣтія, и счастія, и здоровья, и богатства; для него единственно я сохраняю бодрость, стараюсь не упасть духомъ и выпутаться изъ оковъ, меня обременяющихъ! Для чего вы всѣ того же не дѣлаете? Сколько разъ просилъ я маменьку, чтобы она старалась укрощать пылкій до дикости и неистовства характеръ, сносила бы съ терпѣніемъ и кротостію, приличными всякой истинно благородной женщинѣ и доброй женѣ и матери семейства, всѣ несправедливости папеньки, старалась бы избѣгать съ нимъ всякихъ безполезныхъ ссоръ и тушить пламя въ самомъ его началѣ, старалась бы сохранять спокойствіе духа и твердость характера, отъ которыхъ зависитъ и тѣлесное и душевное здоровье, а слѣдовательно, и счастіе; берегла бы себя для своихъ дѣтей, для своего семейства, исполняла бы всѣ обязанности, предписываемыя женамъ божественными и человѣческими законами! И все тщетно! Мое усердіе и мои благіе совѣты она назвала грубостію и непочтеніемъ къ матери. Сколько разъ, также тщетно, я просилъ и говорилъ папенькѣ... Такъ, люби и почитай родителей,—я это всегда тебѣ совѣтую; но несмотря на то, я имѣю право сказать, что наши несчастія зависятъ отъ нихъ, что они и себя, и насъ губятъ. Они не знаютъ своихъ обязанностей, они не знаютъ, что они принадлежатъ не самимъ себѣ, а отечеству и дѣтямъ, что они должны дышать для дѣтей своихъ, стараться образовать изъ нихъ добрыхъ гражданъ для отечества,—это законъ природы, законъ Бога и самихъ людей. Они нимало не щадятъ самихъ себя, гонятъ другъ друга къ гробу, разстроиваютъ свое здоровье и душевное спокойствіе».

Къ концу 1834, когда Бѣлинскій уже выступилъ блестящимъ образомъ на свое литературное поприще, относится приводимый далѣе разсказъ Лажечникова, заставляющій думать, что внѣшнія обстоятельства Бѣлинскаго и теперь не были на чужой глазъ такъ благополучны, какъ то казалось ему самому. Лажечниковъ, какъ мы видѣли, былъ первымъ литературнымъ знакомцемъ Бѣлинскаго въ Москвѣ. Онъ привѣтливо встрѣтилъ Бѣлинскаго, поступавшаго въ университетъ; во время студенчества и послѣ, когда Лажечниковъ переселился директоромъ училищъ въ Тверь, откуда иногда пріѣзжалъ въ Москву, Бѣлинскій не прерывалъ этихъ сношеній, встрѣчая въ немъ интересъ къ литературѣ, который покрывалъ разницу лѣтъ, положеній и самыхъ мнѣній. Небольшое собраніе писемъ Лажечникова къ Бѣлинскому (1834—1842), находившееся въ нашемъ матеріалѣ, свидѣтельствуетъ, что онъ цѣнилъ Бѣлинскаго—еще *до* начала извѣстности послѣдняго. Въ первой запискѣ Лажечникова (изъ Твери, 26 ноября 1834), какую мы здѣсь находимъ, онъ извѣщаетъ Бѣлинскаго, что рекомендовалъ его «почтенному старичку», А. М. П-кому, который имѣлъ страсть печататься и въ литературѣ являлся подъ псевдонимомъ Дормедонта Прутикова [1]). Впослѣдствіи, Лажечниковъ разсказалъ объ этой исторіи въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ. Эти воспоминанія, писанныя долго спустя, не всегда точны, иногда отчасти прикрашены,—но въ общемъ въ нихъ есть безъ сомнѣнія черты, взятыя съ натуры.

По разсказу Лажечникова, въ первыхъ тридцатыхъ годахъ, онъ, пріѣхавши разъ изъ Твери въ Москву, хотѣлъ посѣтить Бѣлинскаго и видѣть его житье-бытье. «Бѣлинскій квартировалъ въ *бельэтажъ* (слово это было подчеркнуто въ его адресѣ), въ какомъ-то переулкѣ между Трубой и Петровкой. Красивъ же былъ его *бельэтажъ!* Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться къ нему надо было по грязной лѣстницѣ; рядомъ съ его коморкой была прачешная, изъ которой безпрестанно неслись къ нему испаренія мокраго бѣлья и вонючаго мыла. Каково было дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, съ слабой грудью! Каково было слышать за дверями упоительную бесѣду прачекъ и подъ собой стукотню отъ молотовъ русскихъ циклоповъ, если не подземныхъ, то под-

[1]) ...«Ему хочется напечатать свои юмористическія статьи. Есть въ нихъ вещи порядочныя, есть и много мусору, но грамматики ни на волосъ; иногда едва доберешься до смыслу. Возьмитесь переписать и переправить ему, вычистить годное и выкинуть негодное, словомъ—вымойте ему почище бѣлье лит.; за труды онъ будетъ признателенъ».

польныхъ! Не говорю о бѣднѣйшей обстановкѣ его комнаты, не запертой (хотя я не засталъ хозяина дома), потому что въ ней нечего было украсть. Прислуги никакой; онъ ѣлъ, вѣроятно, то, что́ ѣли его сосѣдки. Сердце мое облилось кровью... Я спѣшилъ бѣжать отъ смраду испареній, обхватившихъ меня... скорѣе на чистый воздухъ, чтобы хоть нѣсколько облегчить грудь отъ всего, что́ я видѣлъ, что́ я прочувствовалъ въ этомъ убогомъ жилищѣ литератора, заявившаго Россіи уже свое имя»...

Они придумывали вмѣстѣ средства, какъ выдти Бѣлинскому изъ этого положенія, и наконецъ рѣшили, чтобъ онъ поступилъ въ домашніе секретари къ упомянутому богатому барину, принимавшему имя Прутикова. Занятія секретаря должны были состоять въ исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ его превосходительства. Прутиковъ не разъ обращался съ подобными просьбами къ Лажечникову, но когда тотъ уклонился отъ этого, онъ уже просто просилъ найти ему въ помощники «надежнаго» студента. Лажечниковъ рекомендовалъ ему Бѣлинскаго.

«Вскорѣ онъ водворенъ въ аристократическомъ домѣ, пользуется не только чистымъ, даже ароматическимъ воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая летаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его прев—ва музыкантша), располагаетъ огромной библіотекой, будто собственной, однимъ словомъ, катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но вскорѣ заходятъ тучи надъ этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подъ часъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать имъ приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ, въ одно прекрасное утро, Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ съ своимъ добромъ, завязаннымъ въ носовой платокъ, и съ сокровищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря...»

Впослѣдствіи, когда Прутиковъ явился въ печати, Бѣлинскій не усумнился оцѣнить его по заслугамъ съ свойственною ему откровенностію, чѣмъ этотъ авторъ былъ, конечно, до послѣдней степени раздраженъ [1]).

---

[1]) Смотрі рецензію «Провинціальныхъ бредней и записокъ Дормедонта Прутикова» въ Сочин. Бѣлинскаго, т. II, изд. 2-е, стр. 197—204.

П—кій былъ человѣкъ стараго вѣка, по своему времени хорошо свѣтски образованъ, безъ малѣйшаго таланта и даже безъ хорошаго знанія рус-

Что же далъ Бѣлинскому университетъ?

Впослѣдствіи врагамъ Бѣлинскаго доставляло немалое удовольствіе—называть его «недоучившимся студентомъ», даже «семинаристомъ», чѣмъ онъ никогда не былъ, и другими подобными названіями, которыя казались убійственны тѣмъ, кто въ дипломѣ видѣлъ доказательство не только учености, но и ума. Приведенные выше разсказы людей, бывшихъ въ университетѣ въ одно время съ Бѣлинскимъ, совершенно согласны въ характеристикѣ факультета, долженствовавшаго сообщить Бѣлинскому ту ученость, которая поставила бы его внѣ подобныхъ нареканій. Бѣлинскій, какъ «доучившійся» студентъ (еслибы обстоятельства не помѣшали ему таковымъ сдѣлаться), былъ бы, конечно, несмотря на свой дипломъ, все тѣмъ же человѣкомъ. Студенты вообще *въ ту пору* узнавали мало отъ своихъ наставниковъ, исключая только Надеждина,—а отъ Надеждина Бѣлинскій, кажется, принялъ все, чтó могъ тогда принять. Константинъ Аксаковъ, человѣкъ совсѣмъ иныхъ мнѣній, чѣмъ Бѣлинскій, много лѣтъ спустя, сознавался, что университетъ того времени (а при Аксаковѣ онъ былъ отчасти въ лучшемъ состояніи, чѣмъ при Бѣлинскомъ), если оказывалъ сильное дѣйствіе на умы юношества, то вовсе не своей оффиціальной ученостью — отчасти очень стараго покроя,—а тѣмъ нравственнымъ возбужденіемъ, которое само возникало въ средѣ одушевленной молодежи, и питалось ея собственными идеальными задатками: и въ это время только два-три профессора давали опору и сочувствіе стремленіямъ и любознательности юношества. Съ этой стороны университетъ доставилъ Бѣлинскому все, чтó было возможно: съ университета начинаются тѣсныя нравственныя связи, которыя наложили свою печать на все дальнѣйшее развитіе Бѣлинскаго и остались его лучшими пріобрѣтеніями и воспоминаніями изъ той тяжелой поры его жизни.

Мы сочли не лишнимъ напомнить эти факты—не столько для того, чтобы опровергать эти старыя нареканія (которыя, впрочемъ, начинаютъ вновь показываться), сколько для того, чтобъ указать, какъ въ самыхъ университетскихъ условіяхъ не измѣнялись въ сущности тѣ пути, которыми и раньше шло умственное воспитаніе Бѣлинскаго. Университетъ не далъ ему школьной учености,—какъ не далъ и множеству его товарищей; но его мысль сдѣлала тѣмъ не менѣе большіе успѣхи,—его собственной работой, которая шла

скаго языка, но одержимый страстью печататься. «Провинціальныя бредни» помѣщались прежде въ «Новомъ Живописцѣ», выходившемъ въ приложеніи къ «Телеграфу» Полевого. См. напр. «Московскій Телеграфъ» 1830. Книга II: 1) 1-е апрѣля; 2) фехтованіе; 3) экипажи; 4) приличіе. Кн. VIII: 5) обѣдъ.

въ тѣсномъ союзѣ съ умственной работой замѣчательнаго круга друзей. Его старый учитель очень вѣрно опредѣляетъ совершавшійся теперь и продолжавшійся послѣ ходъ развитія Бѣлинскаго.

«Бѣлинскаго я такъ долго и коротко зналъ,—говоритъ Поповъ,—что могу разсказать весь тайный процессъ его умственнаго развитія.

«...Въ гимназіи онъ учился не столько въ классахъ, сколько изъ книгъ и разговоровъ. Такъ было и въ университетѣ. Всѣ познанія его сложились изъ русскихъ журналовъ, не старѣе двадцатыхъ годовъ, и изъ русскихъ же книгъ. Недостающее же въ томъ пополнилось тѣмъ, что́ онъ слышалъ въ бесѣдахъ съ друзьями. Вѣрно, что въ Москвѣ умный Станкевичъ имѣлъ сильное вліяніе на своихъ товарищей. Думаю, что для Бѣлинскаго онъ былъ полезнѣе университета. Сдѣлавшись литераторомъ (говоритъ Поповъ уже о болѣе позднемъ времени), Бѣлинскій постоянно находился между небольшимъ кружкомъ людей, если не глубоко ученыхъ, то такихъ, въ кругу которыхъ обращались всѣ современныя, живыя и любопытныя свѣдѣнія. Эти люди, бо́льшею частію молодые, кипѣли жаждой познаній, добра и чести. Почти всѣ они, зная иностранные языки, читали столько же иностранныя, сколько и русскія книги и журналы. Каждый изъ нихъ не былъ профессоръ, но всѣ вмѣстѣ по части философіи, исторіи и литературы постояли бы противъ цѣлой Сорбонны. Въ этой-то школѣ Бѣлинскій оказалъ огромные успѣхи. Друзья и не замѣчали, что были его учителями, а онъ, вводя ихъ въ споры, горячась съ ними, заставлялъ ихъ выкладывать передъ нимъ всѣ свои познанія, глубоко вбиралъ въ себя слова ихъ, на лету схватывалъ замѣчательныя мысли, развивалъ ихъ далѣе и объемистѣе, чѣмъ тѣ, которые ихъ высказывали. Такимъ образомъ, не погружаясь въ бездну старыхъ русскихъ книгъ, не читая ничего на иностранныхъ языкахъ [1]), онъ зналъ все замѣчательное въ русской и иностранныхъ литературахъ. Въ этой-то школѣ выросъ талантъ его и возмужало его русское слово».

«У насъ Бѣлинскому учиться было *негдѣ*, — читаемъ мы въ напечатанныхъ недавно отрывкахъ изъ бумагъ князя В. Ѳ. Одоевскаго: — рутинизмъ нашихъ университетовъ не могъ удовлетворить его логическаго въ высшей степени ума; пошлость бо́льшей части нашихъ профессоровъ порождала въ немъ лишь презрѣніе; нелѣпыя преслѣдованія—неизвѣстно за что́—развили въ немъ желчь, которая

[1]) Это выраженіе не совсѣмъ точно: Бѣлинскій еще съ уѣзднаго училища перечиталъ много старой русской литературы. — По-французски онъ въ послѣднее время читалъ довольно много.

примѣшалась въ его своебытное философское развитіе и доводила его безстрашную силлогистику до самыхъ крайнихъ предѣловъ» [1]).

Но если университетъ еще не былъ тогда умственнымъ центромъ, какимъ сталъ впослѣдствіи, въ немъ и теперь собрана была значительная доля силъ, дѣйствовавшихъ — въ ту или другую сторону—въ тогдашней литературѣ, что помогло Бѣлинскому съ первыхъ шаговъ освоиться съ тогдашнимъ положеніемъ литературныхъ понятій и партій; а главное, — въ рядахъ слушателей тогдашняго университета собрался цѣлый кругъ даровитыхъ юношей, столько же увлекаемыхъ интересами мысли и нравственными идеалами. Этотъ кругъ доставилъ потомъ русской литературѣ и общественности замѣчательныхъ дѣятелей, и въ немъ-то Бѣлинскій нашелъ— теперь же и послѣ—горячо любимыхъ друзей, ему сочувствовавшихъ, раздѣлявшихъ его стремленія, а иногда и доставлявшихъ имъ серьёзную поддержку. Главнымъ образомъ замѣчательны были два кружка которые составились тогда среди университетской молодежи и представляли два разныя направленія, бродившія въ умахъ. Участниками ихъ были почти исключительно студенты первой половины тридцатыхъ годовъ, или ближайшихъ къ нимъ. Бѣлинскій былъ еще студентомъ, когда въ университетѣ былъ Герценъ, у котораго съ Огаревымъ, Сатинымъ и др. составился одинъ кружокъ; при Бѣлинскомъ поступилъ въ университетъ Станкевичъ, ставшій вскорѣ главою другого кружка. Въ это же время были въ университетѣ пріятель Станкевича, А. П. Ефремовъ; И. П. Клюшниковъ, мистическій философъ и поэтъ кружка; другой поэтъ, романтикъ, В. И. Красовъ; К. С. Аксаковъ (окончившій курсъ въ 1835), въ то время еще близкій съ Бѣлинскимъ и его друзьями. Нѣсколько раньше кончили курсъ другія лица, различнымъ образомъ связанныя съ тѣмъ или другимъ изъ упомянутыхъ кружковъ: Я. М. Невѣровъ (1832), одинъ изъ первыхъ и ближайшихъ друзей Станкевича; Вадимъ Пассекъ (1830), одно время принадлежавшій къ кругу Герцена; Н. Х. Кетчеръ (кончившій курсъ въ московской медико-хирургической академіи, 1829) и Е. Ѳ. Коршъ (1828). Внѣ университета и уже нѣсколько позднѣе, Бѣлинскій нашелъ преданнаго друга въ В. П. Боткинѣ, имя котораго занимаетъ важное мѣсто въ его біографіи.

Тяжелыя испытанія, вынесенныя Бѣлинскимъ въ его трудныя Lehrjahre, не заставили его упасть духомъ. Чтобы дать понятіе объ его нравственномъ настроеніи, приводимъ слова, сказанныя

---

[1]) «Русскій Архивъ», 1874 г., стр. 341. Вся замѣтка кн. Одоевскаго о Бѣлинскомъ, къ которой мы еще возвратимся, любопытна, какъ мнѣніе *человѣка, стоявшаго внѣ партій*, и въ свое время значительнаго въ литературѣ

имъ въ письмѣ къ матери, еще въ то время, когда его внѣшнія обстоятельства были очень неблагопріятны:

«Я нигдѣ и никогда не пропаду, несмотря на всѣ гоненія жестокой судьбы: чистая совѣсть, увѣренность въ незаслуженности несчастій, нѣсколько ума, порядочный запасъ опытности, а болѣе всего нѣкоторая твердость въ характерѣ—не дадутъ мнѣ погибнуть. Не только не жалуюсь на мои несчастія, но еще радуюсь имъ: собственнымъ опытомъ узналъ я, что школа несчастія есть самая лучшая школа. Будущее не страшитъ меня. Перебираю мысленно всю жизнь мою, и хотя съ какимъ-то горестнымъ чувствомъ вижу, что я ничего не сдѣлалъ хорошаго, замѣчательнаго, зато не могу упрекнуть себя ни въ какой низости, ни въ какой подлости, ни въ какомъ поступкѣ, клонящемся ко вреду ближняго....» (письмо 20 сентября, 1833).

Его поддержала сила его идеальныхъ стремленій, надежда на широкую дѣятельность въ будущемъ; его поддержалъ и кругъ друзей-идеалистовъ, тѣхъ «отборныхъ по уму, образованности, талантамъ и благородству чувствъ молодыхъ людей» (т.-е. кружка Станкевича), о которыхъ онъ говоритъ въ приведенномъ выше письмѣ. Оттого, въ своемъ первомъ произведеніи Бѣлинскій, внѣшняя жизнь котораго была такъ мало отрадна, является со всей увлекающей свѣжестью сильнаго таланта и убѣжденія.

ГЛАВА III.

«Литературныя Мечтанія».—Отношеніе Бѣлинскаго къ Надеждину и Станкевичу.—Общій характеръ кружка Станкевича.—Отношеніе къ дѣйствительности.—Впечатлѣніе, произведенное первыми трудами Бѣлинскаго въ литературѣ: старыя партіи; Пушкинъ; оцѣнка Гоголя.—Личныя подробности о дружескомъ кругѣ Бѣлинскаго: Станкевичъ, М. Б., В. Боткинъ, Кольцовъ.—Матеріальныя обстоятельства.—Изданіе «Телескопа».—Запрещеніе его.

1834—1836.

Въ 1834 году, съ сентября мѣсяца, начался въ «Молвѣ» рядъ статей, подъ названіемъ «Литературныя Мечтанія. Элегія въ прозѣ». Съ этихъ статей открывается серьёзная литературная дѣятельность Бѣлинскаго. Это былъ талантливо, съ юношескимъ жаромъ написанный, живой и иногда блестящій обзоръ исторической судьбы русской литературы. Установивъ понятіе литературы въ идеалистическомъ смыслѣ, и сличая съ нимъ объемъ и положеніе русской литературы отъ Кантемира и до новѣйшаго времени, Бѣлинскій приходилъ къ убѣжденію, что у насъ «нѣтъ литературы» — въ томъ широкомъ, возвышенномъ стилѣ, какъ онъ ее понималъ: у насъ есть только нѣсколько писателей. Онъ съ увѣренностью высказываетъ этотъ отрицательный выводъ, но именно въ немъ и находитъ залогъ богатаго будущаго развитія: этотъ выводъ важенъ и дорогъ какъ первое сознаніе объ истинномъ значеніи литературы; съ него и должны были начаться ея дѣйствительное развитіе и успѣхи.

«Литературныя Мечтанія» произвели большое впечатлѣніе, и справедливо: съ этихъ поръ начинается переломъ въ русской критикѣ. Здѣсь впервые критика являлась какъ сознательно и горячо прочувствованная система мнѣній, смыслъ которыхъ не ограничи-

рался далеко за ихъ предѣлы, въ пониманіе цѣлой жизни общества. И до Бѣлинскаго бывали въ нашей литературѣ примѣры художественнаго пониманія и серьезныхъ философскихъ воззрѣній, но до Бѣлинскаго въ русской критикѣ еще не было такой цѣльности взгляда, силы убѣжденія и искренняго чувства. Его общія мнѣнія не разъ потомъ мѣнялись, но всегда это былъ глубоко убѣжденный человѣкъ, страстно защищавшій свою мысль, и эта нравственная сила была главное, что при первомъ появленіи дало ему видное мѣсто и значеніе въ литературѣ.

«Литературныя Мечтанія» были достойнымъ началомъ его дѣятельности. Въ нихъ уже высказались основныя черты его критическаго таланта и его нравственнаго характера. Статья написана съ одушевленіемъ, какое могло принадлежать только человѣку, исполненному глубокаго интереса къ литературѣ, съ ясностью представленій, показывавшей, что высказанныя понятія были для автора результатомъ серьёзнаго размышленія.

Историковъ нашей литературы уже занималъ вопросъ о ближайшемъ опредѣленіи развитія тѣхъ взглядовъ, какіе выражены въ статьѣ Бѣлинскаго. Но еще біографъ Станкевича справедливо замѣтилъ, что прилежный, кропотливый бібліографъ могъ бы разобрать, какому эстетическому и философскому ученію и какому именно лицу принадлежатъ теоріи и положенія, которыя стала высказывать критика Бѣлинскаго въ пору его дѣятельности въ «Телескопѣ», и что, однако, было бы большой ошибкой, если бы изыскатель вздумалъ уменьшить заслугу самаго автора [1]). Въ самомъ дѣлѣ, съ этой первой поры и до конца, Бѣлинскій, откуда бы ни почерпалъ исходныя основанія своихъ взглядовъ, никогда не былъ пассивнымъ передавателемъ чужой системы; напротивъ, даже въ періоды самыхъ сильныхъ увлеченій тою или другой идеей, онъ высказывалъ ее, только переработавъ ее въ своей мысли и своемъ чувствѣ. Мы увидимъ далѣе много наглядныхъ примѣровъ подобной работы: разъ принявъ извѣстную точку зрѣнія, Бѣлинскій не останавливался, продолжалъ критически повѣрять и испытывать ея послѣдствія и, если потомъ убѣждался въ ея ошибочности, онъ никогда не колебался ее отвергнуть. Противорѣчіе идей или теорій, представлявшихся его мысли, производило въ немъ внутреннюю борьбу, всегда для него тяжкую; но, разъ попавъ въ нее, онъ не останавливался, пока не разрѣшалъ мучившихъ его противорѣчій и не выходилъ къ новому взгляду, составлявшему новую ступень развитія. И тогда надъ нимъ бывалъ совершенно безсиленъ всякій

---

[1]) Анненковъ, Біогр. Станкевича, стр. 72 и слѣд.

авторитетъ, какой бы онъ ни былъ грозный и повелительный. Здѣсь и обнаруживалась вся та самостоятельность, которая отличала его и которая не должна быть забываема, когда идетъ рѣчь объ источникахъ и внѣшнихъ поводахъ его мнѣній. Очевидно, это была все таже черта, которую мы замѣчали въ его самомъ раннемъ развитіи.

Тѣмъ не менѣе, изслѣдованіе вопроса о происхожденіи взглядовъ Бѣлинскаго остается интереснымъ, какъ разъясненіе, во-первыхъ, личнаго характера писателя, во-вторыхъ, исторической преемственности идей литературнаго развитія; оно объяснитъ положеніе Бѣлинскаго между окружавшими его умственными и нравственными вліяніями при первомъ вступленіи на литературное поприще.

Очень распространено мнѣніе, что Бѣлинскій въ «Литературныхъ Мечтаніяхъ», какъ вообще въ статьяхъ первыхъ годовъ его дѣятельности, былъ выразителемъ воззрѣній кружка Станкевича [1]). Это справедливо, говоря вообще; но слѣдуетъ при этомъ не терять изъ виду, что въ самомъ кружкѣ Бѣлинскій, какъ увидимъ, имѣлъ однако независимое положеніе и самъ оказывалъ большое вліяніе на мнѣнія кружка. Съ другой стороны, въ «Литературныхъ Мечтаніяхъ» видѣли многіе только развитіе взглядовъ Надеждина, которыя тогда имѣли вліяніе и на цѣлый кружокъ.

При появленіи статьи въ «Молвѣ», первое впечатлѣніе многихъ товарищей Бѣлинскаго было, что она была написана самимъ Надеждинымъ: они встрѣтили въ ней много мыслей, уже знакомыхъ имъ по статьямъ и лекціямъ этого профессора. Г. Прозоровъ разсказываетъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, что, посѣщая Бѣлинскаго по его выходѣ изъ университета, когда тотъ жилъ съ своими родственниками Ивановыми, однажды онъ началъ читать Бѣлинскому свою статью, въ которой излагались понятія о природѣ, какъ откровеніи творческихъ идей, извлеченныя изъ Шеллинговой философіи и выслушанныя Прозоровымъ отъ Надеждина,—Бѣлинскій поспѣшно остановилъ его. «Не читай, пожалуйста,—сказалъ онъ,—у меня самого носятся въ душѣ подобныя мысли о творчествѣ природы, которымъ я не успѣлъ еще дать формы, и не хочу, чтобъ кто-нибудь подумалъ, что я занялъ ихъ у другихъ и выдаю за свои». Разсказчикъ замѣчаетъ, что эти мысли и были потомъ высказаны Бѣлинскимъ въ его первой статьѣ.

Этотъ анекдотъ, которому нѣтъ основанія не довѣрять, показываетъ, что понятія Бѣлинскаго были дѣйствительно еще близки къ тому содержанію, какое давалъ Надеждинъ. Далѣе Прозоровъ

---

[1]) Анненк., стр. 39 и далѣе.

говоритъ объ этомъ еще болѣе положительно. «Кто только посѣщалъ лекціи Надеждина,—замѣчаетъ онъ,—не хотѣлъ вѣрить, что эти «Мечтанія» писаны Бѣлинскимъ, а не Надеждинымъ: такъ они были проникнуты духомъ самого редактора «Телескопа» и «Молвы». Составляя (тогда) записки полнаго курса эстетики Надеждина и будучи членомъ литературнаго студенческаго общества, я могу хорошо отличить, что въ этихъ «Мечтаніяхъ» принадлежитъ Надеждину, и что Бѣлинскому». Самъ Станкевичъ, бывши студентомъ, занимался составленіемъ лекцій Надеждина, и Прозоровъ (какъ онъ разсказываетъ) сообщилъ ему въ пособіе записки эстетики профессора московской духовной академіи Доброхотова,—того самаго, о которомъ Надеждинъ упоминаетъ въ своей автобіографіи [1]. Вообще, этотъ товарищъ Бѣлинскаго думаетъ, что, отдавая всю должную справедливость дѣятельности Бѣлинскаго, надо сказать, что въ первые ея годы онъ былъ только сознательнымъ органомъ идей Надеждина, который, «найдя въ Бѣлинскомъ человѣка, одареннаго эстетическимъ пониманіемъ, вполнѣ способнаго развивать его мысли и излагать ихъ въ изящной формѣ, сообщилъ молодому таланту философско-художественное направленіе для послѣдующей независимой дѣятельности». Подобное мнѣніе мы слышали отъ другого современника,—бывшаго секретаря студенческихъ «литературныхъ вечеровъ».

Въ содержаніи «Литературныхъ Мечтаній» дѣйствительно не трудно найти черты, близко напоминающія Надеждина, и въ общихъ философскихъ взглядахъ съ долей пантеизма, и въ понятіяхъ о значеніи искусства, и наконецъ во взглядѣ на русскую литературу. Теоретическія понятія и взглядъ на искусство, высказанныя Бѣлинскимъ [2], не отступали въ сущности отъ положеній Надеждина, излагавшаго ихъ и въ своихъ лекціяхъ, и въ печати [3]. Точно также

---

[1] «Р. Вѣстникъ», 1856, № 5, стр. 64. Надеждинъ съ большой похвалой отзывается объ этомъ профессорѣ. Московская академія вообще отличалась тогда философскимъ направленіемъ, и Надеждинъ въ особенности указываетъ, какъ замѣчательныхъ профессоровъ философіи, которыхъ онъ слушалъ,— Кутневича, ученика Фесслера, и извѣстнаго Голубинскаго, который еще долго послѣ дѣйствовалъ на этомъ поприщѣ. Надеждинъ упоминаетъ (въ «Молвѣ» 1832, № 20), что въ одной изъ духовныхъ академій давно уже переведены сочиненія Канта, Фихте, Шеллинга, Якоби.

[2] Соч. Бѣлинскаго, I, стр. 23 и д.

[3] Эстетическіе взгляды Надеждина высказаны, напр., въ его латинской диссертаціи, переведенные отрывки которой были помѣщены въ старомъ «Вѣстн. Европы» и «Атенеѣ» 1830 г.; затѣмъ въ статьяхъ—«Необходимость, значеніе и сила эстетическаго вкуса» въ «Телескопѣ» 1831. № 10; историческій обзоръ теорій изящнаго, въ критической статьѣ по поводу книги Бах-

много общаго находится у него съ Надеждинымъ и въ мнѣніяхъ о русской литературѣ: если Бѣлинскій начинаетъ съ сомнѣнія о самомъ существованіи русской литературы, ставитъ высокія требованія, подъ которыя мало подходило ея наличное содержаніе, и самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ трескучій романтизмъ и шарлатанскую пустоту тогдашней ходячей литературы и пр., то въ этомъ онъ имѣлъ уже предшественника въ Надеждинѣ. Надеждину наша литература также казалась безплоднымъ пустыремъ, на которомъ только изрѣдка возникаютъ прекрасные цвѣты, почти приводящіе въ недоумѣніе своимъ появленіемъ. Надеждинъ видѣлъ мало отраднаго въ старыхъ преданіяхъ русской литературы и въ самой исторіи: древняя русская жизнь представлялась ему «дремучимъ лѣсомъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса», и онъ даже спрашиваетъ: «имѣемъ ли мы прошедшее,—жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе»? Возникновеніе умственной жизни онъ начинаетъ только съ Петра, и литература, или вся образованность русская съ тѣхъ поръ казалась ему только слабой копіей европейскаго просвѣщенія, гдѣ «все европейское забрасывается (къ намъ) рикошетами, чрезъ тысячи скачковъ и переломовъ, и потому долетаетъ въ слабыхъ издыхающихъ отголоскахъ». Въ «Телескопѣ» онъ съ язвительностью прежняго Надоумки говоритъ о новѣйшемъ романтизмѣ и пр. [1]).

мана, переведенной г. Чистяковымъ, въ «Телескопѣ» 1832, № 5, 6 и 8; «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ» въ Учен. Зап. Моск. Университета, 1833; наконецъ рядъ критическихъ статей и отзывовъ о тогдашней романтической литературѣ... О Надеждинѣ и его положеніи въ литературѣ до Бѣлинскаго см. вообще въ «Очеркахъ Гогол. періода», ст. 4-я.

[1]) См., напр., отчетъ о литературѣ русской за 1831 годъ, въ «Телескопѣ», 1832, № 1, стр. 147 и д.; № 8, стр. 509; № 14, стр. 237 и т. д. Для образчика его мнѣній можетъ служить одна цитата: «Тяжело, а должно признаться,—говоритъ Надеждинъ,—что доселѣ наша словесность была, если можно такъ выразиться, барщиною европейской; она обрабатывалась руками русскими не по-русски; истощала свѣжіе неистощимые соки юнаго русскаго духа для воспитанія произрастеній чуждыхъ, не нашихъ. Что у насъ теперь своего? Поэтическій нашъ метръ выкованъ на германской наковальнѣ; проза представляетъ вавилонское смѣшеніе всѣхъ европейскихъ идіотизмовъ, нароставшихъ поочередно слоями на дикую массу русскаго неразработаннаго слова. Какими произведеніями можемъ мы похвалиться, какъ нашими собственными? Театръ у насъ представлялъ всегда жалкую пародію французской чопорной сцены; объ эпопеяхъ и говорить нечего; лирическое одушевленіе временъ очаковскихъ выливалось въ оффиціальныхъ формулахъ, общихъ всей Европѣ; въ балладахъ, коими смѣнилось царство одъ, развертывалась нѣмецкая трескучая фантасмагорія; современныя поэтическія мечты, думы, грёзы отзываются, или по крайней мѣрѣ, хотятъ отзываться, байро-

Едва ли можно сомнѣваться, что Бѣлинскій, когда писалъ «Литературныя Мечтанія», имѣлъ въ виду или оставался подъ впечатлѣніемъ того тона, который господствовалъ въ сужденіяхъ Надеждина. Замѣчено было, что самое названіе статьи указываетъ на прямое происхожденіе ея отъ «Литературныхъ Опасеній» Надеждина, намекаетъ, что наша, такъ называемая, литература не больше какъ мечта, и что думать о ней—значитъ наводить на себя элегическую тоску. Въ самой статьѣ авторъ ссылается на Никодима Аристарховича Надоумку [1]), и, между прочимъ, замѣчая, что не нужно дѣлать большихъ сборовъ, чтобы рѣшать вопросы о русской

низмомъ. Такимъ образомъ благодатный весенній возрастъ словесности, запечатлѣваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободною естественностію и оригинальною самообразностью, у насъ, напротивъ, обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной принужденности»... Авторъ, впрочемъ, не хочетъ ставить этого въ укоръ русскому характеру—то же испытали и другія, болѣе нашей зрѣлыя литературы: шведская, датская, голландская, которымъ также пришлось жить заимствованною жизнью... Но эти чужіе насильственные наросты не могли на-долго укрѣпиться на нашей почвѣ; они скоро выцвѣтали и опадали: «они возникали и увядали по минутнымъ прихотямъ, по эфемернымъ капризамъ моды—отсюда та непостоянная вѣтренность и измѣнчивость вкуса, въ коей нельзя не упрекнуть нашу словесность». Упомянувъ рядъ различныхъ направленій, которыя принимала на этомъ пути наша литература отъ Ломоносова до Пушкина, авторъ замѣчаетъ: «...Такъ все кружилось въ неудержимомъ вихрѣ превратности... Пустота, единственное слѣдствіе безумнаго расточенія силъ, обнаружила сама себя повсюду. Война между классицизмомъ и романтизмомъ, свирѣпствовавшая въ послѣднія времена на поляхъ нашей словесности истинною *ватрахоміомахіею*, довершила разочарованіе самоувѣренности, не хотѣвшей дотолѣ признаваться въ своей внутренней ничтожности. Взаимное ожесточеніе партій ниспровергло всѣ репутаціи, оборвало всѣ хоругви, запятнало всѣ имена, коими гордилась и красилась наша литература. Что должно было отсюда послѣдовать? Пораженная въ своихъ знаменитѣйшихъ представителяхъ, литература онѣмѣла, подобно ратному полю послѣ кровопролитной сѣчи; и минувшій 1831 годъ является молчаливымъ, пустыннымъ кладбищемъ, на которомъ изрѣдка возникали призраки усопшихъ воспоминаній, тѣни сраженныхъ героевъ»... Но онъ привѣтствуетъ «Бориса Годунова», сказку Жуковскаго, романы Загоскина, какъ разсвѣтъ русской народной поэзіи и литературы, и предчувствуетъ ихъ новое развитіе... «*Въ русской словесности близокъ долженъ быть поворотъ искусственнаго рабства и принужденія, въ коемъ она доселѣ не могла дышать свободно, къ естественности, къ народности*».

Поворотъ дѣйствительно вскорѣ и наступилъ, съ Гоголемъ и Кольцовымъ. Бѣлинскому предстояло, покинувъ старое «кладбище», указать новые пути литературы, объяснить и защитить значеніе ея новаго расцвѣтанія.

[1]) Извѣстный псевдонимъ, подъ которымъ Надеждинъ писалъ въ «Вѣстникѣ Европы» Каченовскаго.

литературѣ, Бѣлинскій вспоминаетъ мудрое правило своего предшественника, что глупо, для переѣзда черезъ лужу на челнокѣ, раскладывать передъ собою морскую карту. Эта фраза знаменательна для обоихъ критиковъ.

Но при всемъ указанномъ родствѣ ихъ понятій, литературный характеръ Бѣлинскаго съ перваго раза выдѣляется ему только свойственными чертами. Бѣлинскій не повторялъ Надеждина, но былъ его прямымъ продолжателемъ. Самъ Надеждинъ, выступившій въ литературѣ противникомъ романтизма и его теоретическаго защитника, Полевого, дѣйствовалъ однако вовсе не въ смыслѣ защиты литературной старины (какъ тогда многимъ казалось), а въ томъ же смыслѣ преобразованія и расширенія литературы, въ какомъ раньше дѣйствовалъ самъ Полевой и романтическая школа. Въ своей автобіографіи, писанной, когда время уже завершило всѣ споры, Надеждинъ (нѣкогда злѣйшій литературный врагъ Полевого) отдаетъ ему справедливость: «Извѣстна главная тенденція этого весьма талантливаго и во всякомъ случаѣ замѣчательнаго русскаго писателя. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ разрушителемъ всего стараго, и въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ благотворно на просвѣщеніе, пробуждая застой, который болѣе или менѣе обнаруживался всюду». Надеждинъ вмѣшался въ споръ между классицизмомъ и романтизмомъ, и сталъ противъ послѣдняго. Ему казалось, что самый вопросъ былъ поставленъ тогда невѣрно. «По несчастію, всему у насъ суждено быть заимствованнымъ». На европейскомъ западѣ борьба классиковъ и романтиковъ имѣла смыслъ, была явленіемъ естественнымъ. «У насъ не было ничего подобнаго. Не было классицизма, потому что не было строгаго классическаго образованія въ томъ смыслѣ, какъ это понимала западная Европа; тѣмъ болѣе не было романтизма, ибо это также было чуждо Россіи. Но, по привычкѣ называть все свое именемъ европейскимъ, слова эти зашли къ намъ». Утвердилось мнѣніе, что у насъ также есть свои классики,—старые писатели прошлаго вѣка,—и романтики, къ которымъ относили писателей новыхъ, особенно Жуковскаго и Пушкина. Надеждинъ считалъ все это недоразумѣніемъ (что было отчасти справедливо), и вмѣстѣ съ тѣмъ негодовалъ (повидимому, не совсѣмъ искреннно, изъ угожденія Каченовскому) на униженіе того, «чѣмъ по справедливости гордилась отечественная словесность», т.-е. старыхъ писателей, и возставалъ (совершенно искренно) противъ запальчиво высказаннаго мнѣнія романтиковъ о несовмѣстности романтизма съ какими бы то ни было правилами, и противъ ихъ ненависти ко всему, основаному на преданіи, и даже ко «всему ученому». (Полевой считалъ тогда это ученое—«школьнымъ», схола-

стическимъ). Надеждинъ, безъ сомнѣнія, далеко превосходилъ Полевого научностью своихъ критическихъ пріемовъ и объемомъ эстетическихъ воззрѣній, и его вліянію надо въ значительной степени приписать то, что съ этого времени теряетъ кредитъ и романтическая натянутость въ самой литературѣ: со стороны теоріи, романтически-эклектическая школа была подорвана еще раньше, чѣмъ явился Гоголь. Съ этихъ поръ критика могла впредь существовать только на основѣ теоретической системы, принимавшей эти результаты. Такого рода критикою и была критика Бѣлинскаго. Дѣло, сдѣланное Надеждинымъ, стало вкладомъ въ цѣлую литературу, и отношеніе къ нему Бѣлинскаго не было, поэтому, какимъ-нибудь личнымъ заимствованіемъ, подражаніемъ ученика учителю, а просто продолженіемъ *впередъ* дѣла, оставленнаго предшественникомъ. Между ними необходимо остались точки соприкосновенія,— но только на первое время, въ томъ пунктѣ, гдѣ остановился одинъ, и откуда выходилъ другой. Это была историческая преемственность. Ведя далѣе сравненіе содержанія, можно подобнымъ образомъ сблизить Бѣлинскаго и съ другими предшественниками— съ Полевымъ, кн. Одоевскимъ, Веневитиновымъ. Такое сближеніе опять не было бы лишено основанія, но оно значило бы только, что Бѣлинскій вообще усвоилъ то, что дѣлала литература до тѣхъ поръ, стремясь выработать себѣ новое содержаніе, и только велъ дальше начатое дѣло. Но, во всякомъ случаѣ, изъ своихъ предшественниковъ онъ стоялъ всего ближе къ Надеждину.

Затѣмъ была между Надеждинымъ и Бѣлинскимъ другая разница,—въ характерѣ дѣятельности отражались и личные характеры, и эта разница окончательно раздѣлила ихъ. Надеждинъ былъ человѣкъ сильнаго ума, но ума холоднаго: у него были, особенно въ первое время, порывы горячаго интереса къ литературѣ, но никогда они не овладѣвали имъ вполнѣ: для него были возможны не только уступки, но и положительныя сдѣлки съ своимъ настоящимъ образомъ мыслей [1]). Современники, знавшіе его съ этого времени, говорили намъ о немъ въ такомъ же смыслѣ: онъ оставилъ въ нихъ впечатлѣніе человѣка большого ума и таланта, но себялюбца, не имѣвшаго убѣжденій. Его слушатели въ университетѣ, увлекаясь его блестящими лекціями, скоро однако замѣтили въ немъ недостатокъ любви къ своему предмету, и его отношеніе къ литературѣ дѣйствительно имѣло въ себѣ извѣстную долю индифферентизма: онъ успѣлъ опредѣлить нѣсколько отдѣльныхъ и важныхъ пунктовъ въ

[1]) Впослѣдствіи, самъ Бѣлинскій указалъ на это очень недвусмысленно; см. Сочин., т. IV, стр. 441—443.

вопросѣ, но, по указаннымъ свойствамъ, не могъ бы никогда овладѣть цѣлымъ движеніемъ. Наконецъ, его литературный стиль, при многихъ достоинствахъ, былъ тяжелъ; Надеждинъ отличался большимъ знаніемъ языка, смѣло владѣлъ имъ, выражался образно, но его изложеніе было тѣмъ не менѣе сухо и книжно, и напоминало о школѣ. Бѣлинскій, къ которому онъ относился тогда съ высоты величія, былъ человѣкъ совсѣмъ иного характера: для него немыслимо было равнодушное и двойственное отношеніе къ дѣлу; онъ взялся за критику, потому что его художественные, поэтическіе интересы были потребностью его природы, и такой же потребностью была пропаганда того, что онъ считалъ вѣрнымъ пониманіемъ искусства; онъ не могъ довольствоваться, какъ Надеждинъ, отрывочными экскурсіями въ область литературы, а весь жилъ въ ней, весь былъ занятъ защитой ея достоинства, истолкованіемъ ея лучшихъ произведеній, борьбой противъ рутины и непониманія. Его «элегія» была вмѣстѣ и диѳирамбомъ. Во внѣшней формѣ его критики не было ничего схоластическаго и книжнаго; это была теперь, какъ всегда, живая, одушевленная рѣчь, положенная на бумагу. Воспользовавшись тѣмъ, что сдѣлано было Надеждинымъ, Бѣлинскій повелъ дѣло по-своему.

Еще менѣе можно ставить Бѣлинскаго въ подчиненное отношеніе къ кружку Станкевича. Если Бѣлинскій въ «Литературныхъ Мечтаніяхъ» выразилъ воззрѣніе всего круга Станкевича (какъ говоритъ біографія послѣдняго), то это выраженіе было однако самостоятельное, и приведенный выше разсказъ Прозорова любопытнымъ образомъ свидѣтельствуетъ, какъ Бѣлинскій оберегалъ независимость своей мысли отъ постороннихъ указаній. Близость взглядовъ, выраженныхъ Бѣлинскимъ, со взглядами Станкевича и его кружка изобильно подтверждается письмами Станкевича, писанными раньше появленія «Мечтаній» [1]) и позднѣе; но сходство объясняется только общностью молодыхъ впечатлѣній, между прочимъ и подъ вліяніемъ Надеждина. Не забудемъ, что въ ту пору (1834) это былъ еще чисто студенческій кружокъ, и самъ Станкевичъ еще не далеко отошелъ отъ того содержанія, какое было въ университетскомъ обиходѣ. Кружокъ далъ Бѣлинскому многое, но положеніе Бѣлинскаго въ его средѣ было тѣмъ не менѣе самобытное и своеобраз-

---

[1]) Напримѣръ, понятія о значеніи искусства и личное увлеченіе имъ, стр. 16; восторженное увлеченіе театромъ, стр. 27; сравненіе Мочалова и Каратыгина, стр. 10, 14, 78 и пр.; восхищеніе Гофманомъ, стр. 71; отзывы о Сенковскомъ, Кукольникѣ, Вельтманѣ (см. переписку Станкевича, въ книгѣ Анненкова).

ное; въ мнѣніяхъ «кружка» многое было вкладомъ самого Бѣлинскаго.

Въ чемъ же заключалось умственное содержаніе кружка?

Наиболѣе полный очеркъ личности Станкевича и круга друзей, котораго онъ былъ центромъ, сдѣланъ былъ въ книгѣ г. Анненкова, къ которой мы и обращаемъ читателя, желающаго найти подробности. Затѣмъ, живая характеристика кружка находится въ воспоминаніяхъ автора «Былого и Думъ»: такъ какъ этотъ авторъ отсутствовалъ изъ Москвы съ 1835 до 1839 года, то самъ могъ знать только первые годы кружка и затѣмъ то время, когда Станкевича давно уже не было въ Москвѣ, Бѣлинскій переселялся въ Петербургъ и самый кружокъ перестраивался. Наконецъ, менѣе извѣстны, но также не лишены интереса воспоминанія Константина Аксакова, который въ тѣ времена былъ въ дружескихъ отношеніяхъ со Станкевичемъ и съ Бѣлинскимъ и принадлежалъ къ кружку.

Кружокъ сталъ собираться впервые, когда Станкевичъ и Бѣлинскій были еще студентами. Указанныя воспоминанія и сохранившаяся переписка живо рисуютъ идеальное настроеніе, которое владѣло юношами московскаго университета первыхъ тридцатыхъ годовъ. Люди, разошедшіеся потомъ въ совершенно различныя стороны въ своемъ теоретическомъ пониманіи, одинаково ведутъ отсюда свою нравственную генеалогію. «Спасительны эти товарищескія отношенія, въ которыхъ только слышна *молодость человѣка*,—говоритъ одинъ:—и этотъ человѣкъ здѣсь не аристократъ и не плебей, не богатый и не бѣдный, а просто человѣкъ. Такое чувство равенства, въ силу человѣческаго имени, давалось университетомъ и званіемъ студента» [1]). «Пестрая молодежь,—говоритъ другой современникъ,— пришедшая сверху, снизу, съ юга и сѣвера, быстро сплавлялась въ компактную массу товарищества. Общественныя различія не имѣли у насъ того оскорбительнаго вліянія, которое мы встрѣчаемъ въ англійскихъ школахъ и казармахъ...; студентъ, который бы вздумалъ у насъ хвастаться своей *бѣлой костью* или богатствомъ, былъ бы отлученъ отъ «воды и огня», замученъ товарищами... Молодежь была прекрасная въ нашъ курсъ (начала 30-хъ годовъ). Именно въ это время пробуждались у насъ больше и больше теоретическія стремленія. Семинарская выучка и шляхетская лѣнь равно исчезали, не замѣняясь еще нѣмецкимъ утилитаризмомъ, удобряющимъ умы наукой, какъ поля навозомъ, для усиленной жатвы. По-

---

[1]) К. Аксаковъ, «День», 1862, № 39.

рядочный кругъ студентовъ не принималъ больше науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорѣе объѣзжаютъ въ коллежскіе ассесоры. Возникавшіе вопросы вовсе не относились къ табели о рангахъ. Съ другой стороны, научный интересъ не успѣлъ еще выродиться въ доктринаризмъ; наука не отвлекала отъ вмѣшательства въ жизнь, страдавшую вокругъ. Это сочувствіе съ нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентовъ. Мы и наши товарищи говорили въ аудиторіи открыто все, что приходило въ голову»...

Такова была общая почва, на которой зарождалось умственное движеніе—новый всходъ, появившійся послѣ поколѣнія двадцатыхъ годовъ. Что здѣсь складывалось такое же историческое явленіе,— показало дальнѣйшее развитіе; въ этихъ кружкахъ дѣйствительно созрѣли умственные интересы, которымъ предстояло двинуть впередъ общественное сознаніе. Эти интересы были еще въ броженіи, выражались крайнимъ идеализмомъ, но въ молодежи потребность выработать новое содержаніе и посвятить его общему благу была серьёзна; потому она и принесла свои результаты.

Два студенческіе кружка, въ которыхъ собрались наиболѣе одушевленные юноши, образовались въ одно время; но при общемъ идеализмѣ совершенно расходились въ направленіяхъ. Кружокъ Герцена (окончившаго курсъ въ 1833) съ самаго начала увлекался общественными теоріями, подъ вліяніемъ преданій двадцатыхъ годовъ, политической литературы и событій въ западной Европѣ; знакомство съ сенъ-симонизмомъ окончательно установило соціальное направленіе его стремленій. Кружокъ Станкевича первоначально воспитался прямо на философіи, выслушанной у Павлова и Надеждина, и увлекаемый заманчивою перспективою рѣшеній для глубочайшихъ вопросовъ человѣческой мысли, отдался исканію этихъ рѣшеній, пренебрегая всѣмъ остальнымъ, какъ ничтожнымъ въ сравненіи съ этими всеобъемлющими вопросами. Оба кружка знали другъ о другѣ, но между ними не было симпатіи: мало понимая другъ друга, одни считали своихъ противниковъ фантазёрами, безплодными и безчувственными къ животрепещущимъ вопросамъ общества; тѣ въ свою очередь смотрѣли свысока на «политиковъ» и пренебрегали «мелкимъ» либерализмомъ. «Имъ не нравилось наше почти исключительно политическое направленіе, — говоритъ современникъ, тогда враждебный кругу Станкевича, — намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное. Они насъ считали фрондерами и французами, мы ихъ сентименталистами и нѣмцами».

Бѣлинскій, съ самаго начала увлекавшійся поэтическими и отвлеченно-моральными интересами, рано присоединился къ кругу Стан-

кевича; онъ встрѣчалъ здѣсь тѣ же стремленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ личность Станкевича произвела на него то привлекательное дѣйствіе, вліяніе котораго уцѣлѣло въ Бѣлинскомъ на многіе годы, и которое Станкевичъ производилъ вообще на всѣхъ, съ кѣмъ онъ сближался. Біографъ Станкевича вѣрно опредѣляетъ тонъ мыслей, господствовавшихъ въ этомъ кружкѣ, когда въ немъ окончательно установилось влеченіе къ философскимъ занятіямъ, подъ первыми сильными впечатлѣніями идей Шеллингова пантеизма. «Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Съ какою юношескою и благородной гордостію понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія, словомъ, становился ея центромъ, судьею и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія... Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимыхъ обязанностей — высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобы имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія».

Такова была дѣйствительно та исходная точка, изъ которой выходили философскія исканія кружка, и къ которой примкнули умозрительныя исканія Бѣлинскаго. На много лѣтъ, до самаго переѣзда въ Петербургъ,—гдѣ начался новый періодъ его мысли,—Бѣинскій весь былъ поглощенъ тѣмъ стремленіемъ — «утвердить на ысли и разумѣ всѣ самыя тонкія эстетическія ощущенія челоѣка»,—которое отличало вообще кружокъ Станкевича и наконецъ ходило до крайностей, шутливо описываемыхъ авторомъ «Былого Думъ».

Станкевичъ естественно сдѣлался средоточіемъ кружка, задавгося идеальными стремленіями. «Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель,—говоритъ тотъ же современникъ,—Станвичъ естественно долженъ былъ больше любить созерцаніе и леченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практиче- его артистическій идеализмъ къ нему шелъ, это былъ побѣд-

ный вѣнокъ, выступавшій на его блѣдномъ, предсмертномъ челѣ юноши». Этотъ артистическій идеализмъ дѣйствовалъ на другихъ тѣмъ сильнѣе, что соединялся съ мягкостью чувства, а также и съ юмористической складкой ума, смягчавшими суровые порывы, какіе бывали у Бѣлинскаго; личныя поэтическія наклонности Станкевича, тонкое художественное пониманіе сопровождалось безспорнымъ философскимъ талантомъ, который далъ ему возможность перегнать своихъ учителей, едва онъ оставилъ университетскую аудиторію. Можно сказать, что Станкевичъ первый началъ у насъ серьёзное изученіе Гегеля, и ввелъ его въ программу, которую нужно было пройти нашей образованности. Наконецъ, Станкевичъ вообще сталъ выше всего кружкá по своему образованію, знакомству съ иностранной литературой, особенно нѣмецкой и французской. Бѣлинскій въ этомъ послѣднемъ отношеніи многое пріобрѣлъ именно изъ этого источника. Любопытная переписка Станкевича, собранная въ изданіи г. Анненкова, наглядно рисуетъ его личность, и даетъ образчикъ философско-поэтическихъ стремленій, бесѣдъ и занятій кружкá.

На первомъ планѣ стояли интересы литературные, которые мало-по-малу развивались отъ непосредственнаго увлеченія поэтическимъ содержаніемъ до соединенія его съ философскими основаніями. При всемъ различіи характеровъ и прежней исторіи, было много сходнаго въ томъ умственномъ процессѣ, который шелъ у Станкевича и у Бѣлинскаго еще ранѣе ихъ тѣснаго дружескаго сближенія. Выше указаны примѣры того, какъ совпадали ихъ литературныя мнѣнія. Философія и поэзія поглощали всѣ ихъ интересы.

Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ были постоянно на языкѣ у этихъ восторженныхъ почитателей искусства; первый стоялъ превыше всего, какъ предметъ безусловнаго поклоненія; Гёте, но особенно Шиллеръ, подвергались различнымъ истолкованіямъ, и Бѣлинскій — въ періодъ своихъ абстрактныхъ увлеченій — нѣсколько разъ перемѣнялъ свои мнѣнія о послѣднемъ, отъ пламеннаго восторга до настоящей вражды!

Немудрено, что, рядомъ съ этимъ, въ кружкѣ издавна пользовался великимъ уваженіемъ Гофманъ, который не мало способствовалъ этому увлеченію эстетическими интересами. Сочиненія Гофмана съ этихъ поръ и до половины сороковыхъ годовъ усердно переводились друзьями кружкá—въ «Телескопѣ», «Наблюдателѣ» и «Отеч. Запискахъ». Можно сказать, что сочиненія Гофмана, который въ своихъ фантастическихъ повѣстяхъ такъ часто обращался къ вопросамъ искусства, съ такимъ энтузіазмомъ и глубокимъ пониманіемъ говорилъ о немъ,—что сочиненія Гофмана были для кружкá

настоящимъ курсомъ эстетики. Гофманъ и надолго послѣ остался въ числѣ писателей, возбуждавшихъ любовь и удивленіе Бѣлинскаго. Любопытно, что на Гофманѣ (какъ дальше увидимъ) въ первый разъ сошлись вкусы обоихъ тогдашнихъ кружковъ въ области идеализма.

Такой же общей была у друзей страсть къ театру. «Театръ становится для меня атмосферою»,—пишетъ Станкевичъ въ одномъ письмѣ (въ маѣ 1833), и его театральные восторги невольно напоминаютъ извѣстныя страницы о театрѣ, которыя были написаны Бѣлинскимъ въ первой же его статьѣ: — «Театръ! любите ли вы театръ, какъ я люблю его, то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ?.. Театръ,—о, это истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгновенно отдѣляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ житейскихъ отношеній!.. Ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!» [1]). До такого паѳоса дошла страсть, которая и прежде внушала ему мысль самому вступить на поприще драматическаго писателя. Храмъ искусства, соединявшій въ себѣ всѣ обольщенія изящнаго и освобождавшій отъ житейскихъ отношеній, служилъ для этихъ энтузіастовъ и изученіемъ самой жизни — имъ казалось, что театръ исчерпываетъ ее изображеніемъ человѣческихъ страстей и моральныхъ столкновеній, и поэтическое наслажденіе опять сливалось съ философскими умозаключеніями.

Была еще одна область искусства, постиженіе которой входило въ программу кружка. Станкевичъ былъ самъ музыкантъ, страстный любитель, и музыка составляла для него необходимое дополненіе его поэтическихъ изученій. Любимая музыка, какъ и любимая литература, была нѣмецкая, прежде всего Бетховенъ, затѣмъ Шубертъ: какъ параллельно шли поэтическія стремленія, обнаружилось, когда Станкевичъ, давно восхищавшійся, между прочимъ, балладой «Erlkönig», напалъ однажды случайно на знаменитую музыку Шуберта къ этой пьесѣ. «Я чуть съ ума не сошелъ», пишетъ онъ къ своему другу, и это было, вѣроятно, очень близкимъ изображеніемъ его восторга. Въ музыкѣ, какъ и въ поэзіи, не довольствовались общимъ впечатлѣніемъ, и, напротивъ, старались отдать себѣ точный эстетическій отчетъ; Гофманъ и здѣсь былъ совѣтни-

[1]) Сочинен., I, 96—99.

Нѣсколько позднѣе въ кружкѣ друзей явился еще человѣкъ кимъ же культомъ музыки, какой былъ у Станкевича, В. П. інъ. Но Бѣлинскій мало понималъ музыку; она производила го дѣйствіе только въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ; голоса друзей и Гофмана, онъ также считалъ ее необходи- элементомъ полнаго эстетическаго развитія, и потому съ пе- , а иногда съ досадою жаловался на этотъ недостатокъ, ко- казался ему прискорбной «неполнотой натуры».

«Строгое пониманіе, какъ •задачи искусства, такъ и вообще ѣческаго признанія, было въ природѣ Станкевича и лучшихъ его круга»,—говоритъ его біографъ, и это замѣчаніе особенно ю быть распространено на Бѣлинскаго. «Качество это только лось отъ чтенія и общихъ размышленій, имъ порожденныхъ... ;танкевича и избранныхъ друзей его не было въ нравствен- мірѣ пустыхъ или маловажныхъ вещей. Къ каждому явленію міра они подступали весьма серьёзно... Каждый предметъ ли- уры казался имъ стòющимъ того, чтобы изслѣдовать его ге- гію, причину и обстоятельства его происхожденія; часто умъ, зно настроенный, заходилъ слишкомъ далеко въ этихъ по- ъ и не видалъ ближайшей, ограниченной и ничтожной при- породившей явленіе. Они грѣшили доблестными недостатками, твенными всякой благородной молодости. Никогда не могло и въ голову Станкевичу и его друзьямъ, напримѣръ, что но- усская трагедія не есть плодъ стремленія выразить свой взглядъ или другую сторону прежней жизни, а только первый опытъ ѣка, набивающаго себѣ руку вообще на трагедіи. Все было іихъ событіемъ, порождавшимъ пренія, надежды, заключенія, а а длинную серьёзную переписку» [1]). Въ перепискѣ Бѣлинскаго тся не одно подтвержденіе этихъ словъ; дѣло въ томъ, что ямъ приходилось зà ново установлять вопросы, которые дѣй- ельно бывали чужды для тогдашней литературы и къ кото- они прилагали всю юношескую впечатлительность. Стремленіе кать мысль, отвлеченную философскую подкладку, во многихъ іяхъ блистательно вознаграждалось глубокими опредѣленіями— во, напримѣръ, въ особенности первое опредѣленіе Гоголя, не гаго, какъ извѣстно, на первое время, даже лучшими умами ішней литературы; съ другой стороны, оно вело и къ преуве- іямъ. Впослѣдствіи Бѣлинскій самъ подшучивалъ надъ своими іеніями этого времени.

«Строгое пониманіе человѣческаго призванія» сближало дру-

[1]) Біогр. Станкевича, стр. 70.

зей и въ ихъ личной жизни: между ними не было тайнъ; характеръ, житейскія отношенія, поступокъ, опредѣлялись и подводились подъ свою категорію, вырабатывался свой кодексъ морали. Я передъ вами открытъ», говорилъ Станкевичъ ближайшимъ друзьямъ, а въ томъ числѣ Бѣлинскому, и дѣйствительно переписка друзей свидѣтельствуетъ о полной искренности и чрезвычайномъ довѣріи другъ къ другу. Нѣсколько позднѣе, тотъ же характеръ отношеній возникъ у Бѣлинскаго съ Боткинымъ. Они были совершенно открыты другъ передъ другомъ, взаимно повѣряли себя, дѣлились самыми интимными мыслями и ощущеніями... Бѣлинскій съ ревностью и сурово примѣнялъ моральный кодексъ прежде всего къ самому себѣ—его переписка представляетъ цѣлый рядъ безпощадныхъ самообличеній; противъ нѣкоторыхъ біографу приходится защищать его самого. Но среди крайностей, въ которыя онъ впадалъ, выростало въ немъ то высокое нравственное чувство, которое впослѣдствіи — какъ это хорошо извѣстно по разсказамъ — давало ему въ его кругу неоспариваемый авторитетъ.

Какъ въ этомъ періодѣ кружокъ относился къ дѣйствительности?

Относительно Бѣлинскаго въ тридцатыхъ годахъ надо отличать двѣ главныя и весьма различныя ступени, которыя, впрочемъ, трудно опредѣлить отчетливо, потому что именно за это время матеріалъ для біографіи особенно скуденъ. Мы видѣли, что еще до университета у Бѣлинскаго было извѣстное критическое отношеніе къ жизни, къ общественнымъ предразсудкамъ и т. д. Во время пребыванія въ университетѣ, когда писалась трагедія, и въ первое время послѣ, Бѣлинскій, повидимому, оставался въ этомъ либеральномъ настроеніи, очень непохожемъ на тотъ крайній консерватизмъ, какой внушили ему потомъ вліянія гегелевской философіи. — Для объясненія этого, зайдемъ нѣсколько впередъ.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ, въ періодѣ крайняго гегеліянства, Бѣлинскій сталъ злостно нападать на (нѣкогда боготворимаго) Шиллера, вслѣдствіе *тенденціозности* его поэзіи, которая теперь казалась ему не согласной съ законами объективнаго творчества. Станкевичъ, который былъ всегда горячимъ поклонникомъ Шиллера, возставалъ противъ этой вражды, и Бѣлинскій, въ 1839, когда эта вражда успѣла въ немъ перебродить, такъ оправдывалъ свой непріязненный взглядъ на германскаго поэта. «Тутъ вмѣшались личности,—говоритъ онъ въ письмѣ къ Станкевичу: Шиллеръ *тогда* (т.-е. въ періодъ крайняго гегеліянства) былъ мой личный врагъ, и мнѣ стоило труда обуздывать мою къ нему ненависть и держаться въ предѣлахъ возможнаго для меня приличія. За что эта нена-

висть?—За субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отъ чего страдалъ я во имя его». Онъ вспоминаетъ время, когда былъ величайшимъ поклонникомъ Шиллера; въ особенности драмы его,—говоритъ Бѣлинскій,—«наложили на меня дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ, во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухѣ; бросили меня въ абстрактный героизмъ, внѣ котораго я все презиралъ, все ненавидѣлъ (и еслибъ ты зналъ, какъ дико и болѣзненно!) и въ которомъ и очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторгъ, сознавалъ себя—нулемъ [1]).

Настроеніе, описанное здѣсь Бѣлинскимъ: «абстрактный героизмъ», «дикая вражда къ общественнымъ порядкамъ» должны относиться именно къ началу тридцатыхъ годовъ, къ университетской жизни и къ первымъ тѣснымъ связямъ съ кружкомъ Станкевича. Въ разныхъ степеняхъ и оттѣнкахъ оно вѣроятно продолжалось и послѣ, до тѣхъ поръ, когда кружокъ окончательно принялъ положеніе гегелевской философіи о «разумной дѣйствительности».

О взглядахъ самаго кружка на общественные предметы, за это время, можно привести еще одно показаніе — современника, принадлежавшаго къ самому кружку, Константина Аксакова, хотя, высказанное долго спустя (въ 1855 г.), оно не достаточно отчетливо и не свободно отъ позднѣйшихъ взглядовъ автора: Аксаковъ сохранилъ самую теплую память и высокое понятіе о личности Станкевича; онъ признаетъ кружокъ Станкевича замѣчательнымъ явленіемъ въ умственной исторіи нашего общества, хотя самъ потомъ сталъ въ совершенно враждебное отношеніе къ вышедшимъ изъ него дѣятелямъ. «Въ этомъ кружкѣ,—говоритъ Аксаковъ,—выработалось уже общее воззрѣніе на Россію, на жизнь, на литературу, на міръ—воззрѣніе, большею частію *отрицательное. Искусственность россійскаго классическаго патріотизма*, *претензіи*, наполнявшія нашу литературу, усилившаяся фабрикація стиховъ, *неискренность печатнаго лиризма*, все это породило справедливое желаніе простоты и искренности, породило сильное нападеніе на всякую фразу и эффектъ; и то, и другое высказалось въ кружкѣ Станкевича, быть можетъ, впервые, какъ мнѣніе цѣлаго общества людей. Какъ всегда бываетъ, отрицаніе лжи доводило и здѣсь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта

[1]) См. подробнѣе въ письмѣ къ Станкевичу 29 сентября—8 октября, 1839 (гл. V).

не была крайняя, была искренняя; нападеніе на претензію, иногда даже и тамъ, гдѣ ея не было,—*не переходило* само *въ претензію*, какъ это часто бываетъ, и какъ это было въ другихъ кружкахъ. Одностороннѣе всего были нападенія на Россію, возбужденныя *казенными ей похвалами*»... К. Аксаковъ говоритъ, что ему, юношѣ, еще многаго не передумавшему, подобные разговоры и «нападенія на Россію», какъ онъ выражается, были иногда тяжелы, но онъ видѣлъ въ кружкѣ постоянный умственный интересъ, стараніе опредѣлить нравственные предметы, и не могъ оторваться отъ него... Мы видимъ, впрочемъ, что по словамъ самого Аксакова, «нападенія» направлялись противъ лжи, неискренности, казённыхъ похвалъ, словомъ, противъ вещей, возмущавшихъ простое нравственное чувство, не искаженное лицемѣріемъ. Дальше видно, что собственнаго либерализма здѣсь вовсе не было... «Кружокъ Станкевича отличался самостоятельностью мнѣнія, свободнаго отъ всякаго авторитета; позднѣе, эта свобода перешла въ буйное отрицаніе авторитета, выразившееся въ критическихъ статьяхъ Бѣлинскаго. Что всего замѣчательнѣе, кружокъ этотъ, будучи свободомысленъ, не любилъ ни фрондёрства, ни либеральничанья, боясь, вѣроятно, той же неискренности, той же претензіи, которыя были ему ненавистнѣе всего; даже вообще, политическая сторона занимала его мало... Очевидно, что этотъ кружокъ желалъ правды, серьёзнаго дѣла, искренности и истины. Это стремленіе, осуществляясь иногда односторонне, было само по себѣ справедливо, и есть явленіе вполнѣ русское. Насмѣшливость и иногда горькая шутка часто звучали въ этихъ студенческихъ бесѣдахъ. Такой кружокъ не могъ быть увлеченъ никакимъ авторитетомъ»... О самомъ Станкевичѣ, котораго Аксаковъ признаетъ человѣкомъ необыкновеннаго и глубокаго ума, которому въ спорахъ должны были уступать даже щегольскіе діалектики того времени, какъ Надеждинъ и М. Б.,—Аксаковъ замѣчаетъ: «Онъ имѣлъ сильное значеніе въ своемъ кругу, но это значеніе было вполнѣ свободно и законно, и отношеніе друзей къ Станкевичу, невольно признававшихъ это превосходство, было проникнуто свободною любовью, безъ всякаго чувства зависимости»....

По всей вѣроятности, «абстрактный героизмъ» началъ сглаживаться именно подъ вліяніемъ кружка. «Нападенія на Россію», о которыхъ говоритъ Аксаковъ и которыхъ, впрочемъ, не слѣдуетъ преувеличивать, могли отражать еще прежній взглядъ Бѣлинскаго, и во многомъ были раздѣляемы и Станкевичемъ. На что направлялись «нападенія», мы отчасти видѣли: Бѣлинскій издавна относился враждебно — напримѣръ, къ крѣпостному праву, къ испорченности дворянскаго сословія, къ невѣжеству, грубости или лицемѣрію дру-

го сословія, которому принадлежало нравственное руководительство надъ народомъ; о первомъ можетъ свидѣтельствовать его трагедія, о послѣднемъ мы слышали указанія положительныя. Но тогдашнія мнѣнія Бѣлинскаго не представляли какой-нибудь опредѣленной политической мысли, напр., даже въ томъ туманно-идеалистическомъ родѣ, какъ было въ тогдашнемъ кружкѣ Герцена. Точка зрѣнія Бѣлинскаго была при этомъ только отвлеченно-нравственная: какъ въ своемъ личномъ развитіи они стремились къ извѣстному нравственному совершенству, уразумѣнія котораго искали въ философіи и въ искусствѣ, такъ жизнь общественную разсматривали съ той же моральной точки зрѣнія; ихъ мало занимала «политическая сторона», вѣроятно они мало и знали ее, — но, принимая данное положеніе вещей, возмущались только вообще нарушеніями нравственныхъ требованій, нарушеніями закона и человѣколюбія и т. п. Бѣлинскій, по своему страстному характеру, безъ сомнѣнія, высказывался и въ этомъ направленіи всѣхъ рѣзче и рѣшительнѣе, но и для него, при всѣхъ его увлеченіяхъ «абстрактнымъ героизмомъ», главное лежало не здѣсь, а именно въ разъясненіи личнаго нравственнаго идеала. Поэтому впослѣдствіи онъ могъ такъ легко перейти къ крайнему консерватизму по общественнымъ предметамъ: отказываясь отъ прежняго либерализма, онъ думалъ только вѣрнѣе служить личному нравственному идеалу.

Ниже будутъ приведены мнѣнія Бѣлинскаго изъ послѣдующаго періода его развитія, періода полнаго признанія дѣйствительности, предполагаемой «разумною»: эти мнѣнія (окончательно имъ выработанныя уже *безъ* Станкевича) могутъ показаться неожиданными, почти невѣроятными, — но тѣмъ не менѣе, въ личномъ развитіи Бѣлинскаго они кажутся намъ успѣхомъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни странна была консервативная точка зрѣнія, принятая Бѣлинскимъ, какъ ни велики крайности, къ какимъ она привела его потомъ, — но это былъ по крайней мѣрѣ систематическій взглядъ, который стоялъ выше прежняго, какъ сознательная точка зрѣнія надъ неяснымъ, и потому именно непрочнымъ инстинктомъ. Прежній моральный либерализмъ потому и могъ не удержаться при встрѣчѣ съ новыми понятіями, что не былъ достаточно защищенъ отъ нихъ теоретически. Бѣлинскій былъ въ высокой степени правдивъ въ своихъ мнѣніяхъ: у него не было достаточно аргументовъ противъ новаго взгляда, и онъ его принялъ. Между прочимъ, поэтому особенно становится любопытна и поучительна исторія его развитія: въ немъ логически переработывалось то содержаніе, какое представляла русская жизнь, и результатъ, достигнутый Бѣлинскимъ къ концу его поприща, получаетъ тѣмъ бо́льшую выразительность.

Говоря о кружкѣ Станкевича, не можемъ обойти характеристики, сдѣланной въ одномъ изъ историческихъ трудовъ, посвященныхъ этому времени. Личность Станкевича подвергнута здѣсь весьма суровой критикѣ: его развитіе представляется такъ-сказать барскимъ, его интересы — «пропріетерскою» или помѣщичьею прихотью, и результатъ ихъ опредѣляется какъ эстетическій квіетизмъ, примиреніе со всѣмъ существующимъ и личное самоуслажденіе въ кружкѣ подобныхъ же дилеттантовъ, «обезпеченныхъ» въ житейскомъ отношеніи и потому спокойно признававшихъ или не замѣчавшихъ даннаго порядка вещей. Положеніе Бѣлинскаго въ этомъ кругѣ, и согласіе съ нимъ, является какъ временное, преходящее заблужденіе человѣка, уже не пропріетерскаго положенія и настоящимъ назначеніемъ котораго была именно борьба противъ рутины и общественной несправедливости, но который — подъ вліяніемъ Станкевича — отвлекся отъ своей настоящей дороги соблазномъ эстетическаго эпикуреизма и мелькавшей надеждой найти истину въ туманной философіи кружка. Бѣлинскій не былъ самимъ собой, когда отдавался этимъ вліяніямъ; его собственная натура была слишкомъ не похожа на натуру его друзей и влекла его совсѣмъ въ иную сторону, — временами она и прорывалась среди навѣянныхъ на него идей, и только тогда, когда онъ свергъ съ себя эти оковы эстетически-эпикурейскаго доктринерства, онъ явился во всей своей силѣ, и оказалъ все свое истинное вліяніе [1]).

Должно отдать справедливость автору, что онъ весьма послѣдовательно излагаетъ свой взглядъ и обставляетъ его внимательнымъ изученіемъ мнѣній кружка и современныхъ имъ сочиненій Бѣлинскаго. Тѣмъ не менѣе, согласиться съ его характеристикой нельзя. Авторъ несправедливъ прежде всего и главнымъ образомъ въ томъ, что забываетъ о важномъ условіи исторической вѣрности — о характерѣ общества и обстановкѣ, среди которыхъ совершалась исторія кружка и Бѣлинскаго. Слова «эстетическій квіетизмъ», «обезпеченное» эпикурейство, со всѣмъ осужденіемъ, какое въ нихъ заключается, могли бы быть справедливы, еслибъ факты, ими обозначенные, происходили въ наше время, въ нашихъ условіяхъ; но это осужденіе несправедливо, когда примѣняется къ тому періоду нашей литературы. На самомъ дѣлѣ это былъ вовсе не квіетизмъ и очень плохое эпикурейство, прежде всего потому, что система мнѣній, обозначаемая этими именами, не была чѣмъ-нибудь законченнымъ и установившимся, а напротивъ, въ глазахъ всѣхъ членовъ кружка, и въ ту самую пору, это была переходная ступень, «мо-

[1]) Статьи г. Скабичевскаго, въ «Отеч. Зап.»

ментъ», какъ любили тогда выражаться, на которомъ никто не успокоивался, и который, напротивъ, стремились развивать дальше— куда бы ни привело развитіе. Двѣ-три цитаты покажутъ, что истинный взглядъ Станкевича и былъ именно таковъ. Въ декабрѣ 1835, защищая философію отъ своего петербургскаго друга, Станкевичъ пишетъ: «...Ходъ человѣческаго ума, его стройное развитіе и приращеніе, вѣчная истина, облекающаяся въ разныя одежды, соотвѣтственно вѣку и народу, и все болѣе и болѣе являющая свою сущность — какое явленіе можетъ быть занимательнѣе?.. Философію я не считаю своимъ призваніемъ; она можетъ быть ступень, черезъ которую я перейду къ другимъ занятіямъ: но прежде всего я долженъ удовлетворить этой потребности. И не столько манитъ меня *рѣшеніе вопросовъ*, которые болѣе или менѣе рѣшаетъ вѣра, сколько самый *методъ* какъ выраженіе послѣднихъ успѣховъ ума. Я еще болѣе хочу убѣдиться въ достоинствѣ человѣка и, признаюсь, хотѣлъ бы убѣдить потомъ другихъ и пробудить въ нихъ высшіе интересы». Любопытно читать въ другомъ его письмѣ слова, заключавшія въ себѣ вѣрное указаніе на то, что̀ и считается его исторической заслугой: «Не знаю, достанетъ ли у меня терпѣнія и силъ, но я займусь философіей. Скучны формы, въ которыя она заключена; но мы *потерпимъ за будущее поколѣніе* и, можетъ быть, съ божіею помощію *облегчимъ трудъ его*» [1]). Постоянно занятый отыскиваніемъ философской истины, онъ никогда не говоритъ, чтобъ извѣстная система вполнѣ удовлетворила его, — онъ все ждетъ разрѣшенія впереди. Бѣлинскій, всегда страстный въ своихъ порывахъ, легче Станкевича готовъ былъ принять за несомнѣнную истину то, чему вѣрилъ въ данную минуту, — но вся исторія его мнѣній показываетъ, какъ сильно было надъ нимъ новое, не представлявшееся прежде доказательство. «Чтобы любить истину, должно жертвовать ей своими задушевными мыслями, привычками, предубѣжденіями», — говорилъ онъ въ эти годы, доказывая необходимость анализа и разрушенія ложныхъ авторитетовъ; и самъ онъ никогда не останавливался жертвовать истинѣ самыми задушевными своими мыслями. Словомъ, если одно время Бѣлинскій былъ защитникомъ общественнаго status quo, его мнѣнія все-таки не были квіетизмомъ, какъ и мнѣнія Станкевича. Въ самомъ крайнемъ развитіи этого бытового консерватизма были столь сильные идеальные запросы, что настоящіе защитники общественной неподвижности никогда бы не могли назвать его своимъ.

Немного было и эпикурейства въ этихъ «наслажденіяхъ» ис-

[1]) Переп., стр. 155, 159.

кусствомъ, въ этихъ философскихъ бесѣдахъ друзей за стаканами чаю. Естественно было, что люди, занятые вопросами философіи и искусства, предались имъ исключительно, какъ спеціальному своему дѣлу, и забывали все остальное, — но, по тогдашнему пониманію вообще, это остальное все включалось въ вопросы философіи и искусства, а въ этихъ послѣднихъ и былъ для людей того времени единственный путь самосознанія, какой только они могли себѣ представить. Намъ легко теперь видѣть ихъ ошибки, — когда завершился весь тотъ періодъ не только нашей, но и европейской образованности, когда Шеллингъ и Гегель оба сданы въ архивъ, какъ рѣшенныя дѣла. Но должно вспомнить то обаяніе, какимъ окружена была философія въ тѣ десятилѣтія, чтобы признать совершенно законнымъ увлеченіе того молодого поколѣнія. Философія казалась настоящимъ откровеніемъ, и не одни наши юноши были тогда убѣждены, что проникнуть въ ея истины — значитъ уже разомъ рѣшить всѣ вопросы, какіе можетъ представить жизнь природы и жизнь человѣка. Друзья Станкевича, и самъ онъ, принимали очень серьёзно свои поэтическіе интересы: ими естественно овладѣвалъ восторгъ (кажущійся эстетическимъ эпикурействомъ), когда имъ казалось, что восхищающее ихъ поэтическое произведеніе — трагедія Шекспира, стихотвореніе Гёте, повѣсть Гоголя — подтверждаютъ или объясняютъ имъ извѣстное философское положеніе; но, съ другой стороны, противорѣчіе философскихъ догматовъ съ собственной мыслью, чувствомъ, жизнью бывало имъ знакомо, и дѣлалось источникомъ тягостныхъ сомнѣній, у Бѣлинскаго особенно.

Когда философія понималась ими какъ единственная основа, на которой возможно истолкованіе жизни, они естественно стали перебирать ея аргументацію. Не всѣ находили одинаковый выходъ — это зависѣло отъ склада ума и характера; но есть основанія думать, что Станкевичъ не остановился на одномъ эстетическомъ эпикурействѣ. Въ своей перепискѣ съ Бѣлинскимъ изъ-за-границы, Станкевичъ возставалъ противъ нападеній на Шиллера, которыя дѣлалъ тогда Бѣлинскій съ своей «консервативной» точки зрѣнія. Грановскій, жившій съ Станкевичемъ за границей и дѣлившій его основныя понятія, по пріѣздѣ въ Москву (въ 1839), также не могъ сойтись съ тогдашними взглядами Бѣлинскаго. Изъ того и другого надо заключать, что понятія Станкевича не ограничились эстетическимъ эпикурействомъ и общественнымъ консерватизмомъ.

Увлеченіе философіей развивается въ тѣ годы кружка, когда сами участники его были почти юношами. Станкевичу въ 1834 году былъ всего двадцать одинъ годъ; Бѣлинскій былъ не много старше его по лѣтамъ; это была и вообще законная пора идеализма и на

половину поэтическаго, на половину отвлеченнаго пониманія жизни, лежавшей еще впереди. Но при всей юношеской незрѣлости, ихъ пониманіе было уже, въ тогдашнихъ условіяхъ, шагомъ впередъ — сравнительно съ тѣмъ, что господствовало въ литературѣ. Съ «Литературными Мечтаніями» роль Надеждина въ литературѣ можно было считать конченной; понятія кружка Станкевича уже тогда стали выше романтическаго эклектизма Полевого и выше теоретическихъ понятій пушкинскаго круга — а это были главныя силы тогдашней (1834—1836) журналистики, съ которыми можно было бы ихъ сравнивать. Понятія кружка уже тѣмъ составляли силу, что были сознательной и цѣльной теоріей; она была выше ходячихъ мнѣній, потому что въ ней былъ методъ и возможность дальнѣйшаго развитія.

Въ самомъ началѣ эстетическое эпикурейство оказало, кромѣ этой отвлеченной, и положительную услугу. Дружескій кружокъ питалъ и укрѣпилъ то эстетическое пониманіе, которое было, можно сказать, врожденнымъ инстинктомъ Бѣлинскаго, и стало потомъ такимъ сильнымъ воспитательнымъ средствомъ въ его рукахъ.

Наконецъ натура Бѣлинскаго была дѣйствительно натура «бойца», какъ о немъ говорятъ, — натура страстная, возбужденная и раздраженная съ дѣтства. Но свойство натуры вовсе не предполагало, чтобы его *мысль* шла непремѣнно тѣмъ, а не другимъ путемъ. Къ свойству натуры надо прибавить еще свойство ума, логическая послѣдовательность котораго дѣлала то, что, принявъ извѣстную мысль, Бѣлинскій развивалъ ее до послѣднихъ результатовъ, даже до такихъ, гдѣ его непосредственное чувство возмущалось противъ его теоретическаго вывода, — и оставить ложную точку зрѣнія онъ могъ только тогда, когда цѣлыя массы аргументовъ собирались, чтобы низложить ее. Бѣлинскій проходилъ и ошибочныя точки зрѣнія, — особенно въ начавшійся вскорѣ періодъ его гегеліянскихъ увлеченій; но Станкевичъ нисколько не былъ въ этомъ виноватъ, и Бѣлинскій ушелъ въ этомъ направленіи дальше всего своего круга. Философская школа въ то время была почти единственная, въ которой могъ воспитаться строгій послѣдовательный образъ мыслей; и она дѣйствительно оказала Бѣлинскому великую пользу; она сразу поставила его во главѣ русской критики, выше всѣхъ его предшественниковъ и современниковъ, которые питались эклектическими сентенціями французскаго и нѣмецкаго романтизма, и даже такихъ проницательныхъ цѣнителей искусства, образованныхъ самой ихъ художественной природой, каковы были Пушкинъ и Гоголь. — Для того, чтобы энергія Бѣлинскаго направилась, наконецъ, на вопросы общественной жизни, нужно было знаніе этой жизни, а этого знанія у Бѣлинскаго въ то время не было.

Съ перваго появленія на литературномъ поприщѣ, Бѣлинскій обратилъ на себя вниманіе и читателей, и литературныхъ кружковъ; это вниманіе было еще усилено его дальнѣйшими работами. Уже вскорѣ Бѣлинскій пріобрѣлъ самыя теплыя сочувствія у людей, умѣвшихъ понимать и дорожить успѣхами литературы, и особенно въ новомъ литературномъ поколѣніи [1]). Въ то же время стала обнаруживаться и вражда, которая потомъ разрослась до настоящей ненависти. Не говоря о томъ озлобленіи, которое возымѣла противъ него компанія Греча и Булгарина, вмѣстѣ съ Сенковскимъ, вѣрно понявшая въ немъ своего непримиримаго врага [2]); не говоря о томъ, что на Бѣлинскаго смотрѣли косо и университетскіе писатели, какъ Погодинъ и Шевыревъ, особенно послѣдній, котораго странныя литературныя притязанія Бѣлинскій сначала мягко, но потомъ весьма рѣшительно изобличалъ [3]); не говоря, наконецъ, о той враждѣ, которую навлекала Бѣлинскому его критическая строгость со стороны всякихъ задѣтыхъ авторскихъ самолюбій — Бѣлинскаго встрѣтилъ не совсѣмъ дружелюбно и кружокъ Пушкина. Повидимому, онъ имѣлъ съ критикой Бѣлинскаго много общаго и въ здравыхъ эстетическихъ понятіяхъ, и въ сужденіи о многихъ фактахъ старой и новой литературы, и въ восторженномъ признаніи Пушкинской поэзіи; тогдашнія мнѣнія Бѣлинскаго, повидимому, не должны были вызывать со стороны этого кружка особенныхъ возраженій, — тѣмъ не менѣе, инстинкты были различны, и Бѣлинскій не имѣлъ здѣсь сочувствія. Пушкинскій кружокъ былъ равнодушенъ къ нѣмецкой философіи; увлеченіе москвичей самому Пушкину казалось чрезмѣрнымъ — нѣмецкая философія казалась ему полезной развѣ тѣмъ, что отвлекала отъ французскаго либерализма [4]). Но была и другая причина несочувствія: въ Пушкинскомъ кружкѣ продолжали хра-

---

[1]) О впечатлѣніи, произведенномъ первыми трудами Бѣлинскаго ср. Воспоминанія Панаева (Соврем. 1861, февр. 636—638), г. Тургенева (Вѣстн. Европы, 1869, апр. 695—697).

Лажечниковъ, жившій тогда въ Твери, въ письмѣ отъ 26 ноября 1834, спрашивалъ Бѣлинскаго: «Что вы подѣлываете? Что Ник. Ив. (Надеждинъ)? Чьи это у него такія бойкія, умныя «Мечтанья» (Литературныя)? Описаніе царствованія Екатерины насъ восхищаетъ. Увѣдомьте съ первою почтою, кто авторъ ихъ? также нѣтъ-ли еще литературныхъ тайнъ?» Комплиментъ былъ вѣроятно неподдѣльный.

[2]) Они уже съ этого времени начали противъ Бѣлинскаго весьма неблаговидные походы; ср. полемическія статьи Бѣлинскаго въ Сочин. I, 483—489, 492—506; II, 274 и слѣд.

[3]) Относительно Шевырева. въ особенности статья «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ Моск. Наблюдателя», Сочин. II, стр. 75 и слѣд.

[4]) Сочин. Пушкина, изд. 1871, т. V, стр. 876.

ниться преданія «Арзамаса»; этотъ кружокъ устранялся отъ литературной борьбы, смотрѣлъ на новыя явленія литературы съ нѣкоторымъ чувствомъ самодовольства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по умственному складу своихъ членовъ не склоненъ былъ къ тому безпокойному и страстному критическому духу, который не думалъ останавливаться передъ какими- нибудь авторитетами; въ кружкѣ какъ будто предчувствовали, что эта страстная пытливость можетъ нѣкогда придти и къ такимъ смѣлымъ рѣшеніямъ, которыхъ онъ уже никакъ не могъ бы раздѣлить. Такъ это послѣ и случилось. Замѣтимъ также, что уже въ первыхъ сочиненіяхъ Бѣлинскаго успѣла высказаться, во-первыхъ, антипатія его къ одному изъ членовъ кружка, оставшаяся навсегда; во-вторыхъ,—въ сочувственномъ отзывѣ о Пушкинскомъ «Современникѣ» была независимость, которая могла показаться смѣлой для начинающаго писателя, и замѣчены были недостатки журнала, дѣйствительно въ немъ существовавшіе.

Впрочемъ, сказанное о Пушкинскомъ кружкѣ не относится къ самому Пушкину. Извѣстно, что литературные взгляды Пушкина были всегда шире, смѣлѣе и оригинальнѣе, чѣмъ взгляды его друзей, и отношеніе къ литературѣ было живѣе. Онъ замѣтилъ Бѣлинскаго и относился къ нему иначе, чѣмъ его друзья. «Литературныя петербургскія знаменитости (т.-е. писатели Пушкинскаго кружка),—разсказываетъ Панаевъ, довольно хорошо знавшій анекдотическую сторону тогдашней литературы, — смотрѣли на Бѣлинскаго съ высоты своего величія. Онѣ не удостоивали замѣчать его, или отзывались о немъ, какъ о нагломъ, недоучившемся студентѣ, который осмѣливается посягать на вѣковыя славы. Одинъ Пушкинъ, кажется, въ тайнѣ сознавалъ, что этотъ недоучившійся студентъ долженъ будетъ занять нѣкогда почетное мѣсто въ исторіи русской литературы». Свое вниманіе къ Бѣлинскому Пушкинъ показалъ тѣмъ, что послалъ ему первыя книжки «Современника», а по запрещеніи «Телескопа», кажется, имѣлъ даже мысль воспользоваться сотрудничествомъ Бѣлинскаго для своего журнала. По разсказу Панаева, Пушкинъ передалъ Бѣлинскому книжки своего журнала черезъ М. С. Щепкина, но просилъ держать это въ секретѣ, чтобы не узнали о томъ его друзья, литературныя знаменитости [1]).

---

[1]) Восп. о Бѣлинскомъ., «Соврем.» 1861, янв., стр. 353.

Въ письмѣ Кольцова къ Бѣлинскому; отъ января 1841 (изъ Москвы), упомянутая посылка Пушкинымъ «Современника» разсказывается такимъ образомъ: «На дняхъ былъ я у Чаадаева, — пишетъ Кольцовъ. — Онъ говорилъ какъ-то къ рѣчи слово, что у васъ въ «Наблюдателѣ» или въ «Телескопѣ» была напечатана ваша статья о Пушкинѣ, и что онъ (Чаадаевъ) ее показывалъ ему. Пушкинъ прислалъ ему нумеръ «Современника», просилъ *передать его вамъ, не сказывая*, что онъ его прислалъ нарочито для васъ».

Объ этой посылкѣ Бѣлинскому «Современника» дѣйствительно упоминается (нѣсколько иначе) въ перепискѣ самого Пушкина съ его московскимъ пріятелемъ, П. В. Нащокинымъ. Въ маѣ 1836, Пушкинъ поручаетъ ему доставить экземпляръ своего журнала Бѣлинскому — «тихонько отъ Наблюдателей, — и вели сказать ему, что очень жалѣю, что съ нимъ не успѣлъ увидѣться». Послѣднее онъ также, вѣроятно, сдѣлалъ бы «тихонько отъ Наблюдателей», т.-е. сотрудниковъ «Моск. Наблюдателя» (первой редакціи), который тогда уже питалъ къ Бѣлинскому непримиримую ненависть. Не знаемъ, былъ ли этотъ случай поводомъ къ приведеннымъ сейчасъ разсказамъ, или разговоръ былъ веденъ съ нѣсколькими лицами, но что интересъ Пушкина къ Бѣлинскому былъ довольно серьёзный, можно видѣть изъ той же переписки съ Нащокинымъ. Въ концѣ 1836 года, когда «Телескопъ» былъ уже запрещенъ, Нащокинъ пишетъ къ Пушкину, очевидно отвѣчая на его (затерянное теперь) письмо:... «Что ты не аккуратенъ, это дѣло извѣстное, — пишетъ Нащокинъ; — несмотря что извѣстно, надо тебѣ это сказать, и коли можно, помочь», — и вслѣдъ за этимъ сообщаетъ: «Бѣлинскій получалъ отъ Надеждина, чей журналъ уже запрещенъ, 3 т.; «Наблюдатель» предлагалъ ему 5. Гречъ тоже его звалъ. Теперь, коли хочешь, онъ къ твоимъ услугамъ; я его не видалъ, но его друзья, въ томъ числѣ и Щепкинъ, говорятъ, что онъ будетъ очень счастливъ, если придется ему на тебя работать. Ты мнѣ отпиши, *я его къ тебѣ пришлю»* [1]). Лично они никогда не встрѣтились.

Бѣлинскій былъ всегда энтузіастическимъ поклонникомъ поэзіи Пушкина (что не мѣшало ему, однако, очень независимо указывать и встрѣчавшіеся недостатки, — указывать еще при жизни Пушкина); приведенные факты намекаютъ на нравственную связь между представителемъ предыдущаго періода и критикомъ новаго поколѣнія. Пушкинъ былъ для Бѣлинскаго господствующее явленіе, высшій пунктъ, которымъ исторически завершилось предшествующее развитіе. Съ точки зрѣнія исскуства, чистой художественности, Бѣлинскій не задумывался ставить Пушкина на такую высоту, гдѣ сравненіе съ Шиллеромъ, даже Гёте, дѣлалось въ выгоду для русскаго поэта; силой свободнаго поэтическаго творчества Пушкинъ, въ глазахъ Бѣлинскаго, уподоблялся Шекспиру... Нѣсколько позднѣе (въ августѣ 1839) Бѣлинскій говоритъ, въ письмѣ къ одному пріятелю:— «У меня теперь три бога искусства, отъ которыхъ я почти каждый день неистовствую и свирѣпствую: Гомеръ, Шекспиръ и Пушкинъ»... Черезъ Пушкина старое литературное развитіе становилось для Бѣ-

[1]) Девятнадцатый вѣкъ, Бартенева, I, 401, 404.

линскаго привлекательнымъ предметомъ изученія; этотъ результатъ, принимаемый съ пламеннымъ восторгомъ, давалъ смыслъ прошедшему.

Въ тогдашней литературѣ, кромѣ Пушкина, Бѣлинскій нашелъ другія явленія, въ которыхъ съ самаго начала увидѣлъ продолженіе этого развитія и новый литературный періодъ. Это были Гоголь, Кольцовъ и впослѣдствіи Лермонтовъ. Гоголь еще до «Ревизора», — какъ авторъ повѣстей, — былъ для Бѣлинскаго главою и начинателемъ новаго литературнаго періода. Эта проницательность и твердая увѣренность, съ какими Бѣлинскій въ самыхъ первыхъ произведеніяхъ Гоголя указывалъ могущественный талантъ, которому предстояло произвести переворотъ въ литературѣ, — и притомъ, когда значеніе произведеній Гоголя было непонятно даже лучшимъ литературнымъ дѣятелямъ недавняго времени, видѣвшимъ, какъ Полевой, въ Гоголѣ не болѣе какъ веселаго, но вульгарнаго шутника [1]), составляютъ одну изъ первыхъ и главныхъ историческихъ заслугъ критики Бѣлинскаго.

Извѣстно, что это увлеченіе Гоголемъ раздѣляемо было вообще всѣмъ кружкомъ Станкевича. Біографъ послѣдняго сообщаетъ нѣкоторыя характеристическія подробности о томъ, съ какимъ наслажденіемъ читались въ этомъ кружкѣ первыя произведенія Гоголя, съ какимъ вѣрнымъ тактомъ понято было здѣсь ихъ великое значеніе для литературы... И если самъ Станкевичъ участвовалъ въ установленіи этого взгляда на Гоголя, то Бѣлинскому во всякомъ случаѣ принадлежитъ наибольшая заслуга въ этой оцѣнкѣ Гоголя, которую онъ умѣлъ сильно выразить и которая для самого писателя стала нравственной поддержкой. «Неизвѣстно, — говоритъ біографъ Станкевича какъ близкій современникъ, — что̀ сталось бы съ Гоголемъ, впечатлительнымъ до крайности, если бы Москва раздѣлила сомнѣнія и холодность петербургской публики, но здѣсь онъ встрѣтилъ участіе, поднявшее, *какъ намъ хорошо извѣстно*, нравственную бодрость его и сообщившее ему увѣренность въ своихъ силахъ. Послѣдняя все болѣе и болѣе росла съ тѣхъ поръ... Нѣтъ сомнѣнія, что Бѣлинскій первый положилъ твердый камень въ основаніи всей послѣдующей извѣстности Гоголя, начавъ первый объяснять смыслъ и значеніе его произведеній. Можно думать, что Бѣлинскій уяснилъ самому Гоголю его призваніе и открылъ ему глаза на самого себя: для этого есть нѣсколько доказательствъ несомнѣннаго историческаго характера»..[2]).

---

[1]) Біогр. Станк., ст. 76 и слѣд.

[2]) Еще одинъ примѣръ непониманія Гоголя представилъ Бѣлинскому Лажечниковъ. Въ письмѣ къ Бѣлинскому отъ 18 іюня 1836, Лажечниковъ хвалитъ написанные имъ тогда разборы Шевырева, «Постоялаго двора», но *думаетъ, что Бѣлинскій польстилъ* «Современнику» и слишкомъ пристра-

Въ воспоминаніяхъ Аксакова записанъ одинъ эпизодъ, живо рисующій ихъ восхищеніе Гоголемъ. «Въ тѣ года,—разсказываетъ онъ,—только-что появлялись творенія Гоголя; дышащія новою, небывалою художественностью, какъ дѣйствовали они тогда на все юношество, и въ особенности на кружокъ Станкевича! Во время нашего студентства вышло *Новоселье*, альманахъ; тамъ была повѣсть Гоголя: «О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Помню я то впечатлѣніе, какое она произвела. Что можетъ равняться радостному сильному чувству художественнаго откровенія? Какъ освѣжало, ободряло оно души всѣхъ! Какъ само постепенное появленіе изданій геніальнаго художника оживляло, двигало общество! Радъ я, что испыталъ и видѣлъ все это... Вскорѣ послѣ выхода Станкевича и моего изъ университета, Станкевичъ досталъ какъ-то въ рукописи *Коляску* Гоголя, вскорѣ потомъ напечатанную въ «Современникѣ». У Станкевича были я и Бѣлинскій; мы приготовились слушать, заранѣе уже полные удовольствія. Станкевичъ прочелъ первыя строки: «Городокъ Б. очень повеселѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ въ немъ стоять кавалерійскій полкъ»... и вдругъ нами овладѣлъ смѣхъ, смѣхъ несказанный; всѣ мы трое смѣялись, и долго смѣхъ не унимался. Мы смѣялись не отъ чего-нибудь забавнаго или смѣшного, но отъ внутренняго веселія и радостнаго чувства, которымъ преисполнились мы, держа въ рукахъ и готовясь читать Гоголя. Наконецъ смѣхъ нашъ прекратился и мы прочли съ величайшимъ удовольствіемъ этотъ маленькій отрывокъ... Станкевичъ читалъ очень хорошо»... [1]).

Гоголь былъ постоянно на устахъ Бѣлинскаго; фразы и отдѣльныя слова изъ Гоголя вошли у друзей, и у Бѣлинскаго осо-

---

стенъ къ Гоголю. Тогда только-что вышелъ «Ревизоръ», и Лажечниковъ, какъ многіе писатели старой школы, совершенно искренно не понималъ восторга отъ новой комедіи, которую считалъ просто каррикатурой, фарсомъ, годнымъ для потѣхи райка, а не художественнымъ творческимъ произведеніемъ. Онъ еще разъ потомъ возвращается къ этому предмету... «Высоко уважаю талантъ автора «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ» и «Бульбы»; но не дамъ гроша за то, чтобы написать «Ревизора»... Признаюсь, я сержусь на васъ: вы пристрастны... Зачѣмъ, взыскивая съ другихъ за все и про все, вы прощаете *все* Гоголю?.. Но пріѣзжайте, пріѣзжайте хоть для того, чтобы поспорить: я выиграю вдвойнѣ,—буду имѣть удовольствіе васъ видѣть у себя и, можетъ быть, убѣждусь, что я принималъ бѣлое за черное».

Недружелюбное отношеніе къ Гоголю, кажется, сохранилось и послѣ. Въ запискѣ 12 апрѣля 1842, Лажечниковъ говоритъ о Гоголѣ: «Въ статьѣ *Римъ*, помѣщенной въ «Москвитянинѣ», узнали-ли вы Гоголя? По первымъ двумъ страницамъ думалъ я, что это—посмертное произведеніе Марлинскаго». Впрочемъ, «Римъ» и Бѣлинскому не нравился.

[1]) «День», 1862, № 40.

бенно, въ привычное употребленіе... Съ какимъ восторгомъ говорилъ Бѣлинскій о Гоголѣ еще въ 1835, въ первомъ разборѣ его «Повѣстей», это извѣстно.

Въ это время Бѣлинскій еще не зналъ Гоголя лично; они встрѣчались только позднѣе, — и то довольно случайно, а наконецъ и непріязненно, какъ упомянемъ въ своемъ мѣстѣ.

Положеніе, занятое Бѣлинскимъ въ тогдашней литературѣ — было съ самаго начала совершенно независимое, и по внутреннему достоинству своихъ основаній новый взглядъ могъ справедливо сознавать свое превосходство надъ тѣмъ, что еще недавно было передовымъ и авторитетнымъ. Бѣлинскій уже скоро освободился отъ вліяній, направившихъ вначалѣ его понятія, но и послѣ сохранилъ уваженіе къ людямъ, которыхъ считалъ и которые дѣйствительно были его предшественниками въ русской критикѣ. Такъ онъ относился прежде всего къ Полевому и Надеждину, далѣе къ людямъ, которые стремились внести въ русскую образованность интересы философскіе: онъ всегда съ уваженіемъ называлъ имена извѣстнаго профессора Павлова (М. Г.), Веневитинова, кн. Одоевскаго. Когда однажды, въ пору наибольшаго увлеченія его гегеліянствомъ. «Сѣверная Пчела» нападала и издѣвалась надъ философской терминологіей «Московскаго Наблюдателя» и вспомнила о «Мнемозинѣ», которая начала эту моду, — Бѣлинскій отвѣтилъ между прочимъ, что упоминаніе о «Мнемозинѣ» (издававшейся въ 1824 кн. Одоевскимъ и Кюхельбекеромъ) считаетъ для себя комплиментомъ [1]). За Полевымъ онъ никогда, даже въ пору жесточайшей вражды къ нему, не забывалъ великихъ услугъ, оказанныхъ имъ литературѣ. Къ кн. Одоевскому онъ всегда былъ расположенъ и сохранялъ сочувственное воспоминаніе о томъ, что сочиненія Одоевскаго были и для него полезной школой и возбужденіемъ.

Въ біографіи Станкевича читатель найдетъ подробности о лицахъ, принадлежавшихъ къ его кружку. Мы остановимся въ особенности на тѣхъ, съ которыми Бѣлинскій былъ наиболѣе близокъ.

Первоначально, кружокъ состоялъ изъ курсовыхъ товарищей Станкевича, но уже вскорѣ стали примыкать къ нему новыя лица, между прочимъ не принадлежавшія университету и привлеченныя общностью интересовъ. Такъ, товарищемъ Станкевича былъ извѣстный поэтъ Красовъ, идеалистъ и мечтатель; С. Строевъ, вскорѣ переѣхавшій въ Петербургъ и отдалившійся отъ кружка; другой

[1]) [illegible]

поэтъ, И. П. Клюшниковъ, стихотворенія котораго являлись потомъ подъ буквой —ѳ—; А. П. Ефремовъ; Константинъ Аксаковъ, шедшій въ университетѣ годомъ позже Станкевича, и др. Впослѣдствіи, къ кружку присоединились новыя лица, второго слоя, но на которыхъ распространилась традиція прежняго кружка — съ тѣми же философско-поэтическими интересами и дружескими отношеніями; такъ примкнули сюда М. А. Бакунинъ; В. П. Боткинъ; Н. Х. Кетчеръ; П. Н. Кудрявцевъ, извѣстный потомъ профессоръ и писатель; Катковъ; Грановскій. Были, наконецъ, и другія лица. Не всѣ, конечно, вносили въ бесѣды кружка ровную дань содержанія; были люди, попавшіе въ кружокъ по случайному товариществу; были другіе, связанные съ кружкомъ общими сочувствіями, но стоявшіе болѣе или менѣе отдѣльно и независимо; но вообще кружокъ былъ тѣсно сплоченъ. Въ первое время, говоря объ отношеніяхъ Бѣлинскаго съ кружкомъ, надо имѣть въ виду почти одного Станкевича. Только послѣ, особенно по отъѣздѣ Станкевича за границу (1837), Бѣлинскій сошелся ближе съ другими лицами, съ которыми потомъ на многіе годы, съ иными на всю жизнь, былъ связанъ тѣснѣйшей дружбой, которые занимали самое существенное мѣсто въ его внутреннемъ развитіи и даже во внѣшней судьбѣ. Въ такомъ видѣ кружокъ существовалъ до 1839 — 40 г.: въ это время онъ вновь расширился, но и сильно измѣнился, когда выяснились отношенія съ враждебнымъ нѣкогда кругомъ Герцена, и когда эти два кружка слились въ одинъ.

До сихъ поръ не было съ точностію указано, когда Бѣлинскій въ первый разъ сблизился съ Станкевичемъ и какъ опредѣлились ихъ отношенія. По университету они были почти современники: Станкевичъ поступилъ въ университетъ въ 1830 и окончилъ курсъ въ 1834. По указанію, сообщенному намъ А. В. Станкевичемъ, Бѣлинскій сблизился съ Станкевичемъ въ 1832; но первое знакомство было вѣроятно сдѣлано въ 1831: по разсказу Прозорова, съ прекращеніемъ «литературныхъ вечеровъ» у казенныхъ студентовъ начались товарищескія собранія у Станкевича; знакомство Бѣлинскаго съ Кольцовымъ относится къ 1831 году, и могло произойти только черезъ Станкевича. Въ изданной перепискѣ Станкевича имя Бѣлинскаго встрѣчается въ первый разъ въ началѣ 1834, но уже какъ близкаго пріятеля [1]); изъ писемъ къ Бѣлинскому въ изданіи

[1]) Анненковъ, біогр. Станкевича. стр. 90. Другія упоминанія о Бѣлинскомъ въ перепискѣ, стр. 93, 128, 159, 189, 241.

Прибавимъ къ этому еще подробности изъ писемъ Станкевича, которыя были въ нашемъ матеріалѣ, но не вошли въ изданіе Анненкова. Въ письмѣ 1834, 8 іюля, къ Красову изъ Петербурга Станкевичъ посылаетъ

Анненкова помѣщено только два [1]). Къ сожалѣнію, переписка самого Бѣлинскаго, именно за первые годы его жизни въ этомъ кружкѣ, почти вся затеряна; но изъ приведенныхъ указаній видно, что уже къ 1834 году между Станкевичемъ и Бѣлинскимъ установились отношенія, какія бываютъ именно въ молодыхъ кружкахъ: полная личная искренность увеличивалась единствомъ идеалистическаго настроенія; друзья провѣряли и свои личныя чувства и философскіе принципы и сообща вырабатывали свои воззрѣнія.

Характеры были далеко не сходны; порывистыя увлеченія Бѣлинскаго не всегда согласовались съ болѣе спокойными взглядами Станкевича, который нерѣдко давалъ волю своему добродушному юмору противъ его крайностей. Бѣлинскій получилъ въ кружкѣ наименованіе неистоваго Виссаріона, Orlando или Bessarione furioso. Иногда Станкевичъ и серьёзно расходился съ нимъ, напр. не одобрялъ его суровыхъ критическихъ отзывовъ и т. п.; иногда проглядываетъ въ немъ и чувство собственнаго превосходства. Тѣмъ не менѣе, ихъ отношенія были серьёзно дружескія, и Бѣлинскій навсегда сохранилъ къ Станкевичу самое теплое, нѣжное чувство, и когда ему случалось говорить о людяхъ, сближеніе съ которыми имѣло вліяніе на его развитіе и которымъ онъ чувствовалъ себя обязаннымъ, имя Станкевича всегда стояло неизмѣнно первымъ. Бѣлинскій былъ высокаго мнѣнія о личности и умѣ Станкевича, и послѣдній подшучивалъ надъ выраженіемъ Бѣлинскаго, который на ихъ тогдашнемъ философскомъ жаргонѣ называлъ его «огромной субстанціей». Въ письмѣ къ В. П. Боткину (въ сент. 1840), Бѣлинскій, упоминая объ одномъ ихъ пріятелѣ, въ понятіяхъ котораго были нѣкоторыя странности, извиняетъ его такими словами: «Конечно, онъ страненъ и у него много дикихъ убѣжденій; но подумай-ка о томъ, *что былъ каждый изъ насъ до встрѣчи съ Станкевичемъ*, или съ людьми, возрожденными его духомъ». Въ позднѣйшихъ письмахъ Бѣлинскаго мы не разъ еще встрѣтимся съ подобными отзывами о Станкевичѣ и его «геніальной» личности [2]).

Бѣлинскому поклонъ: «читай ему и письмо мое—я передъ вами нагъ». Въ другомъ письмѣ того же года, отъ 21 августа изъ деревни, онъ повторяетъ тоже заявленіе полнаго дружескаго довѣрія: «не читай писемъ моихъ всякому встрѣчному, или читай пропуская что нужно; Бѣлинскому, Ефремову я открытъ, но Клюшникову — хотя онъ добръ, честенъ и уменъ, я не хотѣлъ бы обнаружить все, что у меня на сердцѣ»... Затѣмъ, шутливыя воспоминанія о Бѣлинскомъ въ письмѣ 16 окт. 1834.

[1]) Отъ 30 окт. 1834, и отъ 30 мая 1836 (стр. 106—107, 174—176). Въ нашемъ матеріалѣ было еще шесть писемъ къ Бѣлинскому, начиная съ 1835 г.

[2]) Любопытно, что самый «Москвитянинъ» отзывался съ великими похвалами о Станкевичѣ. Погодинъ, вспоминая разныхъ своихъ учениковъ,

Послѣ Станкевича, самая важная роль, по связи съ развитіемъ мнѣній Бѣлинскаго, принадлежитъ двумъ лицамъ, которыя вошли въ кружокъ около 1835 года, и отношенія которыхъ къ Бѣлинскому развились въ особенности по отъѣздѣ Станкевича за-границу. Одинъ изъ нихъ былъ Бакунинъ, тотъ «дилеттантъ философіи», о которомъ разсказываетъ біографъ Станкевича; другой — В. П. Боткинъ.

Бакунинъ познакомился съ Станкевичемъ въ 1835 году. Бакунинъ былъ тогда молодой офицеръ, ровесникъ Станкевича по лѣтамъ, только-что вышедшій въ отставку. Станкевичъ былъ, кажется, еще ранѣе знакомъ съ его семействомъ, и послѣ первой встрѣчи близко сошелся съ Бакунинымъ, когда увидѣлъ въ немъ человѣка, способнаго принять самое дѣятельное участіе въ философскихъ задачахъ, которыми онъ занятъ былъ съ своими друзьями, и стать ему равнымъ товарищемъ. До пріѣзда въ Москву, Бакунинъ не былъ знакомъ съ нѣмецкой философіей, но по интересу къ отвлеченному знанію и отъ скуки читалъ французскихъ сенсуалистовъ. Станкевичъ указалъ ему, вмѣсто Кондильяка, на Гегеля. «Молодой офицеръ оказался человѣкомъ необычайнаго логическаго ума, — говоритъ біографъ Станкевича, — ума, отличавшагося строгою, сжатою діалектикою, и съ врожденными способностями къ философскимъ занятіямъ, способностями, которыя помогали ему легко открывать живой смыслъ въ самыхъ сухихъ отвлеченностяхъ» [1]. Съ этихъ поръ философскія занятія кружка стали еще болѣе ревностны. Новый адептъ философіи скоро пріобрѣлъ въ кружкѣ извѣстный авторитетъ. Станкевичъ въ первое время съ нимъ очень сблизился, между прочимъ и по отношеніямъ къ его семейству. Впослѣдствіи, они разошлись, — по разнымъ личнымъ причинамъ, которыя намъ не вполнѣ ясны, — но въ это время Станкевичъ цѣнилъ и личный характеръ Бакунина [2]. По отъѣздѣ Станкевича за-границу, Бакунинъ сохранилъ свое мѣсто въ кругу его друзей, и одно время имѣлъ въ немъ большое значеніе, какъ спеціальный толкователь отвлеченной гегеліянской мудрости.

Бѣлинскій познакомился съ Бакунинымъ, кажется, только въ 1836 году. Особенно они сошлись, когда Бѣлинскій лѣтомъ этого

говорилъ: — «Станкевичъ, надежда науки, надежда отечества, предался философіи, и въ два года, пріуготовленный, пріобрѣлъ такія познанія, что знаменитые берлинскіе профессора поклонялись его свѣтлой и ясной головѣ, его блистательнымъ способностямъ. Злая чахотка низвела его въ могилу»... «Москвитянинъ», 1841, кн. 6, стр. 490.

[1]) Біогр. Станк., стр. 42, 101.

[2]) Упоминанія о немъ въ перепискѣ Станкевича — стр. 140, 149, 150, 152, 164, 165, 168, 171.

года прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ деревнѣ Бакуниныхъ. Это сближеніе въ различныхъ отношеніяхъ имѣетъ свою важность въ біографіи Бѣлинскаго; мы касаемся его настолько, насколько оно можетъ стать предметомъ общаго интереса, и быть доступнымъ для историческаго изложенія.

Семейство Бакуниныхъ принадлежало къ числу рѣдкихъ въ тѣ времена семействъ, гдѣ жизнь не была похожа на обычные нравы помѣщичьяго быта, и гдѣ, напротивъ, были знакомы и цѣнимы умственные и эстетическіе интересы. Въ этихъ семействахъ находило себѣ привѣтливую встрѣчу то возникавшее поколѣніе, изъ котораго вышло вскорѣ не мало замѣчательныхъ дѣятелей нашего общественнаго просвѣщенія. Гостепріимство, какое встрѣчали здѣсь эти люди, не было тѣмъ, еще не исчезнувшимъ, хлѣбосольствомъ—отъ нечего дѣлать, гдѣ цѣлью было одно развлеченіе, но имѣло болѣе серьезную и привлекательную подкладку въ симпатіи, въ пониманіи и участіи къ идеальнымъ стремленіямъ новаго поколѣнія. Здѣсь, въ этихъ немногихъ кругáхъ, новому зарождавшемуся движенію общественной мысли оказывалось то сочувствіе, какого оно заслуживало и въ какомъ нуждалось, какъ въ поддержкѣ и ободреніи: среди господствующей рутины, слишкомъ чуждой всякимъ новымъ запросамъ, оно не оставалось одинокимъ, и это одно было уже большимъ пріобрѣтеніемъ для него... Къ такимъ кругамъ принадлежало и семейство Бакуниныхъ.

Мы приводимъ въ примѣчаніи разсказъ Лажечникова,—посторонняго человѣка, видѣвшаго этотъ кругъ въ то самое время, о которомъ мы говоримъ [1]): эти субъективныя впечатлѣнія могутъ дать понятіе о томъ, какъ дѣйствовалъ этотъ кругъ на молодыхъ друзей.

---

[1]) «Въ одномъ изъ уѣздовъ Тверской губерніи есть уголокъ (Пушкинъ нѣкоторое время жилъ близъ этихъ мѣстъ, у помѣщика Вульфа), на которомъ природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсивъ его всѣми лучшими дарами своими, какіе могла только собрать въ странѣ семи-мѣсячныхъ снѣговъ. Кажется, на этой живописной мѣстности рѣка течетъ игривѣе, цвѣты и деревья растутъ роскошнѣе, и болѣе тепла, чѣмъ въ другихъ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Да и семейство, жившее въ этомъ уголкѣ, какъ-то особенно награждено душевными дарами. За то, какъ было тепло въ немъ сердцу, какъ умъ и талантъ въ немъ разыгрывались, какъ было въ немъ привольно всему доброму и благородному! Художникъ, музыкантъ, писатель, учитель, студентъ или просто добрый и честный человѣкъ, были въ немъ обласканы равно, несмотря на состояніе и рожденіе. Казалось мнѣ, бѣдности-то и отдавали въ немъ первое мѣсто. Посѣтители его, всегда многочисленные, считали себя въ немъ не гостями, а принадлежащими къ семейству. Душою дома былъ глава его, патріархъ округа. Какъ хорошъ былъ этотъ величавый, слишкомъ семидесятилѣтній старецъ, съ непокидаю-

Станкевичъ (и его пріятель Ефремовъ) раньше другихъ членовъ кружка знали это семейство [1]). Затѣмъ мы видимъ тамъ Бѣлинскаго, Боткина, Кольцова и другихъ лицъ, связанныхъ съ кружкомъ Станкевича. Бакунинъ былъ старшимъ сыномъ этого семейства, довольно многочисленнаго, и дружескія отношенія съ нимъ главнымъ образомъ вводили въ этотъ кругъ друзей Станкевича. Съ тѣхъ поръ, какъ Станкевичъ и Бакунинъ приступили, отчасти сообща, къ изученію нѣмецкой философіи въ самыхъ ея источникахъ, это стало отражаться и на Бѣлинскомъ. Онъ не владѣлъ нѣмецкимъ языкомъ, хотя не разъ дѣлалъ усилія, чтобы научиться ему, — какъ русскій человѣкъ, Бѣлинскій и не любилъ нѣмецкаго языка,—и потому Станкевичъ и Бакунинъ по необходимости стали его руководителями въ этой области, т.-е. передавали ему вычитанное и узнанное. Бакунинъ, находившій удовольствіе витать въ

щею его улыбкой, съ бѣлыми, падающими на плечи волосами, съ голубыми глазами, ничего не видящими, какъ у Гомера, но съ душою, глубоко зрящею, среди молодыхъ людей, въ кругу которыхъ онъ особенно любилъ находиться и которыхъ не тревожилъ своимъ присутствіемъ. Ни одна свободная рѣчь не останавливалась отъ его прихода. Въ немъ забывали лѣта, свыкнувшись только съ его добротой и умомъ.

«Онъ учился въ одномъ изъ знаменитыхъ въ свое время итальянскихъ университетовъ; служилъ не долго, не гонялся за почестями, доступными ему по рожденію и связямъ его, дослужился до неважнаго чина, и съ молодыхъ лѣтъ поселился въ своей деревнѣ, подъ сѣнь посаженныхъ его собственною рукою кедровъ. Только два раза вырывали его изъ сельскаго убѣжища обязанности по званію губернскаго предводителя дворянства и почетнаго попечителя гимназіи. Онъ любилъ все прекрасное, природу, особенно цвѣты, литературу, музыку, и лепетъ младенца въ колыбели, и пожатіе нѣжной руки женщины, и краснорѣчивую тишину могилы. Что любилъ онъ, то любила его жена, умная и пріятная женщина, любили дѣти, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнѣе.

«Откуда, съ какихъ концовъ Россіи, не стекались къ нему посѣтители! Сюда, вмѣстѣ съ Станкевичемъ, Боткинымъ и многими другими даровитыми молодыми людьми (имена ихъ смѣшались въ моей памяти), не могъ не попасть и Бѣлинскій»...

О патріархѣ этого семейства упоминается, между прочимъ, въ «Перепискѣ» Востокова, недавно изданной (Спб. 1874, стр. VI). Ср. воспоминанія гр. Сологуба, въ «Р. Архивѣ», 1872. Въ письмахъ Лажечникова къ Бѣлинскому есть упоминанія объ отношеніяхъ перваго къ этому семейству. Лажечниковъ звалъ Бѣлинскаго въ 1836 г. въ свою тверскую деревню Коноплино на берегу Волги. Лѣто этого года Бѣлинскій провелъ въ деревнѣ Бакуниныхъ, въ его сосѣдствѣ; этотъ деревенскій кружокъ бывалъ и у Лажечникова, который зналъ и очень цѣнилъ Бакунина, философскаго друга Бѣлинскаго.

[1]) Оно упоминается въ перепискѣ, изданной Анненковымъ, на стр. 126 127, 129, (132?), 137, 146, 147, 149, 263, 315, 351.

отвлеченностяхъ нѣмецкой философіи, вскорѣ получилъ для Бѣлинскаго почти такое же значеніе, какое до тѣхъ поръ имѣлъ Станкевичъ, а по отъѣздѣ послѣдняго за-границу Бѣлинскій сблизился съ нимъ еще болѣе — хотя между ними никогда не могли установиться настоящія дружескія отношенія. Въ 1836, Бѣлинскій провелъ нѣсколько мѣсяцевъ лѣтомъ и осенью въ деревнѣ Бакуниныхъ, въ тверской губерніи, и это время (подробности котораго, къ сожалѣнію, мало намъ извѣстны) было, повидимому, періодомъ сильнаго броженія въ умѣ и понятіяхъ Бѣлинскаго. Нѣсколько указаній объ этомъ найдется только въ болѣе позднихъ письмахъ Бѣлинскаго.

Другую важную сторону новыхъ отношеній Бѣлинскаго составляло то, что въ нихъ явилось съ извѣстнымъ авторитетомъ женское общество. И въ этомъ деревенскомъ молодомъ кругу установился особый тонъ мысли, идеализмъ, стремленіе возвысить до принципа личную нравственную жизнь; здѣсь также, насколько было возможно, желали раздѣлять интересы, наполнявшіе кружокъ Станкевича, но естественно было, что къ отвлеченнымъ симпатіямъ не замедлило присоединиться и болѣе теплое чувство, которое согрѣвало отвлеченную идеалистику ожиданіемъ «полной жизни сердца». По тогдашнему обычаю кружка, самое чувство получало теоретическую подкладку и иногда почти придумывалось по теоретическимъ соображеніямъ, и эти отношенія вообще кончились только ожиданіемъ, которое никогда не осуществилось; но они успѣли оказать свое особое вліяніе,—которое было тѣмъ сильнѣе, что этому очарованію женскаго участія подпадали, въ разное время и въ различной степени, не только Станкевичъ, но и Бѣлинскій и позднѣе Боткинъ. Станкевичъ, при первомъ знакомствѣ Бѣлинскаго съ семействомъ, угадывалъ вліяніе, которое оно должно было оказывать на его моральное состояніе [1]): въ самомъ дѣлѣ, его идеалистическія наклонности развились изъ этого источника еще сильнѣе.

[1]) «Бѣлинскій отдыхаетъ у Бакуниныхъ отъ своей скучной, одинокой жизни —пишетъ онъ къ своему другу въ концѣ сентября 1836 г.—Я увѣренъ, что эта поѣздка будетъ имѣть на него благодѣтельное вліяніе. Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ ея благороднѣйшемъ смыслѣ; узнать нравственное счастіе, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ,—гармоніи, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣритъ. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни! Глубоко понималъ Шиллеръ все лучшее въ Божьемъ твореніи. Мужчина грубъ въ своей добродѣтели, всѣ благородные порывы души его носятъ какую-то печать цинизма, какую-то жестокость: въ немъ больше стоицизма, нежели христіанства, нежели человѣчества. Только вліяніемъ женщины,

Для Бѣлинскаго отношенія къ этому семейству надолго, даже навсегда остались пріятнымъ воспоминаніемъ. Было бы трудно разсказать теперь подробности этихъ отношеній; они не всегда были ровны; чувство его къ нѣкоторымъ лицамъ семейства принимало весьма различныя комбинаціи, иногда очень сложныя: отношенія съ Бакунинымъ были въ особенности неровныя, то дружныя, то полемическія, даже совершенно враждебныя, и кончились разрывомъ, послѣ котораго остался лишь теоретическій интересъ;—но женскія лица семейства надолго остались для него предметомъ идеальнаго поклоненія, и впослѣдствіи — самаго дружескаго расположенія и вниманія. Женственный элементъ этихъ отношеній производилъ на него настоящее обаяніе: въ періодъ времени, о которомъ мы говоримъ, оно по всей вѣроятности содѣйствовало тому примирительному направленію, какое по другимъ основаніямъ начинало съ 1836 года складываться у Бѣлинскаго; въ личной его біографіи эти отношенія имѣли то особенное значеніе, что это было первое образованное женское общество, съ которымъ онъ сблизился и въ которомъ встрѣтилъ возможность раздѣлить свои мысли и свои идеалы. Если и прежде, когда онъ жилъ дома, за исключеніемъ одной Катерины Петровны И.,. онъ былъ лишенъ «женскаго призора» и общества, которое было бы наравнѣ съ его понятіями, то въ Москвѣ онъ былъ совершенно одинокъ въ этомъ отношеніи: жизнь была ему знакома въ своихъ элементарныхъ формахъ, но онъ не зналъ женскаго общества, гдѣ могъ бы явиться со всѣмъ своимъ идеальнымъ содержаніемъ и найти для него сочувствіе. Оттого, безъ сомнѣнія, и была такъ сильна его привязанность къ этому семейству.

В. П. Боткинъ (р. въ 1810, ум. 10 октября 1869) происходилъ изъ богатаго купеческаго семейства въ Москвѣ [1]). Его моло-

вліяніемъ семейныхъ отношеній — это благородное, сильное, но все немного деспотическое чувство долга обращается въ отрадное чувство любви, сознаніе добра — въ непосредственное его ощущеніе. Семейство Бакуниныхъ — идеалъ семейства. Можешь себѣ представить, какъ оно должно дѣйствовать на душу, которая не чужда искры Божіей! Намъ надобно туда ѣздить исправляться»... Далѣе, Станкевичъ прибавляетъ нѣсколько словъ и о себѣ, показывающихъ, что онъ понималъ довольно хорошо и свою природу: «но я, — говоритъ онъ тотчасъ послѣ приведенныхъ словъ,—я боюсь испортиться... Во мнѣ другой недостатокъ, противоположный недостатку Бѣлинскаго: я слишкомъ вѣрю въ семейное счастіе, а иногда съ сердечною болью думаю, что это одно возможное... Мнѣ надобно больше твердости, больше жестокости» (Переписка Станк., стр. 189—190).

[1]) До сихъ поръ нѣтъ біографіи Боткина; два некролога («Спб. Вѣд.», 1869, № 282 и «Моск. Вѣд.» 1869, № 227) сообщаютъ только очень немногія свѣдѣнія. преимущественно о послѣднихъ годахъ его жизни.

дость проходила въ такое время, когда въ сословіи, которому онъ принадлежалъ, очень мало думали о какомъ-нибудь правильномъ образованіи, и дѣловая или торговая практика считалась для молодого человѣка лучшей школой и лучшимъ знакомствомъ съ жизнью. Боткинъ учился въ одномъ пансіонѣ (Кряжева), который сообщилъ ему свѣдѣній настолько, насколько ихъ давала обычная пансіонская программа тѣхъ временъ, но по крайней мѣрѣ Боткинъ узналъ хорошо новѣйшіе языки, что̀ дало ему возможность обратиться къ иностранной литературѣ, которая стала предметомъ его ревностной любознательности. Ученье въ пансіонѣ кончилось тѣмъ, что отецъ посадилъ его приказчикомъ въ чайный «амбаръ», гдѣ онъ долженъ былъ проводить цѣлые дни. У него оставались только вечера и свободные промежутки въ лавкѣ: это время Боткинъ употреблялъ для своихъ занятій; зимой, въ шубѣ (потому что «амбаръ» не топился), онъ каждую свободную минуту отдавалъ любимымъ занятіямъ; окно его помѣщенія завалено было книгами — здѣсь были Шекспиръ, Шиллеръ, послѣднія новости французской, нѣмецкой, англійской литературы. Такимъ образомъ, онъ прежде всего самому себѣ обязанъ былъ своимъ образованіемъ, которое было по тому времени и особенно при его условіяхъ замѣчательно: впослѣдствіи онъ сблизился съ кружкомъ Станкевича, гдѣ онъ занялъ свое особое мѣсто, какъ человѣкъ съ самостоятельно пріобрѣтенными свѣдѣніями и серьезнымъ эстетическимъ пониманіемъ. Въ 1835 году Боткинъ отправился за границу, былъ въ Италіи, въ Парижѣ, гдѣ посѣтилъ Виктора Гюго въ качествѣ его поклонника, интересовался общественной жизнью, нравами, литературой. Объ этомъ первомъ времени его, во всякомъ случаѣ весьма самостоятельнаго развитія, до сихъ поръ извѣстно очень немного. Въ одномъ письмѣ сороковыхъ годовъ, вспоминая объ этомъ первомъ путешествіи своемъ въ Италію, Боткинъ замѣчаетъ, что онъ былъ тогда подъ вліяніемъ сенъ-симонизма. Въ Италіи, по словамъ его, онъ въ первый разъ почувствовалъ искусство, которое, въ разныхъ своихъ видахъ, стало потомъ такимъ господствующимъ его интересомъ.

Когда Боткинъ свелъ знакомство съ кружкомъ, мы съ точностью не знаемъ, но, по словамъ самого Бѣлинскаго, онъ первый завязалъ съ Боткинымъ дружбу и ввелъ его въ кругъ Станкевича. Бѣлинскій встрѣтился съ нимъ у Н. С. Селивановскаго, сына извѣстнаго типографа. Селивановскій, человѣкъ университетскаго образованія и съ достаточными средствами, имѣлъ литературные вкусы и любилъ собирать у себя представителей московской литературы: вѣроятно, здѣсь Бѣлинскій въ самомъ началѣ своей дѣятельности встрѣтился и съ Полевымъ. По разсказу М. П. Боткина, Бѣлинскій

съ перваго раза сошелся съ Боткинымъ; черезъ нѣсколько дней они были уже на «ты», какъ вообще былъ Бѣлинскій со всѣми своими друзьями того времени.

Эта тѣсная дружба продолжалась до конца жизни Бѣлинскаго, —съ однимъ перерывомъ ссоры, о которой мы упомянемъ дальше и которая, впрочемъ, не оставила потомъ никакого слѣда въ ихъ отношеніяхъ. Черезъ много лѣтъ по смерти Бѣлинскаго, когда напечатаніе одного письма его напомнило Боткину, уже очень больному, давнопрошедшія времена, онъ, говорятъ, съ чрезвычайнымъ оживленіемъ вспоминалъ о своемъ другѣ, съ которымъ нѣкогда связывала его очень искренняя и внимательно-деликатная привязанность. Кто зналъ Боткина въ послѣдніе годы, когда онъ уже отклонился отъ интересовъ литературы, когда лѣта взяли надъ нимъ свое, и, наконецъ, неудавшаяся жизнь и болѣзнь отразились на его характерѣ, тотъ не составитъ себѣ вѣрнаго понятія о томъ, чѣмъ онъ былъ въ молодости. Мы знаемъ положительно отъ современниковъ, и читатель убѣдится въ этомъ изъ писемъ Бѣлинскаго, которыя будутъ приведены въ своемъ мѣстѣ, что личность Боткина не одному Бѣлинскому представлялась чрезвычайно симпатичной: съ самимъ Станкевичемъ онъ успѣлъ сойтись очень близко [1]). Человѣкъ съ такими свѣдѣніями, съ такимъ чувствомъ поэтическаго, и пониманіемъ серьезнаго содержанія, съ такимъ теплымъ отношеніемъ ко всему, въ чемъ видѣлъ служеніе высшимъ цѣлямъ развитія, былъ бы замѣчательнымъ явленіемъ и въ иныхъ условіяхъ, но въ тогдашнее время и въ тогдашнемъ положеніи самого Боткина, это было явленіе рѣдкое и по-истинѣ привлекательное. Никогда не дѣлалъ онъ такъ много добра, какъ именно въ то время, когда самъ имѣлъ въ распоряженіи очень немного; онъ всегда готовъ былъ помочь чужому труду своими свѣдѣніями, оказать матеріальную помощь. Бѣлинскаго онъ много разъ спасалъ отъ нужды, а въ то время особенно. По отъѣздѣ Станкевича, Бакунинъ и Боткинъ стали ближайшими друзьями Бѣлинскаго: они видѣлись безпрестанно, жили тѣснымъ пріятельскимъ кружкомъ, центромъ которому служила теперь квартира Боткина. Бѣлинскій, можно сказать, нѣжно былъ привязанъ къ Боткину: его привлекала мягкость его манеры, любовь къ искусству, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его умѣнье обращаться съ вещами практической жизни—чего былъ совершенно лишенъ Бѣлинскій и отсутствіе чего онъ считалъ однимъ изъ сво-

---

[1]) Въ одномъ письмѣ изъ-за границы къ Боткину, онъ между прочимъ говоритъ: ...«Ты вѣрно давно знаешь, что я тебя люблю и что ты принадлежишь къ немногимъ людямъ внѣ моего семейства, дѣлающимъ мнѣ возвращеніе въ Россію пріятнымъ» и проч.

ихъ бѣдственныхъ недостатковъ. Въ 1837 г., болѣе тѣснымъ образомъ сблизились эти двое друзей Бѣлинскаго, и послѣдній (въ письмѣ 16 августа) высказываетъ Бакунину свою радость этому обстоятельству и свое чувство къ Боткину:

«Очень радъ, что ты болѣе и болѣе сходишься въ Вас. Петр. Призчаюсь въ грѣхѣ: меня радуетъ мысль, что я первый понялъ этого человѣка и понялъ такъ, что дальнѣйшее съ нимъ знакомство ничего не прибавило къ моему о немъ мнѣнію... Его безконечная доброта, его тихое упоеніе, съ какимъ онъ въ разговорѣ называетъ того, къ кому обращается, его ясное, гармоническое расположеніе души во всякое время, его всегдашняя готовность къ воспринятію впечатлѣній искусства, его совершенное самозабвеніе, отрѣшеніе его отъ своего *я*—даже не производятъ во мнѣ досады на самого себя: я забываюсь, смотря на него. Онъ шелъ по ложному пути; встрѣтилъ людей, которые лучше его понимали истину, и тотчасъ призналъ свои ошибки, не почитая себя нисколько черезъ это униженнымъ. Меня особенно восхищаетъ въ немъ то, что у него внѣшняя жизнь не противорѣчитъ внутренней, что онъ столько же честный, сколько и благородный человѣкъ... По дѣламъ торговли, онъ смотритъ на свои отношенія къ отцу, какъ на отношенія приказчика въ лавкѣ къ своему хозяину. Да, это единственный способъ быть независимымъ отъ внѣшней жизни и людей,— быть вполнѣ свободнымъ. Гармонія внѣшней жизни, и человѣка съ его внутреннею жизнію есть идеалъ жизни, и только въ Васильѣ нашелъ я осуществленіе этого идеала. Онъ умѣетъ отказать себѣ во всемъ, исполненіе чего вовлекло бы его въ обязательство и зависимость отъ людей; онъ не займетъ денегъ для своихъ издержекъ, даже похвальныхъ—и входитъ въ долги для того, чтобы помочь негодяю, своему пріятелю».

Въ послѣднихъ словахъ Бѣлинскій хотѣлъ осудить свою собственную непрактичность.

Перечисляя ближайшихъ друзей Бѣлинскаго, надо назвать Кольцова. Онъ только изрѣдка бывалъ въ Москвѣ и потомъ въ Петербургѣ, и видался съ Бѣлинскимъ, но несмотря на то, былъ одной изъ самыхъ теплыхъ и до конца неизмѣнныхъ привязанностей Бѣлинскаго. Послѣ перваго знакомства, еще въ 1831 году, когда Станкевичъ обратилъ на Кольцова вниманіе и напечаталъ первыя его стихотворенія, Бѣлинскій въ особенности сошелся съ Кольцовымъ въ 1836, когда Кольцовъ, отправляясь по торговымъ дѣламъ своего отца въ Петербургъ, прожилъ нѣсколько времени въ Москвѣ. Передъ тѣмъ, въ 1835, Станкевичъ и Бѣлинскій издали первую книжку стихотвореній Кольцова, и Бѣлинскій окончательно призналъ въ немъ рѣдкій, новый, могущественный талантъ: этого было довольно, чтобы съ тѣхъ поръ Бѣлинскій привязался къ Кольцову и лелѣялъ въ немъ надежду литературы. Извѣстны обстановка

и степень образованія Кольцова [1]). Бѣлинскій съумѣлъ понять, какой великій былъ трудъ — сохранить въ этой обстановкѣ искру поэтическаго огня; никогда онъ не имѣлъ ни малѣйшаго покушенія смотрѣть свысока и относиться съ тономъ покровительства къ малообразованному «прасолу» — словомъ, отнесся къ Кольцову съ теплымъ сочувствіемъ, цѣнилъ въ немъ не только любопытное литературное явленіе, но и человѣка. При личныхъ встрѣчахъ, въ 1836, потомъ въ 1838 году, Кольцовъ вошелъ въ кружокъ друзей, которые, и Бѣлинскій больше всѣхъ, старались освѣтить вполнѣ непосредственное дарованіе Кольцова тѣми идеями объ искусствѣ и жизни, которыми были сами проникнуты. Понятія, выраженныя въ отвлеченныхъ «думахъ» Кольцова, всего больше были заимствованы изъ этого источника... Естественно, что внимательное и заботливое сочувствіе Бѣлинскаго нашло въ Кольцовѣ столь же теплый отзывъ: исполненный уваженіемъ къ его характеру и дѣятельности, Кольцовъ привязался къ нему болѣе, чѣмъ къ кому-либо изъ этого дружескаго круга, который вообще онъ очень полюбилъ; онъ возымѣлъ къ Бѣлинскому безграничное довѣріе, которое повсюду обнаруживается въ неизданныхъ до сихъ поръ письмахъ его къ Бѣлинскому (1836—1842 г.). Кольцовъ раскрывалъ передъ нимъ всю свою душу; разсказывалъ подробности своего тяжелаго и прозаическаго существованія дома, повѣрялъ ему свои самыя задушевныя мечты и страстные порывы, радости и страданія, и наконецъ дѣлалъ Бѣлинскаго повѣреннымъ и полнымъ, исключительнымъ судьей своихъ поэтическихъ работъ. Въ его письмахъ не разъ повторяются выраженія этой безграничной вѣры въ Бѣлинскаго, который, безъ всякаго сомнѣнія, много помогъ Кольцову сознать его настоящую поэтическую дорогу.

Переписка Кольцова, которою мы имѣли случай пользоваться, начинается съ 1836 года, когда онъ, какъ сказано, отправлялся въ Петербургъ. Въ первыхъ короткихъ письмахъ Кольцова уже высказывается сильная привязанность къ Бѣлинскому: «...Вы меня приняли въ Москвѣ довольно ласково, и мнѣ изъ-за васъ Москва показалась гораздо теплѣе, нежели была прежде»... Въ Петербургѣ Кольцовъ пріобрѣлъ знакомства въ литературномъ мірѣ, гдѣ заинтересовались рѣдкимъ тогда явленіемъ—поэтомъ изъ того слоя народа, который не былъ причастенъ литературѣ и о которомъ сама литература тогда очень мало знала и помнила [2]). Петербургскіе

[1]) Мы предполагаемъ извѣстною біографію Кольцова, писанную Бѣлинскимъ въ 1846. Сочин., т. XII.

[2]) Одинъ изъ друзей Станкевича напечаталъ тогда въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ небольшую біографію новаго поэта. Кольцовъ

литераторы принимали Кольцова съ снисходительнымъ вниманіемъ, которое не всегда бывало искреннимъ участіемъ и — должно сказать—рѣдко бывало и настоящей оцѣнкой являвшагося передъ ними дарованія. Но и у Кольцова не было недостатка въ умѣ, если и былъ недостатокъ въ образованіи: предполагаемый простякъ не ослѣплялся авторитетными именами и догадывался о дѣйствительной ихъ цѣнѣ. Панаевъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ Бѣлинскій (въ 1839) отзывался ему о Кольцовѣ:—«Ваши петербургскіе литераторы, — замѣтилъ онъ мнѣ между прочимъ съ улыбкою,—принимали Кольцова съ высоты своего величія и съ тономъ покровительства, а онъ нарочно прикинулся передъ ними смиреннымъ и дѣлалъ видъ, что преклоняется передъ ихъ авторитетами; но онъ видѣлъ ихъ насквозь, а имъ и въ голову не приходило, что онъ надъ ними исподтишка подсмѣивается».

Дѣло въ томъ, что Кольцовъ, при всей бѣдности своихъ познаній и темнотѣ теоретическихъ мыслей, питалъ однако стремленія и идеалы, гораздо болѣе серьезные и искренніе, чѣмъ большинство литературнаго люда, который хотѣлъ ему покровительствовать; съ другой стороны, воспитанный въ суровой практической средѣ, онъ вынесъ изъ нея ту смѣтливость, которая вѣрно указывала ему реальную подкладку красивыхъ фразъ и научала не даваться въ обманъ. Эта послѣдняя черта, быть можетъ, была развита въ Кольцовѣ даже болѣе, чѣмъ можно было желать—это былъ слѣдъ той школы, которую онъ проходилъ съ дѣтства въ своихъ «дѣлахъ».

Письма, писанныя Кольцовымъ во время вторичнаго житья его въ Петербургѣ, въ 1838, совершенно подтверждаютъ приведенныя выше слова Бѣлинскаго. Надо, впрочемъ, думать, что Кольцовъ отправлялся въ Петербургъ, отчасти подготовленный Бѣлинскимъ къ должной оцѣнкѣ того, что онъ могъ увидѣть въ петербургскомъ литературномъ мірѣ. Самъ Бѣлинскій относился тогда къ этому литературному міру весьма недовѣрчиво. На этотъ разъ Кольцовъ подробно писалъ ему о своемъ пребываніи въ Петербургѣ, о своихъ встрѣчахъ и отношеніяхъ. Литературные тузы изъ кружка Пушкина оказывали Кольцову вниманіе, нѣкоторые даже помогли ему въ его дѣлахъ; но онъ замѣчалъ неровное отношеніе къ нему и чувствовалъ, что за нимъ скрывается значительное равнодушіе, и скорѣе вѣжливая снисходительность, чѣмъ, искреннее расположеніе. Объ одномъ Плетневѣ онъ замѣчаетъ: «Плетневъ ко мнѣ будто непод-

пишетъ Бѣлинскому, отъ 3 марта 1836, изъ Петербурга: «Извѣстный вамъ довольно Я. М. г. Н-въ о бытѣ моемъ составилъ біографію (которая печатается въ «Сынѣ Отечества»), и здѣсь я передъ вами много грѣшенъ: принужденъ былъ отдать въ нее «Косаря», котораго априрядилъ уже вамъ»...

дѣльно хорошъ» — что, вѣроятно, и было справедливо. Почти такимъ же чужимъ былъ Кольцовъ и въ другомъ кругу, среди журналистовъ, которымъ онъ былъ нуженъ только какъ даровой авторъ; среди литераторовъ, между которыми онъ мало находилъ интересовъ, занимавшихъ его самого. Раза два онъ собиралъ у себя своихъ петербургскихъ знакомыхъ, которыхъ самъ посѣщалъ: собиралось весьма разнокалиберное общество... Онъ такъ писалъ объ этомъ къ Бѣлинскому:... «О душевной жизни вечеровъ моихъ и прочихъ не знаю, что вамъ сказать; кажется, они довольно для души холодны, а для ума мелки. Въ нихъ нѣтъ ничего, питающаго душу... разговоръ по уголкамъ между двухъ-трехъ человѣкъ кругомъ диваннаго стола, серьезный разговоръ о пустоши, людей, серьезныхъ не по призванью, а по роли, ими разыгрываемой. На нихъ можно скорѣе всего пріучить себя къ ловкому свѣтскому обращенію, а ума прибавить нельзя ни на лепту».

Совершенно иначе онъ чувствовалъ себя въ московскомъ кружкѣ; какъ тамъ онъ былъ уклончивъ, себѣ на умѣ, такъ здѣсь высказывался, искалъ разрѣшенія тревожившихъ его вопросовъ о жизни, поэзіи и искусствѣ. Бѣлинскій высоко цѣнилъ въ немъ своеобразный талантъ, отъ котораго ожидалъ вліянія въ литературѣ; принималъ живое участіе въ его внутренней и внѣшней жизни. Для Кольцова Бѣлинскій былъ полный нравственный и литературный авторитетъ. Къ кружку Бѣлинскаго, или къ ихъ «собору», какъ онъ выражался, Кольцовъ былъ очень привязанъ, — послѣ Бѣлинскаго, всего больше къ Боткину, К. Аксакову и Клюшникову. Онъ старался усвоить себѣ ихъ складъ понятій, но философія никакъ ему не давалась, и самъ «соборъ» едва ли не чувствовалъ, что могъ бы уволить его отъ философіи. Въ одномъ письмѣ (изъ Воронежа, октября 1838), Кольцовъ простодушно жалуется: субъектъ и объектъ я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки, а если и понимаю, то весьма худо».

Бѣлинскій, послѣ «Литературныхъ Мечтаній», началъ писать очень много для «Телескопа» и «Молвы», — но денежныя его обстоятельства продолжали быть очень плохи и тѣмъ больше стѣснительны, что съ нимъ жили еще его братъ и племянникъ. Дальше мы найдемъ разсказъ объ этихъ обстоятельствахъ въ его собственныхъ письмахъ: друзья по возможности выручали его, — но, кажется, не всегда одни обстоятельства были виноваты: Бѣлинскій никогда не отличался такъ-называемой «практичностью», и даже когда пред-

ставлялась нѣкоторая возможность, не могъ никакъ справиться съ своими дѣлами [1]).

Около этого времени Бѣлинскій давалъ уроки К. Д. Кавелину, который сохранилъ хотя немногія но характеристическія воспоминанія о Бѣлинскомъ этого времени.

Кавелинъ готовился тогда поступить въ университетъ; Бѣлинскій былъ рекомендованъ его отцу кн. А. А. Черкасскимъ, и явился къ Кавелинымъ въ качествѣ учителя русскаго языка и словесности, исторіи и географіи. Уроки продолжались нѣсколько мѣсяцевъ; сначала учитель ходилъ правильно, потомъ сталъ пропадать недѣлями. «Училъ онъ меня плохо, — разсказываетъ Кавелинъ: — задавалъ по книжкѣ, выслушивалъ разсѣянно, безъ дополненій и поясненій (на одномъ урокѣ, когда мы были вдвоемъ, онъ мнѣ по секрету объявилъ, что-де Екатерина II вовсе не была такая великая безупречная женщина, какъ объ ней разсказываютъ: это произвело на меня очень сильное впечатлѣніе), и наконецъ предоставилъ меня собственной судьбѣ, говоря, что я юноша умный и съ учебникомъ справлюсь самъ. Но насколько онъ былъ плохой педагогъ, мало знающій предметъ, которому училъ, настолько онъ благотворно дѣйствовалъ на меня возбужденіемъ умственной дѣятельности, умственныхъ интересовъ, уваженія и любви къ знанію и нравственнымъ принципамъ. Мы занимались съ нимъ больше разговорами, въ которыхъ не было ничего педагогическаго въ школьномъ смыслѣ, и я только по счастливой случайности не провалился на экзаменѣ; но эти разговоры оставили во мнѣ гораздо больше, чѣмъ детальное и аккуратное знаніе учебника и руководствъ». Для объясненія Кавелинъ указываетъ страшную пустоту жизни того помѣщичьяго круга, въ которомъ онъ росъ, — отсутствіе всякихъ умственныхъ стремленій, крѣпостные нравы, дворянское чванство, ежедневную жизнь, наполненную мало искренними родственными отношеніями, занятую микроскопическими интересами, сплетнями своего кружка и т. д. «Для юноши эта среда была заразой, и тѣ, которые въ ней не опошлѣли и изъ нея выдрались, были обязаны, подобно мнѣ, тѣмъ струйкамъ свѣта, которыя контрабандой врывались, чрезъ Бѣлинскаго и ему подобныхъ, въ эту тьму и болото. До сихъ поръ тоскливо становится, когда вспомнишь объ этой обстановкѣ»... «Въ чемъ собственно состояли наши разговоры, этого я рѣшительно не помню... Вообще, критическое отношеніе ко всей окружающей меня

[1]) По разсказу Прозорова, «Литерат. Мечтанія» доставили Бѣлинскому выгодные уроки, такъ что по недостатку времени онъ уже отказывался отъ новыхъ предложеній. Но это было, вѣроятно, недолго: Бѣлинскій не имѣлъ педагогическаго призванія и не выносилъ учительства.

дѣйствительности, соціальной, религіозной и политической, благода
Бѣлинскому, во мнѣ засѣло, хотя въ очень наивной, неопредѣленн
и мечтательной формѣ... Неопредѣленныя стремленія были и преж
во мнѣ, но теперь, благодаря Бѣлинскому, путь ихъ былъ намѣченъ
Послѣ этого знакомства, относившагося именно къ первому періо
развитія Бѣлинскаго, Кавелинъ (до позднѣйшаго тѣснаго сближ
нія въ сороковыхъ годахъ) очень рѣдко видывалъ Бѣлинскаго,
вспоминаетъ свои встрѣчи съ нимъ въ Москвѣ, которыя надо о
нести къ послѣдующему періоду мнѣній Бѣлинскаго (конецъ 30-
годовъ). «Встрѣчи эти я помню очень живо, — разсказывает
Кавелинъ, — хотя и не могу возстановить ихъ хронологіи. Одн
описанная съ дипломатическою точностью Панаевымъ [1]), была
Арбатской улицѣ. Я бросился его обнимать и цѣловать, но онъ ме
оттолкнулъ, потому что не любилъ ребяческихъ изліяній любв
Другой разъ (помнится, прежде этого трагическаго для меня соб
тія) онъ зазвалъ меня къ себѣ обѣдать... Въ это посѣщеніе он
какъ мнѣ теперь ясно, былъ подъ сильнымъ вліяніемъ гегельянски
идей, въ томъ направленіи, которое привело его потомъ къ «Бор
динской Годовщинѣ». Въ это посѣщеніе Бѣлинскій, указывая м
на карту Европы, объяснялъ, что рядомъ съ протестантской ку
турой, наукой, искусствомъ въ Берлинѣ, возникаетъ другой цент
католической культуры, философіи, искусства въ Мюнхенѣ. О
какъ будто считалъ ихъ равноправными. Такимъ путемъ доше
онъ и до «поэзіи покорности»....

Въ маѣ 1835, Надеждинъ оставилъ службу въ университе
Онъ собирался за границу и на время отсутствія передавалъ из
ніе «Телескопа» и «Молвы» Бѣлинскому и его друзьямъ. Надежди
безъ сомнѣнія, скоро увидѣлъ въ Бѣлинскомъ талантливаго человѣ
и поэтому, вѣроятно, принялъ участіе въ его положеніи, но нас
ящей симпатіи между ними не образовалось: онъ смотрѣлъ на Б
линскаго съ высоты своего ученаго величія, а потомъ и совсѣ
недружелюбно. Недостатокъ сочувствія не былъ бы удивителенъ:
рактеры были слишкомъ различны. Надеждину не могла быть си
патична, или оставалась чужда природа Бѣлинскаго, состоявшая и
энтузіазма и увлеченія и совершенно лишенная житейскаго бла
разумія и разсчета. Надеждинъ давно пересталъ увлекаться (ес
когда увлекался), и люди, знавшіе его съ тѣхъ поръ, замѣчали на
что для него естественъ былъ переходъ отъ изданія его журна
къ позднѣйшей его дѣятельности. Бѣлинскій въ первое время в
лагалъ на издателя «Телескопа» большія надежды; но послѣ, кажет

[1]) Въ его «Литературныхъ Воспоминаніяхъ».

сильно поохладѣлъ къ нему. Порученіе журнала Бѣлинскому показывало однако, что Надеждинъ полагался на его талантъ.

Новая редакція ревностно принялась за дѣло. Самъ Станкевичъ, который никакъ не хотѣлъ казаться «литераторомъ» [1]) и пускаться въ литературу, — самъ Станкевичъ въ началѣ заинтересовался журналомъ, но уже вскорѣ охладѣлъ къ нему и жалѣлъ даже, что Бѣлинскому дано было разрѣшеніе завѣдывать журналомъ — жалѣлъ, потому что изданіе завалитъ его дѣломъ [2]). Должно думать, однако, что это дѣло, само по себѣ привлекавшее Бѣлинскаго, было ему необходимо и какъ средство существованія, — въ чемъ Станкевичъ, къ своему счастью, не нуждался.

Предстоявшая работа надъ журналомъ отвѣчала давнимъ порывамъ Бѣлинскаго, и съ какими мыслями онъ приступалъ къ дѣлу, можно видѣть изъ письма къ Полевому, которое было написано повидимому тотчасъ, какъ вопросъ объ этомъ былъ рѣшенъ (оно помѣчено еще 26 апрѣля). Бѣлинскій, приступая въ первый разъ къ

---

[1]) Отчасти вѣроятно по своему философскому высокомѣрію, отчасти потому, что въ самомъ дѣлѣ видѣлъ мелкость тогдашней литературы, отчасти наконецъ по воспоминанію о прежнихъ литературныхъ грѣхахъ. У него, какъ у Бѣлинскаго, также лежала на совѣсти трагедія (напечатанная). Нѣсколько позднѣе, въ неизданномъ письмѣ къ Бѣлинскому (отъ 12 авг. 1837, изъ Воронежа) Станкевичъ разсказываетъ:

«Любезный Виссаріонъ! Наконецъ я получилъ желаннную отставку и подалъ прошеніе здѣшнему губернатору о выдачѣ мнѣ паспорта. Меня рекомендовалъ ему секретарь, какъ человѣка умнаго и притомъ сочинителя—можешь себѣ представить, какъ это пріятно было сочинителю; я не зналъ, какую рожу корчить, и проклиналъ услужливость секретаря; какъ я ни старался увѣрить, что я не сочинитель, но это приняли за скромность, просили моихъ сочиненій, говорили о трагедіи — а? и секретарь, выходя, шепталъ мнѣ, чтобъ я прислалъ ему стишковъ. Ты торжествуешь...? Ты долженъ вымѣнять образъ Цвѣтаева, который погубилъ твою Сироту — дѣлалъ бы ты рожи не лучше моей!»—«Сирота», вѣроятно, и называлась трагедія Бѣлинскаго.

[2]) «Надеждинъ, — пишетъ Станкевичъ къ своему другу, въ апрѣлѣ 1835, — отъѣзжая заграницу, отдаетъ *намъ* «Телескопъ»; постараемся изъ него сдѣлать полезный журналъ хотя для иногородныхъ. По крайней мѣрѣ, будетъ отпоръ «Библіотекѣ» и страннымъ критикамъ Ш...» (Шевырева). Въ письмѣ отъ 1 іюня: «Надеждинъ передаетъ свой «Телескопъ» Бѣлинскому,... а мы по немногу всѣ станемъ ему помогать... Разумѣется, что я не стану тратить времени на «Телескопъ». Но каждое воскресенье мнѣ остается два-три часа свободныхъ, въ которые я могу заняться для него; кромѣ того, мы всегда будемъ обществомъ совѣщаться о журналѣ». Въ половинѣ іюня: «Въ «Телескопѣ» я принимаю не самое дѣятельное участіе»... Переписка Станкевича, стр. 133, 135, 141, также 149, 162. Въ письмѣ къ Бѣлинскому (неизданномъ) отъ 31 іюля, изъ Острогожска, Станкевичъ пишетъ: «Душевно жалѣю, что тебѣ позволили издавать «Телескопъ»: одна «Молва» завалитъ тебя дѣломъ».

изданію журнала, обращается къ Полевому какъ заслуженному предшественнику на этомъ поприщѣ. Личное знакомство ихъ началось ранѣе этого, вѣроятно въ домѣ упомянутаго прежде Селивановскаго. Бѣлинскій писалъ слѣдующее [1]:

«М. Г. Николай Алексѣевичъ! Я принимаюсь за изданіе журнала, принимаюсь не изъ корыстныхъ видовъ, не изъ дѣтскаго тщеславія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не по сознанію въ своихъ силахъ и въ своемъ назначеніи, а изъ увѣренности, что *теперь* всякій можетъ сдѣлать *что-нибудь*, если имѣетъ хоть искру способности и добра... Какъ бы то ни было, но мнѣ было бы пріятно имѣть читателемъ того человѣка, который съ такимъ благороднымъ и безпримѣрнымъ самоотверженіемъ старался водрузить на родной землѣ хоругвь вѣка, который воспиталъ своимъ журналомъ нѣсколько юныхъ поколѣній и сдѣлался вѣчнымъ образцомъ журналиста... Да, мнѣ пріятно и лестно думать, что вы будете иногда, въ рѣдкіе часы вашего досуга, перелистывать книгу, мною составленную, хотя, можетъ быть, для васъ это будетъ ни пріятно, и ни лестно... Но ваше вниманіе ко всякому благородному порыву, ваше расположеніе и ласковость къ молодымъ людямъ, сколько-нибудь принимающимъ участіе въ дѣлахъ книжнаго міра, ваша снисходительность къ слабости силъ при честныхъ намѣреніяхъ, въ чемъ я имѣлъ удовольствіе увѣриться собственнымъ опытомъ, заставляютъ меня надѣяться, что вы не откажетесь принять моего приношенія. Николаю Ивановичу [2]) было очень пріятно исполнить мое желаніе».

Замѣтимъ, что въ прежнее время «Телескопъ» вообще относился очень враждебно къ «Телеграфу», журналу Полевого,—окончившему свое существованіе не задолго передъ тѣмъ, въ 1834. На письмо Бѣлинскаго Полевой, жившій тогда еще въ Москвѣ, отвѣчалъ въ тотъ же день запиской, которую приводимъ въ примѣчаніи [3]).

Вліяніе новой редакціи не замедлило обнаружиться на журналѣ. Бѣлинскій дѣйствительно, какъ замѣчаетъ біографъ Станкевича, тотчасъ превратилъ «Телескопъ» изъ электрическаго, поверхностнаго и какъ-то беззаботно-умнаго журнала въ критическій журналъ съ опредѣленнымъ эстетическимъ взглядомъ. Цѣлью жур-

---

[1]) Письмо сохранилось въ черновомъ и переписанномъ экземплярахъ съ неважными варіантами.

[2]) Надеждину.

[3]) «М. Г. В. Г. Повѣрьте, что отъ искренняго сердца благодарилъ я васъ, читая ваше письмо, благодарилъ и за то, что ваша благосклонная рука потрепала лавры старика. Чувствую, какъ сильно устарѣлъ я, но все еще кипитъ сердце на дѣло правды, и если я могу только чѣмъ быть полезнымъ—готовъ служить вамъ. Дайте только мнѣ еще немного отдохнуть отъ болѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ. Повторяю благодарность мою за вашъ пріятный подарокъ» и проч.

нала поставлено было опредѣлить, по понятіямъ кружка, тогдашнее состояніе литературы, преслѣдовать рутину и вредную претензію, и объяснить истинныя требованія литературы, указать явленія, въ которыхъ совершается ея здравое развитіе. Главнымъ образомъ, или почти исключительно, эта цѣль выполнялась статьями самого Бѣлинскаго. Участіе Станкевича заявлено было, кажется, только переводной статьей о философіи Гегеля (Вильма), помѣщенной въ нѣскольких книжках «Телескопа» (1835, № 13—15), изданныхъ впрочемъ уже по возвращеніи Надеждина. Красовъ, Кольцовъ, К. Аксаковъ (подъ псевдонимомъ К. Эврипидина) доставили нѣсколько стихотвореній. Но всего больше придавали интересъ журналу статьи Бѣлинскаго: большая статья о «русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя» (№ 7—8), критическія статьи о стихотвореніяхъ Баратынскаго (№ 9), Бенедиктова (№ 11), о стихотвореніяхъ Кольцова (№ 12), которыя только-что изданы были тогда Станкевичемъ [1]), наконецъ рядъ мелкихъ статей въ «Молвѣ».

«Телескопъ» и «Молва» оставались на рукахъ Бѣлинскаго около полугода: отъ мая или іюня до декабря онъ издалъ шесть книжекъ [2]). Журналъ, запоздавшій и до Бѣлинскаго, не былъ имъ доведенъ до полнаго числа книжекъ; «Молва» также запоздала,—и причину этого замедленія указываютъ въ малой опытности Бѣлинскаго въ журнальномъ хозяйствѣ (ему, кажется, просто не было оставлено достаточно средствъ на издержки по журналу). Недоданныя книжки изданы были уже въ слѣдующемъ году самимъ Надеждинымъ, — который, впрочемъ, остался, кажется, доволенъ тѣмъ, что было сдѣлано въ «Телескопѣ» безъ него. Объявляя въ журналѣ о своемъ возвращеніи (въ декабрѣ 1835), Надеждинъ говорилъ, что замедленіе въ выходѣ книжекъ произошло отъ обстоятельствъ, которыхъ невозможно было ни предвидѣть, ни отвратить; что съ его стороны были приняты всѣ мѣры къ продолженію «Телескопа» и «Молвы» въ его отсутствіе; наконецъ, что онъ «даже ласкаетъ себя надеждою, что и сами читатели по вышедшимъ книжкамъ и листамъ отдадутъ справедливость добросовѣстности сихъ мѣръ»—т.-е. выбранной имъ на то время редакціи.

Въ теченіе 1835 года, Бѣлинскій и Станкевичъ сдѣлали первое изданіе стихотвореній Кольцова. Еще въ мартѣ Станкевичъ писалъ къ Я. М. Невѣрову: «*Мы* издаемъ стихотворенія Кольцова»,—разумѣя Бѣлинскаго, который и велъ изданіе, когда Стан-

[1]) Эти статьи Бѣлинскаго въ Сочин. т. I, стр. 173—275.

[2]) Отъ 7-й до 12-й, 1835. Годовое изданіе «Телескопа» состояло изъ 24 книжекъ.

кевичъ лѣтомъ этого года уѣхалъ изъ Москвы. Въ нашемъ матеріалѣ есть два письма Станкевича по поводу этого изданія. Дѣло въ томъ, что Станкевичъ далъ средства для изданія книжки, и это обстоятельство было повидимому упомянуто въ предисловіи. Станкевичъ настоятельно просилъ Бѣлинскаго вырѣзать «позорную страницу»: онъ приходилъ въ ужасъ отъ мысли, что можетъ явиться въ роли литературнаго патрона [1]).

Когда Надеждинъ возвратился, и снова взялся за журналъ, нужно было вести двойное изданіе «Телескопа» и «Молвы» — книжекъ, недоданныхъ за 1835 годъ, и новыхъ. «Молва» присоединилась къ самому журналу и стала какъ бы новымъ отдѣломъ его: въ «Телескопѣ» помѣщались, какъ прежде, крупныя статьи по наукамъ, «изящной словесности», критика и «смѣсь»; въ «Молвѣ»— библіографія, статьи о театрѣ, замѣтки и новости. Въ послѣднихъ нумерахъ «Телескопа», за 1835 годъ, составленныхъ видимо наскоро, Бѣлинскій помѣстилъ только мелкія журнальныя замѣтки [2])

---

[1]) Эти письма не вошли въ изданіе его переписки, и, быть можетъ, не лишнее привести отрывки изъ нихъ для дополненія собранія Анненкова.

«17 іюля 1835, Удеревка. Ты, любезнѣйшій Виссаріонъ, вполнѣ высказалъ Россѣю! Благодарю тебя за всѣ твои хлопоты:

Услуга намъ при нуждѣ дорога.

«Но я поблагодарилъ бы тебя вдвое, еслибы ты не хлопоталъ. Но дѣло сдѣлано. Одна моя надежда, что, за неимѣніемъ цвѣтной бумаги, книга не выпущена, слѣдовательно предисловіе можно будетъ вырѣзать. Если же она пущена въ ходъ, надобно перенести этотъ позоръ. Я чортъ знаетъ что̀ далъ бы, чтобы тамъ не было моего имени. Ты это можешь понять. Я смѣялся надъ В-скимъ за такія штуки—кромѣ того, всякій вправѣ счесть меня издателемъ, прочетши предисловіе или, что еще хуже, литературщикомъ, въ то время, когда я давно отступился отъ роли дѣйствователя въ этомъ глупомъ мірѣ. Ради Бога, вырѣжь къ чорту это предисловіе, если еще можно. Заплатить за него ничего не стоитъ, только-бъ его не было. А пріѣхавши, я или упрошу Болдырева (цензора), или пущу стихотворенія, безо всего. Но довольно тебѣ за грѣхи! Благодарю за труды твои для меня»...

«*31 Іюля. 1835. Острогожскъ.* Любезный Бѣлинскій! Сейчасъ только я пріѣхалъ изъ новой нашей деревни, Марка, гдѣ проохотился цѣлую недѣлю и получилъ письмо твое, будто бы отъ 23 іюля. Поздравь меня, я далъ уже присягу на должность почетнаго смотрителя и сегодня уже отправляю дѣловыя бумаги къ директору и штатному смотрителю... Душевно жалѣю, что тебѣ позволили издавать «Телескопъ»; одна «Молва» завалитъ тебя дѣломъ. Я писалъ къ тебѣ въ домъ Чудиной и письмо мое вѣрно тебя не застало тамъ. Оно содержало въ себѣ строжайшій выговоръ за распоряженіе о Кольцовѣ и порученіе вырѣзать позорную страницу. Нельзя-ли исполнить этого хоть теперь». Книжка («Стихотворенія Алексѣя Кольцова». М., въ тип. Степанова, 1835, 40 стр.) вышла безъ предисловія. Цензурная помѣта Болдырева, 24-го марта.

[2]) Сочин. I, стр. 477 и слѣд.

и статью объ «Опытѣ системы нравственной философіи» Дроздова, о которой упомянемъ впослѣдствіи. Послѣдній томъ за 1835 годъ вышелъ только въ октябрѣ 1836 года.

Затѣмъ, въ книжкахъ «Телескопа» за 1836 годъ появился новый рядъ статей Бѣлинскаго: въ первыхъ четырехъ нумерахъ напечатанъ былъ отчетъ издателю «Телескопа» за послѣднее полугодіе (1835) русской литературы, какъ будто за время отсутствія редактора [1]); въ 5—6 нумерахъ, обширная статья о критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ «Московскаго Наблюдателя» [2]), т.-е. собственно Шевырева, который передъ тѣмъ значительно потерпѣлъ и отъ самого Надеждина, разбиравшаго ученымъ образомъ его «Исторію Поэзіи».

«Молва» съ послѣднихъ мѣсяцевъ 1834 года была вообще наполнена статьями Бѣлинскаго, особенно же въ 1835 и 1836; только къ концу изданія статьи Бѣлинскаго становятся въ ней рѣже. Между прочимъ, въ «Молвѣ» (1836, № 7 и 13) помѣщены были любопытные отзывы Бѣлинскаго о двухъ вышедшихъ тогда книжкахъ Пушкинскаго «Современника» [3]). Обѣ статьи написаны съ великимъ сочувствіемъ къ самому Пушкину. Въ первой статьѣ (по поводу 1-й книги «Современника») Бѣлинскій восхищался пьесами Пушкина, «Коляской» и «Утромъ дѣлового человѣка» Гоголя; ему очень понравилась статья «о движеніи журнальной литературы» (написанная также Гоголемъ),—но уже теперь онъ предсказывалъ, что журналъ не будетъ имѣть успѣха и вліянія на публику. Вторая книга «Современника» еще болѣе утвердила его въ этомъ мнѣніи; онъ высказался о ней очень строго. Думаемъ, что это стоило ему вражды нѣкоторыхъ изъ друзей Пушкина.

Отношенія съ Полевымъ продолжали быть дружескими. Изъ нѣскольких записокъ того и другого, какія были въ нашемъ матеріалѣ, видно, что они нерѣдко встрѣчались, и Полевой зналъ кружокъ друзей Бѣлинскаго. Къ дѣятельности Бѣлинскаго Полевой, видимо, относился съ большимъ сочувствіемъ. Между письмами къ Бѣлинскому встрѣтилась намъ записка Полевого къ ихъ общему пріятелю, Н. С. Селивановскому, гдѣ нѣсколько строкъ постъскрипта относятся къ упомянутой полемикѣ «Телескопа» съ «Моск. Наблюдателемъ». «Итакъ: *война?*—пишетъ Полевой. — Ужъ бьются на Аустерлицкомъ мосту? Кому-то пасть, а что Шевыревъ дуракъ, воля ваша—теперь сомнѣнія прочь. Надеждинъ его цѣликомъ про-

---

[1]) Сочин. II, стр. 9—74.
[2]) Тамъ же, стр. 75—156.
[3]) Тамъ же, стр. 265—274; 279—286.

глотитъ. Пожалуйста, подбивайте нашего Орланда (т.-е. Бѣлинскаго)—не уступать и биться. Я радуюсь, какъ старый забіяка».

Бѣлинскій продолжалъ сношенія и съ Лажечниковымъ, который также относился къ его дѣятельности съ большимъ сочувствіемъ. Приводимъ изъ писемъ Лажечникова, что относится къ «Телескопу».

Въ письмѣ отъ сентября 1835, Лажечниковъ пишетъ:

«Съ нетерпѣніемъ ожидаю 7 № «Телескопа» [1]): признаюсь, прошедшіе №№ наводили зѣвоту... Увѣренъ, что вы, по русской пословицѣ, охулки на руку не дадите. Къ концу года пришлю къ вамъ, если желаете, отрывокъ изъ романа, вновь затѣяннаго мною, подъ названіемъ: «Колдунъ на Сухаревой башнѣ», изъ временъ Петра II. Предпочитаю корысти любовь чистой, благородной души: сдѣлать вамъ удовольствіе дороже для меня нѣсколькихъ сотенъ рублей, которыя бы мнѣ доставилъ «Наблюдатель» или «Библ. д. Ч.» [2]).

Въ другомъ письмѣ (12 ноября 1835), опять горячія выраженія сочувствія:

«Вашему письму обрадовался я такъ, что спѣшу тотчасъ отвѣчать на него: примите это какъ знакъ, что я люблю васъ не какъ журналиста, а какъ Бѣлинскаго, просто человѣка съ душою благородною. Вспомните только наши отношенія, когда мы съ вами гуливали на Божедомку, и вы еще не писывали ничего для печати! Вѣрьте тоже, что я не обижусь вашею критикою, лишь бы она была добросовѣстна... Брань «Наблюдателя» [3]) меня не тревожитъ: у насъ даже въ провинціи его не разрѣзываютъ... Не умолчу, что я, грѣшный человѣкъ, нѣсколько самолюбивъ; но самолюбіе мое не ослѣпляетъ меня до того, чтобы бѣситься за указаніе моихъ погрѣшностей, лишь бы это было сдѣлано добросовѣстно, не оскорбляя моей личности. Впрочемъ, скажу вамъ, какъ человѣку, который меня любитъ — а въ этомъ увѣренъ—что въ Петербургѣ мой «Ледяной Домъ» имѣлъ успѣхъ, какого еще не имѣлъ на Руси ни одинъ романъ»... [4]).

---

[1]) Какъ сказано выше, съ этого № началась редакція Бѣлинскаго.

[2]) Лажечниковъ обращался къ Бѣлинскому и съ своими литературными дѣлами. Такъ, онъ просилъ Бѣлинскаго остановить изданіе «Походныхъ Записокъ», уступленныхъ имъ Ник. Глазунову, о чемъ теперь очень сожалѣлъ: онъ считалъ ихъ слабымъ юношескимъ произведеніемъ, совершенно соглашался съ тѣмъ, что сказалъ о нихъ Бѣлинскій въ «Литер. Мечтаніяхъ», и согласенъ былъ возвратить Глазунову деньги—лишь бы остановить изданіе. Его досадовало и то, что Глазуновъ напечаталъ уже о нихъ нелѣпую рекламу, которую Лажечниковъ просилъ оговорить въ «Молвѣ», что авторъ въ ней умываетъ руки.

[3]) Издаваемаго тогда Андросовымъ, гдѣ критикомъ былъ Шевыревъ.

[4]) «У Самсоньевскаго кладбища,—разсказываетъ онъ,—гдѣ похороненъ Волынскій, былъ постоянный съѣздъ каретъ: памятникъ надъ могилой Во-

Въ письмѣ 18 марта 1836, онъ пишетъ цѣлую филиппику противъ Надеждина, который въ статьѣ «Европеизмъ и Народность», въ «Телескопѣ» 1836, помѣстилъ очень странное и неловкое восхваленіе «кулака».

«Боже мой!—пишетъ Лажечниковъ:—Что за панегирикъ кулаку написалъ Ник. Ив. въ *своемъ* «Европеизмѣ» и *своей* «Народнодности!»... Чего этотъ кулакъ не надѣлалъ, не сдѣлаетъ! И сравнилъ-то онъ его съ лукомъ Вильгельма Телля, и со шпаженкой Наполеона, и Богъ знаетъ съ чѣмъ еще!.. Какъ не шепнулъ ему добрый геній, что не мертвое орудіе, а человѣкъ, управляющій этимъ орудіемъ, и духъ этого человѣка, творятъ великое и на Руси, и въ Швейцаріи, и во Франціи?.. Я, право, не дамъ гроша за русскій кулакъ самаго знаменитаго кулачнаго бойца, хоть бы онъ былъ сохраненъ въ лучшемъ спиртѣ!.. Любя и уважая Ник. Ив., я, право, краснѣлъ за его вещественно-патріотическія выходки—будь сказано между нами»...

Лажечниковъ оспариваетъ и другую мысль, выраженную въ той же статьѣ Надеждина, что у насъ нѣтъ настоящаго литературнаго языка: «Что у насъ еще нѣтъ живой литературы, съ этимъ можно скорѣе согласиться: но кто-жъ помѣшаетъ гг. возглашателямъ и этой аксіомы, которая ужъ приторна, открыть дорогу къ живой литературѣ, снять покровъ съ этой Изиды?.. Творите сами вы, у которыхъ и *книги* ужъ давно *въ рукахъ!..*

Въ другомъ письмѣ (18 іюня) Лажечниковъ смягчаетъ слова прежняго письма, но опять споритъ противъ «іеремiадъ», которыя,

---

лынскаго весь исписанъ стихами,—къ счастію, какъ пишутъ, не пошлыми,—а молодые люди, разбивъ мраморную вазу (изъ этого памятника), уносятъ кусочки какъ святыню. Вообразите изумленіе кладбищенскаго сторожа: съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ кладбище, не было на немъ такой тревоги!.. Письмами, исполненными похвалъ, я заваленъ. Я доволенъ, и достигнулъ своей цѣли: благородство, патріотизмъ нашли отзывы въ сердцѣ русскихъ.

«Слухи есть, что книгу хотятъ запретить (!); но я этому не вѣрю: въ ней любовь къ отечеству соединена съ уваженіемъ къ властямъ законнымъ.

«Еще скажу вамъ о моихъ успѣхахъ: «Новикъ» переведенъ въ Парижѣ какою-то Madame Sophie Conrad. Но что болѣе меня радуетъ, такъ это разборъ «Новика» въ журналѣ: «Revue du Nord» (мѣсяцъ августъ, 6-me livraison). Кажется, пошлою книжонкою не стали бы заниматься въ журналѣ, гдѣ занимаются судьбою цѣлаго Сѣвера. Жаль, что журналъ запрещенъ, и его нельзя имѣть.

«Посылаю вамъ для курьезности письмо ко мнѣ Воейкова: панегирикъ въ сторону—панегирикъ, обыкновенно вырубаемый при посылкѣ нѣсколькихъ билетовъ на «Лит. Приб.»—письмо это для васъ должно быть интересно: оно обнажаетъ петербургскихъ журналистовъ. Только не пустите этого письма въ ходъ».

по его мнѣнію, не поправляютъ дѣла, и притомъ несправедливы. «Кто упрекнетъ васъ, что вы не *дѣлаете*, тотъ сказалъ бы клевету».

Съ 1836 года журналъ Надеждина начиналъ оживляться новыми силами. Въ 10 № помѣщена была статья Искандера «Гофманъ» (написанная въ 1834): авторъ, впервые выступавшій здѣсь на литературное поприще, былъ, правда, человѣкъ другого лагеря, но выбранный имъ предметъ былъ вполнѣ симпатиченъ кружку Бѣлинскаго, для котораго Гофманъ былъ великимъ учителемъ въ дѣлѣ искусства; не могло не быть симпатично и изложеніе, въ которомъ сказывался будущій блестящій талантъ. Статья, посланная Искандеромъ изъ его отдаленнаго мѣста жительства, была предоставлена «Телескопу» однимъ изъ общихъ друзей, который потомъ содѣйствовалъ и личному сближанію Искандера съ кругомъ Бѣлинскаго. Далѣе, въ первыхъ нумерахъ этого года помѣщены первыя повѣсти Кудрявцева, который скрывался тогда подъ буквами А. Н.: «Катинька Пылаева, моя будущая жена», «Антонина», «Двѣ страсти» (№№ 4, 6, 11): повѣсти Кудрявцева чрезвычайно нравились тогда Бѣлинскому, какъ и самъ авторъ возбуждалъ въ немъ самое теплое сочувствіе. Въ то же время явились въ «Телескопѣ» и первыя литературныя работы Боткина: ему принадлежитъ статья «Русскій въ Парижѣ» (1835), «Изъ путевыхъ записокъ» [1]) и, кажется, еще рядъ мелкихъ библіографическихъ статей и замѣтокъ въ «Молвѣ» подъ буквами Б. В. Наконецъ, явилась здѣсь одна изъ первыхъ повѣстей Панаева («Она будетъ счастлива. Эпизодъ изъ воспоминаній о петербургской жизни». И. П-ва, № 7).

Къ сожалѣнію, намъ мало извѣстны подробности объ изданіи «Телескопа»: видно только, что Бѣлинскому давалось просторное мѣсто въ журналѣ, и достаточно бѣглаго обзора, чтобъ убѣдиться, какое оживленіе придавали изданію критическія статьи Бѣлинскаго и его начинавшіяся личныя связи. Образчикомъ отношеній между самими друзьями кружка, можетъ служить, напр., шутливое письмо Станкевича къ Красову: Станкевичъ переводилъ для журнала статью Вильма о Гегелѣ, запоздалъ прислать окончаніе и поручаетъ Красову выпросить ему прощеніе у Бѣлинскаго [2]). Въ Петербургѣ,

---

[1]) «Телескопъ» 1836, № 14, стр. 231—247; подписано буквами В. Б.

[2]) «Получивъ мое письмо,—пишетъ Станкевичъ (въ маѣ 1836),—надѣнь шапку на бокъ и иди къ Бѣлинскому. Пришедши, скидай шапку и за меня кланяйся ему въ ноги и проси прощенія; не прежде, какъ получивъ прощеніе, изъясни ему мой проступокъ, а въ чемъ онъ состоитъ, тому слѣдуютъ пункты: 1) обѣщалъ я ему окончить статью о Гегелѣ и прислать съ первою

въ литературныхъ кругахъ, думали, что Станкевичъ исправляетъ статьи Бѣлинскаго. Станкевичъ, въ письмѣ къ своему петербургскому другу, рѣшительно опровергаетъ этотъ слухъ. «Не знаю, откуда эти чудные слухи заходятъ въ Питеръ? я — цензоръ Бѣлинскаго? Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ «Телескопѣ», подвергалъ цензорству Бѣлинскаго, въ отношеніи русской грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ мнѣніяхъ всегда готовъ съ нимъ посовѣтоваться и очень часто послѣдовать его совѣтамъ». Разговоръ о цензорствѣ Станкевича произошелъ, кажется, по тому поводу, что въ Петербургѣ не одобряли статьи Бѣлинскаго о Бенедиктовѣ, находя слишкомъ рѣзкими его приговоры, и вѣроятно винили при этомъ и Станкевича за неумѣренность статьи. «Конечно, — пишетъ Станкевичъ, — его (т.-е. Бѣлинскаго) выходка неосторожна, но не болѣе; онъ хотѣлъ напасть на способъ составлять репутацію и оскорбилъ человѣческую сторону Бен-ва. Я ему это скажу» [1]). Станкевичу вообще не совсѣмъ нравилась полемическая рѣзкость Бѣлинскаго, и это дало поводъ упомянутому выше историку этого времени видѣть въ отвращеніи Станкевича къ полемикѣ его «примирительныя» наклонности, которыми онъ извращалъ стремленія Бѣлинскаго. На дѣлѣ Станкевичъ ни мало не измѣнилъ *этой* черты Бѣлинскаго — рѣзкости его мнѣній; а съ другой стороны, если Станкевичъ находилъ, что въ осужденіи Бенедиктова, какъ писателя, была оскорблена и его «человѣческая сторона», — то въ этомъ смыслѣ, конечно, онъ могъ быть правъ, не одобряя рѣзкости Бѣлинскаго. Была-ли дѣйствительно оскорблена «человѣческая сторона» Бенедиктова къ статьѣ Бѣлинскаго — это другой вопросъ, который тогда могъ пониматься иначе, чѣмъ теперь. Наконецъ, что касается «примирительности», источникъ ея былъ не въ личномъ вліяніи Станкевича, а въ цѣломъ характерѣ тогдашнихъ понятій всего кружка, какъ увидимъ далѣе.

Съ выходомъ послѣдней, двадцать-четвертой книги «Телескопа» за 1835 годъ, и шестнадцатой книги за 1836 (это было въ октябрѣ) — окончилось неожиданно и существованіе журнала. Въ 15-й книгѣ напечатано было знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева.

почтой изъ деревни и отложилъ нужный для этого № «Revue Germanique»; 2) Иванъ забылъ взять его; 3) я не перевелъ статьи — фрр.! громъ, буря, молнія, дождь, т.-е. Бѣлинскій, наконецъ, плюетъ и буря утихаетъ—отдаленные раскаты грома, послѣдній ропотъ, тишина.—Пусть окончитъ кто-нибудь изъ людей образованныхъ: Мишель, Аксаковъ или Ефр... А я не стану писать къ Виссаріону, пока не пройдетъ буря, т.-е. до слѣдующей почты»... (Переп. Станк., стр. 171).

[1]) Переп., стр. 200.

Извѣстная исторія послѣдовала не вдругъ. Надеждинъ послѣ 15-й книги успѣлъ издать въ сентябрѣ еще 16-ю [1]), а послѣдній томъ 1835 года вышелъ еще позднѣе: при немъ приложено объявленіе «Отъ издателя», гдѣ онъ извиняется въ замедленіи изданія недоданныхъ книжекъ прошлаго года, которое теперь имъ окончено;—это объявленіе помѣчено 20 октября 1836 г- Судьба съ ея обычной «иронїей» подшутила надъ этимъ объявленіемъ: издатель, указывая публикѣ трудъ, какого ему стóило двойное изданіе «Телескопа» въ этомъ году, выражалъ надежду, что публика оцѣнитъ его, и никто не упрекнетъ издателя въ недостаткѣ дѣятельности. «Сверхъ того,—заключалъ Надеждинъ,—время еще впереди. Посвятивъ себя труду, издатель надѣется загладить прошедшее будущею неутомимою дѣятельностью. Man kann, was man will!»

Въ этомъ онъ очень ошибся. «Телескопъ» рухнулъ. Какъ извѣстно, «Телескопъ» шелъ плохо въ 1836 году; Надеждинъ хотѣлъ какъ-нибудь поправить дѣло и употребилъ чаадаевскую статью какъ героическое средство: онъ хотѣлъ или «оживить свой дремлющій журналъ, или похоронить его съ честью». «Телескопъ» и пришлось похоронить. Бѣлинскій, вѣроятно, нисколько не участвовалъ въ этомъ рѣшеніи; его и не было въ Москвѣ въ это время,—онъ жилъ все лѣто въ деревнѣ у Б-хъ [2]); Чаадаева онъ не зналъ, и познакомился съ нимъ уже гораздо позднѣе. Такимъ образомъ, катастрофа произошла безъ него,—но, конечно, должна была произвести большой переполохъ въ кружкѣ и отразиться на Бѣлинскомъ. Онъ потерялъ помѣщеніе для своихъ работъ;—кромѣ того, исторія съ журналомъ задѣла рикошетомъ и его. Вѣроятно, извѣщенный о судьбѣ журнала, онъ возвращался въ Москву. У заставы онъ былъ остановленъ и свезенъ къ оберъ-полиціймейстеру: его ожидалъ допросъ, какъ одного изъ ближайшихъ участниковъ журнала. Бѣлинскій перепугался, на бѣду оберъ-полиціймейстера не было дома, и Бѣлинскій долженъ былъ прождать его до трехъ часовъ ночи. Впрочемъ, дѣло ограничилось нѣсколькими неважными вопросами, и Бѣлинскій былъ отпущенъ домой. Едва-ли можно приписать случаю, что переписка Бѣлинскаго, — насколько мы могли собрать о ней свѣдѣній,—сохранилась только начиная съ 1837 года: до этого года мы почти не находимъ его писемъ и его друзей, и между прочимъ—ни строки Надеждина.

---

[1]) Цензурная помѣта 14-й и 15-й книгъ 1836 года — 13 сентября; 16-й книги—30 сентября.

[2]) Станкевичъ пишетъ къ Н-ву отъ 21 сентября, что Бѣлинскій живетъ у Бакуниныхъ; затѣмъ, отъ 19 октября, пишетъ опять: «Бѣл. и Ефр. въ гостяхъ» и проч. Переписка, стр. 189, 201.

ГЛАВА IV.

Московскій кружокъ. — Отъѣздъ Станкевича.—Новыя изученія. — Жизнь Бѣлинскаго въ деревнѣ, 1836.—Мнѣнія Бѣлинскаго въ половинѣ 1837.—Примирительный консерватизмъ и идеальность.—Тяжелыя матеріальныя обстоятельства.—Поѣздка на Кавказъ. — Мысль о переселеніи въ Петербургъ.—Новый поворотъ во взглядахъ Бѣлинскаго.—«Дѣйствительность».

1836—1838.

Время, когда образовывался у Бѣлинскаго примирительный и консервативный взглядъ, главнымъ образомъ внушенный гегеліянствомъ кружка́, было временемъ крайняго разстройства его матеріальныхъ обстоятельствъ, такого разстройства, какого ему никогда уже не случалось испытывать въ подобной степени и которое приводило его въ крайнее уныніе, почти отчаяніе. Это хронологическое сопоставленіе, быть можетъ, не излишне въ его біографіи; оно можетъ показать, до какой степени его мнѣнія были независимы отъ личныхъ соображеній, и что очень ошибочно было бы опредѣлять развитіе его понятій внѣшними обстоятельствами, — какъ то дѣлали и его враги, готовые объяснять его позднѣйшій демократизмъ извѣстнымъ аргументомъ «низкаго» происхожденія и бѣдности, и самые поклонники, которымъ матеріальныя бѣдствія его жизни казались достаточнымъ мотивомъ для его отрицаній. Но, какъ ни естественно бываетъ для человѣка, въ своихъ взглядахъ на общество, брать въ разсчетъ и тѣ прямыя впечатлѣнія и опыты, какіе даются его личнымъ ненормальнымъ положеніемъ въ этомъ обществѣ, незаслуженнымъ утѣсненіемъ и т. д., — въ Бѣлинскомъ былъ иной мотивъ, опредѣлявшій развитіе его мнѣній; своимъ личнымъ отношеніямъ онъ не давалъ мѣста въ развитіи идей, которымъ хотѣлъ служить.

Дальше мы скажемъ подробнѣе о внѣшнихъ обстоятельствахъ Бѣлинскаго по запрещеніи «Телескопа», а теперь обозначимъ ихъ только коротко. Закрытіе журнала оставило его въ концѣ 1836 г. буквально безъ всякихъ средствъ къ жизни,—когда у него на рукахъ были еще братъ и племянникъ; всѣ попытки найти работу оставались безуспѣшны; иной трудъ, кромѣ литературнаго, былъ для него почти немыслимъ; изданная имъ въ серединѣ 1837 г. «Грамматика» не продавалась; наконецъ, съ нимъ случилась болѣзнь, очень его напугавшая, и онъ долженъ былъ отправиться на воды на Кавказъ, гдѣ провелъ три мѣсяца 1837 г. (съ іюня до сентября). Въ этомъ безвыходномъ положеніи онъ могъ существовать только помощью друзей и долгами, которые были для него источникомъ мучительнаго безпокойства. Нѣсколько улучшились дѣла Бѣлинскаго уже только въ 1838 году, когда онъ взялъ на себя редакцію «Московскаго Наблюдателя» и получилъ нѣкоторые уроки,—но и это не избавило его отъ нужды, которая продолжала его преслѣдовать до конца его московской жизни.

Въ такихъ внѣшнихъ условіяхъ совершалось то внутреннее развитіе, подробности котораго мы постараемся собрать въ нашемъ изложеніи. Трудно разсказать съ точностью внутреннюю исторію Бѣлинскаго въ эти годы. Печатныя сочиненія Бѣлинскаго передаютъ ее только очень неполно; онѣ представляютъ, во-первыхъ, только одну, собственно эстетическую и литературную сторону его мнѣній и ограничены условіями печати; во-вторыхъ, онѣ даютъ только результатъ, принимаемый въ данную минуту: внутренній процессъ образованія взглядовъ автора остается скрытъ для читателя. Наконецъ, Бѣлинскій въ печати долженъ былъ сдерживаться: съ публикой онъ по необходимости говорилъ другимъ, менѣе энергическимъ языкомъ, чѣмъ тотъ, какимъ онъ говорилъ въ кружкѣ, съ друзьями. Письма, которыя намъ удалось собрать въ нашихъ поискахъ, начинаются почти только съ половины 1837 года: могло быть, что до этого времени писемъ и не было много,—но во всякомъ случаѣ переписка не полна, и о времени до 1837 года мы можемъ извлечь изъ нея только ретроспективныя указанія, когда писавшему случалось вспоминать прошлое.

Переписка эта съ 1837 года довольно обширна. Бѣлинскій любилъ бесѣдовать съ друзьями, и иногда самъ шутя жаловался на свою привычку писать длинныя обстоятельныя письма. Потребность высказываться и провѣрять себя, естественно, была всего сильнѣе именно въ ту пору, когда шло сильнѣйшее броженіе, и разлучаясь съ друзьями, когда между ними оставался невыясненнымъ какой-нибудь предметъ, когда въ его умѣ и душѣ волновались новые во-

просы, онъ писалъ имъ обширныя посланія, цѣлыя тетради, и подробно разсказывалъ свои мысли и ощущенія. Нѣкоторыя письма его къ Боткину, Станкевичу и др. занимаютъ десятки листовъ. Такимъ образомъ въ письмахъ 1837 года находятся нѣкоторыя разъясненія и для предыдущаго времени.

Бѣлинскій не занималъ въ кружкѣ перваго мѣста: онъ уступалъ однимъ—въ силѣ теоретической мысли, другимъ—въ объемѣ свѣдѣній, но, конечно, превышалъ всѣхъ энергіей чувства, искренностью и полнотою убѣжденія, съ какими онъ въ каждомъ данномъ моментѣ отдавался своимъ идеямъ и которыя сдѣлали то, что именно онъ изъ цѣлаго кружка́ и явился въ литературѣ представителемъ его содержанія и исторической заслуги.

Все время начальной дѣятельности Бѣлинскаго до сороковыхъ годовъ, когда его личный и литературный характеръ сталъ окончательно опредѣляться, есть время постояннаго броженія идей и направленій, послѣдовательно имъ принимаемыхъ и отвергаемыхъ; но періодъ 1836—1839 былъ по преимуществу временемъ безпокойнаго исканія той истины, какая мелькала ему въ вопросахъ философіи и искусства. Большой ошибкой было бы думать, чтобъ эта жизнь, повидимому посвящаемая размышленію о поэзіи, была сколько-нибудь похожа на эстетическое эпикурейство, которое услаждаетъ себя поэтическими восторгами, довольное собою и не заботясь ни мало о дѣйствительности,—вовсе не поэтической и не усладительной. Бывали, конечно, минуты самодовольства, когда друзья, успокоившись на какомъ-нибудь принципѣ, увлекшись поэтическимъ произведеніемъ, — смотрѣли на «толпу» съ сознаніемъ собственнаго превосходства, и съ безучастіемъ къ тому, что̀ творилось кругомъ ихъ. Но вообще, «эпикурейство» и размышленіе для искреннихъ членовъ кружка́ была работа, далеко не всегда успокоительная. Такъ было это именно съ Бѣлинскимъ. Бывали для него времена, когда онъ успокоивался на примирительной философіи и эстетическомъ самодовольствѣ, но за то послѣ воспоминаніе объ этихъ временахъ дѣлалось для него источникомъ досадъ и страданія за старое заблужденіе, дѣлалось настоящимъ угрызеніемъ совѣсти.

Въ настоящее время довольно трудно себѣ представить умственное и душевное состояніе, въ какое приведены были члены кружка́, и больше всѣхъ Бѣлинскій, наплывомъ идей, въ которыхъ они видѣли и свое личное моральное достоинство и общественное благо, и которымъ, поэтому, предавались со всѣмъ увлеченіемъ, на какое были способны. Въ исторіи этого кружка́ и другого, нами прежде упомянутаго, совершалось цѣлое явленіе въ развитіи нашей

образованности: въ нихъ сошлись люди съ глубокой потребностью сознательныхъ идей и нравственныхъ принциповъ. Станкевичъ и его друзья, скоро понявши слишкомъ ограниченный объемъ нашей школьной науки, съ жаромъ бросились на философію, обѣщавшую всеобъемлющія истины, и охвачены были потокомъ отвлеченныхъ идей, которыя они готовы были принять какъ догматъ, внести ихъ въ свою жизнь со всѣми ихъ послѣдствіями. Увлеченіе было вполнѣ законно, потому что господство абстрактной философіи было фактомъ самой тогдашней европейской науки, и наша образованность переживала необходимую ступень въ этомъ усвоеніи европейской мысли. И въ томъ несовершенномъ видѣ, въ какомъ кружокъ владѣлъ съ 1834 г. нѣмецкой философіей, понятія его становились уже для тогдашней литературы важной образовательной силой, — именно потому, что ихъ стремленія получили здѣсь великую опору логическаго метода, и хотя въ ихъ изученіяхъ и не было школьной учености, но они внесли въ нихъ собственную упорную работу. Именно этимъ они и стали съ самаго начала цѣлой головой выше школьной учености, которая и опрокинулась на нихъ съ озлобленіемъ, и выше рутинной литературы... Мудрено также разбирать, кому изъ друзей кружка благопріятствовали и кому нѣтъ внѣшнія матеріальныя условія, и дѣлать изъ этого выводы объ ихъ мнѣніяхъ: ни «барство» Станкевича, ни бѣдность Бѣлинскаго не заставили ихъ иначе смотрѣть на вещи, на дѣйствительность, на общественныя отношенія. Сила идеализма была такъ велика, что онъ совершенно поглощалъ подобныя соображенія, какъ они иной разъ ни были враждебны идеализму... Когда Станкевичъ и его кружокъ занялся «источниками» философіи, они не ограничились Шеллингомъ, и, познакомившись съ его предшественникомъ, Кантомъ и Фихте, окончательно остановились на ученіяхъ Гегеля [1]). Здѣсь они и нашли въ особенности то «примирительное» направленіе, какое съ тѣхъ поръ отличаетъ Бѣлинскаго и его друзей; оно начинаетъ сказываться въ 1836, но полное господство его приходится именно на то время, когда внѣшнія обстоятельства Бѣлинскаго были крайнѣ бѣдственны, какъ въ 1837 году. Эти изученія друзей, какъ мы сказали, не были вообще по школьному полнымъ, подробнымъ знакомствомъ съ философскими системами; напротивъ, друзья довольствовались (часто по необходимости, за неимѣніемъ книгъ) тѣмъ, что было доступно, но они умѣли схватывать сущность дѣла

[1]) Какъ отражались эти изученія на эстетическихъ теоріяхъ Бѣлинскаго, указано было въ «Очеркахъ Гоголевскаго періода русской литературы» и въ статьяхъ г. Скабичевскаго.

и самостоятельно развивать основныя положенія. Ихъ упрекали потомъ, что они не совсѣмъ вѣрно понимали нѣкоторые существенные пункты гегеліянства; мы думаемъ, что это бывали такія же ошибки и отступленія, какія представляла гегеліянская школа и въ самой Германіи [1]).

Итакъ, философскія увлеченія были естественно вызваны отношеніями нашей образованности къ европейской наукѣ, и когда друзья напали разъ на философскую постановку вопросовъ, они уже не могли ея покинуть, не исчерпавъ, не переживъ идеализма, чтобы освободиться отъ него для другихъ взглядовъ. Историческая заслуга кружка въ томъ и состояла, что онъ понималъ свою философію не какъ школьную теорію, непричастную жизни, а напротивъ, переживалъ ее какъ догматъ, какъ жизненную истину, въ полномъ ея примѣненіи. Естественно, что при этомъ не могло не встрѣтиться рѣзкихъ столкновеній отвлеченной идеи съ обычными понятіями и съ непосредственнымъ чувствомъ—и жизнь кружка́ въ самомъ дѣлѣ преисполнена была разнообразныхъ волненій, между прочимъ и такихъ, гдѣ различное пониманіе производило раздоръ и несогласіе между друзьями; всѣ, болѣе или менѣе, впадали въ «раздвоеніе» и «разорванность», обозначавшія именно это столкновеніе отвлеченности съ привычнымъ образомъ мыслей и жизни, — и у Бѣлинскаго въ особенности это раздвоеніе господствовало какъ хроническая болѣзнь, причинявшая самое дѣйствительное душевное страданіе.

Обратимся сначала къ исторіи самаго кружка́ за эти годы, 1836—1838. Въ августѣ 1837 г. Станкевичъ, и ранѣе надолго уѣзжавшій изъ Москвы на Кавказъ, въ деревню, уѣхалъ за-границу. Бѣлинскій только изрѣдка мѣнялся письмами со Станкевичемъ, но между ними продолжалась тѣсная нравственная связь. Бѣлинскій навсегда сохранилъ къ нему величайшее уваженіе, вспоминалъ о немъ въ минуты душевныхъ треволненій, и переживъ одинъ критическій періодъ своего развитія (въ 1839), нашелъ нужнымъ подробно разсказать свою внутреннюю исторію старому другу. Въ письмахъ Бѣлинскаго къ друзьямъ не разъ вспоминается имя Станкевича, и каждый разъ въ выраженіяхъ, свидѣтельствующихъ о чрезвычайно высокой оцѣнкѣ его личности. «Нѣтъ, я лучше тебя понимаю этого человѣка, — пишетъ Бѣлинскій къ Бакунину, который осуждалъ Станкевича по поводу одной сердечной исторіи его:—онъ не нашъ

[1]) Такъ, напр., неправильное пониманіе «разумной дѣйствительности». Но почему же, въ самой Германіи, Гегелева философія могла такъ долго считаться капитальной опорой и оправданіемъ «существующаго порядка вещей»?

и его нельзя мѣрить на нашу мѣрку... И этого-то человѣка ты обвиняешь за паденіе [1]), не зная того, что если ему суждено встать, то намъ надо будетъ смотрѣть на него, высоко поднявъ голову; иначе мы не разсмотримъ и не узнаемъ его» (16 авг., 1837). Въ другомъ письмѣ Бѣлинскій прямо говоритъ о Станкевичѣ, какъ о человѣкѣ геніальномъ, призванномъ на великое дѣло (1 ноября, 1837). Авторитетъ Станкевича былъ всѣми и свободно признаваемый авторитетъ, и когда впослѣдствіи одинъ изъ членовъ кружка сталъ заявлять самолюбивыя притязанія на господство, Бѣлинскій рѣзко возсталъ противъ него и указывалъ при этомъ истинное превосходство Станкевича: «Станкевичъ никогда и ни на кого не налагалъ авторитета, а всегда и для всѣхъ былъ авторитетомъ, потому что всѣ добровольно и невольно сознавали превосходство его натуры надъ своею»... Позднѣе, когда Бѣлинскій дѣлалъ первыя попытки выдти изъ теоретическихъ запутанностей, онъ опять вспоминаетъ «великую геніальную душу» Станкевича, давно искавшаго той простоты, къ которой Бѣлинскій теперь только началъ приближаться (10 сент., 1838). Считая его своимъ учителемъ, Бѣлинскій однако не всегда съ нимъ сходился, но всегда высоко цѣнилъ его мнѣнія, въ которыхъ между прочимъ искалъ опоры въ своей борьбѣ съ философскими утонченностями М. Бакунина, съ которымъ теперь сошелся.

Послѣ Станкевича, кружокъ остался тѣсно сплоченнымъ, какъ прежде: здѣсь по прежнему шла мѣна и объясненіе понятій, эстетическихъ впечатлѣній, чтенія. Для Бѣлинскаго особенно кружокъ былъ необходимой сферой: издавна нелюдимый, здѣсь онъ чувствовалъ себя дома, былъ открытъ друзьямъ со всѣми своими мыслями и душевными настроеніями, здѣсь дѣлилъ горе и радости. «Въ біографіи Гофмана, — разсказываетъ онъ въ письмѣ къ Бакунину 20 іюня 1838, — я вычиталъ, что Гофманъ не читалъ критикъ и рецензій на свои сочиненія и былъ къ нимъ совершенно равнодушенъ. Написавъ сочиненіе, онъ читалъ его своимъ друзьямъ; если оно нравилось имъ, его весь міръ не могъ переувѣрить, что оно дурно. Не то же ли и въ нашемъ кругу? У насъ нѣтъ пристрастія другъ къ другу — мы говоримъ другъ о другѣ, что чувствуемъ, и потому цѣнимъ взаимнымъ судомъ и мало заботимся, что о насъ думаютъ другіе. Когда я вамъ читаю мои статьи, мнѣ бываетъ страшно — я трепещу за участь написаннаго мною: вы хвалите — я въ восторгѣ;

[1]) Для объясненія этой фразы замѣтимъ, что въ кружкѣ (уже послѣ Станкевича) былъ моментъ какого-то особеннаго моральнаго аскетизма, противъ котораго и провинился Станкевичъ по мнѣнію пріятеля.

вамъ не нравится, и я преспокойно отношу мое сочиненіе къ неудавшейся попыткѣ. Вы ко мнѣ находитесь въ такомъ же отношеніи»... Ему казалось, что они тоже своего рода Серапіоновы братья, — и это было похоже на правду. И эти Серапіоновы братья не были однообразной группой людей, повторяющихъ однѣ и тѣ же мысли;— напротивъ, здѣсь собрались люди довольно различнаго общественнаго положенія, воспитанія, вкусовъ, и вмѣстѣ люди, стремившіеся каждый къ самостоятельной выработкѣ своихъ мнѣній. Наибольшимъ авторитетомъ въ философскихъ вопросахъ сталъ пользоваться, послѣ Станкевича, упомянутый выше любитель философіи М. Бакунинъ. Въ это же время установилась тѣсная дружба Бѣлинскаго съ Василіемъ Боткинымъ, имѣвшимъ свою спеціальность въ изученіи искусства: съ тѣхъ поръ уже Боткинъ былъ великимъ поклонникомъ Шекспира и пропагандировалъ Гёте; онъ считался также авторитетомъ въ критикѣ и истолкованіи музыки; чтеніе его было весьма разнообразно. Одинъ изъ прежнихъ друзей Станкевича, Клюшниковъ, оставался и теперь въ кружкѣ (хотя не былъ вполнѣ съ нимъ близокъ), который имѣлъ въ немъ своего поэта, съ романтико-философскими темами. Стихотворенія этого поэта, писавшаго подъ буквой — ѳ —, одно время пользовались въ средѣ друзей большою репутаціей, и впослѣдствіи Бѣлинскій вспоминалъ, какъ эти стихотворенія бывали для нихъ событіемъ, предметомъ разсужденій и споровъ. Самъ поэтъ являлся въ кружкѣ въ различныхъ настроеніяхъ, отъ философской рефлексіи до ѣдкаго сатирическаго остроумія и наконецъ до крайняго мистицизма... Въ тѣ же годы, кажется еще при Станкевичѣ, является въ средѣ кружка́ Катковъ, только-что кончившій курсъ въ университетѣ въ 1838, съ тѣми же философскими вкусами. Бѣлинскій тогда очень высоко цѣнилъ этого новаго члена кружка́, который, какъ Боткинъ, бывалъ для него посредникомъ въ знакомствѣ съ «нѣмцами», напр. въ особенности съ Гегелемъ и Ретшеромъ, и, кромѣ того, привлекалъ его своимъ талантомъ поэтическаго переводчика (изъ Шекспира — «Ромео и Юлія», изъ Гейне)... Далѣе, былъ здѣсь Константинъ Аксаковъ, о личности котораго мы находимъ въ перепискѣ Бѣлинскаго самые теплые отзывы, хотя уже въ то время Бѣлинскій видѣлъ особенности его ума, предвѣщавшія ихъ позднѣйшее отдаленіе другъ отъ друга. «К. Аксакова я чѣмъ болѣе узнаю, тѣмъ болѣе люблю,—пишетъ Бѣлинскій въ ноябрѣ 1837: — это одинъ изъ малолюдной семьи сыновъ божіихъ. Онъ еще дитя... а главное дѣло, еще не искушенъ внѣшнею жизнію, внѣшнею борьбою, которыя потому необходимы человѣку, что, какъ толчки, пробуждаютъ въ немъ жизнь и борьбу внутреннюю». Въ письмѣ къ Станкевичу, въ сентябрѣ 1839, Бѣлинскій говорилъ объ Акса-

ковѣ: «Ты его знаешь; онъ, коли хочешь, много перемѣнился, но впрочемъ все тотъ же. Въ немъ есть и сила, и глубокость, и энергія; онъ человѣкъ даровитый, теплый, въ высшей степени благородный, но, благодаря своему китайскому элементу, лишающему его движенія впередъ путемъ отрицаній, онъ все еще обрѣтается въ мірѣ призраковъ и фантазій, и даже и не понюхалъ до сихъ поръ дѣйствительности» [1]... Аксаковъ, искони наклонный къ тому, что стало потомъ славянофильствомъ, почти съ дѣтства поклонникъ Москвы и русской (особенно московской) старины, въ эти годы проходилъ ту же философскую школу и увлекался до восторга поэзіей Шиллера и Гете, которыхъ прекрасно и переводилъ въ «Моск. Наблюдателѣ». Къ концу пребыванія въ Москвѣ Бѣлинскій сблизился еще съ П. Н. Кудрявцевымъ, который собственно не принадлежалъ къ первоначальному кружку Станкевича, и теперь стоялъ нѣсколько въ сторонѣ,—но Бѣлинскій очень его любилъ, восторгаясь его мягкой, поэтической натурой.—Къ концу 1839, Бѣлинскій сблизился еще съ Грановскимъ и встрѣтился съ друзьями Герцена.

Среди этихъ различныхъ характеровъ, Бѣлинскій выдѣлялся своей особенностью—пламеннымъ увлеченіемъ во всемъ, что въ ту минуту было для него истиной; постояннымъ доискиваньемъ этой истины, которую онъ вообще угадывалъ скорѣе инстинктами сильнаго ума и чувствомъ, нежели отвлеченной аргументаціей, которой предавались въ кружкѣ. Онъ оправдывалъ прозваніе «неистоваго Виссаріона»: онъ обладалъ особеннымъ бурнымъ краснорѣчіемъ, отличавшимся энергіей выраженій. Обвиняя себя однажды въ разныхъ своихъ недостаткахъ, между прочимъ въ излишней привычкѣ много говорить, Бѣлинскій замѣчаетъ, что начинаетъ исправляться отъ этого недостатка и дорожить словомъ, «какъ выраженіемъ разума»:—«но когда, одушевленный негодованіемъ,—замѣчаетъ онъ,—я съ обычною моею энергіею выражаюсь сравненіями, которыя беру гдѣ ни попало и которыя не пропустила бы никакая общественная цензура, то Боткинъ отъ меня въ восторгѣ... Тоже и Станкевичъ» (письмо къ Бакунину 20 іюня, 1838).

Бѣлинскій сильно былъ привязанъ къ кружку, который занималъ такое существенное мѣсто въ его развитіи. Только впослѣдствіи, когда самый кружокъ распадался, онъ сталъ хладнокровнѣе судить о немъ и видѣть темныя стороны, неизбѣжныя во всякой исключительной жизни кружковъ... Кружокъ скрывалъ отъ нихъ

[1]) Другой отзывъ объ Аксаковѣ, въ томъ же смыслѣ, мы найдемъ въ письмѣ 19 августа 1839, къ Панаеву (см. гл. V). См. также его некрологъ, писанный Гильфердингомъ «Спб. Вѣдомости» 1861, № 19.

дѣйствительную жизнь, а кромѣ того, бывалъ тяжелъ и въ личныхъ отношеніяхъ. «Я отъ души радъ, — говоритъ онъ въ одномъ письмѣ 1840 года, — что нѣтъ уже этого кружка, въ которомъ много было прекраснаго, но мало прочнаго; въ которомъ нѣсколько человѣкъ взаимно дѣлали счастіе другъ друга и взаимно мучили другъ друга». Послѣднее дѣйствительно случалось очень нерѣдко, какъ увидимъ. Друзья доходили до полнаго разрыва; наиболѣе прочными остались отношенія съ Боткинымъ. Въ предыдущей главѣ мы привели любящій отзывъ о немъ Бѣлинскаго, отзывъ, подобныхъ которому можно бы указать еще не одинъ изъ его переписки. Начало дружбы было чисто романтическое. Въ концѣ 1836, — «у меня завязывался узелъ новой дружбы съ Б. (разсказываетъ Бѣлинскій въ письмѣ 12 окт., 1838), къ которому я старался приходить такъ, чтобы намъ можно быть только вдвоемъ, къ которому я всегда шелъ, какъ на свиданіе любви, съ какимъ-то мистическимъ волненіемъ. Я не замѣчалъ въ немъ ни одного поступка ни одной выходки, которые обнаружили бы въ немъ (по тогдашнимъ моимъ понятіямъ) огромную и глубокую душу, но въ которомъ я почему-то чувствовалъ ее и былъ въ ней увѣренъ». Чувство было взаимное, и нѣтъ сомнѣнія, что Боткинъ, тогда только-что вступившій въ кружокъ, привязался къ Бѣлинскому въ неменьшей степени, находя въ немъ поддержку своихъ собственныхъ стремленій. Разъ онъ ночевалъ у Боткина. «Послушай, Боткинъ,— сказалъ я ему шутя: — посмотри, какъ я тебя люблю: остался ли бы я у кого-нибудь другого ночевать? И мой Боткинъ, въ отвѣтъ на это, началъ не шутя доказывать, самымъ наивнымъ и достолюбезнымъ образомъ, что онъ меня не меньше любитъ и чувствуетъ себя счастливымъ, когда бываетъ вмѣстѣ со мною. Я чуть не до слезъ хохоталъ» (ноябрь, 1837). «Добрѣйшій Василій Боткинъ,— говоритъ Бѣлинскій въ другомъ письмѣ того же времени,—съ каждымъ днемъ дѣлается добрѣе, хотя повидимому это и невозможно». Личный характеръ Боткина былъ для него предметомъ зависти. Жалуясь на тягостный ходъ своего развитія, гдѣ все—новая мысль, любовь и вражда, страданіе и блаженство—достаются ему «трудно и горестно», Бѣлинскій изображаетъ характеръ Боткина, какъ совершенную противоположность: «Онъ всегда въ гармоніи и всегда въ интересахъ духа: ко всѣмъ внимателенъ, со всѣми ласковъ, всѣми интересуется; читаетъ Шекспира, нѣмецкія книги, хлопочетъ о судьбѣ и положеніи книжекъ «Наблюдателя», часто больше меня, покупаетъ очерки къ драмамъ Шекспира, по субботамъ и воскресеньямъ задаетъ квартеты, въ которыхъ участвуетъ собственною персоною, со скрипкою подъ подбородкомъ, ѣздитъ въ театръ, рус-

скiй и французскiй,—словомъ, живетъ рѣшительно внѣ своего конечнаго *я*, въ свободномъ элементѣ бытiя, всегда веселый, ясный, свѣтлый, доступный мысли, чувству; ежели груститъ временемъ, то все-таки безъ подавляющаго духъ страданiя. Смотрю на него и дивлюсь»...... (окт. 12, 1838).

Но и эти отношенiя были однажды рѣзко порваны. Бѣлинскiй имѣлъ въ Боткинѣ преданнаго друга, оказывавшаго ему не разъ самыя существенныя услуги въ его трудныхъ матерiальныхъ обстоятельствахъ, но—именно вслѣдствiе исключительныхъ условiй кружка—попадалъ и въ такiя столкновенiя, гдѣ чувствовались въ его другѣ черты суровости и раздражительной ѣдкости, далеко не отвѣчавшiя нарисованному выше характеру, составлявшему нормальное настроенiе. Впрочемъ, дружба уцѣлѣла и въ этомъ испытанiи.

Мы замѣтили прежде, что люди, знавшiе Боткина только въ его послѣднiе годы, не могутъ по нимъ судить объ этой прежней эпохѣ, когда онъ былъ такъ открытъ всѣмъ лучшимъ стремленiямъ. Такой же ошибкой было бы дѣлать подобные выводы отъ прошедшаго къ настоящему, или обратно, и о нѣкоторыхъ другихъ лицахъ, дѣйствовавшихъ впослѣдствiи или дѣйствующихъ и теперь. Не всѣ люди кружка остались вѣрны старымъ идеальнымъ стремленiямъ, любви къ истинѣ, къ широкому свободному просвѣщенiю, какъ навсегда остались имъ вѣрны самъ Бѣлинскiй, Кудрявцевъ, Грановскiй, Аксаковъ (хотя въ другомъ направленiи) и еще нѣкоторые другiе, позднѣйшiе друзья Бѣлинскаго. Не многiе выдерживаютъ испытанiе жизни,—и мы не удивляемся, когда встрѣчаемъ въ нынѣшней литературѣ, отрицанiе отъ Бѣлинскаго въ людяхъ, жившихъ нѣкогда одними съ нимъ идеалами.

Возвращаемся къ нашему изложенiю. По отъѣздѣ Станкевича, авторитетомъ въ отвлеченныхъ вопросахъ остался М. Бакунинъ. Роль этого дилеттанта философiи въ отвлеченныхъ изученiяхъ кружка, вѣрно была указана бiографомъ Станкевича, имѣвшимъ, по времени, болѣе близкiя свѣдѣнiя, чѣмъ наши [1]).

«Дилеттантъ философiи» скоро сдѣлался однимъ изъ самыхъ жаркихъ ея поклонниковъ; она стала его признанной спецiальностью, и онъ проповѣдывалъ ее съ исключительностью, какой никогда не было у Станкевича, занятаго и другими интересами жизни, общества и науки. «Дилеттантъ, обратившiйся въ ревностнаго изслѣдователя,—говоритъ Анненковъ,—вскорѣ прiобрѣлъ даръ блестящаго изложенiя, который сообщалъ ему нѣчто похожее на роль провозвѣстника философскихъ истинъ. Къ нему прибѣгали при вся-

¹) Бiографiя Станкевича, стр. 134 и др.

комъ недоумѣніи, затруднительномъ вопросѣ, случайномъ перерывѣ идей, и пояснительная рѣчь его текла блестящею импровизаціей. Разумѣется, тутъ не могло быть какого-либо самобытнаго ученія, да и никто не думалъ о томъ, но онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, именно даромъ переработывать все вычитанное и узнанное въ собственную мысль, такъ что онъ самъ казался почти изобрѣтателемъ и родоначальникомъ поясняемаго имъ метода. Роль зодчаго, которую человѣкъ этотъ игралъ въ отношеніи каждаго, такъ или иначе накопившаго сырой, необдѣланный матеріалъ, имѣла своего рода неизбѣжныя и тяжкія условія. Вся жизнь являлась передъ нимъ сквозь призму отвлеченія, и только тогда говорилъ онъ о ней съ поразительнымъ увлеченіемъ, когда она была переведена въ идею. Все случайное, мгновенное, самобытное жизни было ему гораздо менѣе доступно, хотя усиліями обширнаго, дѣйствительно необыкновеннаго ума онъ успѣлъ возводить до понятія убѣгающія поэтическія черты жизни и такимъ образомъ овладѣвать ими, но при этомъ они уже многое теряли, и иногда то самое, что составляетъ ихъ существенную особенность». «Дилеттантъ философіи» производилъ тогда извѣстное впечатлѣніе на самого Станкевича; тѣмъ больше еще было его вліяніе на Бѣлинскаго, который по необходимости принималъ философскія ученія изъ вторыхъ рукъ и становился на первое время въ зависимость отъ истолкователя.

Отношенія Бѣлинскаго къ этому лицу, длившіяся — отъ перваго знакомства до разрыва—около трехъ-четырехъ лѣтъ, представляютъ длинный рядъ колебаній, отъ самаго энтузіастическаго поклоненія до совершенной вражды. Трудно изложить вполнѣ эти отношенія, которыя усложнялись личными обстоятельствами обоихъ лицъ, несходствомъ характеровъ и понятій о практической жизни. При первомъ знакомствѣ они не сошлись, и новое лицо просто не понравилось Бѣлинскому, но это впечатлѣніе скоро смѣнилось другимъ: крайне идеалистическое настроеніе Бѣлинскаго помогло ему увидѣть въ новомъ другѣ высокія совершенства и Бѣлинскій увлекся его философской проповѣдью. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ — когда эти отношенія были близки къ полному разрыву — Бѣлинскій съ подробностями разсказываетъ объ ихъ первомъ знакомствѣ, какъ послѣ перваго отчужденія его «плѣнило (въ новомъ другѣ) кипѣніе жизни, безпокойный духъ, живое стремленіе къ истинѣ»; онъ думалъ тогда, что узелъ дружбы завязываетъ не личность человѣка, а сходство понятій, и ихъ «общія стремленія къ высокому» показались Бѣлинскому достаточнымъ ручательствомъ за дружбу. Въ 1836 году, новый членъ кружка принялъ

извѣстное участіе въ «Телескопѣ»: имъ переведены были, изъ Фихте, четыре «Лекціи о назначеніи ученыхъ». М. Бакунинъ не былъ вовсе присяжнымъ литераторомъ, какъ Бѣлинскій, но, несмотря на то, Бѣлинскій увидѣлъ даже въ этомъ переводѣ какое-то инстинктивное, но сильное знаніе языка, увидѣлъ энергію и способность передавать другимъ свои сильныя впечатлѣнія. Нѣкоторые поступки новаго друга пріятно подѣйствовали на него съ идеалистической точки зрѣнія. Наконецъ, въ ихъ кружкѣ «глухо и таинственно носилось» представленіе о той особенной идеальной сферѣ, какую заключало въ себѣ семейство Бакуниныхъ, и на которую было нами указано въ предыдущей главѣ, и Бѣлинскій исполненъ былъ идеальными ожиданіями увидѣть и узнать эту сферу.

Около этого времени у Бѣлинскаго шла сердечная исторія, которая его чрезвычайно волновала. Въ другое время она и ему самому показалась бы довольно проста, какова она и была на самомъ дѣлѣ, но въ то время онъ примѣнилъ къ ней весь запасъ своихъ теоретическихъ и поэтическихъ увлеченій, и такъ какъ примѣненіе не соотвѣтствовало сущности дѣла, то эта исторія приводила его въ отчаяніе, и въ озлобленіе [1]). Ближайшихъ друзей, которые могли бы помочь ему въ этомъ трудномъ случаѣ, тогда съ нимъ не было. «Станкевичъ былъ тогда на Кавказѣ, — разсказывалъ впослѣдствіи Бѣлинскій,—и переписка съ нимъ шла бы медленно, а мои раны требовали скораго леченія... и если я не впалъ въ бѣшеное, изступленное отчаяніе, или въ мертвую апатію», то этимъ былъ обязанъ участію и вмѣшательству новаго друга. По его приглашенію, Бѣлинскій отправился въ деревню Бакуниныхъ, гдѣ прожилъ около трехъ мѣсяцевъ 1836 года (съ конца іюля или съ августа до конца октября): это была та поѣздка, о которой мы привели уже отзывъ Станкевича [2]). Здѣсь между нимъ и М. Бакунинымъ завязалась первая тѣсная дружба.

Въ тогдашней перепискѣ Бѣлинскаго можно встрѣтить самое восторженное удивленіе его новому другу, «огромному запасу его внутренней жизни», «могуществу его мыслей», «безконечности его созерцанія» и т. д. При всей врожденной независимости, которую за нимъ признавалъ и самъ Станкевичъ, — Бѣлинскій одно время

---

[1]) См. въ «Русскомъ» 1868, № 15. «Въ это время (около 1836 г.) Бѣлинскій увлекся страстію къ одной молоденькой мастерицѣ, взялся было за ея умственное развитіе, съ помощью чтенія избранныхъ поэтическихъ произведеній; но она скоро разбила созданный имъ идеалъ. Вообще ему часто приходилось ослѣпляться и разочаровываться въ этомъ отношеніи»... Въ перепискѣ упоминается эта «исторія съ гризеткою».

[2]) Переписка, стр. 189—190, 201.

какъ-будто не проявляетъ ея. Повидимому, философское увлеченіе кружка, приступавшаго теперь къ Гегелю, именно и подчинило его теперь авторитетамъ по этой части, Станкевичу и М. Бакунину, отнявъ у него точку опоры его прежнихъ мнѣній. Съ лѣта 1836 г. онъ въ особенности подчиняется вліянію новаго друга, которое всего сильнѣе было именно въ это первое время. Бѣлинскій прямо говорилъ, что послѣ Станкевича онъ всего больше обязанъ своимъ развитіемъ ему (письмо къ М. Бакунину 20 іюня, 1838 и друг.).

Впослѣдствіи, когда они были почти въ открытой враждѣ, Бѣлинскій продолжалъ цѣнить умственное вліяніе М. Бакунина. Онъ находилъ, что ихъ натуры совершенно несходны, даже враждебно-противоположны, хотя это самое несходство и привлекало ихъ другъ къ другу; но что одна общая черта связывала ихъ, — это критическія требованія, смѣлое отрицаніе теоретическихъ положеній, какъ скоро они не выдерживали критическаго испытанія... «Дикая мощь, безпокойное, тревожное и глубокое движеніе духа, безпрестанное стремленіе въ даль, безъ удовлетворенія настоящимъ моментомъ,—даже ненависть и къ настоящему моменту, и къ себѣ самому въ настоящемъ моментѣ, порываніе къ общему отъ частныхъ явленій»,—такъ характеризуетъ Бѣлинскій тѣ свойства ума, которыми дѣйствовалъ на него новый авторитетъ (письмо 12 окт., 1838).

Жизнь въ деревнѣ, въ 1836, по различнымъ обстоятельствамъ осталась для Бѣлинскаго памятнымъ временемъ; она не разъ вспоминается въ его перепискѣ, то въ свѣтлыхъ и ясныхъ чертахъ когда онъ представляетъ себѣ гармоническую сферу, которую он здѣсь нашелъ и которая благотворно на него дѣйствовала, то чертахъ самыхъ мрачныхъ и тяжелыхъ, когда онъ вспоминалъ св собственный внутренній разладъ, свои тогдашнія идеалистичес крайности, и наконецъ бѣдственныя внѣшнія обстоятельства. «...Ск жу только,—говоритъ онъ объ этомъ времени,—что мнѣ было х рошо, такъ хорошо, какъ и не мечталось до того времени: собы превзошло мѣру и глубину моего созерцанія и моихъ предощущ ній». Узнанная имъ теперь «идеальная сфера» подѣйствовала на не именно въ томъ направленіи, какъ предполагалъ Станкевичъ, письмѣ, приведенномъ нами прежде. Бѣлинскій вспоминаетъ пото свои тогдашнія идеалистическія крайности и романтическое реб чество и заключаетъ: «...Несмотря на все, эти три мѣсяца 1836 г всѣ до одного дня и часа, хотя они были для меня адомъ, но теперь отъ одного воспоминанія о нихъ — я чувствую вѣяніе ра Что дѣлать?—такова натура человѣка: *есть*—проклинаетъ, *было*—жалѣетъ, зачѣмъ не *есть*» (письмо 12 окт., 1838).

Постараемся объяснить эти отзывы собственными воспом
ніями Бѣлинскаго. Онъ оставлялъ Москву въ самомъ мрачном
возбужденномъ состояніи духа. Новая жизнь у Бакуниныхъ
влекла его отъ этого состоянія: «душа моя смягчилась, — пиш
Бѣлинскій: ея ожесточеніе миновало, и она сдѣлалась способно
воспринятію благихъ истинъ» (письмо къ Бакунину отъ 16
1837). Та гармонія, которую онъ встрѣтилъ въ этой жизни,
одной и главной причиной того, что онъ называлъ своимъ пр
жденіемъ; другой причиной были философскія теоріи, услышан
отъ новаго друга. Свое тогдашнее положеніе, внутреннее и вн
нее, онъ изображаетъ такимъ образомъ:

«Я ощутилъ себя въ новой сферѣ, увидѣлъ себя въ нов
мірѣ: окрестъ меня все дышало гармоніей и блаженствомъ, и
гармонія и блаженство частію проникли и въ мою душу. Я увид
осуществленіе моихъ понятій о женщинѣ; опытъ утвердилъ
вѣру. Но несмотря на все это, я уѣхалъ изъ ...на [1]) далек
тѣмъ, чѣмъ почиталъ тогда себя; я былъ только взволнованъ,
еще не перерожденъ; благодать Божія стала только доступна
но еще не сдѣлалась полнымъ моимъ достояніемъ. И потому
пребываніе въ ...нѣ, не будучи совершенно безплоднымъ, все-т
не принесло тѣхъ плодовъ, которые я думалъ, что оно уже
несло. И этому опять та же причина: разстройство внѣшней жи
Я хотѣлъ въ ...нѣ успокоиться, забыться—и до нѣкоторой сте
успѣлъ въ этомъ; но грозный призракъ внѣшней жизни (т.-е.
крайне разстроенныхъ, матеріальныхъ обстоятельствъ) отрав
мои лучшія минуты. Я не хотѣлъ думать о будущемъ; отъ
мой представлялся мнѣ въ какомъ-то туманѣ, какъ будто бы въ
я долженъ былъ провести всю жизнь мою. Всѣ житейскія поп
нія, всѣ тревоги внѣшней жизни я старался давить въ моей ду
и хотя повидимому успѣвалъ въ этомъ, но мое спокойствіе б
обманчиво; въ душѣ моей была страшная борьба. Во-первыхъ, м
о братѣ и племянникѣ, о томъ, что я для нихъ ничего не
лалъ...; потомъ мысль о томъ, что ожидаетъ меня по возвращ
въ Москву, гдѣ всѣ мои способы были уже истощены и гдѣ
ремъ спасенія оставался одинъ «Телескопъ», и тотъ ненадеж
Мои недостатки нравственные терзали меня: сравнивая свои м
венные порывы восторга съ этою жизнію ровною, гармоничес
безъ пробѣловъ, безъ пустотъ, безъ паденія и возстанія, съ эт
прогрессивнымъ ходомъ впередъ къ безконечному совершенств
ужасался своего ничтожества. Иногда было истиннымъ бальзам
больной душѣ моей то уваженіе, которое доставляли мнѣ
мгновенные, но энергическіе порывы въ любви къ истинѣ, эти
рѣдкія, но сильныя вспышки чувства; но иногда я видѣлъ во вс
этомъ слишкомъ большое участіе самолюбія, видѣлъ во всемъ эт
какую-то одежду блестящую, но безъ подкладки, какое-то зд

[1]) Названіе деревни Бакуниныхъ.

великолѣпное, но безъ фундамента, какое-то дерево вѣтвистое и пышное, но безъ корня — и я становился гадокъ самому себѣ. Не видя твоихъ сестеръ, я чувствовалъ внутри себя пожирающую лихорадку, и думалъ, что ихъ присутствіе успокоитъ душу, но когда снова видѣлъ ихъ, то снова увѣрялся, что видъ ангеловъ возбуждаетъ въ чертяхъ только сознаніе ихъ паденія. И такимъ образомъ случались цѣлые дни, когда я... искалъ общества, и находя его, бѣгалъ отъ него. Полною жизнію я жилъ только въ тѣ минуты, когда увлекался сильнымъ жаромъ въ спорахъ и, забывая себя, видѣлъ одну истину, которая меня занимала, еще тогда, когда всѣ собирались въ гостиной, толпились около рояля и пѣли хоромъ. Въ этихъ хорахъ я думалъ слышать гимнъ восторга и блаженства усовершенствованнаго человѣчества и душа моя замирала, можно сказать, въ мукахъ блаженства, потому что въ моемъ блаженствѣ, отъ непривычки ли къ нему, отъ недостатка ли гармоніи въ душѣ, было что-то тяжкое, невыносимое, такъ что я боялся моими дикими движеніями обратить на себя общее вниманіе»...

Бѣлинскій съ увлеченіемъ говоритъ о томъ, какъ отрадно дѣйствовало на него женское общество, встрѣченное здѣсь имъ. Это было для него нѣчто новое, доселѣ неизвѣстное: «я былъ вполнѣ блаженъ тѣмъ, что вѣрилъ въ существованіе на землѣ безконечно прекраснаго и высокаго, потому что видѣлъ своими глазами, видѣлъ передъ собою то, чтó доселѣ почиталъ мечтою, чтó давно почиталъ долженствовавшимъ существовать, но къ чему доселѣ не имѣлъ живой и сильной вѣры». Онъ встрѣтилъ здѣсь проявленія той идеальной женственности, которая до тѣхъ поръ была знакома только его фантазіи.

Приведенныя выдержки даютъ понятіе о чрезвычайной экзальтаціи Бѣлинскаго въ эту эпоху. Къ тому нравственному возбужденію, которое было произведено упомянутой сердечной исторіей и которое теперь продолжалось, только въ другомъ направленіи, присоединилось увлекающее вліяніе философскихъ теорій, которыя подѣйствовали на Бѣлинскаго тѣмъ сильнѣе, что его мысль уже давно занята была исканіемъ прочнаго міровоззрѣнія, на которомъ онъ могъ бы основать свои нравственныя идеи. Его другъ въ это время занимался ученіемъ Фихте, и Бѣлинскій увѣровалъ въ это ученіе. «Жизнь идеальная и жизнь дѣйствительная всегда двоились въ моихъ понятіяхъ»,—говоритъ онъ въ томъ же письмѣ; — но теперь нравственная гармонія, какую онъ видѣлъ въ новой средѣ, и знакомство съ идеями Фихте, пріобрѣтенное черезъ посредство Бакунина, убѣдили его, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ-называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота». Для него открылся новый міръ — міръ мысли: «я былъ

изумленъ, подобно Мольерову «Мѣщанину во дворянствѣ», который удивился, когда онъ узналъ отъ учителя, что онъ говорилъ прозою; я написалъ нѣсколько статей, обратившихъ на меня вниманіе, и никакъ не подозрѣвалъ, чтобы развитыя въ нихъ идеи были идеи—à priori» (письмо къ Бакунину 21 ноября, 1837). Онъ узналъ теперь, что «мышленіе есть нѣчто цѣлое, нѣчто одно, что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго и случайнаго, но все выходитъ изъ одного общаго лона, которое есть Богъ, самъ себѣ открывающійся въ твореніи. Тогда я самъ собою отбросилъ въ моихъ понятіяхъ многое, что не вязалось съ цѣлымъ и потому было ложнымъ, было остаткомъ прежнихъ убѣжденій, сдѣлавшихся теперь предубѣжденіями». Естественно, что, убѣдившись въ достоинствѣ идеальной жизни, Бѣлинскій при своей наклонности къ увлеченію подвергался опасности еще больше уйти въ чистую отвлеченность и—запутаться въ ней. Такъ это и случилось.

Прежде всего новое убѣжденіе усилило его сомнѣніе въ самомъ себѣ. «И я узналъ о существованіи этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое безсиліе усвоить ее себѣ: я узналъ рай, для того, чтобы удостовѣриться, что только приближеніе къ его воротамъ, не наслажденіе, но только предощущеніе его гармоніи и его ароматовъ — есть единственно возможная моя жизнь» (письмо къ Бакунину 16 авг., 1837). Еще нѣсколько позднѣе, Бѣлинскій говоритъ о своемъ нравственномъ состояніи въ 1836 году въ такихъ выраженіяхъ. «Для меня истина существуетъ какъ созерцаніе въ минуту вдохновенія, или совсѣмъ не существуетъ», т.-е. по свойству его ума и характера, истина обыкновенно представляется ему и дѣйствуетъ на него не какъ отвлеченность, а какъ живое представленіе; но его новый другъ познакомилъ его тогда съ мыслію чисто отвлеченной: — онъ «внесъ въ мою жизнь мысль, которой я не люблю, но безъ которой нельзя жить, безъ которой чувство переходитъ въ хаосъ противорѣчій, пожираетъ само себя». Но отвлеченная мысль, которой онъ «не любилъ», требовала особой, новой для него внутренней работы, сталкивалась съ влеченіями его личной природы, и отсюда происходила мучительная внутренняя борьба.

«Результатомъ этой борьбы должно было быть отчаяніе, оскудѣніе жизни, судорожное проявленіе жизни, въ проблескахъ, восторгахъ мгновенныхъ и дняхъ, недѣляхъ апатіи смертельной... Я лицомъ къ лицу, въ первый разъ, столкнулся съ мыслію—и ужаснулся своей пустоты. Это былъ ужасный періодъ моей жизни, но я теперь понимаю его необходимость... Я страдалъ, потому что... принесъ въ жертву моимъ конечнымъ опредѣленіямъ всѣ мои чувства, вѣрованія,

адежды, свое самолюбіе, свою личность. Это было нужно: тотъ не юбитъ истины, кто не хочетъ для нея заблуждаться и приносить й въ жертву, какъ Молоху, все, чѣмъ живешь и радуешься»... письмо 20 іюня, 1838).

Въ другомъ письмѣ (10 сент., 1838), Бѣлинскій говоритъ: «я іало принесъ жертвъ для мысли, или, лучше сказать, только одну іринесъ для нея жертву—готовность лишаться самыхъ задушевныхъ убъективныхъ чувствъ для нея», — и приписываетъ возбужденіямъ воего друга, что сдѣлалъ большое движеніе въ области мысли; но ізъ слѣдующихъ словъ видно, какимъ процессомъ Бѣлинскій усвоиалъ себѣ новое содержаніе. «Я бралъ мысли готовыя, какъ подаюкъ; но этимъ не все оканчивалось, и при одномъ этомъ я ниіего бы не выигралъ, ничего бы не пріобрѣлъ: жизнію моею, цѣною лезъ, воплей души, усвоилъ я себѣ эти мысли, и онѣ вошли глуюко въ мое существо»...

Такъ тяжело доставались ему внутренніе процессы его мысли; и мы будемъ имѣть случай видѣть, что эти выраженія Бѣлинскаго были совершенно справедливы. Въ письмахъ этого времени, какъ ни отрывочны они, встрѣчается не мало примѣровъ той тяжелой душевной борьбы, которой стоили Бѣлинскому пріобрѣтаемыя имъ убѣжденія. Онъ былъ правъ, говоря, что онъ «не любитъ мысли», т.-е. не любитъ формальной отвлеченности. «Истина» представлялась ему въ живомъ образѣ, въ опредѣленномъ воззрѣніи, нравственномъ правилѣ; въ его мышленіе всегда вторгалось горячее, ино разъ необузданное чувство, — и понятно, что если ему внушало или само представлялось теоретическое сомнѣніе или противорѣчіе, вооруженное сильными и принудительными аргументами,—онъ впадалъ въ отчаяніе и «оскудѣніе жизни»: теоретическая уступка была у него не перемѣной алгебраической формулы, но влекла за собой отказъ отъ самыхъ кровныхъ убѣжденій, съ которыми онъ сжился, съ которыми прочно связано было его восторженное чувство,—естественно, что этотъ отказъ былъ для него слишкомъ труденъ, и онъ успокоивался только тогда, когда это броженіе противорѣчій разрѣшалось паденіемъ одной системы и торжествомъ другой.

Трудно съ опредѣленностью сказать, въ какомъ именно ученіи открылся Бѣлинскому въ 1836 году тотъ «міръ мысли», о которомъ онъ говоритъ. Всего вѣроятнѣе, что здѣсь и не было какой-нибудь опредѣленной системы; но источникомъ этихъ философскихъ разсужденій были вообще Фихте, а потомъ Гегель. Бѣлинскій въ письмахъ нѣсколько разъ упоминаетъ о своемъ тогдашнемъ увлеченіи «фихтіянствомъ»: «я уцѣпился за фихтіянскій взглядъ съ энергіею

какъ видно по письмамъ, относится именно
гіянскому» періоду его мнѣній. «Ты пом-
юслѣдствіи къ Бакунину (отъ 12 октября,
тпустилъ я за столомъ, и какъ подѣйство-
Михайловича; но знаешь ли что? — я ни-
въ этой фразѣ и нисколько не смущаюсь
ю выразилъ я совершенно добросовѣстно и
й неистовой натуры тогдашнее состояніе
думалъ тогда», — говоритъ онъ, объясняя,
онялъ тогда именно въ радикальномъ по-
— «что было, то должно было быть, и если
ло и хорошо, и благо. Повторяю: искренно
илъ я этою фразою напряженное состоя-
которое *необходимо* долженъ былъ пройти».
о это было «моментомъ развитія», при-
и его взгляды были его собственнымъ тол-
і»; но, оправдывая «моментъ», Бѣлинскій
другое—именно за то, что, кромѣ своихъ
ѥній, онъ увлекался тогда фразой, жела-
рисоваться. Съ своей обычной правди-
ъ ничего и даже съ особеннымъ удареніемъ
юслѣдствіи находилъ въ своихъ тогдашнихъ
натянутаго и пошлаго. По словамъ его,
ца указывалъ ему неумѣстность многихъ
ыхъ, — «но я былъ философъ, — говоритъ

нялись минуты восторга и которыя были именно слѣдствіемъ его внутренняго раздора.

Самъ Бѣлинскій называетъ свое тогдашнее настроеніе—«распаденіемъ». «Но это распаденіе и эта отвлеченность, — замѣчаетъ онъ, — были ужаснымъ зломъ и страшною мукою для меня только въ настоящемъ, а въ будущемъ они принесли благодарные плоды, заставивъ меня серьезно подумать и передумать обо всемъ, о чемъ я прежде думалъ только слегка, и стремиться дать моему образу мыслей логическую полноту и цѣлость». Примиряясь, такимъ образомъ, съ этой прошедшей точкой зрѣнія, Бѣлинскій вспоминаетъ и другую точку зрѣнія: «Я даже примирился и съ *католическимъ* періодомъ моей жизни, — говоритъ онъ въ письмѣ 12-го октября 1838 г., — когда я былъ убѣжденъ отъ всей души, что у меня нѣтъ ни чувства, ни ума, ни таланта, никакой и ни къ чему способности, ни жизни, ни огня, ни горячей крови, ни благородства, ни чести, что хуже меня не было никого у Бога, что я пошлѣйшее и ничтожнѣйшее созданіе въ мірѣ... Да, я призналъ и созналъ и необходимость, и великую пользу для меня этого періода; теперешняя моя увѣренность въ себѣ и все, что теперь есть во мнѣ хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ этому періоду, и безъ него ничего хорошаго во мнѣ не было бы».

Какимъ образомъ окончился у Бѣлинскаго его «фихтіянскій» періодъ, мы не находимъ о томъ ясныхъ указаній въ нашемъ матеріалѣ. По всей вѣроятности «фихтіянство» [1]) было довольно кратковременно, и отвлеченность его послужила только удобнымъ переходомъ къ гегеліянству, къ которому приступилъ его наставникъ.

Знакомство съ гегеліянствомъ началось по всей вѣроятности постепенно, еще при Станкевичѣ, усвоеніемъ отдѣльныхъ гегеліянскихъ темъ: самого Гегеля Бѣлинскій узналъ нѣсколько позднѣе. Между тѣмъ къ половинѣ 1837 года мы уже находимъ у него вполнѣ развитымъ «примирительное» отношеніе къ дѣйствительности.

Съ характеромъ этого примирительнаго консерватизма всего лучше познакомятъ насъ выдержки изъ письма, писаннаго Бѣлинскимъ изъ Пятигорска, отъ 7 августа, 1837. Письмо обращено къ одному близкому человѣку (Д. П. Иванову), который не принадлежалъ къ кружку и котораго Бѣлинскій хотѣлъ ввести въ свои понятія; этотъ молодой человѣкъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, имѣлъ

---

[1]) Къ его періоду относится статья о «Системѣ нравственной философіи» Дроздова, писанная въ сентябрѣ 1836, слѣд. въ деревнѣ Бакуниныхъ. *Сочиненія, I, стр.* 283—304.

задатки къ высшему развитію, но слишкомъ подчинялся житей пустотѣ; осуждая мертвую книжную ученость тогдашняго унив тета, въ которую вѣрилъ его пріятель, Бѣлинскій указываетъ лучшій, болѣе достойный путь къ совершенствованію. Онъ изла при этомъ цѣлую программу своихъ мнѣній, которая показываетъ образъ мыслей, приведшій его потомъ къ «Бородинской Годовщ теперь уже опредѣлялся весьма положительно. Мы остановим этихъ взглядахъ Бѣлинскаго, между прочимъ, и потому, что письма—единственное изъ той поры, гдѣ Бѣлинскій подробно лагаетъ свой взглядъ на исторію и тогдашнее положеніе рус общества.

Призывая своего пріятеля на новый путь, Бѣлинскій обѣщ ему свою самую теплую дружбу, чтобы они, какъ братья, идти по пути жизни, опираясь другъ на друга, «совокупно и др борясь съ ея невзгодами и противорѣчіями, совокупно и др наслаждаясь ея радостями и блаженствомъ»... «Есть между лю братство — говоритъ онъ, — о которомъ проповѣдывалъ Хрис есть между ними родство, основанное на любви и стремлені Богу, а Богъ есть любовь и истина». И затѣмъ слѣдуетъ изложеніе его тогдашней теоріи:

«Богъ не есть нѣчто отдѣльное отъ міра, но Богъ въ потому что онъ вездѣ. Да, его, какъ говоритъ великій Іо любимѣйшій ученикъ Христа, его никто не видалъ; но онъ во вся благородномъ порывѣ человѣка, во всякой свѣтлой его мысл всякомъ святомъ движеніи его сердца. Міръ или вселенная ест храмъ, а душа и сердце человѣка, или, лучше сказать, внутр я человѣка есть его алтарь, престолъ, его *святая святыхъ*. И ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ с своемъ, ищи его въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и и ствѣ, возлюби науку и искусство, возлюби ихъ какъ цѣль требность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и хамъ въ свѣтѣ—и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаже тотъ носитъ въ себѣ Бога, потому что цѣль жизни человѣка блаженство, а блаженство заключается въ Богѣ. Богъ есть ис слѣдовательно, кто сдѣлался сосудомъ истины, тотъ есть и с Божій; кто *знаетъ*, тотъ уже и *любитъ*, потому что, не невозможно познавать, а познавая, невозможно не любить; есть вмѣстѣ и истина и любовь, и разумъ и чувство, такъ солнце есть вмѣстѣ и свѣтъ и теплота. Отвергнись, отреки мого себя для истины, будь счастливъ истиною, а не своими хами, будь счастливъ потому, что ты *знаешь* истину, а не пс что *ты* знаешь истину».

Бѣлинскій совѣтуетъ своему пріятелю бросить тотъ спе ный предметъ, которымъ онъ занимался, и обратиться къ

софіи, потому что главнѣйшимъ предметомъ изученія человѣка должна быть мысль, идея въ ея безразличномъ всемірномъ значеніи.

«Внѣ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгніетъ, но твое *я* останется; слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но *я* твое существенно и вѣчно. Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь, спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи. Если такъ, то можешь ли ты понять результатъ, не зная его причины? Можетъ ли для тебя быть понятна исторія человѣчества, если ты не знаешь, что такое человѣкъ, что такое человѣчество? Вотъ почему философія есть начало и источникъ всякаго знанія, вотъ почему безъ философіи всякая наука мертва, непонятна и нелѣпа.

«Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтлѣнію черезъ причастіе, христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ долженъ ты очистить свою душу отъ проказы земной суеты, холоднаго себялюбія, отъ обольщеній внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины. Искусство укрѣпитъ и разовьетъ въ тебѣ любовь; оно дастъ тебѣ религію или *истину въ созерцаніи*, потому что религія есть *истина въ созерцаніи*, тогда какъ философія есть *истина въ сознаніи*. Кто увѣренъ въ истинѣ по чувству и не можетъ вывести ее изъ разума собственною свободною самостоятельностью, для того *истина существуетъ только въ созерцаніи*. Но, не имѣя истины въ созерцаніи, невозможно имѣть ее и въ сознаніи. Ты былъ еще ребенкомъ, а уже умѣлъ отличать добро отъ зла, истину ото лжи — значитъ, что истина въ созерцаніи всегда предшествуетъ истинѣ въ сознаніи. Но въ дѣтствѣ ты могъ чувствовать только житейскую, практическую истину; теперь ты долженъ пріобрѣсти созерцаніе истины отвлеченной, чистой, и это созерцаніе дается тебѣ искусствомъ».

Бѣлинскій объясняетъ далѣе, какъ необходимо заниматься искусствомъ, и что заниматься имъ должно набожно, благоговѣйно, — не для удовлетворенія самолюбія, не для того, чтобы умѣть сказать что-нибудь о томъ или другомъ писателѣ, а для высшаго наслажденія, свойственнаго одному духу... Но однимъ искусствомъ нельзя заниматься безпрестанно, потому что оно требуетъ занятія свободнаго, а душа утомляется подъ тяжестью впечатлѣній... Для начала философскихъ занятій, къ которымъ хотѣлъ приступить его пріятель, — Бѣлинскій не совѣтуетъ читать самого Гегеля — «ты тутъ ровно ничего не поймешь», а указываетъ болѣе доступныя, популярныя книги. Онъ хвалитъ своего пріятеля за желаніе заняться

философіей, и снова изображаетъ ея великое значеніе, и «пуще всего» остерегаетъ пріятеля отъ «политики».

«Доброе дѣло! Только въ ней (въ философіи) ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастіемъ, какого толпа и не подозрѣваетъ, и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастіе, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастія. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, — тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ. Просвѣщеніе — вотъ путь ея къ счастію»...

Слѣдуетъ изложеніе его «политическихъ» мнѣній, чрезвычайно любопытное для сравненія съ дальнѣйшимъ развитіемъ его взглядовъ.

«Для Россіи, — говоритъ Бѣлинскій, — назначена совсѣмъ другая судьба, нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе и наукъ, и искусства, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою законность и свою хорошую сторону. Франція есть страна опыта, примѣненія идей къ жизни. Совсѣмъ другое назначеніе Россіи. Если хочешь понять ея назначеніе — прочти исторію Петра Великаго — онъ объяснитъ тебѣ все. Ни у какого народа не было такого государя. Всѣ великіе государи другихъ народовъ ниже Петра; всѣ они были выраженіемъ жизни своихъ народовъ и только выполняли волю своихъ народовъ, творя великое, словомъ, всѣ они были подъ вліяніемъ своихъ народовъ. Петръ, наоборотъ, былъ выскочкою изъ своего народа, онъ не воспиталъ его, но перевоспиталъ, не создалъ, но пересоздалъ. Цари всѣхъ народовъ развивали свои народы, опираясь на прошедшее, на преданіе; Петръ оторвалъ Россію отъ прошедшаго, разрушивъ ея традицію, и теперь смѣшно и жалко смотрѣть на нашихъ пустоголовыхъ ученыхъ и поэтовъ, которые ищутъ народности для мышленія и искусства въ исторіи съ Рюрика до Алексѣя, въ этой допотопной исторіи Россіи. Петръ есть ясное доказательство, что Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получитъ то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже много получила отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу — значитъ погу-

бить его. Дать Россіи, въ теперешнемъ ея состояніи, конституцію — значитъ погубить Россію. Въ понятіи нашего народа, свобода есть *воля*, а воля — озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые брѣютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ, хотя бы, впрочемъ, у большей части этихъ дворянъ не было ни дворянскихъ грамотъ, ни копѣйки денегъ. Вся надежда Россіи на просвѣщеніе, а не на перевороты, не на революціи и не на конституціи. Во Франціи были двѣ революціи и результатомъ ихъ конституція — и что же? въ этой конституціонной Франціи гораздо менѣе свободы мысли, нежели въ самодержавной Пруссіи. И это оттого, что свобода конституціоная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настаетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи, на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла. Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждаго индивида, составляющаго народъ, а внутренняя свобода пріобрѣтается сознаніемъ. И такимъ-то прекраснымъ путемъ достигнетъ свободы наша Россія. Приведу тебѣ еще примѣръ. Наше правительство не позволяетъ писать противъ крѣпостного права, а между тѣмъ исподволь освобождаетъ крестьянъ. Посмотри, какъ, благодаря тому, что у насъ нѣтъ майоратства, издыхаетъ наше дворянство само собою, безъ всякихъ революцій и внутреннихъ потрясеній. И если у насъ будутъ дѣти, то, доживя до нашихъ лѣтъ, они будутъ знать о крѣпостномъ правѣ, какъ о фактѣ историческомъ, какъ о дѣлѣ прошедшомъ. И все это сдѣлается прочнѣе и лучше. Давно ли мы съ тобою живемъ на свѣтѣ, давно ли помнимъ себя, и уже посмотри, какъ перемѣнилось общественное мнѣніе: много ли теперь осталось тирановъ-помѣщиковъ, а которые и остались, не призираютъ ли ихъ самые помѣщики? Видишь ли, что и въ Россіи все идетъ къ лучшему. Давно ли паденіе при дворѣ сопровождалось ссылкою въ Сибирь? А теперь оно сопровождается много, много если ссылкою въ свою деревню. Давно ли Минихъ, фельдмаршалъ, герой, былъ осужденъ на четвертованіе и только по милосердію императрицы былъ сосланъ на всю жизнь въ Сибирь, а теперь уже и насъ съ тобою, людей совершенно ничтожныхъ въ гражданскомъ отношеніи, не будутъ четвертовать даже и въ такомъ случаѣ, когда бы мы были достойны этого. Помнишь ли ты, какъ отличались, какъ мило вели себя господа военные, особенно кавалеристы, въ царствованіе Александра, котораго мы съ тобою видѣли собственными глазами за годъ или за два до его смерти? Помнишь ли ты, какъ они нахальствовали на постояхъ, увозили женъ отъ мужей, изъ одного удальства, были ужасомъ и страхомъ мирныхъ гражданъ и безнаказанно разбойничали? А теперь? Теперь они тише воды, ниже травы. Ты уже не боишься ихъ, если имѣешь несчасті быть фрачникомъ, или имѣть мать, сестру, жену, дочь. Не болѣ какъ года за два до нашего поступленія въ университетъ, студен были не лучше военныхъ, и еще при насъ академисты изрѣдка св шали подобные подвиги, — а теперь? Теперь студентъ, который состояніи выпить ведро вина и держаться на ногахъ, уже не зас

жить, какъ прежде, благоговѣйнаго удивленія отъ своихъ товарищей, но возбудитъ къ себѣ ихъ презрѣніе и ненависть. А что всему этому причиною? Установленіе общественнаго мнѣнія, вслѣдствіе распространенія просвѣщенія, и, можетъ быть, еще болѣе того, самодержавная власть. Эта самодержавная власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла. Она пропускаетъ къ намъ изъ-за границы такія книги, которыя никакъ не позволитъ перевести и издать. И что-жъ, все это хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ, потому что мысль, которая тебя можетъ сдѣлать лучше, погубила бы мужика, который, естественно, понялъ бы ее ложно. Правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что произведетъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей. Въ моихъ глазахъ эта мѣра превосходна и похвальна. Главное дѣло въ томъ, что граница Россіи со стороны Европы не есть граница мысли, потому что мысль свободно проходитъ чрезъ нее, но есть граница вреднаго для Россіи политическаго направленія, а въ этомъ я не вижу ни малѣйшаго стѣсненія мысли, но напротивъ, самое благонамѣренное средство къ ея распространенію. Вино полезно для людей взрослыхъ и умѣющихъ имъ пользоваться, но гибельно для дѣтей, а политика есть вино, которое въ Россіи можетъ превратиться даже въ опіумъ».

Бѣлинскій приводитъ въ примѣръ книгу Ламеннé, «Les paroles d'un croyant», которая надѣлала передъ тѣмъ много шуму въ Европѣ, и объясняетъ, какъ вредно могла бы подѣйствовать у насъ на молодые умы эта книга, гдѣ Христосъ представленъ какимъ-то политическимъ заговорщикомъ: самъ Бѣлинскій началъ-было читать ее и бросилъ, потому что книга эта нагнала на него скуку и досаду.

«Итакъ, оставимъ идти дѣламъ, какъ они идутъ, и будемъ вѣрить свято и непреложно, что все идетъ къ лучшему, что существуетъ одно добро, что зло есть понятіе отрицательное и существуетъ только для добра, а сами обратимъ вниманіе на себя, возлюбимъ добро и истину, путемъ науки будемъ стремиться къ тому и другому»...

Знать политическія дѣла Европы намъ совершенно безполезно, мы ничего не сдѣлаемъ съ этимъ знаніемъ,—

«Но когда ты возвысишься до той любви, которая полагаетъ душу свою за братій, когда ты постигнешь ясно свое назначеніе и обнимешь умомъ своимъ міровыя истины, тогда ты всегда и вездѣ будешь полезенъ своему отечеству. Если тебѣ будетъ ввѣрена судьба твоихъ ближнихъ — эта судьба будетъ вѣрна, потому что она предается человѣку благородному и просвѣщенному... Быть апостолами просвѣщенія — вотъ наше назначеніе. Итакъ, будемъ подражать апостоламъ Христа, которые не дѣлали заговоровъ и не основывали и

явныхъ, ни тайныхъ политическихъ обществъ, распространяя ученіе своего божественнаго учителя, но которые не отрекались отъ него передъ царями и судіями и не боялись ни огня, ни меча. Не суйся въ дѣла, которыя до тебя не касаются, но будь вѣренъ своему дѣлу, а твое дѣло — любовь къ истинѣ; да, впрочемъ, тебѣ никто и не помѣшаетъ служить ей, если ты не будешь вмѣшиваться не въ свои дѣла. Итакъ, учиться, учиться, и ещё-таки учиться! Къ чорту политику, да здравствуетъ наука! Во Франціи и наука, и искусство, и религія сдѣлались, или, лучше сказать, всегда были орудіемъ политики, и потому тамъ нѣтъ ни науки, ни искусства, ни религіи, и потому, еще больше французской политики, бойся французской науки, въ особенности французской философіи. Право народное должно выходить изъ права человѣческаго, а право человѣческое должно выходитъ изъ вопроса о причинѣ и цѣли всего сущаго, а вопросъ этотъ есть задача философіи. Французы же все выводятъ изъ настоящаго положенія общества и потому у нихъ нѣтъ вѣчныхъ истинъ, но истины дневныя, т.-е. на каждый день новыя истины. Они все хотятъ вывести не изъ вѣчныхъ законовъ человѣческаго разума, а изъ опыта, изъ исторіи, и потому не удивительно, что они въ концѣ XVIII вѣка хотѣли возобновить римскую республику, забывъ, что одно и тоже явленіе не повторяется дважды, и что римляне не примѣръ французамъ. Опытъ ведетъ не къ истинѣ, а къ заблужденію, потому что факты разнообразны до безконечности и противорѣчивы до такой степени, что истину, выведенную изъ одного факта, можно тотчасъ же пришибить другимъ фактомъ; найти же внутреннюю связь и единство въ этомъ разнообразіи и противорѣчіи фактовъ можно только въ духѣ человѣческомъ, слѣд., философія, основанная на опытѣ, есть нелѣпость. Новѣйшіе французы хватились за нѣмцевъ, но не поняли ихъ, потому что французъ никогда не можетъ возвыситься до всеобщности и, на зло самому себѣ, всегда остается французомъ, а въ области мышленія должны исчезать всѣ національныя различія и долженъ оставаться одинъ *человѣкъ*. Итакъ, къ чорту французовъ; ихъ вліяніе, кромѣ вреда, никогда ничего не приносило намъ. Мы подражали ихъ литературѣ — и убили свою... Германія — вотъ Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества, вотъ куда съ надеждою и упованіемъ должны обращаться его взоры... Доселѣ христіанство было истиною въ созерцаніи, словомъ, — было вѣрою; теперь оно должно быть истиною въ сознаніи — философіею. Да, философія нѣмцевъ есть ясное и отчетливое, какъ математика, развитіе и объясненіе христіанскаго ученія, какъ ученія, основаннаго на идеѣ любви и идеѣ возвышенія человѣка до божества, путемъ сознанія. Мнѣ кажется, что юной и дѣвственной Россіи должна завѣщать Германія и свою семейственную жизнь, и свои общественныя добродѣтели и свою мірообъемлющую философію. У насъ много зла, много безалаберщины, много чуждыхъ вліяній, и худыхъ, и хорошихъ, но этотъ-то безпорядокъ и ручается за наше прекрасное будущее, потому что еще никакое чуждое вліяніе, худое или хорошее, не взяло у насъ рѣшительнаго перевѣса. Мы, по праву, наслѣдники всей Европы. Итакъ, наше (т.-е. насъ, молодыхъ людей) назначеніе *уже и теперь ясно*: мы должны начать этотъ союзъ съ Германіею»

Припомнимъ сдѣланное нами замѣчаніе, что это примирительное направленіе, это довольство русской дѣйствительностью высказались именно тогда, когда эта дѣйствительность была къ Бѣлинскому всего суровѣе, потому что въ это время его матеріальныя обстоятельства были по истинѣ ужасны.

Къ концу 1837 года (по возвращеніи Бѣлинскаго съ Кавказа) среди новыхъ усилій какъ-нибудь устроить свои дѣла, начинаются снова и философскіе поиски.

Въ кружкѣ сталъ складываться болѣе опредѣленный взглядъ на жизнь. Личная жизнь становилась теоретической задачей, разрѣшеніе которой производилось съ большими усиліями мысли, съ поправками и критикой друзей. Цѣлью стремленій была «полная жизнь духа», жизнь «абсолютная», т.-е. заключавшая въ себѣ удовлетвореніе всѣхъ высшихъ нравственныхъ интересовъ человѣка, растолкованныхъ философіей. «Абсолютная жизнь» была равнозначительна пребыванію въ любви, благодати, въ царствѣ божіемъ,— такъ что философскій идеализмъ совпадалъ съ религіознымъ. Такъ какъ, очевидно, только немногіе могли достигать абсолютной жизни, то люди дѣлились на двѣ категоріи: людей, осѣненныхъ благодатью и потому способныхъ къ абсолютной жизни, и на людей, ведущихъ только внѣшнюю, почти животную жизнь. «Тебѣ извѣстны мои понятія о людяхъ,—пишетъ Бѣлинскій къ Бакунину 15 августа 1837 года:—ты знаешь, что я раздѣляю ихъ на два класса—на людей съ зародышемъ любви и людей, лишенныхъ этого зародыша. Послѣдніе для меня—скоты, и я почитаю слабостью всякое снисхожденіе къ нимъ». Но за то, какъ бы ни заблуждался, ни палъ человѣкъ съ зародышемъ чувства и инстинктомъ истины, онъ всегда считалъ его своимъ братомъ.

Свое понятіе о благодати, открывающей путь къ абсолютной жизни, Бѣлинскій опредѣляетъ въ письмѣ такимъ образомъ:

«Благодать Божія не дается намъ свыше, но лежитъ, какъ зародышъ, въ насъ самихъ; но не въ нашей волѣ вызывать ея дѣйствіе, и въ этомъ отношеніи она намъ дается. Человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать для своего совершенства, дѣйствуя своею волею *положительно*, но много можетъ для него сдѣлать, дѣйствуя ею *отрицательно*. Я не могу возбудить въ себѣ чувства, когда оно замерло во мнѣ, не могу наполнить блаженствомъ мою душу, убитую и истощенную порокомъ, словомъ, я не могу взять себѣ добродѣтель, но могу бросить порокъ. Тогда во мнѣ не останется ничего, потому что не быть порочнымъ еще не значитъ быть добродѣтельнымъ; я буду пустъ совершенно. Но для человѣка съ потребностію жизни нельзя долго оставаться въ состояніи пустоты: сильнѣйшее начало его натуры скоро должно взять верхъ, если только онъ не вздумаетъ удовольствоваться отрицательнымъ совершенствомъ, н

такъ какъ для послѣдняго случая надо родиться подлецомъ, пошлякомъ, квакеромъ, сектантомъ и не имѣть никакого зародыша человѣческой жизни, то, повторяю, добро должно въ немъ восторжествовать. Противъ этого нельзя спорить.

Въ другомъ письмѣ Бѣлинскій высказываетъ свое понятіе о «долгѣ», какъ вещи чисто принудительной и узкой, и о «любви», какъ мотивѣ непосредственномъ, свободномъ и широкомъ. «Я понимаю долгъ какъ необходимый переходъ, какъ неизбѣжную степень сознанія, но не какъ абсолютную истину, и знаю, что конкретная жизнь — только въ блаженствѣ абсолютнаго знанія, и что человѣкъ—самъ себѣ цѣль... Только благодать есть основа и условіе истинной жизни. Безъ любви жизнь можетъ быть только благоразумна, но не разумна, а благоразумная жизнь [1]) для меня тождественна съ подлою жизнію» (21 ноября, 1837).

Такъ какъ огромное большинство общества показывало очень малую способность къ «высшей жизни духа», то естественно, что кружокъ, и Бѣлинскій особенно, несмотря на все признаніе разумности общественнаго statuquo, относился недовѣрчиво, и даже враждебно къ господствующимъ понятіямъ большинства съ точки зрѣнія «высшей жизни». Походить на это большинство было позорно: заслужить въ «обществѣ» титло «солиднаго», «почтеннаго» человѣка (по обычнымъ понятіямъ) въ глазахъ кружка, и особенно Бѣлинскаго, значило совсѣмъ уронить себя; термины «добрый малый», bon vivant, bon camarade — считались настоящими бранными словами, синонимомъ безнадежной и жалкой пустоты и ничтожества. «Я на этотъ счетъ очень *чувствителенъ*,—говоритъ Бѣлинскій въ письмѣ къ Бакунину 16 августа 1837 г.—для меня дышать однимъ воздухомъ съ пошлякомъ и бездушникомъ все равно, что лежать съ связанными руками и ногами».

Нравственные вопросы рѣшались съ абсолютной точки зрѣнія, и внутреннее чувство правды, искренность ставилась надъ внѣшними требованіями и рутинными понятіями долга; лицемѣріе, внѣшняя формальная нравственность, добродѣтель изъ разсчета возбуждали здѣсь ожесточенную ненависть. Бѣлинскій съ обычнымъ жаромъ, отличавшимъ его бесѣды съ друзьями, выражался объ этомъ, напримѣръ, такими словами:

«Я презираю и ненавижу добродѣтель безъ любви, и скорѣе рѣшусь стремглавъ броситься въ бездну порока и разврата, съ ножемъ въ рукахъ на большихъ дорогахъ добывать свой насущный

[1]) *Т.-е. «отрицательное* совершенство», о которомъ сейчасъ упомянуто.

кусокъ хлѣба, нежели, затоптавъ свое чувство и разумъ ногами въ грязь, быть добрымъ квакеромъ, пошлымъ резонеромъ, пуританиномъ, раскольникомъ, добрымъ по разсчету, честнымъ по эгоизму, не воровать у другихъ, чтобы другимъ не дать права воровать у себя, не рѣзать ближняго, чтобы ближній не рѣзалъ меня. Ты знаешь, что, въ моихъ глазахъ, женщина, принадлежавшая многимъ по побужденію чувственности, есть женщина развратная... но гораздо менѣе развратная... нежели женщина, которая одному отдала себя на всю жизнь, по разсчету или по чувству долга, или женщина, которая, любивъ одного, вышла за другого изъ уваженія къ родительской волѣ и общественному мнѣнію, боролась съ своимъ чувствомъ, какъ съ преступленіемъ, и, побѣдивъ его..., убила въ себѣ всѣ человѣческія искры»...

Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій еще въ болѣе рѣшительныхъ выраженіяхъ высказываетъ свое отвращеніе къ отсутствію высшихъ нравственныхъ интересовъ чувства и мысли.

«Живя въ Пятигорскѣ,—разсказываетъ онъ,—я перечелъ множество романовъ и между ними нѣсколько Куперовыхъ, изъ которыхъ вполнѣ понялъ стихіи сѣверо-американскихъ обществъ: моя застоявшаяся, сгустившаяся отъ тины и паутины, но еще не охладѣвшая кровь кипѣла отъ негодованія на это гнусно-добродѣтельное и честное общество торгашей, новыхъ жидовъ, отвергшихся отъ Евангелія и признавшихъ старый Завѣтъ. Нѣтъ, лучше Турція, нежели Америка; нѣтъ—лучше быть падшимъ ангеломъ, т.-е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизистою лягушкою! Лучше вѣчно валяться въ грязи и болотѣ, нежели опрятно одѣться, причесаться и думать, что въ этомъ-то состоитъ все совершенство человѣческое».

Разумѣется само собою, что въ абсолютной жизни или полной жизни духа любовь и женщина играли чрезвычайно важную роль; отъ нихъ могла зависѣть самая возможность абсолютной жизни. Любовь объяснилась, какъ и вообще личное нравственное развитіе, съ помощью отвлеченныхъ хитросплетеній. Почти о всѣхъ друзьяхъ кружка упоминаются въ перепискѣ Бѣлинскаго факты этого рода, подвергаемые обсужденію съ философской точки зрѣнія. Отрывокъ изъ одного подобнаго разсужденія Бѣлинскаго (ноябрь, 1837) дастъ понятіе о тонѣ, въ какомъ разбирался этотъ вопросъ:

«Любовь есть гармонія, а гармонія во взаимности... Потребность любви выходитъ изъ потребности осуществленія, обособленія... истины въ идеѣ—въ истинѣ въ явленіи. Истина сама по себѣ есть нѣчто отвлеченное, есть Seyn, но не Daseyn: нуженъ извѣстный образъ для осуществленія этой истины, а этотъ образъ долженъ быть человѣческій, потому что человѣкъ есть по преимуществу истина въ явленіи. Почему же нуженъ человѣкъ другого пола, это я объясняю моею теоріею гармоніи въ противоположности... Мо-

ментъ сознанія любви есть моментъ вдохновенія, а вдохновеніе, по Гегелю, есть внезапная способность оцѣнить истину. Истина (относу сюда и благо, и красоту) одна, но проявленія ея различны, точно также какъ поэзія одна, но есть поэзія Шекспира, есть поэзія Гете, есть поэзія Шиллера. Всякому нужна истина въ извѣстномъ образѣ. Вотъ почему изъ двадцати женщинъ, равно прекрасныхъ и лицомъ и душою, можно не колеблясь полюбить и избрать одну. Родственность душъ, а слѣдовательно и самыхъ организмовъ, рѣшаетъ выборъ. Итакъ, когда мужчина встрѣчаетъ въ женщинѣ свою истину, или, вѣрнѣе, свою форму истины, то онъ приходитъ въ состояніе вдохновенія или находитъ въ себѣ внезапно силу сознать эту истину. Эта теорія вѣрна. Прежде наша ошибка состояла въ томъ, что мы думали, что для каждой души есть только *одна* родная ей душа, и потому сбились на фатализмъ. Нѣтъ, у міродержавнаго промысла нѣтъ лабораторій для подобныхъ двойчатокъ, нѣтъ этой аккуратной и отчетливой экономіи. Для каждаго изъ насъ существуетъ множество родныхъ душъ, стоящихъ, въ отношеніи къ намъ, на большей или меньшей степени родства; скажу болѣе, для каждаго изъ насъ можетъ существовать не одна душа въ равной степени родства. Первая встрѣча рѣшаетъ нашу судьбу, и счастливая, раздѣленная любовь есть встрѣча съ *родною вполнѣ* душой, а несчастная, нераздѣленная, — съ душою, которая стоитъ, въ отношеніи къ нашей душѣ, только на нѣкоторой степени родства, и которая только тревожитъ насъ, но не удовлетворяетъ. Такого рода любовь продолжается только до встрѣчи съ вполнѣ родною душою, безъ этой же встрѣчи она можетъ не оставлять насъ во всю жизнь, давая намъ какое-то грустное и неполное блаженство. Меня всегда смущала любовь Татьяны къ Онѣгину, какъ любовь глубокая и возвышенная, но не раздѣленная: теперь я увѣрился, что она не была нераздѣленною. Онѣгинъ человѣкъ не пошлый, но опошленный, и потому не узналъ своей родной души; Татьяна же узнала въ немъ свою родную душу, не какъ въ полномъ ея проявленіи, но какъ въ возможности. Онѣгинъ презиралъ женщинъ; побѣда безъ борьбы для него не имѣла цѣны. Онъ полюбилъ Татьяну, какъ скоро для его чувства предстало препятствіе, борьба. И его любовь была глубока»...

Бѣлинскій прибавляетъ, что нѣчто подобное случилось съ однимъ человѣкомъ, извѣстнымъ въ ихъ кругѣ, и замѣчаетъ: «пріятно, когда факты подтверждаютъ умозрѣніе».

Въ приведенномъ отрывкѣ Бѣлинскій упоминаетъ прежнее ошибочное понятіе друзей о родствѣ душъ (что «для каждой души есть только *одна* родная ей душа»), приводившее ихъ къ фатализму. Въ другомъ письмѣ Бѣлинскаго мы находимъ нѣкоторыя подробности объ этомъ, болѣе раннемъ взглядѣ кружка: онѣ изложены, впрочемъ, съ такой простотой выраженія, вообще отличавшей бесѣды друзей и оставшейся отъ студенческой открытости,—что ихъ трудно здѣсь привести. Довольно сказать, что это былъ изысканный и чисто

юношескій романтизмъ, столь буквально понимаемый, что, по теоріи полнаго и исключительно *парнаго* родства душъ, въ практическомъ отношеніи для друзей оставался выходъ—или въ идеальнѣйшія отношенія къ женщинѣ или въ вульгарныя, но такъ какъ подлинная пáрная родственность душъ отыскивалась не легко, то самая философская теорія и приводила къ послѣднимъ...

Въ томъ деревенскомъ кругѣ, который показался Бѣлинскому столь новой и благотворной атмосферой, его идеалистическое настроеніе получило обильную пищу, тѣмъ болѣе, что здѣсь не осталось незатронутымъ и его чувство. Это чувство не было глубокое, самъ Бѣлинскій долго не могъ опредѣлить себѣ его теоретическую степень—это и былъ признакъ, что это чувство не владѣло имъ вполнѣ и возникло только благодаря условіямъ тогдашней жизни, открывавшимъ его сердце для идеальныхъ ощущеній; притомъ чувство не встрѣтило отвѣта, который бы могъ его поддержать. При всемъ томъ, «событіе» долго занимало Бѣлинскаго, и онъ приписывалъ ему большую цѣну для своего нравственнаго существованія. Въ такихъ выраженіяхъ онъ говоритъ объ этомъ въ ноябрѣ 1837.

«... Теперь... должно разстаться съ прекрасною мечтою, хотя это и больно для моего прекраснодушія... Конечно, я срѣзался, и срѣзался жестоко, не столько передъ другими, сколько передъ самимъ собою, и самолюбіе мое очень страждетъ; но ошибка, какъ ошибка, оскорбленное самолюбіе, разныя глупости, фарсы и претензіи (а ихъ было довольно) пройдутъ и изгладятся изъ памяти, какъ все призрачное; но всегда останутся со мною прекрасные порывы прекраснаго чувства, и святая грусть, и святая радость, и все, что было тутъ истиннаго и потому прекраснаго (а его было тоже довольно). Я никогда не забуду, что этотъ случай открылъ мнѣ глаза для созерцанія истины, для которой я прежде былъ слѣпъ, и если я теперь замѣчаю въ себѣ отъ времени до времени значительные прогрессы, то ими обязанъ все этому же событію въ моей жизни» [1].

Увлеченіе Бѣлинскаго было тѣмъ естественнѣе, что деревенскій кругъ со многихъ сторонъ располагалъ къ идеальности. Слово «абсолютъ» слышалось даже изъ женскихъ устъ [2]; молодое женское поколѣніе занималось отвлеченными предметами поэзіи и искусства; здѣсь были извѣстны Гете и Беттина, и для послѣдней почти готовы были подражанія.

---

[1]) Терминъ «прекраснодушіе», очень употребительный тогда между друзьями, означалъ въ буквальномъ переводѣ съ нѣмецкаго—Schönseeligkeit, особую ступень развитія, гдѣ пониманіе высшаго содержанія оставалось неполнымъ и не входило въ самую жизнь, вслѣдствіе недостатка воли или сильнаго чувства истиннаго и прекраснаго.

[2]) Ср. цитированныя выше воспоминанія Лажечникова.

Въ столь же «абсолютномъ» смыслѣ понималась и дружба — важный вопросъ, который съ той поры еще долго былъ предметомъ споровъ между друзьями. Отношенія Бѣлинскаго съ главными членами кружка были самыя близкія. Между ними, можно сказать, не было тайнъ. Вопросы жизни они ставили такъ возвышенно и съ такой солидарностью одной школы, что личные интересы и поступки каждаго становились дѣломъ всѣхъ. Права дружбы были самыя широкія. Бѣлинскій (въ ноябрѣ 1837) высказываетъ, что «истинная дружба можетъ существовать только при условіи безконечной довѣренности и совершенной откровенности». Понятно, какъ трудно было удерживаться дружбѣ при этомъ условіи, во-первыхъ, тамъ, гдѣ «совершенная откровенность» дотрогивалась до самыхъ чувствительныхъ струнъ другого, и гдѣ, во-вторыхъ, права дружбы понимались друзьями не всегда ровно. Бакунинъ, пріобрѣвшій авторитетъ въ рѣшеніи философскихъ вопросовъ, пользовался имъ съ нетерпимостью, которая наконецъ стала отяготительна и вызвала со стороны Бѣлинскаго сопротивленіе. Кромѣ того, дружба, а тѣмъ болѣе «абсолютная», стала очень затруднительна при большомъ различіи характеровъ и другихъ обстоятельствахъ, которыя, съ одной стороны, тѣсно связывали этихъ людей, съ другой—умножали поводы къ столкновеніямъ. Неполнота свѣдѣній и условія нашего труда не даютъ намъ возможности изложить вполнѣ эти отношенія, гдѣ дружба слишкомъ часто стала мѣняться съ враждой. Довольно сказать, что эти смутныя отношенія, объясняемыя обѣими сторонами съ помощью философской аргументаціи объ «абсолютной» жизни и требованіяхъ житейскаго здраваго смысла, были для Бѣлинскаго, въ теченіе 1837—39 годовъ и даже позднѣе, предметомъ большихъ хлопотъ и тревоги. Бѣлинскій признавалъ все вліяніе своего друга на свое теоретическое развитіе, считалъ себя обязаннымъ ему въ этомъ отношеніи, но не хотѣлъ ни уступить ему своей самостоятельности, ни оставить безъ возраженій его мнѣній и иныхъ поступковъ, которымъ не сочувствовалъ; наконецъ, выступилъ полемически противъ него и кончилъ «сверженіемъ авторитета», какъ самъ объ этомъ выражался.

«Дружба» подверглась испытаніямъ и съ другой стороны: «безконечная довѣренность» и «совершенная откровенность» привели потомъ къ ожесточенному раздору и съ Боткинымъ.

Вопросъ дружбы, такимъ образомъ, обходился Бѣлинскому очень дорого, но, въ концѣ-концовъ, эти споры помогли ему избавиться отъ лишнихъ романтическихъ преувеличеній и фантазій. Въ его тогдашнемъ, до послѣдней степени идеалистическомъ настроеніи, это возвращало его съ облаковъ къ дѣйствительной жизни.

Встрѣчались, наконецъ, и такіе трудные моральные вопросы, для разрѣшенія которыхъ друзья чувствовали себя безсильными. Бѣлинскій говоритъ однажды полу-шутя, но и полу-серьезно объ одномъ подобномъ вопросѣ: «это могъ бы рѣшить только одинъ Гегель, а не мы, находящіеся подъ вліяніемъ внѣшности, и даже преданія»...

Искусство, среди отвлеченностей «фихтіянства» и гегелевой философіи, оставалось господствующимъ интересомъ, потому что всѣ вопросы сводились къ нѣму такъ или иначе. Бѣлинскій предпринималъ особыя работы, чтобы выяснить значеніе искусства, которое раскрывалось ему въ новыхъ философскихъ изученіяхъ, и также высшіе вопросы «абсолютной жизни», на которыхъ теперь сосредоточивалось его вниманіе. Живя въ Пятигорскѣ, Бѣлинскій писалъ къ Бакунину 16 авг. 1837 г. о своихъ занятіяхъ этими предметами, и, жалуясь на разстройство дѣлъ, его сильно тогда смущавшее, замѣтилъ:

«Зато кое-что обдумалъ — и не худое, лишь бы вопросъ — быть или не быть, рѣшился въ мою пользу. Много думалъ объ искусствѣ, и, наконецъ, постигъ его значеніе, вопросъ о которомъ давно мучилъ меня. Лишь бы благодать Божія снова проникла въ мою завялую и засохшую душу, а то я составилъ планъ хорошаго сочиненія, гдѣ, въ формѣ писемъ или переписки друзей, хочу изложить всѣ истины, какъ постигъ я ихъ, *о цѣли человѣческаго бытія* или *счастіи*. Я дамъ этимъ истинамъ практическій характеръ, доступный всякому, у кого есть въ груди простое и живое чувство бытія; обѣ мои статьи... [1]) войдутъ сюда, передѣланныя въ своей формѣ, очищенныя отъ многословія и противорѣчій. Здѣсь я разовью, какъ можно подробнѣе и картиннѣе, идею творчества, которая у насъ такъ мало понята; словомъ, здѣсь я надѣюсь выразить всю основу нашей внутренней жизни» [2]).

Къ концу 1837, Бѣлинскій началъ уже исполнять этотъ планъ, и такъ разсказываетъ содержаніе труда, который, если бы былъ исполненъ, имѣлъ бы любопытное автобіографическое значеніе.

---

[1]) Упоминаемыя здѣсь статьи были писаны Бѣлинскимъ въ 1836 г., въ деревнѣ у Бакуниныхъ, гдѣ онъ и читалъ ихъ въ дружескомъ кругу. Это была, слѣдовательно, давно занимавшая его тема.

[2]) Онъ пишетъ въ томъ же письмѣ: «Несмотря на мое истощеніе отъ сѣрной воды и ваннъ, несмотря на скуку однообразной жизни, я никогда не замѣчалъ въ себѣ такой сильной воспріемлемости (т.-е. воспріимчивости) впечатлѣній изящнаго, какъ во время моей дороги на Кавказъ и пребыванія въ немъ. Все, что ни читалъ я—отозвалось во мнѣ. Пушкинъ предсталъ мнѣ въ новомъ свѣтѣ, какъ будто я его прочелъ въ первый разъ. Никогда я такъ много не думалъ о себѣ въ отношеніи къ моей высшей цѣли, какъ опять на этомъ же Кавказѣ»...

«Теперь я началъ «Переписку двухъ друзей»,—говоритъ онъ въ письмѣ 1 ноября 1837,—большое сочиненіе, гдѣ въ формѣ переписки и въ формѣ какого-то полу-романа будутъ высказаны всѣ тѣ идеи о жизни, которыя даютъ жизнь и которыя, безъ полемики [1]), должны разоблачить Шевыревыхъ и подобныхъ ему. Это будетъ собственно переписка прекрасной души съ духомъ [2]); первое лицо, какъ разумѣется, будетъ моимъ субъективнымъ произведеніемъ, а второе — чисто объективнымъ. Въ лицѣ перваго я поражу прекраснодушіе, такъ что оно устыдится самого себя; впрочемъ, въ представителѣ прекраснодушія я выведу лицо не пошлое, но полное жизни истинной, кипучей; придамъ ему не фразы и возгласы, но слово живое, увлекательное, картинное и поэтическое; словомъ, я изображу въ немъ одного изъ тѣхъ людей, доступныхъ всему истинному, но лишенныхъ силы воли для полнаго достиженія высшей истины, одного изъ тѣхъ людей, которые понимаютъ истину, но хотятъ, чтобы она досталась имъ безъ труда, безъ пожертвованій, безъ борьбы и страданія: какъ цыгане, которые лучше хотятъ сносить всѣ неудобства непогоды, всѣ невыгоды бродяжнической жизни, нежели пожертвовать частію своей дикой свободы гражданскому порядку, такъ и эти люди хотятъ лучше всю жизнь свою жить рѣдкими и немногими минутами восторга, а остальную часть жизни валяться въ грязи, нежели путемъ труда и усилій перейти въ полную жизнь. Короче сказать, въ этой прекрасной душѣ я изображу себя и, надѣюсь, очень вѣрно; и въ этомъ портретѣ я наплюю на самого себя и оплачу самого себя. Я изображу себя въ двухъ эпохахъ жизни: въ той, въ которую я жилъ въ одномъ чувствѣ и пряталъ свое чувство отъ разума, какъ цвѣтокъ отъ мороза; и въ той, въ которую я создалъ тождество чувства съ разумомъ, любви съ сознаніемъ, но пріобрѣлъ черезъ это не полное блаженство жизни, а только объективное сознаніе его. Что же касается до представителя жизни духа, то это не будетъ ни чей портретъ: это будутъ мои.... статьи [3]), но только глубже перечувствованныя и лучше понятыя, потому что съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ написалъ, я немного подросъ въ моихъ понятіяхъ. Первое письмо почти уже написано: въ немъ «прекрасная душа» описываетъ свой отъѣздъ изъ Москвы, свои путевыя впечатлѣнія, жалуется на людей и жизнь, въ которыхъ она разочаровалась; доказываетъ, что истинная жизнь въ чувствѣ, что разумѣніе есть смерть чувства; упрекаетъ своего друга за любовь къ философіи, за холодность сужденій и предрекаетъ ему конечную гибель за довѣренность къ *холодному уму* и пр. и пр. Отвѣтъ на это письмо будетъ содержать изложеніе понятія о разумѣ и чувствѣ, ихъ взаимныхъ отношеніяхъ; объ истинѣ въ созерцаніи, какъ основѣ нашего сознанія; объ ошибочномъ понятіи, вслѣдствіе котораго чувство смѣшиваютъ съ истиною въ созерцаніи, почему и думаютъ несправедливо, что

---

[1]) Въ это время, Бѣлинскій, какъ будетъ объяснено далѣе, былъ противъ полемики, которая казалась ему ненужной и даже вредной.

[2]) Объ этихъ терминахъ упомянуто выше.

[3]) Статьи, писанныя въ 1836, въ деревнѣ.

чувствомъ можно узнать какую бы то ни было истину, тогда какъ оно, по существу своему, не можетъ давать намъ никакихъ идей, но, такъ сказать, подкрѣпляетъ всякую истинную, или почитаемую нами за истинную, идею, пробуждаетъ въ насъ какъ стремленіе къ безконечному, или какъ любовь, что одно и то же, потому что высшая степень любви есть ощущеніе безконечнаго; о достоинствѣ разума, живущаго въ природѣ, какъ явленіе, и въ человѣкѣ, какъ сознаніе; о достоинствѣ способа изслѣдованія истины à priori. Однимъ словомъ, это должно быть чѣмъ-то порядочнымъ, потому что я ни мало не сомнѣваюсь выразить эти идеи языкомъ увлекательнымъ, живописнымъ, пламеннымъ. Несмотря на свою апатическую жизнь, я еще ощущаю въ себѣ столько внутренняго жара, сколько нужно его для десяти такихъ сочиненій. Скоро примусь за статью о Пушкинѣ: это должно быть лучшею моею критическою статьею».

Статьи о Пушкинѣ осуществились уже гораздо позднѣе и съ иной точки зрѣнія; но эти давніе сборы любопытны, какъ лишнее свидѣтельство его энтузіазма къ Пушкинской поэзіи. «Переписка двухъ друзей», повидимому, также не была имъ исполнена, — вѣроятно, и потому, что въ самыхъ понятіяхъ Бѣлинскаго наступилъ вскорѣ новый поворотъ, вслѣдствіе ближайшаго знакомства съ Гегелемъ. Его главнаго собесѣдника и учителя въ философіи въ Москвѣ тогда не было; посредниками съ нѣмецкой философіей и эстетикой были теперь въ особенности Боткинъ и Катковъ (съ нимъ Бѣлинскій сблизился особенно по возвращеніи съ Кавказа въ сентябрѣ 1837), и Бѣлинскій жадно воспринималъ результаты чтенія. «Катковъ читаетъ эстетику Гегеля и въ восторгѣ отъ нея... Боткинъ переводитъ Марбаха и въ упоеніи отъ него», — пишетъ онъ въ томъ же письмѣ 1-го ноября 1837, и затѣмъ черезъ нѣсколько страницъ въ письмѣ (очень длинномъ и писанномъ вѣроятно въ нѣсколько пріемовъ) оказываются и слѣды чтенія эстетики. Бѣлинскій въ томъ шуточно-грубомъ тонѣ, о какомъ мы уже упоминали, извѣщаетъ одного своего пріятеля, что хочетъ писать ему большое письмо о творчествѣ—тема, которая такъ давно его занимала... «Я хочу писать къ тебѣ большое письмо о творчествѣ. Я было на Кавказѣ растолковалъ его себѣ удовлетворительно и окончательно, но—

О, коль судьба упруга!

«....Катковъ, стакнувшись съ... Егоромъ Ѳедоровичемъ [1]), — разбилъ въ прахъ мою прекрасную теорію». Обѣ теоріи Бѣлинскій

---

[1]) Подъ этимъ наименованіемъ друзья кружка разумѣли Гегеля. Ср. въ Перепискѣ Станкевича, стр. 230.

и хотѣлъ изложить своему пріятелю. Дальше мы увидимъ и другія, не менѣе сильныя впечатлѣнія отъ гегелевой философіи.

Театръ продолжалъ быть страстью Бѣлинскаго—хотя уже не въ крайней степени, какъ въ его извѣстной тирадѣ «Литературныхъ Мечтаній», когда онъ хотѣлъ «жить и умереть въ театрѣ». Въ 1837 году интересъ его къ драмѣ и драматическому исполненію въ особенности возбуждала постановка «Гамлета» и появленіе въ этой роли знаменитаго Мочалова. Бѣлинскій въ это время и лично познакомился съ Мочаловымъ и Щепкинымъ; первый, почти всегда, былъ для него предметомъ удивленія и вмѣстѣ негодованія, которыя возбуждало крайне неровное исполненіе Мочалова; Щепкинъ, еще съ 1829 года, былъ для Бѣлинскаго любимымъ и высшимъ представителемъ русской комедіи,—лично Бѣлинскій былъ очень привязанъ къ нему и къ его семейству...

Музыка Бѣлинскому вообще не давалась; выше мы упоминали, какъ онъ огорчался этимъ своимъ недостаткомъ. Вотъ образчикъ его музыкальныхъ впечатлѣній изъ письма 1837 г. Осенью этого года Бѣлинскій слышалъ «Роберта-Дьявола»... «нѣкоторыми мѣстами, которыя я, *разумѣется, забылъ и не узнаю впередъ,* онъ потрясъ меня, но вообще произвелъ тягостное впечатлѣніе *скуки*». Въ другой разъ онъ былъ на музыкальномъ вечерѣ у В. П. Боткина, — какъ мы упоминали, страстнаго дилеттанта. «Одно мѣсто изъ одной сонаты Бетховена, — пишетъ Бѣлинскій, — произвело на меня такое же *могущественное дѣйствіе,* какъ многія мѣста изъ игры Мочалова въ роли «Гамлета». Но несмотря на то, я *не помню* хорошо этого мѣста и *едва-ли узнаю* эту сонату. Вас. [1]) походилъ въ этотъ вечеръ на Пиѳію на треножникѣ и былъ на небѣ отъ одного адажіо, лучшаго, какъ говоритъ онъ, какое только написалъ Бетховенъ».

Переписка Бѣлинскаго, которая такъ исключительно занята моральными и отвлеченными вопросами, любопытна, какъ могъ видѣть читатель, и въ прямомъ автобіографическомъ смыслѣ. Вопросы отвлеченные связывались съ личнымъ вопросомъ; отсюда—постоянное самонаблюденіе, стараніе опредѣлить свою собственную натуру, взглянуть на свой характеръ критически. Эпизоды этого рода довольно многочисленны въ его письмахъ, но для правильнаго пониманія ихъ необходимо однако имѣть въ виду обстоятельства, при которыхъ они были писаны.

---

[1]) Василій Петр. Боткинъ.

Первое, что ярко отличаетъ эти разсужденія Бѣлинскаго о самомъ себѣ, это—чрезвычайная искренность, строгость къ самому себѣ, безпощадное порицаніе своихъ слабыхъ сторонъ, какъ скоро онъ ихъ замѣчаетъ. Иногда онъ даже преувеличивалъ свое самоосужденіе, но и это бывало совершенно искренно; въ другое время эта душевная подавленность уступала мѣсто сознанію своего достоинства и превосходства, и онъ также открыто выставлялъ то, что считалъ своими лучшими сторонами, открыто выказывалъ гордое чувство своей силы и значенія. Въ слѣдующихъ выпискахъ читатель отличитъ то и другое теченіе его мыслей.

Собирая эти отзывы Бѣлинскаго о самомъ себѣ, по возможности въ ихъ хронологической послѣдовательности, замѣтимъ еще, что его сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ или чертѣ своего характера необходимо видоизмѣняются по времени, съ ходомъ цѣлаго развитія. Иногда онъ бывалъ къ себѣ справедливъ только впослѣдствіи, когда хладнокровнѣе судилъ и себя, и обстоятельства; иногда, напротивъ, бывалъ черезъ-чуръ строгъ къ своему прошедшему. Въ одномъ изъ писемъ середины 1837 года, въ періодъ его крайнихъ отвлеченностей и философско-религіознаго смиренія, онъ споритъ съ Бакунинымъ, который осуждалъ его недостатки, и говоритъ потомъ о своемъ характерѣ:

«... Можетъ быть, я и не правъ; но не оскорбленное самолюбіе скрываетъ отъ меня истину. *Я гордъ, самолюбивъ, тщеславенъ* до того, что всякая похвала, даже со стороны глупца, вызываетъ краску удовольствія на мое лицо и ускоряетъ обращеніе крови; но никогда горькая правда, высказанная другомъ съ участіемъ, въ какихъ бы то ни было рѣзкихъ или, если угодно, ругательныхъ выраженіяхъ, не возбуждала во мнѣ отвращенія къ другу или малѣйшаго неудовольствія. Похвала скорѣе можетъ повредить мнѣ, нежели горькая истина, и нигдѣ, и ни въ чемъ я не бываю такъ свято добросовѣстенъ, и нигдѣ, и ни въ чемъ я не возвышаюсь до такого совершеннаго самоотверженія, какъ въ сознаніи своего ничтожества, когда мнѣ на него указываютъ. Это я всегда могу сказать о себѣ смѣло и утвердительно, это есть моя лучшая сторона. Въ самомъ глубочайшемъ моемъ паденіи я всегда сохранялъ уваженіе къ истинѣ и теперь особенно мнѣ чуждо всякое сомнѣніе въ ней, тогда какъ сомнѣніе въ самомъ себѣ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе терзаетъ меня и лишаетъ послѣднихъ силъ...

«... Я самъ,—говоритъ онъ далѣе въ томъ же направленіи,—начинаю увѣряться, что нѣтъ ничего мизернѣе и скучнѣе, какъ человѣкъ, который, утопая въ грязи, понимаетъ всю гадость своего положенія, а не имѣетъ силы вырваться изъ него, который имѣетъ прямыя и свѣтлыя идеи о цѣли жизни и не можетъ перенести ихъ въ свою жизнь, который безпрестанно раскаевается, жалуется на себя друзьямъ своимъ, обвиняетъ себя въ животности, слабодушіи

пошлости и ограничивается только однимъ раскаяніемъ, самообвиненіемъ и жалобами. Да,—я чувствую, что долженъ казаться слишкомъ пошлымъ всякому, кто знаетъ меня вблизи, а не издали»...

Онъ говоритъ дальше, что въ это же время онъ писалъ письмо къ Станкевичу, гдѣ «обвинялъ себя въ такихъ грѣхахъ, что лучше бы не родиться на свѣтъ, какъ говоритъ Гамлетъ», и продолжаетъ:

«Во мнѣ два главныхъ недостатка: самолюбіе и чувственность. Остановимся на первомъ, потому что второй совершенно ничтоженъ, какъ покажутъ... результаты моихъ доводовъ. Ты знаешь, что я имѣю похвальную привычку краснѣть безъ всякой причины, какъ думаютъ всѣ, но въ самомъ-то дѣлѣ очень не безъ причины. Эта похвальная привычка составляетъ несчастіе моей жизни... Самолюбіе—вотъ причина этого явленія. Конечно, здѣсь принимаетъ большое участіе какая-то природная робость характера и еще одно обстоятельство въ моемъ воспитаніи, о чемъ теперь мнѣ некогда распространяться, но главная причина всетаки самолюбіе. Я краснѣю оттого, что мнѣ не отдали должной справедливости, слѣдовательно, отъ оскорбленнаго самолюбія; я краснѣю оттого, что мнѣ отдали справедливость, слѣдовательно, отъ удовлетвореннаго самолюбія; къ чести своей скажу, что еще чаще краснѣю я вслѣдствіе сознанія своего недостоинства, отъ того вниманія, которое оказываютъ мнѣ хорошіе люди, знающіе меня издалека. Я понимаю самое малѣйшее движеніе моего самолюбія—и все-таки не могу убить въ себѣ этого пошлаго чувства. Оно овладѣло мною совершенно, сдѣлало меня своимъ рабомъ... Я не написалъ ни одной статьи съ полнымъ самозабвеніемъ въ своей идеѣ: безсознательное предчувствіе неуспѣха и, еще болѣе того, успѣха, всегда волновало мою кровь, усиливало и напрягало мои умственныя силы, какъ пріемъ опіума. И между тѣмъ, я унизился бы до самаго пошлаго смиренія, оклеветалъ бы себя самымъ фарисейскимъ образомъ, еслибы сталъ отрицать въ себѣ живое и плодотворное зерно любви къ истинѣ: всѣ мои статьи были плодомъ этой любви; только самолюбіе всегда тутъ вмѣшивалось и играло большую или меньшую роль. Даже въ дружескомъ кругу, разсуждая о чемъ-нибудь, я вдругъ краснѣлъ оттого, что не хорошо выразилъ мою мысль, или, что бывало всего чаще, неловко сострилъ, или отъ противной причины (Боже мой! — какая мелочность); *но какъ скоро дѣло касается до моихъ задушевныхъ убѣжденій, я тотчасъ забываю себя, выхожу изъ себя, и тутъ давай мнѣ каѳедру и толпу народа: я ощущу въ себѣ присутствіе Божіе, мое маленькое я исчезнетъ и слова, полныя жара и силы, рѣкою польются съ языка моего*»...

Другое обвиненіе, взводимое на себя Бѣлинскимъ, относится къ тому же періоду его философскаго броженія, когда друзья выработали себѣ особую, немного аскетическую мораль. «Чувственность» прорывалась періодически изъ подъ гнета этой морали; случалось, что разстройство внѣшнихъ дѣлъ, неудачи практическія *и моральныя* совершенно выбивали Бѣлинскаго изъ колеи, и

тогда «чувственность» являлась какъ средство заглушить внутреннее страданіе... Но Бѣлинскій, признавая недостатокъ, защищается однако, отъ порицаній и утверждаетъ, что чувственность никакъ не могла мѣшать его развитію.

«Пустяки,—говоритъ онъ,—я давно созналъ ея гадость, а сознаніе недостатка убиваетъ недостатокъ. Да и можетъ ли быть, чтобы человѣкъ, который такъ вѣрно понимаетъ назначеніе женщины, какъ я; который питаетъ ко всякой достойной женщинѣ такое святое, такое робкое чувство благоговѣнія; душа котораго такъ жаждетъ любви чистой и высокой и, можетъ быть, уже не разъ трепетала и замирала отъ предчувствія этого блаженства, можетъ ли быть, чтобы такой человѣкъ не имѣлъ силы побѣдить низкія, чувственныя побужденія и возгнушаться ими?»

Разсуждая о своей внутренней жизни, Бѣлинскій часто жалуется на то, что каждый успѣхъ, каждый новый шагъ въ этой жизни дается ему тяжело и горестно. Когда кончались эти переходные моменты, онъ смотрѣлъ на нихъ спокойнѣе, критиковалъ ихъ, даже подшучивалъ надъ ними, но въ данную минуту они были несомнѣнно тяжелы для него. Въ письмѣ къ Бакунину отъ сентября 1837 (по возвращеніи съ Кавказа), онъ приписываетъ многое въ своихъ прежнихъ тревогахъ — болѣзни; теперь онъ чувствовалъ себя спокойнѣе: «я здоровѣе тѣломъ, слѣдовательно бодрѣе и духомъ. Вижу въ себѣ много гадкаго, но это гадкое заключается во внѣшнихъ обстоятельствахъ, и само собою уничтожится съ ихъ перемѣною. Лучше и яснѣе созерцаю тайну абсолютной жизни, вижу себя далекимъ отъ нея, но не отчаиваюсь приблизиться къ ней». Въ письмѣ къ нему же отъ 1-го ноября 1837 онъ опять продолжаетъ мрачный взглядъ на свою жизнь. Онъ находитъ, что жизнь улыбнулась ему только однимъ—дружбой:

«И теперь,—говоритъ онъ,—въ горестной и мертвой жизни моей одна мысль, какъ добрый геній, какъ ангелъ-хранитель, согрѣваетъ мой изнемогающій духъ, мысль, что какъ бы глубоко ни палъ я, мнѣ всегда есть пристанище въ минуты сознанія—сердце друзей моихъ, всегда готовое простить меня, оплакать мое заблужденіе и согрѣть меня своимъ огнемъ...

«А я,—продолжаетъ онъ,—я могу утѣшать себя только вотъ чѣмъ—

Мой путь унылъ, сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать.
И вѣдаю: мнѣ будутъ утѣшенья
Межъ горестей, труда и треволненій.

«Это голосъ не жизни духа; нѣтъ — это вопль прекрасной души, которая живетъ жизнію духа только въ минутахъ, только

въ непрерывныхъ возстаніяхъ, послѣ безпрерывныхъ паденій. Жизнь въ минутахъ—она моя, и всегда будетъ моею, но это грустная жизнь и не она должна быть удѣломъ человѣка. Такъ жилъ Пушкинъ—и я понимаю его. Но онъ былъ геній—и въ его минутахъ жизни замыкались цѣлые вѣка; онъ былъ поэтъ — и способность высказывать себя и, какъ дани, требовать и получать сочувствія отъ ближнихъ вознаграждала его за минуты, внѣ вѣчнаго духа проведенныя. Въ немъ былъ неистощимый рудникъ любви, который не могъ изсякнуть ни отъ какихъ причинъ, и отъ колыбели до гроба ему улыбалась любовь. Я только *понимаю* такую жизнь, и если живу иногда подобною (какъ подобно отраженіе солнца въ рѣкѣ самому солнцу), то не въ дѣйствительности, а въ фантазіяхъ. Я прячусь въ фантазіи отъ дѣйствительной жизни, и мое возвращеніе къ дѣйствительной жизни изъ области фантазіи есть горькое пробужденіе. Въ этой жизни есть свое прекрасное, но я понимаю, что такая жизнь есть призракъ, потому что истинная жизнь конкретна съ дѣйствительностію. Иногда мнѣ становится досадно, зачѣмъ я знаю слишкомъ много, зачѣмъ слишкомъ хорошо понимаю значеніе и цѣль жизни; мнѣ кажется, что я былъ бы счастливѣе, если бы кругозоръ моего ума былъ ограниченнѣе, а требованія чувства умѣреннѣе: мнѣ кажется, что тогда бы я нашелъ все, чѣмъ могъ бы быть счастливъ... Я знаю, что это минуты борьбы, нравственной болѣзни, что такая мысль безбожна и недостойна просвѣтленнаго человѣка, что откровеніе истины есть единственное благо, за которое человѣкъ умиленно долженъ молиться вѣчному духу жизни».

Затѣмъ Бѣлинскій, опредѣляя свое настроеніе, излагаетъ теорію, которая покажется теперь странной и болѣзненной, но которая тогда была очень извѣстна въ кружкѣ. Теорія говорила о необходимости «страданія» и утверждала, что страданіе не только есть непремѣнный удѣлъ нравственнаго совершенства, но что оно само есть уже духовное блаженство. Въ слѣдующемъ отрывкѣ Бѣлинскій соглашается, что это блаженство низшее,—но въ другихъ случаяхъ и ему казалось, что оно можетъ быть единственной и завидной наградой высшаго моральнаго развитія. Эту привилегію добровольно избираемаго страданія Бѣлинскій приписывалъ также и Станкевичу. Едва ли это экзальтированное представленіе о жизни не соединялось у Бѣлинскаго съ физической болѣзненностью: «божественный недугъ», которымъ отзывались его душевныя волненія, вѣроятно предвѣщалъ и физическій недугъ, впослѣдствіи его сломившій.

«Всякая грусть есть страданіе; никакое блаженство не можетъ быть безконечно и высоко безъ этого страданія; но при полной гармоніи духа, при совершенномъ его блаженствѣ грусть или страданіе есть только характеръ, условіе необходимое, форма, такъсказать, самого блаженства, но не самое блаженство: это понятно, *и мы давно уже* согласились съ тобою въ этомъ. Но страданіе,

какъ единственная и исключительная форма жизни духа и какъ конечное и возможное его блаженство, есть тоже жизнь человѣческая и прекрасная, но низшая, неполная, ступень къ истинной жизни духа, но не истинная жизнь духа. Вотъ эта-то жизнь, это-то блаженство доступно мнѣ... Это страданіе есть недугъ души, но недугъ сладкій, есть одна изъ священнѣйшихъ способностей нашего духа, есть признакъ присутствія высшей жизни, есть залогъ дальнѣйшаго и безконечнаго развитія, ручательство въ возможности (близкой или далекой—нѣтъ нужды) перехода въ полную жизнь духа. Какъ-то недавно ощутилъ я въ моей груди это сладостное болѣзненное стѣсненіе, этотъ божественный недугъ — и вмѣстѣ съ нимъ ощутилъ и вѣру, и силу, и жизнь... По временамъ я живу этимъ страданіемъ, и теперь... я чувствую въ груди моей это болѣзненное стѣсненіе, этотъ недугъ выше всякаго здоровья и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствую, что я живу, а не прозябаю, что я человѣкъ, а не животное. Да,—уже не счастія, не блаженства, какъ прежде, а страданія прошу, желаю и ищу я себѣ. *Мыслить и страдать*—вотъ грустная и неполная жизнь, до какой только я способенъ возвыситься. Но я вѣрю, что этою жизнію я *выстрадаю* себѣ полную и истинную жизнь духа. Боже мой, какъ бы громко я сталъ смѣяться, какъ бы горячо сталъ оспаривать, если года за два передъ симъ [1]) кто-нибудь сталъ меня увѣрять, что моя жизнь не въ свѣтломъ веселіи, не въ радостномъ ликованіи! Гадка моя жизнь, но не прогрессъ ли это?»...

Заслугу «этого «прогресса» Бѣлинскій приписываетъ своему философскому другу, который въ особенности познакомилъ его съ высшимъ философскимъ пониманіемъ и требованіями «абсолютной жизни». Въ письмѣ къ Бакунину отъ 15 ноября, 1837, Бѣлинскій опять задаетъ себѣ мучившіе его вопросы; онъ начинаетъ чувствовать, что его внутренняя жизнь слишкомъ наполнена отвлеченностью, и ждетъ лучшаго существованія отъ перемѣны жизни (онъ думалъ тогда переѣхать въ Петербургъ). На опасеніе, что Петербургъ имѣетъ свойство развращать людей приманкою денегъ и подобныхъ внѣшнихъ соблазновъ,—Бѣлинскій рѣзко отвѣчаетъ, что ни какимъ пошлостямъ внѣшней жизни онъ не пожертвуетъ своимъ человѣческимъ достоинствомъ: «съ этой стороны я спокоенъ, и потому увѣренъ, что, переѣхавши въ Петербургъ, или буду жить въ какой бы то ни было степени, но только конкретною жизнію, а не въ призракѣ, или разрушусь постепенно, какъ разрушаются всѣ призраки». Онъ хочетъ собрать всю свою нравственную энергію для достиженія полной жизни, но потомъ снова чувствуетъ свою безпомощность.

«Къ чорту жалобы, немощь, отчаяніе; — надежда, смѣлость, твердость, сила—вотъ что долженъ я ощущать въ себѣ, и въ са-

[1]) Письмо это писано 1-го ноября 1837.

момъ дѣлѣ, если я ихъ еще и не ощущаю въ себѣ теперь, то увѣренъ, что ощущу, а эта самая увѣренность за будущее есть уже признакъ улучшенія въ настоящемъ. Борьбы, страданія, слезъ, затаенныхъ мукъ сердца — вотъ чего прошу я теперь у судьбы, и вотъ черезъ что надѣюсь я очиститься и перейти въ жизнь духа... Я теперь, во внѣшности моей, не много лучше прежняго, но начинаю яснѣе понимать многое. Бѣда только въ томъ, что идея не проникаетъ, не въѣдается, такъ сказать, въ сокровенные тайники моего бытія, не овладѣваетъ всѣмъ существомъ моимъ. Я все понимаю какъ-то объективно, какъ будто отдѣляя сознаніе отъ себя. Можетъ быть, это необходимый переходъ, можетъ быть, такъ оно нужно; но боюсь собственный произволъ принять за необходимость и вліяніемъ судьбы оправдать свое безсиліе».

Еще въ одномъ изъ ноябрьскихъ писемъ 1837 Бѣлинскій опять сокрушается о неполнотѣ своей духовной жизни и разсказываетъ о своихъ страданіяхъ вслѣдствіе нераздѣленной любви, о которой мы выше упоминали. Одинъ случай живо напомнилъ ему объ этомъ чувствѣ — самомъ идеальномъ и возвышенномъ, «святомъ»,—и онъ былъ болѣзненно потрясенъ. «Дня три я былъ сосредоточенъ, грустенъ, носилъ въ душѣ своей страданіе и, вмѣстѣ съ нимъ, вѣру, силу, мощь какую-то, а на четвертый почувствовалъ припадокъ чувственности»... Онъ пришелъ потомъ въ отчаяніе. «Боже мой, неужели душа моя неспособна къ глубокимъ и долговременнымъ впечатлѣніямъ? Или — и это еще хуже — неужели я такъ ужасно загрязненъ, развращенъ, обезсиленъ ненормальною жизнію, неестественнымъ развитіемъ, что не способенъ къ истинному чувству? Или, можетъ быть, необходимое слѣдствіе любви безъ взаимности, это — колебаніе между небомъ и землею? Но въ такомъ случаѣ осталось страданіе, а страданіе есть путь къ блаженству, есть блаженство въ сравненіи съ жизнію покоя». Его сомнѣнія въ себѣ еще усилились, когда за первымъ его «паденіемъ» послѣдовало новое, и еще бóльшее: онъ усумнился даже въ своей способности къ высшей жизни. «Чтобы докончить мою исповѣдь, скажу еще, что не только моя пошлая жизнь, но и высшая-то призрачна, потому что я создалъ себѣ какой-то фантастическій міръ и живу въ немъ. Міръ этотъ прекрасенъ: входя въ него, я чувствую себя человѣкомъ, ощущаю въ себѣ любовь и энергію; по выходѣ изъ него я съ отвращеніемъ смотрю на дѣйствительность, и вижу, что это жизнь ложная, призрачная, что въ истинной жизни духа есть одна только прекрасная дѣйствительность, и что для самонаслажденія духа не нужно ставить себя въ разныя невозможныя положенія»... Но въ послѣднемъ результатѣ своихъ сомнѣній онъ предвидѣлъ однако конецъ своихъ колебаній, и видѣлъ успѣхъ въ своемъ раз-

витіи: «я глубже понимаю истину, живѣе чувствую необходимость и потребность труда, какъ единственнаго выхода, предчувствую скорую перемѣну своей жизни, больше нахожу въ себѣ вѣры и силы».

Но Бѣлинскій еще не скоро избавился отъ этой, мучившей его, отвлеченной идеальности. Въ письмѣ къ Бакунину 20 іюня 1838, когда его внѣшняя жизнь шла уже значительно иначе, была наполнена трудомъ, на который онъ надѣялся, какъ на средство успокоенія, онъ продолжаетъ жаловаться, что не можетъ удержаться на высотѣ «жизни духа». Вотъ отрывокъ изъ этого письма, гдѣ Бѣлинскій опять говоритъ отчасти подъ вліяніемъ того же нераздѣленнаго чувства, о которомъ выше упоминалось:

«Я рѣшительно въ ложномъ положеніи: или въ состояніи равнодушія, очень похожаго на бездушіе, или въ тоскѣ безотрадной, въ какомъ-то плаксивомъ созерцаніи своего дряннаго *я*. Надо выдти изъ этого состоянія—но какъ?

Соловьемъ залетнымъ
Молодецъ засвищетъ,
Безъ *пути*, безъ *свѣта*
Свою долю сыщетъ!

«Хорошо бы такъ! истинное блаженство состоитъ въ умѣніи все имѣть, всѣмъ обладать, ничего не имѣя, ничѣмъ не обладая. Какъ ничѣмъ? А развѣ не мое — это прекрасное небо, это лучезарное солнце, эта живая природа? Развѣ не мое все, что ни написалъ Пушкинъ, развѣ не мой «Гамлетъ»? Только надо умѣть сдѣлать это все своимъ. Вотъ тутъ-то и запятая. Вчера, напримѣръ, я, варваръ и профанъ въ музыкѣ, слушать septuor Бетховена съ слезами восторга на глазахъ, трепеталъ отъ звуковъ, которые такъ неожиданно и такъ сильно заговорили моей душѣ; а въ иное время въ Пушкинѣ и «Гамлетѣ» вижу однѣ буквы — и больше ничего. Охъ, эти проклятые интервалы! Минуты созерцанія и промежутки одеревенѣнія! Долго ли еще продолжится это?... Возстань моя воля и возьми сама собою то, что не дается, какъ благодать! Буду работать—примусь за *объективное наполненіе* [1]), какъ другіе принимаются за пьянство, за разгулъ, чтобы найти какой-нибудь выходъ. Если это будетъ безплодно, если я *въ послѣдній разъ* удостовѣрюсь, что воля — призракъ, то буду жить какъ-нибудь, утѣшая себя мыслію, что когда-нибудь не буду же жить»...

«Высшая жизнь духа» становилась невозможна, между прочимъ, потому, что жизнь низшая, матеріальныя обстоятельства Бѣлинскаго были въ самомъ печальномъ состояніи, и оказывали на

[1]) Этимъ терминомъ обозначалось, кажется, просто занятіе какимъ-*либо* фактическимъ изученіемъ—въ противоположность и въ дополненіе отвлеченной рефлексіи.

«абсолютную жизнь» гораздо больше вліянія, чѣмъ хотѣлъ бы допустить идеализмъ Бѣлинскаго. Эти обстоятельства были плохи и въ то время, когда существовалъ «Телескопъ»; мы видѣли, какъ «грозный призракъ внѣшней жизни» пугалъ и смущалъ Бѣлинскаго еще лѣтомъ 1836, когда онъ жилъ въ деревнѣ у своихъ друзей. Запрещеніе журнала отняло у него самую возможность литературнаго труда. Почти два года Бѣлинскій провелъ въ этомъ бѣдственномъ положеніи, въ безплодныхъ поискахъ работы. Въ 1838, «Московскій Наблюдатель» далъ было надежду на устройство матеріальныхъ дѣлъ и на литературный трудъ, — но журналъ продержался недолго, и до конца 1839, Бѣлинскій опять былъ въ томъ же безвыходномъ положеніи. Онъ могъ существовать почти только поддержкою друзей — В. Боткина, К. Аксакова, Ефремова. И именно эти тяжкіе годы Бѣлинскій жилъ стремленіями къ «абсолютной жизни», теоретически доказывалъ «разумную», «прекрасную дѣйствительность».

Соберемъ факты его внѣшней жизни за это время и поисковъ за работой.

Еще съ конца 1836, Бѣлинскій сталъ искать работы въ петербургскихъ изданіяхъ. Сношенія начались при посредствѣ одного изъ друзей Станкевича, Я. М. Невѣрова, который жилъ тогда въ Петербургѣ и работалъ въ нѣкоторыхъ изъ петербургскихъ изданій. Имѣлась въ виду работа для Бѣлинскаго въ «Энциклопедическомъ Словарѣ» Плюшара, и въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», которыя съ 1837 переходили къ новому редактору, А. А. Краевскому. Бѣлинскій думалъ даже переѣхать тогда въ Петербургъ, но дѣло не состоялось и ограничилось перепиской нижеслѣдующаго содержанія. Бѣлинскій получилъ приглашеніе участвовать въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и отвѣчаетъ на него письмомъ, отъ 14 января 1837, любопытнымъ по заботливости Бѣлинскаго—сохранить полную свободу своихъ мнѣній.

«Благодарю васъ за лестное ваше ко мнѣ вниманіе, которое вы оказали мнѣ приглашеніемъ меня участвовать въ вашемъ журналѣ. Со всею охотою готовъ вамъ помогать въ изданіи и принять на свою отвѣтственность разборы всѣхъ литературныхъ произведеній; только почитаю долгомъ объясниться съ вами на счетъ одного пункта, очень для меня важнаго, чтобъ послѣ между мною и вами не могло быть никакихъ недоразумѣній, а слѣдовательно и неудовольствій. Я отъ души готовъ принять участіе во всякомъ благородномъ предпріятіи и содѣйствовать, сколько позволяютъ мнѣ мои слабыя силы, успѣхамъ отечественной литературы; но я желаю сохранить вполнѣ свободу моихъ мнѣній и ни за что въ свѣтѣ не *рѣшусь стѣснять себя* какими бы то ни было личными или житей-

скими отношеніями. Поэтому, я готовъ, по вашему совѣту, дѣ всевозможныя измѣненія въ моихъ статьяхъ, когда дѣло бу касаться до безопасности вашего изданія со стороны цензуры что касается до авторитетовъ и разныхъ личныхъ отношеній литераторамъ, участвующимъ дѣломъ или желаніемъ въ ваш журналѣ—то я думаю и увѣренъ, что я въ этомъ отношеніи о нусь совершенно свободенъ. Но такъ какъ у васъ участвуютъ которые литераторы, какъ-то: кн. Вяземскій, баронъ Розенъ Викторъ Тепляковъ, о которыхъ я по совѣсти не могу напечата добраго слова и вообще не могу говорить умѣренно и хладнокров то буду стараться совсѣмъ не говорить о нихъ, а если бы выш какое-нибудь сочиненіе или собраніе сочиненій кого-нибудь из нихъ, то также почту себя вправѣ или говорить, что думаю, и совсѣмъ ничего не говорить. Если же случится такая статья, г мнѣ нельзя будетъ не упомянуть о комъ-нибудь изъ нихъ, а ва нельзя будетъ напечатать моего упоминовенія, то я беру ее наза и имѣю право помѣстить въ какомъ-нибудь другомъ журнал хотя бы то было (чего избави Боже!) въ «С. Пчелѣ». Это главное»

Относительно «Энциклопед. Словаря» Бѣлинскій писалъ, ч «взялъ бы на себя статьи о дѣйствовавшихъ и дѣйствующихъ л цахъ русской литературы, съ полною увѣренностью, что въ это могъ бы быть полезенъ, по крайней мѣрѣ, болѣе Греча, котор въ статейкѣ о Ломоносовѣ показалъ образчикъ своего критициз также и о другихъ литературныхъ предметахъ могъ бы взят писать». «Если я вашъ сотрудникъ, — продолжаетъ Бѣлинскій,— погодите писать о Булгаринѣ (онъ, кажется, издалъ еще нѣсколь частей своихъ твореній): это моя законная пожива». Къ кон февраля 1837, Бѣлинскій думалъ выѣхать изъ Москвы, и пере тѣмъ надѣялся сдѣлать нѣкоторыя работы; между прочимъ, о ожидалъ теперь появленія на московской сценѣ «Гамлета», новомъ переводѣ Полевого (оно предполагалось на 22 января) собирался написать о немъ, еслибъ оно было чѣмъ-нибудь прим чательно. «Давно не писалъ, — заключаетъ онъ, — руки чешутся статей въ головѣ много шевелится, такъ что радъ ко всему п вязаться, чтобъ только поговорить печатно».

Бѣлинскій возвращается къ тому же дѣлу въ письмѣ 4 ф раля, и между прочимъ ставитъ условіемъ — подпись его им подъ статьями:

«Я никакъ не могу согласиться не подписывать своего име или не означать моихъ статей какою бы то ни было фирмою— лемъ, зетомъ или чѣмъ вамъ угодно, потому что, не любя п сваивать себѣ ничего чужого, ни худого, ни хорошаго, я не уступ никому и моихъ мнѣній, справедливы или ложны онѣ, хорошо дурно изложены. Другое дѣло, еслибы я исключительно завѣдыв у васъ литературною критикою, такъ, какъ Н. И. Надеждинъ—

лософическою; но это невозможно при значительной разности нашихъ мнѣній касательно достоинства многихъ русскихъ литераторовъ».

Еслибы это условіе не было принято, онъ считалъ невозможнымъ быть постояннымъ критикомъ или рецензентомъ «Литер. Прибавленій» и намѣревался присылать только отдѣльныя статьи, подъ которыми можно было бы подписывать фамилію, не нарушая принятой программы.

Эта заботливость о подписи имени происходила повидимому изъ того, что Бѣлинскій по перепискѣ или по первымъ нумерамъ «Литер. Прибавленій» успѣлъ замѣтить «значительную разность мнѣній касательно достоинства многихъ русскихъ литераторовъ», и ему не хотѣлось, чтобы его статьи замѣшались въ ряду другихъ, писанныхъ въ иномъ стилѣ. Это замѣтно и въ другой его оговоркѣ. «Еще одно,—говоритъ онъ:—если я буду вашимъ рецензентомъ, я готовъ преслѣдовать, при каждомъ удобномъ случаѣ, Сенк., Греча и Булг., но только какъ людей вредныхъ для успѣховъ образованія нашего отечества, а не какъ литературную партію; короче—такъ, какъ я преслѣдовалъ въ «Телескопѣ» и «Молвѣ» г-дъ Наблюдателей [1]), которыхъ ненавижу и презираю отъ всей души, какъ людей ограниченныхъ и недобросовѣстныхъ». Онъ хотѣлъ сказать, что имѣетъ въ виду лишь ихъ чисто литературную роль, не касается ни ихъ частной личности, ни журнальнаго соперничества,—вообще не хочетъ руководиться никакими посторонними разсчетами...

Онъ опять обѣщаетъ статью о «Гамлетѣ», который былъ уже данъ на московской сценѣ. «Предметъ ея (статьи) очень любопытенъ: мы видѣли чудо—Мочалова въ роли Гамлета, которую онъ выполнилъ превосходно. Публика была въ восторгѣ: два раза театръ былъ полонъ и послѣ каждаго представленія Мочаловъ былъ вызываемъ по два раза».

О своемъ переѣздѣ въ Петербургъ онъ уже очень сомнѣвается, даже еслибъ сошелся съ редакторомъ «Прибавленій» на всѣхъ «спорныхъ пунктахъ», «потому что (говоритъ Бѣлинскій)—извините мою откровенность—судя по первымъ №№ «Лит. Прибавленій» и по впечатлѣнію, которое они произвели на Москву, г-ну Плюшару [2]) нельзя ожидать и тысячи подписчиковъ. Въ журналѣ главное дѣло—направленіе, а направленіе вашего журнала можетъ быть совершенно справедливо, но публика требуетъ совсѣмъ не того, и мнѣ очень прискорбно видѣть, что «Библіотекѣ» опять оставляется широкое

---

[1]) Т. е. писателей «Наблюдателя» въ его первой редакціи.

[2]) Онъ былъ издателемъ этихъ «Прибавленій».

раздолье, что эта литературная чума, зловонная зараза еще съ большею силою будетъ распространяться по Россіи. И мнѣ кажется, что я совершенно понимаю причину ея успѣха».

Причину эту Бѣлинскій находилъ въ томъ, что публикѣ, увлекавшейся внѣшнимъ разнообразіемъ «Библіотеки», другіе журналы не давали чтенія, столь же занимательнаго, но проникнутаго болѣе серьезными понятіями объ искусствѣ, которыя помогли бы читателямъ увидѣть пустоту и вредное шарлатанство «Библіотеки». Для этого нужно было систематическое распространеніе въ публикѣ здравой эстетической теоріи и примѣненіе ея къ фактамъ русской литературы,—а этой системы въ «Литер. Прибавленіяхъ» не было: да и вообще не было въ нихъ тогда никакого опредѣленнаго характера.

Бѣлинскій благодаритъ далѣе за старанія доставить ему работу по «Энциклопедическому Лексикону»: онъ очень бы желалъ этой работы — «и мои внѣшнія обстоятельства громко требуютъ какой-нибудь опоры; не говорю уже о необходимости высказываться и дѣлать. Вы не можете себѣ представить, что такое Москва: въ ней негдѣ строки помѣстить и нельзя копѣйки выработать перомъ».

Вслѣдствіе этихъ переговоровъ Бѣлинскій послалъ въ «Литер. Прибавленія» двѣ-три библіографическія статьи, — между прочимъ о повѣстяхъ Н. Ф. Павлова. Редакторъ «Прибавленій» желалъ сдѣлать въ статьяхъ нѣкоторыя перемѣны, смягчить ихъ въ виду разныхъ личныхъ отношеній; — въ одной Бѣлинскій предоставилъ это сдѣлать, считая дѣло неважнымъ; въ статьѣ о повѣстяхъ Павлова самъ сдѣлалъ одно, небольшое, впрочемъ, смягченіе, «остальное же,— писалъ онъ,—все должно остаться безъ перемѣны—или бросьте всю статью въ огонь». Надобно замѣтить, что повѣсти Павлова въ то время многимъ очень нравились, считались даже произведеніями особеннаго высокаго искусства; такого мнѣнія о нихъ былъ и редакторъ «Прабавленій». Бѣлинскій, какъ далѣе скажемъ, не видѣлъ въ нихъ такого совершенства, и вѣроятно это самое было высказано въ его статьѣ;—онъ не дѣлалъ здѣсь никакой уступки: «это мое мнѣніе»,—говорилъ онъ, предоставляя, впрочемъ, редакціи сдѣлать свое примѣчаніе. Статьи Бѣлинскаго, кажется, такъ и остались ненапечатанными.

Бѣлинскій говоритъ дальше, что ему будетъ очень грустно, если отвѣтъ редактора «Прибавленій» покажетъ ему, что онъ не можетъ быть сотрудникомъ этого изданія:

«Потому что Богъ наказалъ меня самою задорною охотою высказывать свои мнѣнія о литературныхъ явленіяхъ и вопросахъ, да и внѣшнія мои обстоятельства очень плохи во всѣхъ отноше-

іяхъ... но, по моему мнѣнію, не только лучше молчать и нуждаться, о даже и сгинуть со свѣту, нежели говорить не то, что думаешь, спекулировать на свое убѣжденіе».

Въ концѣ письма Бѣлинскій вспоминаетъ о Пушкинѣ:

«Бѣдный Пушкинъ! Вотъ чѣмъ кончилось его поприще! Смерть енскаго въ «Онѣгинѣ» была пророчествомъ... Какъ не хотѣлось ѣрить, что онъ раненъ смертельно, но «Пчела» увѣрила всѣхъ.)динъ истинный поэтъ былъ на Руси, и тотъ не совершилъ вполнѣ воего призванія. Худо понимали его при жизни, поймутъ ли теерь?»...

Переписка не имѣла продолженія, и надежды Бѣлинскаго найти дѣсь работу не осуществились.

Осужденный на невольное бездѣйствіе въ томъ, что составляло го истинную потребность—въ литературной критикѣ, и нуждаясь ъ работѣ для своего существованія, Бѣлинскій взялся за трудъ ного рода, который занималъ его уже съ давнихъ поръ. Это была го грамматика. Бѣлинскій давно думалъ составить учебникъ; въ исьмахъ его тогдашняго пріятеля, П. Я. Петрова, упоминается о рамматическомъ трудѣ, предпринятомъ Бѣлинскимъ еще въ 1834.)кончивъ теперь книгу, Бѣлинскій представилъ ее начальству московскаго учебнаго округа, вѣроятно въ предположеніи, что она южетъ быть принята въ учебникъ и напечатана на казенный счетъ. Іо его собственнымъ словамъ, это былъ тогда для него «якорь спенія». Но книга не была принята, и Бѣлинскій очутился «на кр іездны». Онъ напечаталъ книгу на свой счетъ. Весной 1837 го «Грамматика» представлена была въ цензуру и вышла въ свѣтъ іѣту [1]).

Грамматика Бѣлинскаго, конечно, можетъ представлять толь історическій интересъ. Она не выходитъ изъ круга тогдашни юнятій о предметѣ, но для сего времени не лишена была значен какъ попытка осмыслить грамматическія правила указаніемъ и югическихъ основаній: для тогдашняго изложенія предмета бы довольно ново ставить въ основу не только синтаксиса, но и этим югіи—логическое предложеніе, изъ котораго Бѣлинскій опредѣляет и дѣленіе частей рѣчи, и измѣненія словъ. Книга вообще была з иѣчена [2]); критики отдавали справедливость труду, но замѣчен

[1]) «Основанія Русской Грамматики, для первоначальнаго обученія составленныя Виссаріономъ Бѣлинскимъ. Часть первая. Грамматика аналитическая (Этимологія)». Москва. Въ типографіи Николая Степанова. 1837. Мал. 8°, 163 стр. Цензурное дозволеніе Каченовскаго отъ 8 апрѣля 1837.

[2]) Разборы ея были помѣщены—въ «Литер. Приб. къ Русскому Инвалиду», 1837, № 36—37, стр. 352, 360; въ «М. Наблюдателѣ» 1839, № 1, Науки,

были и его недостатки: К. Аксаковъ указывалъ неправильность нѣкоторыхъ теоретическихъ объясненій состава предложенія; другіе находили, что книга едва ли удобна для первоначальнаго обученія, какъ предназначалъ ее авторъ.

Бѣлинскій думалъ, что распродажа книги полезной можетъ поправить его обстоятельства; онъ обманулся и въ этомъ. Книга шла очень туго; напечатаніе ея сдѣлало еще лишній долгъ, а между тѣмъ болѣзнь принуждала его ѣхать на Кавказъ. Его здоровье разстроилось; излишества, въ которыя бросило его тяжелое нравственное состояніе, привели болѣзнь; она явилась съ тревожными признаками (которые, впрочемъ, оказались потомъ менѣе опасными чѣмъ думалъ Бѣлинскій) — и поѣздка найдена была необходимой. Онъ былъ совершенно безъ всякихъ средствъ, и съ братомъ и племянникомъ на рукахъ. Въ это тяжелое время нѣсколько разъ выручалъ его Боткинъ; съ конца 1836 г. онъ сдѣлалъ еще займы у Ефремова, Аксакова и другихъ знакомыхъ. Еще къ большему огорченію его, Бѣлинскому приходилось пользоваться помощью и такихъ людей, которыхъ онъ мало или вовсе не уважалъ. «Я не только потонулъ въ долгахъ,—пишетъ онъ въ это время изъ Пятигорска къ Бакунину 16 авг. 1837 г.: — я живу на чужой счетъ вспоможеніями друзей, подаяніями людей, презираемыхъ мною... Какой-нибудь Н. Ф. Павловъ кричитъ во всеуслышаніе, что я не имѣлъ права хулить его литературныхъ заслугъ, ибо-де онъ одолжилъ меня деньгами. Какой-нибудь Селивановскій можетъ, если захочетъ, заставить меня и покраснѣть, и поблѣднѣть однимъ намекомъ объ извѣстныхъ ему и мнѣ 250 рубляхъ»... На Кавказѣ здоровье Бѣлинскаго укрѣплялось, но возвращеніе въ Москву пугало его:

«Я бы выздоровѣлъ и душевно, и тѣлесно, — пишетъ онъ, — еслибы будущее не стояло передо мною въ грозномъ видѣ, еслибы пріѣздъ мой въ Москву былъ обезпеченъ. Вотъ что меня убиваетъ и изсушаетъ во мнѣ источникъ жизни. Едва родится во мнѣ сознаніе силы, едва почувствую я теплоту вѣры, какъ квартира, *лавошная* лавочка, сюртуки, штаны, долги и вся эта мерзость жизни тотчасъ убиваютъ силу и вѣру, и тогда я могу только играть въ свои козыри или въ шашки. Эти пошлыя удовольствія доставляютъ мнѣ много пользы: они заставляютъ меня забываться въ какой-то пустотѣ, которая все-таки лучше отчаянія...

«Я былъ бы погибшій человѣкъ,—пишетъ Бѣлинскій тамъ же,— еслибы всѣ эти займы не убили меня. Да, они должны убивать меня. Мучимый каждую минуту мыслію о долгахъ, о нищенствѣ, о попрошайствѣ, о моихъ лѣтахъ, въ которыя уже пора пріобрѣсти какую

стр. 1—26, ст. К. Аксакова; короткій отзывъ въ «Библіотекѣ для Чт.», 183 іюль, библ., стр. 18.

нибудь нравственную самостоятельность, о погибшей безплодно юности, о бѣдности моихъ познаній, могъ ли я забыться въ чистой идеѣ? Прикованный желѣзными цѣпями къ внѣшней жизни, могъ ли я возвыситься до абсолютной? Я увидѣлъ себя безчестнымъ, подлымъ, лѣнивымъ, ни къ чему неспособнымъ, какимъ-то жалкимъ недоноскомъ, и только въ моей внѣшней жизни видѣлъ причину всего этого. Эта мысль обрадовала меня: я нашелъ причину болѣзни— лекарство было не трудно найти»...

Это лекарство было — заботливость объ устройствѣ внѣшней жизни, разумѣется не какъ цѣль, а какъ средство къ высшей жизни... Но заботливость все-таки не удавалась... Путешествіе, сдѣланное вмѣстѣ съ Ефремовымъ, и жизнь на Кавказѣ освѣжили Бѣлинскаго. Природа на первое время очаровала его, здоровье видимо улучшалось. Между прочимъ онъ встрѣтился здѣсь съ однимъ изъ друзей университетскаго кружка Г-на, Сатинымъ, который потомъ пріобрѣлъ имя въ литературѣ, какъ хорошій переводчикъ Шекспира [1]).

Возвращеніе въ Москву опять пугало Бѣлинскаго крайнимъ разстройствомъ его дѣлъ, для поправленія которыхъ все еще не представлялось никакого средства. «Грамматика» его не продавалась, въ Москвѣ ждали старые и новые долги.

Въ бѣдственномъ положеніи, въ какомъ Бѣлинскій былъ въ 1837 г., онъ обращался за помощью и къ Полевому, и хотя Полевой самъ въ это время не былъ богатъ, но обнаруживалъ готовность сдѣлать все, что можетъ, напримѣръ, дать за него свой вексель; письмо его объ этомъ, отъ 30 апрѣля 1837, написано въ очень дружескомъ тонѣ.

Къ осени 1837 обстоятельства какъ будто становились благопріятнѣе. Бѣлинскій предполагалъ даже работать на журнальномъ поприщѣ вмѣстѣ съ Полевымъ. Въ сентябрѣ онъ пишетъ къ Бакунину о своихъ надеждахъ, что дѣла его, наконецъ, поправятся:

«Грамматика моя начинаетъ трогаться..., но и безъ нея у меня надеждъ бездна. Николай Полевой издаетъ «Пчелу» [2]), и я уже, ра-

[1]) Сатинъ писалъ тогда къ одному изъ ихъ общихъ пріятелей въ Москвѣ, который и адресовалъ къ нему Бѣлинскаго:... «Благодарю за знакомство съ Б. Оно доставило мнѣ нѣсколько минутъ истиннаго удовольствія. Мы подружились съ нимъ, хотя не совершенно сошлись въ нашихъ понятіяхъ». Къ другому пріятелю Сатинъ писалъ (отъ 16 іюля 1837, изъ Пятигорска): «Бѣлинскій доставилъ мнѣ отъ К. поклонъ, и довольно часто навѣщаетъ меня. Кромѣ того, что мнѣ пріятно быть съ нимъ, какъ съ умнымъ человѣкомъ, онъ своими разсказами часто воскрешаетъ передо мной прошедшее, это прошедшее, которое такъ для меня дорого!..» Это прошедшее были, конечно, университетскія воспоминанія. Сатинъ оставилъ Москву въ 1835, по тѣмъ же обстоятельствамъ, какъ Герценъ.

[2]) Т.-е. такъ тогда предполагалось.

зумѣется, приглашенъ къ участію. Ксенофонтъ Полевой думаетъ купить у Андросова право на изданіе «Наблюдателя», и въ такомъ случаѣ намѣренъ поручить *одному мнѣ* библіографію и критику, для того, говоритъ онъ, чтобы въ его журналѣ былъ одинъ тонъ и одинъ голосъ. Не говоря уже о томъ, что это дастъ мнѣ тысячь пять и шесть въ годъ денегъ, — это дастъ мнѣ мою настоящую жизнь, при одной мысли о которой я уже оживаю и чувствую въ себѣ новую силу. Дѣло это зависитъ отъ согласія Уварова и сговорчивости Андросова, и скоро должно рѣшиться, потому что Уваровъ на дняхъ долженъ быть въ Москвѣ. О, если-бы это сбылось... Тогда бы уже меня не стала мучить мысль о необходимости переѣхать въ Петербургъ».

Въ октябрѣ, Полевой отправился въ Петербургъ. Въ воспоминаніяхъ Панаева переданъ разсказъ Бѣлинскаго объ отъѣздѣ Полевого. «Этотъ человѣкъ самъ предвидѣлъ свое паденіе (говоритъ Бѣлинскій). Когда онъ уѣзжалъ, я проводилъ его до заставы. У заставы мы обнялись и простились. Желаю вамъ успѣховъ и счастія въ Петербургѣ, сказалъ я. Онъ какъ-то уныло улыбнулся. Благодарю васъ, отвѣчалъ онъ: нѣтъ-съ, ужъ какіе успѣхи! Но если я буду дѣйствовать не такъ, какъ слѣдуетъ (онъ употребилъ болѣе ясное и рѣзкое выраженіе), то не вините меня, а пожалѣйте-съ. Я человѣкъ, обремененный семействомъ...» [1]).

Полевой, дѣйствительно, видѣлъ лучше тѣ неблагополучныя условія, какія ожидали его въ Петербургѣ, и съ которыми бороться онъ уже не чувствовалъ въ себѣ силы. Бѣлинскій еще нѣсколько мѣсяцевъ доспрашивался у него о своихъ дѣлахъ, пока, наконецъ, узналъ о новыхъ его отношеніяхъ.

Въ письмѣ 1-го ноября, къ одному изъ друзей, Бѣлинскій повторилъ предположенія свои о работѣ въ будущемъ журналѣ, и о томъ, что Полевой, тогда уже уѣхавшій въ Петербургъ, будетъ издавать «Пчелу» и «Сынъ Отечества». Черезъ двѣ недѣли Бѣлинскій извѣщаетъ своего друга, что Ксенофонту Полевому отказано въ дѣлѣ о пріобрѣтеніи «Наблюдателя»; Бѣлинскій окончательно сталъ думать о переѣздѣ въ Петербургъ, и уже написалъ объ этомъ Николаю Полевому: ...«мнѣ нечего дѣлать въ Москвѣ. Я хочу существовать и матеріально, и нравственно, и почему-то, не знаю самъ, думаю, что только въ Петербургѣ могу жить тѣмъ и другимъ образомъ». Еще черезъ недѣлю, 21 ноября, онъ пишетъ: «Жду отвѣта отъ Полевого. Этотъ отвѣтъ рѣшитъ мою участь. Впрочемъ, едва

[1]) Воспом. о Бѣлинскомъ, Совр. 1860, № 1, стр. 353. Въ записной книжкѣ Полеваго (сообщенной намъ П. Н. Полевымъ) записано подъ 12 октября 1837 объ отъѣздѣ изъ Петербурга: «Братъ (Ксенофонтъ Полевой), Мочаловъ и Бѣлинскій провожали меня до заставы. Со мной Ратьковъ».

ли состоится это дѣло: остается только одинъ мѣсяцъ до новаго года, а о программахъ «С. Пчелы» и «С. О.» и не слышно. Если это дѣло не состоится, тогда останется мнѣ одинъ источникъ содержанія — уроки! Горькая участь! Она грозитъ и душѣ и тѣлу, потому что то и другое тупѣетъ отъ насильственныхъ занятій»...

Но съ переѣзда Полевого въ Петербургъ, его положеніе стало выясняться. Въ дѣятельности Полевого начался тотъ прискорбный поворотъ, который уже вскорѣ совершенно отдалилъ отъ него Бѣлинскаго. Полевой покидалъ Москву съ предчувствіемъ, что первый славный періодъ его законченъ навсегда [1]).

На письма Бѣлинскаго Полевой отвѣчалъ отъ 22 декабря 1837. Его отвѣтъ уже носитъ на себѣ отпечатокъ тягостнаго положенія, въ какомъ онъ увидѣлъ себя въ Петербургѣ, среди всякихъ затрудненій, съ которыми ему нужно было бороться, чтобы получить средства къ существованію. Извѣстно, что Полевой не выдержалъ этой борьбы... Въ началѣ письма къ Бѣлинскому онъ объясняетъ, что обстоятельства до сихъ поръ мѣшали ему отвѣчать на «дружескія посланія» Бѣлинскаго. «Братъ можетъ разсказать вамъ, что встрѣтило меня въ Петербургѣ. Словно напущенье: смерти, болѣзни, скорби, мерзкая погода, непріятности и затрудненія по дѣламъ! Говорить не хотѣлось, писать не хотѣлось. Только усиленная работа спасаетъ меня, но за то отнимаетъ всю возможность думать о чемъ-нибудь другомъ и обрѣзываетъ время такъ, что свободной минуты не остается. Потому и теперь приступлю прямо къ отвѣту на ваше дружеское предложеніе. Какъ бы радъ я былъ сотруднику, такому, какъ вы, но я просилъ брата откровенно разсказать вамъ мое *нынѣшнее* [2]) положеніе, и вы сами увидите, что оно такъ скользко, безотчетно, связано отношеніями, что завлекать васъ надеждами, заставить переселиться сюда — значило бы взять на совѣсть, можетъ быть, и невольный обманъ. Необходимо слѣдуетъ нѣсколько погодить. Дайте мнѣ немного поустроиться, оглядѣться, утвердиться, и

---

[1]) Восп. о Бѣл., тамъ же. «Въ Петербургѣ Бѣлинскій не видался съ нимъ,—разсказываетъ дальше Панаевъ:—Полевой избѣгалъ его потому, что, послѣ совершенной перемѣны въ своихъ убѣжденіяхъ, ему, кажется, неловко было взглянуть прямо въ глаза Бѣлинскому.

«—Бѣлинскій—прекраснѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ!—сказалъ мнѣ однажды Полевой, когда я нарочно завелъ съ нимъ рѣчь о Бѣлинскомъ:—горячая голова, энтузіастъ, но теперь намъ сходиться не для чего-съ. Я здѣсь ужъ совсѣмъ не тотъ-съ»... И онъ далъ Панаеву нѣкоторое понятіе о томъ ужасномъ положеніи, въ какомъ себя чувствовалъ этотъ нѣкогда бодрый и энергическій дѣятель нашей литературы... (Ср. «Соврем.» 1865, № 3, стр. 86, примѣчаніе).

[2]) Курсивъ въ подлинникѣ.

тогда будетъ все отчетно и видно. Мысль моя теперь такая: еслибы вы могли послѣ Святой, весною, сюда пріѣхать, поглядѣть все сами, видѣть здѣшній людъ — это было бы всего лучше. Переѣздъ можно вознаградить тремя днями работы. Хата у меня есть, и я приму васъ съ распростертыми объятіями... Къ тому времени и мои обстоятельства будутъ уже утверждены. Да и надобно вамъ посмотрѣть на пресловутый Петербургъ, особливо если вы имѣете уже тайную мысль сюда переселиться. Вѣрьте, что все, что только въ силахъ я буду сдѣлать — сдѣлаю, и къ сердцу готовъ прижать васъ». Между тѣмъ надо было подумать, что Бѣлинскій могъ дѣлать *пока* въ Москвѣ; Полевой предлагаетъ Бѣлинскому посовѣтоваться съ его братомъ (жившимъ тогда въ Москвѣ)... «Главная трудность — писать въ Москвѣ, не зная *здѣшнихъ отношеній*. По крайней мѣрѣ, пусть все это докажетъ вамъ, что я истинно васъ люблю и уважаю. Я и самъ еще теперь не знаю, *какой принять тонъ*, какое выраженіе»: онъ думалъ только одно «положить въ основу» — не измѣнять правдѣ (онъ употребляетъ болѣе ясное и рѣзкое выраженіе)— «елико можно, а все остальное предоставить рѣшить времени. Смотрю, наблюдаю, кланяюсь скромно; что дѣлать, если хотѣть трудомъ принесть какую-нибудь пользу ближнимъ, и не думать только о своемъ карманѣ! Петербургъ — ужасный городъ въ этомъ отношеніи! Мнѣ, право, думается, что здѣсь, вмѣсто сердецъ, Богъ вложилъ въ тѣло каждаго карманъ. Въ Москвѣ есть еще какой-то безкорыстный idіотизмъ, но здѣсь умъ звенитъ разсчетомъ, и разсчетъ замѣняетъ умъ. Вотъ что хотѣлось и должно было вамъ сказать. Дайте руку и вѣрьте моему сердцу, даже болѣе моей головы»...

Дальнѣйшія свѣдѣнія о сношеніяхъ Бѣлинскаго съ Полевымъ находимъ въ письмахъ (неизданныхъ) Кольцова. Мы упоминали уже, какъ Бѣлинскій былъ заинтересованъ появленіемъ новаго перевода «Гамлета», который въ тоже время былъ поставленъ на московской сценѣ. Для Бѣлинскаго это было цѣлое событіе, литературное и драматическое; онъ тогда же задумалъ опредѣлить это событіе, и отдалъ начало своей статьи Полевому, который долженъ былъ издавать въ Петербургѣ «Сынъ Отечества»; но статья тамъ не появлялась.

Когда Кольцовъ отправлялся, въ началѣ 1838, въ Петербургъ, Бѣлинскій поручилъ ему справиться у Полевого о статьѣ. Дѣло состояло теперь въ слѣдующемъ. Получивъ начало статьи, Полевой напечаталъ его, неожиданно для Бѣлинскаго, въ «Сѣверной Пчелѣ», — не предполагая, что затѣмъ слѣдуетъ еще очень длинное продолженіе; получивъ вторую посылку, онъ увидѣлъ, что печатать статью урывками невозможно, но вмѣстѣ съ тѣмъ затруднился помѣстить ее и въ свой журналъ («Сынъ Отечества»): «Гамлетъ» былъ

переведенъ имъ, и въ своемъ же изданіи помѣщать его разборъ онъ считалъ неудобнымъ — подумали бы, что самъ онъ просилъ похвалъ; потомъ затруднялся длиными цитатами изъ извѣстнаго перевода, и т. п. Бѣлинскій ничего этого не зналъ; но когда Кольцовъ, по его порученію, былъ у Полевого, то оказалось еще, что задержка статьи имѣла и другія, болѣе отдаленныя, причины.

Кольцовъ такъ описываетъ свиданіе съ Полевымъ. «Онъ принялъ меня очень ласково, — пишетъ Кольцовъ отъ 21 февраля 1838 г.,—даже весьма ласково и радушно, какъ будто мы съ нимъ были знакомы два года. Было часа три; сначала онъ все извинялся, что недосуги, хлопоты, устройство дѣлъ журнальныхъ, новая партія, новые люди, знакомства, распорядокъ журналовъ новый мѣшали писать къ вамъ, и все сбирался, и все завтра и завтра, и вотъ до этихъ поръ не писалъ. Я его люблю и почитаю, какъ добраго и умнаго человѣка (приводитъ Кольцовъ слова Полевого); онъ такой прекрасный, такой милый, любезный человѣкъ, — я это знаю; но вотъ — чтожъ будешь дѣлать — обстоятельства все воротятъ по-своему; думалъ, думалъ — покорился опять на время имъ, хотя бы это и не кстати, не въ пору, и мнѣ ужъ, старику, 42 года, я бы что-нибудь могъ написать свое... а вотъ, несмотря ни на что, я работникъ на 5 лѣтъ..., а тутъ цензура все такъ и придирается; у людей хуже сходитъ, у меня — нѣтъ: вымарываютъ да и только; безпрестанно долженъ ѣздить самъ обо всякой малости говорить, объясняться. — Какъ это Богъ васъ управляетъ, Н. А.? — Что-жъ дѣлать, крайность». Кольцовъ передалъ ему порученіе Бѣлинскаго. Полевой объяснилъ затрудненія, которыя мѣшали ему напечатать статью (какъ выше указано), и прибавлялъ: ...«и съ первымъ напечатаннымъ началомъ мнѣ было много хлопотъ: такъ вотъ и смотрятъ, ни съ того, ни съ сего: то нейдетъ, то нельзя, а во всей статьѣ много есть выраженій, которыя вовсе не понравятся, и я ихъ не хотѣлъ бы передавать; а выкинуть сцены, перемѣнить слова самому безъ согласія, — *такъ вы вѣдь знаете Бѣлинскаго* и его самостоятельный характеръ; вотъ почему я ничего съ ней не дѣлаю». Полевой однако не желалъ отдавать статьи и хотѣлъ еще разъ списаться съ Бѣлинскимъ. Онъ опять говорилъ то, о чемъ писалъ уже Бѣлинскому въ декабрѣ 1837, — что дѣла его все еще не устроены, что всего лучше Бѣлинскому было бы самому пріѣхать послѣ Святой въ Петербургъ; что Бѣлинскій могъ бы прожить у него хоть все лѣто: онъ присмотрѣлся бы здѣсь къ людямъ, а Полевой печаталъ бы, что онъ напишетъ, и былъ бы очень радъ такому сотруднику. «Мнѣ кажется, такъ сдѣлать ему лучше (слова Полевого), а мнѣ бы такой сотрудникъ необходимо нуженъ. Да все

дѣла-то не устроены, бѣда. Богъ знаетъ за что, косятся на меня да и только; все наши старыя проказы довели до этого. Какъ тогда я былъ глупъ, что увлекался пустяками: ничего, да ничего, а это *ничего* и понынѣ никакъ не сотрешь; нужно поселить о себѣ невыгодное мнѣніе, такъ ужъ трудно его перемѣнить». «Вотъ какъ,— замѣчаетъ Кольцовъ,—отзывается о себѣ, о васъ и о вашей статьѣ Н. А. Полевой; я нарочно, какъ вы просили писать прямо, пишу всѣ его слова, какъ онъ говорилъ ихъ мнѣ».

Въ другомъ письмѣ отъ того же времени Кольцовъ извѣщаетъ, что Полевой затрудняется сдѣлать что-нибудь и относительно «Грамматики» Бѣлинскаго, который хотѣлъ, кажется, продать ее Смирдину, все еще думая, что она можетъ войти въ преподаваніе. Полевой затруднялся не безъ основанія: Смирдинъ вѣрилъ своимъ авторитетамъ, въ числѣ которыхъ былъ Гречъ, и притомъ грамматика Бѣлинскаго не была удобна для преподаванія. «Она,—какъ онъ говоритъ,—для дѣтей, а вовсе не дѣтская (слова Полевого): эта грамматика болѣе философская, дѣти ея не поймутъ, а взрослые немногіе читаютъ; притомъ въ ней много отвлеченностей; онъ человѣкъ странный, чудакъ большой; пишетъ то, чего у насъ еще не понимаютъ. Вотъ почему я ничѣмъ пособить не могу».

Кольцовъ также убѣждался, что Бѣлинскому, по обстоятельствамъ Полевого, нельзя было быть его (постояннымъ) сотрудникомъ, но можно было пріѣхать въ Петербургъ и помѣщать статьи въ качествѣ посторонняго человѣка...

«Обстоятельства» заключались въ новыхъ связяхъ Полевого въ Петербургѣ; новые друзья его, издатели «Пчелы» и редакторъ «Библіотеки для Чтенія», уже достаточно не терпѣли Бѣлинскаго,— Полевой не хотѣлъ этого высказать, но это было ясно. Самъ Полевой видимо упадалъ духомъ, очутившись на томъ рынкѣ, какой представляла тогда петербургская журналистика; онъ уже думаетъ, что ошибался, когда ставилъ прежде свои высокія требованія отъ литературы; начинаетъ сожалѣть о своей прежней смѣлости, какъ объ юношескомъ увлеченіи. Это мрачное и малодушное настроеніе проглядываетъ и въ слѣдующихъ замѣчаніяхъ, переданныхъ въ письмѣ Кольцова.

«Еще говоритъ Полевой, что Бѣлинскому непремѣнно надобно образовать себя болѣе, а для этого онъ лучшаго мѣста не найдетъ, кромѣ Питера. Если онъ пріѣдетъ сюда, то совершенно со мною согласится. Я самъ, живши въ Москвѣ, думалъ иначе, а здѣсь совсѣмъ другое, — куда! Мнѣ тоже *необходимо перемѣнить себя* во многомъ надобно. Мы совершенно отстали далеко отъ современ-

ныхъ новыхъ понятій (!): необыкновенно, какъ все идетъ скоро впередъ; направленіе за направленіемъ слѣдуетъ навскачь—вправду-ль это, не знаю (замѣчаетъ Кольцовъ отъ себя). Я знаю, его нельзя въ томъ увѣрить, а вотъ пріѣдетъ ко мнѣ самъ, тогда я увѣренъ, что онъ убѣдится въ этой необходимости»...

Эти резоны дѣйствительно не убѣждали Бѣлинскаго. Онъ поручилъ Кольцову взять у Полевого статью. Кольцовъ пишетъ отъ 7 марта, что Полевой отдалъ рукопись съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ и говорилъ Кольцову; «...пожалуйста, будете въ Москвѣ, вы его образумьте». Кольцовъ собирался говорить о статьѣ другимъ журналистамъ, Плетневу, Краевскому, но дѣло не уладилось и здѣсь. Кольцовъ извѣщалъ Бѣлинскаго въ февралѣ, что редакторъ «Литер. Прибавленій» относился къ нему очень сухо (по мнѣнію Кольцова оттого, что этотъ редакторъ предполагалъ сперва, что Бѣлинскій будетъ работать у Полевого, т.-е. въ другой партіи). Въ мартѣ извѣстія были лучше: Бѣлинскому предлагали присылать свои статьи, но редакторъ «Прибавленій» дѣлалъ оговорку, что будетъ печатать его библіографическія статьи «съ перемѣною» въ томъ, что̀ будетъ «противъ его связей», по выраженію Кольцова. Переговоры еще разъ прекратились.

Кольцовъ сообщалъ, какіе отзывы случалось ему слышать о Бѣлинскомъ въ петербургскомъ литературномъ кругу: люди старой школы порядочно его ненавидѣли (такъ, на вечерѣ у Плетнева онъ слышалъ отзывы Воейкова), но въ молодомъ кругу Кольцовъ встрѣчалъ людей, высоко цѣнившихъ Бѣлинскаго. Кольцовъ думалъ, что понялъ, наконецъ, и отзывы Полевого. «Скажу вамъ еще,—пишетъ онъ Бѣлинскому отъ 14 марта,—что Н. А. принимаетъ на самого себя очень много небывалаго, и что его сомнѣнія, не только объ васъ, но и о себѣ, совсѣмъ несправедливы, и онъ сперва пугнетъ самого себя, потомъ напугалъ меня, — а я ужъ напугалъ васъ. Я ему повѣрилъ на слово, безусловно; въ этомъ состояла вся ошибка. Его, какъ и васъ, не любитъ одна бездарность за одинъ умъ и ни за что другое». Кольцовъ думалъ, что, можетъ быть, даже Полевой не хотѣлъ сказать правды и ему, и Бѣлинскому; но его слова всетаки отчасти справедливы. «О разборѣ «Гамлета» онъ мнѣ просто навралъ, это ужъ я вижу, какъ настоящій день. Говоритъ, въ немъ и то, и то есть; а въ немъ ровно того-то и того-то нѣтъ. Его же не терпятъ нѣкоторые еще и за то, что онъ знакомъ съ Булгаринымъ и Гречемъ; съ ними многіе не хотятъ и встрѣчаться». Въ догадкахъ Кольцова было много вѣрнаго: Полевой, конечно, много себѣ повредилъ связью съ названными сейчасъ людьми; съ другой стороны, онъ былъ, къ сожалѣнію, слишкомъ напуганъ и преуве-

личивалъ свою осторожность, полагая необходимымъ и то, что вовсе не было необходимо, и старался увѣрить себя въ неизбѣжности выбранной имъ дороги. Кольцовъ, возвратившись въ Москву, конечно, сообщилъ Бѣлинскому и много другихъ подробностей, и для Бѣлинскаго стало ясно, что съ Полевымъ онъ уже не можетъ дѣлать общаго дѣла; ихъ отношенія прервались окончательно, и когда Полевой совершенно вошелъ въ союзъ съ людьми, презираемыми Бѣлинскимъ, мѣсто прежняго уваженія заступило въ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ Полевому озлобленное раздраженіе, съ которымъ мы еще встрѣтимся.

Бѣлинскій приходилъ въ совершенное отчаяніе отъ гнетущей нужды, отъ которой не имѣлъ средствъ избавиться. «Знаешь ли ты,—пишетъ онъ къ Бакунину 1-го ноября 1837 года,—что иногда, принимаясь съ жаромъ за какое-нибудь хорошее дѣло... я бросаю его съ отчаяніемъ, когда мнѣ говорятъ о пришедшемъ кредиторѣ, или о томъ, что хлѣба нѣтъ, и бѣгу куда-нибудь, какъ будто бы надѣясь убѣжать отъ самого себя? Знаешь-ли ты, что пиша къ тебѣ эти строки, я безпрестанно бросаю перо, чтобы у печки отогрѣвать мои закоченѣвшія руки, потому что въ комнатѣ хоть волковъ морозь, а въ карманѣ хоть выспись».

Подъ вліяніемъ внутреннихъ тревогъ, производимыхъ броженіемъ неудовлетвореннаго чувства и невозможными крайностями идеализма,—и подъ вліяніемъ бѣдственныхъ матеріальныхъ обстоятельствъ, у Бѣлинскаго сталъ составляться планъ переселенія въ Петербургъ. Мысль объ этомъ появилась у него впервые, кажется, весной 1837 года. Въ началѣ года онъ искалъ себѣ литературной работы въ Петербургѣ; теперь онъ сталъ думать о совершенномъ переселеніи въ Петербургъ. Этотъ планъ однако мало его радовалъ. Въ письмѣ изъ Пятигорска, отъ 21 іюня, онъ говоритъ о своихъ дѣлахъ: «Въ будущемъ еще есть надежда, но настоящее ужъ слишкомъ гадко. Если же и будущее обманетъ (въ московскихъ дѣлахъ), тогда прощайте—ѣду въ Питеръ. Въ Москвѣ нечего дѣлать, кромѣ какъ умирать съ голоду или идти по міру. Но я все еще надѣюсь поправиться, мимо Петербурга, который такъ же люблю, какъ Камчатку». Въ письмѣ къ Бакунину 16 августа 1837, описывая свое нравственное разстройство по возвращеніи въ Москву изъ деревни Бакуниныхъ, Бѣлинскій говоритъ:

«Наконецъ, я рѣшился ѣхать въ Петербургъ: это было лучшее время моей жизни. Я ощутилъ въ себѣ тройную силу, я возымѣлъ какую-то благородную рѣшимость похоронить въ сердцѣ всѣ надежды, житѣ жизнію страданія, оторваться отъ друзей, отъ всего, что мило, и строгою жизнію, тяжкимъ трудомъ, выкупить прошед-

шія заблужденія и помириться съ жизнію... Я сталъ свободенъ, гордъ, несчастенъ, и въ первый разъ узналъ счастіе, потому что моя рѣшимость родила во мнѣ довѣренность и уваженіе къ самому себѣ. Словомъ, я страдалъ, — но былъ счастливъ. Но вскорѣ увидѣлъ, что отъ меня требуютъ невозможнаго [1]) и что, поэтому, поѣздка должна не состояться».

Въ сентябрѣ 1837 года Бѣлинскій думалъ найти работу въ Москвѣ, когда Кс. Полевой разсчитывалъ пріобрѣсти «Московскаго Наблюдателя»: «тогда бы уже меня не стала мучить мысль о необходимости переѣхать въ Петербургъ», — замѣчаетъ онъ. Когда и это не состоялось, онъ снова думаетъ о переселеніи.

«Я хочу существовать и матеріально, и нравственно,—пишетъ Бѣлинскій къ Бакунину отъ 15 ноября, 1837, — и почему-то, не знаю самъ, думаю, что только въ Петербургѣ могу жить тѣмъ и другимъ образомъ. Въ мысли о Петербургѣ для меня есть что-то горькое, сжимающее грудь тоскою, но вмѣстѣ съ тѣмъ и что-то, дающее силу, возбуждающее дѣятельность и гордость духа. Сверхъ того, я нуждаюсь, для поддержанія моей дѣятельности, во внѣшнихъ возбужденіяхъ».

Онъ думаетъ, что и до тѣхъ поръ всѣ его статьи «не были бы написаны безъ понуканій типографскихъ наборщиковъ и разныхъ внѣшнихъ принужденій». Но рядомъ съ этимъ онъ говоритъ: «я знаю себя: мнѣ не надо спать, а московская жизнь, даря меня прекрасными минутами, усыпляетъ на остальное время. Мнѣ надоѣло это». Петербургъ долженъ измѣнить его жизнь. «Петербургъ раздѣлитъ мою жизнь на двѣ половины, и если вторая не будетъ лучше первой, если она останется такимъ же призракомъ, то лучше... молча истаять и исчезнуть, подобно призраку». «Въ Петербургъ, въ Петербургъ — тамъ мое спасеніе», восклицаетъ онъ въ другомъ письмѣ того же времени.

Въ Петербургѣ Бѣлинскій надѣялся найти и работу и исцѣленіе отъ нравственныхъ тревогъ. Онъ не ошибся въ своихъ предположеніяхъ—хотя не предвидѣлъ тогда, какимъ путемъ совершится его исцѣленіе, да не совсѣмъ избавился и отъ нужды. Неясное предчувствіе заставляло его видѣть въ переселеніи въ Петербургъ тягостный переломъ; петербургская жизнь его пугала и въ то же время тянула къ себѣ, и въ самомъ дѣлѣ, въ Москвѣ уже не предвидѣлось удобныхъ условій для его работы; Петербургъ несравненно болѣе могъ удовлетворить той жаждѣ дѣятельности, которая начинаетъ все больше и больше имъ овладѣвать, и съ другой стороны,

[1]) Это должно относиться къ переговорамъ съ редакторомъ «Литер. Прибавленій».

могъ извлечь его изъ исключительной атмосферы кружка, избавить его реальными свойствами своего быта отъ туманнаго идеализма и, въ концѣ-концовъ, сообщить болѣе свободный и широкій взглядъ на дѣйствительность и на русскую жизнь. Но этотъ-то ожидаемый поворотъ и пугалъ Бѣлинскаго, потому что грозилъ настоящему тяжелымъ разрывомъ, неизбѣжнымъ и неизвѣстнымъ испытаніемъ...

Но еще въ московскій періодъ жизни Бѣлинскаго, въ его мнѣніяхъ сталъ совершаться поворотъ,—правда еще очень далекій отъ тѣхъ позднѣйшихъ взглядовъ, которые можно считать его нормальными, окончательными взглядами, но во всякомъ случаѣ представлявшій какой-нибудь выходъ изъ прежней отвлеченности.

Дѣлая попытку обозначить эти новые переходы его мнѣній, опять считаемъ необходимой оговорку о трудности сдѣлать это съ какой-нибудь полнотой. Не говоря о томъ, что составъ нашего матеріала—вообще болѣе или менѣе случайный, не все въ этомъ развитіи взглядовъ Бѣлинскаго перешло въ его письма. Послѣдніе годы его пребыванія въ Москвѣ, 1838—1839 гг., были не менѣе прежнихъ отмѣчены постоянной работой его мысли, которая рѣдко останавливалась на долго на томъ или другомъ воззрѣніи, а напротивъ, была въ постоянномъ безпокойномъ броженіи. Случалось, что, начавъ письмо, онъ самъ торопился его кончить, чтобы досказать свою мысль, которая послѣ могла или явиться у него уже въ иномъ видѣ, или быть совсѣмъ покинута. «Чудное дѣло письмо,—говоритъ однажды Бѣлинскій, принимаясь за продолженіе письма, начатаго наканунѣ:—его надо или кончить за одинъ разъ, или совсѣмъ за него не приниматься. Теперь надо мнѣ продолжать начало, а начало-то и не годится»... Въ другой разъ, онъ пишетъ къ пріятелю, съ которымъ временно разошелся: «неужели ты повѣрилъ мнѣ, моимъ письмамъ, когда я себѣ ни въ чемъ не вѣрю, когда я безпрестанно перехожу изъ одного состоянія въ другое»... «Это мое письмо», пишетъ онъ въ третій разъ, «есть окончаніе предшествовавшаго, въ которомъ я далеко не все высказалъ, что хотѣлъ высказать. Постараюсь это сдѣлать какъ можно полнѣе... Тѣмъ болѣе почитаю это нужнымъ сдѣлать, что не увѣренъ — буду ли, по полученіи отъ тебя отвѣта, писать къ тебѣ въ этомъ духѣ» [1]). И дѣло шло здѣсь не о какихъ-нибудь случайныхъ настроеніяхъ, а даже о предметахъ, составлявшихъ его насущный душевный интересъ.

---

[1]) Письма къ Бакунину 20 іюня, 13 авг., 10 сент. 1838.

Причиной этого тревожнаго волненія мысли были не внѣшнія заботы,—какъ иногда Бѣлинскій думалъ (хотя они и были очень трудны); безсознательно для самого Бѣлинскаго, главной причиной его волненій было то, что его мысль и чувство не находили удовлетворенія въ тогдашнемъ содержаніи кружка. Этимъ содержаніемъ съ 1836 года былъ «фихтіянскій» и «гегеліянскій» идеализмъ, одной изъ особенностей котораго было страстное стремленіе къ мнимо-«абсолютной» жизни,—освященной «благодатью», исполненной одними высшими духовными интересами знанія, искусства, возвышенной любви, и сколько возможно удаленной отъ всякаго общенія съ съ житейской «пошлостью». Смѣнивши прежнія настроенія, не лишенныя либеральной окраски и считавшіяся теперь мелкой ограниченностью, этотъ идеализмъ сталъ для Бѣлинскаго высшимъ кодексомъ истины, и надолго, до самаго переселенія въ Петербургъ, овладѣлъ его мыслями, какъ высшая цѣль для человѣчныхъ стремленій: въ немъ была заключена возможность нравственнаго совершенствованія и достиженія истиннаго человѣческаго развитія и достоинства. Чисто личный интересъ воспитанія въ себѣ «абсолютной» человѣческой личности здѣсь господствовалъ, и отношенія человѣка къ обществу стояли на второмъ планѣ: общество и государство были особый міръ, исполнявшій свои раціональные законы,— какъ-будто не нуждаясь въ личности, или же опредѣляя ея внѣшнія условія съ такой фаталистической необходимостью, которая исключала самую возможность вмѣшательства личности въ устройство этихъ внѣшнихъ условій. Отсюда возникало указанное выше чисто-консервативное отношеніе къ общественнымъ предметамъ, похожее на совершенный индифферентизмъ, или на безсознательное бѣгство отъ общества, отъ котораго не предвидѣлось ни малѣйшаго отвѣта и сочувствія высшимъ стремленіямъ личности. Человѣку, осѣненному «благодатью», нѣтъ дѣла до внѣшнихъ интересовъ общества — они устроены наилучшимъ образомъ, какъ имъ слѣдуетъ быть устроенными по всѣмъ обстоятельствамъ дѣла; этотъ человѣкъ есть, конечно, гражданинъ общества, и долженъ ему служить, — но для послѣдняго ему достаточно заботиться о своемъ личномъ совершенствованіи, а остальное произойдетъ само собою.

Но какъ ни высоко ставилъ Бѣлинскій свой новый философскій символъ, этотъ символъ уже съ самаго начала представлялъ неразрѣшимыя задачи. Въ самомъ дѣлѣ, Бѣлинскій, твердо и пламенно увѣровавшій въ необходимость «абсолютной жизни» и съ удивительнымъ простодушіемъ, свойственнымъ искреннимъ и серьёзнымъ натурамъ, вѣрившій, что эта абсолютная жизнь достигнута его философскимъ другомъ, — Бѣлинскій сокрушался, что абсолютная

жизнь никакъ не дается ему самому, что онъ возвышается до нея только въ отдѣльные моменты, за которыми слѣдуютъ ненавистные ему «интервалы» апатіи. Мы указывали примѣры подобныхъ смущеній Бѣлинскаго; еще одинъ подобный эпизодъ находимъ въ письмѣ къ Бакунину 21 ноября 1837:

«Когда-жъ я одѣнусь въ одежду свѣтлую и нетлѣнную?... (спрашиваетъ онъ). Право, мнѣ въ иныя апатическія минуты бываетъ досадно на природу, что она дала мнѣ такія превосходныя начала, что я уже не могу удовлетвориться грязью жизни, въ которой валяюсь; а не дала столько силы воли, чтобъ я могъ вырваться изъ нея. Иногда приходитъ мнѣ мысль, очень подлая, если она есть глухой голосъ моего эгоизма, мысль, что такъ какъ развитіе человѣка во времени и обстоятельствахъ общественныхъ, то ужъ не должно ли мнѣ быть именно такою дрянью, каковъ я есть, чтобы жить не даромъ для общества, среди котораго я рожденъ? Вѣдь все, что ни есть, есть вслѣдствіе законовъ необходимости и должно быть такъ, какъ есть? Но для чего же я знаю настоящую истину? Развѣ она не должна-бъ была освободить меня? Чортъ знаетъ, что такое! Вотъ ужъ именно такое, что только поплевать на него, да и бросить» [1]...

Въ другой разъ, Бѣлинскій, разсуждая о внутренней борьбѣ и неурядицѣ, въ немъ происходившей, приходитъ къ убѣжденію, что онъ «ненавидитъ мысль» (письмо 20 іюня, 1838).

«Да, я ненавижу ее, какъ отвлеченіе. Но развѣ можетъ она пріобрѣтаться, не будучи отвлеченною, развѣ мыслить должно всегда только въ минуту откровенія, а въ остальное время ни о чемъ не мыслить? Я понимаю всю нелѣпость подобнаго предположенія, но моя природа враждебна мышленію».

По словамъ Бѣлинскаго, только его другъ, учившій его философіи, могъ какъ-то овладѣть имъ и заставить его о многомъ подумать: это было для него необходимо и благодѣтельно; многое онъ понималъ теперь глубоко, и именно черезъ этого друга,—въ чемъ и состояло его вліяніе... Очевидно, что «вражда къ мышленію», открытая въ себѣ Бѣлинскимъ, обозначала именно противодѣйствіе его натуры той крайней отвлеченности, которую налагала теорія «абсолютной жизни». Бѣлинскій былъ еще подъ ея вліяніемъ, но уже смутно чувствовалъ необходимость какого-то исправленія теоріи, какого-то новаго содержанія, котораго онъ еще не можетъ опредѣлить: среди «абсолютныхъ» мечтаній онъ ощущаетъ потребность труда, необходимость подумать о внѣшней жизни, предчувствуетъ скорую перемѣну въ своей жизни. Впослѣдствіи онъ говоритъ, что къ концу 1837 года онъ «утомился отвлеченностью» и «жаждалъ

---

[1]) Гоголевская фраза.

сближенія съ дѣйствительностью». На первый разъ этой жаждѣ удовлетворилъ сначала М. Бакунинъ Гегелемъ и своими истолкованіями его, потомъ Катковъ—тѣмъ же Гегелемъ.

Сближеніе съ «дѣйствительностью», совершаемое подъ вліяніемъ Гегеля,—какъ и оно ни было отвлеченно, было уже шагомъ впередъ, въ сравненіи съ прежними уклоненіями отъ всякаго подобнаго сближенія. Новый взглядъ былъ принятъ Бѣлинскимъ тѣмъ охотнѣе, что онъ, собственными усиліями, приходилъ къ необходимости признать дѣйствительность и дать мѣсто ея требованіямъ въ личной жизни.

Въ этомъ отыскиваніи правъ дѣйствительной жизни было, если угодно, нѣсколько наивнаго; вопросъ былъ бы просто страненъ во всякомъ другомъ случаѣ и былъ возможенъ только въ послѣднемъ идеалистическомъ самообольщеніи... Живя въ Пятигорскѣ, Бѣлинскій, подавленный своими бѣдственными обстоятельствами, старается розыскать ихъ причины, и наконецъ находитъ (какъ выше упомянуто)—въ безпорядкѣ своей внѣшней жизни, въ недостаткѣ вниманія къ ней; съ отысканіемъ причины «болѣзни», нашлось и лекарство—вниманіе къ внѣшнимъ дѣламъ и «аккуратность». Среди самоосужденій и обличеній прежней безпорядочности, Бѣлинскій извѣщаетъ своего пріятеля о найденной имъ панацеѣ, которую рекомендовалъ и ему (по мнѣнію Бѣлинскаго, онъ тоже въ ней нуждался). Между друзьями завязывается горячій споръ. Пріятель, горячій адептъ абсолютности, обвинилъ Бѣлинскаго въ «измѣнѣ идеальности», что равнялось «измѣнѣ Богу»;—но Бѣлинскій стоялъ на своемъ, принималъ благія рѣшенія относительно будущаго устройства своей внѣшней жизни, и когда, несмотря на старанія, внѣшняя жизнь все-таки не устроивалась, а во внутренней продолжались тѣже тревоги,—онъ впадалъ въ отчаяніе о самомъ себѣ... Но съ тѣхъ поръ въ немъ осталась мысль о необходимомъ дополненіи абсолютной жизни вниманіемъ къ реальнымъ интересамъ «внѣшности».

Между тѣмъ самое ученіе кружка́ дополнилось новыми теоріями изъ Гегеля. Къ первому изученію, начатому еще Станкевичемъ, прибавилось теперь знакомство съ философіей религіи, философіей права и наконецъ съ эстетикой [1]). Хронологію этихъ

[1]) Станкевичъ, въ письмѣ изъ Берлина, спрашиваетъ Боткина объ его занятіяхъ,—рекомендуетъ читать именно «Эстетику» Гегеля: «ради Бога, не берись за Логику. У Гегеля ея никто не понималъ — а теперь чрезъ новое преподаваніе идетъ все хорошо; я возьмусь за большую порядкомъ только по выслушаніи курса, а теперь исподволь читаю ее. Пріѣду и разскажу вамъ все, чему учился».

изученій трудно опредѣлить—по отсутствію въ нашемъ матеріалѣ нѣкоторыхъ писемъ и по совершенному перерыву въ перепискѣ друзей съ ноября 1837 до половины 1838 [1]). Но объ эффектѣ новаго знакомства съ Гегелемъ можно судить по собственному свидѣтельству Бѣлинскаго въ его нѣсколько позднѣйшемъ письмѣ къ Станкевичу (сентября, 1839). Разсказывая различные переходы своихъ мнѣній, Бѣлинскій вспоминаетъ 1837 годъ:

«Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ Бакунинъ—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила:—нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей; я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ. Я раскланялся съ французами. Передъ этимъ еще К-въ передалъ мнѣ, какъ умѣлъ, а я принялъ въ себя, какъ могъ, нѣсколько результатовъ Эстетики—Боже мой! какой новый, свѣтлый, безконечный міръ! Я вспомнилъ тогда твое недовольство собою, твои хлопоты о побіеніи фантазій твою тоску о нормальности. Слово «дѣйствительность» сдѣлалось для меня равнозначительно слову «Богъ». И ты напрасно совѣтуешь мнѣ чаще смотрѣть на синее небо—образъ безконечнаго, чтобы не впасть въ кухонную дѣйствительность: другъ, блаженъ, кто можетъ видѣть въ образѣ неба символъ безконечнаго, но вѣдь небо часто застилается сѣрыми тучами, потому тотъ блаженнѣе, кто и кухню умѣетъ просвѣтлить мыслію безконечнаго».

Бѣлинскій еще болѣе утвердился въ той примирительной точкѣ зрѣнія, которая высказывалась у него весьма положительно и ранѣе. Слово «дѣйствительность» стало господствующей его темой. «Примиреніе» начинаетъ сказываться во взглядахъ Бѣлинскаго въ разныхъ отношеніяхъ; онъ уже не выдѣляетъ, напр., людей, одаренныхъ «благодатью», въ привилегированную касту, и не надѣляетъ презрѣніемъ всю неодаренную массу и общество, какъ прежде. Онъ попрежнему убѣжденъ, что человѣкъ долженъ стремиться къ освобожденію отъ субъективности, къ абсолютной истинѣ,—но мирится съ тѣми, у кого нѣтъ этого стремленія.

«Теперь,—говоритъ онъ (въ письмѣ къ Бакунину авг. 14, 1838),—когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ, и никто не виноватъ: что нѣтъ ложныхъ, ошибочныхъ мнѣній, а есть моменты духа. Кто разви-

[1]) Это время, если не ошибаемся, Бакунинъ прожилъ въ Москвѣ, вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ.

вается, тотъ интересенъ каждую минуту, даже во всѣхъ своихъ уклоненіяхъ отъ истины. Пошлы только тѣ, которыхъ мнѣнія и мысли не есть цвѣтки, плоды ихъ жизни, а грибы, наростающіе на деревахъ. Но и эти люди мнѣ теперь не пошлы, даже не жалки, въ презрительномъ смыслѣ этого слова. Имъ не дано жить въ духѣ: и не скажу, чтобы ихъ должно было жалѣть, но смѣло скажу, что ихъ не должно ни ненавидѣть, ни презирать. Когда въ душѣ любовь, то и ихъ любишь объективно, какъ необходимыя явленія жизни».

Уже изъ этого отрывка можно видѣть, какъ далеко шла прежняя точка зрѣнія, если теперь надо было рѣшать, что не слѣдуетъ «ненавидѣть» людей, живущихъ «внѣ духа». Прежняя вражда къ «пошлой внѣшности», уже сдѣлавшая уступку по личнымъ размышленіямъ Бѣлинскаго, теперь окончательно смѣняется примиреніемъ съ дѣйствительностью, смыслъ которой Бѣлинскій считалъ найденнымъ.

Въ письмѣ 10 сент. 1838, онъ признаетъ, что сдѣлалъ великое движеніе въ сферѣ мысли, всего болѣе благодаря Михаилу Бакунину, который нѣкогда первый уничтожилъ въ его понятіи цѣну опыта и дѣйствительности, втянувъ въ фихтіянскую отвлеченность; теперь Бѣлинскій узналъ отъ него значеніе (гегеліянской) дѣйствительности. Мысли, услышанныя отъ него, цѣной борьбы и усилій переработались въ Бѣлинскомъ въ убѣжденіе. Въ слѣдующихъ словахъ онъ высказываетъ его очень наглядно.

«Такова моя натура,—продолжаетъ Бѣлинскій:—съ напряженіемъ, *горестно и трудно*, принимаетъ мой духъ въ себя и любовь, и вражду, и знаніе, и всякую мысль, всякое чувство; но, принявъ, весь проникается ими, до сокровенныхъ и глубокихъ изгибовъ своихъ. Такъ въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность*. Я бы сказалъ ложь и глупость, сказавъ, что я дѣйствителенъ и постигъ дѣйствительность; но я скажу правду, сказавъ, что сдѣлалъ новый великій шагъ въ томъ и другомъ... Я гляжу на дѣйствительность, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность, видя, что изъ нея ничего нельзя выкинуть, и въ ней ничего нельзя похулить и отвергнуть. Я думаю *точно также* о жизни, о бракѣ, о службѣ, словомъ—о всѣхъ человѣческихъ и общественныхъ отношеніяхъ, какъ и всѣ практическіе люди, столько еще недавно презираемые и ненавидимые мною, и, въ то же время, я думаю обо всемъ этомъ *совершенно не такъ*, какъ они. Да—такъ и не такъ! Долгъ, нравственная точка зрѣнія, самоотверженіе, пожертвованіе собою, благодать, воля, свобода въ благодати, прямота дѣйствій, политика, бракъ по любви, бракъ по разсчету, чувство въ изящномъ, вкусъ въ изящномъ, чувство, приличіе—словомъ, всѣ самыя противоположныя понятія получили для меня какой-то цѣлостный смыслъ и уже не дерутся между собою, но образуютъ цѣлое зданіе со мно-

гими сторонами, одну общую картину изъ разныхъ красокъ, жизнь изъ безконечно разнообразныхъ элементовъ. Теперь я понимаю, что искусственное (отвлеченное) сознаніе есть просвѣтленіе естественнаго, но что результаты ихъ одни и тѣ же, потому что истинное сознаніе есть естественное, просвѣтленное искусственнымъ....

«*Дѣйствительность!* твержу я, вставая и ложась спать, днемъ и ночью,—и дѣйствительность окружаетъ меня, я чувствую ее вездѣ и во всемъ, даже въ себѣ, въ той *новой* перемѣнѣ, которая становится замѣтнѣе со дня на день. Давно ли я спорилъ..., что не хочу и не обязанъ терять времени и принуждать себя съ людьми чуждаго мнѣ міра?... И что же? Я теперь каждый день сталкиваюсь съ людьми практическими, и мнѣ уже не душно въ ихъ кругу, они уже интересны для меня объективно, и я не въ тягость имъ. Захочу ли я высказать горькую правду человѣку, мнѣ чуждому, то чѣмъ я враждебнѣе ему по моей натурѣ и моей сформировкѣ, чѣмъ болѣе заслуживаетъ онъ горькой и рѣзкой правды,—тѣмъ голосъ мой тише, трепетнѣй, но отъ любви къ нему на эту минуту, тѣмъ слова мои деликатнѣе, полнѣе любви и потому дѣйствительнѣе... Это перемѣна—и большая. Дикость моей натуры со дня на день исчезаетъ: грусть смягчила и просвѣтлила ее. Я конь рьяный, горячій, но выѣзженный. Мои сношенія съ людьми только одно дѣлаетъ еще тягостными, но именно потому, что это одно есть болѣзнь, отъ которой я еще только хочу начать выздоравливать. Это то горькое, мучительное, какъ раскаленнымъ желѣзомъ прожигающее душу чувство, которое наслано на меня судьбою, какъ посылаются бури на засохшую почву, чтобы увлажилась и принесла плодъ свой сторицею. Да, я *снова* начинаю вѣрить, что и моя буря пройдетъ мимо, чтобы ярче засіяло солнце моего духа»...

Не совсѣмъ ясно, что разумѣлъ Бѣлинскій въ этихъ послѣднихъ словахъ,—но повидимому и въ настоящемъ примиреніи съ дѣйствительностью его «горькое мучительное чувство» не успокоилось на томъ, что ему хотѣлось теперь считать послѣднимъ предѣломъ своихъ стремленій,—быть можетъ, оно ждало еще иныхъ причинъ.

Въ это время (въ 1838) Бѣлинскій получилъ учительское мѣсто въ межевомъ институтѣ [1]), и онъ, еще недавно пугавшійся необходимости давать уроки, что дѣйствительно вовсе не было по его характеру, въ своемъ новомъ настроеніи совершенно доволенъ своей дѣятельностью или до того успѣлъ увѣрить себя въ этомъ довольствѣ, что даже находитъ въ своемъ учительствѣ «безконечныя средствія въ постиженіи дѣйствительности».

[1]) Ср. письмо Бѣлинскаго объ этомъ къ брату Константину, отъ іюня въ «Р. Старинѣ» 1876, февр., 343. Бѣлинскій получилъ это мѣсто черезъ кн. Козловскаго (инспектора института), который тогда съ нимъ очень дружески. Бѣлинскій, кажется, очень недолго остался на службѣ; но отношенія съ кн. Козловскимъ сохранились и послѣ.

«Съ ненасытимымъ любопытствомъ вглядываюсь я въ эти пружины, въ эти средства, по наружности столь грубыя, пошлыя и *прозаическія*, которыми созидается эта польза, не блестящая, не замѣтная, если не слѣдить за ея развитіемъ во времени, неуловимая для поверхностнаго взгляда, но великая и благодатная своими слѣдствіями для общества. Пока есть сила, я самъ рѣшаюсь на все, чтобы принести на алтарь общественнаго блага и свою лепту. Къ намъ пріѣхалъ попечитель, назначилъ у себя въ комнатахъ экзамены выпускнымъ ученикамъ; я ожидалъ своего экзамена безъ робости, безъ безпокойства, сдѣлалъ его со всѣмъ присутствіемъ духа, смѣло, хорошо; попечитель меня обласкалъ, я говорилъ съ нимъ и—не узнавалъ самого себя... Да, дѣйствительность вводитъ въ дѣйствительность. Смотря на каждаго не по ранѣе заготовленной теоріи, а по даннымъ, имъ же самимъ представленнымъ, я начинаю умѣть становиться къ нему въ настоящія отношенія, и потому мною всѣ довольны, и я всѣми доволенъ. Я начинаю находить въ разговорѣ общіе интересы съ такими людьми, съ какими никогда не думалъ имѣть чего-либо общаго. Требуя отъ каждаго именно только того, чего отъ него можно требовать, я получаю отъ него одно хорошее и ничего худого. Нѣтъ ничего идеальнѣе (т.-е. пошлѣе), какъ сосредоточеніе въ какомъ-то кругѣ, похожемъ на тайное общество, и не похожемъ ни на что остальное и враждебное всему остальному [1]). Всякая форма, поражающая людей своею рѣзкостію и странностію и пробуждающая о себѣ толки и пересуды,—пошла, т.-е. идеальна. Надо во внѣшности своей походить на всѣхъ. Кто удивляетъ своею оригинальностію (разумѣется, такою, которая большинству не нравится), тотъ похожъ на человѣка, который пріѣхалъ на балъ въ платьѣ страннаго или стариннаго покроя, для показанія своего полнаго презрѣнія къ условіямъ общества и приличію. Недаромъ общество заклеймило такихъ людей именемъ *опасныхъ* и *безпокойныхъ;* впрочемъ, еслибы оно назвало ихъ *пустыми*, то было бы правѣе (!). Теперь единственное мое стараніе, чтобы всякій, знающій меня по литературѣ и увидѣвшій въ первый и во сто-первый разъ, сказалъ: «Это-то Б—ій; да онъ *какъ всѣ!*» Простота, и если сила и достоинство, то все-таки въ простотѣ—вотъ главное».

Еще далѣе идетъ разсужденіе о «дѣйствительности», которую Бѣлинскій разумѣетъ въ самомъ примирительно-консервативномъ смыслѣ. Главной цѣлью должна быть простота и согласіе съ дѣйствительностью; страсть рисоваться бываетъ свойственна даже людямъ, сильнымъ духомъ, но только въ періодъ идеальности. «Такъ Шиллеръ въ большей части своихъ произведеній фразёръ, не будучи фразёромъ». Бѣлинскій узналъ недавно вещь, которая прежде для него была тайной, именно, что «нѣтъ людей падшихъ, измѣнившихъ своему призванію», потому что это просто люди, увлекаемые за

[1]) Такъ стала ему теперь представляться отдѣльность и исключительность ихъ собственнаго кружка, которую въ прежнее время (и послѣ) онъ понималъ совсѣмъ иначе.

собой или одолѣваемые дѣйствительностью. «Дѣйствительность есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и желѣзными челюстями: кто охотно не отдается ей, того она насильно схватываетъ и пожираетъ». Оттого бываетъ, что и прекраснѣйшіе люди опошляются. «Иной всю жизнь мечталъ о какой-то небесной женщинѣ, а женится на тряпкѣ; иной всю жизнь мечталъ о благѣ общественномъ, а потомъ преспокойно, добившись тепленькаго мѣстечка, беретъ взятки». Происходитъ это отъ коллизіи съ дѣйствительностью: эта коллизія, родъ смирительнаго дома судьбы или ея полиціи, «наказываетъ за отпаденіе отъ господствующей идеи общества». — «Чѣмъ выше были мечты человѣка, чѣмъ важнѣе былъ бунтъ человѣка противъ общества, къ которому онъ принадлежитъ,—тѣмъ ужаснѣе смиреніе и наказаніе за это. Да, вмѣсто женщины—тряпка, вмѣсто подвизанія на поприщѣ общаго блага — взяточничество. Дѣйствительность мститъ за себя насмѣшливо, ядовито, и мы безпрестанно встрѣчаемъ жертвы ея мести. Личное свободное стремленіе, не примиренное съ внѣшнею необходимостію, вытекающею изъ жизни общества, производитъ коллизіи». Кромѣ коллизіи бываетъ въ этомъ виновата идеальность. «Человѣкъ мечталъ о небесной женщинѣ, но эта женщина была идея, а не живой образъ, одностороннее отвлеченіе въ родѣ шиллеровскихъ женщинъ. Онъ мечталъ объ общемъ благѣ и личномъ своемъ участіи въ немъ; но это благо было мечтательное, а не дѣйствительное». «Изъ крайностей переходятъ въ крайности», замѣчаетъ Бѣлинскій, и припоминаетъ, какъ злѣйшіе испанскіе инквизиторы бывали съ молоду отчаянными вольнодумцами и какъ иногда отъ изувѣрства переходятъ въ невѣріе.

«Идеальный человѣкъ, не встрѣчая нигдѣ своей *идеальной* женщины, потому что ея нигдѣ нѣтъ, приходитъ въ отчаяніе и увѣряется, что грязная и пошлая дѣйствительность есть истинная дѣйствительность. Вотъ тутъ-то судьба и ставитъ свою ловушку»... «Идеальный человѣкъ не понимаетъ, что выходомъ изъ этого положенія вовсе не должна быть противоположность; что, кромѣ разсчета пошлаго, есть разсчетъ человѣческій, что разсудокъ не есть противоположность чувству, но что они могутъ дѣйствовать вмѣстѣ и въ ладу. Если же онъ останется упрямо при своихъ мечтахъ, даже не вѣря имъ,—тогда дѣйствительность казнитъ его иначе, но только все-таки отнимая, сокрушая его силу, его достоинство. Обманутый въ своихъ стремленіяхъ, онъ скажетъ, что *здѣсь* юдоль плача и испытанія, но что все—*тамъ*, и самый лучшій его выходъ будетъ—*мистицизмъ*... Повторяю: дѣйствительность есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и огромною пастью съ желѣзными челюстями. Рано или поздно, но пожретъ она всякаго, кто живетъ съ ней въ разладѣ и идетъ ей наперекоръ. Чтобы освободиться отъ нея и, вмѣсто ужаснаго чудовища, увидѣть въ ней источникъ блаженства, *для этого одно средство*—***сознать*** ее».

Но среди этого изложенія, Бѣлинскій признаетъ, что мысль его объ отношеніи идеальнаго представленія къ дѣйствительности еще только находится у него «въ созерцаніи» (понимается больше непосредственнымъ чувствомъ), но еще не «сознана» имъ (не опредѣлилась для него логически), хотя онъ глубоко чувствуетъ ея истинность... Бѣлинскій обсуживаетъ потомъ, съ своей новой точки зрѣнія, различные факты и отношенія своего дружескаго круга, и между прочимъ вспоминаетъ и свое прошедшее: онъ находитъ причину своихъ прежнихъ страданій и апатіи—въ своей отвлеченности, идеальности, и «пошломъ шиллеризмѣ», боязни быть «*простымъ* добрымъ малымъ». Теперь онъ думаетъ о вещахъ и чувствуетъ себя иначе: онъ «хватился за умъ» и теперь прежде всего онъ ищетъ «ощущеній, волнованія, жизни—это главное, а тамъ можно и пофилософствовать»; теперь за «поцалуй, за улыбку» онъ охотно промѣняетъ и философію и все...

«Знаніе дѣйствительности состоитъ въ какомъ-то инстинктѣ, тактѣ, вслѣдствіе которыхъ всякій шагъ человѣка вѣренъ, всякое положеніе истинно, всѣ отношенія къ людямъ безошибочны, не натянуты... Разумѣется, кто къ этому инстинктуальному проникновенію присоединитъ сознательное, черезъ мысль, тотъ вдвойнѣ овладѣетъ дѣйствительностію; но главное—знать ее, какъ бы ни знать»...

Возвращаясь опять къ «простотѣ», Бѣлинскій вспоминаетъ о Станкевичѣ:

«Кто снова не пріобрѣлъ простоты, утраченной идеальностію, тотъ не живетъ и не знаетъ жизни, и жизнь того не знаетъ. Вся его жизнь—парадъ и рисованіе; содержаніе само по себѣ, а форма сама по себѣ. Послѣ этого нашему брату не мудрено увидѣть во снѣ свою отвлеченность. Понимаю Николая [1]), понимаю эту великую, геніальную душу: онъ давно тосковалъ по этой простотѣ, онъ первый объявилъ гоненіе претензіямъ и, въ этомъ отношеніи, я безконечно обязанъ ему: при немъ я всегда былъ *проще*. Онъ чувствовалъ себя не довольно простымъ, а жаждалъ простоты: вотъ почему онъ такъ завидуетъ людямъ, можетъ быть, не далекимъ, но дѣйствительнымъ, которые, поэтому, въ самомъ дѣлѣ лучше и выше его. Вотъ почему онъ и мнѣ отдавалъ преимущество передъ собою. Если однажды, когда я ему сказалъ, что сѣсть подлѣ любимой женщины и преклониться головою къ ея плечу есть блаженство, онъ отвѣтилъ мнѣ, что его блаженство выше, и я не въ состояніи понять его:—то какъ часто послѣ онъ говорилъ мнѣ чуть не со слезами, что я нормальнѣе, простѣе его въ понятіяхъ о любви. Онъ готовъ былъ всегда и написать и перевести статью для журнала, но не терпѣлъ, чтобъ его и въ шутку называли *литераторомъ*. Это означаетъ глубокое чувство простоты. Я—литераторъ, потому что это мое призваніе и мое ремесло вмѣстѣ»...

---

[1]) *Станкевича.*

Теперь онъ будетъ преслѣдовать въ себѣ безъ милосердія всякую претензію. Онъ чувствуетъ, что съ каждымъ днемъ глубже входитъ въ дѣйствительность, и не заботится о томъ, когда достигнетъ ея совершенно,—онъ предоставитъ ей выработаться самой и не хочетъ «дѣлать изъ жизни урока къ сроку». «Но что меня всего болѣе радуетъ,—замѣчаетъ Бѣлинскій,—это какая-то самобытность, спокойная и твердая увѣренность въ себѣ, которая выражается не въ однихъ словахъ, но и въ дѣлахъ». Еще остается, по его выраженію, «много старинки, по преданію, по привычкѣ», т.-е. идеальности, но это преслѣдуется безъ пощады, за то каждый день онъ замѣчалъ въ себѣ и «что-нибудь новое и хорошее»...

Новые взгляды Бѣлинскаго, гдѣ онъ сталъ самостоятельно развивать и примѣнять положенія о дѣйствительности, встрѣтили у Бакунина возраженія, на которыя онъ отвѣчаетъ въ другомъ длинномъ посланіи къ нему, отъ 12 октября 1838. Это посланіе представляетъ еще нѣсколько любопытныхъ подробностей его мнѣній за это время, и его отношенія къ тогдашнимъ нѣмецкимъ авторитетамъ кружка.

Въ письмѣ находится эпизодическое разсужденіе о Шиллерѣ. Этотъ нѣмецкій поэтъ былъ въ особенности пробнымъ камнемъ мнѣній Бѣлинскаго. Въ первомъ періодѣ своей «идеальности», Бѣлинскій восторгался Шиллеромъ, который увлекъ его въ «абкстратный героизмъ» и «опеку надъ родомъ человѣческимъ». Во второмъ періодѣ идеальности, когда онъ убѣдился въ разумности существующаго, онъ отвергъ Шиллера, чуть не возненавидѣлъ его—за то самое, чѣмъ прежде увлекался: съ его нынѣшней эстетической точки зрѣнія, истинная поэзія отвергаетъ всякую субъективность и тенденціозность, которыя онъ увидѣлъ въ Шиллерѣ. Бѣлинскій, конечно, самымъ рѣшительнымъ образомъ высказывалъ свое нынѣшнее мнѣніе, такъ что друзья наконецъ просто упрекнули его въ непониманіи Шиллера. Бѣлинскій, указавши на возможность различныхъ мнѣній объ одномъ предметѣ, вѣритъ «уваженію» своего друга къ Шиллеру, но и смѣло заявляетъ свое «неуваженіе» къ нему, и продолжаетъ:

«Можетъ быть, я и ошибаюсь (человѣку сродно ошибаться, говоритъ евангеліе—и *то же* говоритъ толпа, руководствуемая простымъ эмпирическимъ опытомъ); можетъ быть, я и ошибаюсь, но—право — слесарша Пошлепкина, какъ художественное созданіе, для меня выше Теклы, этого десятаго, послѣдняго, улучшеннаго, просмотрѣннаго и исправленнаго изданія одной и той же женщины Шиллера. А Орлеанка—что же мнѣ дѣлать съ самимъ собою! Орлеанка, за исключеніемъ нѣсколькихъ чисто-лирическихъ мѣстъ, имѣющихъ особное, свое собственное значеніе, для меня — пузырь бараній—не

больше! Повторяю, можетъ быть, я и ошибаюсь и, понимая Шекспира и Пушкина, еще не возвысился до пониманія Шиллера; но... когда дѣло идетъ объ искусствѣ, и особенно о его непосредственномъ пониманіи, или о томъ, что называется эстетическимъ чувствомъ, или воспріемлемостію [1]) изящнаго,—я смѣлъ и дерзокъ, и моя смѣлость и дерзость, въ этомъ отношеніи, простирается до того, что и авторитетъ самого Гегеля имъ не предѣлъ. Да, пусть Гегель признаетъ Мольера художникомъ: я не хочу для него отречься отъ здраваго смысла и чувства, даннаго мнѣ Богомъ. Понимаю мистическое уваженіе ученика къ своему учителю, но не почитаю себя обязаннымъ, не будучи ученикомъ въ полномъ смыслѣ этого слова, играть роль Сеида. Глубоко уважаю Гегеля и его философію, но это мнѣ не мѣшаетъ думать (можетъ быть, ошибочно: что до этого?), что еще не всѣ приговоры во имя ея неприкосновенно-святы и непреложны. Гегель ни слова не сказалъ о личномъ безсмертіи, а ученикъ его Гёшель эту великую задачу, безъ удовлетворительнаго разрѣшенія которой еще далеко не кончено дѣло философіи, избралъ предметомъ особеннаго разрѣшенія. Рётшеръ философски, съ абсолютной точки зрѣнія, разобралъ «Лира», а Бауманъ кинулъ на это гигантское созданіе царя поэтовъ, Христа искусства, нѣсколько своихъ собственныхъ взглядовъ, уничтожившихъ взгляды Рётшера (именно на характеръ Корделіи). Слѣдовательно, промахи и непониманіе возможны и для людей абсолютныхъ, гражданъ спекулятивной области, а слѣдовательно, всему вѣрить безусловно не годится [2]). Глубоко уважаю и люблю Марбаха, этого философа-поэта въ области мысли, но его прекрасныя объясненія второй части «Фауста» мнѣ кажутся логическими натяжками, мыслями, взятыми мимо непосредственнаго чувства, безъ всякаго его участія. Опять повторяю — понимаю возможность ошибки съ моей стороны и въ этомъ случаѣ; но символы и аллегоріи для меня—не поэзія, но совершенное отрицаніе поэзіи, униженіе ея... Я не одинъ такой еретикъ: Кудрявцевъ, котораго эстетическое чувство и художественный инстинктъ имѣютъ *тоже* свою цѣну, и котораго свѣтлая голова больше моей доступна мысли, Кудрявцевъ, недавно прочетшій Мирбаха и восхитившійся имъ, обрадовался, когда услышалъ отъ меня эту мысль, потому что и самъ думалъ тоже»...

Бѣлинскій такъ далеко простеръ примиреніе съ дѣйствительностію, что Бакунинъ сталъ наконецъ оспаривать и воздерживать его. Въ письмѣ онъ защищается отъ его нападеній и предостереженій. На замѣчанія друга о томъ, что Бѣлинскій считаетъ теперь уже слишкомъ легкимъ уразумѣніе дѣйствительности (мы видѣли, какъ легко отыскивалъ онъ ее въ своемъ учительствѣ), онъ отвѣчаетъ, что понималъ дѣйствительность не въ ея общемъ значеніи,

---

[1]) Такъ говорили они тогда вмѣсто: воспріимчивость.

[2]) Эти ссылки даютъ образчикъ того, какимъ однако великимъ уваженіемъ пользовались у друзей Бѣлинскаго «граждане спекулятивной области».

а въ отношеніяхъ людей между собою; что всякій понимаетъ дѣйствительность, сколько можетъ, но что ко многимъ вещамъ очень примѣняется басня Крылова о ларчикѣ. «Я уважаю мысль, — замѣчаетъ онъ при этомъ, — и знаю ей цѣну, но только *отвлеченная* мысль въ моихъ глазахъ ниже, безполезнѣе, дряннѣе эмпирическаго опыта, а недопеченный философъ хуже добраго малаго». Выше было указано его мнѣніе объ эмпирическомъ опытѣ, и было объяснено, что «добрый малый» въ терминологіи кружка равнялся бранному слову.

На обвиненіе, что, увлекаясь дѣйствительностью, онъ отложилъ мысль въ сторону, отрекся отъ нея, Бѣлинскій отвѣчаетъ, что онъ уважаетъ мысль, но мысль конкретную, и притомъ уважаетъ мысль вообще, а не именно его собственную; — «но чувство *мое* вполнѣ уважаю, и вотъ почему: мое созерцаніе [1]) всегда было огромнѣе, истинныя мои предощущенія и мое непосредственное ощущеніе всегда было вѣрнѣе *моей* мысли». Онъ передаетъ свой взглядъ въ слѣдующемъ афоризмѣ: «человѣкъ, который живетъ чувствомъ въ дѣйствительности, выше того, кто живетъ мыслію въ призрачности (т.-е. внѣ дѣйствительности); но человѣкъ, который живетъ (конкретною) мыслію въ дѣйствительности, выше того, кто живетъ въ ней только своею непосредственностію». Въ объясненіе, онъ приводитъ такой примѣръ («безъ примѣровъ и фактовъ у меня ничего не дѣлается, потому что безъ нихъ я ровно ничего не понимаю»):

«Петръ Великій—который былъ очень плохой философъ—понималъ дѣйствительность больше и лучше, нежели Фихте. Всякій историческій дѣятель понималъ ее лучше его. По моему мнѣнію, если понимать дѣйствительность сознательно, такъ понимать ее, какъ понималъ Гегель; но много ли *такъ* понимаютъ ее?—пятьдесятъ человѣкъ въ цѣломъ свѣтѣ; такъ неужели же всѣ остальные—не люди?»

Бѣлинскій не соглашается, что его новый взглядъ есть только эмпирическій опытъ (что, по старому преданію, считалось вещью почти унизительной), но замѣчаетъ:

«Я мыслю (сколько въ силахъ), но уже если моя мысль не подходитъ подъ мое созерцаніе или стукается о факты—я велю ее мальчику вымести вмѣстѣ съ соромъ. Объясню это фактомъ: нѣкогда я думалъ, что поэтъ не можетъ перемѣнить ни стиха, ни слова; мнѣ говорили, что черновыя тетради Пушкина доказываютъ противное, а я отвѣчалъ: если бы самъ Пушкинъ увѣрялъ меня въ этомъ — я бы не повѣрилъ. *Такой* мысли я теперь не хочу и не ставлю ее ни въ грошъ».

---

[1]) Непосредственное пониманіе.

Бакунинъ опасался даже, что развитіе Бѣлинскаго остановится, что онъ окажется только «добрымъ малымъ» и успокоится на своемъ внѣшнемъ пониманіи дѣйствительности. Бѣлинскій спорить противъ всего этого самымъ рѣшительнымъ образомъ: «не бойся,—пишетъ онъ въ томъ же письмѣ—что я сдѣлаюсь Шевыревымъ или Погодинымъ... для меня это невозможно... Я не буду ни любителемъ буквы, ни книжнымъ спекулянтомъ... Не боюсь за мою будущую участь, потому что знаю, что буду тѣмъ, чѣмъ буду, а не тѣмъ, совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ бы *самъ* захотѣлъ быть». Въ силу его понятій о дѣйствительности, онъ впадаетъ какъ будто въ фатализмъ, сливающійся у него съ философской необходимостью; онъ предоставляетъ свою участь Божьей волѣ: «воля Божія есть *предопредѣленіе* Востока, *fatum* древнихъ, *провидѣніе* христіанства, *необходимость* философіи, наконецъ, *дѣйствительность*. Я признаю личную, самостоятельную свободу, но признаю и высшую волю. *Коллизія* есть результатъ враждебнаго столкновенія этихъ двухъ воль. Поэтому — все бываетъ и будетъ такъ, какъ бываетъ и будетъ. Устою—хорошо; паду—дѣлать нечего»... Но, несмотря на то, Бѣлинскій и теперь сознавалъ уже пріобрѣтенное имъ значеніе и предчувствовалъ дальнѣйшую трудовую жизнь, которая еще увеличитъ это значеніе.

«У меня нѣтъ охоты смотрѣть на будущее,—говоритъ онъ:— вся забота—что-нибудь дѣлать, быть полезнымъ членомъ общества. А я дѣлаю, что могу. Я много принесъ жертвъ для этой потребности дѣлать. Для нея я хожу въ рубищѣ, терплю нужду, тогда какъ всегда въ моей возможности имѣть десять тысячъ годового дохода съ моей деревни — неутомимаго пера. Говорю это не для хвастовства, а потому что... меня задѣли за слишкомъ живую струну, не отдали мнѣ справедливости въ томъ, въ чемъ я имѣю несомнѣнное и не совсѣмъ незначительное значеніе. Я уже не кандидатъ въ члены общества, а членъ его, чувствую себя въ немъ и его въ себѣ, приросъ къ его интересамъ, впился въ его жизнь, слилъ съ нею мою жизнь и принесъ ей въ дань всего самого себя... Почетнаго имени въ гражданствѣ я не желаю, потому что не сомнѣваюсь его имѣть и даже *теперь* его имѣю въ извѣстной степени»...

Онъ жаждетъ скромнаго личнаго счастія, но ежели-бъ и того ему не досталось, онъ будетъ имѣть минуты блаженства.

«Да, я по прежнему буду *дѣлать*, буду жить, *чтобъ мыслить и страдать;* многимъ, можетъ быть, укажу на возможность блаженства, многимъ помогу дойти до него, многихъ заставлю, не зная меня лично, любить, уважать себя, и признавать ихъ обязанными мнѣ своимъ развитіемъ, минутами своего блаженства; но самъ, кромѣ минутъ, буду знать одно страданіе... Не всѣмъ одна дорога,

не всѣмъ одна участь... У меня надежда на выходъ не въ мысли (исключительно); а въ жизни [1], какъ въ большемъ или меньшемъ участіи въ дѣйствительности не *созерцательно*, а *дѣятельно*... Что же касается до моего развитія... оно идетъ, какъ шло, и *также* будетъ идти... Мои отношенія къ *мысли* останутся тѣми же, какими были всегда. По прежнему, меня будетъ интересовать всякое явленіе жизни—и въ исторіи, и въ искусствѣ, и въ дѣйствительности; по прежнему буду я о всемъ этомъ разсуждать, судить, спорить и хлопотать, какъ о своихъ собственныхъ дѣлахъ. Только уже *никогда* не буду предпочитать конечной логики своей своему безконечному созерцанію, выводовъ своей конечной логики безконечнымъ явленіямъ дѣйствительности»...

Наконецъ, Бакунинъ въ признакъ полнаго отчужденія его отъ глубоко-отвлеченной мысли, приписалъ ему «религію Беранже». Все французское: жизнь, поэзія, литература, философія, для московскихъ гегеліянцевъ было предметомъ величайшаго презрѣнія, за отсутствіе абсолютнаго пониманія, и, слѣдовательно, за пустоту. Бѣлинскій отвѣчаетъ, что можетъ отнести подобныя обвиненія только къ дурному расположенію духа или къ злости своего друга:

«Противъ этого не почитаю за нужное и оправдываться: не только моими письмами не подалъ я повода къ подобному заключенію, но одной уже моей инстинктуальной, непосредственной и фанатической ненависти къ французамъ и всему французскому (!) достаточно для того, чтобы защитить меня отъ подобныхъ комментарій».

Бѣлинскій возвращается и къ опредѣленію своей личной особенности, и дѣйствительно имъ указано одно изъ существенныхъ отличій его характера: «отвлеченіе—не моя сфера, и мнѣ душно и гадко въ этой сферѣ, и въ мысли, какъ мысли собственно, я играю роль слишкомъ не блестящую, моя сфера—огненныя слова и живые образы—тутъ только мнѣ и просторно, и хорошо. Моя сила, мощь—въ моемъ непосредственномъ чувствѣ, и потому никогда не откажусь я отъ него, потому что не имѣю охоты отказаться отъ самого себя».

---

[1] По идеалистической теоріи кружка — для всякаго есть выходъ въ мысли, и всякій можетъ достигнуть абсолютнаго блаженства посредствомъ мысли.

ГЛАВА V.

«Московскій Наблюдатель» старой и новой редакціи.—Характеръ изданія при Бѣлинскомъ.—Внѣшнія затрудненія и прекращеніе журнала. — Переписка съ редакціей «Отечественныхъ Записокъ», съ Панаевымъ, Кольцовымъ.—Письма къ Станкевичу.—Положеніе кружка.—Столкновеніе съ кружкомъ Герцена.— Отъѣздъ въ Петербургъ.

1838—1839.

Весной 1838 года дѣла Бѣлинскаго начинали какъ будто поправляться. Явилась надежда получить въ свое распоряженіе журналъ—тотъ самый «Наблюдатель», въ которомъ до тѣхъ поръ дѣйствовали его литературные враги. «Наблюдатель» прежней редакціи шелъ плохо, и въ концѣ 1837, издатель его, Андросовъ, готовъ былъ продать право изданія Ксенофонту Полевому. Дѣло однако не состоялось, такъ какъ на передачу журнала не послѣдовало разрѣшенія отъ начальства, т.-е. отъ гр. Уварова, но весной слѣдующаго года изданіе «Наблюдателя» было, наконецъ, разрѣшено московскому типографу Степанову, а редакторомъ журнала (впрочемъ не объявленнымъ) сдѣлался Бѣлинскій.

Исторія «Наблюдателя» первой редакціи имѣетъ отношеніе и къ Бѣлинскому: съ ней связано, между прочимъ, начало его враждебныхъ столкновеній съ Шевыревымъ.

«Наблюдатель» началъ издаваться съ 1835 г. подъ редакціей Андросова, ученаго статистика, человѣка собственно чуждаго литературнымъ дѣламъ, но даровитаго и умнаго [1]). Литературную часть

---

[1]) Объ Андросовѣ (ум. 19 окт. 1841, на 39-мъ году) см. некрологи въ «Отеч. Зап.» 1841, № 12, смѣсь, стр. 96 — 98; «Москвит.» 1841, № 11, стр. *272—274.*

журнала взялъ въ свое завѣдываніе Шевыревъ, незадолго передъ тѣмъ вернувшійся изъ-за границы и на первое время возбудившій большія ожиданія въ университетѣ и въ литературѣ. Кружокъ Станкевича также раздѣлялъ сначала эти ожиданія, но они скоро уже оказались преувеличенными; въ университетѣ поохладѣли къ Шевыреву, литературные дебюты были, какъ сейчасъ скажемъ, не совсѣмъ удачны, или даже очень неудачны... Шевыревъ былъ человѣкъ съ извѣстной начитанностью, но его литературная дѣятельность на первыхъ же порахъ показала странный взглядъ на вещи и страсть къ высокопарному, фразистому изложенію, причемъ за реторикой отъ него часто ускользала самая мысль. Проживши нѣсколько времени въ Италіи, Шевыревъ вообразилъ себя глубокомысленнымъ истолкователемъ искусства, принялъ высокомѣрный тонъ, которому далеко не соотвѣтствовало содержаніе; яснаго понятія о поэзіи и искусствѣ у него не было; въ то время, когда новое литературное поколѣніе добивалось именно точной теоретической постановки этихъ вопросовъ, Шевыревъ говорилъ однѣми возвышенно-дутыми фразами, а въ оцѣнкѣ литературныхъ явленій обнаруживалъ часто грубое непониманіе.

На первыхъ порахъ Шевыревъ помѣщалъ нѣкоторые свои труды у Надеждина («Молва» 1833), но скоро между ними начались неудовольствія, кончившіяся настоящей враждой. Самолюбіе Шевырева было прежде всего задѣто въ полемикѣ, открывшейся тогда между нимъ и нѣкіемъ П. Щ., по поводу игры извѣстнаго трагика Каратыгина. Пріѣздъ Каратыгина и его жены въ Москву былъ тогда цѣлымъ событіемъ въ литературно-театральномъ мірѣ: при тогдашнемъ интересѣ къ театру, стало вопросомъ дня—исполненіе Каратыгинымъ извѣстныхъ классическихъ ролей и сравненіе его съ московской знаменитостью, Мочаловымъ. Образовались партіи: случилось такъ, что Шевыревъ явился партизаномъ Каратыгина, въ игрѣ котораго другая партія—въ томъ числѣ кружокъ Станкевича — видѣли не столько истинное драматическое одушевленіе, сколько большое, но холодное и разсчитанное искусство. Въ этой полемикѣ Шевыревъ не былъ побѣдителемъ, и въ глазахъ кружка предпочтеніе Каратыгина не говорило въ пользу его эстетическаго пониманія. Когда стали появляться «Литературныя Мечтанія» (выходившія небольшими отрывками въ «Молвѣ»), Шевыревъ одобрялъ ихъ, пока дѣло не дошло до него. Бѣлинскій очень хвалилъ его, но замѣтилъ, что въ его стихахъ «развивается мысль, а не изливается чувство». Самолюбіе Шевырева не выдержало и этого умѣреннаго замѣчанія. «Шевыревъ, говорятъ взбѣсился,—пишетъ Станкевичъ къ своему пріятелю,—и кричитъ: *какъ смѣть такъ гово-*

дить? (!!) Это тонъ Полевого,—замѣчаетъ Станкевичъ:—да развѣ онъ власть какая-нибудь, что объ немъ судить нельзя?» [1]).

Подобныя выходки, показывавшія безграничное высокомнѣніе, доходили до Бѣлинскаго и, конечно, мало способны были внушить ему умѣренность на будущее время. Кромѣ самолюбія, здѣсь выказалась наклонность, которая не могла не раздражить самого Бѣлинскаго,—наклонность не допустить мнѣнія, если оно нѣсколько намъ непріятно.

Когда основался «Московскій Наблюдатель», въ немъ появились новыя произведенія Шевырева: знаменитая статья «Словесность и Торговля», рядъ критическихъ статей и, наконецъ, удивительный переводъ Тассова «Освобожденнаго Іерусалима». Въ то же время вышла его «Исторія Поэзіи». Послѣдняя имѣла свои достоинства и свою пользу; но критическія статьи и поэтическія нововведенія, которыя Шевыревъ дѣлалъ въ своемъ переводѣ Тасса и которыми намѣревался произвесть переворотъ въ русской поэзіи, совсѣмъ подорвали его кредитъ и въ критикѣ, и въ поэзіи. Между «Телескопомъ» и «Наблюдателемъ» началась полемика. Надеждинъ напалъ на «Исторію Поэзіи» съ ученой критикой, можетъ быть нѣсколько придирчивой, но веденной съ знаніемъ дѣла.. Шевыревъ раздражился; но здѣсь онъ по крайней мѣрѣ имѣлъ противникомъ человѣка не менѣе патентованной учености, чѣмъ онъ самъ. Несравненно больше должны были раздражить его статьи Бѣлинскаго «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ Наблюдателя»—потому что здѣсь, съ вѣжливой, но убійственной критикой его писаній выступалъ не только человѣкъ безъ ученаго патента, но «недоучившійся студентъ», недавно только исключенный за «неспособность». Ненависть къ Бѣлинскому съ этихъ поръ овладѣла Шевыревымъ и ближайшимъ кругомъ, дѣлившимъ его интересъ. Бѣлинскій не остался въ долгу.

Достаточно просмотрѣть статьи Шевырева въ «Наблюдателѣ», чтобы убѣдиться, что дѣйствительно вся правда — безъ исключеній — была на сторонѣ Бѣлинскаго, и это было тѣмъ невыносимѣе. Шевыревъ открылъ свою литературную критику знаменитой статьей «Словесность и Торговля»... Андросову пришлось въ особой статьѣ защищать первый критическій дебютъ Шевырева: онъ довольно ловко старался замаскировать нелѣпыя крайности Шевырева, но

---

[1]) Переписка Станк., стр. 124. Письмо отъ 5 февраля, 1835. Сравнивъ отзывъ Шевырева съ тѣмъ, что̀ сказано было Бѣлинскимъ (Сочиненія, I, стр. 94—95) и въ чемъ Шевыревъ увидѣлъ къ себѣ неуваженіе, читатель составитъ понятіе о степени его самолюбія. Въ словахъ Бѣлинскаго скорѣе слишкомъ много комплиментовъ.

не могъ устранить перваго впечатлѣнія статьи. Менѣе знамениты, но не менѣе удивительны были переводъ Тасса октавами, — переводъ, которымъ Шевыревъ думалъ произвести (еще при Пушкинѣ!) реформу въ русской поэзіи, оживить ее, дать ей свѣжесть и разнообразіе,—и объяснительное предисловіе къ этому переводу. Октавы Шевырева были чрезвычайно странной конструкціи; Тасса онъ передавалъ стихами, иногда дѣйствительно достойными «Тилемахиды». Увлекаясь Италіей, онъ, между прочимъ, вообразилъ, что можетъ быть русская октава совершенно такая же, какъ итальянская, что въ русскомъ стихѣ слѣдуетъ производить такія же сліянія гласныхъ (въ словѣ, кончающемся гласной, и слѣдующемъ словѣ, начинающемся съ гласной), какъ въ Итальянскомъ: нововведеніе, которое прискорбнымъ образомъ свидѣтельствовало объ его пониманіи языка— и его вкусѣ.[1]).

Критическія статьи Шевырева не уступали его стихамъ. Въ разборахъ повѣстей Гоголя, Павлова, стихотвореній Бенедиктова и проч., критикъ какъ нарочно хвалилъ то, что слѣдовало бы осудить, и осуждалъ то, что слѣдовало похвалить. Онъ превозносилъ трескучую поэзію Бенедиктова, вычурныя повѣсти Павлова, но находилъ кое-что поправить у Гоголя... Статья Бѣлинскаго о критикѣ «Наблюдателя» была длиннымъ спискомъ критическихъ несообразностей, которыя, въ статьяхъ Шевырева, раздражали Бѣлинскаго тѣмъ больше, что провозглашались съ педантическою важностью, и исходили отъ ученаго круга, въ которомъ именно надо было бы ждать здравыхъ эстетическихъ понятій. Наконецъ, «Наблюдатель» нападалъ на нѣмецкую философію, хлопоталъ о томъ, чтобы сдѣлать литературу свѣтскою и пр., чего опять не могли вынести Бѣлинскій и его друзья.

---

[1]) Вотъ, для образчика, одна изъ тѣхъ октавъ, которыми Шевыревъ намѣренъ былъ произвести реформу въ русской поэзіи:

Тамъ копіе хранилось, коимъ змѣй
Былъ прободенъ, и молнійныя стрѣлы,
Незримо язвы, тысячи смертей
Метающія на народы цѣлы:
Тамъ былъ повѣшенъ и трезубецъ,—сей
Перв*ый у*грозъ на всѣ земли предѣлы,
Когда ея основы потрясаются
Обширныя,—и грады расшатаются...

Подчеркнутые слоги, по Шевыреву, должны сливаться въ одинъ слогъ! «М. Наблюд.» 1835, III, іюль, кн. 2, стр. 175. Слово «угрозъ» было также нововведеніе. Или пусть взглянетъ читатель другія октавы, приведенныя въ статьѣ Бѣлинскаго. См. Сочин., II, стр. 107, изъ «Наблюд.» 1835, III, іюль, кн. 1, стр. 29 и д.

Дѣйствіе статьи Бѣлинскаго было, кажется, полное. Станкевичъ пишетъ къ Бѣлинскому, 30 мая 1836: «Братъ писалъ мнѣ, что ты послѣднею статьею о «Московскомъ Наблюдателѣ» рѣшительно убилъ С. П... и что онъ самъ отъ себя отрекается... въ часъ добрый»... [1]) Отсюда ведетъ начало ожесточенная вражда къ Бѣлинскому, отличавшая послѣ всю компанію «Москвитянина».

Любопытно, что несмотря на то, въ Бѣлинскомъ и здѣсь цѣнили тогда литературную силу, и въ перепискѣ Бѣлинскаго мы читаемъ, что когда «Наблюдатель» первой редакціи шелъ плохо и возникла первая мысль о «Москвитянинѣ», который собирались издавать Погодинъ и Шевыревъ, то при этомъ думали воспользоваться и сотрудничествомъ Бѣлинскаго. Въ ноябрѣ 1837, Бѣлинскій пишетъ къ одному изъ друзей объ этомъ предполагавшемся журналѣ. «Можешь представить, что это такое? Мнѣ стороною предлагали сотрудничество, но, чортъ возьми этихъ... не надо мнѣ ихъ и денегъ, хоть осыпь они меня золотомъ съ головы до ногъ».

Подъ своей новой редакціей, съ 1838 г., «Московскій Наблюдатель» получилъ иной характеръ.

По прежней нумераціи томовъ, «Наблюдатель» новой редакціи начинается съ XVI тома. Книги, изданныя Бѣлинскимъ, — около пяти томовъ,—составляютъ теперь значительную рѣдкость; полныхъ экземпляровъ, сколько мы знаемъ, не находится въ петербургскихъ библіотекахъ, Публичной и Академической. Поэтому нѣсколько библіографическихъ указаній будутъ не излишни.

Внѣшнюю форму журналъ на первое время сохранилъ прежнюю. Старый «Наблюдатель» велъ свой годъ только съ марта до декабря включительно, и въ мѣсяцъ давалъ двѣ книжки; четыре книжки составляли томъ, такъ что двадцать книжекъ, или пять томовъ, составляли годовое изданіе. Теперь «Московскій Наблюдатель, журналъ энциклопедическій» также началъ свой годъ съ марта и издавалъ за мѣсяцъ по двѣ книжки.

Первый томъ новаго изданія (по старому счету XVI), заключавшій книжки за мартъ и апрѣль, носитъ цензурныя помѣты 11 апрѣля и 22 іюня, цензоровъ Булыгина и Снегирева (653 стр.). Второй, по старому счету XVII, за май и іюнь, помѣченъ 11 іюня и 22 сентября, Снегиревымъ (566 стр.). Такимъ образомъ изданіе запаздывало; причиной этого было и то, что журналъ довольно поздно поступилъ въ руки новой редакціи, и то, что издатель Сте-

[1]) Переписка, стр. 175.

пановъ, онъ же и типографъ «Наблюдателя» велъ свое дѣло неаккуратно,—что впослѣдствіи заставило Бѣлинскаго совсѣмъ бросить изданіе. Въ концѣ 1838 года, журналъ тянулся кое-какъ, а между тѣмъ нужно было думать о слѣдующемъ годѣ... «Наблюдатель» за 1838 годъ и не былъ, кажется, доведенъ до конца года. Изъ XVIII тома мы знаемъ только двѣ книжки за іюль, цензурованныя Снегиревымъ 21 сентября и 16 ноября 1838, и 1-ю книжку за августъ, цензурованную 2 марта 1838 (конечно, ошибка вмѣсто 1839). Изъ XIX тома намъ извѣстна только одна книжка, за сентябрь, изданная Степановымъ въ 1840, уже безъ участія Бѣлинскаго, и наполненная одной статьей: «Вечеръ въ Симоновѣ», Иванчина-Писарева, писателя, нашедшаго потомъ мѣсто въ погодинскомъ «Москвитянинѣ».

Въ 1839 году во внѣшности изданія была сдѣлана перемѣна. На этотъ разъ предполагалось начинать уже не съ марта, а съ января, т.-е. издавать въ годъ не двадцать книжекъ (пять томовъ), а двѣнадцать большихъ книгъ, не менѣе двадцати печатныхъ листовъ каждая (шесть томовъ). Въ журналѣ предполагалось семь отдѣловъ—съ особенной нумераціей каждый, для большаго удобства и скорости печатанія. Это были отдѣлы, какіе въ то время вообще стали считаться необходимыми въ журналѣ: изящная словесность, въ двухъ отдѣлахъ—стихотвореній и прозы; далѣе—науки и искусства, критика, литературная хроника, иностранная библіографія и смѣсь.

Первый томъ 1839 года, заключавшій книжки за январь и февраль, помѣченъ цензурой 1 января и 1 марта ($21^3/_4$ и $23^7/_8$ печатныхъ листа). Второй томъ, помѣченный 1-го марта и 8 апрѣля, заключалъ книги за эти мѣсяцы ($25^1/_8$ и $21^1/_4$ печат. листа.)

«Московскій Наблюдатель», времени Бѣлинскаго, былъ безъ сомнѣнія однимъ изъ лучшихъ журналовъ по цѣльности его характера, по достоинству его литературнаго отдѣла и наконецъ по критикѣ, которая положительно была выше всего того, что представляла тогда журналистика въ этомъ отношеніи. Московскіе друзья приняли въ журналѣ болѣе или менѣе живое участіе; Бѣлинскій разсчитывалъ и на отсутствующихъ. Оносительно «иностранной библіографіи»,—цѣлью которой было ознакомленіе русской публики съ иностранными литературами, «преимущественно нѣмецкою и англійскою»,—въ объявленіи журнала сказано было, что «нѣсколько молодыхъ русскихъ, находящихся въ Берлинѣ и другихъ мѣстахъ Германіи, изъявили желаніе быть корреспондентами «Московскаго Наблюдателя» преимущественно для этого отдѣленія». Здѣсь разумѣлись Станкевичъ и Грановскій.

О Грановскомъ Бѣлинскій узналъ въ первый разъ, вѣроятно, по письмамъ Станкевича, который жилъ тогда вмѣстѣ съ Грановскимъ въ Берлинѣ и сошелся съ нимъ, какъ бывало съ друзьями кружка.

Сотрудниковъ, постороннихъ кружку, было немного.

Боткинъ, которому въ концѣ тридцатыхъ годовъ случалось ѣздить по торговымъ дѣламъ своего дома въ Харьковъ, свелъ тамъ знакомство съ семействомъ Кронеберговъ; при этомъ онъ доставилъ и Бѣлинскому заочное знакомство съ старикомъ Кронебергомъ, профессоромъ харьковскаго университета, рѣдкимъ у насъ въ то время археологомъ, ученымъ эстетикомъ, и, вѣроятно, единственнымъ тогда серьезнымъ знатокомъ Шекспира. Бѣлинскій просилъ его сотрудничества для «Наблюдателя», и Кронебергъ отвѣчалъ полной готовностью [1]). Около того же времени Бѣлинскій познакомился въ Москвѣ и съ его сыномъ А. И. Кронебергомъ, извѣстнымъ послѣ переводчикомъ Шекспира, хотя на первое время не очень съ нимъ сошелся.

Черезъ Кольцова началось знакомство съ Панаевымъ. Кольцовъ, бывши въ Петербургѣ въ началѣ 1838 года, заинтересовалъ Панаева разсказами о московскомъ кружкѣ, и приглашалъ отъ имени Бѣлинскаго участвовать въ возобновляемомъ «Наблюдателѣ». Панаевъ былъ уже большимъ почитателемъ Бѣлинскаго; хотя по своему характеру онъ мало былъ способенъ интересоваться и понимать философскія умозрѣнія Бѣлинскаго, но инстинктъ и вѣрный вкусъ указали ему въ Бѣлинскомъ живую, многообѣщающую силу. Панаевъ былъ тогда авторомъ нѣсколькихъ повѣстей, между прочимъ обратившихъ вниманіе Бѣлинскаго — попыткой изображать

[1]) Въ нашемъ матеріалѣ есть это отвѣтное письмо Кронеберга, отъ 25 мая 1838.

«М. г. Не только не отказываться, но искать по возможности знакомства людей съ добрымъ сердцемъ, съ пылкою душою и съ истиннымъ стремленіемъ къ высшему—каковыхъ на свѣтѣ немного—было всегда моимъ правиломъ. Такая находка принадлежитъ къ итогу моего счастья. Принимаю съ благодарностью лестное предложеніе вашего знакомства, но вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько безпокоюсь, не зная, въ состояніи ли буду поравняться съ вашими ожиданіями. Во всякомъ случаѣ отдаюсь вамъ во всей своей простотѣ, безъ прикрасъ и безъ претензій.

«Въ «Наблюдателѣ» участвовать я готовъ, и посылаю съ этой же почтою въ редакцію вашу статью, подъ названіемъ *«Письма»*. Если эти письма будутъ найдены годными для помѣщенія въ журналѣ, то не замедлю выслать продолженіе. Объ условіяхъ Василій Петровичъ (Боткинъ) вамъ вѣроятно уже сообщилъ».

Ив. Як. Кронебергъ умеръ въ октябрѣ того же года. Некрологъ его *помѣщенъ въ «Моск.* Наблюдателѣ» 1839, кн. 2, смѣсь, стр. 20—27.

жизнь безъ романтическихъ прикрасъ, что было тогда еще рѣдко; одна изъ его повѣстей была напечатана въ «Телескопѣ». Между ними началась переписка, къ которой мы дальше возвратимся. Панаевъ, кажется, не успѣлъ ничего сдѣлать для «Наблюдателя»; но личныя отношенія съ Бѣлинскимъ установились.

Въ журналѣ Бѣлинскій вообще придавалъ первостепенную цѣну «направленію», т.-е. требовалъ, чтобы въ журналѣ былъ какой бы ни было, хотя ошибочный, но опредѣленный взглядъ на вещи, чтобы журналъ былъ дѣломъ сознательной мысли, а не сборомъ случайнаго матеріала [1]). Нисколько не сочувствуя, напр., «Библіотекѣ для Чтенія», онъ признавалъ за ней ту заслугу, что она была вѣрна самой себѣ, вездѣ выдерживала свой характеръ, какъ будто писана была однимъ человѣкомъ. Такое единство направленія должно было быть и въ его собственномъ журналѣ, — оно и достигалось, такъ какъ журналъ почти исключительно наполнялся работами дружескаго кружка.

Основной задачей «Наблюдателя» было — установить здравыя, построенныя на философскихъ принципахъ, понятія объ искусствѣ, и утвердить на нихъ критику современныхъ явленій русской литературы. Общіе теоретическіе вопросы и критика были главнымъ предметомъ вниманія и заботы. Въ видѣ программы и введенія къ изданію были помѣщены «Гимназическія рѣчи» Гегеля, съ предисловіемъ русскаго переводчика [2]). Въ этомъ предисловіи высказаны были общія мнѣнія кружка о значеніи философіи, съ какими мы познакомились въ перепискѣ Бѣлинскаго,—то признаніе «разумной дѣйствительности», къ которому друзья пришли въ то время вслѣдствіе изученія Гегеля, и которое сообщило имъ извѣстную примирительную точку зрѣнія... Выразителемъ мнѣній кружка былъ на этотъ разъ Бакунинъ; предисловіе явилось съ его подписью.

Затѣмъ, съ той же цѣлью объясненія философскихъ принциповъ искусства, помѣщена была [3]) статья Рётшера, о «философской критикѣ художественнаго произведенія», также съ предисловіемъ переводчика, Каткова. Переводчикъ указывалъ на «великій подвигъ», въ недавнее время «свершенный по ту сторону непосредственнаго, эмпирическаго сознанія», т.-е. подвигъ философіи, занявшей свое абсолютное мѣсто, не враждующей съ дѣйствительностью, но постигающей ее. Философскія начала должны были стать основаніемъ эстетической критики, образчикомъ чего и служило сочиненіе Рётшера.

---

[1]) См. его статью въ «Телескопѣ» 1836, Сочин. II, стр. 68.

[2]) «Моск. Наблюд.» 1838, т. XVI, въ двухъ первыхъ книжкахъ, стр. 1—38, 185—201.

[3]) Томъ XVII, кн. 5—7.

Гофманъ, какъ истолкователь искусства, не былъ, конечно, забытъ. Въ «Наблюдателѣ» много переводили Гофмана и для эстетическихъ цѣлей въ особенности служили разсказы: «Донъ-Жуанъ», «Золотой Горшокъ», «Крейслеръ».

Стихотворный отдѣлъ журнала составлялся очень внимательно, и въ немъ положительно не было дурного стихотворенія. Друзья кружка дѣятельно наполняли его своими произведеніями: въ книжкахъ «Наблюдателя» постоянно являлись имена Кольцова, Красова, К. Аксакова, —ѳ— (И. П. Клюшникова), Каткова, и постороннія имена Струговщикова, Полежаева. «Наблюдатель» старался давать читателямъ переводы тѣхъ поэтическихъ произведеній иностранной литературы, которыя представляли особенный интересъ эстетическій и философскій. Въ первой же книжкѣ во главѣ стихотворнаго отдѣла поставленъ былъ переводъ знаменитаго стихотворенія Гёте, Gott und Bajadere, подъ процензурованнымъ названіемъ: «Магадэва и Баядера». Переводъ, сдѣланный П. Я. Петровымъ, былъ очень хорошъ; но въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ редакція «Наблюдателя» помѣстила еще и другой переводъ, сдѣланный Аксаковымъ— такъ нравилось друзьямъ это стихотвореніе, восхищавшее и Станкевича философской глубиной своего поэтическаго содержанія. Затѣмъ явились здѣсь переводы изъ Гёте, Аксакова: «Новая любовь, новая жизнь», «На озерѣ», «Утреннія жалобы», «Тишина на морѣ», «Счастливый путь», «Рыбакъ»; изъ Шиллера: «Идеалы», «Вечеръ», «Тайна», «Встрѣча»; стихотвореніе Гёте, «Перемѣна», въ переводѣ Т—а (?); много переводовъ Каткова изъ Гейне, и его же отрывки изъ перевода «Ромео и Юлія» Шекспира; нѣсколько «Римскихъ Элегій» Гёте, въ переводѣ Струговщикова: отрывки изъ «Гамлета» М. Строева, изъ «Отелло» А. Студитскаго.

Нѣкоторые изъ указанныхъ здѣсь переводовъ особенно приводили Бѣлинскаго въ восторгъ — именно потому, что въ художественной формѣ (которую переводъ нерѣдко сохранялъ съ большимъ искусствомъ) высказывались идеи о жизни, о человѣкѣ, о любви и проч., къ которымъ друзья приходили въ своихъ философскихъ разсужденіяхъ. Приводимъ два-три образчика, которые могутъ прямо свидѣтельствовать о тогдашнихъ идеалахъ и настроеніи Бѣлинскаго. Такъ ему чрезвычайно нравилось стихотвореніе:

НА ОЗЕРѢ.

(Изъ Гёте).

Какъ освѣжается душа,
И кровь течетъ быстрѣй!
О, какъ природа хороша!
Я на груди у ней!

Качаетъ нашъ челнокъ волна,
Въ ладъ съ нею весла бьютъ,
И горы въ мшистыхъ пеленахъ
На встрѣчу намъ встаютъ.

Что же, мой взоръ, опускаешься ты?
Вы ли опять, золотыя мечты?
О, прочь мечтанье, хоть сладко оно!
Здѣсь все такъ любовью и жизнью полно!

Свѣтлою толпою
Звѣзды въ волнахъ глядятся;
Туманы грядою
На дальнихъ высяхъ ложатся;

Вѣтеръ утра качаетъ
Деревья надъ зеркаломъ водъ,
Тихо отражаетъ
Озеро спѣющій плодъ.

Бѣлинскій восхищался и извѣстными «Утренними жалобами» те:

Вѣтреная дѣвушка! скажи мнѣ,
Чѣмъ я предъ тобою провинился,
Что меня измучила ты столько,
Не сдержала даннаго мнѣ слова?

Вечеромъ вчера такъ дружелюбно
Ты мнѣ жала руки и твердила:
«Да, приду, приду я передъ утромъ—
Жди меня, другъ милый, непремѣнно», и проч.

Въ перепискѣ Бѣлинскаго мы увидимъ, въ какой безконечный сторгъ приводило его еще одно стихотвореніе Гёте «Перемѣна»—

Лежу я въ потокѣ на камняхъ... какъ радъ я!
Идущей волнѣ простираю объятья,—
И дружно тѣснится она мнѣ на грудь;
Но, легкая, снова она упадаетъ,
Другая приходитъ. опять обнимаетъ:
Такъ радости быстрой чредою бѣгутъ.
Напрасно влачишь ты въ печали томящей
Часы драгоцѣнные жизни летящей,
Затѣмъ, что своею ты милой забытъ:
О, пусть возвратится пора золотая!
Такъ нѣжно, такъ сладко цѣлуетъ вторая,—
О первой не будешь ты долго грустить!

Въ письмахъ Бѣлинскаго, въ его личныхъ изліяніяхъ, какъ и его сочиненіяхъ того времени не трудно найти параллели къ держанію этихъ стихотвореній...

Въ отдѣлѣ прозы находимъ разсказы Кудрявцева, писавшаго тогда подъ буквами А. Н. (потомъ онъ подписывался: А. Нестроевъ): «Одни сутки изъ жизни стараго холостяка» и «Флейту». Мы увидимъ дальше, какъ эта послѣдняя повѣсть нравилась Бѣлинскому, и какъ онъ старался растолковать ея достоинства своимъ друзьямъ, которые не понимали его восторга,—напримѣръ, Станкевичу и Кольцову. Изъ иностранной литературы «Наблюдатель» въ особенности обращался къ Гофману («Мастеръ Іоганнесъ Вахтъ», «Донъ-Жуанъ» и проч.); затѣмъ являются повѣсти Тика, Виллибальда Алексиса, отрывки изъ Жанъ-Поля Рихтера, и нѣсколько французскихъ повѣстей (Сулье, Ам. Пишо, Друино), и пр.

Въ отдѣлѣ біографіи и иностранной библіографіи журналъ интересуется главнымъ образомъ нѣмцами: біографіи Гофмана и Моцарта; статьи о Гейне, Эйхендорфѣ, Шамиссо.

Боткинъ довольно усердно работалъ въ журналѣ своего друга; онъ напечаталъ «Отрывки изъ дорожныхъ замѣтокъ по Италіи» (1839, № 1) и музыкально-критическія статьи по поводу концертовъ Леопольда Мейера, Олебуля и Брейтинга (1838, т. XVI). Ему принадлежатъ и другія, не подписанныя работы;—онъ перевелъ Гофманова «Донъ-Жуана» и передѣлалъ статью о Моцартѣ [1]).

Старшему Кронебергу принадлежатъ напечатанныя безъ его имени «Письма» (1838, № 5 и 9), потомъ съ его именемъ «Характеристика древнихъ грековъ и римлянъ» (№ 10), «Маргиналіи и выписки: Астъ, Гейнротъ, Риттеръ» (№ 11)... [2]).

Далѣе, въ «Наблюдателѣ» помѣщена была извѣстная статья о музыкѣ друга Кольцова, Серебрянскаго,—эта статья Бѣлинскому очень нравилась и впослѣдствіи была имъ помѣщена при изданіиКольцова.

Но самымъ дѣятельнымъ работникомъ «Наблюдателя» былъ и теперь, какъ въ «Телескопѣ» послѣднихъ годовъ, самъ Бѣлинскій. Въ первыхъ изданныхъ имъ томахъ онъ помѣстилъ длинный трактатъ о «Гамлетѣ» [3]) и затѣмъ еще нѣсколько крупныхъ критиче-

[1]) См. «Соврем.» 1860, № 1. стр. 338. Онъ же переводилъ и Гофманова «Крейслера»; 1838, іюль, 2-я книжка.

[2]) Въ некрологѣ его между прочимъ замѣчено: «Въ 13 № «Наблюдателя» за 1838 годъ будетъ помѣщена его (Кронеберга) антикритика на разборъ г. Бѣлинскаго «Гамлета», переведеннаго г. Полевымъ». Но мы не имѣл случая видѣть этого 13 №, если только онъ когда-нибудь выходилъ. Ср. «Литер. Прибавленія къ Р. Инвалиду» 1839, стр. 189 (статья Кронеберга) и статью Бѣлинскаго въ «Отеч. Зап.» 1840, кн. 4 (о «Репертуарѣ»), Сочин. IV, стр. 77. Разборъ «Гамлета» Полевого сдѣланъ былъ и А. И. Кронебергомъ, Литер. Газета 1840, № 49—50.

[3]) «Мочаловъ во роли Гамлета», и статья о переводѣ «Гамлета», сдѣланномъ Полевымъ. «Моск. Набл.» 1838, т. XVI, XVII; Сочин. II, стр. 291—304; 477—587. Выше было сказано о первомъ началѣ этихъ статей.

іепремѣнно въ
Ѣлинскимъ [1]).
елѣ» и свою
лѣзнь — драма
ннаго литера-
іе его область.
енефисъ Щеп-
ъ. Она имѣла
ла удержаться

гателя ко II—III
статьи, опущен-

XII.
исанной Бѣлин-
гой драмѣ,—на-
4 и слѣд.). Вотъ

а г. Бѣлинскаго:
имѣла большой
втора въ знаніи
лу. Содержаніе
ъ помѣщичьяго
ъ самый «благо-
тересны и изло-
ѣе пьеса ни съ
ворчества. Она
осклонность, съ
но, что авторъ
приговоръ былъ:
приговора и не
ей своей драмы,
енныхъ претен-
свою пьесу, для
лишняго. Пере-
ченіяхъ. Такого
удобно подвер-
оръ снова посы-
бы она давалась
напечатана въ

гораздо лучше.
которой см. въ
1, кн. 2, Смѣсь,

ъ «Галатеѣ» (№ 6).

Мы разсказывали, въ какомъ настроеніи былъ въ это время Бѣлинскій. Ему казалось, что онъ окончательно понялъ разумную дѣйствительность, и необходимость «примиренія» Бѣлинскій распространилъ теперь и на самую литературу. Время «Московскаго Наблюдателя» отличалось необычной для Бѣлинскаго мягкостью тона, которая, какъ видно изъ переписки, была преднамѣренная.

Еще въ то время, когда явилась у Бѣлинскаго первая мысль о возможности работать въ «Наблюдателѣ», онъ писалъ (1 ноября 1837) къ Бакунину:

«Если это состоится (т.-е. изданіе «Наблюдателя» Кс. Полевымъ), то ты не узнаешь меня въ моихъ статьяхъ, именно потому, что я разувѣрился въ достоинствѣ отрицательной любви къ добру и чувствую въ себѣ больше снисходительности къ подлостямъ и глупостямъ литературной братіи, но за то и больше ревности противоположнымъ образомъ дѣйствованія доказывать истину. Не велика польза доказать, что Сенковскій — п—цъ, а Библіотека — гадкій журналъ: публика это давно знаетъ и подписывается на «Библіотеку» не за то, что она гадкій журналъ, а за то, что нѣтъ лучшаго журнала; такъ гораздо лучше дать ей хорошій журналъ, нежели бранить «Библіотеку». Поэтому полемика рѣшительно изгоняется изъ нашего журнала. Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы и правда изгонялась изъ него, но дѣло въ манерѣ и тонѣ: помнишь ли ты, какъ мило уничтожаетъ Гегель противниковъ истинной философіи, Круга и ему подобныхъ?—Онъ не сердится, не выходитъ изъ себя, не старается прибирать выразительнѣйшихъ браней, энергическихъ выраженій; онъ поступаетъ съ ними, какъ съ мухами—махнетъ рукой и этимъ движеніемъ убиваетъ ихъ гуртомъ, сотнями, нимало не гордясь своею побѣдою и нимало не жалѣя о неудачѣ. Но вотъ другой примѣръ, хоть гадкій, но идущій къ дѣлу — это Сенковскій; онъ не помѣщаетъ статей о другихъ журналахъ и разборовъ чужихъ мнѣній, но при случаѣ, къ слову, бьетъ ихъ славно. Это и мы возьмемъ за правило. Выходитъ книга, которая несправедливо разругана въ «Библіотекѣ»: мы ее похвалимъ, не браня «Библіотеки», которая ее разбранила. Я имѣлъ несчастіе обратить на себя вниманіе правительства не тѣмъ, чтобы въ моихъ статьяхъ было что-нибудь противное его видамъ, но единственно рѣзкимъ тономъ, и это очень глупо; впередъ буду умнѣе»...

Дѣйствительно, «Наблюдатель» говоритъ очень умѣренно о писателяхъ и изданіяхъ, о которыхъ въ другое время Бѣлинскій не сохранилъ бы такой мягкости выраженій. Онъ видимо сдерживается, и, не осуждая извѣстнаго явленія, старается найти ему причину, и, слѣдовательно, отчасти уже оправдать его. Такъ говорится въ «Наблюдателѣ» о ненавистной Бѣлинскому «Библіотекѣ», даже о Гречѣ и Булгаринѣ. Любопытно, что этотъ излишекъ умѣренности замѣтилъ *старшій Кронебергъ*; это былъ человѣкъ стараго вѣка, умѣ-

ренный и спокойный, — но и ему бросилась въ глаза новая манера Бѣлинскаго: онъ думалъ, кажется, что она явилась изъ нѣкотораго опасенія петербургскихъ журналовъ, и совѣтовалъ быть смѣлѣе [1]).

Полемика отлагалась въ сторону и потому, что журналъ не хотѣлъ отвлекаться отъ болѣе высокой цѣли—распространенія общихъ философскихъ и эстетическихъ истинъ. Нѣмецкая философія

---

[1]) Приводимъ отрывокъ изъ письма Кронеберга отъ 20 авг. 1838.

«...Здѣсь единогласно одобряютъ вашъ журналъ. Онъ противъ прежнихъ лѣтъ несравненно лучше; и я увѣренъ, что онъ будетъ имѣть ходъ. Не теряйте терпѣнья. Побольше такихъ статей какъ «Донъ-Жуанъ», «Іоганнъ Ватхъ», «Моцартъ», да *рѣшительное отраженіе* петербургскихъ критиковъ, кои право *не такъ страшны*, чтобъ ихъ слѣдовало бояться, и кои знамениты только по знаменитости города, въ которомъ живутъ. Я еще ни одной дѣльной рецензіи не читалъ, вышедшей изъ подъ ихъ пера; а рецензіи въ Библіотекѣ для Чтенія просто шутовскія.

«Сынъ Отечества, издаваемаго Полевымъ, я очень рѣдко и то отрывками читаю, и слѣдов. не могу имѣть никакого мнѣнія о немъ. Мнѣ кажется что съ сокращеніемъ Телеграфа, ослабѣла у насъ и литературная дѣятельность, и «Сынъ Отечества» не возбудитъ ее, если бы она вовсе остановилась. «Уголино» я не читалъ; этого произведенія во всемъ Харьковѣ нѣтъ. Столь быстро движеніе книжной торговли! Но я получилъ полное о немъ понятіе въ 5 № «Набл.» [Это была статья Бѣлинскаго]. Рецензія «Гамлета» слишкомъ снисходительна. Вы этотъ переводъ и хвалите и не одобряете. Я нахожу его чрезвычайно своевольнымъ; вездѣ только суррогатъ Шекспировыхъ мыслей, коимъ особенно богаты 4-е и 5-е дѣйствіе. Въ предостереженіе тѣхъ, кои, обольстясь славою сего перевода, вздумали бы приступить къ подобному переводу другихъ пьесъ Шекспира, слѣдовало бы показать всѣ недостатки его и погрѣшности: какъ онъ нарушилъ вѣрованіе въ привидѣнія, какъ онъ не понялъ характера Гамлета, Клавдія, Фортинбраса, Розенкранца и Гильденштерна, позволилъ себѣ сокращенія рѣчей, пропуски, измѣненія, слитіе явленій и сценъ, и какъ онъ неудаченъ и въ частностяхъ. Шекспира нельзя переводить à livre ouvert; его должно долго и подробно изучать; надобно умѣть читать не только то, что *въ* строкахъ, но и то что *за* ними и *между* ихъ писано. Не могу съ вами согласиться, чтобы переводъ г. Полевого былъ *поэтическій*. Переводъ сдѣланъ наскоро. На заглавномъ листѣ сказано: переводъ съ англ. Но я имѣю причины догадываться, что переводъ сдѣланъ съ перевода Шлегеля, по крайней мѣрѣ мѣстами»... Въ доказательство Кронебергъ разбираетъ переводъ словъ Гамлета во 2-мъ явл. 2-го дѣйствія. Въ указанной выше, другой статьѣ Бѣлинскаго о Гамлетѣ, въ «Отеч. Зап.» 1840, обращено вниманіе и на эту фразу,—но источникъ невѣрнаго перевода Полевого указывается не въ Шлегелѣ, а въ Летурнёрѣ.

Въ концѣ письма, старшій Кронебергъ говоритъ о Кронебергѣ младшемъ. «Сынъ мой живетъ въ Маріинской больницѣ. Мнѣ очень пріятно было бы видѣть его въ числѣ вашихъ хорошихъ знакомыхъ. Вы найдете въ немъ человѣка, съ которымъ можно разсуждать поглубже».

Знакомство и произошло, но на первый разъ Бѣлинскій не сошелся съ А. И. Кронебергомъ (о чемъ послѣ жалѣлъ); они сблизились уже нѣсколько позднѣе.

казалась кружку высшимъ, послѣднимъ результатомъ человѣческой мысли; ея методъ и основные выводы—торжествомъ знанія, пріобрѣтеніемъ, на которое можно смѣло положиться безъ опасенія ошибки. Искусство, какъ необходимая принадлежность абсолютной жизни, было такимъ же откровеніемъ, какъ и философская мысль. Истинная поэзія, какъ и истинная философія, не враждуетъ съ жизнью, не вооружаетъ человѣка противъ дѣйствительности, но миритъ съ ними; дѣйствительность разумна, и человѣку нужно только понять ее, чтобы сохранить равновѣсіе нравственныхъ стремленій; истинная поэзія объективна, и «нравственная точка зрѣнія», вносящая въ искусство преднамѣренную идею, есть величайшее заблужденіе. Величайшіе художники—Шекспиръ, Гёте; именно потому, что они въ величайшей степени объективны.

Нѣмецкая литература, которая дала въ своей философіи истинныя понятія объ искусствѣ и въ своей поэзіи — истинные его образцы, пользовалась, поэтому, великимъ почетомъ; напротивъ, французская, отличавшаяся полнымъ невѣдѣніемъ или крайне поверхностнымъ знаніемъ этой философіи, сама будто бы способная только къ холодному эмпирическому матеріализму или произвольному фантазерству, а въ поэзіи способная только или къ легкомысленному изображенію жизни, или къ громкой фразѣ, скрывающей крайнюю бѣдность содержанія, — эта литература — за немногими исключеніями—казалась друзьямъ совершенной противоположностью нѣмецкой, и вмѣстѣ противорѣчіемъ основнымъ требованіямъ искусства. Такъ говоритъ о французахъ авторъ предисловія къ «Гимназическимъ рѣчамъ» Гегеля. Такъ говоритъ и Бѣлинскій, привязываясь ко всякому случаю: напр., разбирая повѣсть Вельтмана («Виргинія, или поѣздка въ Россію»), онъ выражаетъ удовольствіе, что у Вельтмана «многія черты французскаго верхоглядства схвачены превѣрно», или, разбирая альманахъ («Сборникъ на 1838 годъ»), выписываетъ переводъ стихотворенія Шиллера: «Антики въ Парижѣ», написаннаго по поводу похищенія французами античныхъ статуй во время наполеонскихъ войнъ, и замѣчаетъ:

«Послѣднее стихотвореніе особенно примѣчательно тѣмъ, что изъ него видно, какъ понималъ Шиллеръ французовъ со стороны эстетическаго чувства. Вотъ оно:

Плодъ искусства Грековъ славный,
Франкъ, рукой сорвавъ державной,
Къ сенскимъ перенесъ брегамъ;
И хвастливо средь музеевъ,
Ихъ поставилъ межъ трофеевъ—
Въ изумленіе вѣкамъ.

Но тѣ плѣнники безгласны (т.-е. статуи)
Не сойдутъ къ нему въ міръ ясный (къ Франку),
Не покинутъ пьедесталъ:
Тотъ лишь музами владѣетъ,
Чья душа къ нимъ пламенѣетъ.
Камень видитъ въ нихъ Вандалъ!

«Вандалы!!! — слышите ли?»

повторяетъ Бѣлинскій съ очевиднымъ сочувствіемъ къ Шиллеру и раздраженіемъ противъ вандаловъ [1]). Съ тѣми же цѣлями «Моск. Наблюдатель» помѣстилъ статью одного нѣмца по поводу извѣстной книги Ламартина о востокѣ: «Поэтическое фанфаронство г. де-Ламартина, великаго поэта Франціи» [2]). Нѣмецкій авторъ имѣлъ достовѣрныя свѣдѣнія о путешествіи Ламартина на востокъ, и по словамъ «Наблюдателя»—вывелъ на свѣжую воду пошлое хвастовство Ламартина: журналъ съ удовольствіемъ перевелъ статейку. Разъясняя эстетическую критику Рётшера, Бѣлинскій не забываетъ замѣтить, что «французскій классицизмъ вытекъ прямо изъ ихъ (французовъ) конечнаго разсудка, какъ признака *нищенства ихъ духа*», что «теперешнее романтическое бѣснованіе такъ-называемой юной французской литературы имѣетъ своимъ началомъ тотъ же источникъ» [3]), и т. д. Наконецъ, настоящій обвинительный актъ, цѣлую программу своего враждебнаго и даже презрительнаго взгляда на французскую литературу, поэзію и общественную жизнь Бѣлинскій изложилъ въ статьѣ по поводу «Краткой исторіи Франціи» Мишле, переведенной тогда на русскій языкъ [4]).

По мнѣнію Бѣлинскаго, въ нашей литературѣ именно боролись тогда два начала — французское и нѣмецкое [5]).

Стараясь установить критику на основаніяхъ философской эстетики, Бѣлинскій усердно слѣдилъ за литературой и театромъ; ту же философскую критику примѣнялъ Боткинъ въ музыкальныхъ рецензіяхъ. И это было самое важное изъ тогдашней дѣятельности Бѣлинскаго: критика «Наблюдателя», продолжая дѣло «Телескопа», впервые установляла правильную оцѣнку явленій литературы, и отбрасывая старый романтическій хламъ, приготовила путь и для лучшихъ эстетическихъ понятій и для утвержденія реализма Гоголевской школы. Несмотря на то, что мнѣнія Бѣлинскаго еще не уста-

---

[1]) «М. Набл.» 1838, т. XVI, стр. 161,469. Эти рецензіи не вошли въ Сочин. Бѣл., но упомянуты въ спискѣ.

[2]) 1838, т. XVII, смѣсь, стр. 419 и слѣд.

[3]) «М. Набл.» 1838, XVIII, кн. 10 стр. 204. Сочин. II, стр. 314.

[4]) Тамъ же, т. XVII, стр. 278. Сочин. II, стр. 393 и слѣд.

[5]) Сочин. II, стр. 308.

новились правильно въ общественныхъ предметахъ, что онъ мало интересовался ими, даже впадалъ въ грубыя ошибки,—его критика не теряла своего значенія. Его теоретическія ошибки въ толкахъ о «дѣйствительности» не затемнили поэтическаго пониманія; сужденія о главнѣйшихъ явленіяхъ, напр., Гоголѣ, остались неизмѣнны. Для того, чтобы литература въ направленіи Гоголя могла возымѣть свое полное нравственное вліяніе, нужно было именно выяснить общій принципъ, теоретически защитить права этого направленія, далеко не всѣми признанныя. Это была задача того времени; Бѣлинскій рѣшилъ одну ея долю, и былъ на пути къ рѣшенію другой.

Дѣйствительно, таково было уже теперь впечатлѣніе, произведенное имъ въ литературѣ. Онъ невольно останавливалъ на себѣ вниманіе живой одушевленной рѣчью, а затѣмъ и своими литературными взглядами. Мы упоминали, что у Бѣлинскаго были уже ревностные почитатели и ожесточенные враги. Врагами Бѣлинскаго были люди всѣхъ старыхъ литературныхъ партій, — и остатки Карамзинскихъ временъ, и аристократическіе литераторы, изъ школы и круга Пушкина, и реторическіе романтики, почитатели Марлинскаго и Кукольника,— наконецъ вся компанія литераторовъ въ родѣ Греча, Булгарина, Сенковскаго, Воейкова. Причины вражды были различны: одни искренно не понимали новаго ученія, которое имъ, не думавшимъ въ свое время ни о какой философіи, казалось отвлеченной фантазіей кружка́ чудаковъ; другіе, или тѣ же, привыкнувъ къ системѣ взаимнаго восхваленія, не могли вынести рѣшительнаго тона критики, которая, преклоняясь предъ Пушкинымъ, бывала строгой и къ нему, которая умѣла сдѣлать смѣшной рутинную реторику, преслѣдовала всякую претензію и бездарность и ни мало не стѣснялась передъ воображаемыми авторитетами. Полевой (съ тѣхъ поръ онъ уже не имѣлъ значенія, какъ журналистъ) и Надеждинъ, слывшіе нѣкогда зоилами, были забыты, и теперь Бѣлинскій остался одинъ, на кого стали сваливать, какъ несомнѣнное преступленіе, отрицаніе авторитетовъ, неуваженіе къ славнымъ именамъ литературы и т. д. Но проходитъ нѣсколько лѣтъ, — и несмотря на все, мнѣнія Бѣлинскаго становятся господствующими...

Но для новаго литературнаго поколѣнія Бѣлинскій являлся какъ давно жданный представитель новой эпохи. Въ Петербургѣ Бѣлинскій, еще неизвѣстный лично, возбуждалъ къ себѣ самыя теплыя симпатіи въ этомъ кругу, хотя «Наблюдатель» нѣкоторыми своими взглядами начиналъ возбуждать недоумѣніе. Читателю, кото-

рый желалъ бы получить понятіе о томъ, что дѣлалось тогда въ Петербургскомъ литературномъ мірѣ и въ какихъ условіяхъ являлась критическая дѣятельность Бѣлинскаго, мы всего лучше можемъ указать «Литературныя Воспоминанія» Панаева, который хорошо зналъ кружки, господствовавшіе тогда въ петербургской литературѣ, самъ тогда же сдѣлался поклонникомъ Бѣлинскаго, и съумѣлъ очень наглядно нарисовать и эту литературу, временъ до-Бѣлинскаго, и то впечатлѣніе, какое произвели сочиненія Бѣлинскаго на людей его поколѣнія.

Переписка Бѣлинскаго съ Панаевымъ, которая была въ нашемъ матеріалѣ, подтверждаетъ вообще точность его разсказовъ, написанныхъ долго спустя. Въ этой перепискѣ мы найдемъ и нѣсколько данныхъ для исторіи «Наблюдателя» и вообще послѣдняго времени жизни Бѣлинскаго въ Москвѣ.

Бѣлинскому доставило большое удовольствіе первое письмо Панаева (отъ 29 марта 1838), съ выраженіями сочувствія и готовности быть чѣмъ-нибудь полезнымъ, «по мѣрѣ своихъ способностей» [1]).

До тѣхъ поръ Бѣлинскій вообще былъ очень предубѣжденъ противъ петербургской литературы, въ которой, за немногими исключеніями, онъ видѣлъ отсутствіе всякой серьёзности, романтическую напыщенность, нелѣпыя притязанія посредственности, литературную аферу и т. д., и письмо Панаева пріятно удивило его своей искренностью и сочувствіемъ. Онъ отвѣчалъ (отъ 26 апрѣля) выраженіемъ своего удовольствія и своей дружбы.

«Вы *одинъ* доказали мнѣ, что можно быть человѣкомъ и петербуржскимъ литераторомъ»—восклицаетъ онъ въ своей враждѣ къ петербургской литературѣ... «Вѣря моему чувству, я былъ увѣренъ, что и вы любите меня, точно такъ же, какъ былъ увѣренъ, что меня терпѣть не могутъ разные петербуржскіе поэты, прозаики — и знакомые и не знакомые со мною, и даже журналисты, переписывавшіеся со мною... Благодарю, сердечно благодарю васъ за ваше предложеніе—быть мнѣ полезнымъ по журналу. Эта помощь важна для меня. Теперь мнѣ во что бы то ни стало, хоть изъ кожи вылѣзть, а надо постараться не ударить лицомъ въ грязь, и показать, чѣмъ долженъ быть журналъ въ наше время, показать

[1]) «Я обязанъ покойному «Телескопу»,—писалъ между прочимъ Панаевъ,—знакомствомъ съ вами; тамъ въ бесѣдѣ съ вами я провелъ много пріятныхъ минутъ. Благодарю васъ за эти минуты. Отъ добраго и умнаго А. В. Кольцова узналъ я о переходѣ «Московскаго Наблюдателя» въ ваши руки. Радуюсь за Москву, въ которой будетъ журналъ; еще болѣе радуюсь, что вашъ всегда *правдивый* и *рѣзкій* голосъ, давно замолкшій, снова раздастся,—а въ эту минуту русской литературѣ онъ необходимѣе, чѣмъ когда либо»...

это издателямъ изящныхъ афишъ и издателямъ толстыхъ журналовъ съ афишкою на придачу; но молчаніе—скоро увидите сами и, надѣюсь, заочно погладите по головкѣ. Горе нашей петербургской братьѣ, горе всѣмъ этимъ маленькимъ геніямъ, которые, послѣ смерти Пушкина, напоминаютъ собою слова Гамлета: «отчего маленькіе человѣчки становятся великими, когда великіе переводятся?»... Литература наша теперь хромаетъ, какъ никогда не хромала: самъ Полевой, этотъ богатырь журналистики, самъ онъ только портитъ дѣло, и добросовѣстно вредитъ ему, хуже Сенковскаго.

«Первый № «Наблюдателя» позамедлился отъ разныхъ обстоятельствъ, которыя могли встрѣтиться только при первомъ №; но онъ выйдетъ въ Москвѣ, когда вы будете читать мое письмо; второй уже печатается, третій начнется печатаніемъ завтра».

На это или другое письмо было отвѣтомъ новое письмо Панаева (отъ 16 іюля 1838). Приводимъ въ примѣчаніи нѣсколько строкъ этого письма [1]). Панаевъ очень хорошо оцѣнивалъ возникавшую дѣятельность Бѣлинскаго, горячо принималъ къ сердцу его интересы и немало содѣйствовалъ переселенію Бѣлинскаго въ Петербургъ. Бѣлинскій отвѣчалъ длиннымъ письмомъ (отъ 10 августа), которое между прочимъ любопытно подробностями о «Московскомъ Наблюдателѣ».

«Вы пишете, — говоритъ Бѣлинскій, — что желали бы видѣть меня издателемъ журнала съ 3.000 подписчиковъ, а я бы охотно помирился и на половинѣ: *Телеграфъ* никогда не имѣлъ больше, а между тѣмъ его вліяніе было велико. «Библ. для Чтенія» издается человѣкомъ умнымъ и способнымъ и издается имъ для большинства, и потому очень понятенъ ея успѣхъ. Журналъ съ такимъ направленіемъ, которое я могу дать, всегда будетъ для аристократіи чита-

---

[1]) «Ваше письмо, любезнѣйшій В. Г., совершенно увѣрило меня въ томъ, что мы поняли другъ друга. Крѣпко, крѣпко я жму вашу руку... Я прочелъ ваши *Литературныя Мечтанія* (кажется, это былъ первый печатный дебютъ вашъ), во многомъ тогда же не согласился съ вами, но уже полюбилъ васъ искренно и послѣ того не пропускалъ ни одной вашей строчки. Прямота вашего характера, юношеская мощь въ словѣ и — самое важное — это глубокое эстетическое чувство, дарованное вамъ Господомъ Богомъ, поразили меня съ перваго раза. Я подумалъ, прочитавъ вашу критическую элегію:—вотъ человѣкъ, который имѣетъ всѣ элементы для того, чтобы сдѣлаться со временемъ *критикомъ*, въ полномъ значеніи этого слова. Эта мысленная замѣтка моя съ каждымъ появленіемъ книжки «Телескопа» оправдывалась и наконецъ обратилась въ полное убѣжденіе, когда я прочиталъ статью вашу о *повѣстяхъ Гоголя*. Благодарю васъ за неизреченное удовольствіе, доставленное мнѣ этою статьею.—Какъ бы я желалъ васъ видѣть дѣйствующимъ въ такомъ журналѣ, который бы имѣлъ *кредитъ* въ публикѣ и тысячъ хоть до трехъ подписчиковъ, чтобы слово ваше ударяло молотомъ по мѣдному лбу массы»!.. Ср. «Воспоминанія» въ «Совр.» 1861, февр., стр. 636—638.

ющей публики, а не для толпы, и никогда не можетъ имѣть подобнаго успѣха».

Бѣлинскій хотѣлъ сказать, что для большинства мало интересны отвлеченные вопросы искусства, и мало доступны высокія требованія критики, часто слишкомъ несогласной со вкусами этого большинства.

«Но я не знаю,—продолжаетъ Бѣлинскій,—почему бы мнѣ не имѣть 1,500 или около 2,000 подписчиковъ. Но видите ли: для этого нужно объявить программу передъ новымъ годомъ, а не въ мартѣ [1]) или маѣ, и программу *новаго* журнала съ *новымъ* направленіемъ, потому что воскресить репутацію стараго, и еще такого какъ «Наблюдатель», такъ же трудно, какъ возстановить потерянную репутацію женщины. Сверхъ того, въ Москвѣ издавать журналъ не то, что въ Петербургѣ: въ нашей цензурѣ (московской) царствуетъ совершенный произволъ; вымарываютъ бо̀льшею частью *либеральныя* мысли, подобныя слѣдующимъ: 2×2=4, зимою холодно, а лѣтомъ жарко, въ недѣлѣ 7 дней, а въ году 12 мѣсяцевъ. Но это бы еще ничего—лишь бы не задерживали. VI № могъ бы выдти назадъ тому двѣ недѣли, но 5 листовъ пролежали больше недѣли въ кабинетѣ Г*. Снегиревъ и самъ могъ бы вычеркнуть все, что̀ ему угодно, но онъ хочетъ казаться предъ издателями добросовѣстнымъ, а передъ начальствомъ исправнымъ, а мы должны терпѣть. Въ 6 № я помѣстилъ переводную статью: «Языческая и христіанская литература IV-го вѣка. Авзоній и св. Паулинъ»: *языческой* и *христіанской,* и *святого* цензоръ нашъ не пропускаетъ: каково вамъ покажется?

«Вы знаете, что владѣлецъ «Наблюдателя»—Н. С. Степановъ; у него есть всѣ средства [2]), сверхъ того—хорошая своя типографія. Еслибъ ему позволили объявить себя издателемъ, какъ Смирдину, начать журналъ съ новаго года и въ 12 книжкахъ, какъ «Библ. для Чт.» и. «Сынъ Отечества»,— то дѣло бы пошло на ладъ. Эти три обстоятельства: объявленіе имени издателя, который по своимъ средствамъ можетъ имѣть право на кредитъ публики, новый планъ журнала и настоящее время для его начала—могли бы дать содержаніе для программы и изъ стараго журнала сдѣлать *новый*. Конечно, еслибы къ этому еще позволили перемѣнить его названіе—это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мнѣ* позволили выставить свое имя, какъ редактора, потому что В. П. Андросовъ охотно бы отказался отъ журнала и всѣхъ правъ на него. Но зачѣмъ говорить о невозможномъ. По крайней мѣрѣ мы хотимъ попробовать на счетъ первыхъ трехъ перемѣнъ — имени Степанова, 12 книжекъ и начала съ новаго года. Надо сперва прибѣгнуть къ графу С*. Пока объ этомъ не говорите рѣшительно никому. Я увѣренъ, когда придетъ время,

---

[1]) Какъ это было съ «Наблюдателемъ», который только весной перешелъ въ руки Степанова.

[2]) Въ этомъ Бѣлинскій ошибался, какъ показали послѣдствія.

и если вы что можете тутъ сдѣлать чрезъ свои связи и знакомства, то сдѣлаете все».

Они мѣнялись извѣстіями о петербургской и московской литературѣ. Панаевъ изображалъ ему дѣятелей «Библіотеки» и литературные нравы, гдѣ на первомъ планѣ и очень безцеремонно ставилось «добываніе деньги», а вопросъ убѣжденія считался ребячествомъ и предразсудкомъ. Панаевъ утѣшается тѣмъ, что есть (въ Петербургѣ) хоть одинъ человѣкъ, «около котораго собираются люди съ предразсудками, т.-е. не соблазняющіеся златымъ тельцомъ и имѣющіе глупость смотрѣть на искусство, какъ на святыню» (?); но еслибы этого человѣка не поддерживалъ «рѣдѣющій остатокъ друзей Пушкина», то и онъ не удержался бы, потому что упомянутая компанія уже замыслила его уничтоженіе... Бѣлинскій съ своей стороны, знакомилъ Панаева съ своими друзьями, работавшими въ «Наблюдателѣ».

«Ваши *вкусо-вводители,*—продолжаетъ Бѣлинскій въ томъ же письмѣ,—точно люди добросовѣстные и благонамѣренные — *они немножко и дерутъ, за то ужъ въ ротъ хмѣльного не берутъ*. Шевыревъ—это Вагнеръ, онъ на лекціи объявилъ, что *любитъ букву*... Хочу написать исторію русской литературы для нѣмцевъ — пошлю въ Германію къ Аксакову, онъ переведетъ и напечатаетъ. То-то раззадорю нашъ народъ, ужь дамъ же я знать суфлеру Кёнига [1])!

«Я понялъ, о какомъ великомъ драматическомъ геніѣ пишете вы ко мнѣ: этого генія я разгадалъ еще въ 1834 г. [2]). У меня очень вѣренъ инстинктъ въ литературныхъ явленіяхъ: издалека узнаю птицу по полету и рѣдко ошибусь...

«Совершенно согласенъ съ вами на счетъ философскихъ терминовъ, что дѣлать—погорячились... Кланяйтесь отъ меня Николаю Ивановичу Надеждину. Радъ, что вамъ понравился Аксаковъ. Это душа чистая, дѣвственная, и человѣкъ съ дарованіемъ. Когда вы

---

[1]) Бѣлинскій говоритъ о книжкѣ, вышедшей незадолго передъ тѣмъ: Literarische Bilder aus Russland. Herausgegeben von H. Koenig. Stuttg. u. Tübingen, 1837. Кёнигъ не зналъ по русски и написалъ свою книжку по разсказамъ и письменнымъ сообщеніямъ русскихъ, стоявшихъ болѣе или менѣе близко къ литературѣ, которыхъ онъ зналъ за границей. Главнымъ «суфлеромъ» его былъ Н. А. Мельгуновъ (умершій въ концѣ шестидесятыхъ годовъ). Это былъ человѣкъ очень образованный; въ книжкѣ Кёнига дано должное мѣсто литературной дѣятельности петербургскихъ журналистовъ, какъ Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій, которые потомъ и опрокинулись на Кёнига; но Мельгуновъ, отличавшійся потомъ стараніемъ «примирять» враждебныя направленія, и вѣроятно имѣвшій и тогда эту наклонность, могъ не понравиться Бѣлинскому слишкомъ восхвалительнымъ отзывомъ о Шевыревѣ въ книжкѣ Кёнига.

[2]) Рѣчь шла о Кукольникѣ. Ср. «Литер. Мечтанія», Сочин., т. I, стр. 128—129

пріѣдете въ Москву, то увидите, что въ ней и еще есть юноши. Какъ жаль, что Ба... живетъ въ деревнѣ! Какъ мнѣ хотѣлось познакомить васъ съ нимъ. Но я познакомлю васъ съ В. Боткинымъ, котораго музыкальныя статейки, вѣроятно, вамъ понравились. Онъ же перевелъ «Донъ-Жуана» Гофмана и передѣлалъ статью «Моцартъ». Еще я познакомлю васъ съ Клюшниковымъ — очень интересный человѣкъ. Элегія въ IV № «Опять оно, опять былое»—его. Стихотвореніе Красова «Не гляди поэту въ очи» не относится ни къ Пушкину и ни къ кому, а его дума относится къ Жуковскому. Понравилась ли вамъ повѣсть въ I №? Она принадлежитъ Кудрявцеву, автору «Катеньки Пылаевой» и «Антонины». Это человѣкъ съ истиннымъ поэтическимъ дарованіемъ и чудеснѣйшею душою. И съ нимъ я познакомлю васъ. Онъ далъ мнѣ еще прекрасную повѣсть «Флейта»... Романъ С-ва разругаю, потому что это мерзость безнравственная—ядъ провинціальной молодежи, которая все читаетъ жадно. Если бы это было только плохое литературное произведеніе, а не гнусное въ нравственномъ смыслѣ, то я уважалъ бы пословицу—de mortuis aut bene aut nihil [1]). Благодарю васъ за обѣщаніе *разнаго товара* — жду его съ нетерпѣніемъ — нельзя ли поскорѣе. Харьковскій профессоръ Кронебергъ изъявилъ свое согласіе на участіе. Въ 6 № его статья «Письма»; статья очень невинная, но ужаснувшая нашего цензора. Читали ли вы въ 5 № статью «о музыкѣ»? Такихъ статей немного въ европейскихъ, не только русскихъ журналахъ. Серебрянскій — другъ Кольцова, который и доставилъ мнѣ статью. Представьте себѣ, что этотъ даровитый юноша (Серебр.) умираетъ отъ изнурительной лихорадки. Очень радъ, что вамъ понравилась моя статья о Гамлетѣ. Въ 3 № самая лучшая [2]): я самъ ею доволенъ, хотя она и искажена: Б. [цензоръ Булыгинъ] вымарывалъ слово *святой* и *блаженство,* а на концѣ отрѣзалъ цѣлые поллиста. Напишите, какъ вамъ понравилась моя статья объ «Уголино». Жаль Полевого, но вольно-жъ ему на старости изъ ума выжить. Что тамъ за гадость такую онъ издаетъ. «Библ. для Чт.» во сто разъ лучше: для большинства это превосходный журналъ. Нѣтъ ли слуховъ о Гоголѣ? Какъ я смѣялся, прочтя въ «Прибавленіяхъ», что Гоголь, *скрѣпя сердце*, рисуетъ своихъ оригиналовъ. *Во время оно* я и самъ тоже вралъ»...

Слѣдуютъ разспросы о петербургскихъ писателяхъ—Струговщиковѣ, который, по его словамъ, во сто разъ лучше переводилъ Гёте, чѣмъ Губеръ, искажавшій «Фауста»; о Бернетѣ, и проч. Извѣщаетъ, что весной (т.-е. 1839 года) думаетъ самъ побывать въ Петербургѣ, если будутъ средства.

Въ послѣдующихъ письмахъ (отъ октября 1838 и января 1839)

---

[1]) Дѣло идетъ о романѣ «Тайна», Степанова, автора «Постоялаго двора». Бѣлинскій ограничился, впрочемъ, нѣсколькими строками неодобрительной рецензіи. «Моск. Набл.» 1838, т. XVIII, кн. 10, стр. 237.

[2]) Это—третья статья о «Мочаловѣ въ роли Гамлета», соотвѣтствующая Сочин., II, стр. 525—587.

Панаевъ опять восхищается «Наблюдателемъ», статьями Бѣлинскаго, стихотворнымъ отдѣломъ, который былъ камнемъ преткновенія для другихъ журналовъ; сообщаетъ новыя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ петербургскихъ поэтахъ и прозаикахъ, уже начинавшихъ ненавидѣть Бѣлинскаго за непочтительные отзывы объ ихъ писаніяхъ и т. д. Въ октябрьскомъ письмѣ 1838 онъ извѣщаетъ Бѣлинскаго о предстоящемъ возобновленіи «Отечественныхъ Записокъ», и хотя новая редакція была «не знатная», по его словамъ, но онъ возлагалъ надежды на это изданіе, въ которомъ и самъ думалъ участвовать; не имѣя долго извѣстій отъ Бѣлинскаго, онъ умоляетъ его написать о своихъ дѣлахъ и снова предлагаетъ свои услуги [1]).

Наконецъ, Бѣлинскій отвѣчалъ письмомъ, уже отъ 18 февраля 1839. Оказывалось, что дѣла Бѣлинскаго въ «Наблюдателѣ» были въ самомъ печальномъ положеніи. Къ началу этого года удалось устроить тѣ обстоятельства, о которыхъ Бѣлинскій прежде писалъ Панаеву—выхлопотать для журнала новый планъ, изданіе съ новаго года и въ 12 книжкахъ, назвать имя издателя—типографа Степанова; Бѣлинскій не былъ названъ какъ редакторъ, но его имя печаталось подъ статьями... Несмотря на то, едва начался 1839 годъ, какъ Бѣлинскій находилъ для себя невозможнымъ продолжать. Онъ начинаетъ письмо извиненіемъ, что долго не отвѣчалъ.

«Право, не до писемъ было. Въ письмѣ къ вамъ, мнѣ хотѣлось бы означить опредѣлительно мое журнальное состояніе,—пишетъ онъ къ Панаеву отъ 18 февраля 1839,—но это было невозможнѣе, чѣмъ означить погоду. И теперь пишу къ вамъ коротко, но за то опредѣленно. Вотъ въ чемъ дѣло: *я не могу издавать «Наблюдателя»*. Далеко бы завело меня объясненіе причинъ, и потому вмѣсто всѣхъ этихъ объясненій снова повторяю вамъ — *я не могу издавать «Наблюдателя» и нахожу себя принужденнымъ нынѣ*

[1]) «Вообще нельзя достаточно возблагодарить васъ за выборъ статей и оригинальныхъ и переводныхъ... Стихотворный отдѣлъ... у васъ очень хорошъ. А ужъ наши петербургскіе поэты, нечего грѣха таить, подгуляли... Понимаю я васъ, совершенно понимаю: о русской литературѣ, въ особенности нашей петербуржской, только и можно выражаться въ формѣ плачевой элегіи! О «Моск. Набл.» наши піиты и прозаики отзываются вообще неблагосклонно и говорятъ: «тамъ такая все гиль, ничего не разберешь! Все о субъектахъ, да объектахъ толкуютъ. Философія съ ума свела!»... Съ каждымъ № «Наблюд.» я привязываюсь къ вамъ болѣе и болѣе» и проч. (11 октября 1838). Въ другомъ письмѣ Панаевъ говоритъ: «Я бы давно прислалъ вамъ кое-что *своего*, но къ *вамъ* мнѣ не хочется прислать какой-нибудь бездѣлки, ибо я слишкомъ уважаю мнѣніе редактора «Наблюд.» Въ альманахахъ иногда по неволѣ, чтобы отвязаться отъ докучливаго издателя, бросишь залежавшуюся дрянь (зрите мой разсказъ въ Альм. Влад. на 1839 годъ), — но къ вамъ, повторяю, это совсѣмъ другое».

отказаться отъ нею. Но между тѣмъ—мнѣ надо чѣмъ-нибудь жить, чтобъ не умереть съ голоду—въ Москвѣ нечѣмъ мнѣ жить: въ ней, кромѣ любви, дружбы, добросовѣстности, нищеты и подобныхъ тому непитательныхъ блюдъ, ничего не готовится. Мнѣ надо ѣхать въ Питеръ, и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Прибѣгаю къ вашему ко мнѣ расположенію, къ вашей ко мнѣ дружбѣ—похлопочите объ устроеніи моей судьбы»...

Бѣлинскій ожидалъ найти себѣ работу въ двухъ журналахъ Краевскаго, который съ 1839 года началъ издавать «Отечественныя Записки» и, кромѣ того, велъ «Литер. Прибавленія къ Р. Инвалиду». Бѣлинскій предлагалъ взять на себя критическія и библіографическія статьи,—и спрашивалъ, какія могутъ быть условія.

«Но главное вотъ въ чемъ, — продолжаетъ Бѣлинскій: — безъ 2,000 мнѣ нельзя даже и пѣшкомъ пройти заставу: около этой суммы на мнѣ самаго важнаго долгу, а сверхъ того,—я хожу, какъ нищій, въ рубищѣ. Кромѣ г. Краевскаго, поговорите и съ другими, сами отъ себя или черезъ кого-нибудь: я продаю себя всѣмъ и каждому отъ Сенковскаго до (тьфу ты гадость какая!) Б-на, — кто больше дастъ, не стѣсняя притомъ моего образа мыслей, выраженія, словомъ—моей литературной совѣсти, которая для меня такъ дорога, что во всемъ Петербургѣ нѣтъ и приблизительной суммы для ея купли. Если дѣло дойдетъ до того, что мнѣ скажутъ: независимость и самобытность убѣжденій или голодная смерть—у меня достанетъ силы скорѣе издохнуть какъ собакѣ, нежели живому отдаться на позорное съѣденіе псамъ...

«...Я готовъ взять на себя даже и черновую работу, корректуру и тому подобное, если только за все это будетъ платиться соразмѣрно трудамъ. Денегъ! денегъ! А работать я могу, если только мнѣ дадутъ *мою* работу. И такъ скорѣй отвѣтъ. Главное — чтобы при вашемъ письмѣ получилъ (если кто пожелаетъ взять меня въ работники) *подробныя условія*».

Это письмо достаточно говоритъ, что Бѣлинскій видѣлъ себя въ отчаянномъ положеніи. Панаевъ указываетъ причины тому, что Бѣлинскій отказывался отъ «Наблюдателя»—въ строгости тогдашней цензуры, и также въ размолвкѣ Бѣлинскаго съ его московскими друзьями (лишавшей его ихъ помощи по журналу); но главнѣйшей причиной была неурядица въ самомъ журналѣ: издатель его, Степановъ, разсчитывавшій получать съ него большіе доходы, такъ мало заботился о правильномъ обезпеченіи внѣшней стороны изданія, что не только журналъ сталъ запаздывать, но и редакторъ не могъ существовать на жалкія средства, ему предоставленныя. Мы слышали отъ современника достовѣрнаго, что редакціонный трудъ Бѣлинскаго оплачивался около 80-ти рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ (1000 руб. *асс. въ годъ*); его московскіе друзья, отчасти изъ

интереса къ дѣлу, отчасти ради Бѣлинскаго, работали и совсѣмъ даромъ.

Въ нашемъ матеріалѣ есть письмо къ Панаеву, писанное 22 февраля, но оставшееся видимо не посланнымъ, гдѣ Бѣлинскій повторяетъ свою просьбу о скорѣйшемъ отвѣтѣ.

«Вотъ вамъ и еще письмо, любезнѣйшій И. И., — писалъ Бѣлинскій. — Предметъ его все тотъ же—просьба о скорѣйшемъ рѣшеніи моей участи. Я увѣренъ, что вы, съ своей стороны, сдѣлаете все, что можно, и прошу васъ о скорѣйшемъ отвѣтѣ. Дѣло для меня очень важно. Мнѣ надо переѣхать въ Петербургъ, хоть на годъ, хоть на два, только непремѣнно надо: этого требуютъ и внѣшнія и внутреннія мои обстоятельства. Быть сотрудникомъ журнала или даже и журналовъ и получать за свои труды достаточное вознагражденіе, конечно, не богъ знаетъ какая важность и какая трудность; но дѣло въ двухъ тысячахъ, безъ которыхъ мнѣ невозможно и думать о поѣздкѣ — вотъ въ чемъ трудность и вотъ что меня безпокоитъ. Безъ этого обстоятельства, я давно бы ужъ сѣлъ въ дилижансъ и былъ въ Питерѣ. Вмѣстѣ съ полученіемъ этого письма, вы увидитесь и съ Н. В. Савельевымъ, который, по своему ко мнѣ расположенію и дружбѣ, самъ вызвался хлопотать о моемъ дѣлѣ... Жалѣю только объ одномъ, что не раньше хватился за умъ.

«Трудно оставить мнѣ Москву, гдѣ много милаго любилъ, гдѣ совершилось столько важныхъ переворотовъ и процессовъ моего духа; оставить кругъ, подобнаго которому для меня не будетъ въ жизни. Но судьба этого хочетъ—должно повиноваться. Она иногда даетъ отсрочки, но на своемъ всегда поставитъ. Такъ было и со мною. Я долго отнѣкивался, а теперь вижу, что стѣну лбомъ не прошибешь... Петербургъ представляется мнѣ пустынею безлюдною. Каменскій, Гребенка, Якубовичъ, Тимоѳеевъ, и пр. и пр. Боже мой, что за люди!.. Если бы не вы, я бы скорѣе умеръ, чѣмъ бы поѣхалъ въ Питеръ»...

Онъ переходитъ къ литературнымъ предметамъ — говоритъ о переводахъ Струговщикова, о Гёте, о Губерѣ, Владиславлевѣ: это было повторено имъ въ слѣдующемъ (посланномъ) письмѣ къ Панаеву. Прибавимъ изъ письма 22 февраля еще двѣ подробности: одна относится къ Полевому, противъ котораго онъ уже страшно вооруженъ, и которому предназначалъ одно изъ первыхъ нападеній; другая къ его литературнымъ планамъ.

«Если я буду *крѣпко* участвовать въ «О. З.», то уговоръ лучше денегъ. Полевой—да не прикоснется къ нему, никто, кромѣ меня! Это моя собственность, собственность по праву. Я, и никто другой, долженъ спихнуть его съ синтеза и анализа и со всего этого хламу пошлыхъ, устарѣлыхъ мнѣньицъ и чувствованьицъ, на которыхъ онъ думаетъ выѣзжать и которыми думаетъ запугать новое поколѣніе. Особенно, если выйдетъ окончаніе его «Аббаддонны» — *это мой* пиръ — какъ воронъ на падалище спущусь я на

это пещичко литературнаго прекраснодушія, и исклюю его и истерзаю его. У меня ужъ готова въ головѣ статья. Люблю и уважаю Полевого, высоко цѣню заслуги его, почитаю его лицомъ историческимъ, но тѣмъ не менѣе постараюсь сказать и доказать, что онъ отсталъ отъ вѣка, не понимаетъ современности и сдѣлался тѣмъ Каченовскимъ, котораго онъ засталъ при своемъ выступленіи на литературное поприще. Ужасное несчастіе пережить самого себя—это все равно, что сойти съ ума.

«Если я переѣду въ Питеръ, то къ тому году хочу издать альманахъ, и потому считаю за вами и за г. Струговщиковымъ нѣсколько переводовъ изъ Гёте. Самъ напишу огромное «обозрѣніе», которое—я увѣренъ въ этомъ—всѣ прочтутъ. Будутъ стихи Красова, Кольцова,—ө—, переводы изъ Шекспира, Гёте, Гейне, Рюкерта—Каткова, Аксакова».

Повидимому, рѣшеніе Бѣлинскаго испугало Степанова, владѣльца «Наблюдателя; съ удаленіемъ Бѣлинскаго журналъ существовать не могъ. По всей вѣроятности, онъ обѣщалъ вести дѣло иначе и упросилъ Бѣлинскаго продолжать дѣло. Черезъ три дня послѣ приведеннаго сейчасъ письма, 25 февраля, Бѣлинскій проситъ Панаева оставить свои хлопоты.

«Я остаюсь въ Москвѣ, любезнѣйшій И. И., — писалъ Бѣлинскій,—и потому прошу васъ оставить хлопоты обо мнѣ и извинить меня за ложную тревогу. Различныя затрудненія до такой степени взбѣсили меня, что я твердо рѣшился перебраться въ Питеръ; но дѣло кое-какъ передѣлалось — и я опять москвичъ. Пока не могу много писать къ вамъ: я еще боленъ отъ этихъ передрягъ. Пожмите отъ меня руку г. Струговщикову... Не умѣю благодарить его за присланныя [для «Наблюдателя»] элегіи Гете; нѣсколько времени я обжирался ими; какъ въ волнахъ океана жизни, купался я въ этихъ гекзаметрахъ... Прошу и умоляю г. Струговщикова не оставить меня и впередъ своими трудами».

Онъ говоритъ потомъ объ «Отеч. Запискахъ»:

«Не стыдно ли К. воскурять ѳиміамы такимъ людямъ, каковы Каменскій, Гребенка и т. п.? Статья Губера о философіи обличаетъ въ своемъ авторѣ ограниченнѣйшаго человѣка, у котораго въ головѣ только посвистываетъ [1]). Какая прекрасная повѣсть «Исторія двухъ галошъ», гр. Соллогуба. Чудо! прелесть! сколько душевной теплоты, сколько простоты, вездѣ мысль»...

Между тѣмъ Панаевъ, по первому письму Бѣлинскаго, ревностно принялся за хлопоты, и отъ 26 февраля извѣщалъ его, что редакторъ «Отеч. Записокъ» и «Прибавленій къ Инвалиду» готовъ

[1]) Гоголевская фраза. Двѣ статьи Губера о философіи (которую, кажется, сочли нужной въ журналѣ—по примѣру москвичей) были помѣщены въ первыхъ книгахъ «Отеч. Зап.» 1839 г.

доставить ему работу по русской библіографіи и театральной критикѣ, что могло приносить отъ 100 до 350 р. асс. въ мѣсяцъ. «Будь я редакторомъ журнала, — замѣчалъ Панаевъ, — я бы вамъ безусловно ввѣрился»... Затѣмъ Панаевъ убѣждалъ Бѣлинскаго, что ему невозможно имѣть дѣла ни съ Сенковскимъ, ни съ кѣмъ-либо еще изъ петербургскихъ журналистовъ: «съ Сенковскимъ—и говорить нечего: онъ всѣхъ подавляетъ своею желѣзною лапою, всѣмъ навязываетъ свои собственныя мнѣнія и никого знать не хочетъ; а подъ ферулою ни его, ни чьею-либо вы вѣрно не захотите быть». Панаевъ извѣщалъ, что нѣкоторые его пріятели готовы ссудить Бѣлинскаго нужными ему деньгами; часть ихъ уже имѣлась на лицо... Но, какъ замѣчено, Бѣлинскій вновь взялся за изданіе «Наблюдателя» и въ 1839 г. вышло еще нѣсколько книжекъ журнала; но уже вскорѣ Бѣлинскій былъ вынужденъ окончательно бросить изданіе, и жалѣлъ, что отказался отъ предложеній Панаева.

Въ апрѣлѣ 1839, Панаевъ пріѣхалъ въ Москву, гдѣ и прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ. Въ это время онъ въ первый разъ свелъ съ Бѣлинскимъ личное знакомство. Въ характерѣ и внѣшней манерѣ Бѣлинскаго уже въ эту пору сложились его особенныя черты,— между прочимъ, воспитанныя жизнью въ тѣсномъ кружкѣ. Панаевъ встрѣтилъ въ немъ человѣка нервически возбужденнаго, недовѣрчиво сдержаннаго съ новыми людьми, но беззавѣтно открытаго, искренняго и увлекающагося съ близкими.

Панаевъ оставилъ много разсказовъ о Бѣлинскомъ. Между прочимъ, онъ подробно и почти всегда вѣрно разсказываетъ о тогдашней жизни Бѣлинскаго, сколько ее видѣлъ, и о московскомъ литературномъ кружкѣ. Онъ зналъ всѣхъ друзей Бѣлинскаго, знакомыхъ, у которыхъ онъ бывалъ. Разсказъ его вездѣ проникнутъ теплой привязанностью къ Бѣлинскому, и, безъ сомнѣнія, долженъ считаться однимъ изъ любопытнѣйшихъ свидѣтельствъ «очевидца»;—хотя, правда, авторъ не могъ обойтись безъ того, чтобы не перенести въ изображеніе прошедшаго изъ позднѣйшихъ мыслей, своихъ и вычитанныхъ... Мы возьмемъ только нѣсколько частностей изъ его разсказовъ, отсылая читателя къ самымъ «Воспоминаніямъ»: читатель найдетъ въ нихъ отчасти разъясненіе нѣкоторыхъ случаевъ и раздоровъ въ средѣ кружка, на которыхъ мы не находили удобнымъ останавливаться.

Панаевъ, по его собственному разсказу, произвелъ на Бѣлинскаго непріятное впечатлѣніе своимъ первымъ появленіемъ. Панаевъ, наслушавшись разсказовъ о московскихъ свѣтскихъ обычаяхъ, по пріѣздѣ въ Москву, завелъ себѣ для визитовъ карету четверней, и въ этой каретѣ пріѣхалъ къ Бѣлинскому, жившему въ какомъ-то

глухомъ переулкѣ. Когда раздался громъ экипажа, Бѣлинскій съ досадою вскочилъ съ дивана и бросился къ окну. «Такого грома не раздавалось въ этомъ переулкѣ съ самаго его существованія»,—говорилъ послѣ Бѣлинскій. Панаевъ поздно увидѣлъ неблагополучный эффектъ четверни—и сконфуженный вошелъ во дворъ и постучался въ низенькую дверь...

«Дверь отворилась,—разсказываетъ Панаевъ,—и передо мною въ дверяхъ стоялъ человѣкъ средняго роста, лѣтъ около 30-ти на видъ, худощавый, блѣдный, съ неправильными, но строгими и умными чертами лица, съ тупымъ носомъ, съ большими сѣрыми, выразительными глазами, съ густыми, бѣлокурыми, но не очень свѣтлыми волосами, падавшими на лобъ,—въ длинномъ сюртукѣ, застегнутомъ накриво.

«Въ выраженіи лица и во всѣхъ его движеніяхъ было что-то нервическое и безпокойное.

«Я сейчасъ догадался, что передо мною самъ Бѣлинскій.

«— Кого вамъ угодно?—спросилъ онъ немного сердитымъ голосомъ, робко взглянувъ на меня.—Виссаріона Григорьевича. Я такой-то (я назвалъ свою фамилію). Голосъ мой дрожалъ. — Пожалуйте сюда... Я очень радъ...—произнесъ Бѣлинскій довольно сухо и съ замѣшательствомъ, и изъ темной маленькой передней повелъ меня въ небольшую комнатку, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнатки состояла изъ небольшого дивана съ износившимся чехломъ, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной подъ красное дерево, и двухъ рѣшетчатыхъ такихъ же стульевъ...

«Послѣдовало нѣсколько минутъ неловкаго молчанія. Бѣлинскій какъ-то жался на своемъ стулѣ. Я преодолѣлъ свою робость и заговорилъ съ нимъ о нашемъ общемъ знакомомъ, поэтѣ Кольцовѣ. Бѣлинскій очень любилъ Кольцова»...

Разговоръ не клеился. Въ другой разъ Бѣлинскій зашелъ къ Панаеву, первое неблагопріятное впечатлѣніе изгладилось, и они вскорѣ сошлись очень коротко. Разсказы Панаева о петербургской литературѣ занимали и забавляли его... Панаевъ познакомился съ Боткинымъ и другими членами кружка. Бѣлинскій въ это время былъ въ разладѣ съ Боткинымъ и Катковымъ,—когда они входили къ Панаеву въ одну дверь, онъ выходилъ въ другую. Его навѣщали только Клюшниковъ (—ѳ—), Кудрявцевъ и К. Аксаковъ. Примиреніе съ упомянутыми друзьями произошло уже лѣтомъ 1839.

Бѣлинскій поселился въ близкомъ сосѣдствѣ Панаева. Они стали видѣться часто, и Бѣлинскій съ каждымъ разомъ становился съ нимъ проще и искреннѣе. Денежныя дѣла его были очень плохи. Бѣлинскій говорилъ, что охотно переѣхалъ бы въ Петербургъ, и

взялъ бы на себя весь критическій отдѣлъ въ «Отеч. Запискахъ», если бы могъ получать за свой трудъ 3000 рублей (асс.). «Неужели же я не стою этой платы?—говорилъ онъ.—А здѣсь я рѣшительно не могу оставаться, мнѣ просто здѣсь грозитъ голодная смерть»...

«Безкорыстнѣе и честнѣе Бѣлинскаго я не встрѣчалъ ни одного человѣка въ литературѣ въ послѣднія двадцать лѣтъ, — говоритъ Панаевъ.—Когда рѣчь заходила о платѣ за трудъ, онъ приходилъ въ крайнее смущеніе, весь вспыхивалъ и сейчасъ же соглашался на всякія предложенія, самыя невыгодныя для себя... Съ деньгами онъ обращался какъ ребенокъ: онъ то экономничалъ, лишалъ себя необходимаго, то вдругъ прорывался и позволялъ себѣ неслыханныя роскоши при своемъ положеніи. Увлеченіе было его натурою, и онъ увлекался даже мелочами».

Панаевъ разсказываетъ, какъ онъ изумился однажды, войдя къ Бѣлинскому и увидѣвъ его бѣдную комнату, уставленную всевозможными цвѣтами.—«У меня, батюшка, страсть къ цвѣтамъ. Я зашелъ сегодня утромъ въ цвѣточный рядъ и соблазнился. Послѣдніе тридцать рублей отдалъ... Завтра ужъ мнѣ формально ѣсть нечего будетъ... И несмотря на это, Бѣлинскій въ это утро былъ веселѣе и одушевленнѣе обыкновеннаго».

Панаевъ вскорѣ хорошо познакомился съ тѣмъ, что дѣлалось въ кружкѣ Бѣлинскаго и въ его журналѣ.

«Къ Бѣлинскому я заходилъ каждое утро, — разсказываетъ Панаевъ. — Онъ очень хандрилъ и жаловался на боль въ груди... Обстоятельства его были въ это время печальныя. Степановъ, издатель «Московскаго Наблюдателя», платилъ ему помѣсячно (да и то неаккуратно) какія-то ничтожныя деньги за редакцію. Бѣлинскій сначала былъ увлеченъ мыслію стать во главѣ журнала, сотрудниками котораго должны были сдѣлаться всѣ его молодые и талантливые друзья... Онъ твердо былъ убѣжденъ, что при ихъ содѣйствіи, соединенномъ съ его кипучей, энергической дѣятельностью,— успѣхъ журнала будетъ несомнѣненъ... Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходѣ пятой книжки всѣ средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о томъ, что журналъ переходитъ подъ редакцію Бѣлинскаго; непрактичность и издателя и редактора, пустившихъ очень небольшое число объявленій о преобразованіи журнала, въ которыхъ притомъ глухо и неопредѣленно сказано было о переходѣ «Наблюдателя» отъ Андросова (бывшаго редактора) подъ новую редакцію, и наконецъ, то примирительное направленіе первыхъ книжекъ возобновленнаго «На-

блюдателя», — направленіе, которому публика не могла симпатизировать».

Большинство публики, быть можетъ, въ то время и не было особенно требовательно въ этомъ отношеніи: «Отеч. Записки» въ первое время также были примирительны, — но «Наблюдатель» не былъ достаточно занимателенъ для большинства публики, тогда особенно привыкшей къ разнообразію и увеселительному тону «Библіотеки». Бѣлинскій самъ думалъ, что его журналъ долженъ назначаться для «аристократіи читающей публики»; она оказалась слишкомъ малочисленна. Книжки были слишкомъ однообразны; Бѣлинскій и его друзья хотѣли говорить только о томъ, что́ имъ нравилось и казалось важнымъ: философія искусства, Шекспиръ, Гёте, Гофманъ почти исчерпывали ихъ литературные интересы. Въ журналѣ почти не было русскихъ повѣстей, — кромѣ Кудрявцева. Имена сотрудниковъ, впослѣдствіи очень извѣстныхъ, въ то время никому не были извѣстны. Наконецъ, журналъ не имѣлъ средствъ, что бы выдерживать соперничество съ другими изданіями; напр. «Библіотека» платила авторамъ большой гонорарій, а сотрудники «Наблюдателя» работали изъ любви къ искусству; для привлеченія постороннихъ силъ редакція не имѣла средствъ. Но для извѣстной доли образованныхъ людей могла быть и та причина холодности, которую указываетъ Панаевъ. Люди того же поколѣнія, слоя и образованія, но не связанные предубѣжденіями кружка́, какъ Грановскій, Герценъ и проч., самымъ рѣшительнымъ образомъ не раздѣляли направленія «Наблюдателя»...

«Сотрудники видѣли, — продолжаетъ Панаевъ, — что дѣло не ладится, и охладѣли къ журналу. Бѣлинскій... совершенно упалъ духомъ. Между нимъ и нѣкоторыми изъ его друзей произошло недоразумѣніе: — съ однимъ изъ нихъ, Б., Бѣлинскій въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не видался; Константинъ Аксаковъ начиналъ съ нимъ внутренне расходиться, уже слишкомъ склоняясь къ славянофильству»... Катковъ началъ работать въ «Отеч. Запискахъ».

Къ этому присоединилось совершенное отсутствіе средствъ къ существованію у самого Бѣлинскаго... «Конечно, Бѣлинскій не могъ умереть съ голоду, — замѣчаетъ тотъ же разсказчикъ, — близкіе люди не допустили бы его до этого; но жить благодѣяніями—и еще при сознаніи своей силы и таланта, при увѣренности, что онъ могъ бы пріобрѣтать достаточно своими трудами,—не легко. Всякій дрянной фельетонистъ, съ нѣкоторымъ практическимъ тактомъ, былъ гораздо обезпеченнѣе Бѣлинскаго, живя только однимъ своимъ ремесломъ...

«Черезъ нѣсколько времени послѣ пріѣзда моего въ Москву,

Бѣлинскій уже объявилъ мнѣ, что «Наблюдатель» продолжаться не можетъ. Неуспѣхъ его онъ приписывалъ разнымъ причинамъ, — но онъ въ это время еще не подозрѣвалъ, что въ самомъ направленіи, которое онъ хотѣлъ придать журналу, заключалась невозможность его успѣха.

«Увлекшись толкованіями Бакунина Гегелевой философіи и знаменитою формулою, извлеченною изъ этой философіи, что «все дѣйствительное разумно»,—Бѣлинскій проповѣдывалъ о примиреніи въ жизни и искусствѣ... Онъ дошелъ до того (крайности были въ его натурѣ), что всякій общественный протестъ казался ему преступленіемъ, насиліемъ... Онъ съ презрѣніемъ отзывался о французскихъ энциклопедистахъ XVIII-го столѣтія, о критикахъ, не признававшихъ теоріи «искусства для искусства», о писателяхъ, стремившихся къ новой жизни, къ общественному обновленію. Онъ съ особеннымъ негодованіемъ и ожесточеніемъ отзывался о Жоржъ-Зандъ. Искусство составляло для него какой-то высшій, отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, занимающійся только вѣчными истинами и не имѣвшій никакой связи съ нашими житейскими дрязгами и мелочами, съ тѣмъ низшимъ міромъ, въ которомъ мы вращаемся. Истинными художниками почиталъ онъ только тѣхъ, которые творили *безсознательно*. Къ такимъ причислялись Гомеръ, Шекспиръ и Гете... Шиллеръ не подходилъ къ этому воззрѣнію, и Бѣлинскій, нѣкогда восторгавшійся имъ, охлаждался къ нему по мѣрѣ проникновенія своей новой теоріей. Въ Шиллерѣ не находилъ онъ того спокойствія, которое было непремѣннымъ условіемъ свободнаго творчества... Пушкинъ, къ великому впрочемъ сожалѣнію Бѣлинскаго и его друзей, также не совсѣмъ подходилъ подъ ихъ теорію, — въ немъ не отыскивался элементъ примиренія, и потому стихотворенія Клюшникова, въ которыхъ ясно выражался этотъ элементъ, были признаваемы хотя уступающими Пушкину по обработкѣ и формѣ, но несравненно болѣе глубокими по мысли [1])...

«Свѣтлый взглядъ Бѣлинскаго затуманивался болѣе и болѣе;

---

[1]) Нѣсколько далѣе Панаевъ замѣчаетъ тоже и о Лермонтовѣ. «Лермонтовъ съ своимъ демоническимъ и байроническимъ направленіемъ никакъ не покорялся этому новому воззрѣнію. Бѣлинскаго это ужасно мучило... Онъ видѣлъ, что начинающій поэтъ обнаруживаетъ громадныя поэтическія силы; каждое новое его стихотвореніе въ «Отеч. Записк.» приводило Бѣлинскаго въ экстазъ,—а между тѣмъ въ этихъ стихотвореніяхъ *примиренія* не было и тѣни! Лермонтова оправдывали, впрочемъ, тѣмъ, что онъ молодъ, что онъ только начинаетъ, нѣсколько успокоивались тѣмъ, что онъ владѣетъ всѣми данными для того, чтобы сдѣлаться со временемъ полнымъ, великимъ художникомъ и достигнуть вѣнца творчества—художественнаго спокойствія и объективности»...

врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теоріей; Бѣлинскій незамѣтно запутывался въ ея сѣтяхъ, которыя еще скрѣплялъ Бакунинъ. Его свободной, въ высшей степени гуманной природѣ тяжело, неловко, тѣсно и душно было такое рабское подчиненіе философскимъ формуламъ, въ которыхъ еще тревожно путался самъ Бакунинъ.

«Къ этому присоединились еще—неудача «Наблюдателя», долги, размолвки съ пріятелями. Я засталъ Бѣлинскаго (въ апрѣлѣ 1839) въ напряженномъ лихорадочномъ состояніи, которое я не могъ не замѣтить, но приписывалъ это только его стѣсненному положенію»...

Выходъ изъ этого положенія Бѣлинскій нашелъ уже въ Петербургѣ.

Когда Бѣлинскій окончательно бросилъ «Наблюдателя», съ этимъ прекратились главныя, а можетъ быть тогда и единственныя средства его къ существованію. На учительскомъ мѣстѣ въ межевомъ институтѣ онъ остался, кажется, не долго; онъ давалъ частные уроки, напр. у Л-выхъ [1]); но повидимому, эти занятія были ему слишкомъ не по характеру, и онъ не могъ надолго ихъ выдерживать.

Ему нужна была работа литературная; онъ искалъ ея въ петербургскихъ изданіяхъ, и еще изъ Москвы началъ писать для «Отеч. Записокъ» и «Литературныхъ Прибавленій».

Панаевъ разсказываетъ, что издатель этихъ журналовъ сначала не былъ расположенъ принять сотрудничество Бѣлинскаго. У него былъ свой критикъ, Межевичъ, нѣкогда работавшій отчасти въ «Молвѣ» и «Телескопѣ», и выписанный имъ въ Петербургъ. Но Межевичъ (котораго Бѣлинскій очень зналъ и считалъ человѣкомъ безталаннымъ) повидимому скоро сталъ и самому редактору казаться неспособнымъ къ предположенной для него роли, и Бѣлинскій

---

[1]) Въ домѣ Л-выхъ Бѣлинскій въ первый разъ познакомился съ П. Я. Чаадаевымъ (онъ говоритъ объ этомъ въ письмѣ 10 сент. 1838). Въ письмахъ его мы не встрѣчали ни отзывовъ о личности Чаадаева, ни упоминанія о знаменитой статьѣ въ «Телескопѣ». Только въ письмѣ 12 октября 1838 есть такая замѣтка: «Въ 8 № «Наблюдателя», въ статьѣ «Петровскій театръ» (см. ч. XVII, стр. 554; Сочин. II, стр. 613), у меня есть выходка противъ людей, которые во французскомъ языкѣ не уступаютъ французамъ, а русской орѳографіи не знаютъ. Чаадаевъ принялъ ее на свой счетъ и взбѣсился. Теперь самому стыдно стало.»

Повидимому, они не были близки, и Чаадаевъ не производилъ на Бѣлинскаго того впечатлѣнія, какое онъ производилъ на Герцена. И это было бы понятно: въ тогдашнемъ настроеніи Бѣлинскаго, отрицательная точка зрѣнія Чаадаева могла вовсе не интересовать его.

являлся человѣкомъ необходимымъ. Панаевъ, по его словамъ, въ каждомъ письмѣ къ издателю «Отеч. Зап.», говорилъ что-нибудь о кружкѣ Бѣлинскаго, и, наконецъ, написалъ ему, что Бѣлинскій предлагаетъ свое сотрудничество, что недурно было бы перепечатать въ «Отеч. Зап.» статью Бѣлинскаго о «Сынѣ Отечества» Полевого, что, наконецъ, онъ предлагаетъ статью о Менцелѣ. На это былъ полученъ утвердительный отвѣтъ—сотрудничество Бѣлинскаго принималось съ радостью [1]). Это письмо, по словамъ Панаева, произвело на Бѣлинскаго очень благопріятное впечатлѣніе. Онъ повеселѣлъ. Перемѣна жизни улыбалась ему. Къ іюлю 1839 переселеніе Бѣлинскаго въ Петербургъ было рѣшено.

Отъ 5 іюля Бѣлинскій пишетъ къ редактору «Отеч. Записокъ» и «Литер. Прибавленій». Онъ заявляетъ готовность работать въ обоихъ журналахъ, обѣщаетъ статью о Менцелѣ, о «Горѣ отъ ума», и «похвальное слово» своему «другу» Полевому. Денежныя условія своей работы онъ вполнѣ предоставлялъ самому редактору, въ увѣренности, что послѣдній «не поставитъ его ниже другихъ» и «будетъ руководствоваться однажды принятымъ имъ правиломъ по этому предмету».

Приготовляя большія статьи, Бѣлинскій началъ писать и разборы для «Отеч. Записокъ» и «Литер. Прибавленій». Въ Москвѣ уже были сотрудники этихъ изданій. Отчеты о книгахъ, выходившихъ въ Москвѣ, доставлялъ А. Д. Галаховъ, раздѣлявшій этотъ трудъ съ Катковымъ. Теперь Бѣлинскій также взялся за эту работу, и такимъ образомъ сотрудничество Бѣлинскаго въ двухъ упомянутыхъ изданіяхъ началось со второй половины 1839 года [2]).

[1]) Письмо Краевскаго къ Панаеву, 20 іюня 1839. Подробности этого дѣла, съ комментаріями Панаева, см. въ самыхъ «Воспоминаніяхъ», «Соврем.» 1861, № 2, стр. 651, 655.

[2]) Новыя выходящія въ Москвѣ книги Галаховъ собиралъ разъ или два въ мѣсяцъ, и дѣлилъ ихъ на три доли по числу сотрудниковъ. Каждый писалъ частію въ «Отеч. Записки», частію въ «Литер. Прибавленія», чередуясь такъ, чтобы писавшій въ одно изданіе о книгѣ, могъ не писать о ней въ другое. Реестры книгъ, составлявшіеся на этотъ случай А. Д. Галаховымъ, сохранились у него, и между прочимъ помогли отыскать статьи Бѣлинскаго для новѣйшаго изданія его сочиненій. «Литер. Прибавленія» 1839 издавались еженедѣльно, и дѣлились на два полугодія или тома. Сотрудничество Бѣлинскаго началось со 2-го полугодія; первые библіографическіе отчеты его начинаются съ № 6 «Новѣйшій дѣтскій Робинзонъ» и проч. Соч. Бѣл., 2-е изд., т. III, стр. 139 и списокъ книгъ, отзывы о которыхъ не вошли въ изданіе, стр. 657) и кончаются по литературной хроникѣ нумеромъ 21, отчетомъ о книгѣ «Наказанное преступленіе», а по театральной лѣтописи № 10, о бенефисѣ Орловой (Соч. III, 155). Послѣ того, въ № 21, 24 и 26 идутъ отчеты о представленіяхъ на Александринскомъ театрѣ, подъ за-

Въ письмѣ отъ 19 августа къ редактору «Отеч. Записокъ» Бѣлинскій опять говоритъ о предположенныхъ работахъ (статьи: «Менцель» и «Горе отъ ума») и извѣщаетъ о своихъ сборахъ въ Петербургъ, куда онъ думалъ пріѣхать въ концѣ октября съ Панаевымъ. Онъ дѣлаетъ свои замѣчанія и объ «Отеч. Запискахъ», которыя вообще ему нравились: онъ очень хвалитъ статью Каткова о русскихъ народныхъ пѣсняхъ, — эта статья казалась ему не совсѣмъ удовлетворительной по формѣ и растянутой, но очень богатой по содержанію [1]).

«Панъ Халявскій [извѣстная въ свое время повѣсть Основьяненка, напечатанная тогда въ «Отеч. Зап.»] для перваго чтенія потѣшенъ и забавенъ, но при второмъ чтеніи съ него немного тошнитъ. Это не творчество, а штучная работа, сборъ анекдотовъ... Впрочемъ, для журнала «Халявскій» — кладъ, онъ найдетъ себѣ больше читателей и хвалителей, чѣмъ *творческія* произведенія Гоголя.

«Бога ради,... восклицаетъ дальше Бѣлинскій: — какими судьбами попала въ «Отеч. Записки» гнусная статья пошляка, педанта и школяра Давыдова?.. Извините за откровенность, но во мнѣ кровь заговорила. «Отеч. Зап.» журналъ теперь единственный въ Россіи по внутреннему достоинству: зачѣмъ же пятнать его такими нечистотами [2]). Что моя статья о Полевомъ? Боюсь, что не пропущена: Благодарю васъ за перепечатку моей статьи изъ «Наблюдателя»: — еще въ первый разъ меня будетъ читать большая публика».

Черезъ нѣсколько дней (24 августа) Бѣлинскій писалъ снова къ редактору «Отеч. Записокъ», посылалъ ему тетрадь рецензій и опять говоритъ о журналѣ, который ему все больше нравится:

«Теперь перелистываю 8 № «О. З.» Повѣсти Корфа боюсь, а прочту. Стихотвореніе Лермонтова «Три Пальмы» чудесно, божественно. Боже мой! Какой роскошный талантъ! Право, въ немъ таится что-то великое. Переводъ Аксакова изъ «Фауста» на *этотъ* разъ прекрасенъ. Пѣсни народныя интересны. Современная библіографическая хроника *вся*, отъ первой до послѣдней страницы, жива и интересна. Ученыя и по части искусствъ статьи, смѣсь—все это возбуждаетъ живѣйшее любопытство однимъ уже оглавленіемъ. Славный №! Славный вашъ журналъ, дай ему Богъ здоровья! № 8 «О. З.» и 6 № «С. О.» («Сына Отечества», Полевого)—Боже мой, какая чудовищная разница».

главіемъ: «Изъ письма москвича» (Соч., III, 168 — 204), написанные уже въ Петербургѣ.

[1]) «Пѣсни рус. народа, Сахарова» — двѣ критическія, не подписанныя статьи въ 6—7 книгахъ «От. Записокъ» 1839.

[2]) Статья «О возможности эстетической критики», И. И. Давыдова, «От. Зап.» 1839, т. IV, стр. 153—162.

Бѣлинскій былъ исполненъ благими ожиданіями: журналъ, въ который онъ вступалъ, ему нравился; онъ былъ увѣренъ, что̀ какъ нельзя лучше поладитъ и съ самой редакціей [1])...

Отъ того же 19 августа онъ писалъ Панаеву, въ казанскую деревню, длинное письмо, гдѣ разсказывалъ о своихъ дѣлахъ, которыя опять были въ крайнемъ разстройствѣ,—къ безденежью присоединилась болѣзнь. Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ Панаева: «признаюсь, почему-то и съ Москвою мнѣ ужъ поскорѣе хотѣлось бы раздѣлаться».

Приводимъ изъ этого письма подробности о томъ, что̀ дѣлалось внутри кружка̀—тамъ все шло еще въ прежнемъ направленіи:

«Я помирился съ Боткинымъ и К., между нами все опять по прежнему, какъ будто ничего не было. Да, все по прежнему, кромѣ прежнихъ пошлостей. Сперва я сошелся съ Боткинымъ и безъ всякихъ объясненій, прекраснодушныхъ и экстатическихъ выходокъ и порывовъ, но благоразумно, хладнокровно, хотя и тепло, а слѣд. и *дѣйствительно*. Теперь вижу ясно, что ссора была необходима, какъ бываетъ необходима гроза для очищенія воздуха: эта ссора уничтожила бездну прошлаго въ нашихъ отношеніяхъ. Причины ссоры нѣсколько вамъ извѣстныя, были только предлогомъ, а истинныя и внутреннія причины только теперь обозначались и стали ясны. Боткинъ много былъ виноватъ передо мною, но и я въ этомъ случаѣ не уступлю ему... Я радъ безъ памяти, что наши дрязги кончились, и что вы таки увидите *насъ* такъ, какъ хотѣли, и думали увидѣть насъ, когда отправлялись изъ Питера въ Москву.

«К. Аксаковъ со мной какъ нельзя лучше. Его участіе ко мнѣ иногда трогаетъ меня до слезъ. Не возможно быть расположеннѣе и деликатнѣе, какъ онъ со мною. Славный, чудный человѣкъ! Но молодъ такъ, что даже К. годится ему въ дѣдушки. Въ немъ есть все — и сила, и энергія и глубокость духа, но въ немъ есть одинъ недостатокъ, который меня глубоко огорчаетъ. Это—не прекраснодушіе, которое пройдетъ съ лѣтами, но какой-то *китайскій* элементъ, который примѣшался къ прекраснымъ элементамъ его духа. Коли онъ во что засядетъ, такъ, во-первыхъ, засядетъ по уши, а во-вторыхъ — во сто лѣтъ не вытащите вы его и за уши изъ того ощущеньица или того понятьица, которое отъ праздности забредетъ въ его, впрочемъ, необыкновенно умную голову. Вотъ и теперь сидитъ онъ въ глупой мысли, что Гёте (далеко кулику до Петрова дня!) выше Шекспира. Но пока онъ сидѣлъ да посиживалъ въ этой мысли, если только нелѣпость можно назвать мыслію, случилось происшествіе, отъ котораго на лицѣ Аксакова совершилось

---

[1]) Въ обоихъ письмахъ отъ августа онъ спрашиваетъ, что̀ дѣлается съ его статьей о Полевомъ. «Трепещу за участь моей статьи о Полевомъ. Я писалъ ее долго и съ задоромъ, одна переписка замучила меня: досадно будетъ, если не пропустятъ, или слишкомъ исказятъ». Онъ проситъ тотчасъ извѣстить его о судьбѣ этой статьи.

страшное aplatissement, ибо это происшествіе накормило его грязью, какъ говорятъ безмозглые персіяне. Грязь эту раздѣлили съ нимъ Ба... и Боткинъ.

Еще давно, прошлою осенью, узнавши нѣчто изъ содержанія 2-й части «Фауста», я съ свойственной мнѣ откровенностію и громогласностію провозгласилъ, что оная 2-я ч. не поэзія, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика. Сперва на меня смотрѣли какъ на богохульника, а потомъ какъ на безумца, который вретъ что ему взбредетъ въ праздную голову. *Новое* поколѣніе гегелистовъ основало журналъ въ pendant къ берлинскому Jahrbücher, основанному Гегелемъ—Hallische Jahrbücher, и въ этомъ журналѣ появилась статья нѣкоего *гегелиста* Фишера [1]) о Гете, въ которой онъ доказываетъ, что 2-я часть «Фауста» мертвая, пошлая символистика, а не поэзія, но что 1-я ч.—великое произведеніе, хотя и въ ней есть непонятныя, а потому и непоэтическія мѣста, ибо (это же самое говорилъ и *я*) поэзія доступна непосредственному эстетическому чувству и отнюдь не требуется для уразумѣнія художественныхъ произведеній посвященія въ таинства философіи, и что все непонятное въ ней принадлежитъ къ области символизма и аллегоріи. Фишеръ разбираетъ всѣ разборы «Фауста» и нещадно издѣвается надъ ними; достается отъ него и *первому* поколѣнію гегелистовъ, которые, говоритъ, ослѣпленные яркимъ свѣтомъ гегелевой философіи, пустились сгоряча все подводить подъ нее, и во 2-й ч. «Фауста» особенно мнили видѣть полное осуществленіе системы Гегеля въ сферѣ искусства. Больше всѣхъ срѣзался Марбахъ, который, въ своей дѣйствительно прекрасной *популярной* книгѣ, напоролъ о 2-й ч. «Фауста» такой дичи, что Боткинъ прекрасно переведшій изъ нея большой отрывокъ, ничего не понялъ, и когда хотѣлъ помѣстить этотъ отрывокъ въ «Наблюдателѣ», то принужденъ былъ вычеркнуть большую часть того, что сказано тамъ о 2-й ч. «Фауста», которую Марбахъ называетъ «книгою съ семью печатями» для непосвященныхъ. Каково срѣзались ребята-то? И каковъ я молодецъ!..

«Въ этомъ же Hallische Jahrbücher есть статья о Данте, въ которой доказывается, что сей мужъ совсѣмъ не поэтъ, а его Divina Comedia—просто символистика. Я тоже и давно думалъ и говорилъ, ну и послѣ этого вы еще не станете на колѣни передъ моимъ эстетическимъ геніемъ?..

«...Да, славное дитя Константинъ (Аксаковъ); жаль только, что движенія въ немъ маловато. Я и теперь почти каждый день разсчитываюсь съ какимъ-нибудь своимъ прежнимъ убѣжденіемъ и постукиваю его, а прежде такъ у меня — что ни день, то новое убѣжденіе. Вотъ ужъ не въ моей натурѣ засѣсть въ какое-нибудь узенькое опредѣленьице и блаженствовать въ немъ. Кстати, послѣ статей о 2-й части «Фауста» и Данте, я сталъ еще упрямѣе, и теперь мнѣ пусть лучше и не говорятъ о драмахъ Шиллера: я давно уже узналъ, что онѣ слабоваты. Пушкинъ меня съ ума сводитъ.

[1]) Фишеръ, какъ авторитетный эстетикъ, названъ и въ упомянутомъ выше предисловіи къ переводу Рётшера въ «Наблюдателѣ».

Какой великій геній, какая поэтическая натура! Да, онъ не могъ по своей натурѣ написать ничего въ родѣ 2-й части «Фауста». Я обѣщалъ Владиславлеву въ альманахъ статью о «Каменномъ гостѣ» въ формѣ письма къ другу. Хочется попытаться на нѣчто похожее на философскую критику à la Ретшеръ. У меня теперь три бога искусства, отъ которыхъ я почти каждый день неистовствую и свирѣпствую: Гомеръ, Шекспиръ и Пушкинъ...

«Въ «Литер. Прибавленіяхъ» перепечатана моя статья о Полевомъ, а новая еще не напечатана».

Панаевъ воротился изъ деревни въ Москву осенью. По словамъ его, онъ также нашелъ, что недоразумѣнія между друзьями прекратились; но, судя по письмамъ, съ которыми мы познакомимся далѣе, только по переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ между ними вполнѣ возстановилась прежняя тѣсная дружеская связь.

По словамъ Панаева, вопросъ о переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ былъ рѣшенъ такимъ образомъ. Бѣлинскій принялъ условія Краевскаго: послѣдній долженъ былъ выслать ему къ осени незначительную сумму на уплату долговъ и на отъѣздъ, и обязался платить ему 3500 р. асс. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы Бѣлинскій принялъ на себя весь критическій и библіографическій отдѣлъ «Отеч. Записокъ».

Съ Бѣлинскимъ въ «Отеч. Записки» окончательно перешелъ весь кружокъ московскихъ друзей. Катковъ еще раньше началъ работать въ этомъ журналѣ; теперь сталъ посылать свои статьи Боткинъ; К. Аксаковъ печаталъ свои стихотворенія; тамъ же явились Клюшниковъ, Красовъ, Кетчеръ, наконецъ и Бакунинъ.

«Бѣлинскаго я засталъ (по возвращеніи въ Москву въ октябрѣ) — пишетъ Панаевъ — въ очень хорошемъ расположеніи духа... Близость отъѣзда изъ Москвы и предстоящая перемѣна жизни оживляла его. Изъ всѣхъ друзей его только одинъ Константинъ Аксаковъ смотрѣлъ на него съ грустью, сожалѣніемъ и отчасти съ досадою. Онъ не понималъ, какъ москвичъ можетъ равнодушно оставлять Москву»...

Незадолго передъ отъѣздомъ, Бѣлинскій получилъ вѣсти отъ Кольцова, которому писалъ о своемъ намѣреніи переселиться въ Петербургъ. Къ сожалѣнію, и здѣсь мы не имѣемъ писемъ Бѣлинскаго, на которыя отвѣчалъ Кольцовъ.

Въ письмѣ отъ 28 сентября 1839, Кольцовъ винится, что долго не писалъ къ Бѣлинскому, и особенно, что не отвѣчалъ на его письмо: «и какое! — вмигъ хотѣлъ, по прочтеніи его, переселиться къ вамъ весь»; но дѣла, опротивѣвшія ему до послѣдней степени,

не давали ему вздохнуть. «Да, В. Г., вы совершеннѣйшій колдунъ», говоритъ онъ, желая сказать, что Бѣлинскій угадалъ его душевное состояніе и далъ ему то, въ чемъ онъ именно нуждался. Передъ этимъ временемъ умеръ другъ Кольцова, Серебрянскій, съ которымъ они «вмѣстѣ росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили»; смерть Серебрянскаго порвала стремленія, мечты, надежды, которыя питали они вмѣстѣ, лишила Кольцова единственнаго друга, котораго онъ имѣлъ подлѣ себя. «Вотъ почему онѣмѣлъ я было совсѣмъ, и всему хотѣлъ сказать прощай, если бы не вы, я все бы потерялъ навсегда... Не поддержите вы меня въ Москвѣ, и я бы ни одной строки не состряпалъ. Но я все сомнѣвался, захотите ли вы меня держать на помочахъ, или нѣтъ; сами знаете, вѣдь объ этомъ нельзя ни умолить, ни упросить, когда душѣ не хочется... И вотъ ваше письмо меня совершенно обрадовало. Здѣсь вы пророчески узнали мою потребность, чего я ждалъ отъ васъ долго молча. И, слава Богу, дождался наконецъ. Я весь вашъ, весь и навсегда»...

Очевидно, что письма Бѣлинскаго, вызывавшія эти порывы чувства, должны были заключать въ себѣ много любви и увлекающаго убѣжденія... Бѣлинскій между прочимъ писалъ ему о своихъ дѣлахъ, о прекращеніи «Моск. Наблюдателя», о предстоящемъ переѣздѣ своемъ въ Петербургъ. Кольцовъ этимъ послѣднимъ извѣстіемъ очень доволенъ; онъ «радъ до смерти», что Бѣлинскій сошелся съ Панаевымъ, знакомымъ Кольцову еще по Петербургу, радъ, что они будутъ работать въ новомъ журналѣ... Затѣмъ онъ разсуждаетъ о Петербургѣ: «Въ Петербургъ вы ѣдете — не только это хорошо, но вамъ нужно тамъ быть. Пусть онъ, на первый разъ, васъ не очень ласково приметъ, пусть многіе будутъ смотрѣть на васъ презрительно, пусть многіе будутъ говорить и то, и се—Богъ съ ними; ничего не сдѣлаютъ... Пусть отуманятъ утро, а оно все-таки разведрится опять, и солнышко засвѣтитъ въ немъ роскошнѣй прежняго... Они бы рады сдѣлать и больше, да вы не дадитесь. И самый Петербургъ, Эрмитажъ, Нева и море стоятъ любопытства; затѣмъ. нужно бы и путешествіе — въ Германію и въ Италію»... Кольцовъ радъ и не радъ смерти «Наблюдателя»: первое потому, что онъ слишкомъ мучилъ Бѣлинскаго; второе—«потому что В. П. (Боткинъ), кажется, могъ бы здѣсь поступить иначе», т.-е. поддержать журналъ. Ему жаль, наконецъ, что онъ уже не найдетъ въ Москвѣ Бѣлинскаго: «пріѣду, васъ не найду, и скучно будетъ мнѣ въ ней жить; а къ вамъ-то и рвалась душа моя. Но отъ всей души дай Богъ вамъ добрый путь на дѣло доброе и великое».

Говоря въ томъ же письмѣ о своихъ стихотвореніяхъ, о томъ, что намѣренъ прислать непремѣнно нѣсколько пьесъ въ альманахъ

который Бѣлинскій (какъ выше упомянуто въ одномъ изъ писемъ къ Панаеву) собирался въ это время издать, Кольцовъ дѣлаетъ признаніе, которое даетъ любопытную и трогательную черту его личнаго и поэтическаго характера... «Скоро пришлю. И ужъ кой-что хочется написать; а если угодно вамъ спросить, почему мало,— трудно отвѣчать, и отвѣтъ смѣшной [1]): не потому, что некогда, что дѣла мои были дурны, что я былъ все разстроенъ; но вся причина—эта суша [2]), это безвременье нашего края, настоящій и будущій голодъ. Все это какъ-то ужасно имѣло нынѣшнее лѣто на меня большое вліяніе, или потому, что мой бытъ и выгоды тѣсно связаны съ внѣшней природой всего народа. Куда ни глянешь — вездѣ унылыя лица; поля, горѣлыя степи наводятъ на душу унынье и печаль, и душа не въ состояніи ничего ни мыслить, ни думать. Какая рѣзкая перемѣна во всемъ! Напримѣръ: и теперь поютъ русскія пѣсни тѣ же люди, что пѣли прежде, тѣ же пѣсни, такъ же поютъ, напѣвъ одинъ,—а какая въ нихъ, — не говоря уже грусть, онѣ всѣ грустны,—а какая болѣзнь, слабость... Разгульная энергія, сила, могучесть будто въ нихъ никогда не бывали. Я думаю, въ той же душѣ, на томъ же инструментѣ, на которомъ народъ выражался широко и сильно, при другихъ обстоятельствахъ можетъ выражаться слабо и бездушно [3]). Особенно въ пѣснѣ это замѣтно. Въ ней, кромѣ ея собственной души, есть еще душа народа въ его настоящемъ моментѣ жизни».

Кольцовъ послалъ Бѣлинскому стихотворенія своего друга Серебрянскаго, котораго считалъ и талантливымъ поэтомъ, — чего вовсе не думалъ Бѣлинскій: «Нетерпѣливо жду услышать о стихахъ Серебрянскаго. Ужели онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ плохой поэтъ». Рядомъ съ этимъ, онъ недоумѣваетъ, почему Бѣлинскій восхвалялъ «Флейту» Кудрявцева, о которой точно также недоумѣвалъ и Станкевичъ. «Да разскажите, Бога ради, почему *Флейта* хороша; два раза читалъ, не понялъ; а хорошаго не понимать весьма худо». Самъ Бѣлинскій только послѣ увидѣлъ, что эта повѣсть дѣйствительно не такое совершенство, какъ ему казалось.

Мы возвратимся дальше къ этой перепискѣ. Кольцовъ еще разъ увидѣлся съ Бѣлинскимъ уже въ Петербургѣ.

Наконецъ, послѣднія извѣстія о жизни Бѣлинскаго въ средѣ московскаго кружка и объ его внутренней исторіи, мы находимъ

[1]) Т.-е. другимъ онъ, пожалуй, покажется смѣшнымъ.
[2]) Засуха.
[3]) Безжизненно, вяло.

въ нѣсколькихъ письмахъ Бѣлинскаго къ отсутствовавшему другу и учителю...

Бѣлинскій уже больше не видалъ Станкевича. Изъ ихъ переписки (съ отъѣзда послѣдняго) намъ извѣстны только два отрывочныя письма Станкевича (касающіяся его тогдашней сердечной исторіи), и четыре письма къ нему Бѣлинскаго, съ октября 1838 до сентября 1839. Послѣднее письмо, очень длинное, не имѣетъ окончанія.

Письмо отъ октября 1838 г. посвящено печальной обязанности. Бѣлинскій извѣщаетъ Станкевича о смерти особы, которая была одно время предметомъ увлеченія Станкевича; потомъ, когда съ его стороны чувство охладѣло, а съ другой стороны сохранялось, эти отношенія, усложнившіяся позже еще болѣе, оставались для Станкевича тягостнымъ испытаніемъ, и, по мнѣнію друзей кружка, заключали въ себѣ какъ бы извѣстный упрекъ. Самъ Бѣлинскій былъ преисполненъ восторженнымъ поклоненіемъ этой дѣвушкѣ, и ея смерть (въ августѣ 1838 г.), кромѣ этого письма къ Станкевичу, внушила ему еще письмо къ одному изъ друзей, проникнутое глубоко возбужденнымъ чувствомъ и поэтической скорбью. Въ письмѣ къ Станкевичу, Бѣлинскій исполняетъ «тяжелый долгъ», потому что «кромѣ его, этого сдѣлать некому», — т.-е. никто изъ друзей не зналъ этихъ отношеній такъ близко, какъ Бѣлинскій, хотя всѣ знали, что для Станкевича это извѣстіе будетъ слишкомъ тяжело.

Личныя отношенія Бѣлинскаго къ Станкевичу нѣсколько спутались въ то время, когда они видѣлись въ послѣдній разъ. Бѣлинскій былъ въ мрачномъ и тяжеломъ «распаденіи», когда Станкевичъ уѣзжалъ за-границу. Бѣлинскій, по его словамъ, холодно простился съ нимъ, за что послѣ строго осудилъ себя, и, начиная теперь письмо къ нему, прежде всего объясняетъ свое собственное состояніе (къ концу 1838). ...«Я былъ въ себѣ, въ своихъ личныхъ интересахъ, своихъ радостяхъ, своихъ страданіяхъ, я пережилъ великую эпоху моей жизни, получилъ отъ судьбы самый важный урокъ»... Бѣлинскій винитъ себя, что становился въ фальшивое положеніе относительно Станкевича — осуждалъ его, брался его поучать; и приписываетъ это чуждому вліянію, отъ котораго теперь освободился: «это обыкновенное слѣдствіе добровольнаго отреченія отъ своей сущности, своей самостоятельности, по причинѣ разныхъ философскихъ вліяній. Кто пляшетъ подъ чужую дудку, тотъ всегда дуракъ. Прости, братъ,—это послѣдняя глупость». Онъ сообщаетъ Станкевичу о своемъ окончательномъ разрывѣ съ тѣмъ другомъ, который былъ въ эти послѣдніе годы его главнѣйшимъ руководителемъ въ философіи: Бѣлинскій открываетъ теперь, что ихъ дружба

«была призракъ, потому что не выработалась изъ жизни, а вышла изъ отвлеченныхъ понятій объ *общемъ*». Въ себѣ самомъ, онъ указываетъ великую перемѣну: «я, наконецъ, понялъ, что ты называешь (и такъ давно называлъ) *простотою* и *нормальностію*». Станкевичъ, по его словамъ, былъ идеаленъ такъ же, какъ и они всѣ, но всегда носилъ сознаніе пошлой идеальности и живую потребность выхода въ простую нормальную дѣйствительность,—Бѣлинскій (какъ онъ думалъ) приходилъ къ этому только теперь.

Получивъ отвѣтъ Станкевича, Бѣлинскій, 8 ноября 1838, снова пишетъ ему. Письмо любопытно новыми выраженіями того настроенія, въ какомъ онъ теперь находился. Станкевичъ сообщалъ ему, что печаль о смерти упомянутой особы раздѣлилъ съ нимъ и Вердеръ, тотъ берлинскій профессоръ, съ которымъ Станкевичъ изучалъ тогда философію Гегеля и съ которымъ былъ въ очень дружескихъ отношеніяхъ. Самъ Вердеръ былъ идеалистъ въ томъ же разумно-примирительномъ и чувствительномъ родѣ, какъ московскіе друзья,—для нихъ онъ былъ авторитетъ,—и сочувствіе съ его стороны тѣмъ больше произвело впечатлѣнія на Бѣлинскаго:

«Если бы ты зналъ, какъ подѣйствовали на меня слова Вердера, переданныя тобою въ письмѣ. Какъ глубоко понялъ я ихъ! Новый свѣтъ, новое откровеніе озарило меня при чтеніи ихъ. Вотъ *такую* философію я уважаю, хоть и никогда философомъ не буду. Она не отрицаетъ мистическихъ вѣрованій сердца, но разумомъ оправдываетъ ихъ, она не превращаетъ жизни въ сухое понятіе, въ мертвый скелетъ. Меня напугали философіею, во имя ея меня хотѣли увѣрить, что я пошлякъ, ничтожный человѣкъ, потому только, что моя кровь горяча, а сердце требуетъ любви и сочувствія. И я повѣрилъ добродушно. Но... (теперь)... я узналъ, что или философія вздоръ, или ее не понимаютъ. Разумѣется, философія отстояла себя въ душѣ моей, а нѣкоторые авторитеты шлепнулись [1]). Теперь дышу свободнѣе. Слова Вердера озарили меня еще больше и еще болѣе утвердили мою вѣру въ философію. Какой это долженъ быть человѣкъ! И какъ много должно значить его участіе къ тебѣ! «Въ ея письмахъ [2]),—говорилъ онъ,—вѣялъ ему духъ другой жизни»;—не умѣю объяснить тебѣ, что вѣетъ мнѣ въ этихъ словахъ: тутъ и мысль глубокая, и музыка, и поэтическій образъ. Есть же на свѣтѣ такіе люди, которые однимъ выраженіемъ умѣютъ передать весь благоухающій букетъ своей непосредственности, всю сущность свою. Вердеръ для меня теперь не понятіе, но живой образъ... Чудный, святой человѣкъ! О, если-бы я узналъ еще, что онъ съ грустцою

---

[1]) Бѣлинскій разумѣетъ авторитеты кружка (особенно Бакунина), которымъ до своихъ споровъ о «простотѣ» и «дѣйствительности» онъ вполнѣ подчинялся.

[2]) Т.-е. въ письмахъ упомянутой особы къ Станкевичу, который теперь, вѣроятно, говорилъ о нихъ Вердеру.

отъ какихъ-нибудь воспоминаній, сердечныхъ мистерій, что міръ Божій хотя и такъ хорошъ для него, что онъ не находитъ въ немъ ничего, чтó бы требовало его поправки, а между тѣмъ *собственно для себя* желалъ бы поправить что-нибудь, въ то же время сознавая разумную необходимость всего и такъ, какъ оно есть... Прекраснодушіе! Но къ чему философскія маски: — будь всякій тѣмъ, чтó есть»...

Любопытно наблюдать, здѣсь, и во многихъ другихъ случаяхъ, какъ въ пору наибольшей «примирительности», наибольшихъ стараній отыскать и утвердить полное согласіе дѣйствительности съ разумомъ, у Бѣлинскаго тѣмъ не менѣе проходитъ черта совсѣмъ иного рода, въ которой можно уже угадывать позднѣйшій его выходъ изъ этой точки зрѣнія. Онъ вѣритъ въ разумную дѣйствительность, но ему все-таки нужны какія-то оговорки, изъ которыхъ видно, что его непосредственное чувство возставало въ немъ противъ философскихъ отвлеченностей. Бѣлинскій и здѣсь говоритъ опять о своемъ освобожденіи отъ идеальности; считаетъ, что съ весны 1838 г. «пробудился къ новой жизни», рѣшилъ, что онъ— «самъ по себѣ»; но очевидно, что онъ и теперь остается въ самой явной «идеальности», что «простота» и настоящая «дѣйствительность» еще далеки отъ него: онъ все еще чего-то ищетъ.

Слѣдуетъ разсказъ объ его тогдашнемъ разрывѣ съ Бакунинымъ.

«Съ Мишелемъ я разстался. Чудесный человѣкъ, глубокая, самобытная, львиная природа—этого у него нельзя отнять; но его претензіи... дѣлаютъ невозможнымъ дружбу съ нимъ. Онъ любитъ идеи, а не людей, хочетъ властвовать своимъ авторитетомъ, а не любить. Съ весны я пробудился для новой жизни, рѣшилъ, что каковъ бы я ни былъ, но я — *самъ по себѣ,* что ругать себя и кланяться другимъ на свой счетъ—глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога въ жизни и пр. Ему это крайне не понравилось, и онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что во мнѣ самостоятельность, сила, и что на мнѣ верхомъ ѣздить опасно — сшибу, да еще копытомъ лягну. Началась борьба — перепискою. Онъ былъ израненъ, выслушалъ горькія истины, выраженныя энергическимъ языкомъ. Примирился. Послѣ этого-то я былъ въ Прямухинѣ [1]). Послѣ опять война. Онъ опять съ миромъ, а я пишу ему, что прекраснодушныя и идеальныя комедіи мнѣ надоѣли. Споръ о простотѣ игралъ тутъ важную роль. Я ему говорилъ, что о Богѣ, объ искусствѣ можно разсуждать съ философской точки зрѣнія, но о достоинствѣ холодной телятины должно говорить просто. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что бунтъ противъ идеальности есть бунтъ противъ Бога, что я погибаю, дѣлаюсь добрымъ малымъ въ смыслѣ bon vivant et bon camarade и пр. А я

[1]) Во второй разъ: это было лѣтомъ, кажется въ іюлѣ 1838.

только хочу бросить претензіи быть великимъ человѣкомъ, а хочу со всѣми быть какъ всѣ. Но это тебѣ непонятно. Я изложу тебѣ подробно всю кампанію, пришлю даже планы сраженій. Ты услышишь чудеса. Пока скажу немножко»...

Бѣлинскій разсказываетъ, что даже въ томъ женскомъ молодомъ кругу, который увлекалъ ихъ идеальной женственностью, прежняя поэтическая непосредственность смѣнилась отвлеченными толкованіями.

«Да, Николай, простое, живое чувство, задушевность, преданность человѣческимъ интересамъ *тамъ* уже не много значатъ и мало цѣнятся: *тамъ* требуютъ мысли, знанія и вздыхаютъ о мысли и знаніи, безъ которыхъ (для нихъ!!!) нѣтъ любви, нѣтъ жизни. Я Мишенькѣ все и росписалъ откровенно и энергически; онъ взбѣсился и прислалъ мнѣ въ отвѣтъ анаѳему, я не струсилъ и повелъ дѣло такъ, что онъ растерялся, сталъ противорѣчить себѣ и просить мира. Дѣйствительность вытанцовалась [1]) и колотитъ его нещадно. Ото всѣхъ, даже отъ Петра Клюшникова, онъ услышалъ тоже, чтó отъ меня. Богъ съ нимъ. А я тебѣ все подробно изложу, ты вѣдь любишь прочесть иногда что-нибудь забавное. Это будетъ поэма, въ которой побивается Улиссъ самымъ нехитрымъ (но здоровымъ) витяземъ».

Представленія объ искусствѣ продолжали развиваться. Въ томъ же письмѣ находимъ слѣдующее замѣчаніе:

«Помнишь ли, Н., мои дикіе вопли противъ скульптуры и вообще греческаго искусства? Порадуйся—я поумнѣлъ. Новый свѣтъ озарилъ меня, и греки предстали мнѣ въ лучезарномъ блескѣ, какъ народъ, который бóльше евреевъ имѣетъ права на названіе божьяго народа. Скульптура для меня теперь—божественное искусство. Съ Шиллеромъ я совсѣмъ разссорился. Богъ съ нимъ — потѣшился онъ надо мною, а теперь я не подъ закономъ, а подъ благодатію. Женщинъ его очень не жалую. Вообще, какъ поэтъ—онъ потерялъ для меня всякое значеніе. Можетъ быть, тутъ проявляется дикость моей натуры,—такъ и быть: буду самъ по себѣ».

Онъ проситъ благодарить Грановскаго за письмо. Грановскій писалъ ему, что, быть можетъ, пришлетъ что-нибудь для «Наблюдателя». Бѣлинскій былъ бы чрезвычайно радъ этому: «ужъ то-то бы поклонился ему!» Въ концѣ онъ выписываетъ Станкевичу новое стихотвореніе Кольцова: «Жарко въ небѣ солнце лѣтнее». Кромѣ того, прилагалось письмо Бакунина [2]): «теперь онъ пишетъ къ тебѣ уже не свысока, а очень скромно».

Такъ стояли теперь отношенія друзей. Въ отсутствіе Станкевича теоретическіе вопросы приняли, какъ видимъ, такой харак-

---

[1]) Гоголевское выраженіе.

[2]) Его нѣтъ въ нашемъ матеріалѣ.

теръ и направленіе, что Бѣлинскій опасался, и не безъ основанія, что они будутъ непонятны Станкевичу безъ подробныхъ объясненій; Бѣлинскій и собирался дать ихъ въ особомъ длинномъ письмѣ, которое хотѣлъ писать исподоволь. Въ этомъ новомъ «моментѣ», Бакунинъ даже смотрѣлъ свысока на Станкевича,—противъ чего Бѣлинскій возставалъ самымъ рѣшительнымъ образомъ; несомнѣнно, наконецъ, что послѣднее примирительное направленіе московскаго кружка, и особенно Бѣлинскаго, выросло совсѣмъ независимо отъ Станкевича,—который, какъ дальше увидимъ, не раздѣлялъ тогдашнихъ мнѣній Бѣлинскаго. Относительно личныхъ споровъ, Станкевичъ еще въ началѣ 1838 упрекалъ московскихъ друзей, что они «бабствуютъ»...

Слѣдуетъ письмо отъ 19 апрѣля 1839. Это все еще не было то длинное письмо, которое Бѣлинскій собирался писать Станкевичу. Бѣлинскій винится, что такъ долго не писалъ:

«Но не приписывай этого (Боже сохрани!) моей къ тебѣ холодности (чорта ли хорошаго было бы во мнѣ, еслибы я охолодѣлъ къ тебѣ?), даже не приписывай и лѣности, хотя она тутъ немного и виновата. Дѣло въ томъ, что въ каждомъ моемъ *большомъ* письмѣ мнѣ хочется познакомить тебя и съ моимъ настоящимъ моментомъ и съ обстоятельствами, бывшими его источникомъ и слѣдствіями; но я теперь мчусь на почтовыхъ по дорогѣ (пока все еще по проселочной) жизни, и настоящій мой моментъ едва ли продолжается мѣсяцъ. Перейдя же въ другое состояніе духа, я уже не сержусь на прежнее (какъ это всегда бывало со мною прежде), потому что понимаю его необходимость, и еще потому, что я становлюсь все менѣе и менѣе неистовъ. Процессы моего духа всегда осуществляются въ жизни и отражаются въ обстоятельствахъ, бо̀льшею частію потрясающихъ и ужасныхъ. Напримѣръ, недавно (мѣсяца два назадъ) со мною повторилась-было твоя исторія [1]), да такъ, что я хватился за голову, боясь—ужъ не сошелъ ли я съ ума, и подходилъ безпрестанно къ зеркалу, чтобы посмотрѣть, не посѣдѣли ли мои волосы. Слава Богу, все кончилось хорошо, и я за глупую фантазію поплатился только мѣсяцами двумя глупостей и пошлостей, да недѣлями двумя-тремя адскихъ мукъ»...

«Глупая фантазія», подробно разсказанная Бѣлинскимъ въ другомъ мѣстѣ, еще разъ привела его въ крайнюю экзальтацію. Это было опять увлеченіе, въ сущности неглубокое, какъ и самъ Бѣлинскій скоро убѣдился, но въ первую пору показавшееся ему настоящей «любовью», въ томъ мистическомъ смыслѣ, какъ тогда понималъ ее кружокъ. На бѣду, Бѣлинскому пришлось встрѣтить соперника въ одномъ изъ новыхъ друзей, и это соперничество, по-

---

[1]) Бѣлинскій понимаетъ здѣсь ту сердечную исторію Станкевича, о которой было выше упомянуто.

влекшее за собой и другія столкновенія въ самомъ кружкѣ, произвело цѣлую запутанную исторію, навлекшую Бѣлинскому не мало тревогъ. Любовь не состоялась; дружба подверглась очень трудному испытанію.

«Въ послѣднемъ письмѣ моемъ я обѣщалъ тебѣ описать подробно всю мою ссору съ Бакунинымъ. Я было и думалъ приняться за него, но каково было мое изумленіе, когда, взявшись за перо, увидѣлъ, что ссоры не было, что я не знаю, что я ссорился и за что сердился на этого человѣка. Все дѣло было въ томъ, что у насъ никогда не было дружбы, потому что природы наши враждебно противоположны. «Ты стремишься къ высокому—и я стремлюсь къ высокому—будемъ же друзьями»—вотъ начало нашей дружбы... Время есть повѣрка всѣхъ склонностей, всѣхъ чувствъ, всѣхъ связей—дѣйствительность стала вытанцовываться, и мы принялись грызться, а когда перегрызлись, то увидѣли, что совсѣмъ не изъ чего было грызться, и какъ умные люди, теперь разошлись мирно, съ уваженіемъ другъ къ другу. Въ Бакунинѣ много дурныхъ сторонъ: дружба простила бы его за нихъ, но я не былъ его другомъ, и потому теперь считаю себя въ правѣ говорить только о хорошихъ его сторонахъ, которыхъ онъ тоже очень не чуждъ. Изъ остальныхъ друзей, одинъ, на котораго я больше всѣхъ полагался, потому что болѣе всѣхъ любилъ его, поступилъ со мною предательски, но такъ какъ онъ это сдѣлалъ по слабости характера, то и я простилъ его въ душѣ моей... Изъ старыхъ друзей, только добрый, благородный, любящій Аксаковъ все такъ же хорошъ со мною, какъ и прежде. Онъ давно уже сталъ выходить изъ призрачнаго міра Гофмана и Шиллера, знакомится съ дѣйствительностію, и въ числѣ многихъ причинъ, особенно обязанъ этому здоровой и нормальной поэзіи Гёте. Изъ новыхъ меня особенно интересуетъ Кудрявцевъ...

«Да, братъ,—продолжаетъ онъ,—наконецъ, пришлось разсчитаться за всякую ложь—и въ любви, и въ дружбѣ. Діалектика жизни довела до сознанія многихъ истинъ, казавшихся прежде неразрѣшимыми. Я теперь понимаю, что такое любовь и что такое дружба: то и другое есть воспринятіе въ себя однимъ существомъ другого существа, вслѣдствіе необъяснимаго мистическаго сродства ихъ натуръ. То и другое дается человѣку Богомъ, и если человѣкъ, наскучивши ждать, вздумаетъ взять это самъ, то жестоко срѣжется».

Но при всемъ разочарованіи Бѣлинскій, по его словамъ, тѣмъ больше вѣритъ въ любовь и дружбу и цѣнитъ эти два великія чувства,—несмотря на все, ему живется теперь лучше. «Я ужасаюсь моей прошлой жизни, такъ хорошо тебѣ извѣстной, сравнивая ее съ нынѣшнею», и въ особенности онъ радуется расширенію своего пониманія изящнаго:

«Больше всего даетъ мнѣ счастія и внутренней жизни расширеніе моей способности воспріемлемости изящнаго. Пушкинъ предсталъ мнѣ въ новомъ свѣтѣ, какъ одинъ изъ міровыхъ исполиновъ

искусства, какъ Гомеръ, Шекспиръ и Гёте. Тебѣ, знающему только его «Цыганъ», «Полтаву» и «Онѣгина», но не знающему его посмертныхъ сочиненій, можетъ показаться мое мнѣніе страннымъ, экзальтированнымъ. Иліада, переведенная Гнѣдичемъ, для меня есть второй источникъ такого наслажденія, отъ силы котораго я иногда изнемогаю въ какомъ-то сладостномъ мученіи. О грекахъ (разумѣется, древнихъ) не могу думать безъ слезъ на глазахъ. Мнѣ доступна и сфера религіи, но болѣе родная мнѣ сфера—искусство, и хорошій гипсовый снимокъ съ Венеры Медицейской стóитъ въ глазахъ моихъ больше того глупаго счастья, котораго я нѣкогда искалъ въ рѣшеніи нравственныхъ вопросовъ. Боже мой, какая это была ужасная жизнь! Нравственная точка зрѣнія погубила-было для меня весь цвѣтъ жизни, всю ея поэзію и прелесть.

«Что ты, какъ ты? Скоро ли увижу, обойму я тебя? То-то бы поразсказалъ я тебѣ о твоемъ Виссаріонѣ неистовомъ! То-то бы посмѣялся ты! То-то бы послушалъ я тебя! О, еслибы ты опять сталъ жить въ Москвѣ и мы, разрозненные птенцы, безъ матери, снова слетѣлись бы въ родимое гнѣздо! Скоро-ли, скажи».

Бѣлинскій при этомъ письмѣ послалъ Станкевичу листки изъ «Наблюдателя», чтобы дать понятіе о журналѣ, и повѣсть «Флейту», отъ которой въ то время онъ былъ въ восторгѣ. Все это посылалось «вмѣсто длиннаго письма», давно предположеннаго.

Но наконецъ Бѣлинскій написалъ и длинное письмо, которое писалось съ 29 сентября до 8 октября 1839, а можетъ быть и дальше—потому что окончанія его мы не имѣемъ,—и которое могло бы дѣйствительно составить цѣлую брошюру.

Письмо было вызвано письмомъ Станкевича и пріѣздомъ въ Москву Грановскаго, который привезъ о Станкевичѣ живые разсказы очевидца и друга и встрѣченъ былъ Бѣлинскимъ съ величайшей симпатіей. Бѣлинскій съ большимъ чувствомъ обращается къ Станкевичу; онъ опять долго не писалъ къ нему, но причиною молчанія были новыя треволненія въ его внутренней жизни: онъ осуждалъ-было себя за свое молчаніе, ему показалось-было, что онъ пересталъ любить Станкевича, но вскорѣ онъ успокоился отъ своего «прекраснодушнаго» опасенія... «Я понялъ, что у всякаго человѣка своя жизнь и свои личные интересы, а я, сверхъ того, во все это время находился въ ужасныхъ внутреннихъ передѣлкахъ, въ мучительныхъ процессахъ выходя изъ дѣтства въ мужество, со всѣми переругался, былъ истерзанъ, исколесованъ такъ, что на душѣ моей не осталось ни одной цѣлой струны, ни одного здороваго мѣста». Бѣлинскій думаетъ, что можетъ безъ самолюбія сказать, что изъ этого экзамена жизни онъ выходитъ съ честью, — тѣмъ не менѣе повтореніе «экзаменовъ» не говорило о спокойномъ установившемся развитіи...

Бѣлинскій въ это время завязалъ свое первое знакомство съ Грановскимъ. Станкевичъ, въ письмѣ своемъ, знакомя съ нимъ Бѣлинскаго, высказывалъ опасеніе, что они не сойдутся — опасеніе довольно основательное, потому что въ самомъ дѣлѣ это были натуры слишкомъ различныя, и впослѣдствіи это различіе успѣло выразиться. Бѣлинскій разувѣряетъ его, хотя самъ тотчасъ замѣчаетъ разницу характеровъ и еще больше разницу понятій по крайней мѣрѣ въ предметахъ поэтическаго вкуса: Бѣлинскій тутъ же, со студенчески-безцеремонной шутливостью, которая была въ обычаѣ кружка, говоритъ о нѣкоторыхъ мнѣніяхъ Грановскаго, приводившихъ его въ ужасъ.

«Способъ, какимъ ты рекомендуешь мнѣ Грановскаго, заставилъ меня смѣяться до слезъ: ароматъ твоей милой, непостижимо чудной непосредственности такъ и вѣялъ вокругъ меня. Портретъ Грановновскаго вѣренъ какъ незьзя больше [1]),—пишетъ Бѣлинскій:—ты великій живописецъ! Но опасеніе, что мы не сойдемся, которое невольно высказывается въ твоихъ словахъ, оказалось совершенно ложнымъ: мы сошлись какъ нельзя лучше и ближе, и безъ всякихъ прекраснодушныхъ восторговъ и натяжекъ, а совершенно свободно. Грановскій есть первый и единственный человѣкъ, котораго я полюбилъ отъ всей души, несмотря на то, что сферы нашей дѣйствительности, наши убѣжденія (самыя кровныя) — діаметрально противоположны, такъ что — бѣлое для него, черно для меня и наоборотъ... Да, это одинъ изъ тѣхъ людей, съ которыми мнѣ всегда и тепло и свѣтло, и которые никогда не могутъ придти ко мнѣ не во время, но всегда—дорогіе гости. Но Боже мой! Можно ли быть противоположнѣе въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ *мы* и онъ. Чтó за сужденія объ искусствѣ, что за вкусъ — верхъ идіотства! Уландъ выше Гейне, Шиллеръ... но погоди»...

За Шиллера, говоритъ онъ, достанется имъ обоимъ, а Грановскому сначала за другое. «На Руси явилось новое могучее дарованіе—Лермонтовъ», продолжаетъ Бѣлинскій, и, выписавъ стихотвореніе «Три пальмы», съ восторгомъ высказываетъ свои впечатлѣнія:

«Какая образность!—такъ все и видишь передъ собой, а увидѣвъ разъ, никогда ужъ не забудешь! Дивная картина—такъ блеститъ всею яркостью восточныхъ красокъ! Какая живописность, музыкальность, сила и крѣпость въ каждомъ стихѣ, отдѣльно взятомъ! Идя къ Грановскому, нарочно захватываю новый № О. З. («Отечественныхъ Записокъ»), чтобы подѣлиться съ нимъ наслажденіемъ—и чтó же?—онъ предупредилъ меня: какой чудакъ Лермонтовъ—стихи гладкіе, а въ стихахъ чортъ знаетъ чтó — вотъ хоть

---

[1]) Къ сожалѣнію, въ числѣ писемъ Станкевича къ Бѣлинскому, у насъ находившихся, этого письма не было.

его «Три Пальмы»—что за дичь!—Что на это было отвѣчать? Спорить?—но я потерялъ уже охоту спорить, когда нѣтъ точекъ соприкосновенія съ человѣкомъ. Я не спорилъ, но какъ майоръ Ковалевъ частному приставу, сказалъ Грановскому, разставивъ руки: «Признаюсь—послѣ такихъ съ вашей стороны поступковъ, я ничего не нахожу» — и вышелъ вонъ. А между тѣмъ, этотъ человѣкъ, со слезами восторга на глазахъ, слушалъ «О царѣ И. В., молодомъ опричникѣ и удаломъ купцѣ Калашниковѣ». Не значитъ ли это то, что у него, для искусства, есть только непосредственное чувство, не развившееся и не возвысившееся до *вкуса*? А какъ онъ понимаетъ Пушкина — да здравствуетъ идіотизмъ! Куда Пушкину до Шиллера! А по нашему такъ Шиллеру до Пушкина—далеку кулику до Петрова дня! Какая полная *художественная* натура! Небось, онъ не впалъ бы въ аллегорію, не написалъ бы галиматьи аллегорико-символической, извѣстной подъ именемъ 2-й части «Фауста» и не былъ способенъ писать рефликтированныхъ романовъ въ родѣ Вертера или Вильгельма Мейстера [1]). Куда ему! Его натура *художественная* была такъ полна, что, въ произведеніяхъ искусства, казнила безпощадно его же рефлексію: въ лицѣ Алеко... Пушкинъ безсознательно бичевалъ самого себя, свой образъ мыслей и, какъ поэтъ, чрезъ это *художественное* объектированіе, освободился отъ него навсегда... А «Моцартъ и Сальери», «Полтава», «Борисъ Годуновъ», «Скупой Рыцарь» и наконецъ—перлъ всемірно-человѣческой литературы — «Каменный Гость»! Нѣтъ, пріятели, убирайтесь къ чорту съ вашими нѣмцами — тутъ пахнетъ Шекспиромъ новаго міра!.. А между тѣмъ, не забудь, что онъ умеръ съ небольшимъ какихъ-нибудь 35 лѣтъ, въ самой порѣ своего созрѣвшаго генія: что бы онъ еще сдѣлалъ!..»

Въ этихъ и подобныхъ мнѣніяхъ Бѣлинскій, какъ мы видѣли, расходился и спорилъ не съ однимъ Грановскимъ, но и съ друзьями кружка. Вторая часть «Фауста», вслѣдъ за нѣмецкими авторитетами, пользовалась въ кружкѣ великимъ уваженіемъ, какъ геніальное произведеніе, соединившее возвышенную поэзію съ глубокой философіей. Бѣлинскій возсталъ рѣшительно противъ этого поклоненія: чувство къ поэтическому давало ему смѣлость спорить даже противъ самыхъ сильныхъ авторитетовъ,—противъ нѣмецкихъ критиковъ гегеліянской школы, пока, наконецъ, онъ имѣлъ удовольствіе увидѣть, что критики новаго поколѣнія гегеліянцевъ подтвердили его мнѣнія. Бѣлинскій впослѣдствіи оставилъ и ту точку зрѣнія чистой художественности, на которой онъ стоялъ теперь. Доставивши ему свою пользу, пріучивъ къ тонкой оцѣнкѣ формы, она вводила его и въ крайности — когда преувеличенное вниманіе къ формѣ иногда закрывало отъ него самыя качества содержанія.

[1]) Ср. выше, отзывъ Бѣлинскаго о 2-й части «Фауста» въ письмѣ къ Панаеву отъ 19 августа 1839.

Возвращаемся къ письму. Отвѣчая на отзывы Станкевича о «Наблюдателѣ», Бѣлинскій высказываетъ именно это восхищеніе художественной формой. Онъ старался давать мѣсто въ «Наблюдателѣ» только такимъ произведеніямъ, которыя имѣли дѣйствительныя достоинства, и въ письмѣ, указывая «превосходные» переводы К. Аксакова изъ Гёте, Каткова изъ Гейне и «Ромео и Юліи» Шекспира, стихотворенія Кольцова, беретъ подъ свою защиту, отъ строгихъ сужденій Станкевича, повѣсть Кудрявцева—«произведеніе, въ которомъ исчерпана вся его идея и воспроизведена въ такихъ чудныхъ граціозныхъ формахъ»... Восторгъ Бѣлинскаго отъ повѣстей Кудрявцева, конечно, превышалъ дѣйствительное ихъ достоинство,—когда притомъ лучшія повѣсти Кудрявцева еще не были написаны. Личность автора, мягкая, но сосредоточенная и серьезная, въ большой мѣрѣ подкупала его мнѣнія. Бѣлинскій, занятый вопросами объ опредѣленіи внутренней жизни, именно находилъ у Кудрявцева глубокое поэтическое пониманіе, а въ повѣстяхъ его то, что̀ впослѣдствіи вошло въ моду подъ именемъ психологическаго анализа. Это серьезное отношеніе къ чувству, къ любви, соединенное съ немного грустной, мечтательной сантиментальностью, отвѣчало его собственному настроенію. На Станкевича, не имѣвшаго этихъ личныхъ отношеній, «Флейта» не произвела большого впечатлѣнія, онъ нашелъ повѣсть легонькой (что̀ и близко къ истинѣ), полагалъ, что авторъ вѣроятно принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, у которыхъ гораздо больше поэтическаго чувства, чѣмъ творческаго дара (что̀ также было близко къ истинѣ), и наконецъ, что вѣроятно дружеская связь съ Кудрявцевымъ оказала вліяніе на сужденія Бѣлинскаго. Послѣдній, не подозрѣвая своего пристрастія, рѣшительно оспаривалъ все это, и такъ объяснялъ свои личныя отношенія къ Кудрявцеву:

«Этотъ человѣкъ вообще очень не разговорчивъ, и ни о чемъ не говоритъ съ такою неохотою, краткостію и такъ отрывисто, какъ о своихъ сочиненіяхъ, потому что очень мало даетъ имъ цѣны... Мы сошлись съ нимъ только на искусствѣ: что̀ ему кажется художественнымъ, то и мнѣ, и наоборотъ—разногласіе между нами поэтому невозможно, если исключить его собственныя произведенія, какъ я уже говорилъ... У этого человѣка чудная непосредственность [1]), а въ отношеніи къ болтливости, онъ—живая противоположность мнѣ. Нашъ разговоръ состоитъ всегда изъ потока моихъ рѣчей, изрѣдка прерываемыхъ его короткими фразами. Для меня высочайшее наслажденіе прочесть ему новую пѣсню Кольцова, новый переводъ Каткова, новое стихотвореніе Клюшникова; прочтя, я не спрашиваю его—каково?.. Если ему что̀ не нравится, онъ молчитъ,

[1]) Врожденный складъ личности.

не улыбаясь, и что хочешь дѣлай, спорить не станетъ, а только разъ скажетъ, что или «онъ не понимаетъ» или «ему не нравится». Вообще, онъ совершенно не способенъ къ внѣшнему выраженію восторга, и его наслажденіе можно прочесть только на просіявшемъ лицѣ и довольной улыбкѣ»...

Бѣлинскій разсказываетъ, съ какимъ наслажденіемъ читаетъ онъ съ Кудрявцевымъ Иліаду, «Бородинскую годовщину» Пушкина, «Изъ Ксенофана Колофонскаго» его же...

«Чтобы окончательно характеризовать тебѣ Кудрявцева, а вмѣстѣ показать и мою теперешнюю точку зрѣнія на искусство, скажу тебѣ, что для него было предметомъ безконечно-глубокаго наслажденія, эстетическаго блаженства, вотъ это стихотвореніе Пушкина:

«Въ крови горитъ огонь желанья» (приводится стихотвореніе...)

«Послѣдній стихъ («и двигнется ночная тѣнь»), *по нашему*, даетъ художественный колоритъ всей пьескѣ и принадлежитъ къ немногому числу такихъ стиховъ, которые повидимому ничего не заключая въ себѣ, заключаютъ въ себѣ цѣлые міры. Шекспира и все прочее для меня наслажденіе читать со всякимъ; но Гомера и Пушкина — высочайшее наслажденіе читать съ Кудрявцевымъ. Пластическая красота древнихъ, особливо Гомера, съ его простодушными, упоительными до опьяненія эпитетами, въ высшей степени родственна художническому духу Кудрявцева... Изъ Пушкина съ нимъ особенно пріятно читать мелкія стихотворенія и «Каменнаго гостя», а изъ мелкихъ—чуждыя завлекающей прелести содержанія, но обаяющія художественною формою. Да, люблю, глубоко люблю этого человѣка, за его художественную натуру, за его въ высшей степени ходожественный тактъ, который въ немъ доходитъ даже до крайности, такъ что самое обаятельное могущество содержанія, возвышающагося до поэтическаго паѳоса, но чуждое или недостаточное по художественной формѣ, почти не трогаетъ его»...

Здѣсь былъ вѣроятно высшій пунктъ, какого достигло у Бѣлинскаго исключительное пониманіе художественности, увлеченіе формой даже на счетъ содержанія, — потому что самъ Бѣлинскій былъ очень склоненъ къ той крайности, которую замѣчаетъ въ Кудрявцевѣ. Бѣлинскій проклинаетъ опять свою такъ-называемую «нравственную» точку зрѣнія, т.-е. ту, гдѣ нравственный смыслъ произведенія казался его главнымъ правомъ и заслонялъ форму, въ которой Бѣлинскій и видитъ теперь самую поэзію — двѣ односторонности, которыя, сгладивъ потомъ свои крайности, тѣмъ больше расширили эстетическое пониманіе Бѣлинскаго.

Станкевичъ въ своемъ письмѣ, говоря о «Наблюдателѣ», замѣчалъ нѣкоторые *недостатки* въ прежнихъ и послѣднихъ статья

Бѣлинскаго, резонерство предъ публикою, какъ въ своемъ кружкѣ, преувеличенія. Бѣлинскій защищается и говоритъ между прочимъ:

«Не думай, Николай, чтобы я не видѣлъ смѣшныхъ сторонъ моего телескопскаго ратованія, но я никакъ не могу понять, чтобы они могли заслонять его истинную, его дѣйствительную сторону. Истина какъ золото: для одного зернышка возятся съ пудомъ песку. Мнѣ сладко думать, что я, лишенный не только наукообразнаго, но и всякаго образованія, сказалъ *первый* нѣсколько истинъ, тогда какъ премудрый университетскій синедріонъ поролъ дичь. Истина не презираетъ никакихъ путей и пробирается всякими. Что же касается до смѣшной стороны, то не только въ «Телескопѣ», я давно уже вижу ее и въ «Наблюдателѣ». Я довольно непосидѣнъ и не долго сижу на одномъ мѣстѣ, и потому я давно уже дальше «Наблюдателя». Смѣшная и дѣтская сторона его совсѣмъ не въ нападкахъ на Шиллера, а въ этомъ обиліи философскихъ терминовъ (очень поверхностно понятыхъ), которые и въ самой Германіи, въ популярныхъ сочиненіяхъ, употребляются съ большою экономіею. Мы забыли, что русская публика не нѣмецкая и, нападая на прекраснодушіе, сами служили самымъ забавнымъ примѣромъ его. Статья Бакунина [1]) погубила Наблюдатель не тѣмъ, что она была слишкомъ дурна, а тѣмъ, что увлекла насъ (особенно меня, за что я и золъ на нее), дала дурное направленіе журналу и на первыхъ порахъ оттолкнула отъ него публику и погубила его безвозвратно въ ея глазахъ. Что же до достоинства этой статьи, которая тебѣ показалась лучшею въ журналѣ, также какъ стихотв. Клюшн. «Къ Петру» *превосходнымъ* [2]),—я опять не согласенъ съ тобою: о содержаніи (философской статьи) не спорю, но форма весьма неблагообразна, и ея непосредственное впечатлѣніе очень невыгодно и для философіи и для личности автора... Вмѣсто представленій въ статьѣ одни понятія, вмѣсто живого изложенія одна сухая и *крикливая* отвлеченность. Вотъ почему эта статья возбудила въ публикѣ не холодность, а ненависть и презрѣніе, какъ будто бы она была личнымъ оскорбленіемъ каждому читателю».

Эти послѣдніе отзывы, быть можетъ, объясняются тѣмъ, что Бѣлинскому случилось слышать отъ людей другого московского кружка, съ которымъ онъ встрѣтился къ концу своего пребыванія въ Москвѣ,—какъ увидимъ. Дальше Бѣлинскій защищаетъ отъ обвиненій Станкевича свои отзывы о Шиллерѣ. Мы не разъ указывали тогдашнюю вражду Бѣлинскаго къ Шиллеру. Станкевичъ не одобрялъ этого страннаго ожесточенія противъ Шиллера; Бѣлинскій объясняетъ, что это было если не ожесточеніе, то «нѣсколько дикая радость», что онъ можетъ «законно» нападать на Шиллера.

---

[1]) «Моск. Наблюд.» 1838, XVI, 1, стр. 5—21, предисловіе переводчика къ «Гимназическимъ рѣчамъ» Гегеля.

[2]) «Мѣдный Всадникъ. Сознаніе Россіи у памятника Петра Великаго», *стихотв.—в—. «Моск. Набл.»* 1838, XVIII, кн. 10, стр. 190—193.

«Тутъ вмѣшались личности, — говоритъ Бѣлинскій [1]), — Шиллеръ *тогда* [2]) былъ мой личный врагъ и мнѣ стоило труда обуздывать мою къ нему ненависть и держаться въ предѣлахъ возможнаго для меня приличія. За что эта ненависть? За субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностію за все за это, отъ чего страдалъ я во имя его. Ты скажешь, что не вина Шиллера, если я ложно, конечно и односторонне понялъ великаго генія, и взялъ отъ него только его темныя стороны, не постигши разумныхъ; такъ, да и не моя вина, что я не могъ понять его лучше. Его «Разбойники» и «Коварство и любовь», вкупѣ съ «Фіеско»—этимъ произведеніемъ нѣмецкаго Гюго, наложили на меня дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ, во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухѣ. Его «Донъ-Карлосъ»—эта бѣдная фантасмагорія образовъ безъ лицъ и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любви къ человѣчеству безъ всякаго содержанія — бросила меня въ абстрактный героизмъ, внѣ котораго я все презиралъ, все ненавидѣлъ (и еслибъ ты зналъ, какъ дико и болѣзненно!) и въ которомъ я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторгъ, сознавалъ себя—нулемъ. Его «Орлеанская Дѣвственница»—эта драма съ двумя элементами, рѣзко отдѣлившимися одинъ отъ другого, какъ отдѣляется вода отъ масла, налитыя въ одинъ сосудъ, — съ элементомъ мистическимъ и католическимъ (а я теперь поохолодѣлъ къ первому и всегда дико ненавидѣлъ второй, съ чѣмъ и умру) — и потомъ съ элементомъ плохой и блѣдной драмы — (гдѣ является Анна д'Аркъ — тамъ мистицизмъ и католицизмъ и — признаюсь—могучая романтическая поэзія, гдѣ являются другія лица—тамъ скука, блѣдность и мелочность, вслѣдствіе безсилія Шиллера возвыситься до объективной обрисовки характеровъ и драматическаго дѣйствія) — «Орлеанская Дѣва» ринула меня въ тотъ же абстрактный героизмъ, въ то же пустое, безличное, субстанціально безъ всякаго индивидуальнаго опредѣленія—общее. Его Текла, это улучшенное и исправленное, изданіе шиллеровской женщины—дала мнѣ идеалъ женщины, внѣ котораго для меня не было женщины. До чего меня довелъ Шиллеръ?»

Онъ приводитъ Станкевичу ихъ общія воспоминанія, до чего бывало доводилъ ихъ идеальный Шиллеръ въ понятіяхъ о любви и отнощеніяхъ къ женщинѣ, какъ они путались въ этой идеальности.

«И куда самъ онъ заходилъ,—продолжалъ Бѣлинскій,—запутываясь своими противорѣчіями! Влюбившись въ дѣвушку и жени

---

[1]) Въ началѣ этой главы мы привели нѣсколько цитатъ изъ этого мѣста письма.

[2]) Еще не очень давно; вражда его и теперь еще не прошла и только потеряла свою желчность.

шись на ней, онъ скоро охладѣлъ къ ней, дурно съ нею обращался и написалъ свой Die Ideale [1]), гдѣ распрощался со всѣми *призраками* жизни—поэзіею, знаніемъ, славою, любовію, и остался только съ дружбою и трудомъ. Въ «Resignation» онъ принесъ въ жертву общему все частное—и вышелъ въ пустоту, потому что его общее было Молохомъ, пожирающимъ собственныхъ чадъ своихъ, а не вѣчною любовію, которая открываетъ себя во всемъ, въ чемъ только есть жизнь. Въ своемъ «Der Kampf» онъ прощается съ гнетущею его добродѣтелью, посылаетъ ее къ чорту и въ дикомъ изступленіи, говоритъ — *хочу грѣшить!* Что это за жизнь, гдѣ рефлексія отравляетъ всякую блаженную минуту, вышедшую изъ полноты жизни, гдѣ общее. [2]) велитъ смотрѣть, какъ на грѣхъ, на всякое человѣческое наслажденіе, гдѣ религія является католицизмомъ среднихъ вѣковъ, стоицизмъ катоновскій—искупленіемъ!.. Вотъ почему я возненавидѣлъ Шиллера: чаша переполнилась—духъ рвался на свободу изъ душной тѣсноты»...

Выше мы привели, изъ этого письма, разсказъ Бѣлинскаго о томъ, какъ въ концѣ 1837 (по возвращеніи его съ Кавказа) этому освобожденію отъ шиллеровскаго идеализма содѣйствовало болѣе близкое знакомство съ положеніями гегелевской философіи. Бѣлинскій увѣрился въ ошибочности своихъ прежнихъ взглядовъ, и отступился отъ Шиллера.

«Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ Бакунинъ— мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила: — нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности, — и кончилась моя тяжкая опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ. Я раскланялся съ французами. Передъ этимъ еще Катковъ передалъ мнѣ, какъ умѣлъ, а я принялъ въ себя, какъ могъ, нѣсколько результатовъ эстетики—Боже мой! какой новый, свѣтлый, безконечный міръ! Я вспомнилъ тогда твое недовольство собою, твои хлопоты о побіеніи фантазій, твою тоску о нормальности. Слово «дѣйствительность» сдѣлалось для меня равнозначительно слову «Богъ». И ты напрасно совѣтуешь мнѣ чаще смотрѣть на синее небо—образъ безконечнаго, чтобы не впасть въ кухонную дѣйствительность: другъ, блаженъ, кто можетъ видѣть въ образѣ неба символъ безконечнаго, но вѣдь небо часто застилается сѣрыми тучами, и потому тотъ блаженнѣе, кто и кухню умѣетъ просвѣтлить мыслію безконечнаго. Безконечное должно быть въ душѣ, а

---

[1]) «Идеалы» были переведены въ «Наблюдателѣ» К. Аксаковымъ.
[2]) Философскій терминъ, какъ выше.

когда оно въ душѣ—человѣку и въ кухнѣ хорошо. Есть люди, которые говорятъ, что въ Шеллингѣ больше геніальности и величія чѣмъ въ Гегелѣ, въ католицизмѣ, чѣмъ въ лютеранизмѣ, въ мистицизмѣ, чѣмъ въ раціональности (разумности), въ битвахъ Гомера, съ ихъ колесницами, щитами, копьями и стрѣлами, чѣмъ въ Бородинской битвѣ, съ ея куцыми мундирами и прозаическими штыками и пулями: отчего это? Оттого, что въ простомъ труднѣе разгадать безконечную дѣйствительность, чѣмъ въ поражающей *внѣшнею* грандіозностью формъ, оттого, что въ небѣ легче увидѣть образъ безконечнаго, чѣмъ въ кухнѣ»...

Послѣдовалъ переворотъ и въ эстетическихъ понятіяхъ Бѣлинскаго. Онъ нашелъ, что поэзія должна стремиться не къ субъективной нравственной цѣли, не къ выполненію какой-нибудь тенденціи, а къ объективной художественной красотѣ, что война съ дѣйствительностью есть «прекраснодушіе», идеалистическая рефлексія, которая низлагается и устраняется разумнымъ (гегельянскимъ) пониманіемъ дѣйствительности, — а поэзія Шиллера была именно тенденціозное изложеніе абстрактныхъ идей въ абстрактныхъ не живыхъ, и потому не поэтическихъ олицетвореніяхъ.

«Но буду продолжать тебѣ мою внутреннюю исторію. Бакунинъ первый (тогда же) провозгласилъ, что истина только въ объективности, и что въ поэзіи—субъективность есть отрицаніе поэзіи; что безконечнаго должно искать въ каждой точкѣ, что въ искусствѣ оно открывается черезъ форму, а не чрезъ содержаніе потому что само содержаніе высказывается черезъ форму, а гдѣ наоборотъ тамъ нѣтъ искусства. Я освирѣпѣлъ, опьянѣлъ отъ этихъ идей—и неистовыя проклятія посыпались на благороднаго адвоката человѣчества у людей—Шиллера. Учитель мой возмутился духомъ, увидѣвъ слишкомъ скорые и слишкомъ обильные и сочные плоды своего ученія, хотѣлъ меня остановить, но поздно: я уже сорвался съ цѣпи и побѣжалъ благимъ матомъ. Извѣстно, что Шиллеръ совѣтовалъ Гете поставить въ углу герцога Альбу, когда его сынъ говорилъ съ Эгмонтомъ, дабы оный злодѣй или умилился и покаялся, или востерзался отъ своего неистовства—верхъ прекраснодушія, образецъ драматическаго безсилія! Мишель хотѣлъ отъ меня скрыть этотъ фактъ и, по обыкновенію, самъ же проболталъ мнѣ его—я *взревѣлъ* отъ радости. Въ это же время начались гоненія на прекраснодушіе во имя дѣйствительности. Въ это же время пошли толки о Гете [1]) и что со мною стало, когда я прочелъ «Утреннія Жалобы», а потомъ—

---

[1]) Извѣстно, что отличительную черту Гёте видѣли въ объективности (въ противоположность субъективности Шиллера), а это именно и стало теперь считаться главнѣйшимъ условіемъ и признакомъ истинной художественности и поэзіи. Выше мы видѣли, что Гёте, по словамъ Бѣлинскаго, былъ для К. Аксакова поэтическимъ лекарствомъ отъ «призрачности».

Лежу я въ потокѣ на камняхъ... какъ радъ я!
Идущей волнѣ простираю объятья, и пр. [1])

«Новый міръ! новая жизнь! Долой ярмо долга... гнилой морализмъ и идеальное резонерство! Человѣкъ можетъ жить, все его, всякій моментъ жизни великъ, истиненъ и святъ! Тутъ подоспѣли для меня переводы милаго Гейне, и скоро мы прочли «Ромео и Юлію», чтобы узнать, что такое женщина... Бѣдный Шиллеръ!»...

Такъ связывались у Бѣлинскаго отвлеченныя представленія, эстетическія понятія и личная жизнь. Теоретическіе вопросы всегда влекли за собой практическое нравственное примѣненіе, и потому-то каждый новый «моментъ» развитія, смѣна одного теоретическаго понятія другимъ бывали для него серьезны и волновали его.

До самаго конца его московской жизни продолжалась у него эта внутренняя борьба развитія. Нѣсколько разъ ему казалось, что она приходитъ наконецъ къ разрѣшенію, къ спокойному уразумѣнію жизни и искусства, что идеальное «прекраснодушіе» кончилось, — и вслѣдъ затѣмъ новыя испытанія показывали ему, что искомое еще не найдено. Въ 1839, какъ было замѣчено выше, ему пришлось испытать и еще одно — раздоръ съ ближайшими друзьями.

Предложеніе письма къ Станкевичу занято подробнымъ разсказомъ объ этомъ раздорѣ, который связанъ былъ отчасти съ упомянутой любовью и соперничествомъ. Эта любовь не была чувствомъ глубокимъ, но Бѣлинскому въ тогдашней экзальтаціи это не вдругъ стало понятно: ему трудно было прервать возникшія отношенія и тогда, когда онъ успѣлъ вѣрнѣе оцѣнить свое увлеченіе. Отчасти въ связи съ этой исторіей, отчасти вслѣдствіе другихъ личныхъ отношеній, Бѣлинскій сталъ въ натянутыя отношенія къ своимъ друзьямъ. Онъ еще раньше нѣсколько разъ почти разрывалъ свои отношенія съ Бакунинымъ; нѣсколько разъ между ними былъ то «миръ», то «война»,—къ концу 1839 они такъ разошлись, что впослѣдствіи временныя сближенія въ Москвѣ и въ Петербургѣ (гдѣ они встрѣтились въ 1840-мъ году) уже не возстановили прежней дружбы. Теперь Бѣлинскій разошелся съ Катковымъ и съ Боткинымъ. Личныя недоразумѣнія, которыя такъ возможны именно въ тѣсномъ соединеніи кружка, гдѣ каждый шагъ другого извѣстенъ и подвергается (по абсолютному праву дружбы) разбору и пересудамъ, — эти недоразумѣнія, раздуваемыя притомъ, безсознательно, другими пріятелями, привели къ совершенному разрыву. Обѣ сто-

---

[1]) Это стихотвореніе Гете, приведенное нами выше, напечатано было въ «М. Наблюд.» 1838, іюль, 1-я кн., стр. 55.

роны были и правы, и неправы. Бѣлинскій чувствовалъ себя оскорбленнымъ, но не скрывалъ отъ себя и собственныхъ ошибокъ; въ благія минуты раздраженіе опять уступало мѣсто разсудительности. Возстановились мало-по-малу и отношенія съ Катковымъ. Въ образчикъ того, какъ злѣйшее, повидимому, раздраженіе смѣнялось возвращеніемъ прежняго дружескаго тона, можетъ служить слѣдующій разсказъ:

«Разъ сижу у Ржевскаго въ кабинетѣ,—пишетъ Бѣлинскій;—входитъ Б[откинъ] и безъ всякихъ вычуръ начинаетъ со мною дружески разговаривать о прочитанной имъ недавно драмѣ Шекспира «Ричардъ II». Несмотря на все мое желаніе держать камень за пазухой и быть какъ можно холоднѣе, я съ досадою замѣчалъ, что увлекся разговоромъ до одушевленія и никакъ не могъ удержаться отъ спокойно-дружественнаго тона. Мы пошли ходить, Б. заговорилъ о ссорѣ съ такимъ спокойствіемъ, какъ будто бы дѣло шло о чьей-то чужой ссорѣ; я невольно впалъ въ тотъ же тонъ, и Б. заключилъ, что мы наконецъ такъ поносили другъ друга, что сквернѣе другъ о другѣ говорить уже не можемъ, слѣдовательно, новой ссоры опасаться нечего,—и оба начали смѣяться. Вражда пожрала самое себя—и кончилась: все гадкое и дѣтское въ прежнихъ отношеніяхъ всплыло на верхъ. Оно-то и было причиною вражды»...

Но, какъ мы замѣтили прежде, настоящее примиреніе совершилось съ Боткинымъ только по отъѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ, когда они оба, не имѣя передъ собою поводовъ къ раздраженію, лучше оцѣнивали благія стороны своихъ отношеній, и оба одновременно возобновили связь, въ которой соединяла ихъ общность взглядовъ и стремленій.

Разсказавъ Станкевичу эти и другія исторіи, Бѣлинскій приходилъ снова къ такимъ выводамъ.

«Гадка вся эта исторія, но велики для меня ея результаты—я выросъ и возмужалъ ею, навсегда отрѣшился отъ многихъ темныхъ сторонъ своей личности... Во-первыхъ, я понялъ теперь, что дружескія отношенія не только не отрицаютъ деликатности, какъ лишней для себя вещи, но болѣе нежели какія-нибудь другія требуютъ ея; что они должны быть совершенно свободны въ своемъ развитіи и своихъ проявленіяхъ, что имъ мѣркою должна быть дѣйствительность, а не построенія [1]). Вслѣдствіе этого, я вправѣ скрыть отъ друга всякую тайну, если не почитаю ее нужнымъ открыть ему; я не имѣю права сердиться за охлажденіе его ко мнѣ дружбы, ни на себя, если нѣтъ никакой видимой и предосудительной для той или другой стороны причины. Хорошъ онъ ко мнѣ—спасибо, хорошъ я къ нему—очень радъ; не клеятся наши отношенія—значитъ они вышли не изъ субстанціальнаго зерна, а извнѣ, и значитъ ихъ не нужно...

---

[1]) Т.-е. не прежнія понятія объ «абсолютной дружбѣ».

Дружескія отношенія должны быть непосредственнымъ явленіемъ, должны чувствоваться, а не сознаваться... Слова и опредѣленія собственнаго чувства, въ минуту его присутствія, профанируютъ его»...

Къ подобнымъ заключеніямъ пришелъ Бѣлинскій и въ вопросѣ о любви... «Я не зналъ,—говоритъ онъ,—что въ любви дѣйствительное есть возможность чувства, лежащая во святая святыхъ духа нашего..., но что осуществленіе возможности любить, встрѣча съ родною душою есть чистѣйшая случайность, и что отъ этой случайности блаженство не только не ниже, но еще выше, потому что въ противномъ случаѣ это была бы мертвящая душу невольническая неизбѣжность». Кто не хочетъ дожидаться свершенія таинства, потому ли, что въ ожиданіи большаго счастія не хочетъ лишиться меньшаго, но вѣрнаго, или потому, что не вѣритъ въ «таинство», тотъ пусть довольствуется болѣе обыкновеннымъ отношеніемъ къ женщинѣ: если онъ можетъ «безъ рефлексіи», изъ полноты натуры удовольствоваться этимъ, онъ можетъ вступить въ эти болѣе прозаическія отношенія; если нѣтъ—пусть лучше откажется отъ незаконнаго счастія, которое должно сдѣлаться несчастіемъ и отравить жизнь.

«Такимъ точно образомъ,—продолжаетъ Бѣлинскій,—встрѣтилъ [1])—бери, хватай, не упускай, истощи всѣ силы, всю энергію для достиженія блаженства; *барышня* еще не показывается—не трать жизни въ пустыхъ жалобахъ, идеальныхъ ожиданіяхъ при лунѣ и сальныхъ свѣчахъ. Нашелъ—твое; не нашелъ—и не ищи. Вообще, я только теперь—странное дѣло! и вѣдь, кажись, малый очень неглупый — понялъ, что только тотъ достоинъ блаженства, кто довольно силенъ духомъ, чтобы отказаться отъ него (resignation), когда его нѣтъ, или когда это велитъ не дѣтскій экстазъ, не идеальная выспренность, не резонерство, но разумность. Я все это и прежде еще и думалъ и даже говорилъ, но не вѣрилъ этому, а повѣрилъ только тогда, какъ надѣлалъ тьму глупостей, отъ которыхъ сердце то судорожно сжималось, то хотѣло разорваться, и текли слезы и бѣшенства, и отчаянія, и оскорбленнаго самолюбія, и чортъ знаетъ еще чего. Что дѣлать — у всякаго свой путь къ истинѣ и свое развитіе»...

Онъ пишетъ наконецъ о своихъ сборахъ въ Петербургъ.

«Недѣли черезъ двѣ послѣ отправленія этого письма ѣду въ Питеръ на житье. Зачѣмъ?

Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Съ злою долей перевѣдаться.

«Безъ фразъ я узналъ теперь, что негодится порядочному человѣку отдавать свою жизнь и свое счастіе на волю случайностей,

---

[1]) Т.-е. встрѣтилъ «родную душу».

что для того и другого надо побороться, поработать. Если бы я пріобрѣлъ невозмущаемую, ни въ горести, ни въ радости ровность духа, совершенное забвеніе самого себя, какъ частное, и — чего больше всего мнѣ не достаетъ—доброжелательство, участіе и ласку не къ однимъ слишкомъ близкимъ мнѣ людямъ, но и ко всякому человѣческому явленію — я бы это назвалъ своимъ царствомъ небеснымъ, а все остальное охотно отдалъ бы на волю Божію. Знаешь ли, Николай, я много измѣнился даже и во внѣшности: — стучанье по столу кулакомъ—ужъ анахронизмъ въ твоемъ передразниваніи меня—шутка ли!—а внутри меня все переродилось: умѣрились дикіе порывы; нападая на дурную или ложную, по моему мнѣнію, сторону предмета, я уже умѣю не потерять изъ виду хорошей, и истинное чувство мое уже не огненно, но тепло, и тѣмъ глубже, чѣмъ тише, я уже не боюсь разочарованія и охлажденія, не боюсь истощенія духовныхъ силъ..., но знаю, что только теперь наступила пора ихъ полнаго развитія и что еще долго они будутъ идти возрастая, и хоть я не могу похвалиться кудрями, но часто твержу про себя эти чудные стихи Кольцова—

По лѣтамъ и кудрямъ
Не старикъ еще я:
Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня!

«Да, я въ тысячу разъ счастливѣе прежняго, глубже и сильнѣе чувствую блаженство жизни, какъ жизни, достоинство человѣка, доступнѣе впечатлѣніямъ искусства, словомъ—любящѣе, но все это неровно. Ты знаешь мое образованіе, знаешь, сколько потрачено времени, знаешь, что работа для меня — вдохновеніе, порывъ, или желѣзная нужда, а не фундаментъ жизни, не источникъ силъ. Да, я не пріучилъ ума своего къ дисциплинѣ системы, не подвергалъ его гимнастикѣ ученія, и не пріучилъ себя къ работѣ, какъ къ чему-то постоянному и систематическому. Я люблю искусство выше всего, и много міровыхъ интересовъ живетъ въ душѣ моей, но все это дилеттантизмъ и добрая натура. [Онъ жалуется на недостатокъ выработанной воли]... И потому мнѣ страшно самому себѣ выговорить мои намѣренія, не только другому. Чтобы привести ихъ въ исполненіе, мнѣ надо оторваться отъ своего родного круга, мнѣ— робкой, запертой въ самой себѣ натурѣ — перенестись въ сферу чуждую, враждебную—страшно подумать, а время близко! Это послѣдній опытъ — не удастся, всѣ надежды къ чорту! Москва погубила меня, въ ней нечѣмъ жить и нечего дѣлать, а разстаться съ нею тяжелый опытъ».

На послѣднемъ листкѣ письма Бѣлинскій жалуется: «усталъ... уходила проклятая гисторія, а между тѣмъ и половины не разсказалъ»; 8 октября онъ опять принялся за продолженіе письма, но окончанія его не было въ нашемъ матеріалѣ; не знаемъ, было ли оно дописано.

Чтобы закончить московскій періодъ жизни Бѣлинскаго, надо остановиться на новыхъ отношеніяхъ, которыя возникали къ концу 1839, и пріобрѣли потомъ свое значительное вліяніе на дальнѣйшее развитіе его понятій. Это — отношенія съ кружкомъ, стоявшимъ особо отъ кружка Бѣлинскаго. Въ настоящую минуту у насъ нѣтъ вполнѣ точныхъ свѣдѣній о томъ, когда и при какихъ обстоятельствахъ произошла первая встрѣча Бѣлинскаго съ этимъ кружкомъ, гдѣ первенствовалъ Герценъ. Во всякомъ случаѣ еще въ Москвѣ Бѣлинскій столкнулся съ противорѣчіемъ, которое возбудило его до крайней степени и заставило написать извѣстныя статьи о «Менцелѣ» и «Бородинской Годовщинѣ», которыя стали для него кризисомъ, завершеніемъ стараго и точкой поворота къ новому, совсѣмъ иному направленію его мыслей... Выше упомянуто было, что уже въ началѣ тридцатыхъ годовъ молодое университетское и литературное поколѣніе раздѣлилось на два отдѣльные круга съ очень несходными воззрѣніями. Оба круга знали другъ о другѣ, но, вѣроятно, по юношеской исключительности, не сближались. Кружокъ Станкевича вступилъ на литературное поприще, и черезъ Бѣлинскаго вскорѣ пріобрѣлъ извѣстное значеніе. Другой кружокъ оставался въ тѣни,— причина въ томъ, что уже въ 1835 онъ былъ разсѣянъ обстоятельствами изъ Москвы и на первое время не имѣлъ никакой возможности выступить въ литературѣ; но дѣятельность была задержана не на долго, и годы не проходили даромъ.

Впрочемъ, говоря о второмъ кружкѣ, слѣдуетъ по преимуществу говорить о лицѣ, которое было его главнымъ представителемъ и которому принадлежало опредѣленіе направленія... Здѣсь также было много идеализма, но онъ съ самаго начала направился не къ поэзіи и философіи, какъ было въ кружкѣ Станкевича, а къ вопросамъ исторіи и общественнаго развитія: это было прямое восполненіе той односторонности, которая отличала въ этомъ отношеніи друзей Станкевича. Въ то время какъ послѣдніе со всѣмъ энтузіазмомъ молодости бросились на отвлеченныя задачи философіи и всѣ усилія направили къ отысканію — ни болѣе ни менѣе какъ «абсолютной» истины и къ теоретическому построенію нравственнаго идеала, не заботясь объ окружающей дѣйствительности и даже уходя отъ нея,—въ другомъ кружкѣ стремились къ нравственному идеалу менѣе отвлеченнымъ путемъ и съ другой стороны—со стороны общественной жизни. Для первыхъ задача состояла въ выработкѣ отвлеченной истины и личнаго совершенствованія; для вторыхъ она была въ служеніи обществу,—они уже усвоили преданія прежняго либерализма и думали продолжать его дѣло.

Естественно было поэтому, что первоначальное отношеніе

кружковъ другъ къ другу было почти враждебное: каждый считалъ другого въ заблужденіи, и преданность каждаго своимъ идеямъ дѣлала ихъ почти врагами. Различаясь въ основномъ стремленіи, кружки различались своими изученіями и вкусами. Тамъ исключительно господствовали отвлеченная философія и искусство; здѣсь на первомъ планѣ стояло изученіе современной исторіи, любопытство къ реальнымъ явленіямъ общественности, политическіе вопросы. Тамъ увлекались книжной Германіей, и съ пренебреженіемъ смотрѣли на «легкомысленную» Францію; здѣсь не думали отвергать нѣмецкой науки, и даже пламенно увлекались нѣмецкой поэзіей,— но къ нѣмецкой философіи были довольно равнодушны, никакъ не забывали историческаго значенія Франціи и съ интересомъ слѣдили за ходомъ политическихъ идей, которыя въ ней впервые энергически выразились и въ ней же продолжали всего сильнѣе дѣйствовать; здѣсь не хуже знали Гете, Шиллера, Гофмана, Гейне, но смотрѣли на нихъ не съ одной отвлеченной и эстетической точки зрѣнія, и цѣнили ихъ какъ выразителей общественной мысли; здѣсь неспособны были возстать на Шиллера за эстетическіе недостатки, о нихъ даже не думали, потому что восторгались имъ, какъ проповѣдникомъ человѣческаго достоинства, общественной правды и свободы, и въ Гете, за его «объективнымъ» творчествомъ, успѣвали разглядѣть весьма несимпатичный политическій и общественный индифферентизмъ; здѣсь не думали также, что французская литература кончается Ламартиномъ, и гораздо раньше оцѣнили въ ней тѣ возникшія явленія, которыя впослѣдствіи произвели сильное впечатлѣніе и на Бѣлинскаго, какъ напримѣръ, сочиненія Ж. Занда и французскихъ соціальныхъ писателей.

Герцену и нѣкоторымъ изъ его друзей пришлось испытать на первыхъ порахъ (съ 1835) удаленіе изъ Москвы и прожить нѣсколько лѣтъ вдали отъ умственнаго центра и литературнаго движенія. Жизнь въ глуши и одиночествѣ, внѣ дружескаго идеалистическаго кружка, не уничтожила идеализма, и развѣ только сосредоточила его; но она еще лишній разъ напоминала о дѣйствительности, — такъ что этимъ однимъ могла бы, напр., отвратить отъ слишкомъ простодушно-буквальнаго истолкованія метафизической дѣйствительности Гегеля, какъ у друзей Станкевича. Вниманіе къ дѣйствительной жизни, котораго здѣсь съ самаго начала было гораздо больше, чѣмъ въ кружкѣ Станкевича, становилось теперь серьезнымъ интересомъ, который уже не могъ отсутствовать и въ самомъ теоретическомъ размышленіи. Два направленія становились такимъ образомъ прямо противоположными: то, что однимъ каза-

лось разумнымъ и цѣлесообразнымъ, для другихъ подлежало спору или самому рѣшительному отрицанію.

Относительно того, когда и какъ произошла первая встрѣча и знакомство между обоими кружками, и въ особенности между Бѣлинскимъ и Герценомъ — мы встрѣчаемъ разныя показанія или намеки. По однимъ разсказамъ, послѣдній былъ возвращенъ изъ провинціи въ концѣ 1839 года и еще засталъ Бѣлинскаго въ Москвѣ. По другимъ, ихъ первое знакомство началось уже въ Петербургѣ, въ 1840 [1])... Такъ или иначе, Герценъ живо интересовался тѣмъ, что происходило въ литературѣ, и, какъ выше указано, въ «Телескопѣ» была уже помѣщена его статья о Гофманѣ. Послѣ того онъ продолжалъ работать въ ожиданіи удобнаго времени явиться съ своими трудами. Литературное положеніе вещей было ему довольно извѣстно — между прочимъ отъ друзей, навѣщавшихъ его во Владимірѣ. Сближеніе съ Бѣлинскимъ было бы для него не трудно, потому что у нихъ были общіе друзья, — и любопытно, потому что онъ видѣлъ въ Бѣлинкомъ силу и талантъ.

Понятно изъ сказаннаго, что встрѣча двухъ направленій была очень враждебная. Бѣлинскій, съ своей тогдашней точки зрѣнія, никакъ не могъ согласиться съ либеральными теоріями противной стороны, которыя слишкомъ противорѣчили политическому квіэтизму, заимствованному изъ Гегелевой философіи. Споръ перешелъ именно на общественные предметы, и разсказываютъ, что когда Бѣлинскому поставили въ упоръ вопросъ о разумной дѣйствительности въ примѣненіи къ настоящему, къ положенію русскаго общества, онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ подтвердилъ *всѣ* послѣдствія своего взгляда, — и прочелъ «Бородинскую годовщину» Пушкина (которую «любилъ читать съ Кудрявцевымъ»).

Послѣ такого отвѣта, разсужденіе сдѣлалось невозможнымъ, и противники разошлись враждебно. Бѣлинскій, еще въ половинѣ 1839 года готовившій въ «Отечественныя Записки» статью о Менцелѣ, написалъ теперь извѣстную статью о «Бородинской годовщинѣ», которая должна была еще разъ поразить его противниковъ — и которая впослѣдствіи, когда взгляды его измѣнились въ другую сторону, стала для него упрекомъ, непріятнымъ воспоминаніемъ, которое ему хотѣлось истребить...

Панаевъ, (который, впрочемъ, ничего не говоритъ о томъ, чтобы Бѣлинскій встрѣчался въ это время съ Герценомъ) разска-

[1]) Въ письмѣ отъ 16 апрѣля 1840, изъ Петербурга, къ Н. Х. Кетчеру, общему пріятелю обоихъ кружковъ, Бѣлинскій посылаетъ поклоны Герцену, Н. П. Огареву и Сатину; съ послѣднимъ онъ познакомился еще на Кавказѣ въ 1837, съ первыми, быть можетъ, въ Москвѣ, въ 1839.

зываетъ о томъ чрезвычайномъ возбужденіи, въ какомъ былъ Бѣлинскій, написавши эту статью.

«Черезъ нѣсколько дней послѣ моего возвращенія въ Москву (въ октябрѣ 1839), — разсказываетъ Панаевъ, — Бѣлинскій принесъ мнѣ прочесть свою рецензію на книгу Ѳ. Глинки: «Бородинская Годовщина».[1]), которую онъ отослалъ для напечатанія въ «Отеч. Записки».

«— Послушайте-ка, — сказалъ онъ мнѣ: — кажется, мнѣ еще до сихъ поръ не удавалось ничего написать такъ горячо и такъ рѣшительно высказать наши убѣжденія. Я читалъ эту статейку Мишелю Бакунину, и онъ пришелъ отъ нея въ восторгъ, — ну а мнѣніе его чего-нибудь да стоитъ. Да что много говорить, я самъ чувствую, что статейка *вытанцовалась*.

«И Бѣлинскій началъ мнѣ читать ее съ такимъ волненіемъ и жаромъ, съ какимъ онъ никогда ничего не читалъ, ни прежде, ни послѣ.

«Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бѣлинскій, языкъ этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженнаго паѳоса, произвелъ во мнѣ нервное раздраженіе... Бѣлинскій самъ былъ явно раздраженъ нервически...

«Удивительно! превосходно! повторялъ я во во время чтенія и по окончаніи чтенія: — но... я вамъ замѣчу одно...

«— Я знаю, знаю что, не договаривайте, — перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій: — меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни думали...

«Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.

«— Да, это мои убѣжденія, — продолжалъ онъ, разгорячаясь болѣе и болѣе... — Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... они знаютъ это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ — вы вѣдь меня еще мало знаете...

«Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мной. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли,

---

[1]) У Бѣлинскаго было двѣ статьи о «Бородинской Годовщинѣ» — одна по поводу Жуковскаго и еще другой книжки («Отеч. Зап.» 1839, № 10), и другая по поводу «Очерковъ бород. сраженія» Ѳ. Глинки (От. Зап. 1839, № 12; Сочин. III, стр. 209 и 265).

«—Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!... Мнѣ легче умереть съ голода — я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя...

«Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живо врѣзался въ мою память. Бѣлинскій какъ будто теперь предо мною...

«Онъ бросился на стулъ запыхавшись... и, отдохнувъ немного, продолжалъ съ ожесточеніемъ:

«—Эта статья рѣзка, — я знаю; но у меня въ головѣ рядъ статей еще болѣе рѣзкихъ... Ужъ какъ же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмѣливается судить объ искусствѣ, ничего не смысля въ немъ!»...

Приведенный разговоръ такъ похожъ на вспышку человѣка, какъ Бѣлинскій, задѣтаго въ своихъ долго лелѣянныхъ убѣжденіяхъ.

Понятія Бѣлинскаго въ эпоху статей о «Бородинской Годовщинѣ» были таковы, что нѣкоторые считали, что онъ былъ тогда близокъ къ славянофильству. Но сличеніе его тогдашнихъ мыслей съ главными положеніями славянофильства поставитъ внѣ сомнѣнія ихъ коренную разницу. Въ самомъ дѣлѣ, къ какимъ бы понятіямъ ни приходилъ Бѣлинскій въ порывахъ своего развитія, онъ всегда отличался тѣмъ безпокойнымъ движеніемъ мысли и чувства, которое не дало бы ему остановиться на неподвижномъ догматизмѣ славянофильства и не могло не привести его, въ концѣ-концовъ, къ рѣшенію вопросовъ дѣйствительности. Исходныя точки были совершенно различны: славянофилы начинали съ признанія извѣстнаго преданія,—теологическаго и историческаго, — и ученіе ихъ, собственно говоря, состояло только въ развитіи и доказательствѣ этого преданія. У Бѣлинскаго такого преданія не было; единственнымъ основаніемъ своихъ философскихъ разсужденій онъ считалъ отвлеченную идею,—куда бы ни приводило ея развитіе, и если сходился иногда съ преданіемъ, то лишь вслѣдствіе того, что оно не казалось противорѣчащимъ его теоретическому выводу, а вовсе не ради его, какъ преданія; и позднѣе, когда въ его понятіяхъ готовился поворотъ, окончательно опредѣлившій потомъ его направленіе, его исходной точкой была дѣйствительность, жизнь, человѣческое достоинство съ его нравственными требованіями, — а преданіе и ссылавшіяся на него формы жизни не имѣли для него обязательной силы. Въ своемъ консерватизмѣ онъ только повидимому былъ близокъ къ славянофильству, — потому что и тогда его теорія относилась собственно къ настоящей государственности, ко-

торая для него оправдывалась гегелевской философіей, а не бытовымъ (традиціоннымъ) формамъ, которыми дорожили славянофилы. Словомъ, разница мнѣній и тогда была велика. Такъ, Бѣлинскій не могъ выносить того особеннаго вида славянофильства, который представляли Погодинъ и Шевыревъ, и начинавшееся славянофильство К. Аксакова казалось ему китайскимъ элементомъ и недостаткомъ «движенія». Такъ, съ самаго начала и всегда Бѣлинскій былъ величайшимъ поклонникомъ Петра Великаго, который и въ консервативномъ, и въ либеральномъ періодѣ его мнѣній казался ему идеаломъ патріота...

Такимъ образомъ, Бѣлинскій, при всемъ разногласіи съ кружкомъ Герцена (въ 1839), былъ однако гораздо ближе къ нему, чѣмъ къ возникавшему славянофильству. Когда послѣднее стало проповѣдывать обязательную силу преданій, подѣлило цивилизацію на восточную и западную, и обрекло послѣднюю гибели, для Бѣлинскаго не было возможности идти рядомъ съ славянофилами. Все его личное развитіе, весь порядокъ идей, которыя онъ стремился усвоить русской литературѣ, все это шло изъ того западнаго источника, который славянофилы предавали осужденію. Въ этомъ пунктѣ кружокъ Станкевича совершенно сходился съ друзьями Герцена: и тѣ, и другіе высоко цѣнили западную цивилизацію, и разногласіе было лишь въ одномъ истолкованіи ея и выборѣ ея представителей: для однихъ это была германская философія. Гегель и его школа; для другихъ это было политическое движеніе европейскихъ обществъ, наслѣдованное отъ прошлаго столѣтія.

Но въ самой «западной» партіи, еще раздѣленной тогда на два лагеря, было пока довольно предметовъ для спора. Споръ былъ, повидимому, рѣзкій и раздражительный; онъ подѣйствовалъ на Бѣлинскаго потрясающиимъ образомъ и, не убѣдивши его въ ту минуту, оставилъ за собой впечатлѣніе, которое въ значительной степени содѣйствовало той сильной перемѣнѣ, какая произошла въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго по его переѣздѣ въ Петербургъ.

Въ самомъ дѣлѣ, это было едва ли не первое столкновеніе, гдѣ любимыя идеи Бѣлинскаго получали энергическій отпоръ въ самой сущности и самымъ чувствительнымъ образомъ, — гдѣ онъ встрѣчалъ противника такой силы, какого ему еще не приводилось встрѣчать. Въ кругу друзей, Бѣлинскому пришлось выдержать множество диспутацій, часто имъ самимъ вызываемыхъ; онъ не разъ выступалъ за предѣлы, признаваемые кружкомъ; переработалъ самъ много понятій, приближаясь къ свободному пониманію жизни; но на этотъ разъ, поставленныя ему возраженія подвергали сомнѣнію все, считавшееся доказаннымъ и опредѣленнымъ; вопросъ сводился

на новую почву, на которую онъ еще не вступалъ. Противорѣчіе было вопіющее, и его не могла покрыть изворотливая діалектика Бакунина. Вопросъ шелъ о той «разумной дѣйствительности», въ которой Бѣлинскій былъ тогда убѣжденъ; и противникъ, не привыкшій или даже незнакомый съ ухищренной терминологіей, — которая своею неопредѣленностью вообще нерѣдко скрадывала простой практическій смыслъ вопросовъ, — этотъ противникъ именно свелъ отвлеченный принципъ на осязательную практическую дѣйствительность, и думалъ, что устрашитъ Бѣлинскаго окончательными послѣдствіями принимаемой имъ «разумности». Бѣлинскій не испугался,—и это былъ, конечно, одинъ изъ замѣчательныхъ примѣровъ того, съ какою стойкостью онъ держался своихъ убѣжденій, на какую безстрашную послѣдовательность онъ былъ способенъ.

Противникъ, съ которымъ ему пришлось имѣть дѣло, также былъ замѣчателенъ. Кружокъ друзей Бѣлинскаго вообще состоялъ изъ людей талантливыхъ, нѣкоторые отличались очень сильнымъ умомъ; но и въ подобномъ кругу новая личность выдѣлялась умомъ необыкновенно живымъ, блестящимъ остроуміемъ, наконецъ обширными свѣдѣніями. Его развитіе, рано начавшееся, было также богато разнообразными впечатлѣніями, и, по содержанію свѣдѣній, Герценъ, можно сказать положительно, имѣлъ перевѣсъ надъ Бѣлинскимъ и его друзьями. Развитіе Герцена шло совсѣмъ иными путями. Разбуженная рано мысль еще въ юношескіе годы вникала въ окружающее и начинала понимать его; еще въ эти годы почувствовалось недовѣріе къ людямъ... Юношескій идеализмъ, какъ въ кружкѣ Станкевича и сначала у самого Бѣлинскаго, находилъ себѣ отвѣтъ и пищу въ Шиллерѣ; но Герценъ никогда не зналъ того молодого упрямаго доктринерства, которое заставило Бѣлинскаго отречься отъ Шиллера и возненавидѣть его ради философскаго квіэтизма и эстетической «объективности», принимаемыхъ не столько по внутреннему чувству, сколько для выполненія теоріи. Напротивъ, здѣсь Шиллеровскій идеализмъ сохранялся весь, только расширяясь новыми понятіями и опытами жизни.

Взамѣнъ абстрактной философіи и эстетики, поглощавшей кружокъ Станкевича, Герценъ владѣлъ чрезвычайно разнообразной начитанностью. Крайнему идеализму онъ могъ противопоставить историческія изученія, особенно современную исторію; отвлеченностямъ — реальныя возраженія изъ области естествознанія, которое было давно его интересомъ и было совершенно незнакомо его противникамъ, развѣ только въ отрывочныхъ образчикахъ натуръ-философіи Шеллинга и Окена. Наконецъ, вниманіе Герцена давно было направлено на ту непосредственную дѣйствительность

жизни, которая еще ускользала отъ Бѣлинскаго и его друзей за дѣйствительностью философской, или урывками показывалась имъ въ «объективной» поэзіи.

По всей вѣроятности, нѣчто подобное такимъ возраженіямъ Бѣлинскій встрѣтилъ уже отъ Грановскаго: изъ письма Бѣлинскаго къ Станкевичу можно заключать, что ихъ несогласіе не ограничилось только эстетическими вопросами. При всей обычной мягкости своего образа мыслей, Грановскій безъ сомнѣнія уже тогда явился съ тѣми взглядами просвѣщеннаго либерализма, которымъ Бѣлинскій, съ точки зрѣнія «разумной дѣйствительности» былъ еще чуждъ... Встрѣча съ Герценомъ (или съ его друзьями) наносила новый ударъ. Бѣлинскій былъ задѣтъ за живое и раздраженъ: такъ объясняютъ появленіе статьи о «Бородинской Годовщинѣ».

Но и другая сторона, также раздраженная, не считала за собой побѣды.. Для уясненія спора необходимо было и ей узнать тѣ источники, изъ которыхъ противники брали свою аргументацію. Герценъ принялся за изученіе Гегелевской философіи, которая произвела и на него сильное впечатлѣніе и безъ сомнѣнія способствовала болѣе прочному установленію его собственныхъ идей: онъ приступилъ къ ней уже приготовленный другими изученіями и много передумавшій; потому она не измѣнила основного теченія его мыслей, даже могла доставить имъ новыя опоры, но изъ нея объяснялся ему образъ мыслей противной стороны... Когда противники снова встрѣтились (уже въ Петербургѣ), ихъ взаимное вліяніе другъ на друга успѣло опредѣлиться, и они увидѣли источникъ ихъ противорѣчія.

Въ октябрѣ 1839, Бѣлинскій оставилъ Москву.

ГЛАВА VI.

Первые годы въ Петербургѣ.—Впечатлѣнія новой жизни.—Статьи о «Бородинской Годовщинѣ» и «Менцелѣ».—Новый кругъ.—Встрѣча съ московскими противниками.—Сомнѣнія и внутренняя борьба.—Кольцовъ.—Окончательный поворотъ въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго.

1839—1841.

«Въ мысли о Петербургѣ для меня есть что-то горькое, сжимающее грудь тоскою, но вмѣстѣ съ тѣмъ и что-то, дающее силу, возбуждающее дѣятельность и гордость духа», — писалъ Бѣлинскій еще въ ноябрѣ 1837 Бакунину, когда занятъ былъ первыми планами переселенія въ Петербургъ. Тѣ же ощущенія владѣли имъ теперь, когда эти планы наконецъ исполнялись. Въ самомъ дѣлѣ, предчувствіе было вѣрно: переѣздъ въ Петербургъ былъ настоящимъ переломомъ въ жизни Бѣлинскаго. Онъ чувствовалъ, что долженъ вступить въ какую-то новую сферу, которая должна разрушить многое изъ того, чѣмъ онъ жилъ, что стало привычкой его существованія — его дружескій кругъ, его идеальныя мечтанія и самый взглядъ на вещи, вырабатываемый съ такими усиліями ума и души; это «сжимало его грудь тоскою». Но въ то же время упорное предчувствіе говорило ему (и онъ это не разъ высказывалъ), что только Петербургъ откроетъ его настоящую дорогу, что тамъ разовьется дѣятельность, составлявшая глубочайшую потребность его природы; что, испытавши тяжелый нравственный переломъ, онъ найдетъ себѣ внутреннее удовлетвореніе, и его трудъ исполнитъ его гордымъ сознаніемъ.

Петербургъ прежде всего отрывалъ Бѣлинскаго отъ тѣснаго кружка, въ которомъ до тѣхъ поръ сосредоточивалась его жизнь,

и внѣшняя и внутренняя, и который такъ способствовалъ развитію и укрѣпленію его крайне-идеалистическаго настроенія. Эта жизнь въ кружкѣ уже исчерпывала себя къ концу пребыванія Бѣлинскаго въ Москвѣ; личные раздоры были признакомъ, что въ кружкѣ является что-то ненормальное, натянутое; нужно было освѣженіе отъ душнаго воздуха идеалистической экзальтаціи, выходъ въ простую дѣйствительную жизнь Переселеніе въ Петербургъ было кризисомъ. Онъ былъ мучителенъ для Бѣлинскаго, потому что надо было отказаться отъ давней привычки, становившейся второю природою, отказаться отъ постоянныхъ личныхъ связей, гдѣ, кромѣ пищи идеализму, Бѣлинскій находилъ себѣ и искреннее сочувствіе, въ которомъ такъ нуждался. Въ Петербургѣ его окружили новые люди; онъ встрѣчалъ и отъ нихъ много искренняго расположенія, но для дружбы съ ними не было у него тѣхъ «историческихъ основаній», которыя онъ считалъ необходимыми и которыя дѣйствительно для нея необходимы. Нужно было время, чтобы онъ освоился съ новой обстановкой.

Съ другой стороны, Петербургъ произвелъ на него свое впечатлѣніе. Вообще, онъ поразилъ Бѣлинскаго какъ новое явленіе русской жизни, невольно приковывавшее къ себѣ вниманіе [1]). Та «дѣйствительность», которой съ такой ревностью доискивался Бѣлинскій въ своихъ кабинетныхъ теоріяхъ, представала передъ нимъ во всей своей реальности и—была рѣшительно непохожа на теорію. Эта дѣйствительность сама бросалась въ глаза; отъ нея нельзя было укрыться, какъ въ Москвѣ, въ своемъ кружкѣ, гдѣ друзья жили какъ въ укромномъ захолустьѣ, не видя и не слыша той машины, которая управляла ихъ теоретической дѣйствительностью. Здѣсь машина была на лицо, и Бѣлинскій, какъ ни избѣгалъ встрѣчъ съ чужимъ ему міромъ, не могъ ея не видѣть и не чувствовать на себѣ ея толчковъ... Здѣсь въ первый разъ «общество» является ему не какъ отвлеченное представленіе, а какъ живое собраніе извѣстныхъ сословій, разрядовъ людей, типовъ, характеровъ; онъ долженъ былъ увидѣть и настоящія свойства и вліяніе этого «общества», тяготѣющее надъ нимъ самимъ и его дѣятельностью. Ему надо было только отложить на минуту въ сторону теоретическія отвлеченности, чтобы жизнь явилась передъ нимъ въ совершенно иномъ свѣтѣ... Передъ нимъ настоятельно тѣснятся вопросы, какихъ онъ не задавалъ себѣ прежде, и для его правдиваго чувства не

---

1) Ср. первыя статьи, писанныя Бѣлинскимъ въ Петербургѣ (театральные отчеты; Соч. III, 168 и слѣд.), статью «Петербургъ и Москва», 1845 г. (Соч. т. XII) и др.

могли не представляться рѣшенія, которыя никакъ не укладывались въ рамки прежняго идеализма.

Всѣ эти новыя впечатлѣнія и испытанія подѣйствовали на Бѣлинскаго тяжелымъ, подавляющимъ образомъ, и его нравственное состояніе было тѣмъ труднѣе, что онъ чувствовалъ себя совершенно одинокимъ. Правда, въ первое же время, и послѣ, онъ встрѣтилъ въ Петербургѣ и нѣкоторыхъ московскихъ друзей; нашелъ преданныхъ друзей въ Панаевѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ лицахъ этого кружка; былъ совершенно доволенъ редакціей «Отеч. Записокъ», о которой отзывался съ великими похвалами; онъ съ перваго раза сталъ много работать, — но прежняго кружка не было, онъ оставался одинокимъ, когда его мучила эта внутренняя борьба, эта «раздѣлка съ прошлымъ»... Потребность высказаться, подѣлиться своимъ страданіемъ и возникавшими новыми идеями обращаетъ его къ старой дружбѣ: съ пріѣзда въ Петербургъ Бѣлинскій начинаетъ дѣятельную переписку съ Боткинымъ, которая составляетъ одинъ изъ любопытнѣйшихъ и значительнѣйшихъ фактовъ нашей новѣйшей литературной исторіи. Разлука вновь завязала разстроенную дружбу; друзья, оба въ одно время, посылаютъ одинъ другому первыя посланія, которыя опять скрѣпили ихъ отношенія. Боткинъ былъ въ эти годы ближайшимъ изъ его друзей московскаго круга; теперь онъ былъ единственнымъ человѣкомъ, которому онъ могъ вполнѣ высказывать волновавшія его чувства, тревоги и сомнѣнія: петербургскіе друзья, при всей ихъ привязанности къ нему, были еще ему чужды, — Бѣлинскій даже въ самыхъ серьезныхъ между ними видѣлъ много «петербуржества». Боткинъ одинъ имѣлъ въ послѣдніе годы его полное сочувствіе и довѣріе; ему извѣстно было все прошлое, ему одному знакома была вполнѣ та «рефлексія», черезъ которую проходила у Бѣлинскаго всякая мысль, всякое ощущеніе, и которая теперь овладѣвала Бѣлинскимъ съ особенной силой. Нѣсколько позднѣе, въ іюнѣ 1840, Бѣлинскій говоритъ Боткину: ...«Есть у меня на душѣ многое, чего я никому не скажу и никому не имѣю охоты сказать, кромѣ тебя. Не говоря уже о моихъ внутреннихъ скорбяхъ и терзаніяхъ, которыя, кромѣ тебя, никому не понятны, у меня и объ искусствѣ какъ-то мало охоты говорить съ кѣмъ бы то ни было, кромѣ тебя...» И въ началѣ своей петербургской жизни, въ первомъ приступѣ внутренней борьбы Бѣлинскій въ особенности почувствовалъ эту тѣсную близость съ старымъ другомъ. Это первое время отличается и наибольшею плодовитостью переписки: за первымъ письмомъ слѣдуетъ рядъ длинныхъ посланій, гдѣ Бѣлинскій *дѣлится* съ Боткинымъ всѣми разнообразными впечатлѣніями своей

борьбу прошлаго съ новымъ, встрѣтившимъ его теченіемъ идей. Въ письмахъ Бѣлинскаго остался цѣлый дневникъ его внутренней жизни, исполненной историческаго и психологическаго интереса.

Основная черта этой внутренней жизни заключается именно въ томъ, что для Бѣлинскаго все больше и больше разъясняется фантастическое преувеличеніе его прежней точки зрѣнія и раскрывается иной взглядъ на вещи, который наконецъ и становится его господствующимъ воззрѣніемъ. Этотъ переворотъ обнимаетъ всѣ его взгляды, философскіе, эстетическіе, общественные. Первыя работы его въ Петербургѣ (статьи по поводу «Бородинской Годовщины», начатыя въ Москвѣ; «Менцель», задуманный также еще въ Москвѣ; статья о «Горѣ отъ ума») писаны еще согласно его московскимъ понятіямъ, и эти понятія высказаны даже съ рѣзкостью, возбужденной услышанными въ Москвѣ противорѣчіями; но мало-помалу Бѣлинскій противъ воли убѣждается, что гегеліянская философія не есть столь абсолютная истина, какъ онъ думалъ; что прежняя исключительно эстетическая точка зрѣнія не даетъ полной оцѣнки искусства и способна приводить къ крайнему заблужденію, и онъ мучится воспоминаніемъ о своихъ заблужденіяхъ, какъ угрызеніемъ совѣсти. Весь этотъ переломъ произошелъ въ теченіе перваго же года его пребыванія въ Петербургѣ, и произошелъ въ немъ самостоятельнымъ развитіемъ: постороннія вліянія, которыя дѣйствовали до извѣстной степени, были только поводомъ, а главной причиной перелома было его собственное развитіе, встрѣча съ непосредственной дѣйствительностью, которой до того времени онъ не видѣлъ за философскими фантасмагоріями московскаго кружка. На него подѣйствовали не столько теоретическія возраженія, сколько сама жизнь, и, разъ ее увидѣвъ, разъ надъ нею задумавшись, онъ самъ передѣлалъ всю систему своихъ понятій... Въ одно прекрасное утро его новые петербургскіе друзья и сама редакція «Отеч. Записокъ», повторяя вещи, слышанныя ими отъ самого Бѣлинскаго, увидѣли, къ своему изумленію, что Бѣлинскій говоритъ совсѣмъ иное; они не замѣтили совершавшейся перемѣны...

Въ письмѣ къ Бакунину Бѣлинскій такъ разсказываетъ о началѣ своей переписки съ Боткинымъ изъ Петербурга [1]). Бѣлинскій разстался съ Боткинымъ холодно, уѣзжая изъ Москвы: прежняя ссора еще тяготѣла надъ нимъ...

«Я уѣхалъ въ Питеръ,—разсказываетъ Бѣлинскій.—Внутреннія страданія мои обратились въ какое то-сухое ожесточеніе: для

---

[1]) Отъ этого письма мы знаемъ только отрывокъ, безъ обозначенія времени; но, кажется, отъ начала 1840 г.

меня никто не существовалъ, ибо я и самъ для себя былъ мертвъ. Наконецъ, Б[откинъ] снова воскресъ для меня. Полтора мѣсяца писалъ я къ нему, полтора мѣсяца душа моя рвалась къ нему и всякая сколько-нибудь теплая минута неразрывно связывалась съ тоскливою думою о немъ. Я ощущалъ его въ себѣ: мнѣ казалось, что каждая капля крови моей полна имъ. И что-жъ? посылаю къ нему письмо; а дня черезъ два получаю отъ него: мы сошлись въ потребности говорить другъ съ другомъ, сошлись, не сговариваясь. Въ каждой строкѣ его, въ каждомъ словѣ, я видѣлъ, чувствовалъ, чтó такое для меня этотъ человѣкъ и чтó я для него. Получаю отъ него отвѣтъ на письмо мое — начинаю читать — нѣтъ, у меня нѣтъ словъ, чтобы выразить это впечатлѣніе. Я былъ и взволнованъ, и восторженъ, и умиленъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ — пораженъ и изумленъ: я никогда не могъ предполагать въ человѣкѣ столько любви и такой любви».

Обращаемся къ самой перепискѣ Бѣлинскаго съ Боткинымъ. Эта переписка сохранилась, къ сожалѣнію, не вполнѣ; но сохранилась бóльшая доля (которую мы, кажется, имѣли въ рукахъ въ полномъ ея составѣ), и это собраніе, все-таки очень обширное, составляетъ важнѣйшій матеріалъ для біографіи Бѣлинскаго въ первые годы его петербургской жизни. До сихъ поръ онъ оставался въ литературѣ неизвѣстенъ, и мы постараемся познакомить читателя съ этой любопытной перепиской рядомъ цитатъ, которыя лучше всякаго изложенія представятъ тогдашнее настроеніе Бѣлинскаго и всѣ волненія его внутренней жизни его собственными словами въ задушевной дружеской бесѣдѣ [1]). Первое письмо изъ Петербурга, намъ извѣстное, помѣчено 22-мъ ноября 1839 г. Не знаемъ, было ли это именно то письмо, о которомъ упоминаетъ Бѣлинскій въ приведенномъ отрывкѣ; но, вѣроятно, Бѣлинскій разумѣлъ другое, нѣсколько позднѣйшее письмо, очень длинное, писанное въ нѣсколько пріемовъ, отъ 16 декабря 1839 г. до начала февраля слѣдующаго года, и которое, по своему задушевному тону, по глубокой потребности сочувствія, дѣйствительно могло бы считаться полнымъ возстановленіемъ ихъ дружбы.

«Виноватъ, другъ Василій,—пишетъ Бѣлинскій, отъ 22 ноября,— ты писалъ ко мнѣ, спрашивалъ, безпокоился — одно мое слово — и ты былъ бы спокоенъ... Чтó дѣлать! Я нахожусь въ какой-то апатіи, въ которой, впрочемъ, есть все, кромѣ участія ко всему тому,

[1]) Переписка Бѣлинскаго съ другими лицами за это время извѣстна намъ только частью, и мы воспользуемся изъ нея нѣсколькими подробностями; относительно многихъ писемъ, недостающихъ въ нашемъ собраніи, мы не знаемъ даже, сохранились ли они вообще. Но письма къ Боткину (до половины 1843 года), во всякомъ случаѣ, занимаютъ въ этомъ матеріалѣ главное мѣсто.

что не я. Я и чувствую, и мыслю, порою даже и страдаю; но ни до тебя и ни до кого изъ васъ мнѣ дѣла нѣтъ, какъ будто вы всѣ не существуете и никогда не существовали. Или, видно, настало время разсчета съ самимъ собою, или чортъ знаетъ что—но вотъ вамъ фактъ: понимайте и толкуйте его, какъ хотите. Богъ да благословитъ васъ, а я не виноватъ.

«Питеръ—городъ знатный, Нева-рѣка пребольшущая, а петербургскіе литераторы — прекраснѣйшіе люди послѣ чиновниковъ и господъ-офицеровъ. Мнѣ очень, очень весело: о чемъ ни заговоришь—столько сочувствія. Однимъ словомъ: Петербургъ — молодой, молодой человѣкъ, но говоритъ совсѣмъ такъ, какъ старикъ»... [1]).

Въ Петербургѣ онъ встрѣтился съ М. Бакунинымъ, съ которымъ у него уже и до этого времени не было прежнихъ дружныхъ отношеній. И теперь Бѣлинскій то мирился, то снова враждовалъ съ нимъ. Къ прежнимъ причинамъ раздора присоединилась еще новая—вмѣшательство М. Бакунина въ извѣстныя отношенія, гдѣ былъ заинтересованнымъ лицомъ Боткинъ. Впослѣдствіи (въ 1840) это вмѣшательство окончательно пересорило Бѣлинскаго съ М. Бакунинымъ. Но теперь, въ концѣ 1839, эти обстоятельства еще не выяснились, Бѣлинскій вновь принималъ участіе въ своемъ бывшемъ другѣ, и думалъ объяснять его характеръ и поступки неустановившимся развитіемъ, трудными для него «процессами духа». Нѣчто подобное Бѣлинскій находилъ и въ своемъ тогдашнемъ состояніи: оно уже теперь представляется ему такимъ труднымъ процессомъ,—бываютъ минуты, когда человѣку бываетъ не до другихъ, а только до себя.

«Я теперь собственнымъ опытомъ узналъ возможность такого состоянія, — говоритъ Бѣлинскій, обращаясь къ разсказу о себѣ.— Мнѣ теперь ни до кого нѣтъ дѣла, я никого не люблю, ни въ комъ не принимаю участія,—потому что для меня настало такое время, когда я увидѣлъ ясно, что или мнѣ надо стать тѣмъ, чѣмъ я долженъ быть, или отказаться отъ претензіи на всякую жизнь, на всякое счастіе. Для меня одинъ выходъ -- ты знаешь какой; для меня нѣтъ выхода въ Jenseits, въ мистицизмѣ и во всемъ томъ, что составляетъ выходъ для полу-богатыхъ натуръ и полу-павшихъ душъ. Я теперь еще больше понимаю, отчего на святой Руси такъ много пьяницъ, и почему у насъ *спиваются св кругу* все умные, по общественному мнѣнію, люди; но я не могу и спиться... Мнѣ остается одно: или сдѣлаться дѣйствительнымъ, или, до тѣхъ поръ, пока жизнь не погаснетъ въ тѣлѣ, пѣть вотъ эту пѣсенку—

Я увялъ и увялъ
Навсегда, навсегда,
И блаженства не зналъ
Никогда, никогда!

---

[1]) Фраза Бобчинскаго о Хлестаковѣ.

Всѣмъ постылый, чужой,
Никого не любя,
Въ мірѣ странствую я
Какъ вампиръ гробовой» и проч. [1]).

Бѣлинскій замѣтилъ, нѣсколько неожиданно для себя, что, несмотря на вражду, которая ихъ раздѣляла еще съ Москвы, Бакунинъ очень цѣнилъ Бѣлинскаго и пропагандировалъ его имя вездѣ, гдѣ могъ; «гдѣ бы онъ ни явился (замѣчаетъ Бѣлинскій въ письмѣ къ Боткину), съ кѣмъ бы ни познакомился, тамъ и тотъ уже знаетъ Бѣлинскаго». Бесѣды съ Бакунинымъ, когда не касались личныхъ вопросовъ, сохраняли для Бѣлинскаго прежній интересъ. «Я немного побылъ съ нимъ въ Питерѣ, — разсказываетъ Бѣлинскій, — но много узналъ отъ него новаго, много уяснились мнѣ и собственныя мои идеи. Это одинъ человѣкъ, съ которымъ побыть вмѣстѣ, значитъ для меня сдѣлать большой шагъ впередъ въ мысли—дьявольская способность передавать! Да, я вновь познакомился съ М...»

На первое время, вопросы, тревожившіе Бѣлинскаго, сколько видно, были тѣ же старые вопросы «абсолютной» жизни, теоретической «дѣйствительности». Онъ начиналъ видѣть, что извѣстная формула о «разумной дѣйствительности» невозможна въ томъ смыслѣ, какъ онъ до сихъ поръ ее разумѣлъ, но все еще старался оградить ее въ теоріи, признавая практическія исключенія. Первыя впечатлѣнія «общества» въ Петербургѣ были отталкивающія, но онъ не опредѣляетъ ближе своихъ впечатлѣній: его раздраженіе и иронія высказаны еще въ смыслѣ прежнихъ понятій — онъ видитъ въ обществѣ только profanum vulgus, лишенное «абсолютныхъ» интересовъ.

Въ письмѣ слѣдуютъ опять первыя впечатлѣнія петербургской жизни, въ которыхъ проглядываетъ иногда сожалѣніе о покинутомъ московскомъ кружкѣ, и среди желчныхъ замѣчаній сказывается оскорбленный идеализмъ московскихъ временъ. Въ первыхъ письмахъ еще только легкими чертами закрадывается сомнѣніе въ вѣрности старыхъ теорій...

«Несмотря на мое рѣшеніе избѣгать всякихъ знакомствъ, я завелъ ихъ бездну. Разумѣется, я прежде всего познакомился съ Краевскимъ. Чрезвычайно добрый, теплый и умный человѣкъ! Въ немъ есть даже и чувство изящнаго, но оно не развито,—и потому живую, энергическую статейку о Цуриковѣ писалъ онъ, о Булгаринѣ тожъ (№ 11 О. З.), но и о повѣстяхъ Н. Ф. Павлова писалъ все онъ же, все Краевскій же. Плетневъ добрый и простой человѣкъ,

[1]) Бѣлинскій не разъ примѣнялъ къ себѣ эти стихи Полежаева, и въ прежнее время и послѣ.

но онъ теперь на покоѣ у жизни. Князь Одоевскій принялъ и обласкалъ меня, какъ нельзя лучше. Онъ очень добрый и простой человѣкъ, но повытерся свѣтомъ и жизнью, и потому безцвѣтенъ, какъ изношенный платокъ. Теперь его больше всего интересуетъ мистицизмъ и магнетизмъ. Очень также хорошо отзывался онъ и о моемъ «Пятидесятилѣтнемъ Дядюшкѣ» [1]). У Панаева есть закадычный другъ Языковъ: это, братъ, московскій человѣкъ, и я выключаю его изъ числа знакомыхъ... Да, и въ Питерѣ есть люди, но это все москвичи, хотя бы они и въ глаза не видали Бѣлокаменной. Собственно Питеру принадлежитъ все половинчатое, полуцвѣтное, сѣренькое, какъ его небо, обтершееся и гладкое, какъ его прекрасные тротуары. Въ Питерѣ только поймешь, что религія [2]) есть основа всего, и что безъ нея человѣкъ—ничто, ибо Питеръ имѣетъ необыкновенное свойство оскорбить въ *человѣкѣ* все святое и заставить въ немъ выдти наружу все сокровенное. Только въ Питерѣ человѣкъ можетъ узнать себя — человѣкъ онъ, полу-человѣкъ или скотина: если будетъ страдать въ немъ — человѣкъ; если Питеръ полюбится ему—будетъ или богатъ или дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ. Самъ городъ красивъ, но основанъ на *плоскости*, и потому Москва — красавица передъ нимъ. Въ театрѣ я былъ два раза (т.-е. въ Александринскомъ) и въ третій страхъ не хочется идти... Публика—господа офицеры и чиновники—...позоръ и оскорбленіе человѣчества и общества...»

Бѣлинскій посылаетъ поклоны всѣмъ своимъ московскимъ друзьямъ, проситъ писать, жалѣетъ, что безъ Кудрявцева ему не съ кѣмъ читать ни «Иліады», ни Пушкина... Далѣе:

«Булгаринъ, встрѣтясь съ Панаевымъ на Невскомъ, на другой день послѣ выхода 11 № О. З., сказалъ — почтеннѣйщій, почтеннѣйшій—бульдога-то это вы привезли меня травить?

«Скажи Грановскому, что чѣмъ больше живу и думаю, тѣмъ больше, *кровнѣе* люблю Русь, но начинаю сознавать, что это съ ея субстанціальной стороны, но ея опредѣленіе [3]), ея дѣйствительность настоящая, начинаютъ приводить меня въ отчаяніе — грязно, мерзко, возмутительно-нечеловѣчески, — я понимаю *Фроловыхъ*...

«Твой переводъ «Ряса Монаха» я читалъ и перечитывалъ, упивался самъ и упоевалъ другихъ—теперь онъ въ рукахъ у кн. Одоевскаго. Гоголя видѣлъ два раза, во второй обѣдалъ съ нимъ у Одоевскаго. Хандритъ, да есть отъ чего, и все съ ироническою улыбкою спрашиваетъ меня, какъ мнѣ понравился Петербургъ. Невскій проспектъ чудо, такъ что перенесъ бы его, да Неву, да нѣсколько человѣкъ — въ Москву.

«Бога ради о моихъ отзывахъ о Питерѣ и его литераторахъ—никому нигугу, особенно объ Од. Каково я отдѣлалъ Загоскина?

---

[1]) Замѣчаніе, сдѣланное какъ будто иронически.

[2]) Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, это слово надо понимать не въ теологическомъ, а въ философскомъ значеніи.

[3]) Т.-е. внѣшнія, частныя выраженія ея сущности.

Статейки о Зотовѣ, Повѣсѣ, Иліадѣ — тоже мои — очень хорошія статейки»... [1]).

Вскорѣ послѣ того, Бѣлинскій снова пишетъ къ Боткину, отъ 30 ноября. «Мой милый, добрый и бѣдный Василій, — начинаетъ онъ, — письмо твое къ Панаеву поразило меня страннымъ впечатлѣніемъ. Какъ? неужели дѣло приняло такой дурной оборотъ? Я никакъ не ожидалъ этого...» Рѣчь идетъ объ упомянутой сердечной исторіи Боткина. Бѣлинскій упрекаетъ себя, что не писалъ ему раньше, но отвергаетъ, какъ нелѣпость, подозрѣніе его Боткинымъ въ «желаніи мстить за старое»,—въ которомъ они оба «равно виноваты»,—и опять ссылается на свое тяжелое внутреннее состояніе:

«Чортъ знаетъ, словно какой демонъ овладѣлъ мною: не могъ руки поднять, не могъ приневолить себя написать къ тебѣ хоть двѣ строки, хотя и чувствовалъ, что въ твоемъ положеніи мои двѣ строки для тебя безцѣнны, потому что могли бы избавить тебя отъ мучительныхъ безпокойствъ. Несмотря на всю мою неохоту говорить о себѣ и на твое несостояніе думать обо мнѣ, не могу не повторить, что нахожусь въ странномъ состояніи духа: и чувствую, и мыслю, и страдаю, даже тяжело страдаю, пишу много для журнала и пишу съ жаромъ, интересомъ, но не могу ни писать къ друзьямъ, ни заниматься ими даже въ мысляхъ и принимать въ нихъ задушевное участіе. Это также относится и къ новымъ моимъ друзьямъ, какъ и къ старымъ. Думай объ этомъ, что хочешь. Со стороны внѣшнихъ обстоятельствъ терплю крайнюю нужду — весь обносился, денегъ ни копѣйки даже на извощиковъ; къ довершенію всего, и у Панаева тоже...»

Въ концѣ письма, Бѣлинскій между прочимъ проситъ передать поклонъ Огаревымъ.

Въ это время, въ послѣднихъ книжкахъ «Отеч. Записокъ» 1839 года и въ первой книгѣ 1840-го, печатались статьи Бѣлинскаго, которыя были крайнимъ выраженіемъ его московской точки зрѣнія, высшимъ пунктомъ примиренія съ «дѣйствительностью». Онъ не только еще признавалъ это «примиреніе» въ теоріи, но высказывалъ его съ необычной настоятельностью, которая должна была дать отпоръ противникамъ, а вмѣстѣ—заглушить свое собственное колебаніе.

Какая противоположность между увѣреннымъ тономъ этихъ статей, гдѣ шла послѣдняя открытая борьба за старое убѣжденіе, и письмами къ Боткину, гдѣ невольно высказывалось внутреннее страданіе отъ возникшихъ сомнѣній.

[1]) Шуточная фраза, опять по Гоголю. Упоминаемыя статьи находятся въ 11 № «От. Зап.» 1839; но не помѣщены въ «Сочиненіяхъ» и (кромѣ романа Зотова «Шапка юродиваго») не упомянуты и въ спискѣ статей (т. III, *2-е изд., стр. 658*).

Слѣдуетъ длинное замѣчательное письмо, гдѣ раскрывается этотъ рядъ нравственныхъ страданій, которыя переживалъ Бѣлинскій въ то самое время. Внутренній разладъ доходитъ до послѣдней степени: убѣждая себя теоретически въ «разумной дѣйствительности», Бѣлинскій не находитъ въ себѣ и тѣни спокойнаго, удовлетвореннаго, нормальнаго отношенія къ жизни; онъ винитъ за это себя, свою испорченную «рефлексію», но теряетъ вѣру и въ философскія общности, противъ которыхъ начинаетъ возставать простое сознаніе и жизненное право человѣческой личности... То, въ чемъ недавно онъ былъ убѣжденъ, начинаетъ казаться ему горькимъ и безплоднымъ заблужденіемъ. Длинное письмо, о которомъ мы говоримъ, писано въ нѣсколько пріемовъ, съ 16 декабря до первыхъ чиселъ февраля 1840 года [1]). «Спасибо, другъ Василій, за письмо твое отъ 30-го ноября: оно доставило мнѣ много сладостныхъ ощущеній, и возбудило во мнѣ желаніе писать къ тебѣ, но по множеству работы не могъ я до сихъ поръ собраться»... Рѣчь начинается о московскихъ новостяхъ кружка, сообщенныхъ Боткинымъ,—о романическихъ похожденіяхъ одного изъ друзей, которыя Бѣлинскій осуждаетъ, изъ-за ихъ предмета, но и завидуетъ имъ, какъ способности увлечься хоть чѣмъ-нибудь *безъ рефлексіи*. Слѣдующія далѣе разсужденія посвящены преслѣдованію этой давнишней черты кружка, и самого Бѣлинскаго въ особенности.

«Отчего же я никогда не могъ предаться весь и вполнѣ никакому чувству... Я знаю, что, пораженный благородствомъ и *нравственностію* моего слога, Мишель выронитъ изъ длинныхъ рукъ трубку, разсыплетъ на полъ табакъ и, нелѣпо марая и загребая ими, зареветъ: «это оттого, что у Б[ѣлинскаго] глубокая натура, которая можетъ удовлетвориться только истиннымъ чувствомъ и любить только разъ въ жизни!» Если онъ это сдѣлаетъ, Боткинъ, наплюй ему, пожалуйста, въ рожу и скажи, что онъ—дуракъ... Нѣтъ, это вздоръ: въ каждомъ моментѣ человѣка есть *современныя* этому моменту потребности и полное ихъ удовлетвореніе.

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ!
Блаженъ, кто во-время созрѣлъ!

«Я понимаю необходимость, разумность, а слѣд. и достоинство рефлексіи, какъ момента самаго разума, какъ движителя жизни, не дающаго человѣку убаюкаться на какой-нибудь низенькой ступенькѣ

---

[1]) Въ этомъ промежуткѣ писалъ онъ къ своему родственнику Д. П. Иванову; и въ этомъ письмѣ (занятомъ ихъ домашними дѣлами) Бѣлинскій также жалуется на «особенное расположеніе духа», которое дѣлало его «равнодушнымъ ко всему и ко всѣмъ, даже къ себѣ»... «Питеръ навелъ на меня апатію, уныніе и чортъ знаетъ что. Счастливъ, кто можетъ жить въ Москвѣ, и особенно можетъ не жить въ Петербургѣ!»

жизни, но дѣло въ томъ, что есть двѣ рефлексіи—нормальная и болѣзненная»...

Одна есть условіе глубокой натуры; другая есть слѣдствіе натянутаго болѣзненнаго развитія, резонерство, сердечная гниль, отравляющая всякое полное наслажденіе жизнью. Эта рефлексія сдѣлала его собственную участь—печальнѣйшею и горестнѣйшею изъ изъ всѣхъ участей... «Я недавно догадался, что есть два рода идеальности,—здоровая и резонерская, и теперь понимаю ожесточеніе противъ идеальности. Чтó дѣлать, кругомъ себя я видѣлъ все резонерскую идеальность и самъ пребывалъ въ ней... Чѣмъ особенно восхищался я въ Станкевичѣ? Тѣмъ, чтó онъ ненавидѣлъ въ себѣ»... Бѣлинскій прерываетъ свое разсужденіе эпизодомъ самыхъ матеріалистическихъ отношеній къ женщинѣ, разсказаннымъ съ намѣренной рѣзкостью выраженій, и продолжаетъ:

«Боткинъ, Боткинъ! не сердись и не презирай, но пойми... (Подъ этимъ) скрывается нѣчто похожее на судорожное сжатіе сердца, на глубоко-болѣзненное стѣсненіе груди, въ которыхъ простая, глубокая потребность любви и сочувствія. Нѣтъ, никогда не страдалъ я такъ глубоко—силъ недостаетъ. Внутри меня что-то глубоко оскорблено. Я уже не мучусь апатіею, но страдаю цѣлые дни какою-то тяжелою болѣзнію. Ну, да что объ этомъ говорить! Ты и безъ словъ поймешь меня»...

Онъ согласится съ тѣмъ, кто говоритъ, что надо стремиться къ «общему», трудиться и бороться, чтобы считать себя въ правѣ на личное блаженство; но онъ не станетъ слушать того, кто бы сталъ доказывать, что жить должно только въ общемъ, презирая личное и субъективное:

«Всякая односторонность уже не бѣситъ, а глубоко оскорбляетъ меня. Одинъ кричитъ о высокомъ, прекрасномъ и идеальномъ; другой, съ иронической усмѣшкой человѣка, постигшаго мудрость мудрости, говоритъ о паровыхъ машинахъ и комфортѣ; одинъ уважаетъ общее и презираетъ личное, другой не вѣритъ общему и лакомится только частнымъ; все это ограниченности и односторонности. Міръ древній жилъ въ исторіи и искусствѣ и пускалъ въ трагедію только царей, героевъ и боговъ; а новый міръ начался словами: «пріидите ко мнѣ всѣ страждущіе и обремененные», — и тотъ, кто сказалъ ихъ, возлежалъ съ мытарями и грѣшниками, Бога назвалъ отцомъ людей, а людей — братьями другъ другу. Оттого въ новую трагедію вошли и плебеи, и шуты, ибо героемъ ея сталъ человѣкъ, какъ субъективная личность. Смѣшно и досадно; любовь Ромео и Юліи есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное. Жизнь въ книгахъ, а въ жизни—ничто...

«Всѣ эти аллегоріи и «придворные экивоки» клонятся къ тому, что права личнаго человѣка такъ же священны, какъ и мірового гражданина, и что кто на вопль и судорожное сжатіе личности

смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ,—а мнѣ тотъ, и другой, и третій равно несносны. Говорить о себѣ, да о себѣ, или все о моихъ, да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,—не хорошо и не умно; но тяжело и давить въ себѣ все и не имѣть никого, кто бы дружески откликнулся на наши стоны... Ахъ, мой добрый Василій, такъ тяжело, какъ еще никогда не бывало! Моя одинокость въ мірѣ терзаетъ меня: никогда такъ мучительно не жаждала душа груди, которая отвѣтила бы вздоходомъ на ея вздохъ, которая съ любовью приняла бы на себя усталую отъ горя голову, съ сердцемъ которой мое хоть минуту побилось бы въ тактъ, движимое однимъ родственнымъ чувствомъ и, пожалуй, хоть бы и умереть въ такой минутѣ... Великое благо въ сей жизни дружба, и особенно великое для меня, потому что оно одно, которое я вполнѣ вкусилъ; но—знаешь ли что? мужская грудь и холодна, и жестка, а пожатіе грубой мужской руки, хотя бы и дружней, даетъ только жизнь, а не смерть, ту сладкую и блаженную смерть, о которой говоритъ Гёте въ своемъ божественномъ «Прометеѣ». А мнѣ хотѣлось бы хоть на мгновеніе умереть отъ избытка жизни, а послѣ этого, пожалуй, хоть и умереть въ буквальномъ смыслѣ. И что же? Каждый новый день говоритъ мнѣ: это не для тебя—пиши и толкуй о литературѣ, да еще о русской литературѣ... Это выше силъ—глубоко оскорбленная натура ожесточается—... и хочетъ оргій, оргій...

«Вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва!» [1]).

«Грудь физически здорова—противъ обыкновенія—я даже не кашляю; но она вся истерзана—въ ней нѣтъ мѣста живого. Да, земля вспахана и обработана—каковы-то плоды будутъ?.. Да, плоды, можетъ быть, и вкусные, и сочные, и ароматные: прекрасная статья, которая усладитъ досугъ автора и займетъ праздность читателя, а этотъ читатель скажетъ—сколько души, сколько любви въ этомъ человѣкѣ!

Лестная награда! можетъ быть, и *прекрасная читательница* мнѣ скажетъ то же, да еще со вздохомъ прибавитъ: какое счастіе любить такого человѣка, а поставь передъ нею этого человѣка ря-

---

[1]) У Гофмана есть разсказъ объ удивительномъ и полу-фантастическомъ музыкантѣ Крейслерѣ—гдѣ Гофманъ, самъ замѣчательный музыкантъ и композиторъ, главнымъ образомъ высказалъ свою эстетику музыки (часть этого разсказа была переведена Боткинымъ въ «Наблюдателѣ»). Однажды этотъ капельмейстеръ Крейслеръ, въ кружкѣ своихъ друзей, вздумалъ фантазировать на испорченномъ фортепьяно, гдѣ остался цѣлъ только басъ,—онъ беретъ аккорды, и «подъ трепетъ звуковъ» декламируетъ слова, которыя должны были выразить смыслъ музыки. При одномъ изъ этихъ аккордовъ, Крейслеръ говоритъ о «дикомъ, бѣшеномъ безумствѣ», «судорожномъ упоеньи, «пляскѣ вкругъ зіяющихъ могилъ и разрытыхъ гробовъ»,—«Вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣтъ отзыва! и проч. («М. Наблюд.» 1838, іюль, кн. 2, стр. 186).

Можетъ быть, на музыкальныхъ вечерахъ Боткина были воспроизведены эти фантазіи капельмейстера Крейслера; по крайней мѣрѣ Бѣлинскій не одинъ разъ повторялъ въ письмахъ приведенныя слова.

домъ съ какимъ-нибудь молодцомъ-офицеромъ и заставь, подъ условіемъ смертной казни, непремѣнно выбрать одного изъ двухъ, она скажетъ, не хочу ни того, ни другого, но если ужъ нельзя иначе, то вотъ этого—и подастъ руку г-ну офицеру, а меня попроситъ написать еще что-нибудь съ душою...

«Питеръ принялъ меня хорошо и ласково, но мнѣ отъ этого только грустнѣе... А, впрочемъ, душа моя Тряпичникъ, я жуирую... у князя Одоевскаго по субботамъ встрѣчаюсь съ посланниками... [1]) и проч.

Эта мучительная жажда личнаго счастія, любви и дружбы охватывала его тѣмъ сильнѣе, что въ немъ именно нарушено было нравственное равновѣсіе. Его старыя идеи были видимо потрясены; онъ еще не хочетъ въ этомъ сознаться, но рѣзче, нежели когда-нибудь прежде, нападаетъ на свою недавнюю «болѣзнь», рефлексію и идеальность, возстаетъ противъ «общаго» въ защиту личности, и, стараясь сохранить внѣшнюю связь съ своимъ недавнимъ образомъ мыслей, больше и больше отклоняется отъ него, — иногда уже вырываются отдѣльныя фразы совсѣмъ иного смысла. Пока онъ успѣлъ кончить это письмо къ своему старому другу, онъ уже сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ новомъ направленіи... Въ тяжкую минуту этого внутренняго процесса, онъ съ болью искалъ сочувствія, опоры въ трудной борьбѣ съ самимъ собою...

«*30-го декабря.*—Вотъ другъ Василій, какой промежутокъ въ моемъ письмѣ—почти половина мѣсяца! А въ эту половину много во мнѣ измѣнилось, хотя и все то же осталось, чтó и было,—мучительное и безотрадное страданіе. Не хочу и перечесть написаннаго—стыдно будетъ. Боже мой! скоро ли настанетъ время, когда я перестану стыдиться написаннаго или сказаннаго мною, перестану переходить отъ одной дѣтскости къ другой... Скоро ли мое слово будетъ мыслію, а не фразою, скоро ли ощущенія, производимыя на меня объективнымъ міромъ, будутъ формироваться во мнѣ мыслями, а не случайными порывами»...

Въ Петербургѣ Бѣлинскій встрѣтился съ кѣмъ-то изъ того московскаго кружка, съ которымъ онъ, еще живя въ Москвѣ, сталъ во враждебное отношеніе, какъ выше разсказано. Но встрѣча была еще очень недружелюбна. Изъ писемъ Боткина онъ узналъ, что въ Москвѣ, съ кружкомъ этихъ теоретическихъ противниковъ сблизился одинъ изъ ихъ молодыхъ друзей. Бѣлинскій недоволенъ этимъ сближеніемъ. «Съ однимъ (изъ этихъ теоретическихъ противниковъ) я видѣлся въ Питерѣ,—пишетъ Бѣлинскій:—умный, добрый, прекрасный человѣкъ; но еслибъ Богъ привелъ болѣе не видѣться, хорошо бы», — и въ оправданіе своей непріязни дѣлаетъ оговорку

---

[1]) *Гоголевскія фразы.*

о терпимости, которую еще недавно считалъ необходимой: «обыкновенная терпимость разумна только въ отношеніи къ низшей дѣйствительности, а не къ высшей призрачности». Повидимому, это была встрѣча съ главнымъ представителемъ московскихъ противниковъ—потому что дальше въ письмѣ упоминается его имя.

«Ты правду говоришь, что кружокъ (московскихъ противниковъ), къ которому... приклеился нашъ юноша,—не твой: и не мой, ей-Богу, не мой, братъ. Знакомые—нештó, разъ-другой въ мѣсяцъ сойтись съ ними (и то въ толпѣ) не мѣшаетъ — люди честные, благородные, но неразумные, и даже не разсудочные. Я уважаю людей съ сильнымъ разсудкомъ—это народъ дѣльный, полезный безъ претензій, словомъ—дѣйствительный... Будь каждый изъ этихъ людей—математикъ, статистикъ, агрономъ - каждый изъ нихъ былъ бы лучше меня и тебя. Но они глубоко оскорбляютъ *духъ*, о которомъ хлопочатъ и которому они не родня... Я теперь въ такомъ состояніи, что оскорбленіе духа грубымъ непониманіемъ при поползновеніи резонерствовать о немъ—приводитъ меня въ остервенѣніе. Герценъ былъ восторженъ и упоенъ Каратыгинымъ въ роли Гамлета: эхъ, заняться бы статистикой-то—славная наука! Знаешь ли чтó: въ комъ сильный разсудокъ, тотъ не можетъ быть призракомъ и попасть въ чуждую себѣ сферу. Право мы оскорбляемъ разсудокъ, приписывая его резонерамъ»...

Восхищеніе Каратыгинымъ было, какъ видимъ, цѣлымъ преступленіемъ въ глазахъ Бѣлинскаго: это было «оскорбленіе духа». Правда, на первый разъ, Каратыгинъ произвелъ, въ нѣкоторыхъ роляхъ (Велизарій, Людовикъ XI), впечатлѣніе и на самого Бѣлинскаго, который съ удивленіемъ говоритъ о немъ въ первыхъ статьяхъ о театрѣ, писанныхъ въ Петербургѣ [1]); но и въ этихъ статьяхъ (которыхъ все-таки онъ послѣ не одобрялъ) Каратыгинъ въ «Гамлетѣ», по давнишнему сравненію съ Мочаловымъ, кажется ему невозможнымъ и невыносимымъ: Каратыгина онъ вообще не любилъ и предоставлялъ ему только «внѣшнюю сторону» искусства [2]).

Бѣлинскій не хотѣлъ кончать этого письма, начало котораго ему уже не нравилось, и послалъ его съ другимъ, которое началъ съ 3 февраля 1840 и которое также разрослось въ длинное посланіе [3]). Здѣсь онъ опять начинаетъ изображеніемъ своего тяжелаго нравственнаго состоянія:

«Не только давно сбираюсь и сбирался я писать къ тебѣ, мой милый и безцѣнный Боткинъ, но уже давно писалъ и пишу, какъ покажетъ это куча вздору, приложеннаго къ сему посланію, и вы-

---

[1]) Соч. III, стр. 179, 199 и слѣд.

[2]) Соч. III, 177.

[3]) Мы нашли его по частямъ въ трехъ разныхъ собраніяхъ писемъ Бѣлинскаго.

ставленныя на ней числа. Причина моего молчанія—состояніе моего духа, страждущее, рефлектирующее, резонерствующее. Да, я не знаю свѣтлыхъ минутъ; самое страданіе посѣщаетъ меня въ рѣдкія, очень рѣдкія минуты. Въ душѣ моей сухость, досада, злость, желчь, апатія, бѣшенство и проч. и проч. Вѣра въ жизнь, въ Духа, въ дѣйствительность — отложена на неопредѣленный срокъ — до лучшаго времени, а пока въ ней—безвѣріе и отчаяніе. Не могу завидовать блаженству пошляковъ – ненавижу и презираю его всѣми силами моей дико-страстной натуры, но, право, часто жалѣю, зачѣмъ я не рожденъ однимъ изъ этихъ господъ: по крайней мѣрѣ, зналъ бы хоть какое-нибудь довольство и удовлетвореніе. А теперь не знаю никакого и потерялъ надежду узнать когда-нибудь. Въ душѣ моей отчаяніе и ожесточеніе. Тяжело мнѣ было во время нашей ссоры, когда, заснувши въ кругу друзей, я проснулся одинъ, оставленный и презрѣнный кровными, да, ужасно было это состояніе, но оно— рай, блаженство въ сравненіи съ теперешнимъ. Тогда я еще зналъ грусть и слезы, былъ полонъ надежды на жизнь; теперь... И между тѣмъ мое мученіе нисколько не однообразно: каждая минута даетъ мнѣ новое, и потому я не могу кончить къ тебѣ ни одного письма: начавъ вчера, ныньче вижу, что не то. Петербургъ былъ для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе. Это было необходимо, и лишь бы послѣ стало лучше, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня на эти гнусныя финскія болота. Но пока это невыносимо, выше всякой мѣры терпѣнія... Насъ губилъ китаизмъ... Мы весь божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ. Появилось стихотвореніе, повѣсть—восхитили тебя, меня, Каткова и прочихъ чудаковъ, а мы и говоримъ, что публика поняла это сочиненіе. Чтобъ узнать, что такое русская читающая публика, надо пожить въ П. Представь себѣ, что двое литераторовъ приняли мою ругательную, наглую статью о романѣ Каменскаго за преувеличенную похвалу и наглую лесть Каменскому, и упрекали за то Краевскаго [1]). Вотъ вамъ и публика! Чтó же сказать о моихъ дѣльныхъ статьяхъ? Для кого онѣ пишутся? Что же сказать о моемъ нелѣпѣйшемъ и натянутомъ вступленіи въ разборъ брошюрокъ о бород. битвѣ, которымъ всѣ восхитились [2])? Дорого далъ бы я, чтобы истребить его... Китаизмъ хуже прекраснодушія. Ключниковъ когда-то сказалъ, что дѣльная статья должна научить незнающаго и удовлетворить знающаго. Учить я васъ никогда не могъ, но самъ многимъ вамъ обязанъ, но иногда удовлетворялъ васъ: теперь и этого не ждите. Со 2 № О. З., т.-е. съ статьи о Марлинскомъ пишу не для васъ и не для себя, а для публики. Собственное удовлетвореніе и вашъ восторгъ отнынѣ — доказательство, что статья неудачна. Тебѣ жестоко не понравилась моя статья о Лажечниковѣ въ Набл.:

---

[1]) Этой рецензіи («Отеч. Зап.» 1839, кн. 12, стр. 15—23 «Искатель сильныхъ ощущеній») нѣтъ въ изданіи сочиненій, а также и въ спискѣ статей (т. III).

[2]) Восхитился, вѣроятно, ближайшій кружокъ редакціи журнала; но впослѣдствіи Бѣлинскій говоритъ, что статья произвела и совершенно иное впечатлѣніе—*на нее «негодовали»*, или смѣялись надъ ней, по его словамъ.

вотъ такія-то статьи и буду писать. Ихъ будутъ читать, и онѣ будутъ полезны; а я чувствую, что совсѣмъ не авторъ *для немногихъ*. Вообще, если бы я побывалъ у васъ, вамъ показалось бы, что нюхнулъ петербургскаго душку и захватилъ его холодку, но вы ошиблись бы: я только поумнѣлъ, хотя отъ этого сталъ не счастливѣе, а несчастнѣе. Самая убивающая истина лучше радостной лжи: я глубоко сознаю, что неспособенъ быть счастл. черезъ ложь, какую бы ни было, и лучше хочу, чтобы сердце мое разорвалось въ куски отъ истины, нежели блаженствовало ложью. Жаль, что я прежде не зналъ этого: многихъ глупостей, о которыхъ тяжело вспомнить, не сдѣлалъ бы я».

Отнынѣ Бѣлинскій намѣревается писать не для себя и не для друзей, какъ бывало прежде, а для публики; онъ чувствуетъ, что «совсѣмъ не авторъ для *немногихъ*». Отзывъ о «Бородинской годовщинѣ» (только незадолго передъ тѣмъ напечатанной) показываетъ, какъ сильно сталъ измѣняться его образъ мыслей—сомнѣніе выростало. По всей вѣроятности, не безъ вліянія была здѣсь упомянутая встрѣча, повторенія которой онъ такъ мало желалъ; онъ раздражался противорѣчіемъ, рѣзко нарушавшимъ идеи, въ которыя онъ заставлялъ себя вѣровать, и въ желчныхъ нападеніяхъ на противника хотѣлъ заглушить тяжелое сознаніе, что идеи его колеблются и падаютъ...

Обращаясь къ Боткину, Бѣлинскій вспоминаетъ, что простился съ нимъ «ледовито-холодно»; онъ не думалъ о немъ; ему казалось, что онъ и не помирился съ Боткинымъ; дружба сдѣлалась ему ненавистна. Но 15 декабря онъ обѣдалъ со своими пріятелями; тогда только-что вышла 12-я книжка «Отеч. Записокъ» со статьей Боткина («Итальянская и германская музыка»). «Послѣ обѣда П[анаевъ] прочелъ вслухъ твою статью—и все во мнѣ воскресло, и я вновь принялъ тебя въ себя, и, какъ будто кора спала съ меня, мнѣ стало и легко и больно, какъ выздоравливающему. П. читалъ съ неистовымъ восторгомъ (дня въ два послѣ онъ перечиталъ ее человѣкамъ десяти и знаетъ наизусть)... Въ самомъ дѣлѣ, какая глубокость мысли и какъ поэтически и опредѣленно выразилась она!» Чтеніе статьи воскресило въ немъ всю силу старой дружбы.

Слѣдуетъ рядъ поклоновъ въ Москву [1]), просьбы къ друзьямъ работать въ «Отеч. Запискахъ»; характеристика новыхъ друзей въ Петербургѣ, которыхъ очень полюбилъ...; литературныя новости. «Статья моя о Менцелѣ искажена цензурой, особенно мѣсто о раз-

---

[1]) Между прочимъ, въ этомъ письмѣ опять упоминается: «Видѣлся я съ Г[ерценомъ]; хорошій человѣкъ, но въ Питерѣ ему не такъ будетъ скучно, какъ мнѣ (сказано, конечно, съ ироніей). Кланяйся ему».

личіи нравственности и морали — недостаетъ почти страницы, и смыслъ выпущенъ весь». Безденежье продолжается, но онъ надѣется заплатить свой долгъ: «вѣроятно, я скоро получу отъ Кр. мои 2.000 за прошлый годъ—тогда съ тобою съ первымъ расквитаюсь»... Далѣе:... «Мысли мои объ Unsterblichkeit снова перевернулись: П. (Петербургъ) имѣетъ необыкновенное свойство обращать къ христ—у. Мишель много тутъ участвовалъ. Нѣтъ, объективный міръ — страшенъ, и мы съ тобою скоренько порѣшили важный вопросъ». Объ этомъ Боткинъ долженъ былъ прочесть въ другомъ письмѣ къ Каткову, которое Бѣлинскій собирался тогда же послать [1]).

Письмо продолжается 9 февраля:

«Вотъ тебѣ, Б., и интервалъ—съ 3 числа скачокъ на 9. Это очень вѣрно характеризуетъ мою жизнь и состояніе моего духа (впрочемъ, теперь во мнѣ духа нѣтъ ни на грошъ). По крайней мѣрѣ, ты и изъ этихъ скачковъ увидишь, что я не писалъ къ тебѣ не по равнодушію къ тебѣ, и бесѣдовалъ съ тобою чаще, нежели ты предполагалъ. Итакъ, о Лермонтовѣ. Каковъ его «Терекъ»? Чортъ знаетъ — страшно сказать, а мнѣ кажется, что въ этомъ юношѣ готовится *третій* русскій поэтъ, и что Пушкинъ умеръ не безъ наслѣдника. Во 2 № О. З. ты прочтешь его колыбельную пѣсню казачки—чудо! А это:

Въ минуту жизни трудную (и пр.; выписано все стихотвореніе).

«Какъ безумный твердилъ я дни и ночи эту чудную молитву,— но теперь я твержу, какъ безумный, другую *молитву*:

И скучно, и грустно!.. И некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды!.. (выписано стихотвореніе).

«Эту *молитву* твержу я теперь потому, что она есть полное выраженіе моего моментальнаго состоянія [2]). Повѣришь ли, другъ Василій, — всѣ желанія уснули, ничто не манитъ, не интересуетъ, даже чувственность молчитъ и ничего не проситъ. А дня черезъ два надо приниматься за статью о дѣтскихъ книжкахъ, гдѣ я буду говорить о любви, о благодати, о блаженствѣ жизни, какъ полнотѣ ея ощущенія, словомъ обо всемъ, чего и тѣни, и призрака нѣтъ теперь въ пустой душѣ моей. Полнота, полнота! чудное, великое слово! Блаженство не въ абсолютѣ, а въ полнотѣ, какъ отсутствіи рефлексіи при живомъ ощущеніи въ себѣ того

---

[1]) Этого письма и вообще писемъ Бѣлинскаго къ Каткову мы не имѣли въ рукахъ. Далѣе: «Письмо мое покажи Кудрявцеву. Страстно люблю сего поэтическаго юношу, и мою любовь онъ дѣлитъ съ Кольцовымъ, хотя та и другая не похожи другъ на друга. Ей-Богу, мочи нѣтъ, какъ люблю обоихъ. Къ послѣднему тоже скоро пишу. Богатырь, да и только—каковъ его «Хуторокъ?»—Затѣмъ названъ Лермонтовъ; но конца письма отъ 3 февраля у насъ недостаетъ.

[2]) Т.-е. его состоянія въ томъ «моментѣ»—по ихъ терминологіи.

участка абсолютной жизни, какой данъ тому или другому человѣку. Что моя абсолютность: я отдалъ бы ее, еще съ придачею послѣдняго сюртука, за полноту, съ какою иной офицеръ спѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачетъ штандартъ»...

Ему казалось, что онъ нашелъ примѣръ «полноты» въ одномъ изъ новыхъ петербургскихъ знакомцевъ, еще молодомъ человѣкѣ, упомянутомъ выше Н. Бакунинѣ, въ которомъ его восхищало соединеніе молодой благородной идеальности съ полной и спокойной естественностью. Этотъ новый знакомецъ сталъ для Бѣлинскаго идеаломъ здороваго, свѣжаго развитія. Свою собственную жизнь Бѣлинскій считалъ испорченной и погибшей.

«Я давно уже пересталъ ожидать перемѣны въ судьбѣ отъ чуда, а въ дѣйствительности вижу—гибель свою.

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней
Я увялъ, и увялъ
Навсегда, навсегда,
И блаженства не зналъ
Никогда, никогда.

Да, онъ насталъ—грозный разсчетъ съ дѣйствительностію—завѣса съ глазъ спадаетъ, лѣность сдѣлалась второю натурою, апатія — нормальнымъ состояніемъ, а восторгъ, проникновеніе истиною—болѣзненнымъ состояніемъ. Внѣшнія обстоятельства ужасны, и мысль о нихъ жалитъ душу, а поправить ихъ нѣтъ возможности: чуда не свершается, а обыкновеннымъ образомъ—надо сперва переродиться. Чтожь въ будущемъ?—Одно: слезы и грусть о потерянномъ раѣ, и то минутами, и всегдашнее сознаніе своего паденія на смерть, на вѣчность.

«Жизнь—ловушка, а мы—мыши, инымъ удается сорвать приманку и выдти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ. Говорятъ--и мы съ тобою это порѣшили передъ моимъ отъѣздомъ въ Питеръ,—что *она—einml*: глупая комедія—чортъ возьми. Будемъ же пить и веселиться, если можемъ, нынѣшній день нашъ — вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва! Живетъ одно общее, а мы—китайскія тѣни, волны океана—океанъ одинъ, а волнъ много было, много есть и много будетъ, и кому дѣло до той или другой? Да, жизнь - игра въ банкъ, сорвалъ—твое, сорвали—бросайся въ рѣку, если боишься быть нищимъ»...

Несмотря однако на то, что ему становились понятны нѣкоторыя прежнія заблужденія, Бѣлинскій еще не можетъ объяснить себѣ своего состоянія, и еще разъ повторяетъ старое самообвиненіе въ удаленіи отъ дѣйствительности, отъ общества.

«Горе человѣку, если онъ ограничивается быть только человѣкомъ, не присовокупляя къ этому абстрактному и громкому зва-

нію званія ни купца, ни помѣщика, ни офицера, ни чиновника, ни артиста, ни учителя. Общество покараетъ его. Эту кару я уже чувствую на себѣ...

Это были минуты крайняго упадка духа и отчаянія въ себѣ. Онъ хочетъ безусловно подчиниться той «дѣйствительности»,—которая уже начинаетъ возмущать его; онъ винитъ себя, что не можетъ угодить ей,—полагая, что именно въ полномъ согласіи съ ней найдетъ свое спокойствіе. Онъ забываетъ и то, что званіе, которое онъ носилъ, званіе писателя, также должно бы было составлять нѣчто въ «обществѣ», стоющемъ этого имени.

Онъ пишетъ Боткину о литературныхъ дѣлахъ, проситъ его позаботиться, чтобы доставлена была статья Михаила Бакунина, которая ожидалась для «Отеч. Записокъ» [1]); поручаетъ добыть отъ Кронеберга «Ричарда II» Шекспира; жалуется на цензуру: «Питерская цензура очень добра, но и глупа—изъ рукъ вонъ. Въ статьѣ о Менцелѣ мѣсто о нравственности и морали лишено смысла. Стихи Лермонтова и Красова не пропущены въ «О. З.», а въ «Л. Г.» [2]), у которой другіе цензора, пропущены. Во 2-мъ № «О. З». стихи Ключникова «Знаете-ль ее?» напечатаны подъ названіемъ «Поэзія», ибо безъ этого условія цензура ихъ не пропускала, а какъ они были уже набраны, то и нельзя было ихъ выкинуть»...

Онъ видѣлъ «Роберта», и музыка на этотъ разъ произвела на него впечатлѣніе. «Вообще, я немножко подвинулся въ музыкѣ: въ «Робертѣ» не дремалъ, но отъ многаго былъ въ удовольствіи, самъ не зная почему... Бываютъ минуты, когда душа моя жаждетъ звуковъ. Дорого бы я далъ, чтобы послушать въ твоей комнатѣ Leiermann; мнѣ кажется, я зарыдалъ бы, еслибы, проходя по улицѣ, услышалъ подъ окномъ его чудные, граціозные звуки, которые глубоко запали въ мою душу. Когда Одоевскій при мнѣ заигралъ Лангерову: «Съ Богомъ, въ дальнюю дорогу»—во мнѣ душа заболѣла тоскою и радостью, услышавъ знакомые и милые звуки. Пожми руку доброму Лангеру»... Это былъ извѣстный въ то время музыкантъ, участникъ вечеровъ и квартетовъ Боткина, и черезъ него другъ кружка... «Leiermann», одна изъ немногихъ любимыхъ пьесъ Бѣлинскаго, есть пѣсня изъ «Winterreise»» Шуберта, дѣйствительно граціозная, немного меланхолическая, и по музыкѣ крайне несложная и доступная...

---

[1]) Она появилась въ 4-й кн. «Отеч. Записокъ» 1840: «О философіи» (статья первая,—отдѣлъ Наукъ, стр. 55—78; второй статьи не было).

[2]) «Литературная Газета», которая съ 1840 г. смѣнила «Литературныя Прибавленія» и издавалась подъ редакціей Краевскаго (до конца сентября), а потомъ Ѳ. Кони.

Онъ видѣлъ Тальони: она лучше Санковской, но «больше видѣть нѣтъ ни охоты, ни силъ».

Наконецъ, воспоминаніе о Москвѣ:

«Ахъ Б. Б.! съ какою бы радостію побылъ я хоть минутку въ милой Москвѣ, послушалъ бы царственнаго гула ея колоколовъ, взглянулъ бы на святой Кремль и на бодрыхъ московскихъ людей съ бородками. Въ Питерѣ и простой народъ—не лучше чухонъ, офиц. и чиновн. Извощики идіоты... А еслибъ часокъ посидѣть въ твоей комнатѣ—святители! Но увы! мнѣ долго не видать Москвы, ради долговъ»...

Черезъ нѣсколько дней, 18 февраля, Бѣлинскій пишетъ, новое длинное письмо. Боткинъ въ своемъ письмѣ 9—12 февраля затронулъ его больную и чувствительную струну,—потребность въ сочувствіи,—разсказомъ о дѣвушкѣ изъ нѣсколько имъ извѣстнаго семейства, но, впрочемъ, никогда Бѣлинскимъ не виданной, которая была его великой и горячей почитательницей. Это даетъ Бѣлинскому поводъ еще разъ высказать свои мечты о личномъ счастіи...

Онъ переходитъ потомъ къ литературѣ, Боткинъ писалъ ему по поводу статьи объ очеркахъ Бородинскаго сраженія въ 12-й книжкѣ «От. Записокъ» 1893 г. [1];... «Ужасно скучно—есть нѣсколько страницъ прекрасныхъ,—но въ цѣломъ чрезвычайно апатическое произведеніе»...

«Тебѣ не понравилась моя статья въ XII №«От. Зап.». Я это зналъ. Въ самомъ дѣлѣ, не вытанцовалась [2]). А странное дѣло, писалъ съ такимъ увлеченіемъ, съ такою полнотою, что и сказать нельзя—напишу страницу, да и прочту Панаеву и Языкову. Въ разбить-то они больно восхищались, а какъ потомъ прочли въ цѣломъ, такъ не понравилась. Я самъ думалъ о ней, какъ о лучшей моей статьѣ, а какъ напечаталась, такъ не могъ и перечесть. Какъ нарочно это случилось тотчасъ послѣ прочтенія твоей статьи. Признаюсь въ грѣхѣ—я было крѣпко пріунылъ. Хотѣлось мнѣ въ ней, главное, намекнуть яснѣе на субстанціальное значеніе идеи общества, но какъ я писалъ къ сроку, и къ спѣху, сочиняя и пиша въ одно и то же время, и какъ хотѣлъ непремѣнно сказать и о томъ, и о другомъ, — то и не вытанцовалось. Теперь я ту же бы пѣсенку, да не такъ бы спѣлъ. Что она тебѣ не понравилась—это такъ и должно быть: ты понимаешь дѣло и смотришь на него не снизу вверхъ; но досадно, чтó и людъ-то божій ей недоволенъ»...

Должно, впрочемъ, замѣтить, что статья не понравилась Боткину не столько своимъ содержаніемъ, сколько изложеніемъ,—потому что другую статью той же тенденціи онъ очень хвалитъ. Въ томъ же письмѣ отъ 9—12 февраля Боткинъ говоритъ: «сейчасъ

[1]) Соч. III, стр. 209—252.

[2]) Гоголевское слово.

дочиталъ твою статью о Менцелѣ—одна изъ самыхъ живыхъ, одушевленныхъ статей, какія я когда-либо читалъ. Спасибо тебѣ, ты мнѣ ею доставилъ много пріятныхъ минутъ»...

«Очень радъ, что тебѣ понравилась статья о Менцелѣ—отвѣчаетъ Бѣлинскій.—Въ самомъ дѣлѣ, въ ней есть цѣлость, и еслибы оселъ Фрейгангъ не надѣлалъ въ ней выпусковъ и не лишилъ ее смысла на стр. 53 и 54 (замѣть это),—она была-бы очень и очень не дурна [1]). Во многихъ мѣстахъ Фрейгангъ зачеркнулъ «*всеобъемлющій* Гёте», говоря, что этотъ эпитетъ—божій, а не человѣческій. Вотъ тутъ и пиши. Съ твоимъ мнѣніемъ о статьѣ о «Горѣ отъ ума» я совершенно согласенъ: много хорошаго въ ней, но въ цѣломъ — уродъ... Что-жъ ты не сказалъ мнѣ ни слова о моей статейкѣ объ «Очеркахъ» Полевого? Ею я больше всѣхъ доволенъ [2])... Повѣришь ли, Боткинъ, что Полевой сдѣлался гнуснѣе Булгарина... Статья о Марлинскомъ тебѣ не понравится, но именно такія-то статьи я и буду отнынѣ писать, потому что только такія статьи и доступны и полезны для нашей публики [3]). Но статья о дѣтскихъ книжкахъ—надѣюсь—будетъ такъ недурна, что понравится и тебѣ, и ты смѣло можешь сказать, что ты виноватъ въ ней. Въ самомъ дѣлѣ, если она будетъ хороша, то потому, что твое письмо воззвало меня отъ смерти къ жизни, и что, пиша статью, я перечитывалъ его, особенно одно мѣсто... Смѣйся, Б., оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно»... [4]).

Бѣлинскій разумѣетъ то мѣсто въ письмѣ Боткина, гдѣ встрѣтилъ намекъ на разумное женское сочувствіе...

Отвѣчая на вопросы Боткина, Бѣлинскій возстаетъ на его мысль—издать переводъ «Ричарда II», Кронеберга, не въ журналѣ, а отдѣльной книжкой,—потому что противъ журналовъ Боткинъ имѣлъ какое-то предубѣжденіе. Бѣлинскій былъ убѣжденъ, что отдѣльное изданіе не имѣло бы ни малѣйшаго успѣха въ публикѣ, что напечатать «Ричарда» можно только въ журналѣ; онъ дивится наивности своего друга, который этого не понималъ, и пишетъ цѣлую филиппику противъ русской публики того времени, отчасти справедливую, но отчасти и странную, по его тогдашнему образу мыслей.

«Вѣдь ты вѣрно для того желаешь видѣть «Ричарда» въ печати, чтобы его читали и прочли? Знаешь ли ты, что «Макбета»,

---

[1]) Страницы 53—54 «От. Зап.» 1840, № 1, соотвѣтствуютъ стр. 326—327, т. III Сочиненій (2-е изд.).

[2]) «Отеч. Зап.» 1840, № 1, Сочин., т. IV, стр. 11—42.

[3]) Эта статья явилась во 2-мъ № «Отеч. Зап.» 1840; Сочин. III, стр. 438—487.

[4]) Статья о дѣтскихъ книгахъ была помѣщена въ № 3-мъ «Отеч. Зап.» 1840; Сочин. III, стр. 487—547.

переведеннаго. *извѣстнымъ* литераторомъ — Вронченко, разошлось ровно пять экземпляровъ? Потчивать нашу россійскую публику Шекспиромъ — о милое, о наивное *москводушіе*! Да это все равно, что въ салонѣ, танцуя галопадъ, говорить съ своей дамою о религіи; все равно, что въ кабакѣ съ пьяными мужиками разсуждать о Гегелевской философіи! Я того и гляжу, что премудрый синедріонъ, состоящій изъ московскихъ душъ, вздумаетъ перевести всего Шекспира и великолѣпно издать его для удовольствія россійской публики. Смотрите же, господа, печатайте больше — экземпляровъ 100,000: россійская публика просвѣтится, а вы настроите себѣ каменныхъ домовъ и накупите деревень. Въ Питерѣ бы васъ, дураковъ—тамъ-бы вы поумнѣли, тамъ-бы вы узнали, что такое россійская дѣйствительность и россійская публика. Въ журналѣ она прочтетъ и Шекспира: за журналъ она платитъ деньги, и за свои деньги читаетъ все сплошь»...

Онъ дѣлаетъ тривіальное сравненіе, и замѣчаетъ потомъ, что, говоря объ этой публикѣ, нельзя не быть тривіальнымъ. «Кого она (эта публика) поддерживаетъ, кого любитъ? Или людей по плечу себѣ, или плутовъ и мошенниковъ, которые ее надуваютъ». Увлекаясь обличеніями, Бѣлинскій опять впадаетъ въ прежнюю точку зрѣнія: винитъ публику и за ея страсть «ко всему, запрещенному цензурой», приводитъ слова Пушкина, что «съ прекращеніемъ его запрещенныхъ стиховъ, прекратилась и его слава». Бѣлинскій бранитъ и «всѣхъ» либераловъ: «они не умѣютъ быть подданными, они холопы: за угломъ любятъ побранить правительство, а въ лицо подличаютъ не по нуждѣ, а по собственной охотѣ». Въ его разсужденіяхъ еще отзывается раздражительность «Бородинской Годовщины» и вражда къ либерализму; затѣмъ онъ продолжаетъ:

«Чѣмъ взялъ Сенковскій—спрашиваетъ онъ. — Основною мыслію своей дѣятельности, что учиться не надо, и что на все въ мірѣ надо смотрѣть шутя. Русскій человѣкъ любитъ жить на шеромыгу... Потомъ, кого любитъ наша публика? — Греча, Булгарина,—да, они, особенно первый, въ Питерѣ, даже при жизни Пушкина, были важнѣе его и доселѣ сохраняютъ свой авторитетъ. О публичныхъ лекціяхъ Греча и теперь говорятъ, какъ о чудѣ, съ восторгомъ и благоговѣніемъ. Вотъ наша публика: давайте-жъ, о невинныя московскія души, скорѣе давайте ей Шекспира—она ждетъ его. Нѣтъ, переведите-ка лучше всего В. Гюго съ братіею, да всего Поль-де-Кока, да и издайте великолѣпно съ романами Булгарина и Греча, съ повѣстями Брамбеуса и драмами Полевого: тутъ успѣхъ несомнителенъ; а бѣднаго Шекспира печатайте въ журналахъ — только въ нихъ и прочтутъ его»...

Наконецъ, онъ споритъ противъ предубѣжденій Боткина относительно журнала: литература имѣетъ великое значеніе для воспитанія общества, и журналистика въ наше время есть одно изъ лучшихъ средствъ къ этому воспитанію..

Боткинъ, говоря въ своемъ письмѣ о внутреннемъ состояніи Бѣлинскаго, высказывалъ увѣренность, что Бѣлинскій найдетъ нѣкогда сочувствіе, котораго такъ жаждетъ, и счастіе,—«но думаю,— говорилъ онъ,—что это тогда можетъ совершиться, когда ты больше и глубже разовьешь въ себѣ таинственное Entsagung [1]), этотъ высокій актъ нравственнаго духа, о которомъ ты, къ сожалѣнію, ничего не упомянулъ и который, какъ красная тоненькая, часто совсѣмъ незамѣтная снаружи ниточка въ снастяхъ англійскаго королевскаго флота [2]), проходитъ сквозь всѣ почти большія произведенія Гёте, и котораго апотеоза такъ поразительно и могущественно представлена въ Wahlverwandtschaften». Это мнѣніе было совершенно въ тонѣ ихъ прежнихъ теоретико-поэтическихъ построеній жизни,—но въ Бѣлинскомъ опять заговорило чувство простой человѣческой истины, и онъ отвѣчалъ слѣдующими словами:

«Ты говоришь, что я мало развилъ въ себѣ Entsagung. Можетъ быть, его и совсѣмъ нѣтъ во мнѣ. Такъ какъ я понимаю его въ другихъ и высоко цѣню, то недостатокъ его въ себѣ и считаю ограниченностью, въ которой, однакожъ, не стыжусь признаться. Кажется, что для меня настаетъ время такихъ *простыхъ* признаній. По крайней мѣрѣ, теперь они для меня очень не трудны. Я этому радъ. Вообще я уже много посбавилъ себѣ цѣны въ собственномъ мнѣніи, и надѣюсь, что скоро сознаю себя тѣмъ, что я есть—безъ пошлаго смиренія и пошлой гордости. А можетъ быть, во мнѣ и кроется возможность этого таинственнаго Entsagung; но какъ это *лѣнь* узнать. Вообрази себѣ мужика, который всю жизнь свою не ѣдалъ ничего, кромѣ хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиною, и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы и калачей, и кондитерскихъ издѣлій, и плодовъ: можно сказать, что у него нѣтъ самообладанія и человѣческой воздержности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра... а захвативши что нибудь, начнетъ пожирать съ звѣрскою жадностью, а когда у него станутъ отнимать, онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ? Какъ же отъ него требовать Entsagung? У всякаго есть своя исторія, мой добрый Василій»...

Письмо оканчивается 20 февраля разсужденіями о личныхъ отношеніяхъ Бѣлинскаго съ нѣкоторыми друзьями кружка, и о сердечной исторіи Боткина. Эта исторія, начавшаяся около 1839 года, происходила совершенно въ духѣ ихъ прежней романтической идеальности: чувство затуманивалось идеальными фантазіями и, съ одной стороны, ими, кажется, и ограничивалось. Особа была извѣстна Бѣ-

---

[1]) Самоотверженіе, самоотрицаніе о которомъ не мало говорилось въ кружкѣ между прочимъ и по поводу Шиллерова Resignation.

[2]) Сравненіе, сдѣланное Гёте въ Wahlverwandschaften и повторенное въ «Серапіоновыхъ Братьяхъ» Гофмана.

линскому, внушала восторгъ ему самому, и потому онъ вдвойнѣ былъ заинтересованъ этимъ дѣломъ. Но романтическая несостоятельность отношеній не могла наконецъ не обнаружиться. Исторія принимала неблагопріятный оборотъ, и, огорчая друзей, давала имъ по старой привычкѣ обильные поводы къ рефлексіи, но исходъ исторіи навелъ ихъ и на болѣе здравое пониманіе вещей.

Въ это же время Бѣлинскій пишетъ къ своему родственнику Иванову письмо, занятое его домашними денежными дѣлами въ Москвѣ. Онъ получилъ наконецъ возможность послать Иванову около 1.500 р. асс., для расплаты съ московскими долгами. Главнымъ изъ кредиторовъ былъ Боткинъ, потомъ Нащокинъ (пріятель Пушкина), о которомъ Бѣлинскій говоритъ съ большой симпатіей, наконецъ еще одинъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, добрый человѣкъ (Вологжаниновъ), который, по болѣе вѣрному объясненію московскихъ друзей, оказался просто ростовщикомъ. И въ этомъ письмѣ Бѣлинскій жалуется на «тяжелое состояніе духа»:

«О себѣ... ничего не скажу, кромѣ того, что Питеръ мнѣ ненавистенъ и жить мнѣ въ немъ тяжело и мучительно. Впрочемъ, и кромѣ него много причинъ для моихъ страданій. Недостатокъ воли, лѣнь, безпорядочный образъ жизни, разныя огорченія, и внутреннія, и внѣшнія—все это дѣлаетъ мнѣ жизнь не слишкомъ то веселою. Люди въ Питерѣ не тѣ, что въ Москвѣ, образованность лаковая, внѣшняя, а внутренняго—одно: корысть, мелкодушіе и невѣжество. Впрочемъ, вездѣ не безъ добрыхъ людей, и въ Питерѣ есть хорошіе люди, которыхъ я называю *московскими колонистами*, хотя иные изъ нихъ и въ глаза не видали Москвы... Внѣшнія мои обстоятельства пока еще ни то, ни сё, и больше худы, чѣмъ хороши, но все во сто разъ лучше, чѣмъ когда жилъ въ Москвѣ. Улучшеніе ихъ зависитъ отъ участи «О. З.» [1]...

Февраля 24, Бѣлинскій начинаетъ новое длинное посланіе. Наканунѣ онъ получилъ отъ Боткина письмо, еще разъ убѣдившее его въ ихъ тѣсной, неразрывной дружбѣ, и онъ прочиталъ письмо съ восхищеніемъ... Въ письмѣ опять много говорится о личныхъ отношеніяхъ ихъ обоихъ. Бѣлинскій въ это время окончательно

---

[1]) Вспоминая свои московскія дѣла, Бѣлинскій, между прочимъ, говоритъ о «Наблюдателѣ». Надобно замѣтить, что издатель этого журнала, Степановъ, выставлялъ Бѣлинскаго причиной прекращенія журнала и безцеремонно злоупотреблялъ его именемъ. Бѣлинскій разсказываетъ, что было дѣйствительной причиной паденія «Наблюдателя». Степанову хотѣлось издавать журналъ, который, ничего ему не стоя, давалъ бы работу для его типографіи, и онъ думалъ сдѣлать Бѣлинскаго своимъ орудіемъ въ благомъ предпріятіи: по его милости журналъ началъ страшно отставать, такъ что изданіе стало невозможно. Бѣлинскій говоритъ о немъ съ негодованіемъ.

расходится съ Бакунинымъ: его до послѣдней степени раздражаетъ постоянная «рефлексія» или, просто, резонерство, которое иной разъ служитъ подкрѣпленіемъ фальшивыхъ положеній въ жизни. И онъ, и Боткинъ имѣли причины быть недовольными Бакунинымъ, и Бѣлинскій въ февральскихъ письмахъ, между прочимъ здѣсь, даетъ полный просторъ своему враждебному настроенію. Очень вѣроятно, что это разстройство романической дружбы и извѣданная на опытѣ Боткина несостоятельность романической любви съ своей стороны способствовали тому, что Бѣлинскій все больше приближается къ давно желанной «простотѣ», и даетъ больше мѣста внушеніямъ столь презираемой прежде «разсудочности».

«Ты пишешь,—говоритъ онъ между прочимъ Боткину, — что онъ [Бакунинъ] любитъ одно общее. О, пропадай это ненавистное общее, этотъ Молохъ, пожирающій жизнь, эта гремушка эгоизма,.. Лучше самая пошлая жизнь, чѣмъ *такое* общее, чтобъ чортъ его побралъ! Пусть лучше данъ будетъ моему разумѣнію маленькій уголокъ живой дѣйствительности, чѣмъ это пустое, лишенное всякаго содержанія, всякой дѣйствительности, сухое и эгоистическое (общее). Ты пишешь, что у меня такая же способность отвлеченія, какъ у М.: такъ да не такъ, я резонеръ и рефлектировщикъ, правда,—но за то, какъ скоро представали передъ меня дивныя явленія дѣйствительности, въ искусствѣ и жизни, я посылалъ къ чорту свою рефлексію, и никогда не мѣнялъ *человѣка* на *книгу*»...

Письмо продолжается 27 февраля, потомъ 1 марта. Эстетическіе вопросы постоянно возвращаются въ ихъ перепискѣ, какъ прежде въ ихъ бесѣдахъ, и Бѣлинскій съ жаромъ опровергаетъ здѣсь мнѣніе Боткина объ отсутствіи рефлексіи въ поэзіи Пушкина. Далѣе мы еще встрѣтимся съ этой темой.

«...Каждое письмо твое,—пишетъ Бѣлинскій,—свѣтлый праздникъ для меня, день счастія и даже полноты, поколику она для меня возможна. А о Пушкинѣ ты врешь, хотя, по своему обыкновенію, и мило врешь. Шекспиръ не зналъ новѣйшей германской рефлексіи, но міросозерцаніе его оттого не пострадало, не съузилось, равно какъ и обиліе нравственныхъ идей. У Пушкина то и другое безконечно, только труднѣе въ то и другое проникнуть, чѣмъ у нѣмцевъ. Вспомни, что ты самъ такъ глубоко и вѣрно подмѣтилъ въ «Онѣгинѣ» — какое безконечное міросозерцаніе, какой великій нравственный урокъ — и въ чемъ же — въ нашей частной жизни, среди помѣщиковъ! А тамъ еще «Цыганы», «Борисъ Годуновъ», «Русалка» (обрати на нее вниманіе), «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость». Въ послѣднее время мнѣ открылся «Бахч. фонтанъ»: мнѣ кажется, я въ состояніи написать объ этой крошечной пьескѣ цѣлую книгу—великое міровое созданіе! Присовокупи ко всему этому, что Пушкинъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, въ порѣ возмужалости своего генія, умеръ, когда великій мірообъемлющій Пушкинъ уже кончился, и на-

чинался въ немъ великій, мірообъемлющій Шекспиръ. Да, міръ увидѣлъ бы въ немъ новаго Шекспира»...

Бѣлинскому удалось прочесть извѣстное стихотвореніе «Памятникъ», которое издатель «Утренней Зари» Владиславлевъ выпросилъ тогда для своего альманаха у опеки, которой порученъ былъ разборъ и изданіе рукописей Пушкина. Бѣлинскій передаетъ содержаніе стихотворенія и продолжаетъ:

«О, какъ дѣйствуютъ на меня подобныя самосознанія въ такихъ простыхъ цѣлостныхъ людяхъ, какъ Пушкинъ! Нѣтъ, Б., надо радоваться, что ядовитое дыханіе рефлексіи (ядовитое для поэзіи) не коснулось Пушкина, и тѣмъ не отняло у человѣчества великаго художника. Я понимаю цѣну, значеніе и необходимость рефлектированной поэзіи—я самъ безъ ума отъ символическаго «Прометея» Гёте; но, во-первыхъ, я настаиваю на то, что когда говорится объ истинной (непосредственной) поэзіи—о рефлектированной можно и помолчать; а во-вторыхъ, — я вижу нравственную идею только въ *нерукотворныхъ*, *явленныхъ* образахъ, которые одни есть абсолютная дѣйствительность, а не тѣ, гдѣ хитрила человѣческая мудрость. Воля твоя, а послѣ Вертера и Вильгельма Мейстера—твое удивленіе къ Wahlverwandschaften мнѣ очень подозрительно. Я увѣренъ, что это тоже, что Вильг. Мейстеръ: вино пополамъ съ водою. Такія произведенія, много давая въ частяхъ, цѣлымъ своимъ только усиливаютъ болѣзненность духа и рефлексію, а не выводятъ изъ нихъ въ полноту созерцанія. А что Егоръ Өедорычъ [1]) восхищается рефлектированностію поэзіи Шиллера—брешетъ, собачій сынъ [2])... Еще разъ — счастіе наше, что натура Пушкина не поддалась рефлексіи: отъ того онъ и великій поэтъ»...

Онъ радуется, что у Лермонтова также мало рефлексіи: «есть надежда, что будетъ поэтъ!» Онъ восхищается его стихотвореніемъ: «1-е января» и «Казачьей колыбельной пѣсней»...

«Пиши мнѣ, пиши о каждомъ стихотвореніи Лермонтова — иначе я не хочу съ тобою знаться. Какъ, мой добрый и лысый Василій,—«На смерть Одоевскаго» тебѣ больше нравится, чѣмъ «Терекъ»? Сіе мнѣніе, о Боткинъ!—еслибы ты его напечаталъ,—я бы печатно отрекся даже отъ того, что когда-либо встрѣчалъ тебя. Неужели на святой Руси только одному мнѣ суждено было добраться (съ грѣхомъ пополамъ) до тайны поэзіи, и носиться съ нею среди васъ, подобно Кассандрѣ съ ея зловѣщею тайною, осуждавшею ее на отчужденіе и одиночество среди ликующаго народа въ свѣтломъ Иліонѣ! Нѣтъ,—Кудрявцеву, вѣрно, «Терекъ» лучше нравится, чѣмъ «На см. Од.»—вѣдь не даромъ же я такъ люблю его... Спроси его и тотчасъ же увѣдомь или заставь его при себѣ же написать нѣсколько словъ объ этомъ—буду ждать этого съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ будто и Богъ знаетъ чего...

---

[1]) Гегель.

[2]) Опять гоголевская фраза.

«...Да, кстати: что съ тобою... дѣется? Ты безъ меня потерялъ всякое чутье къ поэзіи. Новогреческія пѣсни я замѣтилъ — онѣ превосходны и переводъ хорошъ [1]. Но, ради Аллаха, съ чего ты взялъ, что переводы Аксакова положительно хороши, а не положительно дурны? Неужели это Гёте? — Чѣмъ же онъ выше Семена Егоровича Раича? А Вецелевскаго стихотворенія я не понимаю: должно быть, рефлектированное. Струговщикова переводъ тоже не изъ лучшихъ его переводовъ. И вообще стихотворная часть въ «Одесск. Альманахѣ» — плоховата. Стихи Лермонтова недостойны его имени»...

Лучшимъ стихотвореніемъ въ альманахѣ онъ считаетъ «Сонъ», подписанный буквой М... Это стихотвореніе, говоритъ онъ, не было замѣчено никѣмъ, кромѣ его и Панаева, въ которомъ Бѣлинскій вообще видѣлъ большое чутье къ изящному...

Въ томъ же письмѣ находится отрывочная замѣтка, гдѣ Бѣлинскій возвращается къ вопросу о безсмертіи, который очень его тревожилъ. Онъ высказывается такъ:

«Что, другъ, ты ужъ говоришь, что лучше піэтизмъ, чѣмъ пантеистическія построенія о безсмертіи? Я самъ тоже думаю. Для меня Ев.—абсолютная истина, а безсмертіе индив. духа есть основной его камень. Временемъ тепло вѣрится—

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко,
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко.

Да, надо читать чаще Евангеліе — только отъ него и можно ожидать полнаго утѣшенія. Но объ этомъ или все или ничего».

Около того же времени (вѣроятно нѣсколько ранѣе) Бѣлинскій писалъ другое длинное письмо Боткину, отъ котораго мы имѣемъ только отрывокъ. Московскіе друзья передавали ему, что Станкевичъ недоволенъ его нападеніями на Шиллера и сердится на нихъ. Бѣлинскій жалуется, что за нимъ не хотятъ оставить свободы его мнѣнія,—продолжаетъ защищать свой взглядъ на Шиллера, но теперь все-таки выражается мягче прежняго. «Дѣло ясно,— говоритъ онъ: —кто-нибудь изъ насъ не понимаетъ дѣла; понять же его зависитъ отъ средствъ духовныхъ и времени, слѣд. сердиться смѣшно. Уважаю Шиллера за его духъ, но драмы его, въ художественномъ отношеніи, для меня — хоть бы ихъ и не было. Вру я, рѣжусь, не понимаю: положимъ такъ, но моя ли то вина. Говорю, какъ вижу, а вижу, какъ говорю». Тамъ же онъ говоритъ о Го-

---

[1]) Рѣчь идетъ объ «Одесскомъ Альманахѣ» 1840, Надеждина.

голѣ: «Желалъ бы что-нибудь знать о Гоголѣ, да К. Аксаковъ не отвѣчаетъ на мои письма—видно сердится на меня—что-жъ дѣлать. Вполнѣ понимаю страданія Г[оголя] и сочувствую имъ. Понимаю и его Sehnsucht къ Италіи. Родная дѣйствительность ужасна»... Будь у него самого средства, онъ ушелъ бы отъ нея въ глушь, въ деревню,—но, впрочемъ, она и тамъ найдетъ. «Страшная и гадкая дѣйствительность!»

Въ письмѣ 14 марта Бѣлинскій, между прочимъ, останавливается на печальномъ положеніи своихъ журнальныхъ дѣлъ, зависѣвшемъ отъ труднаго положенія самаго журнала. Въ первые годы положеніе «Отеч. Записокъ» было, въ самомъ дѣлѣ, очень неблагопріятное. Первоначально онѣ были основаны въ видѣ небольшого общества на акціяхъ [1]), изъ нѣсколькихъ человѣкъ. Одни внесли свою долю, другіе не вносили вовсе; нѣкоторые изъ участниковъ вмѣшивались въ самое веденіе дѣла, ставили условія, крайне стѣснительныя для журнала, — такъ что изданіе, на первый годъ, конечно, не имѣвшее много подписчиковъ, стѣсненное этими домашними препятствіями и, наконецъ, встрѣченное враждебно компаніей «Библ. для Чтенія» и «Сѣверной Пчелы» (имѣвшими тогда большое вліяніе на публику)—могло удержаться только при большомъ упорствѣ редакціи. Въ этомъ упорствѣ недостатка не было, и Бѣлинскій, самъ крайне непрактическій, не могъ довольно надивиться твердому характеру редакціи, ея самоотверженію (о которомъ послѣ сталъ судить иначе). Общее состояніе журнала отражалось, конечно, и на дѣлахъ Бѣлинскаго.

Бѣлинскій разсказываетъ о трудныхъ обстоятельствахъ изданія. Для него сдѣлано было все: редакція трудится безъ устали, все отлично устроено; порядочные люди пристали къ журналу, дали ему характеръ и единство (что̀ есть, изъ другихъ журналовъ, только въ «Библіотекѣ»), мысль, жизнь, одушевленіе (которыхъ нѣтъ ни въ одномъ журналѣ), а между тѣмъ дѣло нейдетъ:

«И добро бы Сенковскій мѣшалъ?—Нѣтъ, Гречъ съ Булгаринымъ — хвала и честь расейской публикѣ..... Живя въ Москвѣ, я

---

[1]) Ср. «Литер. Воспом.» Панаева, «Совр.» 1861, февр., стр. 651. По словамъ Панаева, акціонерами или «вкладчиками» при основаніи «Отеч. Записокъ» были, кромѣ Краевскаго-редактора: кн. Одоевскій, А. В. Всеволожскій, Н. П. Мундтъ и Владиславлевъ, извѣстный издатель альманаховъ, жандармскій офицеръ; Панаевъ также долженъ былъ быть въ этомъ числѣ—но онъ не вносилъ своихъ денегъ. Бѣлинскій, въ письмѣ отъ 16 апрѣля, называетъ также Враскаго (родственникъ кн. Одоевскаго, быть можетъ, представлявшій его въ дѣлахъ журнала); этотъ Враскій и Владиславлевъ, по его словамъ, были «лютѣйшіе» изъ вкладчиковъ—по вмѣшательству въ дѣла «Отеч. Записокъ».

даже стыдился много и говорить о Гречѣ, считая его призракомъ; но въ Питерѣ онъ авторитетъ больше Сенковскаго. Лекціи свои онъ началъ читать, чтобы уронить «О. З.»—онъ говоритъ это публично. Вотъ тебѣ и дѣйствительность!.. Но еслибы и не это, если бы у меня и были деньги, мнѣ все не легче: я теперь понимаю саркастическую желчность, съ какою Гофманъ нападалъ на идіотовъ и филистеровъ; я связанъ съ расейскою публикою страшными узами, какъ съ постылою женою... О, я теперь лучше бы сошелся съ Грановскимъ, лучше бы понялъ и оцѣнилъ эту чистую, благородную душу, эту здоровую и нормальную натуру, для которой слово и дѣло—одно и тоже»...

Замѣчаніе о Грановскомъ относится, безъ сомнѣнія, къ тѣмъ спорамъ о предметахъ общественнаго свойства, которые Бѣлинскому пришлось имѣть въ концѣ его московской жизни съ людьми другого кружка́, иныхъ мнѣній. Грановскій въ этомъ случаѣ былъ на сторонѣ противниковъ Бѣлинскаго и вовсе не былъ защитникомъ «дѣйствительности». Продолженіе письма указываетъ, что Бѣлинскому припомнились эти споры и онъ начинаетъ замѣчать справедливость мнѣній, которыя до тѣхъ поръ такъ рѣшительно отвергалъ:

«Да, по прежнему брезгаю французами... но *идея общества* обхватила меня крѣпче,—и пока въ душѣ останется хоть искорка, а въ рукахъ держится перо, — я дѣйствую. Мо́чи нѣтъ, куда не взглянешь—душа возмущается, чувства оскорбляются. Что̀ мнѣ за дѣло до кружка́—во всякой стѣнѣ, хотя бы и не китайской, плохое убѣжище. Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, и еще больше разсыплется, а куда приклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность? Нѣтъ, къ чорту всѣ высшія стремленія и цѣли! Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму, мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку «О. З.». Я литераторъ — говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупѣть, чтобы расейская публика лучше понимала меня: благодаря одуряющему вліянію финскихъ болотъ и гнусной плоскости, на которой основанъ Питеръ, надѣюсь вполнѣ успѣть въ этомъ»...

Онъ разсказываетъ далѣе, что редакторъ «Отеч. Записокъ» получилъ изъ Москвы предостереженіе о вредномъ вліяніи, какое Бѣлинскій можетъ возымѣть на журналъ. Предостереженіе исходило отъ Н. Ф. Павлова. Бѣлинскій бывалъ съ нимъ знакомъ въ Москвѣ, и Павлову случилось разъ или два «одолжить» Бѣлинскаго, который (какъ выше упоминалось) вскорѣ долженъ былъ очень этимъ отяготиться,—потому что Павлову казалось, и онъ говорилъ это,— что «одолженіе» обязывало Бѣлинскаго ничего не говорить противъ

его сочиненій. Эти слова дошли до Бѣлинскаго... Надобно сказать, что первыя повѣсти Павлова, вышедшія въ 1835 году [1]), произвели довольно большое впечатлѣніе. Въ 1839, явились «Новыя повѣсти»; въ «Отеч. Запискахъ» 1839, до вступленія Бѣлинскаго въ журналъ, помѣщенъ былъ восхвалительный отзывъ... Бѣлинскій и московскіе друзья думали иначе о повѣстяхъ Павлова: Бѣлинскій и прежде [2]) выражался очень сдержанно о степени таланта Павлова и достоинствѣ его первыхъ повѣстей. Теперь его мнѣніе еще больше опредѣлилось; Боткинъ прилагалъ къ повѣстямъ Павлова довольно язвительный эпитетъ, означавшій насильственное возбужденіе и аффектацію, которыхъ и въ самомъ дѣлѣ было довольно въ повѣстяхъ Павлова. Павловъ вѣроятно зналъ эти мнѣнія кружка́, опасался, что они будутъ высказаны въ журналѣ, и пожелалъ остеречь «Отеч. Записки» отъ писателя, вреднаго для журнала. Редакторъ «Отеч. Записокъ», по словамъ Бѣлинскаго, въ письмѣ къ Павлову отказался понимать его намеки.

Въ письмѣ Бѣлинскаго не забыты и литературныя новости. «Въ 3 № «О. З.» славная повѣсть Соллогуба: чудесный беллетрическій талантъ. Это поглубже всѣхъ Бальзаковъ и Гюговъ, хотя сущность его таланта и родственна съ ними». Далѣе, извѣстіе о дуэли Лермонтова съ Барантомъ: «Л. слегка раненъ, и въ восторгѣ отъ этого случая, какъ маленькаго движенія въ однообразной жизни»; просьбы къ московскимъ друзьямъ и знакомымъ о присылкѣ статей, къ Кетчеру о переводахъ изъ Гофмана, къ Грановскому, Каткову и пр. «Гоголь доволенъ моею статьею о «Ревизорѣ» — говоритъ—многое подмѣчено вѣрно. Это меня обрадовало».

Опускаемъ коротенькое письмо отъ 19 марта, наполненное горячимъ выраженіемъ сочувствія къ сердечнымъ бѣдствіямъ друга, которыя все еще не разрѣшались.

Затѣмъ новое длинное посланіе отъ 16 апрѣля. Бѣлинскій опять жалуется на томительную апатію: — «Не повѣришь, что за апатія, что за лѣнь овладѣли мною—истинное замерзаніе души и тѣла. Да, и тѣла, ибо и оно ничего не проситъ, и если исправно ѣстъ, то больше для порядка, чѣмъ для удовольствія. А душа совсѣмъ расклеилась и похожа на разбитую скрипку — однѣ щепки; собери и склей — скрипка опять заиграетъ, и, можетъ быть, еще лучше, но пока—однѣ щепки. Бо́льшею частію лежу на кровати и

---

[1]) «Три повѣсти Н. Павлова», М. 1835. См. о нихъ «Эпизодъ изъ литературы тридцатыхъ годовъ», Сухомлинова, въ «Древней и Новой Россіи», 1875, № 1.

[2]) Въ статьѣ «о русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя» (въ «Телескопѣ» 1835, № 7—8; Сочин., т. I, стр. 204 и слѣд.).

думаю объ испанскихъ дѣлахъ... Только фантазія и жива, но это къ моему горю, ибо фантазія первый мой врагъ»... Въ этомъ апатическомъ настроеніи онъ сомнѣвается въ самомъ себѣ, отказывается отъ надеждъ на личное счастіе, считаетъ ничтожнымъ содержаніе своихъ работъ, — но въ литературѣ для него остается и возбуждаетъ его одна задача — борьба противъ той пошлости, которую усердно распространяла ненавистная ему клика и которою такъ наслаждалось отупѣлое большинство «расейской» публики...

«...Мнѣ остается одно: объективный интересъ моей литературной дѣятельности. Только тутъ я самъ уважаю себя... потому что вижу въ себѣ безконечную любовь и готовность на всѣ жертвы, только тутъ я и страдаю и радуюсь не о себѣ, и не за себя, только тутъ моя дѣятельность торжествуетъ надъ лѣнью и апатіею. И потому я больше горжусь, больше счастливъ какою-нибудь удачною выходкою противъ Булг., Гр. и подобныхъ сквернавцевъ, нежели дѣльною критическою статьею... Видно и въ самомъ дѣлѣ я нуженъ судьбѣ, какъ орудіе (хоть такое, какъ помело, лопата или заступъ), а потому долженъ отказаться отъ всякаго счастія, потому что судьба жестока къ своимъ орудіямъ — велитъ имъ быть довольными и счастливыми тѣмъ, что они орудія, а больше ничѣмъ, и употребляетъ, пока не изламаются, а тамъ бросаетъ. Такъ и я: въ жизни... помучусь, поколочусь какъ собака, а тамъ издохну, т.-е. погружусь въ міровую субстанцію, и въ ней заживу на славу. Лестная перспектика впереди!»...

Онъ разсказываетъ Боткину о матеріальномъ положеніи «Отеч. Записокъ», которыя едва могутъ существовать, обремененныя долгомъ, и должны вести борьбу съ противниками, какъ Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій и Полевой. «Что это за міръ!—восклицаетъ Бѣлинскій:—берутъ взятки открыто»... Гречъ, по словамъ Бѣлинскаго, «владычествуетъ» въ публикѣ. «Безъ «Пчелы», «О. З.» имѣли бы вѣрныхъ 3000 подписчиковъ», а за первый годъ имѣли только 1800... «Портретъ Панаева [1]) и всѣ выходки въ «Литер. Газетѣ» противъ Греча производятъ сильный эффектъ — онъ рветъ волосы и неистовствуетъ. Но если-бъ ты зналъ, чего, какой борьбы, какихъ усилій стоятъ намъ эти выходки!.. При этомъ всегда бываетъ цѣлая исторія». Цензура еще пропускала на половину ихъ выходки, только благодаря связямъ князя Одоевскаго...

Эти представленія о «владычествѣ» Греча могутъ показаться теперь преувеличенными. По всей вѣроятности, Бѣлинскій въ этомъ случаѣ говоритъ отчасти подъ вліяніемъ того, что слышалъ отъ

---

[1]) Бѣлинскій разумѣетъ статьи Панаева въ «Литер. Газетѣ», подъ названіемъ «Портретная Галлерея». Въ одной изъ этихъ статей («Лит. Газета», № 12, 10 февраля) читатели должны были угадывать Сенковскаго, Греча, Булгарина, Полевого.

редакціи журнала, которая придавала большую важность Гречу и компаніи, между прочимъ опасаясь отъ нихъ вреда для подписки, и постоянно противъ нихъ ратовала. Но и не одна редакція «Отеч. Записокъ» имѣла такое мнѣніе о «владычествѣ» Греча. Напомнимъ статью кн. Одоевскаго о «польской» литературной партіи конца тридцатыхъ годовъ [1]), которую онъ изображаетъ какъ цѣлую злонамѣренную стачку, приписывая ей систематическіе замыслы и тонкую интригу. Въ сущности, дѣло было безъ сомнѣнія проще. Не было, конечно, недостатка въ интриганствѣ, какое изображаетъ кн. Одоевскій и которое иной разъ могло быть очень опасно; «Сѣверная Пчела» пользовалась особеннымъ довѣріемъ генерала Дубельта..., но кн. Одоевскій тѣмъ не менѣе, вѣроятно, преувеличилъ силу «систематической» интриги: съ *этой* стороны опасность являлась уже нѣсколько позднѣе, и «польской» интриги было несравненно меньше, чѣмъ русской. Въ литературномъ смыслѣ, писателямъ «Отеч. Записокъ» не было никакого труда бороться съ ихъ противниками; каждый успѣхъ публики въ литературномъ пониманіи былъ паденіемъ ихъ враговъ; но на первое время эти враги могли казаться серёзными врагами именно потому, что имѣли великій авторитетъ въ массѣ полуобразованной публики, считавшей Греча великимъ знатокомъ русскаго языка, Булгарина—прекраснымъ романистомъ и нравоописателемъ, Сенковскаго—образцомъ остроумія и т. д. Вопросъ былъ, слѣдовательно, не столько въ борьбѣ съ этой партіей, сколько въ воспитаніи самой публики, неразвитость которой могла создать такое «владычество». Въ письмахъ того времени, Бѣлинскій не находитъ достаточно сильныхъ эпитетовъ для пошлости читающей публики и предметовъ ея почитанія...

Изъ разсказа Бѣлинскаго о дѣлахъ журнала видно, что, хотя, по его мнѣнію, и сдѣлано было нѣсколько ошибокъ, но журналъ уже съ перваго года произвелъ хорошее впечатлѣніе на публику, а противники начинали терять въ ея мнѣніи. Бѣлинскій возлагаетъ большія надежды на твердый характеръ редакціи, хвалитъ редакцію и за то, что она нисколько не мѣшается въ его собственную дѣятельность и предоставляетъ ему полную свободу. Затѣмъ онъ продолжаетъ:

«...Мы еще не безъ надеждъ. Несмотря на промахи Каткова (ст. о снахъ), на мои (глупая статейка о брошюркахъ Жук. и Глин., надъ которою смѣялся весь Питеръ и публично тѣшился Гречъ), на Кр. (рецензія о Повѣстяхъ Павлова, на которую роптали весь Питеръ), и пр., и пр.; несмотря на новое и неперевариемое для на-

[1]) «Р. Архивъ», 1864.

шей публики. направленіе «О. З.», нынѣшній годъ, вмѣсто того, чтобы убавиться стами тремя подписчиковъ, ихъ прибавилось сотни три... (На слѣдующій годъ онъ еще ожидаетъ прибавки)... Это тѣмъ вѣроятнѣе, что «конкретности» и «рефлексіи» исключаются рѣшительно, кромѣ ученыхъ статей, какова Бакунина, и вообще нынѣшній годъ популярнѣе и живѣе, а между тѣмъ публика уже и привыкаетъ къ новости и то, что ей казалось дикимъ, становится уже обыкновеннымъ. «Библ. для Чтенія» падаетъ. См[ирдинъ] ее продаетъ съ публичнаго торгу... «Сынъ Отечества» [1]) во всеобщемъ презрѣніи и позорѣ»...

Но въ ту минуту матеріальное положеніе «Отеч. Записокъ» было плохо, и Бѣлинскій проситъ Боткина устроить для редакціи заемъ въ Москвѣ у одного изъ богатыхъ знакомыхъ... Кромѣ того, онъ опять проситъ о присылкѣ статей, — которыя, впрочемъ, по указанной причинѣ не могли быть тогда оплачены. Онъ проситъ Боткина прислать свой «Римъ», Кетчера о переводѣ «Цахеса» и «Мейстера Фло» изъ Гофмана, Грановскаго, Кудрявцева и проч. Онъ желаетъ, чтобы изъ Гофмана переведено было все, чего еще не было на русскомъ языкѣ,—ему пришла мысль, что нужно перевести «Вильгельма Мейстера», что интересны записки Гёте, переписка его съ Шиллеромъ.

«Все читалъ «Серапіоновыхъ Братьевъ», Гофмана, — пишетъ онъ вслѣдъ затѣмъ. — Чудный и великій геній этотъ Гофманъ! Въ первый еще разъ понялъ я мыслію его фантастическое [2]). Оно — поэтическое олицетвореніе таинственныхъ враждебныхъ силъ, скрывающихся въ нѣдрахъ нашего духа. Съ этой точки зрѣнія болѣзненность Гофмана у меня исчезла — осталась одна поэзія. Много объяснилъ я себѣ и самого себя чрезъ это чтеніе. Вспомни повѣсть о трехъ друзьяхъ — это злая сатира на меня, и именно въ лицѣ того, которому отецъ мнимо-возлюбленной его явился, въ колпакѣ, съ букетомъ, читая его письмо. Вообще, Серапіоновскій кругъ напомнилъ мнѣ нашъ московскій — и много сладкихъ и грустныхъ ощущеній прошло по моей душѣ. Что̀ за чудесная вещь—«Синьоръ Формика»! Да, все хорошо, даже и любовь свеклы къ дочери астронома — прелесть. Это не художественная поэзія, какъ Шекспира, Валт. Скотта, Купера, Пушкина, Гоголя, но и не совсѣмъ рефлектированная, а что-то среднее между ними... Скажи, какъ тебѣ кажется мое мнѣніе. Вообще, я страстно полюбилъ Гофмана, не разстался бы съ нимъ, а о драмахъ Шиллѐра — такъ и вспомнить тошно»...

Онъ вспоминаетъ при этомъ о старыхъ временахъ. «Смѣшно

---

[1]) Въ 1839 г. редакторомъ его былъ Гречъ.

[2]) Выше было приведено прежнее мнѣніе Бѣлинскаго о Гофманѣ, когда фантастическое казалось Бѣлинскому только поэтическимъ произволомъ или болѣзненностью.

вспомнить, какіе мы были (и отчасти есть и теперь) дѣти, и какими словами мы злоупотребляли. Болѣе всего досталось отъ насъ *художественному*». Онъ вспоминаетъ, какъ К. Аксаковъ наговорилъ имъ о «божественныхъ» переводахъ К. К. Павловой, какъ самъ Бѣлинскій провозглашалъ это въ «Наблюдателѣ», Катковъ и Аксаковъ въ «Отеч. Запискахъ». «Славный стихъ, славные переводы — только перечесть ихъ нѣтъ силы», замѣчаетъ Бѣлинскій.

«Молодецъ Кудрявцевъ! Какъ ни распѣвалъ я ему на разные голоса эти дивные переводы, онъ ничего въ нихъ не видѣлъ. Теперь я вполнѣ созналъ, что слово *художественный* — великое слово, и что съ нимъ надо обращаться осторожно и вѣжливо, даже въ приложеніи и къ Пушкину съ Гоголемъ, и въ ихъ твореніяхъ отличать поэтическое отъ художественнаго и даже беллетрическаго. Напр. «Капитанская Дочка» Пушкина, по моему, есть не больше какъ беллетрическое произведеніе, въ которомъ много поэзіи и только мѣстами пробивается художественный элементъ. Прочія повѣсти его — рѣшительная беллетристика. Кстати: вышли повѣсти Лермонтова. Дьявольскій талантъ! Молодо-зелено, но художественный элементъ такъ и пробивается сквозь пѣну молодой поэзіи, сквозь ограниченность субъективно-салоннаго взгляда на жизнь».

Бѣлинскій разсказываетъ затѣмъ о свиданіи своемъ съ Лермонтовымъ, томъ самомъ, которое описано въ «Литер. Воспоминаніяхъ» Панаева [1]. Бѣлинскаго въ высокой степени интересовала личность Лермонтова, но извѣстно, что ему не удавалось ни разу говорить съ нимъ серьезно. Лермонтовъ никакъ не поддавался на сближеніе, старательно скрывалъ свою интимную мысль, отчасти по гордому самолюбію, лежавшему въ его характерѣ, отчасти по дурной манерѣ свѣтскаго фата и по той причинѣ, вслѣдствіе которой Пушкинъ хотѣлъ быть стариннымъ дворяниномъ и свѣтскимъ человѣкомъ, и никакъ не литераторомъ. На этотъ разъ Бѣлинскому удалось услышать отъ Лермонтова нѣсколько словъ искреннихъ и серьезныхъ; вотъ его впечатлѣнія:

«Недавно былъ я у Лермонтова въ заточеніи [2]) и въ первый

---

[1]) «Совр.» 1861, февр., стр. 661. Въ біографіи Лермонтова, при изданіи его сочиненій 1873 года, мы назвали разсказъ Панаева не вполнѣ достовѣрнымъ, на основаніи словъ лица, бывшаго свидѣтелемъ разговора. Но, какъ видно изъ приводимыхъ здѣсь собственныхъ словъ Бѣлинскаго, Панаевъ очень вѣрно передалъ сущность дѣла,—конечно, по впечатлѣніямъ Бѣлинскаго тотчасъ послѣ свиданія.

[2]) На гауптвахтѣ послѣ дуэли съ Барантомъ.

разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ! Какъ онъ вѣрно смотритъ на искусство, какой глубокій и чисто-непосредственный вкусъ изящнаго! О, это будетъ русскій поэтъ съ Ивана Великаго! Чудная натура! Я былъ безъ памяти радъ, когда онъ сказалъ мнѣ, что Куперъ выше В. Скотта, что въ его романахъ больше глубины и больше художественной цѣлости. Я давно такъ думалъ и еще перваго человѣка встрѣтилъ, думающаго также. Передъ Пушкинымъ онъ благоговѣетъ, и больше всего любитъ «Онѣгина». Женщинъ ругаетъ: однихъ за то....., другихъ за то..... Мужчинъ онъ также презираетъ, но любитъ однихъ женщинъ, и въ жизни только ихъ и видитъ. Взглядъ—чисто-онѣгинскій. Печоринъ—это онъ самъ какъ есть. Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему—онъ улыбнулся и сказалъ: дай Богъ! Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ. Каждое его слово — онъ самъ, вся его натура во всей его глубинѣ и цѣлости своей. Я съ нимъ робокъ—меня давятъ такія цѣлостныя, полныя натуры, я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества. Понимаешь ли ты меня... о московская душа!»

Далѣе, Бѣлинскій опять говоритъ о Лермонтовѣ, по поводу одной повѣсти гр. Соллогуба [1]):

«Къ повѣсти Соллогуба ты черезчуръ строгъ: прекрасная беллетрическая повѣсть — вотъ и все. Много вѣрнаго и истиннаго въ положеніи, прекрасный разсказъ, нѣтъ никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьевъ — ложное лицо. А, впрочемъ, славная вещь, Богъ съ нею! Лермонтовъ думаетъ также. Хоть и салонный человѣкъ, а его не надуешь—себѣ на умѣ».

По мнѣнію Бѣлинскаго, Лермонтовъ въ образованіи подальше Пушкина, и его не проведетъ не только Катенинъ (котораго Пушкинъ, какъ извѣстно, считалъ, не совсѣмъ основательно, великимъ критикомъ и по совѣту котораго выбросилъ 8-ю главу «Онѣгина»), но и «нашъ братъ». «Вотъ это-то и хорошо».

Слѣдуетъ сужденіе о московскихъ друзьяхъ, о Катковѣ, котораго Бѣлинскій въ то время очень высоко цѣнилъ. Бѣлинскій приходилъ въ восхищеніе отъ его статей въ «Отеч. Запискахъ» [2]). Въ концѣ Бѣлинскій говоритъ о своемъ собственномъ состояніи, которое продолжало быть крайне тягостнымъ:

---

[1]) «Большой Свѣтъ, повѣсть въ двухъ танцахъ», «От. Зап.» 1840, № 3.

[2]) О «Пѣсняхъ» Сахарова, «Отеч. Зап.» 1839, № 6—7; объ «Исторіи древней рус. словесности» Максимовича, 1840, № 4.

«...Плохо, братъ, плохо, такъ плохо, что не зачѣмъ бы и жить. Въ душѣ холодъ, апатія, лѣнь непобѣдимая—все валяюсь на постелѣ, или гуляю, но ничего не дѣлаю. И не люблю, и не страдаю. Однакожъ внутри что-то дѣется само собою... И чѣмъ хуже вижу себя, тѣмъ лучше понимаю дѣйствительность, вижу вещи простѣе, а слѣд. и истиннѣе. Не подумай, чтобы опять бросился въ крайность самоуниженія. Нѣтъ, я вижу (себя)... обыкновеннымъ, каковъ я есть въ самомъ дѣлѣ, но какимъ я себѣ еще не представлялся. Лучшее, что есть во мнѣ — отъ природы наклонное къ добру сердце, которое не можетъ не биться для всего человѣческаго, но которое бьется для всего дѣйствительнаго не ровно, не постоянно, а вспышками. Я привязался къ литературѣ, отдалъ ей всего себя, т.-е. сдѣлалъ ее главнымъ интересомъ своей жизни, мучусь, страдаю, лишаюсь для нея, но... дѣлать изъ себя сильное и дѣйствительное орудіе для ея служенія... я объ этомъ пересталъ уже даже и мечтать. Однимъ словомъ, я вижу, что я — добрый малый, съ добрымъ, горячимъ (т.-е. способнымъ къ вспышкамъ) сердцемъ, съ неглупою головою, съ хорошими способностями, даже не безъ дарованія, но тутъ и все. Въ герои рѣшительно не гожусь, и необыкновеннаго во мнѣ нѣтъ ничего, а необыкновеннымъ я могъ казаться себѣ и даже другимъ потому только, что современная русская дѣйствительность ужъ черезчуръ отличается обыкновенностію. Дюжинная дѣйствительность!.. Надежды на счастіе—нѣтъ... не для меня счастіе. Отъ него отказалась ужъ и услужливая моя фантазія»...

Вотъ еще черта характера, о которой намъ случалось упоминать, объясняемая самимъ Бѣлинскимъ:

«...Одно меня ужасно терзаетъ: робость моя и конфузливость не ослабѣваютъ, а возрастаютъ въ чудовищной прогрессіи. Нельзя въ люди показаться... истинное Божіе наказаніе! Это доводитъ меня до смертельнаго отчаянія. Что это за дикая странность? Вспомнилъ я разсказъ матери моей. Она была охотница рыскать по кумушкамъ..., я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькою, нанятою дѣвкою: чтобъ я не безпокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била. Можетъ быть — вотъ причина. Впрочемъ, я не былъ груднымъ: родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и не зналъ ея..., сосалъ я рожокъ, и то, если молоко было прокислое и гнилое—свѣжаго не могъ брать. Потомъ: отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно — вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ быть—въ этомъ разгадка дикаго явленія. Я просто боюсь людей; общество ужасаетъ меня»...

Далѣе онъ говоритъ о перепискѣ съ однимъ изъ друзей московскаго кружка, которая снова подняла въ немъ воспоминаніе о разныхъ прежнихъ дрязгахъ и столкновеніяхъ... Наконецъ, онъ заключаетъ:

«Вотъ тебѣ и весь я въ настоящемъ моемъ положеніи. Одно надо еще прибавить: россійская дѣйствительность ужасно гнететъ

меня. Я теперь понимаю раздражительность Гофмана при сужденіи глупцовъ объ искусствѣ, его готовность язвить ихъ сарказмами. Но язвить я не умѣю, а въ иныя минуты хотѣлось бы потонуть въ ихъ крови, наслать на нихъ чуму и тѣшиться ихъ муками. Ей-Богу, это не фраза — бываютъ такія минуты. Что же касается до Полевого, Греча и Булгарина—бываютъ минуты, хотѣлось бы быть ихъ палачемъ. Съ другой стороны, становлюсь какъ-то терпимѣе къ слабости, ничтожеству и ограниченности людей. Нѣтъ силъ сердиться на человѣка, который, ради денегъ, ковыляетъ по проселочнымъ дорожкамъ жизни».

Въ приведенной цитатѣ мы опустили нѣсколько фразъ, написанныхъ съ той полной искренностью, какая возможна только въ интимной дружеской бесѣдѣ. Смыслъ этихъ фразъ — крайнее ожесточеніе противъ «дѣйствительности», еще очень недавно признаваемой разумною и цѣлесообразною. Въ понятіяхъ Бѣлинскаго уже готовъ былъ тотъ поворотъ, съ котораго должно считать окончательное образованіе его характера, какъ писателя. Его раздраженіе все еще связано съ интересами искусства: онъ негодуетъ на непониманіе искусства; но негодованіе противъ «филистерства» и пошлой литературы, питающей это филистерство, обращается потомъ противъ болѣе общихъ явленій дѣйствительности, служащихъ источникомъ того и другого. Бѣлинскій издавна былъ исполненъ этой вражды къ отсутствію высшихъ духовныхъ интересовъ, олицетворявшихся въ искусствѣ; теперь, послѣ нѣскольких лѣтъ дѣятельности, посвященной разъясненію искусства и мало удовлетворявшей его своими результатами, онъ ищетъ причинъ явленія, и находитъ ихъ въ условіяхъ дѣйствительности. Живя прежде въ исключительномъ кружкѣ, не зная практической дѣйствительности, онъ не отдавалъ себѣ отчета въ общественномъ положеніи искусства. Теперь онъ былъ въ иныхъ условіяхъ: жизнь въ Петербургѣ всякими путями наталкивала его на опыты практическаго свойства; впечатлѣніе было тягостное, и когда Бѣлинскій задалъ себѣ опредѣленный вопросъ о дѣйствительности, онъ увидѣлъ, какъ ошибочны были его прежнія теоретическія разсужденія; онъ сталъ наблюдать, старался понять ее, и интересы искусства освѣтились для него болѣе широкими интересами жизни. Передъ нимъ явилась «идея общества». Такъ, самъ собою совершался поворотъ въ его мнѣніяхъ,— и внимательное изученіе біографіи убѣждаетъ, что этотъ поворотъ неизбѣжно совершился бы въ Бѣлинскомъ и безъ постороннихъ личныхъ вліяній, собственнымъ движеніемъ его взглядовъ, по свойствамъ самой его природы и условіямъ общественной жизни. Постороннія вліянія, которыми иные хотятъ объяснить этотъ поворотъ, были при этомъ только второстепеннымъ возбужденіемъ.

Черезъ нѣсколько дней, 24 апрѣля, Бѣлинскій снова пишетъ къ Боткину, напоминая ему о «главномъ пунктѣ» своего прежняго письма, т.-е. о просьбѣ добыть денегъ для «Отеч. Зап.». Въ письмѣ Боткина, на которое Бѣлинскій здѣсь отвѣчаетъ [1], — сообщались московскія новости: оказывалось, что въ московскомъ кружкѣ, съ которымъ сближались теперь Герценъ и его друзья, были споры изъ-за Бѣлинскаго; глава противниковъ, повидимому, возставалъ противъ него, защитникомъ Бѣлинскаго явился М. Бакунинъ.—Бѣлинскій, въ которомъ еще не прошло раздраженіе прежнихъ споровъ съ этимъ кружкомъ, съ пренебреженіемъ отзывается на то, что г. «Герц. его не жалуетъ», но вмѣстѣ съ этимъ очень враждебно говоритъ и о защитникѣ... [2]). Повидимому, эти извѣстія снова его разстраивали:

«... Еще просьба,—пишетъ онъ къ Боткину: — если что́ тебя непріятно поразитъ въ моихъ письмахъ, не обращай никакого вниманія... помни, что я боленъ, тяжко боленъ, только самъ будь со мною поосторожнѣе—по той же причинѣ. Впрочемъ, я и физически очень плохъ—одышка доводитъ меня до отчаянія—не даетъ ничего дѣлать...

«Ты познакомился съ Гоголемъ—вотъ такъ поздравляю и даже завидую. Чертовски досадно, что онъ ѣдетъ не черезъ Питеръ, и что я его не увижу, — хоть бы изъ окна въ улицу посмотрѣть на него»....

Въ тотъ же день, 24 апрѣля, Бѣлинскій писалъ Кудрявцеву. Письмо его свидѣтельствуетъ о той мягкой, нѣжной привязанности, какую онъ питалъ къ Кудрявцеву, который, послѣ Боткина, оставался его ближайшимъ другомъ въ Москвѣ. Письмо Бѣлинскаго было отвѣтомъ на два длинныя письма Кудрявцева, отъ 7 января и 3 апрѣля. Кудрявцевъ въ то время только-что оканчивалъ курсъ въ университетѣ (ему былъ тогда 24-й годъ), но его имя уже пріобрѣтало извѣстность: въ университетѣ на него возлагали надежды; Грановскій относился къ нему съ самымъ дружескимъ сочувствіемъ,

[1]) Этого письма, къ сожалѣнію, не было въ находившемся у насъ собраніи писемъ Боткина къ Бѣлинскому.

[2]) За нѣсколько дней передъ тѣмъ, 16 апрѣля, Бѣлинскій писалъ къ Н. Х. Кетчеру, общему пріятелю обоихъ кружковъ, и по тону письма надо думать, что онъ уже начиналъ примиряться съ своими противниками. Онъ проситъ передать его поклоны новымъ знакомцамъ изъ этого кружка. «Мой усердный поклонъ Николаю Платонову, который улыбается (вѣроятно молча и медленно), Николаю Михайловичу (Сатину)—да исправитъ Господь пути его! Александру Ивановичу—да омрачитъ Всевышній его память, чтобъ онъ не говорилъ больше латинскихъ пословицъ, которыхъ я терпѣть не могу, какъ и всего на чужихъ мнѣ языкахъ». Бѣлинскій предоставляетъ своему пріятелю острить надъ этой его слабостью, сколько угодно.

которымъ еще стѣснялся Кудрявцевъ-студентъ, скромно считая его незаслуженнымъ. Участіе Бѣлинскаго въ «Отеч. Запискахъ» привлекло въ этотъ журналъ и работы Кудрявцева: здѣсь стали печататься его повѣсти (подъ прежними буквами А. Н.), которыя продолжали нравиться Бѣлинскому, хотя, вѣроятно, и не въ прежней степени, и уже обращали на себя вниманіе своей мягкой, меланхолической задушевностью; въ критическомъ отдѣлѣ журнала помѣщались его рецензіи, отличавшіяся умомъ и тонкимъ эстетическимъ пониманіемъ,—ихъ нерѣдко смѣшивали съ рецензіями Бѣлинскаго [1]). Въ письмахъ къ Бѣлинскому Кудрявцевъ разсказывалъ ему о своихъ университетскихъ занятіяхъ, говорилъ объ ихъ эстетическихъ дѣлахъ, разспрашивалъ Бѣлинскаго объ его петербургской жизни, обращаясь къ нему съ выраженіями самаго теплаго сочувствія.

«Стыдно было бы мнѣ, любезнѣйшій П. Н., читать ваши извиненія передо мною въ молчаніи—пишетъ Бѣлинскій.—Вотъ уже второе письмо отъ васъ ко мнѣ, а отъ меня къ вамъ—ни одного. Но оставимъ это. Мы любимъ другъ друга и знаемъ это безъ всякихъ доказательствъ. Что письма—письма вздоръ,—помнить и думать о миломъ человѣкѣ легче, чѣмъ писать къ нему—ей-Богу. А я стражду такою лѣностью, что иногда мнѣ лѣнь дойти до стола обѣденнаго, хоть ѣсть и хочется. Зато, еслибы вы знали, съ какою дѣятельностію и жизнью читаю и перечитываю я ваши милыя письма, гдѣ вы такъ и стоите передо мною въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ, въ вашемъ студенческомъ сюртукѣ, съ трубкою въ рукахъ и съ невозмущаемымъ спокойствіемъ въ лицѣ. О, мой чернокудрявый и молчаливо созерцающій поэтъ, еслибы ваше обѣщаніе пріѣхать въ Питеръ [2]) сбылось и я бы обнялъ васъ въ своей комнатѣ и торжественно усадилъ на свои мягкія кресла, какъ бы нарочно для васъ купленныя! Какая бы это была для меня радость. Что вы не пишете, долго ли пробудете въ Питерѣ. Еслибы подольше — да нѣтъ!—во всякомъ случаѣ вы должны пріѣхать прямо ко мнѣ на квартиру и жить со мною—и тогда да благословенъ вашъ путь, а въ противномъ случаѣ—чортъ съ вами. Впрочемъ, что за вздоры—вѣдь вамъ надо же будетъ имѣть квартиру, такъ почему же вамъ не жить со мною... Вотъ запируемъ-то вмѣстѣ съ вами и съ Катковымъ... Перечелъ вашу повѣсть, окрещенную въ «Недоумѣніе» [3])—прекрасная повѣсть. Перечелъ «Катеньку Пылаеву» и «Флейту» — все хорошо и прекрасно, какъ и было. Привезите «Антонину»—у меня ея нѣтъ, а я хочу непремѣнно имѣть все ваше. Батюшка, что вы это творите съ вашимъ Сулье? Господь съ вами! [4]) «Влюб-

---

[1]) Для тѣхъ изъ читателей, которые мало знакомы съ личностью Кудрявцева, могутъ служить воспоминанія Ешевскаго, «Совр. Лѣтопись», 1858, № 2, и Галахова, «Р. Вѣстникъ», того же года, кн. 4.

[2]) По окончаніи курса.

[3]) *«Отеч.* Зап.» 1840, кн. 4.

[4]) Это эстетическое препирательство возбуждено было словами Кудряв-

ленный Левъ» — прекрасная беллетрическая повѣсть, а «Призракъ любви»—чортъ. знаетъ что такое, насилу я дочелъ, и не радъ, что прочелъ. Право, вы заставите меня перечесть эту сказку. Ну, да объ этомъ мы съ вами потолкуемъ и поспоримъ въ Питерѣ. Васъ посылаютъ заграницу—доброе дѣло! Вижу, что университетъ моск. начинаетъ умнѣть, если выбираетъ такихъ людей. А вы отбросьте-ка пустую совѣстливость и недовѣрчивость къ себѣ. Посмотрите на себя не безусловно, а сравнительно съ окружающею васъ россійскою дѣйствительностію, и вы, при всей своей дѣвственной скромности, увидите, что, посылая васъ заграницу, вамъ отдаютъ только должное и дѣлаютъ пользу университету столько-же, какъ и вамъ. Вы рождены для кабинетной жизни—ваша тихая, дѣвственная натура только и годится, что для каѳедры; вы не для треволненій жизни, не для уроковъ и не для службы. О, мой милый будущій профессоръ, еслибъ Богъ привелъ меня послушать васъ и поучиться у васъ! Подвизайтесь, друзья мои, идите впередъ, всѣ къ одной возвышенной цѣли!. А я, старый инвалидъ, которому судьба не даетъ сдѣлаться даже и филистеромъ, я буду смотрѣть на васъ, благословлять васъ, гордиться и радоваться, смотря на вашъ гордый полетъ, мои юные, благородные орлы! Судьба сдѣлала меня мокрою курицею—я принадлежу къ несчастному поколѣнію, на которомъ отяжелѣло проклятіе времени, дурного времени!... Жалки всѣ переходныя поколѣнія—они отдуваются не за себя, а за общество. Вы и Катковъ, слава Богу, принадлежите къ другому лучшему поколѣнію и отъ васъ многаго должно ожидать. Да, меня радуетъ новое поколѣніе—въ немъ полнота жизни и отсутствіе гнилой рефлексіи. Вотъ я въ Питерѣ сошелся съ Н. Бакунинымъ—то-то юноша-то.

«Бога ради, увѣдомьте меня обстоятельно—пріѣдете ли, когда, на долго ли, какъ и проч. Если вамъ лѣнь или некогда, скажите Боткину—онъ напишетъ ко мнѣ. Жду вашего пріѣзда, какъ праздника. Шутка ли — вы и Катковъ, — да это Москва цѣлая. Еслибы судьба какъ-нибудь еще занесла лысаго Боткина,—но нѣтъ, съ тѣмъ мнѣ долго не видаться»...

Лѣтомъ 1840 года Бѣлинскій, дѣйствительно, увидѣлся съ Кудрявцевымъ, который, по окончаніи курса, пріѣзжалъ ненадолго въ Петербургъ.

Слѣдующее письмо къ Боткину, 16 мая, опять свидѣтельствуетъ, что Бѣлинскій мало успокоивался. Одно письмо Боткина очень его утѣшило. «Простыя, но вылившіяся прямо изъ души слова утѣшенія пали на мое сердце, какъ теплый весенній дождь на засохшую землю». Бѣлинскаго тревожили опять личныя исторіи Боткина, отношенія съ М. Бакунинымъ, съ которымъ онъ совершенно разошелся («онъ для меня рѣшенная загадка», писалъ Бѣлинскій)... Наконецъ, онъ обращается къ литературнымъ предметамъ, которые,

---

цева (въ его письмѣ), которому очень нравились повѣсти Сулье, напечатанныя тогда въ «Отеч. Зап.», и одна напечатанная еще въ «М. Наблюдателѣ».

по обыкновенію, принимаетъ къ сердцу, какъ личные вопросы. Онъ возобновляетъ съ Боткинымъ споръ о непосредственной и «рефлектированной» поэзіи, который велъ съ нимъ раньше по поводу Пушкина.

«Не могу выразить тебѣ всей радости, какую возбудили во мнѣ строки твои по случаю «С. Р. Водъ» В. С. [1]). Чтó—не правъ ли я? Ты не хотѣлъ мнѣ и отвѣчать на мою филиппику противъ твоего парадокса о Пушкинѣ [2]). О! вы все тѣ же, о московскія души! Кто не согласенъ съ вами да съ нѣмецкими книжками, съ тѣмъ нечего и толковать — тотъ ничего не понимаетъ. Ты, Б., — тебѣ всѣхъ стыднѣе,—ты судилъ объ искусствѣ, не зная его, ибо, къ стыду и сраму твоему, «С. Р. Воды» В. С. для тебя—новость. Ты видѣлъ искусство въ нѣмецкихъ рефлектировщикахъ, и только Шекспиръ еще производилъ въ тебѣ разумную рефлексію и не давалъ тебѣ твердо стать въ ложномъ убѣжденіи. Ты жалѣешь, что я не могу прочесть Wahlverwandschaften: а я такъ очень радъ этому, ибо не читавши знаю, что это за нѣщечко такое, не только не художественное, но даже не поэтическое, а превосходное беллетристическое произведеніе съ поэтическими мѣстами и художественными замашками. И если когда я буду въ состояніи прочесть его, прочту, но не для себя, а для тебя, точно также, какъ пойду для пріятеля смотрѣть игру Каратыгина. Я убѣдился теперь, что Кар. дивный актеръ, а видѣть его все-таки не могу. Что В. С. въ обрисовкѣ характеровъ и еще въ чемъ-то Богъ знаетъ кáкъ выше Гёте,— не согласенъ: какъ между романистами, между ними ничего нѣтъ общаго,—одинъ—великій художникъ, другой—беллетристъ. Можно сказать, что Гёте Богъ знаетъ какъ выше В. Гюго, потому что, несмотря на все ихъ неравенство, какъ романисты они принадлежатъ къ одному роду. Чтó не отъ Бога, то отъ рукъ человѣка: паровая машина есть торжество человѣческаго ума, но какъ же ее сравнивать или подводить подъ одинъ разрядъ съ растущимъ деревомъ? Не думай, чтобы я отрицалъ необходимость и достоинство рефлектированной поэзіи: напротивъ, я теперь почитаю ее для нашей дикой публики необходимѣе произведеній истиннаго творчества. Она скорѣе ввела бы въ сознаніе нашего общества идею искусства, ибо (рефлектированная поэзія) для толпы доступнѣе, чѣмъ истинное искусство,—и самъ Булгаринъ драмы Шиллера ставитъ выше шекспировскихъ»...

Онъ прочелъ еще новые романы Вальтеръ-Скотта «Пертскую Красавицу» и «Ниджели», и въ восторгѣ отъ нихъ:

«Дивный геній! А ты еще не знаешь Купера, который если не равенъ Вальтеръ-Скотту, то ужъ непремѣнно выше его, какъ ху

---

[1]) «Сенъ-Ронанскія Воды», Вальтеръ-Скотта.

[2]) Парадоксъ заключался въ мнѣніи Боткина о недостаткѣ рефлексіи у Пушкина, что, по его мнѣнію, было недостаткомъ его поэзіи, а по мнѣнію Бѣлинскаго—великимъ достоинствомъ. См. выше письмо отъ 24 февраля-*1 марта*.

дожникъ. Досадный человѣкъ, такъ бы и прибилъ тебя. Совѣстно и говорить съ тобою объ искусствѣ. Я было ужъ и махнулъ рукою и замолчалъ, да послѣднее письмо твое расшевелило. И это ты, съ которымъ съ однимъ изо всѣхъ мнѣ такъ отрадно было говорить о Шекспирѣ, и—помнишь—кажется, мы понимали другъ друга. По крайней мѣрѣ, я причисляю эти разговоры къ блаженнѣйшимъ минутамъ моей жизни. А все нѣмцы сбили тебя съ толку. Хорошіе люди — говорятъ объ искусствѣ превосходно, но понимаютъ его плохо»...

Въ концѣ этой тирады Бѣлинскій забавно вызываетъ Боткина на полемическую переписку по поводу искусства, «общаго», и проч.: «—Скучно, душа моя, хочешь заняться чѣмъ-нибудь высокимъ, а свѣтская чернь не понимаетъ. Если не согласишься со мною до последней запятой, на колѣняхъ прошу тебя--сцѣпимся—право, мнѣ веселѣе будетъ жить, вѣдь безъ войны скучно, да и силы слабѣютъ». Бѣлинскій проситъ Боткина прочесть въ одной изъ его рецензій о «Бурѣ» Шекспира:—«въ ней есть ругачка на тебя и на всѣхъ васъ, нѣмецкихъ спиритуалистовъ-идеалистовъ» [1]). Онъ восхищается статьей Каткова [2]): «Статья Каткова — прелесть: глубоко, послѣдовательно, энергически и вмѣстѣ спокойно, все такъ мужественно, ни одной дѣтской черты».

«Нѣтъ ли какихъ слуховъ о Кольцовѣ? Въ 5 № «О. З.» стихи Лермонтова (онъ ужъ долженъ быть на Кавказѣ)—прелесть [3]), но у насъ есть на запасѣ еще лучше; пѣсня Кольцова [4]) — объядѣніе. Стихи Красова мнѣ рѣшительно не нравятся, особенно къ «Дездемонѣ»—чортъ знаетъ что такое. Огарева «Старый Домъ» очень понравился и Сатина — водевильные куплеты на манеръ Requiem [5]). Прочти повѣсть Панаева «Бѣлая горячка» — славная вещь; обрати все свое вниманіе на лицо Рябинина—это живой во весь ростъ портретъ Кукольника (Вопросы о переводахъ «В. Мейстера» и «Ричарда II»)... «Цахеса» нельзя и подавать въ цензуру: еще съ годъ назадъ онъ былъ прихлопнутъ цѣлымъ комитетомъ. Премудрый синедріонъ рѣшилъ, что не прежде 10 лѣтъ можно его разрѣшить, ибо-де много насмѣшекъ надъ звѣздами и чиновниками [6])... Нечего печатать по части переводныхъ повѣстей, а оригинальныхъ нѣтъ во всей расейской quasi-литературѣ»...

---

[1]) Сочин. IV, стр. 111 и слѣд.

[2]) Вѣроятно—критической статьей о книгѣ Максимовича, въ 4-й кн. «Отеч. Зап.» 1840.

[3]) «Воздушный корабль» (изъ Зейдлица).

[4]) «Дума Сокола».

[5]) Стих. Сатина—De profundis.

[6]) «Крошка Цахесъ» Гофмана былъ напечатанъ въ «Отеч. Запискахъ» только въ 1844 году (іюнь).

Письмо отъ 13 іюня опять чрезвычайно любопытно по признаніямъ, раскрывающимъ внутреннюю жизнь Бѣлинскаго. Ему начинаетъ выясняться его тягостное настроеніе; среди его тревожныхъ волненій, Бѣлинскому все больше открывается связь личной жизни съ жизнью общества, и его взгляды постепенно склоняются на другую дорогу. Онъ еще и теперь не вполнѣ сознаетъ это положеніе, но чувствуется, что онъ уже подходитъ къ этому сознанію...

«Письмо твое, отъ 21-го мая, любезный Б., и обрадовало и глубоко тронуло меня. Я хотѣлъ-было разразиться на него отвѣтомъ листовъ въ пятнадцать, даже уже началъ-было, но статья о Лермонтовѣ отвлекла меня. Не могу дѣлать вдругъ двухъ дѣлъ... Другъ, понимаю твое состояніе, и не виню тебя за то, что ты тяготишься людьми и требуешь уединенія и природы... Страданіе твое болѣзненно, въ немъ много слабости и безсилія, но не вини въ этомъ ни себя, ни свою натуру. Мы, въ этомъ отношеніи, всѣ какъ двѣ капли воды: по жизни ужасныя дряни, хотя по натурамъ и очень не пошлые люди... На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силою отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ идти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ *очеловѣченію*. Положеніе истинно трагическое! Въ немъ заключается причина того, что наши души походятъ на дома, построенные изъ кокоръ — вездѣ щели. Мы не можемъ шагу сдѣлать безъ рефлексіи, беремся за кушанье съ нерѣшимостію, боясь, что оно вредно. Что дѣлать? Гибель частнаго въ пользу общаго—міровой законъ. Въ утѣшеніе наше (хоть это и плохое утѣшеніе), мы можемъ сказать, что хоть Гамлетъ (какъ характеръ) и ужасная дрянь, однакожъ онъ возбуждаетъ во всѣхъ еще больше участія къ себѣ, чѣмъ могущій Отелло и другіе герои шекспировскихъ драмъ. Онъ слабъ и самому себѣ кажется гадокъ, однако только пошляки могутъ называть его пошлякомъ и не видѣть проблесковъ великаго въ его ничтожности. Воспитаніе лишило насъ религіи, обстоятельства жизни (причина которыхъ въ состояніи общества) не дали намъ положительнаго образованія и лишили *всякой* возможности сродниться съ наукою; съ дѣйствительностію мы въ ссорѣ и по праву ненавидимъ и презираемъ ее, какъ и она по праву ненавидитъ и презираетъ насъ. Гдѣ-жъ убѣжище намъ? — На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ. Но послѣднія наши ссоры показали намъ, что для призраковъ нѣтъ спасенія и на необит. островѣ. Я разстался съ тобою холодно (дѣло прошлое!), безъ ненависти и презрѣнія, но и безъ любви и уваженія, ибо потерялъ всякую вѣру въ самого себя. Въ Петербургѣ, съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москводушію* [1]), но ты смотришь на одну сторону медали, а я

[1]) Бѣлинскій называлъ такъ идеалистическое простодушіе.

вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?»...

Онъ приводитъ нѣсколько стиховъ изъ Лермонтовской «Думы» и продолжаетъ:

«А кстати: я несогласенъ съ твоимъ мнѣніемъ о натянутости и изысканности (мѣстами) Печорина: онѣ разумно-необходимы. Герой нашего времени долженъ быть таковъ. Его характеръ — или рѣшительное бездѣйствіе, или пустая дѣятельность. Въ самой его силѣ и величіи должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтовъ — великій поэтъ: онъ объектировалъ современное общество и его представителей [1]... Это навело меня на мысль на разницу между Пушкинымъ и Гоголемъ, какъ *національными* поэтами. Гоголь великъ, какъ Вальтеръ Скоттъ, Куперъ, можетъ быть послѣдующія его созданія докажутъ, что и выше ихъ; но только Пушкинъ есть такой нашъ поэтъ, въ раны котораго мы можемъ влагать персты, чтобы чувствовать боль своихъ и врачевать ихъ. Лермонтовъ обѣщаетъ то же.

«Да, наше поколѣніе — израильтяне, блуждающіе по степи, и которымъ никогда не суждено узрѣть обѣтованной земли. И всѣ наши вожди—Моисеи, а не Навины. Скоро ли явится сей вождь?»...

Эти слова очень характерны. Они ясно указываютъ, гдѣ, по признанію самого Бѣлинскаго, былъ главнѣйшій толчокъ, опредѣлившій его идеи:—онъ «сталъ лицомъ къ лицу съ обществомъ»; отсюда шло внутреннее страданіе, и цѣной его совершился въ Бѣлинскомъ тотъ переломъ, съ какого начинается его новая мысль. Далѣе, въ этихъ словахъ особенно можно видѣть, какъ въ личной исторіи Бѣлинскаго отражалось вмѣстѣ внутреннее развитіе цѣлаго поколѣнія, и становится понятно, почему это поколѣніе съ такимъ увлеченіемъ приняло Лермонтова: въ томъ, что для нашего времени кажется нерѣдко натянутымъ или аффектированнымъ, люди того поколѣнія видѣли полное и глубокое выраженіе ихъ собственной мысли и страданія. Бѣлинскій иногда чувствовалъ эту аффектацію у Лермонтова, но ему всегда хотѣлось найти ей разумное истолкованіе. Мысль объ обществѣ начинаетъ такимъ образомъ становиться прочнымъ интересомъ Бѣлинскаго, отчасти уже освѣщаетъ ему и прошлое. Въ слѣдующихъ словахъ ему, очевидно, вспоминаются споры съ противниками, — Бѣлинскій начинаетъ отдавать имъ справедливость:

---

[1]) Эту мысль развивалъ Бѣлинскій въ статьѣ о «Героѣ нашего времени», въ «Отеч. Запискахъ» 1840, кн. 6—7 (Сочин. т. III, стр. 547 и слѣд.).

«Живу я ни хорошо, ни слишкомъ худо. Къ Питеру притерпѣлся. Спасибо ему. Я уже не узнаю себя и вижу ясно, что надо въ себѣ бить: это его дѣло. Въ письмѣ нельзя высказать этого. Больше всего меня радуетъ, что я узналъ наконецъ, что чужія мысли, какъ бы ни противорѣчили нашимъ, должно выслушивать съ уваженіемъ и любопытствомъ, если только говорящій ихъ понимаетъ самъ себя. Недавно я поймалъ себя въ двухъ или трехъ случаяхъ, принявши за явную нелѣпость чужое мнѣніе (потому только, что оно противорѣчило моему), и потомъ увидѣлъ, что оно имѣло основаніе и заставляло меня отступиться отъ кровнаго убѣжденія, принявъ въ него новую сторону, новый элементъ. Всякая индивидуальность есть столько же и ложь, сколько и истина—человѣкъ ли то, народъ ли, и только ознакомляясь съ другими индивидуальностями, они выходятъ изъ своей индивидуальной ограниченности. Но объ этомъ послѣ. Съ французами я помирился совершенно [1]: не люблю ихъ, но уважаю. Ихъ всемірно-историческое значеніе велико. Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, но живутъ и дѣйствуютъ въ ихъ сферѣ. Любовь моя къ родному, къ русскому, стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло».

Онъ проситъ Боткина непремѣнно прочесть «Краснаго морского разбойника» Купера, которымъ тогда восхищался. Но и В. Скоттъ и Куперъ, какъ ни велики сами по себѣ, въ сравненіи съ Шекспиромъ они малы и обыкновенны. Бѣлинскій еще разъ прочелъ «Ричарда II»... «Нѣтъ, братъ, что ни говори, а на счетъ Шиллера кто-нибудь изъ насъ грубо не понимаетъ одного. Все, что ты о немъ пишешь—правда, да только трагедій-то его читать нѣтъ мочи».

Къ Петербургу онъ «притерпѣлся»; онъ сдѣлалъ новыя знакомства, именно съ кружкомъ Комарова, гдѣ бываетъ по субботамъ: «разъ въ недѣлю мнѣ надо быть въ многолюдствѣ молодомъ и шумномъ». Но ему все еще памятенъ старый московскій кружокъ, и Бѣлинскій пришелъ-было въ восторгъ, когда Боткинъ написалъ ему о своемъ намѣреніи ѣхать въ Петербургъ, — намѣреніи однако не состоявшемся: «Ты сбирался въ Питеръ... Боже мой, да отъ одной мысли объ этомъ свиданіи выступаютъ у меня слезы на глазахъ. Недѣля, проведенная съ тобою, была бы вознагражденіемъ за восемь мѣсяцевъ тяжелаго страданія. Сколько бы надо было сказать другъ другу, какъ бы каждое слово было полно души и значенія, каждый разговоръ живъ, споръ интересенъ! Ахъ, Б., зачѣмъ ты написалъ мнѣ объ этомъ несбывшемся намѣреніи, лучше бы мнѣ было не знать о немъ»...

---

[1]) См. отзывы московскихъ временъ и письмо, отъ 14 марта, 1840.

Это письмо отправлялось съ П. В. Анненковымъ, съ которымъ Бѣлинскій незадолго передъ тѣмъ познакомился. Бѣлинскій говоритъ о немъ съ самымъ теплымъ сочувствіемъ, какъ о близкомъ человѣкѣ, посвященномъ въ его интимную жизнь, который можетъ разсказать Боткину и то, чего онъ не помѣщаетъ въ письма...

Затѣмъ въ нашемъ матеріалѣ перерывъ въ письмахъ на два мѣсяца, до середины августа.

Лѣтомъ была въ Петербургѣ «цѣлая Москва». Пріѣхалъ, какъ упомянуто, Кудрявцевъ; жилъ въ Петербургѣ прежній философскій другъ, собиравшійся ѣхать за границу, гдѣ его цѣлью былъ Берлинъ и его философія; наконецъ, пріѣхалъ Катковъ. Боткинъ былъ по своимъ торговымъ дѣламъ на нижегородской ярмаркѣ.

Въ маѣ уѣзжалъ за границу одинъ изъ петербургскихъ пріятелей, П. Ѳ. З-нъ. Бѣлинскій поручилъ ему отыскать въ Берлинѣ профессора Вердера и узнать отъ него, что дѣлается съ Станкевичемъ. Вердеръ, наставникъ Станкевича въ гегелевской философіи, сталъ его близкимъ другомъ, и послѣ около него собиралась обыкновенно небольшая колонія русскихъ искателей философіи. Въ письмѣ изъ Берлина, отъ 13 іюня, З-нъ сообщалъ Бѣлинскому неутѣшительныя извѣстія: Вердеръ говорилъ, что здоровье Станкевича (жившаго тогда въ Неаполѣ) очень плохо, и что онъ едвали поправится; то же подтвердилъ и Тургеневъ, постоянно видѣвшій Станкевича въ Неаполѣ и находившійся тогда въ Берлинѣ...

Только въ августѣ дошло до Бѣлинскаго извѣстіе о смерти Станкевича—человѣка, который по справедливости считался главой московскаго кружка, пользовался въ его средѣ неоспариваемымъ авторитетомъ и горячей привязанностью друзей. Извѣстіе пришло отъ А. П. Ефремова, одного изъ старыхъ московскихъ друзей, который былъ съ Станкевичемъ за-границей и былъ свидѣтелемъ его смерти [1]). Степень привязанности Бѣлинскаго къ Станкевичу читатель увидитъ изъ слѣдующихъ здѣсь писемъ. Бѣлинскій, по его словамъ, принялъ равнодушно извѣстіе объ его смерти. Изъ письма видно, что это равнодушіе было тупое подчиненіе страшной судьбѣ, что горесть скрывалась за ожесточеніемъ.

«...Письмо мое доставитъ тебѣ не радость и утѣшеніе, а горесть и страданіе,—пишетъ Бѣлинскій Боткину 12 авг. 1840 г.—Ни слова больше объ утѣшеніи и радости—это слова обманчивыя и безсмысленныя, понятія отрицательныя, а не положительныя! Я все думалъ, что горе и страданіе даны человѣку для того, чтобы

---

[1]) Анненковъ, біографія Станкевича, стр. 231—233.

онъ лучше зналъ радость и блаженство; но теперь, какъ опытъ заставилъ меня глубже заглянуть въ жизнь, я вижу, что радость и блаженство даны человѣку для того, чтобы онъ сильнѣе страдалъ, жесточае мучился, — и жалокъ тотъ, кто ищетъ въ жизни не минутъ счастія, а прочнаго счастія, кто видитъ въ жизни не рядъ бивуаковъ, а постоянный домъ съ филистерскимъ халатомъ! Еще есть въ немъ смыслъ, если онъ чувствуетъ въ себѣ благородную рѣшимость и божественную способность сдѣлаться филистеромъ во всемъ значеніи этого слова, т.-е. скотиною вполнѣ... Но если онъ неспособенъ сойтись съ прозою жизни и довольствоваться прѣсною водою съ нѣсколькими каплями вина, — нѣтъ ему счастія на землѣ, хотя онъ и болѣе, чѣмъ кто другой, и желаетъ счастія, и стремится къ нему, и достоинъ его!

«Знаешь ли, Боткинъ, — ну да что за эффектныя предисловія — къ чорту ихъ и прямѣе къ дѣлу. Боткинъ — Станкевичъ умеръ!

«Боже мой! Кто ждалъ этого? Не былъ ли бы, напротивъ, каждый изъ насъ убѣжденъ въ невозможности такой развязки богатой, столь чудной жизни? Да, каждому изъ насъ казалось, невозможнымъ, чтобъ смерть осмѣлилась подойти безвременно къ такой божественной личности и обратить ее въ ничтожество. Въ *ничтожество*, Боткинъ. Послѣ нея ничего не осталось, кромѣ костей и мяса, въ которыхъ теперь кишатъ черви. Онъ живетъ, скажешь ты, въ памяти друзей, въ сердцахъ, въ которыхъ онъ раздувалъ и поддерживалъ искры божественной любви. Такъ, но долго ли проживутъ эти друзья, долго ли пробьются эти сердца? Увы! ни вѣра, ни знаніе, ни жизнь, ни талантъ, ни геній не безсмертны! Безсмертна одна смерть: ея колоссальный, побѣдоносный образъ гордо возвышается на престолѣ изъ костей человѣческихъ и смѣется надъ надеждами, любовію, стремленіями!...

О, горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

— сказалъ старикъ Державинъ»...

Онъ приводитъ нѣсколько стиховъ изъ стихотворенія «На смерть кн. Мещерскаго», — и продолжаетъ:

«Видишь ли, какая разница между прошлымъ и настоящимъ вѣкомъ? Тогда еще употребляли слова *тамъ* и *туда*, обозначая ими какую-то terram incognitam, которой существованію сами не вѣрили; теперь и не вѣрятъ... и не употребляютъ даже въ шутку этихъ пустыхъ словъ... Тогда еще плакали и взывали; а теперь молча и гордо, твердымъ шагомъ идутъ въ ненасытимое жерло смерти, и съ улыбкою отрываютъ отъ сердца лучшія его стремленія и чистѣйшія привязанности. Трагическое положеніе, воскликнешь ты съ улыбкою торжества. Дитя, полно тебѣ играть въ понятія, какъ въ куклы! Твое трагическое — безсмыслица, злая насмѣшка судьбы надъ бѣднымъ человѣчествомъ. Трагическое заключается въ коллизіи страсти съ долгомъ, для осуществленія нравственнаго закона. Для этого избирается герой, благороднѣйшій сосудъ духа какъ самый жирный баранъ для закланія. Прекрасно, но

дальше еще смѣшнѣе. Герой, напр., любитъ замужнюю женщину естественное влеченіе сердца стремитъ его къ ней, къ обладанік ею, а долгъ велитъ отъ нея оторваться. Если онъ послѣдуетъ есте ственному влеченію сердца, его блаженство будетъ неполно, ибс будетъ отравлено бѣдствіемъ мужа, раскаяніемъ любовницы, уко рами совѣсти и, наконецъ, возможностію трагической катастрофы оторвется онъ отъ нея—его удѣлъ—страданіе, болѣзненное чувств по вѣчномъ покоѣ, т.-е. по вѣчномъ ничтожествѣ въ лонѣ матеріи Стоитъ ли жить въ томъ и другомъ случаѣ! Я, Боткинъ, я не ге рой, но люблю героевъ, и въ иныя минуты мнѣ кажется, что я по жертвовалъ бы тысячью жизнями въ ознаменованіе моей безконеч ной любви и безконечнаго умиленія къ благородной жертвѣ долга всегда предпочту ея безмолвное страданіе беззаконному, хотя и бо жественному, блаженству; но законъ-то, осуждающій на страданi повинующагося ему, также какъ и неповинующагося, законъ-т этотъ, о Боткинъ! я и ненавижу и презираю.

«Общее — это палачъ человѣческой индивидуальности. Он опутало ее страшными узами: проклиная его, служишь ему не вольно.

«Смерть Ст. не произвела на меня никакого особеннаго впе чатлѣнія. Я принялъ извѣстіе о ней равнодушно. Думаю, что при чина этого отчасти и долговременная разлука: Ст. оставилъ мен совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ я сталъ теперь и былъ безъ него. Он поѣхалъ въ Европу, я въ Азію—на Кавказъ. Духовную жизнь мо я считаю съ возвращенія съ Кавказа, — и все это развитіе до се минуты (лучшее, по крайней мѣрѣ примѣчательнѣйшее время мое жизни) совершалось безъ него. Разлука — ужасная вещь: съ нек какъ и со смертію, часто все оканчивается; какъ и смерть, он смѣется надъ слабостію нашей натуры. Но это не главное. Главна причина — состояніе моего духа, апатическое, сухое, безотрадно причины котораго и во внѣшнихъ обстоятельствахъ и внутри Внѣшнія мои обстоятельства худы до нельзя, до послѣдней край ности. А внутри—не умѣю и сказать. Мысль о тщетѣ жизни убил во мнѣ даже самое страданіе. Я не понимаю, къ чему все это зачѣмъ: вѣдь всѣ умремъ и сгніемъ—для чего-жъ любить, вѣрит надѣяться, страдать, стремиться, страшиться? Умираютъ люди, уми раютъ народы, — умретъ и планета наша, — Шекспиръ и Гогол будутъ ничто. Извѣстіе о смерти Ст. только утвердило меня в этомъ состояніи. Смерть Ст. показалась мнѣ тѣмъ болѣе есте ственна и необходима, чѣмъ святѣе, выше, геніальнѣе его лич ность:

> Все великое земное
> Разлетается какъ дымъ:
> Нынѣ жребій выпалъ Троѣ,
> Завтра выпадетъ другимъ.

«Все вздоръ — калейдоскопическая игра китайскихъ тѣней. О чемъ же жалѣть!...

«Ст. умеръ въ Нови, между Миланомъ и Генуею, въ ночь с 24 на 25 іюня»...

Въ томъ же настроеніи пишетъ онъ (23 августа) къ Ефремову:

«...Станкевича нѣтъ, и я уже не увижу его никогда, и никто никогда не увидитъ его, — странная, дикая, неестественная идея! Мнѣ все не вѣрится, все кажется, что смерть не посмѣла бы разрушить такой божественной личности. Разлука много отняла у меня: ты знаешь, какъ мы всѣ были глупы, когда оставилъ онъ насъ. Онъ не былъ свидѣтелемъ самаго важнаго періода моего развитія, онъ давно уже существовалъ для меня въ прошедшемъ, какъ воспоминаніе, какъ живое представленіе лучшаго, прекраснѣйшаго, чтó зналъ я въ жизни. О, если бъ ты зналъ, Ефремовъ, какъ я завидую тебѣ: ты жилъ съ нимъ цѣлый годъ, ты присутствовалъ при его послѣднихъ минутахъ, ты навсегда сохранишь живую память его просіявшаго по смерти лица»...

И здѣсь Бѣлинскій говоритъ опять съ недоумѣніемъ, что извѣстіе не произвело на него глубокаго впечатлѣнія.

«Странное дѣло! Какъ глубоко страдалъ я, и какъ религіозно было мое страданіе, когда умерла *она*[1]), которая была совершенно чужое мнѣ, хотя и прекрасное явленіе! Для меня было величайшимъ счастіемъ знать ее, видѣть и слышать,—и такъ хорошо зналъ ее, такъ мило видѣлъ и слышалъ ее; но большаго для меня и не могло быть; тогда какъ онъ называлъ меня своимъ другомъ, ему обязанъ я всѣмъ, чтó есть во мнѣ человѣческаго,—и его смерть произвела на меня такое не глубокое впечатлѣніе! Можетъ быть, тутъ много значитъ, что я хоть мигъ, но видѣлъ ее не за долго до смерти. Но я думаю, что главная причина — мое теперешнее состояніе, которое можно характеризовать такъ: вѣры нѣтъ, знанія и не бывало, а сомнѣнія превратились въ убѣжденія. Мысль о томъ, что все живетъ одно мгновеніе... эта мысль превратила для меня жизнь въ мертвую пустыню, въ безотрадное царство страданія и смерти. Смерть, смерть! вотъ истинный Богъ міра... Ея владычество для всѣхъ несомнѣнно — ей слава вѣчная, ей поклоненіе! Что такое общее (для познанія котораго Станкевичъ жилъ и умеръ вдали отъ насъ)? Молохъ, пожирающій собственныя созданія, Сатурнъ, пожирающій собственныхъ чадъ. Зачѣмъ родился, зачѣмъ жилъ Станкевичъ? Чтó осталось отъ его жизни, чтó дала ему она? Нѣтъ, ему надо было умереть, потому что чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше...

«Бога ради, Ефремовъ, увѣдомь меня, какъ можно подробнѣе обо всемъ, до малѣйшей подробности,—и какъ онъ жилъ, и какъ умиралъ. Не полѣнись, душа моя,— помни, что тó, чтó ты знаешь о немъ, есть общее наше достояніе. О, какъ жажду я видѣться съ тобою! Будетъ ли это когда-нибудь, или и ты скоро же умрешь? Собери всѣ мои письма къ Станкевичу для доставленія ко мнѣ, если воротишься, или найдешь случай. Для меня священна собственная моя строка, которую читали его глаза...».

---

[1]) Та дѣвушка, о которой говорится въ письмѣ Бѣлинскаго, отъ августа 1838 (гл. V).

Сомнѣніе и скептицизмъ находитъ Бѣлинскій и въ своемъ новомъ чтеніи, между прочимъ вмѣстѣ съ Катковымъ, который былъ въ это время въ Петербургѣ. Въ Москвѣ Катковъ читывалъ Бѣлинскому Гегеля; теперь чтеніе возобновлялось въ другомъ направленіи,—гдѣ для нихъ «исчезала всякая достовѣрность въ жизни и знаніи».

«К[атковъ] хандритъ—для него исчезла всякая достовѣрность въ жизни и знаніи. Онъ читалъ мнѣ отрывки изъ Фрауенштета (пишетъ Бѣлинскій въ томъ же письмѣ къ Боткину 12 авг. 1840 г.) — молодецъ Фрауенштетъ! Послѣ его брошюрки пропадетъ охота не только резонерствовать, или мыслить, но и что-нибудь утверждать. Очень радъ, что тебѣ понравилась 2-я ст. моя о Лермонтовѣ [1]). Кроткій тонъ ея — результатъ моего состоянія духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и по неволѣ стараюсь держаться середины. Впрочемъ, будущія мои статьи должны быть лучше прежнихъ: 2-я ст. о Лермонтовѣ есть начало ихъ. Отъ теорій объ искусствѣ я снова хочу обратиться къ жизни и говорить о жизни. Въ «Набл.» и «От. Зап.» я доселѣ колобродилъ, но это колобродство полезно: благодаря ему, въ моихъ статьяхъ будетъ какое-нибудь содержаніе, не такъ какъ въ Телескопскихъ»...

Бѣлинскій уже давно смотрѣлъ на свою дѣятельность въ «Наблюдателѣ» какъ на «дѣло прошлое», какъ на увлеченіе. Такъ онъ говоритъ объ этомъ журналѣ еще въ одной изъ статей апрѣльской книжки «Отеч. Записокъ» [2]).

Въ припискѣ къ этому письму, онъ припомнилъ, что читаетъ «Антонія и Клеопатру» Шекспира, и восклицаетъ: «Творецъ небесный, неужели и Шекспиръ сгнилъ—и только? Бога ради, Боткинъ, скажи мнѣ, есть ли у Шекспира хоть что-нибудь, не говорю — дрянное, а не великое, не божественное?» Онъ читаетъ «запоемъ» Вальтеръ-Скотта; прочелъ пять трагедій Софокла — новыя впечатлѣнія;— «новый міръ искусства открылся передо мною. Вижу, что одно сознаніе законовъ искусства безъ знанія произведеній его — суета суетъ». По словамъ его, Катковъ «много заставилъ его двинуться, самъ того не зная». Онъ опять рекомендуетъ Боткину читать романы Купера, «Послѣдній изъ Могиканъ», и другой, который готовился для «Отеч. Записокъ» — «Путеводитель въ Пустынѣ» (The Pathfinder), служащій продолженіемъ «Могиканъ». «Глубокое, дивное созданіе, — замѣчаетъ онъ о Патфайндерѣ: — Катковъ говоритъ, что многія мѣста этого романа украсили бы драму Шекспира»...

[1]) «От. Зап.» 1840, № 7; Соч. III, стр. 592 и слѣд.

[2]) Статья о «Репертуарѣ», Соч. IV, стр. 86.

Тѣмъ же 12-мъ августа помѣчено другое (вѣроятно ранѣе писанное) письмо Бѣлинскаго, посвященное разсказу совсѣмъ иного рода, именно подробному описанію той ссоры, происшедшей на его квартирѣ между Бакунинымъ и Катковымъ,—о чемъ говоритъ Панаевъ въ «Литер. Воспоминаніяхъ» [1]). Ссора приняла столь сильные размѣры, что результатомъ ея былъ вызовъ на дуэль. Бѣлинскій перетревожился до послѣдней степени, и, описывая событіе нѣсколько времени спустя и успокоившись, съ добродушнымъ комизмомъ изображаетъ свою собственную роль въ этой исторіи. Для дуэли были необходимы секунданты—приходилось выбирать ихъ между пріятелями, и Бѣлинскій, при всей малой способности къ такимъ воинственнымъ вещамъ, рѣшился было быть однимъ изъ секундантовъ. Но дѣло было отложено затѣмъ, что противники рѣшили — для бóльшаго удобства — произвести свою дуэль за границей, куда вскорѣ одинъ изъ нихъ уѣхалъ; другой выѣхалъ изъ Петербурга осенью 1840... Дуэль однако не состоялась и за границей.

Въ первыхъ числахъ сентября, Бѣлинскій писалъ къ одному новому заочному знакомцу, котораго рекомендовалъ ему Боткинъ и который послѣ присоединился къ петербургскому кружку пріятелей Бѣлинскаго. Боткинъ узналъ Кульчицкаго въ Харьковѣ, куда, по зимамъ, ѣздилъ по торговымъ дѣламъ своего отца; онъ встрѣтилъ Кульчицкаго въ семействѣ Кронеберговъ. Это былъ «харьковскій литераторъ»,—какихъ описывалъ г. Де-Пуле въ біографіи Д. И. Каченовскаго,—еще молодой человѣкъ, съ легкимъ талантомъ, весело остроумный, но еще большой романтикъ. Онъ былъ великимъ поклонникомъ Бѣлинскаго, котораго очень цѣнили и въ семействѣ Кронеберговъ, гдѣ хранились литературныя традиціи отца, упомянутаго нами прежде профессора. Боткинъ (въ письмѣ 9—12 февр., писанномъ послѣ поѣздки въ Харьковъ) разсказывалъ Бѣлинскому объ его харьковскихъ друзьяхъ и почитателяхъ, и завлекъ любопытство и воображеніе Бѣлинскаго [2]). Кульчицкій задумывалъ ѣхать въ Петербургъ, но ему нетерпѣливо хотѣлось познакомиться съ Бѣлинскимъ, и онъ еще въ началѣ года написалъ Бѣлинскому письмо, которое очень понравилось ему своимъ добродушнымъ юморомъ. Знакомство началось, но Бѣлинскій собрался отвѣчать ему только 3-го сентября. Кульчицкій присылалъ тогда небольшія ста-

---

[1]) «Современникъ», 1861, № 11, стр. 46—47. Поводомъ къ ссорѣ были вовсе не «разсужденія о разныхъ философскихъ вопросахъ», какъ говоритъ Панаевъ, а чисто личныя отношенія.

[2]) См. выше, письмо Бѣлинскаго, отъ 18 февраля.

тейки въ «Литер. Газету»; впослѣдствіи онъ участвовалъ и въ «Отеч. Запискахъ».

Въ письмѣ Бѣлинскаго есть біографическія черты, не лишенныя интереса.

«Я давно полюбилъ васъ искренно (пишетъ онъ, начавъ письмо извиненіями въ своемъ невѣжливомъ молчаніи), по разсказамъ Василія Петровича и вашимъ къ нему письмамъ (которыя, NB, читая, всегда хохоталъ до слезъ)...

«Напрасно думаете вы, что кромѣ Боткина въ Харьковѣ все чуждо мнѣ: нѣтъ, Харьковъ давно уже представляется мнѣ въ мистическомъ свѣтѣ. Кромѣ уже васъ, котораго я считаю однимъ изъ самыхъ короткихъ моихъ знакомыхъ, меня давно интересовало семейство Кронеберговъ. Вамъ должно быть извѣстно, что я лично знакомъ съ Андреемъ Ивановичемъ [1]), равно какъ и то, что покойный его родитель, не задолго до смерти своей, почтилъ меня перепискою со мною. Память этого незабвеннаго для всѣхъ человѣка священна мнѣ; храню съ умиленіемъ, какъ святыню, его письма ко мнѣ, и горжусь его вниманіемъ ко мнѣ, хотя оно и было снисхожденіемъ къ молодому человѣку за доброе направленіе его натуры (къ тому же слишкомъ расхваленной усерднымъ пріятелемъ), а не заслуженная дань его достоинствамъ. Мнѣ не нужно увѣрять васъ, что заочное знакомство съ отцомъ и личное съ сыномъ представили мнѣ все семейство въ какомъ-то идеальномъ таинственномъ свѣтѣ, и возбудили во мнѣ живѣйшее желаніе (Боткинъ сказалъ бы: Sehnsucht) узнать его, тѣмъ болѣе, что оный часто упоминаемый Боткинъ наговорилъ мнѣ о немъ такъ много поэтически-прекраснаго».

Въ письмѣ къ Боткину, отъ 5 сентября, развиваются темы, затронутыя прежде—тщета жизни, невѣріе въ дѣйствительность, недостовѣрность знанія. Боткинъ, въ письмѣ къ Бѣлинскому, жаловался съ своей стороны, что его благія стремленія не находятъ осуществленія, что отъ нихъ остается только «дымъ фантазій и мечтаній». Бѣлинскому также слишкомъ извѣстенъ этотъ дымъ.

«Душа, измученная неестественными, темными, какими-то подземными страданіями, потеряла эластичность свою, высохла, одеревенѣла, и съ ядовитою усмѣшкою указываетъ на дымъ фантазій и мечтаній, въ которомъ перегорѣвъ, или, лучше сказать, покоптившись, улетаетъ моя молодость»—пишешь ты. Увы, это общее всѣхъ насъ состояніе! Это награда наша со стороны Общаго за наше самоотверженіе; жаръ души, любовь ко всему высокому, прекрасному, истинному! Да, Боткинъ, я самъ отъ моей молодости вижу только дымъ фантазій, который ѣстъ мнѣ глаза и затрудняетъ дыханіе; но я въ томъ разнюсь отъ тебя,—говоритъ онъ,—что дымъ и называю дымомъ, не стою за нашъ вѣкъ, за который ты ратуешь съ такимъ

---

[1]) Переводчикъ Шекспира.

донъ-кихотскимъ задоромъ! Другъ, это все слова и фразы, это тотъ дымъ, которымъ испарилась наша молодость. Ты переживаешь себя, заживо умираешь, а все по старой привычкѣ кричишь о разумности жизни. Если какой-нибудь гегеліанецъ (кажется, Фрауенштетъ), подкапываясь подъ основанія гегелизма, доходитъ до результата, что мысль (которую мы приняли за критеріумъ бытія) насъ надуваетъ, надѣвая на наши глаза очки, сквозь которыя мы видимъ все какъ ей угодно, а не какъ должно,—и восклицаетъ съ отчаяніемъ: «спасите меня, погибаю»,—такъ намъ ли, о Боткинъ, не вопить, или, по крайней мѣрѣ, намъ ли защищать дѣйствительность, если она, столь безконечно могущественнѣйшая насъ, такъ плохо защищаетъ сама себя? Что до личнаго безсмертія,—какія бы ни были причины, удаляющія тебя отъ этого вопроса и дѣлающія тебя равнодушнымъ къ нему,—погоди, придетъ время, не то запоешь. Увидишь, что этотъ вопросъ—альфа и омега истины, и что въ его рѣшеніи—наше искупленіе. Я плюю на философію, которая потому только съ презрѣніемъ прошла мимо этого вопроса, что не въ силахъ была рѣшить его. Гегель не благоволилъ ко всему фантастическому, какъ прямо противоположному опредѣленно-дѣйствительному. Катковъ говоритъ, что это—*ограниченность*. Я съ нимъ согласенъ. Не отъ того ли и музыка не далась Егору Федоровичу, что есть нѣчто невыговоримое, слѣд. по философіи Гег[еля] призрачное, ничто? Катковъ недавно поразилъ меня заступленіемъ своимъ за заживо-умершаго Шеллинга, говоря, что у него есть нѣчто, чего онъ не можетъ выговорить, ибо возможность выговоренія основывается опять-таки на методѣ Гегеля, и что это нѣчто—личность человѣческая. Ты говоришь, что вѣришь въ свое безсмертіе, но что же оно такое? Если оно и то, и другое, и все что угодно—и стаканъ съ квасомъ, и яблоко, и лошадь—то я поздравляю тебя съ твоею вѣрою, но не хочу ея себѣ. У меня у самого есть поползновеніе *вѣрить* то тому, то другому, но нѣтъ силы *вѣрить*, а хочется знать достовѣрно. Ты говоришь, что при извѣстіи о смерти Станкевича тебя вдругъ схватилъ вопросъ:—что же стало съ нимъ? А развѣ это пустой вопросъ? Развѣ безъ его рѣшенія возможно примиреніе? Если такъ, то ты не любилъ Станкевича и еще ни разу не терялъ любимаго человѣка. Нѣтъ, я такъ не отстану отъ этого Молоха, котораго философія назвала Общимъ, и буду спрашивать у него: куда дѣлъ ты его и что съ нимъ стало? Ты говоришь—страшна потеря любимаго человѣка! А почему страшна она? потому что она—потеря, потому что уже нѣтъ и не будетъ больше потеряннаго. А должно ли въ жизни быть что-нибудь страшное? Если смерть человѣка не страшна тебѣ,—значитъ ты не любилъ его; если ты любилъ его—она страшна тебѣ, а что страхъ—откуда онъ—изъ разумности или случайности? Ты говоришь: ради Бога, станемъ гнать отъ себя разсудочныя рефлексіи о *тамъ*, о буд. жизни, какъ понапрасну лишающія настоящее его силы и жизни. Прекрасно: но гдѣ достовѣрность того, что эти рефлексіи—разсудочныя, а не разумныя? Потомъ: я хочу прямо смотрѣть въ глаза всякому страху, и ничего не гнать отъ себя, но ко всему подходить. Наконецъ: что дастъ тебѣ настоящее, которому (по старой привычкѣ) приписываешь ты и силу и жизнь? Что дастъ

оно тебѣ?—*дымъ фантазіи*? Сражайся за него, Боткинъ, ратуй елико возможно и не замѣчай, какъ злобно оно издѣвается надъ тобою!»

Между извѣстіями и вопросами о друзьяхъ, онъ упоминаетъ объ А. И. Кронебергѣ, который въ это время работалъ надъ Шекспиромъ, и жалѣетъ, что не очень поладилъ съ нимъ въ прежнее время (вѣроятно, еще въ Москвѣ). Бѣлинскому очень нравится его статья [1]; въ ней онъ видитъ хорошее пониманіе Шекспира,—«а это много»; ему нравится и переводъ «Ричарда II», обнаруживающій глубоко-поэтическую натуру.

Письмо, отъ 4 октября, высказываетъ уже въ очень опредѣленной формѣ тотъ поворотъ въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго, который совершался въ немъ съ его переселенія въ Петербургъ такимъ медленнымъ, мучительнымъ процессомъ сомнѣній, недовольства самимъ собой, борьбы, отчаянія и ожесточенія. «Дѣйствительность» давно перестала быть для него тѣмъ, чѣмъ была прежде; онъ все чаще возвращается къ мысли объ обществѣ, и досадуетъ на прежнія идеалистическія заблужденія... Мы видѣли, какъ постоянно видоизмѣнялись въ новомъ направленіи его мысли о дѣйствительности, «общемъ», о «французахъ», о Шиллерѣ, объ Entsagung, о любви,—каждое видоизмѣненіе было шагомъ къ новой системѣ понятій... Теперь онъ споритъ противъ Боткина, считавшаго свою натуру непроизводительною въ литературномъ смыслѣ, и объясняетъ, что причина этой малой производительности заключается въ томъ, что самъ Боткинъ знаетъ, какъ мало можетъ онъ встрѣтить себѣ сочувствія въ обществѣ, которое скорѣе всего отвѣтитъ на его трудъ пренебреженіемъ или чѣмъ-нибудь хуже.

«Что ты говоришь о нашихъ отношеніяхъ—для меня это очевидная истина, и съ тѣхъ поръ какъ наша взаимная дружба, моя вѣра въ тебя, обратились въ достовѣрность,—я потерялъ всякую охоту и желаніе говорить о нихъ. Не менѣе, говоришь ты великую правду объ основаніяхъ дружбы, которыя должны состоять въ стремленіи къ одному и тому же превыспреннему небу, но отнюдь не по одной и той же дорогѣ или тропинкѣ. М[ишель] такъ думалъ, и кромѣ глубокой натуры и генія требовалъ еще отъ удостоиваемыхъ его дружбы одинаковаго взгляда даже на погоду и одинаковаго вкуса даже въ гречневой кашѣ, условіе sine qua non! Но посмотри, какъ оправдала дѣйствительность его абстрактныя, лишенныя жизненнаго соку и теплоты воззрѣнія: когда онъ уѣзжалъ изъ П. загр., его проводилъ не я, не К., даже не Яз. и П., но Гр—ъ, произведенный имъ за 1000 р. ассигн. *въ спекулятивныя натуры.* Но и этимъ комедія не кончилась: оная натура говоритъ, что его

---

[1]) Шекспиръ. Обзоръ мнѣній о Шекспирѣ, высказанныхъ европейскими писателями въ XVIII и XIX столѣтіяхъ. «От. Зап.», 1840, № 9.

можно уважать за умъ, но не любить, и что по письмамъ его московскихъ друзей видно, что они даже плохо и уважаютъ-то его. Но объ этомъ послѣ.

«Врешь ты, старый чортъ, что твоя натура не производящая. Правда, ты не можешь постоянно работать, но тутъ другая причина, которая, боюсь, скоро и мою дѣйствительно отмѣнно плодородную (какъ свинья, которая приноситъ въ годъ ста по три поросятъ) натуру обезплодитъ. Но объ этомъ поговоримъ, когда увидимся. Ты можешь, и очень можешь дѣлать, но именно потому ничего и не дѣлаешь, что знаешь, что общество за это въ знакъ своего вниманія хорошо если только не наплюетъ въ рожу, а то еще пожалуй и хуже что сдѣлаетъ.

«Но чортъ съ нимъ (съ обществомъ),—наша участь—схимничество. Проклинаю мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностію! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма! какъ восклицалъ великій Пушкинъ! Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это мысль и дума вѣка! Боже мой, страшно подумать, что со мною было—горячка или помѣшательство ума—я словно выздоравливающій. Да, Б., ты ничего путнаго не сдѣлаешь, хотя и доказалъ, что ты много-много прекраснаго могъ бы сдѣлать; но ни ты, ни твоя натура въ томъ не виноваты. Это общая наша участь,—и на этотъ счетъ я спою тебѣ славную пѣсенку—

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ, безъ шума и слѣда (и проч.).

Ну, а пока будемъ что-нибудь дѣлать хоть для забавы, разсѣянія отъ скуки или отъ безполезныхъ думъ объ испанскихъ дѣлахъ»...

Дальше мы встрѣтимъ еще болѣе рѣшительныя выраженія новаго взгляда на вещи...

Боткинъ упрекалъ «Отеч. Записки» въ недостаткѣ живыхъ историческихъ статей и иностранной критики (самъ онъ приготовилъ переводъ изъ Рётшера, который назначался въ 1-ю книжку «Отеч. Зап.» 1841 года). Бѣлинскій отвѣчаетъ на это: «Да гдѣ же ихъ взять? Вѣдь «О. З.» издаются трудами *трехъ* только человѣкъ—Краевскаго, Каткова и меня—не разорваться же намъ, а другіе всѣ, могущіе дѣлать, отговариваются тѣмъ, что у нихъ не производящія натуры».

Бѣлинскій получилъ наконецъ отъ своего друга отзывъ о Куперѣ. Они совершенно сошлись во мнѣніи объ этомъ писателѣ.

«Величайшій художникъ!—восклицаетъ Бѣлинскій:—я горжусь тѣмъ, что давно его зналъ и давно ожидалъ отъ него чудесъ, но это чудо («Патфайндеръ»), признаюсь, далеко превзошло всѣ усилія моей бѣдной фантазіи. «Сенъ-Ронанскія воды» торжественно

признаю лучшимъ романомъ В. Скотта, — но куда до «Патфайндера!» [1]).

Вопросъ о безсмертіи занималъ Боткина меньше и иначе. Бѣлинскій мирится съ этимъ разнорѣчіемъ ихъ интересовъ, потому что идеи нельзя навязать другому; пусть Боткинъ думаетъ объ этомъ иначе, за то у него есть свои, поглощающія его идеи, и, дѣлясь своими идеями и своими страданіями, они будутъ дополнять другъ другу созерцаніе жизни,—тогда у нихъ не будетъ пустыхъ споровъ и возникнетъ живое пониманіе и симпатія.

«Что касается до вопроса о личномъ безсмертіи, — конечно мнѣ было бы пріятно найти въ тебѣ товарища въ болѣзни; но если ты здоровъ, или болѣнъ чѣмъ-нибудь другимъ, изъ этого я не думаю выводить слѣдствія о твоей ограниченности, и мнѣ очень жаль, что ты такъ некстати употребилъ это слово, которое пахнуло на меня дурною сторонкою нашей старины, которою управлялъ М. Б[акунинъ]. Ты вѣрно очень помнишь, что во мнѣ находилъ онъ всѣ роды ограниченности, а въ немъ одно величіе и безконечность. Я всегда былъ таковъ со всѣми, кого любилъ. Но довольно объ этомъ вздорѣ. Идею нельзя навязать другому, и никто не призоветъ ее къ себѣ, но она сама является къ человѣку, нежданная и незванная, и вгрызается въ него, живетъ въ немъ. Такъ и я теперь все вижу и на все смотрю подъ ея вліяніемъ, въ ея очки. Можетъ, и съ тобою это еще будетъ, а можетъ и не будетъ. То и другое хорошо. Если ты этимъ не переболѣешь, за то ты уже многимъ переболѣлъ, что еще и не касалось, а можетъ и не коснется меня, но тѣмъ-то драгоцѣннѣе, ближе и родственнѣе мнѣ твои страданія: они дополняютъ мнѣ самого меня, расширяютъ мое собственное созерцаніе жизни. Смотри же и ты на мои болѣзни этими же глазами—и у насъ не будетъ пустыхъ споровъ изъ ничего, а будетъ живое пониманіе, живая симпатія и живая любовь другъ къ другу. Увидимся, потолкуемъ и поспоримъ, а на письмѣ, я вижу, ничего не растолкуешь другому, чего отъ него требуешь или что ему говоришь. Не могу пока умолчать объ одномъ, что меня теперь всего поглотила идея достоинства человѣческой личности и ея горькой участи — ужасное противорѣчіе! М. Б[акунинъ] [2]) пишетъ, что Станк[евичъ] вѣрилъ личному безсмертію, Штраусъ и Вердеръ вѣрятъ. Но мнѣ отъ этого не легче: все также хочется вѣрить и все также не вѣрится».

Бѣлинскій обрадованъ былъ новыми разсужденіями своего друга объ Entsagung, отъ котораго онъ такъ упорно, почти съ ненавистью отрекался [3]).

«Именно, оно (Entsagung) есть свободное, вслѣдствіе нравственнаго понятія, отреченіе отъ блага жизни и принятіе на себя стра-

[1]) Этотъ романъ Купера былъ тогда переведенъ въ «Отеч. Запискахъ», 1840, № 8 и 9.

[2]) Находившійся уже заграницей.

[3]) Ср. выше письмо, отъ 18—20 февраля 1840.

данія; а не невольное. Вотъ я и правъ былъ, что это слово и бѣсило, и оскорбляло меня. У меня отнимали то, чего я не имѣлъ еще и случая выказать. Можетъ быть, во мнѣ этого и нѣтъ, а можетъ быть и есть—кто знаетъ? Я самъ не могу знать. Ты пишешь, что опять сошелся съ самимъ собою, что призракъ счастія разбитъ—признаюсь въ грѣхѣ—плохо вѣрю... Я вообще съ тобою въ одномъ страшно и дико разошелся: читаю и не вѣрю глазамъ своимъ, когда ты говоришь о жизни и счастіи, съ уваженіемъ и не шутя, съ какою-то вѣрою. Я не сойдусь, не помирюсь съ пошлою дѣйствительностію, но счастія жду отъ однихъ фантазій и только въ нихъ бываю счастливъ. Дѣйствительность—это палачъ»...

Въ концѣ письма Бѣлинскій замѣчаетъ:

«Недавно со мною (съ мѣсяцъ назадъ) случилась новая гисторія, которая до основанія потрясла всю мою натуру, возвратила мнѣ слезы и безконечное, томительное, страстное порываніе, и кончилась *ничѣмъ*, какъ и прежде. Долго ли это продолжится. Видно, такова уже моя натура, какъ говоритъ Патфайндеръ. Всякому своя доля, но право, сквернѣе моей ничего нельзя вообразить»... [1]).

Новое длинное письмо, отъ 25 октября, посвящено почти исключительно той интимной исторіи Боткина, которая вообще занимаетъ много страницъ въ письмахъ Бѣлинскаго за это время. Бѣлинскій принимаетъ самое горячее участіе въ этой исторіи, высказываетъ свои взгляды на нее, старается опредѣлить и характеризовать дѣйствующія лица, успокоить своего друга и отвести его отъ экзальтированнаго чувства къ болѣе простому, спокойному и разумному пониманію вещей. То, что происходило тогда съ его другомъ, было ему знакомо по собственному опыту; это были «сильныя, но ложныя тревоги», «рефлексія». Затрудняясь высказать свою настоящую мысль, Бѣлинскій хочетъ намеками указать сущность дѣла. Онъ проситъ своего друга оставить на время «все нѣмецкое» и особенно то, что ему всего больше нравится, и читать Купера, В. Скотта, Шекспира, или оторваться «на время» отъ идеальнаго міра и войти въ интересы міра положительнаго и практическаго.

Эстетическое лекарство Бѣлинскій очевидно считалъ очень дѣйствительнымъ,—такъ глубоко онъ, да и его другъ, воспринимали поэтическія изображенія жизни; и чтеніе высокихъ художниковъ, какими были въ его глазахъ, кромѣ Шекспира, Вальтеръ-Скоттъ и Куперъ,—казалось Бѣлинскому столь же сильнымъ средствомъ противъ фальшиваго идеализма и романтики, какъ обращеніе къ интересамъ практической жизни. Въ подтвержденіе необходимости выдти изъ фантастическаго міра въ практическій, Бѣлинскій приводилъ собственный примѣръ:

---

[1]) Вѣроятно объ этой «гисторіи», увлеченіи, ничѣмъ не кончившемся, сказано нѣсколько словъ въ письмѣ его къ Боткину, отъ 10 декабря 1840.

«Я не умѣю тебѣ этого хорошо растолковать, но я хорошо знаю по себѣ: нѣтъ въ мірѣ мѣста гнуснѣе Питера, нѣтъ поганѣе питерской дѣйствительности, но я отъ нея не потерялъ, а пріобрѣлъ—я глубже чувствую, больше понимаю, во мнѣ стало больше внутренняго и духовнаго. Если бы не журналъ, я бы съ ума сошелъ. Если бы гнусная дѣйствительность не высасывала изъ меня капля по каплѣ крови,—я бы помѣшался. Оторваться отъ общества и затвориться въ себѣ—плохое убѣжище»...

Убѣждая своего друга смотрѣть на происшедшее съ нимъ, какъ на опытъ, на воспитаніе, и сохранить воспоминаніе о лучшихъ минутахъ, Бѣлинскій снова нападаетъ на прежній идеализмъ, отъ котораго Боткинъ еще не излечился:

«Тебѣ стыдно и больно было признаться мнѣ, что чувство твое убито, умерло: о, Боткинъ, ты все еще живешь въ мірѣ героизма и тебѣ трудно увѣриться, что всѣ люди—не больше какъ люди. Для меня—такъ человѣческая природа есть оправданіе всего. Событіе—вздоръ, чортъ съ нимъ... Важна личность человѣка, надо дорожить ею выше всего»...

Онъ опять приводитъ, въ видѣ эстетическаго аргумента, стихотвореніе Пушкина—«Подъ небомъ голубымъ страны своей родной» и пр., и продолжаетъ:

«Неужели намъ и теперь быть дѣтьми, которыя такъ жарко вѣрили вѣчности человѣческихъ чувствъ и, утирая кулакомъ кровавыя слезы, повторяли, что жизнь—блаженство, и что намъ чудо какъ хорошо жить. Вчера любилъ, ныньче нѣтъ—моя ли вина. Худо и стыдно становиться на ходули, а за все остальное пусть отвѣчаетъ человѣческая натура»...

Въ концѣ октября, Бѣлинскій былъ обрадованъ пріѣздомъ Кольцова, какъ разскажемъ далѣе. Катковъ около того же времени уѣхалъ за-границу. Въ октябрьской книгѣ «От. Записокъ» только-что была напечатана статья его о сочиненіяхъ Сары Толстой, надѣлавшая въ то время шуму въ петербургскомъ кружкѣ. Эта книга [1]), изданная въ началѣ 1839 г. и не бывшая въ продажѣ, возбудила тогда особое вниманіе, какъ оригинальное литературное явленіе, и по личности ея автора. Графиня Сара Толстая была дочь извѣстнаго Ѳ. И Толстого-Американца; мать ея была цыганка. Это была чрезвычайно талантливая дѣвушка, съ блестящимъ, конечно свѣтскимъ образованіемъ, но фантастическая, нервная до страшно-болѣзненныхъ экстазовъ и ясновидѣній; она умерла въ 1838 г., едва семнадцати лѣтъ отъ роду. Ея сочиненія казались поэтическимъ

[1]) «Сочиненія въ стихахъ и прозѣ графини С. Ѳ. Толстой». Переводъ съ нѣмецкаго и англійскаго. Москва. Двѣ части.

откровеніемъ женственной природы, въ самой ея сущности, природы, еще нетронутой страстью и опытами жизни. Бѣлинскій былъ также заинтересованъ этимъ явленіемъ. По первымъ впечатлѣніямъ, Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ статьи Каткова, и проситъ Боткина написать, какъ ему показалась эта статья и какъ о ней говорятъ въ Москвѣ. «По мнѣ—чудесная статья, но есть, особенно вначалѣ, какая-то тяжеловатость». Тутъ же онъ совѣтуетъ Боткину прочесть «Тарантасъ», гр. Соллогуба—«премиленькая вещица»; восхищается «Новымъ сторожемъ», Огарева [1]).

Въ слѣдующемъ письмѣ (помѣченномъ 31 ноября, вмѣсто октября). Бѣлинскій въ восторгѣ отъ извѣстій Боткина, который собирался дѣятельно работать для журнала и побуждать къ тому же другихъ московскихъ пріятелей. Онъ разъ уже спорилъ объ этомъ предметѣ съ своимъ другомъ, у котораго было предубѣжденіе противъ журналовъ—объяснявшееся, вѣроятно, тогдашнимъ характеромъ большинства ихъ, и теперь снова высказываетъ свое мнѣніе о значеніи журнала для нашей публики.

«Не повѣришь, Боткинъ, я съ ума схожу отъ радости—ты вдвое началъ существоватъ для меня теперь. Не думай, чтобы это выходило изъ моей *журналоманіи*—увѣряю тебя, что она давно уже прошла, уступивъ мѣсто разумному сознанію и глубокому убѣжденію, что для нашего общества журналъ—все, и что нигдѣ въ мірѣ не имѣетъ онъ такого важнаго и великаго значенія, какъ у насъ. Не болѣе пяти сочиненій разошлось у насъ, во сто лѣтъ, въ числѣ 5000 экз.,—и между тѣмъ есть журналъ съ 5000 подписчиковъ! Это что-нибудь значитъ! Журналъ поглотилъ теперь у насъ всю литературу—публика не хочетъ книгъ—хочетъ журналовъ,—и въ журналахъ печатаютъ цѣликомъ драмы и романы, а книжки журналовъ—каждая въ пудъ вѣсомъ. Теперь у насъ великую пользу можетъ приносить, для настоящаго, и еше больше для будущаго, каѳедра, но журналъ бóльшую, ибо для нашего общества, прежде науки, нужна человѣчность, гуманическое образованіе»...

Бѣлинскій радуется «до сумасшествія», что Боткину понравился 10-й № «Отечеств. Записокъ»; онъ проситъ московскихъ друзей работать для журнала, жалуется на Грановскаго, который до сихъ поръ не прислалъ ни строки въ «От. Записки», и не пишетъ ничего ему,—«а я (говоритъ Бѣлинскій) право такъ люблю его, такъ часто думаю о немъ, особенно въ послѣднее время, когда я въ нѣкоторыхъ пунктахъ нашихъ московскихъ съ нимъ споровъ такъ измѣнился, что, при свиданіи, ему нужно будетъ не подстре-

---

[1]) Семь главъ изъ «Тарантаса»—въ «От. Зап.» 1840, № 10; «Деревенскій сторожъ», Огарева, № 9.

кать, а останавливать меня». Это—все тѣ московскіе споры, которые велъ Бѣлинскій въ концѣ 1839.

«Чуть было не забылъ,—говоритъ онъ въ концѣ письма:—разсказъ Кольцова о пріемѣ, сдѣланномъ московскою публикой Мочалову, измучилъ меня завистью къ вамъ, свидѣтелямъ его,—и въ Москвѣ не нашлось человѣка, который бы написалъ объ этомъ въ журналъ!»...

Мы говорили прежде о томъ, съ какимъ сердечно-дружескимъ, можно сказать, нѣжнымъ чувствомъ Бѣлинскій относился къ Кольцову. По переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ, они продолжали мѣняться письмами. Кольцовъ попрежнему обращался къ Бѣлинскому, какъ моральному авторитету, разсказывалъ ему о своей интимной жизни, которой ни передъ кѣмъ не открывалъ съ такимъ глубокимъ довѣріемъ, отдавалъ на его полный, окончательный судъ свои новыя работы, и съ скромною деликатностью ожидалъ его отзыва на свои симпатіи. Мы должны считать извѣстной біографію Кольцова, написанную Бѣлинскимъ; надо только прибавить, что упомянутый тамъ «московскій другъ» Кольцова (жившій послѣ въ Петербургѣ) былъ именно Бѣлинскій. Письма Кольцова къ Бѣлинскому остаются еще неизданными, и по ихъ совершенно интимному характеру не могутъ быть изданы въ цѣлости. Нѣкоторые отрывки изъ нихъ включены въ біографію; мы прибавимъ еще нѣсколько выдержекъ, въ особенности такихъ, которыя опредѣляютъ свойства ихъ дружескихъ отношеній и горячую привязанность Кольцова къ Бѣлинскому—недосказанную послѣднимъ [1]).

Приводя письмо Кольцова въ его біографіи, Бѣлинскій замѣчаетъ однажды: «такъ писалъ онъ всегда и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда нѣсколько вычурна, языкъ не отличался опредѣленностью, но зато поражалъ какою-то наивностью и оригинальностью» [2]). Этотъ недостатокъ опредѣленности происходилъ отъ непривычки Кольцова къ литературному языку, котораго онъ никогда не слыхалъ въ своемъ обыкновенномъ кругу; онъ самъ нерѣдко признавалъ, что ему трудно высказать свою мысль, когда требовалась нѣсколько отвлеченная форма выраженія; а въ той «наивности и оригинальности», которую затруднялся опредѣлить Бѣлинскій, участвовало между прочимъ удивительное мастерство въ настоящемъ *народномъ* языкѣ, которое даетъ такую силу выраже-

---

[1]) Одно письмо Кольцова къ Бѣлинскому (изъ бумагъ Ю. Н. Бартенева) напечатано еще въ «Р. Архивѣ» 1875, № 11, стр. 394—397.

[2]) Сочин. т., XII, стр. 103.

нія поэзіи Кольцова, и нерѣдко чувствуется въ его перепискѣ. Эта черта его языка вѣроятно была еще не совсѣмъ привычна для тогдашняго литературнаго круга, когда въ самой литературѣ было еще немного образчиковъ настоящаго народнаго склада...

Извѣстіе о переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ порадовало Кольцова, но онъ жалѣлъ, что не увидитъ его въ Москвѣ, куда собирался. Первое письмо въ Петербургъ Кольцовъ писалъ уже въ февралѣ 1840 г. «...Въ Питерѣ вы—часъ добрый! Жить поживать припѣваючи. Каковъ Петербургъ?—Сѣръ, и воздухъ мутенъ, и дни грустны;—на первый разъ онъ, кажется, для всѣхъ таковъ, а обживешься съ нимъ, и получшаетъ, и чѣмъ ужь дальше, тѣмъ лучше да лучше, а наконецъ и вовсе полюбится... Какъ бы мнѣ хотѣлось теперь хоть маленькую получить отъ васъ вѣсточку!.. Я терплю и думаю, что у васъ шли все такія обстоятельства, что вамъ было не до меня и, можетъ быть, порою часто не до себя, иначе я не могу и думать объ вашемъ долгомъ-долгомъ молчаньи. Если и теперь не до меня,—не пишите еще, справляйтесь съ своими внутренними и внѣшними требованіями; Богъ дастъ, придетъ время лучшее, тогда можно поговорить и со мною... Я знаю васъ, и это сознаніе всегда говоритъ мнѣ, также какъ и прежде»... Онъ посылаетъ Бѣлинскому нѣсколько стихотвореній, отдавая на его рѣшеніе: что̀ получше—напечатать, что̀ не хорошо—оставить. Кольцовъ вообще самъ не рѣшался судить о своихъ стихотвореніяхъ, и спрашивалъ обыкновенно мнѣнія Бѣлинскаго. Онъ проситъ дать что-нибудь изъ его пьесъ Плетневу для «Современника»: ему «стыдно» передъ Плетневымъ и редакторомъ «Отеч. Записокъ», которые посылаютъ ему свои книжки, и онъ думаетъ, что мало отплачиваетъ имъ за то своими стихами: «они, положимъ, люди добрые и хорошіе, а все-таки за бумагу и въ типографію, а иногда и (за) пьесы платятъ, я думаю, деньги» (!).

Въ другихъ письмахъ (отрывкахъ), начала 1840, онъ разсказываетъ Бѣлинскому о своей домашней и дѣловой жизни, которая начинала крайне тяготить его: ему становилась невыносима «матеріальность», торговыя дѣла, какъ они велись въ его кругу, и полное одиночество въ его нравственныхъ интересахъ. Онъ не жалуется, но разсказываетъ, и съ раздраженіемъ сознаетъ, что ему даже становится трудно писать къ Бѣлинскому, съ которымъ такъ хотѣлось бы бесѣдовать; онъ винитъ себя въ недостаткѣ, въ малодушіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ думаетъ, что не могъ бы ничего сдѣлать противъ окружающаго, еслибы и захотѣлъ.

«Вотъ и теперь—пишу, а о чемъ? Думать тошно, а силы нѣтъ горю пособить; мнѣ даны отъ Бога море желаній, и съ ку-

зовокъ души. Я очень знаю, что̀ вы такое, да вамъ надобно того, что̀ часто у меня не дома... Еще и то порою приходило въ мысль, чтобы васъ не безпокоить слишкомъ черезчуръ мелкою дрязгою;.. хоть я и давно замѣчалъ въ васъ болѣе во сто разъ (расположенія), чѣмъ въ другихъ, но все-таки боялся: душа темна... Мнѣ возвыситься до вашей дружбы мудрено;... я вашъ давно, но вы мои еще недавно». Письмо, полученное отъ Бѣлинскаго, рѣшило въ немъ много сомнѣній и успокоило его; совѣты Бѣлинскаго угадывали то, что было ему нужно... «Вы въ своемъ кружкѣ переродили меня,—говоритъ онъ дальше. Въ послѣднюю поѣздку [1]) много добра захватилъ я у васъ; прежде только и зналъ, что людей проклиналъ, теперь благодарю Бога за жизнь свою. Одно измѣнило мнѣ. Жаль Серебрянскаго; вы одни замѣтили его. Какая прекрасная душа была! Какъ онъ васъ любилъ и уважалъ».

Въ слѣдующемъ письмѣ опять разсказъ о тягостной жизни, изъ которой Кольцовъ не зналъ выхода. Петербургскіе друзья думали вызвать Кольцова изъ Воронежа, думали, что онъ можетъ заняться книжной торговлей; редакторъ «Отеч. Записокъ» предлагалъ ему переѣхать въ Петербургъ и взять на себя управленіе конторой журнала [2]). Въ другомъ письмѣ Кольцовъ объясняетъ, отчего ему невозможно было принять этихъ предложеній: всякая и книжная торговля, безъ большихъ средствъ, по его мнѣнію, непремѣнно связана съ обманомъ, съ тѣми торговыми продѣлками, которыя были ему ненавистны; но, кромѣ того, ему нельзя было покинуть Воронежа, гдѣ отецъ связалъ его денежными обязательствами по своимъ дѣламъ.

Въ концѣ апрѣля 1840, онъ пишетъ Бѣлинскому длинное письмо. Онъ угадалъ причину молчанія Бѣлинскаго—и теперь горячо благодаритъ его за письмо. Онъ смущается тѣмъ, что посланныя имъ пьесы не понравились Бѣлинскому: «вы мною теперь такъ владѣете, что ваше слово—приговоръ». Осенью онъ думалъ быть въ Петербургѣ... Теперь онъ надѣялся отдохнуть недѣли на три: въ Воронежъ пріѣхалъ Мочаловъ, «и у насъ въ Воронежѣ большой праздникъ, у театра шумъ и давка,—онъ пробудилъ нашъ сонный городъ». Съ Мочаловымъ Кольцовъ былъ знакомъ еще по московскому кружку, и они встрѣтились дружески. Кольцовъ восхищается «Отеч. Записками»: «журналъ—чудо! критика—небывалая; у насъ всѣ хватились читать его, и критику преимущественно»; самъ онъ находитъ, что критика въ журналѣ всего лучше. Онъ въ восторгѣ

[1]) Въ Москву, въ 1838.
[2]) Ср. Сочин. Бѣл., XII, стр. 110.

отъ разсказовъ и стихотвореній Лермонтова [1]); находитъ, что Клюшниковъ (—ѳ—) «началъ поправляться, и шибко пошелъ впередъ»; «а Каткова, изъ Гейне—Ратклифъ—я не понимаю» [2]). Онъ посылаетъ Бѣлинскому еще рядъ своихъ стихотвореній, съ замѣчаніями, иногда оригинально высказанными [3]). Бѣлинскій думалъ тогда сдѣлать изданіе его стихотвореній; Кольцовъ пишетъ: «но только буду васъ просить при сборѣ книги выбирать однѣ добрыя (пьесы); а кой-какія слабыя, хотя бы онѣ и были ужъ напечатаны, въ книгѣ не печатать... Людямъ не много толку, что я мѣщанинъ, а надобно, чтобы книга стояла сама за себя, безъ уменьшенія и увеличенія»... Изъ его литературныхъ мнѣній любопытенъ отзывъ о Далѣ. Ему пришла мысль передѣлать въ оперу, хоть для чтенія, пьесу Даля «Ночь на распутьи»: «она писана, кромѣ нѣкоторыхъ мѣстъ, языкомъ варварскимъ, а матеріалъ драмы—русскій, превосходный». Кольцовъ видимо не выносилъ искусственно-народнаго языка Даля, и думалъ, что въ передѣлкѣ пьесу Даля «по крайней мѣрѣ можно было бы прочесть, а то ее теперь и прочесть нельзя».

Въ письмѣ 15 августа, опять очень длинномъ, Кольцовъ радуется на дѣятельность Бѣлинскаго. «Не шутя и не льстя говорю вамъ: давно я васъ люблю, давно читаю ваши мнѣнія, читаю и учусь, но теперь читаю ихъ больше... и понимаю лучше. Много ужъ они сдѣлали добра, но болѣе сдѣлаютъ... Ваша рѣчь — высокая, святая рѣчь убѣжденія»... О выѣздѣ изъ Воронежа теперь ему поздно думать; это нужно было сдѣлать, когда былъ помоложе, притомъ у него «нѣту голоса въ душѣ быть купцомъ»; его задушевное желаніе—учиться, прочитать многое, и поѣздить года два по Россіи; но желаніе это несбыточно. Онъ объясняетъ подробно, почему нельзя ему взяться и за книжную торговлю; по его словамъ, книжная торговля у насъ ведется обыкновенно на небольшія средства, всякимъ сначала, безъ опыта и образованія, и потому вести её честно этимъ людямъ невозможно. Его отношенія съ отцомъ были, какъ извѣстно, очень тяжелыя, и занятія его литературой давали только лишній поводъ къ привязкамъ и попрекамъ [4]). «Мнѣ отъ него и такъ до-

---

[1]) Тогда печатались въ «Отеч. Зап.» отрывки изъ «Героя нашего времени».

[2]) «Ратклифъ», въ переводѣ Каткова, помѣщенъ былъ въ одной изъ послѣднихъ книгъ «Отеч. Зап.» 1839.

[3]) «Пѣсня «Такъ и рвется душа». Посмотрите на нее: конецъ что-то въ одномъ стихѣ у меня *заломился*... Дума 12-я. Она у меня выскочила въ минуту; если она не изъ чего-нибудь, то пусть будетъ моя. Какъ-то такимъ образомъ у меня не писалось, хоть я и не охотникъ на чужбинку».

[4]) *Ср. далѣе* выписку у Бѣлинскаго, XII, стр. 110—111.

стается довольно, — говоритъ Кольцовъ. — Чуть мало-мальски что не такъ, такъ ворчитъ и сердится. Вы — говоритъ — все по книжному, да по печатному, народъ грамотный, ума палата... Вы боитесь за меня, — продолжаетъ далѣе Кольцовъ, — чтобы я скоро не потерялся [1]); это правда, и такая правда, какою она лишь можетъ быть. Не только черезъ пять лѣтъ, даже скорѣе, живя такъ — и въ Воронежѣ. Но что-жъ дѣлать? буду жить, пока живется»... «А что въ 1838 году я въ Москвѣ написалъ такъ много и хорошо, — это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые собою меня каждый день настраивали; во-вторыхъ, я почти не дѣлалъ ничего и былъ празденъ, тяготило до смерти одно дѣло, но одно дѣло, не больше... А живя въ Воронежѣ, кругомъ меня другой народъ, татаринъ на татаринѣ... а дѣлъ беремя... и я какъ еще пишу, и для чего пишу? Только для васъ для однихъ. А здѣсь я за писаніе терплю больше оскорбленій, чѣмъ снисхожденій; всякій подлецъ такъ на меня и лѣзетъ: дескать, писакѣ-то и крылья ошибить... А что я пишу не все хорошо, вы объ этомъ сказали правду тоже. Почему же у меня идутъ пьесы не всѣ хороши? Онѣ всегда шли такъ, но прежде былъ Серебрянскій: онъ дурныя рвалъ, а теперь онѣ всѣ идутъ къ вамъ». Кольцовъ находилъ, что ему въ особенности недостаетъ впечатлѣній искусства; ему хотѣлось бы послушать музыки, повидать живописи и скульптуры; Петербургъ и Москва (т.-е. единственные города, гдѣ можно найти умственную жизнь и общество), какъ ему казалось, «своимъ величествомъ способствуютъ силамъ человѣка»; наконецъ, театръ... Онъ съ нетерпѣніемъ ждетъ свиданія съ Бѣлинскимъ: «ахъ, дай-то Богъ, чтобъ оно скоро исполнилось; рвется моя душа видѣть васъ и слушать васъ»... «Въ Москвѣ не засижусь», — прибавляетъ онъ въ концѣ письма; тамъ онъ думалъ видѣть только Боткина, Мочалова и Щепкина: — «да еслибъ Богъ далъ увидѣть Гоголя: застану въ Москвѣ — и не знакомъ, а ужъ пойду къ нему»...

Къ этому письму приложена извѣстная прекрасная пѣсня: «Въ непогоду вѣтеръ воетъ, завываетъ». Припомнивъ ее, читатель можетъ увидѣть, какъ близко она передавала его собственное страданіе и тяжкую борьбу «съ горемычной долей».

Бѣлинскій также съ нетерпѣніемъ ждалъ своего поэта.

«Бѣдный Кольцовъ, какъ глубоко страдаетъ онъ, — пишетъ Бѣлинскій къ Боткину, отъ 5 сентября. — Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждетъ — одни скоты блаженствуютъ, но тѣ и другіе равно умрутъ: таковъ вѣчный законъ Разума. Ай да

[1]) Т.-е., что жизнь въ Воронежѣ окончательно надломитъ его.

разумъ! Какъ пріѣдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи, чтобы тотчасъ же увѣдомилъ меня; а если поѣдетъ въ Питеръ, чтобы прямо ко мнѣ и искалъ бы меня на Васильевскомъ острову (слѣдуетъ адресъ)... У меня теперь большая квартира, и намъ съ нимъ будетъ просторно»...

Къ началу октября Кольцовъ, кажется, былъ уже въ Москвѣ. Бѣлинскій пишетъ къ Боткину, отъ 4 октября:

«Кольцова разцѣлуй и скажи ему, что жду не дождусь его пріѣзда, словно свѣтлаго праздника. К[атко]въ умираетъ отъ желанія хоть два дни провести съ нимъ вмѣстѣ. Скажи, чтобъ пріѣзжалъ прямо ко мнѣ, нигдѣ не останавливаясь ни на минуту, если не хочетъ меня разобидѣть». (Слѣдуетъ опять подробный адресъ).

Кольцовъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ октябрѣ и пробылъ, кажется, до конца ноября: онъ прожилъ это время у Бѣлинскаго [1]). Въ письмѣ къ Боткину, отъ 25 окт., Бѣлинскій замѣчаетъ: «Кольцовъ живетъ у меня—мои отношенія къ нему легки, я ожилъ немножко отъ его присутствія. Экая богатая и благородная натура!»

По возвращеніи въ Москву, на обратномъ пути домой, Кольцовъ писалъ Бѣлинскому, отъ 15 декабря: — «Вамъ до послѣдней степени кажется невѣроятнымъ мое долгое молчанье. 18 дней я живу въ Москвѣ и къ вамъ еще ни слова. Да, мнѣ самому это ужъ показалось очень страннымъ. Но или такъ у меня въ натурѣ, или поѣхавши изъ Питера мнѣ было очень горько: разстаться съ вами прежде было дѣломъ обыкновеннымъ, теперь не такъ. Я какъ долго не могъ привыкнуть, что уѣхалъ, ѣду, въ Москвѣ—и васъ со мною нѣту». Петербургъ на этотъ разъ мало его занималъ, и ничего въ не оставилъ; проигрышъ дѣла сильно отяготилъ его; но въ Москвѣ посѣтила «полная жизнь», онъ сталъ писать, и написанное посылалъ съ письмами... Онъ разсказываетъ Бѣлинскому московскія новости, о Боткинѣ, Красовѣ, Аксаковыхъ, М. С. Щепкинѣ, родныхъ Бѣлинскаго. Въ Боткинѣ онъ замѣтилъ нѣкоторую перемѣну—онъ сталъ мягче и ближе къ Кольцову; послѣдній думалъ, что вѣроятно это происходило отъ писемъ Бѣлинскаго, и жалѣлъ, что Бѣлинскій это сдѣлалъ, т.-е. писалъ къ Боткину о немъ: онъ не хотѣлъ никакого натянутаго чувства. «И я сначала бывалъ у него не очень часто, несмотря на то, что онъ былъ ко мнѣ всегда хорошъ; но потомъ увидѣлъ, что... есть у него свое для меня мѣстечко особенное, тутъ мнѣ стало легче, и я бывать началъ чаще». Боткину очень понравилась статья Бѣлинскаго о театрѣ [2]): «онъ ее прочелъ

[1]) Въ біографіи Кольцова, Бѣлинскій считаетъ три мѣсяца, но по письмамъ этого не выходитъ. Соч. XII, стр. 111.

[2]) Соч. IV, стр. 151 и слѣд. «От. Зап.», 1840, № 10 и 11.

пожирая». «За критику о Ломоносовѣ въ Москвѣ люди стараго времени васъ бранятъ на чемъ свѣтъ стоитъ» [1])... Наконецъ, Кольцовъ опять обращается къ Бѣлинскому, разспрашиваетъ объ его дѣлахъ. «У васъ теперь, я думаю, самая головоломная работа и много непріятностей, это я особенно представляю. И дай Богъ, чтобъ обманулся. Какъ ни вспомню я о васъ, все мнѣ что-то дѣлается грустно, и на что ни смотрю, все темно, кромѣ — если сладили съ Плетневымъ»... Повидимому, Бѣлинскій думалъ оставить «Отеч. Записки» и работать въ журналѣ Плетнева. «Мнѣ какъ-то теперь вы все сдѣлались ближе, и каждая ваша боль больна и мнѣ. Когда же прояснится вашъ горизонтъ? Или онъ чистъ и теперь? Напишите, вы меня обрадуете. А мое долгое молчаніе простите... Ахъ, еслибъ къ вамъ скорѣе! Еслибъ знали, какъ не хочется мнѣ ѣхать домой, — такъ холодомъ и обдаетъ при мысли ѣхать туда».

Другое письмо Кольцовъ писалъ Бѣлинскому, отъ 10 января 1841. Кольцовъ встрѣтилъ новый годъ у Боткина, въ кругу его московскихъ друзей, гдѣ были Грановскій, Щепкинъ, Кетчеръ, Красовъ, Клюшниковъ, Лангеръ, Крюковъ, Сатинъ и др. Встрѣча была шумная и веселая. Но это не развлекло тоски Кольцова, и онъ снова обращается къ Бѣлинскому съ выраженіемъ своего сочувствія, которое все сосредоточилъ на немъ. «Да, милый В. Г., гдѣ вы, тамъ для меня жизнь всегда теплѣе, а гдѣ васъ нѣтъ—другое дѣло. Чѣмъ больше проходитъ время, тѣмъ больше эта истина доказывается опытомъ. Я теперь яснѣй началъ чувствовать, какъ цѣлый міръ иногда можетъ сосредоточиваться въ одномъ человѣкѣ. Кажется, скоро придетъ пора, что вы для меня замѣните всѣхъ и все. Моя душа часто начала говорить про это и никуда не просится жить, какъ къ вамъ. Когда-то придетъ это время, когда можно будетъ мнѣ это сдѣлать не словами, а дѣломъ! Боже сохрани, если Воронежъ почему-нибудь меня удержитъ у себя еще надолго — я тогда пропалъ». Нѣкоторыя изъ его новыхъ стихотвореній Бѣлинскому понравились, и онъ въ восторгѣ: «получилъ ваше письмо, прочелъ, и подо мной земля загорѣлась».

Еще одно длинное письмо изъ Москвы Кольцовъ писалъ 27 января. Въ его біографіи приведена выписка изъ этого письма, гдѣ Кольцовъ говоритъ о своемъ безвыходномъ положеніи и страшной необходимости ѣхать домой [2]). Прибавимъ къ этому еще два-

[1]) Это была небольшая библіографическая статья по поводу изданія сочиненій Ломоносова,—гдѣ Бѣлинскій рѣшился сказать, что Ломоносовъ не поэтъ» (Сочин. IV, стр. 46 и слѣд. «Отеч. Зап.» 1840, кн. 11).

[2]) Сочин. XII, стр. 112—113.

три отрывка. Письмо это любопытно, между прочимъ, одной чертой привязанности Кольцова къ Бѣлинскому. Проживъ у него въ Петербургѣ довольно долго, Кольцовъ видѣлъ всѣ подробности его образа жизни, его домашняго холостого быта. Теперь Бѣлинскій упомянулъ въ письмѣ, что ему въ послѣднее время нездоровилось. Кольцовъ принялъ извѣстіе съ большой заботой, и, гораздо болѣе привычный къ практическимъ сторонамъ жизни, онъ большую долю письма посвящаетъ домашнимъ интересамъ Бѣлинскаго, даетъ ему практическіе совѣты о хозяйствѣ, о нужной ему гигіенѣ, собирался даже лечить его, и т. д., все это самымъ серьезнымъ образомъ, какъ заботливый дядька. Это — почти трогательно, и иногда немного забавно. Относительно своихъ дѣлъ, онъ попрежнему думалъ, что ему нельзя сдѣлаться книготорговцемъ, какъ предлагали его петербургскіе друзья [1]).

Боткинъ въ это время уѣхалъ въ Харьковъ. Кольцовъ безъ него скучалъ еще больше. Въ письмѣ онъ высказываетъ слѣдующее сужденіе о Боткинѣ: — «Москва въ литературной жизни совсѣмъ устарѣла, выжилась. Можетъ, и есть кружки молодыхъ людей, но я ихъ не знаю. Въ ней остается одинъ Василій Петровичъ (Боткинъ). Забрось онъ, и послѣдніе обломки, — стараго, талантливаго, горячаго, вдохновеннаго кружка какъ не бывало. Все разсыпится врозь и едва-ли когда соберется. Кажется, никогда». Другими словами, Кольцовъ думалъ, что Боткинъ остался въ Москвѣ единственнымъ человѣкомъ, около котораго могъ собираться старый кружокъ и тѣмъ поддерживать нравственную солидарность и единство дѣятельности. Это было до извѣстной степени справедливо. Любопытны и другія его мнѣнія. «До смерти радъ,—пишетъ онъ,— что «От. Записки» идутъ хорошо. Первый нумеръ хорошъ, и здѣсь его читаютъ, и даже кой-кто не говорятъ, что̀ читаютъ — мы еще не видали, а дальше, смотришь, и проговорятся, что это въ немъ ни на что не похоже... О вашей статьѣ [2]) ходятъ сужденія разныя. Одни, и весьма немногіе, говорятъ, что первая половина хороша, а вторая ужъ очень нахальна; другіе удивляются, какъ ее напечатали,

---

[1]) Говоря, что ему рѣшительно нельзя жить дома, въ своемъ кругу, онъ замѣчаетъ: «...Даже жить въ Петербургѣ, быть книгопродавцемъ, значитъ, быть Поляковымъ, а иначе нельзя. Каковы люди, таковъ и купецъ. Онъ не самъ по себѣ гадокъ и плутъ, а такимъ его вырабатываютъ люди, съ которыми онъ имѣетъ сдѣлки. Кто въ Петербургѣ честенъ? Кто въ Москвѣ честенъ изъ нихъ?—Никто»... и проч. Поляковъ—тотъ самый книгопродавецъ, который держалъ тогда контору «Отеч. Записокъ» и живо изображенъ въ «Воспоминаніяхъ» Панаева. «Соврем.» 1861, кн. 11, стр. 47—48.

[2]) «Русская литература къ 1840 году», «Отеч. Зап.» 1841, кн. 1; Сочин. т. IV, стр. 195 и слѣд.

и видятъ въ ней вещи небывалыя; ну, а все, — критику, библіографію и смѣсь читаютъ исключительно»... Въ Москвѣ былъ тогда слухъ, что Бѣлинскій отказывается отъ «От. Записокъ»; многимъ этотъ слухъ былъ очень пріятенъ. Какъ видно, что-то подобное такому намѣренію дѣйствительно было, и Кольцовъ, узнавши источникъ слуха, жалѣетъ, что Бѣлинскій подалъ къ нему поводъ. «Напрасно вы Савельеву говорили, что вы отъ «От. Записокъ» отказались; это вездѣ разнеслось; вы человѣкъ сдѣлались теперь такой, котораго втайнѣ всѣ любятъ и боятся. Ваши мнѣнія всѣ читаютъ, и они стали приговоромъ; противъ нихъ скоро никто выйтить не захочетъ, да и не сможетъ. Ну, а въ случаѣ, если вы себѣ сломите шею, то многіе будутъ очень рады, и въ ихъ сожалѣніи будетъ выражаться душевная радость. На васъ глаза всѣхъ обращены, и ваше мѣсто торжественно и шатко. Одно мнѣ больше всего у васъ нравится, особенно теперь, — что вы можете безпощадно мстить людямъ за ихъ эгоизмъ. Особенно — гнили стараго вѣка. Они всѣ стоятъ на важныхъ ступеняхъ, а пользы отъ нихъ ни на алтынъ. Они чужое право присвоили себѣ. Если человѣкъ завладѣлъ общимъ интересомъ, то и выполняй дѣло, какъ оно требуетъ, или откажись, или передай его другимъ, когда нѣтъ силы дѣлать пользу»...

Затѣмъ новыя письма Кольцова были писаны уже изъ Воронежа. Съ Бѣлинскимъ онъ уже больше не видался.

Съ декабря 1840 до января 1841, идетъ рядъ длинныхъ писемъ, которыми завершается переломъ въ понятіяхъ Бѣлинскаго, и съ которыхъ можно считать новый періодъ его литературной жизни. Всѣ старые вопросы, занимавшіе его мысль, являются предъ нимъ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ; онъ остается идеалистомъ,—потому что былъ имъ по природѣ,—но его идеализмъ перестаетъ быть отвлеченнымъ и, покидая область полуфантастическихъ мечтаній о полнотѣ «абсолютной жизни», находитъ болѣе серьезныя задачи въ дѣйствительномъ мірѣ, въ обществѣ. Первые шаги въ этомъ направленіи были до послѣдней степени тяжелы для Бѣлинскаго. «Дѣйствительность», при ближайшемъ знакомствѣ, ужаснула его, и весь запасъ нравственныхъ стремленій къ высокому, пламенной любви къ правдѣ, направлявшійся прежде на идеализмъ личной жизни и на искусство, обратился теперь на скорбь объ этой дѣйствительности, на борьбу съ ея зломъ, на защиту достоинства человѣческой личности, безпощадно попираемаго этой дѣйствительностью. Новая задача, которую ему нужно было одолѣть, была нелегка: Бѣлинскому былъ неясенъ самый путь, какимъ слѣдовало идти къ ея опредѣленію, — отсюда рядъ колебаній, постоянной работы мысли,

порывовъ чувства, увлеченій, ошибокъ, — но онъ не пугался трудностей, не устрашался никакими послѣдствіями мысли, и—увлекалъ за собой современное ему поколѣніе. Въ ряду дѣятелей того времени, собравшихся въ новомъ дружескомъ кружкѣ, были люди и болѣе высокаго таланта,—но руководящей силой сталъ именно Бѣлинскій. Его внутренняя исторія этого времени есть психологическая исторія цѣлаго поколѣнія. Страсть, съ которой онъ воспринималъ идею, и буквально «болѣлъ» ею, дѣлала его самымъ энергическимъ ея представителемъ и доставила ему глубокое нравственное вліяніе.

Этотъ періодъ борьбы и перелома, естественно, былъ исполненъ особеннаго нравственнаго возбужденія, и потому опять особенно обиленъ письмами. Чѣмъ сильнѣе была внутренняя работа, тѣмъ больше была потребность высказаться; можно сказать, что этимъ Бѣлинскій уяснялъ самому себѣ процессы своей мысли: излагая мысль, онъ долженъ былъ давать ей опредѣленность и, завершивъ ее, шелъ далѣе, къ новымъ ея послѣдствіямъ; при постоянной работѣ надъ опредѣленіями, случалось, что доканчивая письмо, онъ уже не былъ доволенъ началомъ, — мысль его уже успѣвала измѣниться.

Приводимъ опять лишь существенныя мысли, по необходимости оставляя много частныхъ и личныхъ подробностей.

Въ письмѣ 10 декабря Бѣлинскій начинаетъ изъявленіемъ своей радости «скорому свиданію», о которомъ писалъ ему Боткинъ: «у меня всѣ жилки задрожали отъ этой мысли». Но онъ не знаетъ, говорилъ ли Боткинъ о Рождествѣ или о Пасхѣ, когда долженъ былъ онъ пріѣхать въ Петербургъ: «если ты разумѣешь Пасху, — то, Боткинъ, ради всѣхъ святыхъ, не напоминай мнѣ объ этомъ *скоромъ* свиданіи, до котораго мы успѣемъ съ тобою сто разъ умереть. Вѣдь это передъ окончаніемъ зимы въ Питерѣ—да это цѣлая вѣчность!»

Бѣлинскій поздравляетъ своего друга съ «воскресеніемъ». Боткинъ писалъ ему, что преодолѣлъ упадокъ духа, навлеченный неблагопріятнымъ концомъ своей сердечной исторіи, чувствуетъ въ себѣ свѣжесть, потребность дѣятельности; Бѣлинскій въ восторгѣ, что другъ его вышелъ изъ царства фантазіи и призраковъ, и совѣтуетъ ему окончательно разорвать всѣ нити, связывающія его съ этимъ прошлымъ. Ихъ нравственная связь дѣлала то, что личная жизнь каждаго была общимъ опытомъ, и исторія Боткина давала свой результатъ и Бѣлинскому:

«Твоя исторія довершила давно уже начавшійся во мнѣ переворотъ. Я наконецъ сбросилъ съ себя всѣ идиллическія и буколи-

ческія пошлости... я уже потерялъ всякую охоту толковать (и даже мечтать) о любви и женщинѣ... Я понимаю теперь любовь очень просто. Ея основа—разность половъ, а причина выбора—гармонія натуръ и капризъ субъективности. Черезъ это я нисколько не исключаю ни мистики сердечной, ни лиризма чувства, ни сладкаго и таинственнаго волненія надеждъ, сомнѣній, предчувствій и т. п.»...

Но женщина—не есть только женщина, и мужчина—не только мужчина; каждый изъ нихъ при этомъ человѣкъ, существо духовное, и потому соединеніе ихъ есть «тайна, но тайна свѣтлая, какъ лучъ солнечный, здоровая и не расплывающаяся въ пустотѣ мистическихъ призраковъ и Аксаковскаго идеализма».

«Я не вѣрю предопредѣленію въ любви, не вѣрю, что для мужчины только одна женщина въ мірѣ и наоборотъ, и что если слѣпой случай не свелъ ихъ—не любить имъ никого. Нѣтъ, для каждаго мужчины по 1000 женщинъ на земномъ шарѣ, и наоборотъ. Иногда любовь можетъ начинаться вдругъ, иногда она возбуждается случаемъ. И потому, я понимаю, какъ иногда, женившись не любя, влюбляются другъ въ друга, узнавши одинъ другого, и какъ женившись по любви, бываютъ несчастны. Тутъ великое дѣло—сближеніе и образъ сближенія. Некогда много толковать объ этомъ, да въ письмѣ не выскажешь и вполовину того, что хочешь, но только я понимаю это дѣло *очень просто* и вмѣстѣ съ тѣмъ очень *человѣчески*. Я уже не поклоняюсь женщинѣ, какъ рабъ деспоту, какъ дикарь божеству своему. Если я возьму отъ нея любовь ея, то не какъ милость божества недостойной его твари, а какъ слѣдующее мнѣ по праву, и за что я могу заплатить еще съ лихвою, дать гораздо больше. Мужчина, когда женится, теряетъ много — свою свободу, энергію своей борьбы съ дѣйствительностію, которой тогда принужденъ бываетъ уступать иногда, приростаетъ, какъ улитка, къ одному мѣсту, обязывается работать до кроваваго поту и дѣлать то, къ чему не лежитъ душа его. Женщина, выходя замужъ, ничего не теряетъ, но все выигрываетъ: изъ семейства, гдѣ съ каждымъ годомъ становится все болѣе и болѣе чужою... тягостнымъ бременемъ, переходитъ она въ свой домъ, госпожою, свободно и законно предается влеченію сердца и требованіямъ натуры... Далѣе: женщина—слабѣйшій организмъ, низшее существо, чѣмъ мужчина. Лучшая изъ женщинъ хуже лучшаго изъ мужчинъ. Въ женщинѣ какъ-то нѣтъ середины — или глубока, или совсѣмъ мелка и ничтожна. Въ самыхъ лучшихъ изъ нихъ много чего-то ничтожнаго»...

Онъ приводитъ въ примѣръ одну женщину—«чудное созданіе, брильянтъ своего пола», — которая, однако, не принявъ любви человѣка достойнаго, предпочла человѣка ничтожнаго, съ которымъ и была несчастна. Свой идеалъ Бѣлинскій указываетъ въ дѣвушкѣ, видѣнной имъ въ прежнія времена [1]).

---

[1]) Это—та же дѣвушка, о смерти которой онъ упоминаетъ въ письмѣ къ Ефремову, отъ 23 августа 1840.

«...Лучшей я не встрѣчалъ. Красота, грацiя, женственность, гуманизмъ, доступность изящному и всему человѣческому въ жизни и въ искусствѣ, стыдливость, готовность скорѣе умереть, чѣмъ перенести безчестiе, способность къ простой, дѣтской, но безконечной преданности къ избранному — вотъ стихiи, изъ которыхъ она была составлена и лучше этого ничего нельзя вообразить.

«Для меня это фактъ, что женщина дѣйствительная ищетъ не героя, а мужчины. Я бы желалъ найти женщину и не столь чудесную, какъ Л. Б[акунина] (ибо можно быть далеко ниже ея и всетаки быть прекраснымъ явленiемъ женственнаго мiра) и желалъ бы, во-первыхъ, увидѣть въ ней, послѣ красоты и грацiи, двѣ стороны: здравый разсудокъ и инстинктъ приличiя въ жизни домашней, въ отношенiяхъ житейскихъ, и религiозное чувство во внутренней ея жизни и ея торжественныхъ минутахъ, потомъ, я желалъ бы замѣтить, что есть надежда; тогда рѣшено—я люблю. Но второе условiе теперь для меня важно не менѣе перваго, ибо хоть богиня будь, а даромъ не истрачу не только фунта ѳимiаму, но и на копейку ладану: мнѣ стыдно и наединѣ съ собою вспомнить о моемъ позорномъ униженiи во времена оны, въ которомъ я впрочемъ, за неимѣнiемъ лучшаго, утѣшаюсь этими стихами:

Къ чему, несчастный, я стремился!
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ!
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился!

«Да, я наконецъ созналъ, что быть мужчиною чего-нибудь да стоитъ. Каковъ бы я ни былъ, но я борюсь съ дѣйствительностью, вношу въ нее мой идеалъ жизни, самая свѣтлая, самая горячая кровь моя пожертвована мною общему... Ей-Богу не лгу—меня теперь больше мучитъ одиночество, чѣмъ мечта о любви и женщинѣ. Борьба съ дѣйствительностiю снова охватываетъ меня и поглощаетъ все существо мое.

«Чтобы дополнить тебѣ мой теперешнiй взглядъ на любовь и женщину, скажу тебѣ, что абсолютное осуществленiе того и другого вижу въ «Патфайндерѣ». Мабель — вотъ истинная женщина, чуждая всякой мелочности, нормальная и простая въ глубокости своей. Колоссальное величiе Патфайндера и его глубокая любовь къ ней не заслонили отъ нея добраго, простого и возвышеннаго Джаспера; понявъ перваго, оцѣнивъ его чувство и отдавъ ему полную дань женскаго состраданiя, она отдалась Джасперу безъ всякаго сценизма и эффектовъ. Въ ней нѣтъ мечтательности, магнетизма и мистицизма, — она почти ничего не говоритъ во всемъ романѣ, — но, Боже мой, что же это за созданiе! Оно такъ божественно, что не смѣю вѣрить, чтобы могло существовать и въ дѣйствительности, а не быть только мечтою великаго художника. Что передъ нею всѣ нѣмки и всѣ обожательницы Жанъ-Поля, Гофмана и Шиллера?»

Письмо продолжается на слѣдующiй день въ шутливомъ тонѣ, въ которомъ Бѣлинскiй очень часто говорилъ съ своимъ другомъ.

«Вотъ тебѣ, Б., цѣлая диссертація о любви и женщинѣ. Желаю, чтобы ты прочелъ ее съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ я писалъ ее. Повѣришь ли: вчера былъ прекрасный вечеръ для меня—я забылъ все, и видѣлъ только тебя, читающаго эти строки и помавающаго лысою главою во знаменіе того, какъ твой неистовый другъ перепрыгиваетъ изъ одной крайности въ другую. Но диссертація еще не кончилась, она должна быть длинна, потому что она послѣдняя объ этомъ предметѣ,—и крайность еще только начинается. Смѣйся надо мною, лукаво улыбайся и качай во всю ивановскую лысымъ вмѣстилищемъ своего разума, но вотъ-те Христосъ, а я чуть ли ужъ не презираю женщину. Скудельный сосудъ, исполненный лукавства — орудіе слабаго, мелкаго тщеславія, кокетства. Онѣ не оцѣняютъ любви и презираютъ тѣхъ, кто искренно, беззавѣтно ихъ любитъ, преклоняется предъ ними, какъ предъ божествами. Онѣ любятъ, чтобы ихъ обманывали, льстя имъ и въ то же время тиранствуя надъ ними. «Чѣмъ меньше женщину мы любимъ, тѣмъ больше нравимся мы ей», сказалъ Пушкинъ. Вотъ причина, почему съ лучшими изъ нихъ такъ часто удается наглецамъ и фатамъ. Часто, чтобы обратить на себя любовь женщины, надо сдѣлать видъ, что любишь другую: оскорбленное мелкое самолюбіе, вѣрнѣе твоей любви, предастъ ее въ твою волю и полное распоряженіе... Мнѣ кажется, что греки лучше насъ понимали жизнь и женщину... Право, если чѣмъ можно упиться въ жизни, такъ это греческія отношенія въ любви. Римскія элегіи Гёте — самый лучшій катехизисъ любви, и за нихъ я люблю Гёте больше, чѣмъ за все остальное, написанное имъ. Мнѣ кажется, что въ мірѣ мудръ только одинъ художникъ, а всѣ прочіе — сумасшедшіе, изъ нихъ же первый — ты. Пусть мелькаютъ образы за образами, какъ волны за волнами въ потокѣ, — и въ осень дней пусть обступаютъ усталую отъ наслажденій жизни голову сладостно-грустныя воспоминанія о лучшемъ времени, подобно оссіановскимъ тѣнямъ».

Онъ ждетъ, что Боткинъ разбранитъ его за все это, и впередъ обѣщаетъ, что нисколько не будетъ сердиться на то: онъ понимаетъ, что это только минутное настроеніе, которое не останется его окончательнымъ взглядомъ. Далѣе, послѣ перерыва сюжета, онъ продолжаетъ въ болѣе серьезномъ тонѣ размышленія о жизни и о прошедшемъ. Онъ рѣшается высказать свой окончательный разрывъ съ прошедшимъ и новое направленіе своей мысли:

«Однакожъ, чортъ возьми, я ужасно измѣняюсь; но это не страшитъ меня, ибо съ пошлою дѣйствительностію я все болѣе и болѣе расхожусь, въ душѣ чувствую больше жару и энергіи, больше готовности умереть и пострадать за свои убѣжденія. Въ прошедшемъ меня мучатъ двѣ мысли: первая, что мнѣ представлялись случаи къ наслажденію, и я упускалъ ихъ, вслѣдствіе пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примиреніе съ гнусною дѣйствительностію. Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностію, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь вы-

ходка противъ Мицкевича, въ гадкой статьѣ о Менцелѣ [1]): какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности—его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ риѳмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія [2]) и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это—благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и при томъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства *и пр. и пр. и пр.* О другихъ грѣхахъ: конечно нашъ китайско-византійскій монархизмъ до Петра Великаго имѣлъ свое значеніе, свою поэзію, словомъ, свою *историческую законность*; но изъ этого бѣднаго и частнаго историческаго момента сдѣлать абсолютное право и примѣнять его къ нашему времени—фай—неужели *я* говорилъ *это?*»...

Онъ вспоминаетъ другія подобныя идеи, которымъ еще такъ недавно придавалъ абсолютное значеніе, и восклицаетъ: «неужели *я* говорилъ *это?*»

«Конечно, идея, которую я силился развить въ ст. по случаю книги Глинки «О Брд. Ср.», вѣрна въ своихъ основаніяхъ, но должно было бы развить и идею отрицанія, какъ историческаго права, не менѣе перваго священнаго, и безъ котораго исторія человѣчества превратилась бы въ стоячее и вонючее болото,—а если этого нельзя было писать, то долгъ *чести* требовалъ, чтобы ужъ и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнитъ! А дичь, которую изрыгалъ я въ неистовствѣ съ пѣною во рту противъ французовъ — этого энергическаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества...? Проснулся я—и страшно вспомнить мнѣ о моемъ снѣ... А это насильственное примиреніе съ гнусною расейскою дѣйствительностію, этимъ китайскимъ царствомъ матеріальной животной жизни, чинолюбія, крестолюбія, деньголюбія, взяточничества, безрелигіозности, разврата, отсутствія всякихъ духовныхъ интересовъ, торжества безстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности,—гдѣ все человѣческое, сколько нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетеніе, страданіе, гдѣ цензура превратилась въ военный уставъ о бѣглыхъ рекрутахъ, гдѣ свобода мыслей истреблена до того, что фраза въ повѣсти Панаева—«измайловскій офицеръ, пропахнувшій Жуковымъ», даже такая невинная фраза кажется либеральною (отъ нея взволновался весь Питеръ, изм. полкъ жаловался формально Вел. Кн. за оскорбленіе и распространился слухъ, что Пан. посаженъ въ крѣпость), гдѣ Пушкинъ жилъ въ нищенствѣ и погибъ жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляютъ всею литературою, помощію *доносовв*, и живутъ припѣваючи... Нѣтъ, да отсохнетъ языкъ, который заикнется

[1]) Сочин., ч. III, стр. 315—316. «От. Записки», 1840, № 1, Науки.
[2]) Сочин., III, стр. 337—434. «От. Зап.» 1840, № 1, Критика.

оправдывать все это,—и если мой отсохнетъ—жаловаться не буду. Что есть, то разумно, да и палачъ вѣдь есть же, и существованіе его разумно и дѣйствительно, но онъ тѣмъ не менѣе гнусенъ и отвратителенъ. Нѣтъ, отнынѣ для меня *либералъ* и *человѣкъ* одно и то же; абсолютизмъ и кнутобой—одно и то же. Идея либерализма въ высшей степени разумная и христіанская, ибо его задача возвращеніе правъ личнаго человѣка, возстановленіе человѣческаго достоинства, и самъ Спаситель сходилъ на землю и страдалъ на крестѣ за *личнаго человѣка*. Конечно, французы не понимаютъ абс. [абсолютнаго] ни въ искусствѣ, ни въ религіи, ни въ знаніи,—да не это ихъ назначеніе; Германія—нація абсолютная, но государство позорное... Конечно, во Франціи много крикуновъ и фразеровъ, но въ Германіи много гофратовъ, филистеровъ, колбасниковъ и другихъ гадовъ. Если французы уважаютъ нѣмцевъ за науку и учатся у нихъ, за то и нѣмцы догадались наконецъ, что такое французы,—и у нихъ явилась эта благородная дружина энтузіастовъ свободы, извѣстная подъ именемъ «юной Германіи», во главѣ которой стоитъ такая прекрасная личность, какъ Гейне, на котораго мы нѣкогда взирали съ презрѣніемъ, увлекаемые своими дѣтскими, односторонними убѣжденіями. Чортъ знаетъ, какъ подумаешь, какими зигзагами совершалось мое развитіе, цѣною какихъ ужасныхъ заблужденій купилъ я истину, и какую горькую истину,—что все на свѣтѣ гнусно, а особенно вокругъ насъ... Ты помнишь мои первыя письма изъ Питера—ты писалъ ко мнѣ, что они производили на тебя тяжелое впечатлѣніе, ибо въ нихъ слышался скрежетъ зубовъ и вопли нестерпимаго страданія: отъ чего же я такъ ужасно страдалъ?—отъ дѣйствительности, которую называлъ разумною и за которую ратовалъ... Странное противорѣчіе! Къ пріѣзду Каткова я былъ уже приготовленъ,—и, при первой стычкѣ съ нимъ, отдался ему въ плѣнъ безъ противорѣчія. Смѣшно было: хотѣлъ спорить, и вдругъ вижу, что ужъ нѣтъ ни силъ, ни жару, а черезъ 1/4 часа, вмѣстѣ съ нимъ, началъ ратовать противъ всѣхъ, сбитыхъ съ толку мною же»...

Эти слова любопытны между прочимъ, какъ прямое свидѣтельство, что Бѣлинскій приходилъ къ своему новому образу мыслей совершенно самостоятельно, безъ постороннихъ вліяній. Катковъ, не ошибаемся, пріѣхалъ въ Петербургъ лѣтомъ 1840. Но въ чемъ если именно Бѣлинскій былъ «приготовленъ» къ его пріѣзду, и какой былъ предметъ ихъ «стычки», не совсѣмъ ясно.

Конецъ письма занятъ литературными предметами, и здѣсь упоминается опять о Герценѣ, встрѣчу съ которымъ мы упоминали выше [1]) (въ 1840 году онъ поселился въ Петербургѣ), и бесѣдахъ съ нимъ, такъ что повидимому между ними уже произошло объясненіе и примиреніе.

Бѣлинскій заинтересованъ былъ въ это время сочиненіемъ г-жи Джемсонъ, заключавшимъ характеристики и портреты Шекспи-

[1]) См. письма 30 дек. 1839, 16 и 24 апрѣля 1840.

ровскихъ героинь, которое Боткинъ думалъ изложить для «Отеч. Записокъ» [1]). Его интересуютъ также, хотя меньше, нежели Джемсонъ, статьи извѣстнаго въ свое время нѣмецкаго критика Рётшера о Шекспирѣ, и объ извѣстномъ романѣ Гёте, «Wahlverwandschaften», который былъ тогда у нашихъ друзей предметомъ большихъ толковъ. «Г. кричитъ противъ статьи Рётшера о «Wahlverwandschaften» и—знаешь ли что?—мнѣ хочется съ нимъ согласиться». Бѣлинскому не нравится въ Рётшерѣ его уваженіе къ «субстанціальнымъ элементамъ жизни»—«можетъ быть потому, прибавляетъ онъ, что я теперь въ другой крайности». Въ одной статьѣ Рётшера о Шекспирѣ Бѣлинскаго даже оскорбилъ взглядъ Рётшера на Люцію, которая, не любя Флоуэрдаля, гоняется за нимъ въ качествѣ вѣрной жены [2]). «Для меня,—говоритъ Бѣлинскій, - баядерка и гетера лучше вѣрной жены безъ любви», и взглядъ сенъ-симонистовъ на бракъ кажется ему лучше взгляда гегелевскаго, или того, который онъ принималъ за гегелевскій.

Онъ даже готовъ согласиться съ Герценомъ, что Рётшеръ не понялъ романа Гёте, что этотъ романъ—не аналогія, а скорѣе протестъ противъ брака; и припоминаетъ возраженіе Баумана Рётшеру, что коллизія, здѣсь изображенная, произошла именно потому, что бракъ былъ не дѣйствителенъ въ смыслѣ разумности... Такъ завершался для Бѣлинскаго давнишній вопросъ о Рётшерѣ и романѣ Гёте.

Онъ пишетъ Боткину, чтобы тотъ убѣдилъ Кронеберга перевесть «Лира», который былъ «опозоренъ» у насъ переводомъ Якимова и передѣлкою Каратыгина. На извѣстіе Боткина, что онъ «погрузился въ греческій міръ», Бѣлинскій отвѣчаетъ, что онъ самъ блаженствовалъ цѣлый вечеръ за греческой поэзіей, и выписываетъ длинный отрывокъ изъ гимна Гезіода къ музамъ [3]), изъ разсужденія Платона о красотѣ, которые привели его въ восторгъ. Онъ завидуетъ «счастливцу Кудрявцеву», которому далась греческая грамота. Далѣе, снова любопытный отзывъ объ его прежнемъ противникѣ.

«Бога ради, Б., пиши скорѣе о Прометеѣ—это у насъ и ново, и полезно, а я просто съ ума сойду отъ твоей статьи—даю тебѣ

---

[1]) Статья Боткина явилась въ «Отеч. Зап.» 1841, № 2: «Женщины, созданныя Шекспиромъ».

[2]) Бѣлинскій разумѣетъ статью Рётшера, взятую, кажется, изъ Hallische Jahrbücher: «Четыре новыя драмы, приписываемыя Шекспиру», перев. въ «От. Зап.» 1840, кн. 11. Здѣсь рѣчь идетъ о драмѣ: «Лондонскій Блудный Сынъ».

[3]) Переведеннаго въ книгѣ Шевырева, Теорія поэзіи, стр. 17—19.

впередъ честное слово... Не можешь представить, какъ я радъ, что ты согласился съ моими понятіями о журналѣ... [1]) На счетъ историческихъ статей взяты мѣры, и Герценъ уже переводитъ изъ кн. Тьерри о Меровингахъ, и будетъ обработывать другія вещи въ этомъ родѣ. Его живая, дѣятельная и практическая натура въ высшей степени способна на это. Кстати: этотъ человѣкъ мнѣ все больше и больше нравится. Право, онъ лучше ихъ всѣхъ [2]): какая воспріимчивая, движимая, полная интересовъ и благородная натура. Объ искусствѣ я съ нимъ говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, но о жизни не наговорюсь съ нимъ. Онъ видимо измѣняется къ лучшему въ своихъ понятіяхъ. Мнѣ съ нимъ легко и свободно. Что онъ ругалъ меня въ Москвѣ за мои *абсолютныя* статьи—это новое право съ его стороны на мое уваженіе и расположеніе къ нему. Въ XII № «От. Зап.» прочтешь ты отрывокъ изъ его записокъ — какъ все живо, интересно, хотя и легко!»... [3]).

Къ ноябрю или декабрю 1840 года относится отрывокъ (быть можетъ принадлежащій къ предыдущему письму), гдѣ есть также любопытныя подробности тогдашнихъ отношеній и взглядовъ Бѣлинскаго. Въ началѣ отрывка идетъ рѣчь о петербургскихъ его друзьяхъ. Они — прекрасные люди, онъ ихъ очень любитъ, но въ это первое время все еще къ нимъ не привыкъ: въ нихъ есть что-то чуждое, даже непріятное ему, что называетъ онъ ихъ «петербуржествомъ». Ихъ раздѣляла, прежде всего разница въ ихъ развитіи. «Всѣ эти люди, — замѣчаетъ Бѣлинскій, — не истекали кровью при видѣ гнусной дѣйствительности, или созерцая свое ничтожество». Бѣлинскій былъ уже очень далекъ отъ идей своего стараго московскаго кружка, но кружокъ вспоминается ему, какъ свѣтлая черта его жизни,—по тому нравственному единству, по глубокой преданности идеѣ, какими онъ отличался и какихъ еще не образовалось въ средѣ петербургскихъ друзей. Въ Бѣлинскомъ пробуждается, едва ли не въ послѣдній разъ, мысль о московской старинѣ, но рядомъ съ этимъ, очевидно, уже завязанъ новый узелъ, который скрѣпитъ новыя отношенія въ не менѣе тѣсную связь...

«Да, Б., только въ Питерѣ... созналъ я, что я человѣкъ, и чего-нибудь да стóю; только въ Питерѣ узналъ я цѣну нашему человѣческому святому кружку. Мнѣ милы теперь и самыя ссоры наши:

---

[1]) О чемъ былъ прежде споръ между ними; см. письмо 31 окт. 1840.

[2]) Кого? Петербургскихъ пріятелей Бѣлинскаго, или друзей Герцена, или тѣхъ и другихъ.

[3]) Конца письма недостаетъ. Статья, о которой говорится въ послѣднихъ строкахъ, есть: «Записки одного молодого человѣка», Отеч. Зап. 1840, № 12, стр. 267—288. Это была первая статья, помѣщенная Герценомъ въ этомъ журналѣ.

онѣ выходили изъ того, что мы возмущались гадкими сторонами одинъ другого. Нѣтъ, я еще не встрѣчалъ людей, передъ которыми мы могли бы скромно сознаться въ своей незначительности. Многихъ людей я отъ души люблю въ П., многіе люди и меня любятъ тамъ больше, чѣмъ я того стóю; но мой Б., я одинъ, одинъ, одинъ! Никого возлѣ меня! Я начинаю замѣчать, что общество Герцена доставляетъ мнѣ больше наслажденія, чѣмъ ихъ: съ тѣми я или говорю о вздорѣ, или тщетно стараюсь завести общій интересный разговоръ, или проповѣдую, не встрѣчая противорѣчія, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызываетъ наружу всѣ мои убѣжденія, я съ нимъ спорю, и, даже когда онъ явно вретъ, вижу всетаки самостоятельный образъ мыслей»...

Отзывъ о Герценѣ показываетъ, что, несмотря на примиреніе, въ Бѣлинскомъ еще оставался слѣдъ прежняго недовѣрія, и во всякомъ случаѣ отношеніе къ нему было независимое. Бѣлинскаго больше привлекала теперь живая натура, самостоятельность мысл и чѣмъ самый взглядъ на вещи. Затѣмъ начнется и согласіе съ этимъ взглядомъ... То, чтò «вѣетъ Москвою», радуетъ Бѣлинскаго, напоминая ему прежнее. Но мало встрѣчаетъ такихъ людей, и только пріѣздъ Кольцова доставилъ ему наслажденіе, какого онъ давно не испытывалъ.

«Когда пріѣхалъ Кольцовъ, я *всѣхъ тѣхъ* забылъ, какъ будто ихъ и не было на свѣтѣ. Я точно очутился въ обществѣ нѣсколькихъ чудеснѣйшихъ людей. Кудрявцевъ промелькнулъ тѣнью, ибо видѣлся съ нимъ урывками..., съ Катковымъ мнѣ было какъ-то не свободно..., но и съ нимъ у меня были чудныя минуты. И вотъ опять никого со мною, опять я одинъ—и пуста та комната, гдѣ еще такъ недавно мой милый Алексѣй Васильевичъ съ утра до ночи упоевался чаемъ и меня поилъ!

Увы! нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ:
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣетъ.

«Спѣши свиданіемъ, а то, можетъ быть, и увидимся, да не узнаемъ другъ друга...

«Да, если таковы у насъ лучшіе люди, объ остальныхъ нечего и говорить. Чтожъ дѣлать при видѣ этой ужасной дѣйствительности? Не любоваться же на нее, сложа руки, а дѣйствовать елико возможно, чтобы другіе потомъ лучше могли жить, если намъ никакъ нельзя было жить. Какъ же дѣйствовать? Только два средства: каѳедра и журналъ—все остальное вздоръ. О, еслибы у «О. З.» нынѣшній годъ зашло тысячи за три (подписчиковъ): тогда было бы за что забыть даже и Моросейку [1]), и женщину, и свою краткую безотрадную жизнь, и поратовать, и костьми лечь, если нужно будетъ. О, еслибы, при этомъ, можно было печатать хоть то, чтò печаталось назадъ тому десять лѣтъ въ Москвѣ! Тогда бы я умеръ

---

[1]) Въ Москвѣ, гдѣ жилъ Боткинъ и гдѣ было центральное мѣсто ихъ дружескаго круга.

на дести бумаги, и если бы чернила всѣ вышли, отворилъ бы жилу и писалъ бы кровью... Кстати, о писаніи. Я бросаю абстрактныя общности, хочу говорить о жизни *по факту*, о которомъ идетъ дѣло! Но это такъ трудно: мысль не находитъ слова,—и мнѣ часто представляется, что я жалкій писака, дюжинная посредственность. Особенно лѣтомъ преслѣдовала меня эта мысль. Эхъ, если бы мнѣ занять у Каткова его слогъ: я бы лучше его воспользовался имъ. Кстати: скажи откровенно: какъ тебѣ понравилась его ст о Саррѣ Толстой?»...

Конецъ отрывка занятъ отдѣльными литературными замѣчаніями, мыслями, вопросами. Боткинъ, вѣроятно въ отвѣтъ на убѣжденія Бѣлинскаго, писалъ ему, что можетъ взять на себя составленіе небольшихъ статей, извлеченій и т. п. Бѣлинскій, возразивши, что Боткинъ слишкомъ скромничаетъ, высказываетъ слѣдующую свою оцѣнку его работъ:

«Я такъ дорого цѣню твои статьи, и особенно вотъ за что: за отсутствіе амфаза, кротость тона, простоту, и еще за то, что ты въ нихъ высказываешь именно то, что хотѣлъ высказать, тогда какъ (я) или ничего не выскажу (хоть иногда и удается) или ударюсь въ общности... Напр., съ какимъ живымъ наслажденіемъ я прочелъ твою статейку о выставкѣ [1]), все такъ просто, не натянуто, и все сказано, что слѣдовало сказать—трудъ читателя не потерянъ. Ты просто глупъ въ своей скромности.

«Аксаковъ сказывалъ [2]), что Гоголь пишетъ къ нему, что онъ убѣдился, что у него чахотка, что онъ ничего не можетъ дѣлать. Но это, можетъ быть, и пройдетъ, какъ вздоръ. Важно вотъ что: его начинаетъ занимать Россія, ея участь, онъ груститъ о ней; ибо въ послѣдній разъ онъ увидѣлъ, что въ ней есть люди! А я торжествую: субстанція общества взяла свое—космополитъ-поэтъ кончился и уступаетъ свое мѣсто русскому поэту».

Бѣлинскій не ожидалъ, разумѣется, что интересъ къ Россіи и ея «участи» приметъ у Гоголя то морализирующее направленіе, противъ котораго Бѣлинскій вскорѣ самъ возсталъ, замѣтивъ его въ нѣкоторыхъ лирическихъ эпизодахъ «Мертвыхъ Душъ», и которое наконецъ подорвало самый талантъ: теперь Бѣлинскій радовался, ожидая отъ Гоголя сознательныхъ изображеній русской жизни...

Когда Бѣлинскій убѣдился наконецъ въ ложности своихъ представленій о «дѣйствительности», это отразилось тотчасъ и на его эстетическихъ понятіяхъ. Онъ увидѣлъ, что субъективное, личное

---

[1]) Рѣчь идетъ вѣроятно о небольшой статейкѣ: «Выставка картинъ въ Моск. архитектурномъ училищѣ», «От. Зап.» 1840, № 11, Смѣсь, стр. 23—27.

[2]) Онъ былъ тогда въ Петербургѣ, кажется, на возвратномъ пути изъ-за границы.

отношеніе поэта къ дѣйствительности, его пониманіе общественной жизни и отрицаніе ея недостатковъ имѣютъ полное право участвовать, проявляться въ его дѣятельности художественной; что, вслѣдствіе того, элементъ «рефлексіи» не есть нѣчто, разрушающее поэзію, какъ онъ думалъ прежде; что поэзія вовсе не должна быть непремѣнно безстрастно объективна, и что напротивъ присутствіе общественной мысли придаетъ ей особую нравственную цѣну. Пробнымъ камнемъ эстетическихъ теорій Бѣлинскаго былъ въ особенности Шиллеръ. Въ предыдущихъ письмахъ уже встрѣчались замѣчанія, гдѣ отражалась возникшая у Бѣлинскаго новая точка зрѣнія. Въ настоящемъ отрывкѣ есть и выводъ, къ которому онъ приходилъ теперь по этому вопросу.

«Я рѣшилъ для себя важный вопросъ,—пишетъ Бѣлинскій.—Есть поэзія художественная (высшая—Гомеръ, Шекспиръ, В. С., К., Б., Ш., Гёт., П., Г.) [1]; есть поэзія религіозная (Шиллеръ, Ж. П. Рихтеръ, Гофманъ, самъ Гёте) [2]; есть поэзія философская («Фаустъ», «Прометей», отчасти «Манфредъ» и пр.). Между ними нельзя положить опредѣленныхъ границъ, потому что онѣ не пребываютъ одна къ другой въ неподвижномъ равнодушіи, но, какъ элементъ, входятъ одна въ другую, взаимно модифицируя другъ друга. Слава Богу, наконецъ *всѣмъ нашлось мѣсто*. Вотъ отчего въ «Фаустѣ» есть дивныя вещи (т.-е. даже во 2-й части), какъ, напр., «Матери» (въ выноскѣ къ пер. К. ст. Рётшера въ «Набл.»)—не могу безъ священнаго трепета читать этого мѣста [3]). Даже есть поэзія общественная, житейская—французская,—и такой человѣкъ, какъ Гюго, несмотря на всѣ его дикости, есть большой талантъ, и заслуживаетъ великаго уваженія, даже и прочіе очень и очень примѣчательны, кромѣ Ламартина—сей ..... рыбы, сей водяной элегіи».

Такъ, въ этомъ новомъ состояніи мысли, Бѣлинскому приходилось передѣлывать свои понятія: отказываясь отъ старыхъ представленій, надо было выработать новыя. Въ этомъ трудѣ онъ оставался одинокимъ, потому что одни изъ его петербургскихъ друзей были вовсе не такого ума и характера, чтобы раздѣлить съ нимъ это неустанное броженіе мысли и сердца; другіе, приглядѣвшіеся къ жизни въ Петербургѣ, и вообще не питали никакихъ преувеличеній о разумной дѣйствительности: съ иными (и именно съ тѣми, кто могъ ему помочь) онъ не успѣлъ, или какъ будто нѣсколько опасался сблизиться (какъ, напр., довольно долго не сближался съ Гер-

---

[1]) Буквы означаютъ: Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, Байронъ, Шиллеръ, Гёте, Пушкинъ, Гоголь.

[2]) Религіозная—въ широкомъ смыслѣ этого слова.

[3]) Эпизодъ «Матери», изъ 2-й части «Фауста», переданъ въ примѣчаніи къ переводу статьи Рётшера, о философской критикѣ худож. произведенія (М. Каткова); «Моск. Набл.» 1838, т. XVII, стр. 187—188.

ценомъ), боясь еще разъ болѣзненнаго толчка. Какъ въ началѣ петербургской жизни, такъ и теперь, онъ переселился мыслью къ своему другу, и потребность высказаться, провѣрить свои новыя мысли, производила массу посланій, на десяткахъ страницъ... Онъ кончаетъ письмо подъ впечатлѣніями московскихъ воспоминаній: ему захотѣлось музыки, которую онъ такъ мало понималъ:

«Посмѣйся надо мною, — говоритъ онъ въ самомъ концѣ письма: — иногда умираю отъ жажды слышать музыку—иногда слышу около себя запахъ такихъ №№ изъ «Роберта», на которые не обращалъ никакого вниманія. О Фрейш. нечего и говорить—иной разъ хоть умереть, а услышать... Хочу зарядить ходить въ оперу. Одно воспоминаніе о Лейерманѣ исторгаетъ слезы. Услышу ли когда? О, меломанъ!»

Къ концу декабря 1840, идетъ новый рядъ писемъ. Вотъ отрывки изъ письма 26-го декабря, гдѣ продолжается тоже настроеніе:

«Боткинъ, да что-жъ ты ничего не пишешь ко мнѣ — становится досадно и больно. Я писалъ къ тебѣ мое послѣднее большое письмо окостенѣлою отъ пера рукою—сто разъ бросалъ и сто разъ принимался вновь и съ бóльшимъ жаромъ, воображая, какъ обрадуешься ты толстому письму и съ какой веселой улыбкой будешь его перечитывать. Получа твое письмо, я всегда бываю полонъ дня два, — а полнота для меня рѣдкій гость. Ахъ, Боткинъ, Боткинъ! какъ жить-то становится мнѣ все гаже и гаже!

И съ міра, и съ время
Покровы сняты,
Загадочной жизни
Прожиты мечты!

Осталось чортъ знаетъ чтó, и приходится вопить:

Давайте веселья!
Давайте печаль!
Давно насъ не манитъ
Волшебница даль! [1]).

Жизнь страшно надула меня—безсовѣстно и предательски: назади фантазіи, въ настоящемъ медленная смерть,—впереди—гніеніе и смерть. Гадко! Зачѣмъ не умеръ я хоть за полгода передъ этимъ, когда еще могъ мечтать—и о чемъ же?—о дѣйствительности!»

Боткинъ писалъ ему о переводахъ «Ромео и Юліи» и «Бури» Шекспира (Каткова и Сатина); первый, по его словамъ, не былъ вѣренъ; второй ему не нравился. Бѣлинскій возражаетъ, что къ переводчикамъ Шекспира можно быть и поснисходительнѣе—благо

[1]) Стихи Кольцова.

переводятъ. Онъ жалѣетъ, что Кудрявцевъ отказывается писать рецензіи для «Отеч. Записокъ»: онѣ вообще очень нравились Бѣлинскому, и здѣсь Бѣлинскій очень хвалитъ статью Кудрявцева о «Лирическомъ Пантеонѣ» [1]),—если не ошибаемся, первомъ изданіи, съ какимъ Фетъ вступилъ на литературное поприще. «А г. Ф. много обѣщаетъ».

«Ну, чтò у васъ дѣется въ Москвѣ?—спрашиваетъ Бѣлинскій.—А какова статья Искандера? [2]). Вѣдь живой человѣкъ-то! Въ 1 № выкинули преинтересную статью о Пугачевѣ—не знаемъ, чтó и дѣлать съ цензурою—самая кнутобойная и калмыцкая.

«Каковы послѣднія-то стихотворенія Кольцова—а? Экой чортъ—коли размахнется—такъ посторонись—ушибетъ. А «Ночь?» Да это просто—и словъ нѣту [3]).

«Если Красовъ кончилъ своего «Ворона», пришли не для печати, а прочесть мнѣ—жажду».

Послѣднее письмо 1840 года, на которомъ и остановимся въ настоящей главѣ, начато 30-го декабря и окончено уже въ концѣ января 1841. Бóльшая доля этого письма, опять очень длиннаго, занята разсказомъ и опредѣленіемъ личныхъ отношеній Бѣлинскаго съ различными его друзьями, самимъ Боткинымъ, Кетчеромъ, Катковымъ; послѣднему посвящено особенно много мѣста. Трудность изложенія подобныхъ вещей заставляетъ насъ ограничиться немногими извлеченіями, болѣе общаго литературнаго характера... Примиреніе съ Шиллеромъ—окончательное и восторженное:

«Спасибо тебѣ, друже, за письмо—я даже испугался, увидѣвъ такое толстое посланіе, которое совсѣмъ не въ духѣ твоей лѣности...

«Все, чтó написалъ ты о Гёте и Шиллерѣ—прекрасно, и много пояснило мнѣ насчетъ этихъ двухъ чудаковъ. Признаться ли тебѣ въ грѣхѣ, а у меня Кетч[еров]ская натура, и я боюсь скоро сдѣлаться К[етчеро]мъ: о Шиллерѣ не могу и думать не задыхаясь, а къ Гёте начинаю чувствовать родъ ненависти, и, ей-Богу, у меня рука не подымется противъ Менцеля, хотя сей мужъ и пó прежнему остается въ глазахъ моихъ идіотомъ. Боже мой—какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно подумать!

«Да, я созналъ наконецъ свое родство съ Шиллеромъ, я—кость отъ костей его, плоть отъ плоти его,—и если чтó должно и мо-

---

[1]) «От. Зап.» 1840, № 12; Библ. хрон., стр., 40—42, «Лирич. Пантеонъ» изданъ былъ подъ буквами А. Ф.

[2]) Упомянутыя «Записки одного молодого человѣка».

[3]) Онъ могъ указывать стихотворенія: «Дуютъ вѣтры, вѣтры буйные»; «Лѣсъ» (о чемъ шумитъ сосновый лѣсъ); «Разлука»; «Такъ и рвется душа изъ груди молодой» (въ 11 и 12 кн. «От. Зап.» 1840); «Ночь» (От. Зап. 1841, кн. 2).

жетъ интересовать меня въ жизни и въ исторіи, такъ это — онъ, который созданъ, чтобъ быть моимъ богомъ, моимъ кумиромъ,— ибо онъ есть высшій и благороднѣйшій мой идеалъ человѣка. Но довольно объ этомъ. Отъ Шиллера перехожу къ Полевому...

«Нѣтъ, никогда не раскаюсь я въ моихъ нападкахъ на Полевого, никогда не признаю ихъ ни несправедливыми, ни даже преувеличенными»...

Его вражда къ Полевому дошла теперь до крайняго ожесточенія. Онъ не можетъ простить Полевому его новой литературной дѣятельности, союза съ Гречемъ, и проч.

Письмо продолжается 15 января. Бѣлинскій получилъ письмо отъ Кольцова, который, между прочимъ, описывалъ, какъ его московскіе друзья встрѣчали новый годъ, собравшись у Боткина, и Бѣлинскій завидуетъ имъ... Самъ онъ былъ подъ новый годъ у кн. Одоевскаго, ужиналъ и за то два дня его била лихорадка... Слѣдуетъ длинное разсужденіе о Катковѣ, о которомъ Боткинъ высказался гораздо болѣе хладнокровно, чѣмъ Бѣлинскій. «Признаюсь—огорошилъ ты меня!—замѣчаетъ Бѣлинскій:—я странная натура—никогда не смѣю высказать о человѣкѣ, что̀ думаю, и часто натягиваюсь на любовь и дружбу къ нему, чтобы примирить свое чувство къ нему съ понятіемъ о немъ».

Статья о Саррѣ Толстой, которой сначала Бѣлинскій очень восхищался, теперь возбуждаетъ въ немъ недоумѣніе: «читаю — прекрасно, положу книгу — не помню ничего. Твое письмо довершило». Отдѣльныя мѣста онъ и теперь находитъ прекрасными; но въ цѣломъ статья ему не нравится...

Далѣе, среди перебора разныхъ случаевъ въ ихъ кружкѣ, заходитъ рѣчь о бракѣ. Мы видѣли, что Бѣлинскій уже отказывался отъ своихъ прежнихъ (гегеліянскихъ) понятій объ этомъ предметѣ; на этотъ разъ онъ съ сочувствіемъ говоритъ о Жоржъ-Зандѣ, которой прежде такъ не любилъ, и дѣлаетъ замѣчаніе, въ которомъ уже намѣчено направленіе его дальнѣйшихъ мнѣній: «Вообще, всѣ общественныя основанія нашего времени требуютъ строжайшаго пересмотра и коренной перестройки, что̀ и будетъ рано или поздно. Пора освободиться личности человѣческой и безъ того несчастной, отъ гнусныхъ оковъ неразумной дѣйствительности — мнѣнія черни и преданія варварскихъ вѣковъ. Ахъ, Боткинъ, чувствую, что при свиданіи мы подеремся: письма мои не могутъ дать тебѣ и слабаго намека на то, какъ ужасно перемѣнился я». Это шутливое замѣчаніе указываетъ, что со стороны Боткина Бѣлинскій не ожидалъ согласія съ своими настоящими мнѣніями. Боткинъ, какъ сейчасъ увидимъ, поздравлялъ его съ «выходомъ на широкое поле дѣйстви-

тельности»,—но вѣроятно еще не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ значеніи этого выхода.

На другой день, 16 января, Бѣлинскій продолжаетъ о томъ же новомъ фазисѣ своей внутренней жизни:

«Ты поздравляешь меня, что я «вышелъ на широкое поле дѣйствительности, на животрепещущую почву исторической жизни» и что «и груди и душѣ моей будетъ легче». Отчасти это справедливо: искусство задушило-было меня, но при этомъ направленіи я могъ жить въ себѣ и думалъ, что для человѣка только и возможно, что жизнь въ себѣ, а вышелъ изъ себя (гдѣ было тѣсненько, но за то и тепло), я вышелъ только въ новый міръ страданія, ибо для меня дѣйствительность и историческая жизнь не существуютъ только въ прошедшемъ—я хочу ихъ видѣть въ настоящемъ, а этого-то и нѣтъ и не можетъ быть, и я живой мертвецъ, или человѣкъ, умирающій каждую минуту своей жизни. Я теперь совершенно созналъ себя, понялъ свою натуру: то и другое можетъ быть вполнѣ выражено словомъ That, которое есть моя стихія. А сознать это, значитъ сознать себя заживо зарытымъ въ гробу, да еще съ связанными назади руками. Я не рожденъ для науки, ни даже для того тихаго кабинетнаго занятія любимыми предметами, которое такъ сродно твоей натурѣ. Да, я уже сказалъ себѣ: умирай—для тебя ничего нѣтъ въ жизни, жизнь во всемъ отказала тебѣ. Что до женщины—это тоже грустная исторія».

Онъ уже не вѣритъ прежнимъ мечтамъ, и той любви, «которая еще такъ недавно была первымъ догматомъ его катихизиса». Авторитеты Пушкина и другихъ подобныхъ натуръ утвердили въ немъ это невѣріе. «Твоя исторія, Боткинъ, — прибавляетъ онъ, — окончательно добила во мнѣ всякую вѣру въ чувство».

Къ сожалѣнію, въ нашемъ матеріалѣ не было письма Боткина къ Бѣлинскому — съ тѣми литературными разсужденіями, о которыхъ Бѣлинскій упоминаетъ въ слѣдующихъ словахъ своего письма:

«Сейчасъ прочелъ въ письмѣ твоемъ о Гёте и Шиллерѣ — умнѣе и истиннѣе этого ничего не читалъ—просто не могу начитаться. Какъ хочешь, а я вклею въ статью, подъ видомъ выписки изъ нѣкоего частнаго письма.

«О «Запискахъ одного молодого человѣка» не хочу съ тобою спорить, ибо не вижу никакой возможности ни согласиться съ тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедливъ къ нему, какъ къ лицу и не любишь его, какъ личность. А для меня это—человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ, какихъ у насъ, къ несчастію, мало...

«На счетъ Гейне тоже остаюсь при своемъ мнѣніи. То, что ты называешь въ немъ отсутствіемъ всякихъ убѣжденій, въ немъ есть только отсутствіе системы мнѣній, которой онъ, какъ поэтъ, создать не можетъ, и, не будучи въ состояніи примирить противорѣчій, не можетъ и не хочетъ, по нѣмецкому обычаю, натягиваться на систему. Кто оставилъ родину и живетъ въ чужой землѣ, по



мысли, того нельзя подозрѣвать въ отсутствіи убѣжденій. Гейне понимаетъ ничтожность французовъ въ мышленіи и искусствѣ, но онъ весь отдался идеѣ *достоинства личности*, и неудивительно, что видитъ во Франціи цвѣтъ человѣчества. Онъ ругаетъ и позоритъ Германію, но любитъ ее истиннѣе и сильнѣе всевозможныхъ гофратовъ и мыслителей, и ужъ, конечно, побольше защитниковъ и поборниковъ дѣйствительности, какъ она есть, хотя бы въ видѣ колбасы. Гейне—это нѣмецкій французъ—именно то, что для Германіи теперь всего нужнѣе».

Приводимъ еще нѣсколько литературныхъ подробностей, которыми занято окончаніе письма:

«О стихахъ Пушкина въ альманахѣ [1]) нельзя и говорить обыкновеннымъ человѣческимъ языкомъ, а другого у меня нѣтъ. Я понялъ ихъ насквозь. Такого глубокаго и граціозно-деликатнаго чувства нельзя выразить, какъ перечтя эти же самые стихи. Но каковы его «Три ключа» въ 1 № «О. З.»? Они убили меня, и я твержу безпрестанно: «Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ».

Онъ восхищается стихотвореніемъ Лермонтова въ 1 № Записокъ» 1841 («Есть рѣчи»...) и съ видимымъ удоволь[illegible]ь разсказываетъ Боткину, что 2-я книга будетъ еще лучше: [illegible]ь будутъ помѣщены, въ отдѣлѣ наукъ, двѣ статьи,—одна о жен[illegible]хъ лицахъ Шекспира, изъ книги г-жи Джемсонъ, и другая, изъ ис[illegible]оріи Меровинговъ, Тьерри [2]): —«что глава изъ историческаго р[illegible]ана Вальтера Скотта!» Повѣсть Одоевскаго «Саламандра» [3]) ем[illegible] не нравится; онъ считаетъ ея фантастику слабой и натянутой.

Наконецъ онъ говоритъ о своихъ работахъ. Онъ писалъ тогда критическую статью о стихотвореніяхъ Лермонтова [4]). Она казалась ему не дурной, «живой, одушевленной, если не хитрой»; но онъ убѣждается, что «нѣтъ никакой возможности писать хорошо для журнала», потому что срочность работы не даетъ обработать статью, какъ слѣдуетъ, въ ней являются повторенія, недостатокъ соотвѣтствія между частями, многое остается необдуманнымъ, слабо выраженнымъ и пр.

---

[1]) Рѣчь идетъ вѣроятно объ «Утренней Зарѣ» Владиславлева на 1841 годъ, гдѣ было помѣщено стихотвореніе Пушкина: «Для береговъ отчизны дальней».

[2]) «Женщины, созданныя Шекспиромъ, изъ сочиненій г-жи Джемсонъ (Shakspear's female Characters, by Mrs. Jameson)» — первая статья Боткина, явившаяся съ его полнымъ именемъ («Отеч. Зап.» 1841 г., № 2); «Разсказы о временахъ Меровингскихъ», изъ Тьерри, съ предисловіемъ Искандера № 2, стр. 45—63).

[3]) «Отеч. Зап.» 1841 г., кн. 1.

[4]) «Отеч. Зап.» 1841, кн. 2; Соч., IV, стр. 252 и д.



«Дай мнѣ написать въ годъ три статьи, дай каждую обработать, передѣлать—ручаюсь, что будетъ стоить прочтенія... Хорошо какому-нибудь Рётшеру издать въ годъ брошюрку, много двѣ. А тутъ напишешь 5 полулистовъ, да и шлешь въ типографію, а прочіе дуешь какъ Богъ велитъ, а тутъ еще Краевскій стоитъ съ палкою да погоняетъ. Впрочемъ, и то сказать, безъ этой палки я не написалъ бы никогда ни строки: вотъ разгадка, почему тебѣ твоя натура кажется непроизводящею и ты почитаешь себя неспособнымъ къ журнальной работѣ. Останься журнальная работа единственнымъ средствомъ къ твоему существованію, ты писалъ бы не меньше меня и не надивился бы своей способности писать. Такъ созданы люди. Пушкинъ былъ великій поэтъ, но и въ половину не написалъ бы столько, если бы родился милліонеромъ и не зналъ, что такое не имѣть иногда въ карманѣ гроша».

Это, конечно, было справедливо; такова почти всегда срочная журнальная работа, и труды Бѣлинскаго также надо почти всегда разсматривать какъ импровизацію, быстро произведенную,—но эти импровизаціи тѣмъ не менѣе были несомнѣнно лучшимъ, что только представляла наша литературная критика въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ... Бѣлинскій начинаетъ даже сомнѣваться въ своей способности къ работѣ: «Я было недавно пришелъ въ отчаяніе отъ своей неспособности писать: вижу — есть мысль, глубоко понимаю, что хочу сказать, а сказать не могу — слова не повинуются, нужны образы, ихъ не нахожу»... Онъ думаетъ, что виновата срочная спѣшность работы; но онъ забылъ еще одно обстоятельство, отъ котораго слова и образы не повиновались. Онъ задумалъ теперь большую статью о Петрѣ Великомъ: «она лежитъ у меня на сердцѣ, давитъ его и просится вонъ»... Когда эта статья была написана и пошла въ печать, ему пришлось горько жаловаться на цензуру...

Бѣлинскому все больше разъясняется давнишній вопросъ о «рефлектированной» поэзіи:

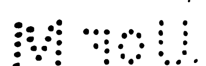
«Чѣмъ больше читаю отрывки изъ «Фауста» (Струговщ., Веневитинова и др.), тѣмъ болѣе увѣряюсь, что это—величайшее созданіе мірового генія. О 2-й ч. не говорю: явно, что она вышла изъ подгнившей рефлексіи, полна аллегоріями, но и въ ней должны быть дивныя частности. Понялъ я наконецъ, что такое *рефлектированная* поэзія—великое дѣло! Мы не греки: греческій міръ существуетъ для насъ, какъ прошедшій (хотя и величайшій) моментъ развитія человѣчества, но онъ не можетъ дать намъ полнаго удовлетворенія. Младенчество прекрасное время, время полноты, но кому 30 лѣтъ, наскучитъ быть съ одними дѣтьми, какъ бы ни любилъ ихъ».

Приводимъ еще замѣтку, въ концѣ этого письма, объ отношеніяхъ съ Катковымъ:

«Чѣмъ больше думаю, тѣмъ яснѣе вижу, что пребываніе въ Питерѣ Каткова дало сильный толчокъ движенію моего сознанія. Личность его проскользнула по мнѣ, не оставивъ слѣда; но его взгляды на многое,—право, мнѣ кажется, что они мнѣ больше дали, чѣмъ ему самому».

Въ томъ же письмѣ, выше, Бѣлинскій говоритъ о Катковѣ: «онъ много разбудилъ во мнѣ, и изъ этого многаго большая часть воскресла и самодѣятельно переработалась во мнѣ уже послѣ его отъѣзда. Ясно, что немного прошло у него черезъ сердце, но живетъ только въ головѣ, и потому отъ него пристаетъ и понимается съ трудомъ». Въ примѣръ Бѣлинскій указывалъ, какъ мы видѣли, статью о Саррѣ Толстой, сначала его восхитившую, потомъ оставившую его совершенно равнодушнымъ... Катковъ, при помощи котораго Бѣлинскій въ прежнее время знакомился съ подробностями гегелевской философіи, и теперь оказывалъ Бѣлинскому подобное содѣйствіе. Бѣлинскій, по всей вѣроятности, принялъ отъ него теперь болѣе точное пониманіе нѣкоторыхъ отвлеченныхъ, между прочимъ эстетическихъ вопросовъ; но, судя по выраженіямъ Бѣлинскаго, нельзя, кажется, думать, чтобы онъ приписывалъ Каткову вліяніе въ томъ измѣненіи своихъ понятій о «дѣйствительности», какое мы теперь старались представить. Наконецъ, для должнаго пониманія этихъ отношеній слѣдуетъ имѣть въ виду замѣчаніе, сдѣланное Бѣлинскимъ въ томъ же письмѣ. «Не забудь, — говоритъ Бѣлинскій полушутя,—что мы съ К. соперники по ремеслу, а я по моей натурѣ способенъ всегда видѣть въ соперникѣ Богъ знаетъ что, а въ себѣ меньше чѣмъ ничего». Сказавъ, что взгляды Каткова дали тогда ему, Бѣлинскому, больше, чѣмъ самому Каткову, Бѣлинскій какъ будто предчувствовалъ, что впослѣдствіи, при новой встрѣчѣ, они разойдутся между прочимъ изъ-за этихъ взглядовъ...

Такимъ образомъ, къ началу второго года петербургской жизни въ умѣ Бѣлинскаго совершился переворотъ, установившій его дальнѣйшее развитіе. Путемъ долгихъ колебаній, онъ приходилъ наконецъ къ точкѣ зрѣнія, которая мало давала ему утѣшенія—уничтоженіемъ любимыхъ мечтаній старой романтики и разрывомъ съ внѣшней дѣйствительностью, но мирила его съ самимъ собой—указывая для его идеализма болѣе серьёзное содержаніе, и для его дѣятельности цѣль, которой онъ могъ служить достойнымъ образомъ какъ писатель, и какъ членъ общества. Въ общихъ чертахъ эта цѣль была опредѣлена вѣрно имъ самимъ, въ одномъ изъ его писемъ—гуманическое образованіе общества; средствомъ было истолкованіе нравственнаго достоинства человѣческой личности, путемъ



объясненія произведеній искусства въ связи съ ихъ общественнымъ смысломъ.

Въ приведенныхъ письмахъ наглядно отражается это постепенное измѣненіе взглядовъ Бѣлинскаго. Оно было его *самостоятельнымъ* дѣломъ. Встрѣча съ людьми противоположнаго образа мыслей (именно съ Герценомъ), въ которой многіе видятъ одну изъ главныхъ, почти единственную причину этого поворота, на первый разъ нисколько не подѣйствовала на Бѣлинскаго, и напротивъ, только усилила его тогдашніе взгляды: подъ впечатлѣніемъ этой встрѣчи написаны самыя рѣзкія статьи Бѣлинскаго въ идеально-консервативномъ направленіи. Правда, эта встрѣча дала лишній поводъ Бѣлинскому пересмотрѣть свои теоріи искусства и общества; но нѣтъ сомнѣнія, что и безъ этого повода Бѣлинскій пришелъ бы къ тому же результату. Мнѣнія противниковъ вспоминались ему, но онъ призналъ ихъ справедливость только тогда, когда самъ пришелъ къ тому же взгляду: даже сблизившись потомъ съ Герценомъ, онъ въ первое время очень умѣрялъ свою солидарность съ его мнѣніями. Главнымъ источникомъ новаго направленія Бѣлинскаго была сама жизнь, «россійская дѣйствительность». Переселеніе въ Петербургъ имѣло при этомъ наиболѣе важное вліяніе. Во-первыхъ, разставшись съ московскимъ кружкомъ, онъ вышелъ изъ заколдованнаго круга искусственнаго идеализма. Во-вторыхъ, въ новой обстановкѣ, встрѣча съ практическою жизнью подѣйствовала прямо въ противоположномъ смыслѣ, охладила фантазію и поразила его рѣзкими наглядными опроверженіями теоріи «разумности». Этимъ было сдѣлано все: онъ былъ болѣзненно потрясенъ тягостными впечатлѣніями, которыя наконецъ произвели полный разрывъ съ прошедшимъ. Этотъ процессъ былъ для него временемъ крайне тяжелымъ, потому именно, что эту борьбу съ самимъ собой, и съ прошедшимъ, ему приходилось вести собственными силами, въ нравственномъ одиночествѣ. Петербургскіе друзья не были въ состояніи раздѣлить его волненій, тогда мало еще имъ понятныхъ; Боткинъ поддерживалъ его теплымъ участіемъ, но, очевидно, оставался чуждъ самому содержанію процесса; съ Герценомъ Бѣлинскій сошелся только тогда, когда перемѣна въ немъ самомъ уже совершилась...

Понятно, что когда въ Бѣлинскомъ произошла эта перемѣна, его вражда къ Герцену и его друзьямъ смѣнилась тѣсной солидарностью. О томъ, когда именно произошло сближеніе съ Герценомъ, если опять различныя показанія [1]). Дѣло было, кажется, такъ. Че-

[1]) Такъ, въ воспоминаніяхъ Панаева указывается январь или мартъ 1840 и даже 1842 годъ. Указанія другихъ авторовъ также хронологически не ясны.

резъ нѣсколько времени по переѣздѣ въ Петербургъ Бѣлинскаго, пріѣхалъ туда и Герценъ. Какъ говорили намъ современники, Герценъ всегда высоко цѣнилъ его и желалъ съ нимъ сблизиться, какъ и весь противный ему кружокъ; но тогдашнія статьи Бѣлинскаго приводили Герцена въ негодованіе, и сближеніе было не легко. Первая встрѣча оставила ихъ врагами. Наконецъ, Герценъ увидѣлся съ нимъ еще разъ, по убѣжденіямъ одного изъ общихъ друзей, который относился къ Бѣлинскому мягче, понимая, что его крайности—переходная болѣзнь. Когда слуга доложилъ Бѣлинскому о приходѣ Герцена [1]), онъ вспыхнулъ.—«Вотъ вы увидите наконецъ его,—говорилъ онъ Панаеву,—это человѣкъ замѣчательный и блестящій»... Встрѣча была холодна и натянута, разговоръ долго не вязался, но не могъ наконецъ не попасть на предметы, которые заставили высказаться обоихъ. Когда разговоръ попалъ на «Бородинскую Годовщину», Бѣлинскій былъ взволнованъ и разсказалъ извѣстный случай, какъ одинъ господинъ отказался отъ знакомства съ нимъ потому именно, что онъ авторъ этой статьи (это было на обѣдѣ или вечерѣ у одного знакомаго); Бѣлинскій слышалъ отказъ и горячо пожалъ руку этому господину... Словомъ, въ разговорѣ противники увидѣли, что между ними нѣтъ прежняго противорѣчія. «У меня какъ гора съ плечъ свалилась», говорилъ потомъ Бѣлинскій Панаеву [2]): такъ ему хотѣлось отказаться наконецъ отъ этихъ тяготившихъ его статей. Это и была вѣроятно вторая встрѣча.

По словамъ Панаева, при (первомъ) свиданіи противниковъ, объясненіе между ними послѣдовало тотчасъ: по характеру обоихъ, иначе и быть не могло. Бѣлинскому было прямо высказано, что онъ идетъ по ложной и опасной дорогѣ, и Богъ знаетъ до чего можетъ по ней дойти. Было даже сказано—до чего... Бѣлинскій былъ глубоко уязвленъ, почувствовалъ, что въ словахъ противника было много правды, хотя все еще упорно отстаивалъ свой образъ мыслей, успокоивая себя тѣмъ, что взгляды его противника узки и проч.

По разсказу Панаева, первая встрѣча сильно подѣйствовала на Бѣлинскаго: онъ впадаетъ въ тоску и апатію — предвѣстницу внутренняго переворота, и только при второмъ свиданіи, онъ окончательно и тѣсно сблизился съ своимъ противникомъ. Это пріуроченіе не совсѣмъ точно: тоска и апатія въ Бѣлинскомъ начались ранѣе этой встрѣчи, — именно съ первыхъ дней петербургской жизни, и имѣли свои болѣе широкія причины; но и изъ приведенныхъ выше писемъ видно, что примиреніе послѣдовало не скоро. Во всякомъ

---

[1]) Бѣлинскій жилъ въ то время у Панаева, и свиданіе произошло здѣсь.

[2]) См. «Воспом.» Панаева, «Совр.» 1860, № 1, стр. 351 — 352, и 1861, № 10, стр. 455.

случаѣ, только къ началу 1841 года между прежними противниками завязалась прочная дружеская связь...

О своихъ статьяхъ конца 1839 и начала 1840 года Бѣлинскій впослѣдствіи не могъ слышать равнодушно. Еще въ томъ же 1840 году онъ отрекается отъ нихъ въ письмахъ къ Боткину. Панаевъ разсказываетъ, что однажды Бѣлинскій пришелъ къ нему въ очень хорошемъ расположеніи духа, но, подойдя къ столу и увидѣвъ старую книжку «Отеч. Записокъ», случайно развернутую на статьѣ о Менцелѣ, Бѣлинскій измѣнился въ лицѣ, схватилъ книжку и бросилъ ее на полъ.

— Что, вы это нарочно хотите поддразнивать меня, подсовывая мнѣ на глаза эту статью?—сказалъ онъ.—Вы знаете, что я не могу безъ негодованія вспоминать о моихъ статьяхъ этого времени. Сдѣлайте одолженіе, я прошу васъ не дѣлать со мною такихъ вещей...

Онъ задыхался и почти упалъ на диванъ. Панаеву стоило большого труда нѣсколько его успокоить.

Итакъ, къ концу 1840 или началу 1841 Бѣлинскій окончательно отрѣшился отъ идеалистическихъ воззрѣній стараго московскаго кружка. Философская отвлеченность уступила мѣсто живому взгляду на жизнь и искусство; вмѣстѣ съ тѣмъ, и дѣятельность его получаетъ общественное значеніе.

ГЛАВА VII.

«Западный» кружокъ. — Журнальная дѣятельность Бѣлинскаго. — Внутренняя жизнь. — Эстетическіе и общественные взгляды. — Вражда съ славянофильствомъ. — Отношенія къ Гоголю. — Послѣдніе годы и смерть Кольцова. — Новые философскіе интересы. — Личное настроеніе.

1841—1842

Съ того перелома, о которомъ говорено въ предыдущей главѣ, открывается тотъ новый періодъ жизни Бѣлинскаго, въ которомъ окончательно опредѣлился его характеръ, какъ писателя, и общественное значеніе его дѣятельности. Онъ продолжаетъ волноваться, но для него уже выяснилась «дѣйствительность», выяснилась цѣль, къ которой должна стремиться литература, и наконецъ, положеніе ихъ дружескаго кружка въ средѣ русскаго общества.

Для нынѣшнихъ читателей иногда странной, почти невразумительной кажется та тягостная внутренняя борьба, которую мы старались изобразить, и цѣною которой Бѣлинскій приходилъ къ своимъ послѣднимъ выводамъ. Дѣло было повидимому такъ просто, и Бѣлинскій, казалось, былъ очень наивенъ, когда увлекался такъ далеко въ сторону отъ идей, принятыхъ имъ впослѣдствіи. Но дѣло было просто — только повидимому. Бѣлинскій начиналъ съ того содержанія, какое представляла наша общественная образованность къ началу тридцатыхъ годовъ; въ то время были только слабые зародыши понятій, какія стали высказываться въ сороковыхъ годахъ, и путь, пройденный Бѣлинскимъ, является необходимымъ логическимъ путемъ литературнаго движенія.

Длинный (по разнообразію смѣнявшихся взглядовъ, но не длинный по времени) процессъ, которымъ переходили мнѣнія Бѣлинскаго, любопытенъ и важенъ исторически именно тѣмъ, что въ немъ выразилось развитіе мнѣній въ кругу лучшихъ людей тог-

дашняго общества. Бѣлинскій оттого и получилъ господствующее положеніе въ литературѣ и обширное нравственное вліяніе, что на самомъ себѣ вынесъ и выстрадалъ (о немъ съ полнымъ правомъ можно употребить такое слово) весь этотъ рядъ идей и всѣ столкновенія враждебныхъ одинъ другому принциповъ. Въ каждомъ «моментѣ» онъ вполнѣ проникался данной мыслью, вѣровалъ въ нее, покорялся ей, отыскивалъ ея примѣненія, распространялъ ее на свою личную жизнь, и, дѣйствительно, «переживалъ» ее: если потомъ ему приходилось убѣждаться въ ея односторонности и ошибочности, ему всегда стоило большой душевной боли отказаться отъ нея. Надо думать, что его тогдашніе и позднѣйшіе противники, упрекавшіе его за перемѣнчивость мнѣній, не испытывали ничего подобнаго. Бѣлинскій съ справедливой гордостью могъ отвѣтить на подобный упрекъ, сдѣланный ему однажды съ славянофильской стороны [1]). Но, переработавши сомнѣнія, онъ каждый разъ чувствовалъ себя сильнѣе; страсть усиливала его убѣжденіе, и тогда не только никакіе противники не пугали его, но, напротивъ, онъ искалъ ихъ, вызывалъ ихъ на споръ, и въ борьбѣ чувствовалъ себя въ своей сферѣ. Въ слѣдующихъ ниже письмахъ намъ встрѣтятся яркія выраженія этой стороны его личности.

«Отечественныя Записки» поглощали теперь всю дѣятельность Бѣлинскаго. Съ самыхъ первыхъ годовъ этотъ журналъ успѣлъ занять видное мѣсто въ тогдашней литературѣ и вскорѣ пріобрѣлъ большое вліяніе въ литературной и читающей публикѣ. Что это вліяніе было прежде всего дѣломъ Бѣлинскаго, объ этомъ не можетъ быть и спора. «Отечественныя Записки» были журналомъ того самаго типа, какъ «Московскій Наблюдатель» Бѣлинскаго: литературная критика была тѣмъ существеннымъ отдѣломъ, гдѣ высказывался характеръ изданія, и въ «Отечественныхъ Запискахъ» отдѣлъ критики и библіографіи держался на Бѣлинскомъ—наполнялся главнымъ образомъ его трудами, или если трудами другихъ, то подъ вліяніемъ его же критическаго духа и пріемовъ. «Отечественныя Записки» имѣли большое преимущество надъ «Наблюдателемъ» въ одномъ отношеніи, — гдѣ Бѣлинскій совсѣмъ не участвовалъ,— во внѣшнемъ порядкѣ изданія. Редакція еще до участія Бѣлинскаго доставила журналу и другую выгоду—нѣкоторыя (впрочемъ, должно сказать, весьма случайныя) литературныя связи, черезъ которыя въ «Отечественныхъ Запискахъ» явились имена Лермонтова, кн. Одоевскаго, гр. Соллогуба и пр., печатались иногда стихотворенія, оставшіяся послѣ Пушкина. Но этимъ все и кончалось: журналъ

---

[1]) *Сочин.*, т. XI, стр. 257—258.

при своемъ основаніи не имѣлъ никакого яснаго характера; отдѣлъ критики, до Бѣлинскаго, велся чисто случайнымъ образомъ; спеціальный критикъ, выбранный сначала самой редакціей, была такая посредственность, отъ которой нельзя было ждать никакого содержанія и ни малѣйшаго вліянія въ литературѣ; журналъ унаслѣдовалъ только, отъ Пушкинскаго круга, неясное уваженіе къ «искусству» и вражду къ Булгарину и Гречу; въ «направленіи» была нѣкоторая наклонность къ особаго рода славянофильству, какое представляли тогда Морошкинъ, Савельевъ-Ростиславичъ, Сахаровъ. Самостоятельное значеніе дано было журналу исключительно Бѣлинскимъ и его друзьями; нѣкоторые изъ нихъ начали свое участіе въ «Отеч. Запискахъ» ранѣе Бѣлинскаго, но только съ его вступленіемъ этотъ журналъ вполнѣ сталъ органомъ московскаго кружка: Бѣлинскій представлялъ наиболѣе дѣятельную силу этого кружка, и вслѣдъ за нимъ и ради него стали усердными и часто «безкорыстными» или даровыми сотрудниками «Отеч. Записокъ» его друзья. Онъ придавалъ всему этому кругу нравственную солидарность, которая отразилась на журналѣ рѣдкимъ единствомъ и цѣльностью характера. Редакція только молча приняла внесенный въ журналъ элементъ. Бѣлинскій отдаетъ ей справедливость, что она не вмѣшивалась въ содержаніе его статей. И послѣ, въ 1841, она точно также приняла новое направленіе Бѣлинскаго.

Со времени разсказаннаго выше примиренія Бѣлинскаго съ его противниками, прежній кружокъ, котораго родоначальникомъ былъ Станкевичъ, сложился въ гораздо болѣе обширный кругъ людей, который, въ противоположность тогда же возникшему славянофильству, стали называть теперь «западнымъ». Въ своемъ новомъ составѣ, «западный» кружокъ представилъ рѣдкое для нашей литературы соединеніе замѣчательныхъ талантовъ и характеровъ, одушевленныхъ однимъ стремленіемъ — служить умственному развитію и нравственному облагороженію общества. Эти, такъ-называемые теперь «люди сороковыхъ годовъ» были наиболѣе передовыми выразителями общественной мысли, непосредственными начинателями того движенія, какое совершалось въ наше время.

Новые критики, — особенно не имѣвшіе никакихъ личныхъ воспоминаній о періодѣ «сороковыхъ годовъ» или не встрѣчавшіеся близко съ его уцѣлѣвшими представителями, — бывали наклонны относиться очень строго къ дѣятельности и характерамъ этого круга. Такія сужденія, внушаемыя обыкновенно нашими нынѣшними взглядами, не совсѣмъ справедливы. Прежде всего должно вспомнить общественную среду, въ которой «людямъ сороковыхъ годовъ» привелось вырабатывать свои принципы: одинъ трудъ борьбы съ этою

средою требовалъ не мало нравственной силы и стойкости, и усилія, потраченныя на преодолѣніе внѣшнихъ препятствій, необходимо терялись для самаго дѣла. Притомъ, не точно было бы судить объ этой дѣятельности по тѣмъ однимъ слѣдамъ, какіе остались отъ нея въ литературѣ: слишкомъ извѣстно, что литература передавала ихъ мысли далеко не полно; невольныя умолчанія скрыли для насъ, конечно, наиболѣе пламенныя, сильныя выраженія ихъ мысли, и наиболѣе краснорѣчивыя страницы ихъ писаній. Есть много фактовъ, указывающихъ, что въ ихъ печатанныхъ тогда сочиненіяхъ мы нерѣдко имѣемъ дѣло только съ блѣднымъ остаткомъ ихъ дѣйствительнаго взгляда на вещи. Далѣе, понятно, что не всѣ люди этого круга владѣли серьезностью убѣжденія и характера; многіе не выдержали потомъ, отступили и даже измѣнили,—но было бы невѣрно по нимъ судить о достоинствѣ цѣлаго круга за то время. Къ сожалѣнію, «среда» слишкомъ могущественна, чтобы легко было выдерживать ея давленіе, но должно сказать, что эти многіе, отступившіе и измѣнившіе, не были лучшіе и сильнѣйшіе изъ людей сороковыхъ годовъ, — лучшіе остались себѣ вѣрны... «Людямъ сороковыхъ годовъ», дѣйствовавшимъ въ наше время, дѣлали не разъ упрекъ, что они слишкомъ легко мирились съ наличнымъ характеромъ жизни, удовлетворялись тѣмъ, очень умѣреннымъ «прогрессомъ», который мало удовлетворялъ новыя поколѣнія: имъ ставили въ упрекъ, что они забывали собственное прошедшее. Но это была обыкновенная историческая разница поколѣній: прежнее понесло свою долю труда, могло естественно утомиться имъ и потерять прежнюю воспріимчивость, но вмѣстѣ съ тѣмъ могло удовлетворяться настоящимъ и по той причинѣ, что видѣло въ немъ исполненіе того, что было искомымъ въ ихъ пору... Еще и въ наше время есть «люди сороковыхъ годовъ», которые, не отдѣляясь отъ новыхъ поколѣній, считаютъ ихъ работу продолженіемъ своей, и представляютъ собой возможно полную солидарность развитія... Были изъ ихъ среды и такіе люди, которые до послѣднихъ дней оставались впереди лучшихъ прогрессивныхъ стремленій общества.

Тѣсно сплотившійся кружокъ сороковыхъ годовъ представлялъ однако значительное разнообразіе; общая точка зрѣнія являлась въ немъ съ различными оттѣнками по различію умственныхъ и нравственныхъ характеровъ. Была своего рода школа, повторявшая слова учителя; но главные дѣятели, какъ Герценъ, Грановскій, Боткинъ, какъ самъ Бѣлинскій, были вполнѣ самостоятельны и встрѣчи ихъ мнѣній служили только къ болѣе многостороннему развитію общаго содержанія. Въ слѣдующемъ изложеніи мы увидимъ, что и теперь, когда главный спорный пунктъ былъ рѣшенъ

къ общему согласію, между Бѣлинскимъ и его московскими друзьями не одинъ разъ возникали споры, которые хотя и смягчались дружескими отношеніями, но тѣмъ не менѣе были довольно сильны... Интересы кружка вообще были обращены къ предметамъ гуманической образованности и общественной жизни, и между друзьями была солидарность и взаимодѣйствіе, которыя обобщали ихъ мнѣнія въ цѣлый послѣдовательный взглядъ. Бѣлинскій уступалъ многимъ изъ друзей въ объемѣ и солидности свѣдѣній, и многое заимствовалъ у нихъ въ этомъ отношеніи; но, какъ у другихъ были свои спеціальности, у Грановскаго—исторія, у Герцена—общіе философскіе и общественные вопросы, у Боткина и Анненкова—эстетическія изученія и европейская литература, такъ его спеціальностью было критическое объясненіе русской литературы, и здѣсь его мнѣнія являлись съ своимъ признаннымъ авторитетомъ.

Въ теоретическомъ содержаніи новаго кружка соединились стремленія двухъ прежнихъ, изъ которыхъ онъ составился: одни были прежде гегеліянцы и эстетики, другіе издавна увлекались общественными идеями и соціальной литературой. Теперь, эти разныя изученія слились какъ двѣ стороны одного вопроса. Для Бѣлинскаго соціальная идея (не соціализмъ), достоинство и право личности становится краеугольнымъ камнемъ его взглядовъ на «дѣйствительность»; Герценъ въ свою очередь съ ревностью изучаетъ Гегеля (въ первыхъ сороковыхъ годахъ), въ свою очередь увлекается его грандіозными построеніями, въ которыхъ часто находитъ геніальную *фантазію*, и не находитъ опроверженія своимъ соціальнымъ идеямъ,—какъ это думали прежде его противники. Прежніе взгляды двухъ сторонъ въ теоретическомъ отношеніи сошлись на сочувствіи къ лѣвой сторонѣ гегеліянства, съ которой Бѣлинскій знакомится теперь черезъ того же Боткина. Въ одномъ письмѣ Боткина (приводимомъ дальше) читатель найдетъ любопытный образчикъ его тогдашнихъ воззрѣній.

Согласные въ общихъ положеніяхъ, дѣятели новаго круга согласно воспринимали руководящія явленія тогдашней европейской литературы,—которыя имѣли не малое вліяніе на развитіе или укрѣпленіе взглядовъ Бѣлинскаго. Къ старымъ предметамъ восторженнаго удивленія, какъ Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ,—которые нѣкогда удерживали Бѣлинскаго на высотахъ поэтическаго гуманизма и которые сохраняли и теперь его восторженное удивленіе,—присоединяются новые писатели, увлекавшіе Бѣлинскаго съ иной стороны. Это была въ особенности Жоржъ-Зандъ, въ романахъ которой Бѣлинскій безгранично восхищался не только поэзіей разсказа, но и общественнымъ смысломъ содержанія. Жоржъ-Зандъ была для всего

кружка высокимъ авторитетомъ. Чѣмъ больше друзья посвящали вниманія новой европейской литературѣ, тѣмъ сильнѣе утверждались въ Бѣлинскомъ тѣ взгляды на жизнь и литературу, первое развитіе которыхъ мы видѣли. Мало-по-малу подъ вліяніемъ общихъ изученій, споровъ и бесѣдъ, съ новыми явленіями русской литературы, съ новымъ вниманіемъ къ русской дѣйствительности, у друзей кружка образовался тотъ взглядъ на вещи, который остался его исторической заслугой въ развитіи общественныхъ понятій. Этотъ взглядъ далеко расходился съ преданіями и господствующими понятіями; основою его была мысль о необходимости преобразованія.

Съ тѣхъ поръ, какъ образовался этотъ новый кругъ, онъ сталъ оказывать свое дѣйствіе и въ литературѣ, и личнымъ вліяніемъ его членовъ. Не входя въ подробности о литературномъ вліяніи, орудіемъ котораго были «Отечественныя Записки», довольно сказать, что съ 1841 года мнѣнія этого журнала становятся очевидно болѣе и болѣе господствующими; его эстетическія понятія, историческая оцѣнка литературы, отзывы о современныхъ писателяхъ начинаютъ повторяться и другими, и наконецъ пріобрѣтаютъ неоспоримое преобладаніе. Враждебныя партіи (Гречъ и Булгаринъ, Сенковскій, Полевой), вліянія которыхъ Бѣлинскій опасался еще такъ недавно, падаютъ сами собою, не столько отъ полемики, веденной противъ нихъ, сколько отъ самаго достоинства взглядовъ Бѣлинскаго, отъ того высокаго уровня, на который онъ поставилъ критику и при которомъ само собой обнаруживалось пустое ничтожество этихъ партій. Движеніе самой литературы блистательно оправдывало Бѣлинскаго. Посмертное изданіе Пушкина открывало новыя прекрасныя произведенія его зрѣлой эпохи; по смерти Лермонтова въ «Отечественныхъ Запискахъ» долго появлялись юношескія поэмы и новыя великолѣпныя стихотворенія; Гоголь завершалъ свою знаменательную дѣятельность изданіемъ «Мертвыхъ Душъ»; стихотворенія Кольцова открывали новый путь народно-литературной поэзіи... Лермонтовъ, Гоголь и Кольцовъ были живыми и могущественными фактами того новаго духа времени, новаго тона литературы, который былъ давно предчувствованъ Бѣлинскимъ и котораго онъ являлся теперь восторженнымъ истолкователемъ. Все это еще болѣе возвышало его увѣренность и энергію. Къ половинѣ 40-хъ годовъ, старая литературная рутина была окончательно подорвана, и единственными противниками, съ которыми Бѣлинскому и друзьямъ его приходилось бороться,—оставались славянофилы. Въ этомъ спорѣ замѣшаны были уже гораздо болѣе крупные вопросы.

Дѣятельность кружка оказала сильное и благотворное дѣйствіе и въ другомъ отношеніи. Она вызывала новыя свѣжія силы, которыя начали группироваться около Бѣлинскаго. Все, что являлось истинно-талантливаго въ поэтической области, въ научныхъ, особенно историческихъ изученіяхъ, примыкало къ этому кругу; тонкое, эстетическое чувство, свободное пониманіе науки, живое отношеніе къ общественности привлекали лучшія силы и дарованія новаго литературнаго поколѣнія. Нѣтъ сомнѣнія, что новая поэтическая литература, дѣятелями которой явились Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, нѣсколько позднѣе Гончаровъ, Достоевскій и пр., унаслѣдовала не только отъ Гоголя, но также отъ Бѣлинскаго и его друзей; что вниманіе къ общественнымъ явленіямъ, правдивое изображеніе жизни, гуманное отношеніе къ страдающимъ классамъ, сказавшіяся здѣсь,—были воспитаны одинаково и впечатлѣніями Гоголя, и неутомимой проповѣдью Бѣлинскаго... Новыя изученія русской исторической и экономической жизни, съ какими выступали тогда Соловьевъ, Кавелинъ, Аѳанасьевъ, Влад. Милютинъ и пр. и пр., и которыя въ то же самое время возникали изъ новаго знакомства съ содержаніемъ и пріемами европейской науки, — въ этомъ отношеніи явились независимо,—тѣмъ не менѣе опять связаны были съ этимъ кругомъ, гдѣ всего скорѣе находили симпатію свободныя научныя стремленія. Весь этотъ новый рядъ дѣятелей, наиболѣе талантливый, наиболѣе замѣчательный по научнымъ средствамъ, умножаетъ собой тотъ избранный кругъ, начало котораго полагали Бѣлинскій и его друзья.

Мы назвали здѣсь нѣкоторыя имена, которыя только позднѣе, во второй половинѣ сороковыхъ годовъ, появляются въ литературѣ, но въ описываемые годы кругъ Бѣлинскаго и его друзей уже начинаетъ пріобрѣтать то дѣйствіе на умы, о какомъ мы говоримъ. Въ Бѣлинскомъ уже теперь, и по праву, является сознаніе, что дѣятельность его была не безплодна, что она составляетъ «фактъ русской жизни».

Обращаемся къ фактамъ. Переписка съ Боткинымъ, которая и теперь послужитъ для насъ главнѣйшимъ источникомъ, становится менѣе богата; въ ней есть большіе перерывы, отчасти потому, что, въ теченіе 1841—1843 годовъ, друзья нѣсколько разъ видались въ Петербургѣ и Москвѣ,—отчасти вѣроятно потому, что часть писемъ этого времени истреблена или потеряна, — отчасти, наконецъ, Бѣлинскій написалъ меньше прежняго: у него уже проходилъ періодъ «бурныхъ стремленій»; «дѣйствительность» разъяснялась; личная жизнь была и теперь исполнена тревогъ, но когда

основная мысль установилась, начинаетъ теряться и прежняя нетерпѣливая потребность высказываться. Его взгляды продолжаютъ развиваться, но рѣзкихъ поворотовъ уже нѣтъ; онъ не покидаетъ добытой имъ «идеи общества» — и только больше выясняетъ ее для себя въ историческомъ, соціальномъ и философскомъ смыслѣ.

Первыя письма, съ марта 1841, еще длины попрежнему.

Боткинъ между прочимъ прислалъ ему (вѣроятно, въ своемъ переводѣ) отрывокъ изъ «Hallische (послѣ Deutsche) Jahrbücher», извѣстнаго журнала лѣвой стороны гегеліянства, который еще ранѣе привлекъ вниманіе друзей-философовъ. Этотъ журналъ, издававшійся (съ 1837) Эхтермейеромъ и Арнольдомъ Руге, не разъ поминается въ ихъ перепискѣ;—тѣ примѣненія гегелевской философіи, какія дѣлались либеральной стороной ея послѣдователей, теперь должны были вполнѣ совпадать съ новыми мнѣніями Бѣлинскаго. «Галльскія лѣтописи» проповѣдывали «автономію духа», въ наукѣ— раціонализмъ, въ общественной и политической жизни — либерализмъ. Для Бѣлинскаго выдержки изъ нѣмецкаго журнала, сообщаемыя друзьями, были только новыми пріятными подтвержденіями его собственныхъ мыслей. Слѣдующее оригинальное письмо представляетъ начало его полной «раздѣлки» съ старымъ гегеліянствомъ».

«Отрывокъ изъ «Hallische Jahrbücher»,—пишетъ онъ Боткину (отъ 1 марта 1841), — меня очень порадовалъ и даже какъ будто воскресилъ и укрѣпилъ на минуту—спасибо тебѣ за него, сто разъ спасибо. Я давно уже подозрѣвалъ, что философія Гегеля только моментъ, хотя и великій, но что абсолютность ея результатовъ никуда не годится [1]), что лучше умереть, чѣмъ помириться съ ними. Это я сбирался писать къ тебѣ до полученія твоего этого письма. Глупцы врутъ, говоря, что Г. (Гегель) превратилъ жизнь въ мертвыя схемы; но это правда, что онъ изъ вліяній жизни сдѣлалъ тѣни, сцѣпившіяся костяными руками и пляшущія на воздухѣ, надъ кладбищемъ. Субъектъ у него не самъ себѣ цѣль, но средство для мгновеннаго выраженія общаго, а это общее является у него въ отношеніи къ субъекту Молохомъ, ибо пощеголявъ въ немъ (въ субъектѣ), бросаетъ его какъ старые штаны. Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля), ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ расейскою дѣйствительностію, хваля Загоскина и подобныя гнусности, и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему, я былъ еще послѣдовательнѣе самого Г. (Гегеля), хотя и глупѣе Менцеля. Всѣ толки Г. (Гегеля) о нравственности— вздоръ сущій, ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности, какъ и въ объективной религіи (какъ напр. въ индійскомъ пантеизмѣ, гдѣ Брама и Шива — равно боги, т.-е. гдѣ добро и зло имѣютъ равную автономію). Ты—я знаю—будешь надо мною смѣяться... но смѣйся какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индиви-

---

1) Замѣняемъ болѣе рѣзкое выраженіе письма.

дуума, личности, важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т.-е. гегелевской Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобою — таковскій и былъ сукинъ сынъ... Благодарю покорно, Егоръ Өедоровичъ (Гегель) — кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все, и конца не будетъ. Выписка изъ Эхтермейера порадовала меня, какъ энергическая стукушка по философскому колпаку Г., какъ фактъ, доказывающій, что и нѣмцамъ предстоитъ возможность сдѣлаться людьми, человѣками, и перестать быть нѣмцами. Но собственно для меня тутъ не все утѣшительно. Я изъ числа людей, которые на всѣхъ вещахъ видятъ хвостъ дьявола,—и это, кажется, мое послѣднее міросозерцаніе, съ которымъ я и умру. Впрочемъ, я отъ этого страдаю, но не стыжусь этого. Человѣкъ самъ по себѣ ничего не знаетъ — все дѣло (зависитъ) отъ очковъ, которые надѣваетъ на него независящее отъ его воли расположеніе его духа, капризъ его натуры. Годъ назадъ я думалъ діаметрально-противоположно тому, какъ думаю теперь,—и право, я не знаю, счастіе или несчастіе для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать одно и тоже».

Эхтермейеръ, такъ порадовавшій Бѣлинскаго, нѣсколько разъ положительно высказывался и противъ самого Гегеля, и противъ его непосредственныхъ учениковъ (Alt-Hegelianer). Такъ, онъ указывалъ, какъ самъ Гегель иногда не признавалъ практическихъ выводовъ и требованій своего же идеализма, и Эхтермейеръ прямо называлъ это трусостью, измѣной собственному принципу и т. п. [1]).

Скептицизмъ, въ какой теперь видимо впадалъ Бѣлинскій, естественно могъ слѣдовать за потерей убѣжденія, въ которомъ онъ прежде чувствовалъ или хотѣлъ чувствовать себя защищеннымъ отъ сомнѣній и нерѣшимости. Скептицизмъ проводилъ его къ самому мрачному взгляду на вещи и на себя.

---

[1]) Zaghaftigkeit und Abfall von dem eignen Princip. См. Hall. Jahrb. 1840, 1841, разныя статьи Эхтермейера. Въ 1842 г. Эхтермейеръ умеръ, и Руге одинъ остался издателемъ этого журнала, впрочемъ, уже ненадолго.

Вотъ гдѣ должно бояться фанатизма, — продолжаетъ онъ. — Знаешь ли, что я теперешній болѣзненно ненавижу себя прошедшаго... Будешь видѣть на всемъ хвостъ дьявола, когда видишь себя живого въ саванѣ и въ гробѣ, съ связанными назади руками. Что мнѣ въ томъ, что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно, и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно? Не прикажешь ли уйти въ себя? Нѣтъ, лучше умереть, лучше быть живымъ трупомъ! Выздоровленіе! Да въ чемъ же оно? Слова! слова! слова!... филистеры, люди пошлой непосредственной дѣйствительности, смѣются надъ нами, торжествуютъ свою побѣду»... [1]).

По поводу ихъ прежнихъ философствованій, Бѣлинскій съ раздраженіемъ вспоминаетъ, какъ нѣкогда они видѣли (по Гегелю) въ Пруссіи совершеннѣйшее государство: теперь Бѣлинскій думалъ о ней совсѣмъ напротивъ: это — членъ тройственнаго священнаго союза, а союзъ — врагъ всякой свободы... «Вотъ тебѣ и Гегель!» восклицаетъ Бѣлинскій:—«въ этомъ отношеніи (т.-е. въ пониманіи политическаго положенія вещей) Менцель умнѣе Гегеля, а о Гейне нечего и говорить». Лучшее государство, по мнѣнію Бѣлинскаго, Сѣверо-Американскіе Штаты, а потомъ Англія и Франція.

Отвѣчая на письмо Боткина, Бѣлинскій говоритъ о Полевомъ, — противъ котораго онъ теперь вообще крайне враждовалъ: «что до Полевого,—согласенъ съ тобою; но откуда же были у него во время оно энергія характера, сила воли? Въ прошедшемъ я высоко цѣню этого человѣка. Онъ сдѣлалъ великое дѣло — онъ лицо историческое».

Бѣлинскій говоритъ дальше о журналѣ и, во-первыхъ, о своихъ собственныхъ работахъ. Боткинъ, кажется, находилъ недостатки въ его слогѣ; Бѣлинскій замѣчаетъ, что самъ не доволенъ своимъ слогомъ, которому недостаетъ опредѣленности и образности; у него нѣтъ и спокойствія,—котораго, впрочемъ, онъ и не желаетъ:

«Спокойствіе не для меня,—пишетъ онъ.—Мнѣ нужно то, въ чемъ видно состояніе духа человѣка, когда онъ захлебывается волнами трепетнаго восторга и заливаетъ ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь! А этого-то и нѣтъ,—и вотъ почему у меня много реторики (что ты весьма справедливо замѣтилъ, и что я давно уже и самъ созналъ). Когда ты наткнешься въ моей статьѣ на рет. мѣста, то возьми карандашъ и подпиши; здѣсь бы долженъ быть паѳосъ, но по бѣдности въ немъ автора, о, читатель! будь

[1]) Эта тирада между прочимъ могла бы показать, что философія Тургеневскаго Базарова не была особенной новостью, и могла бы не удивлять и не приводить въ священный ужасъ—«людей сороковыхъ годовъ».

доволенъ и реторическою водою. Но отсутствіе единства и полноты въ моихъ статьяхъ *единственно* отъ того, что второй листъ ихъ пишется, когда перваго уже правится корректура. Разсуди самъ, Боткинъ, какого чорта на это станетъ?...»

Бѣлинскій говоритъ потомъ о своей статьѣ, которая должна была появиться въ 3-й книгѣ «Отеч. Записокъ» («Раздѣленіе поэзіи на роды и виды»): онъ впередъ подчиняется строгому приговору Боткина, признавая, что для подобной работы нужна голова болѣе логическая и систематическая, — и говоритъ, что въ этой статьѣ воспользовался «тетрадками», оставленными ему К[атко]вымъ, напримѣръ, особенно въ изложеніи лирической поэзіи. «Впрочемъ,—что же? Если я не дамъ теоріи поэзіи, то убью старыя, убью наповалъ наши реторики, пійтики и эстетики, — а это развѣ шутка? И потому, охотно отдаю на поруганіе [1]) честное имя свое». При этомъ онъ жалуется на цензора, сдѣлавшаго исключеніе въ статьѣ, и выписываетъ одно мѣсто, подвергшееся такому исключенію [2]). Другое, зачеркнутое въ статьѣ мѣсто относилось къ «Горю отъ ума», о которомъ Бѣлинскій хотѣлъ сказать, что это произведеніе было обличеніемъ гнусной дѣйствительности.

Статья «Раздѣленіе поэзіи на роды и виды» служила первой попыткой исполненія плана, который съ этихъ поръ и почти до самой смерти занималъ Бѣлинскаго. Въ виду неясныхъ и путаныхъ понятій, господствовавшихъ даже въ литературныхъ кругахъ по вопросамъ эстетики, Бѣлинскій задумалъ написать «Теоретическій

---

[1]) Т.-е. Боткину и (двумъ-тремъ) компетентнымъ людямъ.

[2]) Приводимъ эту выписку, относящуюся къ стр. 56-й «От. Зап.», 1841, № 3, и къ стр. 349 «Сочин.», т. XII, вслѣдъ за характеристикой «Ромео и Юліи»:

«Насъ возмущаетъ преступленіе Макбета и демонская натура его жены; но еслибы спросить перваго, какъ онъ совершилъ свой злодѣйскій поступокъ, онъ вѣрно отвѣтилъ бы: «и самъ не знаю»; а еслибы спросить вторую, зачѣмъ она такъ нечеловѣчески-ужасно создана, она вѣрно бы отвѣчала, что знаетъ объ этомъ столько же, сколько и вопрошающіе, и что если слѣдовала своей натурѣ, такъ это потому, что не имѣла другой... Вотъ вопросы, которые рѣшаются только за гробомъ, вотъ царство рока, вотъ сфера трагедіи!... Ричардъ II возбуждаетъ въ насъ къ себѣ непріязненное чувство своими поступками, унизительными для короля. Но вотъ Болингброкъ похищаетъ у него корону—и недостойный король, пока царствовалъ, является великимъ королемъ, когда лишился царства. Онъ уходитъ въ сознаніе величія своего сана, святости своего помазанія, законности своихъ правъ,—и мудрыя рѣчи, полныя высокихъ мыслей, бурнымъ потокомъ льются изъ его устъ, а дѣйствія обнаруживаютъ великую душу, царственное достоинство. Вы уже не просто уважаете его — вы благоговѣете передъ нимъ» (далѣе какъ въ печатномъ).

и критическій курсъ русской литературы», который удовлетворилъ бы настоятельной потребности писателей и публики, и представилъ бы систематическое изложеніе законовъ изящнаго, и затѣмъ основанное на немъ послѣдовательное изложеніе исторіи русской литературы. Въ этой работѣ Бѣлинскій думалъ сдѣлать сводъ того, что онъ говорилъ объ этомъ предметѣ въ своихъ критическихъ статьяхъ: ему казалось, и справедливо, что эти идеи «по крайней мѣрѣ оригинальны и совершенно отличны отъ всѣхъ, доселѣ обращавшихся въ нашей литературѣ». Курсъ долженъ былъ заключать, послѣ общаго введенія, эстетику, теорію русскаго стихосложенія, теорію словесности, критическое разсмотрѣніе народной словесности и ея памятниковъ, историческое обозрѣніе памятниковъ письменности до Петра Великаго, исторію книжной литературы съ Кантемира и до новѣйшаго времени, наконецъ, «надежды въ будущемъ» и заключеніе. Въ исторіи литературы онъ хотѣлъ сдѣлать и критическій обзоръ русскихъ журналовъ, имѣвшихъ то или другое, хорошее или вредное, вліяніе на литературу. Въ «Отечеств. Запискахъ» заявлено было даже, что книга должна была выдти въ началѣ 1842 года [1]).

Статья въ 3 № «Отеч. Зап.» была отрывкомъ изъ эстетики. Въ № 9—12 того же года былъ помѣщенъ рядъ статей о русской народной поэзіи; наконецъ, въ XII-мъ томѣ «Сочиненій» помѣщено нѣсколько статей, не бывшихъ въ печати («Идея искусства»; «Общее значеніе слова: литература»; «Общій взглядъ на народную поэзію и ея значеніе») и очевидно принадлежавшихъ къ тому же плану,— но цѣлое сочиненіе осталось ненаписаннымъ.

Возвращаемся къ прежнему письму. Бѣлинскій въ величайшемъ восторгѣ отъ характеристикъ Шекспировскихъ женщинъ м-ссъ Джемсонъ, переведенныхъ тогда Боткинымъ. Въ особенности изображеніе Офеліи поразило его: «лучшаго по части критики я не читалъ ни во снѣ, ни на яву съ тѣхъ поръ, какъ родился». Рётшеръ ничто въ сравненіи съ этимъ очеркомъ Офеліи, писаннымъ женскою рукой, и вообще книга Джемсонъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, была жестокій ударъ «критическимъ колпакамъ нѣмцевъ», даже самому Гёте, который есть самый живой изъ нѣмецкихъ критиковъ... Но переводъ онъ находитъ тяжеловатымъ и думаетъ, что виноваты въ этомъ нѣмцы, которыми Боткинъ слишкомъ много занимается... Бѣлинскій уже не вѣрилъ въ Рётшера, который былъ нѣкогда ихъ критическимъ образцомъ и авторитетомъ:

---

[1]) «Отеч. Зап.» 1841 г., № 3, Науки, стр. 13—14, прим., гдѣ подробно сообщался планъ этого сочиненія; короче въ «Сочин.», т. XII, стр. 277—278, прим.

«И знаешь ли что, — пишетъ Бѣлинскій: — не такъ досадно было бы видѣть еще большіе и важнѣйшіе недостатки въ переводѣ отъ слабаго знанія обоихъ языковъ, неумѣнія или неспособности переводить, чѣмъ тотъ, о которомъ я говорю. Ты онѣметчилъ и *орѣтшерилъ* свой слогъ. Всего больше сбиваетъ тебя съ толку Рѣтшеръ. Ну, чортъ возьми; выскажу же, наконецъ, что давно кипитъ въ душѣ моей. Въ этомъ человѣкѣ много духа [1]) — не спорю; но въ немъ тоже много и филистерства. Онъ толкуетъ все одно и тоже»...

Бѣлинскій съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ того, что онъ называетъ въ Рѣтшерѣ «уваженіемъ къ субстанціальнымъ элементамъ общества» (родство, бракъ и т. п.): по теперешнему взгляду Бѣлинскаго, эти элементы тогда только имѣютъ свое «субстанціальное право, когда освящаются чувствомъ, а безъ того они—пустая форма, лицемѣріе или насиліе. Увлекаясь рядомъ мыслей, вызванныхъ этой темой, Бѣлинскій предаетъ осужденію всѣ преданія и пустыя формы, и провозглашаетъ разумъ и отрицаніе. Послѣ нѣсколькихъ энергическихъ словъ въ этомъ смыслѣ, онъ останавливается: «но объ этомъ послѣ—чувствую, что безъ драки не обойдется», т.-е. съ другомъ, отъ котораго онъ не предполагалъ одобренія своей рѣшительности... И вслѣдъ затѣмъ Бѣлинскій, по поводу м-ссъ Джемсонъ, опять вспоминаетъ Офелію—точно знакомое, дорогое ему лицо:

«О, Офелія, о блѣдная красота сѣвера, голубка, погибшая въ вихрѣ грозы!... Мочи нѣтъ, слезы рвутся изъ глазъ. Стыдно — у меня теперь въ комнатѣ сидитъ *чиновникъ*, мой родственникъ, человѣкъ преданія и субстанціальныхъ стихій общества».

Бѣлинскій хочетъ шуткою сдержать свое чувство, но достаточно видно, въ какомъ восторженномъ состояніи писаны эти строки.

Письмо оканчивается отдѣльными замѣтками. Онъ съ нетерпѣніемъ ждетъ пріѣзда Боткина на пасху; спрашиваетъ его мнѣнія о новыхъ стихахъ Лермонтова («онъ рѣшительно идетъ въ гору и высоко взойдетъ, если пуля дикаго черкеса не остановитъ его пути»); возстаетъ еще разъ противъ Рѣтшера; сообщаетъ о письмахъ Анненкова изъ-за границы, напечатанныхъ въ томъ же № «Отеч. Записокъ»,—они ему чрезвычайно понравились [2]).

---

[1]) Эта и подобныя фразы — послѣдніе остатки старой терминологіи кружка, которую Бѣлинскій теперь все больше и больше бросаетъ.

[2]) «Въ смѣси 3-го № «Отеч. «Зап. напечатаны (почти цѣликомъ) письма А-ва изъ-за границы — прелесть! Я еще больше полюбилъ этого человѣка». Знакомство съ нимъ Бѣлинскаго начинается съ 1840 года (упоминанія въ письмахъ съ іюня этого года).

Въ письмѣ 13 марта снова возвращается вопросъ о той интимной исторіи Боткина, которая вызывала въ друзьяхъ столько размышленій о любви и о женщинѣ. Исторія положительно приходила къ концу; Боткинъ былъ въ печальномъ настроеніи, и искалъ у друга утѣшенія или объясненія труднаго вопроса. Бѣлинскій даетъ это объясненіе, въ которомъ высказался его теперешній взглядъ на старую романтику ихъ кружка. Исторія Боткина началась еще въ разгарѣ ихъ романтическаго идеализма; она долго тянулась въ неопредѣленныхъ фантазіяхъ, которыя теперь кончались—ничѣмъ.

«По моему мнѣнію,—пишетъ Бѣлинскій,—вы оба *не* любите другъ друга; но въ васъ лежитъ (или лежала) сильная возможность полюбить другъ друга. Тебя сгубило то же, что и ее—*фантазмъ*... Ты имѣлъ о любви самыя экстатическія и мистическія понятія. Это лежало въ самой твоей натурѣ, по преимуществу религіозно-созерцательной. Марбахъ и Беттина (отъ которыхъ ты съ ума сходилъ) развили это направленіе до чудовищности. И ты не совсѣмъ былъ не правъ: такая любовь возможна и дѣйствительна... но возможна и дѣйствительна, какъ моментъ, какъ вспышка, какъ утро, какъ весна жизни... Понимаешь ли ты теперь, что твоя *любовь* нисколько не риѳмовала съ *бракомъ* и вообще съ дѣйствительностью жизни, состоящею изъ поэзіи и прозы, изъ которыхъ каждая имѣетъ на насъ равно законныя требованія? Вотъ на чемъ срѣзался Станкевичъ, и вотъ на чемъ суждено было срѣзаться и тебѣ. Отсюда выходили твои экзажерованныя понятія о брачныхъ отношеніяхъ, гдѣ каждый поцѣлуй долженъ былъ выходить изъ полноты жизни, а не изъ рефлексіи и пр. Признаюсь, это мнѣ всегда казалось страшною дичью, и я потому казался тебѣ и М. страшною дичью. Но я былъ правъ. Я понималъ, что въ жизни не разъ придется спросить жену, принимала ли она слабительное и... Эта противоположность поэзіи и прозы жизни ужасала меня, но я не могъ закрыть на нее глаза, не могъ не видѣть, что она есть. Тебя это часто оскорбляло, и я внутренно презиралъ себя, видя, что ты, по крайней мѣрѣ, не уважаешь меня. Что дѣлать—тогда ни одинъ изъ насъ не хотѣлъ быть собою, ибо каждый хотѣлъ быть абсолютнымъ (т.-е. безцвѣтнымъ и абстрактнымъ) совершенствомъ. Теперь мы умны; но дорого достался намъ этотъ умъ»...

Но хотя Бѣлинскій и видѣлъ фантастичность прежняго, онъ все-таки считаетъ Боткина правымъ въ его идеальной любви, ко-

---

Рядъ «Писемъ изъ-за границы» П. В. Анненкова, съ марта 1841, печатался нѣсколько лѣтъ въ «Отеч. Запискахъ» (потомъ въ «Современникѣ» съ 1847). Они вообще возбуждали тогда большой интересъ. Главнымъ предметомъ ихъ служила общественная жизнь, интересы образованія и искусства, бытовая жизнь и нравы, и, наконецъ, политическая жизнь, насколько можно было говорить о ней въ то время, когда политическіе вопросы, даже чужихъ странъ, были почти закрыты для литературы. Эти письма, написанныя легко и занимательно, прямо подъ свѣжими впечатлѣніями, съ живыми и мѣткими характеристиками нравовъ, были дѣйствительной новостью въ литературѣ.

торая была его «лучшимъ сокровищемъ», «драгоцѣннымъ перломъ его жизни». Любовь все еще представляется ему въ поэтической окраскѣ, какъ что-то несоединимое съ прозой жизни, погибающее отъ ея прикосновенія; она чуть не противоположна браку.

«Я теперь понимаю основную мысль «Ромео и Юліи», т.-е. необходимость трагической коллизіи катастрофы. Ихъ любовь была не для земли, не для брака, и не для годовъ, а для неба, для любви, для полнаго и дивнаго мгновенія... Я понимаю возможность, что они опротивѣли бы современемъ другъ другу. Не знаю, что собственно разумѣлъ Гегель подъ «разумнымъ бракомъ», но если я такъ понимаю его идею,—то онъ—мужикъ умный. Любовь для брака дѣло не только не лишнее, но даже необходимое; но она имѣетъ тутъ другой характеръ — тихій, спокойный: удалось — хорошо; не удалось—такъ и быть, не умираютъ, не дѣлаются несчастны, но могутъ поискать себѣ и другихъ паръ. Разсудокъ тутъ играетъ роль не меньшую чувства, если еще не большую... Жена—не любовница, но другъ и спутникъ нашей жизни»...

Разсужденія Бѣлинскаго очевидно сходятъ съ прежней точки зрѣнія. Въ его письмахъ и раньше говорилось о томъ впечатлѣніи, какое производили на него идеи о женщинѣ у нѣкоторыхъ французскихъ писателей. Его прежнее романтическое пониманіе любви переходитъ теперь въ другое идеалистическое представленіе — о полномъ правѣ и свободѣ чувства, въ смыслѣ Жоржъ-Занда, и въ противоположность «субстанціальнымъ элементамъ», обычаю и преданію. Съ этой же точки зрѣнія онъ говоритъ опять объ Entsagung, какое нѣкогда рекомендовалъ ему Боткинъ:

«Нѣкогда ты писалъ мнѣ, что во мнѣ нѣтъ Entsagung, и я чуть было не пришелъ въ отчаяніе, что у меня нѣтъ этой прекрасной вещи—даже думалъ, гдѣ бы прикупить оной, или (къ чему я болѣе привыкъ) призанять. У меня и. теперь нѣтъ ни Entsagung, ни Resignation,—и я не хочу ни того, ни другого, не видя въ нихъ нужды. То и другое есть отрицаніе себя для общаго, а я ненавижу общее, какъ надувателя и палача бѣдной человѣческой личности. Но я думаю, что человѣку надо быть *себѣ на умѣ* на счетъ жизни, и больше всего опасаться придавать ей много важности. Ты тонешь въ рѣкѣ: удалось выплыть — хорошо, можно позаняться тѣмъ или другимъ, хоть пообѣдать лишній разъ; тонешь—утѣшай себѣ мыслію, что все равно, что равно глупо остаться жить, какъ и умереть. Чтобы наслаждаться жизнію, надо имѣть въ запасѣ нѣсколько холодности и презрѣнія къ ней, и спѣшить на ея призывы и обольщенія, какъ ѣхать съ визитомъ къ человѣку, который очень нуженъ»...

Собственное настроеніе Бѣлинскаго высказывается еще слѣдующими словами, въ концѣ этого разсужденія:

«Чортъ возьми, твое положеніе,—мнѣ страшно и въ фантазіи

увидѣть себя въ немъ, а между тѣмъ я немного и завидую тебѣ: мнѣ кажется, что все это лучше, чѣмъ мое протяжное и меланхолическое зѣваніе».

Въ заключеніе, онъ не можетъ обойтись безъ своихъ любимыхъ литературныхъ новостей:

«Лермонтовъ еще въ Питерѣ. Если будетъ напечатана его «Родина» — то аллахъ-керимъ — что за вещь! — пушкинская, т.-е. одна изъ лучшихъ пушкинскихъ».

Письмо не застало Боткина въ Москвѣ: онъ отправился въ Петербургъ. Бѣлинскій наконецъ увидѣлся съ своимъ другомъ, впрочемъ ненадолго: Боткинъ пріѣхалъ въ Петербургъ на шестой недѣлѣ поста въ понедѣльникъ, по судебно-коммерческому дѣлу, и думалъ пробыть до половины апрѣля; но онъ получилъ неожиданное извѣстіе о смерти матери, и въ среду на страстной недѣлѣ уѣхалъ въ Москву. «Я какъ будто и не видѣлся съ нимъ» — пишетъ Бѣлинскій къ другому пріятелю.

31 марта Боткинъ писалъ Бѣлинскому изъ Москвы о своей домашней потерѣ. Онъ прочелъ и письмо Бѣлинскаго отъ 13 марта: «какое умное, спасибо тебѣ», пишетъ онъ.

Свиданіе, какъ ни было коротко, на Бѣлинскаго подѣйствовало оживляющимъ образомъ. Онъ говоритъ объ этомъ въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 9 апрѣля:

«Твой пріѣздъ былъ для меня такимъ толчкомъ, что и теперь не могу опомниться. Мнѣ легко стало смотрѣть на Питеръ—даже улицы начинаютъ нравиться. Странная натура: я до такой степени во власти моихъ религіозныхъ убѣжденій и заблужденій, что смотрю на вещи сквозь цвѣтъ ихъ стекла и, подъ ихъ вліяніемъ, зимній морозъ готовъ принять за лѣтній жаръ и наоборотъ...

«Лѣтомъ постараюсь побывать въ Москвѣ — употреблю всѣ силы...

«Хорошъ Шевыревъ: Лермонтовъ подражаетъ Бенедиктову [1]) и пр. Святители! Изъ моей несчастной статьи вырѣзанъ весь смыслъ, ибо выкинута ровно половина».

Бѣлинскій разумѣетъ, конечно, свою статью о Петрѣ Великомъ [2]), которую онъ писалъ съ большимъ интересомъ и которой, какъ увидимъ, не суждено было быть оконченной...

---

[1]) Бѣлинскій говоритъ о критической статьѣ Шевырева въ «Москвитянинѣ» 1841, кн. 4, стр. 525 и слѣд.

[2]) Статья первая: «Россія до Петра Великаго» въ «От. Зап.» 1841, № 4; вторая статья въ № 6 (Сочин., т. IV, стр. 335—403).

Письмо Бѣлинскаго отъ 27 іюня опять любопытно, какъ рядъ размышленій, фактовъ внутренней жизни и воспоминаній о прошломъ. Боткинъ какъ-то разъ писалъ ему, что дружба ихъ даетъ имъ то, чего никогда бы не могло дать общество. Бѣлинскій рѣшительно возстаетъ противъ этого: «мысль глубоко несправедливая, ложь вопіющая!» — восклицаетъ онъ, и говоритъ затѣмъ о связи личности съ обществомъ, и, въ частности, объ ихъ собственномъ положеніи среди русскаго общества, — положеніи, въ которомъ было столько страннаго, вслѣдствіе ихъ исключительнаго развитія, и—вслѣдствіе дикаго состоянія самого общества:

«Увы, другъ мой, — говоритъ онъ, — безъ общества нѣтъ ни дружбы, ни любви, ни духовныхъ интересовъ, а есть только порыванія ко всему этому, порыванія неровныя, безсильныя, безъ движенія, болѣзненныя, недѣйствительныя. Вся наша жизнь, наши отношенія служатъ лучшимъ доказательствомъ этой горькой истины. Общество живетъ извѣстною суммой извѣстныхъ принципій... [въ его средѣ развивается конкретная жизнь его членовъ]... Человѣчество есть абстрактная почва для развитія души индивидуума, а мы всѣ выросли изъ этой абстрактной почвы, мы — несчастные Анахарсисы новой Скиѳіи. Оттого мы зѣваемъ, толчемся, суетимся, всѣмъ интересуемся, ни къ чему не прилѣпляясь, все пожираемъ, ничѣмъ не насыщаясь... Мы любили другъ друга, любили горячо и глубоко... но какъ же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили другъ отъ друга въ восторгъ и экстазъ, — мы ненавидѣли другъ друга, мы удивлялись другъ другу, мы презирали другъ друга— мы предавали другъ друга, мы съ ненавистію и бѣшеною злобою смотрѣли на всякаго, кто не отдавалъ должной справедливости кому-нибудь изъ *нашихъ* — и мы поносили и злословили другъ друга за глаза передъ другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свиданіи, истаевали и исходили любовію другъ къ другу, а сходились и видѣлись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствіе и разставались безъ сожалѣнія. Какъ хочешь, а это такъ. Пора намъ перестать обманывать самихъ себя, пора смотрѣть на дѣйствительность прямо, въ оба глаза, не щурясь и не кривя душою. Я чувствую, что я правъ, ибо въ этой картинѣ нашей дружбы я не затемнилъ и ея истинной, прекрасной стороны. Теперь посмотри на нашу любовь: что̀ это такое? Для всѣхъ это—радость, блаженство, пышный цвѣтъ жизни, для насъ это—трудъ, работа, тяжкая скорбь. Вездѣ богатство и роскошь фантазіи, но во всемъ скудость и нищета дѣйствительности»...

Въ жизни общества, въ средѣ котораго они воспитались и должны были дѣйствовать, Бѣлинскій находитъ такія же странныя и фальшивыя явленія — отъ отсутствія правильныхъ условій общественности:

«Ученые профессоры наши — педанты, гниль общества; полуграмотный купецъ Полевой даетъ толчокъ обществу, дѣлаетъ эпоху

въ его литературѣ и жизни, а потомъ вдругъ... отступаетъ [1]... Не знаю, имѣю ли я право упомянуть тутъ и о себѣ, но вѣдь и обо мнѣ говорятъ же, меня знаютъ многіе, кого я не знаю, я, какъ ты мнѣ самъ говорилъ въ послѣднее свиданіе, *фактъ русской жизни*. Но посмотри, что же это за уродливый... фактъ! Я понимаю Гёте и Шиллера лучше тѣхъ, которые знаютъ ихъ наизусть, а не знаю по-нѣмецки, я пишу (и иногда не дурно) о человѣчествѣ, а не знаю даже и того, что знаетъ Кайдановъ. Такъ повинить ли мнѣ себя? О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Мнѣ кажется, дай мнѣ свободу дѣйствовать для общества хоть на десять лѣтъ и потомъ, пожалуй, хоть повѣсь, и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость и узналъ бы не только нѣмецкій, но и греческій съ латинскимъ, пріобрѣлъ бы основательныя свѣдѣнія, полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли. Да, въ иныя минуты я глубоко чувствую, что это — свѣтлое сознаніе своего призванія, а не голосъ мелкаго самолюбія, которое силится оправдать свою лѣность, апатію, слабость воли, безсиліе и ничтожность натуры. Обращусь къ тебѣ. Ты часто говорилъ, что не можешь, ибо не призванъ, писать. Но почему же ты пишешь и притомъ такъ, какъ не многіе пишутъ? Нѣтъ, въ тебѣ есть все для этого, все, кромѣ силы и упорства, которыхъ нѣтъ потому, что нѣтъ того, для кого должно писать: ты не ощущаешь себя въ обществѣ, ибо его нѣтъ»...

Конечно, и самъ Бѣлинскій не ощущалъ себя въ обществѣ, и, предвидя вопросъ, — почему же онъ однако пишетъ, — онъ объясняетъ это обстоятельствами: ему казалось, что для его самолюбія, котораго у него много, нуженъ былъ выходъ, а ко всякой другой дѣятельности, кромѣ литературной, онъ чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ. Обстоятельства заставили его войти въ «вонючую тину расейской словесности», бѣдность принудила много писать... Понятно, что это объясненіе своей дѣятельности было только порывъ недовѣрія и вражды къ условіямъ жизни: оно противорѣчило и его только-что сказаннымъ словамъ. Общее заключеніе таково:

«Все это я веду отъ одного къ одному — мы сироты, дурно воспитанные, мы — люди безъ отечества, и оттого мы хоть и хорошіе люди, а все-таки ни Богу свѣча, ни чорту кочерга, и оттого рѣдко пишемъ другъ къ другу. Да и о чемъ писать? О выборахъ? Но у насъ есть только дворянскіе выборы, а это предметъ болѣе неблагопристойный, чѣмъ интересный. О министерствѣ? но ни ему до насъ, ни намъ до него нѣтъ дѣла, притомъ же... О движеніи промышленности, администраціи, общественности, о литературѣ, наукѣ?—но у насъ ихъ нѣтъ. О себѣ самихъ? Но мы выучили уже наизусть свои страданія, и страшно надоѣли ими другъ другу... Итакъ, остается одно: будемъ желать поскорѣе умереть. Это всего лучше. Однако, прощай пока».

---

[1]) *Въ подлинникѣ* болѣе рѣзкое выраженіе.

Письмо продолжается на другой день, и нельзя безъ теплаго интереса слѣдить за волнованіемъ этой страстной души, которая такъ серьезно ставила задачи жизни и стремилась выполнять ихъ. Скептицизмъ Бѣлинскаго не бывалъ продолжителенъ: онъ бывалъ только утомленіемъ отъ нравственной борьбы, минутнымъ невѣріемъ въ жизнь и въ свои силы, – но новое обращеніе къ искусству, къ исторіи, и идеалы возникали вновь, страстное чувство опять вырывалось наружу. Вотъ страницы, написанныя на другой день въ томъ же самомъ письмѣ, послѣ чтенія Плутарха:

«По совѣту твоему, купилъ «Плутарха» Дестуниса и прочелъ. Книга эта свела меня съ ума. Боже мой, сколько еще кроется во мнѣ жизни, которая должна пропасть даромъ! Изъ всѣхъ героевъ древности трое привлекли всю мою любовь, обожаніе, энтузіазмъ— Тимолеонъ и Гракхи. Біографія Катона (Утическаго, а не скотины Старшаго) пахнула на меня мрачнымъ величіемъ трагедіи, — какая благороднѣйшая личность! Периклъ и Алкивіадъ взяли съ меня полную и обильную дань удивленія и восторговъ. А что же Цезарь,— спросишь ты. Увы, другъ мой, я теперь забился въ одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего. Ты знаешь, что мнѣ не суждено попадать въ центръ истины, откуда въ равномъ разстояніи видны всѣ крайнія точки ея круга: нѣтъ, я какъ-то всегда очучусь на самомъ краю. Такъ и теперь: я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ паѳосѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхи и Катонъ Утическій... заслонили собою въ моихъ глазахъ и Цезаря и Македонскаго. Во мнѣ развилась какая-то дикая, бѣшеная, фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести. Принимаясь за «Плутарха», я думалъ, что греки заслонятъ отъ меня римлянъ—вышло не такъ. Я бѣсновался отъ Перикла и Алкивіада, но Тимолеонъ и Фокіонъ (эти греко-римляне) закрыли для меня своей суровою колоссальностію прекрасные и граціозные образы представителей аѳинянъ. Но въ римскихъ біографіяхъ душа моя плавала въ океанѣ. Я понялъ черезъ «Плутарха» многое, чего не понималъ. На почвѣ Греціи и Рима выросло новѣйшее человѣчество. Безъ нихъ средніе вѣка ничего не сдѣлали бы. Я понялъ и французскую революцію, и ея римскую помпу, надъ которою прежде смѣялся. Понялъ и кровавую любовь Марата къ свободѣ, его кровавую ненависть ко всему, что хотѣло отдѣляться отъ братства съ человѣчествомъ хоть коляскою съ гербомъ. Обаятеленъ міръ древности. Въ его жизни зерно всего великаго, благороднаго, доблестнаго, потому что основа его жизни—гордость личности, неприкосновенность личнаго достоинства. Да, греч. и лат. языки должны быть краеугольнымъ камнемъ всякаго образованія, фундаментомъ школы».

Воспоминанія древняго міра еще усилили въ Бѣлинскомъ то направленіе мыслей, какое внушали ему теперь наблюденія надъ

дѣйствительностью. Сила испытанныхъ впечатлѣній убѣждала его, что апатія, его одолѣвавшая, — вовсе не упадокъ энергіи, не ослабленіе его задушевныхъ стремленій. Напротивъ:

«Я во всемъ разочаровался, ничему не вѣрю, ничего и никого не люблю, и однакожъ интересы прозаической жизни все менѣе и менѣе занимаютъ меня, и я все болѣе—гражданинъ вселенной. Безумнаа жажда любви все болѣе и болѣе пожираетъ мою внутренность, тоска тяжелѣе и упорнѣе. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимаетъ и не мое. Личность человѣческая сдѣлалась пунктомъ, на которомъ я боюсь сойти съ ума. Я начинаю любить человѣчество маратовски: чтобы сдѣлать счастливою малѣйшую часть его, я, кажется, огнемъ и мечемъ истребилъ бы остальную»...

Слѣдуетъ страстная тирада въ защиту достоинства человѣческой личности, обвиненіе противъ ея угнетателей, — гдѣ вспоминается Бѣлинскому его новый идеалъ, Шиллеръ, «Тиберій Гракхъ нашего вѣка», и старый авторитетъ, Гегель, который далеко не удовлетворяетъ его своими политическими теоріями. Бѣлинскій восхищается двумя великими народами древности, успѣвшими достигнуть столь высокагó понятія о достоинствѣ личности, и мирится вполнѣ съ французами:

«Гегель мечталъ о конституціонной монархіи, какъ идеалѣ государства—какое узенькое понятіе! Нѣтъ, не должно быть монарховъ, ибо монархъ не есть братъ людямъ, онъ всегда отдѣлится отъ нихъ хоть пустымъ этикетомъ, ему всегда будутъ кланяться хоть для формы. Люди должны быть братья, и не должны оскорблять другъ друга ни даже тѣнью какого-нибудь внѣшняго и формальнаго превосходства. Каковы же эти два народа древности, которые родились съ такимъ понятіемъ! Каковы же французы, которые, безъ нѣмецкой философіи, поняли то, чего нѣмецкая философія еще и теперь не понимаетъ! Чортъ знаетъ, надо мнѣ познакомиться съ сенсимонистами. Я на женщину смотрю ихъ глазами».

Изложеніе взгляда на женщину есть новая страстная филиппика. По мнѣнію Бѣлинскаго, «женщина есть жертва, раба новѣйшаго общества». Онъ съ крайнимъ и рѣзко выраженнымъ негодованіемъ возстаетъ противъ господствующаго взгляда на женщину, утвержденнаго обычаемъ и другими общественными санкціями, взгляда, унизительнаго для женщины, грубаго, лицемѣрнаго и несправедливаго. За женщиной, по словамъ Бѣлинскаго, не признаютъ равнаго человѣческаго права: мужчина считаетъ себя ея господиномъ, и она не имѣетъ выхода изъ подчиненія, какъ бы оно ни было несправедливо и жестоко; ея «честь» понимается самымъ «кир-

гизъ-кайсацкимъ» образомъ: мужчина, нисколько не вредя своему достоинству, можетъ свободно отдаваться своимъ влеченіямъ,—женщина подвергается суровому осужденію, если уклонилась отъ формальной морали обычая, хотя бы для самаго истиннаго чувства; для нея одной обязательна эта внѣшняя, формальная мораль, и она остается безупречна въ глазахъ общества, если исполняетъ ее, хотя бы это исполненіе было вынужденное или лицемѣрное. Изображая обычныя отношенія брака, отношенія неровныя и стѣснительныя только для женщины, Бѣлинскій спрашиваетъ:—«почему это? Превосходство мужчины? Но оно тогда законное право, когда признается сознаніемъ и любовію жены, выходитъ изъ ея свободной довѣренности..., иначе право (мужа) надъ нею — кулачное право. Нѣтъ, братъ, женщина въ Европѣ столько же раба, сколько въ Турціи и въ Персіи... И мы еще можемъ фантазировать, что человѣчество стоитъ на высокой степени совершенства». Всѣхъ далѣе ушли въ этомъ отношеніи французы: у нихъ нравы уже предоставляютъ женщинѣ больше свободы, и у нихъ явилась «вдохновенная пророчица, энергическій адвокатъ правъ женщины»—(нѣкогда ненавистная ему) Жоржъ-Зандъ. «Великій народъ», добавляетъ онъ [1]).

Мы не могли передать всей рѣзкой силы, съ какою говорилъ здѣсь Бѣлинскій. Довольно сказать, что онъ не щадитъ лицемѣрія существующихъ обычаевъ и несправедливости, наносимой ими женщинѣ. Взглядъ, выраженный здѣсь, остался его послѣднимъ мнѣніемъ о женщинѣ, бракѣ и пр. Не трудно видѣть, что этотъ взглядъ естественно вытекалъ изъ его общей точки зрѣнія того времени, изъ высокаго понятія о человѣческой личности и ея естественныхъ правахъ. Жоржъ-Зандъ, сама по себѣ, едва ли имѣла здѣсь большое вліяніе: Бѣлинскій зналъ ее и раньше, и относился къ ней равнодушно или враждебно [2]); теперь его мнѣніе о ней перемѣнилось совершенно такъ же, какъ мнѣніе о Шиллерѣ, какъ вообще перемѣнилось мнѣніе о «нѣмцахъ» и «французахъ».

Отъ французовъ Бѣлинскій переходитъ въ письмѣ къ литературнымъ предметамъ:

«Кстати, какую гадость написалъ Лермонтовъ о французахъ и Наполеонѣ [3])—то ли дѣло Пушкина Наполеонъ. И не стыдно ли

---

[1]) Рядъ переводовъ изъ Ж. Занда начинается въ «Отеч. Зап.» съ 1842: «Орасъ», «Мельхіоръ», «Андре», «Домашній секретарь», «Жакъ» и пр.

[2]) Первые переводы изъ Ж. Занда явились еще въ журналахъ тридцатыхъ годовъ.

[3]) Въ «От. Зап.» 1841, кн. 5. было напечатано «Послѣднее Новоселье».

было твоему любезному Рётшеру (написать) такую гадость о Шекспирѣ и (если это точно шекспировская драма) объективное изображеніе принять за субъективный взглядъ. Это значитъ изъ великаго Шекспира сдѣлать маленькаго Рётшера. Пигмеи всѣ эти гегелята!»

Бѣлинскій, съ свойственнымъ ему жаромъ, возстаетъ противъ «Генриха VI», или собственно противъ изображенія Анны д'Аркъ, которая сдѣлана здѣсь колдуньею и развратною женщиной. Онъ приписываетъ это вліянію англійскаго національнаго характера, и восклицаетъ съ негодованіемъ: «да будетъ проклята всякая народность, исключающая изъ себя человѣчность!» Впослѣдствіи Боткинъ повторилъ это осужденіе шекспировскаго изображенія Анны д'Аркъ [1]).

Печатаніе статьи о Петрѣ Великомъ шло неблагополучно. Выше упомянуто, что́ случилось съ первой статьей. Въ концѣ второй статьи [2]) въ журналѣ замѣчено было, что «предположеннаго продолженія статей о «Дѣяніяхъ Петра Великаго», по независящимъ отъ редакціи причинамъ, не будетъ». Въ письмѣ Бѣлинскій говоритъ объ этомъ:

«Въ «О. З.» напечатана моя вторая статья о Петрѣ Великомъ; въ рукописи это точно о Петрѣ Великомъ, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но въ печати — это рѣчь о проницаемости природы и склонности человѣка къ чувствамъ забвенной меланхоліи. Ее исказилъ весь цензурный синедріонъ соборнѣ. Ея напечатана только треть и смыслъ весь выключенъ, какъ опасная и вредная для Россіи вещь. Вотъ до чего мы дожили: намъ нельзя хвалить Петра Великаго. Да, здравствуетъ Погодинъ и Шевыревъ — вотъ люди-то! Да здравствуетъ Москвитянинъ — вотъ журналъ-то! Ну, да къ чорту ихъ всѣхъ!»...

Замѣтимъ, что въ двухъ напечатанныхъ статьяхъ рѣчь идетъ только о Россіи до Петра Великаго, такъ что къ самому предмету авторъ не могъ и приступить: уцѣлѣло только нѣсколько общихъ замѣчаній.

Въ концѣ письма Бѣлинскій проситъ Боткина прочесть «въ его воспоминаніе» пьесу Беранже: «Hâtons-nous». Теперь онъ очень высоко цѣнитъ Беранже, о которомъ онъ и его друзья отзывались съ пренебреженіемъ во времена «Наблюдателя»: — это «французскій Шиллеръ», бичъ преданія, защитникъ свободы гражданской

---

[1]) «Шекспиръ какъ человѣкъ и лирикъ», «Отеч. Зап.» 1842, кн. 9.
[2]) «Отеч. Зап.» 1841, № 6, Крит., стр. 18. Сочин., т. IV, стр. 403.

и свободы мысли. Въ Петербургѣ появилось тогда новое изданіе его пѣсенъ, и Бѣлинскій рекомендуетъ своему другу прочесть стихотвореніе: «Adieu, chansons!» которое привело его самого въ восторгъ.

Наконецъ, онъ извѣщаетъ Боткина, что на-дняхъ долженъ уѣхать изъ Петербурга (въ Новгородъ) Герценъ, о которомъ теперь онъ говоритъ съ величайшей привязанностью: «благородная личность—мало такихъ людей на землѣ»...

Въ тотъ же день (28 іюня) Бѣлинскій писалъ Кудрявцеву: часть письма состоитъ въ восторженныхъ похвалахъ повѣсти Кудрявцева «Звѣзда», незадолго передъ тѣмъ напечатанной [1]). Бѣлинскій продолжалъ быть самаго высокаго мнѣнія о талантѣ Кудрявцева.

«Какая оригинальность, какой совершенно новый міръ, какой фантастическій флеръ наброшенъ на дѣйствіе, какіе характеры, что за дивное созданіе эта бѣдная, болѣзненная дѣвушка. Ваше фантастическое я ставлю выше гофмановскаго—оно взято изъ дѣйствительнаго міра. Вы открываете новую сторону русской жизни»...

Затѣмъ, повторенъ тотъ же отзывъ о «Послѣднемъ Новосельѣ» Лермонтова:

«Какую дрянь написалъ Лермонтовъ о Наполеонѣ и французахъ—жаль думать, что это Лермонтовъ, а не Хомяковъ. Но сколько роскоши въ «Спорѣ Казбека съ Эльбрусомъ», хотя въ цѣломъ мнѣ и не нравится эта пьеса, и хотя въ ней есть стиха четыре плохихъ».

Письмо отъ 8 сентября, очень длинное, писано послѣ долгаго промежутка молчанія, какъ говоритъ самъ Бѣлинскій въ началѣ его,—такъ что здѣсь, повидимому, нѣтъ перерыва въ нашемъ матеріалѣ. Быть можетъ, вслѣдствіе этого долгаго молчанія или по какому-нибудь другому обстоятельству, но Боткинъ возымѣлъ мысль, что другъ его къ нему охладѣлъ; признакомъ охлажденія ему еще раньше показалось то, что Бѣлинскій (въ приведенномъ выше письмѣ) вспоминалъ объ ихъ старыхъ раздорахъ, о «темномъ времени» ихъ жизни. «Боткинъ, перекрестись,—что ты, Христосъ съ тобою», отвѣчаетъ на это Бѣлинскій: «ты боленъ... и тебѣ видятся дурные сны». Не писалъ онъ только потому, что былъ не въ духѣ, или некогда, или лѣнь; если заговорилъ о старыхъ временахъ, — то нимало не думалъ въ чемъ-нибудь упрекать Боткина, потому что столько же

---

[1]) «Отеч. Зап.» 1841, № 3.

можно было бы упрекнуть и его самого; онъ хотѣлъ только указать на ихъ прежнее развитіе, какъ оно представляется ему теперь, и какъ оно отражается своими послѣдствіями на ихъ настоящемъ.

Онъ возвращается опять къ этимъ старымъ воспоминаніямъ, и мы имѣемъ въ его словахъ его собственное историческое сужденіе объ ихъ прежнемъ развитіи. Свое настоящее настроеніе онъ изображаетъ такъ:

«Ты знаешь мою натуру; она вѣчно въ крайностяхъ... Я съ трудомъ и болью разстаюсь со старою идеею, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности,—это идея *соціализма*, которая стала для меня идеею идей... альфою и омегою вѣры и знанія... Она (для меня) поглотила и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни»...

Въ прежнія времена,—говоритъ онъ,—они дружились и ссорились, жили, влюблялись—по теоріи, по книгѣ, непосредственно и сознательно. Въ этомъ была ложная сторона ихъ жизни и отношеній. Они и винили себя за это, но лучше не было, да и не будетъ. «Любимая (и разумная) мечта наша постоянно была—возвести до дѣйствительности всю нашу жизнь и наши взаимныя отношенія, и что́ же? мечта была мечтой и останется ею». Но, по мнѣнію Бѣлинскаго, имъ все-таки не въ чемъ винить себя, и онъ объясняетъ ихъ настоящее отношеніе къ дѣйствительности и къ обществу—въ томъ же смыслѣ, какъ въ приведенномъ выше письмѣ 27 іюня:

«Дѣйствительность возникаетъ на почвѣ, а почва всякой дѣйствительности — общество. Общее безъ особеннаго и индивидуальнаго дѣйствительно только въ чистомъ мышленіи, а въ живой, видимой дѣйствительности оно—...мертвая мечта. Человѣкъ—великое слово, великое дѣло, но тогда, когда онъ французъ, нѣмецъ, англичанинъ, русскій. А русскіе ли мы?... Нѣтъ, общество смотритъ на насъ какъ на болѣзненные наросты на своемъ тѣлѣ; а мы на общество смотримъ какъ на... [1]). Общество право, мы еще правѣе»...

Общество живетъ извѣстною суммою общихъ убѣжденій и интересовъ, и общества европейскія, въ бо́льшей или меньшей степени, имѣютъ свои общественные интересы, въ которыхъ всѣ члены ихъ могутъ чувствовать свое родство, свое нравственное, разумное единство. Оглядываясь на отношеніе своего кружка́ къ русскому

[1]) Опускаемъ рѣзкія обличительныя выраженія.

обществу, Бѣлинскій не видитъ этого родства и единства, и приходитъ къ печальному выводу:

«Безъ цѣли нѣтъ дѣятельности, безъ интересовъ нѣтъ цѣли, а безъ дѣятельности нѣтъ жизни. Источникъ интересовъ, цѣлей и дѣятельности — субстанція общественной жизни. Ясно ли, логически ли, вѣрно ли? Мы люди безъ отечества—нѣтъ, хуже, чѣмъ безъ отечества: мы люди, которыхъ отечество—призракъ, и диво ли, что сами мы — призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремленія, наша дѣятельность—призракъ?...

Это было тяжелое сознаніе, къ которому приводило его знакомство съ настоящей дѣйствительностью. Бѣлинскій открывалъ страшный разладъ между ихъ самыми дорогими стремленіями и средой, гдѣ имъ суждено было жить и дѣйствовать... Оттого не удавалась и ихъ личная жизнь, исполненная идеальныхъ порывовъ и горькихъ разочарованій... «Станкевичъ былъ выше по натурѣ обоихъ насъ, и та же исторія», т.-е. и его жизнь была рядомъ несбывшихся мечтаній. «Есть люди,—разсуждаетъ Бѣлинскій,—которыхъ жизнь не можетъ проявиться ни въ какую форму, потому что лишена всякаго содержанія», — у нихъ, напротивъ: для содержанія ихъ жизни нѣтъ готовыхъ формъ ни у общества, ни у времени. Но Бѣлинскій, ясно сознавая разрывъ ихъ съ обществомъ, сознавалъ также, что это содержаніе есть ихъ сила, ихъ нравственное достоинство, что имъ создавалось ихъ возникающее вліяніе въ литературѣ и обществѣ. Онъ съ нѣкоторой гордостью говоритъ (какъ позднѣе сказалъ то же самое другой замѣчательный человѣкъ этого круга—даже въ болѣе сильныхъ выраженіяхъ), что еще не видалъ въ русской жизни другихъ людей съ такими нравственно-общественными силами и требованіями:

«Я встрѣчалъ и внѣ нашего кружка людей прекрасныхъ, которые дѣйствительнѣе насъ; но нигдѣ не встрѣчалъ людей съ такою ненасытимою жаждою, съ такими огромными требованіями на жизнь, съ такою способностію самоотреченія въ пользу идеи, какъ мы. Вотъ отчего *все къ намъ льнетъ*, все подлѣ насъ *измѣняется*»... [1]).

Переводя опять на ихъ старый техническій языкъ свое положеніе въ русскомъ обществѣ и роль своихъ идей въ средѣ господствующихъ понятій, Бѣлинскій находитъ, что эта роль и положеніе есть—«призрачность»:

---

[1]) Курсивъ не въ подлинникѣ.

«Форма безъ содержанія — пошлость, часто довольно благовидная; содержаніе безъ формы — уродливость, часто поражающая трагическимъ величіемъ, какъ миѳологія древне-германскаго міра. Но эта уродливость—какъ бы ни была она величественна,—она—содержаніе безъ формы, слѣд., не дѣйствительность, а призрачность».

Возвращаясь къ исторіи ихъ дружбы, Бѣлинскій напоминаетъ Боткину, какъ, бывало, надоѣдали они другъ другу толками о своихъ чувствахъ и влеченіяхъ (впрочемъ, въ ту минуту очень для нихъ серьезныхъ), и такъ дополняетъ свое объясненіе ихъ прежняго идеализма:

«Видишь ли, въ чемъ дѣло, душа моя: непосредственно поняли мы, что въ жизни для насъ нѣтъ жизни [1]), а такъ какъ по своимъ натурамъ безъ жизни мы не могли жить, то и ударили со всѣхъ ногъ въ книгу, и по книгѣ стали жить и любить, изъ жизни и любви сдѣлали для себя занятіе, работу, трудъ и заботу. Между тѣмъ, наши натуры всегда были выше нашего сознанія, и потому намъ слушать другъ отъ друга одно и тоже становилось и скучно, и пошло, и мы другъ другу смертельно надоѣдали. Скука переходила въ досаду, досада во враждебность, враждебность въ раздоръ»...

Раздоръ всегда нѣсколько освѣжалъ ихъ, какъ будто они становились умнѣе, запасались новымъ содержаніемъ; но запасъ опять истощался, они возвращались къ личнымъ вопросамъ, и «какъ манны небесной алкали *объективныхъ интересовъ*», но ихъ не было, и жизнь ихъ оставалась прекраснымъ содержаніемъ безъ всякаго опредѣленія, т.-е. чистой отвлеченностью. Бѣлинскій успокаиваетъ своего друга, что, объясняя это, онъ вовсе не хотѣлъ бросить тѣнь неудовольствія на ихъ старыя отношенія, а напротивъ, пролить на нихъ примирительный свѣтъ сознанія, — не обвинить его или себя, а оправдать.

«Ища исхода,—продолжаетъ Бѣлинскій,—мы съ жадностію бросились въ обаятельную сферу германской созерцательности и думали мимо окружающей насъ дѣйствительности создать себѣ очаровательный, полный тепла и свѣта, міръ внутренней жизни. Мы не понимали, что эта внутренняя, созерцательная субъективность составляетъ объективный интересъ германской національности, есть для нѣмцевъ то же, что соціальность для французовъ. Дѣйствительность разбудила насъ, и открыла намъ глаза, но для чего... Лучше бы закрыла она намъ ихъ навсегда, чтобы тревожныя стремленія жаднаго жизни сердца утолить сномъ ничтожества...

Но третій ключъ — холодный ключъ забвенья —
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ»...

---

[1]) Т.-е., что въ жизни обыденной для нихъ нѣтъ идеальнаго интереса.

Во второй половинѣ этого длиннаго письма Бѣлинскій останавливается на той «соціальной идеѣ», которая стала для него «идею идеей». Для избѣжанія недоразумѣній надо замѣтить, что Бѣлинскій употребляетъ это слово не въ томъ спеціальномъ смыслѣ «соціализма», котораго настоящимъ приверженцемъ не бывалъ (какъ это нѣкоторые утверждали, особенно, желая тѣмъ сдѣлать ему лишній попрекъ) и, конечно, мало вникалъ въ его теоретическія построенія; а хочетъ только сказать, что вообще его господствующимъ интересомъ сталъ вопросъ объ обществѣ. Изъ тогдашняго соціализма производила на него впечатлѣніе именно та критическая точка зрѣнія, съ которой самъ Бѣлинскій начиналъ наблюдать общественную жизнь и устройство.

Слѣдующая цитата даетъ еще одинъ образчикъ того, какъ дѣйствовали на Бѣлинскаго явленія общественности:

«Соціальность... вотъ девизъ мой,—говоритъ онъ въ томъ же письмѣ.—Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи? Что мнѣ въ томъ, что *я* понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними по Христѣ, но кто—мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братіями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извощика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ-мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу, подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло, и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла!.. И это общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности,.. И послѣ этого имѣетъ ли право *человѣкъ* забываться въ искусствѣ, въ знаніи! [1]). Я ожесточенъ противъ всѣхъ субстанціальныхъ началъ, связывающихъ въ качествѣ вѣрованія волю человѣка! Отрицаніе — мой Богъ. Въ исторіи мои герои — разрушители стараго—Лютеръ, Вольтеръ, энциклопедисты, террористы, Байронъ (Каинъ) и т. п. Разсудокъ для меня теперь выше разумности (ра-

[1]) Еще базаровская черта въ сороковыхъ годахъ.

зумѣется — непосредственной) и потому мнѣ отраднѣе кощунства Вольтера, чѣмъ признаніе авторитета религіи, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средніе вѣка — великая эпоха, понимаю святость, поэзію, грандіозность религіозности среднихъ вѣковъ; но мнѣ пріятнѣе XVIII вѣкъ—эпоха паденія религіи: въ средніе вѣка жгли на кострахъ еретиковъ, вольнодумцевъ, колдуновъ; въ XVIII—рубили на гильотинѣ головы аристократамъ, попамъ и другимъ врагамъ Бога, разума и человѣчности. И настанетъ время — я горячо вѣрю этому, настанетъ время, когда никого не будутъ жечь, никому не будутъ рубить головы, когда преступникъ, какъ милости и спасенія, будетъ молить себѣ казни, и не будетъ ему казни, но жизнь останется ему въ казнь, какъ теперь смерть; когда не будетъ безсмысленныхъ формъ и обрядовъ, не будетъ договоровъ и условій на чувство, не будетъ долга и обязанностей, и воля будетъ уступать не волѣ, а одной любви; когда не будетъ мужей и женъ, а будутъ любовники и любовницы, и когда любовница придетъ къ любовнику и скажетъ: «я люблю другого», любовникъ отвѣтитъ: «я не могу быть счастливъ безъ тебя, я буду страдать всю жизнь; но ступай къ тому, кого ты любишь», и не приметъ ея жертвы, если по великодушію она захочетъ остаться съ нимъ, но подобно Богу скажетъ ей: хочу милости, а не жертвы... Женщина не будетъ рабою общества и мужчины, но, подобно мужчинѣ, свободно будетъ предаваться своей склонности, не теряя добраго имени, это(го) чудовища—условнаго понятія. Не будетъ богатыхъ, не будетъ бѣдныхъ, ни царей и подданныхъ, но будутъ братья, будутъ люди, и по глаголу апостола Павла, Христосъ дастъ свою власть Отцу, и Отецъ-Разумъ снова воцарится, но уже въ новомъ небѣ и надъ новою землею. Не думай, чтобы я мыслилъ разсудочно: нѣтъ, я не отвергаю прошедшаго, не отвергаю исторіи—вижу въ нихъ необходимое и разумное развитіе идеи; хочу золотого вѣка, но не прежняго, безсознательнаго, животнаго золотого вѣка, но приготовленнаго обществомъ, законами, бракомъ, словомъ, всѣмъ, что было въ свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло».

Это было общее впечатлѣніе, изъ котораго развивались его взгляды на общество. Выше были указаны примѣры того, какъ измѣнялись и мнѣнія Бѣлинскаго объ искусствѣ подъ вліяніемъ той же мысли о правѣ личности. Вотъ еще примѣръ, относящійся къ его давнему любимцу, Кудрявцеву:

«Что за дивная повѣсть Кудрявцева [1], — какое мастерство, какая художественность — и все-таки эта повѣсть не понравилась мнѣ. Начинаю бояться за себя—у меня рождается какая-то враждебность противъ *объективныхъ* созданій искусства. Въ другое время поговорю объ этомъ побольше... Поклонись милому Петру Николаевичу — вотъ еще человѣкъ, къ которому любовь моя похожа на страсть»...

---

[1]) Бѣлинскій говоритъ, вѣроятно, о новой повѣсти Кудрявцева «Цвѣтокъ», въ «Отеч. Зап.» 1841, кн. 9.

Это—послѣднее письмо къ Боткину отъ 1841 г., какія есть въ нашемъ матеріалѣ [1].

Чтобы закончить исторію этого года, приводимъ еще нѣсколько цитатъ изъ переписки Бѣлинскаго съ другими лицами, гдѣ съ новыхъ сторонъ или съ новыми подробностями освѣщается его внутренняя жизнь.

Таково, напр., письмо отъ 3 августа, писанное къ одному изъ самыхъ давнихъ московскихъ друзей, Н. Х. Кетчеру (стоявшему, впрочемъ, въ сторонѣ отъ идеалистическихъ мечтаній кружка, и въ московскія времена болѣе связанному съ другой фракціей «западнаго» направленія), гдѣ Бѣлинскій, между прочимъ, съ желчными шутками разсказываетъ петербургскія литературныя новости и слухи, и спрашиваетъ о московскихъ. Мы можемъ привести лишь нѣкоторые отрывки.

«Вотъ тебѣ нѣсколько новостей. Лермонтовъ убитъ наповалъ—на дуэли. Оно и хорошо: былъ человѣкъ безпокойный, и писалъ хоть хорошо, но безнравственно,—что̀ ясно доказано Шевыревымъ и Бурачкомъ. Въ замѣнъ этой потери Булгаринъ все молодѣетъ и здоровѣетъ а Межевичъ подаетъ надежду превзойти его и въ талантѣ и въ добрѣ. Ѳ. В. ругаетъ Пушкина печатно, доказываетъ, что Пушкинъ былъ подлецъ, а цензура, вѣрная волѣ Уваровъ, мараетъ въ «О. З.» все, что пишется въ нихъ противъ Булгарина и Греча. Литература наша процвѣтаетъ, ибо явно начинаетъ укл[illegible]няться отъ гибельнаго вліянія лукаваго Запада... Уваровъ торжеству[illegible]ъ и, гово-

---

[1] Въ «Вѣстникѣ Европы» (1875, февр., 618) мы сдѣлали п[illegible]дположеніе, что промежутокъ въ перепискѣ за это время можетъ объяснять[illegible] тѣмъ, что Боткинъ повидимому сдѣлалъ въ это время поѣздку заграницу. [illegible]то послѣднее мы думали потому, что въ «Отеч. Зап.» 1842, кн. 4, смѣсь, стр. 97—100. помѣщено «Письмо изъ Италіи», съ подписью В. Б-нъ и съ помѣткой изъ Рима, 1841, 29 октября.

Но этой поѣздки не было и помѣта была поставлена произвольно. Объясненіе мы находимъ въ письмѣ Боткина въ редакцію «Отеч. Зап.» въ началѣ 1842. Письмо Боткина любопытно для его біографіи.

«Посылаю вамъ старые грѣхи мои. Римъ Гоголя (онъ явился тогда въ «Москвитянинѣ») расшевелилъ меня и мнѣ хотѣлось бы, чтобы и моя дрянь была напечатана. Посмотрите, можетъ быть, она годится въ смѣсь. Когда я пріѣхалъ въ Римъ, мой образъ мыслей находился подъ вліяніемъ сенъ-симонизма; отсюда вамъ понятна будетъ и фатальность моего тогдашняго созерцанія. Искусства я тогда не понималъ — а впервые лишь почувствовалъ его въ Италіи—особенно въ Римѣ. Не отъ этого ли я привязанъ къ нему всѣми силами души моей. То, что̀ посылаю, писано въ 1835. Но я нарочно выставилъ прошлый годъ—а то неловко подчивать такими отсталыми импрессіями. Боюсь, цензура вычеркнетъ о христіанствѣ, — если ужъ сильно исказитъ, лучше бросить»...

рять, пишетъ проектъ, чтобы всю литературу и всѣ кабаки отдать на откупъ Погодину... Однимъ словомъ, будущность блеститъ всѣми семью цвѣтами радуги... Жалко видѣть это глупое броженіе мірскихъ суетъ и отрадно читать статьи Погодина, Бурачка и Шевырева. Богъ явно за насъ—вѣдь онъ любитъ смиренныхъ и противится гордымъ. Національность малороссійская процвѣтаетъ и укрѣпляется.

«Прочтя «Ластовку» и «Снипъ» [1]) я понялъ все достоинство борща, сала и галушекъ. Жаль, что умеръ Шишковъ—многаго мы лишились. Безъ него академія россійская осиротѣла, и съ горя спилась съ кругу [2])...

«Статья Герцена—прелесть... Давно уже я не читалъ ничего, что бы такъ восхитило меня. Это человѣкъ, а не рыба: люди живутъ, а рыбы созерцаютъ и читаютъ книжки, чтобы жить совершенно напротивъ тому, какъ писано въ книжкахъ. У меня страшная охота сдѣлаться рыболовомъ и варить уху [3]). Пишу диссертацію, въ которой доказываю, что... національность выше образованія, просвѣщенія, истины и свободы...

«Цензура не пропустила въ моей статьѣ о Пушкинѣ (3 т.) заглавіе пушкинской статьи «О мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ...» [4]). Боясь доносовъ Погодина и Шевырева, цензоръ не хочетъ пропускать ни слова противъ Москвитянина»...

Дальше мы будемъ имѣть случай говорить объ антипатіи Бѣлинскаго къ возникавшей тогда малорусской литературѣ, антипатіи, которая такъ рѣзко выразилась въ этомъ письмѣ...

Еще два любопытныя письма 1841 г. писаны Бѣлинскимъ къ тому молодому другу, Н. Бакунину, съ которымъ онъ познакомился вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ. Молодой другъ уѣхалъ потомъ изъ Петербурга, и Бѣлинскій только изрѣдка видался съ нимъ. Бѣлинскій возымѣлъ къ нему самую теплую привязанность, о которой свидѣтельствуетъ и небольшая извѣстная намъ переписка съ этимъ лицомъ. Молодой другъ стоялъ совершенно внѣ развитія кружка, слѣдовательно, и внѣ его фантастическихъ увлеченій; но, свободный

---

[1]) Малорусскіе альманахи того времени. Разборъ «Ластовки» въ № 6 «От. Зап.» 1841 (Сочин., т. V, стр. 306). По всей вѣроятности Бѣлинскимъ написана и рецензія на «Снипъ» въ библіографической хроникѣ 8-й книжки, но не помѣщенная въ изданіи и не упомянутая въ спискѣ (т. V).

[2]) Россійская академія, по смерти Шишкова въ этомъ году, была закрыта и вмѣсто нея, какъ извѣстно, черезъ нѣсколько времени образовано было нынѣшнее II отдѣленіе Академіи наукъ. Репутація Россійской академіи за послѣдніе годы ея существованія довольно извѣстна.

[3]) Онъ разумѣетъ статью «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка». «Отеч. Зап.», 1841, кн. 8, стр. 161—188.

[4]) Рецензія томовъ IX, X, XI Сочиненій Пушкина въ 8-й книгѣ «Отеч. Зап.» (Соч. т. V, стр. 319—331).

отъ нихъ, молодой другъ имѣлъ свой идеализмъ, идеализмъ юности и характера, и вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстную долю того простого чувства дѣйствительности, которое—въ началѣ петербургской жизни Бѣлинскаго — въ особенности казалось послѣднему великой заслугой; были наконецъ и еще отношенія, которыя сближали Бѣлинскаго съ Н. Бакунинымъ. Въ началѣ 1841, Бѣлинскій пишетъ къ нему и, разсказывая ему о себѣ, изображаетъ ту перемѣну, которая произошла внутри его, и, какъ человѣкъ, испытанный жизнью, хочетъ предупредить молодого друга отъ увлеченій и печальныхъ разочарованій. Оба письма его къ Н. Бакунину, проникнутыя дружескимъ чувствомъ и иногда горькою шуткой, могутъ служить какъ заключительный выводъ этого критическаго періода жизни Бѣлинскаго.

«Увы! какъ много утекло воды съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ вами—пишетъ онъ, отъ 6 апрѣля.—Вы не узнали бы меня, встрѣтившись со мною. Лицо мое все тоже: апатическое всего чаще, бѣшеное и страстное иногда, и одушевленное тихою грустью очень рѣдко; все также рѣзки его черты, и также некрасиво оно, но я, мой образъ мыслей,—нѣтъ, иной и въ сорокъ лѣтъ не можетъ измѣниться до такой степени! Какъ бы горячо прижалъ я къ сердцу благороднаго П. Ѳ. З-а, какъ поняли бы мы теперь другъ друга! Я мучилъ его моими дикими убѣжденіями, занятыми по слухамъ у гегелизма, въ которомъ, и не перевранномъ, такъ много кастратскаго, т.-е. *созерцательнаго* или *философскаго,* противоположнаго и враждебнаго живой дѣйствительности... Да, теперь уже не Гегель, не философскіе колпаки — мои герои; самъ Гёте великъ какъ художникъ, но отвратителенъ какъ личность; теперь снова возникли передо мною во всемъ блескѣ лучезарнаго величія колоссальные образы Фихте и Шиллера, этихъ пророковъ человѣчности (гуманности), этихъ провозвѣстниковъ царства Божія на землѣ, этихъ жрецовъ вѣчной любви и вѣчной правды, не въ одномъ книжномъ сознаніи и браминской созерцательности, а въ живомъ и разумномъ *That*. Художественная точка зрѣнія довела-было меня до послѣдней крайности, нелѣпости, и я не шутя было убѣдился, что французская литература вздоръ, а о самихъ французахъ сталъ думать точь-въточь какъ думаютъ о нихъ наши богомольныя старухи. Но это только одна сторона моего измѣненія, и сторона хорошая; есть другая сторона — грустная. Я уже не та экстатическая прекрасная душа, которая, обливаясь кровавыми слезами, избичеванная внутренними и внѣшними бѣдами, оскорбленная въ самыхъ законныхъ и святыхъ стремленіяхъ и желаніяхъ, клялась и увѣряла всѣхъ и каждаго, а вмѣстѣ и себя, что жизнь—блаженство, и что лучше жизни нѣтъ ничего на свѣтѣ. Опытъ сорвалъ покровъ съ жизни — и я увидѣлъ румяна на очаровательныхъ щекахъ этого призрака, увидѣлъ, что объ руку съ нимъ идетъ смерть и тлѣніе,—противорѣчіе. Она хороша для тѣхъ, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я безкорыстно

курилъ ей ѳиміамъ, какъ Донъ-Кихотъ своей Дульцинеѣ... Было время когда я не могъ безъ бѣшенства слышать выраженія сомнѣнія о прочности и вѣчности любви на землѣ; мнѣ было досадно встрѣчать у Пушкина веселыя похвалы непостоянству или горькія жалобы на слабость человѣческаго сердца; а теперь эти стихи Лермонтова для меня тоже, что для набожнаго мусульманина стихи изъ алкорана:

Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки,
И своенравія любви?

«Томясь по прежнему танталовскою жаждою любви, я въ то же время никакъ не могу понять для себя возможности любить больше года женщину, какъ бы ни была она прекрасна и какъ бы ни любила меня. Да, мы всѣ герои въ извѣстныя лѣта жизни, когда бываемъ *глуздырями*, но, сдѣлавшись людьми, сознаемъ свое ничтожество. Было время, когда женщина была для меня божествомъ и мнѣ какъ-то странно было думать, что она можетъ снизойти до любви къ мужчинѣ, хотя бы онъ былъ геній; а теперь — это уже не божество, а просто женщина, ни больше, ни меньше, существо, на которое я не могу не смотрѣть съ нѣкотораго рода сознаніемъ своего превосходства, которое основывается не на моей личности, а только на моемъ званіи мужчины. Хороши и мы, но *онѣ* еще лучше... [Слѣдуетъ весьма враждебная характеристика женщинъ]. Да, какъ попристальнѣе и поглубже всмотришься въ жизнь, то поймешь и монашество, и схиму, и желаніе смерти. Я часто желаю смерти, и мысль о ней ужъ болѣе умиряетъ и грустно утѣшаетъ меня, чѣмъ пугаетъ и мучитъ. Все ложь и обманъ, все—кромѣ наслажденія—и кто уменъ—будучи молодъ и крѣпокъ, тотъ возьметъ полную дань съ жизни, и въ лѣта разочарованія у него будетъ богатый запасъ воспоминаній... Вся тайна—смотрѣть на вещи какъ можно проще и легче... Надоѣло—ищите другихъ... Я говорю по опыту; малаго я не хотѣлъ, а лишился всего, и нечѣмъ помянуть юность. Назади и впереди — пустыня, въ душѣ—холодъ, въ сердцѣ—перегорѣлыя уголья, которые и въ самоваръ не годятся:

Въ душѣ страсти огонь
Разгорался не разъ,
Но въ безплодной тоскѣ
Онъ сгорѣлъ и погасъ.

«Да, ни одного образа, который бы я могъ назвать *своимъ* и *милымъ*, я одинъ въ мірѣ, мое сердце ни для кого не бьется, потому что для него не билось ни одно сердце:

Всѣмъ постылый, чужой,
Никого не любя,
Въ мірѣ странствую я,
Какъ вампиръ гробовой.

«Я очерствѣлъ, огрубѣлъ, чувствую на себѣ ледяную кору... Внутри все оскорблено и ожесточено; въ воспоминаніи, одни промахи, глупости, униженіе, поруганное самолюбіе, безплодные порывы, безумныя желанія. Я никого, впрочемъ, не виню въ этомъ, кромѣ себя самого и еще судьбы. Такова участь всѣхъ людей съ напряженною фантазіею, которые не довольствуются землею и рвутся въ облака. Мой примѣръ долженъ быть для васъ поучителенъ. Спѣшите жить, пока живется»...

Другое письмо къ тому же лицу писано отъ 9 декабря. Мы видѣли, что къ этому времени взгляды Бѣлинскаго окончательно приняли новое направленіе; но въ его душѣ до сихъ поръ оставался болѣзненный слѣдъ разочарованій... Бѣлинскій говоритъ о нѣкоторыхъ прежнихъ привязанностяхъ, еще сохранявшихъ надъ нимъ свою силу,—и замѣчаетъ: «Видите ли, я все тотъ же, что̀ и былъ, все та же *прекрасная душа*, безумная и любящая». Сердце его страдаетъ не отъ недостатка жизни внутренней, а отъ ея избытка, не находящаго себѣ пищи во внѣ. Въ этихъ словахъ онъ разумѣетъ не только свою личную жизнь, — отсутствіе личнаго счастія, — но всю свою дѣятельность:

«Обаятеленъ міръ внутренній,—продолжаетъ онъ,—но, безъ осуществленія во внѣ, онъ есть міръ пустоты, миражей, мечтаній. Я же не принадлежу къ числу чисто-внутреннихъ натуръ, я столь же мало внутренній человѣкъ, какъ и внѣшній, я стою на рубежѣ этихъ двухъ великихъ міровъ. Недостатокъ внѣшней дѣятельности для меня не можетъ вознаграждаться внутреннимъ міромъ, и по этой причинѣ внутренній міръ—для меня источникъ однихъ мученій, холода, апатіи, мрачная и душная тюрьма. Сердце мое еще не отказалось отъ вѣры въ жизнь, ни отъ мечтаній; но сознаніе мое покоряетъ сердце...; для моего же сознанія, жизнь равна смерти, смерть — жизни, счастіе — несчастію, и несчастіе — счастію, потому что все это призраки, создаваемые субъективною настроенностію нашего духа въ ту или другую минуту, а сами мы — исчезающія волны рѣки, тѣни преходящія. Я не вѣрю моимъ убѣжденіямъ, и не способенъ измѣнить имъ; я смѣшнѣе Донъ-Кихота: тотъ, по крайней мѣрѣ, отъ души вѣрилъ, что онъ рыцарь, что онъ сражается съ великанами, а не мельницами, и что его безобразная и толстая Дульцинея—красавица; а я знаю, что я не рыцарь, а сумашедшій,— и все-таки рыцарствую; что я сражаюсь съ мельницами — и все-таки сражаюсь; что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и гнусна, а все-таки люблю ее, на зло здравому смыслу и очевидности. Но вы не поймете этого... Вы живете въ мірѣ мечтательномъ -- и вы счастливы. Но я не завидую вашему счастію, но жалѣю васъ въ немъ. Міръ мечтаній -- міръ призраковъ и миражей;—и кто упорно остается въ немъ на всю жизнь, тотъ или дѣлается ограниченнымъ человѣкомъ или погибаетъ страшно. Для меня нѣтъ ужаснѣе мысли, какъ остаться у жизни въ дуракахъ... пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвѣчать проклятіями: это

лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать какъ ребенка. Гёте сравнилъ мужа съ кораблемъ, презирающимъ ярость волнъ и бури—прекрасное сравненіе! Такъ вонъ же изъ мирной и тихой пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая, да квакающія лягушки, дальше отъ нихъ туда, гдѣ только волны да небо, предательскія волны, предательское небо! Конечно, разсудокъ говоритъ, что гдѣ бы ни утонуть,—все равно, но я лучше хотѣлъ бы утонуть въ морѣ, чѣмъ въ лужѣ. Море — это дѣйствительность; лужа—это мечты о дѣйствительности. Вы, о, мой птенецъ неоперенный хотя и съ перомъ въ трехъуголкѣ! ушли отъ жизни въ свой маленькій родственный кружокъ: боюсь за васъ. Въ этомъ кружкѣ хорошо быть гостемъ и отдыхать отъ борьбы съ жизнію, но не жить въ немъ. Всякій кружокъ ведетъ къ исключительности и какой-то странной оригинальности: рождаются свои манеры, свои привычки, свои слова, любезныя для кружка, странныя, непонятныя и непріятныя для другихъ. Но это бы еще ничего: хуже всего то, что люди кружка дѣлаются чужды для всего, что внѣ ихъ кружка, а все это — имъ. Я сужу по собственному опыту. Нашъ кружокъ былъ обширнѣе вашего, характеры и личности разнообразнѣе, ибо тутъ сошлись люди не родные, не односемейные, а со всѣхъ 4-хъ сторонъ свѣта; но Боже мой! грустно вспомнить объ этой ограниченной исключительности, съ какого мы смотрѣли на весь міръ. Помните ли, любезнѣйшій Н. А., какъ холодно я сошелся съ вами, какъ долго я дичился васъ? А отчего?—Вы были *не нашъ*, вы были въ мундирѣ, не знали нашихъ любимыхъ словъ, не умѣли безпрестанно, хотя бы съ зѣвотою, но говорить объ одномъ высокомъ и прекрасномъ. Я и теперь еще не вполнѣ вылечился отъ этой болѣзни «кружка», но уже—слава Аллаху!—далеко, далеко не таковъ, какимъ вы меня знали, такъ что вамъ, при свиданіи, надо будетъ знакомиться со мною вновь. У всякаго человѣка долженъ быть свой уголокъ, куда бы онъ могъ укрываться отъ ненастья жизни; и вашъ уголокъ особенно прекрасенъ; но уголокъ и долженъ быть уголкомъ, а не міромъ, жизнь же должна быть въ мірѣ».

Въ концѣ 1841 Бѣлинскій надѣялся побывать не надолго въ Москвѣ, и по дорогѣ заѣхать въ деревню Бакуниныхъ, гдѣ у него сохранились самыя дружескія привязанности. Дѣйствительно, въ серединѣ или концѣ зимы ему удалось быть въ Москвѣ и въ деревнѣ, кромѣ того, кажется, и Боткинъ былъ въ Петербургѣ. Для Бѣлинскаго эти поѣздки бѣли очевидно великимъ удовольствіемъ; онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ ихъ, съ сожалѣніемъ разставался съ друзьями.

Первое письмо 1842 года, слѣдующее за вышеприведеннымъ, послано отъ 14 марта въ отвѣтъ на письмо Боткина, привезенное Кульчицкимъ. Бѣлинскій уже познакомился съ нимъ, когда Кульчицкій, въ 1841, пріѣхалъ въ первый разъ въ Петербургъ. Онъ пришелъ къ Бѣлинскому, какъ знакомый человѣкъ; многія понятія его показались Бѣлинскому провинціально-простодушными, но онъ полюбилъ его за умъ и характеръ. Кульчицкій, какъ увидимъ, во-

шелъ въ дружескій кругъ Бѣлинскаго; имя его появилось тогда въ «Отеч. Запискахъ» подъ нѣсколькими стихотвореніями. Теперь Кульчицкій былъ въ Москвѣ и привезъ разсказы о московскомъ кружкѣ: тамъ теперь очень веселились, — и Бѣлинскій начинаетъ свое письмо:

«Боткинъ—чудовище! старый развратникъ, козелъ грѣхоносецъ! Съ ужасомъ прочелъ я нечестивое письмо твое, съ ужасомъ выслушалъ разсказы Кульч. о вашемъ общемъ непотребствѣ, піанствѣ, плотоугодіи, чревонеистовствѣ и прочихъ седьми смертныхъ грѣхахъ! Покайтеся»...

Онъ было собирался ѣхать къ нимъ и веселиться съ ними, но вспоминаетъ, что «гнусный желудокъ» не позволитъ ему этого. «Трагическое распутство!» восклицаетъ онъ, и фантазируетъ опять разгульныя картины на гофмановскую тему: «вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣтъ отзыва!» Разгульное веселье, очевидно, понималось обѣими сторонами еще нѣсколько романтическимъ образомъ; Боткинъ писалъ, что хотѣлъ «лучше замереть въ развратѣ, чѣмъ въ пряничной любви». Бѣлинскому понравились эти слова.

Онъ давно уже сбирался писать къ Боткину, но замѣчаетъ, что «отвращеніе къ перу дѣлается въ немъ какой-то болѣзнію». Онъ бранитъ своего друга за то, что тотъ не узналъ Бѣлинскаго въ одной статьѣ, напечатанной тогда въ «Отеч. Зап.», подъ названіемъ «Педантъ, литературный типъ» [1]) и подъ псевдонимомъ «Петра Бульдогова». Объ этой небольшой статьѣ, которая вызвана была начавшеюся тогда полемикой съ «Москвитяниномъ» и явнымъ образомъ относились къ Шевыреву, Бѣлинскій говоритъ съ шуточной гордостью,—конечно, не по беллетристическому искусству, а по мѣткости полемической. Статья дѣйствительно задѣла за живое противниковъ, для которыхъ имя Бѣлинскаго уже становилось предметомъ ненависти.

«Съ чего ты взялъ,—пишетъ Бѣлинскій отъ 14 марта, прибавляя шуточно-бранный эпитетъ, – смѣшивать мизерную особу И. П. К-ва. съ благородною особою Петра Бульдогова? И какъ ты въ величавомъ образѣ сего часто-упоминаемаго Петра Бульдогова могъ не узнать друга твоего Виссаріона Бѣлинскаго, вѣчно-неистоваго, всегда съ пѣною у рта и поднятымъ вверхъ кулакомъ (для выраженія сильныхъ ощущеній, волнующихъ сего достойнаго человѣка)?... О Б.! Б.! ты обидѣлъ меня, ей-Богу, обидѣлъ!... (Онъ не сердился бы, еслибы Боткинъ разбранилъ самую лучшую его статью,—) но *типъ*, сей первый и робкій опытъ юнаго таланта на совершенно новомъ для него поприщѣ... опытъ, столь удачный, столь блестящій — о Б.! Б.! гдѣ-жъ дружба, гдѣ любовь? Мрачное мщеніе, выходи изъ

[1]) «От. Зап.» 1842, кн. 3, смѣсь, стр. 39—45; Сочин. VI, стр. 485—496.

утробы моей, выставляй змѣиныя жала свои [1]... Нѣтъ, Б., не шутя, я способенъ ко многимъ родамъ сочиненій, когда вдохновляетъ меня злоба. Идея *Педанта* мгновенно блеснула у мена въ головѣ еще въ Москвѣ, въ домѣ М. С. Щепкина, когда Кетчеръ прочелъ тамъ вслухъ статью Шевырки. Еще не зная, какъ и что отвѣчу я, — я, по впечатлѣнію, произведенному на меня доносомъ Шевырки тотчасъ не понялъ, что напишу чтò-то хорошее. Въ Питерѣ, эта штука прошла незамѣченной, «Москвитянина» у насъ никто не читаетъ, Шевырка извѣстенъ какъ миѳъ... А статейка была не дурна, да цензурный комитетъ выкинулъ все объ Италіи и стихи Полевого — злую пародію на стихи Шевырки».

«Педантъ» открываетъ собой ту продолжительную и ожесточенную полемику, которую «западный» кружокъ, и Бѣлинскій въ особенности, вели тогда противъ славянофильства. Здѣсь не мѣсто излагать всю эту полемику, общій смыслъ которой довольно извѣстенъ [2], и мы только будемъ указывать ея факты въ послѣдовательности біографіи.

Съ 1841 началось изданіе «Москвитянина». Главными руководителями его были Погодинъ и Шевыревъ. Бѣлинскій издавна не любилъ ихъ; говорятъ, онъ и лично имѣлъ причины относиться къ нимъ враждебно, — но главной причиной вражды былъ, конечно, ихъ литературный характеръ. Выше было упомянуто, что Бѣлинскій уже съ «Литературныхъ Мечтаній» (когда отзывался о Шевыревѣ еще весьма осторожно) возбудилъ противъ себя раздражительное негодованіе Шевырева. Дѣятельность послѣдняго въ «Моск. Наблюдателѣ» (первой редакціи), поэтическая и критическая, не внушила Бѣлинскому выгоднаго понятія ни о поэзіи, ни о критикѣ Шевырева. Бѣлинскій былъ въ тѣ времена совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ теперь; его тогдашній консервативный идеализмъ могъ бы помириться съ образомъ мыслей будущихъ издателей «Москвитянина»; но здравый смыслъ и вкусъ Бѣлинскаго уже тогда не могли помириться съ странными стихами и не менѣе странными критическими рѣшеніями Шевырева, въ особенности, когда эти рѣшенія высказывались въ тонѣ крайне высокомѣрномъ и самодовольномъ.

Теперь, когда Бѣлинскій достигъ своего новаго образа мыслей, враждебное противорѣчіе возрасло до послѣдняго предѣла: «Москвитянинъ» явился представителемъ цѣлаго взгляда; смыслъ этого взгляда состоялъ въ превознесеніи той «дѣйствительности», которую съ такимъ негодованіемъ отвергалъ Бѣлинскій, въ воз-

---

[1] Фраза изъ какого-нибудь романтическаго романа или драмы.

[2] См. напр. «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы», въ «Современникѣ» 1855—56.

величеніи порядковъ, въ которыхъ онъ видѣлъ чистое зло, въ поклоненіи преданіямъ, за которыми Бѣлинскій оставлялъ только ихъ историческое мѣсто. Взглядъ «Москвитянина» былъ тогда сочтенъ и названъ славянофильскимъ, и журналъ Погодина и Шевырева считался органомъ славянофильства [1]). Съ перваго раза «Москвитянинъ» заявилъ свою тенденцію самымъ рѣшительнымъ образомъ, провозгласивъ противоположность Востока и Запада: Востокъ надѣленъ былъ всѣмъ величіемъ исторіи и настоящаго, Западъ обреченъ гніенію [2]). Невозможно было поставить вопроса русской жизни и образованности болѣе враждебно всему, что было убѣжденіемъ и упованіемъ Бѣлинскаго и его друзей.

Говорить подробно о тенденціяхъ «Москвитянина» было бы здѣсь излишнимъ; довольно сказать, что это былъ одинъ изъ самыхъ близкихъ выразителей того, что мы назвали въ другомъ мѣстѣ оффиціальной народностью. «Москвитянинъ» съ самаго начала выступилъ съ явной тенденціозностью въ этомъ смыслѣ, но общая тема украсилась собственными мыслями о «заразительномъ недугѣ» и «опасномъ дыханіи» Запада, съ которымъ мы дѣлимъ «трапезу», и т. п. Къ этому присоединились и бросавшіеся въ глаза литературные недостатки: эстетическое безвкусіе, критическія странности Шевырева, наконецъ, нападки на направленіе «Отеч. Записокъ», нападки, которыя высказывались иногда въ той неблагополучной формѣ, какую стали тогда обозначать названіемъ «юридическихъ бумагъ», и т. д.

Столкновенія съ «Москвитяниномъ» начались съ перваго же года [3]), и грубый вызовъ сдѣланъ былъ не «Отеч. Записками» и не Бѣлинскимъ. За первымъ озлобленнымъ нападеніемъ послѣдовали другія, отчасти косвенныя, отчасти прямо мѣтившія на Бѣлинскаго, какъ, напр., стихотвореніе «Безыменному Критику», знаменитое въ свое время стихами:

Нѣтъ! твой подвигъ не похваленъ!
Онъ Россіи не привѣтъ!

---

[1]) Впослѣдствіи, собственные славянофилы выдѣлялись изъ солидарности съ «Москвитяниномъ»; но за это время многіе изъ нихъ участвовали въ этомъ журналѣ, и вмѣстѣ съ нимъ ратовали противъ «западнаго» кружка и Бѣлинскаго.

[2]) Гніеніе Запада было торжественно объявлено Шевыревымъ въ его статьѣ «Взглядъ русскаго на современное образованіе Европы» («Москвит.» 1841, № 1, стр. 219—296), представлявшей profession de foi журнала.

[3]) См. «Москвит.» 1841, кн. 6, стр. 509—510: Къ «Отеч. Запискамъ», N. N., со ссылкой на «От. Зап.», № 4, библіогр., стр. 39—40, о Ѳ. Глинкѣ;— «От. Зап.» 1841, № 7 (Сочин. Бѣл. V, стр. 389—396).

Карамзинъ тобой ужаленъ,
Ломоносовъ—не поэтъ...

и такъ далѣе, въ подобномъ родѣ [1]).

Бѣлинскій, въ это время особенно находившій жизнь и удовольствіе въ полемикѣ, не оставался въ долгу. Онъ нѣсколько разъ самъ обращался къ «Москвитянину» въ статьяхъ или спеціальныхъ замѣткахъ; друзья его, какъ Герценъ, съ своей стороны приняли участіе въ полемикѣ. И можно сказать положительно, что Бѣлинскаго раздражала не только общая тенденція журнала, не самое содержаніе нападеній, иногда по истинѣ нелѣпое, но и уродливая форма, эстетическое безвкусіе, какъ въ названномъ стихотвореніи, въ критическихъ статьяхъ Шевырева и пр.

Когда Бѣлинскій былъ въ Москвѣ, зимой въ началѣ 1842 года, вышла 1-я книжка «Москвитянина», и въ ней, въ статьѣ Шевырева, выдѣленной, какъ программа или манифестъ редакціи, отъ книжки особою нумераціей, явилось между прочимъ и нападеніе на Бѣлинскаго [2]). Шевыревъ, изображая «черную сторону» литературы, старался самыми темными красками нарисовать портреты тогдашнихъ петербургскихъ журналистовъ, и въ одномъ изъ нихъ — «рыцарѣ безъ имени», одѣтомъ въ «броню наглости», «литературномъ бобылѣ» и проч. — явно желалъ изобразить Бѣлинскаго. Изображеніе было путано, вяло, неумѣло, но цѣль автора и ненависть къ оригиналу были очевидны.

Въ письмѣ Бѣлинскаго указано, какъ онъ узналъ о статьѣ Шевырева и какъ рѣшился отвѣчать. Онъ отвѣчалъ въ томъ же тонѣ, съ тѣми же личными намеками, — но съ несравненно большимъ успѣхомъ. Его раздраженіе было совершенно справедливо: не говоря о томъ, что личныя нападенія «Москвитянина» на «безыменнаго критика» и «литературнаго бобыля», «недоучившагося студента» и т. п. были вообще мало приличны, Бѣлинскій уже теперь не пользовался благосклонностью цензуры, а его противники были обставлены оффиціальными связями, при которыхъ нападенія ихъ могли быть не безопасны—не въ литературномъ смыслѣ.

Бѣлинскій уже вскорѣ имѣлъ извѣстія объ эффектѣ «Педанта» въ противномъ лагерѣ. Впечатлѣніе было сильное; партія «Москви-

---

[1]) Отвѣтъ на эти стихи см. въ «Отеч. Зап.» 1842, кн. 12, журн. замѣтки; Сочин. Бѣл., VI, стр. 608—612.

[2]) «Москвит.» 1842, кн. 1, «Взглядъ на современное направленіе русской литературы. Сторона черная», стр. XXVIII—XXX. Подробный разборъ этой статьи читатель найдетъ въ «Очеркахъ Гогол. періода», «Соврем. 1856, кн. 2, стр. 83—92, гдѣ вообще очень вѣрно и остроумно характеризована тогдашняя журнальная роль Шевырева.

тянина» была раздражена до послѣдней степени. Объ этомъ писалъ изъ Москвы Боткинъ [1]).

Изъ разсказа Боткина о дѣйствіи «Педанта» можно видѣть, что вражда становилась непримирима, что она охватила и руководителей «Москвитянина» и весь славянофильскій кружокъ, бывшій на лицо.

Возвращаемся къ письмамъ Бѣлинскаго.

Вѣроятно, къ тому же письму, гдѣ говорится о «Педантѣ», принадлежатъ разрозненные листки, гдѣ рѣчь идетъ о литературныхъ новостяхъ того же времени:

«Статьею о Майковѣ я самъ доволенъ [2]),—пишетъ Бѣлинскій,— хоть она и никому здѣсь особенно не нравится, а доволенъ ею я потому, что въ ней сказано (и притомъ очень просто) все, что надо, и въ томъ именно тонѣ, въ какомъ надо было сказать. Статья о Мирошевѣ [3]) не подгуляла бы, еслибъ цензура не вырѣзала изъ

---

[1]) Боткинъ писалъ объ этомъ въ редакцію «Отеч. Зап.» отъ 14 марта, а къ Бѣлинскому отъ 22 (и можетъ быть, еще въ другомъ письмѣ раньше): сначала онъ счелъ авторомъ «Педанта» ихъ стараго пріятеля Клюшникова.— По словамъ Боткина, «Педантъ» произвелъ чрезвычайное впечатлѣніе въ московскомъ литературномъ кругѣ. «Ударъ произвелъ дѣйствіе, превзошедшее ожиданія. Ш... не показывался эту недѣлю въ обществахъ. Въ синклитѣ Хом., Кир-хъ, Павлова, если заводятъ объ этомъ рѣчь, то съ пѣною у рта и ругательствами. Всѣхъ больше ругался... Н. Ф. Павловъ; онъ предложилъ написать письмо къ кн. Одоевск. [акціонеру «Отеч. Записокъ»] отъ лица всѣхъ московскихъ литераторовъ, въ которой просятъ князя, чтобъ онъ съ вами не знался; письмо это будетъ пересыпано разными любезностями на счетъ вашъ и Бѣлинскаго... П. уменъ... проглотилъ пилюлю, но ходитъ съ веселымъ лицомъ... Но это все хорошо,—а можетъ быть худо то, что Ш. (какъ я слышалъ) хочетъ жаловаться и въ его жалобѣ будто приметъ участіе кн. Д. В. [Голицынъ, московскій генералъ-губернаторъ], который на-дняхъ ѣдетъ въ Петербургъ. Смотрите, чтобъ не было вамъ какой бѣды... Святители! какое движеніе эта штука сдѣлала въ университетѣ—Давыдовъ расцвѣлъ, помолодѣлъ и видимо блаженствуетъ, спрашиваетъ всякаго встрѣчнаго: читали ли вы 3 № «О. Зап.».. Но, Боже мой, какъ «москвитяне» поносятъ бѣднаго, невиннаго Виссаріона — и чѣмъ не называютъ его!!!... Кстати, статья Бѣл. въ 1 № привела Ш-ва въ негодованіе до того, что онъ посвятилъ одну цѣлую лекцію на опроверженіе ея—и въ 3 № «Москвит.» это является въ печати [статья Бѣлинскаго было обозрѣніе русской литературы за 1841 годъ]... Гр. (Грановскаго) рѣчи по поводу «Педанта» до того привели въ негодованіе, что онъ жалѣетъ, что нѣтъ у него готовой статьи, онъ тотчасъ бы послалъ вамъ, хоть для того, чтобъ имя его стояло на журналѣ. Кир-ій ругаетъ Бѣлин. словами, приводящими въ трепетъ всякаго православнаго, и спрашиваетъ Гр-го: «неужели вы не постыдитесь подать Бѣл-му руку?» А Гр-й имѣлъ безстыдство отвѣчать: «не только не постыжусь подать руки, а хоть даже на площади передъ всѣми обниму его!» Да всѣхъ разговоровъ не упомнишь и не передашь».

[2]) «От. Зап.» 1842, № 3, критика; Сочин. VII, стр. 102 и слѣд.

[3]) «От. Зап.», тамъ же; Сочин. VI, стр. 134 и слѣд.

нея смысла, и не оставила одной галиматьи. Послѣ статьи о Петрѣ Великомъ ни одна еще статья моя не была такъ позорно ошельмована, какъ статья о Мирошевѣ».

Бѣлинскому очень нравятся стихотворенія Огарева: «Характеръ», «Была пора», «Кабакъ» (послѣднее, кромѣ конца), и первая половина повѣсти г-жи Ганъ, писавшей подъ псевдонимомъ Зенаиды Р-вой, «Напрасный Даръ», которая была тогда напечатана въ «Отеч. Запискахъ» (кн. 3), какъ посмертный трудъ этой писательницы; «убійственно-хороша», замѣчаетъ онъ, но нѣсколько позднѣе, когда впечатлѣнія выяснились, Бѣлинскій хвалилъ эту повѣсть уже съ большими оговорками. Затѣмъ надежды быть опять въ Москвѣ:

«Лѣтомъ я опять въ Москвѣ, во что бы то ни стало, и притомъ не меньше какъ отъ одного до двухъ мѣсяцевъ. Зимняя поѣздка меня переродила—я поздоровѣлъ и помолодѣлъ. Вообрази себѣ, что теперь я сплю по твоему: въ какое бы время ночи ни легъ—сію же минуту какъ убитый. О моемъ духовномъ здравіи и состояніи писать къ тебѣ нечего: объ этомъ ты вѣдай по себѣ. Мучительный зензухтъ [1]) ощущаю къ жизни беззаботной, пустой, праздной, бродяжнической. Дома быть не могу ни минуты—страшно, мучительно, холодно, словно въ гробу».

Наконецъ, свѣдѣніе объ его финансовыхъ дѣлахъ. Въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ этого года онъ забралъ въ редакціи журнала 3,500 руб. ассигнаціями:

«Увы! страшно подумать—3,500 р.! Гдѣ-жъ они?—спросишь ты.

...Все исчезло безъ слѣдовъ
Какъ легкій паръ вечернихъ облаковъ:
Едва блеснутъ, ихъ вѣтеръ вновь уноситъ—
Куда они? зачѣмъ? откуда?—Кто ихъ спроситъ»...

Стихи любимаго поэта нашли примѣненіе и въ этомъ прискорбномъ обстоятельствѣ.

Черезъ нѣсколько дней, 17 марта, Бѣлинскій снова пишетъ къ своему другу. Уже въ прежнемъ письмѣ онъ замѣчаетъ въ себѣ отвращеніе къ перу вслѣдствіе нескончаемой работы, и отказывается писать длинныя письма. Дѣйствительно, письма становятся короче (хотя съ исключеніями). Но была и другая причина, почему онъ пишетъ теперь меньше: убѣжденія его установлялись окончательно, основные пункты ихъ не возбуждали сомнѣній и недоумѣній какъ прежде, не встрѣчали противорѣчій. Старый другъ, видимо, проходилъ ту же школу — подъ общимъ вліяніемъ и Бѣлинскаго и московскихъ друзей, Грановскаго и потомъ Герцена, по его переселеніи

[1]) Sehnsucht—одинъ изъ терминовъ ихъ прежняго романтизма.

въ Москву изъ Новгорода (въ іюлѣ 1842), а также подъ вліяніемъ собственныхъ размышленій, чтенія и опыта. Боткинъ, хотя и «сенъ-симонистъ» въ 1835 году, не былъ такимъ рьянымъ прозелитомъ «идеи общества», какъ Бѣлинскій: его литературные интересы по прежнему обращены всего больше къ вопросамъ эстетики, — но разногласія между ними, относительно этой «идеи», теперь во всякомъ случаѣ не было, и Боткинъ, владѣвшій иностранными языками, гораздо болѣе начитанный, даже помогалъ Бѣлинскому идти въ этомъ направленіи, сообщая ему фактическія указанія изъ исторіи и литературы.

Письмо 17 марта не похоже на длинные трактаты, какіе Бѣлинскій посылалъ прежде своему другу; это — сборъ отрывковъ о разныхъ предметахъ, о которыхъ ему хотѣлось помѣняться мнѣніями съ другомъ. Рѣчь заходитъ сначала о Лермонтовѣ.

«Стих. Лерм. «Договоръ» [1])—чудо какъ хорошо, и ты правъ, говоря, что это — глубочайшее стихотвореніе, до пониманія котораго не всякій дойдетъ; но не такова ли же и бо́льшая часть стихотвореній Лермонтова? Лерм. далеко уступитъ Пушкину въ художественности и виртуозности, въ стихѣ музыкальномъ и упругогибкомъ; во всемъ этомъ онъ уступитъ даже Майкову (въ его антолог. стих.); но содержаніе, добытое со дна глубочайшей и могущественной натуры, исполинскій взмахъ, демонскій полетъ, — *съ небомъ гордая вражда*—все это заставляетъ думать, что мы лишились въ Лерм. поэта, который, по содержанію, шагнулъ бы дальше Пушкина. Надо удивляться дѣтскимъ произведеніямъ Лермонтова—его драмѣ, «Боярину Оршѣ», и т. п. (не говорю уже о «Демонѣ»): это не «Русланъ и Людмила», тутъ нѣтъ ни легкокрылаго похмѣлья, ни сладкаго бездѣлья, ни лѣни золотой, ни вина и шалостей амура: нѣтъ, это—сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческія еще уста, это «съ небомъ гордая вражда», это—презрѣніе рока и предчувствіе его неизбѣжности. Все это дѣтски, но страшносильно и *взмашисто*. Львиная натура! Страшный и могучій духъ! Знаешь ли, съ чего мнѣ вздумалось разглагольствовать о Лермонтовѣ? Я только вчера кончилъ переписывать его «Демона», съ двухъ списковъ, съ большими разницами [2]) — и еще болѣе awникъ въ это дѣтское, незрѣлое и колоссальное созданіе. Трудно найти въ немъ и четыре стиха сряду, которыхъ нельзя было бы окритиковать за неточность въ словахъ и выраженіяхъ, за натянутость въ образахъ; съ этой стороны «Демонъ» долженъ уступить даже «Эдѣ» Баратынскаго; но—Боже мой!—что же передъ нимъ всѣ антологическія стихотворенія Майкова, или самого Анакреона, да еще въ подлинникѣ? Да, Боткинъ, глупъ я былъ съ моею художественностію,

---

[1]) Оно было помѣщено въ той же 3-й книгѣ «От. Зап.».

[2]) «Демонъ» извѣстенъ теперь въ четырехъ или пяти редакціяхъ.

изъ-за которой не понималъ, что такое содержаніе. Но объ этомъ никогда довольно не наговоришься» [1])...

Далѣе, замѣчанія объ его собственномъ настроеніи нравственномъ и физическомъ:

«Со мной сдѣлалась новая болѣзнь—не шутя. *Ноетъ грудь*, но такъ сладко, такъ сладострастно... Словно волны пламени то нахлынутъ на сердце, то отхлынутъ внутрь груди; но эти волны такъ влажны, такъ освѣжительны... Ощущеніе это давно мнѣ знакомо, но никогда оно не бывало у меня такъ глубоко, такъ *чувственно*, такъ похоже на болѣзнь. Особенно овладѣло оно мною, пока я писалъ «*Демона*». Странный я человѣкъ; иное по мнѣ скользнетъ, а иное такъ зацѣпитъ, что я имъ только и живу: «*Демонъ*» сдѣлался фактомъ моей жизни, я твержу его другимъ, твержу себѣ, въ немъ для меня міры истинъ, чувствъ, красотъ»...

Затѣмъ, въ первый разъ является новая тема, которая съ начала этого года больше и больше овладѣваетъ его мыслями.

«А знаешь-ли что?—пишетъ онъ.—Да что и говорить—знаешь... Отъ того-то я такъ и люблю говорить съ тобою, что не успѣешь сказать перваго слова, какъ ты ужъ выговариваешь второе...

«Знаешь-ли, когда пора человѣку жениться?—Когда онъ дѣлается неспособнымъ влюбляться, перестаетъ видѣть въ женщинѣ «ее», а видитъ въ ней просто (имя рекъ)», и т. д.

Т.-е. когда кончается юношескій романтизмъ. Такая пора, по его словамъ, наступала и для него.

На послѣднія письма Бѣлинскаго Боткинъ отвѣчалъ длиннымъ посланіемъ отъ 22 и 23 марта, извлеченіе изъ котораго приводимъ ниже. Это—любопытнѣйшій образчикъ тогдашнихъ мнѣній Боткина и бесѣдъ его съ Бѣлинскимъ. Сквозь способъ выраженія, еще по старому полный философскими терминами, виденъ новый образъ мыслей, далеко не похожій на прежній консервативно-романтическій идеализмъ, и указывающій на знакомство съ молодымъ геге-

---

[1]) «Договоръ» напечатанъ былъ въ «От. Зап.» въ томъ текстѣ, который повторенъ и послѣднимъ изданіемъ Лермонтова (т. I, стр. 128). Но Бѣлинскій дальше замѣчаетъ, что пьеса напечатана въ журналѣ не вполнѣ, и приводитъ ея «конецъ». Это—извѣстные стихи изъ посланія гр. Ростопчиной:

Такъ двѣ волны несутся дружно
Случайной, вольною четою, и пр.

Точно такъ, какъ въ Соч. Лерм., I, стр. 118 (съ однимъ варіантомъ: вмѣсто—«ихъ *разгонитъ* гдѣ-нибудь», у Бѣлинскаго вѣрнѣе: «*разрознитъ*»).

Бѣлинскій, конечно, былъ введенъ въ заблужденіе какимъ-нибудь спискомъ, смѣшавшимъ эти два стихотворенія,—но въ концѣ однако замѣчаетъ: «сравненіе какъ будто натянутое (оно и дѣйствительно не совсѣмъ идетъ къ «Договору»); но въ немъ есть что-то лермонтовское».

ліянствомъ. Боткинъ былъ усерднымъ читателемъ Deutsche Jahrbücher, составлявшихъ органъ этой гегеліянской партіи... Окончаніе той сердечной исторіи, которая такъ долго занимала обоихъ друзей и была порожденіемъ прежняго романтизма, имѣло свою долю участія въ этомъ измѣненіи взглядовъ Боткина. Намекая на прежнее, онъ говоритъ о своей теперешней жизни: «—она есть не что другое, какъ отрицаніе мистики и романтики, къ которымъ особенно была склонна моя натура, но въ которыхъ я совершенно потонулъ въ продолженіи отношеній моихъ къ N. N. [1]). Все, на чемъ лежитъ печать мистики... и романтики, пробуждаетъ во мнѣ теперь враждебное чувство»... Затѣмъ начинается длинное разсужденіе, вызванное приведенными выше словами Бѣлинскаго о стихотвореніи Лермонтова «Договоръ». Боткинъ говоритъ о поэзіи Пушкина и Лермонтова, и по ихъ поводу о современномъ направленіи европейской литературы и цѣлаго европейскаго развитія:

...«Я зналъ, что тебѣ понравится «Договоръ»,—пишетъ Боткинъ.—Въ меня онъ особенно вошелъ, потому что въ этомъ стихотвореніи жизнь разоблачена отъ патріархальности, мистики и авторитетовъ. Страшная глубина субъетивнаго *я*, свергшаго съ себя всѣ субстанціальныя вериги. По моему мнѣнію, Лермонтовъ нигдѣ такъ не выражался весь, во всей своей духовной личности, какъ въ этомъ «Договорѣ». Какое хладнокровное, спокойное презрѣніе всяческой патріархальности, авторитетныхъ *привычныхъ* условій, обратившихся въ рутину. Титаническія силы были въ душѣ этого человѣка! Мнѣ сейчасъ представилось то, въ чемъ состоитъ его разительное отличіе отъ Пушкина. Попробую какъ-нибудь намекнуть объ этомъ различіи, хотя чувствую, что сознаніе его во мнѣ самомъ еще не ясно. Пушкинъ всегда пребывалъ въ субстанціальныхъ сферахъ. Паѳосъ его состоитъ, главное, въ разрѣшеніи (Auflösung) опирающейся на самой себѣ и на произволѣ своемъ субъективности—въ томъ, что мы прежде называли субстанціальными силами. Общій колоритъ его — внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность. Герои его предстоятъ намъ сначала отвлеченными, напряженными— впослѣдствіи трагическая коллизія совершенно перерождаетъ ихъ, разоблачая ихъ отъ напряженности и отвлеченности, наполняя ихъ эгоистическій умъ, «кипѣвшій въ дѣйствіи пустомъ»—общечеловѣческимъ содержаніемъ, дѣлая изъ героевъ—просто людей, но людей, которые сосредоточиваютъ въ себѣ наши сердечныя симпатіи; такъ что внимательное чтеніе Пушкина можетъ быть превосходнымъ воспитаніемъ въ себѣ *человѣка*, болѣе нежели чтеніе Гёте. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ глубже Шиллера схватываетъ жизнь. Шиллеръ лишь въ идеальномъ отраженіи схватывалъ ее; отвлекалъ своихъ героевъ отъ ежедневности, сосредоточивая ихъ въ праздничныхъ ихъ минутахъ. Шиллеръ не любитъ жизни такъ, какъ она есть — съ ея грязью и солнцемъ... Пушкинъ для того, чтобы разрѣшить траги-

[1]) Имя особы, къ которой онъ питалъ романтическое чувство.

ческія явленія жизни, не улетучиваетъ ихъ въ идеальный міръ, не отвлекаетъ отъ дѣйствительной жизни въ міръ духовности, не ласкаетъ сліяніемъ душъ въ небесныхъ сферахъ, у него страданіе не спекулируетъ на награду: онъ всегда *здѣсь*, всегда на почвѣ простой, общечеловѣческой ежедневности — всегда съ разительнымъ, глубочайшимъ чувствомъ дѣйствительности. Онѣгинъ—сначала отчасти неопредѣленный, туманный и напряженный образъ — постепенно воплощается въ личность *человѣка...* Одна лишь ограниченность и незнаніе могли называть Пушкина подражателемъ Байрона. Нѣтъ двухъ поэтовъ, болѣе противоположныхъ въ своемъ паѳосѣ. Но о семъ слѣдуетъ объясниться обстоятельно.

«Въ настоящее время начинается въ Европѣ новая эпоха. Міръ среднихъ вѣковъ,—міръ непосредственности, патріархальности. туманной мистики, авторитетовъ, вѣрованій, вступаетъ въ борьбу съ мыслію, анализомъ, правомъ, вытекающимъ изъ сущности предмета, идеи, а не привязаннымъ къ нимъ со внѣ или по преданію и предположенію, — и вступаетъ въ борьбу не въ одинокихъ, разбросанныхъ явленіяхъ,— что было и въ средніе вѣка,—а цѣлыми массами. Не даромъ кричатъ Шевыревъ и «Маякъ», что Европа находится въ гніеніи, что связи семейства, общества, государства въ ней потрясены. Это такъ дѣйствительно: старые институты семейственности и общественности со всѣхъ сторонъ получаютъ страшные удары. Конецъ среднихъ вѣковъ и начало новаго времени есть собственно 18-й вѣкъ. Во Франціи совершилось отрицаніе среднихъ вѣковъ въ сферѣ общественности; въ Байронѣ явилось оно въ поэзіи,—теперь является въ сферѣ религіи, въ лицѣ Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра. Человѣчество сбрасываетъ съ себя одежду, которую носило слишкомъ тысячу лѣтъ,—и облекается въ новую... Духъ новаго времени вступилъ въ рѣшительную борьбу съ догмами и организмомъ средн. вѣковъ. И внимательное созерцаніе современнаго положенія Европы дѣйствительно представляетъ гніеніе и распаденіе всего стараго порядка вещей. Новые люди съ новыми идеями о бракѣ, религіи, государствѣ,—фундаментальныхъ основахъ человѣческаго общества,—прибываютъ съ каждымъ днемъ: новый духъ, какъ кротъ, невидимо бѣгаетъ подъ землею — и копаетъ ее—чудный рудокопъ. Das alte stürzt, — es ändert sich die Zeit,—und neues Leben steigt aus den Ruinen.

«Байронъ (мнѣ бы слѣдовало говорить прежде о Руссо — но этакъ письму моему и конца не будетъ — главное дѣло въ томъ, что Байронъ насквозь пропитанъ сочиненіями Руссо), Байронъ первый явилъ поэтически отрицаніе общественнаго устройства, выработаннаго средними вѣками (ты уже понимаешь, что разумѣю я подъ средн. вѣк.)—или, говоря не вполнѣ мою мысль выражающими словами — отрицаніе стараго времени. Весь существенный паѳосъ его состоитъ въ этомъ. Субъективное *я*, столь долгое время скованное веригами патріархальности, всяческихъ авторитетовъ и феодальной общественности — впервые вырвалось на свободу, упоенное ощущеніемъ ея, отбросило отъ себя свои вериги и возстало на давнихъ враговъ своихъ. Да, паѳосъ Байрона есть паѳосъ отрицанія и борьбы; основа его — историческая, общественная. Его не занимаетъ (какъ

Гёте) поэтическое разрѣшеніе внутреннихъ мистерій души человѣческой; трагическое его состоитъ въ борьбѣ индивидуума съ обществомъ. Ни одинъ поэтъ въ мірѣ не исполненъ такъ движенія и соціальныхъ интересовъ, какъ Байронъ,—и потому ни одинъ поэтъ не напечатлѣлъ такъ своего генія на своемъ вѣкѣ, какъ Байронъ (и Руссо). Онъ есть поэтъ отрицанія и борьбы, —сказалъ я, — и, отсюда его страшная, неотразимая иронія и міровой юморъ. Въ поэзіи Байрона міръ является сорвавшимся съ давней, привычной колеи своей. Паѳосъ Пушкина—чисто внутренній; онъ углубленъ въ представленіе явленій внутренняго міра. Сфера историческая, общественная—не его сфера... Онъ человѣкъ преданія и авторитета. Здѣсь, было пришлось къ слову, не могу умолчать, что какъ я высоко ни ставлю Онѣгина, и какъ мнѣ истинною и глубокомысленно-дѣйствительною ни кажется развязка его, — все однакожъ не могу я примириться съ положеніемъ Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцію съ своимъ старымъ генераломъ. Конечно, всякое художественное созданіе есть отдѣльный міръ, входя въ который мы обязуемся жить его законами, дышать его воздухомъ, но какъ тутъ быть, когда мы застигнуты другими понятіями и принципами, когда то, что прежде считалось нравственнымъ, высокою жертвою, доблестью — кажется теперь безнравственнымъ прекраснодушіемъ, слабостью. Поэтическія созданія, являющіяся на такихъ всемірно-историческихъ рубежахъ враждующихъ міросозерцаній, становятся сами въ трагическое положеніе.

«Лермонтовъ весь проникнутъ духомъ Байрона. Какъ геній Байрона воспитался подъ вліяніемъ Руссо,—такъ Лермонтовъ подъ вліяніемъ Байрона... Внутренній, существенный паѳосъ его есть отрицаніе всяческой патріархальности, авторитета, преданія, существующихъ общественныхъ условій и связей. Онъ самъ, можетъ, еще не сознавалъ этого — да и пора дѣйствительнаго творчества еще не наступала для него. Дѣло въ томъ, что главное орудіе всякаго анализа и отрицанія есть мысль,—и посмотри, какое у Лермонтова повсюдное присутствіе твердой, опредѣленной, рѣзкой мысли—во всемъ, что ни писалъ онъ; замѣть—мысли, а не чувствъ и созерцаній. Не отсюда-ли происходитъ то, что онъ далеко уступаетъ, какъ ты замѣчаешь, Пушкину — «въ художественности, виртуозности, въ стихѣ музыкальномъ и упруго-мягкомъ». Въ каждомъ стихотвореніи Лермонтова замѣтно, что онъ не обращаетъ большого вниманія на то, чтобы мысль его была высказана изящно—его занимаетъ одна мысль—и отъ этого у него часто такая стальная, острая прозаичность выраженія. Да, паѳосъ его, какъ ты совершенно справедливо говоришь, есть «съ небомъ гордая вражда». Другими словами, отрицаніе духа и міросозерцанія, выработаннаго средними вѣками, или, еще другими словами—пребывающаго общественнаго устройства. Духъ анализа, сомнѣнія и отрицанія, составляющій теперь характеръ современнаго движенія — есть не что иное, какъ тотъ діаволъ, демонъ—образъ, въ которомъ религіозное чувство воплотило различныхъ враговъ своей непосредственности. Не правда-ли, что особенно важно, что фантазія Лермонтова съ любовію лелѣяла этотъ «могучій образъ»; для него—

Какъ царь нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно...

«Въ молодости онъ тоже на мгновеніе являлся Пушкину, но кроткая, нѣжная, святая душа Пушкина трепетала этого страшнаго духа, и онъ съ тоскою говорилъ о печальныхъ встрѣчахъ съ нимъ. Лермонтовъ смѣло взглянулъ ему прямо въ глаза, сдружился съ нимъ и сдѣлалъ его царемъ своей фантазіи, которая, какъ древній понтійскій царь, питалась ядами; они не имѣли уже силы надъ ней — а служили ей пищею: она жила тѣмъ, что было бы смертію для многихъ. (Байрона, *Сонъ*, VIII строфа, — который ты долженъ непремѣнно прочесть)».

Боткинъ продолжаетъ письмо 23 марта:

«Перечитавъ написанное, вижу, что я болѣе запуталъ, нежели уяснилъ то, что думалъ сказать, — такъ что хочется разорвать. Впрочемъ, и по сбивчивымъ намекамъ, ты, можетъ быть, догадаешься о томъ, что думалъ я сказать: это же самое послужитъ тебѣ фактомъ моего настоящаго взгляда кой-на-что. О такихъ предметахъ невозможно говорить мало, — тотчасъ представляется множество сторонъ, такъ что безпрестанно теряешься. Для уясненія себѣ того, какъ я понимаю выраженіе Лермонтова: «съ небомъ гордая вражда», а равно для уясненія моего взгляда на средніе вѣка вообще — не лишнимъ считаю сказать слѣдующее—не поскучай прочесть:

«Всякая религія основывается на отчужденіи духа, отчужденіи, въ которомъ духъ знаетъ не самого себя,—но другое, ему противостоящее, внѣшнее;—знаетъ его какъ божественное, внѣшнее; какъ сущность и истину себя самого и всѣхъ вещей. Въ религіи человѣкъ чувствуетъ себя *зависящимъ*: онъ внѣ самого себя, не свободенъ, подверженъ авторитету, преданъ власти, которая утвердительно полагаетъ себя — не какъ его собственная власть, но какъ сверхъестественная, сверхъчеловѣческая. Древнія религіи не могли эту противоположность божественнаго и человѣческаго довести до крайности: въ греческой религіи, напримѣръ, духъ ведетъ съ богами веселую игру — heiteres Spiel, по выраженію Гегеля. Онъ никогда почти не теряетъ того сознанія, что собственно самъ онъ—духъ—есть всѣ тѣ божества, что онъ власть ихъ, а не они его. Въ христіанствѣ совершилось отчужденіе и распаденіе духа съ самимъ собою и съ дѣйствительностью. Исторія христіанскихъ вѣковъ слишкомъ хорошо доказываетъ ложность того, будто бы, чрезъ идею христіанства, уничтожилось древнее распаденіе божества и человѣчества, неба и земли. Напротивъ, чрезъ него они были противоположены другъ другу: единство же ихъ положительно признано въ немъ одномъ—и *нигдѣ кромѣ его*. Чрезъ это самое—все царство дѣйствительности,—семейство, государство, искусство, наука—стало лишено божественности, сдѣлалось т.-е. безбожнымъ. А такъ какъ всякая религія имѣетъ основаніемъ своимъ противоложность божественнаго и человѣческаго, — то христіанская религія есть уже по тому самому абсолютная религія, что она довела эту противопо-

ложность до абсолютной крайности ея. Чрезъ христіанство, «котораго царство не отъ міра сего»,—дѣйствительность явилась чуждою самой себѣ, такою, которая свою сущность, истину свою, своего Бога — не въ себѣ имѣетъ, — но *тамъ*, внѣ себя. И потому намъ предстоятъ два царства; съ одной стороны дѣйствительный міръ,— *здѣсь*, какъ царство конечности, временнаго грѣха; съ другой стороны, міръ представляемый, идеальный (въ смыслѣ противоположности дѣйствительному), т.-е. міръ вѣры, *тамъ*, — какъ царство безконечности, вѣчности, святого: оба—одинъ внѣ другого,—каждый противоположность другому. Посему ничто не существуетъ здѣсь само по себѣ и для себя, ничто не имѣетъ истины и значенія чрезъ себя самого и въ себѣ самомъ; ничто здѣсь не имѣетъ въ немъ самомъ пребывающаго и ему имманентнаго духа, — но существуетъ лишь внѣ себя, въ чуждомъ ему. Отсюда произошло то, что все было поставлено вверхъ ногами; ибо все имѣетъ истину внѣ себя, въ противоположномъ себѣ. Міръ явится извращеннымъ: дѣйствительное — имѣетъ значеніе, какъ несущественное и недѣйствительное а недѣйствительное — какъ существенное и дѣйствительное, — и сей извращенный міръ есть именно средніе вѣка, которые только съ этой точки могутъ быть ясно поняты и объяснены. Поэтому; въ нихъ, напр., является намъ: естественное—неестественнымъ, грѣхомъ, а опять грѣхъ же самый ничѣмъ инымъ, какъ наслѣдственнымъ, врожденнымъ состояніемъ человѣка; нравственное—безнравственнымъ, или на языкѣ средн. вѣк. нечистымъ,—«потому, говоритъ св. Августинъ, — лучше было бы, еслибъ браки и дѣторожденіе совсѣмъ прекратились: тогда скоро бы настало царство небесное». Красота есть безобразіе и твореніе діавола; умъ и мудрость есть предъ Богомъ заблужденіе и слѣпота; а слѣпота и простота есть истинная мудрость; жизнь есть смерть, и лишь со смертію начинается собственно жизнь; *здѣсь*—есть чуждое, смердящее, лишенное божества, и только *тамъ* есть истинное *здѣсь*, отчизна и домъ отчій. Да, духъ, такъ сказать, чрезъ отрицаніе самаго себя долженъ былъ познать себя. Если религія, съ другой стороны, есть погруженіе человѣка въ вѣчныя, невыразимыя тайны божества, то въ христіанской религіи духъ раскрылъ самому себѣ такія тайны свои, что замираетъ сердце отъ блаженства, когда думаешь о нихъ. Но какимъ страшнымъ путемъ распаденія долженъ онъ былъ достигнуть до проявленія и сознанія тайнъ сихъ, до примиренія съ самимъ собою, которое является въ новѣйшей философіи и новѣйшей критической теологіи. Въ этомъ-то значеніи Фейербахъ и называетъ теологію—антропологіею—пунктумъ»! [1]).

---

[1]) Въ одной изъ своихъ статей о германской литературѣ, писанныхъ имъ для «Отеч. Записокъ», Боткинъ, разбирая одну ученую нѣмецкую книгу, интересовавшую его своимъ содержаніемъ, выражаетъ сожалѣніе, что языкъ автора теменъ, тяжелъ и многословенъ, и прибавляетъ: «Когда-то нѣмецкая наука станетъ обращать вниманіе на литературную сторону своихъ сочиненій, чему уже такой яркій примѣръ подали ей Бруно-Бауэръ, Фейербахъ и другіе!» («Отеч. Зап.» 1843, кн. 2, Иностр. литер., стр. 50). Такимъ образомъ, эти писатели были ему хорошо извѣстны.

Выше было говорено о письмахъ, гдѣ Боткинъ сообщалъ извѣстія о впечатлѣніи, какое произвелъ въ Москвѣ «Педантъ»: въ письмѣ своемъ отъ 31 марта Бѣлинскій упоминаетъ объ этой исторіи.

«Вотъ и отъ тебя, любезный Боткинъ, уже другое письмо,— пишетъ онъ,—да еще какое толстое, жирное и сочное,—и теперь все смакую, граціозно и гармонически прищолкивая языкомъ, какъ ты во время своихъ потребительныхъ священнодѣйствій [1]). Вотъ тебѣ сперва отвѣтъ на первое посланіе. Спасибо тебѣ за вѣсти объ эффектѣ «Педанта»: отъ нихъ мнѣ нѣкоторое время стало жить легче. Чувствую теперь вполнѣ и живо, что я рожденъ для печатныхъ битвъ, и что мое призваніе, жизнь, счастіе, воздухъ, пища—*полемика*... [2]). Я не совсѣмъ впопадъ понялъ твой кутежъ, ибо хотѣлъ состояніе твоего духа объяснить своимъ собственнымъ... Вижу теперь ясно, что ты раздѣлываешься съ мистикою и романтикою, которыми ты больше и дольше чѣмъ кто-нибудь былъ болѣнъ, ибо онѣ—въ натурѣ твоей. Если бы ты былъ человѣкъ ограниченный и односторонній, тебѣ было бы легко въ сферѣ мистики и романтики, и ты пребывалъ бы въ нихъ просто, безъ натяжекъ и напряженности, которыя были въ тебѣ именно признакомъ другого противодѣйствующаго элемента, котораго ты боялся, ибо не зналъ его, и противъ котораго усиливался всѣми мѣрами.

Настоящимъ своимъ кутежемъ ты мстишь мистикѣ и романтикѣ за то, что эти госпожи... заставляли (тебя) становиться на ходули, и наслаждаешься желанною свободою. Сущность и поэтическая сторона того, что ты называешь своимъ развратомъ, есть наслажденіе свободою, праздникъ и торжество сверженія татарскаго ига мистическихъ и романтическихъ убѣжденій... Мнѣ во всемъ другой путь въ жизни, чѣмъ тебѣ и всякому другому».

Но Боткинъ, освободившись отъ романтики, сталъ сомнѣваться и въ жизни: за это время онъ «хладнокровно сознавалъ», что жизнь не дастъ ему того, что̀ предчувствовала высшая сторона его натуры. Его слова привели Бѣлинскаго въ раздумье:—неужели же жизнь и въ самомѣ дѣлѣ ловушка? Неужели она до того противорѣчитъ

---

[1]) Должно замѣтить, что Боткинъ былъ издавна и до конца жизни великій гастрономъ, большой знатокъ произведеній кулинарныхъ, а также—чаю. Бѣлинскій очень остроумно говоритъ объ его «потребительныхъ священнодѣйствіяхъ».

[2]) Во второмъ письмѣ Боткина (22-го марта) также есть извѣстія объ эффектѣ «Педанта». Въ Москвѣ говорили, что лица, задѣтыя въ «Педантѣ» и опасавшіяся слѣдующихъ «типовъ» (Бѣлинскій намѣревался изобразить еще «Литератора-Циника»), собирались жаловаться министру народнаго просвѣщенія (тогда начальнику цензуры), или даже московскому генералъ-губернатору, кн. Д. В. Голицыну. Боткинъ, съ своей стороны, считалъ очень возможнымъ, что будутъ говорить министру о духѣ, направленіи и пр. «Отеч. Записокъ», и что за этимъ послѣдуютъ соотвѣтственныя мѣры.

себѣ, что даетъ требованія, которыхъ выполнить не можетъ? Самъ онъ, однако, еще надѣялся: «право, я въ странномъ положеніи; несчастливъ въ настоящемъ, но съ надеждою на будущее,—съ надеждою, съ которою увидѣлся послѣ долгой разлуки». Затѣмъ онъ опять вспоминаетъ о прошломъ:

«... «Волны духовнаго міра»—вещь хорошая; безъ нихъ человѣкъ—животное. Но все-таки (согласенъ съ тобою) нельзя вспомнить безъ горькаго смѣха, какъ мы изъ грусти дѣлали какое-то занятіе, и вели протоколы нашимъ ощущеніямъ и ощущеньинцамъ. Впрочемъ, намъ не потому опротивѣло надоѣдать ими другимъ, чтобы мы перестали жить ими и полагать въ нихъ высшую жизнь, а потому, что поняли ихъ, и они для насъ — не загадка дальше. Боже мой! сколько, бывало, толковъ о *любви!* А почему? — эта вещь была загадкою; теперь она для насъ разгадана,—и я скорѣе буду спорить до слезъ объ онёрахъ и леве, чѣмъ о любви»...

Въ одномъ изъ писемъ, на которыя здѣсь отвѣчаетъ Бѣлинскій,—Боткинъ писалъ ему что-то о Гоголѣ; къ этимъ извѣстіямъ Боткина относятся слѣдующія строки письма Бѣлинскаго, любопытныя по взгляду на Гоголя.

«*Неуваженіе къ Державину*,—пишетъ Бѣлинскій, — возмутило мою душу чувствомъ болѣзненнаго отвращенія къ Г. Г[оголю]: ты правъ,—въ этомъ кружкѣ онъ какъ разъ сдѣлается органомъ «Москвитянина». «Римъ»—много хорошаго; но есть фразы, а взглядъ на Парижъ возмутительно гнусенъ».

Повидимому, Гоголь говорилъ о неуваженіи къ Державину со стороны Бѣлинскаго. Такой отзывъ могъ тѣмъ больше не понравиться Бѣлинскому, что былъ бы въ такомъ случаѣ повтореніемъ того, что говорилъ о Бѣлинскомъ Шевыревъ. Бѣлинскій желалъ, конечно, отъ Гоголя бóльшаго пониманія.

Дальше увидимъ, что личныя отношенія съ Гоголемъ начинаютъ производить непріятное впечатлѣніе на Бѣлинскаго, вслѣдствіе той натянутой роли, въ какую Гоголь становится съ этого времени особенно.

Бѣлинскому очень нравится рецензія «Исторія древней философіи» пастора Зедергольма. Сначала, она было ему не понравилась, показалась даже глупой, но, дочитавши до конца, онъ увидѣлъ, что она очень умна. Оказалось, что она была писана Боткинымъ [1]). Дѣло въ томъ, что предметъ статьи былъ, по тогдашнему, очень трудный для изложенія, и Боткинъ по необходимости не употреблялъ прямыхъ выраженій. Это было опять столкновеніе «за-

---

[1]) «От. Зап.» 1842, № 3, библіографія.

-падныхъ» мнѣній съ славянофильствомъ, какъ это объясняется изъ письма Боткина въ редакцію «Отеч. Записокъ». Отправляя статью (въ февралѣ 1842), Боткинъ писалъ: «Посылаю рецензію книги Зедергольма, которою я былъ стѣсненъ, потому что онъ безпрестанно говоритъ о человѣчествѣ какъ о родѣ падшемъ,—ну и подобныя... штуки. Можетъ быть, вы найдете, что рецензія написана слишкомъ философскимъ языкомъ. Что дѣлать, надо было какъ-нибудь изворачиваться; эти же самыя мысли, написанныя литературнымъ языкомъ, цензура не пропуститъ. Введеніе Зедергольма написано Кирѣевскимъ, Хомяковымъ и еще кѣми-то. Это говорилъ онъ самъ. Можно изъ этого видѣть, какъ далеки эти господа въ философіи и чего не принимаютъ они за философію».

На длинное письмо Боткина, приведенное нами выше, Бѣлинскій отвѣчаетъ въ письмѣ отъ 4 апрѣля:

«Письмо твое о Пушкинѣ и Лермонтовѣ усладило меня,—пишетъ Бѣлинскій.—Мало чего читывалъ я умнѣе. Высказано плохо, но я понялъ, что хотѣлъ ты сказать. Совершенно согласенъ съ тобою. Особенно поразили меня страхъ и боязнь Пушкина къ демону: «печальны были наши встрѣчи»: именно отсюда и здѣсь его разница съ Лермонтовымъ. О Татьянѣ тоже согласенъ: съ тѣхъ поръ, какъ она хочетъ вѣкъ быть вѣрною своему генералу... — ея прекрасный образъ затемняется. Глубоко вѣрно твое замѣчаніе: «поэтическія созданія, являющіяся на такихъ всемірно-историческихъ рубежахъ враждующихъ міросозерцаній—становятся сами въ трагическое положеніе». Это очень идетъ къ Онѣгину.

«О Лермонтовѣ согласенъ съ тобою до послѣдней йоты, о Пушкинѣ еще надо потолковать. Мнѣ кажется, ты приписываешь натурѣ Пушкина многое, что должно приписывать его развитію. Онъ не былъ исключительно субъективенъ, какъ Гёте: доказательство—его рѣшительная наклонность и способность къ драмѣ, которая такъ не давалась Гёте, и къ которой не былъ расположенъ Байронъ (ибо лирическая драма—другое дѣло — «Фаустъ» и «Манфредъ»). Отторгло Пушкина отъ исторической почвы его развитіе. Наши геніи всему учились понемножку. Страшно подумать о Гоголѣ: вѣдь во всемъ, что онъ написалъ—одна натура—какъ въ животномъ. Невѣжество абсолютное. Что онъ напуталъ [1]) о Парижѣ-то.

«Но о Пушкинѣ послѣ, когда-нибудь»...

Короткое письмо отъ 8 апрѣля заключаетъ въ себѣ извѣщеніе о смерти А. Я. Краевской, женщины, которая внушала Бѣлинскому самое искреннее уваженіе; черезъ нѣсколько дней, отъ 13 апрѣля, онъ подробно пишетъ Боткину объ этомъ событіи. Эта смерть поразила Бѣлинскаго и опять пробудила безотрадныя мысли.

---

[1]) Въ подлинникѣ болѣе рѣзкое выраженіе.

Смерть Станкевича еще разъ вспомнилась ему. Нѣсколько выдержекъ дадутъ понятіе объ его настроеніи:

«...Боже мой! Неужели мнѣ суждена роль какого-то могильщика! Я окруженъ гробами [1] — запахъ тлѣнія и ладона преслѣдуетъ меня и день и ночь! Я понимаю теперь и египетское обожествленіе идеи смерти, и стоицизмъ древнихъ, и асцетизмъ первыхъ вѣковъ христіанства. Жизнь не стόитъ труда жить — желанія, страсти, скорбь и радость—лучше бы, еслибъ ихъ не было. Великъ Брама [2]... онъ порождаетъ, онъ и пожираетъ... Леденѣетъ отъ ужаса бѣдный человѣкъ при видѣ его!.. Лучшее, что есть въ жизни— это—*пиръ во время чумы* и *террорь* [3]), ибо въ нихъ есть упоеніе, и самое отчаяніе, сама скорбь похожа на оргію, гдѣ гробъ и обезглавленный трупъ—не болѣе какъ орнаменты торжественной залы.

«Погибающая собака возбуждаетъ въ насъ жалость—мухи гибнутъ тысячами на нашихъ глазахъ — и мы не жалѣемъ ихъ, ибо привыкли думать, что случайно рождаются и случайно исчезаютъ. А развѣ рожденіе и гибель человѣка не случайность. Развѣ жизнь наша не на волоскѣ ежечасно и не зависитъ отъ пустяковъ? Зачѣмъ же о потерѣ милаго человѣка мы скорбимъ такъ, какъ будто міръ долженъ былъ перевернуться на оси своей, чтобы лишить насъ его?... (Развѣ судьба не безжалостна—) какъ эта мертвая и безсознательно разумная природа, которая матерински хранитъ роды и виды, по своимъ политико-экономическимъ разсчетамъ, а съ индивидуумами поступаетъ хуже, чѣмъ злая мачиха? Люди, въ глазахъ природы, тоже, что скотъ въ глазахъ сельскаго хозяина: хладнокровно рѣшаетъ она: этого на племя пустить, а этого зарѣзать...

«И однакожъ, мысль, что ужъ нѣтъ, былъ человѣкъ—и нѣтъ его, и уже не будетъ, что бездна раздѣляетъ трупъ отъ живыхъ— ужасная, сокрушительная мысль. Время-цѣлитель сдѣлаетъ свое, волны жизни на болотѣ ежедневности изгладятъ изъ памяти милый образъ—человѣкъ снова полюбитъ: это утѣшеніе, но утѣшеніе ужасное. Что же такое личность послѣ этого, если не сосудъ съ драгоцѣнною жидкостью: ароматъ вылился—и сосудъ бросаютъ за окно!

«Я странный человѣкъ, Б.; смерть Станкевича поразила меня сухо, мертво, но если бы ты зналъ, какъ это сухое страданіе тяжело! Я какъ будто потерялъ въ немъ не друга, не близкаго къ себѣ человѣка; но скорѣе *необыкновеннаго* человѣка. Можетъ быть, это дѣло долговременной разлуки, а можетъ быть и потому, что Станкевича я не могъ считать своимъ другомъ, ибо неравенство не допустило возможности этого ни съ его, ни съ моей стороны:

---

[1]) Передъ тѣмъ, на пути въ Москву, въ Новгородѣ, гдѣ онъ видался съ Герценомъ, ему пришлось быть свидѣтелемъ похоронъ ребенка; въ Москвѣ—свидѣтелемъ похоронъ Щепкиной.

[2]) Такъ онъ называетъ судьбу.

[3]) Конечно, здѣсь это принимается въ фантастическомъ смыслѣ, какъ видно изъ послѣдующихъ словъ.

онъ слишкомъ сознавалъ свое превосходство, а я слишкомъ самолюбивъ, чтобъ исчезнуть въ человѣкѣ, при которомъ я хоть сколько-нибудь несвободенъ. Какъ бы то ни было — его смерть поразила меня *особеннымъ образомъ* и—повѣришь-ли?—*точно также* поразила меня смерть Пушкина и Лермонтова. Я считаю ихъ *моими* потерями, и внутри меня не умолкаетъ дисгармоническій, сухо-мучительный звукъ, по которому я не могу не знать, что это *мои* потери, послѣ которыхъ жизнь много утратила для меня. Мягче подѣйствовала на меня смерть Любови Б[акунино]й, но *подѣйствовала*»...

Затѣмъ, къ апрѣлю относится письмо, отъ котораго намъ извѣстно только окончаніе, дописанное 20 апрѣля. Это было очень длинное письмо: «Усталъ — едва пишу, а все хочется — кажется, исписалъ бы десть. Ну, да Богъ дастъ — увидимся, переговоримъ обо всемъ», говорится въ началѣ этого отрывка: написана была цѣлая «тетрадь». Изъ того, что уцѣлѣло, видно, что рѣчь шла о новыхъ историческихъ интересахъ, которыми Бѣлинскій былъ въ это время занятъ: это была французская исторія конца прошлаго вѣка. Бѣлинскій, съ обыкновеннымъ увлеченіемъ, читалъ какого-то историка этихъ событій, переселился въ нихъ и дѣлился съ Боткинымъ свѣжими впечатлѣніями.

Къ этому чтенію должно относиться одно изъ писемъ Грановскаго къ Бѣлинскому, находившееся въ нашемъ матеріалѣ. Прежде было упомянуто о дружескихъ, но все-таки нѣсколько далекихъ отношеніяхъ, въ которыхъ Грановскій стоялъ къ Бѣлинскому, вслѣдствіе разногласія ихъ мнѣній при первой встрѣчѣ въ Москвѣ. Теперь это разногласіе совершенно покрывалось поворотомъ, наступившимъ въ понятіяхъ Бѣлинскаго. Они стояли теперь на одной почвѣ, и небольшое письмо Грановскаго даетъ намъ еще одинъ образчикъ солидарности кружка. Грановскій читалъ письмо Бѣлинскаго къ Боткину: оно нравится ему своимъ задушевнымъ тономъ, но Грановскій оспариваетъ историческія мнѣнія Бѣлинскаго о разныхъ людахъ временъ революціи. Повидимому, историческій споръ не ограничивался этими двумя письмами, или въ этихъ письмахъ продолжается личная бесѣда друзей, которая велась во время зимней поѣздки Бѣлинскаго въ Москву. У каждаго были свои симпатичныя историческія личности—по ихъ собственнымъ характерамъ, и здѣсь на исторіи велось такое же развитіе взглядовъ, какъ съ Боткинымъ это дѣлалось на вопросахъ литературныхъ. Любопытенъ и конецъ письма Грановскаго:

«Что ты, мой милый Виссаріонъ? Какъ живешь? что читаешь? Смотри братъ, не поддайся берлинской философіи, которую соби-

рается привезти къ вамъ Катковъ [1]). Несмотря на наше разногласіе о Р., почти во всемъ прочемъ я съ тобой согласенъ. До смерти хочется, чтобы ты поболѣе читалъ: это бы освѣжило тебя. Читай франц. историковъ и достань себѣ Encyclopédie Nouvelle; она познакомитъ тебя съ Leroux. Одинъ изъ самыхъ умныхъ и благородныхъ людей въ Европѣ. Читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ трудно будетъ писать. Прощай, другъ, жму тебѣ крѣпко руку».

Пьеръ Леру становился въ это время большимъ авторитетомъ для всего кружка. Вскорѣ познакомился съ нимъ и Бѣлинскій.

Въ письмѣ 20 апрѣля остался любопытный намекъ на упомянутыя отношенія его съ Гоголемъ. Бѣлинскій никогда не измѣнилъ своего высокаго понятія о значеніи Гоголя для русской литературы и общественности, но личность Гоголя начинаетъ уже теперь возбуждать въ немъ недоумѣніе и даже непріязненное чувство. Онъ видитъ, что въ Гоголѣ «одна натура»; теоретическія мнѣнія Гоголя производятъ въ немъ настоящее негодованіе; онъ опасается, что изъ Гоголя легко можетъ выйти дѣятель по вкусу «Москвитянина». Къ этому присоединилось неискреннее отношеніе къ нему самого Гоголя, что также было не лишено значенія. Какъ упоминалось прежде, Бѣлинскій въ высшей степени интересовался Гоголемъ; но послѣ перваго легкаго знакомства (вскорѣ по пріѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ), они снова встрѣтились, кажется, только около 1841—1842, у друга Гоголя, Прокоповича, но близкихъ между ними отношеній не завязалось. Гоголь уже проникался въ это время своимъ мистическимъ высокомѣріемъ и вмѣстѣ — большой опасливостью съ людьми не ближайшаго его круга, опасливостью, имѣвшей, кажется, въ виду сберечь отъ всякихъ шероховатыхъ прикосновеній его щекотливое самолюбіе, а съ другой стороны—удалить возможность отношеній, невыгодныхъ по его разсчетамъ... Повидимому, это самое побудило его отдаляться отъ Бѣлинскаго. Гоголь не могъ не цѣнить въ немъ критика, который — какъ ему, безъ сомнѣнія, было понятно—первый ясно указалъ его значеніе, всегда горячо защищалъ его (и вскорѣ долженъ былъ вновь явиться восторженнымъ партизаномъ «Мертвыхъ Душъ»), но въ то же время Гоголь опасался сближенія съ писателемъ, къ которому весьма недружелюбно относились его высокопоставленные друзья изъ пушкинскаго круга (кажется, кромѣ Плетнева,—на это время) или друзья изъ «Москвитянина» и изъ словянофильства. Какъ Пушкинъ имѣлъ нѣкоторое малодушіе скрывать отъ «Наблюдателей» свое вниманіе къ Бѣлинскому, такъ еще больше малодушія показалъ въ этомъ

[1]) Эта берлинская философія была новая философія Шеллинга, о которой будемъ имѣть случай говорить.

случаѣ Гоголь. Онъ желалъ видаться съ Бѣлинскимъ, но только подъ секретомъ... [1]). Эта неискренность подѣйствовала на Бѣлинскаго непріятнымъ, отталкивающимъ образомъ.

«Я къ Гоголю послалъ письмо, которое думалъ доставить черезъ тебя, но, полагая, что эта тетрадь не будетъ отослана [2]), послалъ сегодня по почтѣ. Прилагаю черновое: изъ него ты увидишь, что я повернулъ круто — оно и лучше: къ чорту ложныя отношенія—знай нашихъ—и люби, уважай, а не любишь, не уважаешь — не знай совсѣмъ. Постарайся черезъ Щ—а узнать объ эффектѣ письма»...

Бѣлинскій очевидно рѣзко указывалъ на «ложныя отношенія». Къ сожалѣнію, въ нашемъ матеріалѣ нѣтъ ни черновой, ни отвѣта Гоголя.

Далѣе Бѣлинскій сообщаетъ своему другу рядъ новостей. Катковъ писалъ изъ Берлина: онъ явно принадлежитъ къ берлинской философской школѣ (т.-е. школѣ Шеллинга, начавшаго читать въ Берлинѣ съ конца 1841), которая, по словамъ его, глубже всего, что только есть на свѣтѣ, — «бѣдный Гегель!» замѣчаетъ Бѣлинскій. Самому Бѣлинскому открывалась перспектива отправиться весной слѣдующаго года за границу, мѣсяца на четыре или на полгода (его приглашалъ съ собой, на свой счетъ, одинъ богатый человѣкъ); — но этотъ планъ вскорѣ разстроился, и Бѣлинскій самъ отказался отъ поѣздки, которая было очень его взманила. Подъ тайной онъ сообщаетъ Боткину, что одинъ изъ его знакомыхъ берется печатать его книгу (исторію русской литературы съ хрестоматіей), которая была давно имъ задумана: изданіе должно было доставить ему значительную сумму, какъ онъ думалъ, — но и это предпріятіе не состоялось... Затѣмъ упоминаетъ о пьесѣ гр. Соллогуба въ 5-й книгѣ «Отеч. Записокъ» («Ямщикъ, или шалость гусарскаго офицера, драматическая картина въ одномъ дѣйствіи»); пьеса очень не нравится Бѣлинскому: — въ ней только одно лицо хорошо — ярыги-помѣщика, который — утверждаетъ (авторъ)—потому скотина, что сынъ разбогатѣвшаго взятками подъячаго, а не столбового дворянина»... Бѣлинскій интересуется, какъ напишетъ Фроловъ біографію Станкевича, о чемъ писалъ ему Боткинъ; по его мнѣнію, эту

---

[1]) См. воспоминанія о Гоголѣ, Анненкова, въ «Библ. для Чт.» 1857, и также Воспом. о Бѣл., Панаева, въ «Соврем.» 1860, кн. I, стр. 364.

[2]) Онъ думалъ послать ее съ «оказіей». Замѣтимъ, что въ то время друзья вообще часто прибѣгали къ этому первобытному способу сообщеній,— *что, конечно,* имѣло свои основанія, устраняя лишнихъ читателей.

біографію «невозможно написать»,—но онъ обѣщалъ собрать и прислать письма Станкевича... [1]).

Личное настроеніе его опять мрачно: «въ общемъ для меня есть еще надежды, и страсти, и жизнь; для себя—ничего. Скучно, холодно, пусто; на какое-либо личное счастіе — никакой надежды. Горе! горе! Жизнь разоблачена».

За апрѣльскими письмами слѣдуетъ перерывъ въ перепискѣ до ноября, который отчасти объясняется пріѣздомъ Боткина въ Петербургъ лѣтомъ 1842. На этотъ разъ Боткинъ, кажется, прожилъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, и, еще прежде знакомый съ петербургскимъ кружкомъ Бѣлинскаго, теперь вошелъ въ него окончательно, какъ свой человѣкъ. Лѣтомъ Боткинъ жилъ въ Павловскѣ, гдѣ жили также и нѣкоторые изъ новыхъ пріятелей; Бѣлинскій оставался, кажется, въ городѣ [2]).

Боткинъ пробылъ въ Петербургѣ (или пріѣзжалъ еще разъ) до ноября. Отъ 7 ноября Бѣлинскій пишетъ ему, досадуя, что ихъ

---

[1]) Фроловъ, какъ извѣстно, не написалъ біографіи; впослѣдствіи она была исполнена Анненковымъ, у котораго были въ рукахъ и письма Станкевича къ Бѣлинскому, хотя не всѣ.

[2]) Отъ этого времени остались два отрывка писемъ, которыми Бѣлинскій мѣнялся съ своимъ пріятелемъ.

«Сейчасъ упился я «Оршею»,—пишетъ Бѣлинскій («Бояринъ Орша» напечатанъ былъ тогда въ 7-й кн. «Отеч. Зап.»). Есть мѣста убійственно хорошія, а *тонъ* цѣлаго—страшное, дикое наслажденіе. Мочи нѣтъ, я пьянъ и неистовъ. Такіе стихи охмѣляютъ лучше всѣхъ винъ».

Ему очень нравится стихотвореніе «Петръ Великій» въ той же книгѣ подписанное буквами Л. П.:—«читаю и перечитываю ихъ (стихи) съ наслажденіемъ—есть въ нихъ что-то энергическое, восторженное и гражданское, ест много смѣлаго, какъ, напр., 16 куплетъ»...

Смѣлый куплетъ былъ слѣдующій:

. . . .
Таковъ былъ умъ его глубокій
Но что чудеснѣй: умъ въ Петрѣ,
Иль гражданина духъ высокій
Въ самовластительномъ царѣ?

Далѣе, Бѣлинскому крайне не нравятся въ той же книгѣ стихотворенія: «Преданіе» изъ Гёте, и «гнусно кастратское» стихотвореніе «Нетерпѣніе».—Онъ потомъ опять возвращается къ «Петру Великому»:—«а вѣдь, несмотря на нѣсколько простодушное униженіе Наполеона передъ Петромъ и возвышеніе нашей борьбы съ первымъ, стихи-то «Петръ Великій» право хороши: Спросите Кр-го, гдѣ онъ ихъ взялъ? Уже это не (Тургеневъ-ли) г. ли Л. Т., что написалъ «Завѣщаніе» и «Разбойничью пѣсню?»

Имя Тургенева, поставленное нами въ скобкахъ, въ письмѣ написано и зачеркнуто. Тургеневъ около того времени въ первый разъ явился въ «Отеч. Зап.» съ стихотвореніями, подъ буквами Т. Л.

разставанье произошло неудачно (Бѣлинскій пріѣхалъ въ контору дилижансовъ, когда дилижансъ уже отправился).

Письмо отъ 23 ноября начинается словами:

«На дняхъ Кр. получилъ изъ Воронежа чьи-то стихи «На смерть А. В. Кольцова»... Что это и какъ это, Богъ знаетъ.

«Чувствую, что послѣ этихъ строкъ тебѣ не захочется читать далѣе... Мое впечатлѣніе отъ стиховъ неполно—должно быть, нужно подтвержденіе, или должно быть что-нибудь другое—не знаю»...

Въ такой формѣ получено было ими первое извѣстіе о смерти Кольцова. Подтвержденіе вскорѣ явилось.

Въ біографіи, написанной Бѣлинскимъ, читатель найдетъ разсказъ о послѣднихъ годахъ жизни Кольцова, составленный на основаніи его писемъ [1]). Двое друзей, которые упоминаются здѣсь и съ которыми Кольцовъ переписывался (стр. 115), были, разумѣется, Бѣлинскій и Боткинъ. Мы слишкомъ отвлеклись бы отъ предмета, если бы стали передавать всѣ разсказы Кольцова объ его жизни дома, по возвращеніи изъ послѣдней поѣздки въ Москву и Петербургъ. Но въ виду недоумѣній, какія возбуждало описаніе этихъ лѣтъ Бѣлинскимъ [2]), должно замѣтить, что разсказъ Бѣлинскаго, съ точностью заимствованный изъ писемъ Кольцова за это время [3]), далеко однако не истощаетъ всѣхъ подробностей безотраднаго существованія, какое довелось Кольцову вести въ своей семьѣ, и которое безъ всякаго сомнѣнія было главнѣйшей причиной его преждевременной смерти. Домашнее преслѣдованіе, мелкое и постоянное, встрѣтило Кольцова при первомъ появленіи домой въ началѣ 1841 года; его не смягчала даже отчаянная болѣзнь Кольцова; сцена, разсказанная Бѣлинскимъ по письмамъ Кольцова (стр. 115), даетъ образчикъ среды, въ которой онъ долженъ былъ жить, больной и безпомощный.

Друзья, въ особенности Бѣлинскій, настаивали, чтобъ Кольцовъ бросилъ Воронежъ и ѣхалъ въ Петербургъ; Бѣлинскій при-

---

[1]) См. Сочин., т. XII, стр. 113—117.

[2]) См. напр. «Воронежскую Бесѣду», Спб. 1861, ст. де-Пуле, стр. 401 и слѣд.

[3]) Съ марта 1841 г., намъ извѣстно восемь писемъ Кольцова: 1 и 25 марта, 2 іюля, 23 октября, 18 декабря; и одно письмо безъ означенія мѣсяца, вѣроятно апрѣля или мая 1841 г., къ Бѣлинскому и Боткину вмѣстѣ; затѣмъ 1 января 1842 г. къ Боткину и послѣднее, отъ 27 февраля къ Бѣлинскому. — Переписка не была частая; но каждый разъ Кольцовъ писалъ письма очень длинныя и обстоятельныя.

глашалъ его жить къ себѣ. Кольцова глубоко трогало это заботливое участіе; въ письмахъ его опять повторяются выраженія безграничной привязанности къ Бѣлинскому, и также Боткину, который съ неменьшимъ сочувствіемъ готовъ былъ о немъ заботиться... Эти друзья оставались для Кольцова всегда свѣтлымъ воспоминаніемъ и нравственной опорой; но приглашенія Бѣлинскаго не привели ни къ чему—тяжкая болѣзнь нѣсколько разъ возвращалась къ Кольцову; нѣсколько разъ онъ былъ на краю гроба; по всей вѣроятности, такимъ же образомъ шелъ у него и 1842 годъ, послѣ того, какъ онъ написалъ Бѣлинскому свое послѣднее письмо отъ 27 февраля.

Бѣлинскій также нѣсколько разъ писалъ къ нему—и письма его всегда бывали для Кольцова великимъ удовольствіемъ. Въ началѣ 1842 года, когда отъ Кольцова долго не было извѣстій, редакторъ «Отечественныхъ Записокъ» дѣлалъ справки въ Воронежѣ черезъ одного изъ своихъ знакомыхъ [1]). Въ письмѣ 27 февраля Кольцовъ писалъ, что начинаетъ чувствовать себя лучше. Бѣлинскій еще разъ зоветъ его въ Петербургъ.

«О Кольцовѣ нечего и толковать, — пишетъ Бѣлинскій къ Боткину отъ 31 марта 1842 г. — Я писалъ къ нему, чтобы онъ все бросалъ и, *спасая душу*, ѣхалъ въ Питеръ. Я бы не сталъ его приглашать къ себѣ изъ вѣжливости или такъ—такими вещами я теперь не шучу. Богаты не будемъ, сыты будемъ. За счастіе почту дѣлиться съ нимъ всѣмъ... Пиши къ нему, и заклинай ѣхать, ѣхать и ѣхать»...

Но эти приглашенія остались безъ отвѣта. 19 октября 1842 Кольцовъ умеръ; Бѣлинскій узналъ объ этомъ только въ концѣ ноября изъ стихотворенія «На смерть Кольцова», присланнаго какимъ-то мѣстнымъ стихотворцемъ.

Первое впечатлѣніе было то же, какое уже испытывалъ Бѣлинскій, теряя самыхъ дорогихъ людей,—сухое чувство горя, которое въ первое время не находитъ себѣ выраженія и ложится на душу камнемъ. Въ первомъ письмѣ онъ не сказалъ Боткину больше того, что было выше приведено. Во второй разъ онъ пишетъ о Кольцовѣ отъ 9 декабря, отвѣчая своему другу; Боткина событіе

---

[1]) Кольцовъ упоминаетъ объ этомъ въ письмѣ 27 февраля. Кр-му онъ не писалъ и объясняетъ это тѣмъ—что зачѣмъ онъ будетъ (у Кр-го) «отбивать время собой»; а знакомый его ничего написать не можетъ: «Ч-въ хоть мнѣ и знакомъ, но онъ моихъ домашнихъ дѣлъ не знаетъ, какъ и всѣ чужіе. Къ чему я буду о нихъ разсказывать? Помогутъ ли мнѣ они? Вамъ о нихъ говорю—это другое дѣло». Это объясняетъ, почему и мѣстный біографъ (авторъ статьи въ «Воронежской Бесѣдѣ») не могъ получить ясныхъ свѣдѣній о домашней жизни Кольцова.

привело очевидно, кромѣ горя, и въ крайнее негодованіе противъ семьи, роль которой въ судьбѣ Кольцова была ему извѣстна. Бѣлинскій пишетъ:

«Смерть Кольцова тебя поразила. Что дѣлать? На меня такія вещи иначе дѣйствуютъ: я похожъ на солдата въ разгарѣ битвы— палъ другъ и братъ — ничего — съ Богомъ — дѣло обыкновенное. Оттого-то, вѣрно, потеря сильнѣе дѣйствуетъ на меня тогда, какъ я привыкну къ ней, нежели въ первую минуту. Объ отцѣ Кольцова думать нечего: такой случай могъ бы вооружить, перо энергическимъ, громоносныкъ негодованіемъ гдѣ-нибудь, а не у насъ. Да и чѣмъ виноватъ этотъ отецъ, что онъ — мужикъ? И что онъ сдѣлалъ особеннаго? Воля твоя, а я не могу питать враждебности противъ волка, медвѣдя, или бѣшеной собаки, хотя бы кто изъ нихъ растерзалъ чудо генія или чудо красоты, такъ же, какъ не могу питать враждебности къ паровозу, раздавившему на пути своемъ человѣка. Поэтому-то Христосъ, видно, и молился за палачей своихъ, говоря: не вѣдятъ бо, что творятъ. Я не могу молиться ни за волковъ, ни за медвѣдей, ни за бѣшеныхъ собакъ, ни за русскихъ купцовъ и мужиковъ, ни за русскихъ судей и квартальныхъ; но и не могу питать къ тому или другому изъ нихъ личной ненависти. И *что* напишешь объ отцѣ Кольцова и *какъ* напишешь? Во-1-хъ, и написать нельзя, во-2-хъ, и напиши — онъ вѣдь не прочтетъ, а если и прочтетъ—не пойметъ, а если и пойметъ—не убѣдится. Издать сочиненія Кольцова — другое дѣло; но какъ издать, на что издать, и проч. и проч. Совокупность всѣхъ такихъ вопросовъ парализуетъ мой духъ и производитъ во мнѣ апатію. Эта апатія, я начинаю догадываться, есть особенный родъ отчаянія».

Не знаемъ, нужно ли разъяснять сопоставленіе, сдѣланное въ приведенныхъ строкахъ: у насъ много щепетильныхъ народолюбцевъ, которымъ выраженія Бѣлинскаго могутъ показаться грубымъ неуваженіемъ къ «народу» и т. п. Смыслъ его словъ ясенъ, по ихъ примѣненію; но должно отмѣтить, какъ черту времени, что слово и понятіе «народъ» еще не имѣли тогда своего нынѣшняго употребленія, въ какомъ они становятся выраженіемъ цѣлаго направленія (и за которымъ часто желаетъ прятаться даже обскурантное лицемѣріе). Въ кругу Бѣлинскаго и его друзей (за нѣкоторыми исключеніями, о которыхъ упомянемъ) еще не выработалось этого отвлеченнаго представленія (хотя уже являлась его сушность) и напротивъ еще памятно было, изъ недавняго образа мыслей, представленіе о народѣ, какъ неразвитой массѣ, чуждой образованія и враждебной ему. Съ ихъ старой точки зрѣнія, которая еще не во всѣхъ частностяхъ была смѣнена «соціальной идеей», и гдѣ на первомъ планѣ стояли интересы отвлеченной образованности, народъ легко могъ являться громадной, мало проницаемой,—а въ крѣпостныхъ

формахъ и совсѣмъ непроницаемой массой, неподвижность которой ставитъ трудно одолимое препятствіе для развитія общественности и образованія. Когда мысль о «народѣ» была выставлена въ извѣстномъ смыслѣ славянофилами, Бѣлинскій отвергъ ее—насколько она отожествляла съ «народомъ» и «преданіе», и принялъ ее — насколько она представляла общественное начало. Только въ этомъ послѣднемъ значеніи онъ отдавалъ, впослѣдствіи, справедливость народолюбивому стремленію славянофильства—въ той степени, въ какой было въ немъ это значеніе; народность какъ «преданіе», какъ инерція, была ему антипатична, и теперь и послѣ, и говоря о Кольцовѣ, онъ высказалъ это своимъ рѣзкимъ способомъ выраженія...

Далѣе, онъ опять говоритъ о Кольцовѣ:

«Кр. получилъ еще стихи на смерть К., но увѣдомленія никакого—когда, какъ и пр. Все еще какъ-то ждется чуда, не воскреснетъ ли, не ошибка ли? Страдалецъ былъ этотъ человѣкъ — я теперь только понялъ его. Мнѣ смѣшно, горько смѣшно вспомнить, какъ перезывалъ я его въ Питеръ, какъ спорилъ противъ его возраженій. К. зналъ дѣйствительность. Торговля въ его глазахъ была синонимъ мошенничества и подлости. Онъ говорилъ, что хорошо быть такимъ купцомъ какъ ты, но не такимъ, какъ (другіе)... Одна мысль о начатіи новаго поприща униженія, пролазничества, плутней, приводила его въ ужасъ,—она то и усахарила его... Чичиковъ дѣйствительно Ахиллъ русской Иліады... Діогенъ, увидя мальчика, пьющаго воду изъ рѣки рукою, бросилъ свой стаканъ, какъ ненужную вещь: намъ нельзя этого дѣлать, намъ законъ: или хрустальный граненый стаканъ, или смерть, или подлость... Что ни говори, а оно такъ».

Около этого времени Бѣлинскій получилъ извѣстія о М. А. Бакунинѣ, жившемъ за-границей. Выше было сказано, что еще задолго до отъѣзда они такъ разошлись, что ихъ отношенія были не только холодны, но враждебны. Полученныя теперь извѣстія были однако такого рода, что Бѣлинскій, который было закаялся имѣть съ нимъ сношенія, возобновилъ ихъ въ самомъ дружескомъ смыслѣ. Дѣло объясняется перемѣной, которая произошла въ мнѣніяхъ философскаго друга.

Онъ жилъ эти годы въ Берлинѣ. Берлинъ и послѣ Гегеля продолжалъ оставаться столицей нѣмецкой философіи. Между прочимъ Берлинъ давно привлекалъ своей ученой славой, особенно своимъ философскимъ талисманомъ, и русскую молодежь. Тамъ учились многіе, посланные отъ правительства; туда отправлялись молодые дилеттанты; въ Берлинѣ не переводилась русская колонія молодыхъ ученыхъ и философовъ. Съ конца тридцатыхъ годовъ

здѣсь перебывали и подолгу жили многіе изъ ближайшаго круга друзей и знакомыхъ Бѣлинскаго: Станкевичъ, Невѣровъ, Грановскій, Фроловъ, М. Бакунинъ, Катковъ, Сатинъ, Тургеневъ и пр.

По смерти Гегеля, многочисленная школа его сохраняла преданія учителя, но уже вскорѣ движеніе раздвоилось: ученіе Гегеля развивалось и истолковывалось съ тѣми необходимыми варіантами, къ которымъ давали основаніе его крайняя отвлеченность съ одной стороны, и съ другой — явныя противорѣчія, которыя обнаруживались нерѣдко между общими основаніями гегелевой системы и ея практическими выводами. Къ концу тридцатыхъ годовъ это разнообразіе истолкованій свелось къ двумъ главнымъ направленіямъ, и школа раздѣлилась на два противоположные и вскорѣ очень враждебные лагеря, — это было старое и молодое гегеліянство (Alt- и Jung-Hegelianer). Оба высоко ставили Гегеля; но одни видѣли въ его системѣ чуть не конецъ и завершеніе человѣческаго знанія; другіе—только общія основанія и методъ, истинное приложеніе которыхъ еще впереди. Первые думали, что въ точности сохраняютъ истинный смыслъ гегеліянства, держась умѣренныхъ, неопредѣленныхъ и вообще примирительныхъ практическихъ выводовъ учителя. Другіе, извлекая изъ гегеліянства основанія для болѣе смѣлой и рѣшительной критики философскаго и общественнаго содержанія, думали напротивъ, что только подобная критика и можетъ достойнымъ образомъ представлять истинныя идеи Гегеля. Мы называли Hallische (Deutsche) Jahrbücher, которыя стали органомъ этихъ молодыхъ гегеліянцевъ; это изданіе было знакомо и нашимъ друзьямъ въ Москвѣ и Петербургѣ, которые съ своей новой точки зрѣнія должны были находить въ немъ, и въ самомъ дѣлѣ находили, много сочувственнаго; они угадали въ новомъ философскомъ ученіи начало новаго періода науки и общественности.

Между тѣмъ въ концѣ 1841 года, въ Берлинѣ, гдѣ до тѣхъ поръ оффиціально господствовало старое гегеліянство, произошло цѣлое событіе въ области философіи и ожидалась новая эпоха со вступленіемъ въ университетъ Шеллинга, нѣкогда друга и товарища, потомъ врага Гегеля и крайняго противника его системы. Приглашеніе Шеллинга (изъ Мюнхена) послѣдовало не безъ особенныхъ соображеній. Шеллингъ былъ вызванъ прусскимъ министерствомъ не просто какъ знаменитый философъ, который достойно могъ бы смѣнить знаменитаго философа, но именно какъ противникъ Гегеля. Дѣло въ томъ, что министерство начинало иначе смотрѣть на философію Гегеля, которая, благодаря стараніямъ Гегеля въ послѣднее время оставаться въ мирѣ и оправдывать das Bestehende, была нѣкогда настоящей государственной, оффиціальной филосо-

фіей Пруссіи, считалась наилучшей школой и системой мнѣній для благонамѣреннаго гражданина и для чиновника, но теперь внушала большое недовѣріе вслѣдствіе того либеральнаго поворота, какой получала она въ толкованіяхъ лѣвой или молодой стороны гегеліянства. Вызывая Шеллинга на каѳедру, въ Берлинѣ надѣялись, что онъ будетъ противодѣйствовать или даже остановитъ распространеніе гегеліянскаго радикализма и будетъ основателемъ христіанской философіи. Знаменитость философа обѣщала ему успѣхъ. Шеллингъ, который никогда не могъ дать законченнаго изложенія своихъ ученій, явился на этотъ разъ съ новой, «второй» философіей (уже читанной имъ въ Мюнхенѣ, но не изданной): это была «философія откровенія». Шеллингъ не отдавалъ въ печать своей системы, но слушатели разнесли и даже напечатали содержаніе его лекцій; молодые гегеліянцы встрѣтили его философію враждебно, какъ отступленіе назадъ и реакцію. Это не помѣшало Шеллингу имѣть ревностныхъ послѣдователей съ другой стороны; его изложеніе, нерѣдко темное, но имѣвшее извѣстную фантастическую поэзію, производило впечатлѣніе. Выше упомянуто, что восторженнымъ его поклонникомъ сталъ Катковъ.

Философское событіе, совершившееся въ Берлинѣ, было оповѣщено въ «Отеч. Запискахъ», въ которыхъ была напечатана первая лекція Шеллинга, и затѣмъ упомянуто было объ окончаніи его лекцій, причемъ редакція обѣщала читателямъ обстоятельное изложеніе чтеній Шеллинга о философіи откровенія; это изложеніе ожидалось отъ одного ихъ корреспондента, посѣщавшаго лекціи въ теченіе всего семестра [1]). Въ другихъ журналахъ также заговорили о Шеллингѣ. Но Боткинъ и Бѣлинскій (вѣроятно, по свѣдѣніямъ Боткина и Грановскаго) уже вскорѣ увидѣли, что новая философія Шеллинга вовсе не такова, чтобы они могли ей сочувствовать, и увлеченіе ею Каткова не казалось имъ хорошимъ признакомъ. Нѣсколько позднѣе, Боткинъ высказался о тогдашнемъ положеніи нѣмецкой философіи и о роли, принятой Шеллингомъ, съ явнымъ сочувствіемъ къ лѣвому или молодому гегеліянству [2]).

Но когда одинъ изъ ихъ берлинскихъ пріятелей увлекался «философіей откровенія», другой бывшій пріятель ихъ, нѣкогда фи-

[1]) «Отеч. Зап.» 1842, кн. 2, смѣсь, стр. 65—70; кн. 5, смѣсь, стр. 38—39.

[2]) «Отеч. Зап.», 1843, кн. 1, ст. «Германская Литература», стр. 1—4. Тотъ же взглядъ на лѣвую сторону гегеліянства изложенъ (нѣсколько неожиданно) въ критической статьѣ по поводу «Исторіи Малороссіи» Маркевича («Отеч. Зап.» 1843, № 5), гдѣ авторъ, начавъ по тогдашнему обычаю издалека, между прочимъ опредѣлялъ тогдашнее положеніе Гегелевской философіи.

зософскiй авторитетъ московскаго кружка, — напротивъ, сошелся тѣсно съ молодыми гегелiянцами.

Бѣлинскiй получилъ извѣстiе объ этомъ въ концѣ 1842, и п: ·тъ (отъ 7 ноября) къ Н. Бакунину:

«...До меня дошли хорошiе слухи о Мишелѣ, и я—написалъ к эму письмо!! Не удивляйтесь—отъ меня все можетъ статься. Дѣ очень просто: съ нѣкотораго времени во мнѣ произошелъ си. ..ный переворотъ: я давно уже отрѣшился отъ романтизма, мист ізма и всѣхъ «измовъ»; но это было только отрицанiе, и ни новое не замѣняло разрушеннаго стараго, а я не могу жить бе: вѣрованiй, жаркихъ и фанатическихъ, какъ рыба не можетъ жи . безъ воды, дерево расти безъ дождя. Вотъ причина, почему вы идѣли меня прошлаго года такимъ неопредѣленнымъ... Теперь я о ять иной. И странно: мы, я и М., искали Бога по разнымъ пу: мъ—и сошлись въ одномъ храмѣ. Я знаю, что онъ разошелся съ ..ердеромъ, знаю, что онъ принадлежитъ къ лѣвой сторонѣ гегелiанизма, знакомъ съ R. [1]), и понимаетъ жалкаго, заживо умершаго романтика Шеллинга. М. во многомъ виноватъ и грѣшенъ; но въ немъ есть нѣчто, что перевѣшиваетъ всѣ его недостатки — это вѣчно движущееся начало, лежащее во глубинѣ его духа. Притомъ же, дорога, на которую онъ вышелъ теперь, должна привести его ко всяческому возрожденiю... Для меня, теперь, человѣкъ—ничто; убѣжденiе человѣка—все. Убѣжденiе одно можетъ теперь и раздѣлять и соединять меня съ людьми.

«Мнѣ стало легче жить... Если я страдаю, мое страданiе стало возвышеннѣе и благороднѣе, ибо причины его уже внѣ меня, а не во мнѣ. Въ душѣ моей есть то, безъ чего я не могу жить, есть вѣра, дающая мнѣ отвѣты на всѣ вопросы. Но это уже не вѣра, и не знанiе, а *религiозное знанiе* и *сознательная религiя*. Но объ этомъ послѣ, когда увидимся»...

«Хорошiе слухи», дошедшiе до Бѣлинскаго, относились къ сближенiю М. Бакунина съ лѣвой стороной гегелiянства и объ успѣхѣ, какой онъ имѣлъ въ этомъ кругу. Дѣло въ томъ, что въ «Deutsche Jahrbücher» была напечатана статья философскаго друга подъ французскимъ псевдонимомъ, и съ самымъ сочувственнымъ отзывомъ редакцiи [2]), отдававшей всю справедливость теоретической силѣ и смѣлой послѣдовательности автора, и обращавшей на статью особенное вниманiе читателей... Этотъ поворотъ соотвѣт-

---

[1]) Вѣроятно Арнольдомъ Руге.

[2]) Deursche Jahrb. für Wissenschaft und Kunst, 1842, въ октябрьскихъ нумерахъ, статья «Die Reaction in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen» (стр. 985—1002), съ подписью Jules Elysard. Псевдонимъ намъ указанъ однимъ «очевидцемъ» литературныхъ и философскихъ событiй той эпохи. На московскихъ друзей статья Элизара произвела большое впечатлѣнiе; о псевдонимѣ они узнали только позднѣе.

ствовалъ собственной исторіи Бѣлинскаго, и потому вызвалъ въ немъ опять симпатію къ старому другу.

Въ новомъ, отвѣтномъ письмѣ къ тому же лицу, отъ 28 ноября, Бѣлинскій возвращается къ предметамъ, о которыхъ говорилъ прежде. Упоминая опять о примиреніи съ М. А. Бакунинымъ, онъ объясняетъ, какъ можно любить человѣка за понятія, и какую роль могутъ играть понятія:

«...Любить человѣка за понятія и можно, и не можно. Надо условиться въ значеніи слова «понятіе». Если по вашему *понятію* яблоко вкуснѣе грушъ, и городъ Торжокъ богаче города Ельца,— я за это не могу ни любить, ни ненавидѣть васъ. Вы поймете меня. Есть понятія религіозныя, отсутствіе ихъ въ человѣкѣ можетъ сдѣлать человѣка и презрѣннымъ, и ненавистнымъ. Есть понятія, для которыхъ—и жизнь, и счастіе жизни—возможныя жертвы! Есть понятія, которыя смущаютъ покой ночной, отравляютъ пищу, которыя по волѣ и кипятятъ, и прохлаждаютъ кровь. Читали ли вы когда Ветхій Завѣтъ?... Знаете ли вы, что такое *ревность о Господѣ, снѣдающая человѣка*? Что человѣкъ безъ Бога?—Трупъ холодный. Его жизнь въ Богѣ, въ немъ онъ и умираетъ, и воскресаетъ, и страдаетъ, и блаженствуетъ. А что такое Богъ, если не понятіе человѣка о Богѣ?.. М. одержалъ надо мною побѣду, которой можетъ порадоваться... Я нисколько не раскаяваюсь и не жалѣю о моихъ размолвкахъ съ М.: все это было необходимо и быть иначе не могло. Гадки и пошлы ссоры личныя, но борьба за «понятія»— дѣло святое, и горе тому, кто не боролся!»

Возвращаемся къ перепискѣ съ Боткинымъ. Въ томъ письмѣ 23 ноября, гдѣ Бѣлинскій въ первый разъ извѣщалъ его о смерти Кольцова, онъ сообщаетъ ему потомъ свои личныя и литературныя новости. Онъ въ отчаяніи, что дѣла связываютъ его и, вѣроятно, не позволятъ ему отправиться въ деревню къ стариннымъ друзьямъ Бакунинымъ, которые его звали. «А какъ ѣхать? — работы бездна, времени мало, лѣнь и отвращеніе къ занятію непобѣдимы, денегъ нѣтъ, долговъ пропасть».

«Ты поторопился уѣхать въ пятницу утромъ, вмѣсто субботы вечеромъ, чтобъ не мѣшать мнѣ работать,—и ошибся въ разсчетѣ: я вообразилъ, что ты не уѣхалъ, и ничего не дѣлалъ ни въ пятницу, ни въ субботу, а потомъ съ недѣлю посвятилъ на грусть по разлукѣ съ тобою: у меня сердце нѣжное и къ дружбѣ склонное... Но Кр. не таковъ—.... говоритъ, дружба—вздоръ и лѣнь, а надо работать, и я сказалъ себѣ, какъ Кинъ въ глупой трагедіи Дюма: ступай, бѣдная, водовозная лошадь!»

Онъ сообщаетъ, что Гоголь во-время прислалъ «Сцену послѣ представленія комедіи», отъ которой Бѣлинскій въ восхищеніи: «удивительная вещь—умнѣе я ничего не читывалъ по-русски». Во-

время, конечно, потому, что тогда была въ полномъ разгарѣ полемика между защитниками и противниками Гоголя, вновь поднятая появленіемъ «Мертвыхъ Душъ». Бѣлинскій въ крайнемъ негодованіи на Полевого, который въ 6 и 7 книгахъ «Русскаго Вѣстника» разбранилъ на чемъ свѣтъ стоитъ «Мертвыя Души», и «изъ статьи вышелъ доносъ почище Сенковскаго» [1]).

Появленіе «Мертвыхъ Душъ» (въ 1842 г.) было, какъ и можно ожидать, великимъ событіемъ въ глазахъ Бѣлинскаго. Это было новое и наибольшее торжество писателя, первое разъясненіе котораго, наперекоръ почти всеобщему непониманію критики, онъ по праву считалъ своей заслугой. Достоинства новаго произведенія были такъ велики, что Бѣлинскій мало останавливался на ихъ прямомъ, спокойномъ разъясненіи. Успѣхъ Гоголя въ его глазахъ былъ явный и несокрушимый; но его до послѣдней степени возмущали тѣ злобныя нападенія, какими встрѣтили новое произведеніе Гоголя старыя партіи—Гоголя винили въ грубости его картинъ, и въ незнаніи русскаго языка, и даже въ неблагонамѣренности, въ желаніи злословить и позорить русскую жизнь. Наконецъ, приходилось защищать Гоголя и отъ его друзей, Шевырева и К. Аксакова. Бѣлинскій написалъ въ это время по поводу «Мертвыхъ Душъ» нѣсколько статей, крупныхъ и мелкихъ [2]).

Къ этому времени относится окончательный разрывъ Бѣлинскаго съ К. Аксаковымъ. Нѣкогда въ Москвѣ они были очень близки, Бѣлинскій и теперь отдавалъ справедливость благородному личному характеру Аксакова; но тотъ «китайскій элементъ», который очень вѣрно замѣтилъ онъ въ Аксаковѣ еще въ пору своего консервативнаго идеализма, необходимо долженъ былъ раздѣлить ихъ. Аксаковъ еще сохранялъ въ теоріи гегеліянскія преданія, но симпатіи его ушли въ чистое славянофильство, упорное и нетерпимое; еще прежде, чѣмъ оно успѣло высказаться вполнѣ, Бѣлинскій не могъ остаться хладнокровнымъ къ его союзу съ кругомъ «Москвитянина».

По переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ разногласіе стало обнаруживаться; они помѣнялись письмами, которыя и были окон-

---

[1]) Наконецъ, замѣчаніе объ одной статьѣ Боткина: «Говорятъ, твоя статья крѣпко нравится художникамъ. «Вотъ какъ надо писать» — говорятъ они». Здѣсь разумѣется статья Боткина о выставкѣ въ Академіи Художествъ, въ 11-й книгѣ «Отеч. Записокъ» 1842.

[2]) См. «Отеч. Зап.», 1842, № 7, библіографія и журнальныя замѣтки; № 8, библ.; № 9, 10, 11, 12, журн. замѣтки. Въ Сочин. т. VI, стр. 394 — 416; 433—444; 497—558; 562—608, passim.

чательнымъ разрывомъ [1]). Лѣтомъ 1841, Бѣлинскій послалъ Аксакову письмо черезъ Боткина, который и самъ переставалъ сочувствовать взглядамъ Аксакова [2]). Въ слѣдующемъ году, явилось и столкновеніе въ печати. К. Аксаковъ напечаталъ по поводу «Мертвыхъ Душъ» извѣстный восторженный панегирикъ, гдѣ приравнивалъ Гоголя къ Гомеру и Шекспиру, и самымъ серьезнымъ образомъ представлялъ «Мертвыя Души» какъ возрожденіе и продолженіе греческаго эпоса. Разборъ брошюры Аксакова, написанный Бѣлинскимъ [3]), не могъ не указать ея странностей; со стороны Аксакова явилось раздражительное «объясненіе» въ «Москвитянинѣ» (кн. 9), на которое Бѣлинскій отвѣчалъ не менѣе раздражительно [4]).

Боткинъ писалъ Бѣлинскому во время этой полемики (отъ 17-го сентября 1842):... «Аксакова рецензія твоя взбѣсила, и онъ пишетъ отвѣтъ, который напечатается въ Москвитянинѣ». Боткинъ не ожидалъ, чтобы отвѣтъ былъ умный (потому, конечно, что изготовляемый въ раздраженіи, онъ хотѣлъ и защищать странныя преувеличенія), и съ своей стороны думалъ, что слѣдуетъ дать урокъ (онъ употребляетъ болѣе сильное выраженіе) «московскимъ философамъ, въ которыхъ выразилась вся темная, асцетическая, душная, сидячая, абстрактная сторона нѣмецкаго философствованія», и которые схватили одно только внѣшнее движеніе категорій Гегеля, а не уловили его духа.

Но если Бѣлинскій изъ-за «понятій» непріязненно разстался съ К. Аксаковымъ, прежде близкимъ другомъ, то другіе члены тогдашняго славянофильства, представляемаго «Москвитяниномъ», внушали ему рѣшительную вражду, которая едвали даже увеличивалась тѣмъ, что нѣкоторые изъ нихъ ненавидѣли его какъ личнаго врага. Въ письмѣ отъ 9-го декабря онъ отвѣчаетъ Боткину сообщавшему новости о кружкѣ «Москвитянина»:

«Спасибо тебѣ за вѣсти о славянофилахъ и за стихи на Дмитріева [5])—не могу сказать, какъ то и другое порадовало меня. Если не ошибаюсь въ себѣ и въ своемъ чувствѣ,—ненависть этихъ

---

[1]) Этихъ писемъ мы, къ сожалѣнію, не имѣли въ рукахъ; знаемъ только, что письма были рѣзкія съ обѣихъ сторонъ.

[2]) Боткинъ пишетъ Бѣлинскому отъ 18-го іюля 1841: «Прочелъ твое письмо къ Аксакову. Ну, ну! Вотъ до чего дошло! Но меня это нисколько не удивило. Въ А. лежала всегда возможность того, чѣмъ онъ теперь сталъ, и я благодарю свою натуру, которая никакъ не могла симпатизировать съ нимъ», т.-е. съ его мнѣніями.

[3]) «От. Зап.» 1842, кн. 8, библ.; Сочин. VI, 433 и д.

[4]) «От. Зап.» 1842, кн. 11, журн. замѣтки; Сочин. VI, стр. 523—527.

[5]) Въ отвѣтъ на стихотвореніе «Безыменному Критику».

господъ радуетъ меня—я смакую ее, какъ боги амброзію, какъ Боткинъ (мой другъ) всякую сладкую дрянь; я былъ бы радъ ихъ мщенію... Я буду постоянно бѣсить ихъ, выводить изъ терпѣнія, дразнить. Бой мелочной, но все же бой, война съ лягушками, но все же не миръ съ баранами»...

Выше упомянуто было, что съ новымъ направленіемъ понятій у Бѣлинскаго измѣнился взглядъ на французскую литературу; въ частности измѣнилось совершенно его мнѣніе о Жоржъ-Зандѣ. Теперь онъ не можетъ говорить безъ восторга объ этой писательницѣ, и романы ея одинъ за другимъ стали появляться въ «От. Зап.». Жоржъ-Зандъ, «это рѣшительно Іоанна д'Аркъ нашего времени,—говоритъ онъ съ его обыкновеннымъ увлеченіемъ въ одномъ письмѣ конца 1842 г.,—звѣзда спасенія и пророчица великаго будущаго».

Въ какой энтузіазмъ приводили его тогда произведенія Жоржъ-Занда, можетъ дать понятіе письмо къ Панаеву, написанное по прочтеніи «Мельхіора».

«Ну, Панаевъ,—пишетъ Бѣлинскій (5 дек. 1842),—вижу, что у насъ есть чутье кое-на-что—сейчасъ я прочелъ Мельхіора... Да, любовь есть таинство,—благо тому, кто постигъ его; и, не найдя его ссуществленія для себя, онъ все-таки владѣетъ таинствомъ. Для меня свѣтлою минутою жизни будетъ та минута, когда я вполнѣ удостовѣрюсь, что вы *наконецъ* уже владѣете въ своемъ духѣ этимъ таинствомъ, а не предчувствуете его только. Мы... счастливцы—очи наши узрѣли спасеніе наше и мы отпущены съ миромъ владыкою—мы дождались пророковъ нашихъ—и узнали ихъ, мы дождались знаменій—и поняли, и уразумѣли ихъ. Вамъ странны покажутся эти строки—ни съ того, ни съ сего присланныя къ вамъ; но я въ экстазѣ, въ сумасшествіи, а Жоржъ-Зандъ называетъ сумасшествіемъ именно тѣ минуты благоразумія, когда человѣкъ никого не поразитъ и не оскорбитъ странностью—это она говоритъ о Мельхіорѣ. Какъ часто мы бываемъ благоразумными Мельхіорами, и благо намъ въ рѣдкія минуты нашего безумія. О многомъ хотѣлось бы мнѣ сказать вамъ, но языкъ коснѣетъ. Я люблю васъ, Панаевъ, люблю горячо,—я знаю это по минутамъ неукротимой ненависти къ вамъ. Кто далъ мнѣ право на это—не знаю; не знаю даже, дано ли это право. Мнѣ кажется, вы ошибаетесь, думая, что все придетъ само собою, даромъ, безъ борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы изъ души своей, вырывая ихъ съ кровью. Это еще не заслуга—встать въ одно прекрасное утро человѣкомъ истиннымъ и увидѣть, что безъ натяжекъ и фразерства можно быть такимъ. Даровое не прочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя эпитимью и постъ, и вериги, надо говорить себѣ: этого мнѣ хочется, но это не хорошо, такъ не быть же этому. Пусть васъ тянетъ къ *этому*, а вы все-таки не идите къ нему; пусть будете вы въ апатіи и тоскѣ—все лучше, чѣмъ въ удовлетвореніи своей суетности и пустоты.

«Но я чувствую, что я не шутя безумствую. Можетъ быть, приду къ вамъ обѣдать, а не говорить: говорить надо, когда заговорится само собою, а не назначать часы для этого. Спѣшу къ вамъ послать это маранье, пока охолодѣвшее чувство не заставитъ его изорвать»...

Такъ овладѣвали имъ впечатлѣнія поэзіи, и тотчасъ вызывали въ немъ отвѣтъ, нравственное примѣненіе, возбуждали его чувство. Черезъ нѣсколько дней (9 декабря) онъ пишетъ другую восторженную тираду:

«Мельхіоръ [1])--божественное произведеніе. Ж.-З. постигла таинство любви получше всѣхъ нѣмцевъ... Ея любовь—не чувственная, хотя и изящная любовь италіанца, не восторженная, безконечная въ чувствѣ и пустая въ содержаніи, романтическая любовь нѣмца, не безсознательно-непосредственная, хотя и глубокая любовь англичанина; ея любовь--дѣйствительность и полнота всякой любви. Мельхіоръ потрясъ меня какъ откровеніе, какъ блескъ молніи, озарившей безконечное пространство—и я пролилъ слезы божественнаго восторга, священнаго безумія... Кстати: ты срѣзался на Consuelo—это великое божественное произведеніе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ прочесть страницу отъ строки: Tout-à-coup il sembla à Consuelo que le violon d'Albert parlait et qu'il disait par la bouche de Satan, и пр.» [2]).

Далѣе, онъ восхищается драмой «Густавъ Адольфъ» (въ 12-й кн. «Библ. для чтенія» 1842) и замѣчаетъ: «ты поймешь, что мнѣ понравилось». О своей статьѣ по поводу Баратынскаго [3]) онъ говоритъ, что она «скомкана, свалена, а кажется, чуть ли не изъ лучшихъ моихъ мараній». Его огорчаетъ паденіе на сценѣ «Женитьбы» Гоголя, вслѣдствіе плохого исполненія: «теперь враги Гоголя пируютъ». Объ его «Игрокахъ» пишетъ, что они запрещены театральной цензурой,—«запрещены произвольно, безъ всякаго основанія». Упоминая о хлопотахъ редакціи «Москвитянина», чтобы оживить этотъ журналъ, Бѣлинскій замѣчаетъ, что объ этомъ «можно сказать одно: хватился монахъ, какъ ужъ смерть въ головахъ»...

Свое личное расположеніе духа онъ изображаетъ въ самомъ мрачномъ видѣ:

---

[1]) Эта небольшая повѣсть напечатана въ «От. Зап.» 1842, кн. 12.

[2]) Чтобы дать образчикъ того, какія разстоянія бывали между теперешними мнѣніями Бѣлинскаго и тѣмъ, что думалъ онъ въ прежнія времена, укажемъ его отзывы о женской эмансипаціи и женщинахъ-писательницахъ въ «Молвѣ» 1835 (Соч., I, 404—413). Дальше озлобленіе не могло идти.

[3]) Критическая статья въ «От. Зап.», 1842, № 12; Сочин., VI, 280—324.

«Жить становится все тяжелѣе и тяжелѣе—не скажу, чтобы я боялся умереть съ тоски, а не шутя боюсь или сойти съ ума, или шататься, ничего не дѣлая, подобно тѣни, по знакомымъ. Стѣны моей квартиры мнѣ ненавистны; возвращаясь въ нихъ, иду съ отчаяніемъ и отвращеніемъ въ душѣ, словно узникъ въ тюрьму, изъ которой ему позволено быяо выйти погулять. Это ты отъ меня уже слышалъ, по сколько-бы я ни повторялъ тебѣ этого, никогда не буду въ силахъ выразить всей дѣйствительности этого страшнаго могильнаго ощущенія. Былъ грѣшокъ—любилъ я въ старину преувеличить иное ради поэзіи содержанія и выраженія; но теперь Богъ съ нею, со всякою поэзіею—немножко спокойствія, немножко веселости я предпочелъ бы чести сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзіи, когда страшно увѣряться въ прозаической дѣйствительности собственнаго страданія, а увѣряешься противъ воли»...

Онъ вспоминаетъ, какъ спокойно и весело жилось ему въ то время, когда у него гостилъ Боткинъ, когда, бывало, возвращаясь домой одинъ, онъ видѣлъ со двора привѣтный огонекъ въ своихъ окнахъ и находилъ Боткина «священнодѣйствующимъ» за чаемъ или за другимъ смакованьемъ. «Ты счастливѣе меня—съ тобою Герценъ», замѣчаетъ онъ.

Зимой этого года Бѣлинскому очень хотѣлось съѣздить въ деревню, къ Бакунинымъ; онъ ждалъ этой поѣздки съ величайшимъ нетерпѣніемъ, надѣясь найти у друзей отдыхъ и освѣженіе; но поѣздка не удалась, и это приводило его въ отчаяніе. Онъ попрежнему работалъ, но работа, которая и раньше начала утомлять его, теперь совершенно опостылѣла ему... Новыя письма къ Боткину, которыя находятся въ нашемъ матеріалѣ, начинаются съ февраля 1843 года. Они писаны все въ томъ же мрачномъ настроеніи.

Это настроеніе было понятно. «Дѣйствительность» раскрывалась для Бѣлинскаго во всякомъ случаѣ настолько, что иллюзіи или теоретическія примиренія были уже невозможны: то отчужденіе отъ общества, которое давно жило въ немъ, какъ инстинктъ, теперь оправдывалось какъ принципъ,—идеалы его складывались совсѣмъ въ иномъ направленіи, чѣмъ каково было направленіе данной дѣйствительности. Нравственная жизнь опять, оказывалось, была возможна только въ тѣснѣйшемъ дружескомъ кругѣ. Въ литературѣ онъ высказаться не могъ—потому что для самой литературы были закрыты предметы, о которыхъ онъ хотѣлъ бы высказываться, и въ ней не могло быть мѣста его энтузіазму; всѣ попытки его—даже въ самой стѣсненной формѣ затронуть новые предметы, высказать одушевлявшія его чувства, терпѣли цензурныя крушенія. Журнальная работа, особенно въ этихъ условіяхъ, стала тя-

готить его и, наконецъ, опротивѣла до послѣдней степени—тѣмъ болѣе еще, что и матеріально вознаграждалась, какъ вообще говорятъ, гораздо менѣе, чѣмъ было можно и должно... Очень естественно было, что среди этихъ нравственныхъ страданій онъ сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, испытываетъ мучительное чувство съ одной стороны—невозможности дѣйствовать, съ другой—своего личнаго одиночества.

ГЛАВА VIII.

Время полнаго развитія характера и дѣятельности Бѣлинскаго.—Сближеніе московскихъ друзей съ славянофильскимъ кружкомъ, и вражда къ нему Бѣлинскаго.—Журнальныя дѣла.—Поѣздка въ Москву, лѣтомъ 1843.—Женитьба.—Кружокъ Бѣлинскаго въ Петербургѣ: разсказы Тургенева, Кавелина; воспоминанія Панаева, кн. Одоевскаго.—Мнѣніе Бѣлинскаго о «народныхъ» литературахъ.

1842—1844.

Внутреннее развитіе человѣка трудно дѣлится на опредѣленные періоды; трудно указывать ихъ и въ настоящей біографіи,—потому что хотя она и представляетъ, въ сравнительно короткое время, чрезвычайно непохожія настроенія, но они смѣняются одно другимъ съ постепенностью, съ колебаніями, минутными возвратами прежняго, и можно указывать только болѣе рѣзкіе пункты, какихъ достигало то или другое настроеніе. Въ этомъ общемъ смыслѣ полное развитіе личнаго характера и дѣятельности Бѣлинскаго можно полагать съ той поры (конецъ 1842 и начало 1843 г.), когда онъ окончательно освободился отъ идеалистическаго романтизма, и въ его взглядахъ начинаетъ господствовать критическое отношеніе къ дѣйствительности, историческая и общественная точка зрѣнія. Это была пора мужества,—слишкомъ кратковременная, но богатая результатами.

Съ этого времени начинается и наибольшая сила его вліянія. Имя Бѣлинскаго, почти не упоминавшееся въ журналѣ, было извѣстно далеко за предѣлами литературнаго міра; масса читателей не нуждалась въ подписи имени, чтобы угадывать автора. Есть анекдоты, которые весьма характеристично указываютъ эту извѣстность Бѣлинскаго [1]). Его дѣятельность была образовательной силой, дѣй-

---

[1]) Воспом. Панаева, «Совр.» 1860, кн. 1, стр. 358—359.

ствіе которой несомнѣнно отразилось на умственномъ содержаніи его сверстниковъ и возраставшаго поколѣнія.

Мы не станемъ преувеличивать размѣровъ этого вліянія, и, напротивъ, напомнимъ, что, во-первыхъ,—въ значительной степени заслугу его раздѣляютъ другіе люди этого круга, отчасти поддерживавшіе самого Бѣлинскаго или своими знаніями, или своимъ не менѣе горячимъ энтузіазмомъ къ дѣлу общественнаго развитія; во-вторыхъ, что, внѣ круга Бѣлинскаго, и параллельно съ его дѣятельностью, въ литературѣ и обществѣ возникали съ разныхъ сторонъ новыя нравственныя требованія, такъ что дѣятельность Бѣлинскаго уже находила иногда въ нихъ или подготовленную почву, или поддержку. Такъ возникали идеи объ обращеніи къ народу, вниманіе къ его быту—возникали, внѣ этого круга, и въ литературномъ мірѣ, какъ, напр., у славянофиловъ, и даже (конечно въ очень немногихъ примѣрахъ) въ образованнѣйшей части бюрократіи; такъ, внѣ этого круга, оказывались сходныя вліянія европейской литературы и т. п. Но все это не изглаживаетъ той особенной яркой полосы, какую провела въ развитіи нашего общества дѣятельность Бѣлинскаго. Обширная популярность его имени въ тѣ годы, ожесточенная ненависть однихъ и горячее уваженіе другихъ, успѣхъ журнала, въ которомъ онъ работалъ и который сталъ при немъ лучшимъ и наиболѣе распространеннымъ изъ тогдашнихъ изданій,—всѣ эти внѣшніе факты достаточно указываютъ на сильное впечатлѣніе, произведенное дѣятельностью Бѣлинскаго. Мы найдемъ подтвержденіе этого и въ фактахъ внутреннихъ: въ прогрессивныхъ взглядахъ людей «сороковыхъ годовъ», нетрудно узнать слѣды вліянія Бѣлинскаго—въ томъ критическомъ отношеніи къ существовавшей дѣйствительности, въ томъ особенномъ вкусѣ къ гуманнымъ вліяніямъ поэтической литературы, въ томъ недовѣріи къ славянофильской идеализаціи народности,—которыя отличали литературную проповѣдь Бѣлинскаго. Историческое пониманіе литературы, господствовавшее до недавняго времени, было установлено Бѣлинскимъ. Писатели, какъ Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ,—которыхъ всѣхъ ему приходилось защищать и объяснять,—пріобрѣли въ литературномъ пониманіи общества то самое значеніе, какое онъ указывалъ. Литературная школа, явившаяся послѣ Гоголя и обыкновенно изображаемая какъ его результатъ, несомнѣнно была въ то же время и результатомъ внушеній и толкованій Бѣлинскаго. Мы не сомнѣваемся, что Тургеневъ, Григоровичъ, Некрасовъ, Гончаровъ, Достоевскій—живые свидѣтели этого—признаютъ, что содержаніе Бѣлинскаго, тѣмъ или другимъ образомъ, прошло черезъ ихъ поэтическое развитіе и было однимъ изъ вдох-

новеній ихъ литературной дѣятельности, вѣроятно еще не совсѣмъ заслоненнымъ позднѣйшими событіями ихъ личной и общественной исторіи.

Тотъ обильный матеріалъ писемъ, гдѣ до сихъ поръ мы находили главнѣйшій біографическій источникъ въ собственныхъ разсказахъ и признаніяхъ Бѣлинскаго, прерывается на половинѣ 1843 года. За конецъ 1843 и потомъ за два слѣдующіе года мы имѣемъ всего нѣсколько писемъ къ друзьямъ. Новый, очень изобильный рядъ писемъ начинается опять уже въ 1846.

Первыя письма 1843 года проникнуты тѣмъ же мрачнымъ расположеніемъ духа, о которомъ говорено въ концѣ предыдущей главы. Бѣлинскій было надѣялся отдохнуть отъ своей работы и отъ своей скуки въ деревнѣ у старинныхъ друзей, куда его очень радушно приглашали, но надежда, долго питаемая, не осуществилась. Свои печальныя размышленія онъ повѣряетъ Боткину въ письмѣ отъ 6 февраля.

«Я много-много виноватъ передъ тобой [1], милый мой Боткинъ. Причина этому—страшное, сухое отчаяніе, парализировавшее во мнѣ всякую дѣятельность, кромѣ журнальной, всякое чувство, кромѣ чувства невыносимой пытки. Причинъ этой причины много; но главная—невозможность ѣхать [2]... Мысль объ этой невозможности... я всячески отгонялъ, словно преступникъ о своемъ преступленіи, и она, въ самомъ дѣлѣ, не преслѣдовала меня безпрестанно, но, когда я забывался, вдругъ прожигала меня насквозь, какъ струя молніи, какъ мученіе совѣсти. Подобнымъ же образомъ, хотя къ стыду моему и не такъ сильно, терзало и терзаетъ еще меня *внезапное воспоминаніе* о смерти Кольцова. Вѣсть о ней я принялъ сначала сухо и холодно, но потомъ она обошлась мнѣ таки очень не дешево. Работа журнальная мнѣ опостылѣла до болѣзненности, и я со страхомъ и ужасомъ начинаю сознавать, что меня не надолго хватитъ»...

Изъ слѣдующихъ строкъ объясняется, почему опостылѣла Бѣлинскому журнальная работа:

«Писать ничего и ни о чемъ со дня на день становится невозможнѣе и невозможнѣе. Объ искусствѣ ври что́ хочешь, а о дѣлѣ, т.-е. о нравахъ и нравственности—хоть и не трать труда и времени. Изъ статьи моей въ 1 № «О. З.» вырѣзанъ цѣлый листъ

---

[1]) Т.-е. молчаніемъ на его письма.

[2]) *Въ деревню къ друзьямъ* [Бакунинымъ].

печатный [1])—все лучшее, а я этою статьею очень дорожилъ, ибо она проста и по идеѣ и по изложенію. Изъ статьи о Державинѣ (№ 2) не вычеркнуто ни одного слова, а я совсѣмъ не дорожилъ ею. Теперь долженъ приниматься за 2-ю ст. о Д. (Державинѣ), подъ вліяніемъ вдохновительной и поощрительной мысли, что ее всю изрѣжутъ и исковеркаютъ. Все это и другія причины огадили мнѣ русскую литературу и вранье о ней сдѣлали пыткою».

А между тѣмъ онъ долженъ былъ говорить и говорить о ней—«ради хлѣба насущнаго». Работа идетъ странно: часто или обыкновенно онъ пропуститъ время, потому что мысли полны другимъ, наконецъ, редакція начинаетъ требовать статьи:—«глядь, ужь и 15-е число на дворѣ,—Кр. рычитъ, у меня въ головѣ ни полъ-мысли, не знаю, ка́къ начну, что́ скажу; беру перо»—и статья будетъ готова—ка́къ, я са́мъ не знаю, но будетъ готова». «Это—привычка и необходимость—два великіе рычага дѣятельности человѣческой»,—такъ онъ самъ хочетъ объяснить процессъ и быстроту своей работы. Но должно прибавить и другое объясненіе. По свойству самыхъ работъ, которыя въ это время нисколько неуступали прежнимъ по одушевленію и превышали ихъ серьёзностью, въ которыхъ не видно никакого слѣда чего-нибудь тяжелаго или вынужденнаго,—ясно, что не одна привычка и необходимость внушали ихъ, что необходимость давала только поводъ, внѣшнее начало, но, какъ скоро эта работа начиналась, Бѣлинскій весь уходилъ въ нее и работалъ быстро, съ увлеченіемъ, забывая все окружающее. Это былъ импровизаторъ, преображавшійся въ минуту вдохновенія,—хотя бы оно вызывалось привычкой и необходимостью.

«Надо́бно было взглянуть на Бѣлинскаго въ тѣ минуты, когда онъ писалъ что-нибудь, въ чемъ принималъ живое, горячее участіе,—разсказываетъ Панаевъ...—Лицо и глаза его горѣли, перо съ необыкновенною быстротою бѣгало по бумагѣ, онъ тяжело дышалъ и безпрестанно отбрасывалъ въ сторону исписанный полулистъ. Онъ обыкновенно писалъ только на одной сторонѣ полулиста, чтобы не останавливаться въ ожиданіи, покуда просохнутъ чернила...

«Сколько разъ заставалъ я его въ такія минуты и смотрѣлъ на него незамѣчаемый имъ; если же онъ оборачивался и взглядывалъ на меня, прежде нежели я уходилъ, онъ безъ церемоніи говорилъ мнѣ:

«— Извините меня, Панаевъ... Видите, я занятъ.

«Онъ откладывалъ на минуту перо и прикладывалъ руку къ головѣ. Я какъ теперь вижу его въ этомъ положеніи»...

[1]) Это была статья: «Русская литература въ 1842 году», въ Сочин. VII, стр. 5—55.

Панаевъ разсказываетъ, какъ утомляли физически Бѣлинскаго эти работы и какъ тяготила его, наконецъ, необходимость писать о пустякахъ и невозможность говорить о томъ, что дѣлалось его настоящимъ, глубокимъ интересомъ,—о чемъ мы сейчасъ читали слова самого Бѣлинскаго.

«Одинъ разъ,—говоритъ Панаевъ,—я засталъ Бѣлинскаго ходящимъ по комнатѣ въ волненіи и съ усиліемъ махающимъ правою рукою.

«— Что это съ вами?—спросилъ я его.

«— Рука отекла отъ писанья .. Я часовъ восемь сряду писалъ, не вставая. Говорятъ, я самъ виноватъ, потому что откладываю писанье свое до послѣднихъ дней мѣсяца. Можетъ быть, это отчасти и правда, но взгляните, Бога ради, сколько книгъ мнѣ присылаютъ... и какія еще книги—посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальныя книжонки! И я долженъ непремѣнно хоть по нѣскольку словъ написать объ каждой изъ этихъ книжонокъ!..

«Онъ остановился на минуту, тяжело вздохнулъ и продолжалъ:

«— Да, и если бы знали вы, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же—все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ—все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ!—Я рожденъ памфлетистомъ,—и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло въ душѣ, отчего сердце болитъ!» [1]).

Въ это время Бѣлинскій пристрастился къ картамъ—конечно, не ради картъ: игралъ онъ плохо, всего чаще проигрывался, но карты доставляли ему средство забывать на время обо всемъ, что его угнетало. Онъ продолжаетъ разсказъ о своей работѣ и своемъ отдыхѣ:

«...Отработался, и два-три дня у меня болитъ рука—видъ бумаги и пера наводитъ на меня тоску и апатію, дую себѣ въ преферансъ (подлый и филистерскій вистъ я уже презираю—это прогрессъ), ставлю ремизы страшные, ибо и игру знаю плохо и горячусь, какъ сумасшедшій—на мѣлокъ я долженъ рублей около 300, а переплатилъ мѣсяца въ два (какъ началъ играть въ преф.) рублей 150—благородная, братецъ, игра преферансъ! Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, ночью, днемъ, не ѣсть и играть, не спать и играть. Страсть моя къ преф. ужасаетъ всѣхъ; но страсти нѣтъ; ты поймешь, что есть»...

И онъ опять говоритъ о своихъ душевныхъ тревогахъ, и серьезно, и съ горькою шуткой. Мысль о деревенскихъ друзьяхъ,

---

[1]) Воспом., тамъ же, стр. 362—363.

къ которымъ ему такъ хотѣлось тогда отправиться, давала ему отраду на мгновеніе, но потомъ снова овладѣла имъ тоска:

«...Надеждъ на жизнь никакихъ, ибо фантазія уже не тѣшитъ, а дѣйствительность глубоко понята. Какъ тутъ—будь безпристрастенъ—прочесть что-нибудь для себя? А, Боже мой, сколько бы надо прочесть-то! Но полно тѣшить себя завтраками—я ничего не прочту. Я—Прометей въ каррикатурѣ: «О. З.»—моя скала, Кр.—мой коршунъ. Мозгъ мой сохнетъ, способности тупѣютъ, и только—

Печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй.

Мнѣ стыдно вспомнить, что нѣкогда я думалъ видѣть на головѣ моей терновый вѣнокъ страданія, тогда какъ на ней былъ просто шутовской колпакъ съ бубенчиками. Какое страданіе, если стишонки Красова и —ѳ— были фактомъ жизни и занимали меня какъ вопросы о жизни и смерти? Теперь иное: я не читаю стиховъ (и только перечитываю Лерм., все болѣе и болѣе погружаясь въ бездонный океанъ его поэзіи), и когда случится пробѣжать ст. Фета или Огарева, я говорю: «оно хорошо, но какъ же не стыдно тратить времени и чернилъ на такіе вздоры?»

«Къ довершенію всѣхъ этихъ пріятностей, у меня лежитъ на столѣ прекрасное стихотвореніе г. Оже, котораго послѣдняя риѳма есть 830 рублей ассигн.; да другихъ долговъ и должишекъ, не терпящихъ отсрочки, есть сотъ до семи... Это просто оргія отчаянія, и я иногда смѣюсь надъ своимъ положеніемъ»...

Подписка на журналъ шла лучше, чѣмъ въ 1842, но все-таки подписчиковъ было меньше, чѣмъ у «Библ. для Чтенія». «Пиши для россійской публики! Гоголя сочиненія идутъ тихо: честь и слава бараньему стаду, для котораго и Булгаринъ съ братіею все еще высокіе геніи!»—«Многое бы хотѣлось сказать тебѣ,—говоритъ дальше Бѣлинскій,—да что—ты и такъ знаешь все».

Кончивъ съ личными вопросами, Бѣлинскій говоритъ въ своемъ длинномъ письмѣ о литературныхъ и другихъ новостяхъ ихъ круга. Онъ получилъ новыя извѣстія или слухи о М. Бакунинѣ «говорятъ, онъ *принужденъ* былъ изъ Д. [1]) переѣхать въ Базель—это глубоко меня огорчило». Послѣдняя переписка между ними оживила въ Бѣлинскомъ прежнюю дружбу, и онъ снова очень цѣнитъ философскаго друга [2]).

Обращаясь къ литературнымъ новостямъ, Бѣлинскій восхищается статьей «Дилеттантизмъ въ наукѣ» [3]), но вмѣстѣ съ тѣмъ

---

[1]) Дрездена.

[2]) Въ концѣ 1843 или началѣ 1842, запрещены были «Deutsche Jahrbücher», перенесенныя незадолго передъ тѣмъ въ Дрезденъ.

[3]) Статья первая, въ «Отеч. Зап.» 1843, кн. 1. Науки, стр. 31—42.

вооружается противъ ея автора. Для объясненія слѣдующей цитаты, надо припомнить, что этотъ авторъ окончилъ тогда свои переѣзды по Россіи, поселился въ іюлѣ 1842 въ Москвѣ, и тамъ, между прочимъ, встрѣтился съ славянофилами. Герценъ вовсе не былъ наклоненъ къ славянофильству съ его тогдашними аттрибутами, особенно мистическими, но онъ (а сначала также и Грановскій) сблизился съ нѣкоторыми изъ славянофиловъ потому, что видѣлъ въ нихъ (т.-е. не въ «Москвитянинѣ», а въ собственныхъ славянофилахъ) оригинальное умственное явленіе, которымъ и заинтересовался какъ новымъ фактомъ общественной жизни. Въ славянофильствѣ встрѣтилъ онъ крайнее противорѣчіе своему собственному взгляду, но противорѣчіе было защищаемо съ умомъ и ловкостью, съ упорствомъ, доходившимъ до настоящаго фанатизма, которые возбуждали его самого, давали пищу его собственной мысли и остроумію. Онъ любилъ встрѣчаться и спорить съ братьями Кирѣевскими, съ Хомяковымъ, Самаринымъ, К. Аксаковымъ о тѣхъ существенныхъ вопросахъ, гдѣ славянофилы радикально расходились съ «западнымъ» кружкомъ. Все это были, какъ говорили они, nos ennemis les amis, или наоборотъ. Дружескія встрѣчи всегда были вмѣстѣ съ тѣмъ постояннымъ диспутомъ и препирательствомъ, особенно между Герценомъ съ одной стороны и Хомяковымъ, Кирѣевскими и Самаринымъ—съ другой. Мы напомнимъ извѣстные разсказы объ этихъ отношеніяхъ «западнаго» кружка съ славянофилами,—особенно разсказы, оставленные самимъ участникомъ этихъ отношеній [1]),—о томъ, какъ мирно сначала встрѣчались эти партіи. Завязавшіяся между ними отношенія были весьма естественны: обѣ стороны видѣли другъ въ другѣ мыслящихъ людей, а это была такая рѣдкость въ тогдашнемъ обществѣ, что они возымѣли весьма понятное любопытство другъ къ другу; на первое время не представлялось еще такихъ столкновеній, которыя дѣлали бы невозможными личныя отношенія, хотя имя Бѣлинскаго уже было для славянофиловъ предметомъ ненависти; личный характеръ почти всѣхъ противниковъ, напр. Кирѣевскихъ, К. Аксакова и др., былъ внѣ всякаго возраженія и внушалъ уваженіе. Славянофилы, съ своей стороны, пока не увлеклись черезъ мѣру самонадѣянной исключительностью, находили также интересъ въ этомъ личномъ сближеніи.

Но Бѣлинскій не понималъ его. Онъ не былъ такъ податливъ, какъ его другъ, на мирныя отношенія съ людьми, которые были отъявленными врагами его взгляда. Мнѣнія его противниковъ были ему такъ враждебны, что онъ не считалъ возможнымъ никакое

---

[1]) См. также біографію Грановскаго, написанную А. В. Станкевичемъ.

примиреніе: онъ искалъ прямой сущности дѣла, и у него не было бы терпѣнія на остроумную философскую казуистику, какой въ особенности занимались Герценъ и Хомяковъ; онъ не находилъ удовольствія въ спорѣ для спора... Разсказываютъ, что Хомяковъ, обладавшій и въ самомъ дѣлѣ обширной начитанностью, иногда злоупотреблялъ ею въ спорѣ, дѣлалъ цитаты, которыхъ въ данную минуту невозможно было провѣрить и которыя оказывались фантастическими,—его противникъ не бывалъ на то въ претензіи, принималъ это добродушно, какъ полемическую изворотливость, смѣлость или шутку,—но на другихъ, и на Бѣлинскаго, эти пріемы оказывали совсѣмъ иное впечатлѣніе... Наконецъ, Герценъ, повидимому, находилъ въ славянофильствѣ и долю вѣрнаго, чего тогда недоставало взгляду «западному», и что нѣсколько позднѣе вошло въ его собственный образъ мыслей въ видѣ немного соціалистически окрашеннаго представленія объ общинѣ. И во всякомъ случаѣ, славянофильство было интересно Герцену уже какъ фактъ: ему любопытно было объяснить себѣ его происхожденіе и развитіе: онъ наблюдалъ его какъ психологическое явленіе. Бѣлинскій не имѣлъ всѣхъ этихъ соображеній, и сближеніе Герцена съ славянофилами показалось ему если не шагомъ назадъ, то фальшивымъ шагомъ,—одно время онъ чуть не считалъ своего друга готовымъ перейти въ славянофильство. Должно прибавить еще, что Бѣлинскій, который очень мало способенъ былъ удержаться на отвлеченныхъ діалектическихъ преніяхъ, свелъ бы ихъ тотчасъ на прямые и рѣзкіе факты, гдѣ споръ былъ бы безполезенъ и почти невозможенъ по крайности противорѣчія. Притомъ, Бѣлинскій не думалъ тогда раздѣлять славянофильства отъ «Москвитянина», съ которымъ въ это самое время враждовалъ, и, наконецъ, онъ просто не вѣрилъ въ примиреніе столь противорѣчащихъ мнѣній—и послѣдствія показали, что онъ былъ правъ.

Бѣлинскій уже скоро обратилъ вниманіе на этотъ предметъ, и еще въ ноябрѣ 1842 писалъ Герцену письмо (намъ неизвѣстное), вѣроятно касавшееся отношеній съ московскими врагами. Герценъ, на котораго оно произвело впечатлѣніе крайности и фанатизма, отвѣчалъ письмомъ (также намъ неизвѣстнымъ), которое упоминаетъ Бѣлинскій въ томъ же письмѣ къ Боткину отъ 6 февраля,—и упоминаетъ съ досадой: очевидно, что Герценъ говорилъ о славянофилахъ, и въ примирительномъ смыслѣ.

Должно впрочемъ сказать, что и въ пору наибольшаго сближенія съ славянофильствомъ московскіе друзья Бѣлинскаго не думали о возможности искренняго примиренія Еще въ концѣ 1842 они замѣчали, что славянофильство принимаетъ видъ мрачнаго,

нетерпимаго фанатизма. Впослѣдствіи они увидѣли наглядные его примѣры.

Возвращаемся къ письму Бѣлинскаго. Слѣдующая цитата не лишена крайне энергическихъ выраженій, которыхъ не считаемъ удобнымъ приводить; но читатель увидитъ однако, какъ далеко шла антипатія Бѣлинскаго.

«Скажи Г.,—пишетъ Бѣлинскій въ томъ же письмѣ 6 февраля,—что его «Дил. въ н.»—статья до нельзя прекрасная—я ею упивался и безпрестанно повторялъ: вотъ какъ надо писать для журнала. Это не порывъ и не преувеличеніе—я уже не увлекаюсь и умѣю давать вѣсъ моимъ хвалебнымъ словамъ. Повторяю, статья его чертовски хороша; но письмо его ко мнѣ меня опечалило [1])—отъ него попахиваетъ умѣренностію и благоразуміемъ житейскимъ, т.-е. началомъ паденія и гніенія (я требую отъ тебя, чтобы ты далъ ему въ руки это мое письмо). Онъ толкуетъ, что г. Х.—удивительный человѣкъ, что онъ, правда, лежитъ по уши въ грязи, но—видишь ты—и страдаетъ отъ этого. А въ чемъ выражается это страданіе? въ болтовнѣ, въ семинарскихъ диспутахъ pro и contra. Я знаю, что Х.—человѣкъ неглупый, много читалъ и вообще образованъ, но онъ не надулъ бы меня свою діалектикою, а заставилъ бы вспомнить эти стихи B. (Barbier), взятые Лерм. эпиграфомъ къ своему стихотв. «Не вѣрь себѣ»:

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase,
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

Х.—это изящный, образованный, умный И. А. Хлестаковъ, человѣкъ безъ убѣжденія—человѣкъ безъ царя въ головѣ.

Бѣлинскому чрезвычайно понравилась упомянутая нами прежде статья Боткина о нѣмецкой литературѣ въ 1-й кн. «Отеч. Записокъ» 1843, гдѣ Боткинъ изображалъ положеніе философскихъ партій въ Германіи и высказалъ сочувствіе къ молодому гегеліянству. Бѣлинскому нравилась и статья Боткина о томъ же предметѣ во 2-ой книгѣ «Отеч. Записокъ», гдѣ между прочимъ изложено было по новымъ изслѣдованіямъ развитіе миѳа о Прометеѣ, который очень интересовалъ Бѣлинскаго. Но онъ совѣтуетъ Боткину «бросить Рётшера», о которомъ также говорится въ этой статьѣ, по поводу выходившихъ тогда «Abhandlungen zur Philosophie der Kunst». Бѣлинскій окончательно разочаровался въ Рётшерѣ. «Это, братъ, пѣшка,—говоритъ онъ:—его умъ—пріобрѣтенный изъ книгъ. Вагнеровская натуришка такъ и пробивается сквозь его натянутую ученость. На Руси онъ былъ бы Шевыревымъ». Боткинъ писалъ ему,

[1]) Это—письмо, о которомъ мы сейчасъ говорили.

что въ немъ развивается антипатія къ нѣмцамъ: Бѣлинскій этимъ до крайности доволенъ—«не могу говорить объ этомъ, ибо это отвращеніе во мнѣ дошло до болѣзненности».

Такъ переставились теперь прежнія сочувствія и вражда. Какъ прежде высокое понятіе о «нѣмцахъ» утверждалось на томъ, что нѣмцы считались націей «абсолютной» и основанная ими философія была абсолютная философія и пр., такъ теперь отвращеніе къ нѣмцамъ было отвращеніемъ къ философскому резонёрству, не знавшему жизни, но заявлявшему высокомѣрное притязаніе рѣшать ея вопросы [1]). Рядомъ съ этимъ выросло увлеченіе ненавистными прежде французами, въ которыхъ было столько стремленія къ освобожденію жизни отъ устарѣлыхъ формъ, къ отрицанію этихъ формъ не только теоретическому, но и практическому...

Незадолго передъ тѣмъ вернулся изъ Берлина Катковъ, ставшій тамъ ревностнымъ партизаномъ новаго шеллингизма; Бѣлинскій, съ своей тогдашней точки зрѣнія, не могъ этому сочувствовать... Мы видѣли, съ какой страстностью и нетерпимостью Бѣлинскій высказывалъ и защищалъ свои новые взгляды, и понятно, что прежніе друзья не только не могли теперь сойтись, но что встрѣча ихъ могла быть только непріязненная. Такова она дѣйствительно и была: разногласіе мнѣній, столкновеніе характеровъ обнаружилось съ перваго свиданія. Въ письмѣ къ Боткину Бѣлинскій говоритъ о прежнемъ другѣ крайне враждебно...

Опускаемъ еще нѣсколько подробностей того мрачнаго настроенія, какое выражено и въ началѣ этого письма. Въ концѣ письма

---

[1]) Эта вѣра въ «абсолютность» нѣмецкой философіи не была наивностью однихъ русскихъ гегеліянцевъ: это была вѣра самой нѣмецкой школы Гегеля. Авторъ статей о «Дилеттантизмѣ» говоритъ о формалистахъ науки, которыхъ такъ много было въ гегелевской школѣ, именно въ ея правой сторонѣ: «Неизлечимо-отчаянное положеніе ихъ состоитъ въ ихъ чрезвычайномъ довольствѣ (тѣмъ, что̀ уже есть въ гегеліянской книгѣ); они со всѣмъ примирились; ихъ взглядъ выражаетъ спокойствіе, немного стеклянное, но невозмущаемое изнутри; имъ осталось почивать и наслаждаться, прочее все сдѣлано или сдѣлается само собою. Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, сознано и человѣчество достигло *абсолютной* формы бытія—что̀ доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ — но какъ ея результатъ, т.-е. по совершеніи въ бытіи. Для нихъ такое доказательство неопровержимо, фактами ихъ не смутишь — они пренебрегаютъ ими» (какъ «случайностью»). Авторъ прибавляетъ: «Это не выдумка, а сказано въ Байергоферовой «Исторіи философіи (Die Idee und Geschichte der Philosophie, von Bayerhoffer, Leipzig 1838, послѣдняя глава)», см. «Отеч. Зап.» 1843, кн. 12, стр. 68—69.

Бѣлинскій, читая это, долженъ былъ ясно вспоминать свою собственную философію 1839—40 года.

Бѣлинскій посылаетъ поклоны московскимъ друзьямъ (ихъ было не мало: Грановскій, Кетчеръ, М. С. Щепкинъ, Дмитрій Щепкинъ, Галаховъ, Красовъ, Лангеръ, Кольчугинъ и пр.), и прибавляетъ, между прочимъ: «крѣпко пожми руку Г. и скажи ему, что я хоть и побранился съ нимъ, но люблю его тѣмъ не менѣе».

Въ нашемъ матеріалѣ было два письма (отъ 23 февраля и 8 марта), писанныхъ Бѣлинскимъ къ деревенскимъ друзьямъ, къ которымъ онъ такъ стремился. Оба письма, полушутливыя, полусерьёзныя, исполнены самой теплой привязанности къ ихъ семейному кругу, гдѣ онъ не разъ видѣлъ къ себѣ много сочувствія. Въ первомъ изъ этихъ писемъ къ Н. Бакунину онъ разсказываетъ о своихъ дѣлахъ и о своемъ настроеніи съ тѣми подробностями, которыя знакомы намъ изъ предыдущаго письма къ Боткину. Изъ второго письма къ Т. Бакуниной приводимъ нѣсколько цитатъ. Въ началѣ Бѣлинскій говоритъ о томъ, какъ тяжела была ему невозможность увидѣться съ деревенскими друзьями:

«...Невозможность увидѣться съ вами стоила мнѣ сильной нравственной горячки. Васъ не должно это ни удивлять, ни казаться вамъ загадкою... Страстность составляетъ преобладающій элементъ моей *прекрасной души*. Эта страстность—источникъ мукъ и радостей моихъ; а такъ какъ, притомъ, судьба отказала мнѣ слишкомъ во многомъ, то я и не умѣю отдаваться въ половину тому немногому, въ чемъ не отказала она мнѣ. Для меня и дружба къ мужчинѣ есть страсть, и я бывалъ ревнивъ въ этой страсти... Я самъ недавно только сознаъ въ себѣ эту сторону и въ ней увидѣлъ причину многихъ моихъ глупостей, дорого стоившихъ мнѣ. Нѣтъ несчастнѣе людей, подобныхъ мнѣ, пока они не найдутъ, въ религіозныхъ убѣжденіяхъ, прочной точки опоры для своей жизни... Такіе люди—вѣчные мучители самихъ себя и всегда въ тягость особенно тѣмъ, кого они больше другихъ любятъ, и кто бы больше другихъ былъ расположенъ принимать въ нихъ участіе. Во мнѣ всегда была глубокая жажда, мучительный голодъ умственной дѣятельности, и есть способность къ ней, но не было для нея ни пищи, ни почвы, ни сферы. Страстныя души, въ такомъ положеніи, дѣлаются добычею собственной фантазіи и силятся создать для себя дѣйствительность внѣ дѣйствительности. Чувство дѣлается альфою и омегою жизни»...

Онъ вспоминаетъ о Донъ-Кихотѣ. Это—личность благородная, но которой дѣятельность растетъ на почвѣ фантазіи, а не дѣйствительности. Даже священная потребность любви къ женщинѣ имѣетъ пошлое осуществленіе, если корень ея не вросъ глубоко въ почву дѣйствительности:

«Въ нашей общественности особенно часты примѣры разочарованнаго, охладѣвшаго чувства, которое, перегорѣвъ въ самомъ

себѣ, вдругъ потухаетъ безъ причины: этому причастны даже высокія и глубокія натуры—ссылаюсь на Пушкина. Гдѣ, въ чемъ причина этого явленія?—въ общественности, въ которой все человѣческое является безъ всякой связи съ дѣйствительностію, которая дика, грязна, безсмысленна, но на сторонѣ которой еще долго будетъ право силы. Обращаюсь къ себѣ, какъ представителю страстныхъ душъ. Дайте такому человѣку сферу свойственной его способностямъ дѣятельности,—и онъ переродится...; но эта сфера... да, вы понимаете, что ея негдѣ взять. Этой сферы и теперь для меня нѣтъ и никогда, никогда не будетъ ея для меня; но уже и то было великимъ шагомъ для меня, что я сознаъ и понялъ это... Сердце человѣка, особенно пожираемаго огненною жаждою разумной дѣятельности безъ удовлетворенія, даже безъ надежды на удовлетвореніе этой мучительной жажды,—сердце такого человѣка всегда болѣе или менѣе подвержено произволу случайности—ибо пустота, вольная или невольная, можетъ родить другую пустоту,—и я меньше, чѣмъ кто другой, могу ручаться въ будущемъ за свою изрѣдка довольно сильную, но чаще расплывающуюся натуру; но я за одно уже смѣло могу ручаться—это за то, что еслибы Богъ снова излилъ на меня чашу гнѣва своего и, какъ египетскою язвою, вновь поразилъ меня этою тоскою безъ выхода, этимъ стремленіемъ безъ цѣли, этимъ горемъ безъ причины, этимъ страданіемъ, презрительнымъ и унизительнымъ даже въ собственныхъ глазахъ,—я уже не могъ бы выставлять наружу гной душевныхъ ранъ и нашелъ бы силу навсегда бѣжать отъ тѣхъ, кто могъ бы оскорбить или встревожить мой позоръ. Я и прежде не былъ чуждъ гордости, но она была парализирована многими причинами, въ особенности же романтизмомъ и религіознымъ уваженіемъ къ такъ-называемой «внутренней жизни»—этимъ исчадіемъ нѣмецкаго эгоизма и филистерства»...

Быть можетъ, это воспоминаніе навело Бѣлинскаго на тему эгоизма—въ концѣ того же письма. Въ слѣдующемъ разсужденіи любопытно мнѣніе о Гёте, въ которомъ Бѣлинскій восхищался нѣкогда объективнымъ творчествомъ, но который уже съ 1841 казался ему «отвратителенъ какъ личность».

«Я теперь много думаю объ эгоизмѣ. Это интересный предметъ для изслѣдованія. Духъ тьмы и злобы есть никто иной, какъ эгоизмъ. Когда эгоизмъ является въ собственномъ своемъ видѣ—онъ просто гадокъ, или просто страшенъ, какъ враждебная для другихъ сила; но онъ не обольстителенъ, и никого не соблазнитъ, а всѣхъ отвратитъ отъ себя. Опаснѣе бываетъ эгоизмъ, когда онъ добродушно самъ считаетъ себя самоотверженіемъ, внутреннею жизнію. Гёте, по моему мнѣнію, былъ воплощеніемъ такого эгоизма. Вникните въ характеръ Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играетъ святыми чувствами, какъ предметомъ возвышеннаго духовнаго наслажденія; но они, эти святыя чувства, внѣ его и не присущны его натурѣ. «Какъ сладостна привычка къ жизни», восклицаетъ онъ, и на это восклицаніе хочется мнѣ воскликнуть ему: «какой же ты

пошлякъ, о голландскій герой!» Гофманъ саркастически заставляетъ Кота Мурра цитовать это восклицаніе... Для Эгмонта патріотизмъ не болѣе, какъ вкусное блюдо на пиру жизни, а не религіозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная въ огнѣ древней гражданственности, никогда не могла бы породить такого гнилого идеала... На созерцаніе эгоистической натуры Гёте особенно навела меня статья во 2 № «Отеч. Зап.»—«Гёте и графиня Штольбергъ». Гёте любитъ дѣвушку, любимъ ею—и что же? онъ играетъ этою любовью. Для него важны ощущенія, возбужденныя въ немъ предметомъ любви—онъ ихъ анализируетъ, воспѣваетъ въ стихахъ, носится съ ними, какъ курица съ яйцомъ; но личность предмета любви для него—ничто, и онъ борется съ своимъ чувствомъ и побѣждаетъ его изъ угожденія мерзкой сестрѣ своей и «дражайшимъ» родителямъ. Дѣвушка потомъ умираетъ,—и ни одинъ стихъ Гете, ни одно слово его во всю остальную жизнь его не напомнило о милой, поэтичной Лили, которая такъ любила этого великаго эгоиста. Вотъ онъ—идеализированный, опоэтизированный, холодный эгоизмъ внутренней жизни, который дорожитъ только собою, своими ощущеніями, не думая о тѣхъ, кто возбудилъ ихъ въ немъ... Итакъ, самый опасный эгоизмъ есть тотъ, который принимаетъ на себя личину любви и добродушно убѣжденъ, что онъ—самая возвышенная, самая эѳирная любовь. Кто любитъ все, тотъ ничего не любитъ, ибо все граничитъ съ ничто. Такъ Гёте любилъ все, отъ ангела въ небѣ до младенца на землѣ и червя въ морѣ, и потому не любилъ ничего.

И въ мірѣ все постигнулъ онъ,
И ничему не покорился!

сказалъ о немъ Жук., не думая, чтобы въ этой похвалѣ заключалось осужденіе Гёте. Переписка его съ «милою Августою» Шт. смѣшна до крайности. Какая сантиментальность—точно сладкій нѣмецкій супъ! «Разинь, душенька, ротикъ—я положу тебѣ конфетку»—такъ и твердитъ онъ Августѣ, а та, на старости лѣтъ сошедши съ ума, вздумала обращать его къ піэтизму. Можетъ быть, я ошибаюсь на этотъ счетъ, но Богъ съ нимъ, съ этимъ Гёте: онъ великій человѣкъ, я благоговѣю передъ его геніемъ, но тѣмъ не менѣе я терпѣть его не могу. Недавно прочелъ я его «Германа и Доротею»—какая отвратительная пошлость!»...

Въ концѣ письма онъ говоритъ, что у него въ сущности и не было еще настоящаго сильнаго чувства; а теперь оно и страшно, хотя онъ и не сказалъ бы, что не желаетъ его. «Что бы я съ нимъ сталъ дѣлать, съ моею дряблою душою, съ моимъ дряннымъ здоровьемъ, моею бѣдностью и моею совершенною расторженностію съ обществомъ?»... Затѣмъ онъ продолжаетъ:

«Натура моя не чужда акта отрицанія, и я перешелъ черезъ нѣсколько моментовъ его; но отказаться отъ желанія счастья, котораго невозможность такъ математически ясна для меня,—еще нѣтъ силъ, и сохрани Богъ, если не станетъ ихъ на совершеніе

этого послѣдняго и великаго акта. Вы читали Horace? Помните Лараваньера?—вотъ человѣкъ и мужчина. Но какъ трудно сдѣлаться такимъ человѣкомъ, право труднѣе, чѣмъ уподобиться Гёте. Право, простыя добродѣтели человѣка выше и труднѣе блестящихъ достоинствъ генія».

На другой день (9 марта) Бѣлинскій писалъ къ Боткину. Еще прежде онъ настоятельно звалъ Боткина пріѣхать въ Петербургъ, и теперь все ожидалъ его пріѣзда. «И вотъ я жду тебя съ часу на часъ,—пишетъ онъ;—возвращаясь поздно домой, по обыкновенію продувшись въ преферансъ, подымаю голову вверхъ и съ біеніемъ сердца ожидаю, что окна мои освѣщены, и каждый разъ ничего не вижу въ нихъ, кромѣ тьмы кромѣшной. Входя въ комнаты, быстро озираю столы—нѣтъ ли письма, и кромѣ ненавистной литературщины ничего не вижу на нихъ»... Предыдущее письмо показываетъ, почему нуженъ былъ ему его другъ: Бѣлинскій былъ въ томъ возбужденномъ и тревожномъ состояніи, въ которомъ присутствіе друга было ему необходимо, какъ средство успокоиться. Но Боткину теперь нельзя было пріѣхать,- между прочимъ, кажется, и потому, что въ это время заняла его новая «исторія», которая въ томъ же году окончилась для Боткина очень страннымъ и надолго тягостнымъ образомъ... Само собою разумѣется, что Бѣлинскій тотчасъ былъ поставленъ въ извѣстность о новыхъ интересахъ своего друга, которые потомъ нѣсколько разъ и подробно обсуждаются въ ихъ перепискѣ.

Бѣлинскій очень тревожился, получилъ ли Боткинъ большое письмо его, къ которому приложено было письмо заграничнаго друга. «Еслибы ты получилъ его, ты могъ бы, и не видѣвшись со мною, вложить персты свои въ раны мои, впрочемъ и безъ того извѣстныя тебѣ хорошо. Главное скверно то, что письмо это написалось отъ души и притомъ для тебя много интереснаго было бы въ письмѣ Б[акунина], и оно теперь погибло для обоихъ насъ»... Впослѣдствіи объяснилось, что письмо это не пропало и было получено Боткинымъ [1]).

Наконецъ, замѣтимъ отзывъ объ одной статьѣ «Отеч. Записокъ». «Статья «Романтики» неудовлетворительна въ цѣломъ—чувствуется, что не все сказано; но выраженіе, языкъ, слогъ—просто... до отчаяніи доводитъ—зависть возбуждаетъ и писать охоту отбиваетъ». Бѣлинскій разумѣетъ здѣсь вторую статью о «Дилеттан-

---

[1]) Здѣсь разумѣется, вѣроятно, письмо Бѣлинскаго отъ 6 февраля; но письма заграничнаго друга въ нашемъ матеріалѣ не было.

тизмѣ въ наукѣ», имѣвшую частное заглавіе «Дилеттанты-романтики» [1]).

Длинное письмо, начатое 31 марта, наполнено бесѣдой о литературныхъ предметахъ, и новостями изъ дружескаго круга.

«То, что ты забылъ увѣдомить меня о полученіи письма моего, съ приложеннымъ къ нему письмомъ Б., можно простить только сумасшедшему или влюбленному; но какъ ты, слава Аллаху, и то и другое вмѣстѣ—то я и не сержусь на тебя»...

Упомянутая новая «исторія» его друга шла несовсѣмъ удовлетворительно, и Бѣлинскій предвидитъ, что если она будетъ и продолжаться такъ же, то не обѣщаетъ хорошаго конца; но все-таки онъ завидуетъ Боткину, или его чувству,—«ибо питать какое бы то ни было чувство, какой бы то ни былъ интересъ все же лучше, чѣмъ въ тоскѣ, апатіи, съ холоднымъ отчаяніемъ убивать время на преферансъ, ставить ремизы, проигрывать послѣднія деньжонки, бѣситься, дойти до мальчишескаго малодушія, сдѣлаться притчею во языцѣхъ».

Къ его тяжелому расположенію духа присоединялось теперь еще то, что въ послѣднее время ему начинаетъ больше и больше измѣнять здоровье. Оно и всегда было плохо, но теперь все чаще повторяются жалобы на здоровье; онъ началъ лечиться—«страхъ физическихъ мученій заставляетъ искать средствъ помощи, и я лечусь гидропатіею—прѣю въ паровой ваннѣ, а потомъ леденѣю въ холодной, а тамъ костенѣю подъ дождемъ и душею». Дальше онъ замѣчаетъ, что его гидропатъ находилъ у него біеніе сердца—предоставляемъ спеціалистамъ судить, насколько при біеніи сердца полезно было «леденѣть и костенѣть».

Журнальныя дѣла также шли плохо; онъ опять жалуется на цензуру:

«Статья моя о Держ. страшно искажена [2]), но объ этомъ когда-нибудь послѣ. Чортъ возьми всѣ наши статьи, да и всѣхъ насъ съ ними»...

Въ такое отчаяніе приводили Бѣлинскаго цензурныя крушенія его статей.

Ему очень нравится новая статья Боткина о нѣмецкой литературѣ. «Славная статья, она понравилась мнѣ больше всѣхъ прежнихъ твоихъ статей, можетъ быть потому, что ея содержаніе ближе къ сердцу моему». Это была статья въ 4-й книгѣ «Отеч. Зап.»,

---

[1]) «Отеч. Зап.» 1843, кн. 3, Науки, стр. 27—40.

[2]) Говорится, конечно, о 2-й статьѣ въ 3-й книгѣ «Отеч. Записокъ». О подобной же судьбѣ первой статьи упоминалось выше.

посвященная разбору «Парижскихъ писемъ» Гуцкова. Въ книгѣ этой Гуцковъ хотѣлъ дать изображеніе политической жизни, общественности, нравовъ Парижа, очерки французской литературы. Статья Боткина, написанная дѣйствительно хорошо и съ знаніемъ дѣла, относилась очень строго къ мелочной точкѣ зрѣнія Гуцкова и къ его непониманію французской жизни. Бѣлинскій очень доволенъ разборомъ, высказывавшимъ точку зрѣнія на французскія отношенія, какая вообще принималась теперь кружкомъ; ему хотѣлось, чтобы такимъ же образомъ досталось и ненавистному для него Рётшеру.

«Не было человѣка пишущаго,—говоритъ онъ,—который бы такъ глубоко оскорбилъ меня своею пошлостію, какъ этотъ нѣмецкій Шевыревъ... Рётшеръ въ отношеніи къ Гегелю есть тотъ человѣкъ въ «Разъѣздѣ» Гоголя, который, подцѣпивъ у другого словечко «общественныя раны», повторяетъ его, не понимая его значенія. Хорошъ былъ Гуцковъ у G. S. (Гуцковъ между прочимъ описывалъ свое свиданіе съ Ж. Зандъ)—вотъ семинаристъ-то!»...

Онъ потомъ еще разъ возвращается къ статьѣ Боткина:

«Все перечитываю статью твою—прелесть! Будь литература на Руси выраженіемъ общества, а слѣд. и потребностію его, будь хоть сколько-нибудь человѣческая цензура, ты... выучился бы писать скоро и бѣгло, и написалъ бы горы. Безъ этого—голодъ, одинъ голодъ научитъ писать скоро и много. Ты довольно обезпеченъ, чтобъ не бояться голода, и потому считаешь себя неспособнымъ къ скоро- и много-писанію. Къ несчастію, судьба слишкомъ развила во мнѣ эту несчастную способность»...

Французская литература все больше и больше интересуетъ Бѣлинскаго: здѣсь онъ находитъ всего больше сочувственнаго по тѣмъ вопросамъ, которые получили для него господствующее значеніе,—по вопросамъ общественной жизни и нравственности. Мы упоминали объ его энтузіазмѣ къ Ж. Занду; почти равный восторгъ возбуждали въ немъ нѣкоторые писатели соціальной школы.

«Сейчасъ кончилъ 1-ю часть исторіи Louis Blanc [1]),—пишетъ онъ въ томъ же письмѣ.—Превосходное твореніе! Для меня оно было откровеніемъ... Личность Луи-Блана возбудила во мнѣ благоговѣйную любовь. Какое безпристрастіе, благородство, достоинство, сколько поэзіи въ мысляхъ, какой языкъ!..»

Впослѣдствіи Луи-Бланъ гораздо меньше понравился, даже во многомъ очень не понравился Бѣлинскому, когда онъ прочелъ нѣкоторыя мнѣнія Луи-Блана въ его исторіи революціи.

---

[1]) Histoire des Dix Ans.

Бѣлинскій посылалъ Боткину появившуюся тогда пародію «Братьевъ разбойниковъ» Пушкина; ему хотѣлось, чтобы эта пародія распространилась въ Москвѣ, по полемическимъ соображеніямъ... Вражда къ «Москвитянину» была неизмѣнна, и на Бѣлинскаго произвелъ непріятное впечатлѣніе слухъ, что Грановскій согласился дать свою статью въ этотъ журналъ.

«Слышалъ я, что Грановскій далъ... (въ «Москвитянинъ») статью: можетъ быть, онъ (Гр.) и хорошо сдѣлалъ, только я этого не понимаю; впрочемъ, у всякаго свой образъ мыслей, и у насъ въ Петербургѣ многіе литераторы не гнушаются печататься въ «Пчелѣ» и «Маякѣ»:—почему же московскимъ гнушаться печататься въ «Москвитянинѣ»: вѣдь «Моск.» немногимъ чѣмъ хуже [1]) «Пчелы» и «Маяка».

Грановскій дѣйствительно далъ въ «Москвитянинъ» свою статью [2]), которой добивался отъ него Погодинъ; окруженный натянутыми отношеніями въ университетѣ, Грановскій не хотѣлъ своимъ отказомъ давать лишнихъ поводовъ къ дрязгамъ. Но Бѣлинскій судилъ иначе: Грановскому слѣдовало «гнушаться» участія въ этомъ журналѣ. Бѣлинскій долго не забылъ этого случая, который казался ему непростительной неразборчивостью, холодностью къ дѣлу своей стороны.

Въ концѣ 1842 или началѣ 1843 Бѣлинскій познакомился съ И. С. Тургеневымъ, и вскорѣ очень къ нему привязался: къ кругу его друзей прибавилось лицо, вносившее новыя оригинальныя черты въ его интересы и содержаніе. Приводимъ изъ переписки отзывы Бѣлинскаго объ этомъ первомъ знакомствѣ его съ Тургеневымъ.

Въ нашемъ матеріалѣ въ первый разъ упоминается о «недавнемъ» знакомствѣ съ Тургеневымъ въ февралѣ 1843. Ихъ познакомилъ нѣкто Зиновьевъ, котораго Бѣлинскій зналъ раньше и очень цѣнилъ. Вскорѣ это было уже короткое знакомство, и въ письмѣ къ Боткину, отъ 31 марта, Бѣлинскій нѣсколько разъ возвращается къ этому знакомству, очевидно, его заинтересовавшему:

«Тургеневъ очень хорошій человѣкъ, и я легко сближаюсь съ нимъ. Въ немъ есть злость, и желчь, и юморъ, онъ глубоко понимаетъ Москву и такъ воспроизводитъ ее, что я пьянѣю отъ удовольствія... Т. немного нѣмецъ, въ томъ смыслѣ, какъ и Б... Что за натура—З.! Мы всѣ—дрянь передъ нимъ»...

«Воспроизведеніе Москвы» должно относиться къ нѣкоторымъ московскимъ литературнымъ кружкамъ, которые Тургеневъ уже

---

[1]) Въ подлинникѣ болѣе сильное выраженіе.

[2]) «Начало прусскаго государства» см. въ Сочин., т. II, стр. 255 и слѣд.

тогда зналъ. «Нѣмцемъ» онъ былъ вѣроятно потому, что еще не такъ давно вернулся изъ Берлина, гдѣ также былъ адептомъ нѣмецкой философіи. Бѣлинскому пріятно было встрѣтить въ Тургеневѣ самостоятельный взглядъ на вещи и людей, который въ основныхъ предметахъ былъ сходенъ съ его мнѣніями, но иногда и очень противорѣчилъ имъ въ подробностяхъ и особенно въ сужденіяхъ о людяхъ. Бѣлинскій тѣмъ больше интересовался его мнѣніями.

«Я нѣсколько сблизился съ Т-вымъ,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ того же письма.—Это человѣкъ необыкновенно умный, да и вообще хорошій человѣкъ. Бесѣда и споры съ нимъ отводили мнѣ душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всемъ соглашаются съ тобою, или если противорѣчатъ, то не доказательствами, а чувствами и инстинктомъ,—и отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У Т. много юмору. Я, кажется, уже писалъ тебѣ, что разъ, въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ, онъ сказалъ мнѣ: да что вашъ русскій человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носитъ на бекрень! Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ виденъ характеръ и дѣйствительность. Онъ врагъ всего неопредѣленнаго, къ чему я, по слабости характера и неопредѣленности натуры и дурного развитія, довольно падокъ»...

Между прочимъ, Бѣлинскій съ удовольствіемъ услышалъ, что Тургеневъ одинаково съ нимъ думаетъ о Рётшерѣ, котораго онъ теперь такъ возненавидѣлъ. Ему казались очень вѣрными и замѣчанія Тургенева о характерахъ нѣкоторыхъ близкихъ ему людей,—замѣчанія, которыя не приходили въ голову ему самому. Вѣроятно, подъ нѣкоторымъ впечатлѣніемъ этихъ бесѣдъ было то, что Бѣлинскій разсказываетъ о себѣ:

«Вообще я теперь больше всего думаю о характерахъ и значеніи близкихъ и знакомыхъ мнѣ людей. Эта наука мнѣ не далась: у меня, коли кто, бывало, прослезится отъ пакостныхъ стишонокъ Клюшникова, тотъ уже и глубокая натура. Теперь я потерялъ даже смыслъ слова «глубокая натура»—такъ затаскалъ я его. Смѣшно вспомнить, какъ, пріѣхавъ въ Пб., я думалъ въ одномъ Языковѣ найти все, что оставилъ въ Москвѣ, и дивился глубокости его натуры. Это просто добрая благородная натура, совершенно невинная въ какой бы то ни было силѣ и глубокости».

Впрочемъ, Бѣлинскій самъ приходилъ къ этимъ болѣе правильнымъ заключеніямъ. Вообще наклонность преувеличивать достоинства друзей была, какъ онъ самъ однажды говоритъ, всегдашней чертой его характера; здѣсь было не одно простодушіе человѣка, не знающаго людей, но и слѣдъ его обычнаго идеализма, желаніе видѣть лучшія стороны человѣческой природы; нерѣдко оно

бывало наивно, но свидѣтельствовало объ искренности его собственнаго характера. Въ письмахъ его, особенно съ 1842 года, встрѣчаются замѣчанія о близкихъ ему людяхъ, уже свободныя отъ идеалистическихъ преувеличеній, большею частію очень мѣткія, и въ минуту раздраженія очень злыя; но это не закрывало отъ него лучшія стороны характеровъ и не мѣшало ему продолжать любить бывшія «глубокія натуры».

Письмо отъ 17 апрѣля было отвѣтомъ Боткину, который говорилъ Бѣлинскому о своей «исторіи» и обращался къ нему съ самыми теплыми словами. Бѣлинскаго тронуло это обращеніе.

«Спасибо тебѣ, добрый мой Б., — пишетъ онъ, — за письмо твое. Оно доставило мнѣ какое-то грустное упоеніе счастія. Оно было такъ неожиданно, и притомъ—быть понятымъ въ своемъ глубочайшемъ страданіи, о которомъ смѣшно было бы и толковать тѣмъ, которые сами не видятъ его,—это лучшее и священнѣйшее, что только можетъ дать дружба. Только ты нѣсколько преувеличилъ дѣло, а потому немного и устыдилъ меня. Къ стыду моему я долженъ сознаться, что чужое счастіе глубоко и страдательно потрясаетъ меня; но это только при первомъ извѣстіи о немъ. Потомъ я уже смотрю на него, какъ на что-то такое, что въ порядкѣ вещей, интересуюсь имъ, люблю его. Теперь мнѣ малѣйшая подробность твоей исторіи интересна, и займетъ меня живо и пріятно. И потому—пиши, пиши и пиши»...

Затѣмъ довольно длинное разсужденіе посвящается «исторіи», въ которой были для Бѣлинскаго, да кажется и для самого Боткина, неясные пункты... Бѣлинскій хочетъ помочь ему разрѣшить ихъ, говоритъ о любви романтической и любви дѣйствительной, ихъ коренномъ различіи, о различіи любви и склонности, и совѣтуетъ своему другу вглядѣться въ свое чувство, и если оно серьёзно, то понять, что «счастье такъ возможно, такъ близко».

О себѣ самомъ онъ опять сообщаетъ невеселыя извѣстія:

«Журналъ губитъ меня. Здоровье мое съ каждымъ днемъ ремизится, и въ душу вкрадывается грустное предчувствіе, что я скоро останусь безъ шести въ сюрахъ, т.-е. отправлюсь туда, куда страхъ какъ не хочется идти. Жизнь ничего мнѣ не дала, но люблю жизнь; смерть сулитъ мнѣ вѣчный покой, но не люблю смерть. Вода сначала только помогла мнѣ немного, а потомъ сдѣлалось мнѣ хуже. Лучше всѣхъ лекарствъ и водъ на меня подѣйствовалъ бы отдыхъ и удовольствіе. Вотъ почему мнѣ нужно пріѣхать въ Москву, къ тебѣ, мѣсяца на два съ половиною или больше. Я смотрю на эту поѣздку какъ на мѣру спасенія отъ вѣрной смерти, или неизбѣжной жестокой болѣзни, отъ которой надо будетъ медленно исчахнуть. Если зимняя поѣздка въ Москву, продолжавшаяся съ проѣздомъ взадъ и впередъ какихъ-нибудь три недѣли, оживила меня и физически и нравственно, то какъ же долженъ я поправиться, про-

ведя лѣто вдали отъ чухонскихъ болотъ, безъ труда и заботы, съ тобою вмѣстѣ? О, да я воскресъ бы!..

«...Боже мой, неужели и о *такомъ* счастіи я не долженъ смѣть мечтать».

Еще раньше писалъ онъ, что безденежье навело его на мысль— «подняться на аферы», именно издать одну популярную книжку. Ему долженъ былъ помочь Некрасовъ: «онъ на это золотой человѣкъ». Теперь Бѣлинскій опять надѣялся (хотя плохо), что съ помощью Некрасова достанетъ себѣ денегъ или отъ книгопродавцевъ, на подрядъ работы, или взаймы. Но изъ слѣдующаго письма, отъ 30 апрѣля, оказывалось, что планъ этотъ не удался, денегъ не было.

Оставалась одна надежда—на московскихъ друзей. Они сами это поняли, и въ маѣ шло дѣло о присылкѣ денегъ. Отъ 10—11 мая, Бѣлинскій опять пишетъ длинное письмо, посвященное «исторіи» и предполагаемой поѣздкѣ въ Москву. Боткинъ относительно «исторіи» былъ въ большой нерѣшимости, такъ что и Бѣлинскій боялся высказывать съ своей стороны чего-нибудь положительнаго: ...«ты самъ поймешь, какъ мудрено и страшно рѣшиться мнѣ моимъ мнѣніемъ склонить вѣсы твоего рѣшенія на ту или другую сторону». О себѣ самомъ онъ говоритъ: «Я болѣнъ и крѣпко болѣнъ; душа моя угнетена трудомъ, заботою и тоскою—мнѣ нуженъ отдыхъ, свобода, бездѣйствіе (котораго я не помню съ послѣдней поѣздки моей въ Москву)». На другой день онъ пишетъ о томъ же: «Мысль, что я ѣду въ Москву (на пути онъ хотѣлъ заѣхать и къ деревенскимъ друзьямъ), носится въ моей головѣ какъ пріятный сонъ. Я только тогда увѣрюсь въ ея дѣйствительности, когда петербургская застава исчезнетъ изъ виду, и, какъ узникъ, почуявшій свободу, глубоко, вольно и радостно дохну я свѣжимъ воздухомъ полей».

Письмо отъ 24 мая адресовано къ обоимъ друзьямъ, которые помогли Бѣлинскому осуществить желанную поѣздку.

Спасибо вамъ, добрые друзья мои, Боткинъ и Герценъ! Вы сдѣлали по истинѣ доброе дѣло, одолживъ меня. Никогда пріятельская услуга не была такъ кстати. Я нашелъ доктора, который далъ мнѣ большое облегченіе—это извѣстный тебѣ, Б., Завадскій. Онъ посадилъ меня на великую діету—и я теперь дышу свободно, я теперь почти здоровъ, въ сравненіи съ обыкновеннымъ моимъ состояніемъ. Но всего этого не достаточно. Преферансъ, нужда въ деньгахъ, скука и журнальная поденьщина обратили бы въ ничто благодѣтельныя слѣдствія діеты и леченія. Мнѣ нужно воздуха, свободы, отдыха, far niente,—и я буду все это имѣть. Я теперь почти

счастливъ. Душа плаваетъ въ эмпиреяхъ[1]. Иду по улицѣ—и каждому встрѣчному, знакомому и незнакомому, такъ и хочется сказать: а я ѣду въ Москву!»...

Но ему нужно было еще устроить разныя дѣла въ Петербургѣ, взять мѣсто въ дилижансѣ, и онъ могъ выѣхать только 2 іюня.

Съ этимъ письмомъ прерывается тотъ біографическій матеріалъ, какой мы имѣли до сихъ поръ въ перепискѣ Бѣлинскаго съ друзьями, особенно съ Боткинымъ. Переписка его года на три почти прервалась. Съ этого времени до начала 1846 года намъ извѣстно всего нѣсколько писемъ къ друзьямъ: только въ сентябрѣ и октябрѣ 1843 велась особая оживленная переписка, предшествовавшая женитьбѣ Бѣлинскаго, и которая не войдетъ въ наше изложеніе.

Выѣхавши въ началѣ іюня изъ Петербурга, Бѣлинскій посѣтилъ на дорогѣ своихъ старинныхъ друзей, и затѣмъ до конца августа прожилъ въ Москвѣ. Здѣсь былъ цѣлый кругъ друзей, свиданіе съ которыми должно было доставить ему много отрадныхъ и веселыхъ минутъ. Онъ поселился у Боткина, на извѣстной Моросейкѣ; ѣздилъ въ Покровское, къ Герцену, и мало работалъ. Здѣсь окончательно укрѣпились дружескія отношенія съ Герценомъ, который видѣлъ его рѣзкія односторонности, но высоко цѣнилъ силу его убѣжденій; онъ понималъ самую нетерпимость Бѣлинскаго, которая исходила изъ страстной преданности своимъ идеямъ и которой вовсе не было въ такой степени у него самого. Такое же взаимное пониманіе утвердилось и съ Грановскимъ.

Около 1 сентября Бѣлинскій былъ опять въ Петербургѣ. Нѣсколькими днями раньше пріѣхалъ туда Боткинъ: его послѣдняя «исторія» пришла къ концу—онъ женился, и вслѣдъ затѣмъ, въ началѣ сентября, уѣхалъ на нѣсколько лѣтъ за границу. Съ этихъ поръ сношенія его съ Бѣлинскимъ почти прекратились: Боткинъ надолго былъ связанъ тяжелыми обстоятельствами своей личной жизни (вскорѣ послѣ женитьбы онъ разошелся съ своей женой), потомъ занятъ и развлеченъ путешествіемъ, главнымъ литературнымъ плодомъ котораго были извѣстныя «Письма объ Испаніи. Въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ друзья помѣнялись едва нѣсколькими письмами. Съ другой стороны въ жизни самого Бѣлинскаго произошла существенная перемѣна.

Живя лѣтомъ въ Москвѣ, Бѣлинскій сблизился съ особой, которая вскорѣ стала его женой. Важность этого событія для Бѣлинскаго

[1] Гоголевская фраза.

должна быть ясна читателю изъ того, что мы знаемъ о нравственномъ настроеніи Бѣлинскаго за эти годы. Онъ внесъ въ эти отношенія все увлеченіе, какое отличало его характеръ: онъ былъ исполненъ ожиданій—должно было кончиться одиночество, подавлявшее его среди трудной внѣшней дѣятельности; онъ ждалъ цѣлаго переворота въ своей жизни... Сентябрь и октябрь заняты усиленной перепиской съ Москвою; наконецъ, въ началѣ ноября Бѣлинскій сталъ семьяниномъ.

У домашняго очага началась для него новая жизнь, съ ея особыми интересами и тревогами, которыя могли быть только его личной заботой... Бѣлинскій продолжалъ много работать, и даже работалъ больше прежняго.

Прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему разсказу, мы соберемъ нѣсколько воспоминаній его друзей, которыя могутъ освѣтить какъ личный характеръ Бѣлинскаго въ эту пору его жизни, такъ и обстановку его, моральную и внѣшнюю. Воспоминанія идутъ изъ того ближайшаго круга, который сталъ собираться около Бѣлинскаго съ первой поры его жизни въ Петербургѣ, и если не всегда замѣнялъ для него отсутствующихъ друзей, то все-таки здѣсь Бѣлинскій чувствовалъ себя дома, въ любящей его средѣ. Петербургскій кружокъ Бѣлинскаго не былъ многочисленъ. Мы уже называли нѣкоторыхъ изъ его пріятелей, какъ Панаевъ, Языковъ, Кульчицкій, П. В. Анненковъ, впрочемъ надолго уѣзжавшій за границу; въ этомъ кружкѣ бывали прежде М. Бакунинъ и Катковъ; бывалъ одно время Герценъ; нѣсколько позднѣе Бѣлинскій сблизился съ Тургеневымъ, Некрасовымъ, — возобновилось старое знакомство съ Кавелинымъ. Еще позднѣе къ дружескому кругу Бѣлинскаго присоединились Достоевскій, Гончаровъ, Григоровичъ. Въ этомъ кружкѣ завязали дружескія отношенія Боткинъ, въ свои нерѣдкіе пріѣзды въ Петербургъ, и одинъ изъ старѣйшихъ московскихъ друзей, Кетчеръ, прожившій тогда года два въ Петербургѣ (1843 — 1845), и наконецъ остальные московскіе друзья, когда имъ случалось заѣзжать въ Петербургъ.

Мы имѣли уже случай замѣтить, что при всѣхъ дружескихъ отношеніяхъ къ Бѣлинскому, почти безъ исключенія глубоко-искреннихъ и очень теплыхъ, не всѣ люди этого круга могли дѣлить тѣ запросы, какіе волновали Бѣлинскаго, особенно въ первую пору; мы видѣли, какъ Бѣлинскій тяготился иногда тѣмъ, что въ ближайшемъ кружкѣ не встрѣчалъ самостоятельныхъ мнѣній, равносильнаго отвѣта или отпора; какъ онъ разочаровывался въ людяхъ, которыхъ, впрочемъ, самъ же производилъ въ глубокія на-

туры и которые оказывались только добрыми малыми; какъ тянуло его тогда къ Боткину, хотѣлось говорить съ Герценомъ или Грановскимъ.

Около 1843 года и позднѣе кружокъ умножился и, между прочимъ, людьми, которые представили Бѣлинскому и этотъ искомый интересъ. Такъ, онъ с удовольствіемъ встрѣтилъ Тургенева, который пріятно поразилъ его оригинальностью и независимостью своихъ взглядовъ; такъ, самостоятельный складъ мысли и таланта нашелъ онъ у Некрасова, Гончарова, Кавелина и др.

Въ письмахъ Бѣлинскаго мы видѣли непосредственныя выраженія его личности; приводимыя ниже воспоминанія дополнятъ ихъ впечатлѣніями его друзей, ближайшихъ свидѣтелей его дѣятельности, и познакомятъ съ характеромъ самого кружка. Къ тому, что было извѣстно въ печати, мы могли прибавить воспоминанія, написанныя Кавелинымъ, и воспользоваться нѣкоторыми фактами изъ воспоминаній Н. Н. Тютчева; тѣ и другія были написаны для нашего труда. Остановимся, во-первыхъ, на воспоминаніяхъ Тургенева [1]).

Тургеневъ узналъ имя Бѣлинскаго еще во времена «Телескопа»; самъ онъ былъ тогда большой романтикъ, и на первый разъ Бѣлинскій произвелъ на него крайне непріятное впечатлѣніе извѣстнымъ разборомъ стихотвореній Бенедиктова (которыхъ Бѣлинскій никогда не могъ выносить), — Тургеневъ былъ возмущенъ этимъ разборомъ, потому что восхищался Бенедиктовымъ; но прошло нѣсколько времени, и онъ уже пересталъ читать Бенедиктова. Съ тѣхъ поръ Бѣлинскій заинтересовалъ его; онъ много слышалъ о Бѣлинскомъ (между прочимъ еще отъ Станкевича, котораго зналъ заграницей въ послѣдній годъ его жизни), и очень желалъ съ нимъ познакомиться, хотя его и приводили въ недоумѣніе нѣкоторыя статьи, писанныя Бѣлинскимъ около 1840 года, т.-е. извѣстныя статьи консервативно-идеалистическаго направленія. Знакомство произошло, какъ мы видѣли, въ зиму 1842—1843.

«Я увидѣлъ, — разсказываетъ Тургеневъ, — человѣка небольшого роста, сутуловатаго, съ неправильнымъ, но замѣчательнымъ и оригинальнымъ лицомъ, съ нависшими на лобъ бѣлокурыми во-

---

[1]) «Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ», въ «Моск. Вѣстникѣ» 1860, № 3; «Воспоминанія о Бѣлинскомъ», «Вѣстн. Евр.» 1869, апрѣль. Послѣднія перепечатаны въ «Сочиненіяхъ», изд. 1869, т. I; но статья «Моск. Вѣстника» забыта въ этомъ изданіи. Читатель увидитъ, что многія подробности разсказа вполнѣ совпадаютъ съ тѣмъ, что мы находимъ въ письмахъ Бѣлинскаго; но слѣдуетъ исправить нѣкоторыя хронологическія неточности, напр., о началѣ знакомства, о женитьбѣ Бѣлинскаго.

лосами и съ тѣмъ суровымъ и безпокойнымъ выраженіемъ, которое такъ часто встрѣчается у застѣнчивыхъ и одинокихъ людей; онъ заговорилъ и закашлялъ въ одно и то же время, попросилъ насъ сѣсть и самъ торопливо сѣлъ на диванѣ, бѣгая глазами по полу и перебирая табакерку въ маленькихъ и красивыхъ ручкахъ. Одѣтъ онъ былъ въ старый, но опрятный байковый сюртукъ, и въ комнатѣ его замѣчались слѣды любви къ чистотѣ и порядку».

Разговоръ начался. Бѣлинскій говорилъ много, но безучастно и о вещахъ индифферентныхъ, но мало-по-малу онъ оживился, поднялъ глаза, и все лицо его преобразилось. «Прежнее суровое, почти болѣзненное выраженіе замѣнилось другимъ: открытымъ, оживленнымъ и свѣтлымъ; привлекательная улыбка заиграла на его губахъ и засвѣтилась золотыми искорками въ его голубыхъ глазахъ, красоту которыхъ я только тогда и замѣтилъ». Бѣлинскій самъ навелъ разговоръ на упомянутыя выше статьи своего г[...] [...]няго направленія и съ безжалостной,—Тургеневу казалось, даж[е] преувеличенной,—рѣзкостью осудилъ ихъ,—черта, съ которой мы уже встрѣчались. Бѣлинскій тяготился воспоминаніемъ объ этихъ статьяхъ; онъ считалъ ихъ не только заблужденіемъ, но вреднымъ заблужденіемъ, и спѣшилъ устранить память о нихъ при встрѣчѣ съ новыми людьми, которые могли не знать всей перемѣны, происшедшей съ тѣхъ поръ въ его взглядахъ. По поводу этого «безжалостнаго» осужденія прежней ошибки Тургеневъ указываетъ, по личнымъ впечатлѣніямъ, то свойство Бѣлинскаго, которое мы постоянно видѣли во всей его біографіи. «Бѣлинскій не вѣдалъ той ложной и мелкой щепетильности эгоистическихъ натуръ, которыя не въ силахъ сознаться въ томъ, что онѣ ошиблись, потому что имъ собственная непогрѣшимость и строгая послѣдовательность поступковъ, часто основанныя на отсутствіи или блѣдности убѣжденій, дороже самой истины. Бѣлинскій былъ самолюбивъ, но себялюбія, но эгоизма въ немъ и слѣда не было; собственно себя онъ ставилъ ни во что: онъ, можно сказать, простодушно забывалъ о себѣ передъ тѣмъ, что признавалъ за истину; онъ былъ живой человѣкъ,—шелъ, падалъ, поднимался и опять шелъ впередъ какъ живой человѣкъ. Спѣшу прибавить, что падалъ онъ только на пути умственнаго развитія: другихъ паденій онъ не испытывалъ и испытать не могъ, потому что нравственная чистота этого—какъ выражались его противники (гдѣ они теперь!) — «циника» была поистинѣ изумительна и трогательна; знали о ней только близкіе его друзья, которымъ была доступна внутренность храма».

По разсказу Тургенева, въ рѣчахъ Бѣлинскаго не было блеска

онъ охотно повторялъ однѣ и тѣ же шутки (что бываетъ и въ его письмахъ), смѣялся мало-мальски острому слову, своему и чужому; въ его словахъ не бывало никакихъ цвѣтовъ и искусственныхъ эффектовъ; — но «когда онъ былъ въ ударѣ и умѣлъ сдерживать свои нервы... не было возможности представить человѣка болѣе краснорѣчиваго, въ лучшемъ, въ русскомъ смыслѣ этого слова... Это было неудержимое изліяніе нетерпѣливаго и порывистаго, но свѣтлаго и здраваго ума, согрѣтаго всѣмъ жаромъ чистаго и страстнаго сердца и руководимаго тѣмъ тонкимъ и вѣрнымъ чутьемъ правды и красоты, котораго почти ничѣмъ не замѣнишь».

Въ теченіе зимы, разсказываетъ Тургеневъ, онъ видѣлся съ Бѣлинскимъ нѣсколько разъ; на Святой онъ уѣхалъ въ деревню и по возвращеніи опять встрѣтился съ Бѣлинскимъ уже лѣтомъ, на дачѣ въ Лѣсномъ [1]). Тутъ они сошлись окончательно и видались почти каждый день. «Въ то время», разсказываетъ Тургеневъ (публика объ этомъ давно забыла — я по крайней мѣрѣ льщу себя этой надеждой), я напечаталъ небольшой разсказъ въ стихахъ, который, въ силу нѣкоторыхъ, едва замѣтныхъ, крупицъ чего-то похожаго на дарованіе, заслужилъ одобреніе Бѣлинскаго, всегда готоваго протянуть руку начинающему и привѣтствовать все, что хотя немного обѣщало быть полезнымъ приращеніемъ тому, что Бѣлинскій любилъ самой страстной любовью—русской словесности. Онъ даже напечаталъ статью объ этомъ разсказѣ въ «Отеч. Запискахъ»,—статью, которую я не могу вспомнить не краснѣя; за то въ весьма непродолжительномъ времени надежды Бѣлинскаго на мою литературную будущность значительно охладѣли, и онъ сталъ считать меня способнымъ на одну лишь критическую и этнографическую дѣятельность». Разсказъ, о которомъ здѣсь говорится, назывался «Параша» и изданъ былъ весной 1843 года отдѣльной книжкой. Бѣлинскій упоминаетъ о немъ въ письмѣ къ Боткину отъ 10—11 мая такими словами: читалъ ли ты «Парашу»? — Это превосходное поэтическое созданіе. Ты вѣрно угадалъ автора?» Удовольствіе Бѣлинскаго отъ «поэтическаго созданія» выразилось большой библіографической статьей въ майской книжкѣ «Отеч. Записокъ» 1843 [2]).

Мы видѣли, что уже въ первое время Бѣлинскій очень заинтересовался Тургеневымъ; между ними велись продолжительныя бесѣды,—«въ теченіе которыхъ мы съ Бѣлинскимъ касались всѣхъ

---

[1]) Рѣчь идетъ, вѣроятно, уже о лѣтѣ 1844 года, потому что лѣто 1843 г. Бѣлинскій прожилъ въ Москвѣ.

[2]) Соч., т. VII, стр. 258—277.

возможныхъ предметовъ, преимущественно однако философскихъ и литературныхъ».

Бѣлинскій занималъ тогда одну изъ тѣхъ извѣстныхъ «дачъ», сколоченныхъ изъ барочныхъ досокъ и оклеенныхъ грубыми обоями, съ жалкимъ «общимъ» садикомъ, не дававшимъ никакой тѣни, дачъ, какихъ и теперь много въ окрестностяхъ Петербурга. Удобствъ не было никакихъ. «Но лѣто стояло чудесное», разсказываетъ Тургеневъ, «и мы съ Бѣлинскимъ много гуляли по сосновымъ рощицамъ, окружающимъ Лѣсной Институтъ; запахъ ихъ былъ полезенъ его уже тогда разстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкій, усѣянный тонкими иглами мохъ, и тутъ-то происходили между нами долгіе разговоры»... «Со мной,—разсказываетъ Тургеневъ,—онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы. Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на нѣмецкій манеръ... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія»...

«Бѣлинскій разспрашивалъ меня,—говоритъ Тургеневъ,—слушалъ, возражалъ, развивалъ свои мысли — и все это онъ дѣлалъ съ какой-то алчной жадностью, съ какимъ-то стремительнымъ домогательствомъ истины. Трудно было иногда слѣдить за нимъ; человѣку хотѣлось — по человѣчеству—отдохнуть, но онъ не зналъ отдыха, — и ты поневолѣ отвѣчалъ и спорилъ—и нельзя было пенять на это нетерпѣніе: оно вытекало изъ самыхъ нѣдръ взволнованной души. Страстная по преимуществу натура Бѣлинскаго высказывалась въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи, въ самомъ его молчаніи; умъ его постоянно и неутомимо работалъ; — но теперь, когда я вспоминаю о нашихъ разговорахъ, меня болѣе всего поражаетъ тотъ глубокій здравый смыслъ, то, ему самому не совсѣмъ ясное, но тѣмъ болѣе сильное сознаніе своего призванія, сознаніе, которое, при всѣхъ его безоглядочныхъ порывахъ, не позволяло ему отклоняться отъ единственно полезной [1]) въ то время дѣятельности: литературно-критической, въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова»...

Изъ содержанія своихъ тогдашнихъ бесѣдъ съ Бѣлинскимъ Тургеневъ приводитъ одинъ примѣръ, очень характерный. «Вскорѣ

---

[1]) Точнѣе было бы сказать: единственно-возможной.

послѣ моего знакомства съ нимъ его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ Божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п.... Его мучили сомнѣнія... именно мучили, лишали его сна, пищи, неотступно грызли, жгли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые задавалъ себѣ... Искренность его дѣйствовала на меня; его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два-три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое... я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла, и мужа и меня, хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко.—«Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога,—сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ,—а вы хотите ѣсть!»... Сознаюсь, что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если, при воспоминаніи объ *этой* правдивости, объ *этой* небоязни смѣшного, улыбка можетъ придти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія».

Мы имѣемъ здѣсь наглядный образчикъ того увлеченія, съ какимъ Бѣлинскій отдавался волновавшимъ его вопросамъ. Читатель видѣлъ эту самую черту въ страстныхъ тирадахъ, какими исполнены письма Бѣлинскаго. Припомнимъ, что въ нихъ являлся и вопросъ о безсмертіи души...

Приводимъ изъ тѣхъ же воспоминаній еще одну черту мнѣній Бѣлинскаго въ этомъ періодѣ, когда отвлеченное искусство потеряло исключительное господство въ его литературной теоріи, и передъ нимъ вставали требованія жизни, стремленіе къ общественному благу, какъ основная, достойная цѣль для мыслящаго человѣка и—писателя. Слѣдующій эпизодъ, кажется, вѣрно передаетъ и самую манеру рѣчи Бѣлинскаго.

«Бѣлинскій, какъ извѣстно, не былъ [1]) поклонникомъ принципа: искусство для искусства;—да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, съ какой комической

---

[1]) Т.-е. въ эти годы.

яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на—отсутствующаго, разумѣется—Пушкина, за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь»:

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!

— «И конечно,—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ:—конечно дороже.—Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю — и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана,—будь онъ распрофидіасовскій Аполлонъ, — мое право, моя обязанность накормить своихъ—и себя, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ!»

Тургеневъ дѣлаетъ потомъ оговорку, что Бѣлинскій былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ одаренъ здравымъ смысломъ, чтобы не цѣнить высоко искусство,—но приведенныя слова передавали однако существенный элементъ его взгляда на искусство, и комическая внѣшность этихъ словъ, если она была, нимало не уменьшаетъ ихъ серьезнаго смысла.

Около 1842—1843 г. возобновилъ съ Бѣлинскимъ свое старое знакомство Кавелинъ. Переѣхавъ въ это время въ Петербургъ изъ Москвы, онъ поселился на одной квартирѣ съ Кульчицкимъ и Н. Тютчевымъ. Бѣлинскій, въ то время особенно тяготившійся своимъ одиночествомъ, любилъ бывать въ этомъ молодомъ кружкѣ, куда собирались и другіе его пріятели. Здѣсь онъ, между прочимъ, предавался игрѣ въ карты, страсть къ которой, по словамъ самого Бѣлинскаго, приводила въ ужасъ его друзей и объяснялась его тревожнымъ внутреннимъ состояніемъ, заставлявшимъ искать внѣшняго развлеченія.

Читатель, безъ сомнѣнія, съ любопытствомъ прочтетъ отрывки изъ разсказа Кавелина: это—свидѣтельство очевидца и изображеніе такихъ сторонъ личности и моральнаго вліянія Бѣлинскаго, которыхъ не могли представить намъ съ такою живостью другіе источники настоящей біографіи.

Время (около года), проведенное въ Петербургѣ въ этой средѣ, авторъ разсказа причисляетъ къ лучшимъ, счастливѣйшимъ воспоминаніямъ своей жизни,—и этимъ считаетъ себя обязаннымъ кружку, и особенно главѣ его—Бѣлинскому.

«Онъ имѣлъ на меня и на всѣхъ насъ чарующее дѣйствіе. Это было нѣчто гораздо больше оцѣнки ума, обаянія таланта,— нѣтъ, это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только

освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили во всѣхъ насъ, отдавался имъ страстно, наполнялъ ими все свое бытіе. Прибавьте къ этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, безпощадность къ самому себѣ, при большомъ самолюбіи, и вы поймете, почему этотъ человѣкъ господствовалъ въ кружкѣ неограниченно. Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхъ часто бывалъ неправъ, увлекался страстью далеко за предѣлы истины; мы знали, что свѣдѣнія его (кромѣ русской литературы и ея исторіи) бывали недостаточны; мы видѣли, что Бѣлинскій часто поступалъ какъ ребенокъ, какъ ребенокъ капризничалъ, малодушествовалъ и увлекался... Но все это исчезало передъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которой нельзя было подкупить н. чѣмъ,—даже ловкой игрой на струнѣ самолюбія.

«Бѣлинскаго въ нашемъ кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно подальше. Бѣда, если она попадала на глаза Бѣлинскому: онъ ее выворачивалъ тотчасъ же напоказъ всѣмъ и неумолимо, язвительно преслѣдовалъ несчастнаго дни и недѣли, не келейно, а соборнѣ, предъ всѣмъ кружкомъ... Извѣстно, что и себя онъ тоже не щадилъ. Панаеву немало доставалось за его суетность, мнѣ за «прекраснодушіе» и за славянофильскія наклонности, которыя въ то время были очень сильны. Вліяніе Бѣлинскаго на мое нравственное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ моей жизни было неизмѣримо, и оно никогда не изгладится изъ моей памяти».

Называя, въ числѣ членовъ кружка, Тургенева, авторъ воспоминаній замѣчаетъ, что Бѣлинскій благоволилъ къ нему между прочимъ и за нѣсколько стиховъ въ «Парашѣ»—отрицательнаго и демоническаго свойства. Онъ припоминаетъ, что Бѣлинскій особенно восторгался стихомъ, гдѣ говорится о «хохотѣ сатаны», и привелъ этотъ стихъ въ критической статьѣ [1]).

«Ка́къ мы проводили время и что̀ происходило въ нашемъ капельномъ кружкѣ, это легко представитъ себѣ всякій, кто знакомъ, хоть по наслышкѣ, съ молодыми литературными кружками 30-хъ и 40-хъ годовъ. Аристократическимъ изяществомъ людей съ достаткомъ всѣ мы, кромѣ Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократическіе салоны и литературные тузы были намъ извѣстны

---

[1]) Упоминаемая здѣсь цитата изъ «Параши»—въ Сочин., VII, стр. 272.

только по имени. Но весело намъ было очень, насколько можно было веселиться при тогдашней обстановкѣ... Каждый литературный кружокъ, въ томъ числѣ и нашъ, былъ тогда похожъ на секту, въ которую новые члены принимались трудно, по испытаніи и рекомендаціи. Мы мечтали о лучшемъ будущемъ, не формулируя положительно, какимъ оно должно быть, жадно собирали всѣ анекдоты, слухи и разсказы, изъ которыхъ прямо или косвенно слѣдовало... приближеніе иного времени..., также жадно и зорко слѣдили за всякимъ проявленіемъ въ словѣ или печати мыслей и стремленій, которыми были преисполнены. Каждый мѣсяцъ приносилъ намъ новинку—статью, а иногда и больше, Бѣлинскаго, которую читали и перечитывали. Жоржъ-Зандъ и французская литература... пользовались великимъ авторитетомъ. За событіями политическими въ Европѣ мы слѣдили внимательно, но нельзя сказать, чтобъ съ настоящимъ пониманіемъ.

«Взаимныя отношенія членовъ кружка были самыя дружескія, тѣсныя, интимныя. Камертонъ имъ давалъ Бѣлинскій. Шуткамъ и остроуміямъ, часто и неостроумнымъ, не было конца. Запѣвалой былъ почти всегда Бѣлинскій... Споры и серьёзные разговоры не велись методически, а всегда перемежались и смѣшивались съ остротами и шутками.

«Все это очень извѣстно и обыкновенно въ нашихъ русскихъ дружескихъ кружкахъ и по складу нашего ума не можетъ быть иначе. Отмѣчу нѣкоторыя особенности нашего тогдашняго кружка, обусловленныя родомъ жизни и вкусами Бѣлинскаго, Онъ работалъ какъ истинно русскій человѣкъ—запоемъ, и когда могъ отдыхать, т.-е. когда необходимость не заставляла его работать, охотно лѣнился, болталъ и игралъ въ карты, ради препровожденія времени. Игрокомъ онъ никогда не былъ. Съ половины мѣсяца, или такъ между 15 и 20 числами, Бѣлинскій исчезалъ для друзей—запирался и писалъ для журнала. Ходить къ нему въ это время было неделикатно. Бѣлинскій болталъ охотно, но проведенное въ разговорѣ время приходилось ему наверстывать ночью, потому что работа была срочная... Съ выходомъ книжки Бѣлинскій становился свободнымъ и приходилъ почти каждый день къ намъ, иногда къ обѣду, но всего чаще тотчасъ послѣ обѣда—играть въ карты... Такъ какъ друзья Бѣлинскаго знали, что онъ почти каждый вечеръ проводитъ у насъ, то приходили къ намъ, и такимъ образомъ квартира наша мало-по-малу обратилась въ клубъ. Каждый вечеръ кто-нибудь изъ друзей забѣгалъ хоть на минуту повидаться съ Бѣлинскимъ, сообщить новость, переговорить о дѣлѣ. Какъ только приходилъ Бѣлинскій послѣ обѣда — тотчасъ же начиналась игра въ карты, ко-

пѣчная, но которая занимала и волновала его до смѣшного. Заигрывались мы вчастую до бѣла дня. Тютчевъ игралъ спокойно и съ перемѣннымъ счастіемъ; я вѣчно проигрывалъ; Кульчицкому счастье всегда валило удивительное, и онъ игралъ отлично. Бѣлинскій игралъ плохо, горячился, ремизился страшно, и рѣдко оканчивалъ вечеръ безъ проигрыша. На этихъ-то картежныхъ вечерахъ, увѣковѣченныхъ для кружка брошюркой Кульчицкаго: «Нѣкоторыя великія и полезныя истины объ игрѣ въ преферансъ», изданной подъ псевдонимомъ кандидата Ремизова, происходили тѣ сцены высокаго комизма, которыя приводили часто въ негодованіе Тютчева, забавляли друзей, а меня приводили въ глубокое умиленіе и еще больше привязывали къ Бѣлинскому» [1])...

---

[1]) Книжка кандидата Ремизова, которую рѣдко гдѣ можно теперь встрѣтить; стôитъ упоминанія, такъ какъ даетъ понятіе о невинныхъ развлеченіяхъ кружкâ. Нечего упоминать, что она была написана (не безъ участія и другихъ пріятелей) именно для Бѣлинскаго.

Книжка носила слѣдующее заглавіе: «Нѣкоторыя великія и полезныя истины объ игрѣ въ преферансъ, заимствованныя у разныхъ древнихъ и новѣйшихъ писателей и приведенныя въ систему кандидатомъ философіи П. Ремизовымъ». Спб., въ тип. Жернакова. 1843. Въ 16-ю д. л., 31 стр. Ей посвящена рецензія въ 4-й кн. «Отеч. Зап.» за этотъ годъ — гдѣ отдана справедливость серьёзному взгляду автора на предметъ. «Игра въ преферансъ»,— говоритъ рецензія,—«для насъ теперь то же самое, чѣмъ было искусство для грековъ, гражданская жизнь для римлянъ, что теперь наука для нѣмцевъ, театръ, балы, маскарады для французовъ, парламентъ и биржа для англичанъ. Маленькія дѣти теперь уже знаютъ у насъ, чтô такое «прикупка» и «игра прямо» и обѣщаютъ въ своемъ лицѣ богатое надеждами поколѣніе». Нѣсколько отрывковъ дадутъ понятіе о тонѣ книжки.

Авторъ желалъ изложить дѣло обстоятельно, и говоритъ по рубрикамъ объ *исторіи* преферанса, объ его *пользѣ*, объ его *философіи*, о нужныхъ для него *спеціальныхъ познаніяхъ* и т. д.

«§ 1. Преферансъ (говорится въ отдѣлѣ *исторіи*) есть самая древнѣйшая игра въ мірѣ, чтô уже достаточно доказывается однимъ наименованіемъ ея, ибо слово *преферансъ* происходитъ отъ глагола fero, tuli, latum, ferre, что значитъ *несу, отношу* и *сношу*.

«§ 2. По паденіи Западной Римской Имперіи, игра сія перешла къ народамъ Галльскаго племени. Съ успѣхами наукъ и просвѣщенія, она болѣе и болѣе совершенствовалась и, наконецъ, у французовъ, достигла высшаго своего развитія. Оттуда распространилась она по всѣмъ частямъ земного шара, достигнувъ такимъ образомъ и нашего любезнаго отечества, и получивъ то великое значеніе, въ какомъ мы оную теперь видимъ.

«§ 4. Отъ игры *безъ переговоровъ* человѣчество, въ постоянномъ стремленіи своемъ къ совершенствованію, перешло наконецъ къ игрѣ *съ переговоромъ* и стало играть *семь, восемь* и т. д. безъ прикупки. Честь такого открытія принадлежитъ исключительно изобрѣтательному XIX вѣку. Впрочемъ, должно упомянуть, что и въ наше время нѣкоторые дикіе и невѣже-

«Повѣритъ ли читатель, что въ нашу игру, невиннѣйшую изъ невинныхъ, которая въ худшемъ случаѣ оканчивалась рублемъ, двумя, Бѣлинскій вносилъ всѣ перипетіи страсти, отчаянія и радости, точно участвовалъ въ великихъ историческихъ событіяхъ? Садился онъ играть съ большимъ увлеченіемъ, и если ему везло, былъ доволенъ и веселъ... Поставя нѣсколько ремизовъ, Бѣлинскій становился мрачнымъ, жаловался на судьбу, которая его во всемъ преслѣдуетъ и наконецъ съ отчаяніемъ бросалъ карты и уходилъ въ темную комнату. Мы продолжали игру какъ будто ни въ чемъ не бывало. Кульчицкій (игравшій обыкновенно счастливо) нарочно ремизился отчаянно, и мы шумно выражали свою радость, что наконецъ-то и онъ попался. Послѣ двухъ-трехъ такихъ умышленныхъ ремизовъ и криковъ, сосѣдняя дверь тихонько пріотворялась, и Бѣлинскій выглядывалъ оттуда на игру съ сіяющимъ лицомъ. Еще два-

---

ственные народы играютъ еще въ преферансъ безъ переговоровъ, такъ, напр., Кафры, жители Огненной Земли и проч.».

«Въ преферансѣ,—говоритъ кандидатъ философіи Ремизовъ,—съ незапамятныхъ временъ, всегда существовало 10 взятокъ. Греки, любившіе все обожествлять и персонифьировать, полную преферансовую игру олицетворили въ Аполлонѣ съ 9-ю музами. Очевидно, что это было не что иное, какъ 10 въ червяхъ: Аполлонъ—тузъ, Мельпомена—король и т. д. Оттуда и преданіе, что музы услаждаютъ жизнь человѣческую. Римляне, все переносившіе въ право, тоже самое понятіе выразили въ законахъ, изобразивъ ихъ на доскахъ или таблицахъ, коихъ было первоначально 10; а двѣ прибавлены впослѣдствіи для обозначенія прикупки»...

Для игры въ преферансъ требуется великое присутствіе духа, чувство собственнаго достоинства и предпріимчивость: и въ доказательство этой теоретической истины приводится въ книжкѣ историческій эпизодъ о войнѣ Аннибала съ Фабіемъ.

«Садясь въ преферансъ, кромѣ спеціальныхъ познаній, должно имѣть непоколебимое присутствіе духа, единство цѣли и сосредоточенность мысли. Великая игра сія требуетъ соединенія въ одномъ лицѣ предпріимчивости полководца, настойчивости дипломата и глубокомыслія ученаго. Древніе приступали къ ней, очистивъ себя напередъ жертвой, и, какъ говорили — manibus puris. Мы, новѣйшіе, садясь въ преферансъ, должны сохранять какъ въ лицѣ своемъ, такъ и въ движеніяхъ отпечатокъ достоинства... Закройте ваши помыслы непроницаемой для противниковъ завѣсой. Пусть лицо ваше ничего не выражаетъ, кромѣ чувства собственнаго достоинства, не оскорбляющаго, впрочемъ, достоинства другихъ. Тогда всѣ скажутъ: «какой прекрасный человѣкъ», и будутъ играть съ вами спустя рукава.

«На счетъ присутствія духа и предпріимчивости многіе имѣютъ весьма ложныя понятія. Я видѣлъ людей, которые безумно расточаютъ врожденную имъ храбрость и врываются въ отчаянныя игры почти безъ оружія (т.-е. безъ взятки). Правда, дѣла ихъ увѣнчиваются иногда блистательнымъ успѣхомъ, но увы, слишкомъ кратковременнымъ: грозный разсчетъ чаще всего падаетъ позоромъ на главу ихъ, опустошеніемъ на карманъ! Не таково присутствіе духа мужа испытаннаго!.. Поэтому, садясь въ преферансъ, не только не

три ремиза — и онъ выходилъ изъ темной комнаты, съ азартомъ садился. за игру, и она продолжалась вчетверомъ попрежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали въ замѣчательныхъ людяхъ и еще сильнѣе къ нимъ привязывали [1]). Та же черта была и въ Герценѣ, съ которымъ Бѣлинскій имѣлъ всего болѣе родства по натурѣ. Они во многомъ напоминали другъ друга. Я дорожу этой чертой, какъ очень характеристической въ Бѣлинскомъ,

---

должно хвастаться передъ другими, говоря: «я ныньче, господа, обрѣжу васъ», но даже и подумать о томъ передъ самимъ собой. Приведемъ разительный тому примѣръ изъ древняго міра. Когда Аннибалъ запугалъ римлянъ своими побѣдами, они выслали къ нему Фабія, старика чрезвычайно тонкаго и замысловатаго. Прибывъ къ войску, онъ тотчасъ понялъ, что тутъ силой ничего не возьмешь. Тогда онъ прибѣгнулъ къ хитрости и отправился въ станъ къ Аннибалу, будто бы для переговоровъ Аннибалъ его принялъ очень вѣжливо и приказалъ поставить самоваръ. Такъ какъ дѣло шло ужъ къ вечеру, то хозяинъ спросилъ у Фабія: «а что, не хотите ли въ преферансикъ?»—Нѣтъ,—отвѣчалъ Фабій, — я плохо играю. — «Ничего, мы сядемъ по маленькой». Сѣли и записали по XXX. (Тогда записывали римскими цифрами).

— Развѣ,—сказалъ Фабій,—для занимательности игры не поставить ли намъ въ пульку судьбу Рима и Кароагена? Отъ этого и казна больше выиграетъ и намъ будетъ...

— Почтеннѣйшій,—перебилъ его Аннибалъ:—оно такъ, казна дѣйствительно больше выиграетъ, да вѣдь я васъ обдую...

— Это еще неизвѣстно.

— Обдую непремѣнно. Въ Кароагенѣ я обдувалъ весь свѣтъ.

— Ну, это еще неизвѣстно.

«Слово за слово; поспорили. И въ то время, какъ Аннибалъ, ставя Фабію ремизъ за ремизомъ, хвасталъ и смѣялся, старый римлянинъ тихо взывалъ къ богамъ: безсмертные!.. Между тѣмъ, счастіе къ Аннибалу валило чертовское. «А что, а что!» кричалъ онъ въ восторгѣ: «вотъ вамъ еще ремизъ!»—Ничего, отвѣчалъ Фабій: finis coronat opus.—«Какой тутъ finis—смотрите—я въ малинѣ».—Finis coronat opus, — повторялъ упрямый старикъ. И дѣйствительно: подъ конецъ Аннибалъ какъ-то зацѣпился и поставилъ 3 ремиза. Это его взбѣсило. «Играю—говоритъ—въ червяхъ». И, несмотря на карты, онъ объявилъ игру и поставилъ еще 5; потомъ дальше, дальше. Кончилось тѣмъ, что Аннибалъ проигралъ Фабію всѣ деньги, вещи, дорожную шкатулку, войсковой багажъ и пр., и со стыдомъ бѣжалъ зимовать въ Капуу (Титъ Ливій, книга III, стр. 281)».

О Кульчицкомъ, авторѣ этой шутки, мы говорили прежде. Въ эти годы онъ выступилъ въ литературѣ съ легкими юмористическими разсказами, довольно забавными въ самомъ дѣлѣ, — подъ псевдонимомъ Говорилина. См., напр., «Омнибусъ» въ «Физіологіи Петербурга», изд. Некрасовымъ, 1844—1845; «Необыкновенный Поединокъ, романтическая повѣсть», въ «Отеч. Зап.» 1845, кн. 3.—Кульчицкій вскорѣ умеръ (въ 1845 или 1846).

[1]) Подобные анекдоты см. также въ «Воспоминаніяхъ Панаева», «Совр.» 1860, кн. I, стр. 361, и «Восп. Тургенева», В. Евр.», 1869, апр., стр. 717—718.

и потому такъ подробно описываю случаи, повидимому совершенно ничтожные [1]).

«Въ эпоху, которую описываю (1843), талантъ, нравственная физіономія и образъ мыслей Бѣлинскаго сложились окончательно и достигли своего апогея. Никакихъ колебаній и шатаній изъ стороны въ сторону не было. Его симпатіи клонились къ сторонѣ Франціи, а не Германіи или Англіи. Его идеалы были нравственно-соціальные болѣе, чѣмъ политическіе. Политической программы ни у кого въ кружкахъ того времени не было. Къ тогдашнему нашему status quo Бѣлинскій относился отрицательно на всѣхъ путяхъ, и ненавидѣлъ панславизмъ во всѣхъ его направленіяхъ и со всѣми его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы — пережитое прошедшее, которое и привело къ печальному настоящему. Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подъ-часъ ребячески, съ чудовищными преувеличеніями, но въ которыхъ всегда лежала вѣрная, свѣтлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Разъ какъ-то въ спорѣ Бѣлинскій съ яростью объявилъ, что черногорцевъ надо вырѣзать всѣхъ до послѣдняго. Другой разъ, по поводу какой-то книги, романовъ или стиховъ, гдѣ поминались русскіе шлемы, латы, доспѣхи, онъ напечаталъ коротенькую рецензію, въ которой говорилъ, что ничего этого никто не видалъ, а всѣ знаютъ лапти, мочалы, рогожи и палки. Враги Бѣлинскаго пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно, отчасти по тупости не хотѣли или не умѣли понять того, что̀ онъ говорилъ или хотѣлъ сказать. Послѣ положительная сторона его ненавистей и отрицаній выступила яснѣе. Говорятъ, что за границей онъ страшно тосковалъ и стремился назадъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ Москвѣ, въ одномъ разговорѣ съ Грановскимъ, при которомъ я присутствовалъ, Бѣлинскій даже выражалъ славянофильскую мысль, что Россія лучше сумѣетъ, пожалуй, разрѣшить соціальный вопросъ и покончить съ враждой капитала и собственности съ трудомъ, чѣмъ Европа. Но Бѣлинскій ясно понималъ, что тогдашнее положеніе наше, съ ногъ до головы, ненормальное... Здѣсь будетъ кстати сказать, что Бѣлинскій не любилъ поляковъ и съ необыкновеннымъ своимъ чутьемъ, далеко опережавшимъ время, прозрѣвалъ въ нихъ узкихъ провинціаловъ. Ему особенно не нравилось въ полякахъ то, что они считаютъ Варшаву наравнѣ съ Парижемъ, Мицкевича наравнѣ съ Гёте, что послушать ихъ — ихъ политики, поэты, художники,

---

[1]) Но были у Бѣлинскаго одни знакомые, гдѣ ему приводилось дѣлать болѣе серьёзные проигрыши, напр., тѣ, на какіе онъ жаловался въ письмахъ къ Боткину.

философы за поясъ заткнутъ европейскія свѣтила. Эта черта, т.-е. провинціальность, недавно подмѣченная и разоблаченная Драгомановымъ у галичанъ и разныхъ западныхъ славянъ, не ускользнула отъ зоркаго взгляда Бѣлинскаго въ полякахъ. Бѣлинскій вмѣнялъ русскимъ въ особенное достоинство, что они трезвы умомъ, не таращатся, относятся къ себѣ отрицательно и что имъ нечего охранять. Петра Великаго онъ боготворилъ. «Пишите скорѣй его исторію, говаривалъ Бѣлинскій: пройдетъ сто лѣтъ и никто не повѣритъ, что Петръ не миѳъ, а историческая дѣйствительность».

«Изъ этого періода времени сохранилась въ моей памяти еще одна черта Бѣлинскаго, которой не могу пройти мимо. Къ концу моего пребыванія въ Петербургѣ, до московской профессуры, сюда пріѣхалъ Рубини, съ котораго началась здѣшняя итальянская опера. Нашъ кружокъ бросился съ жадностью на эту новинку. Разъ какъ-то давалась «Лучія ди-Ламмермуръ». Мы были въ ложѣ: Панаевы, Тютчевъ, Бѣлинскій и я (другихъ не помню). Въ извѣстной патетической сценѣ горькаго упрека героя оперы своей возлюбленной, Бѣлинскій былъ глубоко потрясенъ, насилу сдержалъ слезы и назвалъ Рубини великимъ актеромъ. Объективной цѣны этотъ отзывъ не имѣетъ никакой, но онъ характеризуетъ и Бѣлинскаго и время. Наше полное музыкальное невѣжество объясняетъ, какимъ образомъ ничтожная пьеса могла такъ глубоко подѣйствовать на Бѣлинскаго и вызвать то горькое чувство, которое лежало въ душѣ каждаго въ то время. Это чувство объясняетъ и огромный успѣхъ Лермонтова и Некрасова—гораздо больше, чѣмъ ихъ дѣйствительныя поэтическія достоинства»...

Но дѣло тутъ шло не столько о музыкѣ, сколько о драматическомъ исполненіи, которое съ полнымъ правомъ могло привести Бѣлинскаго въ восторгъ и затронуть «горькое чувство». Въ перепискѣ сохранилось воспоминаніе самого Бѣлинскаго о томъ впечатлѣніи, какое произвелъ на него Рубини.

«Слушалъ я третьяго дня Рубини (въ «Лучіи Ламмермуръ»),—пишетъ Бѣлинскій Боткину 30 апрѣля 1843,—страшный художникъ—и въ третьемъ актѣ я плакалъ слезами, которыми давно уже не плакалъ. Сегодня опять буду слушать ту же оперу. Сцена, гдѣ онъ срываетъ кольцо съ Лучіи и призываетъ небо въ свидѣтели ея вѣроломства—страшна, ужасна,—я вспомнилъ Мочалова и понялъ, что всѣ искусства имѣютъ одни законы. Боже мой, что это за рыдающій голосъ—столько чувства, такая огненная лава чувства—да отъ этого можно съ ума сойти»...

Въ этомъ кружкѣ (для полнаго перечисленія котораго надо *было бы* еще назвать только два-три имени) проходила въ Петер-

бургѣ жизнь Бѣлинскаго: здѣсь онъ чувствовалъ себя между друзьями, свободно высказывался и былъ самимъ собой. Въ другомъ, мало знакомомъ обществѣ онъ былъ стѣсненъ, связанъ, имъ овладѣвала та боязнь людей, на которую онъ самъ жаловался какъ на свое бѣдствіе, на болѣзнь. Попытки друзей, особенно Панаева, ввести его въ другіе круги, напр. на литературные вечера кн. Одоевскаго, оставались неудачны и отяготительны для Бѣлинскаго.

Прибавимъ двѣ-три черты изъ воспоминаній Панаева, которыя мы уже не разъ цитировали. Хотя его и любятъ упрекать въ недостаткѣ серьезности, его разсказы обыкновено весьма точны.

«Кружокъ, въ которомъ жилъ Бѣлинскій (разсказываетъ онъ), былъ тѣсно сплоченъ и сохранялся во всей чистотѣ до самой его смерти. Онъ поддерживался силою его духа и убѣжденій. — Послѣ его смерти всѣ какъ-то разбрелись и спутались, но память объ этомъ кружкѣ, вѣрно, до сихъ поръ дорога каждому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ нему...

Бѣлинскій рѣдко выходилъ изъ этого кружка и показывался въ литературный свѣтъ.

«Этотъ свѣтъ изрѣдка открывался для него только въ одномъ домѣ, куда стекались разъ въ недѣлю всевозможныя извѣстности — ученыя, военныя, литературныя, духовныя, и великосвѣтскія. Большой гармоніи и одушевленія въ этомъ обществѣ не могло существовать; усиліе хозяина дома сближать литературу съ великосвѣтскимъ обществомъ не удавалось. Для великосвѣтс аго общества, никогда не принимавшаго живого участія въ отечественной литературѣ, вся тогдашняя литература заключалась только въ пяти или шести литературныхъ авторитетахъ, посѣщавшихъ салоны. На остальныхъ литераторовъ и ученыхъ — людей, по бо̀льшей части не свѣтскихъ, застѣнчивыхъ, это общество посматривало съ нѣсколько оскорбительнымъ любопытствомъ сквозь стеклышки и лорнеты, какъ на звѣрей, спрашивая съ удивленіемъ хозяина дома: «откуда *это*? что *это*?» Литературные авторитеты не желали сближаться съ этими остальными и удостоивали ихъ только изрѣдка своего благосклоннаго вниманія или одобренія...

«Это былъ домъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго [1]).

«Положеніе записныхъ ученыхъ и литераторовъ было очень неловко въ этомъ великосвѣтскомъ литературномъ салонѣ. Они обыкновенно съ робостью, съ замирающимъ дыханіемъ пробирались черезъ салонъ, преслѣдуемые дамскими лорнетами и мужскими

[1]) Объ его литературно-аристократическомъ салонѣ, см. также «Совр.» 1861, февр., 626—628.

стеклышками, въ кабинетъ радушнаго хозяина и тамъ уже, забравшись куда-нибудь въ уголокъ, вздыхали полной грудью.

«Нужно ли было сближать литературу съ великосвѣтскостью— это вопросъ, въ разсмотрѣніе котораго я входить здѣсь не буду...

«Но упоминая объ этихъ собраніяхъ, я долженъ сказать, что всѣхъ человѣчнѣе, всѣхъ лучше являлся на нихъ самъ хозяинъ дома, принимавшій съ одинаковымъ радушіемъ, теплотою и искренностію, безъ различія, каждаго своего гостя — какого-нибудь важнаго, значительнаго господина съ украшеніями на фракѣ и бѣднаго, робкаго, еще никому неизвѣстнаго литератора. Это черта, особенно для того времени заслуживающая вниманія.

«Бѣлинскій долго не рѣшался появиться въ этомъ салонѣ, несмотря на то, что чувствовалъ большое расположеніе къ его хозяину, доказательствомъ чего было то, что онъ высказывался предъ нимъ вполнѣ, иногда даже съ такою энергіею, которая приводила хозяина салона въ большое смущеніе...

«— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердитъ на васъ, говорилъ онъ Бѣлинскому.

«— Сказать вамъ правду — отчего? отвѣчалъ улыбаясь Бѣлинскій: — я человѣкъ простой, неловкій, робкій, отъ роду не бывавшій ни въ какихъ салонахъ... У васъ же тамъ бываютъ дамы, аристократки, а я въ обыкновенномъ-то дамскомъ обществѣ вести себя не умѣю... Нѣтъ, ужъ избавьте меня отъ этого! Вѣдь вамъ же будетъ нехорошо, если я сдѣлаю какую-нибудь неловкость или неприличіе по вашему.

«Но, несмотря на это, хозяинъ салона непремѣнно хотѣлъ, чтобъ Бѣлинскій былъ въ числѣ его гостей».

Извѣстенъ анекдотъ о томъ, какой переполохъ произвелъ Бѣлинскій на этомъ вечерѣ своей неловкостью, когда облокотившись по разсѣянности на столикъ съ одной ножкой, уставленный бутылками, опрокинулъ его — вино полилось къ ногамъ знаменитостей, Бѣлинскій смѣшался до послѣдней степени, и «близкій къ кончинѣ» поспѣшилъ домой...

«Вообще, — продолжаетъ Панаевъ, — Бѣлинскій не терпѣлъ разнороднаго, мало знакомаго и большого общества. Онъ даже, бывало, при появленіи въ нашемъ обычномъ кружкѣ какого-нибудь незнакомаго лица, измѣнялся мгновенно, впадалъ въ дурное расположеніе духа и переставалъ говорить.

«Онъ искренно былъ привязанъ ко всѣмъ безъ исключенія, составлявшимъ этотъ тѣсный кружокъ, но иногда вдругъ почему-то особенно увлекался на время кѣмъ-нибудь и обнаруживалъ къ нему *необыкновенную* нѣжность. Онъ, впрочемъ, всегда прямо и откро-

венно сознавалъ потомъ свои заблужденія и самъ добродушно смѣялся вмѣстѣ съ нами надъ своими крайностями и увлеченіями...

«Вообще малѣйшая, самая ничтожная вещь могла приводить его иногда въ бѣшенство — это было уже отчасти слѣдствіемъ роковой болѣзни, развивавшейся въ немъ сильнѣе и сильнѣе.

Во время отдыховъ, иногда по вечерамъ, онъ любилъ играть въ преферансъ съ пріятелями по самой маленькой цѣнѣ и игралъ всегда съ увлеченіемъ и очень дурно.

«Разъ (это было у меня, наканунѣ свѣтлаго праздника) онъ часа три сряду не выпускалъ изъ рукъ картъ и наставилъ страшное количество ремизовъ. Утомленный, во время сдачи онъ вышелъ въ другую комнату, чтобы пройтиться немного. Въ это время Тургеневъ (котораго онъ очень любилъ) нарочно подобралъ ему такую игру на восемь въ червяхъ, что онъ долженъ было остаться непремѣнно безъ четырехъ.. Бѣлинскій возвратился, схватилъ карты, взглянулъ и весь просіялъ... Онъ объявилъ восемь въ червяхъ и остался, какъ и слѣдовало, безъ четырехъ. Онъ съ бѣшенствомъ бросилъ карты и вскрикнулъ задыхаясь:—Такія вещи могутъ случаться только со мною.

«Тургеневу стало жаль его—и онъ признался ему, что хотѣлъ подшутить надъ нимъ.

«Бѣлинскій сначала не повѣрилъ, но когда всѣ подтвердили ему тоже,—онъ съ невыразимымъ упрекомъ посмотрѣлъ на Тургенева и произнесъ, поблѣднѣвъ какъ полотно:

«— Лучше бы ужъ вы мнѣ этого не говорили. Прошу васъ впередь не позволять себѣ такихъ шутокъ.

«Когда болѣзненные припадки затихали или не слишкомъ безпокоили его, онъ становился какъ-то особенно ясенъ и свѣтелъ: его кроткая, прямая, деликатная натура такъ и отражалась въ его глазахъ. Въ эти минуты онъ любилъ подшучивать надъ слабостями нѣкоторыхъ своихъ друзей, напримѣръ, надъ падкостью къ аристократіи, маленькимъ хвастовствомъ, тщеславіемъ и т. п.

«Но для того, чтобы имѣть о Бѣлинскомъ полное понятіе, видѣть его во всемъ блескѣ, надобно было навести разговоръ на тѣ общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражить его противорѣчіемъ; затронутый, онъ вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала внутренней энергіей и силой, голосъ по временамъ задыхался, всѣ мускулы лица приходили въ напряженіе... Онъ нападалъ на своего противника съ силой человѣка, власть имѣющаго, мимоходомъ игралъ имъ какъ соломенкой, издѣвался, ставилъ его въ комическое положеніе и между тѣмъ продолжалъ развивать свою мысль съ энер-

гіей поразительной. Въ такія минуты этотъ обыкновенно застѣнчивый, робкій и неловкій человѣкъ былъ неузнаваемъ...

«Бѣлинскій ходилъ къ немногимъ искреннимъ пріятелямъ, чтобы отдыхать отъ работы и отводить душу въ спорахъ и толкахъ о томъ, что его сильно тревожило; но онъ больше любилъ домашній уголъ и устраивалъ его всегда, по мѣрѣ средствъ своихъ, съ нѣкоторымъ комфортомъ. Чистота и порядокъ въ его кабинетѣ были всегда удивительные: полы какъ зеркало, на письменномъ столѣ всѣ вещи разложены въ порядкѣ, на окнахъ занавѣсы, на подоконникахъ цвѣты, на стѣнахъ портреты различныхъ знаменитостей и друзей, и, между прочимъ, портретъ Станкевича и нѣсколько старинныхъ гравюръ, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Онъ самъ отыскивалъ ихъ на толкучемъ рынкѣ и хвасталъ мнѣ своими находками, и библіотеку свою, состоявшую большею частью изъ русскихъ книгъ, онъ умножалъ съ каждымъ годомъ, и въ послѣднее время, когда уже свободно читалъ по-французски, началъ пріобрѣтать и французскія книги...

«Къ нему часто сходились по вечерамъ его пріятели, и онъ всегда встрѣчалъ ихъ радушно и съ шутками, если былъ въ хорошемъ расположеніи духа, т.-е. свободенъ отъ работы и не страдалъ своими обычными припадками [1]). Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно зажигалъ нѣсколько свѣчей въ своемъ кабинетѣ. Свѣтъ и тепло поддерживали всегда еще болѣе хорошее расположеніе его духа»...

Панаевъ разсказываетъ, съ какимъ энтузіазмомъ Бѣлинскій встрѣчалъ всякій новый талантъ, всякій литературный успѣхъ. Такъ онъ встрѣтилъ первыя произведенія Достоевскаго, Гончарова; такъ прежде онъ восхитился «Двумя судьбами» Майкова, даже «Парашей» Тургенева...

Страсть Бѣлинскаго, не имѣя другого выхода, вся сосредоточилась на литературѣ. Онъ съ какою-то жадностью бросался на каждую вновь выходящую книжку журнала и дрожащей рукой разрѣзывалъ свои статьи, чтобы пробѣжать ихъ и посмотрѣть, до какой степени сохранился смыслъ ихъ въ печати [2]). Въ эти минуты лицо его то вспыхивало, то блѣднѣло: онъ отбрасывалъ отъ себя книжку въ отчаяніи, или успокоивался и приходилъ въ хорошее расположеніе духа, если не встрѣчалъ значительныхъ перемѣнъ и искаженій».

---

[1]) Эти замѣчанія Панаева относятся уже болѣе къ послѣднимъ годамъ жизни Бѣлинскаго.

[2]) Т. е. насколько онѣ уцѣлѣли отъ цензуры.

Кн. Одоевскій, о которомъ сейчасъ упоминалось, былъ чрезвычайно высокаго мнѣнія о талантѣ Бѣлинскаго, и въ особенности видѣлъ въ немъ большую силу именно философской мысли.

«Бѣлинскій, — говоритъ онъ [1]), — былъ одною изъ высшихъ философскихъ организацій, какія я когда-либо встрѣчалъ въ жизни. Въ немъ было сопряженіе Канта, Шеллинга и Гегеля, сопряженіе вполнѣ органическое, ибо онъ никого изъ нихъ не читалъ; онъ не зналъ по-нѣмецки, весьма плохо понималъ по-французски, а въ его эпоху ничто изъ этихъ философовъ не было переведено по-французски. Нѣкоторыя ихъ положенія перешли къ нему по наслышкѣ, частію отъ учениковъ Павлова, знавшаго впрочемъ лишь Шеллинга и Окена, частію отъ меня. Всякій разъ, когда мы встрѣчались съ Бѣлинскимъ (это было рѣдко), мы съ нимъ спорили жестоко; но я не могъ не удивляться, какимъ образомъ онъ изъ поверхностнаго знанія принциповъ натуральной философіи (Naturphilosophie) развивалъ цѣлый органическій философическій міръ — sui generis».

Кн. Одоевскій не зналъ въ точности, какъ развивались философскіе интересы и понятія Бѣлинскаго; онъ думалъ, напримѣръ, что Бѣлинскій совсѣмъ не зналъ или не слышалъ о Гегелевскихъ ученіяхъ; но его слова тѣмъ не менѣе любопытны. Кн. Одоевскій былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ людей у насъ въ то время, и во всякомъ случаѣ могъ быть хорошимъ судьей въ оцѣнкѣ умственнаго содержанія.

«Бѣда Бѣлинскаго,—продолжаетъ онъ,—въ томъ, что обстоятельства жизни не позволяли ему развиться правильнымъ образомъ.—У насъ Бѣлинскому учиться было *негдѣ*; рутинизмъ нашихъ университетовъ не могъ удовлетворить его логическаго въ высшей степени ума; пошлость большей части нашихъ профессоровъ порождала въ немъ лишь презрѣніе; нелѣпыя преслѣдованія неизвѣстно за что развили въ немъ желчь, которая примѣшалась въ его своебытное философское развитіе и доводила его безстрашную силлогистику до самыхъ крайнихъ предѣловъ»...

Напомнимъ, наконецъ, разсказы еще одного изъ современниковъ и ближайшихъ друзей Бѣлинскаго, — разсказы, которыми, къ сожалѣнію, намъ трудно было воспользоваться, и гдѣ изображеніе Бѣлинскаго, сдѣланное съ любовью и пониманіемъ, является особенно рельефнымъ.

Возвратимся къ приведеннымъ выше подробностямъ.

Боязнь общества у Бѣлинскаго была черта довольно сложная.

---

[1]) «Р. Архивъ», 1874, стр. 339 и слѣд.

Прежде всего, это были слѣды того стараго болѣзненнаго чувства, которое онъ объяснялъ однажды въ письмѣ къ Боткину тяжелыми воспоминаніями своего дѣтства и отрочества; съ теченіемъ времени, и особенно теперь, это чувство опредѣлилось и получило новыя основанія. Въ самомъ дѣлѣ, съ первыхъ поръ своей сознательной жизни Бѣлинскій долженъ былъ чувствовать свой разрывъ съ обществомъ, которому не было ни малѣйшаго дѣла до пламенныхъ стремленій небольшой горсти идеалистовъ, какими были Бѣлинскій и его друзья, которое скорѣе готово будетъ смотрѣть на нихъ съ пренебреженіемъ и даже ненавистью. Мы читали въ письмахъ къ Боткину, горькія жалобы Бѣлинскаго и печальное сознаніе, что они не нужны этому обществу, что они—люди безъ отечества. Таково и дѣйствительно было положèніе этого кружка, какъ вообще бываетъ положеніе людей, которые въ невѣжественной средѣ или въ эпохи реакцій, тяготясь настоящимъ, глубоко страдая отъ противорѣчій его съ ихъ лучшими стремленіями, только въ неясномъ будущемъ видятъ достиженіе своихъ, даже скромныхъ идеаловъ. Отвлеченное разсужденіе давало Бѣлинскому эту надежду на будущее;—но въ данную минуту онъ долженъ былъ тѣмъ сильнѣе чувствовать свое отчужденіе отъ настоящаго. Понятно, что̀ Бѣлинскаго отталкивало отъ «общества», въ которомъ онъ видѣлъ олицетвореніе застоя, внѣшній блескъ, покрывавшій бѣдность мысли и грубые инстинкты. Бѣлинскому не только нечего было дѣлать съ людьми этого общества, ему было съ ними положительно тяжело. Даже съ лучшими представителями «общества», имѣвшими свое мѣсто и въ литературѣ, какъ кн. Одоевскій, самъ составлявшій исключеніе въ своемъ кругѣ,—для Бѣлинскаго сближеніе было довольно трудно. Кн. Одоевскій, который былъ очень способенъ оцѣнить серьёзность его таланта и дѣятельности, и въ самомъ дѣлѣ высоко цѣнилъ Бѣлинскаго, остался ему чуждъ: не говоря о мистическихъ и алхимическихъ пристрастіяхъ этого аристократическаго полигистора, не сочувственныхъ Бѣлинскому, онъ не могъ сойтись съ кн. Одоевскимъ въ самой сущности своего взгляда на вещи. Кн. Одоевскій удивлялся логической энергіи Бѣлинскаго, силѣ и смѣлости его выводовъ, понималъ ихъ въ теоріи, но никакъ бы не рѣшился послѣдовать за нимъ въ этой логикѣ. Бѣлинскій съ своей стороны не могъ понять его двойственности, хотѣвшей примирить вещи непримиримыя. Бѣлинскій по всей своей природѣ былъ пламенный энтузіастъ: у него не было ни легкости характера, способной довольствоваться порядкомъ вещей, ни скептическаго невѣрія, приводящаго къ равнодушной терпимости; ни той сдержанности, которая тяжелыми опытами научается таить для себя и ближайшихъ друзей

свои интимныя мысли. Бѣлинскій понималъ, конечно, необходимость этой сдержанности, но иногда не въ силахъ былъ одолѣвать свою страстную впечатлительность, и если бы затронуты были его задушевныя мысли, онъ, несмотря на свою робость въ обществѣ, свойственную кабинетнымъ людямъ,—въ какой бы ни былъ обстановкѣ,—способенъ былъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отвѣтить на вызовъ и высказать эти мысли. Такъ это случалось съ нимъ нѣсколько разъ. Такъ было съ нимъ однажды въ тридцатыхъ годахъ, во время увлеченія его «фихтіянствомъ». Два-три такихъ же примѣра повторились и теперь,—между прочимъ въ большомъ обществѣ у князя Одоевскаго, гдѣ Бѣлинскій, нетерпѣливо слушавшій фантазіи одного изъ собесѣдниковъ о чемъ-то въ родѣ реставраціи стариннаго боярства, наконецъ взволнованный и раздраженный, заявилъ свое противорѣчіе словами, которыя поразили присутствующихъ своей суровой рѣзкостью... Само собою разумѣется, что такіе порывы могли представлять и самую серьезную опасность, и Бѣлинскому приводилось испытывать непріятную тревогу послѣ подобныхъ случаевъ...

Кавелинъ замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что въ тогдашнихъ кружкахъ вообще не было опредѣленнаго политическаго взгляда, и это было очень естественно: политическія программы были еще слишкомъ безполезны и невозможны; слишкомъ ясна была крайняя неразвитость общества, олицетворявшаяся въ той жалкой литературѣ, которую Бѣлинскій называлъ «расейской» и къ которой питалъ настоящую ненависть. Опредѣленнаго взгляда этого рода одинаково не было въ обоихъ главныхъ кружкахъ тогдашней литературы—и западномъ, и славянофильскомъ; въ обоихъ одинаково понимали необходимость разъяснить самые общіе вопросы историческаго развитія, которые и стали насущнымъ интересомъ литературы: оттого Бѣлинскій относился къ нимъ съ такой страстью, и оттого крайняя вражда его къ славянофильству.

Его борьба съ славянофильствомъ началась тотчасъ, какъ славянофильство нашло себѣ первый органъ въ «Москвитянинѣ». Къ половинѣ сороковыхъ годовъ эта борьба была для Бѣлинскаго едва ли не главнымъ практическимъ вопросомъ литературы. Сюда сводились и общіе философскіе принципы, и историческія соображенія, и мнѣнія о настоящемъ.

Бѣлинскаго нерѣдко обвиняли въ непониманіи и даже въ нежеланіи понять то, что было въ славянофильствѣ хорошаго и справедливаго. Но чтобы вѣрно представить себѣ отношенія Бѣлинскаго къ славянофильству, надо помнить время и лица. Первыя впечатлѣнія славянофильства далъ Бѣлинскому «Москвитянинъ». Теперь уже

забыли, что это было. Но стоитъ взглянуть на первые годы этого журнала, чтобы понять вражду Бѣлинскаго: невозможно было иначе отнестись къ нелѣпой, юродивой формѣ, въ которой даны были здѣсь первыя заявленія новой школы. Правда, извѣстно было, что въ этомъ лагерѣ есть противники болѣе серьезной умственной силы и таланта, чѣмъ Шевыревъ и другіе дѣятели «Москвитянина», что есть противники съ болѣе серьезными убѣжденіями,—но, по мнѣнію Бѣлинскаго, это было еще хуже: онъ видѣлъ, что *эти* члены славянофильскаго лагеря (впослѣдствіи и составившіе настоящій славянофильскій кружокъ) ни мало не отвергали «Москвитянина», и Бѣлинскій могъ справедливо предполагать ихъ солидарность. Онъ долженъ былъ думать, что и «Москвитянинъ» собственно, и этотъ кружокъ проповѣдуютъ одну и ту же ненависть къ Западу и его образованности, дѣлятъ одни и тѣ же археологическія влеченія, поддерживаютъ, въ настоящемъ, одни и тѣ же принципы, для Бѣлинскаго ненавистные. Мы увидимъ дальше, что и друзья Бѣлинскаго, какъ Грановскій и другіе, гораздо менѣе исключительные, чѣмъ онъ, гораздо болѣе способные перенестись въ чужую точку зрѣнія, даже эти люди, иногда сами упрекавшіе Бѣлинскаго въ нетерпимости, соглашались потомъ, что онъ былъ правъ въ своей враждѣ.

Впослѣдствіи, когда славянофильство больше опредѣлилось и очистилось, значительно измѣнились и отзывы Бѣлинскаго.

Вмѣстѣ съ домашнимъ славянофильствомъ, которое вообще казалось Бѣлинскому очень близкимъ повтореніемъ оффиціальной народности, Бѣлинскій очень недружелюбно относился и къ начинавшимся проявленіямъ панславизма, который былъ опять возвращеніемъ къ прошлому. Еще во времена гегеліянскихъ увлеченій, Бѣлинскій не сочувствовалъ панславистскимъ жалобамъ на угнетеніе славянскихъ народностей нѣмцами и турками—на томъ основаніи, что «сила есть право», что турецкое господство надъ южными, и нѣмецкое надъ западными славянами есть право «историческое», и слѣд. тѣмъ самымъ доказанное и оправданное. Впослѣдствіи, онъ безъ сомнѣнія покинулъ эту точку зрѣнія, но сохранилось нерасположеніе къ панславизму и, въ связи съ нимъ, къ мелкимъ народнымъ литературамъ, въ томъ числѣ и къ малорусской. Здѣсь опять Бѣлинскаго упрекаютъ за непониманіе естественнаго права народности на существованіе и проявленіе своей особенности и національнаго быта, за непониманіе тѣхъ жизненныхъ элементовъ, какіе представляютъ мѣстныя народныя литературы, и т. п. [1]). Дѣй-

---

[1]) Точка зрѣнія Бѣлинскаго извѣстна и западно-славянскимъ историкамъ славянской литературы; см. Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Graz, 1874.

ствительно, Бѣлинскій и въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, не обошелся безъ крайностей,—между прочимъ потому, что былъ искрененъ и не боялся высказывать свою мысль вполнѣ; но (какъ справедливо замѣтилъ Кавелинъ) въ основѣ его преувеличеній и крайностей была или вся истина или часть истины. Прежде всего, для вѣрной оцѣнки мнѣній Бѣлинскаго и здѣсь слѣдуетъ припомнить тогдашнее положеніе вопроса и въ обществѣ и въ литературѣ. Начать съ того, что «сила» есть, конечно, плохое юридическое право, но она во всякомъ случаѣ есть историческій *фактъ*, который нужно объяснить изъ исторіи и характера народности, но котораго нельзя вычеркнуть и устранить жалобами и обвиненіями. Запальчивыя слова, вырывавшіяся у Бѣлинскаго противъ панславизма, были крайностью, если взять ихъ буквально и безотносительно; но ихъ смыслъ былъ тотъ, что и вопросъ ученый и вопросъ національнаго возрожденія долженъ былъ рѣшаться не одними лирическими изліяніями и патріотической похвальбой, которыхъ слишкомъ много расточали и западный панславизмъ, и наши его сторонники. Въ самомъ дѣлѣ, наша литература этого предмета, въ концѣ 30-хъ и началѣ 40-хъ годовъ, очень мало объясняла положеніе вещей, но за то не щадила высокопарныхъ словъ о дѣлѣ, почти неизвѣстномъ и важность котораго для русскаго общества была еще сомнительна. И здѣсь, какъ въ домашнемъ славянофильствѣ, не было недостатка въ нелѣпостяхъ, вызывавшихъ только насмѣшку; вспомнимъ, напр., полемику по поводу Коперника [1]). Болѣе серьезная, научная постановка предмета сдѣлана была только позднѣе. Еще съ бо́льшимъ правомъ Бѣлинскій и его друзья могли быть нерасположены къ панславизму съ другой стороны. Для русскаго общества, панславянскій переворотъ, въ которомъ Россіи пророчилась великая, но нѣсколько темная роль,—этотъ переворотъ не только въ тѣ времена, но и теперь былъ нѣчто въ родѣ журавля въ небѣ, когда въ рукахъ и синица была довольно плохая. Время ли было (и есть) мечтать о панславянскомъ царствѣ, когда собственная ближайшая жизнь ставила еще самыя элементарныя задачи? Не было ли грубымъ самохвальствомъ—«освобождать» другіе народы, когда милліоны собственнаго народа были тогда крѣпостными рабами, и этому еще не предвидѣлось конца? Имѣли ли какой-нибудь смыслъ угрозы западному просвѣщенію, когда собственное стояло еще на азбукѣ и подъ ферулой? Могъ ли панславизмъ помочь всѣмъ этимъ домашнимъ невзгодамъ, и напротивъ, не усилилъ ли бы онъ ихъ, отвлекая вниманіе и силы къ полу-фантастической цѣли?.. И наконецъ, воз-

[1]) «Москвитянинъ о Коперникѣ», ст. Герцена, въ «Отеч. Зап.» 1843, кн. 11, смѣсь, стр. 56—58.

можно ли было какое-нибудь дѣйствительное, не воображаемое, участіе нашего общества въ подобномъ дѣлѣ—гдѣ могъ бы помочь только настоящій и свободный энтузіазмъ,—когда это общество не имѣло простора и для своихъ домашнихъ скромныхъ желаній? Между тѣмъ наши партизаны панславизма не только не видѣли всего этого, но, напротивъ, въ домашнихъ вопросахъ еще являлись защитниками такихъ общественныхъ элементовъ, въ которыхъ Бѣлинскій и его друзья не безъ основанія видѣли наше бѣдствіе, причины нашего застоя. Съ патріотизмомъ панславянскимъ у насъ почти всегда соединялся домашній квасной патріотизмъ, и этого соединенія было довольно, чтобы возстановить Бѣлинскаго противъ панславизма, какъ противъ вреднаго и пустого фантазерства.

Наконецъ, народныя литературы, или собственно малорусская. Бѣлинскій вообще не любилъ ея, отчасти по тѣмъ же общимъ причинамъ: онъ считалъ малорусскую литературу дѣломъ прихоти, ненужнымъ провинціализмомъ и думалъ, что люди, посвящавшіе свои силы на созданіе особой малорусской литературы, съ большей пользой могли бы употребить ихъ для литературы русской, господствующей и въ образованныхъ классахъ самой Малороссіи. Во-вторыхъ, Бѣлинскій возставалъ противъ самого содержанія малорусской литературы. Чистѣйшій великоруссъ, Бѣлинскій мало зналъ и не любилъ малорусскаго языка [1]) и, слѣдовательно, не могъ цѣнить внѣшней, формальной стороны этой литературы; а содержаніе ея различнымъ образомъ не удовлетворяло его. За немногими исключеніями, въ тогдащней малорусской литературѣ не представлялось ничего особенно талантливаго. Бѣлинскій видѣлъ довольно большое число малорусскихъ писателей, но въ ихъ произведеніяхъ находилъ или повтореніе на малорусскомъ языкѣ устарѣлыхъ романтическихъ и сантиментальныхъ темъ, надоѣвшихъ и въ русской литературѣ, или повтореніе темъ народной поэзіи, изложенныхъ хуже, чѣмъ въ подлинникѣ, или шутку и пародію, которыя не показались ему достаточно остроумными, или, наконецъ, проявленія мѣстнаго патріотизма, котораго, вѣроятно, не считалъ серьезнымъ. Въ мѣстной поэзіи, какъ она создавалась въ то время, Бѣлинскій не находилъ ни достаточнаго обще-человѣческаго поэтическаго интереса, ни настоящаго удовлетворенія потребностямъ мѣстнаго народа: народно-поэтическіе элементы, вводимые въ литературу, должны были, по его мнѣнію, быть просвѣтлены этимъ высшимъ интересомъ, какъ въ поэзіи Кольцова; мѣстныя потребности могли быть достаточно удовлетворены книгами элементарными, которыя служили бы перехо-

---

[1]) Въ перепискѣ намъ встрѣтились доказательства этой нелюбви еще *въ 1840 г.*, слѣдов. еще до споровъ съ славянофильствомъ.

домъ къ образованности обще-русской. Вспомнимъ, что тогда не было и мысли о такой постановкѣ народнаго образованія, къ какой стремятся теперь просвѣщенные друзья народа и педагоги,—не было ни для малорусскаго, ни для великорусскаго народа. Первое и главное, о чемъ мечтали тогда для народа, было освобожденіе отъ крѣпостного состоянія,—школа для крѣпостного населенія была не мыслима, да о ней и не думали; слѣдовательно, трудно было думать и о воспитательномъ и учебномъ значеніи мѣстныхъ литературъ... Въ этихъ условіяхъ знаменательнымъ явленіемъ былъ для Бѣлинскаго малоруссъ Гоголь, который могъ стать великимъ писателемъ только въ обще-русской литературѣ. «Какая глубокая мысль въ этомъ фактѣ, что Гоголь, страстно любя Малороссію, все-таки сталъ писать по-русски, а не по-малороссійски!», говоритъ Бѣлинскій еще въ 1841 году [1]).

Вотъ, напр., нѣсколько словъ его изъ рецензіи вышедшей тогда поэмы Шевченка «Гайдамаки» [2]). Сославшись на прежде высказанныя мнѣнія свои о «такъ-называемой» малороссійской литературѣ, Бѣлинскій продолжаетъ:

«...Новый опытъ *спиваній* г. Шевченка, привилегированнаго, кажется, малороссійскаго поэта, убѣждаетъ насъ еще болѣе, что подобнаго рода произведенія издаются только для услажденія и назиданія самихъ авторовъ: другой публики у нихъ, кажется, нѣтъ. Если же эти господа *кобзари* думаютъ своими *поэмами* принести пользу низшему классу своихъ соотчичей, то въ этомъ очень ошибаются: ихъ поэмы, несмотря на обиліе самыхъ вульгарныхъ и площадныхъ словъ и выраженій, лишены простоты вымысла и разсказа, наполнены вычурами и замашками, свойственными всѣмъ плохимъ піитамъ,—часто нисколько не народны, хотя и подкрѣпляются ссылками на исторію, пѣсни и преданія,—и слѣдовательно, по всѣмъ этимъ причинамъ—онѣ непонятны простому народу и не имѣютъ въ себѣ ничего съ нимъ симпатизирующаго. Для такой цѣли [3]) было бы лучше, отбросивъ всякое притязаніе на титло поэта, разсказывать народу простымъ, понятнымъ ему языкомъ о разныхъ полезныхъ предметахъ, гражданскаго и семейнаго быта, какъ это прекрасно началъ (и жаль, что не продолжалъ) г. Основьяненко въ брошюрѣ своей «Лысты до любезныхъ землякивъ»...

«Что касается до самой поэмы г-на Шевченка—«Гайдамаки», здѣсь есть все, что подобаетъ каждой малороссійской поэмѣ: здѣсь ляхи, жиды, казаки; здѣсь хорошо ругаются, бьютъ, жгутъ, рѣжутъ, ну, разумѣется, въ антрактахъ кобзарь (ибо безъ кобзаря какая ужъ малороссійская поэма!) поетъ свои вдохновенныя пѣсни, безъ особеннаго смысла, а дивчина плачетъ, а буря гомонитъ»...

---

[1]) Сочин., V, стр. 309.

[2]) Эта рецензія въ «Отеч. Зап.» 1842, кн. 5, не вошла въ изданіе Сочиненій.

[3]) Т.-е. для пользы народа.

Онъ приводитъ далѣе отрывки, въ которыхъ дѣйствительно «хорошо ругаются, бьютъ», и проч. Но во всякомъ случаѣ рѣчь идетъ о формахъ литературнаго развитія; къ самому народу Бѣлинскій питаетъ большое сочувствіе. «Малороссія—страна поэтическая и оригинальная въ высшей степени. Малороссіяне одарены неподражаемымъ юморомъ; въ жизни ихъ простого народа такъ много человѣческаго, благороднаго. Тутъ имѣютъ мѣсто всѣ чувства, которыми высока натура человѣческая»,—говоритъ онъ въ той же статьѣ, гдѣ говоритъ о ненужности тогдашней малороссійской литературы.

И здѣсь Бѣлинскій опять враждебно встрѣчается съ славянофилами. Эти послѣдніе относились (пока) сочувственно къ малорусской литературѣ, какъ «народной», и безъ сомнѣнія ставили ее параллельно съ другими народными славянскими литературами, которыя въ то время возрождались. Для Бѣлинскаго эта солидарность малорусской литературы съ славянофильскими и панславистическими тенденціями должна была внушать только новое недовѣріе—какъ ненавистное ему противоположеніе національности и общечеловѣческой цивилизаціи, какъ воскрешеніе старины противъ новаго времени...

Въ подобномъ смыслѣ Бѣлинскій «не любилъ поляковъ». Его антипатія къ тому, что̀ Кавелинъ называетъ «провинціализмомъ» (котораго Бѣлинскій не прощалъ и славянофиламъ), усложнялась еще другими мотивами: онъ особенно враждебно смотрѣлъ на польскій шляхетскій гоноръ, подложенный презрѣніемъ къ народу, и на католическій узкій фанатизмъ,—двѣ, также наслѣдованныя отъ прошедшаго, особенности, которыя вообще никогда не были сочувственны лучшимъ людямъ русскаго общества и которыя безъ сомнѣнія составляютъ одно изъ главнѣйшихъ препятствій успѣшному развитію польской жизни. При всемъ томъ, въ его перепискѣ (съ 1841 года) мы находили ясныя свидѣтельства, что «нелюбовь» вовсе не простиралась на ихъ политическія отношенія; на эти отношенія, напротивъ, онъ смотрѣлъ теперь такъ, какъ можно было бы ожидать отъ его новаго образа мыслей. Выше мы указывали, какъ онъ осуждалъ себя за недружелюбный отзывъ о Мицкевичѣ, сказанный въ эпоху статей о «Бород. Годовщинѣ» и «Менцелѣ».

Таковы были источники мнѣній Бѣлинскаго о славянствѣ и о движеніи народностей. Приписываемая ему вообще вражда къ славянскому движенію относилась въ сущности вовсе не къ самому дѣлу, а къ тогдашней постановкѣ его въ нашей литературѣ; Бѣлинскій не имѣлъ ничего противъ славянскаго и народнаго движенія, даже сочувствовалъ ему,—какъ «другъ человѣчества», когда

дѣло шло «не о славянахъ, но о людяхъ» [1]; но онъ съ жаромъ возставалъ противъ тѣхъ толкованій этого движенія, какія дѣлались тогдашнимъ славянофильствомъ, противъ той узкой и несомнѣнно фальшивой и вредной точки зрѣнія, которая противопоставляла это движеніе западному просвѣщенію, отождествляла такимъ образомъ это движеніе съ обскурантизмомъ, строила свои идеалы на возвращеніи (невозможномъ) старыхъ преданій, высокомѣрно пророчила господство новаго славянства и гибель Запада и придавала вообще вопросу какой-то странный реакціонный смыслъ. Противъ этихъ-то извращеній дѣла, съ которыми Бѣлинскій постоянно встрѣчался въ «Москвитянинѣ», онъ и ратовалъ со всей своей страстностью, которая иногда дѣйствительно заставляла его высказываться съ чрезмѣрной рѣзкостью. Но, конечно, не эти рѣзкости, вырывавшіяся въ разгарѣ спора, составляли его настоящую мысль,—и на дѣлѣ, разбирая мнѣнія Бѣлинскаго объ этомъ предметѣ, слѣдуетъ поставить ему въ заслугу, что своимъ противодѣйствіемъ первому славянофильству онъ много способствовалъ новому, болѣе разумному пониманію вопроса, которое явилось потомъ въ самомъ видоизмѣнившемся славянофильствѣ. Болѣе благоразумные изъ нынѣшнихъ славянофиловъ сами не рѣшатся повторить тогдашнихъ мнѣній о славянскомъ вопросѣ, и устраненіе этихъ крайностей и преувеличеній есть въ большой степени дѣло Бѣлинскаго.

---

[1]) См. статью по поводу «Денницы новоболгарскаго образованія» — въ «От. Зап.» 1842, кн. 9; Соч. т. VI, стр. 447—449, гдѣ его отношеніе къ вопросу очень ясно.

ГЛАВА IX.

Послѣдніе годы участія въ «Отеч. Запискахъ».—Новыя враждебныя столкновенія и полемика съ славянофильствомъ.—Разрывъ съ «Отеч. Записками».—Болѣзнь.—Путешествіе на югъ Россіи.—Основаніе «Современника».—Поѣздка за границу.—Переписка съ Гоголемъ.—Возвращеніе.

1844—1847.

Послѣдніе годы, которые работалъ Бѣлинскій въ «Отеч. Запискахъ», были и лучшими годами этого журнала. Шесть лѣтъ трудовъ Бѣлинскаго и его друзей доставили журналу господство въ литературѣ, а также и прекрасное матеріальное положеніе. «Направленіе» журнала выяснилось, и становилось извѣстнымъ руководствомъ; его содержаніе, можно сказать безъ преувеличенія, представляло высшій уровень русской образованности, насколько она могла тогда проявляться въ литературѣ. Журналъ сложился въ одно цѣлое, связанное замѣчательнымъ моральнымъ и умственнымъ единствомъ, какъ главные участники его составляли одинъ кругъ людей, богатыхъ талантами, исполненныхъ лучшими стремленіями. Содержаніе это, хотя въ печати крайне стѣсненное цензурою, затрогивало и серьёзные вопросы отвлеченнаго знанія, и насущные вопросы нашей общественной жизни. Время отвлеченностей, индифферентныхъ въ общественномъ смыслѣ, проходило; наука начала являться въ болѣе широкомъ, жизненномъ значеніи. Правда, въ объясненіяхъ ея не было и не могло быть системы, и были скорѣе только эпизодическія указанія и вызовы къ самостоятельной работѣ; но философская точка зрѣнія вообще уходила далеко впередъ отъ обычной школьной рутины. Статьи о «Дилеттантизмѣ въ наукѣ» сохраняютъ (для нашей литературы) свою цѣну и теперь, какъ защита самобытности науки противъ школьныхъ ограниченій, лицемѣрныхъ или боязливыхъ извращеній, вообще нерѣдкихъ въ наукѣ,

и которыя у насъ особенно оставляли ее въ ребяческомъ состояніи. Эта защита науки нападала на самое больное мѣсто всей русской образованности. Въ «Письмахъ объ изученіи природы», задачи философіи и естествознанія были поставлены такъ, какъ лучшіе умы ставятъ ихъ и въ настоящую минуту.

Бѣлинскій, въ полномъ согласіи съ этой точкой зрѣнія, велъ свою критическую дѣятельность. Русская литература представляется ему теперь уже не только какъ предметъ художественной критики, но и какъ выраженіе общества, какъ предметъ критики общественной. Въ 1843 былъ имъ начатъ извѣстный рядъ статей о Пушкинѣ. Разсмотрѣніе поэзіи Пушкина онъ начинаетъ съ ея антецедентовъ въ прежней литературѣ, такъ что этотъ рядъ статей составлялъ почти полный обзоръ новѣйшей литературы до Гоголя. Бѣлинскій и теперь восхищался художественными достоинствами формы, но за эстетической оцѣнкой является оцѣнка мысли, оцѣнка отношенія поэта къ изображаемой жизни, а наконецъ и оцѣнка самой жизни. Чѣмъ дальше подвигались статьи, тѣмъ все больше его критика изъ эстетической становится общественной, публицистической. Онъ уже не вѣруетъ въ абсолютную поэзію, въ творчество безстрастное, какъ творчество природы; поэтъ не есть для него, какъ нѣкогда, Пиѳія, передающая невѣдомыя ей самой изреченія божества, но—живой человѣкъ, членъ своего общества и его дѣятель; какъ членъ общества — живущій его интересами и обязанный его долгомъ...

Труды Бѣлинскаго за эти годы наполняютъ VIII, IX и X томы его «Сочиненій»; главное мѣсто принадлежитъ здѣсь статьямъ о Пушкинѣ, начатымъ еще ранѣе, въ концѣ 1843 года, и оконченнымъ въ началѣ 1846 [1]). Обзоръ его критическихъ мнѣній и ихъ значенія для тогдашней литературы читатель найдетъ въ прежнихъ трудахъ, къ которымъ мы и обращаемъ его [2]).

Въ свою поѣздку въ Москву лѣтомъ 1843 Бѣлинскій окончательно закрѣпилъ тѣсную связь съ московскими друзьями, Грановскимъ и Герценомъ. Объ отношеніяхъ Бѣлинскаго съ Грановскимъ мы уже не разъ упоминали. Въ московскія времена Грановскій уважалъ въ Бѣлинскомъ его побужденія и порывы, но не раздѣлялъ никакъ его мнѣній, мало вступалъ съ нимъ въ споры, чтобъ

[1]) Въ началѣ 1846 написана была послѣдняя статья этого ряда; но помѣщена была она только въ 10-й книгѣ «Отеч. Записокъ», т.-е. уже въ концѣ года, когда сотрудничество Бѣлинскаго въ этомъ журналѣ давно прекратилось.

[2]) «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы», въ «Современникѣ» 1855, кн. 12, и 1856, кн. 1, 2, 4, 7, 9, 10 11; также статьи Скабичевскаго, въ «Отеч. Зап.» 1871.

избѣжать безплоднаго раздраженія и вѣроятно, предвидя, что Бѣлинскій не останется съ этими мнѣніями. Бѣлинскій также съ перваго времени полюбилъ Грановскаго, который пріѣхалъ въ Москву другомъ Станкевича и съ вѣстями о немъ, и самъ по себѣ привлекъ Бѣлинскаго качествами характера и богатствомъ своихъ знаній. Но первое разногласіе и разница характеровъ и путей развитія все еще не давали возникнуть между ними тѣсному единству и тогда, когда Бѣлинскій дошелъ до своего новаго взгляда. Бѣлинскій теперь особенно искалъ сближенія. Въ письмахъ къ Боткину, имя Грановскаго является каждый разъ при воспоминаніи о московскихъ друзьяхъ. Какъ желалъ Бѣлинскій этого сближенія и какъ огорчала и досадна ему была предполагаемая имъ холодность Грановскаго, можно видѣть изъ его словъ въ письмѣ къ Боткину (не приведенныхъ нами прежде), отъ 1 марта 1841:

«Что Грановскій? — спрашиваетъ онъ, не получая отвѣтовъ на свои постоянные запросы о немъ. — Кстати: увѣдомь меня, что́ онъ—сердится на меня за что, или просто не любитъ? Я о немъ и разспрашиваю, и пишу, и поклоны посылаю; а отъ него себѣ не вижу ни отвѣта, ни привѣта. Скажи всю правду—я въ обморокъ не упаду..., хотя—говорю искренно—люблю и уважаю этого человѣка, и дорожу его о себѣ мнѣніемъ»...

Здѣсь проглядываетъ уже досада, что Грановскій о немъ забываетъ. Но досада прошла. Грановскій пишетъ ему дружескія письма, и Бѣлинскій опять его вспоминаетъ. Въ письмѣ къ Боткину, отъ 6 февраля 1843, онъ опять говоритъ о Грановскомъ: «онъ человѣкъ хорошій,... но одно въ немъ худо—модерація».

Несмотря на все различіе характеровъ, между ними была однако глубокая нравственная солидарность, основаніе которой лежало въ одинаковомъ ихъ положеніи среди тогдашняго общества: ихъ тяготила одна и та же «дѣйствительность», и одушевляло одно глубокое стремленіе работать для лучшаго будущаго. Къ тому, что́ сказано, прибавимъ еще слова изъ воспоминаній Кавелина.

«Между Бѣлинскимъ и Грановскимъ была великая дружба; но я думаю, что непосредственной симпатіи между ними не было, да и не могло быть. Это были двѣ натуры совершенно противоположныя. Грановскій былъ натура, въ высшей степени художественная, гармоническая, нѣжная, сосредоточенная. Мысль всегда представлялась ему въ художественномъ образѣ, и въ немъ онъ передавалъ свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которой онъ прятался, а свойство его природы. Всякая рѣзкость была ему непріятна, всякая односторонность его шокировала. Многіе считали его за это дипломатомъ, чуть-чуть не двоедушнымъ и хитрымъ, а вмѣстѣ съ

тѣмъ, слабымъ, безхарактернымъ. Но такія сужденія не шли въ глубь этой натуры, удивительно изящной и рѣзко отличавшей его отъ диковатой русской и въ особенности московской среды. Представьте же себѣ рядомъ съ Грановскимъ—Бѣлинскаго, страстнаго, нервнаго, вѣчно переходившаго изъ одной крайности въ другую, необузданнаго и гораздо менѣе образованнаго. Онъ не могъ не смущать иногда Грановскаго своими выходками, точно такъ же какъ и самъ вѣроятно бѣсился и выходилъ изъ себя отъ сосредоточенной умѣренности и идеальности Грановскаго. Грановскій къ тому же былъ плохой философъ, плохой діалектикъ, и часто былъ побиваемъ въ отвлеченныхъ спорахъ, даже когда былъ правъ. О Бѣлинскомъ Грановскій говорилъ всегда съ большимъ уваженіемъ, съ большою любовью, но прибавлялъ, что онъ страшно увлекается и впадаетъ въ крайности. Еслибы эти натуры не сплочали въ тѣснѣйшій союзъ внѣшнія обстоятельства, благородство общихъ стремленій, личная безукоризненность, а также гнетъ мысли, науки, литературы,—Бѣлинскій и Грановскій навѣрно бы разошлись, какъ Грановскій впослѣдствіи разошелся съ Герценомъ».

Гораздо ближе и проще была дружба Бѣлинскаго съ Герценомъ.

Послѣ перваго враждебнаго столкновенія въ 1839—40, между ними установилась тѣсная связь взаимнаго пониманія и сходства самыхъ натуръ. Эти отношенія уцѣлѣли между ними до конца. «Герценъ высоко цѣнилъ умъ Бѣлинскаго,—замѣчаетъ Кавелинъ въ тѣхъ же воспоминаніяхъ,—говоря, что у него совершенно русская, свѣтлая голова, удивительно послѣдовательная, бьющая до конца. Въ примѣръ онъ приводилъ, что Бѣлинскій, не зная по-нѣмецки и только изъ отрывочныхъ разговоровъ друзей познакомившись съ системой Гегеля, тотчасъ же сообразилъ въ чемъ дѣло и суть его, и самъ, безъ чьей-либо помощи, вывелъ всѣ послѣдствія изъ Гегелевской философіи, которыя выведены изъ нея позднѣе либеральной и радикальной фракціей Гегелевскихъ послѣдователей». До сихъ поръ они встрѣчались не часто, но, несмотря на то, они понимали другъ друга больше, чѣмъ кто-нибудь изъ всего дружескаго кружка. Герценъ былъ вообще мягче, терпимѣе; его образованіе было несравненно серьёзнѣе и разностороннѣе, взляды шире,—онъ видѣлъ крайности Бѣлинскаго, сердился на нихъ, но въ концѣ-концовъ горячо къ нему привязался.

Но былъ между Бѣлинскимъ и московскими друзьями пунктъ, гдѣ онъ никакъ съ ними не примирялся. Это было, какъ мы и раньше видѣли, сближеніе московскихъ его друзей съ славянофилами. Къ концу 1843 представился случай, гдѣ они снова поспорили

объ этомъ пунктѣ. Открылись новыя отношенія «западнаго» кружка съ славянофильствомъ, окончившіяся новой литературной войной.

Въ концѣ ноября 1843, Грановскій открылъ публичный курсъ объ исторіи среднихъ вѣковъ (окончившійся въ апрѣлѣ слѣдующаго года). Лекціи имѣли необычайный успѣхъ. Чаадаевъ назвалъ эти лекціи «событіемъ», и справедливо, потому что это было первымъ подобнаго рода испытаніемъ умственныхъ интересовъ публики: находили, что въ Москвѣ никогда ничего подобнаго не было. Успѣхъ былъ таковъ, что сами славянофилы его признали, — какъ ни мало сочувствовали характеру и содержанію лекцій. Герценъ написалъ о лекціи восторженную статью, которая появилась въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и желалъ, чтобы подобный отзывъ сдѣланъ былъ въ «Отеч. Запискахъ». Къ его большому недоумѣнію и неудовольствію, этого отзыва сдѣлано не было; дальше увидимъ, что Бѣлинскій впослѣдствіи объяснялъ это неполной свободой журнала говорить о подобныхъ предметахъ—онъ затруднялся хвалить, зная, что не имѣетъ свободы порицать; другой причиной, помѣшавшей журналу раздѣлить восторги Герцена, было вѣроятно опасеніе къ «дарамъ данайцевъ» или къ тогдашнимъ сочувствіямъ славянофиловъ [1]). Такъ

---

[1]) Чтобы представить и съ «другой стороны» тогдашнія отношенія кружковъ, приводимъ отрывки изъ неизданной переписки Хомякова, сообщеніемъ которой мы обязанны М. А. Веневитинову. Въ этомъ отрывкѣ есть любопытныя черты тогдашняго настроенія славянофиловъ и ихъ, тогда мирнаго, отношенія къ противникамъ.

Въ письмѣ къ одному изъ петербургскихъ друзей (отъ начала 1844 года), Хомяковъ говоритъ, какъ въ ихъ кругу «отвлеченности всякаго рода», космополитизмъ, національность, «замѣняютъ мѣсто положительныхъ интересовъ», замѣчаетъ, что конечно въ этомъ толку немного, но думаетъ, что можно чего-нибудь ожидать отъ столкновенія мнѣній и дѣятельности,—хотя по правдѣ и дѣятельности все-таки нѣтъ.

«Даже «Москвитянинъ», послѣдній, и по правдѣ довольно жалкій признакъ жизни умственной, клонится къ упадку. Говорятъ, что нынѣшній годъ будетъ предѣломъ его существованія. Пожалѣй объ насъ. Не останется даже журнала. Никто въ немъ не пишетъ и не хлопочетъ объ его поддержкѣ, а когда онъ скончается, вѣрно всѣ будутъ также разстроены, какъ Иванъ Никифоровичъ, если бы у него украли ружье, изъ котораго онъ отъ роду не стрѣливалъ. Вѣдь покуда было ружье, можно бы было стрѣлять, если захотѣлось. Лучшимъ проявленіемъ жизни московской были лекціи Грановскаго. Такихъ лекцій, конечно, у насъ не было со временъ самого Калиты, основателя первопрестольнаго града, и безспорно мало во всей Европѣ. Впрочемъ, я его хвалю съ тѣмъ бо̀льшимъ безпристрастіемъ, что онъ принадлежитъ къ мнѣнію, которое во многомъ, если не во всемъ, противоположно моему. Мурмолка (вѣроятно, ты знаешь, что это такое) не мѣшала намъ, мурмолконосцамъ, хлопать съ величайшимъ усердіемъ краснорѣчію и простотѣ рѣчи Грановскаго. Даже П. В. Кирѣевскій, прославившійся, какъ онъ говоритъ, неизданіемъ русскихъ пѣсенъ и прозвищемъ великаго печальника земли Рус-

или иначе, но произошло разногласіе, которое непріятно подѣйствовало на московскихъ друзей.

Должно сказать, что полемика съ славянофильствомъ не прекращалась, и еще въ 11-й книгѣ «Отеч. Записокъ» помѣщены были двѣ небольшія остроумныя статейки, посвященныя «Москвитянину» и имѣвшія въ Москвѣ большой успѣхъ [1]). Друзья извѣщали изъ Москвы, что редакція «Москвитянина» собиралась и выдумывала остроты на «Отеч. Записки»:—«вы ихъ увидите въ 12 № «Москвитянина»; они работали цѣлый вечеръ—должно быть, если не аттическая соль, то четверговая».

Между тѣмъ продолженіе лекцій Грановскаго, имѣвшее въ публикѣ прежній успѣхъ, начало производить въ противномъ лагерѣ совсѣмъ иное дѣйствіе, которое наконецъ могло стать неблагополучнымъ. «Славяне», какъ называли тогда «Москвитянинъ» и славянофиловъ, быть можетъ раздраженные и новыми нападеніями изъ западнаго лагеря, подняли говоръ о лекціяхъ Грановскаго,—негодовали, что (читая о среднихъ вѣкахъ въ Европѣ) онъ не говоритъ о Руси, о православіи, слѣдуетъ западной наукѣ, мало говоритъ о христіанствѣ. Возраженія и обвиненія были нелѣпы, но имѣли свое

ской, даже и онъ хлопалъ не менѣе другихъ. Ты видишь, что крайности мысли не мѣшаютъ какому-то добродушному русскому единству. Все это безстрастно. Не то, что у васъ въ Питерѣ, гдѣ мысль, если когда проявится, гнѣвлива какъ практическій интересъ. Къ вамъ нельзя писать, чтобы не включить прошенія или порученія. Я думаю, это тебѣ кажется иногда страннымъ, но это очевидное слѣдствіе сосредоточія всей положительной жизни. Какую напр., дать коммиссію въ Москву? Развѣ отслужить гдѣ-нибудь молебенъ? Другого и не придумаешь»...

Въ другомъ письмѣ того же времени (по возвращеніи изъ за границы Дмитрія Валуева) Хомяковъ говоритъ: — «Наше московское житье-бытье идетъ по старому, въ сладкой и ненарушимой праздности, въ отвлеченностяхъ, въ бесѣдахъ довольно живыхъ, вертящихся все около однихъ какихъ-нибудь предметовъ, которые идутъ на мѣсяцы и годы... Записка ежедневныхъ (бесѣдъ) можетъ быть легко заключена въ слѣдующей формѣ: «тѣ же, о томъ же». Ежедневное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же бесѣдъ очень похоже на оперу въ Италіи. Одна идетъ на цѣлый годъ, а слушателямъ не скучно. Это не похоже на Питеръ. Мы называемъ такія бесѣды движеніемъ мысли; но Языковъ увѣряетъ, что это не движеніе, а просто моціонъ. Одно только явленіе истинно оживило нынѣшнюю московскую зиму—лекціи Грановскаго объ исторіи среднихъ вѣковъ. Профессоръ и чтеніе достойны лучшаго европейскаго университета и, къ крайнему моему удивленію, публика оказалась достойною профессора. Я не ожидалъ ни такого успѣха, ни такого глубокаго сочувствія къ наукѣ о развитіи человѣческихъ судебъ и человѣческаго ума. Ты видишь, что я не пристрастенъ къ Москвѣ»...

[1]) «От. Зап.» 1843, кн. 11, смѣсь: «Москвитянинъ о Коперникѣ», стр. 56—58; «Путевыя записки г. Ведрина» (пародія записокъ Погодина), стр. 58—60.

дѣйствіе. Второй отчетъ Герцена о лекціяхъ уже не былъ разрѣшенъ; университетское начальство стало думать о мѣрахъ противъ распространенія нѣмецкой философіи; митрополитъ московскій поручалъ обличеніе Гегеля извѣстному профессору московской академіи Голубинскому...

Встрѣчи съ славянофилами однако продолжались. Московскіе друзья извѣщали Бѣлинскаго о томъ, что дѣлается въ Москвѣ, и предвидя, что ему не понравятся эти сношенія съ враждебнымъ лагеремъ, указывали ему его собственную односторонность, объясняли, что нельзя же смѣшивать этого кружка съ самими издателями «Москвитянина» и т. д. Московскіе друзья полагали даже, что если бы «Москвитянинъ» перешелъ въ руки этого кружка, то можно было бы даже имъ въ немъ писать, не обращаясь къ редакціи «Отеч. Зап.», которою лично они были недовольны. Въ концѣ 1843 Герценъ познакомился съ Ю. Ѳ. Самаринымъ, и съ обычной искренностью отдался пріятному впечатлѣнію, и рекомендовалъ петербургскимъ друзьямъ сблизиться съ нимъ, когда онъ отправлялся въ Петербургъ. Лекціи Грановскаго по прежнему производили въ публикѣ чрезвычайное впечатлѣніе, такъ что даже злѣйшіе враги изъ «славянъ» должны были сдерживаться и смолкли. Въ апрѣлѣ 1844 Грановскій окончилъ свой курсъ, и обѣ партіи соединились, чтобы отпраздновать заключеніе курса банкетомъ въ честь Грановскаго; банкетъ былъ очень шумный, и между двумя лагерями заключенъ былъ миръ—впрочемъ недолгій.

Бѣлинскій получалъ всѣ эти московскія новости, и, конечно, раздражался. Онъ помѣнялся съ Герценомъ нѣсколькими письмами (ихъ, къ сожалѣнію, нѣтъ въ нашемъ матеріалѣ), въ которыхъ повидимому, не скрывалъ своего раздраженія, на мирныя извѣстія отвѣчалъ невѣріемъ, опасался даже, что самъ Герценъ впадаетъ, если уже не впалъ, въ славянофильство. Въ маѣ онъ написалъ въ Москву цѣлое длинное посланіе. «Я жидъ по натурѣ,—говорилось тамъ между прочимъ,—и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ «Москвитянинѣ»? [1]) Нѣтъ, и не буду читать;скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія». Московскіе друзья отвѣчали оправданіями, но въ душѣ соглашались, что Бѣлинскій не совсѣмъ неправъ. Въ августѣ 1844 было написано Бѣлинскимъ еще одно желчное письмо на ту же тему [2]).

---

[1]) Мы упоминали объ этомъ выше.

[2]) Около іюня 1844 вышла въ Москвѣ диссертація Самарина («Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ какъ проповѣдники» М. 1844), книга

Предположенія Бѣлинскаго о непрочности мира съ славянофилами оправдались уже вскорѣ. Къ осени 1844 отношенія московскихъ его друзей къ славянофильскому кружку, который они такъ защищали отъ Бѣлинскаго, стали портиться; друзья приходили къ заключенію, что не можетъ быть мира съ людьми, которые такъ расходятся съ ними въ понятіяхъ; открылась наконецъ явная война. Грановскій, въ то время наиболѣе видное лицо «западной» партіи въ Москвѣ,—сдѣлался предметомъ самыхъ непріязненныхъ нападеній съ «славянской» стороны въ университетѣ, въ печати и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ходившихъ по рукамъ. Въ ноябрѣ 1844, въ университетѣ хотѣли не принять представленной имъ магистерской диссертаціи («Волинъ, Іомсбургъ и Винета», напечат. потомъ въ Валуевскомъ сборникѣ, 1845), и съ позоромъ возвратить ему какъ неудовлетворительную [1]); это не удалось врагамъ Грановскаго, но раздражить его они, конечно, успѣли. Грановскій теперь самъ отказался отъ участія въ «Москвитянинѣ». Славянофильскій кружокъ обнаруживалъ тотъ мрачный фанатизмъ, который друзья имѣли и прежде случаи видѣть. Хомяковъ (нѣсколько позднѣе) напалъ на Грановскаго въ печати. Языковъ, извѣстный поэтъ, «славянофилъ по родству», истощивши свою музу на мниморазгульной поэзіи, напалъ на «западную» партію въ стихотвореніяхъ, которыя можно было бы назвать памфлетами, еслибъ современники не считали ихъ за «юридическія бумаги», какъ тогда говорилось. Онъ началъ (это было въ декабрѣ 1844), кажется, стихотвореніемъ *Къ не-нашимъ* [2]), направленнымъ противъ Грановскаго, Герцена и Чаадаева, которыхъ онъ обвинялъ не меньше, какъ въ измѣнѣ отечеству; затѣмъ послѣдовали еще два такихъ же: изъ нихъ одно было посвящено спеціально обличенію Чаадаева [3]), другое было посланіе къ К. Аксакову, гдѣ за изъявленіями дружбы и славянофильскаго союза слѣдовали упреки Аксакову за то, что онъ подаетъ руку людямъ, которые «нашу Русь ненавидятъ всей душой и передались лукавой нѣмет-

---

очень талантливая, которая произвела тогда большое впечатлѣніе. Изъ Москвы прислана была въ «Отеч. Записки» (№ 7) рецензія, гдѣ отдавалась полная справедливость достоинствамъ этой книги—безъ всякой примѣси вражды партій. Но Бѣлинскій, несмотря ни на что, оставался при своемъ.

[1]) Поводъ былъ, кажется, тотъ, что мнѣніе Грановскаго, что знаменитая Винета—миѳъ, сочтено было оскорбительнымъ для славянства.

[2]) Оно напечатано въ біографіи Чаадаева, написанной Жихаревымъ, «В. Евр.» 1871, сент., стр. 43—44.

[3]) Тамъ же, у Жихарева, стр. 46—47; и въ «Р. Архивѣ», 1875, № 5, стр. 111, съ нѣкоторыми варіантами.

чинѣ», и наконецъ поощреніе на борьбу съ этими врагами отечества [1]).

Въ этихъ стихотвореніяхъ было столько тупой злобы, что даже въ славянофильскомъ кругу не всѣ приняли ихъ съ сочувствіемъ. Аксаковъ, отличавшійся отъ многихъ неизмѣнной прямотой и искренностью, не отвѣчалъ на приглашенія Языкова и съ своей стороны написалъ стихотвореніе «Къ союзникамъ»; К. К. Павлова обратилась къ Языкову въ стихотвореніи, гдѣ укоряла его за то, что «гласъ пѣвца—вливаетъ ненависть въ сердца» [2]). Мы упоминали, какъ смотрѣли другіе на эти произведенія Языкова; объясненія Грановскаго съ однимъ изъ членовъ славянофильскаго кружка, П. Кирѣевскимъ, едва не привели къ дуэли. Герценъ послалъ въ «Отеч. Записки» статью противъ «Москвитянина», который тогда (съ января 1845) перешелъ въ завѣдываніе Ивана Кирѣевскаго и его друзей—впрочемъ не надолго. Какъ ни былъ Герценъ еще недавно расположенъ къ миру съ этимъ кружкомъ, послѣднія дѣянія «славянъ» раздражили наконецъ и его. Въ его статьѣ о 1-й книгѣ «Москвитянина» не забыто неблаговидное нападеніе Языкова на «западный» кружокъ [3]).

Между тѣмъ раздоръ продолжался. 21 февраля 1845 Гранов-

---

[1]) Тамъ же, у Жихарева, стр. 44—45. К. Аксáковъ въ то время еще не разошелся съ Герценомъ и Грановскимъ.

[2]) Оба стихотворенія тамъ же у Жихарева. Мы не согласимся съ почтеннымъ біографомъ Чаадаева, что стихотвореніе Языкова противъ Чаадаева есть «чуть ли не лучшее стихотвореніе этого поэта». Какова бы ни была форма, содержаніе столь фальшиво и обскурантно, что о «поэзіи» странно говорить.

[3]) Въ статьѣ говорится по поводу напечатаннаго въ «Москвитянинѣ» новаго стихотворенія Языкова: «Разсказъ г. Языкова о капитанѣ Сурминѣ—трогателенъ и наставителенъ; кажется, успокоившаяся отъ суетъ муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубенное перо свое поэзіи исправительной и обличительной Это истинная цѣль искусства; пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати; это громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указуетъ негодующимъ перстомъ *лица*—при полномъ изданіи можно приложить адресы!.. Исправлять нравы! Что можетъ быть выше этой цѣли? развѣ не имѣлъ ее въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ «Выжигиныхъ» и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?»—«От. Зап.» 1845, кн. 3: «Москвитянинъ и Вселенная», Ярополка Водянскаго (смѣсь, стр. 48—51).

Еще раньше, въ началѣ 1844, Герценъ написалъ «Два литературныхъ брака» (Гречъ и Булгаринъ, Погодинъ и Шевыревъ), но бросилъ ихъ. Потомъ, вѣроятно тоже самое написалъ онъ вновь, подъ заглавіемъ «Умъ хорошо, а два лучше»—и посвятилъ эту блестящую остроуміемъ статейку Бѣлинскому. Напечатана она была только впослѣдствіи,—между прочимъ въ «Р. Старинѣ» 1871, т. IV, стр. 528—532 (съ опечатками).

скій защищалъ свою диссертацію: факультетъ, въ которомъ были непримиримые враги его изъ «славянъ», наконецъ долженъ былъ принять ее.. Диспутъ снова раздражилъ партіи: Грановскому сдѣлана была овація, его противникамъ шикали [1]). Въ новомъ «Москвитянинѣ» дѣло не ладилось между самими «славянами». Бѣлинскій смѣялся или сердился на воображаемыя примиренія, на торжественные обѣды и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ друзьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Московскіе друзья разошлись наконецъ и съ тѣми людьми «славянскаго» кружка, которые внушали имъ наиболѣе сочувствія по характеру и таланту. Герценъ разстался съ К. Аксаковымъ и Самаринымъ. Имъ пришлось нѣсколько разочароваться и въ публикѣ, которая повидимому съ такимъ сознательнымъ сочувстіемъ принимала Грановскаго на его лекціяхъ. Успѣхъ Грановскаго кололъ глаза его противникамъ, и въ началѣ 1845 года объявленъ былъ публичный курсъ Шевырева о древней русской словесности. Оказалось, что лекціи Шевырева—изложенныя въ извѣстномъ духѣ и напечатанныя потомъ въ его книгѣ—имѣли въ своемъ кругѣ успѣхъ и опять сопровождались оваціями...

Но московскіе друзья, въ особенности Герценъ, съ своей стороны дѣйствовали на мнѣнія Бѣлинскаго. Герценъ объяснилъ ему лучшія стороны мнѣній своихъ славянофильскихъ друзей, упрекалъ Бѣлинскаго въ исключительности, и между прочимъ настаивалъ на бо̀льшемъ вниманіи къ «народу», указывая Бѣлинскому на неловкости его приговоровъ о «невѣжественной толпѣ», о «народности лаптей и зипуна». Впослѣдствіи, въ «Московскихъ Сборникахъ» славянофилы не упустили напасть на подобныя выраженія и хотѣли приписать вообще всей «западной» партіи пренебреженіе къ народу;—но, во-первыхъ, это въ самомъ дѣлѣ были только излишнія, неосторожныя выраженія; во-вторыхъ, эта ошибка (какъ мы нашли тому доказательства въ тогдашней перепискѣ) гораздо раньше была замѣчена въ само̀й западной партіи... Подобныя выраженія имѣли чисто полемическій источникъ и направлялись собственно противъ мнимо-патріотическаго нелѣпаго хвастовства «Маяка», «Москвитянина», «С. Пчелы» и т. п.,—въ родѣ того, что намъ не чему учиться и заимствоваться отъ Европы, что Западъ сгибнетъ въ одно прекрасное утро, что европейская цивилизація ничто передъ нашей «народностью», что русскій «мужичокъ» лучше всякаго нѣмца сдѣлаетъ то-то и то-то, и т. д. Когда славянофилы, т.-е. собственно К. Аксаковъ, надѣлъ тотъ русскій костюмъ, въ кото-

---

[1]) См. въ біографіи Грановскаго, Станкевича. Другія подробности взяты нами изъ современной переписки.

ромъ настоящіе мужики, говорятъ, принимали его за персіянина [1]). Бѣлинскій въ этой символикѣ увидѣлъ новое упрямое подтвержденіе этого хвастовства и съ раздраженіемъ напалъ на «терлики» и «мурмолки»... Ему ненавистны были эти легкомысленныя нападки на западную образованность, которой мы сами имѣли только крохи, на западную общественность, которой не умѣли даже понимать, и ненавистна была эта похвальба, которая грозила отупленіемъ и послѣднихъ умственныхъ инстинктовъ. Прибавимъ, для объясненія послѣдующихъ отношеній между двумя партіями, что у славянофиловъ начало теперь складываться мнѣніе, что «западная» партія вообще враждебна «народу»—почему московскіе друзья Бѣлинскаго и сочли нужнымъ его предостеречь. Дѣло въ слѣдующемъ. Старые «славяне», т.-е. издатели «Москвитянина», считали дѣятельность «западнаго» круга такъ сказать огуломъ вредной, идущей противъ всѣхъ основныхъ началъ русской народности. Новые славянофилы, хотя во многомъ буквально сходились съ «Москвитяниномъ», ставили вопросъ нѣсколько тоньше. Въ то время, какъ издатели «Москвитянина» являлись партизанами оффиціальной народности, новые славянофилы подраздѣлили русскую исторію на два различныхъ явленія—древнюю, настоящую (на дѣлѣ собственно московскую) Русь и такъ-названный ими «петербургскій періодъ». Первая имѣла всѣ ихъ пламенныя сочувствія, второй—всю ненависть. Представителями первой они считали себя; своихъ «западныхъ» противниковъ они стали отождествлять съ «петербургскимъ періодомъ», и прошлымъ и новѣйшимъ. Ссылаясь на то, что ихъ партія (новое славянофильство) возбуждало противъ себя нѣкоторое неудовольствіе въ высшихъ сферахъ, они приписывали себѣ извѣстную оппозиціонную роль, а своихъ противниковъ (одни—наивно, другіе не безъ лукавства) выдавали за союзниковъ status quo, враговъ (своей) свободной мысли и народныхъ началъ.

Можно себѣ представить, сколько было смысла въ этомъ послѣднемъ. Настоящее положеніе партій было, очевидно, уже изъ союза новыхъ славянофиловъ съ «Москвитяниномъ», цвѣтъ котораго былъ совершенно ясенъ, и изъ той роли, какую заняли «славяне» въ описанномъ столкновеніи съ «западной» партіей во время лекцій Грановскаго. Поэтъ «славянъ», Языковъ, еще разъ самымъ несомнительнымъ образомъ указывалъ точку зрѣнія и вожделѣнія своей партіи.

---

[1]) Одинъ изъ московскихъ друзей писалъ въ Петербургъ объ этой костюмировкѣ (окт. 1844): «Аксаковъ въ бородѣ, рубашка сверхъ панталонъ, и въ мурмолкѣ и терликѣ ходитъ по улицамъ. Хомяковъ восхищается этимъ и *ходитъ во фракѣ*».

Несмотря на то однако, «славяне» употребляли противъ западной партіи указанный аргументъ о мнимомъ тождествѣ ея съ «петербургскимъ періодомъ», какъ полемическую уловку, и могли подкрѣплять ее цитатами изъ статей Бѣлинскаго, гдѣ бывали и теперь остатки старой гегеліянской точки зрѣнія и неосторожныя выраженія, въ родѣ вышеприведенныхъ [1]). Доходило до того, что Бѣлинскаго считали возможнымъ обвинять въ сервильности [2]). Московскіе друзья, предостерегая Бѣлинскаго, хотѣли отнять у своихъ противниковъ возможность этой полемической уловки.

Бѣлинскій безъ сомнѣнія не спорилъ, когда московскіе друзья замѣтили ему, что не слѣдуетъ нападать на лапти или зипунъ, которые мужикъ носитъ не по любви къ нимъ, а по невозможности имѣть сапоги или хорошую шубу. Рѣчь шла лишь о томъ, чтобъ измѣнить способъ выраженія, дававшій поводъ къ перетолкованіямъ. Помимо этого, Бѣлинскій, по всему вѣроятію, заимствовалъ у Герцена долю тѣхъ воззрѣній на «народный» вопросъ, какія отчасти сближали самого Герцена съ славянофильскимъ взглядомъ.

Факты, здѣсь указанные, отчасти взяты нами изъ переписки друзей Бѣлинскаго. Его собственная переписка, какъ было замѣчено, на это время очень скудна. Приводимъ изъ нея немногія цитаты.

Бѣлинскій былъ крайне утомленъ отъ журнальной работы; нездоровье, которое уже давно его одолѣвало, теперь почти не покидаетъ его и періодически усиливается все въ болѣе тяжкихъ формахъ [3]).

Въ письмѣ отъ 26 января 1845 г., къ Герцену мы имѣемъ между прочимъ указанія на московскія отношенія кружка. Въ на-

---

[1]) Такія неловкости московскіе друзья видѣли, напр., и въ статьѣ Бѣлинскаго о «Парижскихъ тайнахъ» («Отеч. Зап.» 1844, кн. 4, критика; Сочин. IX, стр. 3—29).

[2]) См. напр. послѣднюю статью, Сочин. IX, стр. 11.

[3]) Въ декабрѣ 1844 онъ пишетъ небольшое письмо къ своимъ деревенскимъ друзьямъ и начинаетъ съ извиненія за свою невѣжливость—что отвѣчаетъ уже только на третье письмо, отъ нихъ полученное.

«Что дѣлать? Русскій человѣкъ—и мнѣ приличнѣе обращаться съ лошадьми, нежели съ дамами. То боленъ (а я дѣйствительно съ самаго лѣта такъ боленъ, какъ еще никогда не бывалъ), то дѣла по горло, то не въ духѣ, а главное—проклятая журнальная работа—этотъ источникъ моего нездоровья и физическаго, и нравственнаго,—то наконецъ и самъ не знаю почему, но только не могъ приняться за перо. Съ нѣкотораго времени я со всѣми таковъ въ отношеніи къ письмамъ. Но вы такъ добры и, вѣрно, простили меня, не дожидаясь извиненій»...

чалѣ письма разсказывается, какъ было-обрадовался Бѣлинскій, когда однажды кухарка, она же и камердинеръ, «доложила» ему, что его спрашиваетъ господинъ съ именемъ, похожимъ на имя Герцена. На минуту Бѣлинскій изумился. «У меня вздрогнуло сердце: какъ Герценъ? быть не можетъ—субъектъ запрещенный...,—притомъ же онъ оборвалъ бы звонокъ, залился бы хохотомъ и, снимая шубу, отпустилъ бы кухаркѣ съ полсотню остротъ,—нѣтъ, это не онъ»! Это дѣйствительно не былъ онъ. Бѣлинскій упоминаетъ при этомъ о своей перепискѣ съ Герценомъ, письма котораго всегда доставляли ему большое удовольствіе: «въ нихъ всегда такъ много какого-то добродушнаго юмору, который хоть на минуту выведетъ изъ апатіи и возбудитъ добродушный смѣхъ»... Новый знакомецъ, явившійся къ Бѣлинскому, былъ пріѣзжій изъ Москвы, и привезъ Бѣлинскому письма отъ московскихъ друзей и московскія новости.

«Вѣсти... о лекціяхъ Шевырки, о фурорѣ, который онѣ произвели въ *зернистой* московской публикѣ, о рукоплесканіяхъ, которыми прерывается каждое слово сего московскаго скверноуста—все это меня не удивило нисколько: я увидѣлъ въ этомъ повтореніе исторіи съ лекціями Грановскаго. Наша публика—мѣщанинъ во дворянствѣ: ее лишь бы только пригласили въ парадно-освѣщенную залу, а ужъ она, изъ благодарности, что ее, холопа, пустили въ барскія хоромы, непремѣнно останется всѣмъ довольною. Для нея хорошъ и Грановскій, да не дуренъ и Шевыревъ; интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ онъ всегда считаетъ того, кто читалъ послѣдній. Иначе и быть не можетъ, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но вѣдь къ ея услугамъ и тысячи журналовъ, которые имѣютъ право не только хвалить, но и ругать; сама она имѣетъ право не только хлопать, но и свистать. Сдѣлай такъ, чтобы во Франціи публичность замѣнилась авторитетомъ полиціи, и публика, въ театрѣ и на публичныхъ чтеніяхъ, имѣла бы право только хлопать, не имѣла бы права шикать и свистать: она скоро сдѣлалась бы такъ же глупа, какъ и русская публика. Если бы Герценъ имѣлъ право, между первою и второю лекціею Ш., тиснуть статейку,—вторая лекція, навѣрное, была бы принята съ меньшимъ восторгомъ. По моему мнѣнію, стыдно хвалить то, чего не имѣешь право ругать: вотъ отъ чего мнѣ не понравились статьи (Г-на) о лекціяхъ Грановскаго [1]). Но довольно объ этомъ. Москва сдѣлала наконецъ рѣшительное пронунціаменто [2]); хорошій городъ! Питеръ тоже не дуренъ. Да и все хорошо. Спасибо тебѣ за стихи Яз. Жаль, что ты не вполнѣ ихъ прислалъ»..:

Въ Петербургѣ Некрасовъ написалъ пародію на злостныя сти-

---

[1]) Въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ».

[2]) Быть можетъ, разумѣются здѣсь лекціи Шевырева, или «Москвитянинъ», получившій тогда новую редакцію.

хотворенія Языкова (упомянутыя выше). Бѣлинскій посылаетъ ее московскимъ друзьямъ, совѣтуетъ распространить ее и послать для напечатанія въ «Москвитянинъ». Онъ продолжаетъ:

«А что ты пишешь Краевскому, будто моя статья не произвела на ханжей впечатлѣнія и что они гордятся ею—вздоръ; если ты этому повѣрилъ, значитъ, ты плохо знаешь сердце человѣческое и совсѣмъ не знаешь сердца литературнаго—ты никогда не былъ печатно обруганъ. Штуки, судырь ты мой, изъ которыхъ я вижу ясно, что ударъ былъ страшенъ. Теперь я этихъ людей [1]) не оставлю въ покоѣ»...

Рѣчь идетъ безъ сомнѣнія о статьѣ Бѣлинскаго «Русская литература въ 1844 году»,—гдѣ между прочимъ былъ мѣткій и суровый разборъ вышедшихъ тогда стихотвореній Языкова и Хомякова [2]). И тѣ и другія Бѣлинскому очень мало нравились: звонкая поверхность, вычурность, натянутость одного автора, славянофильскій притязательный мистицизмъ другого только подтверждали антипатіи Бѣлинскаго; разбирая Языкова, Бѣлинскій еще не зналъ новѣйшихъ его произведеній (стихотворныхъ ругательствъ на «западный» кружокъ)—но этотъ разборъ вышелъ точно отвѣтомъ на это недостойное злоупотребленіе Языковымъ своей «лиры».

Далѣе, въ томъ же письмѣ упоминается о другомъ предметѣ тогдашнихъ интересовъ Бѣлинскаго:

«Кетчеръ писалъ тебѣ о парижск. Ярбюхерѣ, и что будто я отъ него воскресъ и переродился. Вздоръ! Я не такой человѣкъ, котораго тетрадка можетъ удовлетворить. Два дня я отъ нея былъ бодръ и веселъ,—и все тутъ. Истину я взялъ себѣ... (рѣзкія выраженія противъ «тьмы, мрака, цѣпей» и пр.)... Все это такъ, но вѣдь я, по прежнему, не могу печатно сказать все, что́ я думаю и какъ я думаю. А чортъ-ли въ истинѣ, если ея нельзя популяризировать и обнародовать?—мертвый капиталъ!..»

Парижское изданіе, о которомъ здѣсь упоминается, былъ новый журналъ Арнольда Руге. Когда «Deutsche Jahrbücher» были запрещены саксонскимъ правительствомъ, Руге рѣшился продолжать свое дѣло во Франціи; въ новыхъ «Jahrbücher» должны были соединиться лѣвая сторона гегеліянства съ французскимъ соціализмомъ. Кружокъ Бѣлинскаго еще раньше былъ знакомъ (больше или меньше) съ тѣмъ и другимъ, сочувствовалъ обоимъ, и понятно, что ихъ соединеніе могло произвести на Бѣлинскаго впечатлѣніе, указанное въ послѣдней цитатѣ. Въ воспоминаніяхъ Тургенева раз-

[1]) Замѣняемъ рѣзкое выраженіе.
[2]) «Отеч. Зап.» 1845, кн. 1. Сочин., т. XI, стр. 253—288.

сказывается, какъ, напримѣръ, Бѣлинскій и его друзья увлекались тогда (впрочемъ, не особенно долго) Пьеромъ Леру, о которомъ таинственно переписывались, давая ему наименованіе «Петра Рыжаго», и т. п. [1]).

Между тѣмъ, здоровье все больше измѣняло Бѣлинскому. Осенью 1845 года онъ выдержалъ сильную болѣзнь, которая грозила опасностью самой жизни. Журнальная работа становилась ему невыносима. Наконецъ, стали разстраиваться отношенія съ редакціей «Отечеств. Записокъ». Дѣло кончилось тѣмъ, что въ началѣ 1846 года Бѣлинскій оставилъ совсѣмъ этотъ журналъ.

Мы не будемъ входить въ разборъ этихъ несогласій, тѣмъ больше, что подробности ихъ все еще не вполнѣ извѣстны. Мы укажемъ только на извѣстные отзывы объ этихъ отношеніяхъ въ воспоминаніяхъ современниковъ, друзей Бѣлинскаго (какъ Панаевъ, Тургеневъ, Герценъ), и прибавимъ, что слышали отъ другихъ современниковъ, непричастныхъ этимъ отношеніямъ, отзывы гораздо болѣе умѣренные и нѣсколько измѣняющіе дѣло,—хотя должно сказать, что другая сторона до сихъ поръ не представила достаточнаго разъясненія дѣла [2]). Какъ бы то ни было, Бѣлинскій къ началу 1846 уже рѣшилъ покинуть «Отеч. Записки». Его сильно заняли планы о томъ, какъ могъ бы онъ устроить себѣ иное литературное положеніе, которое лучше бы его обезпечило и дало возможность болѣе спокойной, свободной работы и отдыха.

Въ самомъ началѣ 1846 года, 2 января онъ пишетъ объ этомъ Герцену, подъ величайшей тайной [3]).

«Я теперь рѣшился оставить «Отечественныя записки»,—говоритъ онъ въ этомъ письмѣ.—Это желаніе давно уже было моею idée fixe; но я все надѣялся выполнить его чудеснымъ способомъ, благодаря моей фантазіи, которая у меня услужлива не менѣе фантазіи г. Манилова, и надеждамъ на богатыхъ земли. Теперь я увидѣлъ ясно, что это все вздоръ, и что надо прибѣгнуть къ средствамъ, болѣе обыкновеннымъ, болѣе труднымъ, но за то и болѣе

[1]) «В. Евр.», 1869, апр. 719.

[2]) Объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ «Отеч. Запискамъ», и потомъ къ «Современнику», есть уже цѣлая литература. Кромѣ упомянутыхъ въ текстѣ воспоминаній современниковъ, см. статьи въ «Голосѣ» 1869, по поводу «Воспоминаній» Тургенева; въ «Космосѣ» 1869, прил. № 1, и второе полугодіе, № 1; полемику между «Голосомъ» и «Спб. Вѣдомостями» по поводу письма Бѣлинскаго къ Боткину (отъ 4—5 ноября 1847), напечатаннаго въ «Спб. Вѣд.» 1869, № 187—188.

[3]) Это письмо и нѣкоторыя слѣдующія извѣстны намъ только въ *неполныхъ копіяхъ*.

дѣйствительнымъ. Но прежде о причинахъ, а потомъ уже о средствахъ... Журнальная срочная работа высасываетъ изъ меня жизненныя силы, какъ вампиръ кровь. Обыкновенно, я недѣли двѣ въ мѣсяцъ работаю со страшнымъ лихорадочнымъ напряженіемъ, до того, что пальцы деревенѣютъ и отказываются держать перо; другія двѣ недѣли я, словно съ похмѣлья послѣ двухнедѣльной оргіи, праздношатаюсь и считаю за трудъ прочесть даже романъ. Способности мои тупѣютъ, особенно память, страшно заваленная грязью и соромъ россійской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но трудъ мнѣ не опротивѣлъ. Я больной писалъ большую статью о жизни и сочиненіяхъ Кольцова [1]), и работалъ съ наслажденіемъ; въ другое время, я въ три недѣли чуть не изготовилъ къ печати цѣлой книги, и эта работа была мнѣ сладка, сдѣлала меня веселымъ, довольнымъ и бодрымъ духомъ. Стало быть, мнѣ невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупитъ мою голову, разрушаетъ здоровье, искажаетъ характеръ, и безъ того брюзгливый и мелочно-раздражительный, но трудъ не ex officio былъ бы мнѣ отраденъ и полезенъ. Вотъ первая и главная причина»... .

Къ пасхѣ этого года Бѣлинскій намѣренъ былъ издать «толстый, огромный альманахъ», который долженъ былъ на первое время, по оставленіи журнала, дать ему помѣщеніе для работы и вмѣстѣ нѣкоторыя средства.

Подобные альманахи были тогда въ ходу. Передъ тѣмъ, въ такомъ же родѣ, былъ задуманъ и изданъ въ началѣ 1846 года, Некрасовымъ «Петербургскій Сборникъ», въ которомъ участвовалъ и Бѣлинскій [2]); въ Москвѣ, въ 1846 и въ слѣдующемъ году, явились два «Московскіе Сборника». За трудностью получить разрѣшеніе на изданіе новаго журнала (эта трудность и тогда была велика) альманахъ оставался единственной формой, въ которой возможенъ былъ сборный трудъ. Понятно, что въ сборникахъ московскихъ и петербургскихъ выразилось и дѣленіе литературныхъ партій—такъ это и понималось: московскіе сборники были заявленіемъ новой славянофильской программы; петербургскія изданія представляли бы мнѣнія «западной» партіи.

Было еще обстоятельство, которое ободряло Бѣлинскаго въ его предпріятіи. Эти годы (1845, особенно 1846, потомъ 1847) были особенно изобильны литературными явленіями, въ которыхъ несомнѣнно сказывалось новое движеніе, новый шагъ развитія послѣ Гоголя. Съ 1845, Тургеневъ покидаетъ стихи и поэмы и обращается

[1]) Для отдѣльнаго изданія стихотвореній. Сочин, т. XII. Кромѣ того онъ издалъ въ началѣ 1846 года брошюру о Полевомъ. Сочин., XII, стр. 148—186.

[2]) Статей «Мысли и замѣтки о русской литературѣ». Сочин. XII, стр. 235—276.

къ повѣсти; въ томъ же году явилась первая половина романа «Кто виноватъ?»; въ томъ же году въ кружкѣ Бѣлинскаго появился Достоевскій съ повѣстью «Бѣдные люди» (вошедшей въ «Петербургскій Сборникъ»). Въ 1846 году Бѣлинскій съ восхищеніемъ встрѣтилъ «Обыкновенную Исто.'ю» Гончарова, и въ концѣ того же года явилась первая замѣчатель я повѣсть Григоровича, «Деревня». Бѣлинскій, всегда съ восторго встрѣчавшій новые талаты, теперь не зналъ мѣры своимъ увлече імъ, быть можетъ, потому (какъ замѣчаетъ Тургеневъ въ своих воспоминаніяхъ), что наступавшее ослабленіе организма увеличив..о его нервную воспріимчивость, а вѣроятнѣе потому, что быстрое появленіе, одно за другимъ, явленій дѣйствительно замѣчательныхъ само по себѣ производило сильное впечатлѣніе.

Такой, до крайности доходившій, восторгъ произвела въ немъ прежде всего первая повѣсть Достоевскаго «Бѣдные люди»; Бѣлинскій узналъ о ней отъ издателя «Петербургскаго Сборника», въ который она предназначалась. Бѣлинскому сообщили ее какъ замѣчательное произведеніе.

«Бѣлинскій принялъ ее не совсѣмъ довѣрчиво,—разсказываетъ Панаевъ [1]).—Нѣсколько дней онъ, кажется, не принимался за нее.

«Онъ въ первый разъ взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но съ первой же страницы рукопись заинтересовала его... Онъ увлекался ею болѣе и болѣе, не спалъ всю ночь и прочелъ ее разомъ, не отрываясь.

«Утромъ Некрасовъ засталъ Бѣлинскаго уже въ восторженномъ, лихорадочномъ состояніи.

«Въ такомъ положеніи онъ, обыкновенно, ходилъ по комнатѣ въ безпокойствѣ, въ нетерпѣніи, весь взволнованный. Въ эти минуты ему непремѣнно нуженъ былъ близкій человѣкъ, которому бы онъ могъ передать переполнявшія его впечатлѣнія... Нечего говорить, какъ Бѣлинскій обрадовался Некрасову.

«— Давайте мнѣ Достоевскаго!—были первыя слова его.

«Потомъ онъ, задыхаясь, передалъ ему свои впечатлѣнія; говорилъ, что «Бѣдные люди» обнаруживаютъ громадный, великій талантъ, что авторъ ихъ пойдетъ далѣе Гоголя, и прочее. «Бѣдные люди», конечно, замѣчательное произведеніе и заслуживало вполнѣ того успѣха, которымъ оно пользовалось, но все-таки увлеченіе Бѣлинскаго, относительно его, доходило до крайности.

«Когда къ нему привезли Достоевскаго, онъ встрѣтилъ его съ

---

[1]) Восп. о Бѣл., «Совр., 1860, № 1, стр. 369. Ср. «Воспоминанія» Тургенева, «Вѣстн. Евр.», 1869, апрѣль, стр. 720.

нѣжною, почти отцовскою любовью, и тотчасъ же высказался передъ нимъ *весь*, передавъ ему вполнѣ свой энтузіазмъ»...

Но энтузіазмъ Бѣлинскаго не былъ однако слѣпымъ и неисправимымъ увлеченіемъ. Во-первыхъ, появленіе «Бѣдныхъ людей» въ тогдашнемъ положеніи литературы было дѣйствительно событіемъ; а во-вторыхъ, Бѣлинскій уже вскорѣ сильно измѣнилъ свое мнѣніе о самомъ талантѣ, при появленіи другихъ повѣстей Достоевскаго, слѣдовавшихъ за «Бѣдными людьми»: ихъ болѣзненная натянутая фантастика подѣйствовала на него непріятно и очень умѣрила его представленіе о талантѣ Достоевскаго. Впослѣдствіи Бѣлинскій называтъ эту фантастику «нервической чепухой» [1]...

Около того же времени, или немного позднѣе, произвелъ на Бѣлинскаго столь же сильное, но гораздо болѣе прочное впечатлѣніе первый трудъ Гончарова. Авторъ самъ, въ теченіе нѣсколькихъ вечеровъ, читалъ Бѣлинскому свою «Обыкновенную исторію»... Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ новаго таланта, выступавшаго такъ блистательно,—говоритъ Панаевъ:—«Бѣлинскій, все съ болѣе и болѣе возроставшимъ участіемъ и любопытствомъ, слушалъ чтеніе Гончарова и по временамъ привскакивалъ на своемъ стулѣ, съ сверкающими глазами, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя ему особенно нравились»... [2]). Мнѣнія своего о талантѣ Гончарова онъ не измѣнилъ и впослѣдствіи.

Возвращаемся къ письму 2 января:

«Къ пасхѣ я издаю толстый огромный альманахъ. Достоевскій даетъ повѣсть. Тургеневъ повѣсть и поэму! Некрасовъ юмористическую статью въ стихахъ (*Семейство*, онъ на эти вещи собаку съѣлъ), Панаевъ повѣсть; вотъ уже пять статей есть; шестую напишу самъ; надѣюсь у Майкова выпросить поэму»...

Онъ ждалъ содѣйствія и отъ московскихъ друзей; отъ Грановскаго онъ желалъ исторической статьи: отъ Герцена—вторую часть романа «Кто виноватъ»? и вообще чего-нибудь живого и легкаго о русской жизни, литературѣ и проч. Упомянувъ о Грановскомъ, Бѣлинскій продолжаетъ:

«На всякій случай, скажи юному профессору Кавелину, нельзя-ли отъ него поживиться чѣмъ-нибудь въ этомъ [3]) родѣ. Его лекціи, которыхъ начало онъ прислалъ мнѣ (за что благодаренъ ему донельзя), чудо какъ хороши; основная мысль ихъ о племенномъ и

---

[1]) Даже сильнѣе.

[2]) «Восп.» Панаева, стр. 368. Дальше читатель найдетъ объ этомъ еще другія подробности.

[3]) Т. е. историческомъ.

родовомъ характерѣ русской исторіи въ противоположность личному характеру западной исторіи—геніальная мысль, а онъ развиваетъ ее превосходно. Если бы онъ далъ мнѣ статью, въ которой бы развилъ эту мысль, сдѣлавъ сокращеніе изъ своихъ лекцій, я бы не зналъ, какъ благодарить его»...

Это и было сдѣлано въ очень извѣстной статьѣ «Юридическій бытъ древней Россіи», напечатанной въ 1-й книгѣ возникшаго потомъ «Современника».

Самъ Бѣлинскій думалъ написать о современномъ значеніи поэзіи. Онъ ожидалъ, кромѣ того, получить повѣсть отъ Кудрявцева, жившаго тогда въ Берлинѣ,—что-нибудь въ родѣ путевыхъ замѣтокъ отъ Анненкова, который уѣзжалъ тогда за границу. Бѣлинскій надѣялся, что со всѣмъ этимъ матеріаломъ, повѣстями, стихотвореніями, статьями серьезными и юмористическими, «альманахъ вышелъ бы на славу».

Въ ту минуту онъ дѣлалъ изданіе Кольцова съ книгопродавцемъ Ольхинымъ; къ пасхѣ же надѣялся кончить первую часть своей исторіи русской литературы. Вообще онъ былъ исполненъ надеждами:

«Лишь бы извернуться на первыхъ-то порахъ, а тамъ, я знаю, все пойдетъ лучше, чѣмъ было; я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будетъ легче и пріятнѣе»...

Отвѣтъ московскихъ друзей не замедлилъ и очень обрадовалъ Бѣлинскаго. Ему писали, что Герценъ хочетъ дать ему другую повѣсть (это была «Сорока-воровка», напечатанная потомъ въ «Современникѣ»), и предложили «Письма объ Испаніи» Боткина. Бѣлинскій, въ письмѣ отъ 14 января, опасается только, что остается мало времени. «Пора уже собирать и въ цензуру представлять. Цензоровъ у насъ мало, а работы у нихъ гибель, оттого они страшно задерживаютъ рукописи»... Затѣмъ слѣдуютъ строки, въ которыхъ высказались мрачныя мысли, уже овладѣвавшія имъ теперь:

«Ахъ, братцы, плохо мое здоровье—бѣда! Иногда, знаете, лѣзетъ въ голову всякая дрянь, напр., какъ страшно оставить жену и дочь безъ куска хлѣба и пр. До моей болѣзни прошлою осенью, я былъ богатырь въ сравненіи съ тѣмъ, чтó я теперь. Не могу поворотиться на стулѣ, чтобъ не задохнуться отъ истощенія.

«Полгода, даже четыре мѣсяца за-границею, и можетъ быть, я лѣтъ на пятокъ или болѣе, опять пошелъ бы какъ ни въ чемъ не бывало. Бѣдность не порокъ, а хуже порока. Бѣднякъ подлецъ, который долженъ самъ себя презирать, какъ парія, не имѣющаго права даже на солнечный свѣтъ. Журнальная работа и петербургскій климатъ доканали меня».

Слѣдующее письмо къ Герцену писано отъ 6 февраля. Бѣлинскій «радъ несказанно», что можетъ быть увѣренъ въ полученіи «Сороки-воровки», которая уже кончена.

«А все-таки грустно и больно, что «Кто виноватъ» [1]) ушла у меня изъ рукъ. Такія повѣсти (если 2 и 3 часть не уступаютъ первой) являются рѣдко, и въ моемъ альманахѣ она была бы капитальною статьею, раздѣляя восторгъ публики съ повѣстью Достоевскаго «Сбритые бакенбарды» [2]), а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во снѣ, не только на яву. Словно бѣсъ какой дразнитъ меня этою повѣстью, и, разставшись съ нею, я все не перестаю строить на ея счетъ продолжительные планы...

«Что статья Кавелина будетъ хороша—въ этомъ я увѣренъ, какъ нельзя больше. Ея идея (а отчасти и манера Кавелина развивать эту идею) мнѣ извѣстна, а этого довольно, чтобы смотрѣть на эту статью какъ на что-то весьма необыкновенное»...

Въ концѣ письма Бѣлинскій говоритъ съ величайшимъ сочувствіемъ о талантѣ автора «Кто виноватъ?» Онъ еще не имѣлъ въ рукахъ «Сороки-воровки», но былъ убѣжденъ, что это—«граціозно-остроумная и, по его обыкновенію, дьявольски умная вещь» и т. д. Далѣе онъ высказываетъ желаніе имѣть что-либо отъ Грановскаго. «Статьѣ Соловьева я радъ несказанно и прошу тебя поблагодарить его отъ меня за нее» [3]).

Московскіе друзья не знали, радоваться или нѣтъ, что Бѣлинскій оставилъ журналъ. У нихъ было естественное опасеніе, что Бѣлинскій можетъ остаться безъ средствъ, не имѣя правильнаго помѣщенія для своей работы. Онъ отвѣчаетъ на это въ новомъ письмѣ къ Герцену, отъ 19 февраля, гдѣ опять говоритъ объ альманахѣ:

«...Отвѣчаю утвердительно: радоваться; дѣло идетъ не только о здоровьи, о жизни, но и умѣ моемъ. Вѣдь я тупѣю со дня на день. Памяти нѣтъ, въ головѣ хаосъ отъ русскихъ книгъ, а въ рукѣ всегда готовыя общія мѣста и казенная манера писать обо всемъ. «Въ дорогѣ» Н-ва [4]) превосходно; онъ написалъ и еще нѣ-

[1]) Первая часть этого романа появилась въ «Отеч. Зап.» 1845, кн. 12, стр. 195—245. Продолженіе («Владиміръ Бельтовъ». Эпизодъ между первою и второю частями.)—въ «Отеч. Зап.» 1846, кн. 4, стр. 152—192. Объ этомъ продолженіи Бѣлинскій здѣсь и говоритъ. Наконецъ полный романъ, въ двухъ частяхъ, изданъ былъ въ приложеніи къ 1-й книгѣ «Современника», 1847.

[2]) Такой повѣсти, кажется, послѣ не появлялось.

[3]) «Даніилъ Романовичъ Галицкій»; статья эта явилась потомъ въ «Современникѣ», 1847 г.

[4]) Это стихотвореніе находилось въ «Петербургскомъ Сборникѣ» Некрасова Эта книга только-что передъ тѣмъ вышла.

сколько такихъ же и напишетъ ихъ еще больше; но онъ говоритъ, это отъ того, что онъ не работаетъ въ журналѣ. Я понимаю это. Отдыхъ и свобода не научатъ меня стихи писать, но дадутъ мнѣ возможность такъ хорошо писать, какъ мнѣ дано. Ты не знаешь этого положенія. А что я могу прожить и безъ «Отечественныхъ Записокъ», можетъ быть, еще лучше, это кажется ясно. Въ головѣ у меня много дѣльныхъ предпріятій и затѣй, которыя при прочихъ занятіяхъ никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много».

Бѣлинскій говорилъ далѣе о присланныхъ статьяхъ. «Сорока-воровка», по его словамъ, отзывалась анекдотомъ, но разсказана мастерски и производитъ глубокое впечатлѣніе. Онъ боялся одного: «всю запретятъ» [1]. Ему понравилась и мысль—«Записокъ медика» (это были—явившіяся потомъ «Записки доктора Крупова»); понравилась и историческая монографія «Даніилъ Галицкій». «О статьѣ Кавелина нечего и говорить, это—чудо». Далѣе онъ опять возвращается къ своему альманаху,—отвѣчая на мнѣніе московскихъ друзей.

«Итакъ, вы, лѣнивые и бездѣятельные москвичи, оказались исправнѣе нашихъ петербургскихъ скорописцевъ. Спасибо вамъ!

«А что мой альманахъ долженъ быть слономъ или левіаѳаномъ, это такъ. Пьеса какъ «Въ дорогѣ» нисколько не виновата въ успѣхѣ альманаха [2]. «Бѣдные люди»—другое дѣло, и то потому, что о нихъ заранѣе прошли слухи. Сперва покупаютъ книгу, а потомъ читаютъ; люди, поступающіе наоборотъ, у насъ рѣдки, да и тѣ покупаютъ не альманахи. Повѣрь мнѣ, между покупателями «Петербургскаго Сборника» много есть людей, которымъ только и понравится, что статья «О парижскихъ увеселеніяхъ» [3]. Мнѣ рисковать нельзя, мнѣ нуженъ успѣхъ вѣрный и быстрый... Одинъ альманахъ разошелся, глядь, за нимъ является другой, покупатели ужъ смотрятъ на него недовѣрчиво. Имъ давай новаго, повтореній не любятъ, у меня тѣ же имена, кромѣ твоего Герцена и М. С. [4]. Когда альманахъ порядкомъ разойдется, тогда статья Кавелина поможетъ его окончательному ходу, а сперва она только испугаетъ всѣхъ своимъ названіемъ; скажутъ: ученость, сушь, скука! Итакъ, мнѣ остается разсчитывать на множество повѣстей, да на толщину баснословную...

«Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже въ объявленіи для столицъ: это вторая часть «Мертвыхъ Душъ». Но вѣдь такая книга только одна была на Руси».

Повидимому, московскіе друзья придумывали, что бы сдѣлать

[1] Она явилась потомъ въ февральской книгѣ «Современника», 1848.

[2] Т. е. «Петербургскаго Сборника».

[3] Статья Панаева.

[4] М. С. Щепкина, который прислалъ Бѣлинскому разсказъ изъ своихъ воспоминаній, явившійся потомъ въ «Современникѣ», 1847, кн. 1, стр. 77—94: «Изъ записокъ артиста».

и для поправленія здоровья Бѣлинскаго. Въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ онъ говорилъ о томъ, что нѣсколько мѣсяцевъ заграницей на нѣсколько лѣтъ поправили бы его здоровье; друзья повидимому находили труднымъ для него сдѣлать эту поѣздку, а съ своей стороны предложили ему отправиться на нѣсколько мѣсяцевъ на югъ Россіи вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ, который также хотѣлъ отдохнуть въ южномъ климатѣ и вмѣстѣ сдѣлать небольшое артистическое путешествіе. Эта мысль Бѣлинскому понравилась; Щепкинъ былъ его старинный и близкій другъ, добродушный человѣкъ, неистощимо веселый собесѣдникъ. Бѣлинскій его искренно любилъ и уважалъ, и въ началѣ лѣта эта поѣздка устроилась.

Въ письмѣ онъ говоритъ объ этихъ планахъ:

«Коли мнѣ не ѣхать за-границу, такъ и не ѣхать. У меня давно уже нѣтъ жгучихъ желаній, и потому мнѣ легко отказываться отъ всего, что не удается. Съ М. С. въ Крымъ и Одессу очень бы хотѣлось; но семейство въ Петербургѣ оставить на лѣто не хочется, а переѣхать въ Гапсаль двойные расходы.

«Впрочемъ посмотрю»....

Далѣе, Бѣлинскій пишетъ къ Герцену отъ 20 марта. Онъ получилъ конецъ статьи Кавелина, «Записки доктора Крупова», отрывокъ изъ записокъ М. С. Щепкина, статью Мельгунова [1]). Всѣ эти вещи ему чрезвычайно нравятся.

«Статья Кавелина—эпоха въ исторіи русской исторіи, съ нея начнется философическое изученіе нашей исторіи. Я былъ въ восторгѣ отъ его взгляда на Грознаго. Я по какому-то инстинкту всегда думалъ о Грозномъ хорошо, но у меня не было знанія для оправданія моего взгляда. ««Записки доктора Крупова»—превосходная вещь, больше пока ничего не скажу... Отрывокъ М. С. прелесть: читая его, я будто слушалъ автора, столько же милаго, сколько и талантливаго. Статья Мельгунова мнѣ очень понравилась, я очень благодаренъ ему за нее. Особенно мнѣ нравится первая половина и тотъ старый румянцевскій генералъ, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называетъ мальчишками. Вообще, въ этой статьѣ много мемуарнаго интереса; читая ее, переносишься въ доброе старое время и впадаешь въ какое-то тихое раздумье... Имя моему альманаху «Левіаѳанъ». Выйдетъ онъ осенью, но въ цензуру пойдетъ на днях и немедленно будетъ печататься.

«На счетъ путешествія съ М. С., кажется, что поѣду. Мнѣ обѣщаютъ денегъ, и какъ получу, сейчасъ же пишу, что ѣду. Семейство отправляю въ Гапсаль: это и дача въ порядочномъ климатѣ, и курсъ леченія для жены, что будетъ ей очень по-

---

[1]) «Иванъ Филипповичъ Вернетъ, швейцарскій уроженецъ и русскій писатель». Эта статья, подъ буквой Л., помѣщена была въ «Соврем.» 1847, кн. 2.

лезно. Тарантасъ, стоящій на дворѣ М. С., видится мнѣ и днемъ и ночью, это не Соллогубовскому тарантасу чета. Святители! Сдѣлать верстъ тысячи четыре, на югъ, дорогою спать, ѣсть, пить, глазѣть по сторонамъ, ни о чемъ не заботиться, не писать, даже не читать русскихъ книгъ для библіографіи, да это для меня лучше Магометова рая, и гурій не надо, чортъ съ ними!

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 6 апрѣля, Бѣлинскій опять говоритъ о своей поѣздкѣ со Щепкинымъ:

«... Я ѣду не только за здоровьемъ, но и за жизнью. Дорога, воздухъ, климатъ, лѣнь, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это съ такимъ спутникомъ какъ М. С., да я отъ одной мысли объ этомъ чувствую себя здоровѣе. Мой докторъ (очень хорошій докторъ, хотя и не Круповъ) сказалъ мнѣ, что по роду моей болѣзни такая поѣздка лучше всякихъ лекарствъ и леченій. Итакъ, М. С. ѣдетъ рѣшительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Развѣ только что-нибудь непредвидѣнное и необыкновенное заставитъ меня отказаться; но во всякомъ случаѣ я на дняхъ беру мѣсто въ маль-постъ... На лѣто мнѣ и семейству денегъ станетъ; можетъ быть, станетъ ихъ на мѣсяцъ и по пріѣздѣ въ Питеръ, а тамъ, что будетъ, то и будетъ, vogue la galère! Нашему брату «подлецу», т.-е. нищему (а не то, чтобы мошеннику), даже полезно иногда довѣриться случаю и положиться на авось. Дѣлать-то больше нечего, а притомъ, если такая поведенція можетъ сгубить, то она же иногда можетъ и спасти»...

Московскіе друзья, какъ видимъ, приняли самое горячее дружеское участіе въ дѣлахъ Бѣлинскаго,—и въ его альманахѣ, которымъ онъ надѣялся пріобрѣсти средства существованія, и въ поѣздкѣ, отъ которой ждалъ исцѣленія. Они отдавали въ его распоряженіе свои труды, и,—сколько мы знаемъ, ближайшіе друзья отказывались отъ всякаго гонорара,—эти труды были бо́льшею частью капитальныя работы, литературныя и ученыя. Предполагая, что, несмотря на надежды Бѣлинскаго получить деньги, его средства все-таки очень невѣрны и невелики, московскіе друзья написали ему объ «обрѣтеніи явленныхъ 500 р. с.», которые назначались на его путешествіе. Это была уже прямая помощь; Бѣлинскій не усумнился принять ее, зная привязанность къ нему его друзей. Это окончательно обезпечивало его поѣздку.

Остальная часть письма 6 апрѣля занята любопытной характеристикой таланта Герцена, который теперь высказывался съ новыхъ сторонъ. Послѣ недавнихъ работъ серьезнаго философскаго содержанія, онъ написалъ цѣлый рядъ разсказовъ, упомянутыхъ сейчасъ въ перепискѣ, и хотя Бѣлинскій уже зналъ первую половину романа «Кто виноватъ?», онъ тѣмъ не менѣе былъ изумленъ новыми разсказами, живостью и разнообразіемъ ума и фантазіи.

Бѣлинскій между прочимъ получилъ интермедію къ «Кто виноватъ?» [1]); она опять доставила ему большое удовольствіе, и онъ пишетъ слѣдующее:

«Я изъ нея окончательно убѣдился, что Герценъ — большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилеттантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Онъ не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать: но вѣдь и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ «Генріадѣ», но и въ «Кандидѣ»;—однако его «Кандидъ» потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія уже пережилъ и еще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію,—и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны; а какъ люди—ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Герцена, какъ у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборотъ—талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ его натурѣ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько человѣку; у него много и таланта, и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ—нѣтъ, его талантъ — чортъ его знаетъ — такой же бастартъ или пасынокъ въ отношеніи къ его натурѣ, какъ и умъ въ отношеніи къ художественнымъ натурамъ. Не умѣю яснѣе выразиться... И такіе таланты необходимы и полезны не менѣе художественныхъ. Если онъ лѣтъ въ десять напишетъ три-четыре томика, поплотнѣе и порядочнаго размѣра, онъ — большое имя въ нашей литературѣ и попадетъ не только въ исторію русской литературы, но и въ исторію Карамзина. Онъ можетъ оказать сильное и благодѣтельное вліяніе на современность. У него свой особенный родъ, подъ который поддѣлываться такъ же опасно, какъ и подъ произведенія истиннаго художества. Какъ *Носъ* въ Гоголевой повѣсти, онъ можетъ сказать: «я самъ по себѣ!»... У него все оригинально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у него часто обращаются въ достоинство. Такъ, напримѣръ, къ числу его личныхъ недостатковъ принадлежитъ страстишка острить, но въ его повѣстяхъ такого рода выходки бываютъ удивительно хороши»...

Бѣлинскій получилъ для альманаха вкладъ и еще отъ стараго друга, Кудрявцева, жившаго тогда заграницей. Кудрявцевъ прислалъ извѣстную повѣсть «Безъ разсвѣта», напечатанную послѣ въ «Современникѣ». Бѣлинскій былъ уже хладнокровенъ къ таланту Кудрявцева; но эта повѣсть очень ему понравилась. Онъ писалъ Кудрявцеву 15 мая, уже изъ Москвы.

---

[1]) Интермедія (т. е. вѣроятно, глава «Бельтовъ») попала однако, какъ выше замѣчено, въ «Отеч. Зап.», 1846—не знаемъ, какимъ образомъ.

«Не знаю, какъ и благодарить васъ, любезнѣйшій Петръ Николаевичъ, за вашъ безцѣнный подарокъ. Повѣсть ваша привела меня въ восторгъ по многимъ причинамъ. Признаюсь откровенно: ваша драматическая пьеса привела меня въ отчаяніе, такъ что я подумалъ было, что вашъ *Послѣдній визитъ*, дѣйствительно, былъ послѣднимъ визитомъ вашимъ въ область творчества. Не то, чтобы она была плоха; почему человѣку съ талантомъ не написать плохой пьесы; но то, что она старчески умна и чужда всякаго живого начала. Поэтому за повѣсть вашу я взялся съ нѣкоторымъ безпокойствомъ; но тѣмъ сильнѣе былъ мой восторгъ, когда я читалъ ее. Чудная вещь, глубокая вещь! Это судьба, жизнь, положеніе русской женщины нашего времени. Характеръ героини выдержанъ, а муженекъ и любовникъ ея — чудо совершенства. Особенно хорошъ офицерикъ-то! Только два недостатка нахожу я въ этой повѣсти. Первый — прибавленіе къ ея названію—*водевиль* не для сцены: оно не идетъ, и его иронія весьма сомнительнаго качества. Не вычеркнуть ли? Второй—и очень важный недостатокъ: это вторая сцена (въ канцеляріи) — она не идетъ къ дѣлу, ничего не поясняетъ, ослабляетъ впечатлѣніе, и послѣ ея отрывокъ изъ письма, которымъ оканчивается повѣсть, теряетъ всю силу, весь характеръ. Если бы вы ее позволили выкинуть вовсе, повѣсть ничего не потеряла бы и много выиграла. Какъ вы думаете? Если вы согласны со мною въ полезности этой мѣры, то потрудитесь увѣдомить объ этомъ общаго друга нашего А. Д. Галахова. Я въ Москвѣ проѣздомъ — ѣду завтра съ М. С. Щепкинымъ въ Одессу и Крымъ, для возстановленія здоровья, а можетъ быть и для спасенія жизни. Отъ «Отеч Зап.» я отказался окончательно. Кстати! статья ваша о Бельведерѣ умна и хороша, но о такихъ предметахъ, какъ живопись, теперь такъ странно читать такія длинныя статьи: такъ думаютъ многіе».

Въ письмѣ идетъ рѣчь о трехъ повѣстяхъ Кудрявцева: «Ошибка», которую Бѣлинскій назвалъ драматической пьесой, «Послѣдній визитъ» и «Безъ разсвѣта». Но, какъ увидимъ, послѣдняя не имѣла большого успѣха въ публикѣ: и это приводило Бѣлинскаго въ недоумѣніе [1]).

Наконецъ, Бѣлинскій писалъ и къ Боткину; это—единственное извѣстное намъ письмо изъ тѣхъ немногихъ, какія были имъ писаны къ Боткину за границу. Изъ самаго начала видно, впрочемъ, что переписка эта была очень скудная. Приводимое письмо почти ничего не говоритъ о частностяхъ его жизни, но въ немъ проходитъ печальная нота разочарованія и утомленія жизнью.

«Давно мы не видались, другъ Василій Петровичъ, и давно не подавали другъ другу голоса. Что до меня, мнѣ всѣ переписки надоѣли, и я сталъ на письма такъ же лѣнивъ, какъ во время оно (глупое время!) былъ ретивъ. Сверхъ того, я и боюсь переписки:

---

[1]) См. ниже письма 1847 года, 19 февр. къ Тургеневу и 4 марта къ Боткину.

она годна только для недоразумѣній. Что при свиданіи рѣшается двумя-тремя словами къ обоюдному удовольствію, то въ разлукѣ служитъ поводомъ къ огромной перепискѣ, гдѣ все перепутывается. Это я много разъ испытывалъ, и пора мнѣ воспользоваться урокомъ опыта. О себѣ писать мнѣ просто противно, а больше вѣдь у насъ не о чемъ писать. Скоро увидимся—тогда вновь познакомимся другъ съ другомъ — говорю познакомимся, потому что послѣ трехлѣтней разлуки ни я, ни ты — не то, что были. Мая 30, а по вашему, по басурманскому, іюня 11-го, стукнетъ мнѣ 36 лѣтъ, осенью — три года какъ я женатъ, и моей дочери теперь девять мѣсяцевъ. Въ это время я пережилъ да передумалъ (и уже не головою, какъ прежде) право лѣтъ за 30. Пройдутъ незамѣтно и еще 4 года—и мнѣ 40 лѣтъ: — страшно! Вотъ она и старость! Ну, да довольно объ этомъ»...

Бѣлинскій не подозрѣвалъ, что ему оставалось прожить едва только половину этихъ четырехъ лѣтъ.

Онъ благодаритъ Боткина за письма объ Испаніи и о Тангерѣ (для альманаха); извѣщаетъ его о своемъ планѣ ѣхать со Щепкинымъ въ Одессу и Крымъ; онъ думалъ вернуться изъ поѣздки въ сентябрѣ, и ему очень хотѣлось встрѣтиться тогда съ Боткинымъ въ Петербургѣ или въ Москвѣ.

«Странное дѣло! При мысли о свиданіи съ тобою, мнѣ все кажется, будто мы разстались молодыми, а свидимся стариками, и отъ этой мысли мнѣ грустно и больно, и почти-что страшно. Молодыми! Нѣтъ! я не былъ молодъ никогда, потому что всегда жилъ головой и сумѣлъ даже и изъ сердца сдѣлать голову — отчего и вышла преуродливая голова»...

Поѣздка, наконецъ, устроилась. Въ послѣднихъ числахъ апрѣля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Петербурга. Семейство его въ началѣ мая должно было переѣхать на все лѣто въ Гапсаль. Съ 1 мая до начала сентября идетъ рядъ писемъ его домой (и два-три письма къ друзьямъ), изъ Москвы и съ дальнѣйшаго пути. Это цѣлый дневникъ, изъ котораго приводимъ нѣсколько цитатъ, рисующихъ его настроеніе и нѣкоторыя подробности путешествія.

Дорога до Москвы была безпокойна; погода стояла дождливая и холодная. Дилижансъ запоздалъ.

1 мая... Москва. «Дорога до того испорчена, особенно между Клиномъ и Москвою, что мы пріѣхали въ воскресенье, въ 6 часовъ вечера. Друзья мои дожидались меня въ почтамтѣ съ двухъ часовъ. Принятъ я былъ до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привыкъ къ дружескому вниманію порядочныхъ людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мнѣ часто приходитъ въ голову мысль, что я не стою такого вниманія. Что это

за добрый, за радушный народъ москвичи! Что за добрѣйшая душа Герценъ... Да и всѣ они что за славный народъ! Лучше, т.-е. оригинальнѣе всѣхъ принялъ меня Михаилъ Семеновичъ: готовясь облобызаться со мною, онъ пресерьёзно сказалъ: какая мерзость! Онъ глубоко презираетъ всѣхъ худыхъ и тонкихъ [1]). Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: озябну, укутываютъ меня своими шалями, надѣваютъ на меня свои мантильи, приносятъ мнѣ подушки, подаютъ стулья. Таковы права старости!.. Н. А. (г-жа Герценъ) такъ была мнѣ рада, что я даже почувствовалъ къ себѣ нѣкоторое уваженіе. Вотъ какъ!

«Ѣдемъ мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М. С. хочетъ лечиться, кромѣ купанья, и виноградомъ. Это и мнѣ будетъ очень полезно...

«Завтра друзья мои даютъ мнѣ торжественный обѣдъ»...

4-го мая. «...Здѣшній кружокъ живѣе нашего, и здѣшнія дамы тоже поживѣе нашихъ... И для отдыха Москва вообще чудный городъ. Впрочемъ, и то сказать, теперь какъ нарочно почти всѣ съѣхались туда въ одно время, и отъ того такъ весело [2]).

«Сегодня даютъ мнѣ обѣдъ; ему надо было быть въ четвергъ, да по болѣзни К. отложили до сегодня, а К. то все-таки не выздоровѣлъ»...

На свое здоровье онъ жалуется; кромѣ того, безпокоило его отсутствіе писемъ изъ дома: первыя извѣстія изъ Петербурга онъ получилъ уже 7 мая; и послѣ, медленность почтовыхъ сообщеній оставляла его надолго безъ писемъ, и это нерѣдко приводило его въ тягостную тревогу.

Наконецъ, Щепкинъ, которому нужно было дождаться въ Москвѣ бенефиса Мартынова, былъ свободенъ, и они выѣхали изъ Москвы 16 мая. Проводы Бѣлинскаго московскими друзьями были такъ же радушны и полны расположенія, какъ и описанная выше встрѣча.

«Проводы Бѣлинскаго были необыкновенно веселы и шумны,— разсказываетъ Панаевъ, участвовавшій въ нихъ [3]).—Они начались небольшимъ завтракомъ въ квартирѣ Щепкина. Я въ это время также былъ въ Москвѣ. Всѣ московскіе друзья Бѣлинскаго присутствовали тутъ; между прочимъ—Грановскій, Е. Ѳ. Коршъ, Кетчеръ, и Герценъ, съ которымъ Бѣлинскій въ это время былъ уже въ самыхъ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ. Они совершенно сошлись въ своихъ убѣжденіяхъ, и Бѣлинскій всею силою души при-

---

[1]) Щепкинъ былъ невысокъ и очень толстъ; одинъ изъ кружка друзей говорилъ въ шутку, что онъ отъ природы положенъ на ватѣ.

[2]) Къ московскому кружку прибавились тогда еще Панаевъ, Тургеневъ и другіе.

[3]) «Современникъ» 1860, кн. 1, стр. 370—372.

вязался къ нему. Они сдѣлались другъ для друга необходимыми людьми.

«Герценъ, несмотря на перенесенные имъ перевороты и страданія, сохранялъ веселость и живость необыкновенную. Въ этотъ разъ онъ говорилъ во время завтрака неумолкаемо, со свойственнымъ ему блескомъ и остроуміемъ, и его звонкій пріятный голосъ покрывалъ всѣ голоса...

«Тарантасъ Щепкина былъ уже готовъ, экипажи провожавшихъ также. Наступала минута отъѣзда. Герценъ все продолжалъ говорить съ неистощимою увлекательностью.—Ѣдемъ, Михайла Семенычъ, пора!—сказалъ Бѣлинскій, всегда нетерпѣливый въ подобныхъ случаяхъ.—Позвольте, господа, перебилъ К.,—какъ же мы поѣдемъ по городу съ Герценомъ? Съ нимъ по городу нельзя ѣхать.—Отчего же?—спросили всѣ съ недоумѣніемъ.—Да вѣдь съ *колокольчиками* запрещено ѣздить по городу. Всѣ расхохотались и двинулись къ экипажамъ. Мы взяли съ собой провизіи и запасъ вина. Обѣдать мы рѣшили на первой станціи — и тамъ уже окончательно проститься съ отъѣзжающими... Поѣздка наша была необыкновенно пріятна.. Всегда неистощимый остроуміемъ Герценъ въ этотъ день былъ еще блестящѣе обыкновеннаго»...

Проводы заключились, по пріѣздѣ на первую станцію, обѣдомъ на открытомъ воздухѣ. Наконецъ, Бѣлинскій и Щепкинъ уѣхали.

Изъ Калуги Бѣлинскій писалъ домой о своемъ выѣздѣ изъ Москвы и дальнѣйшемъ странствіи; но это письмо, какъ онъ самъ послѣ увидѣлъ, вѣроятно пропало, будучи адресовано въ Гапсаль, тогда какъ его семейство осталось на лѣто въ Ревелѣ. Поэтому въ слѣдующемъ письмѣ, изъ Харькова, онъ повторяетъ, но только вкратцѣ, дневникъ своего путешествія отъ Москвы.

Харьковъ, іюня 11-го. «...Выѣхали мы изъ Москвы 16 мая (въ четв.), въ 12 ч. Насъ провожали до первой деревни, за 13 верстъ, и провожавшихъ было 16 человѣкъ... Пили, ѣли, расстались. Погода страшная, грязь, дорога скверная, за лошадьми остановки. Въ Калугу пріѣхали въ субботу (18 мая), прожили въ ней одинадцать дней. Если не гнусная погода, мнѣ было бы не скучно. Еще въ Москвѣ я почувствовалъ, что поправляюсь въ здоровьѣ и возстановляюсь въ силахъ, а въ Калугѣ въ сносную погоду я уходилъ за городъ, всходилъ на горы, лазилъ по оврагамъ, уставалъ до нельзя, задыхался на смерть, *но не кашлянулъ ни разу*. Съ возвращеніемъ холода и дождя возвращался и кашель. Пребываніе въ Калугѣ для меня останется вѣчно памятнымъ по одному знакомству, котораго я и не предпологалъ, выѣзжая изъ Питера. Въ Москвѣ М. С. Щ[епкинъ] познакомился съ А. О. Смирновой. Свѣтъ не убилъ въ ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей *не въ обрѣзъ. Она большая* пріятельница Гоголя, и М. С. былъ о

нея безъ ума. Такъ какъ она пригласила его въ Калугу (гдѣ мужъ ея губернаторомъ), то я еще въ Москвѣ предвидѣлъ, что познакомлюсь съ нею. Когда мы пріѣхали въ Калугу, ея еще не было тамъ; въ качествѣ хвоста толстой кометы, т.-е. М. С., я былъ приглашенъ губернаторомъ на ужинъ... потомъ мы у него обѣдали. Во вторникъ пріѣхала она, а въ четвергъ я былъ ей представленъ. Чудесная, превосходная женщина—я безъ ума отъ нея... Пишу все это не больше, какъ матеріалъ для разговоровъ и разсказовъ при свиданіи, и потому въ подробности не пускаюсь»...

Погода все еще бывала дурная. Изъ Калуги они «поплыли» (по грязи) въ Воронежъ; только около Воронежа, куда они пріѣхали 1 іюня, начиналась хорошая дорога. Іюня 4 они выѣхали въ Курскъ, куда опять пришлось «плыть»; изъ Курска они ѣздили взглянуть на Коренную ярмарку; — «и ужъ подлинно поплыли, потому что жидкая грязь по колѣно, и лужи выше брюха лошадямъ были безпрестанно». Сама ярмарка «буквально по поясъ сидѣла въ грязи». Возвращаясь въ Курскъ, встрѣтили крестный ходъ, съ которымъ обыкновенно носятъ изъ Курска на ярмарку явленный образъ Божіей Матери:—«тысячь 20-ть народу, въ-розбить идущаго по колѣно въ грязи и который, пройдя 27 верстъ, ляжетъ спать подъ открытымъ небомъ, въ грязи, подъ дождемъ, при 5 градусахъ тепла». По пути въ Харьковъ опять «плаваніе»; къ Харькову погода стала поправляться, а также и дорога.

Іюня 9 они пріѣхали въ Харьковъ, гдѣ Бѣлинскій увидѣлся съ Андреемъ Кронебергомъ и получилъ письмо изъ дома, нѣсколько успокоившее его тревоги; но затѣмъ новое письмо растревожило его извѣстіями о болѣзни домашнихъ... Въ Харьковѣ они должны были остаться на нѣсколько дней, потому что Щепкинъ хотѣлъ явиться въ пяти спектакляхъ. Здѣсь Бѣлинскій въ первый разъ увидѣлъ Малороссію, и она произвела на него очень пріятное впечатлѣніе.

Іюня 14-го: «... Изъ плодовъ, въ Харьковѣ мы нашли только землянику, да и ту подаютъ только въ гостинницахъ. Нынѣшняя весна и въ Харьковѣ была не лучше петербургской. Верстъ за 30 до Харькова я увидѣлъ Малороссію, хотя еще и перемѣшанную съ грязнымъ москальствомъ. Избы хохловъ похожи на домики фермеровъ—чистота и красивость неописанныя... Другія лица смотрятъ иначе. Дѣти очень милы, тогда какъ на русскихъ и смотрѣть нельзя—хуже и гаже свиней...

«Изъ моей поѣздки хочу сдѣлать статью. Въ головѣ плановъ бездна. Словомъ: оживаю и вижу, что могу писать лучше прежняго, могу начать новое литературное поприще. А закабались опять въ журнальную работу—идіотъ, кретинъ!»

Изъ Харькова Бѣлинскій и Щепкинъ выѣхали 16; слѣдующее *письмо писано* изъ Одессы, 24 іюня. Они ѣхали черезъ Екатерино-

славъ, который Бѣлинскому очень понравился. Еще болѣе пріятное впечатлѣніе произвела на него Одесса — своей европейской внѣшностью, оживленіемъ и, наконецъ, моремъ: купанье въ морѣ доставило Бѣлинскому большое удовольствіе,—хотя докторъ совѣтовалъ ему быть при этомъ очень осторожнымъ. Его продолжаетъ безпокоить положеніе домашнихъ, переписка съ которыми все больше замедлялась по мѣрѣ того, какъ онъ уѣзжалъ дальше. Но здоровье его было лучше.

Іюня 24-го, Одесса. «... Здоровье мое очень поправилось: я и свѣжѣе, и крѣпче, и бодрѣе. Что же касается до кашлю—въ отношеніи къ нему я сдѣлался совершеннымъ барометромъ: солнце жжетъ, вѣтру нѣтъ.— грудь моя дышетъ легко, мнѣ отрадно, и кажется, что проклятый кашель *навсегда* оставилъ меня; но лишь скроется солнце хотя на полчаса за облако, пахнетъ вѣтеръ—и я кашляю. Впрочемъ, сильные припадки кашлю оставили меня уже съ мѣсяцъ»...

Въ Одессѣ они прожили довольно долго, затѣмъ предстояли еще новыя странствія, потому что Щепкинъ заключилъ условіе съ однимъ содержателемъ труппы и по условію долженъ былъ играть въ Николаевѣ, Херсонѣ, Симферополѣ, Севастополѣ и еще гдѣ-то. Поѣздка въ Крымъ очень завлекала Бѣлинскаго; тамъ, между прочимъ, онъ надѣялся еще лечиться виноградомъ. Въ Одессѣ онъ объѣдался плодами. «Вотъ въ Крыму—другое дѣло, надо будетъ быть осторожнѣе; да съ нами будетъ докторъ, да и М. С. смотритъ за мной, словно дядька за недорослемъ. Что это за человѣкъ!»...

Въ письмахъ отъ первой половины іюля Бѣлинскій опять говоритъ о купаньѣ въ морѣ; «купанье уже оказало благодѣтельное вліяніе на мои нервы; я сталъ крѣпче, свѣжѣе и здоровѣе». Около 11 іюля они выѣхали изъ Одессы въ Николаевъ.

Изъ Одессы Бѣлинскій писалъ, отъ 4 іюля, къ Герцену. Онъ говоритъ о своемъ намѣреніи написать свои путевыя впечатлѣнія, впрочемъ вовсе не о самомъ путешествіи.

«...Путевыя впечатлѣнія у меня будутъ только рамкой статьи, или, лучше сказать, придиркою къ ней. Онѣ будутъ состоять больше въ толкахъ о скверной погодѣ и еще сквернѣйшихъ дорогахъ.

«А буду писать я вотъ о чемъ: 1. о театрѣ русскомъ, причинахъ его гнуснаго состоянія и причинахъ скораго и совершеннаго паденія сценическаго искусства въ Россіи. Тутъ будетъ сказано многое изъ того, что̀ уже было говорено и другими, и мною, но предметъ будетъ разсмотрѣнъ à fond. М. С. игралъ въ Калугѣ, въ Харьковѣ, теперь играетъ въ Одессѣ, и можетъ быть, будетъ играть въ Николаевѣ, Севастополѣ, Симферополѣ, и чортъ знаетъ гдѣ еще. Я видѣлъ много, ходя и на репетиціи и на представленія, толкаясь между актерами. Сверхъ того, М. С. преусердно снабжаетъ меня комментаріями и фактами, что все будетъ ново и сильно.

«2. Въ Харьковѣ я прочелъ «Московскій Сборникъ». Статья Самарина умна и зла, даже дѣльна, несмотря на то, что авторъ отправляется отъ неблагопристойнаго принципа кротости и смиренія и зацѣпляетъ меня въ лицѣ «Отечественныхъ Записокъ». Какъ умно и зло казнилъ онъ аристократическія замашки Соллогуба! Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи славянофиломъ [1]). За то Хомяковъ, я-жъ ему дамъ зацѣплять меня—узнаетъ онъ мои крючки [2]).

«3. Я не читалъ еще ругательства Сенковскаго; но радъ ему, какъ новому матеріалу для моей статьи [3]).

«Изъ этого видите, что моя статья будетъ журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячинѣ, сдобренною полемическимъ задоромъ.

«Въ Калугѣ столкнулся я съ Иваномъ Аксаковымъ. Славный юноша! Славянофилъ—а такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ славянофиломъ. Вообще я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами дѣйствительно могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего!

«Здоровье мое лучше. Я какъ-то свѣжѣе и замѣтно крѣпче, но кашель все еще и не думаетъ оставлять меня. Съ 25-го іюня начались было въ Одессѣ жары, но съ 30-го опять посвѣжѣло; впрочемъ, все тепло, такъ что ночью потѣешь въ лѣтнемъ пальто. Началъ было я *читать Данта*, т.-е. купаться въ морѣ [4]], да кровь прилила къ груди, я цѣлое утро харкалъ кровью; докторъ велѣлъ на время прекратить купанья».

12 іюля они выѣхали изъ Одессы въ Николаевъ. Дальнѣйшій маршрутъ зависѣлъ отъ дѣлъ театральнаго антрепренера, съ которымъ заключилъ условіе Щепкинъ. Бѣлинскій начиналъ скучать своей поѣздкой и разлукой съ домашними, съ которыми такъ мудрено было списываться; но все поддерживалъ себя надеждою на Крымъ, на купанье въ морѣ, виноградъ и кумысъ...

«Со дня на день,—пишетъ онъ 17 іюля изъ Николаева,—все сильнѣе и сильнѣе начинаю скучать; хочется домой, поѣздка надоѣла, и меня утѣшаетъ только то, что большая половина поѣздки уже совершена, и что я еще увижу, хотя и мимоходомъ, южный берегъ Крыма. Здоровье мое хорошо, кашля нѣтъ. Жду много добра

---

[1]) «Московскій литер. и ученый Сборникъ», 1846, стр. 545—579, критическая статья о «Тарантасѣ» гр. Соллогуба М... З... К... (Ю. Самарина).

[2]) Въ статьѣ «Мнѣніе русскихъ объ иностранцахъ», тамъ же, стр. 179, 183.

[3]) Бѣлинскій разумѣетъ здѣсь разборъ его брошюры; «Н. А. Полевой» (Спб. 1846) въ «Библ. для Чтенія» 1846, іюнь, Литер. лѣтоп., стр. 50—54. Разборъ написанъ вѣроятно Сенковскимъ, въ насмѣшливомъ тонѣ и трактуетъ Бѣлинскаго, какъ «талантливагою ношу, изъ котораго выйдетъ толкъ, если онъ немножно поучится».

[4]) Намекъ на очень извѣстный тогда стихъ Шевырева: «что въ морѣ *купаться*, то Данта читать».

отъ купанья въ морѣ въ Севастополѣ... А какъ жарко—мочи нѣтъ, а нынѣшнее лѣто еще не изъ жаркихъ здѣсь».

Около 1 августа Бѣлинскій и Щепкинъ отправились въ Херсонъ. Содержатель труппы получилъ отъ губернатора разрѣшеніе давать спектакли съ 4 до 15 августа, приходившіеся на лѣтній постъ; но потомъ губернаторъ передумалъ, взялъ свое разрѣшеніе назадъ, и спектакли пришлось отложить до второй половины августа, такъ что путешественники должны были пробыть въ Херсонѣ до конца мѣсяца.

«... Да будетъ вамъ извѣстно, — пишетъ Бѣлинскій изъ Херсона, отъ 6 августа,—что я хожу съ бородою. Съ выѣзда изъ Калуги не брился, въ Воронежѣ, на Коренной и въ Харьковѣ я походилъ на бѣглаго солдата, но къ пріѣзду въ Одессу у меня явилось что-то вродѣ бороды, а теперь совсѣмъ борода. Я боялся что моя борода выйдетъ въ родѣ моихъ усовъ, то-есть мерзость страшная; но борода вышла на славу».

Въ Херсонѣ онъ скучалъ еще болѣе; между тѣмъ, ему предстояло удалиться отъ Петербурга еще на 360 верстъ, и тогда только должно было начаться обратное путешествіе.

«Скучно, — начинаетъ Бѣлинскій письмо изъ Херсона, отъ 22 августа, — Михаилъ Семеновичъ страдаетъ теперь на сценѣ пакостнѣйшаго театра (сдѣланнаго изъ сарая), играя съ безтолковѣйшими и пошлѣйшими въ мірѣ актерами; а я остался дома... Въ понедѣльникъ поутру ѣдемъ изъ Херсона; остается трое сутокъ, а мнѣ все кажется, какъ будто остается еще три года! Ай да Херсонъ—буду я его помнить! Вообще Новороссія страшно мнѣ опротивѣла. Безлѣсная, опаленная солнцемъ, вѣчно сухая и пыльная сторона. За неимѣніемъ лучшаго утѣшенія, утѣшаюсь мыслію, что ближе, чѣмъ черезъ недѣлю, увижу деревья, лѣса, виноградные сады. Но еслибъ было возможно, кажется, уѣхалъ бы сейчасъ же домой, не посмотрѣвши ни на что на это. Въ день нашего выѣзда, т.-е. въ понедѣльникъ, 26 августа, исполнится ровно *четыре мѣсяца*, какъ я выѣхалъ изъ Питера, а мнѣ кажется, что прошло съ тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, четыре года. Надѣюсь, что сентябрь пройдетъ для меня скорѣе, нежели августъ..

«Кто хочетъ насладиться долголѣтіемъ, тому совѣтую поѣхать въ Херсонъ: если онъ въ немъ проживетъ годъ, ему покажется, что онъ прожилъ Маѳусаиловы вѣки, жизнь утомитъ его и душа его востоскуетъ по успокоительной могилѣ».

Слѣдующее письмо писано было изъ Симферополя отъ 4—5 сентября. Переѣздъ изъ «ужаснаго» Херсона въ Симферополь «былъ бы переходомъ изъ ада въ рай», еслибы не случился съ Бѣлинскимъ сильный припадокъ геморроидальныхъ страданій. Въ Симферополѣ, гдѣ *припадокъ повторился*, они встрѣтили опытнаго врача—Арнд-

«предобрѣйшаго старика, который полюбилъ насъ такъ, что и сказать нельзя». Этотъ Арндтъ, братъ извѣстнаго петербургскаго лейбъ-медика, принялся за леченье Бѣлинскаго и помогъ ему.

Здѣсь, какъ въ Николаевѣ и Херсонѣ, Бѣлинскій восхищается изобиліемъ и дешевизной плодовъ, превосходнымъ виноградомъ, какой ему удалось здѣсь попробовать. Симферополь вообще понравился Бѣлинскому послѣ скучныхъ Николаева и Херсона, и послѣ душныхъ пыльныхъ степей. Щепкинъ опять игралъ на симферопольскомъ театрѣ. Бѣлинскій продолжалъ скучать, хотя, по словамъ одного очевидца, «вниманіе и участіе симферопольской публики къ нему было очень велико» [1]).

«Въ Севастополь будемъ числу къ 15-му (сентября), а тамъ, октября 2 или 3, маршъ домой! Дождусь ли этого! Нѣтъ, впередъ ни за какія блага одинъ на долго въ вояжъ не пущусь. Особенно по Россіи, гдѣ существуетъ только какое то подобіе почтовыхъ сношеній между людьми... Не могу смотрѣть безъ тоски на маленькихъ дѣтей, особенно дѣвочекъ. Охъ, дожить бы поскорѣе до октября!»

Во время путешествія онъ прочелъ нѣсколько французскихъ книгъ, между прочимъ «Les Confessions», вѣроятно, Прудона, о которыхъ замѣчаетъ: «не много книгъ въ жизни дѣйствовали на меня, такъ сильно, какъ эта».

Въ это же время онъ писалъ (отъ 6 сентября) Герцену:

«...Въѣхавши въ Крымскія степи, мы увидѣли три новыя для насъ націи: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разныя колѣна одного племени; такъ много общаго въ ихъ физіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно славянофилами. Но—увы!—въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патріархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большей частію носятъ на головѣ длинные волосы. а бороду брѣютъ. Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Кошихина—своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы, и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, т.-е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно, и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣе ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнутъ ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблѣять что-нибудь поинтереснѣе того, что блѣетъ Шевырка и вся почтенная славянофильская братія.

«Несмотря на то, Симферополь, по своему мѣстоположенію,

---

[1]) См. воспоминанія Щукова въ «Др. и Новой Россіи» 1876, № 2

очень миленькій городокъ; онъ не въ горахъ, но отъ него начинаются горы, и изъ него видна вершина Чатыръ-Дага. Послѣ степей Новороссіи, обожженныхъ солнцемъ, и пыльныхъ и голыхъ, я бы видѣлъ себя теперь какъ бы въ новомъ мірѣ, еслибъ не страшный припадокъ гемороя, который теперь проходитъ, а мучить началъ меня съ 24 числа прошлаго мѣсяца.

«Настоящая цѣль этого письма — напомнить вамъ о *Букиньонѣ* или *Букильонѣ*, — пьесѣ, которую Сатинъ видѣлъ въ Парижѣ и о которой онъ говорилъ Михаилу Семеновичу [Щепкину], какъ о такой пьесѣ, въ которой для него есть хорошая роль. А онъ давно ужъ подумываетъ о своемъ бенефисѣ и хотѣлъ бы узнать во время, до какой степени можетъ онъ надѣяться на ваше содѣйствіе въ этомъ случаѣ.

«Нѣтъ! я не путешественникъ, особенно по степямъ. Напишешь домой письмо и получаешь отвѣтъ на него черезъ полтора мѣсяца: слуга покорный пускаться впередъ въ такія Австраліи!»...

Мы не имѣемъ дальнѣйшихъ свѣдѣній о путешествіи: изъ разсказовъ друзей Бѣлинскаго знаемъ только, что у него остались лучшія воспоминанія о черноморскихъ морякахъ, которые съ большимъ радушіемъ встрѣчали заслуженнаго артиста и извѣстнаго писателя [1]). Но изъ приведенныхъ сейчасъ словъ Бѣлинскаго можно судить, съ какимъ нетерпѣніемъ онъ долженъ былъ возвращаться въ Петербургъ, гдѣ, между прочимъ, ждали его важныя литературныя новости.

Въ его отсутствіе рѣшено было основаніе или преобразованіе «Современника». Этотъ журналъ, основанный Пушкинымъ въ послѣдній годъ его жизни, перешелъ по смерти его въ завѣдываніе его друзей, которые однако уже вскорѣ, повидимому, наскучили этимъ дѣломъ, и журналъ поступилъ въ полное распоряженіе и собственность Плетнева. «Современникъ», долженствовавшій сохранять Пушкинскія традиціи, издавался двѣнадцатью тоненькими книжками, держался внѣ литературныхъ партій, ни съ кѣмъ не дружился и не ссорился, и вообще оставался весьма безцвѣтнымъ и, вѣроятно, не весьма доходнымъ изданіемъ. Въ 1846 году Плетневъ согласился передать его въ аренду другой редакціи, которая обратила его въ «толстый журналъ». При обновленіи журнала, предполагалось, что онъ сдѣлается органомъ Бѣлинскаго, доставитъ помѣщеніе для его трудовъ и, вѣроятно, привлечетъ сотрудничество его друзей...

По словамъ Панаева [2]), Бѣлинскій, вернувшись изъ поѣздки, былъ чрезвычайно обрадованъ неожиданнымъ для него извѣстіемъ

---

[1]) Подтвержденіе можно видѣть въ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ, напечатанныхъ въ «Кронштадскомъ Вѣстникѣ» 1862, № 47.

[2]) «Совр.» 1860, кн. 1, стр. 372.

о предстоявшемъ возникновеніи «Современника»: «Всѣ эти приготовленія, толки объ новомъ изданіи, мысль, что онъ, освободясь отъ непріятной ему зависимости, будетъ теперь свободно дѣйствовать съ людьми, къ которымъ онъ питалъ полную симпатію, которые глубоко уважали и любили его; наконецъ, довольно забавная полемика, возникшая тогда между ними и «Отеч. Записками»—все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его [1]). Бѣлинскій принялся съ жаромъ за статью о русской литературѣ для «Современника» (см. 1 кн. «Совр.» 1847)...

Дѣйствительно, Бѣлинскій оказалъ новому журналу поддержку, которая послужила главнымъ основаніемъ его успѣха. Для предположеннаго имъ альманаха, Бѣлинскій имѣлъ уже въ рукахъ много чрезвычайно любопытнаго матеріала. Отъѣздъ изъ Петербурга помѣшалъ ему исполнить тогда же изданіе «Левіаѳана»; теперь весь имъ собранный матеріалъ онъ предоставилъ новому журналу, который такимъ образомъ съ перваго раза могъ дать читателямъ превосходный выборъ статей, притомъ соединенныхъ общимъ тономъ и направленіемъ, что должно было сообщить новому журналу и самый живой интересъ и единство содержанія. Правда, этотъ матеріалъ, отданный первоначально въ распоряженіе Бѣлинскаго для его собственнаго предпріятія, поступалъ теперь въ журналъ на другихъ матеріальныхъ условіяхъ, но во всякомъ случаѣ онъ перешелъ сюда только черезъ Бѣлинскаго.

Когда появились первыя книжки журнала, въ который перенесена была дѣятельность Бѣлинскаго, гдѣ собрались такія произведенія, какъ «Кто виноватъ?» (полное изданіе) и другіе разсказы Герцена, «Обыкновенная Исторія» Гончарова, первые «Разсказы охотника» Тургенева, повѣсти Григоровича, Дружинина, Достоевскаго, воспоминанія Щепкина, стихотворенія Некрасова, статьи Кавелина («Юридическій бытъ древней Россіи» и статьи о книгахъ по русской исторіи), Соловьева и проч., — эти первыя книжки произвели сильное впечатлѣніе и успѣхъ журнала могъ считаться обезпеченнымъ. Большая доля этого успѣха была именно дѣломъ Бѣлинскаго, нравственный и литературный авторитетъ котораго собралъ эти замѣчательныя силы. Но уже вскорѣ изъ этихъ отношеній журнала возникли тягостныя для Бѣлинскаго недоразумѣнія. Московскіе друзья, горячо принимавшіе къ сердцу интересы Бѣлинскаго, считали новый журналъ не иначе какъ журналомъ Бѣлинскаго; но уже скоро, недовольные устройствомъ дѣлъ редакціи, гдѣ интересы Бѣлинскаго, по ихъ мнѣнію, не получили достаточнаго къ

---

[1]) О полемикѣ см. «Отеч. Записки», кн. 12, журнальныя замѣтки стр. 118—120, и упомянутыя тамъ статьи противниковъ.

себѣ вниманія,—начали даже устраняться отъ «Современника». Не входя въ разборъ этихъ отношеній, еще не совершенно разъясненныхъ, довольно замѣтить, что эти недоразумѣнія стали для Бѣлинскаго предметомъ большихъ огорченій и досадъ, тѣмъ больше, что матеріальныя его дѣла не поправились настолько, чтобъ онъ могъ считать себя обезпеченнымъ отъ недостатка. Въ приводимыхъ дальше письмахъ мы часто будемъ встрѣчаться съ этой темой.

Наконецъ, въ послѣдніе мѣсяцы 1846 года, Бѣлинскій увидѣлся и съ своимъ старымъ другомъ, вернувшимся изъ-за границы. Мы упоминали, что съ конца 1843 г. сношенія Бѣлинскаго съ Боткинымъ почти прекратились; съ отъѣзда Боткина заграницу, они ни разу не помѣнялись письмами до половины 1844 года; только въ іюнѣ этого года Боткинъ узналъ о женитьбѣ Бѣлинскаго, и то отъ другихъ. Самъ Боткинъ переживалъ тогда тяжелое личное испытаніе, которое, вѣроятно, и оставило свой слѣдъ на его характерѣ, потому что по возвращеніи изъ-за границы Боткинъ, сколько мы знаемъ, былъ уже не совсѣмъ тотъ: въ немъ развилась или усилилась желчность; онъ сталъ равнодушенъ къ идеалистическимъ стремленіямъ недавняго времени; потребность развлеченія, забвенія отъ его личной тревоги развила страсть къ удовольствію, которая въ жизни сдѣлала его эпикурейцемъ, въ эстетическихъ вопросахъ защитникомъ «чистаго» искусства; въ общественныхъ взглядахъ онъ сталъ консерваторомъ. Въ нашемъ матеріалѣ нѣтъ писемъ Бѣлинскаго къ нему за эти годы, но по отвѣтамъ Боткина видно, что они посылали другъ другу три-четыре письма въ годъ, содержаніемъ которыхъ была почти исключительно личная исторія Боткина, гдѣ послѣдній видѣлъ отъ Бѣлинскаго столько участія, сколько и могъ ожидать...

Изъ дальнѣйшей переписки Бѣлинскаго видно (и то же слышали мы отъ нѣкоторыхъ изъ его друзей), что при свиданіи послѣ долгой разлуки между нимъ и Боткинымъ оказалось различіе мнѣній и вкусовъ, очень не похожее на ихъ прежнее единство. Но дружба сохранилась, и въ первое время Бѣлинскій даже очень разсчитывалъ на то, что Боткинъ поселится въ Петербургѣ и приметъ ближайшее участіе въ редакціи «Современника». Бѣлинскій очень желалъ этого, особенно цѣня свѣдѣнія своего друга въ иностранной литературѣ. Но переѣздъ не состоялся: собственныя дѣла удерживали Боткина въ Москвѣ, и, кромѣ того, у него возникло личное недоразумѣніе относительно журнала, взаимное недовѣріе съ однимъ изъ издателей. Бѣлинскій узналъ объ этомъ изъ письма самого Боткина, и съ этихъ вопросовъ объ участіи Боткина въ «Современникѣ» между ними возобновилась переписка, въ которой Бѣлинскій опять обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность.

Разъясненію этихъ недоразумѣній посвящено письмо Бѣлинскаго отъ 29 января 1847, гдѣ любопытно замѣчаніе, относящееся къ Боткину. Стараясь разубѣдить его, будто къ нему относились съ недовѣріемъ, Бѣлинскій говоритъ о новомъ направленіи мыслей Боткина:

«Письмо твое, Боткинъ, очень огорчило меня во многихъ отношеніяхъ. Прежде всего и пуще всего, скажи мнѣ ради всего святого въ мірѣ: какой ожесточенный и хитрый врагъ Современника—Кр[аевскій], или Блгрнъ [Булгаринъ] увѣрилъ васъ всѣхъ, будто въ отдѣлѣ *наукъ и художествъ* постановили мы непремѣннымъ закономъ помѣщать только статьи русскія, касающіяся Россіи и писанныя людьми, могущими доказать неоспоримое свое русское происхожденіе по крайней мѣрѣ двадцатью-четырьмя колѣнами? Вѣдь это было бы страхъ какъ смѣшно, еслибъ не было страхъ какъ грустно и обидно. Когда я прочелъ въ твоемъ письмѣ, что ради этой фантастической причины, Коршъ бросилъ уже начатую имъ статью о Гердерѣ, у меня выпало изъ рукъ твое письмо, и я чуть не заплакалъ отъ досады и бѣшенства. Предпочесть всегда русскую статью переводной—это дѣло; но наполнить журналъ только русскими статьями—это мечта, которая можетъ войти въ голову только ребенку, или человѣку, который вовсе не знаетъ ни нашей литературы, ни нашихъ литераторовъ. Что касается до твоихъ писемъ объ Испаніи, ихъ сейчасъ же нужно хоть на пять листовъ (и ужъ по крайней мѣрѣ на три), а пойдетъ эта статья не въ смѣсь, а въ науки. Поторопись. Этотъ отдѣлъ губитъ насъ. Да попроси Корша, чтобъ онъ составлялъ для наукъ статьи, какія онъ хочетъ. Что переѣздъ твой въ Питеръ окончательно рушится, это меня повергло въ глубокую печаль. Если не найдемъ человѣка, бѣда да и только. Причины твои всѣ неоспоримы, кромѣ послѣдней. Тебѣ на Некр[асова] и не нужно было имѣть никакого вліянія. Выборъ статей уже по одному тому зависѣлъ бы только отъ одного тебя, и всего менѣе отъ Некр., что ты, въ случаѣ спора, всегда могъ сказать: «ну такъ выбирайте сами». И ты здѣсь скорѣе имѣлъ бы дѣло со мною, чѣмъ съ Некр., даже скорѣе съ Пан[аевымъ], который знаетъ по франц., нежели съ Некр., который въ этомъ случаѣ человѣкъ безгласный. И потому, взаимное ваше другъ къ другу недовѣріе, которое ты предполагаешь существующимъ между тобою и Некр., тутъ вовсе не причина.

Скажу тебѣ правду: твое новое практическое направленіе, соединенное съ враждою ко всему противоположному, произвело на всѣхъ насъ равно непріятное впечатлѣніе, на меня перваго. Но я понялъ, что на дѣлѣ съ тобою также легко сойтись, какъ трудно сойтись на словахъ, ибо, несмотря на твое ультра-практическое направленіе, ты все остался отчаяннымъ теоретикомъ, нѣмцемъ, для котораго споръ о дѣлѣ гораздо важнѣе самаго дѣла, и который только въ спорѣ и вдается въ чудовищныя крайности, а въ дѣлѣ является человѣкомъ порядочнымъ»...

Въ письмѣ упоминается дальше о несогласіи, какое случилось

въ редакціи новаго журнала при первой же его книжкѣ. Поводъ къ несогласію дала повѣсть Григоровича «Деревня», напечатанная передъ тѣмъ въ «Отеч. Запискахъ» (1846, кн. 12). На Бѣлинскаго она произвела очень пріятное впечатлѣніе попыткой изображенія народнаго быта въ его крѣпостныхъ формахъ. Некрасовъ, считая повѣсть вовсе не стоющей того отзыва, какой дѣлалъ о ней Бѣлинскій въ своемъ обозрѣніи литературы за 1846 г., для первой книжки журнала, какъ разсказывали, не желалъ дать мѣста этому отзыву въ печати. Бѣлинскій съ неудовольствіемъ говоритъ объ этомъ несогласіи [1])...

Здоровье его, несмотря на путешествіе лѣтомъ 1846 г., не поправилось. Его докторъ уже въ началѣ 1847 г. говорилъ, что ему необходимо отправиться на воды въ Силезію; но средствъ для этого не было: «поѣздка моя на воды—миѳъ». Если бы дѣйствительно было необходимо поѣхать на воды, то единственная надежда была бы только на помощь друзей: «скажу тебѣ откровенно,—говоритъ при этомъ Бѣлинскій,—эта жизнь на подаяніяхъ становится мнѣ невыносимою»...

Въ концѣ письма замѣтка о книгѣ Гоголя «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» (о которой Бѣлинскій въ это время писалъ для «Современника»):—«славянофилы напрасно сердятся на Гоголя: онъ только консеквентнѣе и добросовѣстнѣе ихъ—вотъ и все».

Черезъ недѣлю, 6 февраля, Бѣлинскій опять пишетъ Боткину о тѣхъ же журнальныхъ недоразумѣніяхъ, опасаясь, что Боткинъ какъ-нибудь неправильно пойметъ его прежнее письмо. Онъ хочетъ только точнѣе объяснить ему положеніе вещей. Онъ жалѣетъ, что Боткинъ не поселится въ Петербургѣ, но не думаетъ убѣждать его къ этому: «у меня и у моихъ друзей было слишкомъ много опытовъ, чтобы вразумить меня, какъ опасно подобное вмѣшательство въ жизнь другого».

«А на счетъ рѣшенія (т.-е. рѣшенія Боткина остаться въ Москвѣ)—я завидую тебѣ. Сказать правду, я счелъ бы себя блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ, еслибъ безъ труда получалъ въ годъ maximum того, что могу выработать. Мое отвращеніе отъ литературы и журналистики, *какъ отъ ремесла*, выростаетъ со дня на день, и я не знаю, что изъ этого выйдетъ наконецъ. Съ отвращеніемъ бороться труднѣе, чѣмъ съ нуждою; оно—болѣзнь. То ли дѣло ты—счастливый человѣкъ! Квартира съ отопленіемъ, столъ—готовыя, на одежду и прихоти всегда хватитъ, занимайся, чѣмъ хочется, а ничего не хочется—ничего не дѣлай. Твоя строка, что ты

---

[1]) Другія подробности о «Деревнѣ» Григоровича см. въ Воспом. Тургенева, «В. Евр.» 1869, апр., 704.

хочешь заняться органическою химіею, обдала меня кипяткомъ зависти»...

Онъ завидовалъ тому, что это намѣреніе Боткина обнаруживало полнѣйшую свободу въ выборѣ занятій. Бѣлинскій считалъ себя неспособнымъ заниматься наукой: «наука для меня не существуетъ, я не такъ воспитыванъ, не такъ развивался, чтобъ быть способнымъ заняться ею»; но для него была бы наслажденіемъ возможность заниматься одной исторической эпохой, заниматься не ученымъ образомъ, а просто, безъ претензій:

«Я нашелъ бы для себя въ этомъ занятіи замѣну всего, чего такъ глупо добивался всю жизнь и чего такъ умно не дала мнѣ судьба, зане такого мудренаго кушанья у нея не оказалось.

«Да поди—займись тутъ чѣмъ-нибудь!.. А тебѣ опять-таки скажу: благую избралъ ты часть. Если обстоятельства настоятельно потребуютъ твоего переѣзда въ Питеръ, тогда дѣло другое; но безъ крайней нужды запрягаться въ телѣгу срочной работы—это безуміе, хотя бы работа давала и чортъ знаетъ что!.. Еще разъ поздравляю тебя за мудрое рѣшеніе, и жалѣю, что не могу послѣдовать твоему примѣру.

«2-я книжка «Современника» вышла во́-время. Она лучше первой. Но Никитенко такъ поправилъ одно мѣсто въ моей статьѣ о Гоголѣ, что я до сихъ поръ хожу какъ человѣкъ, получившій въ обществѣ оплеуху. Вотъ въ чемъ дѣло: я говорю въ статьѣ [1]), что де *мы*, хваля Гоголя, не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, то и теперь *мы* не считаемъ нужнымъ дѣлать это; а онъ, добрая душа! въ первомъ случаѣ *мы* замѣнилъ словомъ *нѣкоторые*—и вышла, во-первыхъ, галиматья, а во-вторыхъ, что-то въ родѣ подлаго отпирательства отъ прежнихъ похвалъ Гоголю и сваленія вины на другихъ. А тамъ еще цензора подрадѣли—и все это произвольно, безъ основанія. Вотъ они—поощренія къ труду!»

Любопытны въ томъ же письмѣ сужденія Бѣлинскаго о Литтре и Луи-Бланѣ.

«Статья о физіологіи Литтре [2])—прелесть! Вотъ человѣкъ! Отъ него морщится Revue des Deux Mondes, хотя и печатаетъ его статьи; а соціальные и добродѣтельные ослы не въ состояніи и понять его. Я безъ ума отъ Литтре, именно потому, что онъ равно не принадлежитъ ни... ворамъ-умникамъ J. d. Débats и Revue d. D. M., ни соціалистамъ (по мнѣнію Бѣлинскаго, выродившимся изъ фантазій генія Руссо)... Кстати: въ C. de France я прочелъ отрывокъ изъ 1-го тома «Исторіи револ.» Луи-Блана. Это—его сужденіе о Вольтерѣ! Святители... да это Шевыревъ! Все, что говоритъ Луи-Бланъ въ порицаніе Вольтера, справедливо, да глупо то, что

[1]) Въ статьѣ о «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями». «Совр.» 1847, кн. 2. крит., стр. 122. Сочин., XI стр. 100.

[2]) «Важность и успѣхи физіологіи», во 2-й книгѣ «Современника».

онъ не судитъ о немъ, а осуждаетъ его, и притомъ какъ нашего современника, какъ сотрудника J. d. Débats. Я въ первый разъ понялъ всю гадость и пошлость духа партій. Въ то же время, я понялъ, отчего «Hist. des dix ans» такъ хороша, несмотря на всѣ ея нелѣпости: отъ того, что это памфлетъ, а не исторія. Луи-Бланъ—историкъ современныхъ событій; но за прошедшее, сдѣлавшееся исторіею, ему, кажется, не слѣдовало бы браться. Вотъ ужъ сколько времени лежитъ у меня книжка «Revue des Deux Mondes» съ статьею объ Огюстѣ Контѣ и Литтрé—и не могу прочесть, потому что запнулся на гнусномъ взглядѣ этого журнала съ первыхъ же строкъ статьи. Бѣда мнѣ съ моими нервами! Что не по мнѣ—дѣйствуетъ на меня болѣзненно; но пересилю себя и прочту.

«О себѣ мнѣ нечего тебѣ сказать новаго. Впрочемъ, вотъ уже съ недѣлю, какъ здоровье мое какъ будто лучше и желудокъ какъ будто поправляется. За то скучаю смертельно. Безъ Тургенева я осиротѣлъ плачевно. Можетъ быть, отъ этого во мнѣ опять пробудилась давно оставившая меня охота писать длинныя письма. Пожалуйста, пиши ко мнѣ: въ теперешнемъ моемъ положеніи, ты сдѣлаешь мнѣ этимъ много добра.

«Читалъ-ли ты *Переписку* Гоголя? Если нѣтъ, прочти. Это любопытно и даже назидательно... А славянофилы... напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Они... трусы, люди не консеквентные, боящіеся крайнихъ выводовъ собственнаго ученія; а онъ человѣкъ храбрый, которому нечего терять»...

На другой день Бѣлинскій пишетъ опять къ Боткину, и еще къ Галахову и Кавелину. Предметомъ этихъ писемъ были опять дѣла журнала [1]), а письмо къ Боткину занято, кромѣ того, предположеніями о поѣздкѣ на воды.

«...Твое послѣднее письмо глубоко меня тронуло,—пишетъ Бѣлинскій.—Человѣкъ лѣнивый и тяжелый на подъемъ, я во всю жизнь мою ни разу не хлопоталъ такъ усердно о себѣ, какъ хлопочешь ты обо мнѣ, при этомъ рѣшаясь по прежнему на жертвы для меня, которыя должны поставить тебя въ стѣсненное положеніе. Понялъ-ли я все это и какъ отозвалось все это во мнѣ—объ этомъ распространяться не буду»...

Средствъ на поѣздку, конечно, не было; Бѣлинскій жалуется, что отъ журнала—«и такъ забрался страшно—за полгода впередъ, а заработалъ только два мѣсяца. Да... бѣдный человѣкъ—парія общества». Эти средства на поѣздку надѣялся найти для него Боткинъ.

Черезъ нѣсколько дней, 17 февраля, Бѣлинскій снова пишетъ Боткину большое письмо, въ родѣ тѣхъ «тетрадей», какія писывалъ къ нему прежде. Онъ разсказываетъ нѣкоторые анекдоты, происходившіе по редакціонной части журнала; извѣщаетъ, что они

[1]) Два послѣднія письма не существуютъ.

надѣются помѣстить статью Боткина («Письма объ Испаніи») въ слѣдующей 3-й книгѣ,—что редакція «Современника» и съ своей стороны хочетъ принять участіе въ устройствѣ поѣздки Бѣлинскаго за границу. Затѣмъ литературныя новости:

«Тургеневъ хочетъ перевести нѣмцамъ статью Кавелина: «Юрид. бытъ Россіи до Петра В.». Скажи ему это, равно какъ и то, что помѣщеніемъ своихъ критическихъ статей на книгу Погодина въ «Отеч. Зап.» онъ растерзалъ мое сердце и усилилъ мои немощи. Кронебергъ—только переводчикъ, а какъ сотрудникъ — хуже ничего нельзя придумать. Современное для него не существуетъ, онъ весь въ римскихъ древностяхъ да въ Шекспирѣ. При этомъ, страшно лѣнивъ... Повѣсть Кудрявцева никому не нравится. Поди ты тутъ!»

Для объясненія словъ Бѣлинскаго о Кавелинѣ надо опять припомнить отношеніе московскихъ друзей къ «Современнику». Они находили, что Бѣлинскій не играетъ въ редакціи журнала той господствующей роли, какая, по ихъ мнѣнію, ему подобала; выше замѣчено, что недовольные этимъ, и относя свое собственное участіе въ журналѣ къ Бѣлинскому, они если не совсѣмъ отдалились отъ «Современника», то по крайней мѣрѣ стали смотрѣть на него такъ же, какъ на «От. Записки», и не находили основанія поддерживать исключительно первый, когда оба журнала представляли тогда одинъ въ сущности характеръ... Этотъ вопросъ очень волновалъ Бѣлинскаго и сталъ предметомъ длинныхъ разсужденій и страстныхъ выходокъ въ перепискѣ Бѣлинскаго за 1847 годъ. Во-первыхъ, онъ никакъ не могъ помириться съ тѣмъ, чтобы лучшіе друзья, въ союзѣ которыхъ онъ не сомнѣвался при началѣ дѣла, могли давать поддержку своихъ именъ и трудовъ журналу, который теперь вызывалъ въ немъ крайнюю вражду. Онъ не разъ возвращается къ этому предмету, усиливаясь возобновить ту связь съ московскими друзьями, на которую такъ надѣялся. Во-вторыхъ, и самъ Бѣлинскій относительно внутренняго устройства журнала бывалъ въ разныхъ настроеніяхъ. Между петербургскими друзьями также были люди, раздѣлявшіе взглядъ московскихъ. Бѣлинскій иногда соглашался съ ними, бывалъ недоволенъ, недоумѣвалъ; но его огорчало, что друзья охладѣвали къ «Современнику», и тяготило его собственное положеніе между двумя непріязненными сторонами, которыя ему хотѣлось примирить...

Затѣмъ слѣдуетъ длинный трактатъ объ Огюстѣ Контѣ. Бѣлинскій прочелъ въ «Revue d. Deux Mondes» статью Сессе (Saisset) о положительной философіи; у него составилось о Контѣ неблагопріятное мнѣніе.

«Сколько можно получить понятіе о предметѣ изъ вторыхъ рукъ, я понялъ Конта, въ чемъ мнѣ особенно помогли разговоры и споры съ тобою, которые только теперь уяснились для меня. Контъ—человѣкъ замѣчательный; но чтобъ онъ былъ основателемъ новой философіи—далеко кулику до Петрова дня! Для этого нуженъ геній, котораго нѣтъ и признаковъ въ Контѣ»...

Контъ замѣчателенъ, какъ реакція теологическому вмѣшательству въ науку, реакція энергическая и тревожная; но его умъ сухой, и въ немъ нѣтъ творчества. Литтрѐ хотя и ограничивается смиренной ролью его ученика, но это очевидно натура болѣе богатая. Къ автору статьи, Сессе, Бѣлинскій возымѣлъ (очень справедливо) антипатію, какъ метафизическому эклектику, который говоритъ съ презрѣніемъ о нѣмецкой философіи, не имѣя о ней никакого понятія.

Контъ находитъ природу несовершенною, и Бѣлинскій видитъ въ этой мысли явное доказательство, что онъ не можетъ основать новаго философскаго ученія. Эта мысль есть только крайность, противопоставленная крайности піэтистовъ. находящихъ, что въ природѣ все совершенно, все премудро размѣрено и разсчитано, что во всѣхъ ея явленіяхъ, даже въ страшномъ распложеніи крысъ и мышей, скрывается великая польза. Наперекоръ мнѣнію піэтистовъ, Контъ утверждаетъ другую нелѣпость, что природа несовершенна, и могла бы быть совершеннѣе:

«Послѣднее—чепуха, первое справедливо,—замѣчаетъ Бѣлинскій,—да въ несовершенствѣ-то природы и заключается ея совершенство. Совершенство есть идея абстрактнаго трансцендентализма, и потому оно—подлѣйшая вещь въ мірѣ. Человѣкъ смертенъ, подверженъ болѣзни, голоду, долженъ отстаивать съ бою жизнь свою—это его несовершенство, но имъ-то и великъ онъ, имъ-то и мила и дорога ему жизнь его. (Если застраховать человѣка отъ смерти, болѣзни и пр...) онъ—турецкій паша, скучающій въ вѣковомъ блаженствѣ, хуже—онъ превратится въ скота. Контъ не видитъ историческаго прогресса, живой связи, проходящей живымъ нервомъ по живому организму исторіи человѣчества. Изъ этого я вижу, что область исторіи закрыта для его ограниченности»...

Въ общемъ выводѣ Бѣлинскій думаетъ, что основатель новой философіи долженъ освободить науку отъ призраковъ трансцендентализма, отъ всего фантастическаго и мистическаго, но что Контъ этого не сдѣлаетъ, а только, со многими другими замѣчательными умами, поможетъ сдѣлать это призванному:

«Ломоносовъ былъ въ естественныхъ наукахъ великимъ ученымъ своего времени,—говоритъ далѣе Бѣлинскій въ томъ же письмѣ—а по части *исторіи* онъ былъ равенъ ослу Тредьяковскому.

ясно, что область исторіи была внѣ его натуры. Контъ уничтожаетъ метафизику не какъ науку трансцендентальныхъ нелѣпостей, но какъ науку законовъ ума; для него послѣдняя наука, наука наукъ— физіологія. Это доказываетъ, что область философіи такъ же внѣ его натуры, какъ и область исторіи, и что исключительно-доступная ему сфера знанія есть математическія и естественныя науки. Что дѣйствія, т.-е. дѣятельность ума есть результатъ дѣятельности мозговыхъ органовъ—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но кто же подсмотрѣлъ актъ этихъ органовъ при дѣятельности нашего ума? Подсмотрятъ ли ее когда-нибудь? Контъ возложилъ свое упованіе на дальнѣйшіе успѣхи френологіи; но эти успѣхи подтвердятъ только тождество физической природы (человѣка) съ его духовною природою — не больше. Духовную природу человѣка не должно *отдѣлять* отъ его физической природы, какъ что-то особенное и независимое отъ нея, но должно *отличать* отъ нея, какъ область анатоміи отличаютъ отъ области физіологіи. Законы ума должны наблюдаться въ дѣйствіяхъ ума. Это дѣло логики, науки, непосредственно слѣдующей за физіологіею, какъ физіологія слѣдуетъ за анатоміею. Метафизику къ чорту: это слово означаетъ сверхъ-натуральное, слѣдовательно нелѣпость, а логика, по самому своему этимологическому значенію, значитъ, и *мысль*, и *слово*. Она должна итти своею дорогою, но только не забывать ни на минуту, что предметъ ея изслѣдованій — цвѣтокъ, корень котораго въ землѣ, т.-е. духовное, которое есть не что иное, какъ дѣятельность физическаго. Освободить науку отъ призраковъ трансцендентализма и thlg., показать границы ума, въ которыхъ его дѣятельность плодотворна, оторвать его навсегда отъ всего фантастическаго и мистическаго — вотъ что сдѣлаетъ основатель новой философіи, и вотъ чего не сдѣлаетъ Контъ, но что, вмѣстѣ со многими подобными ему замѣчательными умами, онъ поможетъ сдѣлать *призванному*. Самъ же онъ слишкомъ узко построенъ для такого широкаго, многообъемлющаго дѣла. Онъ реакторъ, а не зиждитель, онъ зарница, предвѣстница бури, а не буря, онъ одно изъ тревожныхъ явленій, предсказывающихъ близость умственной революціи, но не революція. Геній — великое дѣло; онъ какъ Петрушка Гоголя носитъ съ собою собственный запахъ: отъ Конта не пахнетъ геніальностью. Можетъ быть, и ошибаюсь, но таково мое мнѣніе».

Въ томъ же французскомъ журналѣ нашелъ онъ статью о новомъ, вышедшемъ тогда, сочиненіи Шеллинга.

«У меня было какое-то смутное понятіе о новомъ мистическомъ ученіи Шеллинга. Тома (авторъ статьи) говоритъ, что Шеллингъ деизмъ называетъ imbécile (съ чѣмъ и поздравляю Пьера Леру) и презираетъ его больше атеизма, который онъ несказанно презираетъ. Кто же онъ? онъ пантеистъ-христіанинъ, и создалъ для избранныхъ натуръ (аристократіи человѣчества) удивительно изящную церковь, въ которой обителей много. Бѣдное человѣчество! Добрый Одоевскій разъ не шутя увѣрялъ меня, что нѣтъ черты, отдѣляющей сумасшествіе отъ нормальнаго состоянія ума, и что ни

въ одномъ человѣкѣ нельзя быть увѣреннымъ, что онъ не сумасшедшій. Въ приложеніи не къ одному Шеллингу, какъ это справедливо! У кого есть система, убѣжденіе, тотъ долженъ трепетать за нормальное состояніе своего разсудка»...

Онъ совѣтуетъ Боткину прочесть статью Губера о книгѣ Гоголя (въ «Спб. Вѣд.» 1847, № 35): эта статья кажется ему «замѣчательнымъ и отраднымъ явленіемъ»; спрашиваетъ, прочелъ ли Боткинъ книгу Макса Штирнера...

На тѣхъ же дняхъ, 19 февраля, Бѣлинскій писалъ къ Тургеневу, который незадолго передъ тѣмъ уѣхалъ заграницу. Бо́льшая доля этого письма напечатана въ воспоминаніяхъ Тургенева [1]); главнымъ образомъ оно занято извѣстіями объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ редакціи «Современника» и спорахъ объ этомъ съ московскими друзьями. Прибавимъ изъ этого письма нѣсколько отзывовъ Бѣлинскаго о тогдашнихъ литературныхъ новостяхъ:

«...Достоевскаго переписка шуллеровъ [2]), къ удивленію моему, мнѣ просто не понравилась — насилу дочелъ. Это общее впечатлѣніе...

«Некр. написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореніе. Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ 3 №), то пришлю къ вамъ въ рукописи [3]). Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его талантъ!

«Повѣсть Кудрявцева [4]) не имѣла никакого успѣха: откуда ни послышишь — не то, что бранятъ, а холодно отзываются».

Въ письмѣ къ Боткину, отъ 26 февраля, Бѣлинскій опять благодаритъ своего друга за хлопоты объ его дѣлахъ. «Меня не одно то трогаетъ, — говоритъ онъ, — что ты всюду собираешь для меня деньги, и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занятъ моею поѣздкою, какъ своимъ собственнымъ сердечнымъ интересомъ. А я все браню тебя, да пишу тебѣ грубости». Онъ и теперь бранитъ его за нечеткую рукопись «Писемъ объ Испаніи», которая сдѣлала для него корректуру очень трудной: особенно онъ проситъ Боткина избѣгать частаго употребленія испанскихъ словъ — и не отвѣчаетъ за то, какъ они явились въ печати: «если увидишь, что отъ нихъ равно откажутся и въ Мадридѣ и въ Марокко, или равно признаютъ ихъ своими и тамъ и сямъ, то пеняй на себя». При

---

[1]) «Вѣстн. Евр.», тамъ же, стр. 726—728.

[2]) «Романъ въ девяти письмахъ», — «Совр.» 1847, кн. 1, смѣсь, стр. 45—54.

[3]) Рѣчь идетъ вѣроятно о стих. «Нравственный человѣкъ«, которое и было помѣщено въ 3-й книгѣ «Современника».

[4]) «Безъ разсвѣта», въ 1-й кн. «Совр.».

этомъ онъ сообщаетъ и другое свѣдѣніе относительно «Писемъ объ Испаніи»:

«Скажу тебѣ пренепріятную вещь: статью твою Куторга (цензоръ) порядочно поцарапалъ—говоритъ: политика. Дѣйствительно, у тебя много вышло рѣзко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою къ испанскому правительству—терпимость на этотъ разъ измѣнила тебѣ. Вотъ тутъ и пиши! Впрочемъ, Некр. говоритъ, что выкинуто строкъ 30, но ты понимаешь, какихъ. Не знаю, какъ это извѣстіе подѣйствуетъ на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сихъ поръ не могу привыкнуть къ этой отеческой расправѣ, которую испытываю чуть не ежедневно».

Затѣмъ, опять рѣчь о поѣздкѣ. Боткинъ писалъ ему, какое участіе выразилъ къ дѣламъ Бѣлинскаго Анненковъ (въ письмѣ къ Боткину). «Я понимаю, какое содержаніе письма Анненкова. Это меня нисколько не удивило. Я давно знаю, что за человѣкъ Анненковъ, и знаю, что онъ любитъ меня. Тѣмъ не менѣе, съ нетерпѣніемъ жду этого письма».

Вскорѣ Бѣлинскій получилъ и письмо Анненкова, пересланное Боткинымъ, и 28 февраля снова пишетъ Боткину. Онъ былъ сильно тронутъ выраженіями дружеской привязанности, какія встрѣтилъ въ письмѣ Анненкова. «Говорю тебѣ безъ фразъ и безъ лицемѣрія,—пишетъ онъ Боткину по этому поводу,—что любовь ко мнѣ друзей моихъ часто меня конфузитъ и грустно на меня дѣйствуетъ, ибо, по совѣсти, не чувствую, не сознаю себя стоющимъ ея».

Далѣе, почти все письмо (или та часть его, какая намъ извѣстна,—потому что въ немъ какъ будто недостаетъ конца) занято предметомъ, который въ это время безпрестанно вращался въ мысляхъ Бѣлинскаго, — «Перепиской» Гоголя, возмутившей его до послѣдней степени. Боткинъ заговорилъ о статьѣ Бѣлинскаго въ «Современникѣ» (кн. 2) по поводу этой книги; слѣдующія слова Бѣлинскаго еще разъясняютъ его мнѣніе объ этой книгѣ и, вмѣстѣ, одну сторону его литературнаго характера:

«О статьѣ моей о Гоголѣ мнѣ не хотѣлось бы писать къ тебѣ, ибо я положилъ себѣ за правило—никогда и ни съ кѣмъ не спорить о моихъ статьяхъ, защищая ихъ. Но на этотъ разъ нарушаю мое правило, потому что ты боленъ и что въ твоемъ положеніи письмо пріятеля тѣмъ пріятнѣе, чѣмъ больше въ немъ разныхъ вздоровъ... Видишь ли, въ чемъ дѣло: ты рѣшительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно. Я не юмористъ, не острякъ; иронія и юморъ—не мои оружія. Если мнѣ удалось въ жизнь мою написать статей пятокъ, въ которыхъ иронія играетъ видную роль и съ бо́льшимъ или меньшимъ умѣньемъ выдержана,—это произошло совсѣмъ не отъ спокойствія, а отъ крайней степени бѣшенства,

породившаго, своею сосредоточенностію, другую крайность—спокойствіе. Когда я писалъ «типъ» на Шев. и статью о «Тарантасѣ» [1], я былъ не красенъ, а блѣденъ, и у меня сохло во рту, отъ чего на губахъ и не было пѣны. Я могу писать порядочно только на основаніи моей натуры, моихъ естественныхъ средствъ. Выходя изъ нихъ по разсчету или по необходимости,—я дѣлаюсь ни то, ни сё, ни ракъ, ни рыба. Теперь слушай: кромѣ того, что я боленъ и что мнѣ опротивѣла и литература и критика, такъ что не только писать, читать ничего не хотѣлось бы,—я еще принужденъ дѣйствовать внѣ моей натуры, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и выть шакаломъ, а обстоятельства велятъ мнѣ мурлыкать кошкою, вертѣть хвостомъ по-лисьи. Ты говоришь, что статья «написана безъ довольной обдуманности и нѣсколько съ плеча, тогда (какъ) за дѣло надо было взяться съ тонкостью» Другъ ты мой, потому-то, напротивъ, моя статья и не могла никакъ своею замѣчательностію соотвѣтствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумалъ. Какъ ты мало меня знаешь! Всѣ лучшія мои статьи нисколько не обдуманы. Это импровизаціи; садясь за нихъ, я не зналъ, что́ я буду писать. Если первая строка хватитъ издалека — статья болтлива, о дѣлѣ мало сказано; если первая строка ближе къ дѣлу,—статья хороша. И чѣмъ больше я ее запущу, чѣмъ меньше мнѣ времени писать ее, тѣмъ она энергичнѣе и горячѣе. Вотъ какъ я пишу!.. Статья о гнусной книгѣ Гоголя могла бы выдти замѣчательно хорошею. если бы я въ ней могъ, зажмуривъ глаза, отдаться моему негодованію и бѣшенству [2]. Мнѣ очень нравится статья Губера (читалъ ли ты ее?) именно потому, что она—писана прямо, безъ лисьихъ верченій хвостомъ. Мнѣ кажется, что она—моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумалъ, и потому впередъ зналъ, что отличною она не будетъ, и бился изъ того только, чтобы она была дѣльна и показала гнусность подлеца. И она такою и вышла у меня, а не такою, какою ты прочелъ ее. Вы живете въ деревнѣ и ничего не знаете. Эффектъ этой книги былъ таковъ, что Н., ее пропустившій, вычеркнулъ у меня часть выписокъ изъ книги, да еще дрожалъ и за то, что оставилъ въ моей статьѣ. Моего онъ и цензора вычеркнули цѣлую треть, а въ статьѣ обдуманной помарка слова—важное дѣло. Ты упрекаешь меня, что я разсердился и не совладѣлъ съ моимъ гнѣвомъ? Да (я) этого и не хотѣлъ. Терпимость къ заблужденію я еще понимаю и цѣню, по крайней мѣрѣ въ другихъ, если не въ себѣ, но терпимости къ подлости я не терплю. Ты рѣшительно не понялъ этой книги, если видишь въ ней *только* заблужденіе; а вмѣстѣ съ нимъ не видишь артистически-разсчитанной подлости. Гоголь—совсѣмъ

[1]) О взглядѣ Бѣлинскаго на «Тарантасъ» гр. Соллогуба, см., во-первыхъ, самыя статьи Бѣлинскаго (небольшая библіографическая статья въ «Отеч. Зап.» 1845, кн. 4, не помѣщенная въ изданіи, и большая критич. статья въ кн. 6-й; Сочин. IX, стр. 309—370); во-вторыхъ, Очерки Гогол. періода, въ «Соврем.» 1856, кн. 11, стр. 3—8, и восп. Панаева. «Совр.» 1860, кн. 1, стр. 363—364.

[2]) Такъ это было въ другомъ - случаѣ — въ извѣстномъ письмѣ его къ Гоголю, отъ іюня 1847.

не К. С. Аксаковъ. Это—Талейранъ, кардиналъ Фешъ, который всю жизнь обманывалъ Бога, а при смерти надулъ сатану... И отзывъ Анненкова о книгѣ Гоголя тоже не отзывается терпимостью. Повторяю тебѣ: умѣю вчужѣ понимать и цѣнить терпимость, но останусь гордо и убѣжденно нетерпимъ. И если сдѣлаюсь терпимымъ,—знай, что съ той минуты... во мнѣ умерло то прекрасное человѣческое, за которое столько хорошихъ людей (а въ числѣ ихъ и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоилъ того».

На другой день, 1 марта, онъ писалъ къ Тургеневу длинное письмо, сущность котораго приведена въ воспоминаніяхъ Тургенева [1]). Бѣлинскій отчасти выяснилъ себѣ свои личныя отношенія съ редакціей «Современника», но его смущало теперь другое—ему казалось, что редакція относится къ дѣлу слишкомъ лѣниво, апатически, что сдѣлано было много «ужасныхъ» ошибокъ, вслѣдствіе которыхъ успѣхъ журнала былъ не такъ великъ, какъ могъ бы быть,—хотя вообще Бѣлинскій былъ доволенъ его успѣхомъ (къ марту «Современникъ» имѣлъ до 1.700 подписчиковъ). Самой важной ошибкой онъ считалъ то, что не была въ первыхъ же номерахъ напечатана повѣсть Гончарова, которая,—говоритъ Бѣлинскій,—«по всѣмъ признакамъ должна произвести сильное впечатлѣніе». Она подѣйствовала бы иначе и на подписку. «Будь она напечатана въ первыхъ двухъ №№ вмѣсто... (плохой) повѣсти Панаева, можно клясться всѣми клятвами, что уже мѣсяцъ назадъ всѣ 2.100 экз. были бы разобраны, и, можетъ быть, надо было бы печатать еще 600 экз., которые тоже разошлись бы, хотя и медленно, и доставили бы собою небольшую, но уже чистую прибыль».

Въ этотъ же день Бѣлинскій писалъ П. В. Анненкову. Онъ высказываетъ и ему, что говорилъ уже въ письмахъ къ Боткину и Тургеневу,—какое отрадное впечатлѣніе произвело на него теплое участіе Анненкова къ его дѣламъ. Дѣло въ томъ, что Анненковъ, кромѣ другого содѣйствія поѣздкѣ Бѣлинскаго, измѣнилъ для него планъ своего собственнаго путешествія: отложилъ свое намѣреніе ѣхать въ Грецію и Константинополь и обѣщалъ выѣхать на встрѣчу Бѣлинскому и устроить его на водахъ въ Силезіи—что послѣ и исполнилъ.

Въ письмѣ къ Анненкову Бѣлинскій говоритъ о состояніи своего здоровья:

«Да, я было струхнулъ порядкомъ за свое положеніе, но теперь поправляюсь. Тильманъ ручается за выздоровленіе весною даже и въ Питерѣ, но всегда прибавляетъ: «а лучше бы ѣхать, если можно». Когда я сказалъ ему, что нельзя, онъ видимо насупился, а когда

[1]) «Вѣстн. Евр.», стр. 728—729.

потомъ сказалъ, что ѣду—онъ просіялъ. Изъ этого я заключаю, что въ Питерѣ можно меня починить до осени, а за-границею можно закрѣпить готовый развязаться и расползтись узелъ жизни. Вотъ уже съ мѣсяцъ чувствую я себя лучше, но упадокъ силъ у меня—страшный; устаю отъ всякаго движенія, иногда задыхаюсь отъ того, что переворочусь на кушеткѣ съ одного бока на другой»...

Онъ обѣщаетъ Анненкову привезти съ собой и запасъ петербургскихъ новостей. «Я знаю, что вы многое знаете черезъ Боткина, но я вамъ многое изъ этого многаго передамъ совсѣмъ съ другой точки зрѣнія». Это относилось, конечно, къ его дѣламъ въ «Современникѣ».

Черезъ нѣсколько дней Бѣлинскій снова пишетъ Боткину отъ 4 марта:

«Поѣздка не выходитъ у меня изъ головы. Энтузіазма нѣтъ и не будетъ никакого: въ этомъ отношеніи, я сильно измѣнился—самъ себя не узнаю. Но тѣмъ не менѣе, все вертится у меня около этой idée fixe, и я чувствую, что мнѣ тяжело было бы, еслибъ дѣло разстроилось. Письмо Анненкова озарило какимъ-то веселымъ и теплымъ колоритомъ мою поѣздку,—и я жду ея, какъ счастья дня»...

Дальше любопытенъ трактатъ о повѣстяхъ Кудрявцева. Этотъ писатель, которымъ нѣкогда Бѣлинскій такъ безгранично восхищался и къ которому до сихъ поръ питалъ теплую личную привязанность, окончательно пересталъ удовлетворять его своими повѣстями. Мы видѣли выше, что послѣднія его повѣсти уже внушали Бѣлинскому сомнѣнія, иныя вовсе не нравились. Теперь въ 3-й книгѣ «Отеч. Зап.» этого года, была помѣщена повѣсть Кудрявцева «Сбоевъ»; чтеніе ея навело Бѣлинскаго на слѣдующія размышленія:

«Кажется, таланту Кудрявцева—вѣчная память. Этотъ человѣкъ, видно, никогда на выйдетъ изъ своей коры. Онъ и въ Парижъ привезъ съ собою свою Москву. Что за узкое созерцаніе, что за бѣдные интересы, что за ребяческіе идеалы, что за исключительность типовъ и характеровъ. (Для объясненія своей мысли, Бѣлинскій дѣлаетъ сравненіе между повѣстями Кудрявцева и Гончарова...). Сильно ли понравится тебѣ повѣсть Гончарова, или и вовсе не понравится [1],—во всякомъ случаѣ, ты увидишь великую разницу между Гонч. и Кудр, въ пользу перваго. Эта разница состоитъ въ томъ, что Гончаровъ—человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, а Кудрявцевъ духовно-малолѣтній, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повѣсти, чувству-

---

[1]) Въ это именно время выходила «Обыкновенная Исторія» (1-я часть—въ 3-й книгѣ «Современника»; 2-я часть—въ 4-й книгѣ).

ешь, что онѣ могутъ быть понятны и интересны только для людей, близкихъ къ автору. Вотъ отъ чего нѣкогда я съ ума сходилъ отъ повѣстей Кудрявцева: я зналъ и любилъ его, въ немъ и въ нихъ было много моего, т.-е. такого, что было моимъ конькомъ. Того конька давно нѣтъ, и повѣсти не тѣ. Талантъ вижу въ нихъ и теперь, но чорта ли въ одномъ талантѣ. Земля цѣнится по ея плодородности, урожаямъ; талантъ—та же земля, но которая вмѣсто хлѣба родитъ истину. Порождая однѣ мечты и фантазіи, талантъ, даже большой—песчанникъ или солончакъ, на которомъ не родится ни былинки. Двѣ повѣсти выходятъ изъ ряда обычныхъ повѣстей Кудрявцева: *Послѣдній визитъ*, въ которомъ конецъ онъ все-таки испортилъ эффектомъ, и *Безъ разсвѣта*, въ которой прекрасное намѣреніе осталось гораздо выше исполненія. Стало быть, ничего удовлетворительнаго вполнѣ и вмѣстѣ дѣльнаго. Что же это? Слабость таланта?—Нѣтъ, вся бѣда въ томъ, что Кудрявцевъ москвичъ... Ахъ, господа, изображайте любовь и женщинъ, я вамъ не запрещаю этого на томъ основаніи, что я начисто раздѣлался съ подобными интересами; но изображайте не какъ дѣти, а какъ взрослые люди. Вонъ и въ повѣсти Гончарова любовь играетъ главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менѣе можетъ интересовать меня: а читаешь, словно ѣшь холодный, полу-пудовой сахаристый арбузъ въ знойный день».

Дальше — отзывы о 3-й книгѣ «Современника», которой онъ доволенъ, и жалобы на «палача»—цензора.

Письмо къ Боткину, отъ 8 марта, опять любопытно по тѣмъ выраженіямъ личныхъ задушевныхъ мыслей и отзывамъ о самомъ себѣ,—въ которыхъ мы уже не разъ видѣли чрезвычайно характеристическія опредѣленія его личности.

Въ началѣ письма онъ опять говоритъ о 3-й книгѣ (гдѣ было помѣщено начало «Обыкновенной Исторіи»), которая «произвела самое благопріятное впечатлѣніе на питерскую публику»; извѣщаетъ Боткина, что есть надежда—возстановить, въ слѣдующихъ статьяхъ то, что вычеркнулъ цензоръ въ первомъ «Письмѣ изъ Испаніи»: Никитенко, одинъ изъ близкихъ участниковъ журнала, надѣялся отстоять въ цензурномъ комитетѣ выброшенныя мѣста,—на томъ основаніи, что въ нихъ заключается «исторія» (которая не запрещалась совершенно), а не «политика» (которая совершенно запрещалась). Бѣлинскій недоволенъ въ 3-й книгѣ только повѣстью Диккенса, и по поводу ея даетъ любопытное свидѣтельство о своихъ «національныхъ» взглядахъ, которое, вмѣстѣ съ другими подобными признаніями, объясняетъ, кажется, почему друзья его видѣли въ немъ въ это время наклонность почти къ славянофильскому идеализму.

«Прочти пожалуйста повѣсть Диккенса *Битва жизни*, изъ нея ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколобіе этого ду-

бовато англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человѣкомъ. Это едва-ли не единственная плохая вещь, помѣщенная въ 3 № *Совр.*,—что мнѣ очень досадно. Уважаю практическія натуры, въ hommes d'action, но если вкушеніе сладости ихъ роли непремѣнно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я—натура русская. (Онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ...) Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность пока—эмбріонъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію. дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что намъ нечего дѣлать,—чѣмъ больше объ этомъ думаю, тѣмъ больше сознаю и убѣждаюсь, что это ложь. Грузинцамъ тоже нечего дѣлать, и мало-ли другихъ народовъ, ничего не дѣлающихъ, и все-таки бѣдныхъ замѣчательными личностями. Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится. Но о такомъ предметѣ надо говорить много, или совсѣмъ не говорить, и потому мнѣ досадно на себя, что я заговорилъ. Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я во всѣми объ этомъ говорилъ *такъ*: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патріотовъ, славянофиловъ..., витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, чѣмъ они до сихъ поръ считали меня»...

Въ письмѣ отъ 15 марта Бѣлинскій говоритъ объ извѣстныхъ статьяхъ Н. Ф. Павлова, вызванныхъ «Перепиской съ друзьями» Гоголя (въ «Моск. Вѣдомостяхъ» 1847): статьи эти чрезвычайно понравились Бѣлинскому.

«Здоровье мое,—начинаетъ онъ,—въ сравненіи съ прежнимъ лучше, но безотносительно — плохо. Тоска страшная, и не знаю, какъ дождаться вожделѣннаго дня отъѣзда. Только этою мыслію и живу; безъ нея, право, не знаю, что бы со мной теперь было. Новостей у насъ comme de raison нѣтъ никакихъ, а если какія и есть, онѣ извѣстны и у васъ. Книга Гоголя какъ будто пропала, — и я немного горжусь тѣмъ, что вѣрно предсказалъ (не печатно, а на словахъ) ея судьбу. Русскаго человѣка не надуешь такими продѣлками, а если и надуешь, такъ на минуту. Если еще не вовсе забыто существованіе этой книги, такъ это потому, что отъ времени до времени напоминаютъ о ней журнальныя статьи. Статья Н. Ф. Павлова—образецъ мастерства писать. Я перечелъ ее нѣсколько разъ, и съ каждымъ разомъ она кажется мнѣ все лучше и лучше. Сколько ума, какая послѣдовательность, какъ все ровно и цѣло; дочитывая

конецъ, ясно помнишь начало и середину! Словомъ — чудо, а не статья! Сначала на меня произвелъ было непріятное впечатлѣніе взглядъ на мертвопочитаніе *русской породы;* но я сообразилъ, что вся сила статьи въ томъ и заключается, что П. бьетъ Г. не своимъ, а его же оружіемъ, и имѣетъ въ виду доказать не столько нелѣпость книги, сколько ея противорѣчіе съ самой собою. Но особенно понравилась мнѣ въ статьѣ одна мысль—умная до невозможности. Это ловкій намекъ на то, что перенесенная въ сферу искусства книга Гоголя была бы превосходна, ибо ея чувства и понятія принадлежатъ законно Хлестаковымъ, Коробочкамъ, Маниловымъ и т. п. Это такъ умно, что мочи нѣтъ! Жаль одного: что эта превосходная статья напечатана въ «Моск. Вѣд.», — изданіи, сохраняющемъ свято внѣшнія формы временъ Петра Великаго, и читаемомъ только въ Москвѣ, да и то больше людьми солидными. Чтò, какъ бы позволилъ намъ Н. Ф. перепечатать его статью въ *Совр.*»?.. Право, отъ этого не однимъ намъ было бы хорошо: статья получила бы больше народности»...

Павловъ дѣйствительно предоставилъ «Современнику» перепечатать свои «Письма къ Н. В. Гоголю», которыя вскорѣ и появились въ этомъ журналѣ [1]).

Бѣлинскій продолжаетъ письмо черезъ два дня, разсказомъ о чрезвычайномъ успѣхѣ «Обыкновенной исторіи»:

«Повѣсть Гонч. произвела въ Питерѣ фуроръ—успѣхъ неслыханный! Всѣ мнѣнія слились въ ея пользу. Даже свѣтлѣйшій князь Волхонскій, черезъ дядю Панаева, изъявилъ ему, Панаеву, свое удовольствіе... Дѣйствительно, талантъ замѣчательный. Мнѣ кажется, что его особенность, такъ сказать, личность, заключается въ совершенномъ отсутствіи семинаризма, литературщины и литераторства, отъ которыхъ не умѣли и не умѣютъ освобождаться даже геніальные русскіе писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нѣтъ и признаковъ труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный разсказъ. Я увѣренъ, что тебѣ повѣсть эта сильно понравится. А какую пользу принесетъ она обществу! Какой она страшный ударъ романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинціализму!»...

Бѣлинскій говоритъ дальше о матеріальномъ положеніи «Современника», который «нравственно процвѣтаетъ», т.-е. пріобрѣтаетъ въ публикѣ авторитетъ и положительно считается лучшимъ журналомъ; успѣхъ его и за первый годъ (у него было теперь 1800 подписчиковъ) онъ называетъ небывалымъ и неслыханнымъ.

«Тургеневъ пишетъ, что... хочетъ жить въ Штетинѣ и, подобно Моинѣ, бродя по морскому берегу, ждать Фингала, т.-е. меня»...

---

[1]) Письма *первое* и *второе* — въ майской книгѣ 1847 г.; *четвертое (прямо послѣ* второго)—въ августовской. Но третьяго письма, кажется, такъ *и не было (!).*

Въ концѣ марта или началѣ апрѣля, Бѣлинскому пришлось вынести еще одно бѣдствіе, сильно его поразившее — потерю маленькаго сына (у него осталась дочь, родившаяся въ половинѣ 1845). Онъ пишетъ къ Тургеневу отъ 12 апрѣля [1]).

«Вскорѣ по полученіи вашего второго ко мнѣ письма, въ которомъ вы изъявляете свое удовольствіе о здоровьи моего сына [2]), — онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленною смертью. Но довольно объ этомъ. Къ дѣлу. Я взялъ билетъ на первый штетинскій пароходъ (Владиміръ); онъ отходитъ 4/16 мая.

«Я уже публикуюсь [3]); свидѣтельство Тильмана вчера отправлено въ физикатъ» [4])...

Отъ 22 апрѣля Бѣлинскій опять пишетъ Боткину очень длинное письмо, посвященное вопросамъ о журналѣ и личнымъ дѣламъ. Журналомъ онъ вообще доволенъ, и думаетъ, что впредь онъ долженъ пойти еще лучше, предполагая, что московскіе друзья окажутъ ему свое содѣйствіе. Онъ сравниваетъ «Современникъ» съ тогдашними «Отеч. Записками» и отдаетъ первому рѣшительное предпочтеніе. Самое начало письма занято длиннымъ объясненіемъ отношеній редакціи (и самого Бѣлинскаго) къ одному изъ московскихъ пріятелей и сотрудниковъ, Мельгунову, который хотя отличался большой ревностью къ журналу, но редакціи не казался особенно полезнымъ сотрудникомъ, и Бѣлинскій проситъ Боткина деликатнымъ образомъ умѣрить его усердіе.

Между прочимъ Бѣлинскій въ это время возымѣлъ планъ — оставить совсѣмъ Петербургъ и переселиться въ Москву.

«Скажу тебѣ о себѣ новость, которая удивитъ тебя. Я рѣшился переѣхать жить въ Москву, и это можетъ быть, если не встрѣтится особенныхъ препятствій, по послѣднему снѣжному пути конца будущей зимы 1848 года. Я привыкъ къ Питеру, люблю его какою-то странною любовью за многое даже такое, за что бы нечего любить его; въ немъ много удобствъ. Въ Москвѣ меня, кромѣ друзей, ничто не привлекаетъ; какъ городъ, я не люблю ея. Но жить въ Петербургскомъ климатѣ, на понтинскихъ болотахъ, гнилыхъ и холодныхъ, мнѣ больше нѣтъ никакой возможности. Если я поправлюсь за границею, въ Питерѣ черезъ годъ, будущею же весною, могу придти опять въ прежнее положеніе»...

---

[1]) Отрывокъ этого письма въ «В. Евр.», стр. 729.

[2]) Онъ былъ крестникомъ Тургенева.

[3]) Тогда отъѣзжающимъ за границу нужно было предварительно публиковаться о томъ въ газетахъ.

[4]) Другое *условіе*, нужное для отъѣзда.

Прежнее положеніе дѣйствительно вернулось, но еще въ худшей степени; Бѣлинскій не успѣлъ исполнить своего плана.

Вотъ еще отрывокъ изъ того же письма:

«О, если бы только мнѣ ожить,—да лишь бы московскіе друзья наши не охладѣли въ своей рѣшимости поддерживать «*Совр.*»,—осенью же нынѣшнею это былъ бы журналъ, именно такой, какого въ наше время нужно! Вникая въ себя, я чувствую, что во мнѣ убита только сила работать, но не сила души; меня все занимаетъ, волнуетъ, бѣситъ по прежнему, голова работаетъ безпрестанно. Но если не поправлюсь физически—погибъ всячески, погибъ страшно!

«Хотѣлось бы обо многомъ поговорить съ тобою, особенно на счетъ *Хоря и Калиныча;* мнѣ кажется, что въ отношеніи къ этой пьесѣ, такъ рѣзко замѣчательной, ты совсѣмъ не правъ. Но писать некогда; времени не много, а работы бездна, благо я могу теперь хоть черезъ силу работать.

«Нынѣшній годъ въ денежномъ отношеніи для меня ужасенъ, хуже прошлаго: я забралъ *всѣ* деньги по 1-е января 1848 года [1]), безъ меня жена, а потомъ я по пріѣздѣ осенью, будемъ забирать сумму 1848 года. У меня на лекарства выходитъ рублей 30 и 40 серебромъ въ мѣсяцъ, если не больше, да рублей 50 сер. стóитъ докторъ. Домъ мой—лазаретъ»...

Послѣднія письма изъ Петербурга писаны имъ въ день отъѣзда, 5 мая. Въ письмѣ къ Боткину онъ говоритъ.

«Если я ворочусь возстановленнымъ и мое бѣдное семейство увѣрится, что его опора съ нимъ,—это твое дѣло. Вотъ лучшая благодарность съ моей стороны за все то, что ты для меня сдѣлалъ... Ѣду я въ Зальцбруннъ, около Шведница и Фрейбурга, недалеко отъ Бреславля. Пробыть *постараюсь* до половины ноября по старому стилю... Утѣшь и успокой меня, докончи и доверши... все, чтó уже сдѣлалъ ты для меня... Въ мое отсутствіе перенеси свою заботливость на мое семейство. Ты такой человѣкъ, на котораго можно положиться больше, чѣмъ на кого-нибудь. За это и терпи въ чужомъ пиру похмѣлье.

«Хотѣлъ бы обо многомъ писать къ тебѣ, да некогда, не до того. Прощай. Обнимаю тебя крѣпко. Всѣмъ нашимъ поклонъ и братское привѣтствіе отъ меня. К-на обними за меня. Это сынъ моего сердца, у меня къ нему особенная симпатія, и я знаю, за что онъ меня любитъ и за что я его люблю. Еще разъ прощай»...

Бѣлинскій сѣлъ на пароходъ 5 мая; 9-го онъ былъ въ Штетинѣ, 10-го пріѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Берлинъ, гдѣ нашелъ Тургенева.

---

[1]) *Т.-е.* изъ редакціи «Современника»; на первый годъ онъ долженъ *былъ получать* 8,000 р., на второй 12,000 р. асс.

Собственные разсказы Бѣлинскаго объ его путешествіи за границу находятся въ его письмахъ къ домашнимъ, и въ двухъ-трехъ письмахъ къ друзьямъ. Приводимъ нѣкоторыя подробности.

Бѣлинскій, на первыхъ же порахъ, замѣчаетъ, что онъ вовсе не путешественникъ, и дѣйствительно, бо́льшей частью путешествіе было для него тягостно: прежде всего онъ уже скоро начинаетъ скучать по дому, и чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе; во-вторыхъ, его очень сильно стѣсняло незнаніе иностранныхъ языковъ и, по его словамъ, съ перваго же раза это надѣлало ему «много хлопотъ и комическихъ несчастій». Путешествіе до Штетина не было особенно пріятно: «пароходъ «Владиміръ» внутри убранъ великолѣпно,—пишетъ Бѣлинскій,—но удобства никакого и тѣснота страшная; за столъ въ шубѣ сѣсть нельзя — и тѣсно и жарко, а положить ее некуда; я понялъ, какъ корабли набиваютъ неграми торгующіе этимъ товаромъ; буфетъ снабженъ гадко»;—на воздухѣ было холодно; наконецъ была и качка съ ея послѣдствіями. Съ пріѣзда въ Штетинъ начинаются «комическія несчастія»: надо было торопиться на желѣзную дорогу, Бѣлинскій добрался до нея не безъ приключеній; въ Берлинѣ ему попался на станціи трактирный слуга, говорившій порусски, и только съ его помощью Бѣлинскій розыскалъ Тургенева [1]): «я почувствовалъ себя въ пристани; со мною была моя нянька».

Отправляться въ Силезію было еще рано; поэтому, поживши дня три въ Берлинѣ, Бѣлинскій и Тургеневъ поѣхали въ Дрезденъ. Здѣсь случилось новое «комическое несчастіе». Въ дрезденской галереѣ они встрѣтились съ г-жей Віардо, которая между прочимъ заговорила съ представленнымъ ей Бѣлинскимъ, чѣмъ и повергла его въ величайшее затрудненіе.

«*Все шло хорошо*,—разсказываетъ съ сокрушеніемъ Бѣлинскій,—какъ вдругъ, уже въ послѣдней залѣ, *m-me* Віардо, быстро обратившись ко мнѣ, сказала: лучше ли вы себя чувствуете? Я такъ потерялся, что ничего не понялъ, она повторила, а я еще больше смѣшался; тогда она начала говорить по-русски очень смѣшно, и сама хохотала. Тутъ я наконецъ понялъ, въ чемъ дѣло, и подлѣйшимъ французскимъ языкомъ... отвѣчалъ ей, что мнѣ лучше»...

Изъ Дрездена Бѣлинскій и Тургеневъ сдѣлали обычную экскурсію въ саксонскую Швейцарію.

«Я ходилъ пѣшкомъ,—говоритъ Бѣлинскій,—ѣздилъ верхомъ, носили меня на носилкахъ... видѣлъ чудную природу, прекрасныя

[1]) Въ «Воспом.» Тургенева неточность. «Вѣстн. Евр.», стр. 729.

и грандіозная мѣстоположенія... но все это скоро надоѣло мнѣ. У меня ужасная способность скоро привыкать къ новости. И потому, мнѣ въ тотъ же день показалось, что я лѣтъ сто сряду видѣлъ всѣ эти дива дивныя, и они давно мнѣ наскучили какъ горькая рѣдька»...

Понятно, что дѣло было не въ этой «ужасной способности привыкать къ новости»,—а просто въ томъ, что Бѣлинскій и не думалъ о томъ, что было передъ его глазами: онъ былъ разсѣянъ, скучалъ, ему хотѣлось быть дома—съ этимъ онъ сдѣлалъ все свое путешествіе. Послѣ онъ и самъ въ этомъ сознается.

Наконецъ, 22 мая они пріѣхали въ Зальцбруннъ. Бѣлинскій подсмѣивается надъ тѣмъ, что Тильманъ, въ запискѣ объ его болѣзни, счелъ нужнымъ упомянуть «о романтическихъ окрестностяхъ Зальцбрунна, которыя невольно влекутъ *чувствительное сердце* къ наслажденію природой». Оказывалось что природа вся загорожена, занята домами и полями; Бѣлинскаго удивила страшная тѣснота, но онъ признавалъ, что мѣстоположеніе дѣйствительно хорошо и манитъ къ прогулкѣ.—Изъ своего еще очень короткаго путешествія, Бѣлинскій уже теперь извлекъ «глубокое убѣжденіе», что онъ вовсе не путешественникъ:

«Въ другой разъ меня и калачемъ не выманишь изъ дому. Еще другое дѣло съ семействомъ; а одному—слуга покорный! Мнѣ становится страшно... Я не гожусь въ путешественники еще и по слабости моего здоровья: вставай, ложись, ѣшь безъ порядку, когда можно, а не когда хочешь. Еслибъ не желаніе основательно вылечиться, я въ августѣ махнулъ бы домой, не жалѣя, что я не видѣлъ того и этого».

Зальцбрунскій докторъ, по виду Бѣлинскаго, ручался за его выздоровленіе,—предписалъ діэту, сыворотку изъ козьяго молока и минеральную мѣстную воду. На первое время Бѣлинскій чувствовалъ себя тяжело, потомъ ему казалось, что леченье дѣйствуетъ на него хорошо; онъ чувствовалъ себя здоровѣе и крѣпче; но лѣто было очень дурное, вмѣсто лѣта стояла «осень, осень и осень, да еще какая—петербургская»; отъ холода и сырости не было спасенія—за отсутствіемъ печей въ домѣ, гдѣ онъ жилъ. Погода мѣшала и прогулкамъ въ окрестности, которыхъ они и видѣли мало. Къ концу мая (29-го) пріѣхалъ изъ Парижа въ Зальцбруннъ П. В. Анненковъ, который съ тѣхъ поръ и взялъ Бѣлинскаго на свое попеченіе. Докторъ, лечившій Бѣлинскаго, сначала, какъ водится, внушилъ ему большое довѣріе; потомъ это довѣріе поколебалось; подъ конецъ Бѣлинскій говорилъ о немъ съ озлобленіемъ, какъ о невѣждѣ и шарлатанѣ. Онъ поилъ Бѣлинскаго минеральной водой

и сывороткой изъ своего заведенія (причемъ за козье молоко выдавалось иной разъ и коровье), но не могъ объяснить теченія болѣзни и являвшихся припадковъ. Къ концу пребыванія въ Зальцбруннѣ Бѣлинскій такъ описываетъ состояніе своего здоровья:

«На этотъ счетъ я и теперь не могу сказать ничего опредѣленнаго и положительнаго, ни въ хорошемъ, ни въ худомъ отношеніи. Съ одной стороны, мое здоровье плохо, ибо одышка, судорожное дыханіе и стукотня въ голову, не позволяющая откашливаться, мучитъ меня почти такъ же, какъ мучила въ Петербургѣ; съ другой стороны, я чувствую себя крѣпче не только того, какъ я былъ въ Петербургѣ, но и чуть ли не крѣпче того, какъ я чувствовалъ себя въ прошлое лѣто, во время поѣздки (а я тогда чувствовалъ себя очень недурно)... Аппетитъ и сонъ у меня совершенно въ порядкѣ». «Но главное,—прибавляетъ онъ въ другомъ письмѣ,—я сталъ несравненно крѣпче тѣломъ и бодрѣе духомъ».

Онъ возлагалъ надежды на то, что Зальцбруннъ на иныхъ дѣйствуетъ заднимъ числомъ, т.-е. уже спустя нѣкоторое время и что теплая погода, которая когда-нибудь наступитъ, довершитъ дѣйствіе леченья.

Однажды, когда погода въ Зальцбруннѣ была особенно мрачная,—Бѣлинскій говоритъ о себѣ: «я раскисъ и изнемогъ душевно, насилу отчитался Мертвыми Душами». Любопытно сопоставить съ этимъ фактъ, что именно въ это время произошла у Бѣлинскаго извѣстная переписка съ Гоголемъ. Мы видѣли, какъ «Выбранныя мѣста» возмутили Бѣлинскаго, который, кромѣ своей статьи объ этой книгѣ, перепечаталъ еще «Письма» Павлова. Гоголь былъ смущенъ жалкой неудачей своей книги, но и явно раздосадованъ нападеніями, и написалъ Бѣлинскому письмо, въ двусмысленномъ тонѣ смиренія и колкости [1]). Бѣлинскій отвѣчалъ, изъ Зальцбрунна,

---

[1]) «Я прочелъ съ прискорбіемъ статью вашу обо мнѣ въ «Современникѣ»,—писалъ Гоголь между прочимъ,—не потому, чтобы мнѣ прискорбно было униженіе, въ которое вы хотѣли меня поставить въ виду всѣхъ, но потому, что въ ней слышенъ голосъ человѣка, на меня разсердившагося. А мнѣ не хотѣлось бы разсердить человѣка, даже не любящаго меня, тѣмъ болѣе васъ, который—думалъ я—любилъ меня. Я вовсе не имѣлъ въ виду огорчить васъ ни въ какомъ мѣстѣ моей книги. Какъ же вышло, что на меня разсердились всѣ до единаго въ Россіи? Этого, покуда, я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные—всѣ огорчились. Это правда, я имѣлъ въ виду небольшой щелчокъ каждому изъ нихъ, считая это нужнымъ, испытавши надобность его на собственной кожѣ (всѣмъ намъ нужно побольше смиренія); но я не думалъ, чтобъ щелчокъ мой вышелъ такъ грубо неловокъ и такъ оскорбителенъ. Я думалъ, что мнѣ великодушно простятъ все это и что въ книгѣ моей зародышъ примиренія всеобщаго, а не раздора. Вы взгля-

длиннымъ посланіемъ, въ которомъ высказалъ всю силу негодованія, возбужденнаго въ немъ книгой Гоголя. Письмо его, написанное съ энергіей чувства и выраженія, какихъ мы напрасно стали бы искать въ его печатныхъ сочиненіяхъ, между прочимъ чрезвычайно любопытно какъ его свободная рѣчь, какъ образчикъ того, чѣмъ могъ быть его талантъ въ другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Письмо вскорѣ потомъ разошлось быстро въ рукописяхъ. Не имѣя возможности представить его вполнѣ, приводимъ нѣсколько извлеченій, которыя даютъ понятіе о сущности его содержанія [1]).

«Вы только отчасти правы,—писалъ Бѣлинскій,—увидѣвъ въ моей статьѣ разсерженнаго человѣка; этотъ эпитетъ слишкомъ слабъ и нѣженъ для выраженія того состоянія, въ которое привело меня чтеніе вашей книги. Но вы совсѣмъ не правы, приписавъ это вашимъ дѣйствительно не совсѣмъ лестнымъ отзывамъ о почитателяхъ вашего таланта. Тутъ была причина болѣе важная. Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести, и у меня достало бы ума умолчать объ этомъ предметѣ, если бы все дѣло заключалось въ немъ; но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истины, человѣческаго достоинства. Нельзя промолчать, когда проповѣдываютъ ложь и безнравственность, какъ истину и добродѣтель. Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса. И вы имѣли основательную причину хотя на минуту выйти изъ спокойнаго состоянія вашего духа, потерявъ право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считалъ любовь свою наградою великаго таланта, а потому что въ этомъ отношеніи представляю не одно, а множество лицъ, изъ которыхъ ни вы, ни я не видѣли самаго большого числа, и которыя, въ свою очередь, тоже никогда не видѣли васъ! Я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ.

«Я думаю,—продолжаетъ Бѣлинскій,—что вы глубоко знаете Россію только какъ художникъ, а не мыслящій человѣкъ, роль котораго вы такъ неудачно приняли на себя въ своей фантастической

нули на мою книгу глазами человѣка разсерженнаго, а потому почти все приняли въ другомъ видѣ. Оставьте всѣ тѣ мѣста, которыя, покамѣстъ, еще загадка для многихъ, если не для всѣхъ, и обратите вниманіе на тѣ мѣста, которыя доступны всякому здравому и разсудительному человѣку, и вы увидите, что вы ошиблись во многомъ», и проч. (См. переписку Гоголя, въ изд. Кулиша, V, стр. 377—379).

[1]) Извлеченія изъ этого письма были помѣщены въ «Вѣстникѣ Европы», 1872, іюль, стр. 439—443. Оно помѣчено тамъ ошибкой изъ Зальцбурга вм. Зальцбрунна; а время его означено 15 іюля; это—или по новому стилю, т.-е. 3 іюля по ст. ст., день выѣзда Бѣлинскаго изъ Зальцбрунна, или ошибка вм. 15 іюня.—Вполнѣ это письмо еще не появлялось въ нашихъ изданіяхъ.

книгѣ, но это не потому, чтобы вы не были мыслящимъ человѣкомъ, а потому, что вы столько уже лѣтъ смотрѣли на Россію изъ вашего прекраснаго далека. А вѣдь извѣстно, что нѣтъ ничего легче, какъ изъ далека видѣть предметы такими, какъ намъ хочется ихъ видѣть, потому что въ томъ прекрасномъ далекѣ вы живете совершенно чужды духомъ, въ самомъ себѣ, внутри себя, или въ однообразіи кружка, одинаково съ вами настроеннаго и безсильнаго противиться вашему на него вліянію. Поэтому вы не замѣтили, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности, въ пробужденіи въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ потеряннаго въ грязи и навозѣ. Ей нужны права и законы, сообразные съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, выполненіе ихъ. А вмѣсто того она представляетъ собою ужасное зрѣлище, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на то и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждающіе, что негръ не человѣкъ. Это страна, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками, Ваньками, Степками, Палашками; страна, гдѣ нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка; а есть только огромная корпорація различныхъ служебныхъ воровъ и грабителей. Самые живые современные національные вопросы Россіи теперь уничтоженіе крѣпостного права и отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія тѣхъ законовъ, которые уже есть. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Россія въ своемъ апатическомъ полуснѣ. И въ это-то время великій писатель, который дивно-художественными и глубокомысленными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на себя самоё какъ будто въ зеркалѣ, явился съ книгою, которою учитъ варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ побольше денегъ, ругая ихъ «неумытыми рылами». Да если бы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти позорныя строки. Нѣтъ, если бы вы дѣйствительно прониклись Христова ученія, совсѣмъ не то писали бы вы къ вашему адепту изъ помѣщиковъ; вы бы писали ему, что такъ какъ его крестьяне—его братья по Христу, и какъ братъ его не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ долженъ дать имъ свободу, или по крайней мѣрѣ пользоваться ихъ трудами какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ глубинѣ своей совѣсти въ ложномъ къ нимъ положеніи. А выраженіе: «Ахъ ты, неумытое рыло!»... да у какого Ноздрева, или у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе русскихъ мужиковъ, которые и безъ того потому не умываются, что повѣрили своимъ барамъ, сами себя не считали за людей. А ваше понятіе о національномъ русскомъ судѣ, расправѣ, идеалъ котораго вы нашли въ словахъ глупой бабы, въ повѣсти Пушкина, и по разуму котораго должно пороть и праваго и виноватаго! Да это и такъ у насъ дѣлается, даже въ частую, хотя чаще всего порятъ праваго, если ему нечѣмъ откупиться отъ пре-

ступленія быть безъ вины виноватымъ. И такая-то книга можетъ быть результатомъ труднаго внутренняго прогресса, высокаго духовнаго просвѣщенія?—Не можетъ быть!.. Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что̀ вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!.. Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете, какъ великую и неоспоримую истину, будто простому человѣку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что̀ сказать вамъ на это? Да проститъ вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагѣ, вы вѣдали, что творили... Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человѣка? Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, и. не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ есть жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почтенно, почему у насъ такъ легокъ вѣрный успѣхъ, даже при маленькомъ талантѣ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнѣніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурного направленія, а отъ рѣзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всѣмъ и каждому. Положимъ, что вы могли это думать о пишущей братіи, но публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ» вы менѣе рѣзки, съ меньшей истиной и талантомъ, и менѣе горькой правды высказали? И она дѣйствительно разсердилась на васъ до бѣшенства, но «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» не пали отъ этого, тогда какъ ваша послѣдняя книга провалилась сквозь землю. И публика тутъ права; это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя и въ зародышѣ, свѣжаго, здраваго чувства, и это же показываетъ, что у нея есть будущность. Если вы любите Россію, порадуйтесь вмѣстѣ со мною паденію вашей книги.

«Ваше обращеніе, пожалуй, можетъ быть искренно, но мысль довести о немъ до свѣдѣнія публики—самая печальная... Смиреніе, проповѣдываемое вами, во-первыхъ, не ново, во-вторыхъ, отзывается съ одной стороны страшною гордостью, а съ другой—самымъ позорнымъ униженіемъ своего человѣческаго достоинства. Мысль сдѣлаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше всѣхъ смиреніемъ, можетъ быть плодомъ только ихъ гордости, или слабоумія, и ведетъ въ обоихъ случаяхъ къ лицемѣрію, ханжеству, атеизму. И при этомъ вы позволили себѣ цинически грязно выражаться не только о другихъ (это было бы только невѣжество), но и о самомъ себѣ (это уже гадко), потому что человѣкъ, бьющій своего ближняго по щекамъ, возбуждаетъ негодованіе», но человѣкъ, бьющій по щекамъ самого себя, возбуждаетъ презрѣніе. Нѣтъ, вы омрачены, а не просвѣтлены. И что за языкъ, что за фразы? «Дрянь и тряпка сталъ теперь всякъ человѣкъ». Неужели вы думаете, что сказать «всякъ» вмѣсто «всякій»—значитъ выра-

жаться библейски? Какая это великая истина, что когда человѣкъ отдается лжи, его оставляетъ умъ и талантъ. Не будь на вашей книгѣ выставлено вашего имени, и будь изъ нея выключены тѣ мѣста, глѣ вы говорите о самомъ себѣ, какъ о писателѣ, кто бы подумалъ, что эта надутая и неопрятная шумиха словъ и фразъ— произведеніе автора «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»? Что же касается до меня лично, повторяю вымъ: вы ошибаетесь, сочтя статью мою выраженіемъ досады за вашъ отзывъ обо мнѣ, какъ объ одномъ изъ вашихъ критиковъ. Если бы только это разсердило меня, я только объ этомъ отозвался бы съ досадою, а объ остальномъ отозвался бы спокойно и безпристрастно. А это правда, что вашъ отзывъ о вашихъ почитателяхъ вдвойнѣ нехорошъ. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своими восторгами ко мнѣ только дѣлаетъ меня смѣшнымъ; но и эта необходимость тяжела, потому что какъ-то не человѣчески за ложную любовь платить враждою. Но вы имѣете въ виду людей, если не съ отличнымъ умомъ, то все же и не глупцовъ. Эти люди въ своемъ удивленіи къ вашимъ твореніямъ надѣлали, можетъ быть, гораздо болѣе восклицаній, нежели сколько высказали о нихъ дѣла, но все же ихъ энтузіазмъ къ вамъ выходитъ изъ такого чистаго, благороднаго источника, что вамъ вовсе не слѣдовало бы выдавать ихъ головою—ихъ и вашимъ врагамъ, да еще въ добавокъ обвинять ихъ въ намѣреніи дать какой-то предосудительный толкъ вашимъ сочиненіямъ. Вы, конечно, сдѣлали это по увлеченію главною мыслью вашей книги и по неосмотрительности. Все это нехорошо. А что вы ожидали времени, когда вамъ можно будетъ отдать справедливость и почитателямъ вашего таланта (отдавши ее съ гордымъ смиреніемъ вашимъ врагамъ),— этого я не зналъ, не могъ, да признаться, не хотѣлъ бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намѣренія. Я читалъ и перечитывалъ ее сто разъ, и все-таки не нашелъ въ ней ничего, кромѣ того, что въ ней есть; а то, что въ ней есть, глубоко возмутило и оскорбило душу.

«Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо это скоро превратилось бы въ толстую тетрадь. Я никогда не думалъ писать къ вамъ объ этомъ предметѣ, хотя я мучительно желалъ этого, и хотя вы всѣмъ и каждому печатно дали право писать къ вамъ безъ церемоніи, имѣя въ виду одну только правду. Неожиданное полученіе вашего письма дало мнѣ возможность высказать вамъ все, что лежало у меня на душѣ противу васъ, по поводу вашей книги. Я не умѣю говорить въ половину, не умѣю хитрить—это не въ моей натурѣ. Пусть вы или само время докажетъ мнѣ, что я ошибался въ моихъ о васъ понятіяхъ, я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь въ томъ, что высказалъ о васъ. Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, а о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ. Тутъ дѣло идетъ объ истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи И вотъ мое послѣднее, заключительное слово: если вы имѣли несчастіе съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вы должны съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней

вашей книги и тяжелый грѣхъ ея изданія искупить новыми твореніями, которыя напомнили бы ваши прежнія».

Гоголь отвѣчалъ изъ Остенде, отъ 10 августа, письмомъ, которое было получено Бѣлинскимъ въ Парижѣ. Оно писано уже въ иномъ тонѣ: Гоголь не хотѣлъ признать и теперь, что противникъ его былъ правъ; но онъ былъ видимо подавленъ тяжестью упрековъ, которыхъ не былъ въ силахъ опровергнуть. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что Гоголь приготовлялъ еще отвѣтъ Бѣлинскому, болѣе упрямый и болѣе желчный, гдѣ думалъ подробно его оспаривать,—но этотъ отвѣтъ остался непосланнымъ: Гоголь самъ, вѣроятно, увидѣлъ его слабость [1]. Отвѣтомъ Гоголя переписка окончилась.

3 іюля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Зальцбрунна и на нѣсколько дней остановился въ Дрезденѣ съ П. В. Анненковымъ. Тургеневъ уѣхалъ въ Лондонъ, откуда надѣялся вскорѣ опять съѣхаться съ ними. Дальнѣйшей цѣлью путешествія Бѣлинскаго былъ Парижъ. Дѣло въ томъ, что неувѣренный въ успѣшности своего леченья въ Зальцбруннѣ, Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать все, что представлялось возможнымъ для возстановленія здоровья, и рѣшилъ обратиться еще къ одному парижскому врачу, Тира́-де-Мальмору, который славился тогда леченіемъ чахотки. О немъ разсказывали чудеса: онъ возвращалъ здоровье людямъ, уже не подававшимъ никакой надежды...

Изъ Дрездена Бѣлинскій съ П. В. Анненковымъ выѣхали (7 или 8 іюля) на Веймаръ и Эйзенахъ, по желѣзной дорогѣ; отсюда въ дилижансѣ во Франкфуртъ, далѣе въ Майнцъ, отсюда на пароходѣ въ Кёльнъ. Плаваніе по Рейну было неудачно.

«День былъ гнусный,—пишетъ Бѣлинскій:—осенній мелкій дождь, вѣтеръ, холодъ. Въ каютѣ душно, на палубѣ мокро, сыро и холодно; одно спасеніе въ боковой каюткѣ на палубѣ, но тамъ курители сигаръ, эти мои естественные враги. Все это сдѣлало то, что я холодно смотрѣлъ на удивительныя мѣстоположенія, на виноградники, на средневѣковые за́мки, какъ ресторированные, такъ и въ развалинахъ. Вечеромъ прибыли въ Кёльнъ. Когда я сказалъ Анненкову, что рѣшительно не намѣренъ терять цѣлый день, чтобы полчаса посмотрѣть на Кёльнскій соборъ,—съ нимъ чуть не сдѣлался ударъ»,—

такъ вѣроятно удивило его полное равнодушіе Бѣлинскаго къ знаменитой достопримѣчательности. Изъ Кёльна они направились че-

---

[1]) См. Кулиша, V, стр. 379—387, и «Характеристики Литер. Мнѣній», главу о Гоголѣ. Короткаго отвѣта, который *былъ* посланъ Гоголемъ, въ изданіи Кулиша нѣтъ: онъ извѣстенъ однако въ печати.

резъ Брюссель въ Парижъ, гдѣ въ первый разъ нашли настоящее теплое лѣто. Въ Парижѣ они были около 17 іюля. Бѣлинскій встрѣтилъ здѣсь цѣлое общество московскихъ друзей, которые были ему крайне рады—семейство Герценовъ; М. Ѳ. К.; Н. П. Боткина; Бакунина; Н. Сазонова; вскорѣ былъ въ Парижѣ и Тургеневъ.

Несмотря на доказанное уже равнодушіе къ вещамъ, возбуждающимъ обыкновенно восторгъ или любопытство путешественниковъ, Бѣлинскій испыталъ этотъ восторгъ, увидѣвши Парижъ,—отчасти, вѣроятно, потому, что его разогрѣла наступившая теплая погода и теплая встрѣча друзей. «Меня съ перваго взгляда никогда и ничто не удовлетворяло,—пишетъ онъ,—даже кавказскія горы; но Парижъ съ перваго же взгляда превзошелъ всѣ мои ожиданія, всѣ мечты»...

На другой же день одинъ изъ друзей отправился за докторомъ. Тира-де-Мальморъ нисколько не нашелъ опаснымъ положеніе Бѣлинскаго и надѣялся въ полтора мѣсяца совершенно его поправить,—а потомъ онъ нашелъ даже возможнымъ и сократить этотъ срокъ; онъ потребовалъ однако, чтобы Бѣлинскій переселился въ его лечебное заведеніе въ Пасси, и для удобства леченья, и для болѣе свѣжаго воздуха. Бѣлинскій поселился у него, началъ принимать его пилюли, микстуры, окуриванья, и съ первыхъ же дней сталъ чувствовать себя легче, его кашель сильно уменьшился, если не прекратился совсѣмъ... Каждый день навѣщалъ его П. В. Анненковъ, который въ особенности былъ его собесѣдникомъ и нянькой, такъ какъ Герценъ уѣзжалъ на нѣсколько времени на морской берегъ, а Тургеневъ также отлучался изъ Парижа.

Своимъ докторомъ, его лекарствами и внимательностью Бѣлинскій былъ очень доволенъ.

«Здоровье мое,—пишетъ онъ въ началѣ августа,—видимо поправляется. Я могу сказать положительно и утвердительно, что теперь чувствую себя въ положеніи едва-ли не лучшемъ, нежели въ какомъ я былъ до моей страшной болѣзни осенью 1845 года; если же не въ лучшемъ, то уже нисколько и не въ худшемъ. Кашлю почти нѣтъ вовсе, а если и случится иной день разъ закашляться,—это такъ легко въ сравненіи съ прежними припадками кашля, что и сказать нельзя. Иные же дни не случается кашлянуть ни разу,—чего со мной уже сколько лѣтъ какъ не бывало. Лучше всего то, что меня оставилъ утренній кашель, самый мучительный... Прежде меня мучило такого рода ощущеніе въ груди, какъ будто мои легкія засыпаны пескомъ,—теперь этого ощущенія нѣтъ вовсе,—я дышу свободно и могу вздохнуть глубоко... Сплю, какъ убитый, ѣмъ славно».

Но онъ сильно скучалъ, ему хотѣлось скорѣе домой...

Въ другомъ письмѣ (10 августа) онъ говоритъ опять о своемъ положеніи, объ остающихся припадкахъ болѣзни, и заключаетъ: «я еще не выздоровѣлъ, но крѣпко и видимо выздоравливаю. Узнать же, выздоровѣлъ ли я, можно только проведя осень и зиму въ Петербургѣ». Разсуждая о своихъ домашнихъ дѣлахъ, Бѣлинскій находилъ, что теперь возможно, пожалуй, и не переселяться въ Москву, какъ онъ рѣшалъ это прежде; но въ другое время прежній страхъ возвращался: «я сильно боюсь Питера», писалъ онъ.

Около 12 августа онъ оставилъ лечебное заведеніе; докторъ находилъ это возможнымъ, Бѣлинскій былъ очень тому радъ, потому что въ Пасси было скучно, притомъ хотѣлось посмотрѣть Парижъ, театры, окрестности и т. д. Не знаемъ, успѣлъ ли онъ это сдѣлать, но по разсказу Тургенева Бѣлинскій очень плохо осматривалъ Парижъ: ему было видимо не до того.

«Странное дѣло!—разсказываетъ Тургеневъ, почти все время видавшій Бѣлинскаго въ его заграничную поѣздку.—Онъ изнывалъ за-границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію... Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласія, и тотчасъ спросилъ меня: «Не правда ли? Вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?»—И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: «Ну, и отлично; такъ ужъ я и буду знать,—и въ сторону, и баста!» и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ отрубили голову Людовику XVI; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а!—и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ «Тарасѣ Бульбѣ». Историческія свѣдѣнія Бѣлинскаго были слишкомъ слабы: онъ не могъ особенно интересоваться мѣстами, гдѣ происходили великія событія европейской жизни; онъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не могъ изучать тамошнихъ людей; а праздное любопытство, глазѣніе, *badauderie*, было не въ его характерѣ» [1])...

Наконецъ, онъ сталъ думать о возвратѣ. Изъ Парижа онъ долженъ былъ отправиться въ Брюссель до Берлина, и затѣмъ изъ Штетина—моремъ. Какъ ни тяжело показалось ему первое морское путешествіе, но теперь таковъ былъ въ немъ «страхъ дилижанса», что онъ, не колеблясь, рѣшалъ ѣхать моремъ, какимъ бы качкамъ ни пришлось ему подвергнуться. Путь до Берлина онъ было надѣялся сдѣлать съ кѣмъ-нибудь изъ русскихъ знакомыхъ, но раз-

[1]) «Вѣстн. Евр.», 1869, апр. стр. 722—723. На этотъ разъ Тургеневъ вѣроятно слишкомъ преувеличиваетъ «слабость свѣдѣній» Бѣлинскаго; дѣло было не въ томъ.

счеты не состоялись, и парижскіе друзья, чтобъ не оставить его одного, дали ему до Берлина провожатаго, говорившаго по-французски и по-нѣмецки. Бѣлинскій выѣхалъ изъ Парижа около 11 сентября. Тира-де-Мальморъ далъ ему лекарствъ на дорогу и на зиму въ Петербургѣ; русскіе друзья посылали съ нимъ кучу гостинцевъ и игрушекъ его маленькой дочери. Дальше мы перескажемъ его дорожныя приключенія, въ которыхъ эти игрушки имѣли фатальную роль.

Изъ писемъ Бѣлинскаго къ друзьямъ въ Россію намъ извѣстно за это время только письмо къ Боткину, изъ Дрездена (послѣ Зальцбрунна), отъ 7 іюля. Онъ разсказываетъ уже извѣстное намъ о положеніи своего здоровья, бранитъ нѣмцевъ, которыхъ зналъ въ переводѣ, черезъ Тургенева и Анненкова, и которые ему очень не нравились, приходитъ въ ужасъ отъ страшной нищеты, которую видѣлъ въ Силезіи и которая въ первый разъ объяснила ему, что значитъ пролетаріатъ. Вотъ замѣчаніе о Сикстинской Мадоннѣ, не лишенное интереса:

«Былъ я въ Дрезденской галлереѣ, и видѣлъ Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковскій! Помоему, въ ея лицѣ также нѣтъ ничего романтическаго, какъ и классическаго. Это—не мать христіанскаго Бога: это аристократическая женщина, дочь царя, «idéal sublime du comme il faut». Она глядитъ на насъ не то, чтобы съ презрѣніемъ—это къ ней не идетъ, она слишкомъ благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрѣніемъ, даже людей... нѣтъ: она глядитъ на насъ съ холодною благосклонностію, въ одно и то же время опасаясь и замараться отъ нашихъ взоровъ и огорчить насъ, плеблеевъ, отворотившись отъ насъ. Младенецъ, котораго она держитъ на рукахъ, откровеннѣе ея: у ней едва замѣтна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь ротъ дышетъ презрѣніемъ къ намъ... Въ глазахъ его виденъ не будущій Богъ любви, мира, прощенія, спасенія, а древній, ветхозавѣтный Богъ гнѣва и ярости, наказанія и кары. Но что за благородство, что за грація кисти! Нельзя наглядѣться! Я невольно вспомнилъ Пушкина: то же благородство, та же грація выраженія, при той же вѣрности и строгости очертаній! Недаромъ Пушкинъ такъ любилъ Рафаэля: онъ родня ему по натурѣ»...

Такъ вездѣ вспоминались ему любимые писатели.

Возвращаемся къ путешествію. Въ своихъ воспоминаніяхъ Тургеневъ приводитъ собственныя слова Бѣлинскаго въ образчикъ того, какъ юмористически онъ относился къ самому себѣ. Въ этомъ именно тонѣ Бѣлинскій описывалъ свои дорожныя похожденія въ письмѣ къ П. В. Анненкову, изъ Берлина, отъ 29 сентября [1].

---

[1]) Вѣроятно, новаго стиля.

Мы сказали выше, что друзья не пустили Бѣлинскаго одного изъ Парижа и дали ему провожатаго. Но въ послѣднюю минуту на желѣзной дорогѣ, провожатый куда-то затерялся или запоздалъ, такъ что Бѣлинскому пришлось ѣхать одному до Брюсселя.

«Надо расказать вамъ мой плачевно-комическій вояжъ отъ Парижа до Берлина,—пишетъ Бѣлинскій.—Начну съ минуты, въ которую мы съ вами разстались. Огорченный непріятною случайностію, заставившею меня ѣхать безъ Фредерика и боясь за себя остаться въ Парижѣ, заплативши деньги за билетъ, я побѣжалъ къ поѣзду и задохнулся отъ этого движенія до того, что не могъ сказать ни слова, ни двинуться съ мѣста; я думалъ, что пришелъ мой послѣдній часъ... Только-что кондукторъ толкнулъ меня въ карету и захлопнулъ дверцы, какъ поѣздъ двинулся. Я пришелъ въ себя совершенно не прежде, какъ около первой станціи. Тогда овладѣли мною двѣ мысли: таможня и Фредерикъ. Спать хотѣлось смертельно, но лишь задремлю—и греза переноситъ меня въ таможню: я вздрагиваю судорожно и просыпаюсь. Такъ мучился я до самаго Брюсселя, не имѣя силы ни противиться сну, ни заснуть. Таково свойство нервической натуры! Чтó мнѣ дѣлать въ таможнѣ? Объявить мои игрушки? [1]), Но для этого меня ужасали 40 фр. пошлины, заплаченные Герценомъ за игрушки же. Но эти вещи (особенно та, что съ музыкою) большія—найдутъ и конфискуютъ. Это еще хуже... потому что я очень дорожу этими игрушками,—и когда подумаю о радости моей дочери, то дѣлаюсь ея ровесникомъ по лѣтамъ... [Оказалось, что таможенный осмотръ долженъ былъ произойти не на границѣ; а въ Брюсселѣ]... Наконецъ, я въ Брюсселѣ. «Нѣтъ-ли у васъ товаровъ—объявите!» сказалъ мнѣ, голосомъ пастора или исповѣдника, таможенный. Подлая манера! коварная, предательская уловка! Скажи—нѣтъ, да найдетъ,—вещь-то и конфискуютъ, да еще штрафъ сдерутъ. Я говорю—нѣтъ. Онъ началъ рыться въ бѣльѣ, по краямъ чемодана, и ужъ совсѣмъ-было собирался перейти въ другую половину чемодана, какъ чортъ дернулъ его на полвершка дальше засунуть руку для послѣдняго удара—и онъ ощупалъ игрушку съ музыкой... Вынувши игрушку, онъ обратился къ офицеру и донесъ ему, что я не рекламировалъ этой вещи. Вижу—дѣло плохо. Откуда взялся у меня французскій языкъ (какой, не спрашивайте, но догадайтесь сами). Говорю – я объявлялъ. «Да, когда я нашелъ». Офицеръ спросилъ мой паспортъ. Дѣло плохо. Я объявилъ, что у меня и еще есть игрушка. Я уже почувствовалъ какую-то трусливую храбрость—стою, словно подъ пулями и ядрами, но стою смѣло, съ отчаяннымъ спокойствіемъ... Офицеръ потребовалъ, чтобъ я объявилъ цѣнность моихъ вещей... Вижу, что смиловались и дѣло пошло къ лучшему—и отъ этого опять потерялся. Вмѣсто того, чтобы опѣнить... я началъ толковать, что не знаю цѣны, что это подарки, и что я купилъ только оловянныя игрушки за 5 фр. Поспоривши со мною и видя, что я глупъ до святости, они оцѣнили все въ 35 фр. и взяли пошлины $3^1/_2$ франка, Такъ

[1]) *Эти игрушки* составляли его главнѣйшую заботу.

вотъ изъ чего я страдалъ и мучился столько—изъ трехъ съ половиною франковъ!»

Въ Брюсселѣ провожатый догналъ Бѣлинскаго, и благодаря его услугамъ, Бѣлинскій ѣхалъ дальше довольно удобно, еслибъ не пугавшія его таможни. Подъѣзжая къ нѣмецкой границѣ, Бѣлинскій принялся-было себя успокоивать, что «Германія—страна больше религіозная, философская, честная и глупая, нежели промышленная», слѣдовательно, и таможни не могутъ быть такъ свирѣпы, какъ въ Бельгіи,—но въ таможнѣ опять струсилъ и уже рѣшилъ объявить свои игрушки; дѣло однако обошлось благополучно: «въ мой чемоданъ плутъ таможенный и не заглянулъ, но схвативши его понесъ въ дилижансъ, за что я далъ ему франкъ». Дальше, въ Брауншвейгѣ, Бѣлинскій, сверхъ всякаго чаянія, встрѣтилъ еще таможню.

Въ Берлинѣ онъ увидѣлся съ старымъ знакомымъ, Дмитріемъ Щепкинымъ, который изучалъ тогда въ Берлинѣ археологію. Это былъ человѣкъ съ серьёзными учеными вкусами, съ большими свѣдѣніями и—самолюбіемъ, которое дѣлало его иногда тяжелымъ; но Бѣлинскаго онъ принялъ самымъ дружественнымъ образомъ, и непремѣнно хотѣлъ, чтобъ Бѣлинскій поселился у него [1]). Бѣлинскій остался въ Берлинѣ нѣсколько дней (вѣроятно, въ ожиданіи срока отплытія штетинскаго парохода), наслушался отъ Щепкина политическихъ новостей о берлинскихъ дѣлахъ, о процессѣ Мирославскаго, и ученыхъ разсказовъ объ египетскихъ древностяхъ, которыми Щепкинъ тогда занимался. Бѣлинскій не забывалъ о таможняхъ, которыя вызывали въ немъ забавное, ожесточенное негодованіе.

«Теперь,—пишетъ онъ,—мнѣ грозитъ послѣдняя и самая страшная таможня—русская. Щепкинъ говоритъ, что она да англійская—самыя свирѣпыя. Будь, что будетъ. Меня немножко успокоиваетъ, то, что не будутъ спрашивать и исповѣдывать... Воля ваша, я родился рано—куда ни повернусь, все вижу, что жить нельзя, а путешествовать и подавно. Чтó ни говорите о таможняхъ, а въ моихъ глазахъ это гнусная, позорная для человѣческаго достоинства вещь. Я отвергаю ее не головою, а нервами; мое отвращеніе къ ней—не убѣжденіе только, но и болѣзнь вмѣстѣ съ тѣмъ»... [Состояніемъ своего здоровья онъ доволенъ]. «Вообще, если я въ такомъ состояніи доѣду до дома, то ни для меня, ни для другихъ не будетъ сомнѣнія, что я-таки поправился немного, и въ этомъ отношеніи не даромъ ѣздилъ за-границу».

[1]) Дмитрій Щепкинъ (1817—1857), сынъ М. С. Щепкина, извѣстенъ въ нашей археологической литературѣ замѣчательной книгой: «Объ источникахъ и формахъ русскаго баснословія», 2 вып. М. 1859—61. При первомъ выпускѣ этой книги помѣщена его краткая біографія.

Конецъ своего путешествія Бѣлинскій досказалъ въ письмѣ къ Анненкову, уже отъ 20 ноября изъ Петербурга. Онъ начинаетъ это длинное письмо извиненіями, что такъ долго оставлялъ парижскихъ друзей безъ извѣстій о себѣ: его самого укоряетъ совѣсть...

«Гибельная привычка быть подробнымъ и обстоятельнымъ въ письмахъ—главная причина моей несостоятельности въ перепискѣ. Отправивши къ вамъ письмо изъ Берлина, въ которомъ я расхвастался моимъ здоровьемъ, я черезъ нѣсколько же часовъ почувствовалъ, что мнѣ хуже, что я, значитъ, простудился. Такова моя участь... Въ Берлинѣ погода стояла гнусная. Мы съ Щ. выходили только обѣдать, да еще по утрамъ онъ ходилъ къ своему египтологу, Лепсіусу, а я все сидѣлъ дома...

«Въ пятницу я уѣхалъ въ Штетинъ, а на другой день, ровно въ часъ, тронулся нашъ «Адлеръ». Лишь только начали мы выбираться изъ Свинемюнде, какъ началась качка. Я пообѣдалъ въ субботу, часа въ два, а потомъ позавтракалъ во вторникъ часовъ въ 10 утра. Въ промежуткѣ я лежалъ въ моей койкѣ... Въ Кронштадтъ прибыли мы въ середу, часовъ въ 6. Началась переписка и отмѣтка паспортовъ—церемонія длинная и варварски скучная. Между тѣмъ переложились на малый пароходъ. Да я забылъ-было сказать, что при видѣ Кронштадта намъ представилось странное зрѣлище: все покрыто снѣгомъ, а наканунѣ (намъ сказали) въ Петербургѣ была санная ѣзда. Страдая морскою болѣзнію, я поправился въ моей хронической болѣзни, и прибылъ здоровехонекъ...

«Но вотъ и Питеръ. Что-то у меня дома? Такъ и полетѣлъ бы; а изволь идти въ таможню. Часа 4 прошло въ мукѣ ожиданія и хлопотъ, но дѣло сошло съ рукъ лучше, нежели гдѣ-нибудь...

«Дома я нашелъ все и всѣхъ въ положеніи довольно порядочномъ»...

Но черезъ нѣсколько дней Бѣлинскій опять былъ боленъ: «я хрипѣлъ, задыхался,—пишетъ онъ,—словомъ, это былъ вечеръ хуже самыхъ худыхъ дней прошлой зимы, когда я безпрестанно умиралъ». Тильманъ, лечившій его, называлъ парижскаго врача шарлатаномъ, но потомъ,—узнавши, какъ онъ говорилъ, рецепты Тира́-де-Мальмора,—разрѣшилъ Бѣлинскому принимать его средства. Здоровье Бѣлинскаго, очевидно, было подорвано такъ, что жизнь въ Петербургѣ была немыслима: онъ совсѣмъ падалъ духомъ, но временами оправлялся, и опять начиналъ надѣяться.

«Тильманъ говорилъ женѣ, что такого больного у него не бывало, что онъ уже не одинъ разъ назначалъ день моей смерти—и я его неожиданно обманывалъ. Это хорошо, но это только одна сторона медали, а вотъ и другая: не разъ считалъ онъ меня внѣ всякой опасности и назначалъ время совершеннаго моего выздоровленія—и я опять каждый разъ его обманывалъ. Самаринъ тиснулъ въ «Москвитянинѣ» статью... о «Современникѣ»; мнѣ надо было *отвѣтить* ему. Взялся было за работу — не могу — лихорадочный

жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!... Но дня черезъ два, черезъ три лихорадка прошла совершенно; Тильманъ велѣлъ мнѣ оставить всѣ лекарства, я принялся за работу, и въ шесть дней намахалъ три съ половиною печатныхъ листа. И все это съ отдыхами, съ лѣнью, съ потерею времени [1]... И во все это время я чувствовалъ себя не только здоровѣе и крѣпче, но бодрѣе и веселѣе обыкновеннагó. Это меня сильно поощрило. Значитъ—я могу работать, стало быть, могу жить. Вообще, чтобъ ужъ больше не возвращаться къ этому предмету, скажу вамъ, что, какъ ни хилъ и ни плохъ я, а все гораздо лучше, нежели какъ былъ до поѣздки за границу—просто, сравненья нѣтъ!»

Въ концѣ письма еще длинные разсказы о журнальныхъ новостяхъ и отношеніяхъ.

---

[1]) Статья, о которой идетъ рѣчь, есть «Отвѣтъ Москвитянину», Соврем. 1847, кн. 11; Сочин., XI, стр. 1905—268.

ГЛАВА X.

Возвращеніе въ Петербургъ.—Журнальныя работы.—Письма къ друзьямъ.—Тяжелыя внѣшнія обстоятельства—Послѣдняя болѣзнь и смерть Бѣлинскаго.

1847 — 1848 (май).

Хотя болѣзнь тотчасъ напомнила о себѣ по возвращеніи Бѣлинскаго изъ путешествія, но въ первые мѣсяцы по пріѣздѣ онъ обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность—много работалъ для журнала и съ величайшей ревностью хлопоталъ объ интересахъ «Современника». Съ самой редакціей журнала Бѣлинскій, повидимому, уже не имѣлъ прежнихъ недоразумѣній. Свидѣтельствомъ его горячаго интереса къ журналу остался рядъ длинныхъ писемъ къ московскимъ друзьямъ, отъ ноября и декабря 1847 года. Это опять были «тетради», въ которыхъ Бѣлинскій старался убѣдить друзей въ необходимости поддержать журналъ болѣе дѣятельнымъ, если не исключительнымъ участіемъ.

Таково длинное письмо къ Боткину, отъ 4—5 ноября. Мы не будемъ его излагать, такъ какъ оно почти вполнѣ было уже однажды напечатано [1]). Въ началѣ говоритъ онъ о результатахъ путешествія, о своемъ здоровьѣ, о работахъ—что̂ мы знаемъ уже изъ приведеннаго выше письма къ Анненкову (писаннаго позднѣе). Бѣлинскаго тревожилъ вопросъ—возвратились ли его силы, можетъ ли онъ работать. Онъ упоминаетъ о томъ, что вскорѣ по пріѣздѣ, послѣ болѣзни, среди хлопотъ о квартирѣ, могъ очень быстро написать большую статью, и продолжаетъ:

«Теперь одеревенѣлая рука отошла, дѣла нѣтъ, (въ квартирѣ) все уложено и уставлено, и я пишу къ тебѣ.

---

[1] «Спб. Вѣд.» 1869, № 187—188. Намъ это письмо извѣстно по достовѣрной *старой* копіи (писанной Кетчеромъ), которая сполна называетъ имена и заключаетъ многія подробности, которыхъ нѣтъ въ напечатанномъ текстѣ.

«Я приступилъ къ работѣ со страхомъ и трепетомъ; но къ счастію, она-то и убѣдила меня несомнѣнно, что поѣздка моя за границу, въ отношеніи къ здоровью, была благодѣтельна, и что я не даромъ скучалъ, зѣвалъ и апатически страдалъ за границею. Во время усиленной работы я чувствовалъ себѣ даже здоровѣе, крѣпче, сильнѣе, бодрѣе и веселѣе, чѣмъ въ обыкновенное время. Итакъ, я еще могу работать; стало быть, пока еще не пропалъ».

Затѣмъ, идетъ длинное разсужденіе и разсказъ о дѣлахъ журнала: Бѣлинскій относится съ крайней враждой къ «Отеч. Запискамъ», укоряетъ своихъ друзей за союзъ съ ними (московскіе друзья въ 1847 продолжали писать въ «Отеч. Запискахъ», хотя работали также и въ «Современникѣ») по тому поводу, что передъ тѣмъ появилось объявленіе «Отеч. Зап.» о подпискѣ на слѣдующій годъ, причемъ, по тогдашнему обычаю, редакція выставляла рядъ обѣщанныхъ ей статей и имена сотрудниковъ, и въ числѣ ихъ стояли имена тѣхъ московскихъ друзей, которыхъ Бѣлинскій желалъ видѣть исключительными сотрудниками «Современника». Текстъ этого письма, сообщенный въ «Спб. Вѣдомостяхъ» 1869, далеко не передаетъ всей рѣзкости словъ, какую вызвало здѣсь у Бѣлинскаго его раздраженіе...

Приводимъ здѣсь нѣсколько словъ изъ заключенія этого длиннаго письма:

«Уфъ, какъ усталъ! — пишетъ Бѣлинскій. Но за то, болтая много, *все* сказалъ. Знаю, что не убѣжду этимъ москвичей, но люблю во всемъ, и хорошемъ, и худомъ, лучше *знать*, нежели *предполагать*; это необходимо для истинности отношеній. Знаю горькимъ опытомъ, что съ славянами пива не сваришь, что славянинъ можетъ дѣлать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго дѣйствія обнаруживаетъ сильную способность только по части обѣдовъ на складчину. Никакого практическаго чутья: что заломилъ, то и давай ему — никакой уступки ни въ самолюбіи, ни въ убѣжденіи; лучше ничего не станетъ дѣлать, нежели дѣлать на столько, на сколько возможно, а не на столько, на сколько хочетъ. А посмотришь на дѣлѣ — возитъ на себѣ Погодина и К-го, которые ѣдутъ да посмѣиваются надъ нимъ же. А послушать: общее дѣло, мысль, стремленіе, симпатія, мы, мы и мы — соловьями поютъ. Эхъ, братецъ ты мой, В. П., когда бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело жить на свѣтѣ, какъ все тяжелѣй и тяжелѣй день ото дня, чѣмъ больше старѣю и хирѣю!»...

Въ концѣ онъ сообщаетъ нѣкоторыя литературныя новости:

«Вѣроятно, ты уже получилъ XI № «Современника». Тамъ повѣсть Григоровича [1]), которая измучила меня; читая ее, я все ду-

---

[1]) *«Антонъ Горемыка».*

жалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты [1])... Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передѣланъ — выкинута сцена разбоя, въ которой Антонъ участвуетъ. Мою статью [2]) страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ мурмолкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ— безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней»...

Но другое письмо къ Боткину онъ пока отложилъ, потому что дошелъ до него слухъ, что Боткинъ самъ собирается въ Петербургъ.

Въ письмѣ къ Анненкову, отъ 20 ноября, изъ котораго приведены цитаты въ концѣ предыдущей главы,—повторяются жалобы на москвичей за ихъ слабое содѣйствіе «Современнику»...

Черезъ нѣсколько дней, отъ 22 ноября, Бѣлинскій посылаетъ Кавелину длинное, тепло написанное и очень любопытное письмо, гдѣ, между прочимъ, опять идетъ рѣчь о тѣхъ же журнальныхъ отношеніяхъ,—но уже въ значительно иномъ тонѣ, чѣмъ въ послѣднемъ письмѣ къ Боткину. Бѣлинскій получилъ отъ московскихъ друзей отвѣтъ на свое посланіе 4 — 5 ноября. Московскіе друзья продолжали держаться своего взгляда на дѣло, объясняли его Бѣлинскому еще разъ, и Бѣлинскій увидѣлъ, что они могли быть — болѣе или менѣе справедливо—недовольны, раздосадованы или огорчены его нападками. Бѣлинскій очень сожалѣетъ, что написалъ прежнее письмо; успокоившись, онъ видѣлъ теперь, что не во всемъ былъ правъ: объясняетъ свои побужденія, и проситъ забыть его ошибку или несправедливость... Этими предметами занята вторая половина письма, а въ началѣ идетъ рѣчь о впечатлѣніи, какое произвела на московскихъ друзей названная выше статья Бѣлинскаго противъ славянофиловъ.

Впечатлѣніе было благопріятное, и Бѣлинскій былъ очень тронутъ сочувственнымъ отзывомъ Кавелина объ этой статьѣ, хотя тутъ же находилъ его отзывъ преувеличеннымъ. Удовольствіе Бѣлинскаго объясняется тѣмъ, что это была первая крупная статья, написанная по возвращеніи изъ-за границы,—и судя по всему, московскіе друзья съ большимъ интересомъ и нѣкоторой тревогой ждали первыхъ статей Бѣлинскаго, которыя должны были показать, сберeглась ли у него прежняя энергія, или болѣзнь подорвала ее, и дѣятельность его должна кончиться. Мы знаемъ дѣйстви-

[1]) Онъ изумлялся, что у Григоровича—совершенное отсутствіе рефлексіи, размышленія—и, однако, сильный талантъ.

[2]) Упомянутый «Отвѣтъ Москвитянину».

тельно, что даже самый близкій изъ его друзей, Боткинъ, высказывался въ этомъ смыслѣ противъ нѣкоторыхъ мнѣній Бѣлинскаго за это время: Боткину уже видѣлось паденіе таланта и отсталость... Бѣлинскій повидимому, если не зналъ, то подозрѣвалъ эти опасенія и, какъ видимъ, самъ не скрывалъ отъ себя возможности упадка, который былъ бы очень естественнымъ послѣдствіемъ и физическаго изнеможенія, и нравственной усталости, и съ трепетомъ приступалъ къ работѣ: оттого ему и было такъ отрадно услышать слова сочувствія.

«Дѣло прошлое,—говоритъ онъ: — а я и самъ ѣхалъ за-границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете посудить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ. И надежда возвратилась мнѣ съ этою статьею. Неудивительно, что она всѣмъ вамъ показалась лучше, чѣмъ есть, особенно вамъ, по молодости и темпераменту, болѣе другихъ наклонному къ увлеченію. Спасибо вамъ»...

Онъ указываетъ на преувеличеніе похвалы, вызывающее улыбку, и затѣмъ продолжаетъ: «такъ! но есть преувеличенія, лжи и ошибки, которыя иногда дороже намъ вѣрныхъ и строгихъ опредѣленій разума; это — тѣ, которыя исходятъ отъ любви: видишь ихъ несостоятельность, а чувствуешь себя человѣчески тепло и хорошо».

Бѣлинскій жалуется дальше на цензурныя перемѣны въ его статьѣ:

«Вотъ вамъ два примѣра. Я говорю о себѣ, что опираясь на инстинктъ истины, я имѣлъ на общественное мнѣніе больше вліянія, чѣмъ многіе изъ моихъ *дѣйствительно ученыхъ* противниковъ: подчеркнутыя слова не пропущены, а для нихъ-то и вся фраза составлена. Я мѣтилъ на ученыхъ...—Надеждина и Шевырева. Самаринъ говоритъ, что согласіе князя съ вѣчемъ было идеаломъ новогородскаго правленія. Я возразилъ ему на это, что и теперь, въ конституціонныхъ государствахъ, согласіе короля съ палатою есть осуществленіе идеала ихъ государственнаго устройства: гдѣ же особенность новгородскаго правленія? это вычеркнуто. Цѣлое мѣсто о Мицкевичѣ и о томъ, что Европа и не думаетъ о славянофилахъ, тоже вычеркнуто [1]). Отъ этихъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать—ножъ вострый! Скажу кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь»...

Бѣлинскій разсказываетъ, что Панаевъ встрѣтился съ однимъ

[1]) Эти цензурныя исключенія должны относиться къ Соч., XI, стр. 257, 260 — 263.

петербургскимъ славянофиломъ Поповымъ, который сказалъ ему, что читалъ отвѣтъ Кавелина «Москвитянину»—когда этотъ отвѣтъ былъ только-что присланъ и еще не былъ напечатанъ. Панаевъ удивился, гдѣ онъ могъ это сдѣлать. Оказалось, что славянофилъ, по знакомству, видѣлъ статью у цензора и «уговорилъ его кое-что смягчить», т.-е. смягчить сказанное противъ его пріятелей! «Видите ли, сколько у насъ цензоровъ»,...—прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій.

Далѣе, Бѣлинскій отвѣчаетъ на другое мнѣніе своего корреспондента, который не соглашался съ отзывомъ о «натуральной школѣ», сдѣланномъ въ «Отвѣтѣ Москвитянину». Бѣлинскій совершенно соглашается съ возраженіемъ и объясняетъ, что онъ затруднялся вполнѣ высказать свое мнѣніе въ печати. «Дѣло въ томъ,—пишетъ Бѣлинскій,—что статья писана не для васъ, а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фискальныхъ обвиненій. Поэтому, я счелъ за нужное сдѣлать уступки, на которыя внутренно и не думалъ соглашаться»,—но которыя я считалъ неизбѣжными ради главной своей цѣли.

Наконецъ, изъ Москвы обвиняли Бѣлинскаго (вѣроятно, все за ту же статью) въ славянофильствѣ. Онъ отвѣчаетъ на это любопытными строками.

«Это [1]) не совсѣмъ неосновательно; но только и въ этомъ отношеніи я съ вами едва-ли расхожусь. Какъ и вы, я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи. Но какъ и вы, я ничего не строю на основаніи этой любви и этой вѣры, не употребляю ихъ, какъ неопровержимыя доказательства. Вы же пустили въ ходъ идею развитія личнаго начала, какъ содержаніе исторіи русскаго народа. Намъ съ вами жить не долго, а Россіи—вѣка, можетъ быть тысячелѣтія. Намъ хочется поскорѣе, а ей торопиться нечего. Личность у насъ еще только наклевывается, и оттого Гоголевскіе типы—пока самые вѣрные русскіе типы. Это понятно и просто, какъ дважды два четыре. Но какъ бы мы ни были нетерпѣливы, и какъ бы ни казалось намъ все медленно-идущимъ, а вѣдь оно идетъ страшно быстро. Екатерининская эпоха представляется намъ уже въ миѳической перспективѣ, не стариною, а почти древностью. Помните-ли вы то время, когда я, не зная исторіи посвящалъ васъ въ тайны этой науки? Сравните-ка то, о чемъ мы тогда съ вами толковали, съ тѣмъ, о чемъ мы теперь толкуемъ. И придется воскликнуть: свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ! Терпѣть не могу я восторженныхъ патріотовъ, выѣзжающихъ вѣчно на междометіяхъ или на квасу да кашѣ; ожесточенные скептики для меня въ 1000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и непріятны мнѣ спокой-

---

[1]) Обвиненіе въ славянофильствѣ.

ные скептики, абстрактные человѣки, безпаспортные бродяги въ человѣчествѣ. Какъ бы ни увѣряли они себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнѣнію, представляющей человѣчество страны,—не вѣрю я ихъ интересамъ. Любовь часто ошибается, видя въ любимомъ предметѣ то, чего въ немъ нѣтъ, — правда; но иногда только любовь же и открываетъ въ немъ то прекрасное или великое, которое недоступно наблюденію и уму. Петръ Великій имѣлъ бы больше, чѣмъ кто-нибудь, право презирать Россію но онъ —

Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.

«На этомъ и основывалась возможность успѣха его реформы. Для меня Петръ—моя философія, моя религія; мое откровеніе во всемъ, что касается Россіи. Это примѣръ для великихъ и малыхъ, которые хотятъ что-нибудь дѣлать, быть чѣмъ-нибудь полезными. Безъ непосредственнаго элемента—все гнило, абстрактно и безжизненно, также какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо. Но что-же я разоврался? Вѣдь вы и сами тоже думаете, или, по крайней мѣрѣ, чувствуете, можетъ быть, наперекоръ тому, что думаете»...

Около этого же времени, въ концѣ ноября или началѣ декабря, Бѣлинскій писалъ къ одному изъ парижскихъ друзей, П. В. Анненкову, длинное письмо, наполненное необычнымъ содержаніемъ.

«Не удивляйтесь сему посланію,—говоритъ Бѣлинскій въ самомъ началѣ,—столь интересному по его содержанію: вы его получаете изъ Берлина [1]). Больше ничего не скажу на этотъ счетъ; но прямо приступлю къ изложенію тѣхъ необыкновенно интересныхъ русскихъ новостей, которыя заставили меня на этотъ разъ взяться за перо».

Новости, о которыхъ Бѣлинскій не рѣшался писать по почтѣ, относились къ крестьянскому вопросу. Это былъ тогда опасный вопросъ, о которомъ невозможно было заикнуться въ литературѣ, да и въ частномъ кругу надо было говорить съ осторожностью. У тогдашнихъ «охранителей» крѣпостное право былъ одинъ изъ краеугольныхъ камней русской народности. Для Бѣлинскаго и его друзей,—крестьянскій вопросъ былъ вопросъ давно рѣшенный, pium desiderium, которое стояло на первомъ планѣ въ ихъ желаніяхъ для русскаго общества. Бѣлинскій съ восторгомъ принималъ первыя несмѣлыя попытки литературы касаться издали этого предмета—даже простымъ повѣствовательнымъ изображеніемъ крестьянскаго

---

[1]) До Берлина его, очевидно, довезъ кто-нибудь изъ знакомыхъ, ѣхавшихъ за-границу.

быта, отдаленнымъ намекомъ на его тягость, внушеніемъ понятія о человѣческомъ достоинствѣ и чувства человѣколюбія, опытами внести въ народную сельскую среду нѣкоторыя понятія образованности. Оттого, восхищался онъ «Деревней», потомъ «Антономъ Горемыкой» Григоровича, нѣкоторыми стихами Некрасова, разсказами Тургенева, «Сельскимъ Чтеніемъ» кн. Одоевскаго и Заблоцкаго. Теперь, казалось, крестьянскому вопросу предстояло выступить наконецъ на очередь--и это ожиданіе радостно поразило Бѣлинскаго. По пріѣздѣ изъ-за границы Бѣлинскій услышалъ разсказы, что въ правительствѣ идетъ большое движеніе по вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права. Бѣлинскій съ ревностью собиралъ ходившіе въ Петербургѣ слухи—о твердомъ намѣреніи имп. Николая Павловича рѣшить этотъ вопросъ, о скрытномъ сопротивленіи разныхъ высокопоставленнымъ тогда лицъ, о томъ, что именно дѣлалось въ видахъ приготовленія этой мѣры... Въ своемъ письмѣ Бѣлинскій спѣшилъ передать всѣ эти новости парижскому другу:

«Такъ вотъ-съ, мой дражайшій,—пишетъ Бѣлинскій, кончивъ свой довольно длинный разсказъ,—и у насъ не безъ новостей, и даже не безъ признаковъ жизни. Движеніе это отразилось, хотя и робко, и въ литературѣ. Проскальзываютъ тамъ и сямъ то статьи, то статейки, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанію. Вы, вѣрно, уже получили статью Заблоцкаго [1]). Въ другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно, въ «Жур. Мин. Нар. Просв.» ее разбирали съ похвалою и выписали мѣсто о злѣ *обязательной ренты*. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патріархально-сонный бытъ весь изжитъ, и надо взять иную дорогу. Очень интересна теперь «Землед. Газета»—органъ мнѣній помѣщиковъ. Толкуютъ о съѣздахъ помѣщиковъ. и т. д. Обо всемъ этомъ вамъ дадутъ понятіе XI и особенно XII №№ «Совр.» (смѣсь) [2])»...

---

[1]) «Отеч. Зап.» 1847, кн. 5 и 6: «Причины колебанія цѣнъ на хлѣбъ въ Россіи». Эта замѣчательная статья имѣетъ свое историческое мѣсто въ развитіи крестьянскаго вопроса. Не называя крѣпостного права (что́ было невозможно), авторъ указывалъ, съ чисто экономической и статистической точки зрѣнія, основную причину бѣдственнаго положенія нашего «сельскаго хозяйства»—въ *обязательной рентѣ*, т.-е. въ крѣпостномъ трудѣ. Замѣтимъ притомъ, что это—статья чисто спеціальная, наполненная статистическими цифрами. Бѣлинскій, не смотря на то, въ восторгѣ отъ нея: «архи- и просто-превосходнѣйшая статья (говоритъ онъ въ письмѣ къ Боткину, отъ 4—5 ноября—во мнѣніи о которой, я увѣренъ, ты à la lettre согласенъ и пересогласенъ со мною».

[2]) Кн. 11, смѣсь, стр. 102—105; кн. 12, стр. 176—186, гдѣ передаются изъ «Земледѣльческой Газеты» и другихъ изданій тогдашніе толки о мѣрахъ къ «улучшенію нашего сельскаго хозяйства»—т.-е. главнымъ образомъ о крѣпостномъ трудѣ, очень осторожно и съ «хозяйственной» точки зрѣнія.

Извѣстно, что эти надежды на рѣшенія крестьянскаго дѣла продолжались недолго. Съ началомъ 1848 года мысли правительства обратились въ другую сторону, и планы относительно крестьянскаго вопроса были, кажется, совершенно отложены. Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій уже говоритъ о начинавшихся строгостяхъ цензуры,— хотя онѣ вызывались пока еще частными случаями.

Парижскіе друзья, между прочимъ, желали имѣть свѣдѣнія о судьбѣ Шевченка, сосланнаго не задолго передъ тѣмъ. Одинъ изъ этихъ друзей, котораго Бѣлинскій называетъ «вѣрующимъ другомъ», былъ очень расположенъ въ пользу Шевченка. Бѣлинскій, по пріѣздѣ въ Петербургъ, «наводилъ справки» и пришелъ къ самому неблагопріятному выводу: по справкамъ (которыя, какъ видно, не было совершенно точны) выходило, что Шевченко былъ авторомъ «пасквилей» и за это былъ посланъ солдатомъ на Кавказъ. Такого рода люди, по мнѣнію Бѣлинскаго,—«враги всякаго успѣха», потому что своими поступками «раздражаютъ правительство, дѣлаютъ его подозрительнымъ; готовымъ видѣть бунтъ тамъ, гдѣ ровно ничего нѣтъ, и вызываютъ мѣры, крутыя и гибельныя для литературы и просвѣщенія».—Сколько мы знаемъ, дѣло было не совсѣмъ такъ, какъ разсказываетъ Бѣлинскій, но онъ тогда не имѣлъ другого толкованія этого факта, и самымъ рѣзкимъ образомъ возстаетъ противъ Шевченка. Кромѣ того, опасеніе возбудить подозрительность и вызвать крутыя мѣры видимо овладѣвало Бѣлинскимъ подъ вліяніемъ ожиданій, что тогда предстояло разрѣшеніе крестьянскаго вопроса... Въ доказательство своихъ опасеній Бѣлинскій приводитъ одну исторію изъ тогдашней цензурной практики. Незадолго передъ тѣмъ вышла одна книжка о малороссійской исторіи, въ которой, по словамъ Бѣлинскаго, была между прочимъ высказана мысль, что Малороссія или должна отторгнуться отъ Россіи, или погибнуть. Книжка прошла благополучно; но впослѣдствіи на нее сдѣланъ былъ доносъ, и цензору (человѣку очень уважаемому) грозило преслѣдованіе, которое едва могло быть отклонено: цензоръ уцѣлѣлъ, но вышелъ въ отставку, чтобъ уйти отъ фальшиваго положенія между требовательными цензурными властями и литературой, которой не хотѣлъ тѣснить мелочными придирками. Въ цензурѣ вообще начинались строгости; Бѣлинскій характеризуетъ при этомъ тогдашняго начальника цензуры, Мусина-Пушкина. Между прочимъ вскорѣ за упомянутымъ случаемъ съ малорусской книжкой открылось гоненіе противъ французскихъ романовъ — запрещены были «Манонъ-Леско», и романы Ж. Занда «Піччинино» и «Леонъ-Леони». По словамъ Бѣлинскаго, цензура вообразила, что авторъ упомяну-

той книжки «набрался хохлацкаго патріотизма изъ французскихъ романовъ».

Бѣлинскій повторяетъ свое осужденіе противъ тѣхъ «либераловъ», которые легкомысленными крайностями вызываютъ подобныя возмездія,—но онъ еще не чувствовалъ, что его объясненіе не совсѣмъ идетъ къ дѣлу; онъ не замѣчалъ какъ будто, что сопоставленіе французскихъ романовъ съ «хохлацкимъ патріотизмомъ» (еслибъ оно было,—а возможности его Бѣлинскій именно не отвергалъ) само по себѣ было такъ смѣло что едва ли бы могла его предупредить какая угодно осторожность литературы... Въ томъ же письмѣ онъ приводитъ другіе случаи цензурной и иной подозрительности, направленной противъ славянофиловъ. Вскорѣ, въ самомъ началѣ 1848 года, онъ долженъ былъ увидѣть цѣлый рядъ фактовъ, которые ужъ никакъ не подходили подъ его толкованіе...

Въ концѣ письма, онъ возвращается къ литературнымъ новостямъ:

«Читали-ли вы *Домби и Сынъ?* Если нѣтъ, спѣшите прочесть, Это чудо. Все, что написано до этого романа Диккенсомъ, кажется теперь блѣдно и слабо, какъ будто совсѣмъ другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить—у меня голова не на мѣстѣ отъ этого романа» [1]).

Въ декабрѣ (вѣроятно, въ началѣ) Бѣлинскій пишетъ опять «тетрадь» Боткину. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ предположеннаго имъ пріѣзда Боткина, и, не дождавшись ни пріѣзда, ни письма, сталъ писать. Ему пришла въ голову мысль—не думаетъ ли Боткинъ, что Бѣлинскій сердится на него за участіе въ «Отеч. Запискахъ», о чемъ онъ писалъ ему длинное письмо 4—5 ноября.

«Я дѣйствительно горячъ и раздражителенъ,—объясняетъ Бѣлинскій,—и когда взбѣшусь на пріятеля, то непремѣнно выстрѣлю въ него длиннымъ письмомъ, отъ котораго смертельно устану... Послѣ этого я уже не чувствую никакой досады, кромѣ какъ на себя—потому что припомнится вдругъ, что тò сказалъ рѣзко, а вотъ этого вовсе бы не слѣдовало говорить. И потому сердиться (въ смыслѣ сохраненія надолго непріятнаго чувства) вовсе не въ моей натурѣ. Я способнѣе вовсе разойтись навсегда съ пріятелемъ, если поступокъ его противъ меня будетъ таковъ, что долженъ охолодить меня къ нему, нежели сердиться... [Теперь онъ нимало не сердился на Боткина и вообще на московскихъ друзей]... Повторяю еще разъ—я могъ на минуту вспылить на всѣхъ на васъ за вашъ поступокъ, какъ необдуманный и нелѣпый; но у меня никогда

---

[1]) «Домби и Сынъ» переводился тогда и въ «Современникѣ» и въ «Отечествен. Запискахъ».

не было въ головѣ дикой мысли—видѣть въ немъ личную обиду мнѣ»...

Дѣла журнала были, по мнѣнію Бѣлинскаго, не совсѣмъ хороши. Началась подписка на слѣдующій годъ, но шла не только хуже, чѣмъ въ «Отеч. Запискахъ», но чѣмъ даже въ «Библіотекѣ для Чтенія». Все письмо затѣмъ наполнено разсужденіями по поводу различныхъ литературныхъ новостей. Бѣлинскаго очень интересуетъ мнѣніе Боткина о повѣсти Дружинина «Полинька Саксъ» [1]; самому Бѣлинскому она очень нравилась «дѣльностью» своего содержанія, хотя было въ ней кое-что незрѣлое, натянутое и мелодраматическое. Въ мнѣніи о повѣсти Григоровича «Антонъ Горемыка», Боткинъ не былъ согласенъ съ Бѣлинскимъ, и находилъ въ повѣсти длинноту. Бѣлинскій споритъ противъ этого и объясняетъ, что взгляды ихъ на русскую повѣсть вообще различны.

«Для меня,—говоритъ Бѣлинскій,—иностранная повѣсть должна быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначалѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могъ осилить (доказательство—я прочелъ съ начала до конца *Вѣру* въ «От. З.»—да и задамъ же я ей при обзорѣ), а будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное—сколько нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты—сибаритъ, сластёна...—тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества—тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертаціею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества,—она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Я съ удовольствіемъ прочелъ, напр., повѣсть не повѣсть, даже разсказъ не разсказъ, и разсужденіе не разсужденіе—*Записки человѣка*, Галахова (въ 12 № «Отеч. Зап.»), да еще съ какимъ удовольствіемъ [2]! Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности,—тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть

[1]) «Совр.» 1847, кн. 12.

[2]) Этотъ разсказъ, подписанный извѣстнымъ тогда псевдонимомъ «Стоодинъ» и задавшійся намѣреніемъ представить возникновеніе разлада съ окружающей жизнью и понятіями въ тогдашнемъ поколѣніи, на первыхъ же порахъ привлекъ на себя неблагосклонное вниманіе московскаго митрополита Филарета, который, какъ извѣстно, съ своей стороны очень слѣдилъ за явленіями литературы и разнымъ образомъ обличалъ ихъ. Когда онъ высказалъ свое неудовольствіе отъ разсказа «Сто-одного», это обстоятельство побудило автора въ продолженіи разсказа («Отеч. Зап.» 1848) очень измѣнить принятый въ немъ тонъ—чтобы избѣжать обнаруженія архипастырскаго гнѣва.

художественна, да если въ ней нѣтъ дѣла,—то я къ ней совершенно равнодушенъ [1])... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ *Антонѣ* я не замѣтилъ длиннотъ, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки!.. Но перечитывать *Антона* я не буду, хотя всегда перечитываю по нѣскольку разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину—законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ»...

Въ этихъ словахъ, вѣроятно, всего рѣшительнѣе высказался послѣдній взглядъ Бѣлинскаго на искусство или, точнѣе, на русскую повѣсть. Защитники чистаго искусства хотѣли осудить этотъ взглядъ, называя его утилитарнымъ; нѣкоторые изъ друзей Бѣлинскаго хотѣли какъ будто прикрыть его, представить или какъ временный порывъ, или какъ слѣдствіе упадка силъ и вмѣстѣ таланта. Но очевидно, что если въ приведенномъ отрывкѣ этотъ взглядъ высказанъ нѣсколько рѣзко, онъ вовсе не принадлежалъ только послѣднему времени,—напротивъ, теорія чистаго искусства была оставляема Бѣлинскимъ мало-по-малу еще съ первыхъ сороковыхъ годовъ, когда онъ отказался отъ прежняго отвлеченнаго идеализма и въ первый разъ созналъ, какъ много ихъ кружокъ и онъ самъ злоупотребляли словомъ «художественность». Бѣлинскій выражалъ свою мысль менѣе и болѣе сильно, но онъ съ тѣхъ поръ неизмѣнно требовалъ отъ литературнаго произведенія—содержанія. Онъ и теперь не отвергалъ великаго могущества художественнаго генія, и удивлялся, какъ у сильныхъ талантовъ, богатыхъ художественнымъ творчествомъ, многозначительное содержаніе являлось при отсутствіи всякаго намѣренія, даже всякаго сознанія, — какъ у Гоголя; но Бѣлинскаго уже нельзя подкупить теперь, какъ прежде, внѣшней отдѣлкой художественной формы, такъ называемой «объективной» поэзіей, за которой такъ нерѣдко скрывался сухой индифферентизмъ содержанія. Тамъ, гдѣ не было первостепеннаго таланта (а такого не встрѣчалось послѣ «Мертвыхъ Душъ»), Бѣлинскій тѣмъ больше требовалъ «дѣятельности», или сознательнаго содержанія, т.-е. по крайней мѣрѣ вѣрныхъ изображеній жизни и нравовъ, а такія изображенія уже сами по себѣ должны были принести свою пользу обществу. Ему наскучило и казалось нелѣпымъ—

[1]) Въ подлинникѣ гораздо болѣе энергическое выраженіе.

мѣрить обыкновенныя явленія литературы тѣмъ масштабомъ, какой прилагается къ Шекспиру.

Приводимъ изъ того же письма еще нѣкоторые литературные отзывы. Выше былъ приведенъ восторженный отзывъ о «Домби и Сынѣ»; здѣсь Бѣлинскій опять говоритъ о немъ:

«А читаешь-ли ты *Домби и Сынъ*? Это что-то уродливо, чудовищно-прекрасное! Такого богатства фантазіи на изобрѣтеніе рѣзко, глубоко, вѣрно нарисованныхъ типовъ я и не подозрѣвалъ не только въ Диккенсѣ, но и вообще въ человѣческой натурѣ. Много написалъ онъ прекрасныхъ вещей, но все это въ сравненіи съ послѣднимъ его романомъ блѣдно, слабо, ничтожно. Теперь для меня Диккенсъ—совершенно новый писатель, котораго я прежде не зналъ»...

Онъ жалѣетъ только, что Диккенсъ — «такъ мало личенъ, такъ мало *субъективенъ*, такъ мало человѣкъ,—и такъ много англичанинъ», зачѣмъ онъ ближе къ Вальтеръ-Скотту, чѣмъ къ Байрону: съ сознательными стремленіями и симпатіями Диккенсъ сталъ бы еще несравненно выше. Бѣлинскій огорчается потомъ, что послѣдніе романы Ж.-Занда плохи, не достойны ея таланта; бранитъ «скверназца» Дюма, котораго называетъ protégé Боткина, наконецъ говоритъ о знаменитомъ романѣ Гёте, переведенномъ тогда въ «Современникѣ» [1]).

«Die Wahlverwandschaften» Гёте еще со временъ московскаго кружка очень занимали Бѣлинскаго и его друзей. Поэзія Гёте была тогда для кружка такимъ же откровеніемъ, какъ философія Гегеля; понятно, что Бѣлинскій и его друзья ожидали найти здѣсь рѣшеніе вопросовъ о женщинѣ, о любви, о бракѣ. Бѣлинскій въ то время, повидимому, зналъ только по разсказамъ содержаніе романа Гёте. Впослѣдствіи у него шли объ этомъ романѣ толки и споры съ Боткинымъ, съ Герценомъ; но Бѣлинскій уже очень давно, съ 1839, усомнился въ художественномъ достоинствѣ «рефлектированныхъ романовъ» Гёте. Въ письмѣ изъ-за границы (отъ 24 мая) Бѣлинскій сообщаетъ издателямъ «Современника» мнѣніе Тургенева, который рекомендовалъ перевесть «Тома Джонса», Фильдинга (что и было сдѣлано), но не совѣтовалъ переводить романа Гёте. Романъ былъ однако переведенъ, и вотъ впечатлѣніе Бѣлинскаго:

«Ахъ, кстати: недавно я одержалъ блистательную побѣду, по части терпѣнія—прочелъ *Оттилію* [2]). Святители! Думалъ-ли я, что великій Гёте, этотъ олимпіецъ нѣмецкій, могъ явиться такою нѣм-

---

[1]) «Совр.» 1847, кн. 7—8.

[2]) Такъ *названы были* Wahlverwandschaften въ русскомъ переводѣ.

турою въ этомъ прославленномъ его романѣ. Мысль основная умна и вѣрна, но художественное развитіе этой мысли—Аллахъ, Аллахъ—зачѣмъ ты сотворилъ нѣмцевъ?... Умолкаю [1])...

Далѣе, слѣдуетъ въ письмѣ цѣлый длинный трактатъ въ защиту «Писемъ изъ Avenue Marigny», рядъ которыхъ печатался тогда въ «Современникѣ» [2]). Оказывалось, что эти письма не совсѣмъ понравились московскимъ друзьямъ, которые находили, кажется, что они не достаточно серьезно говорятъ о предметѣ, который тогда очень занималъ у насъ образованные кружки и конечно также московскихъ друзей; что авторъ «Писемъ» слишкомъ поспѣшно осуждаетъ извѣстныя политическія партіи тогдашней Франціи, преувеличиваетъ и т. д. Бѣлинскій горячо защищаетъ автора «Писемъ»: «Эти письма,—говоритъ онъ,—особенно послѣднее, писались при мнѣ, на моихъ глазахъ», — подъ живымъ впечатлѣніемъ фактовъ, которые не подлежали сомнѣнію и ближе были видны автору «Писемъ»; не отвергая возможныхъ преувеличеній со стороны автора, Бѣлинскій рѣшительно не согласенъ съ тѣми осужденіями, какія высказывались московскими друзьями. Увлеченный этой защитой, Бѣлинскій пишетъ цѣлое длинное разсужденіе о буржуазіи и другихъ общественныхъ вопросахъ того времени, о національныхъ характерахъ, о борьбѣ капитала и труда—въ томъ смыслѣ, какъ разсуждалъ объ этихъ вещахъ и авторъ «Писемъ».

Въ это же время Бѣлинскій писалъ (отъ 7 декабря) длинное письмо Кавелину, одно изъ его любопытнѣйшихъ писемъ этого времени. Бѣлинскій уже отвѣчалъ ему на письмо, но не имѣлъ отвѣта, и снова пишетъ, недоумѣвая о его молчаніи. «Ужъ не больны ли вы,—спрашиваетъ Бѣлинскій...—или вамъ не до писемъ по случаю отставки Строганова? Это считаю очень возможнымъ». Въ то время эта отставка произвела большое впечатлѣніе, которое раздѣлялъ и Бѣлинскій.

«Я человѣкъ посторонній московскому университету,—пишетъ онъ,—а вѣсть объ отставкѣ С. огорчила меня даже помимо моихъ отношеній къ вамъ, Гр (Грановскому) и Коршу. Это событіе прискорбное для всѣхъ друзей общаго блага и просвѣщенія въ Россіи. О васъ, господа, я и не говорю: все это время не было дня, чтобъ я не думалъ объ этомъ, и это думанье вовсе не веселое и не легкое. Соколъ съ мѣста, ворона на мѣсто! Тяжело и грустно! Чортъ возьми, иной разъ, право, дѣлается легко и весело отъ мысли, что

---

[1]) Ср. отзывъ объ этомъ романѣ въ «Соврем.» 1848, кн. 1; Сочин. XI, стр. 361—362

жизнь — фантасмагорія, что, какъ мы ни волнуемся, а придетъ же время, когда и кости наши обратятся въ пыль,

> И будетъ спать въ землѣ безгласно
> То сердце, гдѣ кипѣла кровь,
> Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно
> Съ враждой боролася любовь».

Бѣлинскій переходитъ затѣмъ къ ихъ общей полемикѣ противъ славянофильскаго противника (Ю. Самарина), который выступилъ противъ «Современника» въ «Москвитянинѣ», подъ буквами М... З... К. Бѣлинскій очень доволенъ статьей своего друга, но ему не нравится, что тотъ не достаточно категорически высказывалъ свои опроверженія, какъ будто оставляя за противникомъ извѣстный авторитетъ. Самъ Бѣлинскій признаетъ большой умъ противника, но считаетъ его умъ чисто парадоксальнымъ; самая роль этого противника въ литературѣ (1847) представляется Бѣлинскому какъ нѣчто въ родѣ прихоти дилеттанта. То, что сказано имъ въ самомъ «Отвѣтѣ Москвитянину» [1]), сказано здѣсь съ большей опредѣленностью: Бѣлинскому видимо казалось, что со стороны славянофильскаго противника было больше холодной, хотя и умно защищаемой доктрины, чѣмъ живого одушевленія, больше самолюбиваго упорства системы, чѣмъ горячаго стремленія къ истинѣ — какова бы она ни вышла въ результатѣ.

«Въ чемъ увидѣли вы даровитость Самарина? Въ томъ, что онъ пишетъ не такъ, какъ Студицкій или Брантъ? Но вѣдь это дураки, а онъ уменъ. Вспомните, что онъ человѣкъ съ познаніями, съ многостороннимъ образованіемъ, говоритъ на нѣсколькихъ иностр. языкахъ, читалъ на нихъ все лучшее; да не забудьте при этомъ, что онъ свѣтскій человѣкъ. Что-жъ удивительнаго, что онъ умѣетъ написать статью также порядочно (comme il faut), какъ умѣетъ порядочно держать себя въ обществѣ? Оставляя въ сторонѣ его убѣжденія, въ статьѣ его нѣтъ ничего пошлаго, глупаго, дикаго, въ отношеніи къ формѣ, все какъ слѣдуетъ; но гдѣ же въ ней проблески особеннаго таланта, вспышка ума и мысли? Надо быть слишкомъ предубѣжденнымъ въ пользу такого, чтобы видѣть въ немъ что-нибудь другое, кромѣ человѣка сухого, черстваго, съ умомъ парадоксальнымъ, больше возбужденнымъ и развитымъ, нежели природнымъ, человѣка холоднаго, самолюбиваго, завистливаго, иногда блестящаго по причинѣ злости, но всегда мелкаго и посредственнаго. Можетъ быть, я ошибаюсь, и онъ со временемъ докажетъ, что у него есть талантъ—тогда я первый признаю его; но пока— воля ваша — спѣшить не вижу нужды. Вы имѣли случай раздавить его, вамъ это было легче сдѣлать, чѣмъ мнѣ. Дѣло въ томъ, что въ своихъ фантазіяхъ онъ опирается на источники русской исторіи; тутъ я пасъ. Мнѣ онъ сказалъ объ Ипатьевской лѣтописи, а

---

[1]) Ср. Сочин. XI, стр. 252—258.

я не знаю и о существованіи ея; вы—другое дѣло—вы ее читали и изучали, и ею же его и могли бить. Вы это и сдѣлали, но съ такимъ уваженіемъ къ нему, что иной читатель можетъ подумать, будто вамъ и Богъ вѣсть какъ тяжело бороться съ такимъ могучимъ противникомъ, и что вы хотите задобрить его, чтобъ онъ ужъ больше не подвергалъ васъ случайностямъ и опасностямъ такой трудной борьбы. А вмѣсто того, вамъ слѣдовало бы подавить его вѣжливою ироніею, презрительною насмѣшкой. Вы же такъ способны и ловки на это».

Не будемъ разбирать, насколько былъ онъ правъ или неправъ въ подобныхъ соображеніяхъ,—но очень вѣроятно, что именно этими соображеніями объясняется его страстная полемика и съ Самаринымъ, а отчасти и со всѣмъ славянофильствомъ.

Бѣлинскій потомъ возвращается еще къ письму 4—5 ноября. Онъ говоритъ, что это письмо, писанное къ Боткину, предназначено было, главнымъ образомъ, для Кавелина и Грановскаго, — и опять сожалѣетъ, что огорчилъ друзей. Съ тѣхъ поръ для него совершенно разъяснилось ихъ несогласіе, хотя они и высказывались очень сдержанно. Бѣлинскій не соглашался съ ними и теперь, но понималъ возможность ихъ взгляда на дѣло и видѣлъ ихъ побужденія: онъ не хотѣлъ однако спорить больше съ своими друзьями. Бѣлинскій говоритъ теперь о прежнемъ несогласіи въ мягкомъ, примирительномъ тонѣ, съ спокойнымъ обсужденіемъ обстоятельствъ и съ большой любовью къ своимъ друзьямъ...

Наконецъ, онъ подробнѣе, чѣмъ прежде, останавливается на спорномъ пунктѣ, который былъ затронутъ въ письмѣ Кавелина, именно на вопросѣ о Гоголѣ, натуральной школѣ и вообще тогдашней литературѣ. Слѣдующая цитата представляетъ любопытныя разъясненія къ литературнымъ мнѣніямъ Бѣлинскаго, которыхъ онъ не могъ досказывать въ печати:—эти слова интересны и теперь, и могли бы быть весьма поучительны для нынѣшнихъ противниковъ реалистическаго направленія литературы, которое теперь такъ и называютъ «отрицательнымъ».

«Принимаясь за это письмо,—говоритъ онъ,—я перечелъ снова ваше, и хочу, ужъ за разъ, еще кое-что сказать по его поводу, въ дополненіе моего прежняго отвѣта. Вы спрашиваете: «представляетъ-ли современная русская жизнь такую *другую* сторону, которая, будучи художественно воспроизведена, представила бы намъ положительную сторону нашей народной физіономіи?» — и видите съ моей стороны уступку славянофиламъ въ утвердительномъ моемъ отвѣтѣ [1]). Но, несмотря на то, я не думалъ съ ними соглашаться, по причинамъ, изложеннымъ въ вашемъ письмѣ, и съ которыми я

[1]) *Сочин.*, стр. 221 и слѣд.

всегда былъ вполнѣ согласенъ. Но поймите, что въ отношеніи къ этому вопросу въ печати необходимо или обходить его, или рѣшать утвердительно. Но этотъ вопросъ многими поставляется проще, т.-е. многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и нат. школы такъ называемыхъ «благородныхъ» лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительному понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это обвиненіе нелѣпое, и его-то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего; что ихъ на Руси, по сущности народа русскаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т.-е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героевъ), и что наконецъ Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ, непонятныхъ исключеній, — все это для меня аксіома, какъ дважды два четыре. Но вотъ горе то: литература все-таки не можетъ пользоваться этими хорошими людьми, не впадая въ идеализацію, въ реторику и мелодраму, т.-е. не можетъ представлять ихъ художественно,—такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человѣческое въ прямомъ противорѣчіи съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ быть иногда героемъ добра, въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ сторонъ Гоголевскимъ лицомъ; честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но невѣжда, колотитъ жену, варваръ съ дѣтьми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человѣческое, которымъ онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію, ни преданію; словомъ, средѣ, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть; потому, наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terrain, а, какъ вы говорите справедливо, не пловучее море, а огромное стекло. Вотъ, напр., честный секретарь уѣзднаго суда. Писатель реторической школы, изобразивъ его гражданскіе и юридическіе подвиги, кончитъ тѣмъ, что, за его добродѣтель, онъ получаетъ большой чинъ и дѣлается губернаторомъ, а тамъ и сенаторомъ. Это цензура пропуститъ со всею охотою, какими бы негодяями ни былъ обставленъ этотъ идеальный герой повѣсти, ибо онъ одинъ выкупаетъ съ лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для котораго всего дороже истина, подъ конецъ повѣсти представитъ, что героя опутали со всѣхъ сторонъ, и запутали, засудили, отрѣшили съ безчестіемъ отъ мѣста, которое онъ *портилъ*, и пустили съ семьею по міру, если не сослали въ Сибирь, а общество наградило его за добродѣтель справедливости и неподкупности эпитетами безпокойнаго человѣка, ябедника, разбойника и пр. и пр. Изобразитъ-ли писатель реторической школы доблестнаго губернатора — онъ представитъ удивительную картину преобразованной кореннымъ образомъ и доведенной до послѣднихъ крайностей благоденствія губерніи. Натуралистъ же представитъ, что этотъ, дѣйствительно благонамѣренный, умный, знающій, благородный и талантливый губернаторъ видитъ, наконецъ, съ удивленіемъ и ужа-

сомъ, что не поправилъ дѣла, а только еще больше испортилъ его, и что, покоряясь невидимой силѣ вещей, онъ долженъ себя считать счастливымъ, что, по своему крупному чину, вмѣстѣ съ породой и богатствомъ, онъ не могъ покончить точь-въ-точь, какъ вышеупомянутый секретарь уѣзднаго суда. Кто-жъ будетъ пропускать такія повѣсти? Во всякомъ обществѣ есть солидарность — въ нашемъ страшная: она основывается на пословицѣ—съ волками надо выть по волчьи. Теперь вы видите ясно, какъ я понимаю этотъ вопросъ, и почему рѣшаю его не такъ, какъ бы слѣдовало»...

Слѣдуетъ еще рядъ замѣчаній, вызванныхъ тѣмъ же предметомъ—о Гоголѣ, творчество котораго онъ окончательно признаетъ безсознательнымъ, о свойствахъ геніальной натуры, о Петрѣ Великомъ:

«Итакъ, вы видите,—продолжаетъ Бѣлинскій, — что я вполнѣ и во всемъ согласенъ съ вами. Найдутся, впрочемъ, и несогласія, но не въ мысляхъ, а въ оттѣнкахъ мыслей, о чемъ писать скучно. Говоря, что Гоголь изображаетъ не пошлецовъ, а человѣка вообще, я имѣлъ въ виду отстоять отъ его враговъ сущность его художественнаго таланта. Съ этой стороны и вы не совсѣмъ правы, видя въ немъ только комика. Его *Бульба* и разныя отдѣльныя черты, разсѣянныя въ его сочиненіяхъ, доказываютъ, что онъ столько же трагикъ, сколько и комикъ, но что отдѣльно тѣмъ или другимъ онъ рѣдко бываетъ въ отдѣльномъ произведеніи, но чаще всего слитно тѣмъ и другимъ. Комизмъ—слово узкое для выраженія Гоголевскаго таланта. У него и комизмъ-то выше того, что мы привыкли называть комизмомъ. Что касается до добродѣтелей Собакевича и Коробочки, вы опять не поняли моей цѣли; а я совершенно съ вами согласенъ. У насъ всѣ думаютъ, что если кто, сидя въ театрѣ, отъ души гнушается лицами въ Ревизорѣ, тотъ уже не имѣетъ ничего общаго съ ними, и я хотѣлъ замѣтить, съ одной стороны, что самые лучшіе изъ насъ не чужды недостатковъ этихъ чудищъ, а съ другой, что эти чудища—не людоѣды же. А вы правы, что собственно въ нихъ нѣтъ ни пороковъ, ни добродѣтелей. Вотъ почему заранѣе чувствую тоску при мысли, что мнѣ надо будетъ писать о Гоголѣ, можетъ быть, не одну статью, чтобы сказать о немъ мое послѣднее слово: надо будетъ говорить многое не такъ, какъ думаешь. Въ этомъ отношеніи, о Лермонтовѣ писать гораздо легче. Что между Гоголемъ и натуральною школою — цѣлая бездна (это правда); но все-таки она идетъ отъ него, онъ отецъ ея, онъ не только далъ ей форму, но и указалъ на содержаніе. Послѣднимъ она воспользовалась не лучше его (куда ей въ этомъ бороться съ нимъ!), а только сознательнѣе. Что онъ дѣйствовалъ безсознательно,—это очевидно, но Коршъ больше чѣмъ правъ, говоря, что всѣ геніи такъ дѣйствуютъ. Я отъ этой мысли года три назадъ съ ума сходилъ, а теперь она для меня аксіома, безъ исключеній. Петръ Великій—не исключеніе. Онъ былъ домостроитель, хозяинъ государства, на все смотрѣлъ съ утилитарной точки зрѣнія: онъ хотѣлъ сдѣлать изъ Россіи нѣчто въ родѣ Голландіи, и построилъ

было Петербургъ-Амстердамъ. Но то ли только вышло, или должно выдти изъ его реформы? Геній—инстинктъ, а потому и откровеніе: броситъ въ міръ мысль и оплодотворитъ ею его будущее, самъ не зная, что сдѣлалъ и думая сдѣлать совсѣмъ не то. Сознательно дѣйствуетъ талантъ, но за то онъ кастратъ, безплоденъ, своего ничего не родитъ, но за то лелѣетъ, роститъ и крѣпитъ дѣтей генія. Посмотрите на Ж. Зандъ въ тѣхъ ея романахъ, гдѣ рисуетъ она свой идеалъ общества: читая ихъ, думаешь читать переписку Гоголя. Но довольно объ этомъ»..:

Приведенное письмо—послѣднее въ нашемъ матеріалѣ, писанное рукою Бѣлинскаго. Послѣ него есть еще одно, которымъ кончается собранная нами переписка: оно писано уже подъ диктовку.

1848-й годъ начинался для Бѣлинскаго неблагополучно, и по личному его состоянію, и по тому, что готовилось и потомъ совершалось въ общественныхъ дѣлахъ и литературѣ. Около новаго года онъ опять заболѣлъ — гриппомъ, какъ ему говорили: его мучилъ страшный кашель, истощавшій его силы; грудь его была здорова, какъ ему казалось. Чахотка видимо подкапывала его. Внѣшнія обстоятельства, какъ увидимъ, были совсѣмъ не успокоительнаго свойства.

По разсказу Панаева, Бѣлинскій въ первое время по возвращеніи изъ-за границы дѣйствительно казался гораздо бодрѣе и свѣжѣе и возбудилъ-было въ друзьяхъ надежду, что здоровье его поправится. Онъ поселился на новой квартирѣ, на Лиговкѣ, въ домѣ Галченкова (недалеко отъ нынѣшней станціи московской желѣзной дороги).

«Квартира эта, — говоритъ Панаевъ, — довольно просторная и удобная, на обширномъ дворѣ этого дома, во второмъ этажѣ деревяннаго флигеля, передъ которымъ росло нѣсколько деревьевъ, производила какое-то грустное впечатлѣніе. Деревья у самыхъ оконъ придавали мрачность комнатамъ, заслоняя свѣтъ...

«Наступила глухая осень, съ безрасвѣтными петербургскими днями, съ мокрымъ снѣгомъ..., съ сыростью, проникающею до костей. Вмѣстѣ съ этимъ у Бѣлинскаго возобновилось снова удушье, еще въ болѣе сильной степени сравнительно съ прежнимъ; кашель начиналъ опять страшно мучить его днемъ и ночью, отчего кровь безпрестанно приливала у него къ головѣ. По вечерамъ чаще и чаще обнаруживалось лихорадочное состояніе, жаръ... Силы его гаснули замѣтно съ каждымъ днемъ [1])».

---

[1]) «Совр.» 1860, кн. 1, стр. 373.

Онъ однако все еще работалъ. Для первой книжки «Современника» приготовилъ онъ статью «Взглядъ на русскую литературу 1847 года» (первая половина) и нѣсколько библіографическихъ статей [1]). Во второй книгѣ помѣщено только нѣсколько короткихъ рецензій [2]) Для третьей книги онъ далъ вторую статью о литературѣ 1847 года [3]),—гдѣ между прочимъ остановился на новыхъ повѣствователяхъ, которые были въ то же время его любимцами,— какъ Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Даль, Григоровичъ, Дружининъ. Въ четвертой книгѣ помѣстилъ онъ двѣ небольшія рецензіи [4]).

Этимъ кончилась его литературная дѣятельность.

Мы видѣли изъ его собственныхъ словъ, какое значеніе имѣла для него работа: это было—право на жизнь; понятно, что онъ хотѣлъ работать до послѣдней возможности. Наконецъ, онъ былъ не въ состояніи писать; послѣднія статьи были имъ диктованы...

Также подъ диктовку писано письмо къ П. В. Анненкову отъ 15 февраля — послѣднее, какое мы знаемъ изъ переписки Бѣлинскаго.

«Дражайшій П. В., случайно узналъ я, что вашъ отъѣздъ изъ Парижа въ февралѣ отложился еще на два мѣсяца; но это еще не заставило бы меня приняться за перо чужою рукою [5]), еслибъ не представился случай пустить это письмо помимо русской почты. Я, батюшка, боленъ уже шестую недѣлю—привязался ко мнѣ проклятый гриппъ; мучитъ сухой и нервическій кашель; по поверхности тѣла пробѣгаетъ ознобъ, а голова и лицо въ огнѣ; истощеніе силъ страшное—еле двигаюсь по комнатѣ; 2-й № «Современника» вышелъ безъ моей статьи [6]), теперь диктую ее черезъ силу для 3-го; вытерпѣлъ двѣ мушки, а сколько переѣлъ разныхъ аптечныхъ гадостей—страшно сказать, а все толку нѣтъ до сихъ поръ; вотъ уже недѣли двѣ какъ не ѣлъ ничего мясного, а ко всему другому потерялъ всякій аппетитъ. Къ довершенію всего, выѣзжаю пользоваться воздухомъ въ намордникѣ, который выдумалъ на мое горе какой-то чортъ англичанинъ, чтобъ ему подавиться кускомъ ростбифу. Это для того, чтобъ на холодѣ дышать теплымъ воздухомъ черезъ машинку, сдѣланную изъ золотой проволоки, а стóитъ эта вещь 25 сер. Человѣкъ богатый, я—изволите видѣть—и дышу черезъ золото, и только по прежнему въ карманахъ не нахожу его.

[1]) Сочин. X, 315—366; 437—462.

[2]) Тамъ же, стр. 463—476.

[3]) Тамъ же, стр. 370—436.

[4]) Тамъ же. стр. 476—486.

[5]) Онъ диктовалъ женѣ.

[6]) Бѣлинскій готовилъ для него продолженіе большой критической статьи, которая начата была въ 1-й книгѣ.

Легкія же мои, по увѣренію доктора, да и по моему собственному чувству, въ лучшемъ состояніи, нежели какъ были назадъ тому три года (?). На счетъ гриппа Тильманъ утѣшаетъ меня тѣмъ, что теперь въ Петербургѣ тяжелое время для всѣхъ слабогрудыхъ, и что (я) еще не изъ самыхъ страждущихъ, но это меня мало утѣшаетъ»...

Далѣе, идетъ рѣчь о нѣкоторыхъ личныхъ вопросахъ его корреспондента, а затѣмъ о литературныхъ новостяхъ — о Тургеневѣ, Дружининѣ, Достоевскомъ. Въ то время появлялись въ «Современникѣ» новые эпизоды изъ «Записокъ Охотника». Любопытно, что Бѣлинскій относился къ нимъ очень требовательно: быть можетъ, въ немъ еще оставался слѣдъ того охлажденія, которое наступило у него послѣ перваго восхищенія стихотворными разсказами или поэмами Тургенева, быть можетъ (и это вѣроятнѣе) и то, что требовательность возбуждалась самой серьезностью задачи, которую теперь бралъ на себя авторъ: Бѣлинскій, очень цѣнившій эту задачу — реальное изображеніе цѣлой области нашей жизни, области помѣщичьей и крѣпостной,—тѣмъ ревнивѣе слѣдилъ за ея выполненіемъ. Дружининымъ онъ продолжаетъ восхищаться. Къ Достоевскому замѣчательно охладѣлъ.

Приводимъ нѣсколько отрывковъ изъ этихъ послѣднихъ дружескихъ бесѣдъ о литературѣ:

«Съ чего вы это, батюшка, такъ превознесли *Лебедянь* Тургенева? Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ разсказовъ его, а послѣ вашихъ похвалъ онъ мнѣ показался даже довольно слабымъ. Цензура не вымарала изъ него ни единаго слова, потому что рѣшительно нечего вычеркивать. *Малиновая вода* мнѣ не очень понравилась, потому что я рѣшительно не понялъ Степушки. Въ уѣздномъ лекарѣ я не понялъ ни единаго слова, и потому ничего не скажу о немъ; а вотъ моя жена такъ въ восторгѣ отъ него—бабье дѣло!.. Да вѣдь и Иванъ-то Сергѣевичъ бабье порядочное. Во всѣхъ остальныхъ разсказахъ много хорошаго, мѣстами даже очень хорошаго, но вообще они мнѣ показались слабѣе прежнихъ [1]). Больше другихъ мнѣ понравились *Бирюкъ* и *Смерть*. Богатая вещь—фигура Татьяны Борисовны, недурна старая дѣвица; но племянникъ мнѣ крайне не понравился, какъ списокъ съ Андрюши и Кирюши, на нихъ непохожій»...

---

[1]) «Записки Охотника» появлялись тогда въ такомъ порядкѣ: «Совр.» 1847, кн. 1: «Хорь и Калинычъ». Кн. 2: «Петръ Петровичъ Каратаевъ». Кн. 6: «Ермолай и Мельничиха», — Мой сосѣдъ Радиловъ», Однодворецъ Овсянниковъ»,—«Льговъ». Кн. 10: «Бурмистръ»,—«Контора». 1848, кн. 2: «Малиновая вода»,—«Уѣздный лекарь»,—«Бирюкъ»,—«Лебедянь,»—«Татьяна Борисовна и ея племянникъ»,—«Смерть».

Бѣлинскому не нравится также звукоподражательное измѣненіе словъ (въ разговорѣ дѣйствующихъ лицъ) и слишкомъ частое употребленіе словъ мѣстнаго орловскаго языка. Послѣднее замѣчаніе нѣсколько странно: словъ этого языка въ разсказахъ Тургенева не такъ много, чтобъ они бросались въ глаза, и едва ли больше, чѣмъ сколько былъ авторъ въ правѣ ввести ихъ для «мѣстнаго колорита». Недовольство Бѣлинскаго остается объяснить тѣмъ, что народный и мѣстный языкъ гораздо меньше, чѣмъ теперь, проникалъ тогда въ литературныя произведенія, хотя и тогда онъ уже сильно пробивался въ литературу, напр., у Даля, который вообще Бѣлинскому нравился; мы теперь такъ освоились съ народнымъ языкомъ — особенно, въ позднѣйшей натуральной школѣ — Успенскихъ, Рѣшетникова, Слѣпцова и проч., — что въ «Запискахъ Охотника» онъ вовсе не кажется странностью. Въ отзывахъ Бѣлинскаго еще слышна непривычка къ нововведенію: онъ искалъ общей картины, и мѣстный колоритъ казался ему нарушающимъ ее излишествомъ...

«А какую Дружининъ написалъ повѣсть новую—чудо [1])! Тридцать лѣтъ разницы отъ «Полиньки Саксъ»! Онъ для женщинъ будетъ тоже, что Герценъ для мужчинъ. «Сорока-воровка» напечатана, и прошла съ небольшими измѣненіями — несмотря на нихъ, мысль ярко выказывается... «Сорока-воровка» имѣла большой успѣхъ. Но повѣсть Дружинина не для всѣхъ писана, также какъ и записки Крупова [2]). Не знаю, писалъ ли я вамъ, что Достоевскій написалъ повѣсть *Хозяйка*—ерунда страшная! [3]). Въ ней онъ хотѣлъ помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немножко Гоголя. Онъ и еще кое-что написалъ послѣ того, но каждое его новое произведеніе—новое паденіе. Въ провинціи его терпѣть не могутъ, въ столицѣ отзываются враждебно даже о *Бѣдныхъ Людяхъ*. Я трепещу при мысли перечитать ихъ, такъ легко читаются они! Надулись же вы, другъ мой, съ Достоевскимъ-геніемъ! О Тург. не говорю — онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнѣ, старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать...»

Бѣлинскій прочелъ «Исповѣдь» Руссо и возымѣлъ къ нему крайнюю антипатію: теперь онъ читалъ романы Вольтера, и въ восторгѣ отъ него, и опять бранитъ Луи-Блана, который не сумѣлъ вѣрно понять Вольтера въ своей «Исторіи революціи».

«... Что за благородная личность Вольтера! какая горячая симпатія ко всему человѣческому, разумному, къ бѣдствію простого

[1]) Бѣлинскій разумѣетъ вѣроятно «Разсказъ Алексѣя Дмитрича», въ «Соврем.» 1848, книга 2.

[2]) «Соврем.» 1847, кн. 9, стр. 1—30: «Изъ сочиненія доктора Крупова».

[3]) «Хозяйка» была напечатана въ «Отеч. Зап.» 1847, кн. 10 и 12.

народа! Что онъ сдѣлалъ для человѣчества! Правда, онъ иногда называетъ народъ vile populace, но за то, что народъ невѣжественъ, суевѣренъ, изувѣръ, кровожаденъ, любитъ пытки и казни. Кстати, мой вѣрующій другъ [1]) и наши словянофилы сильно помогли мнѣ сбросить съ себя мистическое вѣрованіе въ народъ. Гдѣ и когда народъ освободилъ себя? Всегда и все дѣлалось черезъ личности. Когда я, въ спорахъ съ вами о буржуазіи, называлъ васъ консерваторомъ, я былъ оселъ въ квадратѣ, а вы были умный человѣкъ. Вся будущность Франціи въ рукахъ буржуазіи, всякій прогрессъ зависитъ отъ нея одной, а народъ тутъ можетъ по временамъ играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моемъ вѣрующемъ другѣ сказалъ, что для Россіи теперь нуженъ новый Петръ Великій, онъ напалъ на мою мысль какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ все для себя сдѣлать. Что за наивная аркадская мысль! ...Мой вѣрующій другъ доказывалъ мнѣ еще, что избави-де Богъ Россію отъ буржуазіи. А теперь ясно видно, что внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнется не прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію. Польша лучше всего доказала, какъ крѣпко государство, лишенное буржуазіи съ правами. Странный я человѣкъ! когда въ мою голову забьется какая-нибудь нелѣпость, здравомыслящимъ людямъ рѣдко удастся выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мнѣ непремѣнно нужно сойтись съ мистиками, піэтистами и фантазёрами, помѣшанными на той же мысли — тутъ я и назадъ. Вѣрующій другъ и славянофилы наши оказали мнѣ большую услугу. Не удивляйтесь сближенію: лучшіе изъ славянофиловъ смотрятъ на народъ совершенно такъ, какъ мой вѣрующій другъ; они высосали эти понятія изъ соціалистовъ... Но довольно объ этомъ. Дѣло объ освобожденіи крестьянъ идетъ, а впередъ не подвигается. На-дняхъ прошелъ въ государственномъ совѣтѣ законъ, позволяющій крѣпостному крестьянину имѣть собственность — съ позволенія своего помѣщика! черезъ годъ снимутся таможни на русско-польской границѣ. Передѣлывается, говорятъ, тарифъ вообще... Усталъ диктовать, а потому и говорю вамъ прощайте..., не мистически, а раціонально обожаемый другъ мой, П. В.».

Рукой Бѣлинскаго написана только послѣдняя строка—дата письма.

«Зима 1847—1848 года тянулась для Бѣлинскаго мучительно,—разсказываетъ Панаевъ, часто его видавшій.—Съ физическими силами падали и силы его духа. Онъ выходилъ изъ дому рѣдко; дома, когда у него собирались пріятели, онъ мало одушевлялся и часто повторялъ, что ему уже не долго остается жить. Говорятъ, что больные чахоткой обыкновенно не сознаютъ опасности своего положенія... У Бѣлинскаго не было этой иллюзіи; онъ не разсчитывалъ на жизнь и не утѣшалъ себя никакими надеждами»...

---

[1]) Такъ называлъ Бѣлинскій Бакунина.

Письма, приведенныя въ началѣ этой главы, и указанныя статьи въ «Современникѣ» 1848 года были послѣдними порывами его дѣятельности.

«Болѣзненныя страданія Бѣлинскаго,—продолжаетъ Панаевъ,—развились страшно въ послѣднее время отъ петербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, непріятностей и отъ тяжелыхъ и смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали носиться какіе-то неблагопріятные для него слухи, все какъ-то душнѣе и мрачнѣе становилось кругомъ его, статьи его разсматривались все строже и строже. Онъ получилъ два весьма непріятныя письма, написанныя, впрочемъ, съ большою деликатностію, отъ одного изъ своихъ прежнихъ наставниковъ, котораго онъ очень любилъ и уважалъ. Ему надобно было, по поводу ихъ, ѣхать объясняться, но онъ уже въ это время не выходилъ изъ дому...

«Нѣкоторые господа», мнѣніемъ которыхъ Бѣлинскій дорожилъ нѣкогда, начинали поговаривать, что онъ исписался, что онъ повторяетъ зады, что его статьи длинны, вялы и скучны... Это доходило и до него, и глубоко огорчало его [1])».

Для объясненія «неблагопріятныхъ слуховъ» и новыхъ особыхъ тревогъ, какія пришлось испытать Бѣлинскому въ послѣднее время его жизни, надобно вспомнить то положеніе, какое занимала лучшая часть литературы, и Бѣлинскій въ томъ числѣ, въ понятіяхъ большинства и руководящихъ авторитетовъ. Это положеніе мы не можемъ лучше объяснить, какъ цитатой изъ воспоминаній другого современника.

«...Тяжелыя тогда стояли времена,—разсказываетъ Тургеневъ о срединѣ сороковыхъ годовъ [2])... Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ тебѣ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ быть, тебѣ даже пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя и унизительныя объясненія, оправданія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ... На улицѣ тебѣ попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генералъ, и даже не начальникъ, а такъ просто генералъ, оборвалъ или что еще хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ; взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ потомъ

---

1) «Воспом.», тамъ же, стр. 374.

2) «Вѣстн. Евр.». 1869, апр. стр. 718. Опускаемъ слова, гдѣ авторъ сравниваетъ «вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій»,—потому что сами понимаемъ это сравненіе какъ разъ обратно.

сведенныхъ на трехсотенный комплектъ, поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ надъ всѣмъ такъ-называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни!..»

Кружокъ людей, въ средѣ котораго дѣйствовалъ Бѣлинскій и которому принадлежала лучшая дѣятельность въ развитіи литературы,—этотъ кружокъ былъ немногочисленъ; сами друзья кружка называли его «сектой», чтобы выразить его уединенность и замкнутость относительно остального общества;—другую подобную секту составляли въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, славянофилы... При всемъ литературномъ успѣхѣ, какой былъ пріобрѣтенъ, вліяніе этого круга и этой литературы ограничивалось необширнымъ числомъ людей, правда, наиболѣе образованныхъ и воспріимчивыхъ, но все участіе которыхъ не могло бы дать дѣятелямъ литературы никакой опоры и поддержки въ случаѣ невзгоды. Въ массѣ общества господствовало или простодушное невѣжество, или тотъ уровень понятій, который нѣкогда производилъ Фамусовыхъ и Скалозубовъ, и въ сущности мало въ чемъ измѣнился. Естественно, поэтому, что Бѣлинскій, въ которомъ съ самаго начала кипѣла, какъ въ Чацкомъ, страстная вражда къ застою и невѣжеству, пламенное стремленіе возбудить разумное отношеніе къ жизни,—что онъ съ самаго же начала вооружилъ противъ себя все, что жило, питалось и радовалось этимъ застоемъ, и не желало нарушенія своего покоя. Еще въ тѣ времена, когда онъ стоялъ вполнѣ, сначала на совершенно отвлеченной почвѣ мирныхъ философскихъ умозрѣній, потомъ на почвѣ совершенно консервативной, онъ успѣлъ уже—одною чисто литературной борьбой противъ устарѣлыхъ авторитетовъ—возбудить къ себѣ вражду въ защитникахъ неподвижности, прослыть человѣкомъ «безпокойнымъ», писателемъ «неблагонамѣреннымъ». Всѣ мелкія и крупныя, но не оправдываемыя дѣломъ, самолюбія, которыхъ Бѣлинскій никогда не щадилъ, издавна вымещали на немъ свою злость—обвиненіями въ томъ, что онъ ничего не уважаетъ (даже ихъ талантовъ), что онъ стремится унизить наши славныя имена, что онъ разрушаетъ преданія и т. д., словомъ, что онъ—«карбонарій», что онъ «властей не признаетъ». Съ 1836 г. можно указать длинный рядъ подобныхъ нападеній въ полемическихъ статьяхъ, стихотвореніяхъ, даже въ повѣстяхъ. Нападенія хотя всего чаще и бывали нелѣпы, безвкусны, но они были постоянны и злобны, и наконецъ принимали даже свойство «юридическихъ бумагъ», какъ тогда говорили, и становились не безопасны; Бѣлинскій не думалъ смущаться,—часто бы-

валъ доволенъ, потому что это показывало, что онъ за живое задѣвалъ враждебныя и ненавистныя ему вещи и идеи. Самые ожесточенные враги его были «Сѣверная Пчела» и «Москвитянинъ». Первая была ничтожна въ литературномъ смыслѣ, но небезопасна своими негласными отношеніями и «юридическимъ» характеромъ своей полемики. «Москвитянинъ» также имѣлъ свои связи—и не стѣснялся изображать дѣятельность Бѣлинскаго, какъ вредную и развращающую. Насколько было вообще смысла въ этихъ обвиненіяхъ можно видѣть по тому, что они, какъ было замѣчено сейчасъ, начались съ тѣхъ поръ, когда Бѣлинскій былъ еще въ консервативныхъ традиціяхъ. Враги однако чуяли въ немъ живую силу, критическій запросъ, и тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ возстали на него тогда, когда онъ заявилъ свою послѣднюю точку зрѣнія. Успѣхъ его дѣятельности и журнала дѣлалъ его все болѣе замѣтнымъ и въ тѣхъ кругахъ, которые вообще «мало заботятся на счетъ литературы», но могутъ оказывать на нее фатальное дѣйствіе,—и здѣсь утвердилась за нимъ репутація, какую устроивали «Сѣверная Пчела» и «Москвитянинъ». До 1847 года дѣло еще обходилось благополучно, но съ этого времени, вмѣстѣ съ особеннымъ оживленіемъ литературы, надъ ней собираются тучи. Цензура становится все строже; съ первыхъ мѣсяцевъ 1848 года цензурный надзоръ принимаетъ такіе размѣры, какъ этого еще никогда не бывало. Отчасти свои домашнія причины, отчасти начинавшіяся безпокойства въ Европѣ (казавшіяся опасными и для Россіи) побудили обратить особенное вниманіе на предполагаемое броженіе умовъ, и это повлекло цѣлый рядъ ограничительныхъ и стѣснительныхъ мѣръ, павшихъ на университеты, на народное образованіе и на литературу...

Въ спеціальныхъ изданіяхъ читатель найдетъ исчисленіе многоразличныхъ цензурныхъ мѣропріятій того времени, которыя могутъ дать понятіе и о взглядахъ цензурной и соприкосновенныхъ съ нею властей, и о томъ, какъ они должны были подѣйствовать на литературный міръ [1]. Нѣсколько вѣдомствъ участвовали въ этихъ мѣропріятіяхъ; кромѣ того, устроивались особенныя коммиссіи и наконецъ такъ-называемый комитетъ 2-го апрѣля, съ обширными полномочіями, которыя, между прочимъ, обнимали и пересмотръ прежней литературы, съ принятой теперь точки зрѣнія. Кромѣ новыхъ предписаній цензорамъ, не однажды собираемы были редакторы

---

[1]) См. «Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», Спб. 1862, стр. 51—62. Перечисленіе цензурныхъ мѣропріятій съ 1847 г. и въ началѣ 1848 года—въ «Сборникѣ правительственныхъ распоряженій о цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ», стр. 239—248.

періодическихъ изданій для внушеній, иногда поселявшихъ своей строгостью самое основательное безпокойство.

Очень понятно, что Бѣлинскій при этомъ не былъ забытъ. Редакторъ «Отеч. Записокъ» былъ призываемъ для объясненій по прежнему изданію журнала. Цензурныя власти уже давно имѣли представленіе о Бѣлинскомъ, какъ о писателѣ безпокойнаго и неблагонамѣреннаго характера; теперь это представленіе о немъ перешло и въ другое вѣдомство.

Мы слышали разныя объясненія того, по какому собственно поводу нашли тогда нужнымъ обратить на Бѣлинскаго особое строгое вниманіе. Всего вѣроятнѣе, что главнымъ и пожалуй единственнымъ поводомъ была сама литературная дѣятельность Бѣлинскаго,— потому что въ то время было въ полномъ разгарѣ дѣло объ ограниченіи литературы, и Бѣлинскій естественно могъ представиться какъ одинъ изъ тѣхъ писателей, сочиненія которыхъ признавались теперь особенно вредными. Но прибавляютъ и другія объясненія. Такъ, мы находимъ въ сообщенныхъ намъ воспоминаніяхъ одного современника разсказъ, что еще на возвратномъ пути изъ-за границы Бѣлинскій ѣхалъ на пароходѣ съ какимъ-то господиномъ, и съ обычной своей горячностью и младенческимъ простодушіемъ не воздержался отъ нѣсколько смѣлаго разговора о политическихъ предметахъ. Предполагали (хотя неизвѣстно, было ли это дѣйствительно), что неосторожный разговоръ былъ сообщенъ; по крайней мѣрѣ Бѣлинскій былъ потомъ очень неспокоенъ относительно этого случая. Предполагали также, что до свѣдѣнія могла дойти ходившая по рукамъ переписка Бѣлинскаго съ Гоголемъ, которая впослѣдствіи послужила какъ corpus delicti въ одномъ извѣстномъ процессѣ... Но это толкованіе представляетъ ту трудность, что въ такомъ случаѣ Бѣлинскій едва ли могъ остаться свободенъ отъ объясненій, болѣе настоятельныхъ, чѣмъ тѣ, какихъ отъ него пожелали въ это время...

Тѣ два «непріятныя письма, написанныя, впрочемъ, съ большою деликатностію», о которыхъ упоминаетъ Панаевъ, получены были Бѣлинскимъ отъ его бывшаго наставника, М. М. Попова, о которомъ мы говорили прежде. Теперь Поповъ обращается къ Бѣлинскому по своему тогдашнему служебному положенію [1]). Въ первомъ письмѣ, отъ 20 февраля, Поповъ извѣщалъ Бѣлинскаго, что желаютъ познакомиться съ нимъ, Бѣлинскимъ, какъ съ извѣстнымъ литераторомъ, и назначалъ время, когда Бѣлинскій долженъ явиться. Но Бѣлинскій не могъ явиться; онъ былъ тогда уже очень слабъ. Не знаемъ, какимъ образомъ, письмомъ или черезъ кого-нибудь

---

[1]) См. въ главѣ I.

изъ друзей, Бѣлинскій извѣстилъ Попова о ...емъ болѣзненномъ состояніи, которое мѣшало ему послѣдовать приглашенію.

На нѣсколько времени его оставили въ покоѣ. Но затѣмъ Бѣлинскій получилъ новое письмо Попова, отъ 27 марта: Поповъ слышалъ, что Бѣлинскій обезпокоился прежнимъ приглашеніемъ, и зналъ также объ его болѣзни; Поповъ успокоиваетъ его, что съ нимъ желали только познакомиться, что ему будетъ оказанъ самый радушный пріемъ, и—приглашалъ его вновь. Оба письма дѣйствительно написаны въ деликатной формѣ.

Вѣроятно послѣ этого второго письма, Бѣлинскій посылалъ за однимъ изъ своихъ близкихъ друзей,—который и передавалъ намъ слѣдующія подробности:

«Придя къ Бѣлинскому, я засталъ его въ страшномъ волненіи и безпокойствѣ. Дѣло въ томъ, что къ нему явился жандармъ съ повѣсткою (это и было, вѣроятно, второе письмо Попова)... По тогдашнимъ обстоятельствамъ можно понять, какое впечатлѣніе должно было произвести неожиданное и загадочное появленіе этого посланнаго... въ квартирѣ Бѣлинскаго.

«Бѣлинскій, не встававшій уже съ кресла, задыхающимся отъ волненія и отъ слабости голосомъ, просилъ меня... отыскать бывшаго его учителя Попова... и узнать, для чего его требуютъ. Пріѣхавъ къ Попову, я объяснилъ ему о тяжкой болѣзни Бѣлинскаго, приковавшей его къ креслу, и спросилъ, чего отъ него желаютъ. Поповъ вспомнилъ съ нѣжностью о дѣтскихъ годахъ Бѣлинскаго, выразилъ участіе къ его болѣзненному состоянію, просилъ меня успокоить больного и объяснить ему, что онъ вызывался не по какому-либо частному дѣлу или обвиненію, но какъ одинъ изъ замѣчательныхъ дѣятелей на поприщѣ русской литературы, «единственно для того, что бы лично познакомиться съ начальникомъ вѣдомства (гдѣ служилъ Поповъ), *хозяиномъ* русской литературы»...

Въ мартѣ Бѣлинскій еще работалъ; но затѣмъ оставалось ему только тяжкое страданіе болѣзни, въ которой не выпало на его долю и нравственнаго утѣшенія;—сама литература, для которой онъ жилъ, выносила тогда тяжелый кризисъ.

«Къ веснѣ,—разсказываетъ Панаевъ [1]),—болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изрѣдка только горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впала, онъ еле передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно. Даже присутствіе друзей уже было ему въ тягость.

«Я разъ зашелъ къ нему утромъ (въ маѣ)... На дворъ подъ

---

[1]) «Воспом.», тамъ же, стр. 374.

деревья вынесли диванъ—и Бѣлинскаго вывели подышать чистымъ воздухомъ. Я засталъ его уже на дворѣ. Онъ сидѣлъ на диванѣ, опустя голову и тяжело дыша. Увидѣвъ меня, онъ грустно покачалъ головою и протянулъ мнѣ руку. Черезъ минуту онъ приподнялъ голову, взглянулъ на меня и сказалъ:

— Плохо мнѣ, плохо, Панаевъ!

«Я началъ-было нѣсколько словъ въ утѣшеніе, но онъ перебилъ меня.

— Полноте говорить вздоръ

«И снова молча и тяжело дыша опустилъ голову. Я не могу высказать, какъ мнѣ было тяжело въ эту минуту... Я начиналъ заговаривать съ нимъ о разныхъ вещахъ, но все какъ-то неловко, да и Бѣлинскаго, кажется, уже ничего не интересовало... «Все кончено»! думалъ я.

«Бѣлинскій умеръ черезъ нѣсколько дней послѣ этого»...

Присутствовавшіе при его смерти разсказывали, что Бѣлинскій, за нѣсколько минутъ до кончины, лежавшій уже въ постели безъ сознанія, вдругъ быстро поднялся съ сверкавшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, проговорилъ невнятными, прерывающимися словами, но съ энергіей, какія-то слова, обращенныя къ русскому народу, говорившія о любви къ нему... Его поддержали, уложили въ постель, и черезъ нѣсколько минутъ онъ умеръ. Это было 26 мая, въ 6-мъ часу утра [1]).

Немногіе петербургскіе друзья проводили его тѣло до Волкова кладбища. Къ нимъ присоединились (вспоминаетъ Панаевъ) три или четыре *неизвѣстныхъ*, вдругъ откуда-то взявшіеся. Они остались на кладбищѣ до самаго конца погребенія и слѣдили за всѣмъ съ величайшимъ любопытствомъ, хотя слѣдить было совершенно нечего. Бѣлинскаго отпѣли и опустили въ могилу, какъ и всякаго другого.

Въ собранномъ нами біографическомъ матеріалѣ находилась между прочимъ замѣтка, писанная однимъ изъ близкихъ друзей, разбиравшимъ бумаги Бѣлинскаго послѣ его смерти. Въ этихъ бумагахъ мало нашлось біографическаго матеріала, напр., переписки съ друзьями, и въ замѣткѣ говорится по этому поводу: «...Скудость постороннихъ матеріаловъ, переписки съ друзьями и даже нѣкоторыхъ задушевныхъ статей, о которыхъ мы знали еще и при жизни Б.,—объясняется тѣмъ, что онъ безпощадно, но весьма основательно жегъ передъ смертію своею все, что касалось ему дѣломъ молодости

---

[1]) Восп. Панаева, стран. 375; Воспоминанія» Е. Брылкиной въ «Кронштадтскомъ Вѣстникѣ», 1862, № 47; «Воспоминанія» Кавелина и Тургенева.

и вертопрашества». Послѣднія слова вѣроятно не совсѣмъ точны: уничтоженіе бумагъ должно понимать въ связи съ указанными выше обстоятельствами того времени.

Семейство Бѣлинскаго осталось, конечно, безъ всякихъ средствъ. Похоронили Бѣлинскаго на деньги, собранныя между близкими друзьями; участвовавшіе въ складчинѣ согласились вносить и впредь ежегодно извѣстную сумму, пока не будетъ обезпечено семейство покойнаго. При этомъ явилась мысль разыграть въ лотерею, въ пользу семейства, библіотеку Бѣлинскаго. Для этого нужно было выхлопотать оффиціальное разрѣшеніе. Тотъ изъ друзей Бѣлинскаго, который однажды отправлялся уже съ объясненіями къ Попову и слышалъ тогда его теплый отзывъ о Бѣлинскомъ, выбранъ былъ для переговоровъ и въ настоящемъ случаѣ.

Услышавъ о смерти Бѣлинскаго, Поповъ выразилъ сожалѣніе о столь преждевременной кончинѣ замѣчательнаго критика, но лишь только ему сказано было о лотереѣ, онъ весь измѣнился въ лицѣ и отвѣтилъ въ самомъ раздраженномъ тонѣ—отказомъ. Его слова имѣли тотъ смыслъ, что для него имя Бѣлинскаго было равнозначительно имени государственнаго преступника [1]...

Вдова Бѣлинскаго переѣхала на житье въ Москву и нѣсколько времени спустя получила въ томъ институтѣ, гдѣ была прежде классной дамой, мѣсто кастелянши; сестра ея опредѣлилась классной дамой, а дочь пользовалась уроками въ томъ же заведеніи. Когда двѣнадцать лѣтъ спустя, основанъ былъ литературный фондъ, однимъ изъ первыхъ его дѣлъ было назначеніе пенсіи семейству Бѣлинскаго (сколько мы знаемъ, это была самая значительная пенсія, какія фондъ опредѣлялъ). Эта пенсія была потомъ сокращена по заявленію самой г-жи Бѣлинской, потому что для нея открылись новыя средства обезпеченія. Это было—изданіе «Сочиненій» Бѣлинскаго, появившееся, какъ только представилась къ тому возможность, благодаря стараніямъ одного изъ старѣйшихъ друзей Бѣлинскаго, Н. Х. Кетчера, и матеріальному содѣйствію К. Т. Солдатенкова, извѣстнаго московскаго издателя, которому наша литература обязана цѣлымъ рядомъ полезныхъ и замѣчательныхъ книгъ [2]). Трудъ изданія этихъ двѣнадцати томовъ (1859 — 1862) съ Н. Х. Кетчеромъ раздѣлилъ А. Д. Галаховъ, который составилъ очень полный и точный библіографическій списокъ сочиненій Бѣлинскаго, разсѣянныхъ (почти всегда безъ подписи) въ журналахъ съ 1831 до 1848 года. Успѣхъ собранія «Сочиненій», иные томы котораго

---

[1]) «Воспоминанія» Н. Н. Тютчева.

[2]) Въ изданіи участвовалъ и Н. М. Щепкинъ.

выдержали до трехъ изданій, окончательно обезпечилъ семейство Бѣлинскаго.

Въ литературѣ смерть Бѣлинскаго прошла какъ-будто незамѣченной. Два лучшіе журнала того времени, столько съ нимъ связанные, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ сказали едва нѣсколько словъ о писателѣ, который занималъ въ литературѣ такое господствующее мѣсто и которому они оба были такъ обязаны. Очевидно, они не могли сказать больше [1]).

Эти нѣсколько словъ некролога, совершенно незначительныхъ, надолго остались единственнымъ упоминаніемъ имени Бѣлинскаго. Даже въ то время, когда условія печати стали измѣняться, когда общество и литература начали оглядываться и вспоминать недавнее прошлое, онъ еще оставался безыменнымъ «критикомъ сороковыхъ годовъ», пока, наконецъ, имя его въ первый разъ было опять названо въ 1856 году.

Наружность Бѣлинскаго Тургеневъ описываетъ слѣдующимъ образомъ: «Извѣстный литографическій,—едва-ли не единственный,—портретъ Бѣлинскаго даетъ о немъ понятіе невѣрное... Срисовывая его черты, художникъ придалъ всей головѣ какое-то повелительно-вдохновенное выраженіе, какой-то военный, чуть не генеральскій поворотъ, неестественную позу, что вовсе не соотвѣтствовало дѣйствительности и нисколько не согласовалось съ характеромъ и обычаемъ Бѣлинскаго. Это былъ человѣкъ средняго роста, на первый взглядъ довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалою грудью и понурой головою. Одна лопатка замѣтно выдавалась больше другой. Всякаго, даже не медика, немедленно поражали въ немъ всѣ главные признаки чахотки... При томъ же (въ послѣдніе годы) онъ почти постоянно кашлялъ. Лицо онъ имѣлъ небольшое, блѣдно-красноватое, носъ неправильный, какъ бы приплюснутый, ротъ слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькіе частые зубы; густые бѣлокурые волосы падали клокомъ на бѣлый, прекрасный, хотя и низкій лобъ. Я не видывалъ глазъ, болѣе прелестныхъ, чѣмъ у Бѣлинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ, эти глаза, въ обычное время полузакрытые рѣсницами, расширялись и сверкали въ минуты воодушевленія; въ минуты веселости взглядъ ихъ принималъ плѣнительное выраженіе привѣтливой доброты и безпечнаго счастья. Голосъ у Бѣлинскаго былъ слабъ, съ хрипотою—но пріятенъ; говорилъ онъ съ особенными

[1]) Ср. «Современникъ» и «Отеч. Записки» 1848, іюнь, смѣсь.

удареніями и придыханіями, «упорствуя, волнуясь и спѣша» (стихъ Некрасова). Смѣялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ любилъ расхаживать по комнатѣ, постукивая пальцами красивыхъ и маленькихъ рукъ по табакеркѣ съ русскимъ табакомъ. Кто видѣлъ его только на улицѣ, когда въ тепломъ картузѣ, старой енотовой шубенкѣ и стоптанныхъ калошахъ, онъ торопливой и неровной походкой, пробирался вдоль стѣнъ и съ пугливой суровостью, свойственной нервическимъ людямъ, озирался вокругъ—тотъ не могъ составить себѣ вѣрнаго о немъ понятія... Между чужими людьми, на улицѣ, Бѣлинскій легко робѣлъ и терялся. Дома онъ носилъ обыкновенно сѣрый сюртукъ на ватѣ и держался вообще очень опрятно»...

Подобнымъ образомъ и Кавелинъ передаетъ черты Бѣлинскаго въ своихъ воспоминаніяхъ. «Онъ былъ небольшого роста, очень невзраченъ съ виду, сутуловатъ и страшно застѣнчивъ и неловокъ. Наружность его доказывала, что его воспитаніе и жизнь прошли вдали отъ свѣтскихъ кружковъ. Значительна была его голова, и въ ней особенно глаза. Несмотря на весьма некрасивые плоскіе волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лобъ бросался въ глаза. Большіе сѣрые [1]), страшно проницательные глаза загорались и блестѣли при малѣйшемъ оживленіи. Въ нихъ страстная натура Бѣлинскаго выражалась съ особенною яркостью. Характеристично было въ его лицѣ, что конецъ носа былъ неровенъ, и верхняя губа съ одной стороны была слегка приподнята: то и другое можно видѣть на его маскѣ. Спокойнымъ онъ почти никогда не бывалъ. Въ спокойныя минуты глаза его были полузакрыты, губы слегко двигались, Очень некрасивы были у него выдавшіяся скулы. Ходилъ онъ большими шагами, слегка спускаясь при каждомъ шагѣ... Вѣчно бывалъ онъ нервно возбужденъ или въ полной нервной атоніи и разслабленіи. Дѣтей онъ очень любилъ»...

Много примѣровъ этой внѣшней манеры Бѣлинскаго читатель можетъ видѣть въ разсказахъ современниковъ: нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ были нами приведены; относительно другихъ, и, можетъ быть, еще болѣе характерныхъ, мы должны обратить читателя къ самымъ источникамъ.

Портретъ, о которомъ говоритъ Тургеневъ, есть въ самомъ дѣлѣ почти единственный и имѣлъ свою исторію. Онъ сдѣланъ былъ, въ 1843 г. или около того, тогда еще молодымъ художникомъ К. А. Горбуновымъ, котораго Бѣлинскій зналъ еще съ Москвы и очень любилъ. Горбуновъ былъ портретистомъ кружка: около того

[1]) Варіантъ. См. выше—замѣчаніе Тургенева о «голубыхъ» глазахъ Б.

же времени, когда сдѣланъ былъ портретъ Бѣлинскаго, тѣмъ же художникомъ сдѣланы были, и потомъ изданы, болѣе или менѣе удачные портреты Грановскаго, Герцена, Щепкина, Кетчера, Е. Ѳ. Корша, Анненкова. Изданіе дѣлалось, главнымъ образомъ, для ближайшаго кружка, и портретъ Бѣлинскаго былъ мало распространенъ. На этомъ портретѣ Бѣлинскій не имѣетъ бороды и усовъ, которыхъ тогда не носилъ.

Въ первый разъ послѣ того этотъ портретъ повторенъ былъ въ 1862, въ «Русскомъ Худож. Листкѣ» (№ 29), Тимма, которому онъ былъ указанъ Ефремовымъ. Тамъ же помѣщенъ былъ другой, изображавшій Бѣлинскаго въ гробу—по фотографіи (сообщенной также г. Ефремовымъ) съ эскиза, сдѣланнаго К. А. Горбуновымъ на другой день кончины Бѣлинскаго. Этотъ эскизъ повторенъ въ «Рус. Старинѣ» 1876.

Не исчисляя другихъ, бо́льшей частью не точныхъ повтореній отмѣтимъ еще портретъ, помѣщенный въ «Галлереѣ» Мюнстера: здѣсь рисовальщикъ, по собственному соображенію, далъ Бѣлинскому одни усы, безъ бороды (какъ Бѣлинскій никогда не носилъ) и иначе завязалъ ему шейный платокъ, кажется, для большаго франтовства.

Затѣмъ, при «Сочиненіяхъ» (1862, т. XII) приложенъ портретъ, гравированный Іорданомъ въ 1859. Оригиналъ гравюры — тотъ же прежній портретъ, нѣсколько измѣненный Горбуновымъ въ то время, когда онъ дѣлалъ посмертный эскизъ.

При «Иллюстрированномъ Альманахѣ», который былъ изданъ въ началѣ 1848 г. редакціей «Современника» и гдѣ помѣщенъ рядъ превосходныхъ каррикатуръ изъ очень извѣстнаго въ свое время альбома Степанова, находится также каррикатура, изображающая Бѣлинскаго съ листомъ корректуры, полученной отъ цензора, въ рукахъ и съ надписью: «...своей собственной статьи не узнаю въ печати». Въ оглавленіи каррикатура названа: «Типографскія превращенія» (предполагалось также назвать эту каррикатуру: «Огорченный литераторъ»). По словамъ современниковъ, каррикатура очень удачна. Если не ошибаемся, впослѣдствіи эта каррикатура была отбираема; по крайней мѣрѣ, она встрѣчается только въ рѣдкихъ экземплярахъ «Иллюстрир. Альманаха».

Намъ извѣстенъ еще одинъ—небольшой акварельный портретъ, дѣланный, кажется, тѣмъ же Горбуновымъ гораздо ранѣе, вѣроятно, еще въ Москвѣ. Эта акварель принадлежала В. П. Боткину и находится теперь у М. П. Боткина. Бѣлинскій изображенъ здѣсь съ совершенно юношескими чертами, но не знаемъ, насколько вѣрно переданы эти черты.

Мы видѣли еще шуточный набросокъ перомъ, очень удачно сдѣланный И. С. Тургеневымъ и представляющій Бѣлинскаго, сзади, идущимъ со своимъ пріятелемъ Языковымъ.

Наконецъ, существуетъ небольшой портретъ карандашомъ, упоминаемый Панаевымъ, и изображающій Бѣлинскаго, какъ онъ былъ за нѣсколько дней до смерти: исхудалый, съ лихорадочными глазами, съ всклокоченными волосами. «Этотъ портретъ,—говоритъ Панаевъ,—сдѣланъ женой Языкова (М. А.)... Лицо умирающаго такъ поразило ее и такъ врѣзалось ей въ память, что она тотчасъ по пріѣздѣ домой набросала его на бумагу»... Этотъ портретъ былъ у Некрасова.

Въ извѣстномъ собраніи П. М. Третьякова въ Москвѣ находится портретъ, масляными красками, составляющій новое повтореніе прежняго, сдѣланное Горбуновымъ.

Должно упомянуть, наконецъ, скульптурное воспроизведеніе, сдѣланное Н. Н. Ге: пользуясь портретами Горбунова, посмертной маской и указаніями многихъ друзей Бѣлинскаго, Ге вылѣпилъ извѣстный бюстъ, который эти друзья Бѣлинскаго находили очень удачнымъ.

Бѣлинскій былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ, около могилы пріятеля его, Кульчицкаго, отъ которой теперь, кажется, уже не осталось слѣдовъ. Въ ноябрѣ 1861, рядомъ съ Бѣлинскимъ похоронили Добролюбова. Въ 1868 году, рядомъ съ ними, прибавилась могила Писарева.

ГЛАВА XI.

Заключеніе.

Намъ предстояла бы теперь еще задача—собрать разсѣянныя черты характера и біографіи Бѣлинскаго въ общее изображеніе его личности и исторической роли. Дальше мы и сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній о послѣднемъ, т.-е. объ историческомъ его значеніи, которое послѣ законченной дѣятельности есть такъ-сказать теоретическій фактъ, дѣло историческаго сравненія и вывода. Такіе выводы могутъ быть дѣлаемы и внѣ чисто личной оцѣнки; впослѣдствіи, когда снимается необходимая сдержанность, рекомендуемая близостью времени и другими обстоятельствами, они будутъ сдѣланы шире, свободнѣе и рельефнѣе; съ своей стороны, мы еще чувствуемъ стѣсняющія условія и желали бы по крайней мѣрѣ собрать сколько возможно болѣе матеріала для будущихъ рѣшеній вопроса. Но для изображенія личности дѣятеля не довольно теоретическихъ соображеній, которыя въ подобномъ случаѣ могутъ доставлять только болѣе или менѣе гадательное возстановленіе личности: мы старались поэтому указывать современныя свидѣтельства и впечатлѣнія лицъ изъ круга Бѣлинскаго, сохнанившихъ память о живыхъ обнаруженіяхъ этого характера.

Въ настоящемъ случаѣ мы только напомнимъ читателю основныя черты этой страстной, увлекающейся, но глубокой, всегда неизмѣнно правдивой натуры,—черты, которыя въ такомъ обиліи читатель можетъ видѣть и въ фактахъ біографіи, и въ разсказахъ современниковъ, а всего больше въ самыхъ произведеніяхъ и личной, замѣчательно, безусловно искренней перепискѣ Бѣлинскаго. Есть много разсказовъ и фактовъ, говорящихъ объ увлеченіяхъ и крайностяхъ Бѣлинскаго; многіе, даже и теперь, обращаютъ эти увлеченія въ оружіе противъ него; но было бы легкомысленно

остановиться на этихъ внѣшнихъ обнаруженіяхъ, и не видѣть благородной и возвышенной сущности характера Бѣлинскаго и того глубокаго взгляда на жизнь, которые съ первыхъ шаговъ его сознанія именно и увлекали его мысль и фантазію къ идеальнымъ построеніямъ этой жизни.

Несмотря на всѣ эти увлеченія, крайности и видимыя противорѣчія, о Бѣлинскомъ справедливо можно было сказать, что онъ никогда не измѣнялъ своимъ идеаламъ,—потому что дѣйствительно господствующій идеалъ Бѣлинскаго былъ *всегда одинъ*; хотя въ частности, мы видѣли, онъ увлекался въ разное время различными представленіями объ обществѣ и о личности. Другими словами, при одномъ господствующемъ характерѣ мысли и чувства, измѣнялись подробности отвлеченнаго теоретическаго *содержанія*. Было время, когда всѣ помышленія Бѣлинскаго были направлены къ воспитанію въ себѣ и другихъ «абсолютнаго» человѣка, съ развитіемъ всѣхъ высшихъ требованій человѣческой личности, какъ это тогда понималось подъ вліяніемъ нѣмецкаго полу-романтическаго идеализма; и когда за этой задачей личнаго развитія онъ былъ равнодушенъ ко всѣмъ общественнымъ вопросамъ, къ внѣшнему быту. Было другое время, когда онъ увидѣлъ, что личная жизнь неизбѣжно связана съ общественностью, и когда, обратившись къ забытому прежде внѣшнему быту, къ обществу, и увлекаясь мнимымъ верховнымъ правомъ «дѣйствительности», понятой слишкомъ буквально и ошибочно, онъ—впрочемъ, очень ненадолго—впалъ въ слѣпое поклоненіе факту и вооружался противъ всякаго отрицанія принимаемой имъ «дѣйствительности», противъ всякаго оспариванія ея мнимой законности. Это была опять крайность, которая, при своихъ первыхъ приложеніяхъ къ живымъ фактамъ, оказалась въ слишкомъ сильномъ противорѣчіи и съ опытами жизни, и со всѣми свойствами его собственной природы, и онъ самъ безпощадно осудилъ свою ошибку. Тогда наступилъ послѣдній періодъ его идей, въ которомъ онъ остался до конца, развивая его все болѣе и болѣе, распространяя на различныя области личной и общественной жизни, «волнуясь и спѣша», чтобы опредѣлить себѣ и другимъ истинныя требованія человѣческой и общественной сущности: идея «общества» разъяснилась для него въ совершенно иномъ смыслѣ; и съ тѣхъ поръ онъ неизмѣнно служилъ ей со всѣмъ энтузіазмомъ своей натуры. Но, какъ ни мало сходны были эти точки зрѣнія, которыя онъ послѣдовательно принималъ, черезъ весь путь его размышленія и дѣятельности проходило одно основное начало, которому служили всѣ его свойства—и сильный, точный умъ, и фантазія, и впе-

чатлительное чувство. Это начало было глубокое чувство *нравственной правды* и *человѣческаго достоинства.*

Начиная съ личной высокой прямоты и правдивости, это начало проходитъ черезъ всѣ отношенія Бѣлинскаго и черезъ весь его образъ мыслей, во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ. Личная правдивость была такова, что его переписка, какъ могъ убѣдиться читатель, представляетъ рѣдкій, можно сказать, единственный примѣръ въ русской литературной біографіи—по удивительной искренности, по неизмѣнной высотѣ нравственныхъ требованій, обращенныхъ всегда прежде къ самому себѣ, по готовности признать свою ошибку и осудить ее. Это свойство такъ непривычно для большинства, что не только въ то время его противники думали видѣть въ немъ (когда оно высказывалось и въ печатныхъ сочиненіяхъ Бѣлинскаго) оружіе противъ Бѣлинскаго,—тогда какъ оно говорило именно за него; но и теперь, для критиковъ извѣстнаго рода, читавшихъ у насъ его переписку, осталось непонятно все нравственное достоинство этой прямоты: они съ самодовольнымъ снисхожденіемъ говорили объ «ошибкахъ» Бѣлинскаго — они, безупречные, не ошибавшіеся, и не видѣвшіе болота, въ которомъ сами пребывали... Бѣлинскій слишкомъ серьезно понималъ требованія простой правды, и уступалъ имъ тотчасъ, какъ они становились ему ясны: онъ выносилъ тяжелую борьбу съ самимъ собой, когда шелъ въ немъ этотъ внутренній споръ между пламенной преданностью добытому прежде убѣжденію и возстававшимъ вновь опроверженіемъ, но когда споръ рѣшался, онъ и не думалъ заботиться, что его упрекнутъ старой ошибкой, не думалъ выгораживать своего, очень большого, однако, самолюбія, какъ дѣлаютъ—почти всѣ; напротивъ, онъ былъ первымъ обвинителемъ противъ себя и обвинителемъ безпощаднымъ. Мы видѣли изъ воспоминаній современниковъ, какое сильное впечатлѣніе произвела на близкихъ ему людей эта нравственная прямота, — какую глубокую, можно сказать, нѣжную привязанность внушала къ нему литературная дѣятельность, руководимая этими свойствами его природы,—внушала кругу его друзей, въ которомъ были лучшіе люди тогдашней литературы.

Это чувство правды и человѣческаго достоинства, высказываемое съ горячимъ, фанатическимъ убѣжденіемъ, было, безъ сомнѣнія, и главнѣйшимъ основаніемъ его литературнаго вліянія. Оно чувствовалось въ томъ, что писалъ Бѣлинскій, и мы еще помнимъ молву сочувствія, говорившую объ его авторитетѣ. Въ самомъ дѣлѣ, эта потребность доискаться нравственной истины, общественной справедливости и опредѣленія человѣческаго достоинства была движущей силой всей его дѣятельности и ставила ей цѣль. Она съ

ранних лѣтъ внушала ему страстную любовь къ поэзіи и дала то оживленное пониманіе ея, которое называютъ въ немъ чрезвычайно развитымъ эстетическимъ вкусомъ, и иногда заставляла его ошибаться наперекоръ этому вкусу... Эта потребность побуждала его производить надъ собой идеалистическіе эксперименты въ то время, когда онъ съ своими друзьями вѣровалъ въ гегельянскую философію и философско-романтическую поэзію. Она побудила его потомъ обратиться къ «дѣйствительности» и принять всѣ самыя крайнія послѣдствія ошибочно имъ понятой теоріи, уже наперекоръ его собственнымъ личнымъ ощущеніямъ и опытамъ, приходившимъ извнѣ. Наконецъ, эта потребность привела его къ тому критическому взгляду на эту дѣйствительность, который онъ затѣмъ развивалъ все съ бо́льшей настоятельностью. Критическій взглядъ открылъ ему въ жизни много несовершенствъ, — многія изъ нихъ доходили до размѣровъ бѣдственныхъ: его внутреннее чувство оскорблялось до глубокой степени, и это поддерживало его въ постоянномъ волненіи, какое его отличало. Общественный вопросъ сталъ его господствующимъ интересомъ, и передъ нимъ отступили на второй планъ всѣ другіе, и въ томъ числѣ интересы отвлеченнаго искусства. Поэтическое чутье осталось при немъ, но въ послѣдніе годы онъ уже не довольствовался отвлеченнымъ эстетическимъ наслажденіемъ — въ его глазахъ, это было бы себялюбивое эпикурейство среди положенія вещей, призывавшаго къ сознанію общественной обязанности... Въ послѣдніе годы онъ уже скучалъ (и самъ высказывалъ это) необходимостью говорить непремѣнно только о литературѣ и отвлеченной нравственности, и невозможностью говорить о жизни и нравахъ: онъ продолжалъ говорить о литературѣ, но художественная критика все больше и больше переходила въ публицистическую... Такъ называемое «утилитарное» направленіе Бѣлинскаго было совершенно естественнымъ исходомъ всей его дѣятельности, и никогда онъ уже не могъ бы его оставить: онъ зналъ, что друзья, свидѣтели его прежней чисто-эстетической точки зрѣнія, могли счесть его новый взглядъ крайностью, и не защищался отъ упрека: «я знаю, что сижу въ односторонности», — говоритъ онъ самъ въ этомъ смыслѣ,—но никакъ не хотѣлъ выходить изъ нея, и жалѣлъ о тѣхъ, кто не раздѣлялъ ея съ нимъ. Онъ чувствовалъ, что такъ-называемая «утилитарная» точка зрѣнія и была собственно тотъ зрѣлый, широкій взглядъ, гдѣ литература открывалась передъ нимъ во всѣхъ своихъ сторонахъ, гдѣ такъ-называемое «искусство» (т.-е. русскія повѣсти!) представлялось ему уже не съ одной книжно-теоретической точки зрѣнія, а съ менѣе притязательной, но болѣе серьезной точки зрѣнія — ихъ дѣйствительнаго значенія...

Такимъ образомъ результатъ, къ которому пришелъ Бѣлинскій къ концу своей дѣятельности,—его послѣдній взглядъ, конечно, покрывалъ все предыдущее развитіе, завершалъ прежнія понятія новыми; гораздо болѣе точными, многообъемлющими и живыми. И это одно могло бы показать, что прежнія «перемѣны взглядовъ» были вовсе не такъ случайны и произвольны, какъ могло на первый взглядъ казаться, и многимъ дѣйствительно казалось: въ самомъ дѣлѣ, каждый разъ, когда случалась такая «перемѣна», Бѣлинскій впадалъ въ тяжелое нравственное состояніе, въ безпокойства, въ порывы отчаянія или апатіи; это состояніе и было такъ тягостно потому, что онъ чувствовалъ себя еще не въ силахъ рѣшить осаждавшія его противорѣчія, а когда онъ успокаивался, когда «перемѣна» совершалась, и онъ рѣшительно отвергалъ свое прежнее понятіе,—это дѣлалось потому, что онъ и *теоретически* переработалъ эти противорѣчія, что его мысль одолѣла аргументацію прежняго взгляда, и новый являлся у него, вооруженный доказательствами и въ силу этихъ доказательствъ. Онъ дѣйствительно «мѣнялъ копѣйку на рубль», какъ самъ Бѣлинскій замѣтилъ разъ одному изъ друзей, говоря о «перемѣнахъ» въ своихъ убѣжденіяхъ, — потому что въ новой точкѣ зрѣнія онъ былъ уже выше прежняго взгляда, какъ предшествующей ступени.

Оттого. въ позднѣйшее время его жизни онъ и былъ до такой степени поглощенъ вопросомъ общественнымъ. Мы видѣли изъ словъ его друзей, какъ представлялась этому кружку тогдашняя общественная обстановка. Всего сильнѣе она поражала именно Бѣлинскаго.., Въ прежнее время онъ думалъ дѣйствовать на общество въ отвлеченно-нравственномъ смыслѣ путемъ «эстетическаго воспитанія»; теперь становилось очевидно, что одно подобное воспитаніе, дѣйствующее отчасти на отдѣльныя личности, было бы слишкомъ трудно и безуспѣшно для улучшенія общественныхъ нравовъ и положенія,—что само наслажденіе искусствомъ есть своего рода роскошь среди умственной и нравственной нищеты массъ, и эта роскошь, въ иныя минуты, была самому Бѣлинскому ненавистна. Какъ только онъ пришелъ къ мысли о состояніи общества, къ которому самъ принадлежалъ и для котораго хотѣлъ работать, ему стала ясна, во-первыхъ, необходимость иного воспитанія его, кромѣ «эстетическаго», и во вторыхъ, необходимость преобразованія самыхъ условій, въ которыхъ оно живетъ,—потому что въ условіяхъ, тогда существовавшихъ, никакой успѣхъ общества былъ невозможенъ.

Отсюда то страстное исканіе освобожденія мысли и жизни, о которомъ разсказываютъ воспоминанія современниковъ и которое (хотя все еще не вполнѣ) видѣли мы въ его перепискѣ. Это осво-

божденіе было и въ самомъ дѣлѣ неизбѣжной необходимостью — единственнымъ условіемъ, при которомъ возможно было ожидать лучшаго будущаго. Въ этомъ исканіи и заключалось содержаніе послѣдняго образа мыслей Бѣлинскаго. Изъ предыдущаго изложенія читатель могъ видѣть, въ чемъ состояли занимавшіе Бѣлинскаго вопросы: интересы общественности и литературы были здѣсь нераздѣльны — рядомъ съ освобожденіемъ слова и печати, отмѣна крѣпостного права, улучшеніе суда, расширеніе образованія, освобожденіе личности, освобожденіе женщины отъ тѣхъ наиболѣе грубыхъ стѣсненій, какія ее окружали, и т. д, — вопросы, съ которыми, въ новомъ наступившемъ періодѣ, общество и встрѣтилось дѣйствительно, какъ съ вопросами насущными.

Для Бѣлинскаго это были вопросы нисколько не отвлеченные. Страшно впечатлительный, онъ встрѣчался съ ними безпрестанно, въ обыденныхъ случаяхъ, въ газетномъ извѣстіи, въ журнальной повѣсти; онъ чувствовалъ ихъ своими нервами, какъ нервами возненавидѣлъ таможни. Извѣстны различные разсказы объ этой впечатлительности Бѣлинскаго, напримѣръ, разсказъ о томъ, какъ однажды возмутился онъ, услышавъ отъ своихъ знакомыхъ, къ которымъ пришелъ обѣдать на страстной недѣлѣ, что они ѣдятъ постное «для людей». Въ его перепискѣ есть эпизоды подобнаго крайняго раздраженія, которое мы затруднились передать въ печати, и гдѣ оно вызывалось въ немъ случаями изъ обыденной жизни, на которые обыкновенно мало обращается вниманія... Всѣмъ своимъ существомъ онъ былъ отданъ этому стремленію къ правдѣ и человѣческому достоинству, и оно вызывало эти энергическія протестаціи.

Бѣлинскій не могъ, при тогдашней цензурѣ, высказать десятой доли того, что̀ ему хотѣлось сказать объ этихъ предметахъ; но въ ближайшемъ кружкѣ онъ говорилъ объ нихъ все, что думалъ; мысли его угадывали и читатели, привыкшіе тогда читать между строками и понимавшіе самые осторожные и отдаленные намеки.

Письмо къ Гоголю, разошедшееся по рукамъ, показало наконецъ всю силу и весь объемъ стремленій Бѣлинскаго.

Мы уже сказали, что не будемъ входить въ подробности собственно-литературной дѣятельности Бѣлинскаго и ея результатовъ, такъ какъ это въ общихъ чертахъ было уже достаточно объяснено въ прежнихъ трудахъ [1]). Въ томъ изъ нихъ, который нами указанъ, всего лучше опредѣлено, что̀ сдѣлано было Бѣлинскимъ для нашей литературы, для разъясненія ея смысла, для устраненія мно-

[1]) Главнымъ образомъ въ статьяхъ «Современника» 1855—1856.

жества всякихъ фальшивыхъ и вредныхъ понятій, для здраваго направленія ея развитія, наконецъ, для установленія самой ея исторіи. Прибавимъ нѣсколько замѣчаній объ историческомъ значеніи его дѣятельности, которое начало обнаруживаться фактически еще при его жизни, а въ особенности съ новыми литературными поколѣніями,—но и до сихъ поръ нерѣдко объясняется очень невѣрно, между прочимъ и самими современниками Бѣлинскаго.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ о Бѣлинскомъ, Тургеневъ замѣчаетъ: «Бѣлинскій былъ именно тѣмъ, что мы бы рѣшились назвать центральной натурой — то-есть, онъ всѣми своими качествами стоялъ близко къ центру, въ самой сути своего народа... Можно быть человѣкомъ весьма умнымъ, блестящимъ и замѣчательнымъ и находиться въ то же время на периферіи, на окружности, если можно такъ выразиться, своего народа», т.-е. быть ему далекимъ, постороннимъ и безполезнымъ. Это замѣчаніе чрезвычайно справедливо, потому что, въ самомъ дѣлѣ, въ Бѣлинскомъ выражались съ особенной силой тогдашній моментъ общественнаго развитія и тѣ стремленія, которыми была исполнена лучшая доля общества и которыя заключали въ себѣ истинное благо народа: Бѣлинскій въ этомъ отношеніи есть одно изъ замѣчательнѣйшихъ, и въ судьбѣ русскаго образованія, изъ самыхъ характерныхъ лицъ.

Но мы не можемъ принять безъ оговорки, или даже вовсе не можемъ согласиться съ другими мнѣніями и выводами Тургенева,— на которыхъ считаемъ необходимымъ остановиться именно потому, что сказанныя писателемъ авторитетнымъ, близкимъ свидѣтелемъ эпохи, однимъ изъ друзей Бѣлинскаго, они въ особенности могутъ поддерживать несправедливыя понятія, во-первыхъ, о личномъ литературномъ положеніи Бѣлинскаго въ свое время; во-вторыхъ, объ историческомъ отношеніи къ новому литературному поколѣнію.

Таковъ, во-первыхъ, упрекъ, который такъ долго употреблялся какъ оружіе противъ Бѣлинскаго и еще употребляется врагами его, существующими до сихъ поръ. Тургеневъ нѣсколько разъ упоминаетъ о «маломъ запасѣ познаній» Бѣлинскаго, о «неохотѣ къ медленнымъ трудамъ», о томъ, что ему «не доставало свѣдѣній — чтобы разработывать массу данныхъ фактовъ, вносить критическій анализъ въ исторію нашей литературы», что «свѣдѣнія его были необширны, онъ зналъ мало» и проч. Правда, авторъ хочетъ извинить Бѣлинскаго рядомъ замѣчаній — что въ то время «было не до того», чтобы разработывать массу фактовъ, что нужно было «расчистить самый родникъ, уяснить первоначальныя понятія современниковъ о томъ, что̀ въ словесности нашей представлялось какъ правда и какъ красота»; — что въ то время «ученый» чело-

вѣкъ и не могъ бы быть такой «центральной натурой», какъ былъ Бѣлинскій, потому что не соотвѣтствовалъ бы средѣ и между ними не было бы гармоніи, необходимой для пониманія; — что, несмотря на этотъ недостатокъ, Бѣлинскій все-таки могъ сдѣлать свое замѣчательное дѣло.

Но Бѣлинскій вовсе не нуждается въ подобномъ оправданіи и снисхожденіи, и болѣе правильное разъясненіе вопроса объ «учености» или «неучености» Бѣлинскаго было уже ранѣе указано въ литературѣ. Къ тому, что̀ сказано другими, прибавимъ нѣсколько фактическихъ примѣровъ.

Говорятъ, что недостатокъ свѣдѣній не дозволилъ Бѣлинскому разработать факты, внести критическій анализъ въ исторію нашей литературы. Замѣтимъ, что рѣчь можетъ и должна идти только о новѣйшей литературѣ, съ XVIII вѣка, которая и была предметомъ собственныхъ занятій Бѣлинскаго. Можно подумать, что *въ то время* (потому что прилагать мѣрку *другого* времени не позволяютъ требованія исторической оцѣнки) кто-нибудь другой лучше Бѣлинскаго разработалъ факты и внесъ критическій анализъ въ исторію нашей литературы. Ничего не бывало! Никто лучше не разработывалъ и не анализировалъ. Напротивъ, *въ то время* никто не говорилъ объ этомъ предметѣ лучше Бѣлинскаго: онъ былъ положительно лучшій знатокъ и критикъ новѣйшей русской литературы. Когда Бѣлинскій былъ студентомъ, каѳедра русской словесности принадлежала Мерзлякову, который еще восторгался Херасковымъ; когда Бѣлинскій началъ свою дѣятельность, въ московскомъ университетѣ профессорствовалъ Шевыревъ—это были призванные, доказанные патентами и мѣстами «ученые» историки и критики русской литературы: сравнивать ихъ съ Бѣлинскимъ—просто смѣшно. Шевыревъ нѣсколько спасъ свою репутацію «Исторіей древней русской словесности», въ которой было по крайней мѣрѣ изученіе фактовъ (и которая появилась впервые только къ концу сороковыхъ годовъ); но чтобъ ставить его въ параллель съ Бѣлинскимъ слѣдуетъ брать его какъ критика новой литературы, какъ дѣятеля «Моск. Наблюдателя» (первой редакціи) и «Москвитянина», и тѣмъ, кому сравненіе показалось бы неясно, можно только посовѣтовать самимъ лично познакомиться съ писаніями Шевырева въ этихъ журналахъ.

Упрекать Бѣлинскаго въ недостаточной разработкѣ фактовъ можно только, сравнивая его труды съ *позднѣйшей* разработкой этихъ фактовъ у писателей, которые были его учениками и преемниками и которые уже имѣли предъ собой его предварительную общую характеристику старой литературы. Но, не говоря о разницѣ

времени, новые труды исходили изъ совершенно иной точки зрѣнія.

Бѣлинскій въ свое время имѣлъ задачей, какъ выражается самъ Тургеневъ, показать, «что въ словесности нашей представлялось какъ правда и какъ красота», ему нужно было, въ исторіи литературныхъ явленій, объяснить ихъ эстетическій смыслъ, растолковать, что́ можетъ считаться истинной поэзіей и что́ было стихоплетствомъ, гдѣ были самостоятельные проблески настоящаго «искусства», и гдѣ было механическое, рабское подражаніе; и съ этой стороны, онъ, для своего времени и для перваго объясненія дѣла, мастерски разработалъ и анализировалъ факты, т.-е. выдѣлилъ дѣйствительно поэтическое и самобытное изъ массы сухого и бездарнаго реторическаго подражанія. Бѣлинскій тогда и имѣлъ въ виду только исторію *художественной* литературы, и въ *этомъ* смыслѣ его трудно даже упрекать за недостатокъ исторической перспективы,—такъ, напримѣръ, въ статьяхъ о Пушкинѣ, гдѣ Бѣлинскій разыскивалъ въ старой литературѣ поэтическіе элементы, подготовившіе Пушкина (первыя статьи), перспектива, несомнѣнно, соблюдалась. Въ недостаткѣ исторической перспективы скорѣе надобно упрекнуть тѣхъ противниковъ, съ которыми ему приходилось спорить и которые именно забывали о ней, навязывая и въ настоящее время поклоненіе Ломоносову и Державину и не давая мѣста новой литературѣ.

Въ томъ трудѣ, который былъ предпринятъ Бѣлинскимъ, онъ былъ положительно предоставленъ собственнымъ силамъ. Ему нисколько не помогли ни Мерзляковъ, ни Шевыревъ, ни даже Полевой; они скорѣе даже мѣшали ему, потому что въ самое трудное для него время, въ началѣ его дѣятельности, когда онъ впервые высказывался, ихъ мнѣнія и писанія только загромождали его путь ложными понятіями, которыя ему нужно было отвергнуть или исправить. Ему помогъ отчасти Надеждинъ,—но только самымъ общимъ образомъ, намекомъ на болѣе строгія критическія требованія и своей наклонностью скептически смотрѣть на русскую литературу,—а все исполненіе было дѣломъ самого Бѣлинскаго: «Литературныя Мечтанія» сами по себѣ были уже дѣломъ такой критической силы, которой и тѣни не было у Шевырева и у всѣхъ противниковъ Бѣлинскаго, взятыхъ вмѣстѣ.

У дальнѣйшихъ изслѣдователей (съ начала пятидесятыхъ годовъ) являлась совсѣмъ иная чисто спеціальная задача: они уже имѣли передъ собой намѣченными основныя черты литературной исторіи съ XVIII вѣка, въ смыслѣ художественнаго развитія, и вовсе не перерѣшали сужденій Бѣлинскаго, а разбирали эту литературу съ дру-

гой, совсѣмъ новой стороны,—именно, со стороны бытовой исторіи, исторіи нравовъ и образованности. Для нихъ естественю понадобился иной подборъ фактовъ, иныя подробности; они принялись искать ихъ, и конечно многое находили,—но во всякомъ случаѣ дѣлали уже *другое* дѣло, и ихъ работы ни мало не уменьшали заслуги Бѣлинскаго. Это были двѣ задачи и два историческіе пріема, изъ которыхъ каждый имѣлъ свое научное основаніе, и второй возможенъ былъ только при первомъ, или послѣ перваго.

Въ видѣ извиненія Бѣлинскаго въ «недостаточной разработкѣ фактовъ», указываютъ, что тогда «слѣдовало расчистить самый родникъ, уяснить первоначальныя понятія». Намъ кажется, что «расчистить родникъ»—столь великая задача, что ея исполненіе есть уже достаточно великая и серьёзная заслуга: это—разъяснить самую сущность вопроса, что труднѣе, чѣмъ разрабатывать подробности.

Понятно, что и «малый запасъ познаній» должно судить по сравненію не съ тѣмъ, какой былъ *послѣ* въ литературномъ обращеніи, а какой бывалъ въ тѣ времена. Въ одной изъ послѣднихъ статей своихъ Бѣлинскій, вызванный противниками, самъ смѣло высказывалъ, что своими трудами больше принесъ пользы литературѣ, чѣмъ «дѣйствительно ученые» его противники (онъ разумѣлъ тогда между прочимъ Шевырева). И онъ былъ, безъ сомнѣнія, правъ. Ученость бываетъ различная: бываетъ ученость, пріобрѣтаемая одной усидчивостью, состоящая въ знаніи заглавій, въ клочкахъ чужихъ мыслей, ничѣмъ несвязанныхъ, и не способная ни къ какому свободному развитію и живому примѣненію научной мысли. Такой учености не было у Бѣлинскаго, но очень много было у Шевырева, и извѣстно, какъ мало помогла эта ученость критическому пониманію Шевырева въ новой литературѣ, и какъ даже въ старой, которую онъ спеціально изучалъ, «ученая разработка» фактовъ привела его только къ самой уродливой исторической теоріи. Бѣлинскій и его друзья, съ которыми онъ параллельно развивался, стояли, конечно, несравненно выше ученаго ареопага ихъ противниковъ—въ томъ, что было истиннымъ движущимъ началомъ тогдашней образованности. Какъ въ настоящее время этимъ движущимъ началомъ становится естествознаніе, такъ въ то время была имъ нѣмецкая философія: въ *тогдашнемъ* положеніи ученыхъ вещей, это былъ высшій научный критеріумъ въ вопросахъ отвлеченной и нравственной философіи. Гдѣ же Бѣлинскій и его друзья познакомились съ этой нѣмецкой философіей? Въ оффиціальномъ ученомъ мірѣ знакомство съ Гегелемъ явилось только позднѣе, у молодыхъ ученыхъ, штудировавшихъ за границей, а первое изученіе Гегеля въ Россіи было самостоятельнымъ дѣломъ кружка Стан-

кевича, въ половинѣ тридцатыхъ годовъ; и впослѣдствіи, когда Станкевича уже не было, кружокъ Бѣлинскаго сумѣлъ воспринять и переработать ее въ любопытномъ и замѣчательномъ совпаденіи съ движеніемъ этой философіи въ самой Германіи, въ молодой гегеліянской школѣ, и затѣмъ выдти изъ нея къ новымъ научнымъ и общественнымъ интересамъ. Бѣлинскій имѣлъ здѣсь уже свободную дѣятельную роль. Чѣмъ отвѣчали на это «дѣйствительно ученые» противники? Шевыревъ восхвалялъ въ «Москвитянинѣ» мистическую философію Баадера; И. И. Давыдовъ въ томъ же «Москвитянинѣ», отвергая гегеліянство, рекомендовалъ какую-то супернатуральную философію умѣренности и аккуратности. Оба они были *докторами* философіи, и журналъ издавался чуть ли не *докторомъ* историческихъ наукъ. Тѣ, кто обвиняетъ Бѣлинскаго въ маломъ запасѣ знаній, вообще забываютъ о томъ, что творилось въ тогдашней литературѣ подъ руками «дѣйствительно ученыхъ» дѣятелей, напр. обо всей массѣ нелѣпостей, какія печаталъ «Москвитянинъ», о томъ презрительномъ шутовствѣ или невѣжествѣ (иногда это трудно разобрать), съ какимъ относился къ русской литературѣ и къ европейской наукѣ Сенковскій, о мистическихъ и хвастливыхъ мечтаніяхъ стараго и новаго славянофильства и т. д. и т. д.. Было бы долго пересчитывать странныя и просто дикія мнѣнія, принадлежавшія часто и «дѣйствительно ученымъ», съ которыми приходилось имѣть дѣло мало-ученому Бѣлинскому; образчики этого рода были давно приведены и напрасно забыты теперь строгими судьями Бѣлинскаго [1]). Въ примѣчаніи читатель найдетъ

---

[1]) Въ упомянутыхъ статьяхъ «Совр.» 1885—1856 г. Въ одномъ мѣстѣ авторъ этихъ статей, критикъ новаго литературнаго поколѣнія, останавливается на другомъ обвиненіи, какое по преданію взводимо было на Бѣлинскаго,—на обвиненіи въ нетерпимости, въ рѣзкости (печатныхъ) мнѣній. Авторъ объясняетъ, какова была на самомъ дѣлѣ эта мнимая рѣзкость Бѣлинскаго, и могъ ли онъ быть болѣе уступчивъ, когда ему приходилось имѣть дѣло съ мнѣніями явно нелѣпыми.—Приводимые имъ примѣры могутъ служить и для нашей цѣли.

«Въ спорахъ съ противниками Бѣлинскій не имѣлъ привычки уступать и въ полемикѣ, которую онъ велъ, не было ни одного случая, когда споръ не кончался бы совершеннымъ пораженіемъ противника во всѣхъ пунктахъ... Но должно только припомнить, съ какими мнѣніями велъ онъ борьбу, и надобно будетъ признаться, что иначе споръ не могъ кончаться. Бѣлинскій спорилъ только противъ мнѣній, положительно вредныхъ и рѣшительно ошибочныхъ... (Поэтому именно онъ и не могъ быть уступчивъ; въ противномъ случаѣ, еслибъ его противники имѣли на своей сторонѣ долю правды, онъ охотно призналъ бы ее)... Когда онъ замѣчалъ свои ошибки, онъ не колебался самъ первый обнаруживать ихъ. Но что оставалось ему дѣлать, когда, напримѣръ, одинъ изъ его противниковъ возмущался отсутствіемъ всякихъ убѣжденій

нѣсколько этихъ образчиковъ: они кажутся невѣроятными, но подлинность ихъ однако несомнѣнна;—читатель можетъ найти ихъ у Сенковскаго, Полевого, но въ особенности у писателей «Москвитянина» и въ другихъ славянофильскихъ изданіяхъ.—Въ чемъ же дѣло? Въ томъ, что «ученость» (которую всѣ признавали и даже восхваляли у большинства цитированныхъ здѣсь авторовъ) часто вовсе не избавляетъ отъ необразованности, или по крайней мѣрѣ отъ совершеннаго умственнаго безплодія, или неумѣнья съ здравымъ смысломъ пользоваться знаніями, если они и бывали.

У Бѣлинскаго не было ученой спеціальности; онъ и не нуждался въ ней по цѣлямъ своей дѣятельности,—но, конечно, никто изъ его ученыхъ противниковъ, которыхъ книжныя свѣдѣнія могли превышать «малыя познанія» Бѣлинскаго, не обладалъ тѣмъ пламеннымъ стремленіемъ къ правдѣ, тѣмъ вѣрнымъ угадываніемъ ея и воспринятіемъ въ личную жизнь и въ служеніе своему обществу,—какія принадлежатъ истинному образованію и которыя были у Бѣлинскаго самой природой. Его знанія, его идеалы никогда не были для него только книжнымъ пріобрѣтеніемъ; онъ переживалъ ихъ всѣмъ своимъ существомъ, добытыя убѣжденія считалъ нравственной обязанностью, принималъ ихъ какъ религію,—и въ этомъ была его великая сила.

въ статьяхъ Бѣлинскаго, когда тотъ же самый противникъ утверждалъ, что Бѣлинскій пишетъ, самъ не понимая смысла своихъ словъ,—потомъ твердилъ, что Бѣлинскій заимствуетъ у него свои понятія (когда дѣло было совершенно наоборотъ, что очевидно каждому при сличеніи стараго «Москвитянина» съ «Отеч. Записками»),—когда другіе возставали на Бѣлинскаго за мнимое неуваженіе къ Державину и Карамзину (которыхъ онъ первый оцѣнилъ) и т. д.,—тутъ, при всей готовности быть уступчивымъ, невозможно было увидѣть въ замѣчаніяхъ противниковъ ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно ошибочны. Таково же бывало положеніе дѣла, когда Бѣлинскій въ свою очередь начиналъ полемику: могъ ли онъ не говорить, что мнѣнія, противъ которыхъ онъ возстаетъ, совершенно лишены всякаго основанія, когда эти мнѣнія были такого рода: «Гоголь писатель безъ всякаго таланта—лучшее лицо въ «Мертвыхъ Душахъ» кучеръ Чичикова Селифанъ—Гегелева философія заимствована изъ «Завѣщанія» Владиміра Мономаха — писатели, подобные Тургеневу и Григоровичу, достойны сожалѣнія, потому что берутъ содержаніе своихъ произведеній не изъ русскаго быта—Лермонтовъ былъ подражателемъ Бенедиктова и плохо владѣлъ стихомъ—романы Диккенса произведенія уродливой бездарности—Пушкинъ былъ плохой писатель—величайшіе поэты нашего вѣка Викторъ Гюго и Хомяковъ—Соловьевъ не имѣетъ понятія о русской исторіи — нѣмцы должны быть истреблены—VII глава «Евгенія Онѣгина» есть рабское подражаніе одной изъ главъ «Ивана Выжигина»—лучшее произведеніе Гоголя его «Вечера на Хуторѣ» (по мнѣнію однихъ) или «Переписка съ друзьями» (по мнѣнію другихъ), остальныя же гораздо слабѣе—Англія погибла около 1837 года, такъ что не оста-

Намъ остается сказать еще о дальнѣйшей литературной судьбѣ Бѣлинскаго.

По его смерти, имя его названо было въ первый разъ въ 1856 году. Но еще раньше, какъ только открылась возможность намекать на это имя (въ 1855), воспоминаніе объ его дѣятельности было одною изъ первыхъ мыслей возрождавшейся литературы. Съ тѣхъ поръ явился цѣлый рядъ воспоминаній, характеристикъ, біографическихъ очерковъ. Сочиненія его, изданныя въ 1859—1862, имѣли значительный успѣхъ, который показывалъ, что при всей перемѣнѣ интересовъ въ новомъ наступившемъ періодѣ общественной жизни Бѣлинскій привлекалъ къ себѣ не одно историческое любопытство. Очевидно, вліяніе его еще продолжалось въ массѣ читателей.

Для критиковъ новаго литературнаго поколѣнія Бѣлинскій точно также остался предметомъ высокаго уваженія. Объясненію его историческаго значенія посвященъ былъ на первыхъ же порахъ обширный трудъ, который свидѣтельствовалъ о самомъ тепломъ сочувствіи и высокой оцѣнкѣ. Новая критика очевидно связывала свое дѣло съ дѣломъ Бѣлинскаго, какъ его продолженіе и развитіе.

Между тѣмъ уже довольно скоро обнаружилось странное недоразумѣніе. Въ литературѣ еще продолжали дѣйствовать совре-

---

лось и слѣдовъ ея существованія, какъ не осталось слѣдовъ платоновой Атлантиды—Англія единственное живое государство въ западной Европѣ (мнѣніе того же писателя, который открылъ, что она погибла)—лукавый западъ гніетъ и мы должны поскорѣе обновить его мудростью Сковороды—Византія должна быть нашимъ идеаломъ—просвѣщеніе приноситъ вредъ» и т. д. и т. д. Можно ли найти хотя какую-нибудь частицу правды въ такихъ сужденіяхъ? Можно ли дѣлать имъ уступки? Возставать противъ нихъ значитъ ли обнаруживать духъ нетерпимости? Когда одному изъ людей, воображающихъ себя учеными, и пользовавшемуся сильнымъ вліяніемъ въ журналѣ, который имѣлъ своею спеціальностью борьбу противъ Бѣлинскаго и «Отеч. Записокъ», вздумалось утверждать, что Галилей и Ньютонъ поставили астрономію на ложный путь, неужели можно было бы вести съ нимъ споръ такимъ образомъ: «Въ вашихъ словахъ есть много справедливаго... но соглашаясь съ вами въ главномъ, мы должны сказать, что нѣкоторыя подробности въ вашихъ замѣчаніяхъ кажутся намъ не совсѣмъ ясны»: говорить такъ, значило бы измѣнять очевидной истинѣ и дѣлать себя предметомъ общей насмѣшки. Возможно ли было говорить такимъ тономъ и о тѣхъ сужденіяхъ, образцы которыхъ представили мы выше, и которыя въ своемъ родѣ ничуть не хуже опроверженія Ньютоновой теоріи... Относительно такихъ мнѣній нѣтъ средины: или надобно молчать о нихъ, или прямо, безъ малѣйшихъ уступокъ, высказывать, что они лишены всякаго основанія. Разумѣется, нападенія на Галилея и Ньютона можно было оставить безъ вниманія—не было опасности, чтобы кто-нибудь введенъ былъ ими въ заблужденіе. Но другія сужденія не были такъ невинны»... («Соврем.» 1856, кн. 10, стр. 42—44. О недостаткѣ «учености» у Бѣлинскаго см. тамъ же, кн. 11, стр. 14—16).

крайнее внѣшнее стѣсненіе литературы не позволяло и думать о продолженіи начатаго; невольное удаленіе отъ живыхъ общественныхъ задачъ обращало писателей и критику опять къ отвлеченному искусству и «эстетическому воспитанію». На мѣсто Бѣлинскаго и Валер. Майкова критиками явились Боткинъ (со взглядами его второго періода, т.-е. съ удаленіемъ отъ либеральнаго идеализма и съ культомъ чистаго искусства), Дружининъ и Дудышкинъ, одинъ—изъ самыхъ старыхъ, другіе—изъ новыхъ друзей Бѣлинскаго, которые одинаково думали теперь, что именно продолжаютъ дѣло Бѣлинскаго; и потомъ, когда послѣ этого междуцарствія въ литературѣ началось новое движеніе, и—именно съ того, на чемъ остановилось оно при Бѣлинскомъ,—многимъ изъ друзей Бѣлинскаго стало казаться, что литература, напротивъ, покидаетъ открытый имъ путь и сбивается куда-то на ложную дорогу. Бѣлинскій сталъ представляться этимъ друзьямъ какъ именно чистый эстетикъ; забывая собственную тенденціозную дѣятельность кружка, начатую еще при немъ, они противопоставляли теорію чистаго искусства новымъ возникавшимъ (или только возвращавшимся) взглядамъ, приводя въ свою защиту и Бѣлинскаго, которому приписывали ту же теорію. Когда новая критика желала отъ писателя только болѣе ясныхъ выраженій того общественнаго направленія, какое литература приняла еще въ сороковыхъ годахъ; когда при этомъ замѣчалось, что для литературы есть болѣе серьёзныя задачи, чѣмъ, напр., извѣстное «чернокнижіе», и въ жизни общества есть еще много важныхъ предметовъ, кромѣ «тайниковъ женскаго сердца»; когда вообще выражено было сомнѣніе, дѣйствительно-ли столь «свободно» то наше «искусство», о которомъ такъ много говорилось, и дѣйствительно-ли столь велики его пріобрѣтенія въ тогдашней литературѣ,—людямъ прежняго круга Бѣлинскаго казалось, что новая критика не признаетъ «вѣчныхъ» законовъ художества и хочетъ ограничить, унизить его для узкой, временной полезности. Когда новая критика желала выяснить самые законы искусства менѣе метафизическимъ способомъ, чѣмъ то дѣлалось со временъ Шеллинга и Гегеля, и пробовала указывать объясненія, болѣе соотвѣтствующія требованіямъ современнаго точнаго изслѣдованія, это показалось просто нарушеніемъ и разграбленіемъ эстетической святыни. Читатель, слѣдившій за этими предметами, припомнитъ эстетическій споръ, который велся въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ, и другой эстетическій разрывъ двухъ сторонъ въ началѣ шестидесятыхъ.

Эти полемическія отношенія отразились и на историческомъ опредѣленіи Бѣлинскаго. Враждебный взглядъ людей прежняго круга

Бѣлинскаго на новыя литературныя стремленія получилъ такъ сказать обратное дѣйствіе: свой собственный *новый* взглядъ они приписали и Бѣлинскому, и выставили Бѣлинскаго *противъ* тѣхъ идей, съ которыми спорили сами. Другими словами: ставя себя въ солидарность съ Бѣлинскимъ, они отвергали историческую связь его съ ихъ противниками, видѣли въ идеяхъ этихъ противниковъ не преемственность идеямъ Бѣлинскаго, а скорѣе прямое ихъ нарушеніе и отрицаніе.

Мы думаемъ объ этомъ совершенно наоборотъ.

Для объясненія нашихъ словъ возвратимся опять къ тѣмъ воспоминаніямъ о Бѣлинскомъ, которыя доставляютъ о немъ столько любопытныхъ подробностей и которыя, по имени автора, заслуживаютъ и требуютъ особеннаго вниманія. Воспоминанія Тургенева въ различныхъ отзывахъ о Бѣлинскомъ самымъ несомнительнымъ образомъ выражаютъ взглядъ, о которомъ сейчасъ говорено, и мы не можемъ обойти этихъ отзывовъ при исторической оцѣнкѣ Бѣлинскаго, такъ какъ они идутъ отъ очень авторитетнаго писателя и одного изъ ближайшихъ лицъ того кружка.

Присутствіе указанныхъ соображеній явно обнаруживается слѣдующими словами автора, въ которыхъ, кромѣ полемическаго аргумента, мы не можемъ согласиться и съ тѣмъ характеромъ, какой здѣсь приписывается Бѣлинскому.

Сказавъ о замѣчательномъ эстетическомъ чутьѣ Бѣлинскаго, Тургеневъ продолжаетъ: «Другое замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика, было его пониманіе того, что именно стоитъ на очереди, что требуетъ немедленнаго разрѣшенія, въ чемъ сказывается «злоба дня». Не въ пору гость хуже татарина,—гласитъ пословица; не въ пору возвѣщенная истина хуже лжи, не въ пору поднятый вопросъ только путаетъ и мѣшаетъ. Бѣлинскій никогда бы не позволилъ себѣ той ошибки, въ которую впалъ даровитый Добролюбовъ; онъ не сталъ бы, напримѣръ, съ ожесточеніемъ бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризмъ, какъ неполную и потому невѣрную форму правленія. Даже допустивъ справедливость упрековъ, заслуженныхъ Кавуромъ, онъ бы понялъ всю несвоевременность (у насъ, въ Россіи, въ 1862 году) — подобныхъ нападеній; онъ бы понялъ, какой партіи они должны были оказать услугу, кто бы порадовался имъ! Бѣлинскій *очень хорошо сознавалъ*, что при обстановкѣ, среди которой онъ дѣйствовалъ, ему *не слѣдовало* выходить изъ круга чисто литературной критики. Во-первыхъ, при тогдашнихъ оффиціальныхъ, житейскихъ, цензурныхъ условіяхъ иначе дѣйствовать было слишкомъ затруднительно... а во-вторыхъ, онъ очень ясно видѣлъ и понималъ, что въ развитіи каж-

даго народа литературная эпоха предшествуетъ другимъ; что, не переживъ и не преодолѣвъ ея, нельзя двигаться впередъ, что критика, въ смыслѣ отрицанія фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явленія литературныя—и что именно въ этомъ и состояло его литературное призваніе. Его политическія, соціальныя убѣжденія были очень сильны и опредѣлительно рѣзки; но они оставались въ сферѣ инстинктивныхъ симпатій и антипатій. Повторяю: Бѣлинскій зналъ, что нечего было думать примѣнять ихъ, проводить ихъ въ дѣйствительность; да еслибъ оно и стало возможнымъ—въ немъ самомъ не было ни достаточной подготовки, ни даже потребнаго на то темперамента,—онъ и это зналъ—и со свойственнымъ ему практическимъ пониманіемъ своей роли, *самъ* ограничилъ кругъ своей дѣятельности, *сжалъ* ее въ извѣстные предѣлы... Незадолго до смерти Бѣлинскій начиналъ чувствовать, что наступало время сдѣлать новый шагъ, выдти изъ того тѣснаго круга; политико-экономическіе вопросы должны были *смѣнить* вопросы эстетическіе, литературные, но самъ онъ себя уже *устранялъ* и указывалъ на другое лицо, въ которомъ видѣлъ своего преемника—на В. Н. Майкова, брата поэта»...

Противоположеніе явно сдѣлано съ полемическою цѣлью и дальше, какъ увидимъ, опять повторяется не въ пользу Добролюбова. Но это противоположеніе есть однако чисто воображаемое, и главное—Бѣлинскому дается при этомъ, по нашему мнѣнію, невѣрная характеристика.

«Не въ пору гость хуже татарина»—такой недвусмысленной фразой авторъ желаетъ опредѣлить ошибку Добролюбова, которой, по его мнѣнію, никогда бы не сдѣлалъ Бѣлинскій.. Не будемъ спорить съ авторомъ лично о Добролюбовѣ, хотя въ приведенномъ примѣрѣ не видимъ никакой особенной ошибки [1], но никакъ не

[1] Почтенный авторъ, имѣвшій въ теченіе своей дѣятельности не мало литературнаго опыта, долженъ согласиться, что русская литература, съ самаго начала, вовсе не имѣла относительно «истинъ» такого положенія, которое можно было бы назвать свободнымъ и нормальнымъ; никакой энтузіазмъ, никакая преданность «истинѣ» въ отдѣльномъ писателѣ не давали ему возможности полно и серьёзно развивать ее (хотя бы чисто теоретически)—такъ, какъ онъ самъ былъ въ ней убѣжденъ и какъ бы требовало ея достоинство. По собственному опыту въ русской литературѣ, авторъ знаетъ, что она и до сихъ поръ очень небогата «истинами», что самое большее, чего она достигала—было только, что ей «удавалось» намекать, сообщать о нихъ, съ грѣхомъ пополамъ, нѣкоторое приблизительное понятіе. Неужели, при такомъ положеніи вещей, «истина» есть для насъ такая обыкновенная вещь, что мы можемъ относиться къ ней съ пренебреженіемъ и трактовать ее «хуже чѣмъ татарина»? И съ другой стороны, возвращаясь къ тому же примѣру, спросимъ, неужели русская литература была въ такомъ положеніи, чтобъ ея го-

можемъ согласиться съ тѣмъ, что говоритъ авторъ о Бѣлинскомъ. Слова его о Бѣлинскомъ совершенно опровергаются извѣстными фактами. Неужели правда, въ самомъ дѣлѣ, что Бѣлинскій *сознавалъ*, что ему *не слѣдовало* выходить изъ круга чисто литературной критики? Если не слѣдовало — только по внѣшнимъ, цензурнымъ затрудненіямъ, которыя отъ него ни мало не зависѣли, и не оставляли для него выбора,—то это не былъ уже *его* взглядъ, и объ этомъ не стоило говорить: физическая необходимость заставляла и его, и Добролюбова одинаково покоряться этимъ условіямъ. Но никогда Бѣлинскій (кромѣ 1837—39 г.) не думалъ *самъ*, что это и есть самое лучшее положеніе для его литературной дѣятельности. Мы видѣли длинный рядъ его жалобъ и негодованія на «отеческую расправу», на «шельмованіе», на «палачей»; онъ бился, какъ рыба объ ледъ, истинно страдалъ отъ того, что мысль, имъ уже высказанная, т.-е. написанная, погибала въ печати,—и ни мало не думалъ онъ, что ему *не слѣдовало* выходить изъ круга чисто литературной критики: напротивъ, ему давно наскучило говорить «все о литературѣ, и никогда о нравахъ», онъ питалъ отвращеніе къ «лисьему верченію хвостомъ», онъ рвался говорить о жизни, объ обществѣ, о томъ, что именно выходило изъ круга чисто литературной критики. Въ послѣдніе годы его критика въ самомъ дѣлѣ больше и больше покидала чисто литературную почву и обращалась къ вопросамъ общественной жизни. Изъ его послѣднихъ писемъ видно, до какой степени его занимали вопросы этого рода, напр., слухъ о готовящейся отмѣнѣ крѣпостного права; какъ русская повѣсть становится для него цѣнной лишь настолько, насколько въ ней присутствуютъ эти интересы общественной жизни; какъ изъ общественныхъ, и вовсе не однихъ литературныхъ, причинъ развивалась его вражда къ славянофильству и т. п. Его подавляла, томила внѣшняя невозможность говорить о подобныхъ предметахъ въ печати, какъ говорилъ онъ съ друзьями; и никогда онъ не думалъ, по доброй волѣ, что не слѣдовало говорить о нихъ самому обществу—напротивъ, это было бы самое страстное его желаніе. Если дѣйствительно, какъ замѣчаетъ авторъ, Бѣлинскій видѣлъ подъ ко-

---

лосъ могъ имѣть силу въ *подобныхъ* вопросахъ? «Не въ пору возвѣщенная истина», говоритъ Тургеневъ объ ошибкахъ Добролюбова. Но мы недоумѣваемъ, чему и кому могъ помѣшать Добролюбовъ (въ томъ смыслѣ, какъ винитъ его Тургеневъ) своими нападеніями на итальянскій парламентаризмъ, или какой партіи они должны были оказать услугу. Сколько мы понимаемъ, одна партія могла быть недовольна въ то время, когда писалъ Добролюбовъ, это была партія «Русскаго Вѣстника» (уже вскорѣ совершенно объяснившаяся), а когда писалъ Тургеневъ—партія «Вѣсти». Едва ли надо сожалѣть, если Добролюбовъ помѣшалъ которой-нибудь изъ нихъ.

нецъ жизни, что наступало время сдѣлать новый шагъ и при этомъ онъ себя уже устранялъ,—то, конечно, это могло быть сказано только или въ томъ смыслѣ, что Бѣлинскій вообще предчувствовалъ конецъ своей дѣятельности, или въ томъ, что не хотѣлъ браться за предметы (политико-экономическіе), къ которымъ не былъ спеціально приготовленъ: иначе, немыслимо, чтобы Бѣлинскій могъ думать, что ему уже *нечего* говорить, какъ будто могла истощиться масса основныхъ понятій общественнаго права и нравственности,—разъясненіе которыхъ могло бы быть еще необходимѣе для общества въ такую пору, когда бы явились передъ нимъ многозначительные вопросы общественнаго преобразованія,—и нѣтъ сомнѣнія, что по этимъ основнымъ предметамъ общественной нравственности Бѣлинскій могъ бы сказать много краснорѣчивыхъ словъ, полныхъ глубокаго убѣжденія и нужныхъ для общества.

Бѣлинскій очень хорошо видѣлъ, продолжаетъ авторъ, что «въ развитіи каждаго народа литературная эпоха предшествуетъ другимъ, что, не переживъ ея, нельзя двигаться впередъ» и пр. Мысль не совсѣмъ опредѣленная, но если и принять ее, какъ есть, то гдѣ граница этой литературной эпохи? Кто укажетъ, гдѣ кончается она, и гдѣ должна начаться другая эпоха?

Тургеневъ заключаетъ этотъ параграфъ своихъ воспоминаній повтореніемъ мысли, что дѣятельность Бѣлинскаго «неуклонно» и строго держалась литературной почвы. Мы видѣли, что производило эту неуклонность: не-литературная почва была заперта. «Только въ одномъ извѣстномъ письмѣ эта страсть, которую Бѣлинскій—

«...Во тьмѣ ночной
«Вскормилъ слезами и тоской»,

прорвалась наружу—какъ тотъ огонь, о которомъ говоритъ Лермонтовъ»...

Да *эта* именно страсть и составляла весь нравственный и историческій характеръ Бѣлинскаго.

Словомъ, въ разсказѣ Тургенева, образъ мыслей Бѣлинскаго и его дѣятельность является, что называется honnête et modéré, когда вся его біографія есть исторія страстныхъ увлеченій, упорнаго отрицанія, которыя наполняли всю его литературную роль. «Извѣстное письмо», представляется у Тургенева какъ исключеніе, какъ разъ только несдержанный (и по сравненію съ обыкновенною «умѣренностью», конечно, неблагоразумный) порывъ. Перечитавъ всю переписку Бѣлинскаго, какую только могли мы собрать, мы можемъ положительно сказать, что если нѣтъ въ этой перепискѣ другого письма, столько цѣльнаго, какъ это, то существуютъ письма (а

существовало и больше), гдѣ порывы страсти столь же пылки и неумѣренны... Нѣкоторое понятіе о подобныхъ настроеніяхъ Бѣлинскаго могутъ дать и напечатанные теперь отрывки.

И въ другомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній Тургеневъ дѣлаетъ изъ Бѣлинскаго полемическое оружіе противъ новой критики.

«Еще одно замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика,—говоритъ онъ,—состояло въ томъ, что онъ былъ всегда, какъ говорятъ англичане, «in earnest»; онъ не шутилъ ни съ предметомъ своихъ розысканій, ни съ читателемъ, ни съ самимъ собою; а позднѣйшее, столь распространенное глумленіе онъ бы отвергнулъ, какъ недостойное легкомысліе или трусость. Извѣстно, что глумящійся человѣкъ часто самъ хорошенько не даетъ себѣ отчета, надъ чѣмъ онъ трунитъ и иронизируетъ; во всякомъ случаѣ, онъ можетъ воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность своихъ убѣжденій» и т. д.

До конца параграфа идетъ противоположеніе Бѣлинскаго съ новыми писателями, подъ которыми опять нельзя не разумѣть Добролюбова... «Мнѣ скажутъ,—прибавляетъ авторъ,—что бываютъ времена, когда можно только намекать на истину, и что смѣющимся устамъ легче высказывать ее... Да развѣ Бѣлинскій жилъ въ такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однако же не прибѣгалъ онъ къ глумленію, зубоскальству»...

Но вѣдь бываютъ у людей, и писателей разные характеры, складъ ума, свойство таланта. Такая разница была между Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ. Бѣлинскій былъ восторженный идеалистъ, всегда увлекающійся энтузіастъ; самъ онъ замѣчалъ, что онъ шутить не мастеръ, какъ говоритъ Тургеневъ и какъ мы читали въ собственныхъ письмахъ Бѣлинскаго. Къ подобному энтузіазму, какъ у Бѣлинскаго, обыкновенно и нейдетъ охота и способность къ шуткѣ и остроумію: натура, вполнѣ экспансивная, онъ или безусловно восторгался тѣмъ, что ему нравилось и отвѣчало его мыслямъ, или нервно волновался, впадалъ въ раздраженіе и гнѣвъ. Добролюбовъ былъ человѣкъ иного рода: несомнѣнно и богато остроумный, также идеалистъ, онъ быстро прошелъ въ своей короткой жизни охлаждавшіе и ожесточавшіе опыты, принималъ ихъ не легко,—какъ принимаютъ люди поверхностные,—но, напротивъ, съ тяжелымъ чувствомъ, котораго горечь еще усиливалась сосредоточенностью характера, и, въ концѣ-концовъ, его талантъ, его остроуміе приняли желчное направленіе, которому и жизнь, и литература давали, къ сожалѣнію, слишкомъ много пищи. Понятно, что дѣятельность ихъ, Бѣлинскаго и Добролюбова, сложилась въ разные оттѣнки, но Тургеневъ слишкомъ поспѣшно заключилъ, что

это была противоположность, что Бѣлинскій «отвергнулъ бы» шутку Добролюбова. Мы думаемъ напротивъ, что противоположности не было, и — если продолжать гипотезу, въ которой Тургеневъ хотѣлъ выразить отношеніе между этими писателями,—то Бѣлинскій безъ всякаго сомнѣнія сумѣлъ бы понять, что было на душѣ у этого, и весело, а чаще желчно шутившаго человѣка: Бѣлинскому не трудно было бы понять это, потому что онъ слишкомъ хорошо зналъ условія русской литературы. Далѣе, если обратиться къ фактамъ, то литература временъ Бѣлинскаго вовсе не была лишена элемента шутки и «глумленія»: такова была полемика «Отеч. Записокъ» въ рукахъ Герцена (противъ «Москвитянина»); таковы были другіе примѣры полемики, напримѣръ, нѣкоторыя статьи о Булгаринѣ, приводившія Бѣлинскаго въ восторгъ, или непечатныя стихотворныя пародіи (противъ Мих. Дмитріева, Языкова), доставлявшія ему тоже большое удовольствіе; наконецъ, что такое была статья «Педантъ», самого Бѣлинскаго, какъ не желчное глумленіе надъ противникомъ—въ томъ же стилѣ, какъ иногда бывало у Добролюбова? Притомъ, развѣ новая критика занималась однимъ глумленіемъ? Рядъ критическихъ статей Добролюбова о главнѣйшихъ писателяхъ пятидесятыхъ годовъ былъ написанъ съ глубокой серьёзностью, не одинъ разъ превышавшей серьёзность самыхъ произведеній, которыми онѣ были вызваны;—эти статьи, конечно, памятны тѣмъ, кто читалъ Добролюбова. Наконецъ, если уже загадывать возможности, по характерамъ лицъ, мы не сомнѣваемся, что Бѣлинскій сумѣлъ бы совершенно понять Добролюбова: еслибы даже отрицательное настроеніе Добролюбова перешло и тѣ предѣлы, до которыхъ шелъ самъ Бѣлинскій, то Бѣлинскій понялъ бы, что источникъ этого отрицанія есть именно та «другая сторона любви», о которой говоритъ онъ въ одномъ изъ послѣднихъ приведенныхъ нами писемъ (конца 1847 г.): за это пониманіе ручается то свойство въ характерѣ Бѣлинскаго, которое на этотъ разъ очень вѣрно указываетъ самъ Тургеневъ.

Наконецъ, и въ третьемъ случаѣ авторъ проводитъ свое противоположеніе Бѣлинскаго съ новой критикой. Намекая на одинъ споръ о началахъ искусства (въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ), авторъ категорически заявляетъ, что мысли объ отношеніи искусства къ дѣйствительности и жизни, высказанныя тогда, по случайному поводу, однимъ изъ новыхъ критиковъ, только-что начинавшимъ свою дѣятельность,—что эти мысли *«не удостоились бы* отъ Бѣлинскаго ни возраженія, ни вниманія». И здѣсь авторъ забылъ историческую перспективу и перенесъ на Бѣлинскаго свое субъективное настроеніе. Мы опять думаемъ совершенно напротивъ. Мы

не находимъ достаточнаго повода защищать здѣсь эти мысли объ искусствѣ, осуждаемыя Тургеневымъ, но полагаемъ, что Бѣлинскій очень удостоилъ бы их внимания: онъ, безъ сомнѣнія, понималъ бы, что въ новѣйшее время для идеи искусства наступаетъ такая же очередь пересмотра и новаго изслѣдованія, какая вообще наступила для всѣхъ прежнихъ философскихъ построеній. Бѣлинскій былъ гораздо болѣе чутокъ въ этой постановкѣ философскаго вопроса, чѣмъ заставляетъ думать Тургеневъ. Старое гегеліянство было имъ давно забыто, и онъ понималъ, что если для новыхъ натуралистовъ была просто смѣшна старая, между прочимъ и гегелевская, натуръ-философія, то подобный кризисъ должны были пройти и всѣ другія области абстрактной философіи. Путь этого кризиса былъ для него ясенъ: его мысли шли здѣсь параллельно со взглядами его ближайшаго друга, автора «Дилеттантизма въ наукѣ» и «Писемъ объ изученіи природы», и послѣднимъ философскимъ интересомъ его былъ позитивизмъ О. Конта и Литтре, какъ рѣшительное отрицаніе метафизики. Длинный трактатъ, посвященный позитивизму въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ Бѣлинскаго, показываетъ, какъ близко было къ его мыслямъ новое ученіе, хотя данная форма ученія, у Конта, не казалась ему удовлетворительной. Во всякомъ случаѣ будущая система представлялась ему (и совершенно вѣрно), какъ основанная на точныхъ изученіяхъ, враждебныхъ всякой метафизикѣ. Говоря вообще, въ такомъ именно смыслѣ и понятъ былъ вопросъ искусства въ упомянутомъ эстетическомъ взглядѣ. Бѣлинскій могъ, конечно, не согласиться съ новымъ критикомъ въ спеціальной постановкѣ этого предмета, но несомнѣнно былъ бы заинтересованъ новымъ взглядомъ уже какъ попыткой въ новомъ направленіи, смысла и необходимости котораго онъ не могъ не чувствовать. Можно съ увѣренностью сказать, что онъ былъ бы еще болѣе заинтересованъ новой критикой, еслибы видѣлъ ея практическія примѣненія къ произведеніямъ литературы, старымъ и новымъ.

Впрочемъ, оставимъ предположенія; оставимъ также и личные вопросы, относительно которыхъ можемъ только подтвердить то, что сказано было другими [1]).

Словомъ, мы никакъ не находимъ между Бѣлинскимъ и его преемниками въ русской критикѣ того противоположенія, на какомъ настаиваютъ нѣкоторые изъ его современниковъ, — противоположенія, которое видитъ въ дѣятельности новой критики нѣчто въ родѣ извращенія здравыхъ принциповъ, имъ установленныхъ, нѣчто въ родѣ произвольнаго, безсодержательнаго отрицанія, не имѣю-

---

[1]) «Космосъ», 1869, прилож., № 1, стр. 99—102.

щаго за собой ни корня въ прошедшемъ, ни результатовъ для дальнѣйшаго литературнаго развитія. Напротивъ, преемники Бѣлинскаго по времени были и дѣйствительными преемниками его дѣла, и какъ самъ Бѣлинскій есть несомнѣнно лицо съ историческимъ значеніемъ въ нашей литературѣ и общественности, такъ и связь его съ новой критикой есть связь исторической преемственности. Если нѣкоторые изъ людей его круга, изъ его близкихъ друзей, отвергаютъ эту связь, это есть просто неправильная оцѣнка фактовъ, очень не свободная отъ чисто личныхъ предубѣжденій и пристрастій. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ объ отношеніи двухъ поколѣній, такъ-называемыхъ «сороковыхъ» годовъ къ пятидесятымъ и шестидесятымъ, и указывали, въ чемъ состоитъ историческая связь ихъ и различіе [1]). Неизбѣжное различіе приводилось самымъ ходомъ вещей и измѣненіемъ обстоятельствъ. Въ половинѣ 50-хъ годовъ внѣшнія обстоятельства въ самомъ дѣлѣ измѣнились (на извѣстное время) чрезвычайно сильно противъ прежняго: люди «сороковыхъ годовъ» во многомъ могли увидѣть исполненіе ихъ надеждъ; новое поколѣніе, вступавшее теперь въ дѣятельность, раздѣляло ихъ благопріятное настроеніе, потому что сравненіе съ прежнимъ порядкомъ вещей было еще близко. Но, какъ замѣчено выше, взаимное пониманіе сохранилось ненадолго и кончилось раздоромъ, который уже вскорѣ, особенно подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ обстоятельствъ, представился какъ вражда «двухъ поколѣній». Изъ являвшихся литературныхъ фактовъ становилось ясно, что писатели «сороковыхъ годовъ» относились далеко не сочувственно къ новому движенію. Со стороны послѣдняго даны были столь же несочувственные отвѣты. Явилась, наконецъ, въ области «искусства», извѣстная характеристика двухъ поколѣній, пріобрѣвшая своего рода фатальное значеніе... Этотъ раздоръ, въ своихъ личныхъ проявленіяхъ, конечно, можетъ найти свои объясненія: одно охлажденіе опыта дѣлаетъ обыкновенно старшія поколѣнія мало чувствительными къ возбужденію и энтузіазму новыхъ, и кладетъ между ними грань, которая потомъ, при какихъ-нибудь личныхъ столкновеніяхъ, можетъ стать непереходимой. Но этотъ раздоръ, въ которомъ дѣйствительно было много личнаго не измѣняетъ факта исторической связи и преемственности, на который мы указывали. Самая вражда, какъ она выразилась въ нашихъ условіяхъ, и которая такъ часто дѣлитъ у насъ людей однимъ грубымъ счетомъ возраста, свидѣтельствуетъ еще о слабомъ развитіи общественнаго чувства. Смѣна поколѣній бываетъ ощутительна и въ европейскихъ обществахъ; но

[1]) «В. Евр.» 1873, іюль, стр. 257—261, или отдѣльное изданіе «Характ. лит. мнѣній», 507—511.

сколько, несмотря на то, въ этихъ обществахъ знаменитыхъ именъ людей, которые начинаютъ жизнь въ передовыхъ рядахъ движенія и оканчиваютъ ее въ этихъ же рядахъ, не теряя мужественной энергіи, пониманія и чувства къ тому, что является новой задачей жизни, продолжая идти вмѣстѣ съ новыми поколѣніями, которыя находятъ въ нихъ вѣрныхъ руководителей и друзей? Таковы были тамъ многіе изъ лучшихъ людей и науки и политической жизни одинаково, въ которыхъ охлажденіе лѣтъ не подавляло, а закаляло энергію, которые черезъ долгіе годы реакцій умѣли не поддаваться малодушію и эгоизму мнимаго «опыта», и оставались до конца вѣрны лучшимъ внушеніямъ своей свѣжей поры, не смущаясь неудачами, не мѣшая своего дѣла съ разсчетами самолюбія или какими-нибудь частными раздорами. Главное объясненіе этой энергіи заключается, конечно, въ давней и крѣпкой образованности, которая и даетъ идеямъ ихъ могущественное вліяніе, и выдержку характерамъ. Наша образованность еще молода, и люди такой нравственно-общественной твердости очень рѣдки въ нашемъ обществѣ; мы слишкомъ легко поддаемся апатическому равнодушію или идемъ вспять, и это снова производитъ «неустойчивость», на которую сталъ жаловаться даже генералъ Фадѣевъ. Но не вѣчно же долженъ продолжаться этотъ «неисповѣдимый законъ судебъ». Наша образованность молода, но для лучшихъ умовъ она, конечно, уже вышла изъ ребячества,—и въ настоящемъ случаѣ отношеніе двухъ поколѣній, и именно стараго къ новому, могло бы быть иное, чѣмъ оно высказалось въ литературѣ около 1860 и въ 1869. Нельзя приказывать чувству, но можно требовать большаго пониманія, болѣе безпристрастнаго вниманія къ новымъ явленіямъ своего же общества, своей же исторіи. Примѣръ и начало солидарности должны бы исходить именно отъ людей, которыхъ дѣятельность была началомъ послѣдующаго движенія; отсутствіе солидарности прежде всего было бы ихъ виной... Въ настоящемъ случаѣ, нѣсколько больше этого вниманія и сочувствія —не къ лицамъ (въ этомъ можетъ не быть надобности), а къ *своему обществу*, и обвинители новыхъ поколѣній пріобрѣли бы пониманіе такихъ сторонъ, отсутствіе которыхъ извращаетъ все ихъ представленіе о предметѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не было бы возможно появленіе въ нихъ такихъ чертъ, которыя дѣлаютъ это представленіе тенденціозно-враждебнымъ. Но такова и вышла упомянутая характеристика, въ области «искусства», двухъ поколѣній,—какъ ни отрекался авторъ отъ всякой тенденціозности и враждебности. Въ послѣднемъ мы готовы ему вполнѣ вѣрить; но факты, несомнѣнныя впечатлѣнія обѣихъ сторонъ, вся позднѣйшая эксплуатація этой характеристики показываетъ, что, несмотря

на волю автора, изображенiе оказалось и тенденцiозно и враждебно. Неужели таково оно должно было быть? Нѣтъ,—разсматривая дѣло даже съ точки зрѣнiя «искусства». «Художника» тѣмъ и отличаютъ отъ обыкновеннаго смертнаго, что онъ долженъ видѣть въ изображаемой имъ жизни не отдѣльныя лица, не частные анекдоты, не случайныя личныя увлеченiя, наконецъ, не предметы своей личной досады, а типы, общiя явленiя, выражающiя смыслъ времени, стремленiя и страданiя общества. Больше вниманiя и сочувствiя, и писатель увидѣлъ бы, что̀ могло скрываться и дѣйствительно скрывалось за индивидуальными чертами, которыя въ первый разъ непривычно его поразили и къ которымъ онъ отнесся подъ слишкомъ большимъ влiянiемъ своихъ личныхъ впечатлѣнiй и предубѣжденiй. И еслибы такимъ образомъ для дѣятелей прежняго перiода разъяснилось новое движенiе, то этимъ самымъ разъяснился бы для нихъ и тотъ фактъ исторической связи поколѣнiй, о которомъ мы говорили. Наконецъ,—что̀ мы и хотѣли объяснить,—правильное пониманiе этихъ отношенiй дало бы и вѣрную оцѣнку историческаго значенiя Бѣлинскаго и его отношенiя къ послѣдующему литературному развитiю.

И нѣтъ сомнѣнiя, что Бѣлинскiй, на котораго такъ несправедливо ссылаются *противъ* новой критики, сохранилъ бы эту связь—онъ остался бы и для слѣдующаго поколѣнiя нравственнымъ авторитетомъ, и сумѣлъ бы понять стремленiя, отличавшiя послѣдующую эпоху. Для сохраненiя этой нравственной связи нуженъ искреннiй, безкорыстный идеализмъ, который ставитъ извѣстные общiе интересы высшей цѣлью своихъ стремленiй, подчиняетъ имъ свои частныя соображенiя, видитъ въ нихъ нравственный долгъ,— и этимъ идеализмомъ Бѣлинскiй былъ одаренъ въ высокой степени. Именно этотъ идеализмъ, такъ ярко выражавшiйся въ вѣчномъ страстномъ возбужденiи Бѣлинскаго, и сохраняетъ въ людяхъ молодую свѣжесть общественнаго чувства и дѣлаетъ ихъ дорогими союзниками новыхъ поколѣнiй. Мы читали разсказы о томъ, съ какимъ увлеченiемъ Бѣлинскiй встрѣчалъ нарождавшiеся таланты, съ какимъ участiемъ онъ ими любовался,—и какъ бывалъ нерѣдко пристрастенъ къ нимъ, безсознательно преувеличивая ихъ дѣйствительную цѣну. Это и было не столько пристрастiе къ близкимъ друзьямъ, сколько радость найти подлѣ себя новыхъ партизановъ защищаемой имъ идеи. Мы видѣли, какъ въ самыхъ противникахъ (нѣкоторыхъ изъ молодыхъ славянофиловъ) Бѣлинскiй умѣлъ цѣнить искренность убѣжденiя, и, съ другой стороны, при всемъ собственномъ идеализмѣ, понималъ, что̀ можетъ означать скептицизмъ, котораго не было у него самого. Наконецъ, весь характеръ Бѣлин-

скаго, какъ онъ отражается въ его собственныхъ признаніяхъ, никогда не позволилъ бы ему остановиться на умѣренныхъ сдѣлкахъ съ настоящимъ или поставить предѣлъ идеаламъ для будущаго. Поэтому мы и думаемъ, что новая критика была не только не различна, но совершенно однородна съ критикой Бѣлинскаго, была прямымъ ея наслѣдіемъ и дальнѣйшимъ историческимъ развитіемъ. Бѣлинскій, самъ прошедшій столько отрицаній, безъ сомнѣнія, понялъ бы и призналъ бы тѣ новыя стороны отрицанія, какія явились въ критикѣ Добролюбова и его современниковъ, и вмѣстѣ угадалъ бы въ нихъ тотъ же, ему родственный, идеализмъ. Въ подтвержденіе, напомнимъ слова Бѣлинскаго, въ его послѣдніе годы, гдѣ онъ говоритъ о критическомъ, отрицательномъ, осуждающемъ отношеніи литературы къ обществу [1]): онъ не пугался такого отношенія, какъ бы оно ни было смѣло. Наконецъ, въ письмахъ Бѣлинскаго мы не разъ отмѣчали эпизоды скептическаго сомнѣнія, которые своимъ, иногда крайне жесткимъ и суровымъ тономъ очень близки къ «отрицанію» новыхъ поколѣній, и могли бы напомнить Базарова и — его прототипы.

Бѣлинскій не замѣшался бы и въ малодушную вражду къ новымъ поколѣніямъ. Въ подтвержденіе, напомнимъ другія слова Бѣлинскаго, гдѣ онъ очень категорически говоритъ объ этомъ предметѣ [2]). Знакомые съ сочиненіями Бѣлинскаго могутъ сами умножить эти цитаты.

Силой своего идеализма и страстнаго убѣжденія Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, превышалъ всѣхъ друзей своего кружка, кромѣ только Герцена, съ которымъ у него было всего болѣе общаго и который, своимъ отношеніемъ къ новому времени, могъ показать, каково было бы, по всей вѣроятности, это отношеніе у самого Бѣлинскаго.

Останавливаясь на этомъ предметѣ, мы именно хотѣли устранить тѣ невѣрныя противоположенія Бѣлинскаго новому времени, которыя извращаютъ все представленіе объ его историческомъ значеніи. Бѣлинскій тѣмъ и дорогъ для русской литературы, что его дѣятельность имѣла важность воспитательнаго элемента, вліяніе котораго несомнѣнно и оказалось въ дальнѣйшемъ литературномъ развитіи. Литературные взгляды Бѣлинскаго за послѣднее время

---

[1]) Сочин. VIII, изд. 2, стр. 71 и слѣд.; XI, стр. 236—237.

[2]) Сочин. X, стр. 47—52. Напомнимъ еще слова одного изъ современниковъ Бѣлинскаго, приведенныя нами въ другомъ мѣстѣ («Характ. лит. мн.», стр. 471 — 472) и слова, сказанныя критикомъ «Современника» въ 1856 («Совр.», кн. 11, стр. 16—17), и гдѣ вѣрно угадана та историческая роль, которую получила потомъ критика Бѣлинскаго.

установили новую реалистическую критику. Его общественныя понятія, какъ они были изложены имъ въ 1847, и которыя, замѣтимъ, никѣмъ въ то время не были высказаны такъ рѣшительно и такъ ясно, могутъ считаться исходнымъ пунктомъ, съ котораго начинается новое развитіе этихъ понятій. Наконецъ, въ его положительно выраженныхъ мысляхъ и его идеалахъ уже были задатки многаго, что въ наше время становилось предметомъ общественнаго интереса и идеальныхъ увлеченій. Его личная многострадальная жизнь останется, безъ сомнѣнія, не для одного настоящаго поколѣнія высокимъ примѣромъ нравственнаго достоинства и стремленія къ жизненной истинѣ.

Дополненія.

Къ стр. 166. Приводимъ въ болѣе полномъ видѣ одно изъ замѣчательнѣйшихъ писемъ Бѣлинскаго къ Бакунину изъ Пятигорска. 1837 года, августа 16 дня.

— „Вчера получилъ я, совсѣмъ неожиданно, твое письмо, любезный Мишель. Оно меня очень удивило и если не огорчило, то и не доставило никакого удовольствія. Вмѣстѣ съ этимъ, оно нисколько не достигло той цѣли, которую ты предполагалъ, когда писалъ его. И все это оттого, что съ нѣкотораго времени ты не понимаешь ни себя самого, ни меня, и цѣль моего теперешняго письма—есть вывести тебя изъ этого двойного заблужденія. Начну съ того, что все, что ты говоришь мнѣ о моемъ паденіи, совершенно справедливо; сравненіе меня съ свиньей, которая валяясь въ грязи, ругаетъ эту грязь—очень вѣрно, и я почелъ бы себя еще гораздо хуже свиньи, еслибы обидѣлся истиною, высказанною прямо и безъ околичностей. Это мой любимый способъ говорить правду, лишь было бы вѣрно, а до словъ и выраженій мнѣ нѣтъ дѣла. Скажу еще болѣе: ты гораздо снисходительнѣе ко мнѣ, нежели я заслуживаю того въ самомъ дѣлѣ, и я самъ гораздо строже къ себѣ, можетъ быть, потому, что лучше знаю самъ себя, нежели ты знаешь меня. И несмотря на все это, повторяю тебѣ, что ты, по крайней мѣрѣ, на этотъ разъ, *не понялъ* меня. Но прежде я долженъ сказать тебѣ, почему ты не понимаешь себя. Ты говоришь, что въ послѣднее время мы всѣ ужасно пали и что наши отношенія, поэтому, опошлились: это правда. Потомъ ты говоришь, что ты теперь всталъ и всталъ такъ, чтобы уже никогда не пасть, всталъ на вѣки. Поздравляю тебя съ этимъ возстаніемъ отъ всей души и желаю, чтобы тебѣ въ самомъ дѣлѣ не пришлось никогда извѣстить меня о своемъ *новомъ* возстаніи, но признаюсь, сомнѣваюсь въ этомъ, потому что еще не вполнѣ вѣрю и теперешнему твоему возстанію. Я уже сказалъ тебѣ, что въ письмѣ твоемъ ко мнѣ не заключается рѣшительно ничего оскорбительнаго для меня; да и притомъ ты и прежде почиталъ себя вправѣ говорить истину безъ всякихъ уловокъ, и это право было всегда между нами общее и служило основою нашей дружбы. Теперь спрашиваю тебя: что же значитъ твоя приписка, въ которой ты просишь меня *не сердиться на тебя за рѣзкость твоихъ выраженій*, и увѣряешь, что *они вырвались изъ души, любящей меня.* Судя по этой припискѣ, можно подумать, что или мы съ тобою еще недавно подружились, или что ты меня ужъ слишкомъ глубоко презираешь, или, наконецъ, что (и это всего справедливѣе) ты

не могъ не замѣтить слишкомъ замѣтной рѣзкости своихъ выраженій *на свой счетъ* и безсознательно перенесъ ее къ выраженіямъ *на мой счетъ*. Да, Мишель, ты говоришь рѣзко не обо мнѣ, а о себѣ, и эта-то рѣзкость невольно бросилась тебѣ самому въ глаза; только ты не понялъ ее. И вотъ почему, я говорю, что ты не понимаешь себя, и вотъ почему я не совсѣмъ вѣрю тому, чтобы ты жилъ теперь въ царствѣ любви, въ царствѣ божіемъ. Въ любви нѣтъ гордости, и человѣкъ, живующій въ любви, счастливъ тѣмъ, что онъ *живетъ въ любви*, а не тѣмъ, что *онъ* живетъ въ любви. Не съ чувствомъ умиленія и кроткой радости извѣщаешь ты страждущаго друга о своемъ возстаніи, а трубишь о немъ съ какою-то гордостію и жестокостію, съ какою обыкновенно выскочка извѣщаетъ о повышеніи въ новый чинъ. Ты похожъ на человѣка, которому удалось взобраться на высокую гору и который вмѣсто того, чтобы именемъ любви и счастія убѣждать своихъ дольнихъ братій побѣдить трудности и съ долины взойти на гору, съ которой видна пристань спасенія,—ругаетъ ихъ и бросаетъ въ нихъ грязью и каменьями. Нѣтъ, не таковъ голосъ любви. Любовь не презираетъ падшими, но плачетъ о нихъ, и ея голосъ успокаиваетъ страждущую душу, а не возмущаетъ ее какимъ-то непріятнымъ, отталкивающимъ чувствомъ. Тебѣ извѣстны мои понятія о людяхъ; ты знаешь, что я раздѣляю ихъ на два класса—на людей съ зародышемъ любви и людей, лишенныхъ этого зародыша. Послѣдніе для меня скоты, и я почитаю слабостію всякое снисхожденіе къ нимъ. Но когда я вижу человѣка съ зародышемъ чувства, то какъ бы глубоко ни палъ онъ, но если, въ самомъ паденіи онъ сохранилъ инстинктъ истины и сознаніе своего паденія—онъ братъ мой, и я не могу презирать его. Вотъ о какой снисходительности говорю я и какой не вижу въ тебѣ. Повторяю, что не выраженія собственно на *мой* счетъ въ твоемъ письмѣ, но твои выраженія на свой собственный счетъ заставляютъ меня такъ думать, и, къ чести твоей, увѣренъ, что ты согласишься со мною, если уже и теперь не думаешь того же. Посмотри на своихъ сестеръ: онѣ въ тысячу разъ лучше тебя, въ тысячу разъ совершеннѣе тебя; онѣ давно уже живутъ въ царствѣ любви, въ царствѣ божіемъ, къ которому ты *пріобщился* навсегда такъ недавно; для нихъ паденіе трудно, хотя *и не невозможно* (какъ для тебя); онѣ давно уже наслаждаются этимъ миромъ и гармоніею души, этимъ счастіемъ тихимъ, кроткимъ и яснымъ, но глубокимъ и вѣрнымъ, этою ясностію и спокойствіемъ духа, которыя даетъ человѣку только одна любовь и которыя одни составляютъ на землѣ царствіе божіе. И что же? Онѣ-то именно тѣ, которыя менѣе всего цѣнятъ себя и менѣе всѣхъ думаютъ о себѣ. И это потому, что онѣ видятъ впереди себя совершенство, котораго еще онѣ не достигли и измѣряютъ свое достоинство не своимъ прошедшимъ и настоящимъ совершенствомъ, а будущимъ, и только его почитаютъ совершествомъ; настоящее же ихъ достоинство кажется имъ обыкновеннымъ и естественнымъ состояніемъ человѣка, и они никакъ не могутъ понять, чтобы можно было человѣку жить внѣ этого состоянія. И потому-то, будучи строгими къ себѣ, онѣ снисходительны къ другимъ. И если бы которая-нибудь изъ твоихъ сестеръ писала письмо къ подругѣ, впавшей въ душевное уныніе и бездѣйствіе, то вѣрно бы нашла для ея ободренія другіе способы, а не стала бы показывать съ торжествомъ на себя. Всѣ онѣ простираютъ свою снисходительность къ другимъ до слабости; но въ нихъ это не есть слабость, а любовь, потому что, слава Богу, онѣ еще не знаютъ такъ хорошо людей, какъ мы съ тобою, и не могутъ понять, чтобы могли существовать люди безъ зародыша благодати божіей. Повторяю: истинное совершенство измѣряетъ себя не тѣмъ достоинствомъ, которое оно уже пріобрѣло,

но тѣмъ, которое остается еще пріобрѣсть ему. А кто можетъ сказать себѣ, что ему уже ничего не остается пріобрѣтать въ этомъ отношеніи? Никто, потому что, если кто сказалъ это — тотъ хуже палъ. Человѣкъ, освободившійся отъ оковъ ничтожества и ощутившій въ себѣ царство божіе, плачетъ отъ умиленія и умоляетъ своихъ братій, какъ о милости, раздѣлить съ нимъ его блаженство. А ты похожъ на человѣка, который отчаянною храбростью вскочилъ на непріятельскую баттарею, взялъ ее, выхватилъ знамя, и въ гордомъ упоеніи побѣды, закричалъ—„ура! Наша взяла!“ Это ли возстаніе?... Судя по твоему письму, можно подумать, что презрѣніе уже побѣдило въ тебѣ любовь ко мнѣ; и что ты написалъ ко мнѣ не по движенію *любви*, а по побужденію *долга*, чтобы въ случаѣ совершеннаго и безвозвратнаго моего паденія, имѣть право сказать самому себѣ: „Ну, что-жъ дѣлать? Я сдѣлалъ все, что могъ—его вина“. Да, Миша, такое-то впечатлѣніе произвело на меня твое письмо: оно заставило меня не обратиться на самого себя, а пожалѣть о тебѣ, потому что, какъ мнѣ кажется, ты находишься не въ состояніи любви, но въ состояніи напряженія, какое свойственно человѣку, готовящемуся встрѣтить ужасную бурю,—бурю, которая должна или разрѣшиться въ гармонію, или повлечь за собою паденіе. Можетъ быть, я ошибаюсь, можетъ быть, мое паденіе такъ глубоко, что я не въ состояніи видѣть истины; но какъ бы-то ни было, а вотъ какое впечатлѣніе произвело на меня твое письмо, вотъ что заставило оно меня думать о тебѣ и, наконецъ вотъ что почелъ я моимъ святымъ долгомъ высказать тебѣ со всею откровенностью, на которую даетъ право дружба. Впрочемъ, это еще не все: ниже я буду еще обращаться къ нѣкоторымъ пунктамъ письма твоего. Еще разъ говорю тебѣ: можетъ быть я и не правъ;— (далѣе см. стр. 166) . . . .

Чтобы избѣжать повтореній, теперь же выскажу тебѣ и все остальное о духѣ и тонѣ твоего письма. *Я* и *вы*, говоришь ты безпрестанно: стало быть *ты* уже не заключаешься болѣе въ *мы*? Говоря объ общемъ нашемъ ничтоженіи, ты какъ будто выгораживаешь себя изъ вины и всю ее складываешь на насъ. Мы уѣхали—и ты возсталъ, именно потому, что мы уѣхали. Послѣ этого, намъ опасно видѣться съ тобою: ты можешь снова пасть. Ахъ, Миша, Миша! Какой злой духъ овладѣлъ тобою? Твой ли это языкъ, твоя ли душа въ немъ? Не въ насъ заключается причина нашего паденія: ударъ судьбы поразилъ насъ, а мы виноваты въ томъ, что допустили его оглушить себя. Очарованіе нашего круга исчезло, мы стали смотрѣть другъ на друга, какъ на больныхъ и, сходясь вмѣстѣ, боялись расшевелить раны одинъ другого. По крайней мѣрѣ ты согласишься, что ты по необходимости былъ связанъ въ присутствіи Станкевича также, какъ онъ въ твоемъ, и я въ его. Мы сходились по прежнему, но уже не было прежняго очарованія, уже чего-то недоставало. Обрати вниманіе только на то, какъ мы отдалились всѣ отъ Ивана Петровича: а что насъ отдалило отъ него?—несчастная тайна, намъ тремъ извѣстная. Я уже не говорю о себѣ: я самъ начинаю увѣряться... (далѣе см. стр. 166) . . . .

Я увѣренъ, что Боткинъ лучше обо мнѣ думаетъ, нежели ты, и это именно потому что онъ менѣе знаетъ меня, нежели ты, и поэтому его уваженіе болѣе тяготитъ меня, нежели твое презрѣніе. Итакъ, ни слова обо мнѣ: на мой счетъ ты, можетъ быть и очень правъ. Но я не могу понять этого презрительнаго сожалѣнія, этого обиднаго состраданія, съ которымъ ты смотришь на паденіе Станкевича. Дай Богъ, чтобъ онъ возсталъ скорѣе, чтобы онъ скорѣе вышелъ изъ этой ужасной борьбы; но я бы первый презрѣлъ его какъ подлеца и эгоиста, если бы онъ не палъ, не палъ ужасно. Перебирая въ умѣ

всевозможныя несчастія: непризнанную любовь, лишеніе всего милаго въ жизни, ссылку, заточеніе, пытку, я еще въ иныя минуты вижу духъ мой наравнѣ или еще и выше этихъ несчастій; но пусть они всѣ обрушатся на мою голову, только избавь меня Боже отъ такого несчастія. Какъ! быть виною несчастія цѣлой жизни совершеннѣйшаго и прекраснѣйшаго Божьяго созданія; посулить ему рай на землѣ, осуществить его святѣйшія мечты о жизни и потомъ сказать: я обманулся въ моемъ чувствѣ, прощайте! Этого мало: не смѣть даже и этого сказать, но играть роль лжеца, обманщика, увѣрять въ... Боже мой!.. Да ты пошлый человѣкъ, Мишель, если не понимаешь необходимости его паденія! Твое положеніе къ извѣстнымъ лицамъ, есть счастіе, блаженство, въ сравненіи съ его положеніемъ къ нимъ, а твое положеніе все-таки ужасно, и уже одно то, что ты еще держишься, свидѣтельствуетъ о желѣзной силѣ твоего духа. Нѣтъ, Мишель, я лучше тебя понимаю этого человѣка: онъ не *нашъ*, и его нельзя мѣрить на нашу мѣрку. Я и теперь также, какъ и прежде, объясняю странный феноменъ, который такъ непонятенъ. Этотъ человѣкъ любилъ истинно, и когда *она* узнаетъ все и онъ послѣ этого оживетъ, то онъ снова будетъ любить ее, но уже никому не скажетъ объ этомъ. Всякое личное счастіе онъ начинаетъ похищеніемъ у его назначенія, на всякія человѣческія оковы онъ смотритъ, какъ на задержку въ своемъ ходѣ. Идеалъ его жизни—блаженство въ отреченіи отъ себя, блаженство въ страданіи. Онъ не сознаетъ, но чувствуетъ, что не принадлежитъ самому себѣ и не имѣетъ права располагать собою. Я знаю его давно, и никогда, самъ не знаю почему, никогда не могъ примириться съ мыслью о возможности для него того счастія, которое такъ свойственно, такъ естественно человѣку и въ которомъ ему завидуютъ сами ангелы. Знаю, что онъ разсердился бы, если бы я это сказалъ ему въ глаза, но я увѣренъ, что понимаю его лучше, нежели онъ самъ себя. Мнѣ понятно, отчего онъ не можетъ примириться съ мыслію о безсмертіи, котораго впрочемъ жаждетъ душа его: въ безсмертіи онъ видитъ конецъ страданія, видитъ награду... И этого-то человѣка ты обвиняешь за паденіе, не зная того, что если ему суждено встать, то намъ надо будетъ смотрѣть на него, высоко поднявъ голову; иначе мы не разсмотримъ и не узнаемъ его. Теперь объ Иванѣ Петровичѣ: неужели и онъ записанъ въ твоемъ поминальникѣ, какъ усопшій? Неужели между павшимъ и возставшимъ уже нѣтъ связи? Нѣтъ, Мишель, есть: эта связь—скорбь, страданіе по погибающемъ. И какая разница между имъ и тобою: онъ ревматикъ, онъ разслабленный, а ты здоровъ и крѣпокъ —другой разницы нѣтъ между вами, кромѣ развѣ той, что у тебя есть воспоминаніе о прекрасныхъ дняхъ дѣтства и живая связь съ четырьмя созданіями, изъ которыхъ для тебя и одного было бы достаточно для вѣры въ жизнь и ея блаженство. Здѣсь я опять обращаюсь къ себѣ, чтобы сказать, что въ моемъ паденіи виноватъ я самъ, моя безпорядочная жизнь и что, въ этомъ отношеніи, между мною и Ключниковымъ, большая разница. Этотъ человѣкъ всегда болѣнъ, теперь онъ слегъ отъ болѣзни — и уже не видитъ никого подлѣ своей постели, не встрѣчаетъ ничьего взора, полнаго участія и состраданія. Что же послѣ этого дружба? Что же послѣ этого слова Апостола: *Другъ другу тяготы носите и тако исполните законъ Христовъ*? Нѣтъ, Мишель, не упрекать, не презирать долженъ ты падшаго друга, а убѣдить его въ любви силою любви, своимъ примѣромъ. Ты тогда только свободенъ отъ прежнихъ узъ дружбы, когда бывшій твой другъ помирится съ жизнью и признаетъ мечтами свои прежнія идеи и смотря на человѣка, кипящаго избыткомъ высшей жизни, будетъ говорить подобно какому-нибудь Михаилу Дмитріеву или Николаю Павлову — „я самъ

то же думалъ, самъ тому же вѣрилъ, но теперь вижу, что обманывался". Вотъ уже послѣ этого паденія, скажи ему—вѣчное прости. Но до тѣхъ поръ —ты еще связанъ. Ты намекаешь, или, лучше сказать, прямо говоришь, что оставишь насъ (т.-е. меня и *Николая!!!*), если мы не встанемъ. Ахъ, Мишель, Мишель... Я увѣренъ, что тебѣ уже давно совѣстно этихъ словъ, и что ты желалъ бы воротить ихъ. Я хорошо знаю тебя; знаю, что *въ минуту вдохновенія*, ты въ состояніи прервать *навсегда* связь самую тѣсную, но при первомъ откровенномъ разговорѣ. при первомъ изъ тѣхъ разговоровъ. когда души разговаривающихъ настроиваются гармонически, ты снова другъ и братъ, снова прежній добрый Мишель. Сколько разъ ты топталъ въ грязь Ефремова, произносилъ съ омерзеніемъ самое имя его, и сколько разъ послѣ того ты снова дѣлался къ нему снисходителенъ, т.-е. снова любилъ его? Это оттого, что твое самочувствіе истины, въ этомъ отношеніи, вѣрнѣе ея сознанія. Добро всегда добро, блеститъ ли оно какъ солнце, или какъ ночной червякъ — разница въ объемѣ, но основа одна и та же. И этого-то добра ты никогда не можешь не уважать даже и въ Ефремовѣ, въ которомъ оно высказывается такъ слабо, какъ блескъ ночного червяка. Всякому есть свое назначеніе, дальше котораго онъ не можетъ идти, итакъ, заслуга не въ томъ, чтобъ быть больше себя, но въ томъ, чтобъ не быть ниже себя. Ефремовъ — дитя, ребенокъ, и у него абсолютной жизни нѣтъ даже и въ представленіи. Онъ созданъ тепленькимъ, добрымъ, благороднымъ человѣкомъ, съ умомъ практическимъ, съ способностями не ограниченными, но и не обширными. Пусть же онъ, наконецъ, насладится *своею* жизнью, пусть трудомъ полезнымъ и пріятнымъ уничтожитъ свою пустоту, а нѣсколькими или и многими (чѣмъ больше, тѣмъ лучше) полезными для общества трудами пріобрѣтетъ уваженіе и довѣренность къ самому себѣ—и довольно; тогда нельзя будетъ не любить его. И онъ уже успѣваетъ въ этомъ: онъ менѣе предается апатіи, и если не можетъ избавиться ея, то ищетъ спасенія уже не (въ) ругательствахъ на жизнь и самого себя (какъ прежде), а въ трудѣ—и находитъ. Онъ надѣлалъ бездну глупостей, пошлостей, вслѣдствіе своей пустоты и ложныхъ понятій о средствахъ наполнить ее; онъ притворялся, комедіантствовалъ, обманывалъ другихъ и еще болѣе себя самого; наконецъ эта роль стала для него тяжела, онъ убѣдился въ ея пошлости и безплодности, рѣшился все прервать однимъ разомъ и навсегда: чтожъ тутъ худого находишь ты? Не понимаю. Человѣкъ дѣлаетъ глупости — его презираютъ; онъ оставляетъ ихъ, дѣлая надъ собою большое усиліе его опять презираютъ. Живя съ нимъ такъ долго, можно сказать, въ одной комнатѣ, я узналъ его совершенно. Отношенія наши иногда становились довольно тяжелы, особенно когда истощились шутки и воспоминанія о знакомыхъ и когда душа требовала перехода къ бесѣдѣ о предметахъ высшихъ; но никогда его видъ, его присутствіе не убивали, не мучили моей души. А я на этотъ счетъ счетъ *чувствителенъ:* для меня дышать однимъ воздухомъ съ пошлякомъ и бездушникомъ все равно, что лежать съ связанными руками и ногами. И теперь, неужели я долженъ оставить этого человѣка, которому моя пріязнь служитъ послѣднею опорою и поддерживаетъ въ благородныхъ рѣшеніяхъ? А между тѣмъ, онъ самъ видитъ, что между нами есть какая-то разница, потому что я никогда не говорю съ нимъ о томъ, о чемъ говорилъ каждый день съ тобою, живя въ Прямухинѣ 4 мѣсяца. Съ меня довольно и того, что мнѣ не тяжко въ его присутствіи ни думать, ни говорить ни о чемъ человѣческомъ, а и это есть признакъ достоинства. Кромѣ того, я могу всегда сообщить ему всякое мое человѣческое горе и человѣческую радость и увидѣть

въ немъ человѣческое участіе; люблю его еще и за то, что онъ очень деликатенъ и деликатенъ не по приличію, а по чувству. Желаю отъ всей души, чтобы на бѣломъ свѣтѣ было побольше такихъ людей: право, тогда на людей можно бы было смотрѣть поласковѣе и повеселѣе. И до тѣхъ поръ, пока Ефремовъ не заслужитъ въ *обществѣ* титла *солиднаго* и *почтеннаго* человѣка, до тѣхъ поръ я не буду ему чужой, хотя бы онъ и по прежнему остался болѣнъ душой. Конечно, я не признаю долга, и если, напримѣръ, ты не можешь сносить вида малонадежныхъ или даже безнадежныхъ больныхъ, — ты правъ, оставивъ ихъ. По крайней мѣрѣ, что касается до меня—повѣрь, что я не въ состояніи поддерживать ложныхъ отношеній *внѣшней* дружбы и что самолюбіе во мнѣ есть такое чувство, которое переживетъ самую жизнь мою.

Еще разъ, Мишель — ты не хорошо понимаешь себя; если же я ошибаюсь въ этомъ—то, признаюсь, ты совершенно правъ, что я палъ совсѣмъ; скажу болѣе: въ такомъ случаѣ, у меня уже не осталось ни ума, ни чувства... Какъ бы-то ни было, но я писалъ къ тебѣ эти строки безъ малѣйшаго чувства неудовольствія, какое возбуждается самолюбіемъ, писалъ ихъ отъ полноты души, не придумывая доводовъ, не гоняясь за выраженіями. Слова толпятся, и я затрудняюсь только излишествомъ ихъ.

Теперь докажу тебѣ, что ты не понимаешь меня, или, по крайней мѣрѣ, не понялъ моего письма, которое совсѣмъ понапрасну возбудило въ тебѣ такое негодованіе. Я готовъ его напечатать и защищать публично, съ каѳедры; я не отступлюсь ни отъ одного въ немъ словъ, и съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе убѣждаюсь, что минута, въ которую родилась во мнѣ идея, выраженная въ немъ, была началомъ возстанія, а не паденія. Неужели ты могъ подумать, что я, безсильный вырваться изъ моего ничтожества, хочу прибѣгнуть подъ защиту честности, аккуратности, пуританизма и здраваго смысла? Какъ же ты мало и худо меня знаешь! (Далѣе см. стр. [illegible]: „Живя въ Пятигорскѣ“... и стр. 156: „Благодать Божія“).

Теперь изслѣдуемъ основательнѣе и глубже причины моего ничтожества при обильномъ началѣ жизни. Въ то время, какъ я получилъ твое письмо, я оканчивалъ письмо къ Станк., въ которомъ обвинялъ себя въ такихъ грѣхахъ, что лучше бы не родиться на свѣтъ, какъ говоритъ Гамлетъ. Во мнѣ два главныхъ недостатка: самолюбіе и чувственность. Остановимся на первомъ, потому что второй совершенно ничтоженъ, какъ покажутъ тебѣ результаты моихъ доводовъ. Ты знаешь, что я имѣю похвальную привычку краснѣть безъ всякой причины, какъ думаютъ всѣ, но въ самомъ-то дѣлѣ очень не безъ причины. Эта похвальная привычка составляетъ несчастіе моей жизни, и если бы ты могъ хотя нѣсколько догадаться, какъ дорого она обходится, то, вѣрно, никогда бы не захотѣлъ воспользоваться ею для своей потѣхи, во всякомъ случаѣ, очень пошлой и недостойной порядочнаго человѣка. Самолюбіе — вотъ причина этого явленія. Конечно, здѣсь принимаетъ большое участіе какая-то природная робость характера и еще одно обстоятельство въ моемъ воспитаніи, о чемъ теперь мнѣ некогда распространиться, но главная причина все-таки самолюбіе. Я краснѣю оттого, что мнѣ не отдали должной справедливости, слѣд., отъ оскорбленнаго самолюбія; и краснѣю оттого, что мнѣ отдали справедливость, слѣд., отъ удовлетвореннаго самолюбія; къ чести своей скажу, что еще чаще краснѣю я вслѣдствіе сознанія своего недостоинства, отъ того вниманія, которое оказываютъ мнѣ хорошіе люди, знающіе меня издалека. Я понимаю самое малѣйшее движеніе моего самолюбія—и все-таки не могу убить въ себѣ этого пошлаго чувства. Оно овладѣло мною со-

вершенно, сдѣлало меня своимъ рабомъ. Я никогда не забуду, какъ ты въ первый разъ засталъ меня у Бееровъ за фортопіано: что мнѣ должно было дѣлать? смѣяться вмѣстѣ съ тобою надъ своею неспособностью, своимъ неумѣніемъ? Кажется, что на моемъ мѣстѣ всякій поступилъ бы такъ; но я вспыхнулъ, вспотѣлъ, почти задрожалъ, какъ виртуозъ, который даетъ первый концертъ свой собранію строгихъ знатоковъ. Я не написалъ ни одной статьи съ полнымъ самозабвеніемъ въ своей идеѣ: безсознательное предчувствіе неуспѣха и еще болѣе того успѣха всегда волновало мою кровь, усиливало и напрягало мои умственныя силы, какъ пріемъ опіуму. И между тѣмъ, я унизился бы до самаго пошлаго смиренія, оклеветалъ бы себя самымъ фарисейскимъ образомъ, еслибы сталъ отрицать въ себѣ живое и плодотворное зерно любви къ истинѣ, всѣ мои статьи были плодомъ этой любви, только самолюбіе всегда тутъ вмѣшивалось и играло большую или меньшую роль. Даже въ дружескомъ кругу, разсуждая о чемъ-нибудь, я вдругъ краснѣлъ оттого, что не хорошо выразилъ мою мысль, или, что бывало всего чаще, неловко сострилъ, или отъ противной причины, т.-е. отъ успѣха въ томъ и другомъ (Боже мой—какая мелочность!); но какъ скоро дѣло касается до моихъ задушевныхъ убѣжденій, я тотчасъ забываю себя, выхожу изъ себя и тутъ дайте мнѣ каѳедру и толпу народа: я ощущу въ себѣ присутствіе Божіе, мое маленькое я исчезнетъ, и слова, полныя жара и силы, рѣкою польются съ языка моего. Даже и теперь, какъ и всегда, я выхожу, просыпаюсь отъ самой тяжелой апатіи, какъ скоро слышу, что искажаютъ истину, ложно толкуя назначеніе человѣка, *долгъ*, чувство, разумъ. Итакъ, во мнѣ есть зародышъ жизни. Я понялъ и усвоилъ себѣ многія высокія истины: значитъ, истина въ представленіи дана мнѣ природою. Отчего же все это безплодно? По законамъ разума, зародышъ долженъ или развиваться, и развиваться, или сгнить и погибнуть. Со мною нѣтъ ни того, ни другого. Неужели мнѣ мѣшаетъ чувственность? Пустяки—я давно сознаю ея гадость, а сознаніе недостатка убиваетъ недостатокъ. Да и можетъ ли быть, чтобы человѣкъ, который такъ вѣрно понимаетъ назначеніе женщины, какъ я, который питаетъ ко всякой достойной женщинѣ такое святое, такое робкое чувство благоговѣнія; душа котораго такъ жаждетъ любви чистой и высокой и, можетъ быть, уже не разъ трепетала и замирала отъ предчувствія этого блаженства, можетъ ли быть, чтобы такой человѣкъ не имѣлъ силы побѣдить низкія, чувственныя побужденія и возгнушаться ими? Что же, спрашиваю я тебя, что же причиною безплодности моихъ порывовъ, моего душевнаго жару и многихъ прекрасныхъ даровъ, въ которыхъ не отказала мнѣ природа?—Вотъ вопросъ, который я окончательно рѣшилъ во время моего пребыванія на Кавказѣ. Внѣшняя жизнь или, лучше сказать, дисгармонія внѣшней жизни съ внутреннею. Какая причина этой дисгармоніи? Безпорядокъ жизни и *гривенники*, которыми ты такъ презираешь, что не велишь даже писать тебѣ о нихъ, чтобъ не разрушить твоего блаженства. Бѣдный Мишель, какъ не твердо, какъ непрочно твое блаженство! Но я оставляю тебя въ сторонѣ, и буду говорить только о себѣ. Съ моей стороны подло не оправдаться передъ тобою, а съ твоей подло не выслушать меня. Но я долженъ говорить и о тебѣ, можетъ быть слишкомъ непріятныя для (тебя) вещи: но что жъ дѣлать?—Это необходимо для моего оправданія. Ты въ долгахъ по уши; надежныхъ средствъ къ жизни у тебя нѣтъ никакихъ, ты взялся для графа переводить книгу, книгу, назначаемую для учебныхъ заведеній, слѣд., требующую труда честнаго, добросовѣстнаго, отчетливаго, труда собственнаго, безъ всякаго вмѣшательства и помощи со стороны другихъ, словомъ, труда

съ любовію. А ты, какъ ты поступилъ съ нимъ? Ты зналъ, что такого рода труды не твое дѣло—и взялся за нихъ. Честно ли это? Взялся же ты изъ разсчета, хотя и очень благороднаго. Потомъ ты роздалъ эту книгу своимъ друзьямъ, сестрамъ, братьямъ, изъ чего долженъ былъ выйти переводъ самый разнохарактерный и потому самый безхарактерный: благородно ли это? Не значитъ ли это подражать Погодину и подобнымъ ему спекулянтамъ. Если графъ подлецъ, это не даетъ тебѣ права быть подлецомъ; притомъ же, хорошее ли дѣло подавать о себѣ дурное мнѣніе человѣку сильному, могущему сдѣлать тебѣ много зла, помѣшать твоему благородному пути и сверхъ того человѣку и такъ уже предубѣжденному противъ тебя. Ты ничего не дѣлалъ съ Шмитомъ, а между тѣмъ онъ тебя безпокоилъ, мучилъ, отнималъ у тебя время, ввергалъ тебя въ апатію, тревожилъ твою совѣсть. Наконецъ, графъ призываетъ тебя къ себѣ и требуетъ рѣшительнаго отвѣта насчетъ перевода: ты просишь у него отсрочки и получаешь. Тотчасъ отдаешь Шмидта Боткину и Каткову, и говоря, что ты въ нихъ нисколько не сомнѣваешься, ѣдешь съ Лангеромъ и Палемъ въ Прямухино, гдѣ и остаешься. Кстати: уѣзжая въ Прямухино вслѣдствіе самой святой потребности своей души (какъ то особенно было передъ Пасхою), ты бросаешься то къ тому, то къ другому, чтобы достать нужную для поѣздки сумму; пріѣзжаешь оттуда также на заемъ, и эти займы растутъ, растутъ, растутъ... Теперь, Мишель, я прошу тебя быть добросовѣстнымъ (твое письмо ко мнѣ сдѣлало необходимою эту просьбу): неужели все это не имѣетъ никакого дурного вліянія на твой духъ и не мѣшаетъ нисколько твоей внутренней жизни? Если *нѣтъ*, то ты слишкомъ высокъ для меня, и я не въ состояніи понять тебя: если *да*, то ты напрасно увидѣлъ признаки конечнаго паденія въ моемъ письмѣ объ аккуратности и гривенникахъ. Ты пишешь ко мнѣ, что ужъ болѣе не тратишь по пяти и болѣе рублей въ день для переѣздовъ, на которые достаточно трехъ гривенниковъ, что ты уже не лакомишься у Печкина вареньями и сладенькими водицами: вѣрно — въ Прямухинѣ нѣтъ ни извощиковъ, ни Печкина. Ты не хочешь и слышать о гривенникахъ, но хочешь имѣть ихъ—это безсмысленно. Ты говоришь объ одной внутренней жизни—а самъ платишь значительную дань внѣшней: это не логически. Ты не надѣнешь сюртука съ разорванными локтями, ты не одѣнешься такъ, чтобы какой-нибудь квартальный могъ принять тебя за простолюдина и дать тебѣ толчокъ или оплеуху. Не только квартальному, ты дорого заплатишь за пощечину генералу. Ты не скажешь ему съ кротостію, какъ Христосъ воину, ударившему Его по щекѣ: „Если я сдѣлалъ худо—скажи мнѣ это, если хорошее — то за что же ты меня бьешь?“ О нѣтъ, за такую обиду ты потребуешь крови своего обидчика, его предсмертныхъ содроганій, его предсмертныхъ стоновъ; чтобы отмстить ему, ты поставишь на лотерею рѣзни свою жизнь, свою будущность, свое человѣческое назначеніе. И за что же все это?—за пощечину, которая безчеститъ не тебя, но обидчика. Видишь ли, какъ еще мало въ тебѣ любви, какъ еще велика зависимость твоя отъ внѣшней жизни и отъ *гривенниковъ*, которыми ты столько презираешь. Но довольно о тебѣ—обращаюсь къ себѣ. Я не только потонулъ въ долгахъ — я живу на чужой счетъ, вспоможеніями друзей, подаяніями людей презираемыхъ мною, благодѣяніями кухарки. Какой-нибудь Н. Ф. Павловъ кричитъ во всеуслышаніе, что я не имѣю права хулить его литературныхъ заслугъ, ибо де онъ одолжилъ меня деньгами. Какой-нибудь Селивановскій можетъ, если захочетъ, заставить меня и покраснѣть и поблѣднѣть однимъ намекомъ объ извѣстныхъ ему и мнѣ 250 рублей. Я взялъ къ себѣ брата, котораго отъ души люблю,

который много обѣщаетъ въ будущемъ, чтобы передать ему все, что есть во мнѣ хорошаго, и предохранить его отъ всего, что есть во мнѣ дурного, чтобы развить въ немъ его прекрасные элементы, словомъ, чтобы создать человѣка по духу и истинѣ. Чтобы ему было нескучно, чтобы онъ съ юныхъ лѣтъ имѣлъ друга, я взялъ къ себѣ племянника, котораго впрочемъ люблю для самого него и для котораго хотѣлъ сдѣлать по возможности все тоже, что и для брата. А сдѣлать все это я могъ не иначе, какъ любовію, какъ пріобрѣтя ихъ довѣренность, сдружившись съ ними, занимаясь съ ними и наукою и бесѣдами. И что же? Я не успѣлъ ни въ чемъ. Видя ихъ дурно накормленными, еще хуже одѣтыми, мучимый моими нуждами, сознавіемъ своего паденія, я одичалъ въ семействѣ и вмѣсто дружбы и откровенности возбудилъ въ нихъ къ себѣ что то въ родѣ боязливаго уваженія. Вмѣсто того, чтобы съ любовью и кротостію исправлять недостатки брата, происходящіе отъ его пылкаго характера и дурного воспитанія, въ которомъ онъ нисколько не виноватъ, я ругалъ его, какъ пьяный сапожникъ; доводимый до ожесточенія моими неудачами, не зная языковъ, недалекій въ наукѣ, я не могъ и такъ много сдѣлать для нихъ; но занятый то своими безплодными дѣлами, то бѣдственностью своего положенія, я жилъ большею частію внѣ своего дома, и приходя домой, запирался въ кабинетѣ и, бѣдные, они даже не ждали меня и за столомъ, потому что я обѣдалъ особенно. Учителей дать имъ я былъ не въ состояніи. Племянника я только отвратилъ безполезно отъ бѣднаго, но вѣрнаго пути, который ему былъ назначенъ родными его. И что всему этому причиною? Неаккуратность, безпорядокъ жизни, неосновательныя надежды на будущее. И вотъ я бросился въ развратъ и искалъ въ немъ забвенія, какъ пьяница ищетъ его въ винѣ — и вотъ причина моей чувственности — опять та же безпорядочная жизнь, та же неаккуратность, то же презрѣніе не только къ гривенникамъ, но и къ ассигнаціямъ и золоту. А между тѣмъ я всегда могъ бы жить безбѣдно, если не богато, и тѣмъ избавиться отъ лютыхъ душевныхъ мукъ и бездны паденія. Великій Боже, до чего я дошелъ. Грамматика, моя послѣдняя и твердая надежда—рухнула. Тотчасъ по пріѣздѣ я долженъ буду заплатить за квартиру и въ лавочку не менѣе *шестисотъ* рублей, окопировать брата и племянника, которые обносились, и сверхъ того имѣть деньги для дальнѣйшаго физическаго существованія. Гдѣ я ихъ возьму? Всѣ источники прекратились, просить болѣе нѣтъ силъ. Да я и такъ уже сдѣлался попрошайкою—больше быть ею не могу—лучше смерть, лучше отчаяніе, ожесточеніе, ненависть къ себѣ, къ людямъ, къ добру, чѣмъ такая жизнь. Что остается дѣлать въ такомъ положеніи? Надѣяться. Но какое право имѣю надѣяться я, котораго бѣдность есть заслуженное несчастіе? И притомъ, какъ можно надѣяться послѣ такихъ опытовъ? Если бы еще (послѣдняя надежда!) къ моему пріѣзду тронулась грамматика, если бы я кое-какъ уладилъ мои внѣшнія дѣла—что я долженъ дѣлать? Вотъ что: *уничтожить причину зла, а все мое зло въ неаккуратности, въ безпорядкѣ жизни, въ презрѣнныхъ гривенникахъ.* Какому любимому занятію могу я посвятить себя? Чѣмъ долженъ я заняться? Искусствомъ? — но для этого нужно знаніе нѣмецкаго и англійскаго языка. Философіею?—но для этого нужно знать по нѣмецки. Исторіею?—опять то же. Итакъ, мнѣ надо думать не о томъ, чтобы наслаждаться внутреннею жизнію, жизнію духа, идеи, а чтобы приготовить себя, чтобы сдѣлать для себя возможнымъ это наслажденіе. Итакъ, принимаюсь за языки, принимаюсь съ жаромъ, со всею силою воли. Занятіе скучное, прозаическое. Тутъ порядокъ въ занятіи и аккуратность не помѣшаютъ дѣлу, но еще помогутъ.

Да и когда я буду знать по нѣмецки и англійски, когда буду заниматься искусствомъ, философіею, и исторіею, неужели моимъ занятіямъ помѣшаетъ то, что мои расходы будутъ уравнены съ приходомъ, что я уплачу мои старые долги, — и не только не буду имѣть нужды дѣлать новыхъ, но еще приду въ состояніе одолжить другихъ; что вмѣсто того, чтобы тратиться на извощиковъ и лѣностію поддерживать свой геморой, буду ходить пѣшкомъ, что сообразно съ расположеніемъ моего духа, которое правильно измѣняется въ каждую часть дня, расположу и мои занятія, опредѣливъ на каждое изъ нихъ свое время; что буду ложиться въ 10 часовъ, а вставать въ 5; что откажусь отъ поздней, хотя и пріятной бесѣды въ кругу друзей, для того, чтобы поутру встать съ свѣжей головой, способной къ труду; что удержу въ себѣ порывъ къ высшему наслажденію, когда удовлетвореніе его заставитъ меня не устоять въ словѣ, не докончить важнаго дѣла? Конечно, тотъ скотина, кто бы назначилъ себѣ опредѣленный часъ для наслажденія искусствомъ, кто бы, чувствуя сильную потребность перечесть Гамлета или Фауста, задавилъ въ себѣ это стремленіе для занятія какими-нибудь склоненіями, которымъ отдано это время; тотъ скотина, кто бы, настроившись гармонически возвышенною бесѣдою съ другомъ, не пожертвовалъ этой бесѣдѣ часомъ—двумя, что (бы) докончить двѣ страницы какого-нибудь перевода. Я никогда не думалъ сдѣлать изъ себя машины. Я смотрю на порядокъ какъ на средство, а не какъ на цѣль. Да и не этотъ ли порядокъ, въ большей или меньшей степени, существуетъ у васъ въ Прямухинѣ. Сколько я замѣтилъ, по утрамъ твои сестры занимаются *преимущественно* рукодѣльемъ, послѣ обѣда чтеніемъ. Что этотъ порядокъ не можетъ иногда и даже часто, не измѣняться — объ этотъ нѣту спору. Итакъ за что же ты на меня напалъ съ такимъ жаромъ, такимъ негодованіемъ? Гдѣ же признаки конечнаго паденія? Если ты и въ этомъ со мною не согласишься— то признаюсь, мы больше не понимаемъ другъ друга и кто-нибудь изъ насъ точно палъ глубоко и безвозвратно.

Кстати о Прямухинѣ. Ты говоришь, что однажды тебѣ удалось пробудить меня отъ моего постыднаго усыпленія и указать мнѣ на новый для меня міръ идей: правда, я этого никогда не забуду—ты много, много сдѣлалъ для меня. Но не новыми утѣшительными идеями, а тѣмъ, что вызвалъ меня въ Прямухино — воскресилъ ты меня. Душа моя смягчилась, ея ожесточеніе миновало, и она сдѣлалась способною къ воспринятію благихъ впечатлѣній, благихъ истинъ. Прямухинская гармонія не помогала тебѣ въ моемъ пробужденіи, но была его главною причиною. Я ощутилъ себя въ новой сферѣ. (Далѣе см. стр. 144) . . . .

Еще были для меня минуты блаженства, уже вполнѣ чистаго и гармоническаго, когда, забывая вполнѣ самого себя, оставляя всѣ сравненія съ собою, я созерцалъ и постигалъ въ умиленіи все совершенство этихъ чистыхъ, высокихъ созданій; да, въ эти минуты, очень нерѣдкія, я былъ вполнѣ блаженъ тѣмъ, что вѣрилъ въ существованіе на землѣ безконечно прекраснаго и высокаго, потому что видѣлъ своими глазами, видѣлъ передъ собою то, что доселѣ почиталъ мечтою, что давно почиталъ долженствовавшимъ существовать, но къ чему доселѣ не имѣлъ живой и сильной вѣры. Жизнь идеальная и жизнь дѣйствительная всегда двоились въ моихъ понятіяхъ: прямухинская гармонія и знакомство съ идеями Фихте, благодаря тебѣ, въ первый разъ убѣдили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота. И я узналъ о существованіи этой

конкретной жизни для того, чтобы узнать свое безсиліе, усвоить ее себѣ, я узналъ рай для того, чтобъ удостовѣриться, что только приближеніе къ его воротамъ не наслажденіе, но только предощущеніе его гармоніи и его ароматовъ—есть единственно возможная моя жизнь. Но самыя лютыя мои минуты были, когда ты читалъ съ ними по-нѣмецки: тутъ уже не лихорадку, но цѣлый адъ ощущалъ я въ себѣ, особенно когда ты имѣлъ армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мною при всѣхъ, ни мало не догадываясь о состояніи моей души. Какая-то подлая злоба на всѣхъ и даже на невинный нѣмецкій языкъ давала мнѣ знать о моемъ глубокомъ униженіи, глубокомъ паденіи. И вслѣдъ за этимъ я иногда долженъ былъ шутить или говорить о любви, которой во мнѣ не было, о блаженствѣ жизни, когда въ душѣ моей былъ одинъ холодъ, досада, ненависть къ жизни, презрѣніе къ себѣ... Я принялся было за нѣмецкій языкъ и не успѣлъ, потому что, какъ и во всемъ, хотѣлъ усовершенствовать себя не для себя, а какъ будто для выставки, къ извѣстному дню. Гнилое зерно не принесло плода. И вотъ въ какомъ состояніи борьбы и гармоніи, отчаянія и блаженства былъ я въ Прямухинѣ. Я видѣлъ, что ты обманывался на мой счетъ, что ты предполагалъ во мнѣ больше, нежели во мнѣ было, и не могъ, не имѣлъ силы открыться тебѣ. Твои неделикатные шутки и намеки довершали мое мученіе: я очень хорошо понималъ, на что ты намекаешь, и то, что бы должно было заставить меня гордиться собою, то унижало меня, какъ человѣка, который бы вздумалъ надѣть на себя царскую порфиру, тогда какъ настоящее и достойное его одѣяніе было—одинъ развѣ рогожечный куль. Вотъ причина, отчего и по пріѣздѣ въ Москву я такъ смущался, когда слышалъ извѣстное имъ: чувство моего недостоинства было слишкомъ глубоко во мнѣ, и мнѣ казалось, что смѣхъ и презрѣніе всѣхъ и каждаго ожидали меня за мою дерзость. Бееры безпрестанно шутили надо мною: увлекаемые невольнымъ очарованіемъ ихъ *аллегорій* и *иносказаній*, я не могъ не забываться, не могъ не болтать съ ними—это дѣлало меня счастливымъ; но послѣ мнѣ всегда становилось гадко. Я безпрестанно былъ у Бееровъ: видѣть женщинъ, быть въ ихъ кругу, сдѣлалось моею потребностью, сдѣлалось моею настоящею жизнію. Во мнѣ никогда не было глубокаго, сильнаго чувства, но всегда было *что-то* и даже теперь я не могу сказать, чтобы во мнѣ не было ничего. Часто я хотѣлъ увѣриться, что это призракъ, обманъ, потому что не было прогресса въ развитіи чувства, не было блаженства въ его сознаніи, даже не было полной увѣренности въ его существованіи; но именно въ то-то время я и ощущалъ что-то въ себѣ, когда увѣрялся, что во мнѣ ничего не было. Притомъ же многіе факты были слишкомъ положительны: я отдалился отъ Ивана Петровича, мнѣ было тяжело и безсмысленно все, что было чуждо Прямухина. Среди друзей я былъ одинъ и искалъ уединенія; заговорить со мною — значило мучить меня, душить, давить. Грудь моя была больна какою-то отрадною болѣзнію, которая лучше всякаго здоровья. Наконецъ, я рѣшился ѣхать въ Петербургъ: это было лучшее время моей жизни. Я ощутилъ въ себѣ тройную силу, и возымѣлъ какую-то благородную рѣшимость похоронить въ сердцѣ всѣ надежды, жить жизнію страданія, оторваться отъ друзей, отъ всего, что мило, и строгою жизнію, тяжкимъ трудомъ выкупить прошедшія заблужденія и помириться съ жизнію. Надежда получить отъ Плюшара впередъ сумму, достаточную для уплаты важнѣйшихъ долговъ и удовлетворить необходимѣйшимъ нуждамъ, избавила меня отъ всѣхъ безпокойствъ насчетъ внѣшней жизни. Я сталъ свободенъ, гордъ, несчастенъ,—и въ первый разъ узналъ счастіе, потому что моя рѣшимость ро-

дила во мнѣ довѣренность и уваженіе къ самому себѣ. Словомъ, я страдалъ,—но былъ счастливъ. Но вскорѣ увидѣлъ, что отъ меня требуютъ невозможнаго и что, поэтому, поѣздка должна не состояться. Тутъ я упалъ совершенно—и лежу до сихъ поръ въ грязи. По пріѣздѣ изъ Прямухина я взялъ 600 р. у Боткина; ихъ мнѣ стало не надолго, и меня поддерживала только надежда на Николая: тебѣ извѣстно, какъ сбылась эта надежда. Я увидѣлъ себя на краю бездны. Кое-какъ кончилъ свою грамматику, представилъ ее Строганову. Потомъ получилъ отказъ отъ него, но надежда на поправку чрезъ напечатаніе грамматики отъ себя все еще была якоремъ спасенія. Дома я жить не могъ, потому что видѣлъ тамъ нужду. Заниматься не могъ, потому что червь подтачивалъ во мнѣ корень жизни. Съ постепеннымъ ожесточеніемъ моей души усиливалась во мнѣ чувственность: передъ отъѣздомъ на Кавказъ во мнѣ умеръ человѣкъ—остался самецъ. Предъ пасхой я опять взялъ денегъ у Боткина, кромѣ того Аксаковъ еще помогъ мнѣ. Отъѣзжая на Кавказъ, я опять взялъ 500 р. у Боткина, 800 у Ефремова, да еще и поѣхалъ на его счетъ! .

. . . .

Подъ вліяніемъ этихъ-то обстоятельствъ было написано къ тебѣ мое первое большое письмо (не знаю, получилъ ли ты его): всю вину моего паденія я видѣлъ въ чувственности. Но послѣ увидѣлъ, что это неправда, что есть причина глубже этой, причина, изъ которой вышла и самая чувственность. Что чувственность сдѣлала мнѣ много зла, что она много способствовала моему паденію—объ этомъ нѣтъ спору. Но и ея причина заключается въ безпорядкѣ моей жизни, которымъ я разстроилъ себя. Мучимый каждую минуту мыслію о долгахъ... (См. далѣе стр. 178). . . . .

. . . .

. . . .

Не спорю, что, можетъ быть, я невольно впалъ въ другую крайность: по тебѣ должно было только указать на преувеличеніе, но согласиться въ главномъ. Но ты, Мишель, не хотѣлъ понять меня и, повторяю тебѣ, въ возстаніи увидѣлъ паденіе. Ты знаешь, что меня ждетъ въ Москвѣ: грамматика должна мнѣ дать средства постепенно и понемногу раздѣлываться съ долгами и прожить хоть до Пасхи: иначе я погибъ безвозвратно. Если же эта надежда (послѣдняя и притомъ слабая) сбудется, тогда я начинаю новый періодъ моей жизни. У меня не будетъ потеряна ни одна минута. Я учусь по-нѣмецки и англійски мѣсяца два безпрерывно, каждый день. Всѣ другія занятія будутъ отдохновеніемъ и наслажденіемъ. Я долго откладывалъ — пора перестать. Возвращеніе изъ Кавказа будетъ началомъ моей новой жизни, или никогда не будетъ этого начала. Чувственность мнѣ опротивѣла, и я теперь съ большею живостью представляю себѣ гадкія послѣдствія послѣ обмана чувствъ, нежели прелесть этого обмана чувствъ. Не ручаюсь въ твердости противъ соблазна, но ручаюсь, что уже не покупное наслажденіе, не продажная любовь будутъ для меня соблазномъ. Слишкомъ трехмѣсячнаго опыта достаточно для моего убѣжденія, что очень не трудно давить въ себѣ животныя побужденія прежде нежели они возьмутъ свою силу. Несмотря на мое истощеніе отъ сѣрной воды и ваннъ, несмотря на скуку однообразной жизни, я никогда не замѣчалъ въ себѣ такой сильной воспріемлемости впечатлѣній изящнаго, какъ во время моей дороги на Кавказъ и пребыванія въ немъ. Все, что ни читалъ я—отозвалось во мнѣ. Пушкинъ предсталъ мнѣ въ новомъ свѣтѣ, какъ будто я его прочелъ въ первый разъ. Никогда я такъ много не думалъ о себѣ въ отношеніи къ моей высшей цѣли, какъ опять на этомъ же Кавказѣ, и не посланіе Петра, какъ

говоришь ты, но посланіе Іоанна читалъ и перечитывалъ я нѣсколько разъ. Словомъ, я бы выздоровѣлъ и душевно и тѣлесно, (см. далѣе стр. 178 кончая словами —„лучше отчаяніе") . . . .

Итакъ, Мишель, я сказалъ тебѣ все и о тебѣ и о себѣ: заплати и мнѣ тою же откровенностію. Я признался тебѣ во всемъ, въ чемъ только имѣлъ признаться; я показалъ себя тебѣ во всей наготѣ, во всемъ безобразіи паденія, открылъ тебѣ мои раны — измѣряй ихъ великость, но для того, чтобы исцѣлить, а не растравить; я коснулся такихъ задушевныхъ сторонъ моей жизни, о которыхъ никогда бы не заговорилъ съ тобою, еслибы письмо твое не вызвало наружу всей моей души. Остаюсь въ увѣренности, что, при свиданіи нашемъ эти стороны попрежнему останутся неприкосновенными. Источникъ деликатности по приличію — есть ничтожество; источникъ деликатности по чувству есть—любовь. Я не открылъ тебѣ новости, потому что это сдѣлалось уже не новостію для *всѣхъ*, не только для тебя одного, прежде нежели я могъ подозрѣвать, чтобы кто-нибудь зналъ объ этомъ; но я показалъ тебѣ дѣло въ настоящемъ свѣтѣ, не боясь унизиться въ глазахъ твоихъ, потому что не хочу незаслуженнаго уваженія: оно тяжелѣе презрѣнія. Чтобы сказать все, не скрою отъ тебя (хотя мнѣ это и больно и тяжко), что много было и фарсовъ и глупостей, хотя и было *что-то* истинное. Я не питалъ никогда никакихъ надеждъ, сколько по сознанію своего недостоинства, столько и предубѣжденію къ себѣ на этотъ счетъ; и желалъ только чувства, хотя бы оно высказывалось въ одномъ страданіи; но имѣть *что-то* все равно, что ничего не имѣть. Это обнаружило мое безсиліе. Итакъ—ни слова больше объ этомъ. Одинъ только разъ, увлекаемый полнотою чувствованій, рѣшился я поговорить съ тобою объ этомъ; но ты никогда не забывай, что ты ничего отъ меня не слышалъ и что, въ моемъ присутствіи, ты ничего не знаешь.

Недавно получилъ я письмо отъ Станкевича: бѣдный тяжко страдаетъ; но привычка, такъ сказать, къ жизни идеи видна во всемъ. Попрежнему онъ пишетъ о томъ, что такъ занимаетъ его душу, попрежнему даже паясничаетъ и между выраженіями души убитой и растерзанной у него попрежнему вырываются шутки, отъ которыхъ нельзя не хохотать. Но эти шутки и фарсы вырываются у него сквозь слезы. Онъ пишетъ ко мнѣ, что ты *все* открылъ всѣмъ, кромѣ ея. Fiat voluntas tua! — вотъ все, что онъ говоритъ объ этомъ. Впрочемъ, замѣтно, что онъ доволенъ твоимъ поступкомъ. Я, съ моей стороны тоже доволенъ, что въ развязкѣ, какова бы она ни была, уже сдѣланъ одинъ шагъ. Роль ваша ужасна. Очень радуетъ его твое извѣстіе, что В. А. хочетъ писать къ нему. „Можетъ быть, это только утѣшеніе, говоритъ онъ, но спасибо ему — оно, ей-ей, утѣшило меня. Если Богъ вывезетъ меня изъ нравственнаго ничтожества, я опять буду не одинъ въ свѣтѣ—я такъ высоко цѣнилъ это семейство. О, тяжело жить безъ кумира! Если не любовь—сочувствіе необходимо въ этой жизни".

Очень радъ, что ты болѣе и болѣе сходишься съ Василіемъ Петровичемъ. Признаюсь въ грѣхѣ: меня радуетъ мысль, что я первый понялъ этого человѣка и понялъ такъ, что дальнѣйшее съ нимъ знакомство ничего не прибавило къ моему о немъ мнѣнію. Послѣ твоихъ сестеръ, это первый *святой* человѣкъ, котораго я знаю. Его безконечная доброта, его тихое упоеніе, съ какимъ онъ въ разговорѣ называетъ того, къ кому обращается, его ясное, гармоническое расположеніе души во всякое время, его всегдашняя готовность къ воспріятію впечатлѣній искусства, его совершенное самозабвеніе, отрѣшеніе отъ своего я—даже не производятъ во мнѣ досады на самого себя: а

забываюсь, смотря на него. Онъ шелъ по ложному пути; встрѣтилъ людей, которые лучше его понимали истину, и тотчасъ призналъ свои ошибки, не почитая себя нисколько чрезъ это униженнымъ. Меня особенно восхищаетъ въ немъ то, что у него внѣшняя жизнь не противорѣчитъ внутренней, что онъ столько же честный, сколько и благородный человѣкъ. Онъ не почитаетъ себя вправѣ воспользоваться самовольно копѣйкою отца своего и, по дѣламъ его торговли, онъ смотритъ на свои отношенія къ отцу, какъ на отношенія прикащика въ лавкѣ къ своему хозяину. Да, это единственный способъ быть независимымъ отъ внѣшней жизни и людей; быть вполнѣ свободнымъ. Гармонія внѣшней жизни человѣка съ его внутреннею жизнію есть идеалъ жизни, и только въ Васильѣ нашелъ я осуществленіе этого идеала. Онъ умѣетъ отказать себѣ во всемъ, исполненіе чего вовлекло бы его въ обязательство и зависимость отъ людей; онъ не займетъ денегъ для своихъ даже похвальныхъ прихотей—и входитъ въ долги для того, чтобы помочь негодяю своему пріятелю. Да, братъ Мишель, что ни говори, а *аккуратность и самое скрупулезное отношеніе къ гривенникамъ*, какъ средство, а не цѣль жизни, соединенныя съ стремленіемъ къ абсолютной жизни — есть истинное совершенство человѣка. Абсолютная жизнь есть безграничная свобода духа, а свободенъ ли тотъ, чьи человѣческія минуты зависятъ отъ вліянія внѣшнихъ обстоятельствъ? Такъ какъ Василій читалъ твое письмо ко мнѣ, то я бы очень желалъ, чтобы ты прочелъ ему изъ моего все, что относится къ предмету нашего несогласія, особливо, объ аккуратности и гривенникахъ. Я увѣренъ, что онъ возьметъ мою сторону.

Не почитаю нужнымъ, для соблюденія формы, *свидѣтельствовать мое всенижайшее почтеніе* твоимъ сестрамъ: это пошло и если я дѣлывалъ въ моихъ къ тебѣ письмахъ такія приписки, то уже не буду впередъ. Ты и безъ того знаешь, какое благоговѣйное уваженіе питаю я къ нимъ. Не по случаю писемъ къ тебѣ, но каждый день вспоминаю и думаю я о нихъ, и это воспоминаніе — одно сокровище въ моей бѣдной жизни, одна свѣтлая и отрадная сторона туманной сферы, въ которой я живу. Но не нужно фразъ: ты и безъ нихъ повѣришь мнѣ въ этомъ. Александру Михаиловичу и Варварѣ Александровнѣ прошу тебя засвидѣтельствовать мое почтеніе. Пожми руки за меня братьямъ твоимъ и передай имъ мой дружескій привѣтъ.

Ефремовъ тебѣ кланяется. Мы оба съ нимъ не вылѣчились, но поправились. Хорошо и это, за неимѣніемъ лучшаго. Онъ непремѣнно опять пріѣдетъ на Кавказъ на будущую весну. Мнѣ надобно бы сдѣлать то же; но прежде вопроса о здоровьѣ, мнѣ еще должно рѣшить вопросъ о жизни. На Кавказѣ я ничего не сдѣлалъ, потому (что) ничего нельзя было сдѣлать. Перевелъ было страничекъ 20 съ нѣмецкаго, но болѣе не могъ. За то (см. далѣе стр. 162)

. . . .

При свиданіи поговоримъ объ этомъ побольше, и о другихъ моихъ планахъ, если только *гривенники* позволятъ мнѣ думать и говорить о чемъ-нибудь человѣческомъ. Письмо это ты получишь черезъ Боткина. Я хотѣлъ его отослать 16 числа, но успѣлъ кончить только нынче (17); завтра еще остается написать два письма—къ Боткину и Клюшникову, а послѣ завтра (19 августа) я буду въ Желѣзноводскѣ, верстахъ въ 15 отъ Пятигорска. Тамъ возьму я 20 желѣзныхъ ваннъ; эти ванны будутъ послѣдними. 1 или 2 октября мы выѣзжаемъ въ Москву, и когда ты получишь это письмо (которое Ефремовъ отправитъ къ тебѣ безъ меня 21 авг.), я, вѣроятно буду уже въ Воронежѣ, гдѣ надѣюсь, увидѣться съ Николаемъ, потому что писалъ къ нему объ этомъ. Отвѣчай мнѣ

немедленно и посылай письмо на имя Боткина, чтобы я тотчас по пріѣздѣ могъ прочесть его. Прощай. Твой *В. Бѣлинскій*".

Къ стр. 290, къБотк. (18—20 февр. 1840):

„Вообще у тебя, Б., есть какая-то прекраснодушная враждебность и ни на чемъ не основанное презрѣніе къ литературѣ и журналу. Если добродушный юноша мучилъ тебя литературнымъ враньемъ, изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы литература была вздоръ. Никто такъ пошло не вретъ о религіи и своимъ поведеніемъ и непосредственностію не оскорбляетъ ея, какъ русскіе попы,—и однакожъ изъ этого не слѣдуетъ, чтобы религія была вздоръ. Литература имѣетъ великое значеніе: это гувернантка общества. Журналистика въ наше время все: и Пушкинъ, и Гёте, и самъ Гегель были журналисты. Журналъ стóитъ каѳедры. За чтожъ на нихъ сердиться? Развѣ за Греча и Булгарина? Но это также нелѣпо, какъ сердиться на поэзію и презирать ее за Сумарокова или Бенедиктова".

Къ стр. 318, къ Ботк. (12 авг. 1840):

„Прочелъ три акта „Антонія и Клеопатры"—Творецъ небесный, неужели и Шекспиръ сгнилъ—и только? Бога ради, Боткинъ, скажи мнѣ, есть ли у Шекспира хоть что нибудь, не говорю дрянное, а не великое, не божественное? Вальтера Скотта читаю запоемъ; фу ты какой пышный! Прочелъ пять трагедій Софокла—новый міръ искусства открылся передо мною. Вижу, что одно сознаніе законовъ искусства безъ знанія произведеній его—суета суетъ. Катк[овъ] много заставилъ меня двинуться, самъ того не зная. Я сбираюсь писать ист.[орію] русской литературы съ піитикою, для книгопродавца Полякова, за 4000 р. асс. (это пока еще тайна). Статью Ретшера, переведенную тобою, знаю по отрывкамъ—интересная статья, а переводъ нѣсколько наскоро сдѣланъ. Боткинъ, прочти романъ Купера: „Послѣдній изъ Могиканъ": въ слѣд. №. О. З. помѣщ. двѣ части новаго романа Купера, служащаго продолженіемъ „Могиканъ". Перев. Каткова, Панаева и Языкова. Глубокое, дивное созданіе. Катковъ говоритъ, что многія мѣста этого романа украсили бы драму Шекспира".

Къ стр. 322, къ Ботк. (5 сент. 1840):

Письмо отъ 5 сент. 1840 продолжалось послѣ словъ: „издѣвается надъ тобою": „Строки твои о Лангерѣ (нижегородскомъ) прочелъ я съ особеннымъ интересомъ. Ты говоришь, что тебѣ необходимо женское общество — и мнѣ оно необходимо,—но вотъ уже больше году, какъ я не видалъ ни одной женщины, хотя и много видѣлъ самокъ. Что-то промелькнуло-было мимо меня, да и скрылось такъ скоро, что я не успѣлъ и удостовѣриться—дѣйствительно ли это женственное существо. Оно оставило впрочемъ во мнѣ какое то странное впечатлѣніе: я о немъ или совсѣмъ забываю, какъ будто его не было и нѣтъ на свѣтѣ, а если вспоминаю, мнѣ становится такъ хорошо, а мысль о встрѣчѣ съ нимъ приводитъ меня въ такой страхъ, что если придется встрѣтиться, то я разыграю роль городничаго, когда онъ является къ ревизору; не знаю, струситъ-ли ревизоръ-то? Да все равно—все это глупости, въ итогѣ которыхъ—ноль. Ахъ, Боткинъ, ты не можешь себѣ и вообразить, какъ я измѣнился. Нѣкогда ты упрекалъ меня въ недостаткѣ Entsagung: его и теперь нѣтъ, но вмѣсто его явилось презрѣніе, какое-то недовѣріе къ тѣмъ благамъ, которыхъ такъ мучительно еще недавно жаждала душа моя. Придутъ сами—ничто попробуемъ, вѣдь надо же чѣмъ нибудь занимать себя, живучи на бѣломъ свѣтѣ;

не придутъ—чортъ съ ними—не о чемъ жалѣть, вѣдь все глупо и ничтожно, и всякій нуль равенъ нулю.

Пріѣхалъ Анненковъ. Жалѣетъ, что не засталъ тебя въ Москвѣ. Ты очень ему понравился. Скажи мнѣ,—какое на тебя сдѣлалъ онъ впечатлѣніе? Я очень люблю этого милаго человѣка. Увѣдомь, получилъ-ли ты мое письмо, посланное съ Можевйчемъ? Что Кудрявцевъ—доставилъ ли мои письма по адресамъ. Умоляю его написать ко мнѣ хоть нѣсколько строкъ. Перешли мои письма къ Кронебергу и Кульчицкому. Кронебергъ-то, братъ, человѣкъ. Мнѣ досадно на себя, что съ нимъ не такъ-то во-время оно поладилъ. А все наша прекраснодушная отвлеченность. Конечно, онъ, страненъ и у него много дикихъ убѣжденій; но подумай-ко о томъ, что былъ каждый изъ насъ до встрѣчи съ Станкевичемъ, или съ людьми, возрожденными его духомъ. Намъ посчастливилось—вотъ и все, а это еще не большая заслуга съ нашей стороны — хвастать нечѣмъ. Сколько глубочайшихъ натуръ остаются на Руси неразвитыми и глохнутъ, оттого, что не встрѣтились во-время съ человѣкомъ или съ людьми. Изъ статьи Кронеберга видно, что онъ понимаетъ Шекспира, а это много. У него есть талантъ писать — его статья жива, остроумна, словомъ — прекрасна. Его переводъ „Ричарда II“ обнаруживаетъ въ немъ глубоко-поэтическую натуру. Словомъ, это одинъ изъ тѣхъ людей; какихъ и вездѣ не много, а на Руси почти совсѣмъ нѣтъ.

Пріятно было прочесть мнѣ въ письмѣ твоемъ, что извѣстная дама узнаетъ статьи мои, жадно читаетъ ихъ и дѣлаетъ изъ нихъ выписки, пріятно; но—увы!—энтузіазма уже нѣтъ во мнѣ, голова моя не ходила кругомъ три дня, и я не безумствовалъ, какъ тогда отъ твоего же письма, гдѣ ты говорилъ, что нѣкая достойная дѣвица, „дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей“ любитъ читать мои статьи и заочно интересуется авторомъ. Это было въ Мартѣ нынѣшняго года, а теперь еще только сентябрь—какъ немного времени и какъ много я измѣнился. А все Питеръ—спасибо ему; безъ него я и теперь былъ бы восторженнымъ дуракомъ, и не зналъ бы, что все—*дымъ*.

Тебя, я вижу, мнѣ не дождаться въ Питеръ. Право, чуть ли я не катну къ тебѣ по первому зимнему пути? То-то радость-то для насъ обоихъ, мой милый Василій! Сколько разсказовъ, сколько жалобъ на жизнь—вмѣстѣ поборимъ ее и будетъ легче.

Бѣдный Кольцовъ, какъ глубоко страдаетъ онъ. Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждетъ—одни скоты блаженствуютъ, но тѣ и другіе равно умрутъ: таковъ вѣчный законъ Разума. Ай да разумъ! Какъ пріѣдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи чтобы тотчасъ же увѣдомилъ меня; а если поѣдетъ въ Питеръ, чтобы прямо ко мнѣ и искалъ бы меня на Васильевскомъ острову, на маломъ проспектѣ, около 4 и 5 линіи, въ домѣ Алексѣева, изъ воротъ на право, во 2 этажѣ. У меня теперь большая квартира, и намъ съ нимъ будетъ просторно. Что Грановскій? Уговори его хоть строку написать ко мнѣ, право, онъ меня совсѣмъ не любитъ. Кудрявцеву 100 поклоновъ. Прощай. Твой В. Б“.

Къ стр. 324, къБотк. (4 окт. 1840):

Послѣ словъ: „Но куда до Патфайндера“:

... „Но еще болѣе обрадовалъ ты меня своимъ теперешнимъ взглядомъ на Entsagung. Именно, оно есть свободное, вслѣдствіе нравственнаго понятія, отреченіе отъ блага жизни и принятіе на себя страданія; а не невольное. Вотъ я и правъ былъ, что это слово и бѣсило и оскорбляло меня. У меня

отнимали то, чего я не имѣлъ еще и случая высказать. Можетъ быть, во мнѣ этого и нѣтъ, а можетъ быть и есть—кто знаетъ? Я самъ не могу знать. Ты пишешь, что опять сошелся съ самимъ собою, что призракъ счастія разбитъ— признаюсь въ грѣхѣ—плохо вѣрю—вразуми и наставь. Я вообще съ тобою въ одномъ страшно и дико разошелся: читаю и не вѣрю глазамъ своимъ, когда ты говоришь о жизни и счастіи, съ уваженіемъ и не шутя, съ какою-то вѣрою. Я не сойдусь, не помирюсь съ пошлою дѣйствительностью, но счастія жду отъ однихъ фантазій и только въ нихъ бываю счастливъ. Дѣйствительность— это палачъ.

Я прочелъ всѣ трагедіи Софокла въ гнусномъ переводѣ Мартынова,—и Антигона поразила меня больше всѣхъ.

Недавно со мною (съ мѣсяцъ назадъ) случилась новая исторія, которая до основанія потрясла всю мою натуру, возвратила мнѣ слезы и безконечное, томительное, страстное порываніе и кончилась *ничѣмъ*, какъ и прежде. Долго ли это продолжится. Видно, такова моя натура, какъ говоритъ Патфайндеръ. Всякому своя доля, но право сквернѣй моей ничего нельзя вообразить. Натура страстная, любящая, — танталова жажда, вѣчно остающая(ся) безъ удовлетворенія!...

Скажи Кудрявцеву, что-де честные люди такъ не дѣлаютъ—какъ же ни строчки—то не написать, а я жду не дождусь. Бога ради, призови къ себѣ моего брата да вразуми его, что-де стыдно и гадко не давать мнѣ знать, живъ или умеръ, когда я о немъ безпокоюсь. Да тутъ же исполни и обѣщаніе свое, о чемъ я просилъ тебя. Адресъ его: въ Грачевскомъ переулкѣ, въ домѣ купца Кондратія Григорьевича Смирнова, на квартирѣ у Дмитрія Петровича Иванова.

Кольцова расцалуй и скажи ему, что жду не дождусь его пріѣзда, словно свѣтлаго праздника. Катковъ умираетъ отъ желанія, хоть два дня провести съ нимъ вмѣстѣ. Скажи, чтобъ пріѣзжалъ прямо ко мнѣ, нигдѣ не останавливаясь ни на минуту, если не хочетъ меня разобидѣть. Мой адресъ: на Васильевскомъ островѣ, на Маломъ проспектѣ, между 5 и 6 линіями, въ домѣ Алексѣева, изъ воротъ направо, во 2 этажѣ направо. Да и самъ ты адресуй-ка письма-то прямо ко мнѣ, по этому адресу".

Къ стр. 339, къ Бот*к*. (10 дек. 1840):

Послѣ словъ „пожертвована мною общему":

„Я потребовалъ бы отъ женщины вотъ чего: чтобы при красотѣ (разумѣется относительной), граціи и женственности, она могла понимать въ искусствѣ столько, сколько дано женщинѣ понимать своимъ непосредственнымъ чувствомъ, а главное—чтобы она все понимала по женски, и чтобы она полюбила меня не за героизмъ, не за блескъ, котораго не лишена моя дикая и нелѣпая натура, но (за) человѣчность, доброту сердца, инстинктъ къ истинѣ и справедливости, и чтобы за нихъ простила слабость воли, недостатокъ характера и другіе грѣхи. Можетъ быть, Кольцовъ разсказывалъ тебѣ о маленькой исторіи со мною: простая дѣвушка, не красавица, а только-что не дурная, не граціозная, но не безъ граціи—будь въ ней побольше идеальныхъ элементовъ, побольше стремленія къ очарованіямъ внутренней жизни, побольше пониманія поэзіи,—и я жилъ бы теперь весело и видѣлъ-бы хорошіе сны... Но я сознаю себя слишкомъ выше ея стоящимъ—и потому *себѣ на умѣ* и думаю: *пусть страдаетъ* (Впрочемъ, послѣдняя фраза сказана изъ удальства только; замѣченная мною ея склонность ко мнѣ, льстя моему самолюбію, тревожитъ иногда мое человѣческое чувство,—и мнѣ было бы грустно увѣриться, что у

ней въ самомъ дѣлѣ есть что-нибудь ко мнѣ, а не показалось только; какъ очень можетъ быть). Признаюсь въ грѣхѣ: когда бываю вмѣстѣ съ нею, и теперь забываюсь, не видавши долго, съ особеннымъ удовольствіемъ вижусь; но когда не вижу ея, то забываю о ея существованіи—недостаетъ въ ней чего-то, а то чего добраго—пожалуй и спятилъ бы съ ума".

Къ стр. 350, къ Ботк. (30 дек. 1840):

После словъ: „Ни даже преувеличенными":

„Если бы я могъ раздавить моею ногою Полевого какъ гадину,— я не сдѣлалъ бы этого только потому, что не захотѣлось бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавецъ, подлецъ первой степени: онъ другъ Булгарина, protégé Греча (слышишь-ли, не покровитель, а protégé Греча!), пріятель Кукольника; безсовѣстный плутъ, завистникъ, низкопоклонникъ, дюжинный писака, покровитель посредственности, врагъ всего живаго, галантливаго. Знаю, что когда то онъ имѣлъ значеніе, уважаю его за прежнее, но теперь — что онъ дѣлаетъ теперь? — пишетъ навыворотъ по-телеграфски, проповѣдуетъ ту расейскую дѣйствительность, которую такъ энергически нѣкогда преслѣдовалъ, которой нанесъ первые сильные удары. Я могу простить ему отсутствіе эстетическаго чувства (которое не всѣмъ же дается), могу простить искаженіе Гамлета, „вѣдь-съ Ромео-то и Юлія изъ слабыхъ произведеній Шекспира", грубое непониманіе Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинскаго (идола петербургскихъ чиновниковъ и образованныхъ лакеевъ), глупое благоговѣніе къ риторической музѣ Державина и пр. и пр.; но для меня уже смѣшно, жалко позорно видѣть его фарисейско-патріотическія, предательскія драмы народныя (Иголкина и т. п.), его пошлыя комедіи и прочую сценическую дрянь, цѣну, которую онъ даетъ вниманію и вызову ерыжной публики Александр-ы-искаго театра, составленной изъ офицеровъ и чиновниковъ; но положимъ, что и это можно извинить отсталостью, старостью, слабостью преклонныхъ лѣтъ и пр.; но его дружба съ подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, отъ которыхъ гибнетъ наша литература, страждутъ истинные таланты и лишено силы все благородное и честное—нѣтъ, братъ, если я встрѣчусь съ Полевымъ на томъ свѣтѣ—и тамъ отворочусь отъ него, если только не наплюю ему въ рожу. Личныхъ враговъ прощу, съ Булгаринымъ скорѣе обнимусь, чѣмъ подамъ ему руку отъ души".

Къ стр. 350, къ Ботк. (30 дек. 1840—15 янв. 1841):

Нѣсколько ниже Бѣлинскій пишетъ:

„Тебѣ, Боткинъ, не привыкать стать къ разнымъ мѣсяцамъ и годамъ въ одномъ и томъ же письмѣ моемъ. Сейчасъ получилъ я письмо отъ Кольцова — онъ пишетъ, какъ вы встрѣчали новый годъ—охъ, вы счастливцы — у васъ все-таки есть минуты полнаго самозабвенія, а я... Я встрѣтилъ новый годъ у Одоевскаго — пилъ и зато два дня меня била страшная лихорадка. Кольцовъ пишетъ еще, что вы были у Полевого—а! вотъ откуда грянулъ на меня твой громъ — ужь подлинно не изъ тучи, а изъ навозной кучи. Ксенофонтъ меня не жалуетъ—это понятно, и хотя у меня слишкомъ мало общаго съ нимъ, но я его уважаю, какъ честнаго человѣка, а что касается до его возлюбленнаго братца,—тысячи ему дьяволовъ—плюю на него. Онъ отзывается обо мнѣ умѣренно, даже съ нѣкоторыми похвалами — экая бестія! Ну да чортъ съ нимъ! А кстати: и съ мошенниками-то мошенничаетъ: обѣщалъ въ гнусный „Русскій

Вѣстникъ" статей—уѣхалъ въ Москву, да и былъ таковъ, а тѣ волками воютъ. Видно впередъ взялъ деньги.

Теперь о второмъ пунктѣ твоего письма—о К[атко]-вѣ. Признаюсь — огорошилъ ты меня! Я странная натура—никогда не смѣю высказать о человѣкѣ что думаю и часто натягиваюсь на любовь, и дружбу къ нему, чтобы примирить свое чувство къ нему съ понятіемъ о немъ. Твое сужденіе о К[атков]ѣ *ужасно* вѣрно. Я тоже чувствовалъ, да не смѣлъ сказать себѣ самому. Изъ этого человѣка (я увѣренъ въ этомъ) еще выйдетъ человѣкъ, но пока онъ слишкомъ кровянъ и животенъ, чтобъ быть человѣкомъ. Пріѣхавши въ Питеръ, онъ началъ, съ высоты величія, подсмѣиваться надъ моими жалобами о ничтожности человѣческой личности, столько похожей въ общемъ на мыльный пузырь, и говорить, что въ наше время объ этомъ тужатъ только дрянныя и гнилыя натуришки; а черезъ нѣсколько недѣль запѣлъ мою же пѣсню, только еще заунывнѣе и отчаяннѣе. Потомъ толковалъ мнѣ, съ видомъ покровительства о необходимости провести по своей непосредственности рѣзцомъ художнич., чтобы придать себѣ виртуозности. У меня странная привычка принимать въ другихъ самохвальство за доказательство достоинства,—я и повѣрилъ, что онъ—статуя виртуознѣе самого Аполлона Бельведерскаго, да и давай плевать на себя и смиряться передъ нимъ. Вообще, онъ велъ себя со всѣми нами, какъ геніальный юноша съ людьми добрыми, но недалекими, и сдѣлалъ мнѣ нѣсколько грубостей и дерзостей, которыя могъ снести только я, которыхъ нельзя забыть и о которыхъ разскажу тебѣ при свиданіи. П. съ Я. тоже досталось порядочно за то, что они не знали, какъ лучше выразить ему свое уваженіе и любовь. Не скажу, чтобы у меня съ нимъ не было и прекрасныхъ минутъ, ибо это натура сильная и голова крѣпко работающая. Онъ много разбудилъ во мнѣ, и изъ этого многаго большая часть воскресла и самодѣятельно переработалась во мнѣ уже послѣ его отъѣзда. Ясно, что немного прошло у него черезъ сердце, но живетъ только въ головѣ, и потому отъ него пристаетъ и понимается съ трудомъ. Когда онъ, съ торжествомъ, созвалъ насъ у Кр[аевска]го и прочелъ половину ст. о С. Т., я былъ *оглушенъ*, но нисколько не напюлненъ, но сказалъ Комарову и пр., что такой статьи не бывало на свѣтѣ. Статья вышла. Питеръ ее принялъ съ остервененіемъ, что еще болѣе придало ей цѣны въ моихъ глазахъ. П. и Комаровъ прямо сказали мнѣ, что имъ статья не нравится, а послѣдній, что онъ въ ней, за исключеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно прекрасныхъ мѣстъ, ничего не понимаетъ. Я чуть не побранился съ нимъ за это; хоть онъ и говорилъ мнѣ, что въ моихъ ст. все понимаетъ. Уже спустя довольное время, я самъ поусомнился, замѣтивъ, что ничего не помню изъ дивной статьи. Перечитываю—читаю, прекрасно, положу книгу—не помню ничего. Твое письмо довершило. Ты здѣсь не то, что я, ты человѣкъ посторонній. Не забудь, что мы съ К[атковымъ] соперники по ремеслу, а я по моей натурѣ способенъ всегда видѣть въ соперникѣ Богъ знаетъ что, а въ себѣ меньше, чѣмъ ничего. Когда онъ изъявилъ желаніе писать о С. Т., я не смѣлъ и думать взяться за это дѣло. Теперь каюсь, ибо вижу, что это чудное явленіе погибло для публики. Хочу написать для Современника, да книги нѣтъ. Пащоканъ, говорятъ, передалъ для меня экземпляръ К. Аксакову, а тотъ Богъ знаетъ что сдѣлалъ съ нимъ. Не можешь ли ты похлопотать объ этомъ дѣлѣ?

Въ *немъ* бездна самолюбія и эгоизму—и мы много развели въ немъ то и другое. Сперва держали его въ черномъ тѣлѣ, а съ исторіи со Щ., начали носить его въ хлопочкахъ—вотъ онъ и зазнался. Когда я не хотѣлъ ему

дать въ руки твоего письма, но прочелъ, что можно было прочесть; онъ не скрылъ отъ меня своей досады и, забывъ всякую деликатность, которая въ дѣлахъ такого рода должна строго соблюдаться даже между самыми искренними друзьями, спрашивалъ меня нѣсколько разъ, почему я не показываю твоего письма; а потомъ нѣсколько дней пролежалъ уткнувшись носомъ въ подушку. Вспоминая теперь, какъ онъ жаловался мнѣ на твою ко мнѣ холодность и нелюбовь, и о впечатлѣніи, которое тогда производили на меня эти жалобы и ихъ манера, вижу ясно, что въ немъ оскорблялась не любовь, а самолюбіе. Вспоминая объ извѣстной тебѣ моей исторіи съ нимъ, ясно сознаю, что я тогда же видѣлъ то, чего никто не видѣлъ и ты особенно, и что съ другимъ кѣмъ у меня была бы невозможна подобная исторія, что онъ слишкомъ безчеловѣчно наслаждался плодами своей побѣды надо мною, что его ненависть послѣ того, какъ все объяснилось въ его пользу, выходила изъ самаго черстваго эгоизма, и что не онъ, а я жестоко оскорбленъ былъ. Да, Боткинъ, признаюсь въ слабости, а и теперь иногда тяжело вспомянуть объ этой исторіи. Вообще этотъ человѣкъ какъ то не вошелъ въ нашъ кругъ, а присталъ къ нему. И онъ не могъ войти: онъ для этого слишкомъ молодъ, онъ еще только теперь страдаетъ тѣми болѣзнями, которыя мы или давно уже перестрадали, или къ которымъ притерпѣлись, такъ что и не чувствуемъ ихъ, какъ лошадь хомута и упряжи. Это важное обстоятельство—одновременность развитія!

Да, много, много пятенъ въ этой, впрочемъ, прекрасной натурѣ. Время образуетъ ее. Есть натуры, трудно и туго развивающіяся - къ такимъ принадлежитъ и натура нашего юноши. А между тѣмъ, это натура, полная силы, энергіи, мужества, натура широкая, если еще пока не глубокая; онъ никогда не сдѣлается ни піэтистомъ, ни резонеромъ, ни сантиментальнымъ шутомъ. Только онъ носитъ въ себѣ страшнаго врага — самолюбіе, которое, при его кровяномъ, животномъ организмѣ, чортъ знаетъ до чего можетъ довести его. Удивительно вѣрно твое выраженіе „бравады субъективности“: это конекъ, на которомъ нашъ юноша легко можетъ свернуть себѣ шею. Самолюбіе ставитъ его въ такое положеніе, что отъ случая будетъ зависѣть его спасеніе или гибель, смотря (по тому), куда онъ поворотитъ, пока еще время поворачивать себя въ ту или другую сторону“.

Къ стр. 353, къ Ботк. (то же письмо), января 22, 1840:

Немного ниже Бѣлинскій пишетъ:

„Завтра долженъ кончить побіеніе книженокъ и театральныхъ пьесъ — дня два погуляю, а тамъ—огромную статью въ науки 3 № „о раздѣленіи поэзіи на роды и виды“ и критику—огромную—о Петрѣ Великомъ, статья, которая лежитъ у меня на сердцѣ, давитъ его и просится вонъ. Между тѣмъ (въ это же время) надо *пробѣжать тридцать* томовъ Голикова, да еще сочиненія два, три о царств. Алексѣя Михайловича,—а тамъ десятка полтора рецензій на книжонки, на театр. пьесы—вотъ тебѣ и образы, и послѣдовательность и пр. Нѣтъ, вижу, что надо отложить въ сторону претензіи и самолюбіе и быть предовольнымъ, если умный человѣкъ, прочтя мою статью, хоть и не найдетъ въ ней большихъ хитростей, но и не почтетъ потеряннымъ времени, которое она у него отниметъ, и скажетъ, что прочелъ *съ удовольствіемъ*“.

Къ стр. 372, къ Ботк. (13 марта 1841):

Даемъ выписку полнѣе:

„Чтобы наслаждаться жизнью, надо имѣть въ запасѣ нѣсколько холод-

ности и презрѣнія къ ней, и смѣнить на ея призывы и обольщенія, какъ ѣхать съ визитомъ къ человѣку, который очень нуженъ и важенъ для тебя со стороны внѣшнихъ обстоятельствъ, но съ которымъ у тебя нѣтъ ничего общаго, котораго ты не любишь и не уважаешь за личный характеръ: и вотъ ты ѣдешь къ нему и думаешь: застану дома—хорошо, мои дѣлишки поправятся; не застану—еще лучше, избавлюсь отъ непріятности дружески бесѣдовать съ непріятнымъ для меня человѣкомъ. Одинаковая причина иногда раждаетъ различныя слѣдствія: ежели, съ одной стороны, минуты нашего бѣднаго существованія такъ кратки и подвержены надувательству, что намъ надо быть осторожными въ сколько нибудь важныхъ случаяхъ; то съ другой стороны, жизнь наша такъ коротка и дрянна, что если мы будемъ гадать — четъ или нечетъ, то она пронесется мимо носу, а мы останемся съ четомъ или нечетомъ. Что до меня—узнай я, что дѣвушка (сколько нибудь не совсѣмъ пошлая) такъ любитъ меня, что не можетъ жить безъ меня, и будь при этомъ у меня обезпеченіе, или у ней приданое—чорта ли тутъ думать—вѣдь все равно, что одному зѣвать, что вдвоемъ. Но если бы и самъ далъ ей на себя какія-нибудь права,— то и толковать нечего, особенно, если навлекъ на нее вниманіе общества, говоръ толпы. И потому, мой милый Боткинъ, смотри, какъ обстоятельства установятся, и вѣрь, что то и другое все равно: не женясь, ты ничего не выигрываешь (ибо зѣвота не есть выигрышъ) и ничего не проигрываешь (ибо не сковываешь себя); женясь, ты опять столько же рискуешь проиграть, сколько и выиграть. Чрезъ нѣсколько лѣтъ не будетъ ни насъ, ни костей нашихъ,—и кому будетъ не лѣнь и подумать о томъ, надъ чѣмъ ты теперь такъ много и крѣпко думаешь. Она—повѣрь мнѣ—будетъ не та: проза жизни, особенно материнскія обязанности и чувства, сведутъ ее съ облаковъ на землю, изъ пери сдѣлаютъ женщиною. Ты будешь славнымъ и почтеннымъ филистеромъ. Ничего не требуя другъ отъ друга, ничего не обѣщая одинъ другому, вы полюбите другъ друга просто и совсѣмъ другимъ образомъ, а привычка докончитъ дѣло. Впрочемъ, все это я пишу на тотъ случай, что если ты увидишь себя въ казусѣ— что надо жениться. Если же выйдетъ худо для нея такъ, что не въ твоей волѣ будетъ сдѣлать хорошо, — то не предавайся отчаянію и знай, что не твоя вина, потому что не твоя воля. Мы всѣ глупы, думая, что мы можемъ быть правы или виноваты: мы только получаемъ награды и наказанія, а дѣлаетъ за насъ судьба. Но главное—не смотри на вещи слишкомъ высоко, не придавай ничему слишкомъ важнаго значенія. Не должно дѣлать себѣ изъ жизни какой-то тяжелой работы, хотя и не всегда должно жить какъ живется".

Къ стр. 384, къ Ботк., безъ года; къ вопросу о «соціальности» относятся и слѣд. отрывокъ изъ письма къ нему же безъ года.

„Боткинъ, вѣдь ты вѣришь, что я, какъ бы ты не поступилъ со мною дурно, не дамъ тебѣ оплеухи, какъ Катковъ Бакунину (съ которымъ потомъ опять сошелся), и я вѣрю, что и ты ни въ какомъ случаѣ не поступишь со мною такъ: что же гарантируетъ насъ—неужели полиція и законы?—Нѣтъ, въ нашихъ общеніяхъ не нужны они—насъ гарантируетъ разумное сознаніе, воспитаніе въ соціальности. Ты скажешь—натура? Нѣтъ, по крайней мѣрѣ, я знаю, что съ моей натурою, назадъ тому лѣтъ 50, почитая себя оскорбленнымъ тобою, я былъ бы способенъ зарѣзать тебя соннаго, именно потому, что любилъ бы тебя болѣе другихъ. Но въ наше время, и Отелло не удушилъ бы Дездемоны даже и тогда, когда-бъ она сама созналась въ измѣнѣ. Но почему же мы очеловѣчились до такой степени, когда вокругъ насъ цѣлые милліоны пресмы-

ваются въ животности?—Опять натура?—Такъ?—Слѣд., для низшихъ натуръ невозможно очеловѣченіе?— Вздоръ—хула на духа! Свѣтскій пустой человѣкъ жертвуетъ жизнію за честь, изъ труса становится храбрецомъ на дуэли; не платя ремесленнику кровавымъ потомъ заработанныхъ денегъ, дѣлается нищимъ и платитъ карточный долгъ: что побуждаетъ его къ этому?—Общественное мнѣніе? Что же сдѣлаетъ изъ него общественное мнѣніе, если оно будетъ разумно вполнѣ?—Къ тому же, воспитаніе всегда дѣлаетъ насъ или выше, или ниже нашей натуры, да, сверхъ того, съ нравственнымъ улучшеніемъ должно возникнуть и физическое улучшеніе человѣка. И это сдѣлается черезъ *соціальность*. И потому, нѣтъ ничего выше и благороднѣе, какъ способствовать ея развитію и ходу. Но смѣшно и думать, что это можетъ сдѣлаться само собою, временемъ, безъ насильственныхъ переворотовъ, безъ крови. Люди такъ глупы, что ихъ насильно надо вести къ счастью. Да и что кровь тысячей въ сравненіи съ униженіемъ и страданіемъ милліоновъ. Къ тому же—fiat justitia—pereat mundus! Я читаю Тьера—какъ—узнаешь отъ Ханенки. Новый міръ открылся предо мною. Я все думалъ, что понимаю революцію—вздоръ—только начинаю понимать. Лучшаго люди ничего не сдѣлаютъ. Великая нація французы. Гибнетъ Польша — ее жгутъ, колесуютъ — Европѣ нѣтъ и нужды — все молчитъ—только толпы черни французской окружаютъ на улицахъ гнусное исчадіе ада Людовика-Филиппа съ воплями: la Pologne, la Pologne! Чудный народъ—*чтожъ ему Гекуба*? Боткинъ,—по твоему совѣту прочелъ я всего Плутарха: порадуй, потѣшь меня—посвяти дня три на Беранже—великій, міровой поэтъ—французскій Шиллеръ, который стоитъ нѣмецкаго, христіаннѣйшій поэтъ, любимѣйшій изъ учениковъ Христа! Разумъ и сознаніе—вотъ въ чемъ достоинство и блаженство человѣка; для меня видѣть человѣка въ позорномъ счастіи непосредственности—все равно, что дьяволу видѣть молящуюся невинность: безъ рефлексіи, безъ раскаянія, разрушаю я, гдѣ и какъ только могу, непосредственность—и мнѣ мало нужды, если этотъ человѣкъ долженъ погибнуть въ чужой ему сферѣ рефлексіи, пусть погибнетъ"...

Къ стр. 399, къБотк. (17 марта 1842):

Когда я былъ въ Торжкѣ, я не могъ скрыть отъ себя, что присутствіе А. А. даетъ мнѣ гораздо больше, чѣмъ присутствіе Т. А.; а когда я говорилъ съ нею, я пьянѣлъ безъ вина, изъ глазъ сыпались искры; но нѣтъ ея—и все кончено. Да, не надуешь: полюби ка сама сперва, да дай это знать—такъ, пожалуй, сойду съ ума и сдѣлаюсь такимъ дуракомъ, какого другого и не найти; но безъ этого—слуга покорный... *Наше вамъ-съ*, какъ говоритъ Григорьевъ. А изъ сего, о Боткинъ, слѣдуетъ ясно, что пора... ай! ай! святители! ничего, ничего, молчаніе!..."

Немного ниже Бѣлинскій пишетъ:

„Когда пріѣду лѣтомъ въ Москву, смотри—не дай погибнуть своему пріятелю во цвѣтѣ лѣтъ и красоты. Скоро ты получишь посылку, которую передашь черезъ Галахова; если же хочешь самъ, то увѣдомь заранѣе—я о семъ черкну слова два въ „дерзкомъ посланіи". Да знаешь ли, — если ты добрый пріятель и любишь меня: поговори—такъ—о чемъ нибудь съ Галаховымъ: не скажетъ ли онъ еще чего нибудь въ родѣ того, что сказалъ за чаемъ у насъ—помнишь?—А если скажетъ—такъ тисни мнѣ поскорѣе. Коротко и ясно, Боткинъ: я схожу съ ума, и свалились мнѣ съ неба тысячъ около десятка деньжонокъ *для перваго обзаведенія*,—поминай какъ звали, зови поповъ, пеки блины и твори поминки. Страшно сказать, что дѣлается внутри меня. Хотѣлось бы по-

болтать съ тобой объ этомъ. Отдамъ Демона своего въ хорошій переплетъ и препровожу съ „посланіемъ"—будь что будетъ, а надо завязать узелъ—и пусть судьба развязываетъ его, какъ хочетъ—хуже не будетъ. Ну, теперь опять долго не усну; волны расходились въ груди—и я весь расплылся".

Къ стр. 399, къ Бот**к**. (31 марта 1842):

Къ мыслямъ о женитьбѣ приводимъ интересную выписку:

„Влюбись—я радъ. Я не могу видѣть въ одной женщинѣ условіе жизни. Моя—хорошо; бе моя—у Сомова славныя устрицы. *Субъектъ* шевелитъ мнѣ душу, и будь у него т. 10 на первую обзаведенцію—я лѣтомъ же бы женился—право. Но выходи она за другого—если онъ порядочный человѣкъ,—первый благословлю ее на радость и на счастіе. *Субъектъ* меня сильно затронулъ и расшевелилъ—именно тѣмъ, что я подозрѣваю въ немъ неравнодушіе къ моей особѣ. Безъ этого условія, меня не надуетъ ни одна женщина. Я вполнѣ согласенъ съ тобою, что лучше сгнить въ развратѣ, чѣмъ вздыхать о жестокой дѣвѣ. На этой недѣлѣ отправляю къ тебѣ завѣтную тетрадку въ сафьяномъ щегольскомъ переплетѣ, съ золотымъ обрѣзомъ. Доставь самъ и познакомься — этимъ много утѣшишь меня".

Къ стр. 448:

Приводимъ выписки изъ писемъ къ невѣстѣ. „Починъ. Сборникъ общ. любителей русской словесности на 1896 г." Стр. 157 - 228.

Спб. 1843, сент. 14.

...„Боже мой! сколько мученій прекратило ваше письмо! Сколько разъ думалъ я: если это отъ болѣзни, то сохрани и помилуй меня Богъ (это чуть ли не первая была моя молитва въ жизни): если же это такъ—нынче да завтра, то прости, ее, Господи! Я сталъ робокъ и всего боюсь, но больше всего въ мірѣ вашей болѣзни. Мнѣ кажется, что я такъ крѣпокъ, что смѣшно и думать и заботиться обо мнѣ; но вы—о Боже мой, Боже мой, сколько тяжелыхъ грезъ, сколько мрачныхъ опасеній!

Тысячу и тысячу разъ благодарю васъ за ваше милое письмо. Оно такъ просто, такъ чуждо всякой изысканности и между тѣмъ такъ много говоритъ. Особенно восхитило оно меня тѣмъ, что въ немъ вашъ характеръ, какъ живой, мечется у меня передъ глазами,—вашъ характеръ, весь составленный изъ благородной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мнѣ за то и другое—я перечитывалъ ихъ слово по слову, буква по буквѣ, медленно, какъ гастрономъ, наслаждающійся лакомымъ кушаньемъ. Я далъ себѣ слово какъ можно больше провиняться передъ вами, чтобы вы какъ можно больше бранили меня. Впрочемъ, вы въ одномъ вашемъ упрекѣ мнѣ рѣшительно неправы. Какъ вы мало меня знаете, говорите вы мнѣ, и говорите неправду. Я васъ знаю хорошо, и самая ваша безтребовательность могла ужъ меня заставить немножко зафантазироваться. Притомъ же, какъ русскій человѣкъ, я какъ то привыкъ думать, что, женясь, надо жить *шире*. Это, конечно, глупо. Я васъ знаю,—знаю, что васъ нельзя ни удивить, ни обрадовать мелочами и вздорами; но не отнимайте же совсѣмъ у меня права думать больше о васъ, чѣмъ о себѣ"...

Сент. 19... „Кстати о дѣлѣ и о дѣлахъ. Пора мнѣ съ вами поговорить о нихъ серьезно. Вы не напрасно бранили меня въ письмѣ своемъ за разныя затѣи и фантазіи. Я заслуживалъ еще большей брани. Я не разъ говорилъ вамъ и повторю теперь, что вы умнѣе меня. Мой умъ чисто теоретическій, и

въ теоріи прекрасно умѣетъ ставить 4, помноживши 2 на 2; въ дѣйствительности, я столько же глупъ, сколько вы умны,—сталю быть, очень глупъ. Говорю это не шутя, ибо хочу, чтобы вы знали меня такимъ, каковъ я есть на самомъ дѣлѣ; скорѣе хуже, нежели я есть, чѣмъ лучше, нежели я есть. Живя въ Москвѣ и плавая душою въ эмпиреяхъ, я составилъ въ головѣ преглупый планъ, по которому мнѣ, по пріѣздѣ въ Питеръ, надо было засѣсть за дѣло, чтобы кончить работу, которая дѣйствительно должна была принести мнѣ значительныя выгоды. Но по пріѣздѣ въ Питеръ я тотчасъ же увидѣлъ, что не могу ничего дѣлать, особенно мучась тщетнымъ ожиданіемъ писемъ. Потомъ я сообразилъ, что хотя я и опредѣлялъ окончаніе моей работы къ новому году, однако она могла бы и еще затянуться мѣсяца на три, даже при усиленной дѣятельности. Все это я теперь нахожу школьнически—глупымъ. Положимъ, что этою работою (которой я впрочемъ не имѣлъ бы силы кончить во вѣки вѣковъ) я пріобрѣлъ средства пошире и поудобнѣе устроить мою новую жизнь, но не глупо ли для пустяковъ и бездѣлицъ откладывать то, для чего всѣ хлопоты объ этихъ пустякахъ и бездѣлицахъ, безъ чего я не могу ничего дѣлать, ни о чемъ думать? Ясно какъ 2×2=4, что пока вы не со мною и я не съ вами,—я никуда не гожусь и жизнь мнѣ въ тягость. И потому надо думать не обо вздорахъ, а объ дѣлѣ. Пусть дѣло кончится разсчетливо и въ обрѣзъ, но лишь бы оно какъ можно скорѣе кончилось, а тамъ все придетъ своимъ чередомъ, и что будетъ нужно, то всегда можно будетъ сдѣлать. Краевскій теперь небогатъ деньгами, да мнѣ слишкомъ забираться и не слѣдуетъ,—то мы съ нимъ и разсчитали все приблизительно. Деньги я получу на дняхъ, стало быть, самое главное препятствіе устранено. Второе препятствіе состоитъ въ томъ, что я жду изъ Пензы дворянской грамоты, на которую изъ Москвы послалъ 150 руб. асс. и которую надѣюсь получить очень скоро. Между тѣмъ нашлось еще обстоятельство, о которомъ мнѣ нужно сказать вамъ и рѣшеніе котораго должно зависѣть отъ однѣхъ васъ и нисколько не отъ меня. Не примите этого даже за предложеніе съ моей стороны; нѣтъ, это только вопросъ, на который вы свободны отвѣчать какъ вамъ угодно. Для самого меня онъ такъ страненъ, что безъ вашего отвѣта я не умѣю его рѣшить ни положительно, ни отрицательно. Дѣло вотъ въ чемъ; всѣ мои пріятели, которымъ я нашелъ нужнымъ открыть мою тайну, увѣряютъ меня что, для избѣжанія лишнихъ расходовъ, мнѣ не надо было бы ѣздить въ Москву, а лучше бы вамъ однѣмъ пріѣхать въ Питеръ, гдѣ вы могли бы остановиться на день у Краевскаго, у котораго живетъ сестра его покойной жены (если бы вы не захотѣли остановиться на своей собственной квартирѣ, которая была бы готова къ вашему пріѣзду). Если я нѣсколько на сторонѣ подобнаго плана, такъ это не по причинѣ потери лишнихъ денегъ и лишняго времени, а вотъ почему: можетъ быть, вы думаете вѣнчаться въ институт. церкви, въ присутствіи M. Charpiot и всего института: это для меня ужасно; потомъ, по патріархальнымъ къ вамъ отношеніямъ, M. Ch., можетъ быть, станетъ смотрѣть на наше формальное соединеніе, какъ на свадьбу въ общемъ значеніи этого слова и, пожалуй, предложитъ еще себя въ посаженныя матери, а вамъ, м. б., нельзя будетъ отъ этого отказаться. Если это такъ, то мнѣ пріятнѣе было бы обвѣнчаться съ вами въ Камчаткѣ, или на Алеутскихъ островахъ, чѣмъ въ Москвѣ. Но, м. б., все это въ вашей волѣ сдѣлать и иначе, и тогда мои страхи уничтожаются сами собою вмѣстѣ съ ихъ причиною. М. А. находитъ, что ѣхать вамъ однѣмъ было бы трудно по вашимъ отношеніямъ къ M. Ch., ибо вы должны ей сказать, куда и зачѣмъ ѣдете, а ей это могло бы показаться всячески неудобоисполнимымъ. Итакъ,

скажите ваше мнѣніе просто и откровенно и не думайте, чтобы вашъ отрицательный отвѣтъ могъ сколько-нибудь быть мнѣ не по сердцу. Для меня самого странна мысль, что вы поѣдете однѣ, безъ меня, и я Богъ знаетъ, чего бы не надумался. Но чтобы объ этомъ не было больше и помину, я договорю все; это тѣмъ нужнѣе, что вы должны видѣть дѣло со всѣхъ его сторонъ. Въ числѣ суммы, которую беру я у Краевскаго, 900 рублей слѣдуютъ вамъ: 500 на ваши необходимые расходы, 200 на отъѣздъ, если бы вы поѣхали однѣ, и 200, которыя я долженъ вамъ. Я увѣренъ, что такое распоряженіе съ моей стороны не покажется вамъ нисколько страннымъ или неумѣстнымъ: если эти 500 рублей будутъ вамъ нужны, тѣмъ лучше, значитъ, я сдѣлалъ какъ надо если же они вамъ будутъ не нужны, то вы ихъ и привезете съ собою, и они будутъ все *нашими* же, а не чьими-нибудь деньгами. Что касается до первыхъ 200 руб., они предполагаются только въ случаѣ, если вы поѣдете однѣ: ибо въ такомъ случаѣ вамъ надо будетъ взять съ собою женщину, безъ которой вамъ нельзя обойтись въ дорогѣ, и въ такомъ случаѣ всего лучше, если бы эта женщина могла и остаться у васъ кухаркою и горничною. Но это только предположеніе, которое сообщаю вамъ только для того, чтобы (вы могли) отвѣтить рѣшительнѣе—да, или нѣтъ. Вотъ все, что такъ занимало меня и на что буду ожидать вашего отвѣта со всею тоскою живѣйшаго нетерпѣнія.

Такъ или сякъ, но желанный день долженъ придти скоро, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; во всякомъ случаѣ никакъ не далѣе первой половины ноября (кажется, 14-го начнется постъ); мнѣ бы хотѣлось въ будущемъ мѣсяцѣ. Итакъ, отвѣчайте скорѣе, чтобы для меня былъ рѣшенъ этотъ вопросъ. Если я поѣду въ Москву, мнѣ надо будетъ заранѣе прислать туда мои бумаги, чтобы безъ меня могли три воскресенья сряду окликать васъ, безъ чего нельзя вѣнчаться. Если въ Москвѣ, то я думалъ бы въ церкви Шереметьевской больницы, гдѣ Грановскій могъ бы безъ меня все приготовить лучше, чѣмъ бы я могъ это сдѣлать самъ. Ради всего святого, скорѣе отвѣчайте на это письмо. Медлить нечего. Если судьба даетъ намъ долгіе счастливые дни,—возьмемъ ихъ; если одинъ день—не упустимъ и того. Одинъ картежный игрокъ, нажившій игрою милліонъ, говорилъ при мнѣ, что для каждаго человѣка судьба даетъ минуту,—воспользуйся онъ ею, не упусти ее—и все получитъ; пропусти—никогда, никогда уже не представится ему благопріятная минута. Я нахожу это очень вѣрнымъ, и думаю, что въ важныхъ дѣлахъ жизни всегда надо спѣшить такъ, какъ будто бы отъ потери одной минуты должно было все погибнуть. Какъ только получу отъ васъ отвѣтъ на это письмо, тотчасъ же начну дѣйствовать"...

Сент. 20.... „Не спрашиваю васъ, какъ показалась вамъ статья моя: судя по обстоятельствамъ, которыми сопровождалось ея чтеніе, не думаю чтобы вы что-нибудь замѣтили въ ней. Бѣдная статья моя, а мнѣ такъ хотѣлось услышать ваше о ней мнѣніе. И это отнюдь не по авторскому самолюбію—вотъ будущая моя статья такъ гадка, что изъ рукъ вонъ, а въ той, какова бы ни была она, для меня важно содержаніе, и о немъ-то хотѣлъ бы я услышать ваше мнѣніе. Миловзоръ Галаховъ поклялся, видно, преслѣдовать васъ. Я теперь понимаю, почему онъ приставалъ ко мнѣ съ своей m-lle Ostr.—Кажется мнѣ теперь, что надѣялся услышать отъ меня признаніе въ тайнѣ. Ахъ, лысый Маниловъ, вотъ я его! Что касается до издѣвокъ Агриппины Васильевны, то сколько ей угодно; я знаю, что мы съ ней друзья, и притомъ самые задушевные, а до остального мнѣ нѣтъ дѣла. Вотъ ея Scènes de jalousie,—это другое дѣло; хотѣлось бы посмотрѣть и поаплодировать, если хорошо представляются. Я люблю сценическое искусство. Что же касается до старой, больной, бѣдной

дурной жены, sauvage въ обществѣ и не смыслящей ничего въ хозяйствѣ, которою наказываетъ меня Богъ, — то позвольте имѣть честь донести Вамъ, Marie, что вы изволите говорить глупости. Я особенно благодаренъ вамъ за эпитетъ *бѣдной*; въ самомъ дѣлѣ, вы погубили меня своею бѣдностью: вѣдь я было располагался жениться на толстой купчихѣ съ черными зубами и 100.000 приданаго. Что касается до вашей старости, я былъ бы отъ нея въ совершенномъ отчаяніи, если бы, во 1-ыхъ, мнѣ хотѣлось имѣть молоденькую жену, à la madame Maniloff, а во 2-хъ, если бы я не видѣлъ и не зналъ людей, которые отъ молодости женъ своихъ страдаютъ такъ, какъ другіе — отъ старости. Изъ этого я заключаю, что дѣло ни въ старости, ни въ молодости, и вообще нѣтъ ничего безполезнѣе, какъ заглядывать впередъ и говорить утвердительно о томъ, что еще только будетъ, но ничего еще нѣтъ. Я надѣюсь, что мы будемъ счастливы; но рѣшеніе на этотъ вопросъ можетъ дать не надежда, не предчувствіе, не разсчетъ, а только сама дѣйствительность. И потому пойдемъ впередъ безъ оглядокъ и будемъ готовы на все—быть человѣчески достойными счастья, если судьба дастъ намъ его, и съ достоинствомъ, по-человѣчески, нести несчастье, въ которомъ никто изъ насъ не будетъ виноватъ. Кто не стремится, тотъ и не достигаетъ; кто не дерзаетъ, тотъ и не получаетъ. Всякое важное обстоятельство въ жизни есть лотерея, особенно бракъ; нельзя, чтобы рука не дрожала, опускаясь въ таинственную урну за страшнымъ билетомъ,—но неужели же слѣдуетъ отдергивать руку потому, что она дрожитъ?—Вы больны,—это правда; но вѣдь и я боленъ; я былъ бы въ тягость здоровой женѣ, которая не знала бы по себѣ, что такое страданіе. Намъ же не въ чемъ будетъ завидовать другъ другу, и мы будемъ понимать одинъ другого во всемъ—даже и въ болѣзняхъ. Какъ добрые друзья, будемъ подавать другъ другу лѣкарства,—и они не такъ горьки будутъ намъ казаться. Впрочемъ, по роду вашей болѣзни, вы должны выздоровѣть, вышедши замужъ; бывали примѣры, что доктора отказывались лѣчить, какъ безнадежныхъ больныхъ разстройствомъ нервовъ женщинъ, совѣтуя имъ замужество, какъ послѣднее средство,—и опытъ часто показывалъ, что доктора не ошибались въ своихъ разсчетахъ: ибо брачная жизнь болѣе сообразна съ натурою и назначеніемъ женщины, чѣмъ дѣвическое состояніе.

Но какъ бы то ни было—

Будь сіянье, будь ненастье,
Будь, что надобно судьбѣ.
Все для жизни будетъ счастье,
Добрый спутникъ, при тебѣ.

Дайте мнѣ вашу руку, мой добрый, милый другъ — то опираясь на нее, то поддерживая ее, я готовъ идти по дорогѣ моей жизни, съ надеждою и бодро. Я вѣрю, что чувствовать подлѣ своего сердца такое сердце, какъ ваше, быть любимымъ такою душою, какъ ваша, есть не наказаніе, а награда выше мѣры и заслуги. Вы называете себя дурною и даже букою: что-жъ? Я люблю ваше дурное лицо и нахожу его прекраснымъ: стало быть, наказанія и тутъ нѣтъ. Вы дики въ обществѣ — я тоже, и тѣмъ веселѣе будетъ намъ въ обществѣ одинъ съ другимъ. Если бы вы были общительны и любили общество — тогда бы я дѣйствительно былъ наказанъ крѣпко за грѣхи мои. Вы ничего не знаете въ хозяйствѣ, и не мудрено, — вамъ не для чего и не отъ чего было узнать его, какъ и всѣмъ особамъ вашего пола, которыя не были поставлены судьбою въ необходимость заниматься

хозяйствомъ. Но, какъ и многія, увидѣвъ себя хозяйкою, вы поневолѣ сдѣлаетесь ею. Я, право, не понимаю, почему вамъ стоило такого труда сказать мнѣ, что вы хотѣли бы, чтобы церемонія была въ 12 ч., а чтобы уѣхать изъ Москвы въ тотъ же день; и не понимаю, что вы тутъ разумѣете подъ вашею кн. Марьей Алексѣевной. На чемъ бы ни было основано ваше желаніе, если бы даже и ни на чемъ,—я не вижу никакой причины не выполнить его. Можетъ быть, это желаніе происходитъ отъ того, что вы не хотите дать собою зрѣлище для празднаго и дикаго любопытства людей, которые чужими дѣлами занимаются больше, чѣмъ своимъ: въ такомъ случаѣ, я и самъ вполнѣ раздѣляю ваше желаніе. Въ чему эти затруднительныя выговариванія; будемъ вполнѣ и свободно откровенны другъ съ другомъ. Этимъ письмомъ я подаю вамъ примѣръ. Глупы мои предположенія, не нравятся они вамъ—скажите—и объ нихъ больше ни слова. На счетъ отъѣзда изъ Москвы въ день вѣнчанія—дѣло довольно трудное. Взять особенной кареты я теперь не въ состояніи—на это нужно 500 руб.; стало быть, заранѣе надо взять мѣста въ malle-post или конторѣ дилижансовъ; но въ первой мѣста берутся недѣли за двѣ впередъ, а изъ вторыхъ только изъ одной конторы дилижансы ходятъ послѣ обѣда".

Спб., 1843, окт. 1.

„Ваше письмо доконало меня во всѣхъ отношеніяхъ. Вы ждете моего отвѣта, чтобы сообразно съ нимъ распорядиться. Само собою разумѣется, что я поступлю такъ, какъ вы хотите, какъ ни страшно тяжело это для меня. Vous êtes esclave и прекрасная россіянка—не въ обиду вамъ будь сказано. И это мнѣ горше всего. Конечно, сбереженіе денегъ вещь важная, и что я истрачу на проѣздъ, все это могло бы быть употреблено съ большею пользою; но деньги не могутъ быть крайнимъ препятствіемъ. Гораздо важнѣе для меня потеря времени, ибо я нуженъ Краевскому, и онъ довольно уже терпѣлъ отлучки и помѣху работѣ. Но что всего хуже, всего ужаснѣе, это—покориться обычаямъ шутовскимъ и подлымъ, профанирующимъ святость отношеній, въ какія мы готовы вступить съ вами, обычаямъ, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натурѣ моей. У дядюшки обѣдъ! Будь прокляты всѣ обѣды, всѣ дядюшки, всѣ тетушки и всѣ чиновники съ ихъ гнусными обычаями. Если бы вы пріѣхали въ Петербургъ—тихо, просто, *человѣчески* обвѣнчались бы мы съ вами въ церкви какого-нибудь учебнаго заведенія, и присутствовало бы тутъ человѣкъ пять (никакъ не болѣе) моихъ друзей, да одна изъ женъ моихъ друзей, съ которою могли бы вы пріѣхать въ церковь, если бы въ качествѣ прекрасной россіянки, нашли неловкимъ пріѣхать туда со мной. Я смотрю на этотъ обрядъ, какъ на необходимый *юридическій* актъ, и чѣмъ проще онъ совершится, тѣмъ лучше, Б. взялъ Arm. подъ руку, да и пошелъ съ нею по Невскому въ Казанскій соборъ въ сопровожденіи пріятелей — такъ и воротился словно съ прогулки. Вы могли бы остановиться у меня, ибо что вамъ за дѣло до того, что объ васъ станутъ говорить люди, которыхъ вы не знаете и никогда не узнаете, а тѣ, которыхъ вы будете знать, будутъ на это смотрѣть, какъ я. Знаете ли что? Я долженъ теперь лгать передъ моими друзьями, ибо я никогда не рѣшусь сказать имъ о вашихъ мотивахъ и о той шутовской процедурѣ, которую долженъ буду я пройти въ Москвѣ. Они не повѣрятъ, что слышатъ это отъ Бѣлинскаго. Причины ваши всѣ недостаточны и ложны. M-me Charpiot вы лично могли бы приготовить, могли бы увѣрить ее, что мои дѣла не позволяютъ мнѣ ни на день отлучаться изъ Петербурга,

что черезъ это я потеряю мѣсто, которымъ существую, и что вы, съ своей стороны, находите смѣшнымъ отказаться отъ того, что считаете своимъ счастіемъ, для глупыхъ условныхъ приличій. Кстати замѣчу, что въ Питерѣ ни одинъ человѣкъ не пойметъ, въ чемъ тутъ неприличіе, ибо въ Петербургѣ нравы ближе къ Европѣ и человѣчности,—но то, что въ Москвѣ, этомъ égout, наполненномъ дядюшками и тетушками, этими подонками, этимъ отстоемъ, этою изгарью татарской цивилизаціи. При вѣнчаніи будутъ — пишете вы— всего человѣкъ *двадцать*, да съ моей стороны человѣкъ 10 или 15: да зачѣмъ и гдѣ наберу я такую орду? У меня все такіе знакомые, для которыхъ подобное зрѣлище нисколько не интересно. Будутъ, можетъ быть, человѣка три. Вы даже убѣждены, что если бы мы, обвѣнчавшись, не уѣхали въ тотъ же день, то были бы должны дѣлать и отдавать визиты, *иначе подпадемъ анаѳемѣ*: ахъ, Marie, Marie, да что же вамъ за дѣло до всѣхъ этихъ анаѳемъ? Неужели вамъ мало любви и уваженія человѣка, котораго вы избрали въ спутники вашей жизни, уваженія и пріязни всѣхъ тѣхъ, коихъ *онъ* уважаетъ и любитъ,— и вы хотите еще знать, что объ васъ говорятъ люди, съ которыми у васъ нѣтъ ничего общаго, которымъ до васъ, такъ же, какъ и вамъ до нихъ, нѣтъ дѣла?.. Пріятели, которые дали мнѣ совѣтъ предложить вамъ ѣхать одной въ Питеръ, живутъ въ дѣйствительности, а не въ эмпиреѣ — они люди женатые и отцы семействъ, прозу жизни знаютъ хорошо, но они не москвичи, не татары и не калмыки, а петербургскіе жители. Когда я, по какому-то грустному предчувствію, принялъ ихъ совѣтъ нерѣшительно, они начали надо мною смѣяться и бранить меня, говоря утвердительно; что съ вашей стороны препятствія быть не можетъ, и думая видѣть его съ моей.

Да что объ этомъ говорить! Если вы меня знаете и понимаете, то поймете, что во мнѣ говоритъ это не *Подколесинъ, а человѣкъ* (я слово человѣкъ употребляю какъ антитезъ *москвичу*). Не скрою отъ васъ и того, что мнѣ горько видѣть въ вашей волѣ тѣ самые предразсудки, которыхъ вы выше умомъ вашимъ. Я думалъ, что мое предложеніе обрадуетъ васъ, какъ простое средство избавиться отъ необходимости дѣлать изъ себя спектакль, и что вы ухватитесь за него со всею силою вашего характера и вашей воли, уступчивыхъ въ пустякахъ (какъ вы мнѣ говорили), но твердыхъ и настойчивыхъ въ важныхъ дѣлахъ. Но быть такъ; я пріѣду и умоляю васъ только вотъ о чемъ: вѣнчаться въ приходѣ Новаго Пимена (это важно потому, что можно избѣжать повѣстки), и часа въ 4, чтобы изъ церкви же ѣхать въ контору дилижансовъ (есть одна, гдѣ дилижансы отходятъ въ 6 ч. вечера)"....

Спб., 1843, окт. 2......„Ахъ, Marie, Marie, вы, которая такъ умѣете понимать, чувствовать и любить, вамъ ли быть рабою мнѣній дикой толпы? Вамъ ли имѣть такъ мало силы характера и воли и дрожать призраковъ и тѣней, которые пугаютъ только групповъ? О, нѣтъ, я увѣренъ, что это только непривычка къ новымъ мыслямъ, исполненіе ихъ на дѣлѣ требуется такъ безотлагательно—не больше; я увѣренъ, и теперь внутри васъ раздается сильный голосъ, и что вы выйдете изъ этой борьбы побѣдительницею. Вамъ Богъ далъ высокій ростъ, зачѣмъ присѣдать, горбиться и сгибаться? Вамъ Богъ далъ столько ума, зачѣмъ же ему ограничиться одною теоріею и не перейти въ жизнь, дабы самымъ дѣломъ служить Господу и хвалить его? Вашу руку, Marie, вашу руку — мнѣ далъ васъ Богъ, и потому я хочу, чтобы вы были моею не только передъ людьми и свѣтомъ, но и передъ Богомъ; а это возможно только тогда, когда вы и чувствомъ, и словомъ, и дѣломъ вмѣстѣ со

мною станете передъ Нимъ на колѣна. О...чайте мнѣ скорѣе, и не забывайте, что все-таки, если надо будетъ пріѣхать въ М(оскву), я пріѣду.

Вашъ В. Бѣлинскій.“

Оффиціальное письмо отъ 2 окт., предназначавшееся для дяди М. В., и письмо отъ 3 окт. говорятъ о невозможности ѣхать въ Москву, объясняя это несогласіемъ Краевскаго оставить одну книжку безъ статьи Бѣлинскаго.—

Въ письмѣ отъ 15 окт. Бѣлинскій пишетъ:

„Да, Marie, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы за отсутствіемъ какихъ-либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятнѣйшую жертву для Бога истины и разума — плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе. Зачѣмъ пишу я это вамъ? Затѣмъ, что въ ваши свѣтлыя минуты, когда вы будете самой-собою, вы поймете это и скажете: еслибъ онъ былъ не таковъ, я бы, можетъ быть, больше любила его, но меньше уважала...

Впрочемъ, насъ раздѣлило воспитаніе, а не природа. Я люблю и уважаю вашу натуру, люблю и уважаю васъ, какъ прекрасную возможность чего-то прекраснаго. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же виноваты вы, что родились и воспитались въ „дистанціи огромнаго размѣра“, въ городѣ княгини Маріи Алексѣевны.

А между тѣмъ въ этомъ городѣ есть и хорошіе, даже очень хорошіе люди. Я отдыхалъ душою въ семействѣ Корша, чуждомъ всякихъ предразсудковъ. Ахъ, если бы знали вы, Marie, что за существо — жена Герцена! Она, дѣвушкою, бѣжала отъ своей воспитательницы и благодѣтельницы — гнусной старухи, которая попрекала ее каждымъ кускомъ,—бѣжала отъ нея, чтобы обвѣнчаться съ теперешнимъ мужемъ своимъ, — и повѣрите ли — не умерла, не впала въ бѣлую горячку, не сошла съ ума отъ этого. Это женщина, подобно вамъ больная, — низкаго роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, съ тоненькимъ голоскомъ, но страшно энергичная: скажетъ тихо,—и быкъ остановится и съ почтеніемъ упрется рогами въ землю передъ этимъ кроткимъ взглядомъ и тихимъ голосомъ. Наталья Александровна не побоялась бы познакомиться съ Eugénie. Когда я былъ у Герцена въ деревнѣ,—даже меня поразила царствующая тамъ европейская свобода. Всѣ мужчины въ блузахъ (родъ рубашки, опоясанный кожанымъ ремнемъ); гуляя, разъ я пожаловался на усталость и жаръ, и ко мнѣ всѣ пристали (и она), чтобы я снялъ съ себя сюртукъ и понесъ его на плечѣ. Разъ я сконфузился даже, когда она подшутила надъ моею чиновническою (все глупое и подлое есть чиновническое) вѣжливостью, что я поклонился ей, выходя изъ обѣда. Какъ жаль, что вы съ нею незнакомы: она вывела бы васъ изъ затруднительнаго положенія и указала бы вашей совѣсти большую дорогу. Боткинъ возилъ къ ней знакомиться Armance, и та была очень довольна этимъ знакомствомъ. Порядочный человѣкъ также и Грановскій.

Когда шли толки о томъ, надо ли обвѣнчаться Б. съ Arm., или остаться имъ безъ вѣнца въ интимныхъ отношеніяхъ,—я сказалъ, что это невозможно въ нашемъ обществѣ, ибо прежде всего, кто же захочетъ быть знакомымъ съ Arm.? — Жена Герцена и *моя* жена прежде всѣхъ, — сказалъ Грановскій. Право, Marie, все это не дурные люди, и они образуютъ собою свой отдѣль-

ный кругъ общества, который кромѣ себя никого знать не хочетъ и никѣмъ не интересуется, но которымъ многіе и многіе очень интересуются. Какъ жаль, Марія, что вы не знаете никакого круга, кромѣ круга вашихъ родственниковъ, которые—люди добрые, не спорю, но по тону, манерамъ и понятіямъ принадлежатъ къ самымъ низшимъ слоямъ русскаго общества. Что же касается до вашего дядюшки, — я его смертельно ненавижу, какъ самаго лютаго врага моего; если я съ нимъ увижусь когда-нибудь, это будетъ не на радость вамъ; вы знаете, какъ я не умѣю владѣть лицомъ и взглядомъ моимъ; при встрѣчѣ съ нимъ мой взглядъ выразитъ смертельную ненависть. Этотъ человѣкъ осмѣлился стать между мною и вами, и мнимымъ правомъ своего родства, можетъ быть, разрушить наше счастье. Проклятіе ему!"

Къ стр. 544, къБотк. (4—5 нояб. 1847):

Послѣ словъ: „пока еще не пропалъ".

„Ноября 5. Начало этого письма написано вчера поутру, а вчера вечеромъ я былъ у редакціи и тамъ дали мнѣ твое письмо. Ты пишешь, что я кошусь на тебя, и что какая-то черная кошка пробѣжала между нами. Стыдно тебѣ писать подобныя предположенія. За что мнѣ на тебя коситься? За разность мнѣній? Что за вздоръ — вѣдь я не мальчишка и романтикъ; философическія времена, когда никто изъ насъ не смѣлъ предаться свободно своему чувству или взгляду, подъ опасеніемъ оказаться въ собственныхъ глазахъ пошлецомъ и подлецомъ, для меня такъ же прошли какъ и для тебя. Дѣйствительно бываютъ такія расхожденія въ образѣ мыслей, за которыми необходимо должно слѣдовать и расхожденіе въ знакомствѣ. Но это бываетъ тамъ, гдѣ существуютъ партіи, гдѣ мнѣніе есть дѣло и жизнь. У насъ же это возможно только на условіи нравственной смерти одного изъ пріятелей. Но любезный Б[откин]ъ, я тебя считаю не только живымъ, даже здоровымъ, потому что, какъ ни мало ты видишь во мнѣ терпимости, но ты рѣшительно ошибаешься на мой счетъ, если думаешь, что я, подобно русскимъ раскольникамъ, ужасаюсь ѣсть изъ одной чашки съ человѣкомъ, который позволяетъ себѣ думать какъ ему думается, а не какъ мнѣ угодно, чтобы онъ думалъ. Чортъ возьми, да это уже было бы не фанатизмъ, а дуризмъ. Если въ спорахъ съ тобою я бывалъ рѣзокъ или неумѣренъ, Бога ради, не приписывай это даже моему характеру (который въ этомъ отношеніи много измѣнился), а вспомни или, лучше сказать, пойми, что прошлою зимою я былъ на волосъ отъ смерти и что Тильманъ не надѣялся дотянуть нити моей жизни до минуты отъѣзда за границу. Вотъ почему на меня такъ болѣзненно подѣйствовала выходка покойнаго Майкова, и теперь я совершенно съ тобой согласенъ, что не на что было сердиться, а тогда—о если бы ты зналъ всѣ мои выходки въ семейной жизни! Вспоминая о нихъ, я дивлюсь, какъ будто дѣло идетъ не обо мнѣ, а о комъ-то другомъ. Вообще, ты очень мало обращаешь вниманія на мою болѣзнь, потому только, что я на ногахъ, а не въ постелѣ. Но въ такой болѣзни и умираютъ на ногахъ, въ полномъ сознаніи. Если бы ты теперь пріѣхалъ въ Петербургъ и засталъ бы меня въ такомъ положеніи, какъ я чувствую себя теперь, ты бы нашелъ во мнѣ совершенно другого человѣка въ сравненіи съ тѣмъ, котораго видѣлъ около года назадъ тому. А я и теперь еще не внѣ опасности. Вчера я оставилъ мое письмо къ тебѣ на столѣ, и жена заглянула въ него. Ты, сказала она мнѣ послѣ, пишешь къ В. Б., что былъ недавно немножко нездоровъ—ты ошибаешься; у тебя опять показались раны на легкихъ, и Тильманъ струсилъ. Онъ говоритъ, что ты больной исклю-

чительный, какихъ у него не бывало: о всякомъ другомъ, въ этой болѣзни, онъ можетъ сказать навѣрное — умретъ-де и тогда-то, или выздоровѣетъ; а тебѣ онъ ничего не можетъ сказать, ибо много разъ считалъ тебя обреченнымъ на смерть, и опредѣлялъ ея время, а ты, глядишь, черезъ три, четыре дня опять далеко отъ смерти. Дѣйствительно, дней черезъ пять раны на легкихъ опять исчезли и теперь я чувствую себя препорядочно.

Но обращусь къ прерванной нити. Мнѣ хочется покончить разъ навсегда этотъ вопросъ. Какая еще можетъ быть причина, что я на тебя кошусь? Личныя твои ко мнѣ отношенія. Но пока ты былъ въ Питерѣ, они выражались тѣмъ, что ты всегда являлся ко мнѣ съ участіемъ, что ты прощалъ мнѣ, въ отношеніи къ моей нетерпимости, то, чего другимъ ты не могъ простить и въ меньшей степени. Когда же ты уѣхалъ въ Москву, личныя твои ко мнѣ отношенія выразились тѣмъ, что ты, чортъ тебя знаетъ какъ, устроилъ мою поѣздку за границу, которая безъ тебя, даже при готовности другихъ помочь мнѣ (которые и дѣйствительно помогли) никакъ бы не состоялась. Ну, за это мнѣ на тебя коситься было бы странно. Теперь остается одинъ пунктъ: твое участіе въ Отечественныхъ Запискахъ. Да, оно меня огорчаетъ, очень огорчаетъ, и я готовъ сказать тебѣ это и въ письмѣ и въ глаза; но коситься на тебя по этому поводу я не считаю себя вправѣ, и не кошусь. Вообще, первый признакъ *кошенія* есть молчаніе о предметѣ кошенія; а я объ этомъ давно хотѣлъ говорить съ тобою, и если собрался сдѣлать это поздно, то потому же, почему до сихъ поръ не писалъ напримѣръ къ Анненкову, на котораго я тоже вовсе не кошусь и который, сверхъ того, не подалъ мнѣ ни малѣйшаго повода огорчаться. Благо зашла объ этомъ рѣчь, не поскучай выслушать меня внимательно, несмотря на мое многословіе. Вчера я увидѣлъ въ Отечеств. Запискахъ страницу, наполненную обѣщаніемъ статей для будущаго года: она меня, что называется, положила въ лоскъ. И потому я пишу теперь объ этомъ предметѣ подробнѣе, чѣмъ намѣренъ былъ сдѣлать это прежде.

Да, твое участіе въ Отеч. Зап. глубоко огорчаетъ меня; но за него я не думалъ коситься на тебя, потому что не считаю себя вправѣ указывать дорогу твоей волѣ и дѣятельности. Это было бы и несправедливо и глупо съ моей стороны. Пріятель мой хочетъ жениться на А., а мнѣ кажется, что ему слѣдуетъ жениться на Б... меня можетъ огорчать его рѣшеніе, но какъ же бы я могъ коситься на него, не будучи смѣшонъ не только въ его, но и въ своихъ собственныхъ глазахъ. А въ дѣлѣ твоего участія въ Отеч. Запискахъ мнѣ уже слѣдуетъ коситься не на одного тебя; Кавелинъ и Грановскій, какъ будто уговорились съ тобою губить Современникъ, отнимая у него, своимъ участіемъ въ Отеч. Зап., возможность стать твердо на ноги. Но ихъ непонятный для меня образъ дѣйствованія огорчаетъ меня, глубоко огорчаетъ; но не заставляетъ на нихъ коситься. А почему огорчаетъ—выслушай и суди. Библіотека для чтенія всегда шла своею дорогою, потому что имѣла свой духъ, свое направленіе. Отеч. Зап. года въ два-три стали на одну съ нею ногу, потому что со дня моего въ нихъ участія пріобрѣли тоже свой духъ, свое направленіе. Оба эти журнала могли не уступать другъ другу въ успѣхѣ, не мѣшая одинъ другому, и если теперь Библ. для чтенія падаетъ, то не по причинѣ успѣховъ Отеч. Зап. и Современника, а потому, что Сенковскій вовсе ею не занимается. Совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ находится Современникъ къ Отеч. Зап.: его успѣхъ могъ быть основанъ только на перевѣсѣ надъ ними. Духъ и направленіе его одинаковы съ ними; стало быть ему, для успѣха, необходимо было дока-

мать тѣмъ нибудь свое право на существованіе при Отеч. Запискахъ. Тутъ, стало быть, прямое соперничество, и успѣхъ одного журнала необходимо условливается паденіемъ другаго. Въ чемъ же долженъ состоять перевѣсъ Современника надъ Отеч. Зап.? Въ переходѣ изъ нихъ въ него главныхъ его сотрудниковъ и участниковъ, дававшихъ имъ духъ и направленіе. Объ этомъ переходѣ и было возвѣщено публикѣ, и это возвѣщеніе было *единственною* причиною необыкновеннаго успѣха Современника, пріобрѣтшаго въ первый же годъ больше 2000 подписчиковъ, несмотря на то, что его объявленіе вышло только въ ноябрѣ. И это понятно: публика вправѣ была думать, что настоящее направленіе Отеч. Зап. перейдетъ въ Современникъ, а въ Отеч. Зап. останется только тѣнь, призракъ этого направленія. Но Краевскій—пошлецъ и мерзавецъ, стало быть за него судьба и честные люди: два союзника, вѣчно обезпечивающіе успѣхъ негодяевъ. Я помогъ Современнику только моимъ именемъ, а дѣйствительнаго моего участія въ немъ мало замѣтно было и до моего отъѣзда за границу (умирая, мудрено писать хорошо, и даже такъ какъ я писалъ умирая, только я могъ писать по моей привычкѣ къ дѣлу, обратившейся у меня въ натуру); пока я былъ за границею, въ 5 №№ уже буквально не было никакого съ моей стороны участія. Отъ этого произошли тѣ важные недостатки Современника, въ которыхъ ты его очень основательно обвиняешь. Это былъ сборникъ статей весьма замѣчательныхъ, можно сказать превосходныхъ; но журналъ плохой, вовсе не журналъ. Публика ожидала моихъ большихъ критическихъ статей, особенно о Лермонтовѣ и Гоголѣ, которыя были ей неоднократно обѣщаны, а вмѣсто того не нашла въ Современникѣ даже и библіографіи порядочной. Разумѣется, ей дѣла мало до моей болѣзни или моего отъѣзда: она видѣла только, что, какъ сборникъ (особенно со стороны повѣстей) Отеч. Зап. упали, но какъ журналъ имѣли рѣшительный перевѣсъ надъ Современникомъ. Судьба за мерзавца! Однако несмотря на то, подписка на Современникъ шла, хотя и тихо, даже и лѣтомъ, и до сихъ поръ еще не прекратились требованія на Соврем. 1847 года".

Къ стр. 555, къ Ботк. (дек. 1847):

Приводимъ выписку о „письмахъ" Герцена:

„Теперь о письмахъ Герцена. Впечатлѣніе, которое произвели они на Корша, Грановскаго, тебя и другихъ москвичей, доказываетъ мнѣ только отсутствіе у васъ, москвичей, той терпимости, которую вы считаете главною вашею добродѣтелью. Въ твоемъ отзывѣ я дѣйствительно вижу еще что-то похожее на терпимость: ты хоть не сердишься на письма, за то, что они думаютъ не по твоему, а по своему, не краснѣешь, какъ Коршъ, и не называешь ерническимъ тономъ того, что надо по настоящему называть шуткою, остротою, отсутствіемъ педантизма и семинаризма. Ты, по моему, не правъ только въ томъ отношеніи, что не хотѣлъ признать ничего хорошаго во взглядѣ и мнѣніи, противоположномъ твоимъ. Эти письма, особенно послѣднее, писались при мнѣ, на моихъ глазахъ, вслѣдствіе тѣхъ ежедневныхъ впечатлѣній, отъ которыхъ краснѣли и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не безъ замѣшательства. Если и есть въ письмахъ Г[ерце]на преувеличеніе—Боже мой—чтожъ за преступленіе—и гдѣ совершенство? Гдѣ абсолютная истина? Считать же взглядъ Герцена неоспоримо ошибочнымъ, даже нестоющимъ возраженія—не знаю, господа, можетъ быть вы и правы, но я что-то слишкомъ глупъ, чтобы понять васъ въ вашей мудрости. Я не говорю, что взглядъ Г[ерце]на безошибочно вѣренъ, обнялъ всѣ стороны предмета, я

допускаю, что вопросъ о bourgeoisie—еще вопросъ, и никто пока не рѣшилъ его окончательно, да и никто не рѣшитъ—рѣшитъ его исторія, этотъ высшій судъ надъ людьми. Но я знаю, что владычество капиталистовъ покрыло современную Францію вѣчнымъ позоромъ, напомнило времена регентства, управленіе лакея Дюбуа, продававшаго Францію Англіи, и породило оргію промышленности. Все въ немъ мелко, ничтожно, противорѣчиво; нѣтъ чувства національной чести, національной гордости. Взгляни на литературу—что это такое? Все, въ чемъ блещутъ искры жизни и таланта, все это принадлежитъ къ оппозиціи—не къ паршивой парламентской оппозиціи, которая, конечно, несравненно ниже даже консервативной партіи, а къ той оппозиціи, для которой bourgeoisie—сифилитическая рана на тѣлѣ Франціи. Много глупостей въ ея анаѳемахъ на bourgeoisie,—но зато только въ этихъ анаѳемахъ и проявляется жизнь и талантъ. Посмотри, что дѣлается на театрахъ парижскихъ. Умная, тщательная постановка, прекрасная игра актеровъ, грація и острота французскаго ума, прикрываютъ тутъ пустоту, ничтожность, пошлость. Искусство напоминаетъ о себѣ только Рашелью и Расиномъ; а не то, напоминаетъ его иногда своими *Ветошниками*, при помощи Леметра, какой нибудь Феликсъ Пья, человѣкъ вовсе безъ таланта, но достигающій таланта силою (à force) ненависти къ буржуазіи. Герценъ не говорилъ, что прокуроры французскіе—шуты и дураки, но только распространился о поступкѣ одного прокурора (при процессѣ бовалонова секунданта), поступкѣ, достойномъ шута, дурака, да еще и подлеца вдобавокъ. Этотъ фактъ имъ не выдуманъ—онъ во всѣхъ журналахъ французскихъ. Кстати о французскихъ журналахъ, изъ извѣстій которыхъ будто бы Г[ерценъ] сшиваетъ свои письма; это упрекъ до того смѣшной, что серьезно и отвѣчать на него не стоитъ. Да развѣ можно сказать о Франціи какой нибудь фактъ, о которомъ бы уже не было говорено во французскихъ журналахъ? Дѣло не въ этомъ, а въ томъ, какъ отразился этотъ фактъ въ личности автора, какъ изложенъ имъ. Касательно послѣдняго пункта, Г[ерценъ] и въ своихъ письмахъ остается, какъ и во всемъ, что ни писалъ онъ, человѣкомъ съ талантомъ, и читать его письма—наслажденіе даже и для тѣхъ, кто замѣчаетъ въ нихъ преувеличеніе или не совсѣмъ согласенъ съ авторомъ во взглядѣ. А то, пожалуй, вонъ г. Арапетовъ и о письмахъ Анненкова отозвался съ презрѣніемъ, какъ о компиляціи изъ фельетоновъ парижскихъ журналовъ. А что касается до Н. Ф. Павлова, то вмѣсто писемъ о Парижѣ съ Срѣт[енскаго] Бульвара, я бы посовѣтовалъ ему позаняться третьимъ письмомъ къ Гоголю, да на этомъ ужъ и кончить, такъ (какъ) дальше идти ему, видимо, не суждено провидѣніемъ. Когда мы получили въ Парижѣ тотъ № Совр., гдѣ IV-е письмо, я захохоталъ, а Герц[енъ] пресерьезно остановилъ меня замѣчаніемъ, что вѣрно 3-ье письмо не пропущено цензурою. Я даже покраснѣлъ отъ нелѣпости моего предположенія. Но воротясь въ Питеръ, я узналъ, что я былъ правъ, и что, въ отношеніи къ литературѣ, какъ и многому другому, москвичи дѣйствительно находятся на особыхъ правахъ у здраваго смысла, и смѣло могутъ издать сперва конецъ, потомъ середину, а *наконецъ*—начало своего сочиненія.

Я согласенъ, что одною буржуази нельзя объяснить à fond и окончательно гнуснаго, позорнаго положенія современной Франціи, что это вопросъ страшно сложный, запутанный, и прежде всего и больше всего—историческій, а потомъ уже какой хочешь—нравственный, философскій и т. д. Я понимаю, что буржуази явленіе не случайное, а вызванное исторіею, что она явилась не вчера, словно грибъ выросла, и что, наконецъ, она имѣла свое великое про-

недное, свою блестящую исторію, оказала человѣчеству величайшія услуги. Я даже согласился съ Анненковымъ, что слово bourgeoisie не совсѣмъ опредѣленно, по его многовмѣстительности и эластической растяжимости. Буржуа — и огромные капиталисты, управляющіе такъ блистательно судьбами современной Франціи, и всякіе другіе капиталисты и собственники, мало имѣющіе вліянія на ходъ дѣлъ и мало правъ, и наконецъ, люди вовсе ничего не имѣющіе, т.-е. стоящіе за цензомъ. Кто же не буржуа? Развѣ ouvrier, орошающій собственнымъ потомъ чужое поле. Всѣ теперешніе враги буржуази и защитники народа также не принадлежать къ народу, и также принадлежатъ къ буржуази, какъ и Робесньеръ и Сенъ-Жюстъ. Вотъ съ точки зрѣнія этой неопредѣленности и сбивчивости въ словѣ буржуази, письма Герц. sont attaquables. Это ему тогда же замѣтилъ Сэнвъ, сторону котораго принялъ Анненковъ противъ М—ля (того нѣмца, который родился мистикомъ, идеалистомъ, романтикомъ, и умретъ имъ, ибо отказаться отъ философіи еще не значитъ перемѣнить свою натуру), и Г—нъ согласился съ ними противъ него. Но если въ письмахъ есть такой недостатокъ, изъ этого еще не слѣдуетъ, что они дурны. Но это всторону. Итакъ не на буржуази вообще, а на большихъ капиталистовъ надо нападать, какъ на чуму и холеру современной Франціи. Она въ ихъ рукахъ, а этому-то бы и не слѣдовало быть. Средній классъ всегда является великимъ въ борьбѣ, въ преслѣдованіи и достиженіи своихъ цѣлей. Тутъ онъ и великодушенъ и хитеръ, и герой и эгоистъ, ибо дѣйствуютъ, жертвуютъ и гибнутъ изъ него избранные, а плодами подвига или побѣды пользуются всѣ. Въ среднемъ сословіи сильно развитъ esprit de corps. Оно удивительно смышлено и ловко дѣйствовало во Франціи и, правду сказать, не разъ эксплуатировало народомъ: подожжетъ его, а потомъ и вышлетъ Лафайета и Бальи разстрѣливать пушками его же, т.-е. народъ же. Въ этомъ отношеніи, основной взглядъ на буржуази Луи Блана не совсѣмъ неоснователенъ, только доведенъ до той крайности, гдѣ всякая мысль, какъ бы ни справедлива она была въ основѣ, становится смѣшною. Кромѣ того, онъ выпустилъ изъ виду что буржуази въ борьбѣ и буржуази торжествующая — не одна и та же; что начало ея движенія было непосредственное, что тогда она не отдѣляла своихъ интересовъ отъ интересовъ народа. Даже и при Assemblée Constituante она думала вовсе не о томъ, чтобы успокоится на лаврахъ побѣды, а о томъ, чтобы упрочить побѣду. Она выхлопотала права не одной себѣ, но и народу: ея ошибка была сначала въ томъ, что она подумала, что народъ съ правами можетъ быть сытъ и безъ хлѣба; теперь она сознательно ассервировала народъ голодомъ и капиталомъ, но вѣдь теперь она—буржуази не борющаяся а торжествующая. Но это все еще не то, что хочу я сказать тебѣ, а только предисловіе къ тому, не сказка, а присказка. Вотъ сказка: я сказалъ, что не годится государству быть въ рукахъ капиталистовъ, а теперь прибавлю: горе государству, которое въ рукахъ капиталистовъ. Это люди безъ патріотизма, безъ всякой возвышенности въ чувствахъ. Для нихъ война или миръ значатъ только возвышеніе или упадокъ фондовъ—далѣе этого они ничего не видятъ. Торгашъ есть существо, по натурѣ своей пошлое, дрянное, низкое и презрѣнное, ибо онъ служитъ Плутусу, а этотъ богъ ревнивѣе всѣхъ другихъ боговъ и больше ихъ имѣетъ право сказать: кто не за меня, тотъ противъ меня. Онъ требуетъ себѣ человѣка всего, безъ раздѣла, и тогда щедро награждаетъ его; приверженцевъ же не полныхъ онъ бросаетъ въ банкрутство, а потомъ въ тюрьму, а наконецъ въ нищету. Торгашъ—существо, цѣль жизни котораго—нажива; поставить предѣлы этой наживѣ невозможно. Она, что морская вода: не удовлетворяетъ

жажды, а только сильнѣе раздражаетъ ее. Торгашъ не можетъ имѣть интересовъ, не относящихся къ его карману. Для него деньги не средство, а цѣль, и люди—тоже цѣль; у него нѣтъ къ нимъ любви и состраданія, онъ свирѣпѣе звѣря, неумолимѣе смерти, онъ пользуется всѣми средствами, дѣтей заставляетъ гибнуть въ работѣ на себя, прижимаетъ пролетарія страхомъ голодной смерти (т.-е. сѣчетъ его голодомъ, по выраженію одного русскаго помѣщика, съ которымъ я встрѣтился въ путешествіи), снимаетъ за долгъ рубище съ нищаго, пользуется развратомъ, служитъ ему, и богатѣетъ отъ бѣдняковъ. Торгашъ—жидъ, армянинъ, грекъ, Погодинъ, Краевскій. Торгашу недоступны никакія человѣческія чувства, и если какое-нибудь явится у него, напр. любовь къ сыну или дочери, то не какъ естественное чувство, а какъ уродливая страсть, какъ кара за его отверженіе человѣчества. Не спѣши обвинять меня въ фантазерствѣ и преувеличеніи, дай сперва высказаться. Это портретъ не торгаша вообще, а торгаша-генія, торгаша-Наполеона. Съ литературой знакомятся и знакомятъ не черезъ обыкновенныхъ талантовъ, а черезъ геніевъ, какъ истинныхъ ея представителей. Я знаю, что между торгашами бываютъ (особенно бывали) фанатики торговой чести, мученики добродѣтелей по своему; но это не мѣшаетъ имъ быть людьми черствыми, безъ поэзіи, ихъ добродѣтели уважаешь, а не любишь. Но главное—это торгаши-таланты, а не геніи, порода смѣшанная, а не чистая. Я знаю, что Жакъ Лафитъ былъ благороднѣйшій человѣкъ, истинный патріотъ; но зато-то онъ и разорился: Плутусъ—богъ ревнивый.. Вонъ Ротшильдъ—тотъ не разорится: онъ...—торгашъ par excellence.

Возьмемъ противоположную крайность—мотовъ, расточителей, проживателей, гулякъ, даже развратниковъ: въ нихъ не рѣдкость встрѣтить черты доброты, человѣколюбія, широту натуры, человѣчность. Вспомни Алкивіада, Лукулла, Антонія, вспомни регента (duc d' Orléans)—кто больше его сдѣлалъ зла Франціи своимъ управленіемъ? И все-таки это былъ человѣкъ добрый и гуманный, который почти никого не сдѣлалъ несчастнымъ. Вспомни сатиру Гранжа, гдѣ регентъ обвиняется въ отравленіи королевской фамиліи—выслушавъ ее, онъ пришелъ въ ужасъ, а Гранжу ничего не сдѣлалъ. Вспомни шекспировскаго *Тимона Афинскаго*.

Изъ этой параллели ты, пожалуй, заключишь, что я не уважаю труда, и въ *гулякѣ праздномъ* вижу идеалъ *человѣка*. Нѣтъ, это не такъ. Въ гулякахъ я только вижу потерянныхъ людей, но людей, а въ наживальщикахъ я не вижу никакихъ людей. Тимонъ Афинскій Шексп. есть великій нравственный урокъ гулякамъ съ широкими натурами. Онъ что посѣялъ, то и пожалъ. Но объ этомъ много нечего говорить. Я уважаю разсчетливость и аккуратность нѣмцевъ, которые умѣютъ никогда не забываться и не увлекаться, и за то, не зная большихъ кутежей, часто успѣваютъ не знать и большой нищеты; уважаю нѣмцевъ за это, но не люблю ихъ. А люблю я двѣ націи — Француза и Русака, люблю ихъ за то, общее имъ обоимъ свойство, что тотъ и другой цѣлую недѣлю работаетъ для того, чтобы въ воскресенье прокутить все заработанное. Въ этомъ есть что-то широкое, поэтическое. Извѣстно, что французъ и Русакъ и по понедѣльникамъ—плохіе работники, потому что провожаютъ воскресенье. Работать для того, чтобъ не только имѣть средства къ жизни, но и къ наслажденію ею—это значитъ понять жизнь человѣчески, а не по-нѣмецки. Ты скажешь, что наслажденіе Русака состоитъ въ томъ, чтобы до зари нарѣзаться свиньею и цѣлый день валяться безъ заднихъ ногъ. Правда, но это показываетъ только его гражданское положеніе и степень образованности; а натура-то остается все тою же натурою, вслѣдствіе которой на Руси рѣшительно [не-

возможно] фарисейско-англійское чествованіе праздничныхъ дней. Народъ гуляющій! Изстари, чуть только—какъ сказалъ Кантемиръ —

Сегодня одинъ изъ тѣхъ дней святъ Николаю,
Какъ ужъ весь городъ пьянъ отъ края до краю.

Обращаясь къ торгашамъ, надо замѣтить, что человѣка искажаетъ всякая дурная овладѣвшая имъ страсть, и что, кромѣ наживы, такихъ страстей много. Такъ, но едва ли не самая подлая изъ страстей. А потомъ, она даетъ esprit de corps и тонъ всему сословію. Каково же должно быть такое сословіе? И каково государству, когда оно въ его рукахъ? Въ Англіи средній классъ много значитъ - нижняя палата представляетъ его; а въ дѣйствіяхъ этой палаты много величаваго, а патріотизма просто бездна. Но въ Англіи среднее сословіе контрабалансируется аристократіею, оттого англійское правительство столько же государственно, величаво и славно, сколько французское мизерабельно, низко, пошло, ничтожно и позорно. Кончится время аристократіи въ Англіи,—народъ будетъ контрабалансировать среднему классу; а не то — Англія представитъ собою, можетъ быть, еще болѣе отвратительное зрѣлище, нежели какое представляетъ теперь Франція. Я не принадлежу къ числу тѣхъ людей, которые утверждаютъ за аксіому, что буржуази — зло, что ее надо уничтожить, что только безъ нея все пойдетъ хорошо. Такъ думаетъ нашъ нѣмецъ — М.; такъ, или почти такъ думаетъ Луи Бланъ. Я съ этимъ соглашусь только тогда, когда на опытѣ увижу государство, благоденствующее безъ средняго класса, а какъ пока я видѣлъ только, что государства безъ средняго класса осуждены на вѣчное ничтожество, то и не хочу заниматься рѣшеніемъ а пріори такого вопроса, который можетъ быть рѣшенъ только опытомъ. Пока буржуази есть и пока она сильна,—я знаю, что она должна быть и не можетъ не быть. Я знаю, что промышленность—источникъ великихъ золъ, но знаю, что онъ же— источникъ и великихъ благъ для общества. Собственно, она только послѣднее: зло въ владычествѣ капитала. въ его тиранніи надъ трудомъ. Я согласенъ, что даже и отверженная порода капиталистовъ должна имѣть свою долю вліянія на общественныя дѣла; но горе государству, когда она одна стоитъ во главѣ его! Лучше замѣнить ее лѣнивою, развратною и покрытою лохмотьями сволочью: въ ней скорѣе можно найти патріотизмъ, чувство національнаго достоинства и желаніе общаго блага"...

Примѣчанія.

— Стр. 7. «Русск. Старина», 1899, № 4, стр. 200—201. Проф. А. Архангельскій. «Объ утвержденіи В. Г. Бѣлинскаго въ дворянскомъ достоинствѣ».—Здѣсь точно установлена дата рожденія Бѣлинскаго. Именно, при «дѣлѣ», по поводу ходатайства Бѣлинскаго о занесеніи его въ родословныя книги пензенскаго дворянства (прошеніе помѣчено 12 авг. 1843 г.) находится довѣренность В. Г. отъ 6-го августа 1843 года, въ которой, между прочимъ, сказано: «прилагая при семъ въ подлинникѣ отношеніе на имя отца моего, состоявшаго прежде лекаремъ 7-го учебнаго экипажа, отъ 9-го іюня 1811 года за № 315, о изъявленіи согласія на воспріятіе меня отъ купели его императорскаго высочества государя цесаревича и великаго князя Константина Павловича» и т. д. При довѣренности было приложено отношеніе чиновника Лагоды къ отцу В. Г. Бѣлинскаго нижеслѣдующаго содержанія: «Его императорское высочество государь цесаревичъ и великій князь Константинъ Павловичъ, по письму вашему, отъ 31-го минувшаго мая, на воспріятіе отъ купели новорожденнаго сына вышего Виссаріона изволилъ изъявить свое согласіе и приказалъ мнѣ васъ о семъ увѣдомить съ тѣмъ, чтобы на мѣсто его высочества при святомъ крещеніи избрали кого заблагоразсудите». Кромѣ того, Чембарскіе дворяне, въ числѣ 23 лицъ, свидѣтельствовали, что «здѣшняго уѣзднаго штабъ-лекаря Григорія Никифорова Бѣлинскаго сынъ Виссаріонъ дѣйствительно рожденъ отъ него прошлаго 1811 года мая 30-го числа, который нигдѣ въ службѣ еще не находился и опредѣленъ не былъ, и нынѣ ему отъ роду 19-й годъ, въ чемъ удостовѣряя подписуемся». Удостовѣреніе это, прибавляетъ проф. Архангельскій, вмѣстѣ съ приведеннымъ выше отношеніемъ чиновника Лагоды, такимъ образомъ точно указываетъ время рожденія знаменитаго критика: *30-го мая 1811 года*.

Тамъ же изложена, на основаніи подлинныхъ документовъ, исторія хлопотъ В. Г. Бѣлинскаго о возведеніи его въ дворянское достоинство и внесеніи его въ родословныя книги пензенскаго дворянства. Хлопоты начались, какъ упомянуто, въ 1843 г. и окончились возведеніемъ Бѣлинскаго въ дворянское достоинство 9 декабря 1847.

Время рожденія Бѣлинскаго удостовѣряетъ и Д. П. Ивановъ въ письмѣ къ А. Н. Пыпину отъ 16 іюня 1876: «Къ сожалѣнію, годъ, мѣсяцъ и число рожденія Бѣлинскаго остались неисправлены и въ отдѣльномъ изданіи его біографіи, вѣроятно, потому что свѣдѣнія о томъ были доставлены

уже послѣ отпечатанія первыхъ листовъ. Изъ метрическаго свидѣтельства, хранящагося въ архивѣ, сынъ мой узналъ, что Бѣлинскій родился въ 1811 г. 30-го мая. Первоначальное показаніе мое объ этомъ предметѣ основано на загадочномъ сообщеніи сестры Виссаріона Александры Григорьевны».

— Стр. 14 и дал.—Приводимъ изъ замѣтокъ г. В. Быстренина въ «Новостяхъ» за 1898 г. разсказъ о пребываніи Бѣлинскаго въ Пензѣ («Новости», 1898, 27 янв.): «Въ виду предстоящихъ въ Пензѣ торжествъ по случаю 50-лѣтія со дня смерти Бѣлинскаго, какъ извѣстно, получившаго воспитаніе въ пензенской гимназіи, я посѣтилъ на дняхъ директора 1-й гимназіи А. Е. Соловьева съ цѣлью собрать болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія на мѣстѣ о гимназическихъ годахъ Бѣлинскаго. А. Е. Соловьевъ предупредительно сообщилъ мнѣ нѣкоторыя данныя, касающіяся ученическаго времени знаменитаго критика, сохранившіяся въ гимназическомъ архивѣ.

«Какъ извѣстно, отецъ В. Г. былъ сыномъ священника с. Бѣлыни пензенской губ.,—откуда произошла и фамилія Бѣлынскаго, уже гораздо позже передѣланная въ Бѣлинскій, — и служилъ врачемъ въ гор. Чембарѣ. Хотя В. Г. родился въ Свеаборгѣ, но первое дѣтство провелъ въ Чембарѣ, гдѣ учился въ уѣздномъ училищѣ, а затѣмъ, по окончаніи курса, поступилъ въ пензенскую 4-классную гимназію. Нужно оговориться, что полныхъ, въ хронологическомъ порядкѣ, свѣдѣній о Бѣлинскомъ въ архивѣ не сохранилось: весьма возможно, что они утрачены во время пожара 1844 года, въ то время, когда гимназія еще не имѣла собственнаго зданія, а помѣщалась въ домѣ Чернышева; да, наконецъ, и не могъ же тогдашній учащій персоналъ предвидѣть, что одинъ изъ гимназистовъ станетъ когда-либо предметомъ вниманія всего русскаго общества, и, потому, съ особенной тщательностью, какъ какую-либо драгоцѣнность, сберегать все, касающееся его. Тѣмъ не менѣе, все же сохранились кое-какіе документы въ видѣ классныхъ журналовъ и вѣдомостей, въ которыхъ мы находимъ отмѣтки объ успѣхахъ и поведеніи Бѣлинскаго. Такихъ отмѣтокъ имѣется: за 1825 годъ за октябрь и ноябрь и выводъ за первую половину 1825 — 26 учебнаго года; за январь, мартъ, апрѣль и май 1826 года; за январь, февраль и октябрь 1827 года. Затѣмъ, въ полугодичной вѣдомости за первую половину 1828 — 29 учеб. года, представлявшейся въ округъ и подписанной директоромъ Шапошниковымъ, значится: «ученикъ 3-го класса В. Бѣлынскій поступилъ въ 1-й классъ въ августѣ 1825 года; способности и поведеніе аттестованы балломъ 4 [1]); пропустилъ 30 уроковъ «по винѣ родителей»; опоздалъ 20 разъ «по винѣ родителей»; отъ роду имѣетъ 16 лѣтъ» За февраль 1829 года фамилія Бѣлинскаго въ вѣдомости зачеркнута, и противъ нея рукою директора сдѣлана отмѣтка: «за нехожденіемъ не рекомен»,—а съ марта имя Бѣлинскаго въ вѣдомостяхъ болѣе не попадается.

«Слѣдовательно, пребываніе Бѣлинскаго въ пензенской гимназіи обнимаетъ періодъ съ августа 1825 по январь 1829 г., и какъ можно видѣть изъ выше цитированной вѣдомости, предъ оставленіемъ гимназіи въ половинѣ учебнаго года, Бѣлинскій былъ еще только въ 3 классѣ. Несмотря, однако же, на отмѣтку въ этой вѣдомости «способностей» Бѣлинскаго высшимъ балломъ—4, отдѣльныя мѣсячныя вѣдомости, сохранившіяся въ архивѣ, показываютъ такія отмѣтки: по закону Божію: въ первомъ классѣ—2, во второмъ—1; по русской словесности: въ первомъ классѣ—1, во второмъ—4, въ

---

[1]) Тогда практиковалась 4-балльная система отмѣтокъ.

третьемъ—4; по математикѣ: въ первомъ—1, во второмъ—1, въ третьемъ—1; по исторіи и географіи: въ первомъ—4, во второмъ—4, въ третьемъ—4; по рисованію: въ первомъ классѣ — 2; по естественной исторіи: въ третьемъ классѣ—4. Кромѣ того, въ объяснительной запискѣ, приложенной къ вѣдомости за 1-ю половину 1828 — 29 г. учителемъ Шапошниковымъ Бѣлинскій указанъ въ спискѣ *отличнѣйшихъ* учениковъ по классу россійской словесности, а нѣмцемъ Зоммеромъ онъ включенъ въ рубрику учениковъ, которые «очень худо занимаются». Французскаго языка Бѣлинскій въ гимназіи не изучалъ совсѣмъ, послѣ полученной имъ въ первомъ классѣ за ноябрь единицы, да и по другимъ предметамъ въ первомъ классѣ онъ имѣлъ неважныя отмѣтки, хотя и перешелъ своевременно во второй классъ 15-мъ ученикомъ и даже получилъ при этомъ похвальный листъ. Впрочемъ, оставленіе Бѣлинскимъ изученія французскаго языка можетъ быть объяснено тѣмъ, что преподаваніе языковъ въ то время было поставлено плохо, и немудрено, что ученики мало успѣвали при такихъ учителяхъ, которые и сами были не сильны въ грамотѣ. Такъ, въ объясненіи къ той же вѣдомости 1828—29 г. мы встрѣчаемъ такого рода отмѣтку преподавателя французскаго языка: уч*и*ники 2-го класса занимаемы были Грамм*а*, изъ коей пройдено съ начала до *Г*лаголовъ, упражнялис*в* переводa*м* съ Фр*а*. На Рос*і*. разб*ы*ралъ ч*е*стей р*е*чи». Но въ то же время въ средѣ преподавателей встрѣчались и такія свѣтлыя личности, какъ учитель естественной исторіи М. М. Поповъ, человѣкъ высокообразованный, подъ вліяніемъ котораго въ душѣ Бѣлинскаго развилась страстная любовь къ литературѣ. Какъ извѣстно, и по выходѣ изъ гимназіи Бѣлинскій не прерывалъ своихъ сношеній съ Поповымъ, и самъ Поповъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ о Бѣлинскомъ-гимназистѣ, какъ о даровитомъ и развитомъ выше своего возраста юношѣ.

«Вотъ и все, что хранилось въ гимназическомъ архивѣ о Бѣлинскомъ. Къ сожалѣнію, время выхода Бѣлинскаго изъ гимназіи въ точности не опредѣлено, какъ равно не установлено, гдѣ онъ провелъ промежутокъ времени между оставленіемъ гимназіи и поступленіемъ въ университетъ. На этотъ счетъ существуютъ противорѣчивыя показанія. Такъ, г. Скабичевскій говоритъ [1]), что «къ рождеству 1828 г. онъ уѣхалъ въ Чембаръ и уже *не возвращался въ гимназію*», а между тѣмъ есть другое показаніе современника Бѣлинскаго, свидѣтельствующее, что онъ провелъ этотъ промежутокъ времени въ Пензѣ. «Въ 1829 году, когда я поступилъ въ 1-й классъ пензенской гимназіи, говоритъ Ѳ. И. Буслаевъ [2]), прежній учитель русскаго языка выбылъ, а новаго опредѣлить еще не успѣли. Тогда *на нѣсколько мѣсяцевъ* гимназическое начальство поручило обучать насъ гимназисту Бѣлинскому. Онъ уже кончилъ курсъ въ это время, но *оставался въ Пензѣ*, потому что не имѣлъ средствъ ѣхать въ Москву, гдѣ намѣревался поступить въ университетъ. Онъ много намъ диктовалъ и заставлялъ насъ учить наизусть стихи, изъ которыхъ какъ сейчасъ помню: «О, дѣти, дѣти! какъ опасны ваши лѣта», и «О, ты, пространствомъ безконечный».

«Такимъ образомъ, этой замѣткой Буслаева устанавливается тотъ фактъ,

---

[1]) Скабичевскій. Начало и развитіе русской критики. «Міръ Божій», 1894, № 9, стр. 74.

[2]) Историч. очеркъ пензенской 1-й гимназіи. Составилъ Зеленецкій. Издано въ Пензѣ 1889 г., подъ ред. А. Е. Соловьева.

что Бѣлинскій нѣкоторое время учительствовалъ въ пензенской гимназіи, хотя и не въ качествѣ оффиціальнаго преподавателя, и его уроки по русскому языку оставили глубокое впечатлѣніе въ дѣтяхъ. Надо, впрочемъ, обратить вниманіе на нѣкоторую неточность даты, обозначенной Буслаевымъ: «въ 1829 году, когда я поступилъ и т. д.». Какъ уже выше было сказано, съ февраля 1829 года фамилія Бѣлинскаго въ спискахъ учениковъ болѣе не встрѣчается, слѣдовательно, періодъ учительства Бѣлинскаго можетъ быть отнесенъ ко времени съ января по іюнь 1829 г.,—а для этого Буслаевъ, бывшій тогда въ первомъ классѣ, долженъ былъ поступить въ гимназію въ 1828 году, а не въ 1829. И это соображеніе вполнѣ подтверждается полугодичной вѣдомостью за 1828—29 учебный годъ, гдѣ указано, что Ѳедоръ Буслаевъ 12-ти лѣтъ поступилъ 1-го августа 1828 г. въ 1-й классъ.

«Хотя вся дѣятельность Бѣлинскаго какъ журналиста и критика протекла въ Москвѣ и Петербургѣ, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, что первый толчекъ, направившій его дѣятельность, былъ полученъ имъ въ пензенской гимназіи подъ вліяніемъ учителя М. М. Попова, страстно любившаго литературу и до извѣстной степени предугадавшаго будущее значеніе талантливаго гимназиста. Разумѣется, для пензенскаго интеллигентнаго общества должно быть драгоцѣннымъ то обстоятельство, что первоначальное умственное развитіе Бѣлинскій получилъ, именно, въ Пензѣ и что, такимъ образомъ, оно вдвойнѣ можетъ гордиться землячествомъ съ знаменитымъ мыслителемъ, празднуя 50-лѣтіе со дня его кончины.

«Въ заключеніе считаю нелишнимъ упомянуть о томъ, что у одной земле владѣлицы пензенской губерніи, какъ говорятъ, сохраняется тетрадь съ дневникомъ Бѣлинскаго, написанная имъ собственноручно. Не ручаюсь за достовѣрность такого сообщенія, но слухъ объ этой тетради упорно держится в обществѣ, и было бы желательно, чтобы обладательница дневника не держала его подспудомъ, а подѣлилась съ русскимъ обществомъ тѣми, может быть весьма существенными свѣдѣніями, которыя въ немъ заключаются.

— Стр. 23.—«Общее мнѣніе поражено было новымъ направленіемъ, какое приняль поэтъ (авторъ «Бориса Годунова»), но не увлечено имъ. Весьма многіе угадали въ отрывкѣ (сцена лѣтописца) поэтическое откровеніе одн народной эпохи. Наиболѣе расположенные къ поэту еще признавали дост инство стиха, но другіе, числительно сильнѣйшіе—не видѣли уже прежня сладкозвучнаго пѣвца своего за этимъ бѣлымъ стихомъ и сожалѣли о ю шескихъ, блестящихъ его произведеніяхъ, гдѣ риѳма заканчивала обра всѣмъ понятный и увлекательный. Толки, возбужденные отрывкомъ, приве Пушкина къ мысли, что весь споръ о классицизмѣ и романтизмѣ былъ тическій обманъ, созданный журналами, [которому и онъ самъ поддался, что необходимость преобразованія литературныхъ формъ не лежала въ щихъ потребностяхъ, въ дѣйствительно возмужаломъ и измѣнившемся вку публики. Почти съ той же минуты сталъ Пушкинъ считать трагедію св анахронизмомъ и смотрѣть съ ироніей на предположеніе свое создать нар ную драму. Какъ ни горекъ былъ опытъ, но авторъ нашелъ ему оправда въ общемъ французско-классическомъ воспитаніи, какое получило все сов менное поколѣніе».—А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи и оцѣ произведеній. П. В. Анненкова. Спб., 1873, стр. 136—137.

— Стр. 27.—А. Н. Пыпинъ цитируетъ по изданію Сочиненій В. Г. Б линскаго 1861—1875 гг. (2-ое, Солдатенкова). Съ 1900 г. начало выходить Спб. «Полное собр. соч. Бѣлинскаго» подъ ред. С. А. Венгерова. Вышло с

томовъ, (VII т.—1904), заключающихъ въ себѣ значительныя дополненія (по 1842 г.) и обширныя критико-біографическія примѣчанія.

— Стр. 33—35.—«Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Литературный сборникъ, составленный изъ трудовъ русскихъ литераторовъ». М. 1899. Стр. 107—112. Въ этомъ сборникѣ, среди цѣлаго ряда статей о Бѣлинскомъ, помѣщены А. Н. Пыпинымъ «Матеріалы для біографіи Бѣлинскаго», относящіеся къ пребыванію его въ Московскомъ Университетѣ, здѣсь—полные тексты его прошенія отъ 31 авг. 1829 о зачисленіи въ число студентовъ Московскаго Университета, рапортъ отъ 30 сент. 1829 профессоровъ Правленію о томъ, что Бѣлинскій оказался «достойнымъ къ слушанію Профессорскихъ лекцій», рапортъ отъ 19 окт. 1831 изъ Отдѣленія Словесныхъ Наукъ, изъ котораго видно, что Бѣлинскій не оказался достойнымъ быть переведеннымъ на «ординарные курсы»; прошеніе отъ 19 окт. 1831 «отъ казенно-коштнаго студента Виссаріона Бѣлинскаго» въ Правленіе Университета, въ которомъ говорится: «по особеннымъ обстоятельствамъ, не могу продолжать курса наукъ, а желаю поступить нъ службу Его Императорскаго Величества въ Училищный Комитетъ Императорскаго Московскаго Университета въ число Канцелярскихъ служителей; донесеніе Правленія Университета къ Попечителю отъ 26 окт. 1831 объ опредѣленіи Бѣлинскаго въ Училищный Комитетъ; отношеніе Попечителя къ Правленію Университета отъ 9 нояб. 1831 съ требованіемъ «доставить свѣдѣнія о тѣхъ особенныхъ обстоятельствахъ, кромѣ малоуспѣшности, по коимъ помянутый Бѣлинскій не можетъ болѣе продолжать курса наукъ»; донесеніе Правленія Университета къ Попечителю о томъ, что «къ опредѣленію Студента Виссаріона Бѣлинскаго въ Канцелярскіе служители Правленія, по его прошенію кромѣ малоуспѣшности его въ наукахъ, не имѣется никакихъ другихъ побудительныхъ причинъ и что Правленіе основывась на § Устава Университета представило его Бѣлинскаго какъ къ исключенію съ Казеннаго Кошта, такъ и къ опредѣленію его въ Канцелярскіе служители Правленія, къ исправленію каковой должности оказался онъ Бѣлинскій способнымъ...»; отношеніе Попечителя къ Правленію Университета о томъ, что «слѣдуетъ остановиться на нѣкоторое время опредѣленіемъ вышепоименованныхъ лицъ»—въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. Тамъ же помѣщены записки Бѣлинскаго къ А. П. Ефремову и письмо къ нему отъ 23 авг. 1840 г.

— Стр. 37.—«Моск. Вѣд.», 1859, № 293: Ст. Ив. Островъ—ва—«Нѣсколько словъ о В. Г. Бѣлинскомъ». Замѣтка относится къ періоду отъ 1829 до 1834; «Русск. Стар.», 1876 (январь и февраль): «Вис. Григ. Бѣлинскій. Новыя данныя для его біографіи, 1810—1840», сообщ. кн. Н. Н. Енгалычѣвъ.

— Стр .41 —Ч—въ (разсказѣ Прохорова)—М. Б. Чистяковъ (1807—1855), педагогъ-писатель.

— Стр. 41.—Ст. П. Прозорова «Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время». «Библ. для Чтенія», 1859, № 12.—Кромѣ свѣдѣній о Бѣлинскомъ, разсказывается о характерѣ университетской жизни, о профессорахъ: Надеждинѣ и др. Впрочемъ, къ воспоминаніямъ Прозорова слѣдуетъ относиться критически. См. прим. къ стр. 79 (отзывъ С. А. Венгерова).

— Стр. 44.—Трагедія Бѣлинскаго въ полномъ видѣ напечатана въ «Полномъ собр. соч. Бѣлинскаго», подъ ред. С. А. Венгерова, т. I, Спб., 1900, стр. 30—142.

— Стр. 49.—«Русск. Старина», 1880, № 5, стр. 142. Аргиллапдеръ разсказываетъ о тревогахъ Бѣлинскаго по поводу трагедіи: «Съ окончаніемъ этой пьесы и нѣкоторыми сдѣланными въ ней измѣненіями, при общей на-

шей помощи, она была переписана, и Б. самолично представилъ ее въ комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ университета. Прошло нѣсколько дней въ нетерпѣливомъ ожиданіи, какъ вдругъ разъ утромъ его потребовали въ засѣданіе комитета, помѣщавшагося въ зданіи университета. Спустя не болѣе получаса времени, вернулся Б., блѣдный, какъ полотно, и бросился на свою кровать лицомъ внизъ; я сталъ его разспрашивать, что такое случилось, но ничего положительнаго не могъ добиться; онъ произносилъ только одно, и то весьма невнятно: «Пропалъ, пропалъ, каторжная работа, каторжная работа»... Вечеромъ я узналъ отъ него, что профессора цензурнаго комитета распекли его таки порядкомъ и грозили, что съ лишеніемъ правъ состоянія, онъ будетъ сосланъ въ Сибирь, а могло случиться еще что нибудь и хуже».

— Стр. 52.—«Исторія Императорскаго Московскаго Университета, написанная къ столѣтнему его юбилею ординарнымъ профессоромъ русской словесности и педагогіи Степаномъ Шевыревымъ. 1755—1855. М. 1855». Здѣсь свѣдѣнія о профессорахъ, упоминаемыхъ въ текстѣ: Терновскомъ, Побѣдоносцевѣ, Каченовскомъ и др. См. также въ примѣчаніяхъ къ Венгеровскому изданію сочиненій Бѣлинскаго.

— Стр. 52.—«День», 1862, №№ 39—40. Ст. К. Аксакова «Воспоминанія студентства 1832—1835 годовъ». Въ этихъ воспоминаніяхъ много любопытныхъ чертъ, рисующихъ состояніе университетской науки и быта студенчества 30-хъ годовъ, а также отзывы о профессорахъ (Надеждинѣ, Шевыревѣ, Давыдовѣ, Побѣдоносцевѣ, Ивашковскомъ и др.).

— Стр. 56.—«Былое и думы»—Сочиненія А. И. Герцена (Genève—Bâle—Lyon), 1875—1879, т. I—X. Также: Сочиненія и переписка съ Н. А. Захарьиной, изд. Павленкова, Спб., 1905, т. I—VII.

– Стр. 63.—Изъ письма П. П. Гурскалина къ А. Н. Пыпину, отъ 31 декабря 1875 г. (послѣ посѣщенія Д. П. Иванова):

...«Хронологическія данныя очень затрудняютъ Д. П., и онъ можетъ уяснить себѣ время событій не иначе, какъ сопоставляя ихъ въ памяти съ своею собственною жизнью, да и тутъ путаетъ и десять разъ мѣняетъ отвѣты, прежде чѣмъ остановиться на чемъ нибудь окончательно. Я записалъ буквально съ его словъ. На вопросъ, когда Бѣлинскій исключенъ былъ изъ университета? Д. П. разсказалъ слѣдующее: «Б. поступилъ въ университетъ въ августѣ 1829 г. на первый курсъ; по окончаніи 1829—30 учебнаго года онъ не перешелъ на второй курсъ: 1830—31 учебн. годъ былъ холернымъ годомъ и не былъ зачисленъ никому изъ студентовъ; затѣмъ 1831—32 учебн. годъ былъ обязательнымъ для Б-го и долженъ считаться вторымъ годомъ пребыванія его на *первомъ курсѣ*. Въ августѣ 1832 года начались попытки Б-го къ переходу на второй курсъ, и Голохвастовъ обѣщалъ ему свое содѣйствіе. Вопросъ о допущеніи Б-го къ экзамену внесенъ былъ Голохвастовымъ въ совѣтъ университета, но тутъ возникли неизвѣстныя Иванову препятствія и Б. былъ исключенъ. Это случилось втеченіе 1832—33 уч. года. Исторія эта, сколько помнитъ Д. П., тянулась долго и самый фактъ исключенія произошелъ по всей вѣроятности уже въ 1833 г. Д. П. особенно налегаетъ на то обстоятельство, что Б-скій вовсе и не былъ на второмъ курсѣ.

«Въ связи съ этимъ Д. П. передаетъ, что лично слышалъ отъ доктора Александра Осиповича Армфельда, что въ бытность его ординаторомъ университетской студенческой больницы отъ него требовали медицинскаго удостовѣренія въ слабости способностей Б-го, но Армфельдъ отказался дать такое свидѣтельство потому что былъ совершенно противнаго мнѣнія о Б.».

— Стр. 72.—Рецензія «Провинціальныя бредни»—«Полное собр. соч. Бѣлинскаго» подъ ред. С. А. Венгерова, т. I, Спб., 1900, стр. 423—429.

— Стр. 78.—Анненковъ, біографія Николая Владиміровича Станкевича,—въ «Воспом. и очеркахъ», Спб., 1881 г.:

«Въ кругѣ Станкевича идеи германскихъ мыслителей были въ постоянномъ обращеніи: друзья его сходились для обсужденія ихъ взаимнаго обмѣна соображеній, порожденныхъ неутомимымъ чтеніемъ; изъ этого первоначальнаго родника своей литературно-критической дѣятельности Бѣлинскій выносилъ строго обдуманныя статьи. Бѣлинскій можетъ назваться по преимуществу обобщителемъ идей. Любопытнѣйшую часть переписки Станкевича въ 1833—35 годахъ, безъ сомнѣнія, составляютъ первыя напряженныя усилія обратить нѣкоторыя эстетическія соображенія, возникавшія какъ у него самого, такъ и вокругъ него, въ безусловныя и доказанныя истины. Тутъ вы видите, такъ сказать, внутренность той мастерской, въ которой вырабатывалъ Бѣлинскій свои воззрѣнія на искусство и жизнь вообще, а изъ воззрѣній—приговоры и сужденія о дѣятеляхъ обѣихъ сферъ. Читатель найдетъ въ письмахъ Станкевича неопредѣленные намеки на всѣ вопросы, занимавшіе потомъ Бѣлинскаго и болѣе или менѣе приближенные имъ къ разрѣшенію. Такова была участь Станкевича опредѣлить значеніе художественности въ произведеніяхъ, показать различіе между чистою мыслью и мыслью, доступною предметамъ искусства, и переходя къ частностямъ, попытки опредѣлить значеніе романовъ Полевого, Загоскина и проч., поэтической дѣятельности гг. Бенедиктова, Тимоѳеева, Шевырева и проч. и проч. Все это было досказано Бѣлинскимъ. На долю Бѣлинскаго выпалъ талантъ быстро усматривать всѣ результаты данной мысли, талантъ чутко примѣнять ее къ современности, отвѣчая новымъ потребностямъ общественнаго развитія: или даже вызывая ихъ на свѣтъ, и наконецъ талантъ неутомимо проводить между повседневными явленіями словесности иногда на лету, но крѣпко схваченное эстетическо-философское положеніе. На эту работу употребилъ онъ и всю свою жизнь; плодомъ этой работы, понимаемой весьма строго, было то, что со времени Бѣлинскаго роль писателя сдѣлалась чрезвычайно трудна, а поколѣніе писателей-сибаритовъ, добивавшихся репутаціи, потѣшая игрой своего таланта себя и пріятелей, миновалось безвозвратно».

— Стр. 79.—Анненковъ, тамъ же, стр. 39—40:

«Не далѣе 1834 года, человѣкъ, понимавшій философскія ученія преимущественно съ ихъ моральной стороны, В. Г. Бѣлинскій, выразилъ воззрѣніе всего круга Станкевича въ статьѣ, оставившей по себѣ сильное впечатлѣніе. Она была напечатана въ Молвѣ въ 1834 году (съ № 38 по № 52), подъ заглавіемъ: «Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ». Пусть читатель обратитъ вниманіе на начало этой статьи, гдѣ весь міръ, а стало-быть и искусство, опредѣляются какъ отраженіе одной безконечной идеи, равно живущей и въ бѣгѣ кометы, и въ слезѣ ребенка, и въ произведеніи художника; пусть прочтетъ онъ и нравственныя требованія критика, изложенныя въ яркомъ описаніи двухъ дорогъ, свѣтлой и позорной, и различныхъ цѣлей, къ которымъ онѣ приводятъ; пусть остановится онъ на опредѣленіи способовъ соединенія съ безконечною идеей посредствомъ отреченія отъ своего *Я*, борьбы со всѣмъ, что затемняетъ ликъ идеи и неограниченной любви... Тутъ высказана сущность убѣжденій, царствовавшихъ въ кругѣ Станкевича, и высказана съ тою твердой постановкой правилъ, которая отличала всегда автора статьи. Не вдаваясь въ разборъ критической ея части, можно сказать, что

изъ воззрѣнія, общаго автору со Станкевичемъ, родились всѣ ея строгія нравственныя требованія отъ литературныхъ дѣятелей, развитыя еще болѣе впослѣдствіи. Она составляетъ въ нашей исторіи словесности грань, съ которой начинается разборъ и оцѣнка *направленій*, и возникаетъ побужденіе смотрѣть на произведенія искусства, какъ на провозвѣстниковъ высшаго нравственнаго порядка».

— Сочиненія Н. В. Станкевича были собраны въ прекрасно изданной, подъ редакціей А. И. Станкевича, книгѣ: «Николай Владиміровичъ Станкевичъ, Стихотворенія—трагедія—проза». М. 1890.

— Стр. 79.—С. А. Венгеровъ («Полное собр. соч. Бѣлинскаго», т. I, Спб., 1900, стр. 422) держится особаго мнѣнія о вліяніи Надеждина на Бѣлинскаго— въ вопросахъ о назначеніи искусства. Именно по поводу разсказа Прозорова, которымъ пользовался авторъ настоящей книги, С. А. Венгеровъ говоритъ. «Одно изъ двухъ: если Прозоровъ началъ читать собственныя варіаціи на Надеждинскіе мотивы, тогда весь разсказъ чрезвычайно мало интересенъ и никакого касательства къ вопросу о вліяніи Надеждина на Бѣлинскаго не имѣетъ. Если же Прозоровъ началъ излагать идеи Надеждина и Бѣлинскій испугался ихъ сходства со своими, то значитъ, до этой встрѣчи Бѣлинскій о нихъ ничего не зналъ! Будь въ разсказѣ Прозорова хоть тѣнь вѣроятія, вопросъ о Надеждинскомъ вліяніи рѣшался бы очень уже просто. На самомъ дѣлѣ, конечно, все это неприличная выдумка. Мысли о художественно-творящей силѣ природы, о гармоніи вселенной и т. д. составляютъ азбуку шеллингизма, который владѣлъ умами лучшей части нашихъ руководящихъ кружковъ уже цѣлое десятилѣтіе; Бѣлинскій, жадно глотавшій всѣ журналы и альманахи, зналъ, конечно, отлично и Одоевскаго, и Веневитинова, и Кирѣевскаго, и многое множество шеллингіански-настроенныхъ статей «Мнемозины», «Москов. Вѣстника» и «Москов. Телеграфа». Шеллингизмъ носился въ воздухѣ, составлялъ предметъ самыхъ жаркихъ дебатовъ въ кружкахъ сколько-нибудь мыслящей молодежи, и одинъ только Бѣлинскій ровно ничего обо всемъ этомъ не зналъ, пока счастливое посѣщеніе г. Прозорова не ввело его въ кругъ идей вѣка!

«Довѣріе, оказанное несуразно-дикой выдумкѣ Прозорова столь авторитетнымъ изслѣдователемъ, какъ А. Н. Пыпинъ, тѣмъ болѣе странно, что онъ же указываетъ рядъ *статей* Надеждина, 1831—33 гг., изъ которыхъ Бѣлинскій могъ бы узнать эстетически-философскіе взгляды Надеждина и безъ счастливаго посѣщенія Прозорова. «Теоретическіе понятія и взгляды на искусство», говоритъ г. Пыпинъ, «высказанные Бѣлинскимъ, не отступали въ сущности отъ положеній Надеждина, излагавшаго ихъ въ своихъ лекціяхъ и печати. Эстетическіе взгляды Надеждина высказаны, напр., въ его латинской диссертаціи, переведенные отрывки которой были помѣщены въ старомъ «Вѣстн. Европы» и «Атенеѣ» 1830 г.; затѣмъ въ статьяхъ—«Необходимость, значеніе и сила эстетическаго вкуса» въ «Телескопѣ» 1831, № 10; историческій обзоръ теоріи изящнаго, въ критической статьѣ по поводу книги Бахмана, переведенной г. Чистяковымъ въ «Телескопѣ» 1832, № 5, 6 и 8; «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ» въ Учен. Зап. Моск. Университета, 1833; наконецъ рядъ критическихъ статей и отзывовъ о тогдашней романтической литературѣ».

«Никакъ не можемъ согласиться съ почтеннымъ изслѣдователемъ и усматривать въ перечисленныхъ имъ главныхъ статьяхъ сколько-нибудь тѣсную связь съ эстетическими положеніями «Литер. Мечт.». Конецъ этого при-

мѣчанія г. Венгерова посвященъ дальнѣйшему разъясненію его мысли и доказательству того, что формула Бѣлинскаго есть чистѣйшее шеллингіанство, а «въ ряду провозвѣстниковъ шеллингіанства въ Россіи наименѣе яркое мѣсто принадлежитъ Надеждину». См. однако ст. П. Н. Милюкова въ Сборн. «На славномъ посту».

— Стр. 80.—Объ эстетическихъ взглядахъ Надеждина см. Ив. Ивановъ, «Исторія русской критики». Части первая и вторая. Изд. журн. «Міръ Божій». Спб., 1898. Стр. 344—351. Н. К. Козьминъ. «Очерки изъ исторіи русскаго романтизма». Спб., 1903. Стр. 440—452.

— Стр. 81.—«Очерки Гогол. пер.» см. «Полное собр. соч. Н. Г. Чернышевскаго», изд. М. Н. Чернышевскаго, т. II. Спб., 1906, стр. 117—159, а также въ отдѣл. изд. Спб., 1892.

— Стр. 100.—«Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ». И. И. Панаева, Спб., 1876. Стр. 141—142. «Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашелъ въ кондитерскую Вольфа, въ которой получались всѣ русскіе газеты и журналы. Я подошелъ къ столу, на которомъ они были разложены, и мнѣ прежде всего попался на глаза послѣдній нумеръ «Молвы». Въ этомъ нумерѣ было продолженіе статьи, подъ заглавіемъ: «Литературныя Мечтанія—Элегія въ прозѣ». Это оригинальное названіе заинтересовало меня: я взялъ нѣсколько предшествовавшихъ нумеровъ и принялся читать.

«Начало этой статьи привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву, если бы это было можно, познакомиться съ авторомъ ея и прочесть поскорѣе ея продолженіе.

«Новый, смѣлый, свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня.

«Не оно ли», подумалъ я,—«это новое слово, котораго я жаждалъ, не это ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?»

«Я выбѣжалъ изъ кондитерской, сѣлъ на перваго попавшагося мнѣ извощика и отправился къ Языкову.

«Я вбѣжалъ къ нему и закричалъ:

— Ну, братъ, у насъ появился такой критикъ, передъ которымъ Полевой—ничто. Я сейчасъ только пробѣжалъ начало его статьи — это чудо, чудо!...

— Неужто? возразилъ Языковъ,—да кто такой? Гдѣ напечатана эта статья?...

«Я перевелъ духъ, бросился на диванъ и, немного успокоившись, разсказалъ ему, въ чемъ дѣло.

«Мы съ Языковымъ, какъ люди, всѣмъ дѣтски увлекавшіеся, тотчасъ же отправились въ книжную лавку, достали нумера «Молвы» и я прочелъ ему начало статьи Бѣлинскаго:

«Языковъ пришелъ въ такой же восторгъ, какъ я, и впослѣдствіи, когда мы прочли всю статью, имя Бѣлинскаго уже стало дорого намъ.

«Какъ ничтожны и жалки казались мнѣ, послѣ этой горячей и смѣлой статьи, пошлыя, рутинныя критическія статьи о литературѣ, появлявшіяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ!»

— Воспоминанія И. С. Тургенева—въ Полн. собр. соч., Спб., 1891, т. X.

— Стр. 101.—Въ подстрочномъ примѣчаніи письмо Кольцова относится къ 10 янв. 1841.

— Стр. 112.—Сочиненія В. П. Боткина: т. I. Путешествія. Спб., 1890; т. II.

Статьи по литературѣ и искусствамъ.—Письма. Спб., 1891.—Изд. журн. «Пантеонъ Литературы».

— Стр. 117.—«Я. М. г. Н—въ»—Январій Михайловичъ Невѣровъ (1810—1893), педагогъ и писатель, авторъ любопытныхъ въ историко-литературномъ отношеніи «Воспоминаній».

— Стр. 176.—См. «Полное собр. соч. Бѣлинскаго» подъ ред. С. А. Венгерова. Напечатаны прежде не были: «Разборъ книги Мухина», «Разборъ повѣстей Н. Ф. Павлова», «Разборъ романовъ и повѣстей Нарѣжнаго», «Разныя рецензіи для «Литер. Прибавл. къ Русскому Инвалиду» и «Переписка двухъ друзей».

— Стр. 262.—Въ 1839 г. Огаревъ писалъ Герцену: (Рус. Мысль, 1889, янв.): «...Теперь перейду къ Гегелю. Я убѣдился, что надо читать его, а не учениковъ, а тѣмъ паче не гнусныя статьи Бѣлинскаго, который столько же ученикъ Гегеля, сколько я родной братъ китайскаго императора».

Рѣчь идетъ, по всей вѣроятности, о Бород. Год. и пр. статьяхъ Бѣл, гдѣ было воспѣваніе русской дѣйствительности.

Но уже годъ спустя Герценъ могъ читать въ письмѣ Кетчера (ibid.) слѣдующія строки: «Обо мнѣ ни слуху, ни вѣсти. Что писать все то же и то же? А побранить тебя есть за что. Что вы ни говорите, а вся литературная сволочь и въ подметки не годится, не исключая даже и почтеннаго Губера, нелѣпому Бѣлинскому, а потому тебѣ совсѣмъ не слѣдовало тѣшить былыми домашними остротами надъ нимъ достолюбезныхъ претендентовъ на собаку съѣлъ въ философіи и поэзіи, каковъ и вышереченный твой новый знакомый... Несмотря на всѣ уродливости, я все-таки, совѣтовалъ бы не расходиться совершенно съ Бѣлинскимъ и не слушать всѣхъ вздоровъ даже изъ устъ Михайлы Александровича. Вотъ тебѣ за долгое молчаніе»... Здѣсь же было приписано рукою Огарева: «...Попроси Бѣлинскаго не называть меня Иларіономъ, а просто Николаемъ. Стихи же отдай немедля и не слишкомъ гнушайся Бѣлинскимъ».

Позже (13 іюня 1844) Огаревъ писалъ Герцену:

«..Жаль, что Виссаріонъ также на томъ же мѣстѣ, какъ тому назадъ два года, т.-е. въ крайности. То же происходитъ и съ Вас. Петр. Надо предоставить ихъ хорошимъ натурамъ выбраться на прямую дорогу...» Затѣмъ рѣчь идетъ о перемѣнѣ въ характерѣ Боткина вслѣдствіе «домашняго происшествія» т.-е., вѣроятно, женитьбы на Armance.

— Стр. 350.—Къ Ботк., 30 дек. 1840 (продолженіе): «Что до Кр[аевска]го, однажды навсегда: это не Полевой, не геній и не талантъ особенный: это—человѣкъ, который изъ всѣхъ русскихъ литераторовъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ *одинъ* способенъ крѣпко работать и поставить въ срокъ огромную книжку; способенъ очень *талантливо* отвалять Греча, Булгарина или Полевого; имѣетъ кое-какіе живые интересы и кое-какія познанія (заговори съ нимъ о рус. исторіи—и ты заслушаешься его); онъ въ поэзіи не далеко и не глубоко хватаетъ, но зато не мѣшаетъ другимъ въ своемъ журналѣ дѣйствовать за него даже вопреки многимъ его понятіямъ и убѣжденіямъ; наконецъ—это честный и благородный человѣкъ, которому можно подать руку, не боясь запачкать ее, и который имѣетъ справедливую причину почитать для себя униженіемъ и позоромъ быть даже въ шапочномъ знакомствѣ

Съ знаменитыми,
Кнутомъ битыми,

Булгаринымъ, Гречемъ, Кукольникомъ и Полевымъ. О, Боткинъ, если бы ты зналъ хотя приблизительно, что такое Гречъ: вѣдь это апотеозъ рассейской дѣйствительности, это литературный Ванька-Каинъ, это человѣкъ, способный зарѣзать отца родного и потомъ плакать публично надъ его гробомъ, способный вынести на площадь родную дочь и торговать ею (еслибъ литерат. рессурсы кончились и другихъ не было), это грязь, подлость, предательство, фискальство, принявшія человѣческій образъ,—и этому-то существу предался Полевой и, какъ Громобой съ бѣсомъ, продалъ ему душу»...

— Стр. 447. — «Помощь голодающимъ». Научно-Литературный Сборникъ М. 1892. — Письмо Бѣлинскаго къ М. В. Орловой, 4 марта 1842: «Вы, конечно, думаете, что я забылъ о данномъ вамъ обѣщаніи насчетъ присылки «Демона»: въ такомъ случаѣ, мнѣ очень пріятно разъувѣрить васъ въ моей забывчивости, когда вы, вѣроятно, въ свою очередь забыли о ней и думать. Нечаянное, неожиданное и при томъ столь пріятное разрѣшеніе долго занимавшаго меня вопроса о таинственномъ бумажникѣ, сдѣлало меня вашимъ должникомъ,—и, долго ломая голову, я наконецъ обрадовался мысли—переписать вамъ «Демона» собственною рукою. Мнѣ стало немножко совѣстно, когда, раскрывши довольно-красиво обдѣланную тетрадку, я вдругъ увидѣлъ свои каракули, дико-странныя и безобразныя, подобно мнѣ самому; но если я узнаю (разумѣется отъ васъ самихъ), что вы въ этихъ каракуляхъ увидѣли именно то, что должно въ нихъ увидѣть—желаніе небольшимъ и пріятнымъ для меня трудомъ выразить вамъ мою благодарность за ваше, незаслуженное мною, вниманіе ко мнѣ,—то нисколько не раскаюсь въ томъ, что не нанялъ для переписки поэмы—хорошаго писца. Это и было причиною замедленія въ исполненіи моего обѣщанія: я лѣнился приняться за работу, одна мысль о которой доставляла мнѣ столько наслажденія и минуты которой потомъ были для меня такими прекрасными минутами, что и конечно, не слишкомъ торопился прекратить ихъ.

«Вотъ что считалъ я нужнымъ объяснить вамъ, и вотъ что рѣшило меня взять на себя смѣлость написать къ вамъ эти строки: я былъ бы очень счастливъ, если-бы вы дали мнѣ знать, что вы не считаете моей смѣлости совсѣмъ непростительною.

«Но взявши на себя одну смѣлость, я не могъ удержаться и отъ другой—именно отъ желанія доставить моему лучшему другу удовольствіе вашего знакомства, котораго онъ сильно желаетъ, зная васъ черезъ меня и А. Д. Галахова. Пусть будетъ это ему отъ меня въ награду за его готовность принять на себя хлопоты полученія съ почты тетради и доставленія ея къ вамъ. Можетъ быть, я слишкомъ далеко простираю мою смѣлость, но прошу васъ позволить Василію Петровичу Боткину явиться къ Вамъ, — хотя для того, чтобы передать мнѣ, увѣрить меня, что моя дерзость не превосходитъ вашей снисходительности,—если вы не захотите передать мнѣ этого непосредственно отъ самихъ себя, и тѣмъ подарить счастливымъ днемъ человѣка, слишкомъ бѣднаго счастливыми днями. Вашъ покорный слуга В. Бѣлинскій.

«P. S. Еслибы (чего я, впрочемъ, не надѣюсь) вамъ нужно было что-нибудь поручить мнѣ, по части книгъ или чего другого,—то я почелъ-бы для себя за счастіе выполнить ваше порученіе. Въ такомъ случаѣ, лучше всего адресоваться ко мнѣ черезъ контору «Отеч. Записокъ», по адресу, который можно видѣть на оберткѣ каждаго нумера ихъ».

— Тамъ же: Письмо В. П. Боткина къ Бѣлинскому, 22 апр. 1842: «Да успокоится наконецъ твое ожиданіе и да снидетъ миръ на твою душу:

сегодня былъ я въ институтѣ и видѣлъ М[арью] В[асильевну] О[рлову]. Впечатлѣніе, произведенное ею на меня,—вообще очень пріятное. Святители! какая это было прекрасная дѣвушка! Теперь, когда уже ей вѣроятно около 30 лѣтъ,—а такіе годы страшны для дѣвушекъ,—и теперь еще сколько огня въ этихъ прекрасныхъ глазахъ, сколько прекраснаго въ ея взглядѣ, особенно когда она смотритъ изъ подлобья. Безъ всякаго чувства субъективнаго стремленія—во мнѣ есть желаніе ближе познакомиться съ нею. Она не распечатала при мнѣ твою посылку, слѣд. и не читала твоего письма; и потому я подъ предлогомъ моего отъѣзда въ СПБ. опять отправлюсь къ ней, не поручитъ-ли она; сирѣчь, что сказать тебѣ. Прекрасная дѣвушка! Жаль одного только, что тонъ ея голоса нѣсколько грубъ,—но къ нему однако-же скоро привыкаешь. Лучше всего то, что она совершенно проста и нисколько не натянута. Что же касается до женитьбы на дѣвушкѣ такихъ лѣтъ,—то я относительно себя это считаю возможнымъ при одномъ условіи: надобно, чтобы дѣвушка привязала меня къ себѣ своимъ нравственнымъ характеромъ, и красота внутренняя заставила бы меня забыть внѣшніе недостатки; а то во мнѣ слишкомъ много чувства пластической красоты, слишкомъ много чувственныхъ элементовъ. Я ошибался и думалъ о себѣ черезчуръ хорошо, полагая, что добрыя качества дѣвушки заставятъ меня забыть въ ней недостатки *формы*, которыя придаютъ женщинѣ такую красоту, теперь вижу, что для этого мало добрыхъ качествъ, чувствую, что эти недостатки не могутъ быть примирены высшими, нравственными свойствами. Во мнѣ еще слишкомъ много чувства формы, еще слишкомъ часто посѣщаетъ меня стремленіе насладить глаза и осязаніе прекрасною формою, которыя однѣ, внѣ всякаго содержанія, имѣютъ для меня увлекательную прелесть, хотя въ то же время скажу, что не усумнусь (sic) ни на минуту и почту для себя величайшимъ счастіемъ жениться на Т. Б. Мнѣ интересно знакомство съ М. В. и я ожидаю отъ него много душевнаго удовольствія; я уже просилъ у нея позволенія привесть ей нѣкоторыя книги, говорилъ ей о Жоржъ Зандѣ, которую она не любитъ, но я надѣюсь ввести ее въ милость и любовь. Съ ней очень охотно говорится, и натура ея, кажется, доступна очень многому. Все, что я говорю тебѣ,—говорю въ самомъ холодномъ разсудкѣ, поэтому ты можешь видѣть,—что первое впечатлѣніе было совершенно въ пользу М. В. Ты не подумай, чтобы я считалъ М. В. лишенною высшихъ нравственныхъ качествъ,—то, что я говорилъ выше, говорилъ только о женщинахъ вообще,—напротивъ, я готовъ скорѣе заключить, что такія качества есть въ М. В., нежели то, что она лишена ихъ. Мнѣ всегда становится тяжело, когда подумаю о томъ, какое развитіе получаютъ у насъ женщины, и какъ много прекрасныхъ натуръ принуждены всю жизнь свою оставаться няньками, экономками, растеніями,—лишенными высшаго (зачеркнуто: «дара и» и надписано) блаженства: чувствовать и познавать себя человѣкомъ. Пока прощай.—Стану читать теперь Le Comp. de tour de France. Какое удовольствіе доставляетъ мнѣ этотъ превосходный романъ!—Требую, чтобы изъ васъ кто нибудь прочелъ его».

— Тотъ же сборникъ:

А. Орлова «Воспоминанія о Марьѣ Васильевнѣ Орловой», стр. 447—9.

«Въ 1835 году Марья Васильевна Орлова познакомилась у Петровыхъ съ Виссаріономъ Григорьевичемъ Бѣлинскимъ, который много разъ бывалъ у нея въ Александровскомъ институтѣ, гдѣ она служила классною дамою. Въ некрологѣ ея сказано, что институтское начальство преслѣдовало ее за знакомство съ Бѣлинскимъ, которому и запретило бывать въ институтѣ. Это

невѣрно. Ничего подобнаго не было, да и не могло быть, потому что начальницей этого заведенія была тогда женщина энергичная, развитая и умная, одаренная сверхъ того очень независимымъ характеромъ. Съ перваго знакомства Марья Васильевна очень нравилась Бѣлинскому, чему доказательствомъ служатъ, между прочимъ многія стихотворенія поэта Красова, написанныя по заказу Бѣлинскаго на ея счетъ; но о женитьбѣ, по своей бѣдности, онъ не могъ и думать.

«Не смотря на замѣчательную тогдашнюю красоту, въ сестрѣ не было ни малѣйшаго кокетства и жеманства, а какая то почти царственная и строгая простота. За отсутствіе кокетства Бѣлинскій впослѣдствіи упрекалъ ее, говоря, что женщина должна быть немного кокетливой,—это придаетъ ей пикантности.—«Поздно мѣняться—мнѣ уже 30 лѣтъ», отвѣчала она.

«Черезъ А. Д. Галахова Бѣлинскій зналъ, что ст. тьи его читаются Марьей Васильевной и цѣнятся ею высоко, а прежде онъ думалъ, что женщины не станутъ читать его.

«Изъ письма Бѣлинскаго, при посылкѣ «Демона», которое вручилъ ей пріятель его, В. П. Боткинъ, и также изъ письма Боткина о впечатлѣніи, которое сестра сдѣлала на него при свиданіи, видно, что сестра, не будучи еще женой Бѣлинскаго, никоимъ образомъ не обѣщала быть Далилой, какъ это невѣрно фантазируетъ Г. Протопоповъ (въ біографіи Бѣлинскаго, изд. Павленкоза).

«Нисколько не похожа она была и на жену Гейне, которая не имѣла и смутнаго понятія о геніальности своего мужа. Жена Бѣлинскаго имѣла, напротивъ, очень ясное понятіе о значеніи своего мужа, котораго любила и уважала глубоко. Только между ними никогда не было видно никакого миндальничанья; любовь ихъ была слишкомъ цѣломудренна, и оба не любили высказывать своихъ чувствъ. Бѣлинскій очень цѣнилъ литературный вкусъ и тактъ жены и подчасъ удивлялся мѣткости и вѣрности ея сужденій.

«Въ 1843 году, въ бытность Бѣлинскаго въ Москвѣ, онъ пріѣхалъ навѣстить сестру въ Сокольникахъ, гдѣ она послѣ болѣзни жила на дачѣ съ своими родственниками. Здѣсь узналъ онъ, что по болѣзни она должна была оставить службу, на ея мѣсто поступила я, а она жила со мною.

«Бѣлинскій сдѣлалъ ей предложеніе, и въ ноябрѣ они обвѣнчались. По словамъ Панаевой, послѣ женитьбы Бѣлинскій рѣже сталъ уходить изъ дому,—его уже не давило уединеніе; когда онъ не писалъ, то часто до поздней ночи они говорили и спорили чуть не до слезъ;—сестра была очень настойчива и упорна въ своихъ мнѣніяхъ. Во время этихъ разговоровъ, я уходила къ себѣ, особенно когда родилась Ольга, которую ни днемъ, ни ночью не оставляла одну съ нянькой. Въ продолженіи четырехъ лѣтъ между Бѣлинскимъ и его женой не было ни одной ссоры, а только споры безконечные. Одинъ разъ въ шутку онъ назвалъ жену Ксантипой, а себя Сократомъ, потому что сестра ворчала на него, когда онъ, выходя, забывалъ надѣть калоши или когда новый галстухъ носилъ дома, а въ старомъ шелъ въ гости.

«Съ 1843 по 1846 годъ было мало писемъ Бѣлинскаго; изъ этого видно, что семейная жизнь была ему по душѣ, въ чемъ онъ не разъ признавался.—«Еслибы ты знала, говорилъ онъ женѣ, какъ тяжело и противно было мнѣ прежде возвращаться домой, точно въ тюрьму шелъ. Часто совсѣмъ больной и въ мерзѣйшую погоду плетусь куда-нибудь, чтобъ только не оставаться одному».

«Но болѣзнь, безъисходная бѣдность и срочная работа не давали ему отдохнуть.

«Разъ вечеромъ Бѣлинскій сказалъ кому-то изъ пріятелей: «Еслибъ я имѣлъ власть, то запретилъ бы именнымъ указомъ подлецамъ бѣднымъ жениться: мало того, что сами гибнутъ, но и заѣдаютъ жизнь другого». На это никто, конечно, ему ничего не возразилъ.

«А. Н. Пыпинъ совершенно справедливо говоритъ, что у домашняго очага началась для Бѣлинскаго новая жизнь съ особыми интересами и тревогами. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы жена его внесла въ домъ *особыя* тревоги;—эти тревоги (болѣзнь и безденежье) и прежде существовали, а теперь, съ увеличеніемъ семьи, не могли исчезнуть; при чемъ же тутъ жена его, которая бережливостью, порядкомъ и почти нѣмецкою аккуратностью могла поспорить съ какой угодно Пенелопой: у той были слуги и богатство, а Бѣлинская во все время ея замужества (4½ года) сшила себѣ одно ситцевое и одно черное шелковое платье, да и то, когда была беременна, и ея прежнія платья ей стали не годны. Что касается до книги Протопопова, то я не могу простить ея автору одного: зачѣмъ онъ, не имѣя никакихъ данныхъ, бросилъ грязью въ жену Бѣлинскаго? Это была женщина высокаго, свѣтлаго ума; сердце ея было любящее, самоотверженное; цѣнить и любить мужа она умѣла, какъ очень рѣдкія жены. Когда вздумали перенести прахъ Бѣлинскаго въ одну могилу съ Тургеневымъ, она этому воспротивилась и написала Гаевскому: «Для васъ это увлеченіе минуты, а для меня его могила—святыня. Онъ всю жизнь былъ неудачникомъ, зачѣмъ-же теперь тревожить прахъ его?» Согласитесь, что это показываетъ недюжинную натуру. Да на дюжинной женщинѣ Бѣлинскій бы и не женился: ему нуженъ былъ другъ, вполнѣ понимающій его, а не вертлявая кукла. Теперь, когда сестра умерла, можно было бы напечатать всѣ письма Бѣлинскаго къ женѣ и ея къ нему, но гдѣ ихъ взять? Кетчеръ не возвратилъ ни одного изъ нихъ, несмотря на усиленныя просьбы сестры и г. Иванова, его родственника. Нельзя-ли при посредствѣ газетной публикаціи добыть эту переписку? Не можетъ быть, чтобъ Кетчеръ сжегъ ее, а вѣроятно отдалъ кому нибудь. Еслибы, по счастію, эта переписка сохранилась, тогда можно-бы было опубликовать ее и тѣмъ достойнымъ образомъ почтить память Бѣлинскаго, напомнивши о немъ въ пятидесятилѣтній юбилей его смерти, въ 1898 году.

«Съ 1848 по 1890 годъ никто изъ теперешнихъ и прежнихъ литераторовъ (даже ближайшій другъ покойнаго В. П. Боткинъ) не вздумали навѣстить Бѣлинскую и узнать отъ нея лично чего-либо о мужѣ. Тогда многое уяснилось-бы изъ интимной жизни Бѣлинскаго и изъ характера его жены.

«Портретъ, приложенный къ книгѣ Протопопова, не похожъ на Бѣлинскаго,—это сказала я лично самому художнику, который привозилъ его показывать сестрѣ. Невозможно передать черты физіономіи и выраженіе глазъ, черезъ столько лѣтъ, и притомъ лицу, никогда его не видавшему.

о. Корфу, Августъ 1891 г.»

— Стр. 461.—Въ изд. 1876 г. къ словамъ «могло привести Бѣлинскаго въ восторгъ и затронуть «горькое чувство» было сдѣлано слѣд. примѣчаніе: «Музыкѣ «Лучіи» и тогда не придавали никакой особой важности, и успѣхъ приписывали пѣвцу и актеру, а не композитору». Ср. статью: «Рубини и итал. музыка», въ «Отеч. Зап.» 1843, кн. 7, стр. 48.

— Стр. 472.—По поводу рецензіи о «Гайдамакахъ» Шевченка, не во-

шедшей въ изд. Сочиненій (1861—1875), которымъ, какъ упомянуто выше, пользовался авторъ; см. «Полн. собр. соч. Бѣлинскаго» подъ ред. С. А. Венгерова, эта рецензія помѣщена въ т. 7, Спб., 1904, стр. 214—216.

— Стр. 481.—Описаніе обѣда въ честь Грановскаго см. «Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ» И. И. Панаева, Спб., 1876, стр. 270—273.

— Стр. 488.—«Воспоминанія о Бѣлинскомъ» Тургенева см. «Полное собр. соч. И. С. Тургенева», 3-е изд., т. X, Спб., 1891, стр. 50.

— Стр. 489.—«Лепта Бѣлинскаго», Спб.,—Воспоминанія А. В. Орловой; стр. 18: «Въ 1845 г. лѣто провели мы на дачѣ подъ Парголовымъ. Бѣлинскій купался въ озерѣ, спалъ наверху съ открытыми окнами, схватилъ воспаленіе и его, полуживого, перевезли въ городъ; всю осень и зиму хворалъ, а весной 1846 г. уѣхалъ М. С. Щ[епкинымъ] въ Крымъ, гдѣ морскія купальни, вмѣсто пользы принесли ему вредъ».

— Стр. 489.—«Историческій Вѣстникъ», 1876, № 2, стр. 380—1. А. Старчевскій разсказываетъ: «Въ концѣ 1845 г., В. Г. Бѣлинскій, крѣпко державшій въ своихъ рукахъ въ «От. Зап.» отдѣлъ критики и библіографіи съ 1840 г., вздумалъ потребовать у А. А. Краевскаго увеличенія гонорара въ увѣренности, что Краевскій, сознавая всю важность для журнала отдѣла критики, удовлетворитъ его желаніе, тѣмъ болѣе, что замѣнить Бѣлинскаго въ «О. З.» въ то время было некѣмъ. Но Краевскій, какъ редакторъ чисто практическій, въ душѣ радъ былъ представившемуся случаю разстаться съ Б. и отказался исполнить его желаніе не потому, чтобы ему не хотѣлось платить Б. довольно значительную сумму—Б. требовалъ назначить ему за критическій отдѣлъ одной изящной словесности 6000 р. въ годъ, а Краевскій хотѣлъ покончить съ такою критикой, какова была критика Б. во второй половинѣ 1844 и 1845 году, когда эстетическому разбору Пушкина посвящено было цѣлыхъ двѣнадцать громадныхъ статей, притомъ статей, написанныхъ довольно тяжелымъ языкомъ, и которыми вовсе не могло наслаждаться большинство публики... Большинствомъ читателей эти статьи въ журналѣ не разрѣзывались. Но Краевскій еще не рѣшался разорвать съ Б. и не зналъ, какъ ему приступить къ такому радикальному перевороту въ своемъ журналѣ. Случай выручилъ его... Заручившись журналомъ отъ Плетнева, И. И. Панаевъ сталъ внушать Бѣл. мысль потребовать отъ Кр. увеличенія гонорара за критику и испугать его тѣмъ, что Бѣл. можетъ перейти въ новый журналъ, основанный прежними сотрудниками «О. З.» Но, какъ извѣстно, это не подѣйствовало на Краевскаго».

— Стр. 489.—А. И. Герценъ «Былое и Думы.» Сочиненія, т. VII, 1879. Гл. XXV, стр. 133—142:

«Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда въ Петербургъ въ 1848 году, пріѣхали и мы туда. Я не шелъ къ нему. Огареву моя ссора съ Бѣлинскимъ была очень прискорбна, онъ понималъ, что нелѣпое воззрѣніе у Бѣлинскаго была переходная болѣзнь, да и я понималъ, но Огаревъ былъ добрѣе. Наконецъ, онъ натянулъ своими письмами свиданіе. Наша встрѣча сначала была холодна, непріятна, натянута, но ни Бѣлинскій, ни я, мы не были большіе дипломаты, въ продолженіи ничтожнаго разговора я помянулъ статью о «бородинской годовщинѣ». Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и, вспыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «ну, слава Богу, договорились-же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ какъ начать... ваша взяла: три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ доводы.

Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочетъ-ли онъ со мной познакомиться.—Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ? спросилъ его на ухо офицеръ.—Да.—Нѣтъ, покорно благодарю, сухо отвѣтилъ онъ.—Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, я горячо пожалъ руку офицеру, и сказалъ ему: вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю... Чего-же вамъ больше?»

«Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго, мы шли съ нимъ рука въ руку.

«Бѣлинскій, какъ слѣдовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей рѣчи, со всей неистощимой энергіей на свое прежнее воззрѣніе. Положеніе многихъ изъ его пріятелей было не очень завидное, plus royalistes que le roi они съ мужествомъ несчастія старались отстаивать свои теоріи, не отказываясь впрочемъ отъ почетнаго перемирія.

«Всѣ люди дѣльные и живые перешли на сторону Бѣлинскаго, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни изъ нихъ дошли до того нѣмецкаго самоубійства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякій жизненный интересъ и сами потерялись безъ вѣсти. Другіе сдѣлались православными славянофилами. Какъ сочетаніе Гегеля съ Стефаномъ Яворскимъ ни кажется странно, но оно возможнѣе, чѣмъ думаютъ; византійское богословіе точно также внѣшняя казуистика, игра логическими формулами, какъ формально принимаемая діалектика Гегеля. Москвитянинъ въ нѣкоторыхъ статьяхъ далъ торжественное доказательство, до чего можетъ дойти при талантѣ, содомизмъ философіи и религіи.

«Бѣлинскій вовсе не оставилъ вмѣстѣ съ одностороннимъ пониманіемъ Гегеля его философію. Совсѣмъ напротивъ, отсюда-то и начинается его живое, мѣткое, оригинальное сочетаніе идей философскихъ съ революціонными. Я считаю Бѣлинскаго однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ николаевскаго періода. Послѣ либерализма, кой-какъ пережившаго 1825 г. въ Полевомъ, послѣ мрачной статьи Чаадаева, является выстраданное, желчное отрицаніе и страстное вмѣшательство во всѣ вопросы Бѣлинскаго. Въ рядѣ критическихъ статей онъ кстати и не кстати касается всего, вездѣ вѣрный своей ненависти къ авторитетамъ—часто подымаясь до поэтическаго одушевленія. Разбираемая книга служила ему по большей части матеріальной точкой отправленія, на полдорогѣ онъ бросалъ ее и впивался въ какой нибудь вопросъ. Ему достаточенъ стихъ «Родные люди вотъ какіе» въ Онѣгинѣ, чтобъ вызвать къ суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношенія родства. Кто не помнитъ его статьи о «Тарантасѣ», о «Парашѣ» Тургенева, о Державинѣ, о Мочаловѣ, и Гамлетѣ? Какая вѣрность своимъ началамъ, какая неустрашимая послѣдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какая смѣлость въ нападкахъ на литературную аристократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ всегда взять противника не мытьемъ—такъ катаньемъ, не анти-критикой – такъ доносомъ. Бѣлинскій стягалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и нѣжности; онъ отдавалъ на посмѣянія ихъ дорогія, *задушевныя* мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цвѣтущія подъ сѣдинами, ихъ наивность, прикрытую аннинской лентой.

«Какъ-же они за то его и ненавидѣли!

«Славянофилы съ своей стороны начали официально существовать съ

войны противъ Бѣлинскаго; онъ ихъ додразнилъ до мурмолокъ и зипуновъ. Стоитъ вспомнить, что Бѣлинскій прежде писалъ въ «*Отечественныхъ Запискахъ*», а Киреевскій началъ издавать свой превосходный журналъ подъ заглавіемъ «*Европеецъ*»; эти названія всего лучше доказываютъ, что въ началѣ были только оттѣнки, а не мнѣнія, не партіи.

«Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались молодежью въ Москвѣ и Петербургѣ, съ 25 числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать; получены-ли *Отечественныя Записки*; тяжелый номеръ рвали изъ рукъ въ руки—«есть Бѣлинскаго статья?»—«Есть», и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... И трехъ-четырехъ вѣрованій, *уваженій* какъ не бывало.

«Не даромъ Скобелевъ, комендантъ петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бѣлинскому, встрѣчаясь на Невскомъ проспектѣ: «Когда-же къ намъ, у меня совсѣмъ готовый тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу».

«Я въ другой книгѣ говорилъ о развитіи Бѣлинскаго и объ его литературной дѣятельности, здѣсь скажу нѣсколько словъ о немъ самомъ.

«Бѣлинскій былъ очень застѣнчивъ и вообще терялся въ незнакомомъ обществѣ или въ очень многочисленномъ; онъ зналъ это, и желая скрыть, дѣлалъ пресмѣшныя вещи. К. уговорилъ его ѣхать къ одной дамѣ; по мѣрѣ приближенія къ ея дому, Бѣлинскій все становился мрачнѣе, спрашивалъ, нельзя-ли ѣхать въ другой день, говорилъ о головной боли К., зная его, не принималъ никакихъ отговорокъ. Когда они пріѣхали, Бѣлинскій, сходя съ саней, пустился было бѣжать, но К. поймалъ его за шинель и повелъ представлять дамѣ.

«Онъ являлся иногда на литературно-дипломатическіе вечера князя Одоевскаго. Тамъ толпились люди, ничего не имѣвшіе общаго; кромѣ нѣкотораго страха и отвращенія другъ отъ друга; тамъ бывали посольскіе чиновники и археологъ Сахаровъ, живописцы и А. Мейендорфъ, статскіе совѣтники изъ образованныхъ, Іоакинфъ Бичуринъ изъ Пекина, полу-жандармы и полу-литераторы, совсѣмъ жандармы и вовсе не литераторы. А. К. домолчался тамъ до того, что генералы принимали его за авторитетъ. Хозяйка дома съ внутренней горестью смотрѣла на подлые вкусы своего мужа и уступала имъ, такъ какъ Людовикъ Филиппъ въ началѣ своего царствованія, снисходя къ своимъ избирателямъ, приглашалъ на балы въ Тюльери цѣлые rez des chaussée подтяжечныхъ мастеровъ, москательныхъ лавочниковъ, башмачниковъ и другихъ почтенныхъ гражданъ.

«Бѣлинскій было совершенно потерянъ на этихъ вечерахъ, между какимъ-нибудь саксонскимъ посланникомъ, не понимавшимъ ни слова по русски и какимъ нибудь чиновникомъ III отдѣленія, понимавшимъ даже тѣ слова, которыя умалчивались. Онъ обыкновенно занемогалъ потомъ на два, на три дня и проклиналъ того, кто уговорилъ его ѣхать.

«Разъ въ субботу наканунѣ новаго года, хозяинъ вздумалъ варить жженку en petit comité, когда главные гости разъѣхались. Бѣлинскій непремѣнно бы ушелъ, но баррикада мебели мѣшала ему, онъ какъ-то забился въ уголъ и передъ нимъ поставили небольшой столикъ съ виномъ и стаканами. Жуковскій въ бѣлыхъ форменныхъ штанахъ съ золотымъ «позументомъ» сѣлъ наискось противъ него. Долго терпѣлъ Бѣлинскій, но не видя улучшенія своей судьбы, онъ сталъ нѣсколько подвигать столъ; столъ сначала уступалъ, потомъ покачнулся и грохнулъ на земь, бутылка бордо пресерьозно начала поливать Жуковскаго. Онъ вскочилъ, красное вино струилось по его

панталонамъ; сдѣлался гвалтъ, слуга бросился съ салфеткой домарать виномъ остальныя части панталонъ, другой подбиралъ разбитыя рюмки... во время этой суматохи, Бѣлинскій исчезъ и, близкій къ кончинѣ, пѣшкомъ прибѣжалъ домой.

Милый Бѣлинскій! какъ его долго сердили и разстроивали подобныя происшествія, какъ онъ объ нихъ вспоминалъ съ ужасомъ, не улыбаясь, а похаживая по комнатѣ и покачивая головой.

Но въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная, гладіаторская натура! да, это былъ сильный боецъ! онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла; блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!

Притѣсняемый денежно литературными подрядчиками, притѣсняемый нравственно цензурой, окруженный въ Петербургѣ людьми мало симпатичными, снѣдаемый болѣзнію, для которой балтійскій климатъ былъ убійственъ, Бѣлинскій становился раздражительнѣе и раздражительнѣе. Онъ чуждался постороннихъ, былъ до дикости застѣнчивъ и иногда недѣли цѣлыя проводилъ въ мрачномъ бездѣйствіи. Тутъ редакція посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литераторъ со скрежетомъ зубовъ брался за перо и писалъ тѣ ядовитыя статьи, трепещащія отъ негодованія, тѣ обвинительные акты, которые такъ поражали читателей.

Часто, выбившись изъ силъ, приходилъ онъ отдыхать къ намъ, лежа на полу съ двухлѣтнимъ ребенкомъ, онъ игралъ съ нимъ цѣлые часы. Пока мы были втроемъ, дѣло шло какъ нельзя лучше, но при звукѣ колокольчика, судорожная гримаса пробѣгала по лицу его, и онъ безконечно оглядывался и искалъ шляпу; потомъ оставался, по славянской слабости. Тутъ одно слово, замѣчаніе, сказанное не по немъ, приводило къ самымъ оригинальнымъ сценамъ и спорамъ»...

— Стр. 489.—Космосъ 1869. Популярно-научное обозрѣніе. Приложеніе № 1. Здѣсь полемическая статья противъ Тургеневскихъ воспоминаній о Бѣлинскомъ.

— Стр. 492.—См. «Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ» И. И. Панаева, Спб., 1876, стр. 404—405 и «Воспоминанія о Бѣлинскомъ» И. С. Тургенева въ «Полномъ собр. соч.», изд. 3-е, т. X, Спб., 1891, стр. 52.

— Стр. 501—502.—См. книгу И. И. Панаева «Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ», Спб., 1876, стр, 406—408.

— Стр. 508—509.—См. книгу И. И. Панаева «Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ», Спб., 1876, стр. 409.

— Стр. 531.—Знаменитое письмо къ Гоголю было напечатано нѣсколько разъ: въ «Біографіи М. П. Погодина» Н. Барсукова (не вполнѣ исправно), въ

«Сочиненіяхъ Н. В. Гоголя», под. ред. Е. А. Ляцкаго, Спб., 1902; въ изд. «Свѣточа», подъ ред. С. А. Венгерова, Спб., 1905; также изд. Яковенко, 1905.

— Стр. 535.—«Рус. Стар.» 1889, № 1, стр. 145—6.

Прокоповичъ къ Н. В. Гоголю 27 іюня 1847 г.:

«Я нѣсколько виноватъ передъ тобою, что не извѣстилъ тебя въ прошломъ письмѣ объ отъѣздѣ Бѣлинскаго заграницу; тогда письмо твое къ нему не прогулялось бы понапрасну сюда. Но все равно, оно отправилось по первой же почтѣ къ нему въ Силезію, въ Зальцбрунъ, откуда ты, вѣроятно, и получишь отъ него отвѣтъ. Эта поѣздка была необходима для Бѣлинскаго: только отъ нея одной зависитъ спасеніе жизни его, бывшей, въ продолженіе послѣдней зимы, не одинъ разъ на волоскѣ и сохранившейся въ противность всѣхъ правилъ и приговоровъ медицины.

Пользуясь твоимъ позволеніемъ, я прочиталъ письмо твое къ нему. Мнѣ кажется, ты очень ошибаешься, воображая, что статью свою Б. написалъ, принявъ на свой счетъ нѣкоторыя выходки твои вообще противъ журналистовъ. Зная Бѣлинскаго давно, я не могу не быть увѣреннымъ, что ни одна строчка его не назначалась мщенію за личное оскорбленіе. Почему не судить проще, и не принимать всего сказаннаго имъ встрѣчѣ совершенно противоположныхъ другъ другу убѣжденій, искреннихъ въ немъ, и, конечно, не притворныхъ и въ твоей книгѣ. Бѣлинскій не говорилъ хладнокровно о прежнихъ твоихъ сочиненіяхъ: могъ-ли онъ говорить хладнокровно и о послѣднихъ? Впрочемъ, онъ самъ, вѣроятно, въ отвѣтѣ своемъ выскажетъ тебѣ всѣ свои побужденія».

Въ примѣчаніи редакціи къ этому письму читаемъ: «Любопытно, что въ письмахъ Гоголя къ Прокоповичу есть слѣды довольно близкихъ отношеній его къ Бѣлинскому: напр, въ письмѣ отъ 11 мая 1842 г. Гоголь говоритъ: «Я получилъ письмо отъ Бѣлинскаго. Поблагодари его. Я не пишу къ нему, потому, что минуты не имѣю времени, и потому что, какъ самъ онъ знаетъ, обо всемъ нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сдѣлаемъ въ нынѣшній проѣздъ черезъ Петербургъ». (Рус. Слово, 1859 г. I, 117). Въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 15 мая 42 г. изъ М.) Гоголь поручалъ Прокоповичу передать просьбу Бѣлинскому написать рецензію на I т. «Мертв. Душъ»: «Попроси Бѣлинскаго, чтобы сказалъ что-нибудь о ней въ немногихъ словахъ, какъ можетъ сказать нечитавшій ея» (Рус. Слово, 1859 г., I, 118). Въ письмѣ отъ 15 іюня Гоголь снова поручаетъ Прокоповичу попросить Бѣлинскаго отпечатать для него листки критики «М. Д.», если она будетъ въ От. Зап. (Рус. Слово, 1859 г., I, 119)».

— Стр. 569. — Къ приглашенію Бѣлинскаго въ III отд. см. «Рус. Стар.», 1882, № 11, стр. 434:

«Леонтій Васильевичъ Дубельтъ желалъ бы познакомиться съ вами и проситъ васъ, милостивый государь Виссаріонъ Григорьевичъ, пожаловать къ нему утромъ, въ свободный для васъ день, отъ 12 до 2 часовъ, въ III отдѣленіе Собственной Его Имп. В. Канцеляріи. Мнѣ тѣмъ пріятнѣе исполнить порученіе моего начальника, что при этомъ и я буду имѣть удовольствіе повидаться съ вами. М. Поповъ 26 февр. 1848 г.»

Нѣсколько позже:

«Слышалъ я, что прежняя записка моя нѣсколько напугала васъ, милостивый государь Виссаріонъ Григорьевичъ.

«Въ приглашеніи васъ нѣтъ другой причины, кромѣ того, что Леонтій Вас. желаетъ познакомиться съ вами.

«Вы, какъ литераторъ, пользуетесь извѣстностью; объ васъ часто говорятъ: очень естественно, что управляющій III отдѣленіемъ и членъ цензурнаго комитета желаетъ узнать васъ лично и даж: сблизиться съ вами».

— Щ. П. «Эпизодъ изъ жизни В. Г. Бѣлинскаго (по неизданнымъ даннымъ)». Былое, 1906, октябрь.—Авторъ, на основаніи документовъ, вскрываетъ истинные мотивы приглашенія Бѣлинскагб въ III-ье отдѣленіе. Дѣло въ томъ, что на имя шефа жандармовъ гр. А. Ф. Орлову нѣкто, «средняго роста, лицо бѣлое, носикъ острый, въ сѣрой шинели, фуражка à la polka», доставилъ «пасквиль», съ рѣзкими выраженіями по адресу имп. Николая Павловича. Это было въ февралѣ 1848 г. Л. В. Дубельтъ распорядился «спросить Булгарина», и послѣдній съ обычной услужливостью сочинилъ доносъ на Некрасова и Буткова. III-ье отдѣленіе рѣшило,однако, «познакомиться» съ Некрасовымъ и Бѣлинскимъ и испытать ихъ почерки, очевидно заподозрѣвъ ихъ въ авторствѣ «пасквиля». Въ этомъ смыслѣ и было написано вышеприведенное письмо М. М. Попова.

27 марта Бѣлинскій отправилъ Попову письмо, гдѣ изображалъ свое болѣзненное состояніе и указывалъ на невозможность явиться на приглашеніе: «изъ послѣдней вашей ко мнѣ записки я увидѣлъ, что вы не получили моего отвѣта на первую,—отвѣта, который я вручилъ вашему же посланному. Это обстоятельство вдвойнѣ для меня непріятно и прискорбно: и вы и Его Превосходительство Леонтій Васильевичъ можетъ думать, что я отлыниваю и какъ будто хочу притаиться несуществующимъ въ этомъ мірѣ, потому что и не являюсь и не даю отъ себя никакого отзыва. Если бы я и дѣйствительно предвидѣлъ себѣ въ этомъ приглашеніи бѣду,—и тогда такая манера избѣгнуть ея была бы слишкомъ дѣтскою и смѣшною. Ваша первая записка сначала точно привела меня въ большое смущеніе и даже напугала, тѣмъ болѣе, что нервы у меня все время такъ раздражены, что и менѣе важныя обстоятельства дѣйствуютъ на меня тяжело и болѣзненно; но потомъ я скоро успокоился, тѣмъ болѣе, что былъ увѣренъ въ доставленіи вамъ моего отвѣта. Въ немъ писалъ я къ вамъ, что, по болѣзни, не выхожу изъ дому. Я и теперь еще не оправился, и докторъ запретилъ мнѣ ходить до тѣхъ поръ, пока не просохнетъ земля и не установится теплая погода. Теперь же для меня, какъ для всѣхъ чахоточныхъ, самое опасное время: чуть простудишься слегка, и опять появятся ранки на легкихъ, какъ это уже не разъ со мною было...»

Но III-му отдѣленію, говоритъ г. Щ., приведя это письмо полностью,— не столь важно было личное знакомство съ Бѣлинскимъ: важно было получить отъ него письмо—для сличенія почерковъ. Почеркъ его такъ же, какъ и почеркъ Некрасова, былъ совсѣмъ не похожъ на почеркъ письма къ Орлову, поднятаго въ домѣ на Гороховой. На этомъ основаніи М. М. Поповъ докладывалъ Л. В. Дубельту: «Изъ писемъ Бѣлинскаго и Некрасова Ваше Превосходительство изволитъ усмотрѣть, что почерки ихъ не сходны съ почеркомъ безыменнаго письма. Бѣлинскому я уже отвѣчалъ, чтобы онъ не безпокоился и пожаловалъ къ Вашему Превосходительству, когда дозволитъ его здоровье, хотя бы черезъ мѣсяцъ или два»...

— Стр. 570.—Кронштадт. Вѣстн., 1862, № 47. «Изъ знакомства съ Бѣлинскимъ (съ разсказа г. Б...)», Е. Брылкиной.—Разсказъ относится къ 1846—48 гг. Молодой человѣкъ Б. посѣщалъ Бѣлинскаго по субботамъ и сохранилъ восторженное воспоминаніе о многочисленныхъ бесѣдахъ на политическія темы. Двѣ—три черточки біографическаго свойства.

— Стр. 571.—«Лепта Бѣлинскаго»: Воспоминанія А. В. Орловой, стр. 23:

«У Пыпина сказано невѣрно, что дочь Бѣл. воспитывалась въ Александр. инст. Такъ какъ она была слабая, болѣзненная, доктора запретили ее учить и не позволили ей быть въ институтѣ даже приходящей; она училась немного дома, а когда ей было 16 лѣтъ, къ ней ходили въ домъ лучшіе институтскіе учителя, и она отлично выдержала экзаменъ въ М. университетѣ».

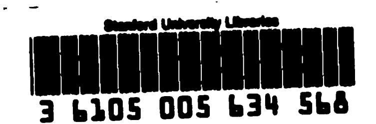
— Стр. 572.—«Современникъ», 1848, т. IX (Іюнь), смѣсь: «Въ Петербургѣ, 26 мая въ 5 час. утра, послѣ продолжительной болѣзни скончался извѣстный литераторъ Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, на 39 году отъ рожденія. Литература составляла исключительное его занятіе и была для него единственнымъ средствомъ къ существованію. Плоды его непрерывной семнадцатилѣтней дѣятельности весьма многочисленны. Безъ сомнѣнія, невозможность прекратить занятія, при упадкѣ силъ, была одною изъ главныхъ причинъ пагубнаго дѣйствія чахотки, которая при условіяхъ болѣе благопріятныхъ можетъ быть и не обнаружила бы столь рѣшительнаго и быстраго вліянія, если взять въ соображеніе лѣта покойнаго».—«Отечеств. Записки», 1848, т. LVIII, смѣсь: «26 мая, въ 6-мъ часу утра, скончался, въ Санктпетербургѣ, Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, бывшій до 1846 года постояннымъ сотрудникомъ «Отеч. Зап.», а съ 1847 года сдѣлавшійся участникомъ журнала «Современникъ». Давнишняя болѣзнь легкихъ, сильно развившаяся въ послѣдніе годы, лишала его возможности трудиться такъ дѣятельно, какъ бы желалъ онъ, и наконецъ сдѣлалась причиною его преждевременной смерти. Никакія журнальныя отношенія послѣдняго времени не помѣшаютъ намъ сказать, что Бѣлинскій, будучи человѣкомъ чрезвычайно даровитымъ, отличался въ то же время непреклонною честностью и благородствомъ поступковъ въ частной жизни. Очень нерѣдко заблуждался онъ въ своихъ литературныхъ мнѣніяхъ; заблужденія его происходили иногда, можетъ быть, отъ недостатка знанія, иногда отъ пылкости впечатлительной души, но, при достаточно сильномъ опроверженіи, онъ легко отъ нихъ отказывался. Да и кто изъ насъ не заблуждался? кто такъ самоувѣренъ, что почтетъ себя въ правѣ бросить камень въ эту свѣжую могилу, вмѣсто христіанскаго напутствія, да покоится въ мирѣ усопшій братъ нашъ».

— Стр. 574.—Въ изд. 1876 г. было подстрочное примѣчаніе:

«Другіе портреты, большею частью плохо скопированные, по обычаю нашихъ изданій,—въ «Портретахъ рус. писателей», 1860, Никтополіона Полеваго; въ «Сынѣ Отечества»; Въ «иллюстраціи» Зотова; въ «Нивѣ», 1870; въ «Исторіи рус. литер.», П. Полевого, и проч.»—Укажемъ сверхъ того «Альбомъ выставки, устроенной Обществомъ Любителей Россійской Словесности въ память Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго. Исполнено и издано Худож. Фототипіей К. А. Фишеръ», 1898 (2-е изд.). Тамъ, между прочимъ рисунокъ худ. А. И. Астафьева 1881 г., гипсовый бюстъ работы А. С. Козлова, рисунокъ Н. Н. Ге, изображающій могилу Бѣлинскаго (15 авг. 1856), снимокъ съ маски. Тамъ же помѣщенъ и видъ могилы Бѣлинскаго изъ «Художеств. Листка», 1862 г. по литографіи В. Ѳ. Тимма и другой видъ его могилы — вмѣстѣ съ могилой Добролюбова изъ журн. «Сіяніе», 1872 г., а также снимокъ съ картины А. А. Наумова «Бѣлинскій передъ смертью», каррикатуръ эпохи Бѣлинскаго, портреты друзей и знакомыхъ Бѣлинскаго, славянофиловъ, авторовъ, писавшихъ о немъ, и др.

Содержаніе.

Дополненія сдѣланы въ текстѣ слѣдующихъ писемъ: Къ Станкевичу (19 апр. 1839); къ Станк. (29 сент. 1839); къ Станк. (22 ноября 1839); къ Боткину (16 декабря 1839); къ Ботк. (3 февр. 1840); къБотк. (18 февр. 1840); къ Ботк. (13 іюня 1840); къ Ботк. (12 авг. 1840); къ Ботк. (5 сент. 1840); къ Ботк. (4 окт. 1840); къ Ботк. (10—11 дек. 1840); къ Ботк. (30 дек. 1840); къ Ботк. (27—28 іюня 1841); къ Ботк. (безъ года, см. стр. 384); къ Н. Х. Кетчеру (3 авг. 1841); къ Н. А. Бакунину (6 апр. 1841); къ Н. А. Бакунину (9 декабря 1841); къ Ботк. (31 марта 1842); къ Ботк. (29 янв. 1847); къ Ботк. (17 февр. 1847); къ К. Д. Кавелину (7 дек. 1847); къ П. В. Анненкову (15 февр. 1848).


3 6105 005 634 568

